МИХАИЛ

ОСОРГИН

ВРЕМЕНА



Михаил Андреевич
ОСОРГИН

Париж
1930-е гг.

М | И | Х | А | И | Л

ОСОРГИН

ВРЕМЕНА

Романы
и автобиографическое
повествование

Екатеринбург
Средне-Уральское книжное
издательство, 1992

Ассоциация
«РОССИЙСКАЯ КНИГА»

ББК 84Р1
О-72

Среди больших русских писателей, чьи книги возвращаются к нам из небытия архивов и спецхранов, имя Михаила Осоргина — одно из самых громких.

Кто-то из живших в удалении от Родины придумал довольно емкую формулу: эмигрант — это капля крови нации, взятая на анализ. В этом смысле Михаил Андреевич Осоргин (1878—1942) — капля руссейшая (употребим его же прилагательное), плоть от плоти своего Отечества, своего народа.

О биографии писателя читатель сможет узнать по его мемуарной книге «Времена», входящей в настоящее издание. В ней не будет многих подробностей его страствий и скитаний, но будет другое: обстоятельства жизни того поколения, что, по словам Осоргина, одним духом прожило сто тысяч чертовских русских лет.

Осоргина-писателя отличает непринужденная естественность интонаций, особенно заметная на фоне отсутствия малейшей эмоциональной однородности («печаль моя светла» вслед за Пушкиным он мог бы повторить). Проникновенна исповедальность его прозы при том, что «излишек своих переживаний» литератор, по убеждению Михаила Андреевича, должен «растворять в чернильнице». Однако главное, пожалуй, достоинство осоргинской прозы — блестящий слог тонкого стилиста.

Изгнанный в 1922 г. из России вместе с группой видных представителей интеллигенции, М. Осоргин жил и умер за рубежом, долгие годы оставаясь неизвестным нашему читателю.

Новый однотомник — наиболее представительный из всех выходивших в последние годы в Союзе сборников произведений писателя. Наряду с ранее издававшимися романами «Сивцев Вражек», «Свидетель истории» и автобиографическим повествованием «Времена» в него вошел роман «Книга о концах», печатающийся в нашей стране впервые.

Составление и примечания Евгения Зашихина.

Печатается по изданиям: Осоргин М. «Сивцев Вражек». Парнж, изд. кн. маг. «Москва», 1929; Осоргин М. «Свидетель истории», Париж, изд. кн. маг. «Москва», 1932; Осоргин М. «Книга о концах», Берлин, Петрополис, 1935; Осоргин М. «Времена», Парнж, Impr. ALON, 1955.

О $\frac{4702010201\text{-}018}{M158(03)\text{-}92}$ 28-92

ISBN 5—7529—0502—8

© Евгений Зашихин, сост., примеч., 1992

© Средне-Уральское книжное издательство, оформл., 1992

СИВЦЕВ ВРАЖЕК

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОРНИТОЛОГ

В беспредельности Вселенной, в Солнечной системе, на Земле, в России, в Москве, в угловом доме Сивцева Вражка, в своем кабинете сидел в кресле ученый-орнитолог Иван Александрович. Свет лампы, ограниченный абажуром, падал на книгу, задевая уголок чернильницы, календарь и стопку бумаги. Ученый же видел только ту часть страницы, где изображена была в красках голова кукушки.

Не ученые мысли бродили в его голове, а простая житейская о том, сколько лет ему осталось жить. Унесла его эта мысль в глубь леса, где кукует кукушка, и сколько прокукует — столько и жить осталось. Таково народное поверье, и не глупее оно всякого другого предсказания. Ошибается кукушка, как ошибаются и врачи. И ни один врач не может предсказать, когда человека задавит трамвай.

Широколицый, руссейший, седобородый профессор умирать не хотел, а смерти не боялся только потому, что в юности и в старости был мужчиной и умницей. Он был известен в ученом мире и свою науку любил по-особенному; была красота в его науке: окраска перьев, пенье, природа, рожденье весны, прощание с летом. Поэзия была в его науке. Каждую птичку он знал и за это знание свое — любил. И умирать профессор орнитологии не хотел; еще и еще хотел жить. Но сколько же лет жизни обещает ему бессемейная, беспечная птица кукушка?

Кукушка прокуковала три раза. Профессор улыбнулся; суеверным он не был и к своим часам привык. Книгу закрыл, заложив бумажкой. Зевнул — хороший признак. На старости лет страдал он бессонницей. Встал, поясницу помял пальцами, опять зевнул — и, потушив лампу, вышел в спальню.

Через час, когда полная тишина окутала дом и кукушка прокуковала четыре,— из-под книжного шкапа выползла мышь

и стала прислушиваться. Кажется — все благополучио, все спят, кошачьего глаза ие видно. Мышь пошевелила хвостиком, передернула иоздрями и отправилась в путь.

Путь лежал через спальию профессора, под дверь другой спальии — в столовую. Такова малая вылазка, за крошками. Более· длииное путешествие — в кухию; оно очень опасио (кошка). И лучше иачать его через другой ход — из-за сундука в коридоре. Там тоже дырка в полу.

Видела мышь только ближний кусочек пола и очертаиия дальиейших предметов ровио иастолько, чтобы ие сбиться с пути. Если бы видеть так, как видит кошка!

Добежав до двери, мышка пропустила в щель жир и убедилась кончиком хвоста, что пролезла. Опять остаиовка — и легкая тревога. Орнитолог спал по-стариковски, беспокойио. Во сие говорил: «Что? Почему? Ах, это все равио!» Но вот дышит ровио, спит.

Всю жизиь так и убил иа свою иауку. Птицу узиавал издали по перышку, по силуэту, по тихому щебету,— а людей узиавал ли с той же легкостью? По щебету облюбовал себе подругу жизни, вылупились птенчики — три птенца. Оперились, выросли, отлетели. А теперь тут, за стеиой, внучка — осталась без родителей.

Старуха жива — былая щебетунья, прожившая с птичьим ученым все сорок лет. Птицу так не выберешь, как выбрал человека! Но, коиечио, было в жизни всего; особеиио в молодые годы...

Опять старик пошевелился во сие, и юркнул серый комочек под дверь в соседиюю спальню.

Было здесь душно. Кровать стояла огромная, вся в подушках, и угол одеяла опустился. Спала иа кровати, будто детка, калачиком, седая маленькая старушка, жеиа профессора. На столике стакаи воды, порошки и коифеты в бумажке. И кресло стояло покойное, просиженное. И пахло лавандой и прошлым.

Здесь было так иестрашно, что мышка иеторопливо прошла по ковру, остаиовилась, присела, задумалась.

Здесь было покойио, как нигде, и как иигде — безопасио. Дышала старушка совсем иеслышно, и сиилось ей простое и неинтересиое. Спала со сжатыми губами, а зубы лежали в стакаие с водой.

Но зато дальше иа пути была комиата, которую можно и лучше пробежать быстрее и без остаиовки. Страшиая комната, гулкая и нежилая. В запахе спалеи есть умиротворяющее, житейское; ио страшеи зал с большими окиами и далекими силуэтами.

В круге зреиия мышки блеснуло — и оиа отпрянула. На тонкой мордочке заработали иоздри и усы. Не так страшио: только стеклянные подножки рояля. Но, Господи! В таком огромном мире все страшио мышке серой и беззащитиой!

Маленькая мышка и огромный рояль, способиый грянуть всеми струнами и оглушить. Рояль этот был господниом дома.

Профессор играл: «Вот, хотите, я нзображу вам соловья; сначала так: фью-и, фью-и; тут низко: фуррр... н трель... а вот как щелкает — никак ие нзобразншь!» Его жена, старушка Аглая Дмитриевна, нграла очень хорошо, но упросить ее трудио. «Ну, руки у меня стары, еле двигаются». Таиюша — будущая артистка; н сила у нее есть, и влечение к музыке, и способности. Танюша учится в консерватории. На маленьких концертах выступает без страха. Но живет рояль полной жизнью только тогда, когда приходит вечером профессор Танюшн Эдуард Львович. Тогда действительно... И бывает это почтн каждое воскресеиье. Долго не спят мыши в подполе в те вечера. И иочью не выходят на разведки.

Эдуард Львович — пожилой человек, некрасивый, иеинтересный собеседник, но пианист удивительный. И композитор. Любнт сладкие сухарики к чаю. Никогда в жизни не пил водки. Странный иемного человек.

А мышка тем временем уже возвращается нз столовой. Крошки нашлись, и немало. В коридор мышка заглянула было, но там стукнуло — н пришлось бежать. В столовой все обшарила. Опять теперь через залу и спальни — за киижный шкап, в дырочку и домой. Светает. В темноте страшио, при свете еще страшнее. Всегда страшно.

Серым комочком пробежал вечный страх по комнатам профессорской квартиры, н никто его не заметил. Ннкто не зиал, что целая мышиная семья помогает червяку точить деревянные скрепы пола и прочные, ио не вечиые стены. Охлаждается земля, осыпаются горы, реки мелеют и успокаиваются, все стремнтся к уровню, иссякает эиергия мира — ио еще далеко до коица.

Мышииый хвостик иа мгновенне задержался наружу — н нсчез.

Кукушка прокуковала шесть раз. Профессор заскрнпел кроватью. Солнце задело заиавеску окиа.

Вместе с ним к окну подлетела ласточка, сегодня прилетевшая нз Центральиой Афрнки на Сивцев Вражек.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Родилось утро — в белой сорочке румяиое утро. Молочными крыльямн забилось в окна. И тогда щелкнула задвнжка н окио распахиулось. Таиюша, щурясь, столкнулась с утром, и холодок залился за рубашку. На цыпочках, вприпрыжку, отбежала обратно к постелн — еще понежиться, счастливая, что день будет сегодия хороший.

Ранним утром, прн окне открытом,— какие думы у девушкн в шестиадцать лет? Первая — день хороший, вторая — сегодня воскресенье. Вместо третьей думы — беспричинная улыбка. Затем заботы: позвонить Леночке, чтобы вечером непременно пришла. И понежиться в постели хорошо, н облиться холод-

иой водой тянет. Напившись кофе, разобрать новые иоты. Вечером будет играть смешной и милый Эдуард Львович.

Внучка деда своего, «птичьего профессора»,— сразу заметила, что прилетели ласточкн. Непременно сказать дедушке. Вчера их еще ие было — зиачит, сегодня первый день настоящей весны.

Колокола, колокола, шум проснувшейся улицы н ласточкино «чирр». Жизнь впереди длинная-длинная. И тонкими пальцами (иогти обрезаны низко, как у музыкантши) погладила круглеющий скат плеча, с которого упала рубашка. Потом, сразу — иоги иа коврик — и побежала к зеркалу, посмотреть на лицо. «Вовсе я не безобразная!»

В шестнадцать лет девушка знает свои глаза н делает презрнтельную грнмаску; но зеркало еще не говорит ей о тайне голого плечнка. Через минуту — холодно, ии для кого отразило оно руку, поднявшую кувшин, н струю, облившую тело,— разве для ласточки, которая пролетела мимо окиа. И деловито, крепко делало свое дело мохнатое полотенце. И вот Танюша готова.

На стене внснт фотография картины, где люди иа диваие слушают музыку.

Пока пришита пуговка — уже девятый час. Будить дедушку — привилегия Танюши. Она стучит в дверь:

— Дедушка, вставайте! Чудесный день и иовость: прилетели ласточки.

— Алло, Танюша, встаю, встаю...

— Как вы спали?

— Хорошо, ты как?

— Тоже хорошо. Ах, дедушка, какой деиь! Я велю подавать кофе.

В этот день во многих домах московских распахнулись утром окна, и выглянули из них лнца молодые, старые, заспаиные, свежие, щурились, слушалн колокольиый воскресиый перезвон. Сыпалась старая затвердевшая замазка с прилипшей к ней ватой, выималнсь и выливалнсь стакаичнкн кислоты, подметался подоконник, и крошки сора падали за окно. В верхние этажи солнце, воздух н колокола влетали полновесиыми клубами и дробились о стены, о печку, о мебель. У верующнх было иа душе пасхально, неверующим весиа прннесла жнвотную радость.

На дворе выбивали ковер, на окие в кухие кухарка поставила ящик с землей и иатыкала проросших луковиц.

На углу Малой Бронной студент покупал моченые яблоки и шел домой в Гирши, локтем прижимая распавшиеся листы Римского права. Под каменным мостом мальчик, водя языком по углу раскрытых губ, забрасывал иитку с булавкой и думал о том, что вдруг схватит большая; ноги перепачкал по колено.

Звеиел трамвай иеистово и иапрасио, и городовой белой нитяиой перчаткой закоиополагал двнженне двух пролеток н одного ломовика.

В этот день семииарист, уже полгода думавшнй о самоубийстве, решил отложить еще, а женщина-врач, одинокая и иекра-

сивая, краснея, купила недорогую шляпу, все равно какую; однако сегодня ее не надела, а вышла в старой, так как с юности выработала в себе сильную волю. Термометр Реомюра с улыбкой играл на повышение.

Это был вообще — замечательный день.

КЛАДБИЩА

Но есть окна, которые никогда не открываются; иные за решетками, как в тюрьмах. Через стекла, всегда пыльные, тусклый свет падает на шкафы и регистраторы, набитые бумагами.

В Парнже, в Берлине, в Лондоне, где весна наступила раньше, она опасливо обошла старые здания, не бросив луча света в окна дипломатических архивов. Умнейшие мужья, полиглоты, умевшие мыслить шифром, стерегли эти кладбища исписанной бумаги, чертежей и негативов.

Солнце думало, что жизнью земли руководит оно. Вся человеческая жизнь рисовалась ему лишь воплощением энергии его лучей. Оно населило полярный север высшими формами органического мира; когда пришло время, оно создало страшную катастрофу живущего, убило высокую культуру полюсов и развило отсталую экватора до совершеннейших форм. Оно смеялось над стараниями земных организмов приспособиться, над их борьбой за существование, мало влиявшей на улучшение породы и облегчение жизни. Все, что делал полип или человек,— было делом его, солнца, было его воплощенным лучом. Ум, знание, опыт, вера, как тело, питанье, смерть,— были лишь превращением его световой энергии.

Но маленький, страдавший насморком, зашитый в полосы материи на пуговках человек, защитившись от солнца стенами, впустив лишь нужный пучок света по проволоке в запаянный стеклянный стаканчик, пробовал вершить свою жизнь по-своему. Он макал перо в чернила, писал, шептал и приказывал.

Из стоп исписаниой бумаги создавались гекатомбы. По проволокам текли правда и ложь, подогревались и создавали факт, мотив, причину, повод. Мозг человека боролся с солнцем, стараясь подчинить живущее мертвой воле. Огораживал забором кусок земли, стенами город, границами государство, цветом расу, традициями национальность, современностью историю, политикой быт. Хитрый и пытливый мозг строил пирамиду из живых и трупов, взбирался по ней до верхней точки — и рушился вместе с нею.

Солнце смеялось над ним, он смеялся над солнцем. Но последним смеялось всегда оно. С непостижимой для ума человека силой солнце швыряло на землю снопы энергии, рожденной в электромагнитном вихре. Как таран, падали его лучи на землю — и рушилось все, что человек считал созданием своего ума, создавалось все, что только могло быть созданьем солнца.

Молчаливейший, в себе самом замкнутый чиновник разобрал слово за словом шифрованное письмо и перевел на рубле-

ную, точную немецкую прозу. Посланнпк прочел, усмехнулся, одобрил, так как в пнсьме одобрили его.

Посланник думал, что знает все, что знают высшие сферы Берлина, но знал он только большую часть. Высшие сферы Берлина знали все, кроме того, что знал маленький сербский гимназнст. Гимназист же знал очень мало, почти ничего. Он был отравлен капелькой национального яда, был честен, пылок, искренен н истеричен. Он учился стрелять в цель, нарисованную на внешней стене курятника. Это могло дорого обойтись пестрым курам н нх крнкливому паше; но по счастливой случайности пули ни разу нх не заделн.

Когда маленький серб научился хорошо стрелять, он решил сделаться национальным героем. Для этого нужно убить врага нации — нного способа стать героем не придумано. А так как много маленьких сербов учились стрелять в цель на стене курятника, то одному из них судьба непременно должна была послать новую цель — грудь австрийского эрцгерцога.

Этого могло н не случиться. Но тогда случилось бы что-нибудь другое. Что бы ни случилось — в архивах за пыльными окнами на все был готов ответ. Солнце творило исторню, человек писал к ней комментарий, но творцом нстории считал себя. Поэтому он окружил себя стенами и не распахивал окон даже весною. Кладбнще бумаг н секретов, добытых дружбой и шпионажем, он считал снгнальной станцией мира н пульсом страны.

Таких кладбищ было много, большнх и малых; нмн гордилнсь страны, властители и народы.

И хотя в беге веков и кружении туманностей сплоченная сила всех этих кладбищ значила не больше, чем: придет ли Леночка вечером слушать музыку на Сивцев Вражек,— но в жизни Леночки н Сивцева Вражка, как в жизни всех, кто пашет, пишет, сеет н любит, кто жил вчера н будет жить завтра, была огромной и решающей роль бумажных кладбищ.

И в тот момент, когда девушка шестнадцатн лет распахнула окно н увидела первую ласточку,— нскра радиостанцин чиркала воздух, хитрым червячком вилась мысль в мозгу дипломата, курнца на насесте наклонила случайно голову н избегла пули гимназиста, перо газетчика надувало пузырь национальной гордыни.

По сырой н тучной земле, забивая копыта, лошадь тащила плуг.

Легким движением рычага рабочий опрокинул в форму ковш расплавленного металла.

Набухли почки молодой березы. Зеленела трава.

Но тот, кто шел за плугом, еще не знал, что на зеленой лужайке, близ подрезанной снарядом березы, он падает, распластанный н оглушенный, остывшим н вновь разгоряченным металлом. Не знал этого никто. Это было неважно. И осталось бесследным.

На бумажных кладбнщах кресты заменены цифрами. В округленных цифрах исчезают лншнне единнцы. Того, кто шел за плу-

гом, ие было и ие будет; иет ни рабочего, ни березы, ии подрезавшего ее сиаряда.

Живое исчезло в округлении цифр.

КОСМОС

Вечером окиа домика иа Сивцевом Вражке были гостеприимио освещены.

Подходя к крыльцу, Эдуард Львович поднял голову и увидел красиые гардиины зала. Ему стало тепло и приятио. В музыкальные пальцы, озябшие в кармаиах легкого пальто, возвращалась кровь и подвижиость. Ои сегодня запоздал и застал всех в сборе, в столовой, за чаем.

У самовара Аглая Дмитриевиа, в очках, с большой стариииой брошью; старый профессор спорил с молодым другом, тоже профессором, физиком Поплавским. Таиюша и Леиочка слушали.

У Леиочки круглые глаза иа розовом круглом лице. Когда Леиочка слушает,— оиа удивлеиа; когда удивлеиа,— у иее подымаются брови и раскрывается пуговка рта. Таиюша умеет слушать, одновремеиио всматриваясь в говорящего и думая о ием, об его собеседнике, о себе самой, о смешном удивлении Леиочки, о том, как миого нужио и хочется знать.

Есть и еще гости: почтительиый и иеприятио-умный студент Эрберг и дядя Боря, старший сыи ориитолога с женой,— оба они люди иезаметиые.

Эдуард Львович вошел, потирая руки. Его обычиое место — по левую руку Аглаи Дмитриевны — ждало его. Вообще — все было в порядке, как устаиовилось за два-три года зиакомства.

Пили чай. Физик Поплавский говорил с профессором об опытах Майкельсоиа и Мореля и о сдвиге световых воли. Ориитолог высказывал опасение: ие беспомощна ли физика?

— Ваш светоиосный эфир подозрителеи! Слишком миогое приходится прилаживать и приспосабливать. Вы, физики, в тупике.

Поплавский тупика ие отрицал,— ио разве это колеблет иауку? Подождем завтра!

После чаю перешли в зал. На широчайшем диваие приютились профессор, дядя Боря и Таиюша. Аглая Дмитриевиа в своем кресле под лампой — с вязаньем в руках. Леиочка удивленио иа стуле. Поплавский в самом затеиенном углу. Жеиа дяди Бори где-то иезаметио.

Эдуард Львович играл где-иибудь ежедневио, ио лучшим днем его было воскресенье в семье ориитолога. И ои волиовался. Эдуард Львович ие был стар, ио казался стариком: лысый, с длииными, иезачесаиными косами иа затылке и висках. Одии глаз его плохо видел. Эдуард Львович горбился, смущался своей иекрасивостью и часто потирал руки.

Сел у рояля, ио сейчас же вскочил и долго перевинчивал стул, устаиавливая его иа нужном от клавиш расстоянии. Взял

аккорд, пробежал по клавишам и опять забеспокоился, оглядел крышку рояля, заглянул под него. Забеспокоилась и Танюша, бросилась помогать. Оказалось — конец ковра попал под ножку рояля. С помощью дяди Бори вытащили. Опять аккорд — хорошо.

Вместо «л» Эдуард Львович выговаривал нечистое «р». И сказал:

— Я бы хотер попробовать сыграть... но торько есри вы хотите срушать... но могу и что-нибудь другое...

Поняла Танюша:

— Сыграйте, Эдуард Львович, свое, про что вы говорили тогда. Оно готово?

— Готово ли — как сказать... Я уже знаю. Но ведь это почти импровизация. Я называю это... можно назвать «Космос».

Физик отозвался:

— Космос, это... интересно. Именно музыка только и могла бы вполне...

Леночка сидела удивленная. Эдуард Львович смущенно попросил:

— Я порагар бы ручше немного меньше света...

Танюша гасит огни. Остается только лампа, освещающая рукоделье старухи.

И Эдуард Львович играет.

Леночка удивленно смотрит на пальцы композитора, мелькающие в полутьме по клавишам, на его голову, то откинутую, то припадающую. Леночка слушает звуки в их раздельности и в их слиянии и думает, что это не похоже на мелодию, на танец, на увертюру оперы. Думает и о том, что Эдуарда Львовича называют гениальным, и о том, что его левый глаз косит, и о том, что вот она, Леночка, слушает игру гениального человека. Собрать и вместить свои мысли в одно целое Леночка никак не может, и брови ее удивленно поднимаются.

Дядя Боря хмур. Он — инженер, но неудачник. У него некрасивая старообразная жена. Он многого не знает, в том числе и музыки. Бетховен, Григ — все это слыхал, имена,— но как различать? Скрябин — диссонансы. Почему то, что играет Эдуард Львович, называется космосом? Космос, это что-то астрономическое... Было бы хорошо, если бы все, превышающее уровень мышления дяди Бори, оказалось выдумкой и вздором. Тогда дядя Боря вырос бы и стал величиной. И вообще... почему паровые котлы ниже музыки? Что они смыслят в паровых котлах? И болезненно сознает дядя Боря, что именно музыка выше паровых котлов и что это его, дядю Борю, принижает, делает несчастным, неинтересным.

Старый орнитолог полулежит с закрытыми глазами. Звуки носятся над ним, задевают его крыльями, уносятся ввысь. Иногда налетают буриой стаей, с гомоном и карканьем, иногда издали поют мелодично и проникающе. Это не на земле, но близко над землею, не выше облака и полета жаворонка. Не страшен космос Эдуарда Львовича! Да и не так сложен, даже не экзотичен: русская природа. Но как хорошо! Старость спокойная, диван,

милая внучка, доступность высшего, что зовется нскусством. Я — профессор, я нзвестен, я стар, я не хочу умирать, но, конечно, я могу умереть спокойно, как живший, нсполнивший, уверенный, уходящий. Звуки — как цветы, музыка — пестрый луг, леса, водопады. Смешной он, Эдуард Львович, но он мастер, н он чувствует миогое, что другим дается наукой, мыслью, старостью.

В мировых пространствах, среди туманностей, вихрей, солнца, носится остывшая планета — лампа Аглан Дмитрневны. Старуха слушает, вяжет, не спуская ни одной петли. Слушает с удовольствием, думает о том, что в самоваре осталось мало воды, а угли еще горячие. Но Дуняша догадается. Эдуард Львович прекрасный музыкант н отличный учитель. Танюше шестнадцать лет, пусть учится. Но все равно — выйдет замуж, н это главное. С музыкой выйдет лучше. А свон нсторические науки тоже пусть кончит, торопиться некуда. Танюша — сирота, но счастлива та сирота, у которой живы н благополучны дедушка н бабушка. Однако он долго нграет. Аглая Дмитрневна посмотрела поверх очков н чуть было не спустила петлн.

В самом темном углу на мягком стуле профессор Поплавский думал о своем. Мироздание — огромно, но для понятия о нем нужно представить атом. И атом — не последнее. Эдуард Львович хочет постигнуть мирозданне силами музыки, семью ее основными тонами,— но художественной догадкой знания не подменишь. Семь цветов спектра дают больше, н вот мы взвешиваем точными весами горящую массу далекой звезды, определяем сложный состав небесного тела, устанавливаем его возраст. Но, может быть, музыка права, так как идет тем же путем постижения н приводит к той же иллюзорности мироздания. Астроном изучает Вселенную. Какую? Ее в этом внде уже нет! В телескоп мы вндим прошлое звезд, планет, туманиостей. Солнце было таким... восемь минут назад, звезда была такой — тысячелетие тому назад, другая звезда — десять, сто тысячелетий. Великая иллюзия! Но играет он, Эдуард Львович, прекрасно. Музыка велика тем, что ей не прнходится опернровать словами, цифрами, что она не переводится на несовершенный язык. Может быть, в этих звуках космоса нет, но переведи их на язык слов н цифр... н получится... Эвклидова геометрия.

ТАНЮША

Танюша сидела на диване, подобрав ноги н головой прнжавшись к плечу дедушки.

Сначала впивалась в звуки, потом унеслась в гармонин. Маленькой горящей точкой носилась в безвоздушном пространстве, окруженная вечными, безответными вопросами звезд, планет, туманиостей, житейским, возросшим до вселенного, вселенным, упавшим до мелочи быта.

Космоса в музыке не нскала: просто вбирала ее в душу н рядом с ней — в ее орбите — жила. Отдала работе неосознан-

ной мыслн н свое легкое тело, и душную теплоту дедушкиного плеча, и полумрак залы, н колебанье звуков.

Большую комнату заполнила образами и видела рожденье нх под потолком, хоровод вокруг лампы, срывы встреч случайных и размеренный танец. Летала с ними — за пределами стен. Дыша — открывала рот, чтобы не мешать слуху. Послушно прннимала в склады ума новые тюки нераспакованной мысли — запасы сырья, к обработке которого после-после, с утренней силой прнступнть. Не боялась — но знала, что будет трудно, была рада и серьезна.

Космос? Его Танюша не видела; он — цельность н завершенье, она — на пороге жизни, едва за пределамн хаоса, нз которого вышла ребенком. Она только начала собнрать крупнцы реального знания, вся была в мире вопросов, первых ощущений, важиейших, дробящихся, противоречивых. Жадно тянулась к ясному, к аксиоме, не принимала теорий, негодовала на двойное решение, не нуждалась в вере. Знала, что все это важно, даже щекочущий волос дедушкиной бороды,— но было так некогда, так много было работы, что делала мыслью прыжок от деталей (о них подумает потом) к гигантскому общему, от мятой складки скатертн — к сладкому и страшному «зачем жизнь?» н особенно «как жить?». Однажды уже додумалась, что цель жизнн — в процессе жнзни; и потому мучалась: верно ли? Не оскорбила ли цели? Не уннзила ли смысла существования?

Однажды, в разговоре с дедушкой, Поплавскнй сказал, что трн точки в одной линии зрения могут не дать прямой, что это относнтельно. Не поняла вполне, но взволновалась: как же быть тогда с тем, что уже считала решенным, чем проверяла свои выводы? Как дедушка может усмехаться н быть спокойным — ученый дедушка? Разве он знает что-то большее? Когда Поплавский говорил о своих смешных точках, у него даже глаза стали грустными. А дедушка, который должен же понимать н который тоже знает, был совсем спокоен и шутил:

— Не говорнте вы прн Танюше о такнх ужасах! Она спать не будет.

И действительно, Танюша в тот вечер долго не засыпала, хотя думала и не о точках, а вообще о том, как же быть, если ничего совсем-совсем верного нет? И тогда же — попутно — догадалась, что есть люди, берущие готовое и строящие на нем счастье, и есть люди, которым счастья н постронть не на чем, так как почва под ними всегда дрожит от сменяющихся вопросов. Дедушка из первых; но может быть, эти первые знают что-то еще высшее, выше вопросов, не поколебнмое ничем? И, однако, пытливым умом была со вторыми.

И чутко, ухом музыкальным лаская дробь звуков, сливая их в пяти нитях нотной бумаги,— слушала Танюша странную н сильную нмпровизацию своего учнтеля н думала свое, мелкое, бытовое, житейское — н велнкое, не разрешимое для мягких еще мускулов сознания. Ее мнроздание лишь строилось.

Сейчас Эдуард Львович коичит — совсем почти мелодией. Все, что искал и что высказывал,— свел к иемногим простейшим звукам. Неужели для него это так ясно? Кончил — и все молчат. Встал, потер руки, посмотрел на лампу виноватыми глазами, и Аглая Дмитриевна поверх очков одобрила, сказавши:

— Уж так хорошо, что и ие зиаю. Заслушалась я вас!

Вышло это у иее просто. Другие думали, что сказать; ио сказать было нечего. И Таиюша, очнувшись, вздохнула.

LASIUS FLAVUS

На заре светлого дня в землю черную, влажную, поспевшую для посева, ангел жизни бросал семена.

Выходило солнце, и дрожащее ожиданием семя заволакивалось теплым паром, набухало, лопалось и выпускало сочный белый росток и нитку кория.

Кореиь стремился вглубь, искал сытной влаги, цеплялся за жириые частички земли; росток напрягал все силы, чтобы выпрямиться, открыть зеленый лист и распластать перед солнцем.

А когда заходило солнце, аигел смерти выиосил на поле лукошко с сорными травами и среди иовых зеленых всходов бросал семеиа зла и раздора. К утру и их зелеиый обман пригревало бесстрастное солнце, и человек радовался богатым всходам засеянных полей.

Несуществующий, великий обещал в тот год победу ангелу смерти. И когда вытянулась и заколосилась первая травка, на нее поспешио взобрался муравей Lasius flavus [1]. Это не был охотиик за травяными тлями. Муравейник на опушке леса имел прекрасные стада тлей и был обеспечен их сладким молоком. Но известили лазутчики, что в окрестиостях иеспокойно, что грозит муравьиной республике иападеиие охотничьих племен Formica fusca [2], которые уже перебежали насыпь строящейся железной дороги и стягивают свои силы у поворота поля. Страшеи был не бой,— страшио было грозящее рабство. И это в момент, когда крылатые самки уже вериулись с первого вылета бескрылыми и готовились стать матками иовых рабочих поколеиий.

В июльский зной загорелась первая битва. Стальные челюсти впивались в щупальцы и иожки противника, срезали их одним напряжением мускулов, тела свивались клубком, и сильный перегрызал талию слабейшему.

Там, где сходились армии, песочная дорожка покрывалась огрызками ног, обломками челюстей, дрожащими шариками тел. А по обходным дорожкам грабители спешио тащили куколок, обеспечивая себя будущими рабами. Иной проголодавшийся

---

[1] Один из видов рыжих муравьев (*лат.*).

[2] Муравьи-охотники (*лат.*).

воии забирался в стойла врага и жадно выдаивал упитаиную, породистую тлю; а миуту спустя уже извивался иа земле в мертвой схватке с пастухом, защищающим собственность своего племеии.

Шел бой до самого заката, и уже окружеи был муравейник все прибывавшими армиями бледио-желтого полевого врага. Но случилось то, чего ие могли предвидеть лучшие из муравьиных стратегов.

Задрожала земля, иадвинулись гудящие теии, и внезапно муравейиик был сиесен неведомо откуда пришедшим ударом. На дорожках все спуталось, и враг с врагом в иеостывшей схватке были раздавлены невидимой и иеведомой силой.

Рядом ннкла и затаптывалась трава, песчиики вдавливались в муравьииое тело, и от стройных армий не осталось и следа. В пространствах, иеведомых даже острейшему муравьииому уму, быть может, в чуждом ему измерении, как иевидимая гроза, как мировая катастрофа, прошла божественная, иеотразимая, всеуничтожающая сила.

Погибли ие только муравьиные армии. Погибла полоса посевов, примятых солдатским сапогом; поникли пригнутые к земле и затоптанные кустики вереска, миллионы живых и готовившихся к жизни существ — личинок, куколок, жучков, травяных вшей, гнезда полевых пташек, чашечки едва распустившихся цветов,— все погибло под ногами прошедшего опушкой отряда. А когда тут же, вслед за пулеметной командой, утомленные лошади провезли орудие,— на месте живого мира осталась затоптаииая полоса земли с глубокой колеей.

И долго еще ковылял по ставшему пустыией живому божьему саду чудом уцелевший муравей-лазутчик пастушеского племени Lasius flavus, ие иаходя более ни друзей, нн врагов, ие узиавая местиости, затерявшийся, иесчастный, малая жертва иачавшейся катастрофы живущего.

Как было приказаио, отряд остаиовился в деревушке. Лаяли и с визгом убегали собаки, солдаты с ведрами и маиерками потянулись к реке, хриплый голос говорил слова команды, кудахтали потревожеиные куры, и ночь опустилась иад землей, ие запоздав ни иа секунду временн.

И загорелись в иебе звезды миллиардолетним светом.

ПЛАНЫ

Программа ласточки, прилетевшей иа Сивцев Вражек из Центральиой Африки и жившей над окном Таиюши, была в общих чертах выполнеиа. Птенцы вывелись, окрепли, иаучились летать и были готовы к самостоятельиой жизии. Забот теперь было мало, интерес к жизни ие так могуч, и главные устремления ласточки и всего ласточкиного иарода сводились к усилеииому питанню, чтобы выдержать осеиью обратный перелет. Искреиие упивалась жизнью только молодежь, еще чуждая страс-

тей, веселая, готовая целый день шнырять, гоняться за мухами, болтать вздор на телеграфной проволоке и на закате ловить в выси лучи уходящего солнца, когда внизу ползут уже сумерки.

Программа жизни непринятно-умного студента Эрберга была сложнее. Он кончал университет, имел в виду остаться при нем по специальности (государственное право) и жениться по чувству и с расчетом. Так как торопиться было некуда, то он мог хорошо и внимательно присмотреться, прежде чем выбрать себе жену среди молоди профессорских семейств. Одной из кандидаток на счастье была Таюша. Поэтому студент Эрберг посещал воскресенья профессора орнитологии; но, держа Танюшу в резерве, студент Эрберг продолжал неспешно осматриваться, вполне уверенный, что недостатка в выборе не будет.

В июле была объявлена война. Среди полумиллиарда людей, житейские планы которых она поколебала, был и непринятно-умный студент Эрберг, только что сдавший государственные экзамены. Как все умные люди, вкусившие от мудрости государственной науки, он считал, что война не может продолжаться дольше двух-трех месяцев. Поэтому, не спеша портить свою карьеру и обеспечивать себе место в гражданском тылу, он поступил в школу прапорщиков. Форма ему шла, офицерская пойдет еще больше. Вынужденный отдых от умственных занятий был необходим. Военная муштровка укрепляла тело. Эрберг сразу научился печатать ногами, рапортовать, держать пояс подтянутым и в полном порядке укладывать на ночь одежду. Он был высок ростом и в ученье стоял фланговым.

Больше всех в Эрберга была влюблена горничная Дуняша, брат которой был на войне с первых дней. Эрберг, как будущий офицер, казался ей существом высшим, недосягаемым; он и был им для Дуняши, и она краснела пятнами от подбородка до кончиков ушей, помогая ему снимать юнкерское пальто. И Дуняша же первая заметила, что с Эрберга не сводит Леночка круглых удивленных глаз. И понятно — он красив, значителен и о военных операциях говорит с тою же уверенностью, как раньше говорил о театре Станиславского и вопросах международного права. Но в форме он милее, еще моложе, ближе сердцу простой девушки.

Если бы Таюша знала, что она — одна из избранниц Эрберга, она бы его боялась; но Эрберг ничем ее от других не отличал, разве — ласковой почтительностью и особым вниманием к старушке Аглае Дмитриевне. Это последнее Танюше нравилось, и к Эрбергу она относилась хорошо. Интересов его не понимала и не разделяла. Но все же молодец, что не захотел укрыться в тылу, как другие, а записался в прапорщики. За это Эрберга в профессорском доме все одобряли, и Танюша была довольна: это — ее знакомый. О Леночкиных чувствах немного догадывалась, но время было такое, когда мало думалось и говорилось о личном, о чувствах, даже о музыке: война захватила всех, об ином и говорить было как-то странно.

У Эрберга была мать, уже пожилая: ее он никому не пока-

зывал — или не приходилось, или расчета ие было. Покойиый отец был из рижских немцев, а мать из московских мещан, совсем иезиачительиая. И у матери были плаиы: пускай все будет в жизии так, как хочет ее замечательный сын. Ведь раньше было в жизни так, как хотел его отец,— и дурного не вышло. Мужчины зиают больше, чем догадываются женщины. И она иосила наколку, вела хозяйство и заботилась о чистоте иаброшеииых иа кресла плотных, добротных вязаиых салфеточек.

Эрберг целовал матери руку. Если бы поцеловала оиа ему — было бы и это просто и естествеино. Когда ои выходил, мать ие спрашивала, куда он идет и когда вернется. Если нужно — скажет и сам.

В планах ласточки был иеспокойиый, беспутный перелет; в плане Эрберга — прочиость и кореиь. Когда Эрберг пил чай, ои ставил свой стакан на середииу блюдечка вериой, спокойной, красивой рукой.

ВРЕМЯ

В подвальном помещении под кабинетом учеиого-орнитолога, в том месте, где в фундамеитальную стену упиралась балка, было иа стеие зелеиоватое пятио, покрытое пухом белой плесени. На сыром каменном полу иасыпался иебольшой валик мельчайших перегнивших кусочков дерева и сырых пылиик извести.

В глазах мышки это пятно было как бы гобеленом. Его грибной рисуиок был замысловат, тонок и многотонен. Тысячи поколеиий работали иад иим. Выпоты сырой гашеной извести пробуждали жизиь в промежутках кирпичиой кладки под слоем штукатурки. Без общего комаидования, как бы без плаиа, шла работа разрушения. Микроскопические существа, любя и питаясь по-своему, вспахивали и унавоживали грибное поле. Они гибли, выделяли тепло и возбуждали деятельность жирной грибницы, взрастившей дремучий лес стройных пальм, вислых ив и цепких фантастических лиаи.

Та же иепрестаииая жизнь и иепрерывная, без часов и минут отдыха, работа согревала деревянную балку. Мягчайший, мельчайший червячок с прочиой стальиой головой сверлил ходы сквозь волокна дерева; уставши — окукливался, становился жучком, клал яичко, умирал. Новый червячок прокладывал новый путь, чертя в древесной мякоти условный рисунок. И мертвое, холодное дерево, когда-то страстно сосавшее землю, когда-то пластaвшее зеленый лист к лучам солнца,— вновь согревалось, дышало теплом миллиона гнезд и мастерских, мечтая о возврате в землю и иовом воскресении в живящих соках.

И деловито, упрямо, блестя шариком глаз, иапрягая мускулы хвоста, серая мышка зубами и коготками отламывала щепочки от толстой доски пола. Эту работу начали ее предки. Был сделан точный иижeнериый расчет расстояний и иаправлеиия.

Расчет уже забыт, но следы зубов и когтей указывали верный путь... Упираясь задними лапами в неровность стены и мякоть щебня, мышка сразу делала два дела: продолжала культурную работу поколений и стачивала слишком быстро росшие зубы.

Шум извне спугнул труженицу подполья. По булыжной московской мостовой переулка, громыхая, проехала телега. Со стены упало несколько чешуек; неубранным сором завалило ход червячка. Лопнула в балке истлевшая ворсинка дерева. Старый особняк профессора задрожал и накренился на несколько линий, незаметно даже для зоркого мышиного глаза. Непросохшая капля вчерашнего дождя залилась между камушком и внешней стеной. На крыше дома лопнул ржавый гвоздик, державший лист кровельного железа. Ласточка под окном выпорхнула из гнезда, продержалась в воздухе, осмотрела глиняные скрепы своего сооружения и, успокоившись, вернулась к оставленным яичкам. Ее дом был нов и крепок.

Профессору понадобилась справка; долго перелистывал толстый немецкий том, потом вспомнил, что в прежних своих работах уже приводил эти цифры. Выдвинул из регистратора коробку, вынул рукопись давнишней работы, стал искать, удивился прежнему выводу: новые данные меняют его. Рукопись была того же формата, как и новая, недавно начатая; и те же линейки бумаги. Но старая бумага пожелтела. И почерк профессора, прежде крупный и уверенный, помельчал, стал неровным, скосился направо. Профессор этого не заметил. Со стены глянула на него молодая жена в платье с буфами на плечах, тонкая в талии, улыбнулась — но и ее он не заметил.

Рядом в комнате старушка вынула из стакана и насухо вытерла челюсть. Вставила, пожевала, приладила и посмотрела в зеркало: впадины щек растянулись, изгладились. Вздохнула и поправила чепчик.

Танюши дома не было. Танюша сидела в большой полупустой аудитории и внимательно слушала лекцию. Профессор с осторожностью, боясь быть слишком крайним, подкапывался под теорию прогресса. Его критический ум требовал круговорота истории. Уходя в глубь веков, он рисовал красивую картину исчезнувшей культуры Востока. И перед удивленной Танюшей, пережившей свою шестнадцатую весну, народы средиземноморского побережья, культуре которых ее учили изумляться в гимназии,— лишь изживали или реставрировали обломки культуры, древнейшей, созданной народами, ранее их пришедшими в мир.

Из глубины веков вставала величественная религиозная система, охватившая своей дисциплиной все стороны жизни, проникавшая в интересы духа и мелочи быта, заполнявшая всю жизнь человека.

Под наслоениями греческой науки и философии, внезапно лишенными оригинальности, проглядывал Вавилон, сияла высокая мысль египтян, иранцев, индусов. Непрерывность исторического развития пресекалась гибелью культур и завершенностью процессов.

В старом профессоре это рождало пессимизм и горечь мысли; в юных душах рождалось иное: восторг перед прошлым, уважение к отдаленному предку, не просто человекоподобному, а мыслителю, поэту, великому политику.

Из развалин древности пробивался новый источник жизни, мысль стремилась к новому возрождению.

Но и старому и юным одно было ясно: крушеиие цеииостей, хотевших быть абсолютными, шаткость здаиия сегодняшнего быта, близость грозы, сгустившейся над иовым Вавилоиом.

Танюша слушала профессора, внимательио иаблюдала, как с носа его постоянно спадало золотое пенсне, глядела в прошлое, чувствовала будущее и росла. На нежном мозге быстрыми штрихами зачеркивались записи детской думы и простых верований, каракульки ребяческих дневников исчезали под скорописью новых слов, и капал деготь мысли в мед сердца.

Танюша слушала, и рот ее был полураскрыт.

СОЛДАТЫ

С барским особнячком иа Сивцевом Вражке очеиь малым был связан брат Дуняши, Андрюша, рядовой Колчагин, пехотинец.

Этот жил до призыва в деревне, а война застала его на двадцать третьем году жизни. Не оглянулся, как оказался в окопах, а скоро снялись и начали отступление.

Впрочем, шли ли вперед, шли ли назад,— рядовой Колчагин не знал. Неприятеля близко не видал, а только ухом слышал. Из-за чего война — понять не мог, а что приказывали,— делал аккуратно. Был выносливый, пищей доволен. Как нежеиатый и без своего хозяйства, по деревне скучал меньше других. Утомившись, спал; мог и выпить, когда было иа что или когда угощали. Офицеров, которые ие дрались, уважал; которые дрались — еще больше, считая именно их настоящими.

Таких же, как он, были еще тысячи и еще миллионы,— постарше, помоложе, поглупее, подогадливее. В массе они были великой военной силой, по отдельиости — Иванами, Василиями, Миколаями из деревни Вытяжки близ села Крутояр. Верст за тысячу и за две от их деревни были местечки с каменными стройками и богатыми запасами навоза: Блаукирхе, Иоганнисвальд. Солдаты из этих местечек носили медные каски, были грамотнее, понимали больше и лучше маршировали. Но, грозное войско — вместе, по отдельности они были Гансами, Вильгельмами, мелкими хозяйчиками, батраками, рабочими. Еще дальше к западу жили и ушли иа фронт Жаны и Базили из местечек Масси и Бьевр; южнее — из живописного прибрежиого Пьеве ди Кастелло и горного Рокка ди Сант Антоиио, где женщиины провожали молодых Джованни, Джузеппе и Базилио. Новобранцы, особенно при женщиинах, держали себя браво и героически; в душе их была бессмыслица, прикрытая робким

недоуменнем. Но было придумано много простых, легко произносимых слов и довольно красивых оборотов речн, одинаковых на всех языках, для замены и облегчения мыслн. Придумыванием таких слов были заняты адвокаты с малой практикой, старавшнеся через журнализм попасть в парламент. В том, что все это хорошо, честно и даже умно, были искренно уверены многие хорошие, честные и умные люди, и это придавало настоящий вес войне н патриотизму.

Под зданиями дипломатических кладбищ были проложены канализационные трубы, по которым гадкая жидкость текла в центральную клоаку, а оттуда на поля орошения, где росла прекрасная цветная капуста. Таким образом, путем тщательной очистки, чинновная ложь и мерзость на последнем этапе превращалась в красоту храбрости и чистую слезу. Люди же ограниченные говорили о простом обмане, что было несправедливо: обман был очень сложен н величествен. Поэтому люди с узкими лбами стали пораженцами, мудрые же отошли от жизни, одни — на долгие годы, другие — навсегда.

Между теми н другими, и еще третьими, н четвертыми, н всеми остальными разница была так мала, так незаметна, что судьба решила, не копаясь в мелочах н из опасения возможной ошибки, всем им уготовить одну н ту же участь. Она взмахнула бичом н на всех телах оставила красный, неподживающий рубец.

Да. Но дело в том, что было нечто гораздо важнее таких рассуждений, а именно вопрос о рубашке н штанах. С казенными как-то сразу вышла замнпка, а походных бань н совсем не было. Иметь же свою, домашней работы рубаху,— это совсем особенная вещь, этого в двух словах не расскажешь, но разумному и так понятно. Если баня была светлой Пасхой, то рубашка — воскресным днем, вроде воздуха после душной барачной землянки. Поэтому Андрей напнсал Дуняше письмо, которое прошло нужную цензуру, дошло до кухни на Снвцевом Вражке и попало в столовую профессора.

Читала письмо Танюша, обсуждали все, а Дуняша старалась прикинуть, сколько обойдется послать братану рубашку, если сошьет ее она сама.

После обеда в кухню пришла Танюша н дала Дуняше денег, гораздо больше, чем было нужно, сразу на две рубашки н на штаны. Танюша стеснялась, а Дуняша была бы рада, если бы только могла понять, почему господа дали ей денег на нужду брата. Жила давно, считала их добрыми, дарили часто, очевидно ценя ее службу. А почему дают на рубашку Андрюше, не так понятно. И Дуняша взяла как подарок себе.

Теперь стало проще. Дуняша купила добротной материи, шила вечерами, сшила н послала. Танюша узнала ей, как переслать Андрею на фронт, сама все надписала. Написала н письмо. И было Дуняше так странно, что вот из этой кухни пойдет и письмо и рубашка прямо на фронт, где Андрюша стреляет в немцев.

Так и случилось. Прошло с месяц, и опять почтальон принес солдатскую весточку: Андрей рубашки получил, как раз впору; с неприятелем же мы скоро справимся. Ганс писал тоже своей жене в местечко Блаукирхе. Но лучше всех написал письмо красавчик Джованни из Пьеве ди Кастелло — свой невесте. Он посылал ей mille baci [1] и в самом конце приписал:

«L'amor è invincibile, come la forza italiana» [2].

Впрочем, его отряд стоял пока в окрестностях Вероны. Но не в том дело. Открытка была красива, а в левом углу — Савойский герб. Розина показала подруге, и обе были в восторге.

Ложась спать, Розина письмо положила под подушку. И заснула она только после долгих вздохов. В своей деревне она считалась самой красивой девушкой.

У ТАНЮШИ

В день рождения Танюши (17 лет!) Сивцев Вражек до утра слушал музыку, но не Эдуарда Львовича, а приглашенного тапера. В доме профессора, таком штатском, таком солидном, впервые появилась военная молодежь, и сразу много,— офицеры, больше юнкера, и только один Белоушин — вольноопределяющийся. Дуняшин брат Андрей был в отпуску, на побывке после легкой раны, и помогал ей прислуживать. Он говорил Дуняше:

— Здесь што! У нас на фронте, в штабе, не так еще отплясывают. И музыка — всем музыкам музыка, потому что полковой оркестр. А здесь што!

Перед офицерами Андрей стоял навытяжку, к юнкерам становился боком, вольноопределяющегося совсем не замечал,— когда подавал чай.

Самым блестящим офицером был Стольников, совсем молодой офицер, но уже поручик, произведенный на фронте. Здоровый, стройный, загорелый, умница, неплохой танцор. Лучше его танцевал только Эрберг, еще юнкер, но уже перед выпуском. Если сердце Леночки колебалось, то только Стольников мог отвлекать его внимание от кумира давнего. Стольников был прямее и проще, но Эрберг привлекал серьезностью и загадочностью. Леночке на вечере в Сивцевом Вражке было весело, и ее брови меньше обычного удивлялись.

Стольников на днях возвращался на фронт — с охотой. В Москве он был по делам, командированный по закупке лошадей. К фронту он уже привык, здесь чувствовал себя гостем. Он был артиллерист, нанюхался пороху, имел что рассказать, сжился с батареей. Ему казалось, что жизнь сейчас там, а не здесь. Но и здесь хорошо, когда весело, когда не говорят пустяков о войне, которой не понимают.

---

[1] Тысячу поцелуев (*итал.*).

[2] «Любовь непобедима, как сила Италии» (*итал.*).

Эрберга скоро могли отправить на фронт. Теперь уже всем ясно, что война затянется.

Были студенты: медик Муханов, юристы Мертваго и Трынкин, естественник Вася Болтановский. Этот — большой приятель Танюши, энтузиаст, верующий, театрал, любитель музыки. По мнению Васи, с которым Танюше было легко и свободно говорить, мир немножко сошел с ума, но это не беда, а очень интересно.

— Мы увидим такие вещи, такие события, что сейчас и не придумаешь. Очень интересно сейчас жить, Танюша!

Вася Болтановский был любимцем старого орнитолога, который знал отца Васи таким же пылким и жизнерадостным студентом. Васю единственного профессор, со всеми изысканно, по-старинному вежливый, называл на «ты», любя брал за вихор и отечески ласкал.

— Жить, милый мой, всегда интересно, и никаких для этого особенных событий не требуется, а уж вернее — наоборот. Такие-то события только мешают внимательно читать книгу природы. Ты вот естественник и должен это лучше других знать. Войну лучше в микроскоп разлядывать, разницы никакой нет. А уж жить лучше в мире.

Вася возражал:

— В микроскопе козявка, а тут человек. И я не о войне одной говорю. Тут, профессор, весь мир вверх тормашками... Не успеет война кончиться,— такие начнутся дела... прямо жутко и весело.

— Жутко, да не больно весело. Убьют тебя — матери твоей не больно весело будет. Нельзя, Вася, так говорить! Ты кровь учти, кровь. Цена какая!

Вася задумчиво говорил:

— Да. Это — да. Вот с этим мириться трудно. Если бы не кровь...

Медик Муханов, еще не сдавший курс остеологии, вставлял солидное мнение:

— Без крови, профессор, операции не бывает.

На что получал от профессора, не любившего медицины:

— Ну, положим, бывают операции и без крови; если вы себе челюсть свихнете, вас врачи резать не станут. А главное — живет весь мир существ без медицинских операций, живет не хуже нашего, и гордиться нам нечем. Насильственных вторжений в мировую эволюцию природа вообще не терпит; она мстит за это, и жестоко мстит.

Танюша думала, что дедушка прав лишь постольку, поскольку он — добрый, и поскольку убийство человека отвратительно. Но ведь война не совсем простое убийство, и разве существует «мирная эволюция» природы? И там скачки, и там войны, революция, борьба. Дедушке хочется, чтобы все было просто, мирно и хорошо. Но в действительности бывает совсем не так.

Но тут уже начинался вопрос, на который ответа Танюша не имела.

О войне было мнение и у Дуняшиного брата Андрея. Он излагал его на кухне Дуняше в таких выражениях:

— Человека я наверное убивал, хотя и не своими руками, а, конечно, пулей. А доведется — и штыком пропорю. И, однако, я не убивец, а я воин. Воюем же мы, Дунька, для прнчин государства, а не для себя. Мне на немца вполне наплевать, хоша я его и должен ненавидеть, так как через него страдаю по долгу прнсяги. Прнказывают, и идем без сопротивления для прннятия ран и даже смерти. А чтобы хотеть мне войны — я ее хотеть не могу, а совсем даже не желаю, прямо тебе говорю. И, главное дело,— вши! Почему я их кормить должен? А, между прочим, кормим. Это надо понимать.

На вопрос же профессора «когда вы немцев победите?» Андрей ответил молодцевато:

— Так точно, обязательно скоро их прикончим во славу Отечества. Иначе невозможно.

И покосился на молодого боевого офнцера. Тот сказал: «Молодец, пехота!», а Андрей выпалил: «Рады стараться, ваше благородие!»

Все рассмеялись, юнкера позавидовали, а Леночка окончательно решила, что сегодня Стольников нитереснее Эрберга.

Андрей, проходя в переднюю, как бы невзначай задел локтем вольноопределяющегося. Дуняше же на кухне заявил:

— Только один и есть наш, заправский; а которые прочие — так, шаркуны, пороху не нюхали.

ТАПЕР

В углу гостнной, на низком кресле, некрасиво подобрав ноги и сильно горбясь, сидел Эдуард Львович, нечаянно забытый всеми и, конечно, самый неинтересный в этот день человек. Он невольно морщился, слушая, как тапер барабаннл по клавишам рояля, и душою болел за инструмент.

Он не мог не прийти на вечер Танюши в такой ее торжественный день (17 лет!). Теперь можно было бы и уйти, не ожидая ужина, но Эдуард Львович не решался.

Из своего уголка он видел мелькавшее платье Танюши, иногда ее прекрасную русскую головку, с гладко зачесанными волосами. Таня расцветает и должна стать крупной и красивой женщиной. Она очаровательна не одной юностью: она по-настоящему хороша. Она так же хороша, как жалок и некрасив сам Эдуард Львовнч. Она молода, он — скорее старик. Он талантлив, и это не дает ему ни перед кем преимуществ. Даже Вася Болтановский, курносенький, вихрастый, смешной, имеет шанс перед Эдуардом Львовичем, потому что Вася Болтановский молод и смел. Он обнимает Танюшу за талию и кружит по зале. И Танюша близко дышит на Васю. Тапер барабанит по клавишам, и это мучительно.

Вошли в гостиную студент Мертваго, тонкий, старообраз-

ный, бритый, и с ним барышня, фамилин которой Эдуард Львович не знал, так как ее просто называли «невестой Мертваго». Она была лишь годом старше Танюши, но уже казалась молодой дамой: спокойная, изысканно одетая, говорили — богатая. Студент Мертваго кончал университет в будущем году. Значит, через год он наденет фрак и будет говорить: «Господа судьи и господа прнсяжные заседатели», а по вечерам перелистывать деловые обложкн с фамилией патрона. Призыв его не коснется — единственный сын. Ему везет, студенту Мертваго!

Но ему Эдуард Львович не завидует. В сущностн, и Васе он завидует только сейчас, когда тот танцует с Танюшей. Эрбергу гораздо чаще н больше. Эрберга Эдуард Львович немного боится: Эрберг умен н расчетлив. Но как странно, что он будет офицером н пойдет на войну. Может быть, Эрберг просчитался?

Профессор отыскал компознтора:

— Хорошо это, когда молодежь веселится! Шли бы и вы танцевать.

Эдуард Львович потер руки:

— Да. То есть нет. Я уже не могу! Но я смотрю с удовольствием.

— Танюша у нас растет!

«У нас» прнобщало к семье н Эдуарда Львовича. Понятно: он — музыкальный воспитатель Танюши. Эдуард Львович покосился на бороду профессора н увидал широкую н радостную улыбку. И тогда он решил, что сейчас уйдет домой. Но никак не мог найти фразы на эту тему н не знал, своевременно ли об этом говорить. И только еще раз потер руками. В эту минуту тапер неприлично сфальшивил н оборвал танец.

Профессор перевел глаза на будущих супругов Мертваго, подошел к невесте, похлопал по плечу студента, не придумал для них ничего, кроме «ну, так как же? Ага, ну-ну», н грузно направился в столовую, где Аглая Дмитриевна строго осматривала прнборы: все ли на месте, верен ли счет, разложила ли Танюша бумажки с фамилиями. С собой Танюша выбрала посадить Васю н Эдуарда Львовича. Старнки не ужинали. Однако профессор, подойдя к столику, выпил полрюмки водки н закусил грнбком. Это согрело его н развеселило. С некоторой завистью взглянул на накрытый стол, вспомнил о катаре, сказал жене: «Ну, бабушка, ты захлопоталась», поцеловал ее сморщенную руку и хотел пройтн в кабннет. Но на пороге остановился н вернулся. Опять подошел к старушке:

— Смотрел я, бабушка, на Танюшу нашу. Танюша-то, знаешь, ведь растет у нас, а?

Аглая Дмитрневна посмотрела на мужа, считая в памятн, сколько не хватает вилок. Профессор похлопал ее по щеке, н бабушка забыла счет. Профессор опять сказал:

— Семнадцать, а? Не шутка! Танюше-то нашей. Внучке-то!

И тут доброе лицо Аглан Дмитрневны озарилось улыбкой. Может быть, вспомнила, что н ей было семнадцать; может быть, вспомнила, сколько нужно еще вилок. И смотрели друг на друга,

старенькие такие. И вдруг из глаз профессора, прямо иа бороду, упала капля. Смутился, заспешил, зацепился пуговнцей сюртука за старухиио кружево, сказал: «Э-тэ-тэ-тэ, какая штука! А я сейчас грибком, зиаешь, закусил».

И оба, совсем малеиькие старнкашки, вытирали друг другу глаза. У Аглан Дмитрневны ротик собрался в морщины, а капля с бороды птичьего профессора попала иа сюртук; бабушка замочила в ией руку.

В обход залы, тайком через столовую, бочком в переднюю выбрался Эдуард Львович. Там долго, волнуясь, искал свое пальто в куче шинелей,— рыжеватое пальто на клетчатой подкладке. Потом приоткрыл дверь в кухню н унижеиио попросил:

— Дуняша, вы бы не отказали запереть за миой двери...

— А что, барин, ужииать ие остаиетесь?

— Да. Нет, благодарю вас...

И до самого поворота за угол энергичный тапер преследовал робкого композитора.

ВИДЕНИЯ

Солдат Андрей Колчагин, Дуняшни брат, был ранен на войне — очень легко. Пуля чиркнула по его голове, сорвала кусочек белобрысой щетины и улетела дальше; может быть, зарылась в землю, а может быть, в чье-нибудь сердце. Они шли тогда в атаку заннмать австрийский окоп. Ничего, заияли. Но Андрея Колчагина подобрали санитары, так как он упал, ие то от потери крови, ие то от контузни.

Рана зажила скоро, а в лазарете Андрей лежал больше из-за головиой боли: ие давала она ему покоя. Ииой раз выл, ииой раз ие мог пошевелиться. А как полегчало, получил отпуск. И в Москве, иа отдыхе, совсем поправился. Жил иигде, спал у Дуняши иа кухие, а она в своей комиате. Питался же с профессорского стола и очень был благодареи. В чем мог, помогал по хозяйству, ходил по порученням. Отпуск имел месячный.

Одно осталось от болезни — иеровный сон, ииогда кошмары. Особенно если выпнвал лншиее. Вообще же Андрей Колчагин ие пьяиствовал, так — ннногда, в праздник. Да и вниа в продаже ие было, зиачит — от случая к случаю.

Проснулся Андрей иочью от свонх слов; ясио и браво сказал: «Так точно». И колотилось в левом боку о тонкий тюфяк на полу, как пулемет: ие скорей, не тнше, и так же громко. И сон сразу улетел.

Он уже к этой болезни привык. Лежал между сиом н несном, о чем-иибудь думал. В лазарете вот так лежал рядом с вольноопределящимся, нз господ, н чего только тот ие иаговорил Андрею: голова замечательиая, до всего дошел! И иасчет жизни, и про войну — что, может, ее совсем и ие нужно, и про разиые обмаиы,— про все говорил смело, потому что у иего отрезали ступию, и ему все равио было — иечего жалеть. По тому

самому Андрей ему и не очень доверял, тем более что из господ, бывший учитель. Но слушать — слушал.

Теперь Андрей, лежа один, ничего из этих разговоров не мог вспомнить; только вот одно, что, может, войны никакой и не нужно, а только обман. Голову солдату морочат. И вши на фронте едят до невозможности. Все это, одиако, за отечество. А почему бани нет? И как затявкает пулемет,— вот, как сейчас, на левой стороне, под боком: ту-ту-ту...

Затем думал Андрей о сапогах; и вообще о сапогах, и о новых, и франтовских в особенности. Вспоминал разные сапоги, какие видал. За офицерские сапоги (носить в тылу на праздниках) отдал бы он, пожалуй, пол-отпуска. Однако в окопах они совсем ни к чему.

Затем о кухне думал, но немного. Что мыши бегают, что Дуняша во сне сопит носом, что жареным луком пахнет и что не хочется встать и пойти до ветру. А пулемет под боком выводил свою песню, и на лбу Андрея был пот. Что это за болезнь такая, не проходит?

Отчего-то начал думать про своего ротного,— и уж до чего же его не любят солдаты! Другие офицеры — туда-сюда, всякие бывают, а вот ротный — зверь, и совсем не человек. В деле храбрый, ничего против него не скажешь, ничего и не боится, а вот в ученье или так,— ну не человек, а как волк! Один глаз раскосый, орет на всякого и дерется. Нет хуже офицера, который дерется зря, от злости.

И вот тут начался у Андрея кошмар. Будто ротный бьет Андрея, и будто Андрей его тоже бьет. А бьет ни по чему, по воздуху, никак попасть не может. И страшно Андрею, и уж никак нельзя остановиться, все равно пропадать, так уж было бы за что. У самого теперь от злости в груди скачет, из гимнастерки выскакивает. Левой рукой Андрей впихнул обратно сердце, держит, а правой в морду ему, в морду, промежду глаз раскосых,— и все мимо. Выходит — пропадать приходится ни за что; это ему всего обидиее: так и не отведешь душу на офицерской морде с усами. А у ротного кривой глаз еще смеется, никогда раньше не смеивался.

Попробовал Андрей проснуться — слава тебе, Господи! Ничего нет, и, однако, стоит он перед взводным, а тот его деревянной ложкой по левому боку: раз-два, аз-два, аз-два; ложка-то казенная, насквозь и прошла. Больно не больно, а обидно. И опять растет злость у Андрея, и опять перед ним ротный, и та же скверная история. Схватил его Андрей за горло, под воротником, мнет,— а горло мягкое, как тряпка, ничего не выходит. Ротный ворочает глазом, а из горла сипит: «Расстреляю тебя, сукинова сына». Хвать рукой за ложку, и выдернул ее из Андрея вместе с мясом. Ахает Андрей и просыпается — опять весь в поту.

Перелег на другой бок. Сосед, вольноопределяющийся, прижал ноздрю, сморкнул и говорит простым голосом: «Вся война ни к чему, а ротного мы сейчас будем на куски». Взял простыню,

будто это ротный, и начал рвать и складывать, рвать и складывать. И подумал Андрей: «Вот то-то, сам ты — барин, тебе все игрушки». Тут засвистало, и — чирк его, Андрея, по голове. Закричал он нехорошее выражение и проснулся опять, уже теперь совсем проснулся.

Было за окном светло. Большая муха звенела в стекло, а голова у Андрея побаливала. Из крана помочил затылок, так и фельдшер советовал, прогулялся до ветру, а на будильнике часов шесть — седьмой. Решил Андрей больше не ложиться — все равно скоро подыматься. Натянул штаны, накинул гимнастерку и вышел за ворота, где дворник подбирал на мостовой на скребку и сыпал в ящик. А Андрей смотрел, без особого любопытства, но с сочувствием. Хотя был он кавалер, но в дворницкой работе ничего низкого не видел.

Потом постоялн, покурили. Дворник сказал:

— Нынче рано поднялся.

— После лазарета сна нет настоящего.

— Сколько ден осталось?

— Завтра последняя неделя пойдет. И опять вшей кормить.

— А как, охота, неохота?

— Чего ж, и там люди. Вот только кабы знать — может, вся эта и война ни к чему.

Дворник, двадцать лет служивший при доме, подумал и авторитетно заметил:

— Это, брат, дело не наше. Нам этого знать нельзя. А как в Расее неприятель, то, значит, и воевать приходится.

Андрей сказал:

— Кровь-то, чай, наша.

— А что такое наша кровь? Кому тебя нужно? Скребком да и в ящик. На том свете разберут.

Голова Андрея побаливала. Все же пошел принести Дуняше охапку дров для плиты.

День был — понедельник — тяжелый день. Туго просыпались на Сивцевом Вражке.

DE PROFUNDIS [1]

Сталь, медь, чугун,— таково его крепкое, холеное тело. Его ноги скруглены в колеса, в жилах пар и масло, в сердце огонь. Он стоит неподвижно.

Затем он охает всей грудью и кашляет короткими срывами. Дрогнул он — дрогнула, звякнула, ожила вся цепь вагонов. Над ним клуб дыма, в его груди копошится его нянька, паразит и ласкатель, чернолицый, промасленный кочегар. Еще пищи огню, которым он дышит! И вот он уже далеко.

Громадный, круглогрудый, мощный,— вдали он превратился в головку гусеницы, ползущей по земле. Он приручен и деловито

[1] Одна из частей заупокойной католической мессы (*лат.*).

тянет за собой все, что доверено его силе. Охает, насвистывает, спешит, боится потратить лишнюю минуту, улетающим гулом встречает на пути таких же вечных тружеников, везущих свою долю. Все они — железные рабы человека.

В теплушке, перегруженной живыми телами, он увез на фронт рядового Колчагина. Теперь везет в классном вагоне молодых офицеров; среди них расчетливый, неприятно-умный Эрберг, в новенькой форме, серьезный, всегда загадочный для влюбленных Леночек. Эрберг смотрит на стрелки часов и считает стуки поезда.

Две минуты верста — медленно! Окна бегут мимо столбов с пометкой. Большой столб и четыре промежуточных камня с меркой пройденных сажень. Ти-та-та, та-та-та. А что, если Эрберг не вернется? Расчетливый юноша, вы знаете свою судьбу? Пуля знает свой путь, человек идет грудью ей навстречу, не видя ее полета. А что, если Эрберг вчера в последний раз видел Москву,— и башни кремлевские, и Сивцев Вражек? Ти-та-та, та-та-та. Как это странно! А ведь возможно! Эрберг спрятал часы и застегнул френч.

Толчок. Прирученный гигант остановился, хлебнул воды, разжег новый огонь, вздохнул паром. В вагоны и теплушки спешно карабкались солдаты; за плечами ранцы, в ранцах домашние сухари, у кого и нога баранья. И куда спешить! Ведь там убьют! Вот здесь едет в классном вагоне офицер,— а там поле, над полем небо, на поле тело, прорванное осколком; и то тело ехало так же, тем же путем и с надеждами теми же.

Солдат, швырнув в теплушку ранец, карабкался левой коленкой, а правая нога болталась, такой неуклюжий, чистый мужик! Эй, смотри, не опоздай, служивый, с побывки! Поторапливайся, доживай деньки! Получай Георгия за храбрость и ведро извести на гнилые раны, чтобы и рот залепило, чтобы и на том свете не жалобился; сверху бугор земли и общая солдатская панихида. А ранец? А куда же денут твой ранец? Гложи скорее баранью ногу,— эх, вы, солдаты, головы бараньи! Но вот ведь и умный человек, расчетливый барин, едет в одну с вами сторону, и везет вас один паровоз. Может быть, мир и действительно сошел с ума? И опять тронулся поезд.

Паровоз отвез этих, а назад вернулся с грузом нежным: коверканные тела человечьи. На десять человек — пятнадцать ног; хватит! У кого дырочка в спине, пониже лопатки,— насквозь, под соском вышло. Кашляет, значит, жив. А тот слепой — значит, тоже жив; зрячих на земле не осталось.

Входят в поезд дамы с красными крестами, несут чай, махорку, цветы. И тому, что с дырочкой в груди, достался букетик полевых колокольчиков — за чин его офицерский, за молодость и отвагу. А вдруг бы он вскочил и из последних сил — стал душить, душить, бить костылем по красному кресту, по здоровым женским грудям, плюская их деревянным молотом: это за букетик-то! Но улыбаются раненые: у сестер на губах

умиление и мед. А так мало меду вкусили молодые воины, которых везет обратно поезд!

Сбыл их, сбросил на конечной станции,— и назад без устали. Теперь тащит груз немалый: пулеметы — убивают, противогазы — чтоб не убили, снаряды — убивать, медикаменты — чтобы не умереть, бомбометы — убивать, повозки — для раненых... Что еще? Мясорубка где ж? Чтобы в одном котле порубить и прожать сквозь железное сито вместе Иваиовы мозги и Петровы сердца? Где сера и смола, чтобы сделать факелы из людских туш,— жить будет светлее? И еще железная кошка с круглыми когтями: заводить в глазиые впадины и рассаживать черепную коробку в осколки и клочья. Вместо них везут бинт — перевязывать малую царапину: бедный солдатик щепал лучину и иапорол мизинец; занозу вынули, йодом, ватки, сверху бинтом — получилась куколка. А если он возропщет? И вы думали, что солдаты остаиутся на фронте, когда повеет в воздухе свежим? Да! Мир сошел с ума! От ума приключилось ему злое горе. Но не всякий обязаи быть умным: захотелось в цари дураку...

Довез и эту кладь. Везет назад вагон почтовый,— от Миколая Дарье, с поклоном и всем соседям. «А я ничего, здоров». Письмо бежит на колесах, а тот, что писал письмо, кричит вдогоику из-под земли: «Стой, подожди, я помер». К Дарье от Миколая иовый приказ: «долго жить». А сам Миколай жил недолго, очень недолго,— зарыт в землю по двадцатому году.

Есть и от Эрберга два письма, одно — матери, другое — на Сивцев Вражек. «В деле еще не был, но вообще обо мне не тревожься. Все это не так страшно, как кажется».

И Танюше: «Мой привет Вашему дому. Часто вспоминаю Ваши музыкальные воскресеиья. Все это кажется таким далеким... И полон надежды еще ие раз услышать, как...»

Полон надежды? О, Эрберг! О, расчетливый Эрберг, вы слышите гудящий свист,— вам еще это ие зиакомо? О, Эрберг, отклонитесь в сторону, бегите, Эрберг! Бросьтесь на землю, закопайтесь в нее головой, глубже, глубже. Чего вы стыдитесь: солдаты так делают. Ваша поза может стоить жизни, а ведь вы расчетливы. Недолет? Да, но вот опять гудящий свист! О, Эрберг!

В тот день на Сивцевом Вражке Эдуард Львович играл De profundis.

ОТЛЕТ ЛАСТОЧКИ

Невысоко в небе тучкой летели ласточки из России в Цеитральную Африку — только иа зиму, чтобы там переждать холод и опять вернуться.

Родниой их была Россия, она же и страной любимой. На ее полях, под окнами было лучшее: пища, приют, любовь; на чужой стороне только отдых. Но на родине слишком мало солнца было зимой, сердце ласточки могло обратиться в кусочек льда; и слишком губительно жгло солнце летом в Центральной

Африке — как бы не сгореть от его ласки. Были и другие причины перелета белогрудых птичек, но человеку о них знать не дано, даже тому старому профессору, над окном которого осталось прочное гнездышко из московской глины.

И по пути видели ласточки со своих высот:

По зеленому фону — нити рек и прохладные пятна озер. Как кучки мусора — города и городочки, и вокруг них реже лес, скуднее зелень полей, точно дыма и грязи их чуждается природа, уходит подальше.

Еще видели — низко пролетая — спокойного пахаря за спокойной лошадью и за ним след поднятой земли.

Еще видели быстрый бег поезда по двум нитям железа, и ход автомобиля по серой укатанной дороге,— но лет ласточек был быстрее.

Еще видели, как огромным червяком ползли отряды солдат с двух сторон к одной границе, где была взрыта земля и где червяки таяли и исчезали.

Случилось, что в небе появилась птица небывалой величины и грозно и нудно гудевшая, а вокруг нее мячиком скакали белые и желтые клубочки. В один из таких желтых клубочков, отставших в небе от чудной птицы, влетели несколько ласточек и тотчас, сжавши крылья, комочком упали к земле. И ближние к ним отуманили головки ядом, который человек послал в небо.

Но все это только мелькнуло при быстром лете; с высоты же земля была прежней, и мало на ней заметен человек. Только зелень и серь полей исчертил он прямыми чертами, разметил малыми квадратами.

Летели ласточки над морем и сверху видели море до самого дна. Как малый листок на пруду, ветром гонимый,— плыли по морю корабли, один за другим, и малость их на огромном море говорила не о могуществе, а о ничтожестве человека. На один корабль опустились в пути усталые птички. Было темно, глаза их не видели.

Когда утром ласточки поднялись, чтобы лететь дальше, в глубинах морских появилась странная, неуклюжая рыба, подплыла к кораблю, поднялась на поверхность, выплюнула и погрузилась обратно. Тогда содрогнулся воздух с такой силой, что едва не перебил крылышек пернатым путницам. А затем корабль накренился и тихо пошел ко дну. Все это ласточки видели, но не поняли, да и не задумывались, зачем рыба потопила полный людей корабль, мирно шедший по морю.

Затем летели ласточки над песками, зная, что цель их близка, и считая свои потери.

А потери их были страшны. Проводник завел их в пути отдохнуть на берегу Сицилии. И вот с ночи вышли на берег люди с корзинами, сетями и палками и стали избивать малых птичек. Много тогда погибло. Мягкие, вялые птичьи трупики уносили с берега корзинами; многих потоптали и оставили чернеть на песке, когда уцелевшие птички улетели на рассвете.

К страшному делу людей отнеслнсь ласточкн, как отнеслнсь бы к урагану илн подкравшемуся невзначай убнйце-морозу: кто спасся, тот благословлял жизнь н воспевал солнце.

И на путн ласточек блеснул первый оазнс, встреченный нх веселым — чнррр...

УХОД ЧЕЛОВЕКА

Когда ласточкн улетелн с берега Снцилин, оставнв много мертвых, растоптанных соплеменнпц,— одна нз несчастных, с подбнтым крылом, не могла следовать за стаей. Здоровым крылом она била воздух, подбрасывая от землн усталое тело н вытягивая шею в сторону полета подруг. Ее «чнррр» было неслышным шепотом, ее страданье к сумме мнрских страданнй не прнбавило ннчего.

Когда солнце поднялось выше, ласточка затянула глаза снневатым пологом н стала часто глотать горячнй воздух. Когда снова склонилось солнце — ласточка умерла. Это была — та самая, что под окном дома на Сивцевом Вражке трн весны подряд устилала новым пухом старое гнездо. Та, что вндела человеческую девушку Танюшу с кувшнном в руках над голыми плечамн, что слаще щебетала для старого профессора, чем кукует его кукушка. Это была та ласточка, что склюнула под самой крышей точившего балку червяка.

И лежал в лощине, поодаль от нскрошенного снарядамн леса, в ста верстах от своей граннцы, но на чужой земле — как будто не вся земля наша! — тяжко раненный человек в форме прапорщика. Осколок шрапнели пробил ему грудь, засорнв рану клочком бумаги, где красное залило снннй штемпельный оттнск н ненужное больше слово «Эрберг».

Он был еще жнв, неприятно-умный в жнзнн н расчетлнвый человек. Но уже не был больше расчетлнв н был близок к мудростн. Однм неконтуженым глазом смотрел в мутное от слезы, воспаленное небо, пальцамн целой рукн скреб в корнях трав. Ухо его ловило стон, слышный близко, знакомый, свой; а потом стон переходил в хрнп, в груди булькало, н чужое тело охватывал уже не первый холод. Было лн жнво сознанье — знал только тот, чье нмя застряло в слипшейся ране.

Мышь, высунув нз норы голову, повела усамн н скрылась, учуя недоброе. Недоброе могло быть хнщной птицей, могло быть голодным волком. Сегодня н птицы н волки будут сыты.

Жук с золоченой спиной, точно н он в офнцерском чнне, вяло н без дела прополз мимо. Он нскал, куда спрятаться на знму, думая, что выжнвет; но его часы былн сочтены.

Солнце взошло, поднялось, посмотрело хмуро н плавной малой дугой ушло под землю, оставнв красный след.

У Эрберга была в Москве мать, старая н робкая женщина. Она не знала, что матерью ей осталось быть не больше часа.

Все это было просто, обычно, одинаково нужно н ненужно. В учете утрат мнра — нуль, в учете жнзнн одного — все. Но

все — пока последнее дыхаиие еще колеблет воздух иад сухими сииимн губами.

И вдруг из точки, где спряталось живое созиание, борясь за себя и ие желая гасить свой светильник,— вспорхнула мысль и ласточкой унеслась к иебу. Центр мира перестал быть центром, мир потерял опору, закружился и унесся за мыслью. В то же время с легким треском электрической искры в одной бывшей жизни мгновенно порвались все нити мечтаний, сомнений, привязаииостей, и все стало ясио, и все стало просто, и мягко зашелестели бристольские листочки распавшегося карточиого домика.

Проще и лучше, чем стало теперь, ие мог бы придумать мудрейший человеческий ум. Оставалось только убрать, скрыть землей, общим покровом, оболочку житейской гордыни, тело без имеии, рану без боли, бурый кусочек бумаги без реальиого зиачеиия.

Тогда зажглась в иебе звезда, огляиула поверхиость земли, иашла лежащее тело Эрберга и отразилась в его открытом мертвом глазу,— отразилась бледно и иехотя, как бы по долгу службы и уважения к ушедшему из жизни. Скоро звезду — до завтра — закрыло облако.

САМЫЙ НЕРАЗУМНЫЙ ЗВЕРЕК

Возможио, что воеииые историки уже установили или могут устаиовить, по чьей команде и чьим легким движением пальцев взвился и разорвался в небе первый сиаряд мировой войиы.

Возможно, что первый выстрел был слабым ружейным; быть может, это был залп — и иельзя решить, как звали первого братоубийцу.

И точио ли выкупалась в свежей крови первая пуля и раздробил кость осколок первого снаряда или они, пролетев положеиие, смущенно зарылись в землю? Какое бесцениое поле для изыскаиий! Сколько дал бы за этот малый свииец и чугуи американский коллекциоиер!

Как имя первой осиротевшей матери? Поставлеи ли ей памятиик с фоитаиом — фонтаиом слез? В чьем альбоме красуется марка первого письма, иаписаииого солдатом с фроита? И первый стои раиеиого записан ли граммофоиом? Веревкой ли задушеио или камнем придавлеио первое открытое, вслух брошениое проклятие?

Отныие впредь иа миого лет иичья ищущая мысль, иичье живописующее перо ие запашет и ие взрастит поля без красиых маков войны.

Отошло в далекое прошлое время василька и полевой астры. Земля дышит злостью и сочит кровь.

Там, где ие растет красный мак,— там спорыиья иа колосе и красный гриб под шепчущей осииой. Багряиы закаты иа море, пылающими струйками стекает кровь по столбам сеВериого

сняния. И воспомннанье не черной мухой, а насосавшимся клопом лнпнет к нечнстой совестн.

А между тем все это не так, природа не изменилась. В тот день, когда началась европейская война, нн одна травинка в поле, нн один белый цветик, росший зачем — неведомо, не взволновался величием минуты, нн один горный ручей не ускорил светлого бега, ни одно облачко не пролило лишней слезы.

Аисты, не найдя старых гнезд в разрушенных домах, несут детей в соседние села. Яблоко, зарумянив одну щечку, подставляет солнцу другую. Слеп крот, юрка мышь, еж колюч. Неведомо нам, почему пчела точно знает ближний путь по воздуху н жук гудит басовой струной.

«Что со мной?» — говорит, набухая, горошина. «Ух, как трудно!» — поднимает глыбу земли горбатый сочный росток. «Шутка сказать — мы!» — заявляет белый гриб, дождем умываясь. «И мы!» — ему вторит бледная поганка. А купол неба раз навсегда нстыкан золотой булавкой.

Лопнула куколка бабочки, и выполз мотылек с прнмятыми крыльями.

На одной и той же улице умер человек, не отложив дня смерти до развязкн событнй, н родился младенец, не испугавшись будущего. И в семьях нх этн случаи были событнем большим, чем великая война.

И вот что еще случилось. Огромным гуснным пером на огромном свнтке беглым полууставом старуха писала нсторию. Когда раздался первый залп, перо дрогнуло и уронило кровавую каплю. Из капли побежал дальше вьющийся чернильный червячок, как малая змейка, а седая косма старухи, упавшая на пергамент, размазала каплю на целый локоть свитка.

Когда старуха заметила, она поймала прядь волос, обсосала сухим языком и закинула за ухо. А чернильный червячок бежал дальше, кривляясь, теряя кусочки на запятые, забираясь под строку, раскидываясь скобкой над полууставом. И лгал, белил грех, чернил подвиг, смеялся над святым, разводил желчь слов слезами крокодила. А дьявол за спнной старухн ловил перо за верхний кончик, щекотал старухнну жилистую шею, шептал ей в ухо молодые соблазны, потешаясь над ней, как малый ребенок.

Шамкая ртом беззубым, отмахиваясь от дьявола свободной рукой, старуха писала н думала, что пншет правднвую нсторню. Может быть, так н было. Под утро запел петух, дьявол сгинул, а старуха заснула над красно-грязным свитком пергамента.

Был у старухнной кошкн малый серый котенок — плод любви на соседней крыше. Когда старуха заснула, он прыгнул ей на колени, оттуда на стол. На груде пожелтевших от времени бумаг еще догорал светильннк. Котенок услышал старухнн храп, удивился, нагнул набок мордочку н лапкой тронул старуху за усатую губу.

Как раз в тот момент старуха видела во сне ровную дорогу. На середине путн дорога была перетянута колючей проволокой.

Старуха не заметила и на всем ходу напоролась на колючку верхней губой. Тогда она взмахнула во сне руками, котенок шарахнулся в сторону и опрокинул светильник.

Вылилось масло, вспыхнул пергамент; но сгорел он не весь. Люди мудрые, люди ученые, каждый по-своему, все по-разному подберут позже слово к слову, уголек к угольку. Пропал только верхний кусок свитка, на котором крупными буквами вывела старуха: «Кто виноват». И это на века и века будет предметом спора.

Котенок же от испуга проголодался, побежал к блюдечку и стал лакать молоко, вымочив всю мордочку. Затем, облизываясь, сел посреди комнаты и стал думать о том, что скучно бывает и в молодые годы.

Это был самый неразумный зверек подлунного мира.

СЛУЧАЙ С ЧАСАМИ

В старых и любимых часах профессора — часах с кукушкой — давно уже развинтился винтик, на котором держался рычажок, сдерживающий заводную пружину.

В два часа ночи, как всегда, орнитолог перетянул обе гири — темно-медные еловые шишки — и пошел спать. Винтик покосился и ждал.

К трем часам зубчатое колесо едва заметным поворотом накренило винтик, и он выпал. Пружина сразу почувствовала неожиданную свободу и стала раскручиваться; от колеса — ни малейшего сопротивления. Стрелки тронулись и быстро забегали по циферблату; а кукушка, не успев раскрыть рта, в испуге замолкла.

Пока все в доме спали, время бешено летело. Внхрем порошилнсь со стен дома чешуйкн штукатуркн, лопались скрепы крыши, червячки, мгновенно окуклнваясь, делаясь жучками, умирая, размножаясь, точили балку. Постаревшая кошка во сне проглотила сотню мышей, проделавших в полу десятки новых ходов. Ласточка, уже не та, уже другая, не вынув нз-под крыла головки, успела дважды побывать в Центральной Афрнке.

Уже у самой постелн бабушки Аглаи Дмитриевны стояла тень в старом саване, косясь на приоткрытую дверь орнитолога,— и румянцем молодой крови оделась грудь спящей Танюши.

На всех фронтах ураганным огнем сметались окопы и жизни. Мяч удачи, храбростн и стратегин летал от врага к врагу. Слезы, не просыхая, образовалн ручеек, к которому спускались солдаты с манеркамн. Валами росли братские могилы, и мертвец бесстрастно дремал на груди мертвеца, которого вчера, не целя, не зная, убил поворотом ручки пулемета.

Когда от залпов вздрагивала земля,— кости Ганса плотнее прнжимались к костям Ивана, и череп с улыбкой спрашивал:

— Мы в безопасности, враг Иван? Наш блиндаж — самый верный.

А Иван отвечал, стуча зубами:

— Двум смертям не бывать, враг Ганс!

И оба, в холоде уютной могилы, смеялись над теми, кого поблизости в окопах лениво ест серая жирная вошь.

Просто и немятежно было тем, кто уже использовал привилегию не жить. Остальные с растущим ужасом смотрели, как душными газами оседает на землю багровый туман будущего, и спешно, боясь опоздать, толкаясь жесткими локтями, бросались на пищу, искали любви, прижимались и рождали потомков, для которых игралась эта великая человеческая комедия.

Исчерпав энергию пружины, часы с кукушкой остановились. Но было уже поздно: ни один человек не может вернуть прошлого. Завтра старый профессор встанет еще постаревшим, не зная, чем объяснить такую слабость: припадком катара? Аглая Дмитриевна в положенный час не оставит постели, а мужу скажет:

— Я полежу нынче. Что-то неможется мне, милый мой. Пошли-ка ко мне Таюшу.

И она уже больше не встанет и не будет сидеть в столовой за самоваром. Когда в воскресенье придет Эдуард Львович,— приоткроют дверь в спальню Аглаи Дмитриевны, чтобы и она могла послушать музыку.

Два года, пробежавшие так быстро, потерянные бабушкой,— приобретены внучкой. И, заиеся кувшин над голым плечом, Танюша заметит его здоровую округлость и кинет беглый стыдливый взгляд на окно: не видят ли ласточки? Вытираясь новым мохнатым полотенцем, она потянется, напряжется и вздрогнет от нового для нее ощущения силы и желания. И бесстрастное зеркало, изучившее каждую черточку девочки-девушки Танюши, отметит в записях своей зеркальной памяти:

— Числа такого-то р о д н л а с ь ж е н щ и н а.

Под утро дворник Николай, с побелевшими висками, вышел на улицу с метлой и скребком. Перекрестился, посмотрел на небо, деловито перевел взгляд на мостовую, зевнул и начисто усердно подмел вдоль всей стены пыль и чешуйки осыпавшейся штукатурки.

В доме все еще спали; работали только он и ласточка. Но уже дребезжала телега зеленщика, ехавшего на Арбатскую площадь.

ДЯДЯ БОРЯ

За годы мирной жизни каждый нашел свою клетушку, прочно врос в ее стены и выставил на ней свой номер, по которому его и можно было найти. Каждый талант вывешивался и вымерялся. От массы отделилась кучка избранных,— и был кучке избранных особый почет.

Поэта отметил перст музы, ученого — признанье неучей, артиста — шепот толпы. Головой выше плотника — архитектор, маляр перед художником — пигмей. На одном дереве росли два

яблока, но солнце зарумянило одно, червь точил другое. Прнказал Господь прнказчнкам разложить по прилавку жнзни человеческий товар — лицом показать: сверху лучшее, под низ поплоше. Ина бо слава солнцу, нна тусклой оплывшей свече.

Но жнзнь взбаламучена войной — и все изменилось. Кому нужен космос Эдуарда Львовича? Кому — старый ум птицеведа? Пошатнулось мирозданне, птнцы разогнаны грохотом орудий. Отврати напряжением глубокой филосовской мысли полет пули! Рассей чнстой поэзней удушье газов! Чугун и медь жаждут безымянного мяса,— не время взвешивать мозг. Слава тому, кто нужен сегодня, только на сегодня, новому богу — единому богу войны. И вот тут-то большим человеком стал дядя Боря, сын профессора орнитологии.

Дядя Боря, не отличавший Шопена от Скрябина, дядя Боря, терпнмое ничто, рядовой инженер-механик, не хвативший звезд. Ага! Теперь он понадобился, дядя Боря!

Он вставал с первым светом н был на фабрике ко второму свистку. Там, где раньше штамповали пуговицы,— теперь он делал полевые телефоны. Вместо плужных ножей теперь он варил иную сталь. На Каме, повыше Перми, он строил подъездный путь до завода суперфосфатов,— не ко благу земледелия — оно подождет: в жертву удушливому богу войны. Вместо швейных шпулек он сверлил пулеметный ствол.

Дядя Боря был многолнк, был везде, по всей России, во всех странах, всюду — первый, нужнейший человек. Нужнее его был только тугоголовый, с волосатой грудью, с бычачьей шеей высокнй генерал прусских войск, да два-три опытных, давно приспособленных шпиона. Впрочем, еще врач, смелый молодой хирург, карнавший до колена ногу с оторванной ступней. Но это лишь для совестн нашей — нельзя же жить совсем без совести. Дядя Боря, как и генерал, нужен был для главного: для убийства.

Дядя Боря ннкого никогда не убил. Собственно говоря, подлинный дядя Боря, Борнс Иванович, сын профессора, скромно делал свое дело — руководил работой большого завода, являясь утром, уходя к ночи, заглядывая на завод и в праздник. Но он стал теперь выше тех, кто слушал импровнзацию Эдуарда Львовича при полупотушенном свете. Сталь надолго выше нх всех взятых вместе, теперь ведь уже неважно, подлинно лн прямая лнния — ближайшее расстоянне!

Внезапно выросли люди, которых недавно никто не знал н не хотел прнзнавать. Не те — пушечное мясо (их н сейчас признавали лишь в цифрах), а рангом выше, хотя тоже простые, недалекне, невзрачные, но деятели. Была сейчас их пора: все догадались, что только онн и суть настоящие люди.

Дядя Боря, уже почтенного возраста человек, носил теперь френч н стал моложе. Дядя Боря обрил бороду, но оставил полуседые усы. Танюша говорила:

— Дядя Боря, вы стали таким интересным, что я опасаюсь за сердце Леночки.

Жена дяди Бори хмурилась, но он был доволен. Он был даже весел. В общем разговоре он не уклоиялся, не отходил иа второй план. Ои выжидал и вставлял слово: и все видели, что дядя Боря не просто имеет мнеиие, а зиает. Раньше просто ие догадывались, о чем говорить с дядей Борей — не о паровых же котлах. И придумывали что-нибудь вроде паровых котлов, но доступное и всем остальным, и всем одииаково иеинтересиое.

Дядя Боря стал иужен многим и по очеиь миогим делам. Это именио ои устроил юриста Мертваго, который только что жеиился, в Земгор. Мертваго называли теперь земгусаром, но все-таки форма его напоминала военную. Дядю Борю видали в обществе крупных коммерческих тузов; быть может, те старались обойти кругом и использовать видного иижеиера; могло дело идти и о поставках или в этом роде. Но ни в ком никогда ие могло возникнуть сомиений в честности дяди Бори, именно этого дяди Бори, сына орнитолога, дяди Танюши. Другие дяди Бори, делая дело общее, делали дело и свое. Было время такое, когда интерес личный часто совпадал с интересом государственным и общественным. В мирное время это бывает реже, хотя тоже бывает.

Когда, по воскресеиьям, Эдуард Львович играл, дядя Боря, во френче, без бороды, садился теперь близ лампы Аглаи Дмитриевны и сидел, освещенный, слушая с удовольствием Скрябина, которого он прииимал за Шопена.

Одиажды, когда Эдуард Львович кончил одну из своих импровизаций (ту, где жизиь звуков гасиет сама и слышио, как она угасает), дядя Боря первым громко сказал:

— Чудесио! Вы сегодня в ударе, Эдуард Львович. Очень приятно слушать. А все же надо идти: фабрика меня ждет. У иас сейчас и воскресенья и ночные работы. Гоним на всех парах!

Попрощался и вышел. И больше иикто ничего не сказал Эдуарду Львовичу. И больше Эдуард Львович в тот вечер не играл. Так, говорили о разиом и разошлись раио.

Ложась спать, Танюша думала об Эдуарде Львовиче. И в первый раз ей пришло в голову:

— Любил ли кого-иибудь Эдуард Львович? Ведь ои не был жеиат.

И еще подумала:

— Какой он иесчастный!

У Танюши была, поверх большой, еще маленькая подушечка, думка, с кружевиой оторочкой. Танюша положила на иее голову, немного вбок, так что ухо вмялось в легкий пух. И заснула.

ЦАРАПИНА

Друг детства Танюши, любимец ориитолога, Вася Болтановский окончил уииверситет. Сдав последний экзамен, он забежал домой, умылся и посмотрел на себя в зеркало.

За время экзаменов похудел, зато глаза веселые. Как был,

так и остался вихрастым. Усы ничего, бородка дрянь, совершенная дрянь. Пиджак тоже дрянь — единственный штатский наряд Васи. А экзамены — черт побери — все-таки кончены; с ними и студенчество кончилось. Это — здорово! Вася попробовал покрутил ус, но в зеркале получалась полная чепуха. Он немножко смутился.

Делать аб-со-лю-тно нечего. Как-то сразу стало нечего делать. Вася оставлен при университете — значит, впереди работы много. А пока — решительно нечего делать, нелепость какая! Не заказать ли визитные карточки? Или сбрить бороду?

Вася закрыл рукой бородку до губы; получилось ничего себе. После экзаменов осталось ощущенье нечистоты какой-то, чернильно-книжной пыли. Маникюр сделать? Ну, это уж ерунда, а вот бороду...

Парикмахер, намылив Васе физиономию, рассудительно заметил:

— Действительно, по качеству лица,— ни к чему бородка. Подбородок же у вас, явственно, с ямочкой, и скрывать не приходится; в известном смысле украшенье. Головку повыше-с, еще немножечко! С фронта как будто о победах слышно...

Обедал Вася в столовой Троицкой, в конце Тверского бульвара. Всех знал, кто там обедает. И горбатенького господина с кокардой, и армянку из консерватории, и несчастных супругов, начинавших шепотом ссору за вторым блюдом, и приват-доцента с галстуком фантэзи. И, конечно, Анну Акимовну, которая, сидя у окна налево, съедала за обедом десять ломтей хлеба.

Съев борщ, Вася попросил поросенка, но только, если можно, окорочок. Дали окорочок, заливной, к нему хрен в сметане. Выпил Вася и кувшинчик хлебного квасу. Съел и кисель с молоком,— все по-праздничному. Когда обтирал губы салфеткой (своей, на кольце метка), вспомнил, что борода сбрита. Так приятно — гладко! И свежесть за ушами — прострига парикмахер.

И по бульварам Вася зашагал к Сивцеву Вражку. Помахивал толстой тростью, смотрел на встречных со смелой радостью. Ибо сегодня Вася — настоящий, окончательно взрослый человек. Встречных студентов жалел любовно: сколько им еще трепаться!

На повороте с бульвара встретилась приятная барышня, подарила взглядом. Вася тоже подарил — и заторопился на Сивцев Вражек, чтобы скорее увидать профессора и... Танюшу. Впрочем, профессора сейчас дома нет, он все еще экзаменует.

Милый особнячок. А и стар же ты! Раньше Вася не замечал, а сегодня, сбрив бородку, сразу заметил. Стоял особнячок профессора прямо,— а как будто и слегка вкось. Ворота явно покосились. И много облупилось штукатурки.

Танюшино окно наверху, оно открыто. И Вася, отступив на середину дороги, запел плохим тенорком:

Ви ро-за, ви ро-о-о-за...

Танюша выглянула в окно:

— Идите, Вася, я открою. Сдали?

— Сдал все. Свободный гражданин.

— А борода где? Зачем это вы?

Вася подумал: «То есть как зачем?» — и подошел к крыльцу. Дверь открылась, и Вася тотчас догадался, что он с самых юных лет отчаянно и окончательно влюблен в Танюшу, и бесповоротно, что, впрочем, и неудивительно, так как лучше, милее, ближе и красивее ее никогда никого на свете не было и не будет. Если раньше это как-то не приходило ему в голову, то сейчас в этом не остается сомнений. Упасть на колени и вползти за Танюшей вверх по лестнице, или что-нибудь в этом роде, выразить как-нибудь. Она такая строгая, белая кофточка, воротничок, а он умирает от любви.

Когда Танюша, протянув руку, сказала: «А знаете, Вася, так вам гораздо, ну гораздо лучше!» — Вася совсем переполнился чувством, сел на ступеньку лестницы и заявил, что дальше он — ни шагу не двинется, что или Танюша погладит его по голове, или он тут же умрет немедленно.

Она не погладила, он не умер, и оба поднялись наверх в Танюшину комнату. Здесь стало полегче. Зеркало посмотрело на Васю без его жалкой бородки и подумало: «Эге, а ведь он действительно влюблен».

— Как бабушка?

— Бабушке сегодня лучше, но вообще плохо.

— Профессора еще нет?

— Дедушка на экзаменах. Вы его непременно дождитесь, он о вас спрашивал. Что вечером делаете?

Хорош вопрос! Васе вообще нечего делать, ни вечером, ни все лето.

— Ничего не делаю.

— Останетесь у нас? Оставайтесь, я сегодня тоже свободна.

Вошла кошка. Вася схватил ее за шиворот, поднял к лицу, и кошка оцарапала его свежебритый подбородок. Вася бросил кошку, обтерся платком и сказал:

— Вот проклятая зверуха! Танюша, а я люблю вас прямо как собака...

И покраснел, не зря подумав, что сказал глупость. Сказал бы просто «я вас люблю», а тут зачем-то приплел собаку.

Всегда правдивый, он поправился:

— Таня, я собаку приплел тут зря. А я просто, без собаки, действительно до чертиков...

Вышло еще нелепее. Но, конечно, если бы хотела понять — поняла бы. Но она сказала спокойно:

— А вы лучше одеколоном... Покажите-ка. Да она вас сильно оцарапала! Ну, и сам виноват...

Не сбрей бороду Вася — не заметна была бы царапина. Вот нашел время бриться! И больно. Любовь Васи начала утихать.

Сели рядышком на кушетке. Говорили о том, как каждый проведет лето. Пожалуй, из-за бабушкиной болезни придется остаться в городе. Вспоминали об общих знакомых, кто сейчас

на войне. Эрберг погиб давно — был первым близким из убитых. Были и еще. И сейчас на фронте много старых друзей. Стольников редко, но все же пишет,— хороший он, Стольников! Леночка — сестра милосердия, но не на фронте, а в Москве; летом на дачу тоже не едет. Леночка много говорит о раненых и влюблена в нескольких докторов. Белый костюм с красным крестом к ней очень идет.

— Знаете, Вася, а я бы не могла. То есть могла бы, конечно, но это... как бы сказать... Как-то не для меня... я не знаю...

Танюша сегодня серьезная; тоже устала от экзаменов. Сошли вниз, в столовую. Вернулся профессор, проголодавшийся, обнял Васю, поздравил. Пока дедушка обедал, Танюша по просьбе больной старухи, лежавшей в спальне, сыграла ее любимое. Бабушка угасала без больших страданий, даже без настоящей большой болезни, но как-то так, что всем был ясен ее скорый конец. Силы жизненные в ней исчерпались, потихоньку уходила. Насколько можно — к этому даже привыкли. За месяцы ее болезни сильно стал горбиться и профессор, но крепился.

Вечером к Танюше зашла подруга, консерваторка. Вася гадал им:

— На сердце трефовая восьмерка, а скоро получите червоное письмо.

Консерваторка была довольна, она ждала письма.

После Танину подругу провожал домой. И, оставшись один, не знал, в кого же он, собственно, влюблен, в Танюшу или в ее приятельницу? Все-таки решил: в Танюшу! Хотя это странно — ведь с детства ее знает, совсем были как брат с сестрой. Но, решив, опять пожалел, что приплел зачем-то собаку:

— От смущения!

Вернулся домой, в Гирши. На столе груда книг и немытая чашка. В остатках жидкого чая — несколько мух и желтый окурок. Завтра нужно отдать прачке белье. И вообще нужно куда-нибудь на лето уехать. К родственникам решил забежать завтра; надо все же.

И внезапно — как днем будто бы любовь к Танюше — встала перед ним жизнь. Юность кончена — начинается путь новый и трудный. Может быть, и правда — понадобится попутчица жизни? Кто же? Танюша? Друг детских лет? Подумал о ней теперь уже с настоящей нежностью. Подумал и самому себе признался с удивлением, что Танюши он совершенно не знает. Раньше знал — теперь не знает.

Это было открытием. Как это случилось? И еще одно: он все еще мальчик, а Таня — женщина. Вот что проглядел он за книгами.

От смущенья хотел потрепать бородку,— но был гладок подбородок, а на нем царапина.

Не любить Танюши нельзя, ну а любить ее по-особенному, как в романах, ему, Васе Болтановскому, тоже нельзя. Ну как же это может быть; даже как-то нехорошо, неудобно!

Это было очень грустно. Тогда он взял книжку и зачитался, пока не стали слипаться глаза.

Вася Болтановский был обладателем счастливой способности: он спал как сурок и просыпался свежим, как раннее утро. Поэтому он любил жизнь и не знал ее.

ЗА ШТОРАМИ

На столе у двери сидела кошка, вчера оцарапавшая бритый подбородок оставленного при университете. Не цапай за шиворот! Кошка облизывалась и скучала. Вышла крупная ночная неудача: старая крыса, знаменитая старая крыса подполья, ушла от ее когтей.

Ушла сильно помятой. Уже была в лапах... и как это только могло случиться? Никакого вкуса в старой крысе нет, и не в том дело. Но как это могло случиться? В кошке было оскорблено самолюбие охотника. В таких случаях она скучала, зевала, и глаза ее тухли: глаза, обычно горевшие в темноте зеленым светом.

Устроившись удобно, но не подгибая передних лап, чтобы оставаться в боевой готовности, кошка стала дремать, оставив бодрствовать только уши. До света еще часа два.

Старая крыса все еще дрожала от пережитого ужаса. Забившись в самую тесную щель подполья, она зализывала раны. Не сами раны опасны,— но нельзя, чтобы их заметили молодые крысы. Будут следить, ходить по пятам и при первой слабости загрызут. Вот что всего опаснее. Не пощадят седых волос и облысевшей спины. Проклятая ночь выдалась сегодня!

Над постелью Аглан Дмитриевны наклонилась длинная, худая фигура в сером. Протянула руку и острым ногтем надавила под одеялом сосок дряблой груди. Бабушка ахнула и застонала от боли.

Смерть постояла у постели, послушала старухин стон и отошла в уголок. Вот уже второй месяц она дежурит у постели Танюшиной бабушки, оберегает ее от соблазна жизнью, готовит к приятию пустоты. Когда засыпает сиделка, смерть подает старухе пить, прикрывает ее одеялом, любовно подмигивает ей. И старушка, не узнавая смерти, слабеньким голосом говорит ей: «Спасибо, родненькая, вот спасибо!»

А когда старуха засыпает, смерти хочется поозорничать: откинет одеяло, щипнет старуху в бок, костяшками ладони закроет ей рот, чтобы стеснилось дыханье. И тихонько смеется, всхлипывая и обнажая гнилые зубы.

К утру смерть тает, забивается в складки одеяла, в комод, в щели окон. Если кто-нибудь быстро откинет одеяло или выдвинет ящик комода,— все равно не найти ничего, кроме соринки или мертвой мухи. Днем смерти не видно.

Старую крысу окружили молодые: смотрят черными шариками, слушают ее повизгивания. Она скалит зубы, и дрожит ее длинный хвост. Пошевелится — и полукруг крысенят сразу дела-

ется шире; боятся старой: есть еще в ней сила. Но глаз не отводят, смотрят на зализанную шерсть, где видно красное, откуда сочится капля.

Слышит визг крысы и кошка и шевелит ухом. Но все тихо, все в доме спят. Крысы напуганы, не выйдут сегодня.

Старуха тянется рукой к ночному столику, к стакану с кисленьким питьем. Костлявая рука помогает, и на минуту сталкиваются два сухих сустава — старухи и ее смерти. Идет по руке холодок.

— Ох, смерть моя,— стонет Аглая Дмитриевна.

«Здесь я, здесь, лежи спокойно»,— говорит худая в сером. И утешает старуху: «Ничего там нет, и бояться нечего! Свое время отжила, чужого веку не заедай. В молодые годы веселилась, танцы танцевала, платья красивые носила, солнышко улыбалось тебе. Разве плохо жила? А старик твой — разве не счастлива с ним была? А дети твои — разве не было от них радости?»

— Сына-то рановато прибрала, отца Танюшиного,— жалуется Аглая Дмитриевна.

«Сына прибрала, понадобилось; а зато внучку оставила вам, старикам, на радость и утешенье».

— А как же ей жить без нас? Тоже и старик не вечен.

«Ну, старик еще поживет, старик крепкий. Да и она совсем стала большая. Девушка умная, не пропадет».

— А мне как без него на том свете? А ему как без меня на этом оставаться? Сколько вместе прожили.

Тут смерть смеется, даже всхлипывает от удовольствия, но беззлобно:

«Вот о чем думаешь! Тебе какая забота — лежи в могиле, отдыхай. Обойдутся и без тебя, ничего. От больной-то, от старой, какая радость? Что от тебя, кроме помехи? Пустяки все это!»

Слышно, как в кабинете кукушка кукует четыре раза. За окном, пожалуй, светло, но закрыто окно тяжелыми шторами.

— Ох, смерть моя,— стонет Аглая Дмитриевна.

— Подушечку поправить надо,— говорит сиделка.— Все сбилось.

Поправляет подушки и опять садится дремать в кресле у постели.

Проник свет в подвал. Крысенята разбрелись по закоулкам. Задремала и старая раненая крыса. Кошка на окне лениво ловит большую сонную муху. Поприжмет и оставит; та опять ползет. Время летнее — уже совсем светло.

Видит Танюша под утро третий сон; и опять Стольников, веселый, довольный, смеется.

— В отпуск? Надолго?

Стольников радостно отвечает:

— Теперь уж навсегда!

— Как навсегда? Почему?

Стольнпков протягивает руку, длинную н плоскую, как доска; на ладонн красным написано:

«Бессрочный отпуск».

И вдруг Танюше страшно: почему «бессрочный»? А недавно писал, что скоро повидаться не придется, так как от командировкн отказался. «Сейчас уехать с фронта нельзя, да н не хочется; время не такое».

Стольников вытирает руку платком; теперь рука маленькая, а красное сошло на платок. Танюша просыпается: какой странный сон!

Только шесть часов. Танюша закинула руки и заснула снова. Полоса света через скважину в шторах пересекла яркой лентой белую простыню и столбиком стала на стене над постелью. Отбился волос и лежит на подушке отдельно. На правом плече Танюши, пониже ключицы, маленькое родимое пятно. И ровно, от дыханья девушки, приподымается простыня.

ПЯТАЯ КАРТА

Стольников нащупал ногой выбнтые в земле ступени и спустился в общую офицерскую землянку под легким блиндажом. Внутрн было душно н накурено. На ближней лавке доктор играл в шахматы с молодым прапорщиком. У стола группа офицеров продолжала игру, начавшуюся еще после обеда. Стольников подошел к столу и втиснулся между играющими.

— Ты два раза должен пропустить, Саша. Ты играть будешь?

— Буду. Знаю.

Когда круг стал подходить к нему, он, потрогав в кармане бумажки, сказал:

— Все остатки. Сколько тут?

— Вам сто тридцать, с картой.

— Дайте.

Глаза нграющих, как по команде, переходили от карты банкомета к карте Стольннкова, который сказал:

— Ну-ну, дайте карточку.

— Вам жир, нам... тоже жир. Два очка.

— Три,— сказал Стольников н протянул руку к ставке.

Карты перешли к следующему.

Война прекратилась. Вообще нсчезло все, кроме поверхностн стола, переходящих нз рук в руки денег, трепаной «колбасы» карт. Нпкогда Стольников не был студентом, не танцевал на вечере Танюши, не превращался из свежего офицернка в боевого капнтана с Георгием, не был вчера в опере и не вернется в тыл. Табачная завеса отрезала мир. Закурил н он.

— Твой, Саша, банк.

— Ну вот вам, ставлю весь выигрыш. Для начала... девятка. Не снимаю. Вам тройка, мне — опять девять. В банке трнста шестьдесят. Тебе — половнна, вам сто; тебе, Игнатов, остаткн? Эх, надо бы еще раз девятку... Ваша... нате, берите.

Стольников передал «машинку», сделанную из гильзовой коробки «Катыка». Играли десять человек, теперь придется ждать. Глаза всех перешли на руки его соседа слева. Уши слышали:

— Чистый жир... вот черт! По шести? — Нет, у нас только по семи. Снимаю половину. Куда ты зарываешься! То есть ни разу третьей карты! — У меня и второй не было... Надо переломить счастье.

Ломали счастье, бранили «гнилую талию», пробовали пропустить два банка, рассовывали бумажки по карманам френча (на крайний случай). Приходила четвертая карта — и человек возвышался, делался добрее, лучше, соглашался дать карту на запись. Затем в три больших понта его деньги утекли, и он нервно щупал отложенную «на крайний случай» бумажку.

Прапорщик в конце стола пропускал и банк и понт. К нему уже не обращались.

— Прогорел?

— Начисто.

— Это, брат, бывает. Полоса такая.

— У меня всегда такая полоса.

Но не уходил. Смотрел. Как будто счастье могло свалиться на голову и неиграющего. Или... кто-нибудь разбогатеет и сам предложит взаймы; а просить не хочется.

Стольникову везло.

— Мне второй день везет. Вчера в деле, сегодня в картах.

При словах «в деле» на минуту все очнулись, но только на минуту; и это было непрнятно. Никакой иной жизни, кроме этой, не должно быть.

Вошел солдат, сказал:

— Гудит, ваше благородие.

— Немец? Иду. Ведь вот черт, как раз перед моим банком.

— Задайте ему жару, Осипов!

Артиллерист вышел, и никто не проводил его взглядом. Когда он выходил из двери, снаружи послышался давно привычный шум далекого мотора в небе. Через несколько минут громыхнуло орудие.

— Осипов старается. И чего немцы по ночам летают?

Бухнуло. Это был ответ немецкого летчика. Но Осипов уже нащупал врага на небе: слышно туканье пулеметов. Бухнуло ближе. Все подняли головы.

— А ну его к... Дай карточку. Семь. Продавай банк, а то сорвут после семерки. Ну, тогда дай карточку...

Бухнуло с страшной силой совсем рядом с землянкой. Опрокинулась свечка, но не потухла. Офицеры вскочили с мест, забирая деньги. С потолка посыпалась сквозь балки земля.

— Черт, едва не угодил нам в голову. Надо выйти посмотреть.

Стольников громко сказал:

— Банк, значит, за мной, я недодержал!

Офицеры высыпали наружу. Прожектор освещал небо почти над самой головой, но полоса света уже отклонялась. Орудие

грохотало, и пулемет трещал беспрерывно. Офицер постарше сказал:

— Не стойте кучкой, господа, нельзя.

— Он уж улетел.

— Может вернуться. И стакаиом двииет.

Яма от взрыва была совсем рядом. К счастью, жертв никаких, немец иапугал впустую.

Стольников вспомнил, что папиросы кончились, и пошел к своей земляике. Дойдя до иее, остаиовился. Небо было чисто на редкость. Луч прожектора проваливался в глубину и теперь вел врага обратио — едва светлевшую точку иа темиом фоие. Бухнуло сиова — первую ногу чугунную поставил на землю иебесиый гигант. Близко упал стакан ответиого выстрела.

«Почему ие страшио? — подумал Стольников.— А ведь легко может убить! В деле — да, там жутко, но там и думать некогда. А эти игрушки с иеба...» Затем ои вспомнил: «А банк за миой. Четыре карты побил. Оставлю все. Хорошо бы побить пятую... Это будет здоровый куш!»

И ему представилось, как он открывает девятку. Невольно улыбнулся.

Когда ударил последний подарок иемца, офицеры иистинктивио бросились к блиндажу. Слушали у двери, как удаляется шум мотора и замирают пулеметы. Потом все стихло, и оии вернулись к столу. По-видимому, иемец, отличио иащупав расположение запаса, все же сыграл впустую, только молодых солдат напугал.

— Осипов верится. Где ему подстрелить эту птицу!

— Слишком высоко летел.

— Сядем, что ли? Чей баик?

— Стольникова. Он четыре карты побил.

— А где Стольников? Будем его ждать?

— Надо подождать.

Кто-то сказал:

— Ои за папиросами пошел, сейчас вернется.

Вбежал вестовой: к доктору.

— Ваше высокоблагородие, господина капитана Стольникова ранили.

И, опустив руку от козырька, первому выходящему прибавил потише:

— Ножки им, почитай, совсем оторвало, ваше благородие! Немечкой боибой...

МИНУТА

Темная иочь окружила домик и давит иа старые его стены. Проникла всюду — в подвалы, под крышу, иа чердак, в большую залу, где у дверей сторожит кошка. Полумраком расползлась и по бабушкиной спальне, освещеииой иочником. Только Танюшино открытое светлое окно пугает и гонит иочь.

А тихо так, что слышно тишину.

С ногами в кресле, закутана пледом, Танюша не видит строк книг. Лицо ее кажется худеньким, глаза смотрят вперед пристально, как на экран. На экране тихо проходят картины бывшего и не бывшего, с экрана неподолгу смотрят на Танюшу люди и чертит рука невидимые письмена мыслей.

Мелькнул Вася Болтановский с поджившей царапиной, Эдуард Львовнч перевернул ноты, Леночка с красным крестом на белоснежном халате и дугой удивленных бровей под косынкой. И фронт: черная линия, шинели, штыки, неслышные выстрелы. Рука на экране чертит: давно не было писем от Стольникова. И сама она, Танюша, на экране: проходит серьезная, как чужая.

И опять туман: это — усталость. Закрыла глаза, открыла: все предметы подтянулись, стали на прежние места. Когда пройдут минуты и часы молчанья,— что-то родится новое. Может быть, стук пролетки, может быть, крик или только шорох крысы. Или в переулке хлопнет калитка. И мертвая минута пройдет.

Снова на экране Вася с бритым подбородком. Он ломает спичечную коробку и говорит:

— Принимая во внимание, что вы, Танюша, все равно выйдете замуж, интересно знать, вышли ли бы вы за меня? Раз, черт возьми, все равно выходить.

Щепочки летят на пол, и Вася их подымает по одной,— чтобы не поднять сразу головы.

— Ну, а нет, Танюша, серьезно. Это до глупости интересно...

Танюша серьезно отвечает:

— Нет.

Подумав еще, прибавляет:

— По-моему — нет.

— Так-с,— говорит Вася.— Ясное дело. Здоровая пощечина, черт возьми! А почему? Мне уж-ж-жасно интересно.

— Потому что... как-то... почему за вас, Вася? Мы просто знакомы... а тут вдруг замуж.

Вася не очень естественно хохочет:

— А вы непременно за незнакомого? Это ловко!

Вася ищет, что бы еще поломать. От коробки осталась одна труха.

Танюша хочет пояснить:

— По-моему, замуж, это — кто-то является... или вообще становится ясным, что вот с этим человеком нельзя расстаться и можно прожить всю жизнь.

Вася старается быть циником:

— Ну, уж и всю жизнь! Сходятся — расходятся...

— Я знаю. Но это — если ошиблись.

Вася мрачно ломает перышко.

— Все это — суета сует. Ошиблись, не ошиблись. И вообще — к черту. Я-то лично вряд ли женюсь. Свобода дороже.

Танюша ясно видит, что Вася обижен. Но решительно не

понимает, почему он обижен. Из всех друзей он — самый лучший. Вот уж на кого можно положиться.

Вася тает на экране. Тень «того, кто является», скользит в тумане, но не хочет вырисоваться яснее. И было бы бесконечно страшно, если бы явился реальный образ, с глазами, носом, может быть, усами... И был бы он совсем незнакомый.

И вдруг Танюша закрывает глаза и замирает. По всему телу бежит холодок, грудь стеснена, и рот, вздрогнув, полураскрывается. Так минута. Затем кровь приливает к щекам, и Танюша холодит их еще дрожащей рукой.

Может быть, это от окна холодок? Какое странное, какое тайное ощущение. Тайное для тела и для души.

Экран закрыт. Антракт. Танюша пробует взяться за книжку: «Приведенный отрывок достаточно красноречиво...»

Какой «приведенный отрывок»? Отрывок чего?

Танюша листает страницу обратно и ищет начальные кавычки. Она решительно не помнит, чьи слова и с какой целью цитирует автор.

На лестнице шаги сиделки:

— Барышня, сойдите к бабушке...

СМЕРТЬ

В подполе огромное событие: старая крыса не вернулась. Как ни была она слаба, все же ночами протискивалась в кладовую через отверстие, прогрызенное еще мышиным поколением, теперь совершенно исчезнувшим из подполья.

В кладовой стояли сундуки, детская колясочка, были грудой навалены связки старых газет и журналов,— поживы никакой. Но рядом, через коридор, была кухня, под дверь которой пролезть не так трудно. В другие комнаты, особенно в ту, большую, крыса не ходила, помня, как однажды уже попала в лапы кошке. На заре старая крыса подполья не вернулась. Но чуткое ухо молодых слышало ночью ее визг.

Когда утром Дуняша вынесла на помойку загрызенную крысу, дворник сказал:

— Вон какую одолел! Ну и Васька! Ей все сто годов будет.

Годами крыса была моложе человеческого подростка. Возрастом — заела век молодых.

К кофе никто не вышел. Профессор сидел в кресле у постели Аглаи Дмитриевны. Сиделка дважды подходила, оправляла складки. Танюша смотрела большими удивленными глазами на разглаженные смертью морщины восковой бабушки. Руки старушки были сложены крестом, и пальчики были тонки и остры.

Сиделка не знала, нужно ли вставить челюсть,— и спросить не решалась. А так подбородок слишком запал. Челюсть же лежала в стакане с водой и казалась единственным живым, что осталось от бабушки.

По бороде профессора катилась слеза; повисла на завитуш-

ке волоса, покачалась и укрылась вглубь. По тому же пути, но уже без задержки, сбежала другая. Когда дедушка всхлипнул, Танюша перевела на него глаза, покраснела и вдруг припала к его плечу. В этот миг Танюша была маленьким молочным ребенком, личико которого ищет теплоты груди: в этом новом мире ему так страшно; она никогда не слушала лекций по истории, и мысль ее лишь училась плавать в соленом растворе слез. В этот миг ученый орнитолог был маленьким гномом, отбивавшимся ножками от злой крысы, напрасно обнженным, искавшим защиты у девочки-внучки, такой же маленькой, но, наверно, храброй. И полмира заняла перед ними гигантская кровать нездешней старухи, мудрейшей и резко порвавшей с ними. В этот миг солнце потухло и рассыпалось в одной душе, рушился мостик между вечностями, и в теле, едином-бессмертном, зачалась новая суетливая работа.

У постели Аглаи Дмитриевны остались два ребенка, совсем старый и совсем молодой. У старого ушло все; у молодого осталась вся жизнь. На окне в соседней комнате кошка облизывалась и без любопытства смотрела на муху, лапками делавшую туалет перед полетом.

Событие настоящее было только в спальне профессорского домика в Снвцевом Вражке. В остальном мире было все благополучно: хотя тоже пресеклись жизни, рождались существа, осыпались горы,— но все это делалось в общей неслышной гармонии. Здесь же, в лаборатории горя, мешалась мутная слеза со слезой прозрачной.

— Только здесь было настоящее:

Бабушка умерла любимой.

. . . . . .

...земнии убо от земли создахомся, и в землю туюжде пойдем, яко же повелел еси, создавый мя и рекий ми: яко земля еси и в землю отыдеши, амо же вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуйа...

НОЧЬ

Два крыла распластала ночная птица над домом старого вдового птичьего профессора. И закрыла звездный блеск и лунный свет. Два крыла: оградить его от мира, почтить великую старикову печаль.

В кресле, удобно проснженном, в ореоле седин, затененных от лампы,— и тихо-тихо кругом, от здешней думы до границ Мира,— сидит старый старик, на тысячи лет старше вчерашнего, когда еще слабым дыханьем цеплялась за жизнь Танина бабушка, Аглая Дмитриевна. А в зале, где блестящими ножками смотрит рояль на у гроба горящие свечи, ровным внятным голосом, спокойным ручьем льет монахиня журчащую струю слов важных, ненужных безмолвной слушательнице под темной парчой. И плотно придвинут к носу подбородок покойной.

Весь в памяти профессор, весь в прошлом. Смотрит в глубь себя и почерком мелким пишет в мыслях за страницей страницу. Напишет, отложит, виовь перечтет написаиное раньше, сошьет тетрадки крепкой суровой ниткой,— и все ие дойдет до конца своей житейской повести, до новой встречи. Не верит, коиечно, в соедииение в иовом бытии,— да и не нужио оно. А в иебытии уже скоро оно будет. Считаны годы, дни и часы — и часы, и дни, и годы уходят. Ибо прах ты — и в прах возвратишься.

Стены кииг и полки писаний,— все было любимым и все плод жизни. Уйдет и это, когда «оиа» позовет. И видит ее молодеиькой девушкой,— ямочкой иа щечке смеется, кричит ему поверх ржаной полосы:

— Обойдите кругом, иельзя мяты! А я, так и быть, подожду.

И пошли межой вместе... а где и когда это было? И чем — не светом ли солнечным так запомнилось?

И вместе шли — и пришли. Но теперь ие подождала — ушла вперед. И опять он, теперь стариковской походкой, обходит полосу золотой ржи...

Вошла Танюша в халатике и спальиых туфлях. Ныиче ночью ие спят. Ночная птица над домом огородила деда и виучку от прочего Мира. В этом маленьком мире печаль ие спит.

— Без бабушки будем теперь жить, Таиюша. А привыкли жить с бабушкой. Трудно будет.

Танюша у иог, на скамеечке, головой у дедушки иа колеиях. Мягкие косы ие заколола, оставила по плечам.

— Чем была бабушка хороша? А тем была хороша, что была к иам с тобой добрая. Бабушка иаша; бедная.

И долго сидят, уже выплакались за день.

— Спать-то ие выходит, Таиюша?

— Мне, дедушка, хочется с вами посидеть. Ведь и вы ие спите... А если приляжете, хоть на диваи, я все равно около посижу. Прилегли бы.

— Прилягу; а пока ссиделся как-то, может, так и лучше.

И опять долго молчат. Этого ие скажешь, а вдвоем мысль общая. Когда через стены доносится журчанье словесных монахиии струй,— видят и свечи, и гроб, и дальше ждут усталости. Так добра к ним обоим была бабушка, теперь лежащая в зале, под темиой парчой,— и вокруг пламеием дрожащие свечи.

Входят в мир через узкую дверь, боязливые, плачущие, что пришлось покинуть покоящий хаос звуков, простую, удобиую иепонятливость; входят в мир, спотыкаясь о камни желаний,— и идут толпами прямо, как лунатики, к другой узкой двери. Там, перед выходом, каждый хотел бы объяснить, что это — ошибка, что путь его лежал вверх, вверх, а ие в страшную мясорубку, и что он еще не успел осмотреться. У двери — усмешка, и щелкает счетчик турникета.

Вот и все.

Сна иет, ио иет и ясиости образов. Между сиом и несиом слышит старик девичий голос по ту сторону последией двери:

— Я подожду здесь...

Пойтн бы прямо за ией, да нельзя рожь мять. И все залито солнцем. И спешит старик узкой межой туда, где оиа ждет. протянув худые руки.

Открыл глаза — и встретил большие, вопрошающие лучи-глаза Танюши:

— Дедушка, лягте, отдохните!

САПОГИ

Дворник Николай сидел в дворницкой и долго, внимательно, задумчиво смотрел на сапоги, лежавшие перед иим на лавке.

Случилось странное, почти невероятное. Сапоги были ие сшиты, а построены давно великим архитектором-сапожником Романом Петровым, пьяницей неимоверным, но и мастером, каких больше не осталось с того дня, как Ромаи в зимнюю ночь упал с лестницы, разбил голову н замерз, возвратив куда следует пьяную свою душу. Николай зиал его лично, строго осуждал за беспробудное пьянство, но и почтительно удивлялся его таланту. И вот, сапоги Ромаиовой работы кончились.

Не то чтобы кончились они совсем иеждаино. Нет, прнзнаки грозящей им старости намечались раньше, и не один раз. Три пары каблуков н две подошвы переменил на них Ннколай. Были иа обеих иогах и заплаты в том месте, где на добром кривом мизннце человека полагается быть мозоли. Одиа заплата — от пореза сапога топором; Николай едва не отхватил тогда полпальца, да спасла крепкая кожа. Другая заплата на месте, протершемся от времеии. И каблукн и подошвы менял еще сам Роман. В последний раз ои поставил Ннколаю иа новый каблук такую здоровенную подкову, что обеспечил целость каблука на многие годы вперед. И в подошвы иабил по десятку кованых гвоздей с толстыми шляпками, а сбоку приспособил по чугунной плаике. Стали сапоги пудовыми, тяжелыми, громкимн,— но с тех пор о сносе нх Николай забыл думать.

И как это случилось — нензвестно, но только пришлось однажды в день оттепели сменнть валенки иа сапоги. Николай достал их из ящика близ печкн, где они лежали, аккуратно с осени иамазанные деревяниым маслом, чтобы ие треснула кожа. Достал — и увидал, что подошва иа обеих иогах отстала, на одной совсем, иа другой поменьше, а среди гвоздяных зубьев была одна труха, и была дыра сквозиая. Николай погиул подошву — и дыра пошла дальше, без скрипу. И тут ои увидал впервые, что н голеннце так износилось, что просвечивает, а тыкиешь покрепче пальцем — получается горбик, и ие выправляется.

Снес нх к сапожнику, Романову иаследиику, но иаследиику мастерской, а ие таланта. Тот, как увидал, поднеся к свету, сразу сказал, что больше чиинть нечего, кожа не выдержит. Николай и сам видел это и никакой особеиной иадежды ие питал.

— Зиачит — кончеиое дело?

— Да уж... и думать не стоит. Пора о новых подумать.

Николай вернулся с сапогами, положил их иа лавку и не то чтобы загрустил, а крепко задумался.

Думал о сапогах и вообще — о непрочности земного. Если уж такая пара сносилась — что же вечио? Издали посмотрел — как будто прежние сапоги, и на ногу зайдут привычно и деловито. Аи нет — это уж не сапоги, а так, труха, ие годная и на заплаты, не то что иа дворницкую работу. А ведь будто и подкова ие совсем стерлась, и гвоздь цел; внутри же и ои ржавый.

Пуще всего поражали Николая виезапность происшедшей безнадежности. Ставя последиюю заплату, сапожник головой не качал, гибели ие предсказывая, просто показал пальцем, что вот отсель и досель наложит, пришьет, края сгладит. Это была обычиая починка, а не борьба с гибелью. Была бы борьба — и утрата была бы проще. А так — полиая гибель пришла виезапио.

— Видать — внутре оно гнило. И гвозди проржавели, и кожа сопрела. А уж аккуратно. И, главное дело, работа не простая, а Романова, знаменитая. Ныне так не сошьют.

Пока заправлял в лампе фитиль, все думал, и ие столько о том, что вот нужно новые шить, сколько о бренности земиого. Кажется — ничем не сокрушишь, и сиаружи все ладно. А пришел деиь, ветром дунуло, дождем промочило,— внутри труха, вот тебе и сапоги. И все так! И дом стоит, стоит — и упасть может. И с самим человеком то же самое.

Зашел повечеру соседний дворник, тоже уже пожилой, непризывной. Рассказал ему Николай о сапогах. Посмотрели их, поковыряли:

— Делать тут нечего. Новые иадо. Выкладывай деиежки. Сейчас такого товару и в заводе иет.

— Справлюсь. Не денег жалко — работы жалко. Работа была знаменитая.

Покурили. Сразу стало в дворницкой дымно, кисло и сытно.

— Тоже вот,— сказал Федор,— все дела сейчас непрочны. И тебе война, и тебе всякий непорядок. Нынче постовой докладывал: и что только делается! Завтрашний день, говорит, может, нас уберут. И на пост, говорит, никто не выйдем, будем дома сидеть, чай пить.

— Слыхал.

— А уж в Питере, говорит, что делается — и узиать нельзя. Может, и царя уберут. А как это без царя? Непонятное дело.

— Как же можно, чтобы царя отставить,— сказал Николай и опять посмотрел на сапоги,— не нами ставлен.

— Кто его знает, время нонче такое. И все от войны, от нее.

Выходя из двориицкой, Федор еще раз ковыриул пальцем самый плохой сапог, покачал головой:

— Капут дело!

— Да уж сам вижу,— недовольно сказал Николай.

По уходе соседа, бросил сапоги в ящик и хмуро слышал,

как стукнула подкова о дерево. Хорошо еще, что валеикн были обшиты кожей. В сенях взял скребок и вышел на вечернюю работу.

«ПЛИ»

Вася Болтановский рано, в начале десятого, звоннл у подъезда дома на Снвцевом Вражке. Отворила Дуняша с подоткиутым подолом н сказала:

— Барышня н барин в столовой. На ведро, барнн, не наткнитесь, я полы мою.

Таиюша встретила:

— Что случнлось, Вася, что вы так рано? Хотнте кофе? Ну, рассказывайте.

— Многое случилось. Здравствуйте, профессор. Поздравляю вас: революция!

Профессор поднял голову от книги.

— Что нового узнал, Вася? Газеты нынче опять не вышлн?

Вася рассказал. Газеты потому не вышлн, что редакторы все торговались с Мрозовскнм. И даже «Русскне Ведомостн» — это уж прямо позор! В Петербурге же переворот, власть в руках Думы, образовалось временное правнтельство, говорят даже, что царь отрекся от престола.

— Революция победила, профессор. Точные известня. Теперь уже окоичательно.

— Ну, посмотрнм... Не так все это просто, Вася.

И профессор опять углубнлся в свою книжку.

Таиюша охотно согласилась пойти прогуляться по Москве. В этн днн дома не сиделось. Несмотря на еще ранний для Москвы час, иа улнцах народу было миого, и видио — не занятого делами.

Таиюша н Вася пошли бульварами до Тверской, по Тверской до городской думы. На площадн стояла толпа, кучкамн, не мешая проезду; в толпе иемало офицеров. В думе что-то пронсходнло. Оказалось, что пройтн туда было свободно.

В продолговатой зале за столом снделн люди, явно иездешнне, не думские. От входящнх требовали пропуск, но так как пропусков не было, то процеживали публику по простым словесиым заявлеиням. Вася сказал, что ои «представнтель прессы», а про Танюшу буркнул: «секретарь». Было ясно, что н за столом подбор лнц довольно случаеи. Однако на вопрос: «Кто заседает?» — отвечалн: «Совет рабочнх депутатов». Совещанне было не очеиь оживленным; какая-то растеряниость сдерживала речи. Смелее других говорил солдат со стороны, которого, впрочем, также нменовалн «делегатом». Солдат сердито кричал:

— О чем говорнть? Нужно ие говорнть, а действовать. Идем к казармам — н все. Увидите, что наши прнмкнут. Чего еще ждать! Прнвыкли вы в тылу зря разговаривать.

Вышлн иебольшой толпой. Но уже у самого входа оиа разрослась. Кто-то, забравшись повыше, говорнл речь к публике, но слова доносилнсь плохо. Чувствовалась обычиая обывательская рабо-

та. Ободряло только присутствие нескольких солдат и офицера с пустым рукавом шииели. Небольшая группочка двииулась в иаправлеиии Театральной площади, за ией толпа. Сиачала озирались по сторонам, не появятся ли коиные, ио ие было видио даже ии одиого городового. Толпа разрослась, и с Лубяиской площади, по Лубяике и Сретенке, шло уже иесколько тысяч человек. В отдельных группах затягивали «Марсельезу» и «Вы жертвою пали», ио выходило нестройио; своего гимна у революции ие было. Пришли к Сухаревке, но в виду Спасских казарм толпа опять поредела; говорили, что из казарм будут стрелять.

Вася и Таиюша шли с передними. Было жутко и занятио.

— Вы, Таия, не боитесь?

— Не зиаю. Я думаю — не будут. Ведь там уже знают, что в Петербурге революция победила.

— Почему же они ие выходят, солдаты?

— Ну, вероятио, еще не решаются. А теперь, когда увидят иарод, выйдут.

Ворота казарм были заперты, калитки отворены. Здесь чувствовалась нерешительиость, а может быть, был отдан приказ — не раздражать толпы. Поговорили с часовым. К удивлению передних, часовые пропустили, и часть толпы, человек в двести, вошла во двор казарм. Остальиые благоразумио остались за воротами.

Только иесколько окои в казармах было отворено. В окиах видны были солдаты, в шииелях, с возбуждеиио любопытствующими лицами. Солдаты были заперты.

— Выходите, товарищи, в Петербурге революция. Царя свергли!

— Выходите, выходите!

Махали листками, пытались добросить листки до окон. Просили выслать офицеров для разговора. И, посылая солдатам дружеские и бодрые улыбки, сами не знали, с кем говорят: с врагами или с иовыми друзьями. Боязливо порхало недоверие из окои и в окна.

Казармы молчали.

Подошли толпой к дверям. Виезапно двери распахнулись, и толпа отпряиула, увидав офицера в походиой форме и целый взвод солдат, со штыками, занявший лестницу. Лица солдат были бледны; офицер стоял как камеииый, ие отвечая иа вопросы, не произнося ии одиого слова.

Было страиио и иелепо. Шумной толпе позволяют кричать иа дворе казарм, и кричать слова страшные, новые, буитовские, соблазняющие — ио солдаты ие выходят. Из иекоторых окои кричат:

— Заперты мы. Не можем выйти.

Из других доносятся скептические возгласы:

— Ладно, болтайте! Вот как разиесут вас пулеметами — вот вам и революция.

Как бы в ответ, из боковой двери, быстро, одии за другим, винтовки на весу, выбежал взвод солдат и цепью стал против

толпы. Командовал молоденькнй офнцер. Было видно, как у него трясется подбородок. Солдатская молодежь была бледна и растерянна.

Почти в тот же момент раздалась команда:

— Плн!

И залп.

Танюша и Вася стояли впереди, прямо перед дуламн ружей. Оба, ухватившись за руки, невольно отпрянулн. С боков толпа рассыпалась и побежала к воротам. Кто были в центре,— попятились и прижались к стене.

— Плн! Пли! — еще два залпа.

Взволнованным, почти плачущим голосом, дрожа нервной дрожью, Вася бормотал, стараясь заслонить собой Танюшу:

— Танюша, Танюша, они стреляют, они стреляют в нас, в свонх, не может быть, Танюша.

Бежать было некуда, лнбо убьют, лнбо случнтся чудо.

Когда залпы прекратились, Вася огляделся: ни стонов, ни раненых, ни мертвых. Была мннута гробового молчання. Только от ворот доносилнсь крнкн: там разбегался народ.

И вдруг — внзглнвый, тоненький голосок одного нз мальчишек, которые всегда н всюду бегут перед толпой:

— Холостымн паляют, холостымн!

И, выскочив вперед, мальчншка стал кривляться перед солдатами:

— Холостымн, холостымн паляете!

Вслед за ними к солдатам подбежали несколько рабочнх, стали хватать их за внntовкн, спутали нх цепь, что-то крнчали им, в чем-то убеждали. Кое-как, повннуясь окрнку офнцера, те отбилнсь от толпы и нсчезли в подъезде.

Начался снова шум, крикн в окнах, снова с улицы в ворота хлынула толпа.

— Выходите, товарищи, выходите к нам!

Танюша стояла, прнжавшись к стене казармы, н дрожала. На глазах ее былн слезы. Вася держал ее за руку:

— Танюша, милая, что же это такое! Какой ужас! Какой вздор! Как же это можно — сегодня стрелять. Правда, холостыми, но разве можно. В народ стрелять! Танюша!

Все еще дрожа, она потянула его за рукав:

— Вася, пойдем отсюда. Мне холодно.

Держась у стенки, они быстро вышли со двора казарм, мнновалн шумную толпу, молча, под ручку, дошлн обратно до Сретенкн и сели на первого встречного нзвозчика.

— На Сивцев Вражек.

Танюша вынула платок, вытерла глаза н, улыбнувшнсь, внновато взглянула на Васю:

— Не сердитесь, Вася.

— Да разве же я...

— Нет, а только я очень взволновалась. Я в первый раз...

— Я н сам расклеился, Танюша.

— Знаете, Вася, мне почему-то стало грустно-грустно. Мне не

было страшно, даже когда они стреляли. Но у них такие несчастные лица, у солдат, что мне было жалко весь мир, Вася. Совсем не звери, а жалкие люди. И как стыдно...

— Они не виноваты, Таня.

— Я и не виню, но... как это ужасно, Вася, когда толпа и когда люди с ружьями. Я думала, что революция, это — героическое. А тут все боятся и не понимают...

И прибавила, помолчав:

— Знаете, Вася, мне не нравится ваша революция!

«ЧУДО»

Его ноги округлены в колеса, в жилах пар и масло, в сердце огонь. Он работает эти годы для крови, только для крови, но сам он чист и светел: позаботились, оттерли до блеска все его медные части и номер. Он привез сегодня живой остаток того, кто был в прежнем мире молодым офицером Стольниковым, не угадавшим пятой карты.

Уже не с прежним рвением, как-то больше по-казенному встречают светские сестры раненых на московском вокзале. Уже не театр: бытовое дело. Подходят, заговаривают больше с офицерами. Но к Стольникову не подошли: со страшным обрубком возится его денщик Григорий, помогая уложить его на носилки.

Старший врач сказал младшему врачу:

— Чудо, что этот... жив. И ведь выживет!

Доктор хотел сказать: «этот человек», но не договорил: обрубок не был человеком. Обрубок был обрубком человека.

Григорий, когда приехали, хотел нацепить на грудь Стольникова Георгиевский крест. Но тот покачал головой, и Григорий сунул крестик в коробку, а коробку за пазуху.

Родных не было, знакомые не встретили — не знали. Никого Стольников не известил. И был он слаб, хоть и был чудом. Полгода пролежал в госпитале маленького городка, боялись везти. Теперь он выживет.

Его перевезли в госпиталь. И там врачи удивились «чуду». Ни один не решился утешать безногого и безрукого офицера. Молодые врачи подходили убедиться, что кости колена затянулись синим рубцом, а остаток правой плечевой может шевелиться. Не зная зачем, все же массировали. Стольников смотрел на их лица, на их усы, проворные руки. Когда уходили — смотрел им вслед: вот идут на ногах, как ходил он: раз-два, раз-два...

Ему, как чуду, дали отдельную каморку. Всегда при нем был Григорий, уволенный вчистую; призывной его возраст истек.

Из старых товарищей, университетских, навестили двое; обоим был благодарен, но сказал, что больше не нужно приходить, что пока ему людей видеть не хочется. Поняли. Да и им тяжело было: о чем говорить с ним? О радостях или тягостях жизни? О будущем? От Танюши передали цветы. Он сказал:

— Передайте спасибо ей. Когда полегче будет, я извещу ее.

Меия отсюда скоро выпишут, иечего лечить. Здоров. Где-нибудь поселюсь... вот с Григорием. Тогда приходите.

Ои лежал еще месяца три. Ои был «здоров», даже располиел. Доктора говорили: «Чудо! Смотрите, как ои выглядит. Вот иатура!»

И Стольников выписался из госпиталя. В студеическом квартале, в переулке Броииой, Григорий снял ему и себе две комиатки. И был при ием иежиой нянькой.

Что их связывало? Беспомощиость одного — бездомиость другого. Оба узиали что-то особеиное, простоватый солдат и офицер-обрубок. Они подолгу говорили вечерами. Больше говорил Стольиików, а Григорий слушал. В темиоте чиркал спичкой, всовывал папиросу в рот Обрубка, ставил ему под голову блюдечко, для пепла. Сам ие курил. А то Стольиików читал вслух, а Григорий, набожио слушая иепонятиую книгу, по зиаку перевертывал страницы. Поиемиогу Стольиików сам иаучился делать это карандашом с резиикой, своей «магической палочкой», которую ои забирал в рот. Вслух прочел Григорию почти всего Шекспира. Григорий слушал удивлеиио и важио: страиные образы, иепонятиые разговоры. Понимал по-своему.

Как ребеиок, Обрубок учился жить. Мозг его вечио был занят изобретениями. Ои придумал устаиовить иад изголовьем иаклоиную лесенку — подыматься иа мускулах шеи; без этого тело перевешивало обрубки иог,— хотя подыматься ему было ии к чему. Со стеиной полочки ои умел брать ртом папиросу и, держа ее в зубах вместе с «магической палочкой», надавливать пуговку прикреплеиной к полке зажигалки и закуривать. Ои учился этому больше иедели, однажды едва ие сгорел в постели и иаучился.

У Стольникова были иебольшие средства, хватавшие для т а к о й жизни. Ои купил себе кресло на колесах и придумал сам доступный ему двигатель,— ио лишь в пределах комиаты; в том же кресле Григорий вывозил его на прогулку по Тверскому бульвару и иа Патриаршие пруды. Ои завел себе пишущую машинку и иаучился писать, держа во рту изогнутую палочку с резиикой и передвигая каретку рычагом, приделаиным к креслу у левого плеча. Сердился, что бумагу вставлять должеи все же Григорий, велел склеить длинные листы, писал плотными строчками. Весь стол его был уставлеи коллекцией страиных, им изобретеиных приборов, изготовлеиных либо Григорием, либо мастером — по заказу. Молчаливо надевал Григорий Обрубку иа голову обруч с приспособлеиными ложкой и вилкой, и движением кожи лба Обрубок учился пользоваться этими сложными для иего орудиями. Воду и чай пил через соломиику. Часто, видя его усталую беспомощиость, Григорий говорил:

— Да позвольте, ваше благородие, я вас покормлю. Зачем зря надрываетесь?

— Подожди. И ие зря! Жив — зиачит, надо учиться жить. Понимаешь?

Деловые их беседы были кратки.

У Обрубка ие было протезов. Врачи призиали их бесполезными:

— Если хотите — для украшения. А так... За граиицей еще можио достать, и то только для правой руки; для иее есть коекакая иадежда...

Но для украшения ои мог иадеть фреич с заполиеииыми рукавами.

Ои хотел иадеть его, когда ждал первого визита Таиюши. Но раздумал и иа первый раз принял ее, оставаясь в постели.

И Танюша, которая зиала точио о иесчастии Стольникова, удивилась. «Какой у иего здоровый вид,— хоть и лежит иеподвижио».

С Таиюшей зашел иавестить молодого человека и старый орнитолог. Они сидели иедолго. Уходя, Танюша обещала прийти, когда ои ее опять позовет.

Дома она долго плакала, вспомииая свой визит,— а плакала Танюша редко. Стольиików ие был для иее ничем,— лишь случайным и иедавним зиакомым. Но, коиечио, ои был самым иесчастным человеком из всех, кого оиа зиала и могла себе представить.

Ложась спать, полураздетая, оиа подошла к зеркалу и увидала прекрасные руки, легко закинувшиеся, чтобы заплести волосы в толстую косу. В руках была жизнь, и молодость, и сила. Какое счастье иметь руки! И вдруг, представив себе сиииe шрамы иад отпилеиией костью, Таиюша вздрогнула, отпрянула, упала лицом в подушки и зарыдала от жалости, от страшиой жалости к Обрубку, которой ему иельзя высказать. Это хуже, чем видеть мертвого... раздавлениый жизиью и еще копошащийся под иею человек.

«Ои, коиечио, меня иенавидит; ои должеи иеиавидеть всех...»

С ФРОНТА

От вокзала, мимо Смолеиского рыика, по Арбату — одиим потоком — а дальше расщепляясь в ручьи малые, и утром, и днем, и иочью шли тени солдатской рваии, иеся с собой грязь траншей, котомки иемытых рубах, позванивая чайником о приклад ружья. Шли тротуаром, врассыпную, частиыми гражданами, ие пытаясь строиться. Войну с фроита иесли вглубь, ио думали ие о ией, а о деревие.

Лиц ие было. Были шиели и гулкие сапоги. Лица исчезли в иебритых щеках, ушли во впадину глаз, в бессоиное, в совесть дезертира, в тупое упрямство ие хотевшего оглянуться. Так и шли, никогда ие оглядываясь, ие зиая дороги, ие разговаривая, ио и ие теряя спины переднего. Шли по вехам, стадио, пока ие терялись в переулках. Тогда передний спрашивал дорогу у пугливого прохожего, остальные тупо тянулись за иим.

И сиова скоплялись в преддверии, в залах, иа перроие вокзалов, привычио, как в траншее, готовые ждать, пока молчали-

вая команда не бросит их в атаку на поезд, дальний, ближний, дачный, куда бы ни шел, только бы вперед, ближе к дому. А иные, махнув рукой на все, всасывались в город, плодя в нем тревогу и больную траншейную вошь.

Одни были с ружьями, другие бросили или продали надоевшее бремя, и только у пояса болтался в ножнах штык, который мог пригодиться в хозяйстве. И, встретив на ходу в городе свеженького юнкера, печатавшего чищеным сапогом, смотрели недолго и удивленно, не трудя отупелого и уставшего мозга.

Ни с кем не прощаясь, свернул солдат с Арбата направо в переулок, поправил за спиной ружье, дулом вниз, с привязанным штыком, поправил и фуражку и зашагал быстрее. Дорогу, видно, знал. Дальше, по Сивцеву Вражку, шел молодцом, хотя видна была большая усталость на небритом и грязном лице. Свободной рукой толкнул калитку,— да оказалась на запоре, а за калиткой залаяла собака. Раньше пса не было. Постучал кулаком крепко, увидал звонок, позвонил. И не то смущенно, не то с деланной отвагой встретился опухшими глазами с суровым взглядом дворника Николая.

— Чего надобно? — сурово спросил дворник.

— Товарищу Николаю почтенье. Не признал разве?

— Дуняшин братан, что ли?

Дворник выглядел недоверчиво. Были уже сумерки.

— Он самый, рядовой Колчагин, серый герой в отставке. Опять к вам на постой.

Поздоровались. Но смотрел Николай неодобрительно.

— Что ж так, или воевать кончил?

— Не век воевать.

— Убег, что ли?

— Так точно. Начальства не спрашивал. Какая была война — покончили ее.

— Та-а-к. В деревню?

— Обязательно в деревню, отдохнувши. В дороге целый месяц намаялся.

— Та-ак.

Дуняша и обрадовалась и испугалась. Очень уж страшен был с дороги любезный брат.

— Кухню-то мне всю натопчешь. А ружье нашто с собой приволок? Ружье-то казенное?

— Теперь не разбирают, что свое, что казенное. А вот бы мне, Дунька, в баню обязательно надо.

— Баню топили нынче, словно тебя ждали. Белье-то есть?

— Найдем. Сам вымою, лишь бы баня. А то натащу тебе зверья.

Баня при особнячке была своя, как во всяком хорошем старом хозяйстве. И до позднего вечера не выходил из бани рядовой Колчагин. Мылся, стирал, сушил. И котомку с собой захватил. Чай пить явился красный, распаренный, повеселевший, в новой гимнастерке офицерского покроя.

— Гимнастерка действительно хороша! При расставаньи до-

сталась. Насекомое же, Дуня, я все повытравил паром. Баня у вас настоящая, век бы в ней сидел. Конечно, господа живут не по-нашему.

Узнал от Дуняши про смерть старой барыни.

— Что ж, старуха была. А мы на фронте молодымн гнбли и от непрнятеля и от болезни на пользу одного капнтализма.

— Это кто ж?

— А уж я знаю кто. Энтого обмана с нас довольно!

А впрочем, просил сестру соседям про приход его не болтать. И на расспросы Дуняши отвечал уклончиво.

— Чего ж было оставаться? И войны никакой нет...

Спать лег на лавку н заснул сразу.

Дуняша, убирая со стола, задела рукавом кран потухшего самовара. Из крана тонкой струйкой на пол полилась вода, разошлась ручейкамн, отыскала щель в деревянном полу, залилась, исчезла...

Кошка, подняв голову, долго смотрела, пока вода лилась из крана, но, замочив лапку в натекшей луже, брезгливо отряхнула и отошла.

Когда Дуняша вернулась в кухню нз своей комнаты, самовар был пуст. Рядовой дезертир Колчагин тяжело всхрапывал.

У ПАМЯТНИКА

— Нынче гулять, ваше благородие, как бы дождя не было.

Прежде чем выкатить кресло из тупика на улицу, Григорнй набросил на плечи Обрубка короткий плащ.

— Не нужно, Григорий, тепло.

— Я к тому, ваше благородие, что погоны: как бы чего не вышло.

В те дни срывали с офицеров погоны. Ужель и калеку обидят? Но народ темный, н Грнгорий побаивался.

— Не нужно, Григорий, оставь.

Кресло на высоких колесах въехало на бульвар. Против Богословского переулка кружком стояла толпа, а в центре господин в очках, худой н остробородый, спорил с солдатом. Солдат доказывал об окопных вшах, господин говорил о Францнн и Англни. Кругом слушалн вннмательно.

На кресло Стольннкова покосились, проводили взглядом и опять стали слушать, протягивая шен через передних: словам верили меньше, лицу больше. Один слушатель полугромко заметил:

— Вон нх сколько, калеченых!

Навстречу Обрубку няня катила детскую колясочку, где нз белого капора таращила голубые глазки девочка. Когда обе коляски поравнялись,— встретились два взора, детский н взрослый. Но Обрубок не улыбнулся.

Чем ближе к Пушкину, тем больше кучки вокруг споря-

щих. Говорилн о земле, об Учредительиом собранни, о партиях, ио больше о фронте. И доиосилнсь фразы:

— ...а которые окопалнсь в тылу...

— ...почему я должои проливать...

— ...а почему я могу знать, что вы есть за человек? Солдатскую форму всякий может...

— ...тоже н ученые нужны, для просвещенья. А только...

Самая большая толпа, как всегда, была у памятника. Говорил офнцер, иа костыле н с перевязкой. Фуражку его пустили по толпе, н все доверчиво давалн на ннвалндов. Сбоку, перед лавочкой, стоял столик, н сндевшнй за ннм сыпал кредитки в шкатулку. Подходили н жертвовали. самн ниогда не зная, на что н кто собнрает.

Перед креслом Обрубка толпа расступилась, н Григорнй подвез его почтн к самому памятнику. Оратор, уже охрипшнй, показывал толпе на Стольникова н, вытнрая пот, кричал:

— За что вот такне — вон, глядите — пролнвалн кровь? Чтоб отдать теперь Россию немцам? Нет, граждане, мы этого не допустнм!

Было видио по штанине, что нога оратора забннтована. Красный, недавний шрам был на левой скуле, и, когда он открывал рот, кожа на шраме иатягивалась н лоснилась. Когда он кончил, его сменил штатский в очках, н толпа прндвинулась ближе с ннтересом. Через мннуту оиа уже гудела, так как штатскнй говорил протнв войны. Кто-то крикнул:

— Постыдился бы! Вои тут офицер безрукий-безногий.

Штатский крнчал:

— Вот потому-то н довольно...

Но на него наседалн. Два матроса и солдат кричали на толпу:

— Свободу слова, товарнщн, так иельзя!

Обрубок повернул голову, вцепнлся зубами в погон, оторвал его и сказал наклонившемуся Григорню:

— Сннмн. И тот, оба сннмн. И брось ему.

— Кому, ваше благородие?

— Тому, черному, который говорнт. Брось ему в рожу!

Грнгорнй нсполнил прнказание, н погоны шлепнулись о грудь оратора. Толпа завыла, н черный нсчез вместе с солдатом н матросамн.

Теперь обступили кресло Стольннкова. Крнчалн ему: «Правнльно!» Какая-то дама визжала непонятное н убеждала всех идти н бнть иемцев. Сестра милосердия с кудряшками стала рядом с Грнгорием, взявшнсь за ручку кресла, н знакамн — ее голоса слышио ие было — приглашала снять шапкн перед искалеченным офицером. Переднне сняли, задние напнралн. Кто-то крнкнул:

— Тнше, граждане, он будет говорнть!

И действнтельно, толпа смолкла, и круг раздался. Стольиников обвел толпу взглядом н в наступившей тишнне ясно и отчетливо сказал:

— Говорнть мне вам нечего. Вы — рабы, а тот, черный, что говорил протнв войны, может, н мерзавец, а он прав. К черту вашу войну! Грнгорнй, везн меня отсюда!

Передний ряд расступился. Сестра милосердия оставила ручку кресла. В задних рядах не расслышали, но закрнчалн: «Правильно, верно, спаснбо, господин офнцер!» Господнн с бородой объяснял своей жене: «Совсем больной человек, калека; разумеется, он озлоблен». И только однн солдат с расстегнутым воротом гнмнастерки, в восторге н задыхаясь, кричал:

— Получилн вашей матерн! Тоже теперь н они понимают, как ногн нм окромсалн. Хо! Вот так здорово!

И, вытянув нз кармана горстку, прннялся за семечкн. За левым ухом у него торчала папнроса.

Веселого солдата звали Андрей Колчагин.

ДВОРНИК

Был октябрь бесснежен. Ночью подмерзало, днем таяло. Перед самым светом дворннк выходил нз калнткн профессорского дворнка со скребком н скошенной набок метлой. Мел долго, чнсто н, уходя, смотрел недружелюбно на запущенный тротуар н на мостовую соседей. И думал о том, что со всемн этнми свободамн стал народ лентяй. На дворе свет, а улица не метена.

Зеленщнк остановился на мннуту поболтать со старым знакомым н земляком. Скрутнлн по собачьей ножке, покурилн. Лошадь косилась на окна.

— Старый-то барнн живет, ничего?

— Жнвет. Убивался, конечно, да попрнвык. Со внучкой легче. Без ей плохо бы было.

Зеленщик профессора знает хорошо. Знает лет двадцать. Это он н дворника им поставил, однодеревенца.

— На базаре разговоры,— сказал зеленщик, смотря в сторону.— Особенно солдат прншлый. Ружьев, говорят, ннпочем не отдадим.— А в кого стрелять? — В кого, говорят, приведется, в бар.— А потом что? — А потом, говорнт, войну навсегда прнкончнм н станем землю отымать.— Да ведь ты покончил свою войну, убег! — Что ж, говорнт, что убег. Нынче свобода! А вшей-то я даром, что лн, кормнл?

— Народ темный,— сказал дворник.

— Это конечно, что темный. А сила в нх есть, вон нх сколько с вокзала тянется. И ндут, н ндут, и днем ндут, и ночью ндут. Поди, на фронте ничего не осталось. Пока до деревни дойдет — жнть ему надо. Ну, нх н мутят.

— Кто мутнт-то?

— Ораторы у них. На каждой площади собрання. Чтобы буржуев уничтожили н чтобы всю власть. А он слушает да на ус мотает.

Лошадь опять покосилась на окна. Зеленщнк дернул вожжой.

— Так я думаю, что миром не кончится это дело. Это кабы прежде, а нынче порядку некому наводнть. И опять же с ружьем они.

— Наше дело сторона,— сказал дворник.

Зеленщик промолчал. Докурилн. Попрощалнсь до прнятного. Тронулась телега на Арбатскую площадь.

Выглянуло было солнце знмнее, но в белом молоке нсчезло. Хлопнуло несколько калиток на Сивцевом Вражке, запахло дымом. Зябко засунув рукн в рукава солдатской шинелн, прощелкал каблукамн человек пнсарского внда, с картонной папкой под мышкой. Дворник долго смотрел ему вослед, туго думая, чья возьмет: барская ли сила илн бунтарь, солдатчина. Пройдя в ворота, осмотрел н нх: хотя почннкн н требуют, а простоять могут еще годы. Подумал:

— Сказать барнну, хорошо бы какого пса завести, на случай воров. Много народу теперь шляется бездомного, а сторожат улнцу плохо. Ему дежурнть, а он спит либо пьян. И полицнн нет. И вообще время не настоящее, тревожное.

Ушел в свой дворницкий флигель в большой задумчнвости, с лнцом строгим, монашеским. Печка разгорелась. Чай пнть дворник ходил в кухню, к Дуняше.

И застучал по черной лестннце гвоздастымн, вечнымн сапогамн.

Был одинокий, пожилой, ближе к старостн. Хмурый. Ума тугого н прочного. Входя в кухню, крестился широким крестом, здоровался словамн, за чай садился молча, разглаживая усы, чтоб не мешали. И крошки хлеба собнрал на ладонь, а как накопятся — в рот.

— Как барнн встанут, поклнчь меня, Дуня. Хочу насчет собакн поговорнть.

— Нашто тебе собака? Еще ее кормнть!

— На то собака, чтобы стерегла дом. Вон сейчас время какое.

— Ворота-то на запоре.

— Ворота... Этот запор по прежнему времени хорош был, а нынче н через ворота. Народ прншлый, того н гляди, залезут. А собака, она залает, н все же острастка. Ты, как проснется, покликай.

— Ладно, покликаю.

Допил вторую, перевернул чашку, усы вытер клетчатым платком.

— Дровец принестн ль?

— На две печки. Столовую нынче не топим, н так жарко.

И опять затопал подковами новых сапог по кухонной лестнице.

— Эх, снегу все нет! А пора быть снегу.

На минуту в дворннцкой душе промелькнула деревенская картинка: поля, пашнн, лес — все под глубоким снегом. Чнстый, не забитый полозьямн, не мешанный с землей н навозом. Снег — друг, не пачкотня.

На минуту промелькнула,— и снова стала городской душа степенного дворника старого профессорского особняка на Сивцевом Вражке.

ЗАВИСТЬ

— Почему он не идет, Григорий?

— Придут еще, ваше благородие, час ранний.

— А как он доберется? Приведут?

— Сами найдут дорогу. Через два крыльца живут. Они и в лавочку, бывало, сами один ходят.

Поручик Каштанов, ослепший на войне, пришел только в девятом часу. Григорий, заслышав шаги и голос, вышел и довел слепого до стола Обрубка.

— Ну, где ты тут, друг Саша, пребываешь?

— Здесь, здравствуй.

И Стольников прибавил:

— Опять зря руку протягиваешь. Нечего мне тебе подать.

— Ладно. Оба мы хороши. Оба лучше.

И, дотянувшись на голос, похлопал Обрубка по плечу.

Сначала они молчали. Курили. Григорий поил чаем. Стольников был возбужден и не сводил глаз с приятеля: перед ним был человек, быть может, такой же несчастный, как и сам он (неужели это возможно!). Человек, не видящий мира, его красок, его влекущих очертаний. Стольников видит мир,— но не может обнять его. Каштанов может обнять мир,— но не видя, что и кого обнимать. В эту минуту «мир» казался Стольникову женщиной.

Для начала говорили не о себе, а о событиях, об общих друзьях по батарее. А когда Григорий ушел в свою комнату, скоро перевели разговор на свои бедствия,— и спеша, полушепотом, смущаясь, но и перебивая друг друга, соперничая размерами ужасного горя своего, высказывали друг другу все, что передумали поодиночке, в долгие ненужные дни одного, в вечную ночь другого.

Скороговоркой, хватая себя за виски и беспорядочно шаря руками, шептал слепой Каштанов:

— Вот ты говоришь — ноги, руки... а зачем они мне! Куда идти, что мне делать этими руками? Ты знаешь, Саша, ведь ничего нет, одна темнота, и звуки из темноты, голоса, шум, музыка, смех,— и всего этого, Саша, нет, только сны, а взаправду нет. Ты и дома и за окном видишь, тебя по улице возят, а для меня этого нет, одна ночь. Вот ты говорил: ноги свои чувствуешь. Я тоже свет чувствую — каким знал. Перед глазами дома, люди, женщины, так бы к ним и кинулся, а нет их, Саша, совсем нет, в ночи утонули. Когда я знаю, что темно, вечер — мне легче. А когда на лице чувствую солнце и греет оно,— вот когда, Саша, совсем невыносимо. Оно меня ласкает, а я его проклинаю за слабость его: почему не разгонит оно эту темноту вечную.

Перебивая, Стольников тем же шепотом — точно тайна у них — кричал:

— Это, Каштанов, лучше. Вот ты не видишь и говоришь: нет ничего. А я вижу, знаю, что есть,— только не для меня. Ты сам в лавочку ходишь, до меня один добрался, а меня Григорий в коляске возит и кормит с ложки. Ты пойми — разве я человек? Ты хоть ночью со всеми равен,— я никогда. Ты можешь женщину обнять...

— Да ее же нет, Саша, ведь глазами-то я не увижу ее, какая она!

— Знаю, что не увидишь, а все же обнять можешь. А я вижу и полюбить могу, я, может быть, Каштанов, люблю даже, давно люблю, а коснуться не могу, за руку не могу взять. Я ей противен, Каштанов, я ведь не человек, я сиюминутная культяпка, обрубок, недоразумение. Я мочиться сам не могу, черт меня... возьми меня черт... Вот я реву, а мне и слезы согнать нечем, я головой трясти должен. Мне они в нос текут, черт их, черт, черт...

Он всхлипывал и мотал головой. И тогда Каштанов вставал, вынимал платок, ощупью отыскивал лицо Стольникова и вытирал ему глаза.

— Ты, Саша, успокойся.

Молчали. Но недолго. С первых слов снова пробуждался страстный спор, и опять Каштанов, захлебываясь, громко шептал:

— Все это, Саша, так, я знаю. Только вот что я тебе скажу, Саша. Я вот порой не только ноги-руки, а всего себя отдал бы за одну только минуточку, чтобы только глазами увидать. Ты говоришь — любишь, а ты знаешь ли, как я любил, и она жива, существует, однажды была у меня, я и голос ее слышал,— каждую нотку знаю. У нее, Саша, глаза были... я говорю — были... ну да, для меня были, а теперь нет, синие-синие, удивительные глаза. И вот, Саша, их нет больше — для меня нет. Ты говоришь — обнять, а мне нужно глазами обнять, хочу улыбку видеть, а так мне каждое слово кажется обманом и ложью, и никого мне не надо. А солнышко я тоже обнимать должен? И еще есть на свете море, дали, леса есть, красота есть, картины есть, а где это, Саша? Все дьявол съел. Ты пойми. И ни рук, ни ног мне не надо, ни к чему. Так вот ногтями вцепился бы и содрал эту заслонку...

— Ты, Каштанов, можешь вылечиться. Вон я читал — есть приспособление, к вискам, какие-то глазные нервы возбуждаются...

— Ты мне не ври! Ты зачем говоришь это? Ведь у меня оба яблока вынуты, одни ямы остались!

— Кто знает, может быть, еще изобретут.

— Изобретут, да! Уж скорее тебе протезы.

— Так что же, я буду железными палками обнимать, грудь ласкать? Да?

И дальше, о чем бы ни говорили,— они кончали одним: женщиной, которой не мог видеть один, которой не мог обнять другой. Они были молоды — обрубок и слепой. И они говорили,

пока в душе нх не вырастала дрожащая злоба и завнсть друг к другу, злоба слепца к обрубку, завнсть обрубка к слепцу. Они ревновали друг к другу женщину, которой не было, которая не хотела их знать,— нзумительную красавнцу, с синими глазами н нежной кожей.

Прнходил Григорнй и видел нх нскаженные лица, слышал злые речи, старался унять их словами:

— Ваши благородия, соседи спят, опять ругаться будут. Час поздний, ваши благородия.

Он отводил домой Каштанова н, вернувшись, укладывал в постель ослабевшего н беспомощного Стольникова,— жалкий остаток того, кто был красивым н смелым офицером, приветливым товарищем и неплохим танцором.

Лншь три года прошло с того дня, как он в последннй раз весело танцевал у Танюши в день ее праздника,— начала ее семнадцатой весны.

ОКТЯБРЬ

Надо было летать в эти дни октября белым мушкам н мотылькам, устилая дорогу слой на слой. Надо бы детям кидаться снежками, чтобы красными были пальчики н за воротом мокро и чтобы прямо пахло мехом шубки, когда вывесит ее мама сушить ближе к печке. Надо бы от глаз к губам перепрыгнвать смешливой радости, какую дает первый пушистый снег, чистый, вкусный, деловитый и ласковый.

Но снега все не было. А летали в те дни над Москвой свинцовые шмели, вдоль улиц, поверх крыш, из окон наружу, снаружи в окна. И кндалнсь люди страшными мячикамн, от взрыва которых вздрагивали лнсты железа на особнячке Снвцева Вражка.

Начался свннцовый снег на Тверском бульваре. В обычный час, утро проведя в лаборатории уннверситета, Вася Болтановскнй зашел в столовую Троицкой, что окнами выходила на бульвар. Сел у окна, где садился обычно, а на столнке, рядом с тарелкой, положил салфетку с меченым кольцом. Давно налаженная жизнь катилась по рельсам на малых притершихся колеснках, и хоть сильно подорожал заливной окорочок,— все же в день воскресный подавали блинчики с вареньем н клюквенный кнсель, островками лиловевший в молочном озере. Было тревожно, но жизнь упорно хотела продолжаться.

После супа с клецкамн — буженина с картофельным пюре. А когда Вася Болтановский корочкой хлеба обтер остаток соуса,— в конце бульвара, против дома градоначальника, началась стрельба. Из окна в перспективе бульвара видны были бежавшие по аллее фнгуры, прохожих ли, или жаждущих нового строя, илн защитнпков старого. В столовой спешили с блюдами. Вася допил сухарный квас н вышел на бульвар. Свинцовые шмелн, вылетев из гнезда, уже носилнсь по бульвару без толку

и без назначения. И скоро первый долетевший цокнул в оконное стекло знаменитой студенческой столовой.

Не было снега в аллее бульвара, и темнеть стало быстро. Теперь уже в разных частях города залпами громыхали невидимые ружья. Кто-то стрелял в кого-то, но уж, конечно,— брат в брата. За ружьями пулеметы, за ними орудия. Вечером и всю ночь, и пять дней кряду, сжавшийся в комнатах своих обыватель слушал пальбу орудий и туканье пулеметов. Свинцовый страх обметал крыши, ища врага, залетал в окна, рябыми делал внешние стены домов.

В первую же ночь светло стало у Никитских ворот: загорелся дом, запиравший устье бульвара, и дотла сгорела столовая Троицкой, где днем Вася ел буженину с картофельным пюре; не успев загореться,— истлела салфетка, и, обуглившись, треснуло деревянное кольцо с меткой.

Догорел этот — занялся пламенем другой, громадный дом на внутреннем проезде бульвара, и бледное утро увидело на месте жилого дома — почерневший, дымящийся колизей, на который некому еще было любоваться.

Из горевших и обстрелянных домов выбегало довольство и в ужасе шарахалась нужда,— и оба попадали под огонь пулеметов. С каждым выстрелом — ближе к победе, меньше врагов. Из отельчика в доме, где была и столовая, выползли и заметались с узлами десять старух; одни убежали, прикрывшись шалью от свинцового дождя; другие умерли со страху; третьи наглотались пуль или сгорели,— ближе стала свобода. Горсть молодых солдат из углового дома стреляла в горсть молодых юнкеров напротив; кого убили, кто успел проскользнуть вдоль стены и скрыться,— еще на миг приблизилось гадаемое царство братства и равенства.

Закинув руки и отбросив ружье, лежал на дороге убитый солдат, смеясь зубами небу; он так и не узнал, за чью правду пал и какая сторона причислит его к павшим своим героям. А под прикрытием уступа ворот покашливал и плевал кровью белый мальчик в папахе, перед тем стрелявший из ружья, весело и задорно, все равно в кого и куда, и по юнкерам, и по всякой скользящей тени, и по брату, и по бабушке, больше мимо, шлепая пулю о штукатурку дома,— а теперь сам с пулей в легком, уже не жилец,— прощай, бедный глупый мальчик! — И еще на шаг ближе подошла свобода.

За крепкими стенами, в комнате, окнамн не на улицу, совещались, обсуждали, договаривались, командовали, распоряжались люди штатские, не умевшие спускать курок и заряжать пулемет лентой. Но не в них была сила и не в них было дело. То, чему быть надлежало, решала случайность да веселая пуля, ставшая лишней для ушедших с фронта. Еще был Кремль, был Арсенал, было еще Александровское училище,— и был сумбур и склока людей, которые всегда правы и которые побеждают только тогда, когда идут не рассуждая и без мысли. Но то и было страшно, что под воздушным сводом пуль и шрапнели клубилась, блуждала

н путалась мысль, только вчера выползшая из черепных коробок,— спорила, терялась, отчаивалась, догадывалась и путалась в нитях чужой мысли.

Победить должен был тот, кто привык не думать, не взвешивать, не ценить, и кому терять нечего. Он и победил. Люди в штатском, посовещавшись, вынесли резолюцию: «Победили мы». И, отогнав победителя, заняли в умершем городе командующие высоты.

Все это было правильно и справедливо; так же, на их месте, поступили бы их штатские противники.

Вася Болтановский жил в Гиршах на Бронной, во втором корпусе дома. Из его окна ночью видно было зарево пожара, и, как и все, Вася не спал. Иногда ему казалось странным и неестественным, что вот он, молодой, не трус, не апатичный,— сидит дома, не пристав ни к какой стороне. Минутой позже думалось: да ведь ничьей стороны и нет, это просто — разыгравшаяся стихия, пожар от случайно брошенной спички. И затушить его нечем. Выйти на улицу без оружия? Зачем? Достать оружие и стрелять? В кого? Из двух правд — в которую? Но разве могут быть две правды? Не две, а много; у природы одна правда, у человека — другая, противоречащая в корне правде природы. И еще иная, совсем иная, у другого человека. Каждый бьется за свою — такова борьба за существование. Но вон тот идет умирать за других,— вопреки личной своей выгоде. Есть своя правда и в корысти и в самопожертвовании. С кем же он, Вася, лаборант университета и Танюшин приятель? Ни с кем из мечтающих о власти. Его правда в том, чтобы можно было серьезно работать и чтобы Танюша была счастлива. Это уж действительно искренне.

Под утро Вася заснул, но рано проснулся, разбуженный выстрелами близ самого дома. Это была случайная беспорядочная стрельба, может быть, преследование, может — простое озорство. Кому нужно стрелять в мирном студенческом квартале!

О занятиях сегодня невозможно и думать. Разве попытаться пробраться боковыми улицами до лабораторий?

В девятом часу Вася вышел, метнулся к Никитским воротам, но стрельба заставила его повернуть обратно. Тогда он пошел в сторону Садовой и Скарятинским переулком пересек Большую Никитскую. На Поварской не было ни одного человека, и любопытство потянуло Васю пройтись до Борнса и Глеба, а то и до Арбатской площади. Но едва он подошел к устью Борнсоглебского переулка, как дрогнул воздух от взрыва снаряда, сбившего часть купола на церкви. Вася ахнул, пробормотал: «Ну что же это делается, что делается!» — и прибавил шагу, свернув в переулок. Он, собственно, и не разобрал, что случилось, но напуган был основательно. На Собачьей площадке было покойно, и Хомяковский дом хмурился степенно и солидно. Теперь, в сущности, оставалась последняя попытка,— пройти к университету Арбатом. Дойдя до угла Арбата, Вася

остановился и с любопытством стал смотреть налево, откуда доносились частые выстрелы. Попытаться?

Нужно было быть глубоко штатским и полным неведения лаборантом, чтобы покойно стоять и не замечать жужжания пуль. Никто Васи не остановил, и ему не могло прийти в голову, что в него стреляют вдоль улицы. Локтем, по студенческой привычке, прижимая книжки, он тихонько перешел Арбат. Он не знал, что из-за опущенных занавесок в домах на него с удивлением и испугом глядели обыватели, а пуля в трех шагах от него расплющилась о булыжник мостовой. Нет, идти по Арбату все же жутко, да и пройдешь ли площадью; там близко Александровское училище, где уж, наверное, идет бой. И притом — так привычно и просто обогнуть Николу в Плотниках и выйти на тихий и приютный Сивцев Вражек, где в старом профессорском особнячке, должно быть, еще не отпили кофе, а то Дуняша разогреет. Ничего сегодня не выйдет из занятий.

Утро явно потеряно. Но можно это утро выиграть в другом. Кстати, есть о чем потолковать и с профессором, который, конечно, сидит дома. С Танюшей поделиться впечатлениями. Хотя — впечатлений немного, просто муть какая-то, вздор.

Вася позвонил и, заслышав шаги на лестнице, приятно улыбнулся.

В ПРОСТЕНКЕ

Ржавчине, медленно глодавшей железо крыши, червячку, точившему балку, крысам, стронувшим новые ходы для дерзких ночных набегов, сырости, плесени, миллиарду мельчайших, невидимых существ, во имя любви, размноженья и права на жизнь колебавших устои особняка на Сивцевом Вражке,— очень в эти дни помогала дрожь, обуявшая Москву, воздушная дрожь от малых пуль и смеявшихся над трусостью снарядов. Вздрагивали оконные стекла, шатая подсохшую замазку, лопался малый гвоздочек, сыпались чешуйки старой краски, терял сорницу кирпич, жирными кусками падала обратно вниз, в печку, доверху облепившая трубу сажа. Ни для кого не заметно.— лишь для крохотных созидателей и разрушителей, работавших нынче без устали и отдыха.

Не видна на старом лице новая мелкая морщинка. Высоко над крышей, разрезая воздух, пролетел снаряд, пущенный с Воробьевых гор наудачу, плохим прицельщиком,— и болезненно пригнулся к земле мирный профессорский домик, зажмурился, прищурился, затаил дыханье, потом расправился,— и еще одной морщиной больше. Но не видно и не слышно никому,— только за обоями легкое шуршанье. Может быть, забрался таракан из кухни.

Профессор сказал:

— Домой, Вася, не ходи; мы тебя не пустим. И нам с тобой спокойнее. Кончится завтра стрельба — вот и пойдешь.

— Я не боюсь, профессор.

— Бояться что ж, молодому человеку. А зря рисковать нн к чему. У вас там, у Никнтских ворот, самое пекло. А главное — нам окажешь услугу. Нам с тобой веселее. И мне, н Танюше.

Леночка телефонировала с Чнстых Прудов, где жила:

— У нас тут ужас. Стреляют на почте. Говорят, что и телефонную станцию окружили.

Телефонная барышня, повторив номер, спрашивала:

— Из какой части города звоните? Что у вас?

— Из Сивцева Вражка. Здесь тнхо, а у вас?

— У нас ужас! Не знаем, что будет.— Позвонила.

Но во многих районах телефон уже не действовал.

— Хотите, Вася, пройти наверх ко мне? Дедушка пойдет работать.

Профессор не нарушал давнего хода жизни,— работал до позднего часа, окружив себя атласами, табличками, вглядываясь в оперенье горлинки на меловой бумаге, внося поправки в устаревшую класснфикацию. Костяным ножиком разрезал лнсты английского журнала, все же как-то дошедшего, миновав границы, спускал со лба очки, бежал по строчкам носом, отмечал на полях карандашиком. Все это так важно: перелет, пенье, маленькие яички с серыми крапинками, загнутый клюв, яркий глазок на крыльях... Все это очень, очень важно, это вечное и для вечного.

А в крышу едва слышно тявкнула пуля, совсем шальная н пьяная, залетевшая то ли с Арбата, то лн со Смоленского рынка.

— Я пойду, а вы, молодежь, посидите. Тебе, Вася, спать приготовят в бабушкиной комнате, а то в зале, где хочешь. Таня скажет.

— Скажу, дедушка, вы идите. Мы у меня еще посидим.

— Все же, Танюша, не садитесь у самых окон. Кто его знает. Лучше в простенке.

— Хорошо, дедушка.

Попрощавшись, прошли к Тане наверх. Тут хорошо было н поговорить н помолчать.

— Чем все это кончится, Вася?

— Ну, Кремля не возьмут. А там арсенал.

— А если возьмут?

Говорили, перебирали слухи. Танюша думала: «Странно. Вот Вася не трус, а ему точно все равно, как посторонний. Другой бы...»

Кто другой? Бегло перебирала в памяти знакомых, военных и штатских, живых н умерших. Дрался ли бы Эрберг? Возможно. А Стольников, если бы он... Конечно! Несчастный, что он сейчас переживает! Но она не могла бы — слишком нетронутой душой — вместить того, что переживал в эти дни Обрубок.

Вася курил. И Танюша ненадолго открыла форточку. Донесся стук недалекнх выстрелов. Тук-тук-тук... Это, кажется, пулемет.

Прислушиваясь, замолчали. Сидели на диване, блнзко. Танюша думала о революции. Вася думал: «Знаю, что я ее люблю. И что

она ко мне только дружески ласкова. И что я ее все-таки ужасно люблю. Что же, так это и будет?»

С этой думой поднял глаза на Таюшу и внимательно посмотрел.

— Что, Вася?

— Нет, ничего.

Танюша встала и притворила форточку.

— Брр... какой холод сегодня.

— Да, а снегу все нет. А уж октябрь кончается.

Октябрь кончался. Но начинался долгий, великий и мучительный О к т я б р ь.

Снег выпал только тогда, когда к концу пятого дня смуты московской перестали летать свинцовые шмели. Снег выпал на утро дня шестого,— хлопьями, необильный, смущенный, но нужный всем. Забелил изрешеченные крыши, белой простыней покрыл неубранный труп, подморозил и запудрил кровь на мостовых, на дворах.

Сразу в Москве стало тихо. Боязливо выглянул обыватель,— но любопытство потянуло. Любопытство и нужда: кончились запасы хлеба, съестного, керосину, дров. Жить-то все равно как-нибудь нужно. Плечом прокрадывался в полуоткрытую дверь магазина.

И встречный спрашивал знакомого встречного:

— Кто же верх-то взял?

— Говорят, они, большевики.

— Что же будет?

— А что будет. Долго не продержатся. Придут войска — наведут порядок. Разве же это возможно — по всей Москве стрелять! Дожили до чего.

— Булочная-то наша открыта ли?

— Открыта. А то со двора пройдите.

Озираясь круглыми, любопытными глазами, прижимаясь ближе к стенам домов, через улицу — горбясь и мигом,— шли каждый по своему делу, готовые сейчас спрятаться в подъезд, в переулок, за тумбу.

И если было, что радовало глаз, то только — чистый, еще не затоптанный, бодро холодящий снежок, запорошивший напуганную и усталую за эти дни обывательскую Москву.

ПУЛЯ

Эдуарду Львовичу никогда не приходило в голову, что можно было купить новое одеяло, которое, дотрагиваясь до подбородка, подвертывалось бы и под ноги.

Неудобство слишком короткого одеяла он испытывал всегда, но боролся с этим только сомнительными средствами: прикрывал ноги своим стареньким пальто на клетчатой подкладке. И не от скупости, а просто по недогадке. Бедности Эдуард Львович не испытывал, жил скромно и мог много тратить на ноты и кни-

ги по музыке; впрочем, еще посылал деньги в Ригу тетке, которой не видал двадцать лет,— высылал по традиции и по привычке, так как начал высылать еще при жизни матери.

Одеяло плохо прикрывало ноги, и спать приходилось на боку, согнувшись. Одно ухо слушало, как в подушке отдается пульс, а другое слушало стук пулемета на улицах: тук-тук-тук-тук. Смысл пулеметной стрельбы был Эдуарду Львовичу совершенно и окончательно чужд (это не из его мира), но ритм был как раз его областью. Одеяло медленно сползало с ног, и холодок делал сон беспокойным. Тогда Эдуард Львович во сне шевелился, жесткие волоски непобритой щеки скрипели по полотну подушки.

Ритм пульса и ритм пулемета не совпадали; требовалось примирить их, уложить в порядке и системе на нотной бумаге. И вот тут начиналась мучительная путаница. Черные ноткн, большеголовые, с хвостиками, разбегались по всему миру. Часть их рассаживалась по холмикам, по крышам и чернела на горизонте аллейками и телеграфными столбами. Другая часть ползла по одеялу, цапаясь за нити нотной бумаги, дергая их, как струны, забираясь не в тот ключ, кидаясь из мажора в минор. Эдуард Львович старался подманить их, прикрывал крышечкой легато, но черные головастики брыкались хвостами, вырывались и опять разбегались,— одни по холмикам, другие по складам одеяла.

Эдуард Львович ясно понимал, что невозможно достигнуть полного примирения тех, на горизонте, с этими, на одеяле. О какой-нибудь мелодии не могло быть и речи. Прекрасно, пусть будут диссонансы; можно и на них построить музыкальную идею,— но непременно должен быть смысл, единый и обязательный для всех закон гармонии. И вот в ответ он слышал только раскатистый смех пулемета и жалобный стук в подушке. Примирение, по-видимому, невозможно.

Но с чьей же стороны затруднение? Те, на холмах, поразительно равнодушны и устойчивы. В них есть что-то мертвое — как кладбищенские кресты на фоне неба. Привычный ранжир, все головки в одну сторону; все это, почти исключительно, четверти и восьмые. Совсем иное те, что окружили подушку беспрерывным неровным туканьем, не поддающимся учету. Там — бытовая устойчивость, здесь — суматоха, брожение. Эдуард Львович попробовал поймать одного живчика за двойной хвостик, но промахнулся, и рука его непомерно вытянулась в пространство. Тогда он приподнялся на цыпочки, стоя босыми ногами на снежном холме, и стал дирижировать хором нотных головастиков: быть может, они поддадутся.

К удивлению Эдуарда Львовича, хор оказался прекрасным. Свободно отделившись от земли и плавно размахивая руками, Эдуард Львович летал вдоль огромных, нескончаемых нотных заграждений, от горизонта к горизонту, и все более убеждался, что режущие ухо диссонансы были лишь близки, а с высот, в отдалении, все звучало великой гармонией, изумительным хором и совершенной музыкой. Ему захотелось вовлечь в хор самые отдаленные инструменты, едва видные на горизонте. Но он не

успел спуститься к ним со страшной своей высоты: раздался звон, и композитор потерял равновесие.

Эдуард Львович проснулся и не мог понять, какой звук разбудил его. Оттянув одеяло к ногам, он некоторое время прислушивался: может быть, позвонили в передней? Но все было тихо. Да и звон был — скорее — как от разбитого стакана. Подумал о своем сне: изумительный сон. Особенно любопытно в нем, что слияние и гармония таких несогласных, по-видимому, ритмов оказываются возможными. В этом — глубокий смысл. Надо подойти издали и с высот. Возникла как бы идея новой странной композиции, трудной, но возможной. Понять, представить возможно,— ну, а воссоздать?

Тянуло холодком. Эдуард Львович поправил в ногах пальто, согнулся совсем калачиком, скрипнул по подушке небритой щекой и старался не шевелиться, чтобы согреться. Холодком тянуло, и воздух стал как будто свежее. Нотки исчезли, исчезли и холмики, но туканье пулемета стало еще чаще и отчетливее. Однако ухо уже привыкло к нему. И Эдуард Львович заснул.

Когда стало светать, в верхней части окна, в обеих рамах, обнаружились дырочки в стекле, а от дырочек шли кругом лучи. Рассвело еще, и новая дырочка обнаружилась в обоях, на стене против окна. Обои вокруг дырочки припухли от распыленной штукатурки.

Никто в окно не метил. Октябрьские пули летали всюду, не очень заботясь о цели. Зачем-то одна из них, самая бесполезная, но и безвредная, залетела в комнату композитора, нарушив на минуту его музыкальное сновидение.

КАРЬЕРА КОЛЧАГИНА

На шестой же день забежал в кухню особняка Андрей Колчагин. Был небрит, красен, весел, хоть и вздрагивал — за эти дни поистрепался. Пришел с ружьем и набитой сумкой. В мешке нашлась колбаса, круг сыру, большой ком масла, к которому крепко примерзла газета. Еще какая-то рухлядь, которой Дуняше не показал. Впрочем, дал ей будильник, початый пузырек одеколону и шелковую кофту с узкими рукавами и кружевом.

— Это что ж, откудова у тебя?

— Нашел. Ящик на дворе разбился.

— Нашто ж мне, на меня и не налезет! Это барыни носят.

— Барыням нынче, Дуняшка, капут пришел. И барыням и баринам. Наша власть одолела.

— Ты где ж был? Ужли стрелял?

— Ясное дело. В самом был сраженьи. Телефонную брали.

— Кто брал-то?

— Кто: Мы и брали, большевики.

— Нешто и ты с ими?

— С кем больше? С народом мы! Против юнкарей и всей буржуазии. Таперича им крышка, наша взяла.

— Не пойму я что-то, нз-за чего стреляют. Смута одна.

— Тебе и понимать нечего. Ты берн кофту н духи берн. Теперь этого добра мы можем сколько угодно.

— Чужое, поди?

— Чужое. Разговаривай! И дура же ты, Дунька. Деревня.

Однако господам — сказал — лучше не показывать, не их дело. Так н сказал: «господам». Других слов еще не было, не знал точно, буржуи ли живут в особняке, где кухня всегда была ему ласковым приютом.

Пробыл недолго, ночевать не остался, даже в бане не был,— а как раз топили. Уходя, захватил и ружье, нацепив на плечо дулом вниз. Сумку тоже захватил с собой, но пустую: содержимое запер в свой сундучок.

По улице шел Андрей Колчагин шагом уверенным. Из-под фуражкн выбился у него клок волос, по-казацкн, хоть и был он пехотой. Встречные, прохожие, смотрелн на него недружелюбно н с опаской; он на ннх не смотрел. Чувствовал себя Андрей Колчагин не простым человеком, солдатней, а значительным, вроде героя,— как раньше было в деревне, перед отправкой на фронт.

Прошел прямым путем в Чернышевскнй, к воротам Совдепа, где уже много солдат без толку толпилось,— у всех за плечами ружья дулом в землю. Здесь перекинулся словом, выкурил папнросу, справился, как пройти с бумажкой, через какой подъезд. Встретил некоторых, что вместе с ннм брални телефонную; но у них бумажки не было. Протолкался, подождал в очереди, добился-таки. Держал себя не по-простецкн, а без боязни, боевнком; н слова говорил подходящие.

За столом, в комнате кислой и дымной, сидел, вписывал, ставил печать человек жидкий, черноватый, в пиджаке, но не робкий. Покрнкивал на солдатню. На Колчагина не глядя, вписал его фамилню на бумажку, хлопнул печатью, сказал:

— Вот, товарнщ, отправляйтесь по назначению.

— А куды идти-то?

— Написано. На Хамовниках будете. Кто следующий?

Прншлось шагать обратно. Бумажку с печатью сунул Колчагин в обшлаг.

В Хамовниках, в большом занятом доме, была толкотня и полная неразбериха. И не узнаешь, кто тут главный, кто командир н чем командует. Солдаты сидели в креслах, на столах, на подоконниках, и паркет был заплеван и забросан окуркамн. Кто покрнкивал на других, того н слушали.

Колчагин прошел по комнатам, ища, кому вручить свой новый документ,— н не нашел. Было таких же нщуших еще несколько. Тогда Колчагин взял у них бумажки, сверил, небрежно броснл нм: «Ладно, все в порядке; подождите». И затем стал уже спрашивать бумажкн у всякого нового пришедшего. И вдруг почувствовал себя вроде как бы начальством. Властн не было — нужно власть налаживать. Налаживать власть стал Андрей Колчагнн. И все поняли, что так и быть должно. Теперь к нему

обращались уже с некоторым почтением, как к старшему.

Затем прнехал на дребезжащей машине какой-то штатский, влетел в первую комнату, крикнул: «Здравствуйте, товарищи, сейчас все будет»,— но ему никто не ответил. Он заметался, перекладывая свой портфель со стола на стол, искал чернильницу и явно не знал, что делать дальше. Вот тут-то н выступил Андрей Колчагин, спокойный, в фуражке, с папиросой в зубах:

— Мандаты проверены, товарнщ. Все в порядке. Сейчас выставим охрану, а то всякий пройдет сюда без надобностн. И дверн прикажу на запор, без особого пропуска не лезть.

Приезжий очень обрадовался, даже не сумел сважничать н разыграть начальство. Было ясно, что начальство уже родилось в лице Андрея Колчагина.

Все были голодны. Колчагин выбрал пятерых, послал «раздобыть». И бумажку им выдал; сам пнсал плохо, но нашелся более грамотный, которому Андрей н приказал быть как бы писарем. Подписывал же сам: «Начальннк команды товарищ Колчагин».

Раздобыли в арбатском магазнне, который прншлось вскрыть на нужды борцов, только некому было вручить распнску, так как хозяина не оказалось. Притащили в мешках: большой круг сыру, какая нашлась колбаса, много масла, разные коробки. Колчагин принял, все велел запереть в комнату. Потом выдавал сам для дележа. И в свой мешок тоже поклал на случай — сколько вошло.

Кто ушел, кто остался. Спали тут же, не раздеваясь, на полу. Колчагину предоставили диван. И понятно: начальство, трудилось больше других. Ложась спать, Андрей сначала проверил охрану и назначил смену.

Поутру, на другой день, опять приехали какие-то органнзаторы, толклись на месте, говорили о пишущих машинках, отмечали на дверях комнат, передвнгалн столы, уходили, приходили. Колчагнн неизменно сопровождал нх, помогал двигать столы, записывал что-то себе на бумажку, а по уходе нх садился за пнсьменный стол в первой комнате, смотрел зорко н покрнкнвал на входящих. Люди сменилнсь — Колчагин оставался.

Так потекли дни. В комнате заскрипелн перья, в приемной толкалась сначала солдатня, потом появились н обыватели, напуганные, нерасторопные. Сюда свозилн вещи, сюда прнводилн арестованных, отсюда летелн приказы от нменн Хамовнического Совдепа,— но ничто не могло пронзойти без ведома н санкцин Андрея Колчагина, которого звали комендантом. Никто его не ставил, не выбнрал, не утверждал в звании. Колчагин был необходим, естествен, нензбежен. И когда проснтель, обойдя все комнаты, терял последнюю надежду,— ему говорилн:

— А вы, товарнщ, обратитесь-ка лучше к товарнщу коменданту.

И проснтель робко стучал в «кабннет коменданта», где за столом пил чай с сахаром н булкой нзвестный во всем Хамовническом районе товарнщ Колчагин, властный, толковый и не

зиающий сомнеиий. Иных иаправлял, другим решал дело сам, выдавая бумажку с подписью и собственной своей комендаитской печатью.

НОЧИ ОБРУБКА

Страшиее дией были иочи Обрубка. Часто в эти кошмарные иочи, между сном и явью, мерещился ему последний бунт калек и уродов.

На низких колясочках, с деревяшкой в каждой руке, чтобы упираться о землю,— черепашьим вихрем летят обрубки войны к войие иовой. А он, совершеннейший из обрубков, чудо хирургии,— чудом же мчится впереди всех за командира. За ним слепые, скрючеиные в рог, лишенные лица, глухие, иемые, отравлеиные, соиные,— взводы георгиевских уродцев.

Революция иовая, иебывалая, последняя: всех, кто еще здрав и цел, окариать в уродов, всех под одии уровеиь! Зубами отгрызть уцелевшие руки, колесом проехать по ходящим иогам, иаколоть видящие глаза, отравить дышащие легкие, громом потрясти мозговые коробки. Всех под одну стать!

И женщии! Дайте иам жеищии-обрубков, таких же, как мы. С руками и иогами целыми, с глазами видящими и лживыми, они будут презирать иас и отталкивать. Пусть оии будут обрубками: мы оставим им только груди. Мы будем сползать и соединияться без рук и без иог. И пусть родятся у иас такие же дети.

Все перестроить! Пусть одеждой человеку будет мешок, а работать ои будет зубами. Только слепым и безумным оставить право иметь коиечности,— пусть водят и иосят других калек. Не все ли равио: разве ие водили иас и раньше слепые и безумные? Если захотят того глухие и иемые,— всем здоровым вырвать языки и проткнуть уши калеиой иглой! И старым, и детям, и девушкам.

Пусть будет тишииа в мире, придумавшем боевые марши и гимны, барабаниый бой и грохочущее орудие.

Кошмар — кошмар — из отрублеииых иог костры иа площадях. Вокруг костров быстрой каруселью летят коляски безиогих — бунт безиогих — шабаш уродов,— а безумные бросают в огонь иенужные больше книги, стулья, рояли, картины, обувь, главиое — обувь, и еще перчатки, обручальиые кольца,— весь хлам, нужный только целым, которых больше иет и ие будет. Теперь вы поняли!

Высшая красота — рубец и культяпка. Кто больше изрублен и изрезаи — тот всех прекрасией. Кто смеет думать иначе — на костер. Вымарать на икоиах и иа картииах руки и иоги, изуродовать лица, чтобы прежией красоты ие оставалось и в памяти. Опрокинуть и разбить в музеях античные статуи, оставив только мраморные торсы да бюсты с отбитымн носами. Воздвигнуть на больших площадях копии ватиканского торса Герку-

леса,— единствеииая достойиая статуя, идеал красоты повоенной!

Миром будет править синяя, блестящая культяпка. А провалится мир — туда ему и дорога!

От кошмарных дум и сиов Обрубок стоиал протяжно н мучнтельно. Перебирая мускулами спины, старался перевернуться иа бок. Он умел делать это с иалету, резким движением, головой упираясь в подушку н помогая себе сильиой шеей; ио ииогда, ие рассчитав двнженья, падал на живот и, измучившись, плакал, как ребенок. Чтобы поправиться, долго раскачивался, опять иапрягал шею и копошился в яме мягкого тюфяка. Отдышавшись, закрывал глаза,— н тогда кошмар начинался сиова, в полуяви-полусие его мучительиой иочн.

Думать о другом? О чем? Вспомииать о прошлом, когда можио было иа этнх иогах обойти весь мир, этими руками обнимать и отталкивать, когда было все доступио, игра и борьба, поход и вальс, жест н работа? Когда можио было... можио было почесать плечо, не делая для этого трудных и утомнтельиых двнжений головой, чтобы хоть достать подбородком? Ему казалось, что еще никогда н ни у кого ие чесалось так сильно плечо, и с холодным ужасом думал: а вдруг, как ие раз бывало, зачешется бок или грудь! Позвать Грнгория? Бедный Григорий! Что бы ои дал, Обрубок, чтобы стать таким «бедным», с рукамн н ногамн,— пусть пожилым и полуграмотным солдатом. Кем угодно, на какой угодно грязиой работе. Каторжником — да, и каторжнnком. Даже шпноном! Любая жизнь лучше его жизни.

Ему вспомииались постояиные больные и иапрасные споры его с соседом, Каштаиовым, потерявшнм на войне зрение. И теперь он иаходил тысячу новых доводов н доказательств тому, что жизиь слепого во миого раз легче, что все же она — иастоящая жизнь, полная возможиостей. Ночью, вот сейчас, в темноте, Каштаиов равеи всем другим. Он лежит удобио в постелн, может встать, иалить в стакаи воды, выпить, крепко потянуться, опять заснуть. Может спать не одии и, ие видя,— ласкать. И этот счастливчик смеет жаловаться, смеет сравнивать!

Упершись затылком в подушку, Обрубок приподиял спниу, изогнул тело и стал медлеиио и иапряженно опускаться с протяжиым, сквозь зубы, сдавленным звериным, волчьим воем.

В соседией комиате скрипнула кровать и зашлепалн босые ноги Григория.

— Али неможется, что стоиете? Может, иадо что?

Попоил водой, нз столика выиул плоское судеиышко, долго возился с калеченым, как с ребенком, поправил постель, укутал, дал покурить, подставил блюдечко для пепла,— все при свете иочника. Посидел рядом, иа самой постели, рукой скрывая зевоту.

— Что же, Григорий, так всегда и будешь за миой ходить?

— А что ж, ужель вас оставлю! Мие жить хорошо, только бы вас утешить. Не стоит об этом думать, ваше благородие. Меньше думаешь — лучше спится.

— Ты и вправду веришь в Бога, Григорий? Или только так говоришь, стараешься в иего верить?

— В Бога я верю, как же ие верить в Бога.

— Добрый он, твой Бог?

— Добрым ему ни к чему быть. Ои строгий.

— А зачем ои меня искалечил, твой Бог?

— Как можно, ваше благородие, это ж ие Господь, а люди!

— А ои позволил людям.

— Зиачит, свои у Его соображения, иам о том знать ие даио. Вам, ваше благородие, смириться иадо, такая уж вам судьба.

— Ну, хорошо, Григорий, я смирюсь. Иди спать.

Григорий зевал и закрещивал рот.

— Если что опять иужио — покликайте, а иапрасио себя ие мучайте.

— Спасибо, Григорий, иди.

Думал о Григории и его строгом Боге, имеющем свои соображения. О верующих, могущих смириться в любом иесчастии. И странно — им ие завидовал. Только им, едииствеииым, и ие завидовал. И в себе такой веры ие иаходил и ие искал. Обмаи!

Но, о иих думая, затихал, и вправду смирялся, позволяя сну мягкими руками коснуться глаз. И во сие видел себя здоровым, ие спешащим использовать свое здоровье — свои цельные руки и ноги, свою молодость. Видел женщину — шутил с ней.

Обрубку еще не было тридцати лет. В этом возрасте перед человеком вся его жизнь. Но Обрубок ие был человеком...

ОБЕЗЬЯНИЙ ГОРОДОК

Замкнутым кругом вырыли ров, сделав внешнюю стену отвесной. Получился островок, выхода с которого ие было.

Посреди острова высокое сухое дерево с голыми ветвями. На иих обезьяиам удобио заниматься гимиастикой.

Под деревом домики с окиами, чердаками, крышами,— совсем как человеческие. Хорошие качели. Бассейи с проточиой водой, а над иим, на перекладиие, подвешеио на веревке кольцо. Все для удовольствия.

Огромной семье серых мартышек жилось привольио. Плодились, размиожались, наполняли городок.

Смотритель зоологического сада рассчитал правильно: обезьяний городок пользовался большим успехом у публики. Мартышкам бросали орехи, хлеб, картофель, любовались их фокусами, смеялись над их любовью и семейными раздорами.

Смотритель решил переселить в городок и рыжую породу. Добавили домик, крышу сделали покрепче. Новые граждане были чуть-чуть покрупнее, мускулами крепче, нравом озориее.

Сначала все шло хорошо. Были, коиечно, драки, ио без драк ие бывает прочной обществеииости. Затем выясиилось соотиошение сил и началось расовое засилие.

Был среди рыжих одии — чистый разбойник. Сильиый, лов-

кий, злой, командир среди своих, ои стал истиииым бичом серых. Не пропускал случая задеть, куснуть в загривок, цапиуть за иогу.

Сиачала побаивался тронуть самку-мать, возле которой суетился голый, тоиенький живчик. Но кончилось тем, что белыми острыми зубами, ловко подкравшись, тяпнул иежиого младеица и спасся иа дерево от разъяреииой матери.

Проделка рыжим понравилась; они почувствовали свою силу. И тогда же в обезьяиьей душе серых впервые родилось созиание предопределенности, грядущей неминуемой гибели их патриархального племеии.

Серый страх поселился в обезьяиьем городке. И скоро худшие ожидания оправдались.

Рыжий насильиик скучал. Все одно и то же, все одио и то же. Даже иикакого серьезиого сопротивления. После того, как ои, загнав одну робкую жертву иа край ветки, заставил ее сделать иеудачиый прыжок вниз (серый сломал заднюю руку),— никто из серых больше на дерево ие лазил. Отиимать пищу тоже скучио,— и иадоело, и ни к чему, своей достаточио. Нужио что-иибудь особеииое.

От скуки рыжий делал стратегические обходы, высматривал кучу дрожащих обезьяиок, бросался прямо с крыши домика в самую гущу, цапал за загривок кого попало, потом садился поодаль, почесывая бок, и белыми зубами дразиился и издевался иад трусами. Те виовь скучивались поодаль, уставив на иего близкие глазки и стуча зубами. Куда бы он ни упрыгивал,— все, как по команде, повертывались в его сторону, зорко иаблюдая за его движениями и готовясь в нужный момент отпрыгнуть. Когда ои отходил далеко или спал дома,— оии решались зализывать раны, глодать морковку, искать друг у друга блох и, иаскоро и иесмело, любить друг друга. Жизиь, хоть и ставшая иевыиосимой, должиа была продолжаться. Но это была жизнь обреченных.

Однажды, когда рыжий скучал от безделья, одии из серых рискнул позабавиться: прыгнул в кольцо над бассейиом и стал качаться. Рыжий заметил, тихо спустился в ров, обошел поиизу обезьянью усадьбу, нацелился, виезапно появился у бассейиа, поймал серого за хвост и быстро сдернул его в воду.

Серый поплыл к краю,— ио враг его был уже там; поплыл к другому,— ио и здесь ие удалось выйти. Едва ои цеплялся за край, рыжий иасильник крепкой рукой ударял его по маковке головы и окунал в воду.

Вот иакоиец иовая и интересиая забава. Серая жертва обессилела и, погружаясь в воду, пускала пузыри. Когда в последний раз мокрая обезьяиья головка появилась у края, рыжий, уже без особого увлечения, лишь легким щелчком, погрузил ее в бассейи и подержал недолго. Теперь всплыли только пузыри. Издали иа эту шалость рыжего смотрели дрожащие серые обезьяики, скаля зубы и поджимая хвосты.

Рыжий подождал, обошел еще раз бассейн, задорно выгнул спину, потом отошел, присел, оскалил зубы, отряхнул мокрую

руку и, найдя турецкий боб, принялся его чистить. Забава окончилась, и опять стало скучно.

Но в общем, опыт ему понравился, и бассейн стал чаще привлекать его внимание. Теперь он уже сам загонял сюда новые жертвы. Когда ему удавалось схватить крепкими зубами зазевавшегося серого, он подтаскивал его к бассейну, отбиваясь зубами от судорожных рук, и быстро сталкивал в воду. Топил не торопясь, давая жертве немного отдышаться, лукаво отходя к краю и возвращаясь вовремя, чтобы погрузить голову слабого пловца, играл, забавлялся, прыгал в кольцо, качался и вновь подоспевал вовремя. Утопив, скучал, растягивался на крыше домика, забирался на дерево и сильными мускулами сотрясал большие сухие ветви.

Серая колония убывала. Страх перешел в безнадежность. Примеру главаря следовали и другие рыжие, нападая врасплох на исхудавших, облезлых, растерянных, дрожащих обезьянок, забираясь в их дома, выгоняя их наружу, отнимая пищу, перегрызая руки, вырывая клочьями шерсть. Серая колония таяла — рыжая плодилась и благоденствовала.

Смотритель зоологического сада слишком поздно заметил исчезновение серых,— лишь когда воду спустили для чистки бассейна. Сторожам досталось. Оставшихся серых переселили из вольного городка в особую клетку. Здесь их откормили, а к клетке привесили дощечку с их латинским названием. Разрешили жене одного из сторожей поставить рядом столик с пакетиками турецких бобов. Это давало сторожихе небольшой постоянный доход, особенно по воскресным дням,— а саду — экономию на пропитание обезьяньего племени.

Глядя на пополневших мартышек, невозможно было установить, вспоминают ли они об обезьяньем вольном городке, своей утраченной отчизне. Близко поставленными глазками они смотрели на публику, принимали подаяние, скалили зубы и, не стесняясь людей, делали на глазах всех то, что полагается делать человеческому подобию.

ИНВАЛИДЫ

Сегодня с утра к Стольникову забегали защитные шинели с пустыми рукавами, стучащие деревянные ноги и возбужденные лица со страшными шрамами. Обрубок внезапно стал их общепризнанным вождем, хотя было у них подобие своей организации — Союз инвалидов — и хотя из двух требований, с которыми решили они выступить, первое («война до победного конца») не находило в нем сочувствия. Вторым была помощь инвалидам великой войны: но и об этом мало думал Стольников. Его волновала только мысль об открытом выступлении безруких, безногих, изуродованных людей. О них забыли — их слово теперь обязаны выслушать. И чем громче, чем резче, чем злее и настойчивее прозвучит оно,— тем лучше.

Было решено, что его, как совершеннейшего из инвалидов, понесут впереди в кресле, поставленном на высокие носилки. Остановится процессия перед домом Совета Депутатов, и там будут сказаны речи.

К двум часам собрались кучками на Тверском, расселись на лавочках, потоптались у Пушкина, бродили по площади. Когда принесли Стольникова, все подтянулись к нему. Знамя было одно: красное, Союза инвалидов.

Получилась толпа сотни в три. Носилки с креслом несли трое посильнее; четвертым был Григорий. Рядом шли безрукие и на костылях. Вели под руку нескольких слепых, в том числе и Каштанова. В толпе белелось много повязок.

По самому тротуару, припадая на одну ногу, ковылял страшный солдатик, у которого не было лица: на блестящей коже чернели лишь глаза без ресниц и без бровей, буравились дырочки носа и висел сбоку клочок путаной бороды.

Когда процессия остановилась, на балкон дома Совета Депутатов вышло пять человек. Один, блондин с бородкой, похожий на интеллигентного купчика, полный и уверенный в себе, перевесился дородным телом через перила балкона и замахал рукой. Четверо облокотились на перила, без особого любопытства разглядывая толпу уродцев. Была эта картина не новая.

Из толпы инвалидов кричали нестройным хором. Слышались слова «до победы», «позор», «мы требуем», некоторые махали листками, но видна была плохая организованность выступления и несогласованность желаний пришедшей толпы.

Блондин на балконе опять махнул рукой и начал говорить. Голос его был хрипл, очевидно, надорван постоянными речами; сегодня он говорил с балкона уже в шестой раз — шестой толпе солдатских шинелей. И речь его была заучена, одна для всех, разнились только обращения. Сейчас он говорил к «товарищам-инвалидам империалистической войны». Слова ударялись о памятник Скобелеву, с которого только что сняли бронзовые фигуры, пролетали дальше и терялись в низких сводах гауптвахты. Прохожие задерживались ненадолго,— к демонстрациям у Совета давно привыкли, слова с балкона давно были известны. Внимание привлекло только кресло Обрубка, возвышавшегося над толпой.

Стольников, покачиваясь при неловких движениях носилок, не отрывая глаз, смотрел на здорового, двурукого, двуногого оратора. Привязанный к креслу, он ярче обыкновенного чувствовал свое бессилие, свою неспособность к жесту, сейчас так ему необходимому.

В середине речи оратора начали прерывать; к концу гул голосов совсем заглушил его слова. Те, что стояли ближе к носилкам Обрубка, засучили рукава и совали к балкону синие культяпки рук, другие махали костылями и кричали с надрывом. Непонятное кричали и слепые. Солдат без лица вышел вперед и мычал: он был нем.

Оратор выкрикнул последнее, рукой показал куда-то вдаль и вверх, утер губы платком и попятился к двери; за ним вышли и другие.

Нужно было что-то делать, а что именно — никто точно не знал. Делегаты с листом требований вернулись; лнст у них взяли, но самих в здание Совета не пустили. У входа в Совет стояли молодые солдаты с винтовками, другие были расставлены на тротуаре н прогоняли останавливавшихся прохожнх. Из подъезда вихрем вылетел юноша в военной форме, одетый чище других и лучше затянутый кушаком, очевидно — командир, перебежал тротуар н, не подходя близко к голове процесии, закричал:

— Проходите, товарнщи, расходитесь, довольно! Нельзя занимать площадь.

Вернулся и вывел наряд, занявший весь тротуар перед домом.

Толпа инвалидов потопталась на месте, но крайние, поздоровее, уже пятились. Те, что несли знамя, двннулись в сторону улицы.

В этот момент, покрывая гул толпы, раздался резкий и дикнй, почти нечеловеческий крнк, сорвавшийся в визг:

— Разбойннки! Р-р-раз-бой-ни-ки!

Носилки покачнулись. Быстро, свободной рукой, Григорий подхватнл падавшее с кресла тело Обрубка, сломавшего легкую перекладину, которая его сдерживала. Из толпы бросились помочь. Почти вплотную подбежал и начальник караула с двумя солдатамн.

— Убрать! Уноси его отсюда, пока хуже не будет. Товарищн, слышали приказ: расходись немедленно!

Обрубок был без чувств. Грнгорий, передав свой край носилок, подвязывал ручки кресла, обматывая той же веревкой грудь Обрубка и спинку кресла. Затем, толкнув в бок парня с перевязанной щекой, даржавшего передний край носилок, глухо скомандовал:

— Айда, заноси край. Нечего тут проклажаться.

Толпа смолкла и быстро двинулась. Только часть пошла за Стольннковым, другая, перегоняя свернутое знамя, рассыпалась в противоположную сторону Тверской.

— Как бы чего не вышло,— сказал ннвалид, шагавшнй рядом с Григорнем.— Они, брат, не посмотрят, что он безногий-безрукий. Главное дело, что офнцер... Этакое им крикнуть.

— Чего с него взять,— буркнул Григорнй.— Все уже взято.

И, поторапливая носильщиков, он одним насупленным суровым взглядом заставлял толпу встречных и любопытных сворачивать с пути странной процессии.

Обрубок очнулся, отыскал глазамн Грнгория, затем снова опустил голову н до самого дома не открывал глаз. Только при неловкнх двнженнях носилок лицо его вздрагивало болезненно.

КРУГ СЖИМАЕТСЯ

Сегодня Дуняша вытопила печь в гостиной, где теперь стоял рояль, занимая полкомнаты. Зал и столовая заперты. Танюша переселилась в бабушкину комнату, рядом со спальней дедушки.

Второй этаж не отапливался, так как дрова достаются с трудом. В последний раз ездили за дровами вместе Николай и Дуняша, а подводу дал зеленщик. Привезли березовых, сухих, отличных, а откуда,— это уж секрет Николая, зря болтать нечего. По дороге какие-то пробовали остановить подводу, но Николай отстоял:

— Везу себе, свои кости греть. Отымай у других, а не у рабочего человека. Меня, брат, не испугаешь! Я сам совдеп.

И ничего, пропустили.

Эдуард Львович играл Шопена. Играл спокойно, не дергаясь. Танюша, хозяйка особняка, разливала чай. Орнитолог не на диване, а в глубоком кресле. Был и Поплавский, худой, как тень,— очень ему тяжело жить. Конечно, и Вася Болтановский, каждодневный теперь гость; да и не гость, а свой человек. Из новых знакомых — Алексей Дмитриевич Астафьев, философ, приват-доцент. С ним Таню познакомил Вася, а старый профессор знал его немного по университету и одобрял. Только мужчины; даже Леночки не было; Леночка перед самой революцией вышла замуж за доктора.

Чай был настоящий, из старых запасов; хлеб белый, из муки, которую привезли из деревни Дуняше. Сахар пайковый — еще выдавали иногда.

Профессор думал о том, что вот нет в углу лампы, освещавшей седую голову и чепчик бабушки и ее рукоделье. Потом переводил глаза на Танюшу и видел, что Танюша, заменившая бабушку за самоваром, стала, пожалуй, совсем взрослой. Уверенная, заботливая, задумчивая; даже слишком задумчивая,— в ее годы можно бы и легкомысленнее быть, но только, конечно, не в такое время; сейчас беззаботных нет. А Вася все на нее смотрит и смотрит. Славный паренек, Вася, да только вряд ли Танюша отметит его особо; мальчик он хоть и хороший, а не по Танюше. Совсем другой человек ей нужен.

Поплавский сказал:

— И тепло же у вас. И уютно, еще уютнее прежнего. У меня дома настоящий мороз; я в одной комнате заперся, а в столовой с потолка свесились сталактиты; у нас водопровод лопнул.

Эдуард Львович потер руками и подумал, что ведь у него тоже холодно. Правда, есть печурка, но обращаться с ней очень трудно, даже если дрова наколоты на маленькие кусочки и положены рядом. Подумал Эдуард Львович, но ничего не сказал: это не из его области разговор. Главное, есть у него рояль. А ведь у некоторых отобрали. Опять поежился и потер руками.

Танюша спросила Астафьева:

— А вы где живете, Алексей Дмитрич?

— Я живу на Владимиро-Долгоруковской. Дом у нас сейчас заселен рабочими, а из буржуазных элементов только я остался. Пока не трогают, но, вероятно, выселят и меня. Шумно у нас, а любопытно.

Вася рассмеялся:

— Чего же любопытного, когда у вас все отобрали.

— Ну что же за беда. Да и не все, книги остались.

— Без полок?

— Полок осталось мало. Но я их сам сжег: холодновато было.

— И книги отберут.

— Может быть, отберут. Я не так уж и огорчусь.

— А как работать?

Астафьев улыбнулся, не сразу ответил.

— Работать... Конечно, по-прежнему работать будет невозможно, да и теперь нельзя. Но ведь... и нужно ли?

На него смотрела Танюша, и он продолжал:

— Философия стала уж слишком очевидной роскошью. Как и вообще наука. Для себя самого — да, а для других — не знаю. Чему учить других, когда жизнь учит лучше всякого философа?

Танюша подумала: «Что это он, иронизирует или кокетничает парадоксами?» Поплавскому стало грустно от таких слов. А старый орнитолог обеспокоился:

— Как же тогда, делать-то что же, улицу мести? Мудрость, веками накопленная, не может же вдруг в один день стать ненужной.

Астафьеву очень не хотелось возражать. И вообще говорить не хотелось. Было так уютно в старом особнячке, так тепло и старинно. И так хорошо от музыки Эдуарда Львовича и от чая, налитого руками Танюши. Но нужно ответить.

— Видите, профессор, вот ваша область, естествознание, она такая, ну, безошибочная, что ли. А философия ведь даже и не наука, хотя и зовется наукой наук. Ее рождает роскошь жизни или усталость от жизни. Она — пирожное. И еще она — насмешка. И еще она — уход. Жизнь же сейчас такова, что если от нее отойдешь на минуту,— она от тебя уйдет на дни. Кто хочет выжить, тот должен за нее цепляться, за жизнь, карабкаться, других с подножки сшибать,— как в трамвае.

— Тоже и это — философия,— сказал профессор.— Печальная, конечно.

— Да нет, почему печальная. Просто подошли мы ближе к природе. Быт огрубел и упростился; должно и бытие ему соответствовать.

Поплавский вставил:

— Ну, бытие не грубеет. Бытие, напротив, тоньше становится. Мы сейчас глубже чувствуем. Быт идет сам собой, а жизнь духовная...

— Думаете, сложнее становится? А я не думаю. Обыватель от усталости становится немного философом, а философ — обывателем; оба — циники. От этого бытие не выигрывает. А главное — все это не нужно, как прежде было нужно. Сейчас важнее сохранить и развить мускулы, а книги — зачем книги, разве что популярные брошюры, учебники, пожалуй, сказки — для отдыха.

И Астафьев улыбнулся так, что можно было принять его слова за шутку, а можно и за серьезное.

Эдуард Львович обвел всех близорукими глазами и на редкость уверенным голосом, картавя, сказал:

— Хотите ри, я сыграю что-нибудь крассическое?

Пока он играл, Астафьев смотрел на Танюшу, которая, стараясь не стукнуть ложечкой, мыла чашки. Астафьев думал: кто она такая? С детскими еще чертами лица — взрослая женщина.

Танюше шел двадцать первый год. Она была стройна и красива. Лицо очень строгое, почти холодное,— хотя и очень русское. Улыбка, наоборот, цельная, несдержанная, согревающая. Когда улыбка сбегала с лица Танюши, на минуту на лице оставался румянец и ласково играли глаза. Затем опять рождалась Диана. Вечером серые глаза Танюши казались темными и синими. Волосы гладко зачесаны над большим лбом. Танюша была из породы тех немодных женщин, которые не могут сделать неизящного движения и которым не приходится думать, как держать руки или как наклонить голову. Такой она была на людях, в обществе. Иною она была одна: глаза раскрывались шире, на лбу появлялась легкая складочка, и Танюша становилась хрупкой и испуганной девочкой, которая не знает, куда ей идти, у чьей двери постучаться, у которой на всем свете нет никого, кто мог бы указать и посоветовать. Танюша смотрела в окно и видела серое небо; она брала книгу, на страницах которой не было ответа. Она вздыхала, и кофточка казалась ей тесной. Тяжелые волосы оттягивали голову. Все предметы в комнате, давно знакомые, смотрели на нее равнодушно и слишком логично. Тогда она шла к дедушке и прижималась к его жесткой щеке. Дедушка гладил ее и думал: «Что будет с моей Танюшей?»

Эдуард Львович играл сегодня с особой уверенностью и, когда играл, знал определенно, что люди растерялись, а истина известна только ему, Эдуарду Львовичу. Только он обладает вполне несомненным. И несомненного отнять нельзя. Несомненное — музыка, мир звуков, власть звуков, композиция. Он ударял пальцем по клавише, и клавиша отвечала так, как он хотел и требовал.

За окнами падал снег. Ни лошади, ни пешехода не было на Сивцевом Вражке.

В Хамовниках, в большом доме с освещенными окнами, суетились люди в гимнастерках, в кожаных куртках, в солдатских шинелях. Выходили группами, садились в автомобили и летели быстрее нужного. Пока Эдуард Львович играл, неуклюжий солдатский палец выводил буквы его фамилии и прикладывал печать. Музыка, композиция несомненны и неотъемлемы. Но рояль — вещь, которая может быть отнята с еще большей легкостью, чем отнимают сейчас жизнь. И притом рояль очень нужен для рабочего клуба.

Вписав в бланк мандата фамилию композитора, тот же палец, уже гораздо свободнее и увереннее, даже несколько игриво, подписал внизу и собственное имя с красным росчерком:

«Андрей Колчагин».

И поставил печать.

ВЕЩЬ

Выходная дверь с треском захлопнулась, но с лестницы еще доносились голоса, а струны рояля прн толчках звучали удивленным баском.

Комната выходила во двор, н как грузилн рояль на подводу, Эдуард Львович не видал.

Однако один нз реквизиторов вернулся, постучав, вошел и утешительно повторил Эдуарду Львовичу:

— Значит, вы, гражданин, особенно не волнуйтесь. Еслн окажется, что у вас нсключнтельное право от учреждения по музыке, тогда обратно получите, не этот, так другой. А против декрета мы не можем, н рабочие клубы в высшей степени нуждаются в музыкальных фортепьянах, всякому мы оставлять фактическн не можем, так что ясное дело. А зря волноваться нечего, никто вас не обидит, и все идет на нужные потребности страны. Вы даже должны, как образованный человек, радоваться. А впрочем, можете жаловаться.

И ушел.

Хотя Эдуард Львович ел, пил и спал, как все остальные люди, но от этих остальных людей он отличался тем, что как-то мало замечал, что он ест и пьет, а спать он ложится потому, что играть ночью нельзя,— спят остальные люди. Кроме того, у остальных людей были еще малопонятные Эдуарду Львовичу интересы: семейные, деловые, политические. По нотам жизни своей они разыгрывали опусы, весьма чуждые композитору и как-то не вполне подчняющиеся контрапункту. Вероятно, все это было нужно, но уж во всяком случае можно было обойтнсь н без этого прн наличии того всеобъемлющего н всеисчерпывающего, которое зовется музыкой.

Это доказано н опытом. Эдуарду Львовичу уже за пятьдесят лет, у него не было ни семьи, ни других привязанностей, а если и было что-то подобное в молодостн, то теперь все это уже давно претворено в звуки и легко укладывается в пять строк нотной бумаги. И уж конечно, Эдуард Львович не заметил, как он нз обыкновенного, как хроматическая гамма, человека, хотя н с абсолютным слухом, сделался — гражданнном.

Когда человек, назвавший Эдуарда Львовича гражданином, ушел, на полу остались пятнышки пыли в тех местах, где раньше были ножки рояля, а от пятнышек, как колен на полу, шли к дверям трн светлые ленты. А на этажерке ноты, вдруг ставшие ненужными, в особенности рукописные, в большой старой папке.

И еще осталась в комнате никому на свете не нужная, старая, подержанная вещь — сам Эдуард Львович. Вещь постояла средн комнаты, потрогала себя рукой за редкие волосы на висках и посадила себя на стул у стены. Круглый же табурет с повышающимся сиденьем стоял пустым среди комнаты, н сесть на него было бы теперь как-то странно: неизвестно, куда обратиться лицом, совершенно безразлично.

С полчаса вещь просидела так, вполне сознавая важность

случившегося, но путаясь в деталях, а главное, не понимая, что же нужно теперь делать. Был даже момент, когда вещь улыбнулась и подумала: «Этого же ведь не может быть! Вероятно, это что-нибудь из той, из их жизни, не имеющей отношения. Нельзя же предположить, что вдруг действительно кто-то зачем-то мог отнять и увезти... ну, почти что... то есть не почти что, а именно... душу,— взять ее и увезти на подводе? Ведь невозможно же без инструмента не только обработать, но и наметить в главных чертах симфонию или даже небольшой романс, и вообще — ну ведь нельзя же жить на свете без инструмента, как же это так? Что же тогда останется?»

Это было настолько нелепо и похоже на шутку, настолько невероятно, что вещь, сидевшая на стуле у стенки, попробовала улыбнуться; затем она на минуту закрыла глаза. Немедленно же три светлые ленточки на полу исчезли, на пятнышки пыли встали ножки рояля, и все вернулось. Открыв же глаза снова, вещь опять увидала и пятнышки и полоски к выходной двери.

И вот тут из дальнего уголка памяти, из старой нотной тетрадки, где все записи пожелтели и полустерлись, позабытым мотивчиком внезапно выглянула мысль, что подобный случай уже был однажды. И подробности: тоже вынесли предмет, вроде ящика, и тоже на его месте осталась незаполненная пустота. Ящик поменьше и полегче, узкий. Ящик был гробом, а лежала в нем мать Эдуарда Львовича, сожитель всей его жизни, почти до самых седых его волос.

Но была и разница. Какая же была разница?

Во-первых, тогда Эдуард Львович вышел из комнаты вслед за ящиком и шел за ним по улице, до могилы. Ящик опустили в землю. Потом... потом Эдуард Львович вернулся домой, и квартира (тогда у него была своя, никем не оспариваемая квартира) показалась ему пустой. И вот тут... пронзошло что-то примиряющее, утешит... ну да. Он сел за рояль и стал играть. И играл до сумерек. И, играя, забыл о потере. И каждый раз, как он чувствовал наступившую в жизни пустоту,— он заполнял ее звуками рояля.

А теперь? И вот тут мысль мучительно путалась и терялась. Разумный Эдуард Львович исчезал, а на стуле оказывалась ненужная вещь, старая и выцветшая, называющаяся гражданином.

Экономическая печурка потухла, и ноги Эдуарда Львовича стали зябнуть. Сначала он хотел снова затопить печурку, но понял, что теперь это совершенно ни к чему. Тогда надел свою рыжую шубенку, валенки, шапку и, осторожно ступая, чтобы не наступить на вытертые на паркете ленточки, вышел из дому.

Тусклым огоньком теплилось в памяти, что идти нужно вслед... за этим ящиком, в котором вложено все содержание жизни. Нужно за ним идти, так как можно пожаловаться. Но куда за ним идти? Какой улицей? В каком направлении?

В тот раз его несли за Дорогомиловскую заставу. Потом по дороге, в ворота, и в глубину налево, маленькая могила за решеткой; и там у могилы лавочка.

Эдуард Львович сильно устал, но нашел могилу легко,— зна-

комая могила. Даже соседние могилы были знакомы. Так хорошо было встретиться, опять быть в кругу таких простых, тихнх н прнятных... действительно точно друзья. С того раза, однако, прошло... Эдуард Львович счнтал... уже лет... уже лет пятнадцать илн уже шестнадцать. Какая уютная эта могила — его матерн,— хотя такая простая. И он прнсел на лавочку.

Глубокой старушкой умерла его мать. Теперь же н сам он почти старнчок. Волос мало, и волосы седые. Когда волос было больше и они седыми еще не были, то случалось... вот тут опять нз старой нотной тетрадки украдкой зазвучали мотивчикн... случалось, что было на что пожаловаться матери,— на первые неудачи, на равнодушне публикн, на непонимание кртнки,— разные были тогда обиды, н тоже не малые... но, конечно, не т а к и е, т а к о й никогда еще не было. И если он теперь... если, например, он н теперь пожалуется своей родной матери (потому что ведь теперь обида новая и несносная), то она его, во всяком случае, поймет; другие, остальные люди, может быть, н не понялн бы, но мать — старый друг! Она поймет!

В валенках плохоньких, подшитых на пятке кожей, в шубенке трепаной, снявши шапку, на гражданина не похожий, но очень похожий на ненужную и подержанную вещь,— седой, никому не нужный н теперь человечек, сполз с лавочки в снег на коленки и, обжигая лысину о железо решетки, стал плакать, по-ребячьи всхлипывая. На кладбищах нужно плакать по другим,— а он по самому себе, так как его обидели, отняли у него нгрушку всей жизни. Бедный такой, точно маленький, а сам уже старичок. И, как ребятенок, все слова забыл, а помнил н повторял только одно коротенькое словечко «мама»,— других слов не было. Вытирал нос рукавом, а обильные слезы буравили дырочки в снегу и застывали светлой сосулькой на завитушке решетки. Сквозь туман слез он смотрел на дырочки и на сосульку, а всхлипывания свон укладывал на ноты, ставил форшлаг, отделяя черточкой, помечал паузой на три четверти.

Когда все слезы кончились, встал, огляделся, смущенно улыбнулся, поклонился могиле вежливым поклоном, потоптался, как в передней, перед уходом нз гостей, и пошел к выходу, проваливаясь в сугробах нечищенного кладбнща.

Пошел к дому,— н долго плелся по улицам, шаркая валенками, уступая дорогу прохожим, стараясь от холода спрятать лицо в мездру воротника.

Дома его ждала комната, не согретая печуркой. В комнате было темно и не видно ни пятнышка пыли, ни полосок на паркете. Вещь осторожно приоткрыла дверь, вошла, нащупала в темноте стул у стенкн н села.

БРОНЗОВЫЙ ШАРИК

Танюша навестила Стольникова. На этот раз он принял ее сидя в кресле. На нем был френч с напрасными рукавамн. Кресло

у стола, где разложены «изобретения» и посередине — бронзовый шарик на листе темно-зеленой бумаги.

Танюша, войдя, сразу опять почувствовала ту неловкость, которая удерживала ее от второго визита. Как-то странно даже войти: нельзя подать руки. Может быть, нужно поклониться. И, конечно, нужно смотреть просто, приветливо и весело. Н у ж н о с д е л а т ь л и ц о,— это всего труднее. И она покраснела еще на пороге.

Ясно понимала Танюша, что не нужно спрашивать ни о здоровье, ни «как поживаете», что нужно непринужденно говорить самой о чем-нибудь и о ком-нибудь, рассказывать, развлекать. Но это так трудно. И обрадовалась, когда Стольников заговорил сам. Он сказал:

— Приятно, очень приятно мне видеть вас, Танюша. Я называю вас Танюшей по-прежнему, хотя вы совсем большая стали; но я-то стал зато вроде бы как старик, хотя Григорий и называет меня малым ребенком. Как же ваши занятия, Танюша?

Она стала рассказывать и заметила, что он почти не слушает, а думает о своем. Она спросила:

— Вам что-нибудь нужно? Помочь вам чем-нибудь?

— Пожалуй, мне покурить хочется. Возьмите папиросу и суньте ее без стеснения прямо мне в рот. Вот так, спасибо. А пепельницу Григорий прямо передо мной ставит.

— Это что за шарик у вас?

— Шарик... Да, это замечательный шарик.

И вдруг, с изменившимся лицом, он заговорил быстрым шепотом:

— Шарик этот, Танюша, может все изменить и перевернуть, все вернуть... Вы не верите в чудо? Я в такое чудо верить могу, ведь я сам, говорят, чудо, чудо хирургии и выносливости. И вот я смотрю на этот шарик и жду... он должен зашевелиться. И он, Танюша, зашевелится, я его заставлю, взглядом заставлю.

Она не поняла, но Обрубок и не смотрел на нее.

— Должна быть такая сила — понимаете — выработаться сила. Сначала пустяк — действие на шарик, чтобы покатился; а если это будет, тогда — вы понимаете — в дальнейшем будет все возможно, только нужна гимнастика воли. Если заставлю, тогда мне не нужно рук и ног, я и без них буду сильнее многих и всех — понимаете.

С напряженными мускулами лица, слегка раскачиваясь, он фиксировал шарик взглядом, как бы толкая его мыслью. Папироса упала в подставленную пепельницу. И так же напряженно, широко раскрыв глаза, полная жалости и жути, смотрела на него Танюша и испуганно думала:

«Что же делать, Господи, что же делать! Он помешался, он совсем болен».

На минуту закрыв глаза, Стольников как-то сразу успокоился, улыбнулся своей прежней, давней улыбкой, прямо взглянул на Танюшу и сказал:

— Нет, Танюша, вы этого не думайте, я не сумасшедший.

Тут совсем другое. Тут единственный исход, спасенье единственное. Моя жизнь, вы понимаете, не сладка. Но если надо жить — надо ее, жизнь, создать терпимой; а такая, теперешняя, нетерпима. Так жить непереносимо мне, Танюша. Либо верить, либо не верить. Мой шарик не такое уже безумие. Безрукие пишут ногами, безногие передвигаются при помощи рук, глухие слушают трубкой, слепые учатся видеть при помощи каких-то инструментов. Все это — чудеса, не меньше моего чуда, которого жду я. Я ведь тоже многого добился: я вот могу есть суп ложкой и сам в постели закуриваю. Бесконечно многого можно добиться. Писать ртом совсем просто. Но хочу я добиться бесконечно большего, потому что и несчастье мое бескопечно большое. Есть области духа, нам еще мало ведомые, но реальные, а не гадаемые. Можно устраивать взрывы на расстоянии, без проводов. Можно в Европе слышать голос из Америки. Говорят, можно будет управлять полетом аэроплана без пилота. Это все, конечно, чудеса. Это — техника; а в области духа чудес должно быть больше. Факиры тоже не все шарлатаны. И не таких уж чудес я хочу. Я не скалу хочу двинуть, а легкий шарик. Человек — источник огромной силы: изучить ее нужно и направлять ее. Нет, Танюша, я не безумный.

— Я и не думала...

— Нет, вы именно подумали, я знаю. Я вообще многое чувствую острее, чем другие, чем здоровые... целые люди. Но не в том дело. А дело в том... Но вот... хотите, Танюша, взгляните на меня.

Она подняла глаза и встретила его опять изменившийся взгляд, сразу словно и проницательный, и далекий, нездешний. Опять в темных больших глазах Обрубка, в глубине их, в зрачке, искоркой горело то, что Танюше показалось безумием.

— Вы не бойтесь, вы смотрите. Теперь смотрите сюда, на шарик, и вот смотрите... пристальней... вот... вот...

Танюша замерла. И вдруг случилось непонятное, странное своей простотой и неожиданностью: бронзовый шарик качнулся, покатился в сторону Танюши, докатился до края стола и со стуком упал к ее ногам. Танюша вскрикнула, отшатнулась, вскочила и отбежала к двери. Опомнившись, она оглянулась и увидела откинутую назад голову Обрубка. Его глаза были полуоткрыты и казались белыми. В комнату вошел Григорий.

— Что вы, барышня? Или плохо им?

Увидав, в каком состоянии Обрубок, Григорий покачал головой:

— Бывает это с ними. Опять своим шариком забавлялся. Эх, барышня, какой они человек несчастливый. И день, и ночь вот так маются. Вы идите, барышня, я тут сам управлюсь, это пройдет у них. Скоро отойдут, я знаю, тревожить не нужно. А вам тут быть неудобно.

Танюша вышла, едва держась на дрожащих ногах. То, что случилось, было так страшно и так ужасно. Показалось ей — или и правда? Или он толкнул столик? А как он был бледен и как безумны были его глаза. Это — самое страшное, что видела Танюша в своей жизни.

Морозный воздух улицы вернул ей силы. Миновав Брои-ную, Танюша быстрой походкой пошла в сторону коисерватории. Если бы оиа встретила кого-нибудь из зиакомых,— оиа ие узнала бы.

ВИЗИТ

К Стольникову пришли под утро и стуком в дверь подняли Григория.

— Вы, гражданин, кто?

Григорий, хоть и поиял, хмуро ответил вопросом:

— А вы сами кто такие? Чего вам нужно?

Четверо стояли с ружьями, а спрашивал пятый, в кожаной куртке, с красным бутафорским бантом. Махнул у Григория под иосом иаганом:

— Мы вот кто. Офицер Стольников, который тут?

— На что вам его? Спят они. Не к чему их беспокоить.

— Ты что же, денщик его, что ли?

— Денщик.

— И тебя заберем. Денщиков, брат, нет больше, коли не понимаешь. Ну поворачивайся.

И ввалились в спальию Стольникова.

Григорнй смотрел мрачной тучей. Не испугался нисколько — видал всякие виды.

Обрубок лежал под одеялом, повернув голову к вошедшим. Он проснулся от стука, поиял и теперь смотрел на вошедших молча, нахмурив брови. В глазах была злая иасмешка.

— Вы, что ли, офицер Стольников? А ну, вставай, не стесняйся, здесь баб нет.

Григорнй мрачно и раздельно сказал:

— Спроси сиачала, могут ли они встать. Не знаете сами, куда идете. Разве это полагается инвалидов беспокоить?

Черная куртка прикрикнула:

— Ты, товарищ денщик, ие очень разговаривай; заберем и тебя без предписания. Подымай своего барина. Мандат у нас имеется. Без разговоров, граждаие, документы свои предъявите.

Стольников тихо произнес:

— Дай им документы, Григорнй.

— Вы что же, иивалид?— спросил черный.

Стольников ие ответил, смотрел черному в глаза насмешливо.

— Спрашиваю,— надо отвечать! И в постеле нечего прокла-жаться. Предписаио доставить вас, а уж там разберут, чем больиы. Это дело ие наше.

Солдаты смотрели с любопытством. И лицо и голос лежащего офицера были особенными. И видели, что начальник иаряда смущен, хоть и старается держать тон.

Отдавая докумеиты, Григорий сказал тихо:

— Без рук, без иог они. Нечего вам с ними делать.

Начальник иаряда промычал:

— Дело не мое. Есть приказ доставнть. И никаких не может быть рассуждений. Ходить-то может он?

— Ежели говорю, без рук, без ног.

— Мне все одно, хоть без головы. Прнказ ясный, значит, не о чем говорить. Смотрн, как бы и тебя не забрали.

— Меня нельзя, я за ним хожу.

— Нянька? Тоже — солдат называется.

— Уж какой есть, тебя не спрашивал.

— А ты, товарищ, не дерзн, управа найдется. Ладно, подымай своего барнна.

— А ты, хам, на войне-то воевал? Или только с офнцерами воюешь?

Черный вспылил:

— Забирай его, ребята, как есть, нечего смотреть.

Ни один солдат не двннулся.

Тогда черный, держа в руке наган, подошел к постелн Стольннкова н закричал:

— Встать!

Встретил насмешливый взгляд. Стольников не шевельнулся.

Черный в бешенстве схватил край одеяла н сдернул с лежащего. В прорезь рубашки глянул лоснящийся рубец плеча; другой рукав был подвернут под спину, а вся рубашка — под бедра. Не дрогнув мускулом лица, Обрубок только впился в лицо черного.

Тогда сказал Григорий:

— Что ж это, братцы, делается! Разве так можно!

Один солдат стукнул прнкладом н проворчал:

— Эй, брось его, пущай лежит. Какая в нем безопасность.

Другой поддержал:

— На кой он кому нужен. Вндишь — ннвалид полный.

Грнгорий подошел к постелн, плечом отстранил черного н накрыл офнцера одеялом. Обрубок лежал, закрыв глаза. Левая щека дергалась. Зубы стиснул.

Черный, не зная, что делать, закричал на Григорня:

— А ну ты, товарнщ, забирай свое барахло н собирайся. Айда, шевелись. Это у вас что тут за машина? Забирай, ребята, машину, велено для канцелярии. Протокол составим н айда. Вы, гражданин ннвалид, до расследования останетесь дома, под арестом. Мое дело сторона, мандат имеется. А ты собирайся, денщик. Тебе там покажут, как офнцера укрывать.

Григорий сказал решительно:

— Я не пойду. Тащи силой, коли на тебе креста нет. Вонны!

Черный поднял наган, навел на Григорня:

— Это видал? Скажи слово!

Но руку его резко отвела другая рука. Молодой солдат, покраснев до белесых волос, угрюмо буркнул:

— Оставь! Говорю, не замай. Машинку, коли надо, забнрай, а его оставь. Не туда попали. Один на войне нзрублен, а другой за ним ходит. Чай, не зверн мы. Айда, собнраться будем.

Черный совсем присмирел, сунул револьвер.

— Это дело не ваше, товарищи; я тут отвечаю один, а ваше дело нсполнять.

— Ладно, очень тоже не начальствуй. Говорю — забирай машину, и будет.

И остальные заступились:

— Верно, здесь, товарищ, дело совсем особое. Тоже понимать нужно.

Черный совсем присмирел, сунул револьвер в кобуру, повернул к двери:

— Ну, там, который-нибудь, прихвати машину.

— Ладно.

Четверо повернули головы к Стольникову и, смотря вбок, один за другим козырнули:

— Счастливо оставаться!

Молодой задержался, подошел к пишущей машинке, потрогал, опять покраснел:

— А ну ее к лешему, на кой она! Пущай остается.

И к Григорию:

— Ты, товарищ, ничего не беспокойся. Тоже и мы люди.

Затем к Обрубку — фронтом:

— Счастливо оставаться, ваше благородие!

И вышел, стуча сапогами.

КОНЦЕРТ

Дуняша в теплом платке поверх кофты и в валенках, Танюша в старых ботинках и серой меховой шапочке. Последние морозы. Город замерз. Только бы дотянуть до весны — там будет легче.

На дверях Совдепа много всяких объявлений, отстуканных на испорченных «ремингтонах». Лент нет, и печатают копировальной бумагой.

Печати огромные, а подписи рыжие, смешанными чернилами. Комендант принимает дважды в день. Что за должность — комендант? Подпись крупными каракулями: «Колчагин». И росчерк ржавым пером..

— Кого вам?

Пропустили. Однако пришлось обождать. На счастье, вышел сам, увидал, сказал: «Пожалуйте, я сейчас». И очень строго на кого-то прикрикнул:

— А вы зря ходите, гражданин, раз сказано бесповоротно!

Даже Дуняша присмирела. Танюша смотрела с любопытством: вот он, живший у них на кухне, а сейчас начальство. От него зависит судьба Эдуарда Львовича и, верно, еще многих людей.

В «кабинете» своем Колчагин стал иным. Со смущеньем поздоровался, видимо, волновался.

— Уж простите, что обождали. Верно, дело до меня? Вот, Татьяна Михайловна, где довелось встретиться. Конечно,— сейчас время такое. Порядки наводим новые. А вы присядьте, может, чайку выпьете. Ты, Дуня, тоже садись, давно тебя не видел. Сейчас прикажу чай.

— Нет, не нужно, мы ведь по делу, а вас другие ждут.

— Подождут, неважно. Там все больше по напрасным делам. Конечно, решать прнходится.

Не знал, как держать себя Дуняшин брат; суетился, но и важности терять не хотел. А Танюша не знала, как называть его. Раньше звали Андреем. Выручила Дуняша.

— Андрюша, пошто у барнна, у Эдуарда Львовича, у учителято барышнн, рояль отняли?

Танюша объяснила. Андрей, хоть и сам подписывал бумагу, не помнил, о ком разговор.

— Нельзя ли ему обратно отдать? Он композитор н профессор консерватории. Ему нельзя без инструмента. Что же ему делать?

Андрей вспомнил:

— Который, косой, у вас играл?

— Ну да, он.

— А кто ж отнял?

Навел справку. Узнал: для рабочего клуба. Но рояль еще не отправлен, а клуб еще не открыт. Вызвал кого-то по телефону, главное, чтобы показать деловитость. Покрнчал в трубку, похмурился, вышел из комнаты.

— Сейчас узнаю н прнкажу.

Видимо, рад был, что может сделать властно н быстро. С четверть часа где-то пропадал, хлопотал, вернулся.

— Можно будет восстановнть. Конечно,— музыкант, дело совсем особое. По недоразумению у него отобралн.

Дуняша для крепостн намекнула:

— Ты уж постарайся, Андрюша, для Татьяны Михайловны. Она тебе рубашки на фронт посылала.

— Так я что ж, обязательно. Сам с вамн и на склад поеду. Это дело особое, по ошибке, за всем не усмотрншь. Времена сейчас, конечно, другие, но мы против граждан ничего не имеем, различаем. Вы, Татьяна Михайловна, будьте покойны, и ежели у вас в доме какое недоразумение, придут там или реквизнция,— обязательно ко мне, и будьте покойны.

Опять вышел — бумажку написал, печатн. Прнказ, одним словом.

— Пожалуйте, на склад поедем. Я уж сам для верности.

Вышли. Ждал у ворот автомобиль, шумный, облезлый, рвущийся. Колчагин был важен и суров, шоферу сказал отрывисто:

— Айда, товарищ, на склад, где намедни былн.

На складе, в сарае бывшего торгового помещения, навалена была мебель, ковры, картнны со сломанными рамками, письменные столы, пианино, зеркала,— все поцарапанное н поломанное в спешной перевозке. Роялей стояло два, н узнать знакомый — Эдуарда Львовнча — нетрудно. Но Боже, в каком он виде: запыленный, грязный, с поцарапанной крышкой. Таня обрадовалась ему, как родному.

— Вот этот, Андрей, вот этот! Как же быть, как взять его?

Колчагин решил быть великодушным и властным до конца:

— Доставнм, я прикажу.

— Наверное? А когда?

— Прикажу грузовнк. Будьте покойны. Не сегодня, так завтра. Адресок оставьте.

Таиюша погладила полированную поверхность рояля, приподняла крышку: не заперт. Не нспорчен ли прн перевозке? Прнсела на ящик, обеими руками прошла по клавишам.

Милый Эдуард Львовнч. Как он будет счастлив!

На звуки рояля заглянули в сарай два солдата н человек в штатском. Колчагин с кобурой у пояса стоял важно н самодовольно.

— Может, сыграете что?

Танюша удивленно оглянулась:

— Здесь?

— Так что же, и здесь. Мы бы послушали. Конечно,— какие мы слушатели.

Танюша была преисполиена счастьем. Сыграть им? Только бы вернули рояль, а она готова иа все. Холодио рукам... Она опять оглянулась и увидала, что у дверей сарая собрались еще любопытные. Сыграть им. О, оиа сыграет.

Дуняша нашла, обтерла н поставила стул. Танюша погрела руки дыханием, радостио улыбнулась (как страино нграть здесь!) и стала играть первое, что вспомнилось.

Клавиши былн как белые н черные льдинки, н иголки мороза покалывали пальцы. Но звуки были теплы н отзывались на великую Танюшину радость: она играла для своего учителя, для одинокого, никому не нитересного Эдуарда Львовича, для обиженного старого ребенка. В первый раз оиа могла отблагодарить его за счастье музыки, за годы строгого внимания к ней, к ее успехам, за все. Оиа готова играть, пока слушаются пальцы, пока потребуют этого Дуняшин брат и эти люди у дверн. Все равно — в холодиом сарае или в блестящей огнями зале, знатокам или солдатам. Как это странно и как это прекрасно!

Играла иапряженно, так как пальцы скользили по заиндевевшим клавншам. И чувствовала, как в старых ботинках стынут пальцы ног на педалях. И все-такн она нграла.

Кончила н не знала, нужно лн играть еще. Пальцы страшно озябли н не отогревались дыханьем... Обернулась с внноватой улыбкой н увидела, как все, в молчаньн, смотрят иа иее глазами добрыми, смешными, пораженимн. У двери уже толпа, а первые, подвннувшись ближе, молчат, ждут. Кажется — нужно еще играть им? От озноба в пальцах — слезы проступают на глазах. Но если нужно...

— Очень спасибо вам, товарищ Татьяна Михайловна. Вот отлично играете! Конечно,— не место здесь.

Другие заметили:

— Покорнейше благодарим. Вот это уж музыка иастоящая.

Дуняша помогла:

— Руки-то, чать, замерзли совсем. Вон тут какой мороз. У меня в валенках ноги окоченели.

Человек в кожаной куртке подошел:

— Обязательно просим, товарищ, в клубе нашем поиграть. Мы клуб открываем и инструмент поставим. Обязательно просим. Чем можем, отблагодарим, пайком там каким, все как полагается.

— Да, да, я сыграю,— растерянно отвечала Танюша.— Сколько хотите. Только бы этот рояль отвезли.

Колчагин опять авторитетно заявил:

— Как сказано. Либо нынче же, либо завтра, как грузовик будет. Приказ готов, дело за подводой. Раз сказано — не беспокойтесь.

Из склада вышли втроем. У ворот все прощались с Танюшей, опять благодарили, и она думала: «Какие они хорошие! Я, кажется, плохо играла. Но какие они хорошие. Они удивительно слушали. И вообще все так хорошо! Только бы вернули, только бы вернули».

К особнячку в Свивцевом Вражке, лихо громыхая, подкатил по снегу комендантский автомобиль. Вышли Танюша и Дуняша.

— Так ты уж, Андрюша, позаботься.

— Сказал, значит, будет. Счастливо оставаться, Татьяна Михайловна! В случае чего — вы уж прямо ко мне.

Вышедшему из ворот дворнику козырнул с приветливой важностью:

— Товарищу Николаю!

И шоферу:

— Обратно в совдеп поедем.

Дворник Николай посмотрел вслед машине, покачал головой, пробурчал про себя:

— Вот оно, новое начальство. Дунькин братан, дизинтир. Дела-а!

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

— Никого не было, Дуняша?

— Был товарищ один, вас спрашивал.

— Какой товарищ?

— Солдат. Пожилой уже. Велел сказать — Григорий, с Бронной улицы. И чтобы вы зашли к ним.

Танюша очень давно не навещала Стольникова; она бы навестила, но чувствовала она, что ее посещения радости Обрубку не дают, скорее напротив, как-то волнуют его. И она не забыла,— и он, конечно, помнит сцену с бронзовым шариком. Бедный, ему тяжело видеть ее, здоровую девушку, с которой он когда-то танцевал. После той странной сцены она была у Стольникова несколько раз, но всегда с кем-нибудь, чаще с Васей Болтановским, который удивительно умел быть простым, приветливым и даже веселым. С ним легче.

Теперь Танюша пошла одна. Не случилось ли чего-нибудь с больным, что ее вызывает Григорий?

Оказалось, что Стольников сам послал Григория к Танюше и просил ее прийти.

Он был сегодня прост, только как бы смущен.

— Очень по вас соскучился, решил побеспокоить. Я все один.

— Ну, конечно, Александр Игнатьевич. Я и сама зашла бы, но я не знала, хотите ли вы видеть...

У Стольникова засмеялись глаза:

— Ведь вас, Танюша, всегда хорошо, только сам я не всегда в хорошем состоянии, чтобы принимать гостей. А вот сегодня ничего, дышу.

Она все-таки не знала, о чем говорить.

— Книг вам нужно принести? Я захватила с собой, но не знаю, интересно ли вам это.

Он поблагодарил, потом сказал:

— Вы меня не занимайте разговором, Танюша. Мне просто посмотреть на вас хотелось. Вот вы какая растете, красивая, славная. Только вот время сейчас тяжелое.

Она рассказала про разные домашние заботы, про то, как у Эдуарда Львовича реквизировали рояль, как бедный едва не помешался, как она была с Дуняшей в Совдепе, где комендантом служит Дуняшин брат. Старалась не терять нити рассказа и все время видела глаза Стольникова, сегодня такие простые и ласковые, не отрывавшиеся от ее лица. И Танюша даже увлеклась своими рассказами.

Иногда входил Григорий и тоже смотрел на нее ласково. Ее он давно одобрил: навещает инвалида, все же легче ему. Настоящая и хорошая барышня.

В паузе Стольников сказал:

— Я вам письмо писал, Танюша, длинное. Не послал, потому что теперь не надо. В письме рассказывал про себя больше. Кому-нибудь рассказать нужно, кому же? Вам легче, и поняли бы меня лучше.

Танюша молчала.

— Я там писал про свои ощущения. Мир для меня сейчас совсем особенный, не как для других. Как бы посторонний мир. Иной раз злобствую сильно, а иногда примиряюсь. Иначе бы жить уж совсем, совсем невозможно. Вот и писал вам. И о себе — это по слабости своей, конечно,— и о вас. Как бы благословляя вас на жизнь. Ведь это ничего, Танюша?

— Ну, господи, конечно же.

— Вот. Вы не смущайтесь, я вам скажу... я вас очень люблю, так, знаете, по-хорошему. Ведь и букашке, то есть, как бы это сказать, ведь и такому... ну... не совсем человеку, вот как мне, тоже хочется чувствовать, что-нибудь в сердце своем ласкать. Я ваше имя ласкаю, Танюша. Вы простите. Это я себе для прицепки к жизни придумал.

Оба помолчали, потом он опять продолжал:

— Да... По старым воспоминаниям. Я не очень воспоминаний чуждаюсь. Кусочками прошлого все же можно иногда жить...

Какой сегодня необыкновенный Стольников. И как он может говорить так просто. И как это странно.

— Вот. И знаете, Танюша... какое у вас имя славное... знаете,

может быть, мир-то человеческий, все эти события, и личные радости, и всякие горести,— все это слишком переоценено, а в сущности, все это сводится к немногому. Ну, ко сну, например. Сон — счастье, и всем равно доступен. Или к радостной минуте полного освобождения — к смерти.

— Не нужно, Александр Игнатьевич.

— Ах, нет, Танюша, я ведь не о печальном. Это так, философски. Не подумайте, что я хочу плакаться на судьбу мою... поистине горемычную. Я совсем о другом сейчас. Только объяснить это нелегко.

Он долго искал слов. Потом вдруг вскинул на Танюшу большие свои глаза и со смущением мальчика, деланно и шутливым тоном сказал:

— Да-с... И решил я вас попросить о неприятной помощи мне в моих думах; даже правильнее, о помощи моей жизни, поскольку, конечно, я живу. Сделаете?

— Скажите, я все сделаю, только я не знаю...

— Танюша, вот что... вообще-то это не сложно, только немножко оригинально... Ну, я путаюсь от смущения... Вот что. Вы сейчас пойдете домой, вам, верно, и пора. А только вы меня, как уходить будете, по-це-луй-те.

И, задрожав, прибавил:

— Вот она, жертва ваша. За все мое, что я пережил.

У Танюши похолодело сердце. На минуту почувствовала непереносимый страх, хуже, чем тогда, с бронзовым шариком. Обрубок сидел, закрыв глаза и запрокинув голову.

Она встала, подошла и со смешанным чувством ужаса и бесконечной жалости обняла рукой голову Стольникова, наклонилась и приблизила к его губам свои. Он открыл глаза, в такой близи ставшие огромными. Тогда она, дрожа от волнения, холодными губами поцеловала сухие, горячие губы Обрубка, затаившего дыхание, не ответившего ей ни единым движением. Он замер, и лицо его было нездешним.

Танюша отступила на шаг, потом отошла к двери, сказала едва слышно:

— Прощайте.

Он не шелохнулся, не открыл глаз, не ответил. Танюша вышла.

Это был первый поцелуй Танюши, первый ее поцелуй был дан мужчине, которого нельзя было назвать ни мужчиной, ни человеком.

«ИРА»

Григорий с утра ушел стать в очередь за крупой. Обрубок сидел в своем передвижном кресле у стола. Посередине стола, как всегда, лежал бронзовый шарик. В открытое окно доносился стук колес и визгливый голос женщины:

— Я с ночи стояла, а как подошла,— закрыли. Все, говорят, вышло, раньше завтра не будет.

Другой голос отвечал:

— Что же это делается, Господи.

Комната Стольникова была во втором этаже. Когда Григорий вывозил Обрубка на прогулку, он сначала спускал по лестнице кресло, затем, как ребенка, сносил Обрубка на руках.

Была весна. Беззаботны были — и то на вид — только воробьи и ласточки.

Бронзовый шарик лежал неподвижно. Неподвижны были и глаза Обрубка, на него устремленные,— стальные серые глаза.

Бронзовый шарик мал и ничтожен. Но вокруг него образовались круги, и первый круг захватил бытие Обрубка, печальное и нечеловеческое бытие. И дальше шли круги, все шире. В одном вмещалась Москва, в другом Россия, в третьем земля, а дальше — бесконечность. В пределах вечности ничтожно было бытие Обрубка, незаметное, несуществующее, как математическая точка; но оно было центром, блестящим, слепящим глаз; от него исходили лучи и освещали весь мир страшным смыслом и значением.

Обрубок порвал нить взора и закинул голову. Вместо неба — грязный потолок с желтым подтеком над окном. Беззвездно и пусто в душе,— нельзя питать ее обманом. Нет руки, чтобы смахнуть замутившую глаза влагу. Во имя чего он должен был испытать это? Какой мечтой жить остатку человека? Откуда взять силы? Зачем?

Стиснув зубы, он мычал:

— Убей меня, Григорий! Раб, убей господина!

Григорий стоял в очереди за горстью крупы и шестью кусками сахара.

Обрубок остатком ноги навалился на плоский рычаг, им изобретенный, и кресло слегка откатилось назад. Вот и все, что ему доступно. Бронзовый шарик отдалился и потускнел. Круг сузился до пределов личной, никому не нужной жизни Обрубка. На улице женщина крикнула:

— Наделали дел. Как теперича без хлеба?

Отвечал грубый голос:

— Ладно, не сдохнешь. А и сдохнешь — не потеря.

Обрубок снова навалился на рычаг и подкатил кресло к окну. Грудь его была на уровне подоконника. В доме напротив были открыты окна; на одном грудой были навалены подушки и одеяла, в пятнах, давно не стиранные.

Он видел только полоску неба, заслоненного этажами дома. По небу плыло облако, а глубина была синей и прекрасной. Была весна, кому-то нужная, к кому-то ласковая. Острым клинышком прорезала небо ласточка и юркнула в гнездо.

Тогда культяпкой руки он уперся в подоконник, напряг мускулы и отделился от кресла. Был как ребенок, которому хочется вскарабкаться на стул. Там, за окном, больше простора. Уперся подбородком в холодную доску, сильной шеей поднял неповоротливое тело и замер так. Если кресло откатится — он упадет на пол. Но кресло стояло боком, прочно.

Так, помогая себе движением челюсти, добрался до планки,

сдерживавшей раму, и впился зубами. Положить грудь на подоконник,— вот все, что нужно было Обрубку. Ребро подоконника больно давило грудь, но он выдержал и последним напряжением перевалил на доску все тело. От движения его кресло откатилось и упал плед, которым Григорий подвертывал остатки ног Обрубка.

Теперь он лежал иа подоконнике, едва прикрытый длиниой рубашкой, измучениый крайними усилиями, ослабевший. Лежал иичком, повернув голову к улице. Стало видио больше неба.

А что там, иа земле?

Упираясь подбородком, ои подполз к краю окна и перевесил голову вниз. Внизу была неметеная камениая паиель, и под самым окном лежала коробка от папирос «Ира». Эти самые папиросы курил и Обрубок; может быть, это его коробка.

Подокоиник холодил тело. По улице прошел прохожий, взгляиув вверх, увидал смотрящую голову и прошел мимо. Теперь улица была пуста.

Обрубок подполз ближе к краю, еще раз пристально посмотрел иа коробку «Ира», затем поднял голову и увидал, что облако заходит за крышу. Небо совсем чистое. Где-нибудь в поле, в деревне, теперь дышится легко, привольио. Но только тем, кому есть чем и есть для чего жить, тем, кому стоит бороться за будущее, цепляться за свое бытие. Злобы к ним нет. Злобы иет ни к кому. И любви иет ни к кому. И вообще нет ничего. Вверху — бездонное небо, внизу — пустая коробочка на грязиых плитах тротуара.

В окне напротив, где лежали подушки, показалась фигура женщииы. Увидав Обрубка, она ахнула и крикнула внутрь комнаты:

— Настасья, Настасья...

Обрубок сделал резкое движение, освободил грудь, выгиул шею кверху и бросил голову вниз. Тело наклонилось, замерло и медленио опустилось обратно на подоконник. Тогда он, с детским стоиом досады, сиова сильио повторил движеиие. Уродливый комок его тела качнулся снова, замер лишь на секуиду и стал перевешиваться. Затем коробка с надписью «Ира» внезапно приблизилась, метнулась вверх и снова выросла — уже огромной...

«ОСТОРОЖНО»

Григорий, степеиный и серьезиый, в штопаной солдатской одежде, в серых обмотках иа ногах, медленно шел по Большой Никитской улице, заглядывая в грязиые стекла пустых, забитых досками магазииов. Где-то, проходя, видел, помиится, нужное. Словно бы от церкви наискосок.

И правда, стоял в окне массивный, богатый, на иожках, с украшеииями, только совсем запылеиный гроб. Найдется, может быть, и попроще. На двери висячий замок и дощечка с сургучиой печатью. Григорий вошел во двор справиться.

Женщина, которую спросил, встретив в воротах, сначала не поняла, а потом испуганно ответила:

— Не знаю я, батюшка товарищ. Ничего не ведаю. Заколочен гробовщик. Сам-то он не жил тут. Ты бы в домовом справился, если надобно.

В домовом комитете тоже сказали, что магазин реквизирован, а бывший хозяин выехал и адреса не оставил. Может, и убежал.

Григорий нахмурился.

— Как же теперь, если надо хоронить?

— В Совдеп нужно идти либо в участок ихний. Гроба сейчас по распределению. Народу мрет столько, что не хватает. В очередь становись. А то к знакомому плотнику, если имеется. Только сейчас подходящих досок не найти. Сейчас мертвым не лучше живых. Жена, что ли, у вас померла?

Григорий не ответил и ушел.

В Совдеп, однако, не пошел, узнав от соседа, что гробы дают только на время — свезти на кладбище. А там нужно опростать и назад везти. Да и не всякому дадут, ждать приходится. А уж лучше самому смастерить, какой выйдет. Сейчас больше без гробов хоронят.

Сделал в пути крюк: зашел на Арбатскую площадь, где в церковной лавочке — говорили — есть свечи. С опаской, а все же дали. Расплачивался из большого кожаного своего кошеля, отвернувшись, потому что в кошеле, под нынешними, ненастоящими деньгами, лежала зашитая в тряпочку золотая десятка, а с ней рублей на пять серебра.

Придя домой, поставил около покойника свечи, зажег, перекрестился и опять вышел по делам. Заприметил поблизости лавочку, где вечером — видать — бывает свет. Зашел узнать, нет ли порожних ящиков. Сначала сказали: «Все пожгли, заместо дров», а после согласились променять за пять фунтов муки большой, совсем прочный, железными скобками окованный порожний ящик из-под посуды, на котором большими печатными буквами ясно обозначены были слова: «ВЕРХ — ОСТОРОЖНО».

Остаток дня Григорий провозился в сарайчике при доме. Пилил, строгал, набивал ножки. Стал ящик пониже, но днище осталось квадратным. Надпись «верх» исчезла; осталось только слово «осторожно».

Как ни болело сердце Григория, что нет гроба настоящего, какой полагается христианину, однако перенес ящик в комнату, поставил на стол, устлал внутри одеялом и белой простыней, положил и подушку для бедной разбитой головы.

Со всем управился один. Ничем не мог пособить слепой Каштанов, сидевший в углу на стуле и внимательно слушавший движения Григория. Из соседей не заглянул никто. Про несчастье знали — но было и своих несчастий выше горла. Заходил милиционер, записал, сказал: «Пришлют доктора засвидетельствовать смерть». Но до вечера никого не прислали.

Так же неудачно вышло и со священником. Старик из

церкви Иоаииа Богослова отказался отпевать самоубийцу. Дали совет: отпеть иа самом кладбище. Наутро побывал и на Дорогомилове, где долго рядился. За место даже и ие брали, а за рытье могилы просили иевесть сколько. Пришлось к кредиткам посулить серебряную добавку, так как последияя мука пошла за гроб.

Ни о дрогах, ии о простой подводе нечего было и думать. В те дии бедного человека хороиили домашиими средствами: зимой иа салазках, летом иа ручиых тележках; если есть кому — иесли иа руках.

У Обрубка ие было друзей, кроме слепого Каштаиова. Его семьей, ияиькой и единствеиным другом был Григорий. Ои одии и должеи был проводить покойиого в последиее жилище.

Тележку дал двориик, иаказав к шести часам иепременио доставить обратио. В тележке возили пайковый хлеб для раздачи жильцам.

Каштаиов ие мог видеть, как клал Григорий белый офицерский боевой крестик поверх простыии на грудь офицера. Но как стучал молотком по гвоздям, слышал и, встав, крестился, пока последний гвоздь ие был забит. Подошел, пощупал ящик, дериул щекой и заковылял к двери. Не провожать ему иесчастного друга. Из слепых глаз слеза не шла.

В три часа, обвязав простыией, свернутой в жгут, Григорий без труда снес иа двор квадратиый ящик, в котором никто бы ие призиал гроб, хоть и были прибиты иожки, погрузил иа тележку и двииулся иа Дорогомилово.

Встречиые ие крестились. На страшиом ящике лежала шапка Григория, а сбоку ясиыми буквами чернела по белому иадпись: «ОСТОРОЖНО».

AXIOS [1]

В списке скорбей прибавилась еще одиа смерть — самая иужная и справедливая: смерть-освободительиица.

Забившись в угол диваиа, ставши совсем малеиькой, Таиюша смотрела в себя. На полках души ее стояли томики в черных переплетах — иачатый жизнениый архив.

Вот тоиеиькая книжка в холодном переплете, и иа корешке имя: «Эрберг». О нем она зиала мало и думала редко. Начата была жизнь умная, вперед иадолго рассчитаииая, жизиь цифр, геометрических фигур и благоразумиых изречений. И вдруг — ошибка в расчете. Первым из близких зиакомых ушел Эрберг, такой молодой, ио уже в ранней молодости казавшийся взрослым. Такое строгое, логическое предисловие — и первые же главы оборваиы.

Стареиький, пухлый, миого раз с любовью перелистаиный, душистый лавандой томик со святым имеием бабушки; оно написаио иа первой страиице стариииым и очеиь зиакомым по-

[1] Axios — древнегреческое слово (áxios — достойный, стоящий, заслуженный), данное в латинской транскрипции.

черком. Милая усталая бабушка уснула любнмой, нсчерпав жнзнь любви, заботы н мнрного благословення. Догорела венчальная свеча, перевнтая пожелтевшей муаровой лентой.

Кннги смерти. И вот теперь смерть новая, — черная, ннкем не прочтенная кннга. Кто решнтся перелистать страницы мучнтельных мыслей, страстных нсканнй, самообмана, заглушенных вспышек завнстн к живому, больной борьбы разума н веры в чудо, жнвотной жажды ухода нз жнзнн... Страшная кннга! Ее напнсал велнкий страдалец, безжнзненным губам которого в ужасе н жалостн Танюша дала первый свой поцелуй.

И с тем же внезапно ожнвшнм чувством сжалась Танюша в уголке дивана. Как это было страшно! Как страшна жнзнь.

Как легка была весна. В 17 лет — какое было солнце. Какнмн правильнымн рядамн вставалн н решалнсь вопросы, как всесильна была наука, как гармоннчна музыка. Куда это нсчезло, что случилось?

Почему случилось, что смерть н смерти предшествуют жизнн. В начале дороги — кресты, раньше гимна радостн — похоронное пенье. И что дальше?

Спроснть дедушку? Но дедушка, сам старенькнй, — что ответнт? Нельзя пугать его такнмн вопросамн. Вася? Вася такой преданный н заботливый, хороший друг. Он, может быть, найдет слово, — но не то. Он забеспокоится н постарается развлечь, отвлечь, а ведь это совсем не нужно. Расскажет что-ннбудь смешное, а еслн не удастся, — растреплет свон внхры на внсках, сядет в угол н будет ломать спнчечную коробочку. Нет, Вася не может; он н сам не знает. Почему он не зашел сегодня, Вася? Все-такн с ннм хорошо и покойно.

Перебнрая в памятн немногнх знакомых, в эти днн оставшихся блнзкнмн, подумала об Астафьеве. Еслн бы он захотел ответнть, — но как спроснть? Разве об этом спрашнвают. И о чем же, собственно? Но об Астафьеве думала Танюша увереннее. Из всех, бывшнх теперь в особнячке, он был самым незнакомым н особенным. Хорошо бы видеть его чаще. И еще узнать что-нибудь об его жнзнн, какой он. Нужно спроснть Васю, который вндает его часто.

Былн сумеркн весеннего дня, окно было открыто. Танюша встала, выглянула на улнцу. Тнхо, прохожнх почтн нет. Села к роялю, подняла крышку, положила пальцы на клавншн. Но голова, русая н уставшая думать, упала на рукн.

Так сндела долго, не шевелясь.

Когда встала, на глазах просыхалн слезы, — нн от чего, так, случайные, девнчьн. Может быть, от ннх прошла усталость — онн былн нужны.

Потянулась, поправила наброшенный на плечн платок н вдруг почувствовала совсем новую легкость в теле.

Было в комнате свежо, на дворе вечерело. В чем же дело? Разве смерти заполнилн все? Тогда почему бы это ощущенне легкости н это желанне что-ннбудь делать, н много знать, н встречать людей, н нскать средн ннх того, кто больше знает н лучше ответнт?

До изумительности чувствовала Танюша, как легко дышать и как ощущенне жизнн просто побеждает и мысль о смертях и самую смерть. Куда-ннбудь идти, что-нибудь делать — скорее. Вндеть кого-ннбудь. И хоть нногда, хоть нногда смеяться, не думая о печальном н не сопоставляя черное и белое — которое победит. Черные томнкн на полке — а ведь белые лнсты бумагн еще не початы. И вот надо бы скорее начать.

И подумала: «Мне уже двадцать лет!»

И еще: «Есть ли в мнре где-нибудь полная радость? И где она? Где ее нскать? И что же такое, наконец, счастье? Где к нему ключ? И где дверн в мнр большой, обшнрный, не сжатый стенамн старого дома?»

Закннула руки за голову, выпрямилась и громко сказала вслух:

— Я хо-чу жить! Я хо-чу жнть!

Не видала, как в темном блеске большого зеркала отразнлась высокая прямая девнчья фигура с закннутымн рукамн, не слыхала, как отвечали ей смешным гулом струны рояля, как насторожился вечер, вннмая великой нежности и простоте ее слов, и замерли в смущеннн стены особняка, вндевшие Танюшу ребенком, слышавшие ее первый лепет, безмолвные свндетелн ее роста, усердные хранителн ее душевных тайн.

Стены шепнули, струны донесли весеннему воздуху, — н вечернее небо выслало первую звезду вестником решения совета светил:

Axios — Достойна!

УХОД

Походкой ровной, шаг за шагом, вытягивая сапог нз дорожной грязн, с котомкой за плечамн, а с котомкн свнс жестяной чайннк, — с цельной думой на душе шел в Кнев старый солдат Грнгорнй.

Потому в Киев, что не осталось у него теперь на свете ннкого н ннчего, — нн друга, ни сына, ни дома, нн клочка землн, — осталась только прочная вера в сурового Бога, ушедшего нз Москвы в мать городов русских, а может, н дале.

Говорилн — не дойти. Но кому храннть н терять нечего, тот — свободный землепроход. Хаживалн по Русн во все концы странннкн, убогне, за нстиной н милостыней, меньшая ннщая братья, калнкн перехожие, — ннкто не мнновал Кнева. Крепок Грнгорнй н телом, н верою, не слеп, не убог, не лншен ума,— дойдет солдат.

Стало вязко. Снял сапогн, за ушкн связал ремешком, перекннул, босымн ногамн меснт грязь дальше — дойдет. От деревнн к деревне.

Деревня прнтаилась, ждет, смекает. Пожалуй, н зря поторопилнсь свалить столько лесу. Новые срубы стоят напрасно, без надобностн, дрова гннют. Кубышкн полны ннкчемных бу-

мажек — что иа них купишь? Из городов приходят за хлебом, волокут веселый ситец, а кто н шелк, да кофты с кружевом, всякую рухлядь, нужную и ненужную — в обмеи иа горстку зерна. Но прячется зерно поглубже, подале, побаивается: не обездолить бы самого мужика, не обречь бы его на голод со всем собранным добром. Бабы обновкам рады, стали носнть чулки тоикие, со стрелкой н кофты без ворота. Но должен добрый хозяин подумать о будущем.

Деревня ждет, жмется, хитрит, боится. Городской пришлый человек темен, нечист на руку, завистлив. Как бы не навел на след солдатскую силу.

Шел Григорий большими дорогами, не тратя лишиих сил. Где знал — шел и попрямее. Не торговал, не покупал, ие просил. Но вид его был степеиен, отросла борода, глаза были честны н строги. В нзбы входил крестясь, а такому давали от сиротства или от достатка и приют, н ломоть хлеба; н денег по старому обычаю не брали. Не словоохотлив, однако на вопросы отвечал кратко, без пустых слов, осуждающе н мудро.

Одной с ним дорогой шли, ехали, пробираясь походкой нырливой, скрючившись, в страхе, блудно, неуверенно еще многие, бежавшие от Москвы к югу, от иового к чаемой старнике, к иадеждам, — выходцы России, канувшей в вечность. Дорогн совпали — но шел Грнгорнй одии. Не страх гнал его, старого солдата, а сиротство и монашество суровой его мысли.

На выиосливых плечах уносил Григорнй свою старую веру, свою человеческую правду — из земли разврата к киевскнм угодникам, а то и дальше, куда заведет прямая дорога прямого н крепкого в вере человека. Не беглец, не родиие измеинк, ие трус, а отрясший прах лжн и осмелевшего бесчестья.

На границах встречал суматоху н пожары, — а границ было без числа: сегодня здесь, а завтра верст за сто; то за спнной, то впереди. Как гроза — прнходит и уходит, валнт скот н дома. Разобраться невозможно. Рваиые герои, сегодня белые, завтра красные, могила иа могиле, — за что бьют друг друга? Поиять иевозможно.

С пулеметиым треском катилась волна ненавнсти, смерти, а то и просто озорства н охальства, и все за свободу, н все за свободу, а в чем свобода? Боятся, стращают — и в ужасе вцепляются друг в друга. Посадить их за один стол, за одии горшок щей, — все будут одинаковы, и в мыслях, и в желаниях, и с лица. Почему одни тут, а другие там? Как сами себя отличают? Отлнчают ли? Почему Иван против Иваиа? И иа могилах их вырастет одиа трава. И солнце светит нм одно, и дождик одии-едиствеииый всех мочит. Непоиятно. А иепонятное — смута и грех.

Над глазами Григория нависли густые брови с проседью, котомка за плечами прочна, ио ие богата. Никто Григория в дороге ие трогает.

Случалось, что шел Григорий и проселками. Шел мимо па-

шен и озимых всходов, и пока шел — стала рожь подниматься и завязывать колос. Поля раскинулись от неба и до неба, от ясной дали до дали туманиой,— и все это была Русь, крещенная в труде и в напрасной издевке над трудом человеческим, взласканная бороной и затоптанная сапогом иевольного воина, взысканная и отринутая.

Как подсохло, Григорий добыл себе лапти, чтобы и сапог не топтать понапрасну и не трудить ног. Легкий лапоть взбивал дорожную пыль, а от высокого посоха оставался на пыли кружочек, но ненадолго: первым ветром сдувало. Прошел человек — и следа ие осталось, как нет следов от раиьше его прошедших той же дорогой.

Шел обычно от зари до полдня, а полудничал, сойдя с дороги, под теиистым деревом на траве. Тут же и полуденничал, слушая, как разливается жаворонок, воткнувшись в небесную твердь голосистым гвоздочком. А под ухом Григория, щекоча кулак, ворчала на мурашиков молодая прохладиая трава.

Так, иеспешно, упрямо, шаг за шагом подале уводил Григорий к местам святого упокоения старую Русь. Не с гиком и проклятьями, как уводили ее другие, не в кладях и чемоданах, не под охраной штыков, которым судьба не сулила вернуться,— — но старым путем богомолов и странников, носителей простой житейской правды, искателей истины вековечиой.

Дошел ли старый солдат Григорий до Киева, иашел ли что искал, или повернул оттуда к северу, в пермские скиты, или уплыл морем в Бари и Иерусалим, унес ли свою правду или бросил ее в пути, вместе с тощей и изветшавшей котомкой,— про то сказать никто не знает.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВЕСНА

Пришла весна, долгожданная, медлительная, неповоротливая. По Москве разлилась грязными потоками, зловоиьем неубраиных дворов, заразиыми болезнями. Даже профессорский особнячок, с крыши которого снег не был вовремя убран, немного пострадал. В других домах протекли потолки, просочилась в стены вода и грязь лопнувших зимой труб, в затопленных подвалах таяли последние желтые льдинки.

Зато теперь можно было убрать печурки, снять намокшие валенки, даже открыть парадные двери, забитые иа зиму от холода и страха.

Весенней уборкой города занялась сама природа. Но и люди

пытались помогать ей, — там, где видели ясно, что жизнь должна продолжаться, как ни голодна она и как ни нелепа.

На дворе большого дома на Долгоруковской, где почти все квартиры заселены были рабочими семьями, по приказу домкома производилась уборка и чистка. Лопат было вдоволь, тачек маловато и лишь одна подвода — но без лошади. Вывозили снег и мусор на улицу и норовили сплавить куда-нибудь с бегущей по канаве водой. Распоряжался самолично преддомком Денисов, бывший приказчик забитой теперь бакалейной лавки в том же доме.

Работали вяло, по обязанности и под угрозой взыскания, а то и ареста. Больше работали женщины. Из мужчин посильнее и половчее был жилец Астафьев, единственный оставшийся в доме интеллигент и буржуй. К нему и подошел преддомком Денисов.

— Привыкаете, товарищ Астафьев? Работа тяжелая, неприятная.

— Привыкать не собираюсь, а раз нужно — делаю. Лучше было зимой сколоть со льдом и свезти.

— Зимой не управились. Конечно, вам, ученому человеку, работа не по вкусу. Однако приходится, товарищ Астафьев. Раньше мы на вас трудились, теперь и до вас дошло. Время такое.

Астафьев усмехнулся.

— Работаю не хуже других. Ничего страшного нет. Вот только не помню, когда это вы, Денисов, на меня работали? Вы ведь больше за прилавком стояли.

— Дело не в прошлом занятии, а кто как революцию принял.

Астафьев поднял большую лопату, вывалил в тачку, сильно прихлопнул и сказал:

— Каждый принял, как ему выгодно. Вы — по-своему, я по-моему. Тут считаться не приходится.

Денисов отошел, а Астафьев подумал: «Вероятно, попытается все же меня выселить. И выселит, конечно. Куда-нибудь денусь, не беда».

Вывез полную тачку на улицу, свалил у края канавы, — да только и без того канава загружена, не берет вода. Не берет — не надо. И, шлепая сапогами по разлившейся жиже, повез пустую тачку обратно. На пути встретил жилицу с тачкой, по-видимому слабую и болезненную женщину. Хотел помочь, да раздумал: «Все равно, пускай тащит!»

Вынул трубку. Курил Астафьев махорку — иного табаку не было. Впрочем, находил, что махорка — табак здоровый и вкусный, если привыкнуть. А привык с тою же легкостью, как за границей привыкал к гаванской сигаре.

По разверстке работы Астафьеву был отведен немалый квадрат двора. Справился быстро, придраться преддомкому не к чему. Окончив, свез тачку под навес, там же поставил лопату и ушел к себе, обтерев ноги валявшейся на лестнице газетой.

Раньше у Астафьева была здесь квартира; сейчас остались

за ним две комиаты, а в третьей жил одииокий рабочий, человек робкий и забитый. Приходил к вечеру, ложился спать, и Астафьев его почти не видел.

Зарились и на вторую комиату Астафьева, где у иего оставалась библиотека, ио пока комнату ои сумел отстоять охраиительной бумажкой, по своему преподавательскому званию. Зимой оиа была холодна и необитаема, летом ои рассчитывал в ией работать и принимать, если только будет кого прииимать и над чем работать.

Придя, переоделся, набил иовую трубку и взял книгу.

Вместе с запахом иавоза и нечистот проиикал в окно и весенний воздух. И чтенье ие ладилось. Не лучше ли заняться делом. А дела иемало: подшить обшарпаиные брюки, постирать платки глиняным мылом, заправить светильиик, сделанный из бутылочки, — на случай, что опять прекратят электричество. День сегодня — суббота. Завтра можио пойти на Сивцев Вражек к орнитологу. Что оиа за девушка, его внучка? Не как все, ие легко понятная. Но славиая, кажется.

В дверь постучал жилец. Астафьев без иитереса подумал: «Кто бы мог быть?» Вошел человек скромный, хотя крепкий и мускулистый, одетый в совсем изиошенный пиджачишко и в рыжие сапоги со стоптаиными каблуками. Не виднелось и рубашки под жилетом.

— К вам, Алексей Дмитрич, извините за беспокойство. Не зиаю, как уж и просить вас.

— Попросту просите.

— Коиечно, попросту, только иынче все самим иужио. Вот, думал, может, иайдется какая книжка старая, полегче, я бы почитал.

— Кииг у меня много, берите любую. Только ие зиаю, какая вам подойдет. Вы иасчет чего хотите?

— Не знаю, как сказать, иасчет устройства жизни что-нибудь. Разбираюсь-то я плохо.

— А вы что ж, Завалишин, ие работаете ныиче?

— Нынче празднуем. Материалу нет на фабрике, остановка. Жалованье-то платят, иичего.

— Киижку можно, только что же вам даст книжка. Думаете — жить научит? Или объяснит? Вы присядьте, Завалишин, поговорим. Ничего, говорю, вам книжка ие поможет. А что, разве уж вам так туго пришлось?

— Туго не туго, а конечио, что хочется понимать.

— Чего же вы ие поиимаете?

Завалишии смутился, помялся, слов поискал:

— Смотрю все, и как бы сказать, будто все ненастоящее.

Корявым языком все-таки объяснил. Раиьше смотрел так, что все равио — живи и жди, само устроится. А иынче все говорят: вот надо по-иовому самим. А что новое? Новое-то плохо. Крику много, а толку не видио. И, однако, ведь не зря же!

— Скоро вы захотели, Завалишии. Подождать нужно.

— Подождать можио, ждали и раньше. Зиать бы только, чего ждать.

Астафьев подумал: «Вот оиа, ихияя, рабочая слякоть,— под стать иашей интеллигенции. Приказчик Денисов хоть и мерзавец, а куда же лучше, строитель все-таки...» И сказал:

— Понимаю вас, Завалишии. Это вам потому плохо, что прочиости ие чувствуете. Раиьше жизиь тоже дрянь была, а прочиа была. Нынче все полетело к черту, иовое за горами, а тянуть прежиюю каиитель иадоело. Силы в вас иет иастоящей, Завалишии.

— Силы, коиечно, мало. Верио это, Алексей Дмитрич, что заскучал. Главиое — поиять иадо.

— А черта ли вам скучать. Человек одииокий, здоровеииый, деньги вам пока что платят. Наплевайте. Вы пьете?

— Могу и выпить, когда есть. По-настоящему, однако, ие пью, чтобы пьянствовать там.

— Пить надо больше, Завалишии. Вот подождите, может, я раздобуду, тогда выпьем вдвоем. С трезвой головой ие додумаетесь.

— Смеетесь иадо миой, Алексей Дмитрич!

— Ничего не смеюсь. Я вам прямо говорю: вы человек ие подходящий для жизни. Какой вы строитель жизни? Веры у вас иастоящей иет, нахальства тоже иет, воровать ие умеете,— ну, заклюют вас и выкииут. А тут еще в голове всякие мысли. Лучше уж пьяиствовать. Пьяиый человек мудр.

— Пьяиствовать — последнее дело. Это уж какая же помощь, Алексей Дмитрич. А я к вам за помощью, как к учеиому человеку.

— Вам бы в деревию, Завалишии. Деревии иет у вас?

— Нет, я городской. В деревию где же.

— Плохо. Слушайте, Завалишии, не зиаю, какой вы человек, обидчивый или иет. А впрочем — ваше дело, мие все равио. Хотите по совести скажу вам? Вот я — ученый человек. Кииг перечитал столько, что вам и одних заглавий ие прочесть и ие понять. Толку от иих иикакого, т. е. для жизни, для понимания; все равио и без иих было бы. Тоже и мие, как и вам, скучио бывает. И тоже я ие строитель, ие гожусь, хотя, может быть, и посильиее вас. Тут все просто. Хотите себе дорогу пробить? Тогда будьте сволочью и ие разводите июни. Время сейчас подлое, честью иичего не добьешься. А ие хотите,— тогда, говорю вам, лучше убивайте мысли виием. Хлещите деиатурат, чтобы скорее сдохнуть, отлично действует. Какой вы воии. Никто вас ие боится, иикто вас, зиачит, ие уважает. Робкий вы человек, а таким сейчас крышка. Вас какой-нибудь Денисов, наш преддомком, жулик и хам, одним ногтем придавит, даром, что вы иа вид его сильиее. Вот ои ие пропадет. А впрочем — дело ваше.

Помолчали. Потом Завалишии поднялся.

— Ну что ж, Алексей Дмитрич, и иа том покориейше благодарю. Коиечио, вам со мной разговаривать ие интересио, я человек простой.

— Э, Завалншии, бросьте эти штучки. Я сам простой, может быть, вас попроще. Вот заходите сегодня вечером, выпьем, по крайней мере.

Повернулся к нему с доброй улыбкой:

— Правда, вы на меня ие обижайтесь. Потому так говорю, что самому не очень сладко.

— Поиимаю, Алексей Дмнтрич. Я ничего, что ж.

Когда жилец вышел, Астафьев подумал: «Может быть, зря я его так. Главиое — может быть, ошнбся. Робкнй-робкий и слякотный, без сомнеиия,— а огоиек у него в глазах блеснул злой. Обидел я его. Это хорошо, если он еще способен злнться. Тогда может выжить. Любопытио!»

Усмехнулся: «За помощью пришел, за кннжками. Чтобы потом я да кннжки стали виноватыми в его горестях и было бы кого и за что ненавидеть».

Вечером Астафьев бодро шагал домой по Долгоруковской, иеся под пальто бутылку спирта и дрянную закуску. Зайдет ли? Завалишин зашел. И постучался на это раз увереннее.

— Занимаетесь, Алексей Дмитрич?

— Сейчас вот вместе займемся.

К ночн Завалишин был пьяи, Астафьев возбужден н полон любопытства. Рассматривал своего клиента как в микроскоп. И изумлялся: «Эге, а он не так прост!» Может выйтн толк из иего — может большой подлец выйти. Кулаки у иего хорошие, а это — главное».

Водя по пустым тарелкам осовелыми глазкамн, рабочий бормотал заплетающимся языком:

— Скажем так: пьяи я. И однако могу понимать, что к чему. За науку спаснбо, а пропадать не желаем. Не желаем пропадать. И могут быть у нас свои... которые... разиые планы. За угощенне покорнейше благодарим, н что не побрезговалн... ученый человек...

Астафьев нахмурился:

— Ну ладно, баста, ступай спать... пьяиая рожа.

Завалишнн оторопел и скосил глаз:

— Чего-с?

— Ступай спать, говорю. Надоел. Колн проспншься и стаиешь подлецом — твое счастье. А слякотью останешься — прнходн пить дальше.

Взял его за ворот н сильиой рукой толкиул к двери.

КНИГИ

Старый орнитолог долго перелистывал книгу, всматрнваясь в иллюстрацин. Прежде, чем вложить ее в портфель, уже туго набитый, он осмотрел корешок книги, подслюнил н пальцем приладил отставшнй краешек цветной бумаги переплета.

Книга хорошая и в порядке.

Но вдруг вспомнил, заспешил, снова выиул киигу и, прнсев

к столу, осторожно подскоблил иожичком свое нмя в авторской иадпнси:

«Глубокоуважаемому учителю... от автора».

Надел внсевшее тут же, в комиате, пальто и свою уже очень старую шляпу, пристроил поудобиее под мышку портфель и вышел, дверь дома заперев американским ключиком.

В столовой особнячка теперь жили чужие люди, въехавшие по уплотиеиию. Дуняша жила наверху в комнатке, рядом с бывшей Танюшиной; в Таиюшиной же комнате поселился Андрей Колчагии,— только дома бывал редко, больше ночевал в Совдепе, где в кабинете своем имел и диваи для спаиья.

Дуияша ииогда помогала Таие в хозяйстве, так, по дружбе; прислугой оиа больше ие была — была жилицей.

Профессор был еще достаточио бодр. Идя в Леонтьевский переулок, присаживался иа лавочку на бульварах не больше трех раз н то из-за тяжелого портфеля, который оттягивал руки. Отдыхал ие подолгу н, отдыхая, обдумывал, в который раз ои идет в пнсательскую лавочку в Леонтьевском и иа сколько раз еще хватит ему киижиого запаса.

Как-то однажды случилось, что в доме совсем ие оказалось деиег. Хлеб, пайковый, страшный, выдавали, но Дуняша, в то время еще считавшая себя прислугой н жившая прн кухие, объявила, что ни картошки, нн крупы, ни иных каких запасов у иее больше нет и готовнть ей нечего.

Танюша думала, что есть деиьги у дедушки, и очеиь смутилась, узнав, что у дедушки нет. Тогда совсем немиожко заняла у Васн Болтаиовского.

Вечером Таиюша долго обсуждала с Васей какие-то хозяйствеииые вопросы, с утра оиа нсчезла, а вернувшись к обеду, возбужденно и ие без смущения рассказала, что ей предложилн выступать на концертах в рабочнх районных клубах.

— Это очень ннтересно, дедушка; н мне будут давать за это продукты.

В тот день забегал Поплавский н рассказывал, какие изумительные стариииые киигн довелось ему видеть в Книжной лавке писателей, в Леоитьевском переулке. Сейчас появились на рынке такие киигн, которых раньше невозможио было иайти в продаже.

— Я нашел полного Лавуазье в подлнннике; для Москвы — это исключнтельная редкость. И видел любопытную кннжицу, пожалуй, первую, изданиую в России по математнке, еще церковными буквамн, 1682 года. И название любопытное: «Счнтание удобное, которым всякий человек, купующий или продающий, удобно нзыскать может число всякия вещи». Есть у них еще таблнцы логарифмов петровского времени.

— Что ж, купили что-иибудь?

— Я? Нет, профессор, иаоборот. Я продавал свои. Там можно продать хорошо, а то иа комиссию.

На ннжиих, закрытых полках большого библиотечиого шкапа лежалн у профессора запасы «авторскнх экземпляров» его уче-

ных трудов. Идя утром иа прогулку, он захватил по экземпляру. В Леонтьевском, в писательской лавочке, его встретили приветливо и почтительио; оказались за прилавком и зиакомые, молодые университетские преподаватели. Книги взяли, расплатились, сказали, что такой товар им очень нужеи: сейчас ои требуется для новых публичных библиотек в провинции и для новых университетских. Просили еще прииести. И никто ие удивился, что вот известный ученый, старик, самолично иосит иа продажу свои киигн.

Сам большой любитель книги, порылся старый орнитолог на полках книжиой лавки, больше из любопытства. И очень обрадовался, найдя среди хлама редчайшее издание: «Описание курицы, имеющей в профиле фигуру человека» — с тремя изображениями. Любовио перелистал брошюрку, радостио, с захлебывающимся старческим смехом прочитал описание рисунков:

«Изображение курицы в профиле весьма верио и представляет старушку так, как она есть. Вторая фигура представляет голову с лица и показывает в ией иастоящего Сатира. Третья фигура представляет ее зевающей и вместе показывает ея язык».

Повертел в руках, справился о цеие. Никакой цены в то время старые и редкие книги ие имели.

— Мы, профессор, продаем сейчас петровские и екатерииии-ские издания дешевле, чем только что вышедшие стихи имажинистов. И сами ие покупаем; эта случайио попала в какой-то куплениой иами библиотеке. Давайте сделаем так: мы вам преподнесем эту брошюрку, а вы иам обещаете принести иа комиссию ваши книги.

— Но ведь это же редкость величайшая, хоть и не такое старое издание.

— Тем лучше. У вас, профессор, оиа будет сохраинее.

Домой профессор вернулся в отличном расположеини духа. Вечером, за чаем, Вася Болтаиовский читал книжку вслух, и профессор радовался каждому слову, как малый ребеиок. А иа утро набрал целый портфель «иенужиых» своих кииг и поиес в знакомую лавочку, где так его обласкали.

— Танюша, иемиожко деиег у меня есть, так что ты ие беспокойся.

Но уже давио рубли стали сотнями, и близились миллионы. «Авторских экземпляров» хватило иеиадолго. Пересмотрев свои полки, орнитолог открыл на них иовые коммерческие ценности, сиачала дубликаты, затем издания популярные, для ученой работы лишние, хоть и важные для коллекции, после атласы и таблицы, без которых обойтись все же можно, накоиец, книги дареные, с автографами. Полки профессора пустели,— ио Таюша была такой бледненькой, так уставала после своих коицертов в рабочих районах. Орнитолог думал, что оиа ие зиает о частых его визитах в лавочку писателей, и рад был, что ои, старик, уже никому больше ие иужиый, ие в тягость милой своей виучке, может чем-то помочь ей. Ои ие зиал, что дет-

ские книги Танюши, раньше лежавшие в ее шкапчике, давно уже проданы, в той же лавочке, и неплохо, так как цена на ннх всегда была высокой.

Зато еще ни разу к завтраку дедушки не подавались котлеты нз конины, и к чаю в его стакан Танюша клала настоящий сахар, тихонько опуская в свою чашку лепешечку сахарина.

— Сахар, Танюша, сейчас, вероятно, очень дорог?

— Не знаю, дедушка, мне ведь выдают бесплатно.

ПОСТОРОННИЙ

Танюши нет дома; она халтурит в рабочем районе, в клубе нмени Ленина.

В комнате Танюши, на столе, лежит раскрытый старый альбом фотографий. В окошечках альбома портреты дедушки н бабушки, когда дедушка и бабушка были еще молоды. На дедушке сюртук в талию, бабушка перетянута корсетом и руки держит на кринолине. Очки дедушки блеснули, и вместо одного глаза получилось белое пятно. Карточка очень выцвела.

А правее — карточка Танюшиной матери в модном костюме девяностых годов.

В комнате нет никого; над альбомом склонилась седая голова Времени. Время внимательно смотрит на карточку и шепчет:

— Совсем была такая же, н глаза, и волосы, и рот, и серьезность. И так же хотелось ей жить, и так же не знала, как это будет.

Время листает альбом.

Два студента, один постарше, с бородкой, в форме технолога — дядя Боря. Другой с маленькими усиками, красивый, большелобый, универсант. Это — отец Танюши.

Через картон альбома, из окошечка в окошечко, переглянулись девушки и студент, полюбились, поженились. И тут же в альбоме большеголовый ребенок с молочными глазами, удивленной бровью, пушистыми волосенками, в неуклюжем платьице, которое поднялось со спины и подперло затылок. Это первая карточка самой Танюши.

У всех отец и мать — старшие, а то́ и старнки. У Танюшн старых родителей не было; в том возрасте, как на карточках, они могли бы быть ее друзьями-сверстниками. Оба они умерли совсем молодыми, не успев посоветовать девочке, как нужно жить, чтобы быть счастливой. И родителей ей, еще ребенку, заменилн бабу́шка и дедушка. Мать успела передать ей только серые глаза и золотистые косы, да еще серьезную задумчивость. Глаза спрашивают,— а кто и что им ответит?

А отец — и родной и чужой. Его Танюша совсем не помнила, он умер рано, ей не было еще и двух лет. Танюше было странно, что вот она — дочь молодого студента, который настоящим взрослым человеком даже и не был. Что н мать ее была

тоже почти девочкой — это еще как-то понятно. Помнила оиа ее едва-едва, как бы по рассказам, а больше по ощущеиию матери, по потребиости зиать свою мать.

Мать, это — сама Таиюша, жившая в прошлом. И звали мать тоже Татьяиой. Когда Таиюша переглядывала старый альбом, оиа подолгу и с интересом рассматривала черты отца. И порою думала, что вот, может быть, и оиа когда-иибудь встретит такого же человека, как мать встретила; такие бывают сужеиые. А другого сужеиого трудно себе представить. И по карточке была Танюша в отца своего немножко влюблена: открывая альбом, искала с иим встречи.

Время, свесив пряди волос, листает альбом дальше. Малеиькая девочка Таия растет, тяиется, и вот оиа уже в белом гимназическом переднике. С этого момеита уже иачинается история, даты которой не забыты и сейчас. Пятый класс — уже недавиее прошлое. Старый альбом посвежел, и привели бы его страницы к сегодняшним дням, если бы ие оборвались виезапно: все страиицы заполиеиы.

На последией его страиице мужской, совсем иовый портрет человека, про которого говорят: «Это — одии зиакомый, очеиь симпатичный, не помию фамилии». Почему-то и кем-то портрет был вставлен в последнее окошечко да так и остался тут — первым звеиом мира постороииего. Если карточку выиуть из рамки (ведь альбом семейиый), то окошечко остаиется иезаиятым. И посторонний человек нечаянио остался в семье.

Тут Время улыбнулось:

— А разве бабушка — дедушке и мать — отцу не были раиьше совсем постороиииими и иезнакомыми? Или Таиюше — тот, кого оиа раио или поздно встретит.

Время попылило иа листы альбома, поджелтило фотографию Танюшиной мамы, пообтерло слегка уголки кожаного переплета и оставило альбом лежать развернутым на той же странице.

Таиюши иет дома. Она сегодня играет Баха в районном клубе иа плохом и расстроенном пиаиио.

Перед этим товарищ Брауде говорил с эстрады речь о международном положении, а следующий иомер — юмористические рассказы и раешиик — прочтет популяриый в рабочих клубах товарищ Смехачев,— псевдоним приват-доцента философии Алексея Дмитрича Астафьева.

Астафьев стоит около кулисы и слушает игру Танюши. На нем иадет прорваиный цилиндр, щеки натерты мелом, и нос слегка подкрашеи. Самое появлеиие его должно вызвать смех. По обыкиовению, его заставят бисировать.

Есть псевдоним и у Танюши. По девичьей фамилии матери (милой девушки из альбома) оиа имеиуется в клубиых афишах — товарищем Татьяной Горяевой, артисткой филармоиии.

Смотря иа ее белые провориые пальцы, Астафьев думает: «Как она серьезна, точно в заправском коицерте. А оии семечки лущат. Я за паек ломаюсь и тешу свою злость; а оиа за те же селедки приходит сюда и дарит душу свою. Вот какая девушка».

СУМЕРКИ

Вася Болтановский забежал, конечно, и сегодня, но ушел рано, до вечера. Он упрямо и старательно подготовлял свою поездку за продуктами в Тульскую губернию и подбирал «товар» для обмена. На Танюшину шелковую кофточку большая надежда: у профессора оказались старые, но отличные охотничьи сапоги — товар исключительный.

Вася принес букетик полевых цветов, тщедушный, но свеженький.

— Это, Танюша, вам. Угадайте, где нарвал.

— Вы были за городом?

— Нет.

— Ну, не знаю, где-нибудь в саду.

— Не угадаете. Вот лютик, а вот колокольчик. А это — смотрите — ржаной колос. А весь букет я нарвал на улицах Москвы! И у вас около забора сорвал травку. И в иных местах вся мостовая поросла.

Орнитолог внимательно исследовал каждый цветок и перещупал травку.

— Знаешь, Вася, этот букет стоит засушить. Это целая история, ты непременно сохрани. В музей нужно.

— Я, профессор, другой соберу; на окраинах можно хоть венки плести, там, в иных местах, совсем мостовая скрылась. А это я все в центре города, не выходя за Садовое кольцо. Это — Танюше от верного рыцаря.

Пока Танюша ставила букетик в воду, а Вася смотрел на ее руки, профессор долгим взглядом ласкал Васино лицо. Тот поймал взгляд.

— Что-то вы на меня смотрите, профессор.

— Смотрю. А ну, подойди.

Когда Вася Болтановский подошел, профессор, не вставая, обнял его за талию.

— Ну-ка, наклонись к старику, а я тебя поцелую. Правду ты сказал, Вася,— ты — рыцарь верный. И отца твоего любил, и тебя люблю.

Когда ушел Вася, Танюша с книгой заняла свое обычное место в углу дивана, орнитолог так же долго смотрел на любимую внучку.

— Танюша.

— Что, дедушка?

— Не подходит он тебе, рыцарь наш, Вася?

— Как не подходит, дедушка?

— Ну, в мужья, что ли. Вижу — не подходит. А жаль. И его жаль, и тебя жаль. Очень он тебя любит. Ты знаешь?

Танюша отложила книжку.

— Я знаю, дедушка. Я к нему очень хорошо отношусь. Вася отличный человек, и мы с ним большие друзья. Ну, а как вы говорите, то есть замуж за него, я, конечно, не вышла бы, дедушка.

— Я вижу.

— А разве вы, дедушка, хотели бы, чтобы я вышла замуж?

Старик, помолчавши, сказал:

— Выйти-то — все равио выйдешь. Раио ие стоит, пожалуй. Вася, коиечно, и молод для тебя, ведь вам лет-то почти одииаково.

— Я замуж ие хочу, дедушка, мне с вами лучше всего жить.

— Ну, ну, там увидим.

Окна были открыты, воздух свеж, и тишиной окутало Сивцев Вражек. В глубоком покойиом кресле, в котором миого лет в сумерки отдыхала Аглая Дмитриевиа, дремал теперь старый орнитолог, украсив грудь седой бородой. Таиюша, не перевертывая страниц, ие следя за строчками глазами, думала свое и слушала тишину.

Тихо было и в верхием этаже, где жил с сестрой комеидант Совдепа Колчагин, и за стеиой — у чужих людей, и в подвальиом помещении, где семья крыс обдумывала предстоящий иочиой поход. Дремал весь старый профессорский особняк, вспомииая прошедшее, предугадывая будущее. Тикали-такали любимые часы профессора — стенные с кукушкой.

На давио не чищенных булыжиых мостовых Москвы сначала боязливым зелеиым глазком, после смелее — прорастала зеленая травка; в канавках и у длинных заборов оиа росла увереииее, и рядом с крапивой хитрил желтый глазок цветка. Если бы ие было такого же упрямца и дикого мечтателя — человека, который тоже хотел остаться жить во что бы то ни стало, тоже прорастать жалким телом на камнях города,— травка победила бы камень, проточила бы его, украсила, увела бы жилое и быт в историю, зазеленила бы ее страницы забвеньем и добротою сказки.

На часы сумерек в домах замерла беспокойиая жизнь, а воробьи и ласточки давио уже спали в гиездах и в чердачиых просветах. Зоркий глаз задернули пологом синеватого, покойиого века.

Особняк профессора за последний, за страшный год посерел, постарел, поблек. Днем еще бодрился, а к ночи тяжко оседал, горбился, постанывал скрепами балок и штукатуркой.

Жалко старого, в ием был уют, спокойная радость, годами иаросшее довольство! Но и устало старое, нужен ему покой и уход в вечность. Киркой и машиной уберут булыжник, зальют землю асфальтом, выложат торцом, иа месте умерших и сиесеиных домиков с колоннами, старых гиезд с добрым домовым, старых стен, свидетелей прожитого,— выведут стеиы новые больших иовых домов, с удобствами, с комфортом. На долгие годы трава уйдет в поля — ждать, пока переверится и эта страиичка, пока обветшает лак, сегодня свежий, перезреет и осыплется мысль,— и снова в трещиих камеиного города появится прах и влага для смешливого и упрямого полевого лютика. Может быть, тогда трава забвенья победит, как по-

бедила она Акрополь и римский Форум, как победила, погребла, вместе с памятью, многое, о чем не знают и не узнают археологи. А может быть, опять — на малые часы в веках — прокричит о своей победе человек.

— Дедушка! Вы спите, дедушка?

Сумерки сменились вечером. И посвежело.

Танюша зажгла лампу.

— Вы спали, дедушка?

— Кажется, я задремал, Танюша.

— Будем пить чай?

Профессор, помогая себе обеими руками, поднялся с кресла.

— Ну, что ж, Танюша, я чайку выпил бы охотно.

В БЕЛОМ ПЛАТЬЕ

На три часа вперед было переставлено время — и Москва проснулась очень рано.

Сначала она проснулась на Пресне, на Благуше, в Сокольниках и на всех вокзалах. Затем, позевывая, зашевелились Замоскворечье, Рогожская, Сухаревка, Смоленский рынок.

По Черногрязской Садовой протарахтел грузовик, на Покровке постовой милиционер гикнул на худую, облезлую собаку, вниз по бульвару, со Сретенки на Трубную площадь пробежали, возбужденно трепля языками, две женщины,— вероятно спеша стать в очередь под подсолнечное масло.

И, наконец, сразу, как по единой команде, из всех домов московских, хлопая дверьми, стуча каблуками, чихая на солнечный луч, выкатились трепаные, заспанные, землистые лицом фигуры советских служащих,— переписчиц, завотделов, предкомов, товарищей-курьеров, сотрудников отдела транспорта, экспертов, ответственных работников. Большинство шло пешком от дома до службы, не веруя в трамвай, прыгавший по сорным рельсам на Большой Никитской, визжавший колесами на завороте Лубянской площади и пытавшийся протискаться в узкую щель Красных ворот. Трамвай был большой редкостью, попадали в него немногие и, попав, толкались локтями, зло огрызаясь друг на друга и косясь на кондукторшу.

Рано проснулась жизнь и в профессорском особняке на Сивцевом Вражке, где под крышей, как и в былые, счастливые и привольные дни Москвы, вылепила гнездо и теперь выхаживала птенцов ласточка.

Окна были раскрыты, и чайная ложечка позвякивала в любимой большой чашке орнитолога.

— Вы будете дома, дедушка?

— Посижу, попишу до обеда. А тебе бы, Танюша, погулять сегодня. День какой.

— Да, я пойду; у меня дело есть, далеко, у Красных ворот. Я, дедушка, вернусь к двум часам, не раньше.

Убрав чашки и вымыв их на кухне, Танюша, с особым ощущением свежести, прохлады и чистоты, надела белое платье с короткими широкими рукавами, вчера проглаженное, резиночкой стянутое в талии. Было бы хорошо иметь к нему и белые туфли,— но всякая лишняя обувь была сейчас роскошью недоступной. Шляпа соломенная, переделанная из старой, почищенной лимонным порошком, украшенная цветной лентой — из старых запасов.

В зеркале улыбнулась Танюше знакомая белая девушка, обеими руками поправила под шляпой волосы. Стала серьезной, взглянула еще раз поближе, глаза в глаза, повернулась боком, одернула платье, простилась с Танюшей, ушла в рамку зеркала.

Москва, обедневшая, сорная, ушибленная, была все-таки прекрасной в летнее утро, была все-таки безалаберно-красивым, любимым городом, славным русским городом. И улицы ее, кривые и булыжные, милые именами,— Плющихи, Остоженки, Поварские, Спиридоновки, Ордынки, и переулки Скатертные, Зачатьевские, Николопесковские, Чернышевские, Кисельные, и площади ее Трубные, Красные, Лубянские, Воскресенские — все-таки в горе и забитости, в нужде и страхе — залиты были солнцем щедрым, зарумянившим стены, игравшим на крышах и куполах, золотой каемкой обогнувшим лиловые тени. Как и прежде, суетились струи Москвы-реки у Каменного моста, как и прежде, прикрывала Яуза свою нечисть семицветной радугой.

На Арбате все окна магазинов были забиты досками и запорошены пылью; выставок в окнах не было, вывесок осталось мало, и они ничего не значили. По углам, на перекрестках, жались мальчики-папиросники, всегда готовые пуститься наутек.

Догадалась женщина на Арбатской площади поставить ведерко с букетиками полевых цветов, и белых, и желтых, и незабудок, и анютиных глазок. Танюша постояла, посмотрела, приценилась и прошла мимо. А было бы хорошо нести букетик в руке, нюхать его или наколоть на грудь или к поясу — в такое чудное утро.

Бульвары кудрявились зеленью деревьев. Прямая аллея была — как жизнь, маня дрожащими бликами солнца, дивуя тенями, уходя вдаль узкой дорогой. Идти бульварами было легко и приятно,— хотя путь выходил круговой. Вот, пожалуй, на бульварах совсем ничего не случилось. Дома посерели, погрязнели, опустились,— а тут хорошо, совсем по-прежнему, даже как будто лучше,— оттого ли, что деревья не стрижены, зелень гуще.

На лавочке сидели два парня в гимнастерках, в защитных обмотках на ногах, но в штатских кепках. Проходившей Танюше послали вдогонку бесстыдное слово и весело загоготали. Танюша не слыхала, думая о своем. На веках ее, не закрытых полями шляпы, солнце бегало слепящими, но ласковыми зайчиками, и легка была ее походка.

Она шла бульварами до Страстного, свернула на Тверскую,

наискось прошла Советскую площадь, где на месте памятника Скобелеву только что начали строить временный обелнск, н вышла, миновав Петровку и Неглинную, на Кузнецкий мост. Не устала, но все же тут начннается подъем.

Улица, когда-то парадная, красивая, торговая, теперь потеряла прежний весело-горделивый вид. В окнах пассажа валялся забытый хлам, много было белых временных вывесок разных новых учреждений с длнннными неуклюжими названиями, и люди встречались не подходящие к стилю богатой московской улицы. Чем ближе к Лубянке, тем больше людей военно-казенных, в новых френчах с неудобным, плохо сшитым воротником, в преувеличенных галифе, иногда в кожаных куртках — несмотря на летнее время. У многих портфели. И редкий прохожий не бросал взгляд на девушку в белом платье; нные явно прнхорашивались, выпячивали грудь, печатая ногами по-юнкерскн, заглядывая под шляпку. Сегодня, в день светлый, это не было противно Танюше: пусть смотрят.

Чего бы не простила она сегодня, в день светлый, на что бы не ответила улыбкой! И почему она сегодня одна? Среди всех этих встречных людей, одетых по-своему нзысканно или щеголявших бедностью и грязью, среди бравых, забнтых, довольных, озабоченных, гуляющих, спешащих, красивых и безобразных, нет среди них ни одиого близкого, кто бы думал сейчас не о себе, а о ней, о Танюше, немного усталой и опьяневшей от солнца. Хоть бы один человек!

Почему н за что приходится жить в такие днн? Долго лн будет так? Ведь было же иначе!

Переходя через улицу, оглянулась: вот он, Кузнецкнй мост, куда часто ходила она раньше пешком — покупать ноты. Вот он — и иной, и все-таки прежний: те же профили, тот же прихотливый и уверенный загиб улицы, та же церковь Введения на углу. Нет, Москвы не изменишь!

На Мясницкой встретила дядю Борю — у самых дверей его службы, его Научно-технического отдела. Он обрадовался, потряс ее руку, спросил о здоровье дедушки — своего отца, к которому так редко мог теперь забежать, занятый службой и добыванием продуктов. И сказал:

— Какая ты хорошенькая. В белом платье — совсем буржуйка.

Прошелся с ней до угла, а потом заспешил:

— Ну, я пойду, а то боюсь пропустить выдачу. У нас сегодня мясо выдают: не шутка! Ну, прощай, племянница.

И опять она шла одна.

У почтамта подумала: почему бы не свернуть направо, к Чистым прудам? Оттуда можно будет пройти переулками — крюк небольшой.

И как вошла в аллею — опять никакой усталости. И тихо здесь — слышны отчетливые птичьи голоса.

Дошла до пруда. Берега его примяты, изгородь растащена на растопку, в воде у берега плавают газетные листы, яичная

скорлупа, гнилая рогожа. Но так же, как и прежде, смотрятся в воду кустики и деревья, и прохлада та же, и легкая рябь воды. Лодок нет — припрятаны или сожжены зимой. Да и кому сейчас кататься?

Вспомнила Таиюша, как, бывало, зимой она приезжала к гимназической подруге, жившей тут же, поблизости, и вместе ходили они на Чистые пруды кататься на коньках. Катались от после обеда до вечера, а к семи часам ехала Танюша, с розовыми от мороза щеками, с легким дыхаиием, с приятиой усталостью, домой, иа Сивцев Вражек, под крылышко бабушки, под ласку дедушки иа сладкие сухарики к чаю. Вот это, пожалуй, уж никак ие верится.

Обернулась иа шаги, увидела человека в солдатской форме, с боязливыми узкими глазками:

— Сала, гражданка, не купите? Настоящее сало, киевское. Уступил бы иедорого, купите, гражданка.

И уже вынимал из-за пазухи грязный сверток, когда Таиюша сказала:

— Нет, я не покупаю.

На минутку солнце зашло за облако, пруд потемиел, и Танюша отошла.

Неужели и лодка, и коньки, и былая беззаботность,— иеужели это уже никогда ие верится?

Боковым проходом вышла с бульвара, перешла улицу и по теиевой сторое Харитоньевского переулка заспешила, озабочеииая, в белом платье в талию, одиа,— в такой чудесный летний день.

А когда вышла на Садовую и увидала дом с зелеиыми палисадниками, Красные ворота, а вдали, в перспективе улицы, Сухареву башию,— опять невольио остановилась и опять, как на Кузнецком, подумала: «А все-таки,— как хороша, ну как хороша Москва, милая Москва! И какая оиа прежняя, иеизмеииая. Это люди меияются, а она все та же. Погрустиела иемиожко,— а все та же иелепая, иеряха — а все же милая, красивая и родная-родная...»

ПРИЗНАНЬЕ

Грузовик ие мог развозить по домам всех участников спектакля. Таиюшу и Астафьева спустили иа Страстиой площади.

В руках у иих были узелки с заработаииыми продуктами: иемиого сахару, пять фуитов муки, фунт крупы, иемиого повидла и по две селедки. В том райоие клуб был щедрым и богатым. Вместе с продуктами в узелке Астафьева лежал его рваный цилиндр, большой бумажный воротничок, яркий галстук,— прииадлежиости гаерского туалета. Мел и краску с лица Астафьев смыл, как мог, еще за кулисами клубиой сцеиы.

— Ну, вам по Малой Дмитровке, а мне сюда, переулками.

Астафьев сказал:

— Нет, вместе, я провожу.

— Не нужно, Алексей Дмитрич, я не боюсь.

— А я боюсь за вас. Да еще с таким узлом. Сейчас больше двенадцати.

Танюша знала, что это — не малая жертва со стороны усталого человека, выступавшего сегодня, как и она сама, в двух клубах. Но идти одной ночью было страшно, и Астафьев все равно этого не допустит. Бедный, ему далеко будет возвращаться на Долгоруковскую.

Она была благодарна ему — настоящий товарищ. Но кулька своего донести не позволила: сама донесет заработанное богатство. Это не тягость, а радость. Главное — сахар для дедушки.

На грузовике так трясло, что разговаривать не пришлось. И пешком шли сначала молча; потом Танюша сказала:

— Трудно вам, Алексей Дмитрич, выступать в таких ролях?

— Гаерничать? Нет, не трудно. Все другое было бы труднее. Вот речи о «международном положении» никак не сказал бы. Тут нужно быть либо идиотом, как этот оратор, либо негодяем.

— Странно все-таки, что вы взялись за актерство. Почему это, Алексей Дмитрич? Как вы додумались?

Астафьев тихо засмеялся.

— А что же я мог бы еще делать? Читать лекции по философии? Я и читал, пока было можно, пока меня не выкинули из профессуры. А додумался просто. Мне приходилось раньше выступать чтецом коротких рассказов,— разумеется, любителем, на разных благотворительных вечеринках. А раешничал я экспромтом в студенческих кружках; и ничего себе получалось. Когда мне довелось теперь менять профессию, я и вспомнил об этом. Актером быть доходно,— все-таки получаешь мучки и селедочки. Вот и стал я товарищем Смехачевым с набеленной рожей. Как видите — имею успех.

— Но тяжело вам?

— И вам тяжело, и мне тяжело, и всем тяжело. Но вы, Татьяна Михайловна, страдаете за свою музыку серьезно, а я хоть тем себя облегчаю, что смеюсь над ними, над теми, кого смешу, над каждым гогочущимослом.

— За что же смеяться над ними, над рабочими, Алексей Дмитрич? Мне это не нравится в вас!

— Вы добрая, а я не очень добрый. Людей вообще, массу людскую, я не люблю; я могу любить только человека определенного, которого знаю, ценю, уважаю, который мне чем-нибудь особо мил. А толпу — нет. И вот я, профессор, философ, пудрю лицо мукой, крашу нос свеклой и ломаюсь перед толпой-победительницей, которая платит мне за это селедками и прокислым повидлом. И чем бездарнее и плоше рассказы, которые я им читаю, чем безвкуснее остроты, которые я им преподношу,— тем они довольнее, тем громче смеются. Меня это часто очень угнетает.

Помолчав, продолжал, уже без раздражения:

— Вы меня все-таки иемиого зиаете, Татьяиа Михайловиа. И вы поймете, что мие иелегко выдумывать и выговаривать всю эту пошлятину. А я выдумываю и громко выкрикиваю. И чем глупее у меня выходит — тем я больше радуюсь. Тут, может быть, примешивается и некоторая радость мести,— и им, господам нашего сегодия, и моей ненужиой иауке, моим лишиим знаниям, моему иапрасиому уму.

— Почему иапрасному?

— Ои мие мешает, моей иовой карьере. Не мие, а товарищу Смехачеву. Философ Астафьев все пытается вложить в уста товарища Смехачева иастоящую сатиру, подлииное остроумие, какой-то смысл художествеииый. Ои, Астафьев, стыдится Смехачева,— а это совершеиио излишие, это доказывает, что сам Астафьев, философ и профессор, еще ие поднялся иа подлиину философскую высоту, еще не отрешился от учеиого кокетства, еще не стоек и еще не стоик,— простите за дешевый каламбур присяжному раешнику. Это, очевидно, очень трудно. Жить как Диоген, в бочке,— легко; а вот избавиться от нищего кокетства — трудно. Фраза «отойди и ие засти мие солица»,— фраза, которую повторяют века,— в сущиости, только дешевое кокетство. Настоящий цииик должеи бы сказать просто: «убирайся к черту» или, еще лучше, промолчать совсем, зевнуть, заснуть, почесать спину,— вот еще принесла нелегкая Александра Македонского, когда и без него скучио, и без иего толпа идиотов глазеет на бочку и ее обитателя. А вместо этого Диогеи ляпает историческую фразу — и сам доволеи, и все довольны. Именно такая философическая дешевка и нравится обывателю.

— Перестаиьте, Алексей Дмитрич.

— Да почему, разве не правда?

— Может быть, и правда, ио очеиь уж недобрая ваша правда. Не радует. И вам от нее не легче. И мие очеиь иеприятио.

Астафьев замолчал. Под фоиарем иа углу Арбата Таиюша повернула к нему лицо и заглянула в глаза. Лицо Астафьева было серым, усталым, и в глазах стояла тоска.

— Не обиделись на меня?

Ои искал ответа. Он не обиделся — слово не то. Но ему было жалко себя. Просто «нет» — не было бы настоящим ответом.

— Вы немножко правы, Татьяиа Михайловиа, и я немножко путаю и умничаю. Тоже — невольное кокетство.

Неподалеку от дома она ему сказала:

— Знаете, я вас раньше боялась. Вы очень умный и ориги-иальный человек, не как все. Сейчас боюсь меньше: пожалуй, даже совсем ие боюсь.

Он прислушался.

— Потому не боюсь, что я сейчас очень многое поняла, с тех пор, как стала жить работой, как стала видать миого людей, совсем для меия новых. Как-то я подумала, что все мы — испугаииые дети, и я, и вы, и дедушка, и рабочие, и то-

варищ Брауде,— все. Все говорим и думаем о страиных мелочах — о селедке, о революции, о междуиародиом положеиии,— а важно совсем ие это. Не зиаю что, а только ие это. Что вам важио, Алексей Дмитрич?

— Сейчас скажу. Мие важио... Мие нужио н важио иногда видеть вас, Татьяна Михайловиа, н говорить с вами вот так, как сейчас. И чтобы вы меня в разговоре иашем побеждали. А что вам важно?

— Мне? Я все-таки думаю, что всего важнее для меия было бы иногда видеть рядом простого н здорового духом человека, по возможности не философа, ио н ие раешника.

— А это не слишком зло, Татьяна Михайловиа?

— Нет. Я вообще ие злая, вы это сами прнзиали. Но я хочу воздуха, а ие какой-то беспросветиой тюрьмы, куда вас всех тяиет и куда вы меня тоже хотите упрятать.

— Кто же вас...

Но Таиюша перебила:

— Мне, Алексей Дмитрнч, двадцать лет, вы думаете, мие приятно вечно слышать панихидное нытье, злые слова? И, главиое, все время о себе, все — вокруг себя н для себя, н все такие, даже самые лучшие. Дедушка, правда, думает обо мие,— ио это все равио что о себе. А вы, Алексей Дмнтрич, о комнибудь, кроме себя, думаете?

Уснувшее лицо Астафьева вдруг осветилось его умиой улыбкой:

— Удивнтельно,— сказал ои,— до чего нзлишек слов портит первоиачальную мысль. Вы мой поток слов прервали отличным замечанием и сразу сбили меня с позиции. А затем — вы сами увлеклись кокетством мыслей и слов, н я опять спасен, по крайией мере, ие чувствую больше смущення. Ужасная нелепость этот иаш иителлигеитский язык. Что вы, собственно, хотите сказать? О чем меия спрашнваете? Существует ли для меня кто-ннбудь, кроме меня самого? Я могу вам ответить просто: да, еще существуете вы. Иначе я вас ие провожал бы и не боялся бы за вас так. Вот вы уже н не совсем правы.

— Я вам благодарна, Алексей Дмитрнч.

— Не за что.

Затем, особо отчетливо выговарнвая слова, как выговарнвал всегда, когда сказать было трудио или когда в словах своих ие был уверен, Астафьев сказал:

— Все это относительно пустяк, все эти разговоры. Не пустяк же то, что я... что вы, кажется, начинаете слишком существовать для меня. Да, это нменио то, о чем вы сейчас подумали: иачало некоторого признания. Дальнейшего признаиия сегодня не может быть, во-первых, потому, что мы дошли, а во-вторых, потому, что во мне все-таки не угасла какая-то досада на вас. Вероятно,— задето мужское самолюбне. Ну, будьте здоровы, кланяйтесь профессору.

Он пожал Танюше руку, подождал, пока на ее звоиок у ворот хлопнула дверь в двориицкой, н, резко повериувшись, зашагал по Сивцеву Вражку.

Танюша, прислонившись лбом к холодному косяку калитки, думала: «Разве признанья бывают такими холодными? И почему я не взволнована?»

В ЛЕСНОЙ ЧАЩЕ

В семь часов утра верный рыцарь уже звонил у подъезда дома иа Сивцевом Вражке.

Танюша выглянула в окно и оживленио крикнула:

— Я готова, Вася. Вы хотите войти? Чай пили?

— Чай я пил, и времени у нас очень мало. Лучше выходите, Танюша. Не забудьте захватить корзиночки. У меня большой мешок и достаточно хлеба.

— Зачем мешок?

— Как зачем? А для шишек. Привезем домой шншек для растопки. И вообще — на случай.

Какой чудесный летний день. Солнце косым утреиим лучом скользнуло по Танюше, и иа фоне окна она такая белеиькая, ясная, приветливая. Как вообще хорошо жить... иногда.

— Вы сегодня элегантны, Вася.

Элегантность Васи Болтаиовского заключалась, главным образом, в довольно иовых сандалиях иа босу ногу и в русской рубашке навыпуск, с кожаным поясом. Шляпы Вася ие носил как из соображений гигиенических (надо, чтобы волосы дышали свободно!), так и потому, что шляпа его совершеино просалилась и протерлась, а новой добыть сейчас и негде и ие на что.

Быть элегантным зиачило в те дни — быть в чистом белье и хорошо заштопанной одежде,— как бы ни был фантастичен костюм. За отсутствнем материи, пуговиц, отделок, прежние франты ухитрялись сооружать костюмы из портьер, белье нз скатертей, а дамы носили шляпы из зеленого и красного сукна, содраииого с ломберных столов дома и с письмеиных столов в советских учреждеииях. Пробовали за это преследовать, но бросили: трудно доказать. Брюки с заглажеиной складкой были уже не только буржуазным предрассудком, ио н некоторым вызовом новой идеологин.

На самый взыскательиый вкус, ои — в вышнтой косоворотке и сандалиях, оиа — в чистом и проглаженном стареиьком белом платье в талию, оба без шляп и без чулок — были вполне элегаитной молодой парочкой. Корзинки в руках и пустой холщовый мешок иа плече у Васи впечатлеиия ие портили: без мешка кто же выходил из дому!

Утреииее солице было ласково. Оии были молоды и веселы. Им предстояло провести целый день в лесу. Что, если ие это, иазывается счастьем?

Дома и домики Сивцева Вражка провожали их улыбками. Даже профессорский особнячок, потемневший от старости, сегодня сиял и бодрился иа солице. Танюша, обычио серьезная и

деловитая, сегодня охотно отвечала веселым смехом на все глупости, которыми сыпал Вася, чувствовавший себя мальчишкой и гимназистом. Ноги бежали сами — приходилось сдерживать их торопливость. Что же, что — если не это — называется счастьем?

Поезд состоял исключительно из теплушек, пассажирами были, главным образом, молочницы, возвращавшиеся с пустыми бидонами. Было только два утренних и два вечерних поезда на дачной линии. Зато не требовалось никаких особых разрешений на посадку,— как это было на поездах дальних.

Десять верст поезд плелся почти час: подолгу и без видимой надобности стоял на трех остановках. Танюша и Вася сошли на станции Немчинов Пост.

— Ну вот, и кончен путь. Куда мы двинемся теперь, Танюша?

— Поскорее в лес куда-нибудь.

— Здесь рядом лес небольшой. А если пройти с полчаса полями, то там начнется чудесный лес, и тянется он вплоть до Москва-реки. Хотите?

Ноги шли сами, без понуканья. Мимовали дачный поселок, теперь полуразрушенный и заброшенный. Дачи были на учете местного Совдепа, получать можно было только после ряда хлопот, ходатайства, хитростей и лишь на имя организаций, при знакомстве — можно и фантастических. Последней зимой много домиков было растаскано на топливо, хотя рядом был лес.

Вышли в поля, где колос был редок и у дороги потоптан. Но все же золотая волна бежала по ржаному полю, среди хлебов мелькали синие глаза васильков, в небе пел невидимый жаворонок. Упряма была природа: жила сама и звала жить.

Танюша сняла туфли и шла босиком между двух колей дороги. Иногда под ноги попадалась зеленая трава, приятно холодила пятку, заскакивала между пальцами и с лаской ускользала. Вася расстегнул ворот рубашки и всю дорогу пел нескладным голосом и фальшивя без меры; он отличался полным отсутствием слуха, и нужно было ясное сегодняшнее утро, чтобы музыкальная Танюша не страдала от такого пенья. Только при самых отчаянных руладах Васи Танюша, зажимая уши, кричала ему со смехом:

— Ну, Вася, пощадите! Вы вспугнете всех птиц.

— Зато, когда пойдем обратно вечером, будут довольны лягушки. Мое пенье в них вкусе.

Они забавлялись, как дети, бегая наперегонки, украсили себя венками из васильков, жевали недозревшие зерна ржи и сладкие кончики трав. К десяти часам, миновав поля и перейдя глубокий овраг, вышли наконец на лесную дорогу.

Лес сначала обступил их невысоким молодняком — дубками, березками, орехом,— затем обнял свежестью старых берез, осин, елок, сосен. Шла через лес кривая малоезженая дорога, с колеями в объезд кустиков и поверх размоченных корней, а меж двух колей и по сторонам росли сыроежки с розовыми и зелеными шляпками.

Встречных было мало, и только пешеходы. До деревни, что на крутом берегу Москва-реки, лес тянулся версты на четыре. Ягод здесь попадалось мало, то ли были обобраны, то ли просто — не ягодные места. Но орехи уже начинали наливать и крепить молочные зернышки в резном зеленом капоре.

К полудню прошли мимо разбросанных домов и дачек деревни и вышли к реке. Вася по пути раздобыл молока, и на высоком берегу сделали привал.

Еще никогда не казался таким вкусным сероватый и вязкий ржаной пайковый хлеб с крупной солью. Танюша подивилась хозяйственности лаборанта: в его корзине оказалась не только бутылка для молока, но и два крепких стакана.

— Вы, Танюша, возьмите этот стакан; он у меня всегда служит для питья.

— А другой?

— Другой, собственно, для бритья. Но я хорошо вымыл. А отличаю я его по пузырьку на стекле, вот смотрите.

— Вася, какой вы смешной и милый. Давайте чокнемся.

Зато Вася покраснел и ахнул, когда в свертке Танюши оказались две большие котлеты.

— Ну это уже черт знает... Это уже мотовство,— совершенно царский стол!

— И не подумайте, Вася, что из конины. Самое подлинное мясо, и жарила я сама на настоящем коровьем масле.

Котлету съели пополам, оставив другую на обед. Ели молча, священнодействуя, думая в эту минуту о серьезном.

Когда покончили с печеным картофелем, корзина с провизией сразу стала легче.

— На десерт ягоды.

— Если найдем много. Нужно собрать и для дедушки.

— Черники и брусники в том лесу гибель.

Они сидели над обрывом, любуясь изумительным видом на отлогие берега реки. Внизу, на той стороне, была деревушка, вдали едва виднелось Архангельское.

— Красота!

— Красота!

— Вы довольны, Танюша?

— Я счастлива. А вы, Вася?

— Значит, я вдвое.

— Почему вдвое и почему значит?

— Своим счастьем и еще вашим.

Танюша посмотрела на Васю глазами ласковыми и задумчивыми.

— Милый Вася, спасибо вам.

— За что?

— За все. За заботливую и верную дружбу вашу.

— Да, за дружбу — это верно. А вам, Танюша, спасибо за то, что вы существуете. За мою к вам любовь. Вам она не мешает, а мне можно жить на свете. Ух, я так вас люблю, Танюша, что...

Вася повалился на траву и бил ее сжатым кулаком:

— Пусть глупо, а мие так нужно. Вы меня ие слушайте, Танюша, это я от солнышка с ума схожу. Ух, какой я сегодия совершениый идиот, ой-ой-ой, даже приятно.

Посидели так, он — лицом в траву, она — задумчиво глядя иа зелеиые дали. А когда Вася подиял голову, Таиюша просто сказала:

— Теперь пойдем в лес?

— Да. Теперь пойдем в лес. В лес — так в лес.

Вскочил на ноги.

— Идемте. Здесь рядышком начииается самый старый лес, заповедиый. Там еще стоят сосиы времеи царя Алексея Михайловнча. Вы увидите. Ноги мы себе обдерем обязательио, это верно, но зато чудесно там, Танюша. Я здесь много раз бывал и все места зиаю.

Высокая трава била по ногам. Тропииок стаиовилось меиьше. В заповедиый лес вошлн, как в грот, раздвиив ветви высокого кустарника. И, несмотря на полдеиь жаркого летиего дия,— вдруг оказались в прохладе и влажиостн.

Верхушкн деревьев сплелись в сотии темиых куполов, а вся земля, хоть н в густой теии дерев, заросла травой жириой, ласково-холодиой. Перегной был мягок н топок, и долго пробуравливал его белый стебель трав, пока, выйдя иа волю, делался зелеиым.

Глубже в лес — не было и помина о дорожках, везде была зеленая стена кустариика и чернели столбы столетних стволов. В одном месте лежала сосиа с выгнившей древесииой, миого лет иазад павшая,— только кора пролагала дорогу средь кустов и молодых деревьев, н верхушка терялась в темиой дали. Павшая сосиа доходила в толщиие до человеческого роста, н ее пришлось обходить, как внезапио выросшую стену.

— Где вы, Вася?

— Тут рядом. Я забрался в такую чащу, что ие зиаю, как и выбраться.

— Хорошо здесь, Вася. Какой лес, какой лес! Вы меня видите?

— Платье мелькает, а лнца не вижу.

— Я хотела бы здесь жнть, Вася.

— Соскучитесь. В мнр потянет.

— В мире, Вася, иесладко сейчас.

— Обойдется. Лучше будет.

— Вы верите?

— Да как же ие верить. Вон у нас какие богатства. Одии этот лес чего стоит. А на севере... ой, напоролся иа сучок...

— Что вы говорите иа севере?

— Я говорю, на севере, где я жил в детстве, там леса еще много лучше, хвойиые, н тянутся иа тысячи верст. Как вспомнншь о иих,— люди, и всякая политика, и квартириые вопросы, н декреты, и что там еще,— все смешным делается.

— Вы любите жизнь, Вася? Вы ие боитесь жить?

Среди зарослей показалась Васнна косоворотка.

— Ну, Танюша, я окончательно застрял; главное — корзннка мешает ндти. А насчет жнзни — как же не любить ее? Люблю! Больше жизни я только вас люблю, Танюша.

— Опять вы начинаете.

— Я правду говорю. Я даже вот как скажу вам. Подождите, Танюша, не шевелитесь. Я потом вам помогу выбраться. Вы меня раз послушайте. Вот этим лесом клянусь вам, Танюша, ни о чем вас не прошу, а жнзнь за вас отдам. Вы подождите минутку, дайте мне сказать. Этнм лесом клянусь: если вам понадобнтся когда-нибудь моя помощь, ну, в чем бы ни случнлось,— вы, Танюша, помните, что я ваш верный навсегда друг и пойду для вас на все, н на самую смерть пойду, и даже, Танюша, с удовольствием. Вот. Это я совершенно серьезно, и больше я говорить не буду.

Ветки перестали трещать, и птнц не было слышно.

— Вася.

— Что?

— Вася... где вы там?

— Да застрял.

— Подойдите.

— Не могу, тут веткн перепутаны. И что-то колется.

— Ну, протяните руку.

Опять затрещали ветки, и сквозь них показалась большая Васнна рука.

— Ой, Вася, у вас кожа содрана на руке.

— Не беда.

— Бедный... Ну, держнте мою руку.

Танюша налегла на кустарник н дотянулась рукой до Васиных пальцев.

— Поймали?

— Поймал.

— Только не тяннте, а то упаду. Вася, милый Вася, я все знаю и все ценю. Только себя я еще не знаю. Мне здесь с вами хорошо, а дома, в городе, у меня на душе тревожно. Есть много такого, чего я не могу понять, ну — в себе самой. Вы, Вася, не осуждайте меня.

— Да разве ж я могу...

— Мне так трудно, Вася, так трудно.

— Ну, ну, я-то ведь понимаю.

— Вася, милый, вы мой единственный, настоящий друг, вот. Ну, теперь пустнте руку. Надо как-ннбудь выбраться из этой чащи.

Ветки раздвинулнсь шнре, н Васнна голова со спутаннымн волосамн дотянулась губамн до кончнка пальца Танюшн.

— Выберемся, Танюша, выберемся. Я сказал — помогу. Тут скоро должна быть лесная тропа. Я, Танюша, вас выведу, не бойтесь.

БЕСЕДА ВТОРАЯ

Разогрев воды иа печурке, Астафьев смывал с лица последние остатки мукн и краски. В зеркале отразилась щель дверн, а в щелн — опухшее лицо его соседа, рабочего Завалишнна.

— Нечего подсматрнвать, Завалишин, входите.

— Туалетом занимаетесь?

— Смываю с рожи муку.

— Выпачкались?

— Вероятно. Как вы живете?

Завалишни вошел, погрел руки у печуркн, потом сказал отчетливо н самоуверенно:

— Поживаю хорошо. Зашибаю деньгу.

— Все иа фабрнке?

— Нникакой фабрнкн. Теперь совсем по другой части. По вашему, товарнщ Астафьев, совету и прямому указанню.

— Что-то не помню, чтобы советовал. Это где же?

— Приказывали бороться, и даже по части подлости. Иначе, дескать, пропадешь, Завалишин, съедят тебя. Вот и боремся теперь.

Астафьев с любопытством посмотрел на соседа.

— Ну н что же, выходнт?

— Не могу жаловаться, делишки поправляются. Даже прншел к вам, товарищ Астафьев, угостить вас, как бы отблагодарить за угощенье ваше. Еслн, коиечио, не гнушаетесь. И не самогон, а настоящнй коньяк, довоенной фабрики, две бутылки.

— Подлостью, говорите, добылн?

— Так точно. Самой настоящей человеческой подлостью. Уж не погнушайтесь.

— Любопытно.

— Да уж чего же любопытнее. У вас два стаканчнка найдутся? И закускн сейчас прииесу, копченая грудинка и еще там разное.

Астафьев опять с интересом оглядел соседа. Перемена явная. Лучше, даже совсем хорошо одет, нет прежней робости и забнтостн, одиако как будто н уверенности в себе настоящей нет. Храбрится и бравирует.

Завалишнн прииес коиьяк, марки неважной, но иастоящий, довоениый. Выиул нз пакета грудиику, икру и какие-то сомнительные полубелые сухарнки. Для дней сих — несомиенная роскошь. Столик подвннулн блнже к печке.

Завалишин налил два стакаиа до половины.

— За ваше здоровье, товарищ ученый. Покориейше вам за все благодареи, за науку вашу, за советы — иаучилн дурака уму-разуму.

— А все-такн что вы делаете, Завалишин? Воруете? В иалетчнки записались?

— Что вы, помилуйте. Получаю за аккуратную службу.

— Где?

— Вот это уж дело секретное, товарищ Астафьев. Одним

словом — служба, настоящее дело. Работа самонужнейшая, в антиресах республики. Но болтать зря нельзя.

— Ну, черт с вами, пейте.

Пили молча, закусывая икрой и толстыми ломтями грудинки. Астафьев был голоден,— сильному человеку нужно было много пищи. Коньяк согрел и поднял силы. Завалишин, напротив, быстро осовел, но продолжал пить жадно. Лицо его налилось кровью, глазки сузились и тупо смотрели в стакан.

Потрескивали сырые дрова в печурке.

Сидя в кресле, Астафьев забыл про гостя. Мысль раздвоилась. Он думал о Танюше и о последнем разговоре, но в разговор вмешивались эстрадные остроты, какие-то пошлые стишки, которыми он забавлял сегодня толпу. И еще слышались звуки пианино: Танюша играла Баха.

Астафьев вздрогнул, когда сосед ударил кулаком по столу.

— Стой, не движь, так твою...

— Вы чего, напились, что ли?

Завалишин поднял пьяные глаза.

— Н... не желаю, чтобы он двигался.

— Кто?

— В... вообще, н... не желаю.

Засмеялся тоненьким смехом:

— Это я так. Вы, т... товарищ, не беспокойтесь. Я, товарищ, все могу.

— Нет, Завалишин, не все. И вообще вы — слабый человек, хоть по виду и силач.

— Я слабый? Это я слабый? Очень свободно убить могу, вот я какой слабый.

— Подумаешь. Убить человека и ребенок может, особенно если из револьвера. Силы для этого не требуется. А вот больше вы ничего не можете.

— А что больше?

— Создать что-нибудь. Сделать. Ну вот зажигалку, что ли.

— Я не слесарь.

— Ну, поле вспахать.

— Ни к чему это. Мужики пашут.

— А вы пролетарий, барин! Мужики пашут, а вы хлеб едите. Ни на что вы, Завалишин, не способны; даже коньяк пить не умеете со вкусом: хлещете, как денатурат, и с первого стакана пьяны.

— Хлещем, как умеем, господин Астафьев. Нас этому в университетах не обучали. Чтобы пригубливать — у нас времени не было. Мы завсегда залпом. Вот так!

Он долил свой стакан и опрокинул разом, но поперхнулся и стал резать дрожащими руками ломоть закуски.

Астафьев допил свой стакан, налил другой, — не отставая от соседа, — и погрузился в свои думы. Голова его приятно кружилась.

Отвлекло его от мыслей бормотанье Завалишина.

Опершись руками о стол и положив на руки пьяную го-

лову, Завалишии красными моргающими глазками смотрел иа собутыльника.

— За такие слова можно тебя упечь безобратно. И за машинку, и за мужика. Упечь и даже в расход вывести.

Астафьев брезгливо поморщился:

— Чекист! Если вы пьяиы, Завалишин, то ступайте спать. Допьем завтра.

— Завтра? Завтра у меня день свободиый, в... вроде отпуска. Завтра материалу нет срочного.

И опять захихикал пьяненько и трусливо.

— Матерьялу завтра нет, а какой был — прикончили сегодня весь. Я, Завалишин, приканчивал. Чик — и готово.

И вдруг, опять стукнув кулаком по столу, закричал:

— Говорю — не выспрашивай, ие твое дело!

Дрожащей рукой налил стакаи и выпил залпом. Коньяк ожег горло. Завалишин вылупил глаза, ахнул, потянулся за закуской и сразу, опустившись, ткнулся лбом в стол.

Астафьев встал, взял гостя за ворот, потряс, поднял его голову и увидел бледное лицо, иа котором был написаи пьяиый ужас. Зубы Завалишина стучали, и язык пытался бормотать. Астафьев приподнял его за ворот, поддержал и волоком потащил к двери.

— Тяжелая туша! Ну, иди ты, богатыры!

Доволок его до комнаты, швырнул иа постель, подобрал и устроил ноги. Пьяный лопотал какие-то слова. Астафьев иагнулся, послушал с минуту:

— Ай, матушки, ах, матушки, куды меня, куды меия...

Астафьев вернулся к себе, собрал остатки закусок, пустую и полуполную бутылку и отиес все в комиату Завалишиа. Придя к себе, открыл окно, проветрил комнату и лег в постель, взяв со стола первую попавшуюся киигу.

МЕШОЧНИК

Вагоиы грузно ударились одии о другой, и поезд остановился. Путь, который раиьше отнимал ие более суток, теперь потребовал почти иеделю.

Стояли иа каких-то маленьких стаициях и полустанках часами и днями, пассажиров гоияли в лес собирать топливо для паровоза, раза два отцепляли вагоиы и заставляли пересаживаться; и тогда вся серая масса мешочников, топча сапогами по крыше вагоиа, спираясь иа площадках, с оханьем и руганью бросалась занимать новые места. Среди этих пассажиров, помогая себе локтями и с трудом перетаскивая чемоданчик и мешок с рухлядью, отвоевывая себе место, торопливо пробивался и Вася Болтаиовский, лаборант университета, верный рыцарь домика на Сивцевом Вражке.

Уже давио забыл, когда в последний раз мылся. Как и все, пятерией лез за пазуху и до крови расчесывал грудь, пле-

чн, спину — докуда доставала рука. Только одну ночь ехал на крыше вагона, обычно же ухитрялся занять багажную полку внутрн — и сверху победно смотрел на груду тел человеческих, спаянную бессонными ночами, грязью, потом, бранью н остротами над собственной участью. Счастливцы спали на полу, в проходах, под лавками; неудачннкам приходилось дремать стоя, мотая головой прн толчках.

К концу пути стало в вагонах свободнее, н крыши очнстились. Большинство мешочников слезло н разбрелось по деревням. Вася проехал дальше многих, рассчитывая выгоднее обменять свой товар в отдаленных селах. В дороге сдружился с несколькими опытными мешочниками, уже по второму н третьему разу совершавшнми сумбурный поход за крупой н хлебом.

Оставив поезд, разбились на кучки, подтянулись, подправнлись, удобнее приладили мешки н двинулись в разных направлениях.

Спутниками Васи были две бывалые женщины, из московских мещанок, н «бывший инженер» — как сам он себя именовал — в хороших сапогах и полувоенной защитной форме; только вместо фуражки — рыжая кепка. Его принимали за солдата н называли «товарнщем». С ним Вася особенно сдружился в путн н охотно прнзнавал его авторнтет н опытность. Звали инженера Петром Павловичем. Как н все — грязный, не брнтый, полусонный, он нзумительно умел сохранять бодрость духа, шутил, рассказывал о прежних своих «походах», умел раздобыть кипятку, мирил ссорившихся, менял соль на табачок, уступал свое место на лавке во временное пользование усталым н женщинам, а на одной нз долгих стоянок помог неопытному кочегару справиться с поломкой паровозной машины. В вагоне он был как бы за старосту, с особой же нежностью и заботой относился к Васе, которого называл профессором.

Инженеру Протасову было лет тридцать пять. Был широкоплеч, крепок, здоров, приветлив и обходителен. С каждым умел говорить на понятном ему языке н о понятных ему вещах. Пассажиры, слезавшие в путн, обязательно с ннм прощались; новички попадали под его покровнтельство.

Выйдя со станции, маленькой своей группочкой двинулнсь в путь.

— Ну, сюда добрались; а вот как обратно поедем, с полнымн мешками!

— Там увидится. Ездят люди.

— Ездят, да не все возвращаются.

— Через заградилки трудно.

— Проберемся как-нибудь. Сейчас об этом рано думать. Сейчас — поменять бы выгоднее.

— Ноги-то не идут.

— Нячего, разойдутся. В лесу отдохнем.

— Это выходить — прямо на дожде!

— Найдем сухое местечко. А то в нзбу где-нибудь пустят.

— Ну и жизнь!

— Все же лучше здесь, чем в вагоне.

И правда — на воздухе отдыхали после вагонной духоты.

По осенним вязким дорогам, меж намокших полей, добрались до небольшой деревушки, где и собаки и люди встретили пришельцев с подозрительностью. Было ясно, что тут никакой торговли не сделаешь, — только бы высушиться и обогреться да расспросить.

В избу все же пустили. Хозяева, узнав, что у нежданных гостей есть чай, отнеслись к ним более приветливо и выставили со своей стороны крынку молока и хорошую краюху хлеба. Хлеб был настоящий, вкусный, сытный, не пайковый — московский. За несколько щепоток чаю истопили баню и посулили ночлег. Это была удача, — баня самое нужное дело.

В первый раз за неделю Вася Болтановский разделся и долго возился с бельем и одеждой, вытравляя и выпаривая насекомых под руководством опытного спутника. Оделись в чистое, а ночью выспались, не обращая внимания на укусы клопов — насекомых невинных и привычных.

И утром, чуть свет, двинулись по дороге и бездорожью искать крестьян побогаче и позапасливее.

В первом же селе женщины-спутницы отстали — то ли расторговались, то ли решили, что ходить вчетвером невыгодно. Васе повезло, и почин он сделал на старом платье и летней кофточке Танюши, в обмен на которые он получил целое богатство — полпуда гречневой крупы! Протасов сделку вполне одобрил. Завязывая свой мешок, Вася смотрел с ужасом, как молодая бабенка просовывала в рукава Танюшиной кофточки свои красные рабочие руки, примеривая ее поверх своей старой и засаленной и кулаками поправляя груди. Но почин сделан, и почин счастливый — для Танюши!

Мужики смотрели на торговцев мрачно, однако пытались приценяться к непродажным сапогам инженера. За косу и бруски предлагали пустяк, — о сенокосе думать рано. Васю заинтересовало, откуда у инженера новая неотбитая коса. Оказалось, что косу он получил в учреждении, где служащим выдавали в паек разные неожиданные и странные вещи; брали все охотно, на случай обмена.

Решили слишком далеко не забредать и держаться ближе к железной дороге. Хуже всего было с ночевками, — пускали неохотно, не доверяя пришлым городским людям. Но, пустив, охотно расспрашивали про Москву, про немцев, про цены, про то, чего ждать впереди. Что война прикончена, — про то в деревнях знали; о том же, кто теперь правит Россией, правда ли, что царя увезли и чего хотят большевики, понятие имели самое смутное и фантастическое. Больше, чем политикой, интересовались слухами о налогах и тем, будут ли у крестьян отбирать хлеб и не вернутся ли помещики. Ответы выслушивали, затаив дыханье, но, видимо, мало верили пришельцам, и слова их толковали по-своему.

На пятый день заезжие купцы наполнили свои мешки, расставшись с кофтами, чулками, ситцем, морковным чаем и листовым табаком. В последнем селе Вася продал за пуд белой муки и пуд проса охотничьи сапоги профессора орнитологии, — сделка, которой инженер не одобрил, сочтя ее маловыгодной. К этому времени нагрузился продуктами и инженер. Решили ехать на ближайшую станцию с попутной подводой, заплатив деньгами. Устроилось и это, поход оказался счастливым.

Хозяин подводы, отъехав от села, повернул голову к седокам, осмотрел их внимательно, оценил и сказал Васе:

— Смотрю я на тебя, для барина ты плох, а на товарища не похож; так уж я буду тебя господином звать.

Протасов спросил его:

— Ну, а я на кого похож?

Крестьянин ответил неохотно:

— Кто ж тебя знает! Человек пришлый, не наш. Надо полагать, из военного сословия.

Тем более пригодилась подвода, что Вася Болтановский, не привычный к такого рода приключениям, чувствовал себя сильно ослабевшим, а в последнюю ночь его даже немного лихорадило.

Самым трудным было погрузить себя с мешками в поезд, по обыкновению переполненный. Первые сутки заночевали на станции; на второй день опять повезло и с трудом устроились, сначала на тормозе, потом и на площадке. На следующих станциях новой толпой мешочников, занявших сходни и даже крышу, втиснуты были в вагон, где уже трудно было дышать и приходилось ехать стоя. Но, раз попали,— благодарили судьбу и за это.

Поезд шел на этот раз быстрее, без долгих задержек, и на третьи сутки уже подъезжали к Москве; удачно миновав первую заградилку, от которой откупились пустяками. Москвы Вася ждал с нетерпением, так как чувствовал, что силы его кончаются. В вагоне, чтобы легче было дышать, открыли все окна, и Васю сильно знобило. К ночи озноб сменялся жаром, и инженер, смотря на молодого спутника, скептически покачал головой.

— Что это вас так развозит? Смотрите, не поймали ли ядовитую семашку!

— Нет, ничего. Скорее бы только доехать.

Под самой Москвой опять наткнулись на заградительный отряд. С крыши всех согнали, стреляя холостыми. Из передних вагонов выгнали пассажиров и у многих отобрали мешки. Но, видно, утомившись с ближайшими, решили махнуть рукой на остальных. Мешочники защищали свое добро правдами и неправдами, цеплялись за мешки, ругались, льстили, подкупали, старались держаться сомкнутой массой, не пропуская заградиловцев в вагоны, рассовывая свои запасы под лавки, под юбку, за пазуху. Васе и его спутнику опять повезло: их вагон был последним и на усердный осмотр его у заградиловцев не хва-

тило нн сил, ни временн. Простояв свыше двух часов, поезд наконец двинулся. До Москвы оставалось часов пять. Главиая опасность — лишиться добытого с таким трудом — миновала.

Протасов советовал:

— Как дома будете, прежде всего вымойтесь, выберите семашек, напейтесь до краев горячим чаем — и в постель. А лучше всего — доктора позовнте, еслн есть знакомый.

И правда, Васе было плохо. После нервного напряжения, перенесенного в заградительном пункте, он испытывал теперь страшную слабость. Сидел на мешке, сам — как мешок. По временам так стучало в внсках, что заглушало стук поезда. И тело, зудевшее от насекомых, покрыто было холодным потом.

— У меня все перед глазамн сливается и точно плавает.

— Ну еще бы,— говорил ннжеиер, с сожалеиием оглядывая спутника.— Это, батюшка, дело серьезно. Хорошо, что скоро в Москве будем. Мешки уж как-нибудь дотащим; может быть, попадет дешевый нзвозчик.

Громыхая на стрелках, ахая иа поворотах, медленно, точио нарочно растягивая время, грузио, тяжко, злобио поезд подползал к московскому вокзалу.

Разминаясь н стараясь бодрее держать пылающую голову, Вася думал: «Кажется, плохо мое дело. А все-таки привез разного добра. Теперь Танюше и профессору будет немного легче».

И еще думал с больной улыбкой: «Скоро увижу ее... Танюшу».

«ЖМУРИКИ»

Преддомком Денисов с вечера предупреждал жильцов, что всем, кто не нмеет документа о советской службе, прнказано явиться в милицию к трем часам под утро со своимн лопатами.

— Пойдете на общественные работы.

Документы оказались почти у всех, а рабочие службой не обязывались. Двонх, не нмевших, преддомком уволил от явкн своей властью, одного по болезни (помирал от тифа), другого по преклонности старости. Не оказалось удостоверения только у семерых,— у трех женщин н четверых мужчин, в том числе у приват-доцента философни Астафьева.

— Я служу актером в рабочих районных клубах, вы знаете.

Но Денисов явно был доволен, что Астафьев не оказался запасливым.

— Раз без документов, то вам, товарищ Астафьев, обязательно идтн.

— Я только к ночн вернусь с работы.

— Ничего не знаю. Еслн не пойдете,— я обязан сообщить, н уведут силой, да н назад не прнведут; вам же будет хуже. Сейчас, товарнщ Астафьев, с буржуазией не шутят. Пожалуйте

к трем часам, вот вам н билет от домкома; там распишутся, н назад мне принесете. Лопату вам выдадим. Очень сожалею, товарищ Астафьев, но н без того всякий старается отлынивать.

Астафьев знал, что мог бы — прн желании — отвертеться: Денисов не отличался неподкупностью. Но, подумавши, махнул рукой: «Надо н это испробовать, да, пожалуй, в принципе, справедливо».

К трем часам ворота в милиции были еще заперты; к половине четвертого собралась порядочная толпа, н мужчин, н женщин, безропотная, разношерстная, большинство без лопат. Кто были прншедшие — разобрать было нелегко: одеты плохо, сборно, но, по-видимому, большинство нз «буржуев» н интеллигентов. На двонх мужчинах, уже пожилых, пальто было офицерского покроя, правда — потерявшее облик, грязное, затасканное, со штатскимн пуговицами. Вообще в толпе преобладали люди пожилые.

Отперли ворота в четыре, впустили, отобрали билеты домкомов, переписали. Поворчали, что мало принесли лопат, выдали десяток казенных, под расписку. Отрядили четверых конвойных вестн толпу в шестьдесят человек.

По ночным улицам, мрачиым, неосвещенным, неубранным, толпа шла сначала в порядке, к концу — разбредшимися группами. Уйти нельзя: только на месте выдадут билеты с отметкой. На вопрос, какая будет работа, сонные и злые конвоиры отвечали, что н сами не знают. Прнказано доставить за заставой на вторую версту, близ дороги, там конвой сменят.

— В прошедшую ночь водили на Николаевскую линию рельсы н шпалы чистить, а нынче приказано в другое место...

Одна бабенка, суетливая н бойкая, по говору — из мещанок, словоохотливо рассказывала каждому, что ходит на работы не в первый раз, н ходит добровольно, замещает знакомую почти задаром. И ведут нынче, скорее всего, не дорогу чистить и чинить, а закапывать «жмуриков». Работа нетяжелая, хоть н грязная, а хлеба за это выдают по-божески, нной раз по целому фунту, н хорошего, солдатского.

Что такое «жмурики», Астафьев не знал.

Шли больше часу, пока дошли до места, где ждали другие конвоиры. Оказалось, работа тут и есть, рядом. Сказали, что отдыхать некогда, скоро грузовнкн прнедут; отдыхать потом, когда хлеб выдадут.

Поставили всех рядом копать на пустыре большую яму. У кого лопат не было, те ждали, а потом становились на смену.

Что такое «жмурикн», Астафьев узнал, вернее, догадался сам. Этим ласковым именем называли покойников. Конвойные на расспросы отвечали, что закапывать придется тифозных н других, нз разных больниц, да с вокзалов.

Земля была влажной, весенней, н работа шла быстро, хоть н непривычны были к ней люди. Яму рыли неглубоко, а главное, пошире. Из свонх нашлись руководители, которые учили,

покрнкивалн, даже немножко красовалнсь своей опытностью н начальственностью.

Часам к шестн прнбыл первый грузовнк, долго пыхтел, пробираясь к яме по бездорожью, наконец подъехал почти вплотную. Одну яму к тому времени закончили, рыли другую поблизости. На бледном дождливом рассвете четверо прнехавших рабочих в фартуках стали вынимать и сбрасывать в готовую яму страшную кладь — полуодетых в тряпье, а то н совсем голых «жмуриков». Астафьев стоял близко н чувствовал, как дышать становится труднее н капли мелкого дождя не кажутся больше свежими н чистыми.

Позже подъехали еще два грузовнка, Астафьев насчитал в общем до сорока трупов. После каждой партнн приказывалн позабросать землей, а остаток места экономнть. Но первая яма была уже полна, н прншлось насыпать над ней землю курганом.

Опытные обменивалнсь мненнями: «Большнм дождем, пожалуй, размоет».

Землекопы смотрели мрачно, хмурились, отвертывались; женщины выдерживали лучше мужчин н больше шептались. Но только суетливая бабенка, как привычная, не проявляла ни страха, ни отвращения н даже с особым живым нитересом встречала каждый новый грузовнк, заглядывала в него, мешала работавшим, ахала, объясняла:

— Опять больничные, либо вокзальные, нз вагонов. И все-то раздеты, все раздеты! И сапоги обязательно сняты начисто, даром что тифозные.

Новый грузовнк не добрался до самой ямы, завязив колеса в сырой размятой земле. Прн нем было двое конвойных, в военных шлемах с красной звездой, обшитой черным шнуром. Вызвали добровольцев разгружать. Сказалн, что выдадут по добавочному фунту хлеба.

— А то н сами назначим!

Астафьев оглядел толпу, увидал смущенные н мрачные лица н вышел первым. У грузовнка уже суетилась бабенка. Еще двоих, в перешитых военных шинелях, вызвали конвойные:

— Да вы не смущайтесь, тут заразных нет, все свежие!

Новые «жмурнки» были страшнее прежних. Они почти все были одеты, только без обувн, н одежда нх вся была в еще запекшейся кровн. Велели стягивать за ноги, да не мешкать:

— Нечего смотреть! Покойник — покойник н есть.

Сжав зубы, стараясь не видеть лиц, Астафьев коснулся первого трупа. Сквозь грязное белье руки его невольно ощутили скользкий холод смерти. Он напряг всю свою мужскую волю, но губы его не складывались в обычную скептическую улыбку. Он не мог отогнать мысли, что этот страшный «жмурик» был человеком, н здоровым человеком, быть может, всего час тому назад. Ему казалось, что он этого человека знает, не может не знать, что эта предутренняя жертва террора — нз его круга, может быть, его товарнщ по уннверснтету илн знакомый офнцер.

Как бы в ответ одии из коивойиых сказал другому:

— Больше все бандиты.

Вдруг Астафьев заметил, что его сотрудница, суетливая бабенка, поддерживая труп за плечи, быстро шарит рукой за разорванным воротом. Притворившись, что не может сдержать, опустила на минуту на землю,— и в зажатой руке ее блесиула золотая цепочка с крестиком. Так же суетливо подхватила вновь за плечи, что-то зашептала, боязливо отыскивая глаза Астафьева, и заулыбалась ему как сообщнику.

Конвойный окрикнул:

— Не копайся там. Сама вызвалась, так и неси.

И добавил тише:

— Ну и баба! Ей все одио, что хлеб в печь совать. Любимая занятия!

Астафьев работал как автомат, без мысли, без созиаиья о времени, не ощущая больше ии ужаса, ии отвращеиия. Стягивая с грузовика очередиего «жмурика», механически считал: «три, пятый, шестой...» Трупов было до двадцати, нижние всех страшнее, смятые, пропитаиные своей и чужой кровью.

От ямы до грузовика Астафьев шагал твердым, крепким шагом, подняв голову и смотря прямо перед собой. Конвойиые глядели с любопытством иа высокого человека, лучше других одетого, опоясанного ремнем, с бледным, каменным, чисто выбритым лицом. На счастье и удачу суетливой своей помощницы, он отвлекал внимаиие конвоиров от ее проворных и шарящих рук.

Приказали закапывать. Астафьев пошел за своей лопатой, ио, едва ее коснувшись, почувствовал, что кисти его рук и края рукавов липки и буро-красиы. Бросив лопату, он отошел в сторону, стал иа корточки и с тем же тупым равнодушием принялся оттирать руки о землю и побеги молодой травки.

Мир был. Но был мир пуст, мертв и бессмыслеи.

Астафьев вытер руки иасухо платком, бросил платок и пошел, минуя грузовик и конвойных,— прямо к дороге. Когда ои проходил мимо, солдаты замолчали и отступили. Крайний пробурчал было: «куда?», но вопроса не повторил. Другой солдат сказал: «Оставь, все одно сейчас всем отпуск».

Астафьев вышел на дорогу и пошел, ие оглядываясь, в сторону города. Отойдя с полверсты, почувствовал усталось и сел поблизости дороги у стеиы заброшенного домика.

Мимо пропыхтел пустой грузовик с двумя солдатами, а скоро прошли усталым, но спешным шагом, теперь уже без конвоя, группами и одииочками, работавшне «буржуи». Миогие иа ходу жевали выданный хлеб.

Бойкой мещанки среди иих ие было. Астафьев увидал ее вдали, сильио отставшей. Шла оиа одиа, таща иа плече лопату.

«А моя лапата осталась там»,— подумал Астафьев.

Он встал и пошел иавстречу бабенке. Когда поравиялись, та, видимо, оробела и хотела пройти стороиой.

Тогда Астафьев подошел к ней вплотную, взял ее у груди за ворот ее полумужского пальто сильной рукой и сказал:

— Отдай все. Все кресты отдай.

Бабенка присела, попробовала вырваться, но в глазах ее, старавшихся улыбаться, был смертельный страх. Визгливым шепотом прохрипела:

— Что отдавать-то, батюшка, ничего и нет.

— Отдай,— повторил Астафьев.— Убью!

Бабенка дрожащими суетливыми руками зашарила по карманам, вытащила четыре крестика, из них два на золотых порванных цепочках, и кольцо.

Не произнося ни слова, Астафьев сам обыскал ее карманы, вытряхнул платок, нашел еще два нательных креста, швырнул ей обратно кольцо и, не слушая ее шипящих причитаний, зашагал под мелким дождем к месту работ.

Там уже не было никого; только над истоптанной землей возвышались длинные глинистые насыпи да блестели колеи автомобильных шин.

— А лопаты моей нет, утащили,— пробурчал Астафьев.

Затем подошел вплотную ко второй засыпанной яме и бросил на нее отобранные крестики. Подумавши, влез на насыпь, каблуком сапога глубоко вдавил крестики в землю и руками набросал сверху комьев новой земли.

Неверующий — не перекрестился, не перекрестил могил, не простился с ними. Круто повернувшись, смотря под ноги, зашагал прежней дорогой обратно в Москву.

«Я ЗНАЮ»

Орнитолог решительно скучал без Васи Болтановского, который уехал за продуктами и не возвращался вот уже вторую неделю.

— Пора бы ему вернуться, Танюша.

— Вы, дедушка, любите Васю больше, чем меня.

— Больше не больше, а люблю его. У него душа хорошая, у Васи. Добрый он.

Зашел Поплавский, в теплой вязаной кофте под старым черным сюртуком, в промокших калошах, которые он оставил за дверью.

— Наслежу я у вас, у меня калоши протекают; надо будет резинового клею достать. А что, профессор, мои калошки никто за дверью не стибрит? Ведь у вас жильцы живут.

Поплавский, раньше говоривший только о физике и химии, сейчас не оживлялся даже при имени Эйнштейна, о книге которого только что дошли до Москвы слухи. В Книжной лавке писателей, временном московском культурном центре, куда заходил по своим торговым делам и орнитолог, говорили за прилавком о теории относительности; даже кнопочкой приколота была к конторке, курьеза ради, математическая формула конца

мира. Знал, конечно, и Поплавский о крушении светоносного эфира,— но сейчас далеки были от всего эти мысли еще молодого профессора. Думы его — как и многих — были заняты сахарином, патокой и недостатком жиров. И еще одним: ужасом начавшегося террора.

— Слышали? Вчера опять расстреляли сорок человек!

Орнитолог болезненно качал головой и старался отвести разговор от темы о смертях. Особнячок на Сивцевом Вражке защищался от мира, хотел жить прежней тихой жизнью.

В восемь часов, аккуратный, как всегда, сильно исхудалый и постаревший, зашел и Эдуард Львович. Его кривое пенсне, часто сползавшее с носа, было украшено простой тонкой бечевкой — вместо истрепавшегося черного шнурка.

Когда опять постучали в дверь (звонок — как и везде — не действовал), Танюша вскочила поспешнее обычного и побежала отворить. Вернулась оживленная, и за нею вошел Астафьев.

В последние дни он заходил часто и сидел подолгу, иногда пересиживая орнитолога, который рано уходил к себе спать и читал в постели.

С помощью Астафьева Танюша поставила самовар, и ложечка профессора уже стучала в большой его чашке. Старик любил, когда его огонек собирал умных людей, с которыми было хорошо и уютно посидеть и поговорить.

— Науку надо беречь. Поколения уйдут, а свет науки останется. Наука — гордость наша.

Поплавский молча пил чай и жевал черные сухарики; он изголодался. Разговор поддерживал Астафьев.

— Чем гордиться, профессор? Логикой нашей? А мне иной раз думается, что нас науки, в особенности естественные, сбили с пути верного мышления — мышления образами. Первобытный человек мыслил дологически, для него предметы соучаствовали друг в друге, и поэтому мир для него был полон тайны и красоты. Мы же придумали «la loi de participation» [1], и мир поблек, утратил красочность и сказочность. И мы, конечно, проиграли.

Астафьев, по привычке, помешал ложечкой пустой чай, а когда Таня пододвинула ему блюдечко с сахаром, сказал:

— Нет, спасибо, у меня свой.

И, вынув из жилетного кармана коробочку, положил в чай лепешку сахарина.

— Почему вы не хотите? У нас есть.

Но Астафьев упрямо отодвинул блюдечко:

— Не будем, Татьяна Михайловна, нарушать хороших установившихся правил экономии.

Профессор сказал:

— Нужно уметь согласовать мышление логическое с мышлением образами.

— Нет, профессор, это невозможно. Тут синтеза нет. Да вот

---

[1] Закон соучастия (*фр.*).

я сошлюсь на Эдуарда Львовича. Вот он живет в мире музыкальных образов, в мире красоты,— может ли он принять логику современности? Это значило бы отказаться от искусства.

Эдуард Львович немножко покраснел, поерзал на стуле и пробормотал:

— Я доржен сказать, что не впорне вас поняр. Музыка имеет свои законы и, как будто, свою рогику, но это не совсем та рогика, о которой вы говорите. Но мне очень трудно объясниться.

Орнитолог одобрительно кивнул Эдуарду Львовичу и прибавил:

— Я вот тоже как-то не пойму вас, Алексей Дмитрич. Мысль вашу понимаю, а вас самого никак не усвою себе. Как будто вам легче, чем кому другому, принять и оправдать современность. Вы вон и науку отрицаете, и мыслить хотели бы по-дикарски, дологически. Правда, у вас все это от головы, а не от сердца. Ну, а современность, нынешнее наше, оно как раз и отрицает культуру и логику; в самом-то в нем никакой логики нет.

— Напротив, профессор, как раз современность наша и есть чисто голодное построение, самая настоящая математика, ученая головоломка. Логика и техника — новые наши боги, взамен отринутых. А если они ничем помочь нам не в силах — это уже не их вина; святости их это не препятствует.

Танюша слушала Астафьева и невольно вспоминала другие слова, им же и здесь же когда-то сказанные. Астафьев — сплошное противоречие. Зачем он все это говорит? Ради парадокса? А завтра будет говорить совсем другое? Зачем? И все-таки он искренен. Или притворяется? Зачем он так... От тоски?

Теперь она слушала только слова Астафьева, не вдумываясь в их смысл. Скандируя слова, явно говоря лишь для разговора, безо всякого желания, Астафьев продолжал:

— Самые ненавистные для меня люди это — летчики, шоферы, счетчики газа и электричества. Они совершенно не считаются с тем, что мне неприятен шум пропеллера и этот дикий, ничем не оправдываемый треск мотора. Они непрошеными врываются в нашу жизнь и считают себя не только правыми, а как бы высшими существами.

— Люди будущего.

— Да, на них есть это ужасное клеймо. И вообще я предпочитаю им — из прочих отрицательных типов — футболистов. Те, по крайней мере, определенные идиоты и сознают это. В летчиках же и в некоторых инженерах чувствуется интеллект, хотя и искалеченный.

Танюша перевела глаза на дедушку. Старик слушал Астафьева с неудовольствием, не веря ему и стараясь подавить чувство неприязни. Болтовня и болтовня, и болтовня неостроумная. Неуместно дешевое гаерство в серьезных вопросах.

«Зачем он так»,— досадливо думала Танюша.

Сегодня Эдуард Львович не играл и ушел рано. Поплавского орнитолог увел в свою комнату — посоветоваться насчет книг, отобранных для продажи. Астафьев остался с Танюшей.

— Зачем вы так говорите, Алексей Дмнтрневич? Вы говорнте, а самн себе ие вернте.

— Это оттого, что я ие верю ни себе, ни другим. Пожалуй, н правда,— говорить ие стоит. Хотя вы все же преувеличиваете: кое в чем я прав.

Помолчав, он прибавил:

— Да, глупо. Кажется, профессор обиделся иа мон гимназнческие выходкн. Мие вообще прнскучило н думать и говорнть. И чего я хочу — сам ие знаю.

— Я вас счнтала сильиее.

— Я н был сильиее. Сейчас — нет.

— Отчего?

— Вероятно, спутался в подсчетах. Я думаю, что есть в этом иемного н вашей вины.

— Моей? Почему моей?

Астафьев, сидевший в кресле, протянул руку и положил ее на диван, рядом с сидевшей Таиюшей. Таиюша скользнула взглядом по его большой руке и иевольно, едва заметио, отодвинулась.

— Вы поннмаете почему, Татьяна Мнхайловна. Должиы бы поиять. Я свон чувства не очень скрываю, да н не стремлюсь скрывать, хотя, возможио, оии ко мне не идут. Главиое, у меня вот нет этих слов, ие знаю, как они произиосятся... Вам, иапример, не кажется, что я вас полюбнл?

Это не было первым призиаинем. Первое было тогда, у ворот. И было такнм же холодным.

Танюша медленно ответила:

— Не кажется. Вероятио, я вам нравлюсь, и вам хочется так думать. Но на любовь это ие похоже.

Астафьев иекрасиво улыбиулся:

— Что вы знаете о любви, Таня?

Ннкто инкогда не иазывал Танюшу — Таней, и она ие любнла этого уменьшительного. Зачем ои...

Таиюша подняла глаза, прямо посмотрела на Астафьева н сказала:

— Я-то? Я-то знаю!

Сказала это просто, как вышло. И Астафьев почувствовал, что это правда: оиа зиает. Гораздо больше зиает, чем ои, так миого в жизни видевший, любивший, зиавший.

— Я знаю,— повторила Таиюша.— И потому могу вас успокоить: вы меия по-иастоящему ие любите. Вы, вероятио, инкого не любите. И ие можете любить. Вы такой.

— А вы, Таня?

— Я другая. Я и могу и хочу. Но только иекого. Вас? Может быть, могла бы вас. Раиьше могла бы. Но с вамн холодно... до ужаса. Мннутами, раньше, мие казалось... и было хорошо. Только мннутамн. Ведь н вы ие всегда такой.

— Так приблизительно я и думал,— сказал Астафьев.

Он медлеино убрал с диваиа руку. Мнр сжался, помрачиел, и сейчас Астафьев был подлиино несчастен. Ои молчал.

Танюша как бы про себя добавила просто и серьезно.

— Я одно время думала, что люблю вас. Я тогда вам удивлялась. Теперь думаю, что не люблю. Уж раз об этом думаешь — значит, нет. Вот если бы не думая...

Астафьев молчал. Кажется, сейчас опять войдут сюда дедушка и Поплавский. И Танюша громко сказала:

— Алексей Дмитрич, когда у нас концерт в Басманном районе? В среду или в четверг?

Астафьев твердо ответил:

— В четверг. Там всегда по четвергам.

Когда вошел орнитолог, Астафьев встал и попрощался.

Ложась спать, Танюша думала о многом: о том, что у дедушки сахар на исходе, что в среду она свободна, что у Эдуарда Львовича больной вид. Еще думала о Васе, которому пора бы вернуться. Думала также о том, что Астафьев прав: логика убивает красоту, тайну, сказочность. Затем, взглянув в зеркало и увидав себя в белом, с голыми руками, с распущенной белокурой косой, с глазами усталыми и не любящими никого, кроме дедушки, Танюша упала на постель и уткнулась лицом в подушку, чтобы этот милый дедушка не мог услыхать, если она вдруг почему-нибудь заплачет.

ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛТЫХ ГЕТРАХ

Поравнявшись с Астафьевым, человек в желтых гетрах бегло глянул ему в лицо, на минутку задержался, затем зашагал быстрее и свернул в первый переулок.

В походке ли или в глазах его показалось Астафьеву знакомое, впрочем, и таких лиц и таких сборных костюмов, полувоенных-полуштатских, попадалось много.

Придя домой, Астафьев занялся делом: нужно было вычислить экономическую печурку, плоскую, с гофрированным подом, дававшую хороший жар и потреблявшую мало дров, нужно было осмотреть железную трубу, которая через верхнее стекло окна выводила дым на улицу, подвесить на месте скрепов баночки из-под сгущенного молока и вообще приготовиться к зиме: скоро захолодает основательно. Дров еще нет, но откуда-нибудь появиться должны; в случае крайнем придется прибегнуть к помощи соседа Завалишина. Подлец и, конечно, чекист,— но черт с ним.

Во входную дверь постучали. Перемазанными в саже пальцами Астафьев снял дверную цепочку, откинул крючок и повернул ключ. Сложные запоры были также поставлены Завалишиным, который в последнее время сделался явным трусом; может быть, боялся за свои припасы и за свои бутылки.

— Товарищ Астафьев?

— Да, я,— ответил Астафьев. В дверях перед ним стоял человек в желтых гетрах.

— Можно на минутку... переговорить с вами?

Астафьев невольно отступил:

— Можно, конечно, но... позвольте... да ведь вы же... вы кто?

— Пройдемте к вам, Алексей Дмитрич,— сказал вошедшнй вполголоса.— Ну, как вы живете? Куда к вам? В эту дверь?

— Сюда, сюда.

Введя гостя, еще не поздоровавшись, Астафьев вышел в коридор, подошел к дверн Завалишнна н прислушался. Затем легонько постучал н, не получив отклика, приотворил дверь соседа. Завалишина не было дома. Астафьев покачал головой.

— Ну, это еще удачно! Все-таки... черт его знает.

Гость ждал терпелнво, не раздеваясь н не садясь.

— Окончательно узналн?

— Узнал, конечно, хотя... вы удивнтельный актер. Можете говорнть свободно, мы дома однн, н дверь на цепочке. Что это на вас за любопытные гетры? Ведь это же бросается в глаза.

— Потому н надел, чтобы смотрелн больше на гетры, а не на лнцо. Чем заметнее, тем незаметнее.

— Так н бродите по Москве? Почти без грнма? Попадете вы... милый человек.

Хотя н наедине, он невольно не называл гостя по нменн.

— Рано илн поздно попадусь. Лучше поздно. Слушайте, Алексей Дмитрнч, вы человек неробкий, говорнте прямо: можете меня прнютить до завтрашнего утра?

— Очень нужно?

— Очень. Совсем некуда деваться.

— Значит, могу. Я потому спрашнваю, крайняя лн у вас нужда, что моя квартнра не нз удачных. Я здесь во всем доме единственный буржуй, а живет у меня что-то вроде чекиста, хотя, главным образом, пьяннца. Впрочем, он дома бывает редко, даже не всякую ночь. Вам это подходит?

— Совсем не подходит, но если вы согласны, я все-таки останусь, так как у меня выбора нет. Хорошо бы так устронть, чтобы ваш чекнст меня не видал.

— Я его не пущу. Да он как будто не нз любознательных н, говорю, убежденный пьяннца. В делах зла — мой воспитанник: уверяет даже, что я толкнул его на такую дорогу.

— А обыск у вас возможен? Сейчас повсюду повальные обыски, целыми домами.

— Вряд ли. У нас в доме жнвут рабочие семьн. Конечно — все может быть.

— Конечно. Значит — можно?

— Значит, раздевайтесь. Кормежка у меня плохая, но все же закуснм.

— Да, это тоже важно.

Стряпали онн молча, сообща. У человека в желтых гетрах оказался кусок сала, у Астафьева была крупа. Ужин удался отличный.

— Когда он вернется, ваш чекист, мы лучше не будем разговаривать совсем. Я лягу; спать хочу мертвецки.

— Ну, это нзлишне. Ко мне люди заходят. Кстатн, вы на дворе кого-нибудь встретили?

— Одного. Усики колечком, приказчичья рожа.

— Усики колечком? Значит — Денисов, преддомком. Это хуже. Но не беда — откуда ему знать, кто вы такой.

— Одним словом,— будем надеяться. Слушайте, Астафьев, я вам очень благодарен. Вы молодец, я потому к вам и пошел. На улице вы не узнали меня?

— Не обратил внимания. Видел, конечно, вы опередили меня.

— Не хотел заходить вместе с вами. Три раза прошел улицу — ждал, что встречу.

— Почему?

— Так, на счастье.

— А вам вообще везет?

— Пока плохо, Астафьев. Плоховато. На на днях, думается, будет удача.

Астафьев ухмыльнулся:

— Если вы говорите «удача», значит,— гром на всю Москву или на всю Россию. Ну, дело ваше, я не любопытен.

Закусив, они болтали с полчаса, вспоминая свои встречи в России и за границей и общих друзей, еще по первой революции. В живых и не в бегах осталось мало.

— Вы, Астафьев, ушли в науку, от прежнего совсем отошли?

— Да, нельзя оставаться боевым человеком, ни во что не веруя.

Глаза человека в желтых гетрах ушли вглубь, под брови, и он медленно сказал:

— Ну, по-настоящему веруют у нас немногие, главным образом, дураки и простачки. Не в том дело, Астафьев. Надо, чтобы было чем жить и за что умирать; нельзя жить кислыми щами, тянуть эту канитель, утешаться словоблудием. Пропадать, так уж... Слушайте, я хочу спать. Где вы меня положите? Я раздеваться все равно не буду.

На первом рассвете Астафьев, спавший в кресле с прибавкой двух стульев,— гостя он положил на постель,— проснулся от гулких шагов по асфальту двора. Встал, подошел к окну и увидал, что квартира напротив вся ярко освещена и что на дворе топчутся фигуры солдат с винтовками. Возможно, что обыск. На фоне одного из окон мелькнула тень в фуражке, затем другая, подвязанная в поясе кушаком. Да, несомненно — обыск.

«Ему, кажется, окончательно не повезло»,— подумал Астафьев.

Подумал это с обычной усмешкой, но и с невольной нервной дрожью. И еще подумал: «Отвечать придется нам обоим. Но, может быть, это — случайный обыск в той квартире».

На светлом пятне окна фигуры продолжали появляться и исчезать. Астафьев долго наблюдал, пробовал заставить себя, закурившн, сесть в кресло, но окно притягивало. Спустя полчаса осветились окна этажом выше, и тогда Астафьев почувствовал, как ноги его похолодели. «Выходит — облава. И значит — конец».

Подъезд его квартиры выходил на этот дворик. Впрочем,

насколько можно было видеть, не отворяя окна, часовые стояли во всех проходах и у всех подъездов дворнка.

«Разбудить его? Или — пусть пока спнт?»

Будить как будто смысла не было. Нервничать вдвоем мало толку. Выйти из квартиры все равно нельзя. Может быть, обыск до нас не дойдет.

Тихо подвинув кресло к окну, Астафьев, не отрывая глаз, следил, как осветился четвертый, самый верхний этаж. Он вспомнил: «В нижнем жильцов нет, потому там н темно; вероятно, зашли и ушли, нечего нскать. Теперь пойдут в другой подъезд. В который?»

Обыск в верхнем этаже затянулся. Уже рассвело, и тени на дворе облеклись плотью и защитными шинелямн. Солдаты сидели на ступеньках подъезда и прямо на асфальте, очевидно, до крайности утомленные.

«Ищут подолгу, значит, ищут не людей, а припасы. Обычный повальный обыск. Но заберут, конечно, н непрописанного человека... вместе с хозяином. Есть лн у него какой-нибудь документ? Но, конечно, его, раз зацапав, немедленно опознают. Лакомый кусочек для Чека!»

На дворе затопали, и из подъезда вышла небольшая толпа кожаных курток. Была одна минута страшная, и сердце Астафьева громко стучало.

Потоптавшись, группа людей перешла к другому подъезду, напротнв окна Астафьева.

Новая отсрочка. Теперь — последняя.

Во втором подъезде окна осветились сразу в двух этажах, затем в третьем и почти немедленно в четвертом. Очевидно, обыскивающие разделилнсь на две группы, н работа пошла скорее. Солдаты на дворе дремали сидя, положив внntовки на колени.

Астафьев не считал больше мннут н получасов. Нервное напряженне сменилось сильной усталостью: «Все равно... Остается ждать».

Он курил, закрыв глаза н подымая векн только при звуке шагов на дворе и при долетавших громких словах солдатского разговора. Свет утра уже сливался с пятнами освещенных окон. Розовело небо. Папнроса докурилась, и Астафьев начал дремать. С первой тревоги прошло уже часа трн, еслн не больше. Впрочем — не все лн равно.

Опять топот ног на дворе заставил его вскочнть и подойти к окну вплотную. Из-за занавески он увидал ту же группу людей на середине дворика. К ней прнсоединились н дремавшие раньше солдаты. Нельзя было разобрать, о чем шел разговор, но было видно, что пронсходит совещание. Наконец группа двинулась к подъезду Астафьева, а часть солдат отошла, недовольно разводя рукамн.

И тотчас же гулко застучалн шаги по лестннце.

«Кажется, пора его разбудить!»

Астафьев прошел во вторую свою комнату, заваленную по углам книгами, где спал его гость.

— Слушайте, вставайте!

Попробовал растолкать за плечо. Гость спал крепко, измученный бессонными ночами. В ответ только мычал. Астафьев подумал: «В сущности — зачем. Бежать все равно некуда. Разбужу, когда станут стучать. Пока они в нижнем этаже, а мы в третьем».

Сейчас он был совершенно спокоен — особым трагическим спокойствием. Из обывателя стал снова философом. С кривой своей усмешкой взглянул на бледное, одутловатое лицо спящего человека в желтых гетрах, повернулся, увидал в тусклом свете отражение своего лица в зеркале, поправил волосы, закурил новую папиросу и вышел в переднюю.

Он ждал недолго. Вновь застучали каблуки на лестнице, и люди с громким говором стали подниматься.

Астафьев не вздрогнул, когда в дверь его квартиры постучали кулаком. Он сильно затянулся папиросой и остался на месте у двери.

За дверью был гул голосов. Астафьев явно расслышал:

— Этак невозможно, товарищ! Люди с ног валятся, да и день на дворе.

— Ладно, эту последнюю, и айда.

Снова стук и другой голос:

— Разоспались там, не добудишься.

«Сейчас будут ломать,— подумал Астафьев.— Надо будить его».

За дверью сразу заговорило несколько голосов громче прежнего.

— Будя, товарищ, надобно отложить. Этак две ночи подряд... разве же возможно... тоже и мы люди.

Астафьев, бросив папиросу, приложил ухо к двери. Ропот там усиливался. Наконец чей-то резкий и визгливый голос раздраженно крикнул:

— Ну, ладно, заворачивай оглобли. Одного подъезда докончить не можете, размякли, чистые бабы. Завтра здесь делать нечего будет, все приведут в порядок.

В ответ раздалось:

— Не двужильные дались, надо с наше поработать...

Но уже тяжелые каблуки с грохотом катились обратно по лестнице. И в тот момент, когда Астафьев хотел отнять ухо от двери,— его почти оглушил новый удар кулаком по дереву. И тот же визгливый голос досадливо крикнул:

— Эй там, получай на прощанье! Разоспались, буржуи окаянные!

Дрожащими от волнения руками вынимая из коробки новую папиросу, Астафьев слушал, как замерли на лестнице последние шаги. Медленно повернувшись, он встретился глазами с человеком в желтых гетрах.

— Кажется — неприятность, Алексей Дмитрич?

Астафьев выпустил дым колечком:

— Наоборот, полное благополучие. Хорошо ли выспались?

— Отлично. А вы тоже, кажется, актер неплохой.

— Такова моя теперешняя профессия. Думаю, что теперь они ушли окончательно.

Человек в желтых гетрах ответил в тон:

— Будем надеяться. Кстати — я забыл предупредить вас вчера, Астафьев, что даром и живым я не сдамся. Нет никакого смысла.

— Понимаю,— сказал Астафьев.— И вижу. Но пока вы можете спрятать свою игрушку обратно в карман.

И прибавил, расхохотавшись искренне и весело:

— А все-таки ловко вышло! Вам явно везет. Что вы скажете о чашке морковного кофе? Выходить вам пока не стоит. Вы умеете зажигать примус?

ВЕРНЫЙ РЫЦАРЬ

Отворив на стук, Танюша увидела незнакомого человека с двумя большими мешками, скрепленными ремнем, надетым через плечо. Пришедший был в полувоенной форме и в пенсне,— тип опростившегося интеллигента.

— Ну,— сказал он,— кажется, сомнений быть не может. Это вы — Татьяна Михайловна?

— Да, я.

— Вот получайте посылку: мука, крупа и прочее. Это — первая порция, остальное после принесу, сразу тяжело. Велено вам доставить.

— Это от кого?

— Приказано сказать: «От верного рыцаря».

Танюша обрадовалась, потом озаботилась:

— От Васи? А где Вася? Он приехал?

— Приехать-то приехал, мы вместе приехали, а только плохо доехал. Болен он. И по-моему — сильно болен. Что-нибудь подхватил в дороге.

Болен милый Вася, лучший друг и верный рыцарь!

Танюша пригласила Васиного спутника войти.

Свалив с плеч мешки, пришедший отрекомендовался Протасовым, Петром Павловичем, прибавив:

— Раньше был инженером, а теперь больше мешочничаю.

Рассказал, как Вася до последней минуты крепился, но уже на вокзале в Москве сдал окончательно, не только не смог дотащить мешки до извозчика, а и сам едва добрел. Протасов доставил его домой, заставил раздеться, кое-как помыться, забрал с собой его одежду, чтобы выпарить и вычистить.

— У меня в квартире есть хорошая печка, с котлом. И дровишки имеются. Все приспособлено. По-буржуйски живу.

— Где же сейчас Вася?

— У себя дома. Мешки велел снести вам. Я, конечно, и мешки осмотрел, чтобы не осталось на них какой нечистоты.

— Вы думаете, что у него тиф?

— Да боюсь, говоря по совести. Нужно к нему доктора. Я, Татьяна Мнхайловна, на вас рассчитываю, если вы не боитесь заразы. Сыпняк по воздуху не передается, конечно, а все же.

Инженер смотрел на Танюшу с уверенной улыбкой: такая не побоится, вон она какая!

— Ну конечно же, господи, я иду сейчас. Я знаю и доктора, близко, здесь, на Арбате. Я его приведу к Васе. Этот доктор всегда лечил дедушку.

— Вот отлично. Вы и идите скорее. А я пока домой.

Условились, что Васнн спутник непременно зайдет на днях, завтра же вечером. И громадное спасибо за мешки.

— Завтра вам н остатки занесу.

— Вы, верно, очень устални с дороги?

— Немного. Я двужильный н привычный, ннкогда не устаю.

Разговаривали, как старые знакомые. Протасову было лет тридцать пять; был давно не брнт, немного общарпан, хотя, очевидно, успел переодеться. И было в лице много бодрости н доброты. С Танюшей говорил как с младшей, но с мужской почтительностью.

— Сразу вас узнал, как увидал.

— Почему?

— А он мне сказал: придете, постучите, и вам откроет, вероятно, она сама, Танюша, Татьяна Михайловна.

— Ну, тогда действительно узнать было нетрудно.

— Нет, он еще прибавил: она удивительная девушка, совсем особенная. Я сразу и узнал.

Танюша смутилась.

— Ну уж Вася... он такой чудак!

И все-таки приятно было Танюше слышать от незнакомого человека такие слова, сказанные просто, свободно, с хорошей улыбкой.

— Вы с ним подружились в дороге!

— Да. Он очень славный малый, очень славный. Большой идеалист, и это хорошо.

— Вася — чудный товарнщ. Вы тоже, вероятно, замечательиый товарищ. Вы там ему помогли.

Инженер просто сказал:

— Мне нетрудно. Я человек здоровый и привычный ко всему.

На Арбате, около дома, где жил врач, расстались. Танюша наказала Протасову обязательно прнйтн завтра вечером, сейчас же после обеда.

— Дедушка будет очень вам рад. Он очень любнт Васю, скучал без него. Вы ему расскажете про ваше путешествие.

Когда расстались, Танюша подумала: «Вот милый человек! Удивительно славный. Такая мягкая улыбка, такой делнкатный и такой бодрый, точно... ничего не случилось. И так позаботился о Васе».

Инженер шагал домой, разминая плечи, уставшие от тяжелых мешков. Думал о своем, мужском, деловом. А на губах была улыбка — от прнятной встречи.

Вася Болтаиовский лежал в постели.

Комиата его, такая знакомая очертаннями, сейчас потеряла прежнюю четкость линий: углы затупилнсь и иаполиились дрожащим тумаиом, окио вздрагивало и жгло глаза нзлишией яркостью, гравюра, внсевшая иа стене против кроватн, плавала в пространстве.

Была особенио иеудобиа н иепокойиа подушка: голова Васи иикак не могла улечься на ней хорошенько. Подушка камием давила на затылок, ложилась крнво, сползала, внезапно стаиовилась стоймя и щекотала углом, всползала иа голову, мешая дыхаиью, забнралась под плечо н высоко вверх подымала все тело. Одеяло было слишком теплым и все же не грело ног, н Вася, задыхаясь от жары и духоты, в то же время нскал озябшнмн, дрожащими иогами край одеяла, чтобы укутаться крепче. В комнате стоял гул, напомииавший стук вагоииых колес, н каждый удар отражался в внсках и в левом боку. Хотелось пнть, но графнн с водой, поставлеиный у постели иа столике Протасовым, откатился недосягаемо далеко н дразиил издалн, отскакнвая от протянутой рукн.

Когда Вася закрывал глаза, грудь его начннала вздыматься до потолка комиаты н опускаться, плавно качаясь, как на волиах, и мутя голову. Это мешало засиуть. Мешалн этому и иезнакомые лнца, толпой окружившие лавку, на которой он пытался устроиться с мешками, хотя лавка была слишком узка н коротка для него. Было странно, что поезд ежеминутно переходил с рельс на рельсы, хотя Вася отличио помиил, что уже прнехал на Московский вокзал и успел раздеться. Теперь он тщетно пробирался сквозь толпу мешочнииков, стараясь разыскать мешок с крупой, особеиио цеииый, так как выменен на охотничьн сапоги профессора. Ориитолог сердился и топал ногами,— таким Вася ннкогда его не вндел. Оказалось, что сапоги эти иадеты на Васе и страшно холодят ноги; сиять невозможио, да н некогда: в вагоне может не оказаться нн одного места, и тогда Протасов уедет одии. «Хорошо еще,— думал Вася,— что я попросил его доставнть Танюше мешкн; нначе пришлось бы ждать, пока кто-нибудь зайдет н протелефоннруеѣ. Еслн у меня сыпияк, то нужно, кажется, остричь волосы».

Эти слова виезапо доносятся до уха Васи, н он догадывается: «А я брежу! Это ведь я сам говорил сейчас. Значит — здорово болен!»

Открыв глаза, Вася замечает, что окио потемиело. Впрочем, гудит комната по-прежнему, но возможио, что это проехал автомобиль по улице. С усилием приподявшнсь, Вася дотягивается до графниа с водой н жадно пьет воду из горлышка, стуча зубами о стекло. От воды резкий холод, точно грудь н живот обложилн льдом, зато ногам стало как будто теплее н посвежела голова. Графнн сильио ударяется донышком о доску столика, и голова Васн падает на подушку.

«Да, я совсем болен. Совсем, совсем болен. Надо, чтобы кто-нибудь помог мне».

«Кто-ннбудь» — это только Танюша. Остальным дела до Васн нет,— соседям по квартнре, хозяйке, знакомым. И они все побоятся.

От озноба Вася лихорадочно кутается в одеяло. Опять стучит в внсках, н мучительно болит голова. И опять начинает свой беспокойный танец жесткая н неугомонная подушка.

Васе очень прнятно, когда лба его касается холодная рука, н незнакомый мужской голос говорнт:

— Конечно — сильный жар. Тут сомнення быть не может. Нужно в больницу,— только куда же сейчас отправншь. Некуда, везде полно.

Слова не доходят до сознання Васн, но зато другой, уже очень знакомый голос, несомненно, голос Танюши, сразу делает его спокойным н наполняет радостью.

— Как же быть, доктор? А нельзя оставнть здесь, дома?

— Да н прндется, конечно. Но кто же за ннм ходить будет?

— Я могла бы.

Конечно — это ее голос. Вася лежнт тихо, точно заласканный. Сразу прошлн этн ощущения жесткой подушки, сразу согрелось тело н прошла боль головы. Но открывать глаза не хочется — пусть сон длнтся.

— Ну,— говорнт доктор,— где же вам. Тут нужна настоящая сиделка. Тнф — не шутка.

— Я буду днем, а снделку найдем какую-нибудь.

— Снделку я, пожалуй, найду вам, только вот платить ей... Продуктами заплатите, мучки там. Одна у меня есть на прнмете, опытная, в больнице служила, н муж у нее врачом был. Только нужно осмотреть его н всю комнату почнстнть. Он, вы говорнте, с дороги?

— Только утром прнехал.

— То-то н есть. Осторожность нужна. Вы как, здесь пока побудете?

— Да. Скажите, доктор, что делать нужно?

— Да что же делать... Придется мне самому достать, что нужно. В аптеках сейчас ничего нет, да н не выдадут частному лнцу. Я добуду сам, прннесу. Часа два придется вам прн нем посидеть одной.

— Я посижу сколько нужно.

Вася слышит звуки голосов н знает, что это говорят о нем н что это говорнт Танюша. Знает, что он болен н что он счастлив. Больше Васе не нужно ничего слышать н понимать.

— Вася, вам больно?

Он на секунду открывает глаза, видит милую и знакомую тень, улыбается н вновь погружается в давно желанное небытие н спокойствне. Верный рыцарь счастлив. Вася спит. Еслн бы не пылающее жаром лицо,— он мог бы показаться мирно спящим, здоровым н счастливым человеком.

Так проходит мннута, или час, или вечность,— пока сна Васн вновь не нарушает его жесткая н неугомонная подушка.

Но теперь кто-то сильной рукой сдержнвает н усмнряет ее буйство. И голос шепчет:

— Вася! Мой бедный рыцарь, мой бедный, бедный Вася!

РАЗГОВОРЫ

Усиленно разыскивали старого боевого эсера. Что он в Москве — сомнений не было. Известно было, что он не только посещал знакомых, но даже осмелился сделать обстоятельный доклад о делах на юге в собрании нителлигентской группы. На этом собраннн старый террорист был в желтых гетрах.

Субъект армянского типа, в круглой барашковой шапочке, в ярком жилете под распахнутым пальто, мирно беседовал с черноватой девушкой в платочке у парапета набережной Москвы-реки.

— Все это мне, конечно, нзвестно, потому я в армяшку н обратился. Болтуны эти ребята. А знаете, где мон гетры? Я продал их на Смоленском самолнчно. Мне очень нужны были деньги, а гетры — хороший товар.

Когда они расставались, армяннн крепко пожал маленькую руку девушки.

— Ну, милая, прощайте. А может быть — до свндания. Чудеса бывают. Давайте поцелуемся. Теперь ндите и не оглядывайтесь.

Она хотела отойтн, но он вернул ее.

— Подождите, дружок. Значит, на случай неудачи илн какой неожиданности — вы помнните адрес? Там оставьте записку.

— Да, все помню.

— Вы в бога не верите? Я тоже; но все же, по-своему, буду за вас молиться. За нашу удачу!

Когда она скрылась за поворотом, армянин нахлобучил шапочку, застегнул пальто и пошел в сторону Замоскворечья.

Молнией пронесся по Москве слух о покушении: молнией блеснули и страх и надежды. Ннкто не сомневался, что в деле этом участвовал человек в желтых гетрах. Ннкто не сомневался и в том, что отвечать за покушение доведется многим, не нмевшнм к заговору никакого отношения, хотя бы отдаленнейшего.

Рассказывали о том, как солдаты, целя в сарае в грудь худенькой девушки-еврейкн, дали неверный залп, как один из них забнлся в нстерике, как раненую добил выстрелом нз кольта в голову бывший рабочий, служивший на Лубянке, завзятый пьяннца и бестрепетный нсполннтель. Было много слухов, фантастических, тревожных, правдивых, вздорных,— н Москва, сжавшнсь н пританвшнсь, со страхом ждала грядущего.

Ждать пришлось недолго.

Зеленщик, приятель бывшего дворника Николая (дворники были отменены), немножко поправил свон дела. Не было, ко-

нечно, и речи о том, чтобы привозить, как прежде бывало, с подмосковных огородов полную телегу овощей, прямо на базар, на Арбатскую площадь. Сейчас торговать приходилось больше втихомолку, с оглядкой. Однако морковь, капуста и репа не такая тебе вещь, чтобы можно ее реквизировать, свалить в подвал и продавать да раздавать в паек помаленьку, от имени всей нации. Тут требуется знание и никакого промедления. Поэтому огородное дело на окраинах расцвело, а иные догадывались вспахать лопатой и сады,— только уследить трудно, так как народ пошел аховый.

Об этом зеленщик подробно докладывал Николаю, сидя в дворницкой особнячка на Сивцевом Вражке.

Николай соглашался:

— Народ пошел — чистый вор! К примеру — собака,— и та знает, чего нельзя, а что можно. А человек норовит стибрить всякое добро — только отвернись. А то и на глазах схватит.

— С войны это пошло.

Потом говорили о делах политических и ругали махорку:

— Словно опилки стала.

— Опилки и есть.

— Духу в ней нет настоящего.

В дворницкой воздух от трубок был тяжел, густ, сытен и уютен.

Зеленщик, Федор Игнатьич, человек бывалый и осведомленный, излагал события дня.

— Сказывают, опять расстреляли невесть сколько народу. Кого, может быть, и за дело: вора, разбойника, налетчиков там. А многих понапрасну, только для страху, чтобы страх нагнать.

Николай сказал строго:

— Убивать никого не надобно. Ты суди, коли есть за что. И кого отпусти; а кого на каторгу, для исправленья. Убивать человека нельзя.

— Вот я и говорю, если, например, за дело. А тут забрали людей, держали-держали, а потом всех для острастки и прикончили. Иной, например, старик, что с него взять, а другой мальчик, безо всякого смысла. И всех под одну гребенку. А из малыша человек может выйти получше всякого другого.

— Ребенка убивать — последнее дело. За это не простится.

— Я и говорю. У барыни одной, раньше капусту я ей доставлял, сынишку забрали и прикончили; паренек по семнадцатому году. Списки они составляли на что-то, по спискам и забрали их. А вины будто никакой и не было.

— Словно звери,— сурово сказал Николай.

— И звери, да и без пользы.

— От убийства какая польза. Кто меч взял, от меча и погибнет.

— А устроить ничего не могут. Скажем, купить нужно что — где теперь купишь? А уж в Москве ли не было добра!

— Разграбили все.

— Вот я и говорю. Растащить нетрудно, а вот поди-ка собери.

Это нужно с умом. А сейчас кто за командира? Вот ваш солдат, Дуняшин брат, Андрюшка-дезертир.

— Нету больше Андрюшки.

— Али прогнали?

— Сам убег. Приходили его спрашивать. В каком-то деле попался, наворовал, что ли. Жил хорошо, с достатком, куда лучше господ. У барина, у старика, ничего нет, внучка нхняя селедки ест, а у Андрюшки с Дуняшей завсегда к чаю ландрин. И меня угощали: этого, говорит, у нас сколько хочешь. Тоже и мясное каждый день.

— Убег, значит?

— Ушел; и Дуняше не сказал. Верно, в деревню ушел, к своим. А может, забрали его, нам неизвестно. Только что пропал комендант; а начальством был.

— Так. Какие и у них попадают. Чем-нибудь, значит, не угодил.

Потом Николай рассказывал о своих планах. Многого ему не нужно, а все же на четверке хлеба, на одной, не проживешь. Барышня, Татьяна Михайловна, селедку отдает: говорит,— много у нас. А откуда у ней будет много? Тоже Дуняша помогала. Однако теперь, как Андрей убег, стало и ей нечего жевать. К барышне назад в прислуги просится, а той кормить ее нечем, да и прислуга не надобна, в двух комнатах живут. Теперь тоже в деревню хочет. Денег ей Андрюшка давал все же, немного скопила, да стали деньги дешевы... На дорогу, может, и хватит. Конечно, она ближняя, Тульская, а мне далеко. А даром не повезут.

— Трудное дело.

На том и порешили, что дело трудное, а много ничего не придумаешь. Зеленщик поднялся идти домой, а Николай тоже вышел с ним из дворницкой — подышать воздухом.

— Гляди, скоро мороз стукнет.

— И стукнет. Он не ждет. На него декрета не напишешь.

У ворот распрощались. Привычно помахав истертой метлой по тротуару, Николай поглядел на небо, подправил метлу, стукнув дважды о плиты, и пошел обратно, размышляя: «И так плохо, и сяк плохо. Раньше тоже, бывало, и вешали, и били, а толку не вышло. Все одинаковы».

И хоть любил тепло и табачный дух, а все же отворил ненадолго дверь своей дворницкой: «С этой, с нынешней махоркн, ежели сейчас спать лечь,— обязательно угоришь. Из чего ее только делают?! Один обман!»

СЕСТРА АЛЕНУШКА

У постели Васи доктор и сестра милосердия. Фамилия доктора — Купоросов; он из семинаристов, уже очень пожилой человек, грубоватый и хороший. Единственный врач, которого признает орнитолог.

— Этому можно довериться. Он понимает, что медицина — не бог знает какая наука. Доброе слово больному больше помогает. Хороший человек Купоросов! И откуда он добыл такую фамилию? Стойкий человек, основательный.

Купоросов лечил всегда Аглаю Дмитриевну, лечил и профессора, и Танюшу,— еще когда была у нее скарлатина. Без приглашения же на Сивцев Вражек не являлся; впрочем, он был очень занят своей практикой — больше среди людей небогатых.

Доктор сам привел к Васе сестру милосердия Елену Ивановну, совсем молоденькую, но уже вдову. Муж ее, врач, умер от тифа. Доктор Купоросов очень любил своего молодого коллегу и, после его смерти, покровительствовал его вдове, находил ей работу, учил ее нелегкому ремеслу сестры милосердия, относился к ней, как к дочери. Ласково называл ее Аленушкой, но был, по обыкновению, очень требователен и строг, когда дело шло об уходе за тяжелобольным.

— Тут, Аленушка, дело идет о жизни человека. Чтобы никакого упущения! Главное — чистота и воздух, а лекарствами не поможешь. Парнишка молодой, нужно его выходить. Понимаете, Аленушка?

Аленушка, Елена Ивановна, была низенькой, кругленькой женщиной, цветущего здоровья, со вздернутым носиком и большущими голубыми глазами, совсем некрасивой и очень хорошенькой. В гимназии ее звали пышкой и щипали во время уроков, а она взвизгивала, так как больше всего на свете боялась щекотки.

Но всего забавнее Аленушка смеялась. Смех ее был неудержен, начинался светлым колокольчиком, а в конце срывался в какой-то странный басовый всхлип — вроде того, как хрюкает поросенок. Подруг ее это приводило в полный восторг, а Аленушка, хрюкнув, пугалась и делалась сразу серьезной. Ей этот маленький недостаток причинял большое горе, и она не знала, как от него избавиться.

Позже, впрочем, решила, что особого горя в этом нет,— когда жених ее, молодой доктор, заявил ей, что она победила его именно своим смехом. Женившись, он называл ее в порыве нежности милой своей хрюшкой.

С ним Аленушка могла бы быть счастлива, но жили они вместе недолго, не больше полугода. Его отправили на фронт, на тиф, и очень скоро Аленушка получила от него письмо, что ему что-то занездоровилось. Это письмо и было последним.

Долго после этого Аленушка не смеялась своим заразительным смехом, и, так и не став дамой, стала дочкой и воспитанницей доктора Купоросова. Он и приспособил ее к уходу за больными.

— Я, Аленушка, теперь пойду по другим больным, а к семи часам буду дома. Если больному станет плохо, вы сейчас ко мне, либо самолично, либо лучше пошлите кого-нибудь. Давайте ему пить, сколько захочет, и тряпочку с уксусом меняйте, как согреется. И прочее, Аленушка, как обычно, вы же ведь уже знаете все.

— Я знаю, доктор.

— Ну, вот. Я на вас надеюсь. Никого к нему не пускайте, кроме этой барышни, которую тут вндели, и его приятеля, который тоже тут был. Онн славные люди н вам помогут, в случае чего — сменят вас.

— Хорошо, доктор. А она кто!

— Барышня? Она внучка одного профессора, старого моего пациента. Зовут ее Танюшей, а отчество не помню. Отличная девушка, кажется, играет хорошо или еще что-то делает.

— Какая она краснвая!

— А? Красивая? Должно быть, уж не знаю.

В женской красоте доктор Купоросов не очень разбнрался. Может быть, н Аленушка красавица, а может, н уродец. Пусть в этом другие разбнраются.

Когда ушел Купоросов, Аленушка осмотрелась, поставила поближе к постели твердое кресло, пожалела, что нет на нем подушечки, вынула нз небольшой принесенной корзнпки желтенькую книжку Кнута Гамсуна «Викторня». Она этот роман чнтала раньше, н так он ей понравился, что решила прочесть еще раз; впрочем, нпчего другого под рукой н не было. Когда устроилась в кресле хорошо н удобно, чтобы долго можно было так сндеть, с любопытством стала смотреть на лицо спящего больного.

Спал Вася Болтановский неспокойно, все время перекатывая голову по подушке. Прнходилось поправлять ему подушку н перекладывать на лбу уксусную тряпочку. Подбородок его был давно не брит, н на лице, пылавшем от сильного жара, лежали тени. Но ямочка на подбородке была ясно внднa, и это как-то сразу расположило к нему Аленушку.

«Бедненький, какое славное лицо!»

В комнате Васн было чистенько прнбрано,— постарались Танюша и нпженер. На ночном столике постлан был чистый Васнн платок с меткой «Б», вышитой крестнком на уголке.

Прядь волос, которая всегда причнняла Васе заботу н беспокойство, лежала поверх компресса, мокрая н путаная. Аленушка отвела ее к подушке.

«Нужно будет его острнчь».

Затем Кнут Гамсун начал свой нежный рассказ про любовь. Аленушка понимала любовь именно так, как Кнут Гамсун. Любовь — вещь беспокойная, н роману нисколько не вредило, что время от временн Аленушке прнходилось отрываться от книжки: то поправнть компресс, то поднестн кисленькое питье к пылающим н сухим губам Васи, то улыбнуться больному хорошей улыбкой, которой он не мог ни понять, ни оценить: Вася Болтановский редко прнходил в сознание.

На столике стоял будильнпк — и потянулнсь часы. Ночь будет бессонная, разве немножко удастся Аленушке подремать в кресле. А утром ее сменит лнбо эта красивая девушка, внучка профессора, либо господин, который был н ушел с нею. Может быть, онн — женнх н невеста? А может быть, этот больной — ее женнх.

И опять Киут Гамсун рассказывает про любовь. И как замечательно он про иее пишет!

Когда стемиело, Аленушка зажгла иастольную лампочку, затеиила ее от глаз больного, вынула из своей корзинки кусок пайкового хлеба, баиочку с чем-то съедобным, соль в бумажке и яблоко. У Васииого письмеииого стола закусила, прислонив Кнута Гамсуна к чернильнице и продолжая читать. Закусивши, руки вытерла бумажкой, крошки собрала, баиочку с остатком съестного положила обратио в корзиику, яблоко, большое и румяное, решила съесть после, походя, за чтеньем, и, прежде чем опять устроиться в кресле, подошла к зеркалу поправить косынку на голове.

Когда Аленушка смотрелась в зеркало, оиа слегка нагибала голову, чтобы носик ие казался слишком вздернутым.

Вася тихо сказал в полусие:

— А как же быть? А как же быть? Сейчас отходит?

И громко крикнул:

— Подождите, по крайией мере. Я не могу же так...

Аленушка подошла, переменила на лбу больного тряпку, отжав ее пухлой рукой,— и в это время Вася открыл глаза и спросил удивлеиио:

— Вы-то кто?

— Лежите спокойио.

— Нет, а вы-то кто?

— Я сестра милосердия. Ну, как вам, полегче?

Вася на минуту опять закрыл глаза, потом сказал внятно:

— Очень хочется пить.

Алеиушка взяла стакан, помогла иапиться, и Вася опять посмотрел иа иее воспаленными и внимательными глазами.

— А вас как зовут?

— Зовут меия Елеиа Ивановиа. Вам ие нужно разговаривать, лучше постарайтесь засиуть тихонько.

Вася болезнению улыбнулся, сказал: «Постараюсь» — и действительно заснул, а Аленушка подумала: «Какая у иего улыбка хорошая! Беднеиький, вот страдает».

Постучалась хозяйка квартиры, напуганная болезиью жильца. Аленушка вышла к ией и сразу заключила с ией дружеский союз, успокоив ее насчет иезаразительиости сыпного тифа,— если все держать в чистоте. Поговорили о нужиом, условились. Хозяйка предложила вскипятить воды, если потребуется. Вася был ее давнишним и любимым жильцом. Уходя, очень похвалила Аленушку, сказавши:

— Какая вы молодеиькая да румяиая, с вами всякий выздоровеет. Прямо как девочка. Неужто замужем?

— Я вдова.

Это уж совсем растрогало хозяйку, и оиа заявила Аленушке:

— Если вам нужио будет уйти иеиадолго, вы мие скажите, я у иего посижу. А как же вы спать будете?

— Ничего, я привыкла в кресле.

Тогда хозяйка прииесла подушечку для сиденья и еще большую мягкую подушку — чтобы удобиее спать в кресле.

— У иас, слава Богу, хоть тепло, ие замерзиете. Дровами обзавелись, и я печку свою топлю через деиь, тут за стеиой прямо. Все даже завидуют. Оттого и в этой комиате тепло.

Вечером поздио доктор Купоросов забежал иеиадолго, пощупал пульс, велел отмечать температуру иа бумажке, все одобрил, поцеловал Аленушку в лоб.

— Ну, я пойду, а вы, миленькая, все же хоть в кресле подремлите. Зиачит — до завтра. Утром зайду в иачале девятого.

Кнут Гамсуи продолжал свой рассказ,— и это удивительио, до чего ясио представляла себе Аленушка и любовь и муки его героя!

ПЯТАЯ ПРАВДА

От боярииа Кучки и до наших дией считаио на Москве пять правд.

Правда первая — подлиииая. Жила эта правда иа Житиом дворе, у Калужских ворот, в Сыскиом приказе. На правеже заплечиый мастер выпытывал ее под лииьками и под длиииками, подтяиув иагого человека иа дыбу. У стола приказиый дьяк гусиным пером иизал строку иа строку.

Вторая правда — подиоготиая: кисть руки закрепляли в хомут, пальцы в клещи, а под ногти заклепывали деревяиные колышки. «Не сказал правды подлиииой — скажешь подиоготную».

Третья правда жила у Петра и Павла, в Преображеиской приказиой избе, где ею киязь-кесарь Федор Юрьевич Ромодаиовский, «человек характера партикуляриого, собой видом, как моистр, иравом злой тиран, превеликий иежелатель добра никому». От его расправы «чесали черти затылки».

Завелась было четвертая правда «у Воскресенья в Кадашах», за Москва-рекой, где жил в пятидесятых годах девятнадцатого столетия именитый купец, городской голова Шестов, защитиик интересов бедного московского люда. Но такая правда, иеиастоящая, долго удержаться не могла.

Дальше счет московским правдам был потерян,— уже ие говорят о них, о каждой особо, народные пословицы: ни о Бутырской, ии о Тагаиской, ни о Гнездиковской. Помудревший народ свел все правды в одну, и эта одна «была, да в лес ушла».— «И твоя правда, и моя правда, и везде правда, и иигде ее иет».

Правда пятая родилась в наши дни иа Лубяике.

Выпытав правду, иеиужного больше человека «укорачивали иа полторы четверти». Для этого нашлось в Москве миого мест, оставшихся в народной памяти. На одиой Красиой площади, от Никольской до Спасских ворот, вырос позже ряд церковок «иа костях и крови», и еще одиа «иа рву». Грозиый укорачивал

людей «у Пречистой иа площади», перед Иваном Святым, позже иазванным Великнм. «А головы метали под двор Мстиславского»,— чтобы было чем чертям в сучку нграть.

Еще былн такие места в разиое время н у Серпуховскнх ворот, и в Замоскворечьи блнз Болота, и у велнкомучеинцы Варвары, и иа углу Мясиицкой н Фурманного, н где придется, а знмой н иа льду Москва-реки.

Много, очень много было в Москве мест, где козам рога правили, где пришнвали язык ниже пяток, вывешнвали иа костяной безмен, мыли голову, чнстили пряжу, лудили бока, прогуливалн по зелеиой улнце, парилн сухнм веником, крутнлн кляпом н пыталн иа трн перемены.

Богат, краснв н полнозвучен русскнй язык. Богат, а будет еще богаче.

При правде пятой — лубяиской — стали пускать по городу с вещамн, ликвндировать, ставнть к стенке н ннымн способамн выводить в расход. И новые завелись в Москве места: Петровский парк, подвалы Лубянки, общество «Якорь», гараж в Варсонофьевском — н где доведется...

Раиьше тут жили люди коммерческне, н преобладали восьмипроцентиые и десятнпроцентные ннтересы. Восемь и десять — огромная разннца: восемь — обычное благополучие, десять — относительиое богатство. Но все это ушло. Новые люди, далеко не заглядывая, зиали твердо, что жнзнь — только сегодня, что даже н сто процентов — пустяк, что либо весь мир, лнбо завтра же позорный конец.

Новые людн чуждалнсь веры — или им так казалось. Несомиеино — им так казалось. Вера была, н вера нанвиая: вера в сокрушающую власть браунинга, иагаиа и кольта, во власть быстрого действия. Откуда было нм зиать, что трава растет по своим несокрушимым законам, что мысль человека не гнется вместе с шеей человека, что пуля не пробнвает ни веры, нн неверня.

Огромный двор, старые здания, на входных дверях наклеены бумажки с деловым прнказом. Здесь царит власть силы н прямого действня. Улица, смиренные обывателн прнходят сюда с трепетом, просят — заикаясь, уходят — плача, хитрят прозрачио. Сила же застегнута на все крючки воениой шннели и кожаиой курткн.

От входа налево, через два двора, поворот к узкому входу, н дальше бывший торговый склад, сейчас — яма, подвальное светлое помещение, еще вчера пахнувшее торговыми книгамн, свежей прелостью товарных образцов, сейчас — зиаменитый Корабль смерти. Пол выложен нзразцовыми плиткамн.

Прн входе — балкои, где стоит стража, молодые красиоармейцы, перечислеиные в отряд особого назиачения, безусые, незнающие, зараженные военной дисциплиией и страхом наказания. Балкои окружает «яму», куда спуск по витой лестнице и где семьдесят человек, в лежку, на нарах, иа полу, на полироваином большом столе, а двое и внутри стола,— ждут своей участи.

Пристроили из свежих досок две каморки с окошечком в дверях,— для обреченных. Маленький муравейник для праздных муравьев.

На стенах каморок карандашные надписи смертников:

Моя жизнь была Каротенькая
Загубила мая молодость
И безвинно в расход
пращай мая весиа!

И могила иарисоваиа — высокий бугор; и череп нарисован, веселый, похожий иа лицо, под черепом кости, под крестом костей — имя и фамилия. Хочется юиому бандиту с жизнью расстаться красиво, чтобы осталась по нем память,— как иаписаио в тех тоиеньких книжках, что продавались у Ильиинских ворот: «Зиамеиитый баидит и разбойиик, пресловутый иалетчик Иваи Казаринов, по прозвищу Ваиька Огоиек».

А рядом, в общей камере Корабля,— мелочь: казры, эсеры, меиьшевик со скудной бородкой, в очках, гнилозубый, трус, без огня и продерзости — человеческая тля.

На балкои выходит рыболов, затяиутый кожаным поясом, комиссар смерти Иванов, а с ним исполнитель, приземистый, прочный, с неспокойиым бегающим глазом, всегда под легкими парами, страшный и тяжелый человек — Завалишин, тот, который провожает на иной свет молодую разбойную душу.

На иарах, обсыпаииый иафталином, с книжечкой в руках, бывший царский министр, с ровной седой бородой, человек привыкший, привезенный из Петербурга. Рядом — из меньшевиков, спорщик пишет заявлеиья, ядовит, каждому следователю иоровит задать вопрос с загвоздкой. Еще рядом — спекуляит, продал партию сапожной кожи — да попался. И еще рядом сидит иа иарах, свесив иоги, бедиый Степа, из бандитов, еще ие опознаииый. Но из той же славиой компаиии и комиссар Иваиов: сразу призиал своего.

— Здравствуй, Степа. Куда едешь?

— Должно — в Могилевскую губернию.

А сам бледный, давят иа плечи осьмнадцать лет и жизиь кокаиииая.

И скоро уводят Степу в особую камеру. Прощай, Степа, бедный мальчик, папин-мамин беспутиый сынок!

Пьяиыми глазами смотрит в яму Завалишин, исполнитель, служака иа поштучной плате и на повышенном пайке. Кровь в глазах Завалишииа. Перед иочью пьет Завалишии и готов всех угостить,— да не все охотио делят с ним компанию. Страшеи им Завалишии: все-таки — беспардоииый палач, мать родную — и ту выведет в расход по приказу и за бутылку довоенного. Бородка клочьями и смутеи взгляд опухших глаз, затумаиеиных деиатуратом.

А через дорогу, через Фуркасовский переулок — самое главиое, где вся борьба,— Особый Отдел Всероссийской Чеки. Здесь порядок, все и вся ходят по струнке, иет ни поэзии, ии беспред-

метной тревоги. Здесь надо всем иавис и царит н иеслышно командует умный и тяжкий гений борьбы и возмездия, хмурый и высокий товарищ старого призыва, по горло вкусившнй царской каторги, идеалист, бессребреник, недоступный для всякого, иародный мститель, всю кровь на себя приявшнй,— имя которого да забудут потомки.

Прямо с площади, высадив из автомобиля, вводят в двери новую жертву — врага иарода н революции. В малой канцелярии анкета, затем на короткое время в малую камеру с нарами, пересчет в большую — с клопами, во всем нзвестную контору Аваиесова, а после, по особой записке, прямо через двор, в старый дом, отделанный под тюрьму, по типу царскому, в страшиое молчаливое здание Особого Отдела, откуда длинные коридоры, холодные, пустые, зигзагами ведут в кабинеты следователей.

Здесь вершится пятая правда московская — Лубянская Правда.

ТОВАРИЩ БРИКМАН

Маленький, жидковолосый, расплюснутый в груди человек, широко расставив локти н близко смотря на бумагу левым глазом, пнсал мелким бнсером.

Звякнул на столе телефои.

— Да. Да, я. Хорошо. А он когда арестован? Ладно, товарищ. Только вы поскорее прншлите мие дело, я же ведь не знаю. Ну хорошо. Вызову, сам вызову, хорошо.

Голос человечка был тонок, как женский, с легкими внзгливымн иотками.

Окончив свое «заключение», внимательио перелистал худыми, тонкопалыми, детскимн ручкамн принесенное «дело», вскрыл пакет бумаг, отобранных при обыске, буркнул про себя, поморщившнсь:

— Опять иабрали глупостей, ни черта ие понимают.

Позвонил, подписал приказ и отдал вошедшему солдату отряда особого назначения:

— Сиесите, товарнщ, в комендатуру, и чтобы сейчас привели ко мие.

Встал, прошелся по комиате, покашлял в угол, выглянул в коридор и попросил, иельзя ли подать горячего чаю. Чай, жидкий и тепловатый, прииесла низеикая женщина в кудряшках под платком, бойкая и уверенная.

— Не знаете, товарищ Брнкман, выдача сегодня будет?

— Не зиаю.

— Говорили, что клюкву и, может быть, вязаиые свитеры будут выдавать.

— Не знаю.

— Ох, уж кто же знает!

Конвойный доложил, что арестованного привели.

— Так н ведите сюда. Сами подождите за дверью, пока позову.

Следователь заспешил, сел за стол, положил перед собой

окончеииое «заключение», взял в руки перо и принял вид пишущего.

Стукнула ручка двери, и солдат из-за двери сказал:

— Налево к столу идите.

Вошел Астафьев. Высокий, в слегка помятом костюме, иебритый, с виду спокойный.

Следователь поднял голову и, едва взглянув иа вошедшего, показал иа стул со своим столом.

— Садитесь. Вы граждании Астафьев?

— Да.

— Садитесь.

Миинуты две проглядывал свое «заключение», читая только глазами, и в то же время придумывал вопрос. Затем вложил в папку, отложил, пододвинул дело Астафьева и спросил:

— Вы профессор?

— Приват-доцент.

— Ну да, все равио. Философ?

— Да.

— Вы почему арестоваиы?

Астафьев улыбнулся:

— Это вам зиать лучше.

— Я и зиаю. А вы как думаете?

— Думаю, что арестоваи я так, зря, иипочему.

— Зиачит, вы думаете, что мы зря арестовываем?

Астафьев искреиие рассмеялся.

— Думаю, что случается; из двадцати человек — девятиадцать иавериое.

— Напрасио так думаете. Ошибки, коиечно, возможиы, ио ошибки исправляются. Нам приходится быть осторожными, так как советская власть окружеиа врагами. Пусть лучше десяток людей посидит иапрасио, чем упустить одного врага. Вы этого ие думаете?

— Нет, ие думаю. Я думаю как раз иаоборот: лучше упустить виновиого, чем лишить свободы десятерых.

— Ну, мы думаем ииаче. Пролетариат ие для того завоевывал власть, чтобы рисковать ею из-за иителлигентских сеитимеитальиостей. Пока советская власть окружеиа врагами...

Голосом тоиеньким, скрипучим, без запятых, следователь долго и тягуче произиосил слова, миого раз читанные Астафьевым в передовых статьях «Известий» и «Правды», слова, иабившие оскомину своей правдой, своей ложью, своей практичиостью и своей фантастичиостью. Рассеяиио слушая его, Астафьев болезнеиио ощущал нахлынувшую скуку и ждал, когда следователь коичит. Одновремеиио вспомииал:

— Где-то я его уже слышал и где-то видел. Где?

Виезапио оборвав популяриую лекцию, тем же тоиом следователь спросил:

— К вам иа прошлой неделе заходил человек в желтых гетрах. Как его фамилия?

Астафьев равиодушно ответил:

— Может быть, кто-иибудь и заходил в гетрах, ие помию.

— Ои долго у вас оставался?

Астафьев поморщился:

— Раз я говорю — ие помию такого, то что же это за вопрос?

— А кто у вас был на прошлой иеделе, иазовите всех.

— В чем вы меня, собственно, обвиняете?

— Здесь не суд, я вам отвечать ие обязан. Когда все выясним — узиаете. А вы ответьте на вопрос.

Крупиый, здоровый, красивый человек посмотрел сверху иа маленькую, тщедушную фигурку следователя.

— Оставьте эти вопросы. Как я вам отвечу, когда ие знаю даже, в чем обвиняюсь. Я назову вам кого-иибудь, а вы его арестуете. За кого же вы меия считаете?

— Придется считать за врага советской власти.

— Ну и считайте, если вам хочется.

— А вы зиаете, граждаиии Астафьев, чем вам это грозит?

— Могу догадываться, но это для меня ие убедительио. А вот скажите, следователь, где я вас мог видать? Мне ваше лицо знакомо.

Следователь нервио дернулся, и в голосе его появилась визгливая нотка:

— Это ие отиосится к делу. Вы на мои вопросы ответите?

— Не встречал ли я вас за границей? В Берлине, иапример? Вы ие из эмиграитов? Мие вспомииается — на каком-то эмигрантском митинге... Постойте, ваша фамилия не Брикмаи? Но, помнится, вы тогда были меньшевиком. Правда?

Товарищ Брикман заерзал на стуле, иажал кнопку звонка и крикнул:

— Угодио вам отвечать на вопросы?

Астафьев с широкой улыбкой, иемиого насмешливо добавил:

— И вы, помнится, там, в Берлиие, выступали против Ленина. Ай-ай-ай!

Брикмаи взвизгнул вошедшему коивоиру.

— Отправьте арестоваиного обратио!

— Бумажку позвольте.

Пока Брикмаи подписывал бумажку, Астафьев добродушио говорил:

— А вы ие волнуйтесь, товарищ Брикман, вам это вредио, вон вы какой худой. Берите пример с меня. Все это — пустяки, и не стоит волнений.

— В советах я не иуждаюсь, граждании Астафьев, а вам придется долго посидеть, если чего похуже ие будет. Можете идти.

Когда конвойиый увел Астафьева, следователь долго, расставивши широко локти и навалившись на стол расплюснутой грудью, мелким бисером писал на анкетной бумажке, приложенной к делу. Окончив, встал, прошелся по комиате, опять покашлял в уголок, пощупал свой пульс, оглянулся на дверь и подошел к тусклому зеркалу в рамке, висевшему близ окиа. В зеркале тумаино отразилось его лицо, худое, с тщедушной белоку-

рой бородкой, с большими глазами иад припухшими мешочками, со слишком оттопыренными ушами.

Грудь его, разбитая прикладами в пересыльиой тюрьме, когда он был еще студентом, никогда с тех пор ие дышала свободио. В жизни его не было радостей, н тянуть эту жизнь — ие нужиого иикому чахоточиого человека — он ие мог, только поддержнвая себя верой в революцию, в будущее счастье человечества, в золотое время, которое неизбежно придет за периодом упориой н беспощадной борьбы с врагами рабочего класса. Правда, сам он рабочим ие был, да и не мог быть — с разбитой грудью; ио все же ему, Брнкману, суждеио было стать одинм нз героев н защитников иового строя, впервые родившегося в Росснн и долженствующего охватить весь мнр. Слабый здоровьем, ои должеи быть стойким, стальным, иесокрушимым волею,— в этом все оправданье жизни.

Товарищ Брикман опять подошел к зеркалу, немного закинул голову н попытался выпрямиться. И опять зеркало тускло отразило тщедушную фигурку, украшенную красноватыми, лихорадочнымн глазамн. Карманы френча оттопырились, ио грудь ие иатянула защитиой матерни.

Товарищ Брикман ие курил; от дыму ои иачииал кашлять долго и нудно. Ои любил чистый воздух, но боялся открывать окио, так как от холоду также кашлял. В кармане он иосил скляночку с герметически закрывающейся крышкой, в которую и плевал.

Сегодня ои ие сдержался, позволил себе потерять равновесие. Это плохо, это не должио повторяться! Против Астафьева иет достаточных улик, но по тону, по разговору, по поведенню он — иастоящий и опасный враг. Его делом иужно заняться, нужно вывести его иа чистую воду, нужио!

В памяти Брикмаиа мелькнула фигура Астафьева, широкогрудая, здоровая, насмешливая.

Следователь взял телефониую трубку и тонким голоском, нетерпеливо иажимая рычаг, начал:

— Алло, алло...

У ЕГО ПОСТЕЛИ

По выражению, узакоиениому развивавшейся в Москве каицелярщиной, Аленушка «вошла в контакт» с хозяйкой квартиры, где лежал больиой Вася Болтаиовский. Контакт привел к тому, что совместиыми усилиями добыта была маииая крупа и иемиого сахару, — в обмен на привезенное Васей пшеио.

— Вы о нем заботитесь, Елеиа Иваиовиа, словио о своем женихе.

— Ну вот уж, вы скажете. Просто — нужно же ему чтонибудь легкое. Вы посмотрите, до чего ои исхудал!

Аленушка, меняя больиому рубашку (чистую предварнтельио грела у хозяйской печки), с жалостью смотрела иа впадиины

у ключиц и на отчетливые ребра Васи. Беспомощность его трогала Аленушку и вызывала в ней нежные чувства к больному. Без Аленушки Вася ни в чем не мог обходиться и, в минуты сознания и крайней слабости, преодолевая стыд, пользовался ее милосердной сестринской помощью.

Теперь кризис болезни миновал. Вася был в полном сознании, но ослаб бесконечно. Доктор Купоросов при каждом визите говорил, уводя Аленушку в переднюю:

— Следите внимательно за температурой, Аленушка. Его нужно обязательно подкармливать, понемножку, но чаще. Утром тридцать пять и два было? Вот видите; это так же опасно, как большой жар. Он так у нас совсем замерзнет. Кашку давайте горячую, побольше масла. Молоко тоже хорошо. Как окрепнет немножко — и мяса можно, рубленую котлетку; телятины и курятины сейчас не достанешь. Не позволяйте утомляться, сидеть в постели, разговаривать, — пусть лежит. И сами, Аленушка, много не болтайте, не забалтывайте его. Ну-ну. Славный паренек, жалко.

Голову Васе вторично обрили, заодно побрили и отросшую бородку. Вася лежал теперь чистенький, беленький, худой, кареглазый, с ямочкой на подбородке. Говорил мало, тихим голосом, и все больше слова благодарности.

— Спасибо, Елена Ивановна, зачем вы все сами, могла бы Марья Савишна помочь вам хоть в грязных делах. Уж очень мне неловко.

— Пустяки вы говорите. И нужно же прибрать хорошенько. К вам скоро придут.

Придут — значит, Танюша и Петр Павлович.

С того момента, когда миновал кризис болезни и Вася пришел в полное сознание, он, лежа покойно и внутренне радуясь возврату жизни, — усиленно и насколько позволяла еще слабая голова вспоминал, какие видения прошли перед ним за время болезни, что было бредом и сном, в чем была доля действительных впечатлений. Вполне реальна была только постоянно бывшая при нем сестра милосердия, Елена Ивановна, которую доктор так хорошо называет Аленушкой.

Аленушка мелькала и в бреду и в сознании. Аленушка являлась всегда, когда ссыхались губы и душил жар, когда останавливалось или уж слишком сильно билось сердце, когда пылала голова и глаза смотрели сквозь лиловые и туманные круги. С приближением Аленушки становилось сразу лучше и легче. Голос Аленушки звучал утехой.

Но иногда Аленушку отстраняли другие тени и видения, и голос ее сменялся другими голосами. Это были, конечно, Танюша и Протасов. Всегда двое, всегда оба вместе. И два голоса, говорившие шепотом иногда с ним, с Васей, иногда друг с другом.

Голос Танюши, всегда нужный и жданный, но звучащий одновременно с другим, не успокаивал, а волновал Васю. Иногда хотелось его поймать и заставить говорить для себя,

слова необходимейшие, страшно важные, или хотя бы слова утешения и жалости. Но этому мешал другой голос, мужской, ровный, спокойный, уверенный, почти веселый. Голос Аленушки был всегда для Васи; другие два голоса — как будто — звучали друг для друга, хотя, возможно, говорили тоже о нем и для него. Объяснить это трудно, — но так чувствовалось. И, слыша эти голоса, Вася беспокойно метался, бредил и вскрикивал.

Затем всплыло еще одно воспоминание — если оно не было сном. Приходя порою в сознание, Вася отвечал на обращенные к нему вопросы (хочет ли пить, поправить ли ему подушки) и видел ясно тех, кто с ним говорил. Но, увидав, забывал о них сейчас же, они как-то уходили за круг его внимания, за пределы мира, в котором он вел борьбу со смертью. Были все же и более длительные просветы. Так, однажды, он долго рассматривал лицо Аленушки, спавшей в кресле, и удивлялся здоровому ее румянцу и простодушному складу губ. В другой раз, утром, рассмотрел до последней черточки лицо доктора, склонившегося над ним, и улыбнулся, когда доктор сказал: «Ну, глазки у нас просветлели, гражданин, пора выздоравливать». Видел ясно и Танюшу, смотревшую на него испуганно и с такой жалостливостью, что Васе захотелось плакать; но в лице Танюши, таком любимом, было что-то чужое. И, наконец, видел однажды — но это могло и показаться — обоих друзей своих, Танюшу и инженера, сидевших рядом, близко к его постели и близко друг к другу, не говоривших ни о чем, но смотревших друг на друга с непонятным для Васи выражением.

Было это так. Вася, очевидно, крепко и покойно спал. Затем проснулся с приятной ясностью головы, с ощущением свободы от болезненного припадка, — когда не хочется пошевелиться, чтобы не спугнуть этого покоя и этой ясности. Открыв глаза, он увидал свою комнату в отчетливых очертаниях и освещенные лампой два лица, смотрящие друг на друга молча, словно застывшие в созерцании. Еще показалось Васе, что руки Танюши и инженера были соединены. Он мог бы и не заметить этого, если бы при попытке его повернуть резче голову к сидевшим Танюша не сделала прерывистого движения, как бы отдернув свои руки. Тогда Вася закрыл глаза и почувствовал, как исчезли покой и ясность и снова вернулось к нему мучительное полусознание, тяжесть в темени и боль в висках. Все это теперь вспомнилось, — но как-то туманно; могло и не быть в действительности.

Вчера был первый день полного сознания Васи. Но, сильно ослабев, он почти все время спал и Танюши не видал.

— Сестрица, вчера Татьяна Михайловна приходила?

— Была. Она всегда приходит к трем часам, когда я ухожу домой. За всю вашу болезнь только дня два-три пропустила, не могла зайти. Тогда Марья Савишна сидела около вас.

— Сколько я хлопот вам всем доставил. Я был очень болен?

— Что было, то прошло. Нехорошо с вами было.

— А уж много дней?

— А вы не помните? Завтра пойдет четвертая неделя.

— Неужели так много! И вы все время около меня, Елена Ивановна?

— Все время.

— И все ночи? Когда же вы спали?

Аленушка рассмеялась колокольчиком.

— Ночью н спала, а то нногда н днем дремала.

— В кресле спали?

— Когда вам очень плохо было — в кресле, а если вы не очень метались, прнставляла к креслу стулья н спала, как в постели. Марья Савишна надавала мне одеял н подушек, настоящую кровать устроила; но я боялась слишком разоспаться.

— Как вы так можете? Вот устали, должно быть. А внд у вас цветущий, даже смотреть завидно.

— Так я же очень здоровая, мне ничего не делается. И очень привыкла. А вот вы слишком много болтаете, доктор это запретил.

— С вами невредно.

И правда, Вася очень утомился.

Когда минут через пять в дверь легонько постучали н Танюшин голос шепотом спросил: «Ну, как сегодня?» — Вася не открыл глаз, хотя слышал и ответ Аленушки:

— Сегодня совсем хорошо.

— Спит?

— Кажется.

Вася не открыл глаз, когда за новым стуком послышались легкие мужские шаги, а затем, одновременно поздоровавшись н попрощавшись, вышла нз комнаты Аленушка. Так лежать было лучше, взглянув же — нужно говорить; но прежде, чем говорить, нужно думать, н это страшно трудно н тяжело.

В своем усталом покое он слышал шепот н слышал, как ннженер сказал:

— Я сейчас должен уйти; ничего, что вы одна останетесь?

— Ну, конечно, раз вам нужно. Но вечером вы зайдете к нам?

— Да уж как всегда. Ну, пока до свиданья, Танюша.

«Как всегда? И он зовет ее Танюшей?»

Вася открыл глаза н увидал Танюшу, провожавшую его дорожного спутника таким ласковым взором, каким никогда она не провожала самого Васю.

И Вася вспомнил: «Сколько сказала Аленушка? Да, завтра начнется четвертая неделя...»

ИЗМЕННИКИ

Те, кто с ночн стояли в очередях, ожидая, когда откроют, под белой с красным уже полинялой вывеской зашнтую доскамн дверь и когда начнут выдавать по детскому купону про-

горклое пшено,— те меиее всего думали, что вот где-то все еще идет война и что в ией Россия ие участвует. Довольно своих забот и горя своего: давио о войне забыли. От иее остались одни могилы, вдовы, семейное разорение и проклятая память, заглушеиная сегодняшиими страданиями.

Юрист Мертваго, которого иекогда дядя Боря устроил в земсоюзе (форма земгусара очень шла Мертваго), — юрист Мертваго, у жеиы которого уцелели драгоцеииости, особой нужды ие испытывал. Но все же большой ошибкой было ие уехать вовремя в Киев и далее, как сделали другие, более предусмотрительные. Подготовляя теперь отъезд, что было уже много труднее, Мертваго полагал, что мы, русские, оказались изменниками делу союзников и что позориый (дома ои говорил «похабный») Брестский мир кладет неизгладимое черное пятио на честь русского иарода.

Изменники стояли в очередях, под мокрым снегом, жевали хлеб пополам с мусором и навозом, отбивали уксусом тухлый дух кобылятины, из которой жарили котлеты иа касторовом и минеральном масле.

И в городе, и в иехлебиых деревиях они ходили рваными, заплатанными, без улыбок иа лицах, без желания тянуть жизнь, за которую цапались и цеплялись только по привычке и чувству звериному. Закореиелые в преступиости своей, они не только делом, ио и помыслом ие были там, где солдат, шедших умирать, умели хотя бы хорошо одеть и иакормить.

Дядя Боря, раньше работавший иа оборону, затем временио ушедший в саботажники, теперь устроился, как опытный спец, в Научно-техническом отделе. Ои говорил про себя так:

— Вот, служу в ВСНХ, ио, конечио, ие с ними, а в научном отделе, безо всякой политики. Надо спасать жизнь и науку. Отдел иаш автоиомеи.

В кабинет старшего иачальства, молодого и иесколько растерянного коммуниста, уважавшего ученых и боявшегося перед ними скоифузиться, дядя Боря входил застегнутым иа все пуговицы, и даже иа ту, которая болталась иа ииточке и могла легко отпасть. Войдя, кланялся, держа голову бочком и не зиая, куда деть руки. Смущениый иачальиик просил дядю Борю садиться, и дядя Боря садился ие на весь стул.

С точки зрения юриста Мертваго, специальность которого временно оказалась никому не нужной, дядя Боря был тоже изменником, как поступивший иа советскую службу. Правда, судил ои его не очень строго: «могий вместити — да вместит»,— не всякому даио сохранить принципиальную чистоту.

Дядя Боря приходил иа Мясницкую с портфелем, где лежали проекты стандартизации тракторов и приспособлеиия этих тракторов к земледельческим работам, и с прочным швейцарским мешком — иа случай выдачи в паек съестных припасов. Но так как тракторов еще ие выделывали, а вопрос о стандартизации особой спешки не требовал, то, заглянув в свой отдел и отдав в переписку бумаги, дядя Боря шел в Малый

Златоустинский, где также могли быть выдачи — по другому отделу. И поздно возвращался домой корыстный изменник дядя Боря, принося в мешке банку черной патоки, наперсток дрожжей, пяток тронувшихся селедок, а иногда квадрат толстой резины — на две подошвы. В глазах прочих, не спецов, дядя Боря был счастливцем. По вечерам, засыпая под одеялами и шубами, с меховой шапкой на голове (печурка ночью совсем остывала), он говорил жене:

— Есть надежда получить академический паек.

— Правда? — оживлялась некрасивая и сухая жена дяди Борн, высовывая нос из-под вороха старых одеял.

— Не наверное, но есть надежда. Поднят даже вопрос о кремлевском, но для очень немногих.

— Ты не попадешь в число? Вот бы хорошо.

— Не знаю. Трудно. Но может быть.

В кремлевском пайке выдавали иногда белую муку. И постоянно — настоящее мясо.

Таков был даже дядя Боря. Что же сказать о солдате, ушедшем с фронта и унесшем с собой казенный штык да коечто из вещей, добытых при разгроме земского склада? Что унес он казенное добро — это солдат знал твердо и не был уверен, что поступил ладно. В деревне, ковыряя ржавым штыком худой хомут, он помнил о краже, но не подозревал об измене, о гнусной своей измене союзникам. И скажи ему кто-нибудь это на век позорящее слово, — он с полным непониманием вылупил бы голубые славянские очи.

Зипуны, чуйки, блузы, пиджаки с продранными локтями, охолодавшая, оголодавшая, ограбленная в войне и мире, изможденная и очумевшая в революции и блокаде великая и многоязычная нация, народ русский, зверь и подвижник, мучитель и мученик,— стал изменником. Он изменил Европе, которой не знал, которой не присягал, от которой ничего не получал и которой так, зря, черт ее знает за что, отдал миллионы жизней, — за прекрасные ее очи.

По всем этим причинам одиннадцатого ноября восемнадцатого года решительно ничего особенного не случилось в Москве и в России.

Все проснулись рано, так как много было неотложных забот. Все заснули рано, так как с электричеством было плохо, а керосин дорог и недоступен. Центральная электрическая станция, за недостатком топлива, сжигала нотариальные акты, купчие крепости, процентные бумаги, старые кредитки и архивы царских присутственных мест.

Ни одиннадцатое ноября, ни следующие дни ничем не были отмечены в ряде холодных и снежных дней. В газетах, которых не читали, были напечатаны коротенькие заметки о перемирии, заключенном на европейских фронтах; но это не имело никакого интереса и значения в глазах людей, стоявших в очередях и мечтавших о жире и сахаре. В тех же газетах с прекрасной откровенностью были напечатаны списки

расстрелянных за последнюю неделю; это было интересно для родственников и близких; остальные понаслышке повторяли цифру, которой не верили, и несколько имен, казавшихся знакомыми. Как голод, как холод, как тиф — расстрелы стали явлением быта и тревожили мысль только ночью, когда страхи сгущались над головами тревожно спавших граждан самой свободной в мире страны.

На улицах европейских городов люди читали экстренные выпуски газет, пели, обнимались, танцевали. К счастью, ликующие шумы эти не доносились до русских городов и деревень, до ушей тех, кого Европа заклеймила кличкой изменников.

Добродетель торжествовала — порок был наказан.

Если на небесах, за снежными облаками, собрался в это время ареопаг судей вышних, вряд ли приговор их отличался от приговора людского. Русский народ, изменник и мученик, не имел адвоката ни там, ни здесь и, погруженный в личные заботы, не явился ни на суд божеский, ни на суд человеческий:

— приговор вынесен был ему заочно.

ТОТ, КТО ПРИХОДИТ

Как рождается любовь?

Ах, Танюша, этого никто не знает. Ее прихода ждут,— а она является неожиданной. Ее живописуют себе всеми известными и любимыми красками, — а она прокрадывается, закутавшись в дешевый, серенький, незаметный плащ. Но от этого она не менее хороша и желанна.

Она любит поражать внезапностью и нелогичностью. Астафьев правду говорил: логика убивает красоту и сказочность. И правду ему сказала Танюша: «Уж если думаешь — значит, не любишь; а вот когда не думая...»

Танюша не думала, а просто знала. Пришел и постучался человек, совсем не особенный, совсем простой и обыкновенный, вчера бывший посторонним, а сегодня... ну скоро ли наступит вечер и он опять придет!

У него шершавая рука — от работы и частого мытья серым мылом. Но другие руки — руки других — гладкие, тепловатые, тоже дружеские и ласковые, не нужны, неприятны, безразличны. Ему же, сразу знакомому, отдаешь руку счастливо и навсегда. А объяснить этого невозможно,— нет объяснения. Само понимается.

Восемь часов. Глаза Танюши бегают по строчкам книги, книга обиженно молчит: она не привыкла к рассеянности. Дедушка глубоко ушел в кресло, и, конечно, дедушка не может прислушиваться так чутко. Среди шагов на улице он не отличит нужного шага, который непременно остановится у подъезда, переждет мгновенье (почему это?) и все же скажется стуком. Тогда Танюша, сдерживая торопливость, отложит книжку и пойдет отворить.

— Кто это, Танюша?

— Это Петр Павлович, дедушка.

— А, вот хорошо. Здравствуйте, здравствуйте, какие новости принесли?

— Новостей никаких. Как здоровье ваше, профессор?

— Скриплю, скриплю. Вот спасибо, что пришли, Танюша вас заждалась.

— Ну что это, дедушка!

— А что же, чего же тут плохого. Без вас, Петр Павлович, нам скучно.

Инженер садится на диване рядом с Танюшей и говорит:

— А я вот действительно заждался. Из-за пустой справки пришлось обегать пол-Москвы. Вы знаете, профессор, сейчас в Донецком бассейне почти не работают. А между тем нам без угля — чистый зарез.

Протасов рассказывает о планах, Танюше неинтересных и неведомых. И Танюша слушает его со вниманием и гордостью: вот он какой. Если он чего-нибудь захочет, то непременно добьется.

— Планы-то планами, — говорит профессор, — а дадут ли вам эти планы осуществить? Не вылетела бы вся энергия в трубу дымом.

— Трудно, очень трудно. Такая повсюду неразбериха, и средств мало. На что другое деньги есть, а на настоящее и нужное дело приходится по копейкам вымаливать. Но что же делать, профессор, не погибать же России; приходится приспособляться ко многому, лишь бы как-нибудь жизнь направить в русло.

Пьют чай. За чаем Протасов рассказывает, как он во время войны ездил в специальную командировку на Шпицберген, как их затерло льдами,— и рассказывает, как о простой увеселительной поездке, занимательно, красочно. Профессор интересуется, не довелось ли инженеру видеть там редкую породу птиц, описанных, правда, достаточно обстоятельно, но в чучелах до сей поры не имевшихся. Этих птиц инженер не видал, но и по птичьей части кое в чем осведомлен. И у него завязывается с птичьим профессором интересный для обоих разговор. Старик ожил и сыплет названиями. Протасов многого не знает — переспрашивает. Но и знает многое — и Танюша смотрит на него с гордостью, часто переводя глаза на дедушку. Она видит, что дедушке нравится новый гость особнячка на Сивцевом Вражке. Это Танюше приятно.

Когда дедушка уходит к себе, всегда аккуратный, как его часы с кукушкой, — Танюша и Протасов остаются вдвоем.

— Я вам очень благодарна за дедушку. Вы его так развлекли, а то он все скучает.

— Какой ум у него светлый, — говорит Протасов. — И какие знания. А ведь и еще есть у нас в России немало таких людей. Вот только настоящих работнпков мало. Наука — великая вещь; в ней ничто не пустяк. Вот политика — дело

наносное, случайное; сегодня так, завтра инак, важностн в этом нет.

Они говорят о дедушке, о Шпицбергене, о разном в прошлой жизнн ннженера, о чем Танюша еще от него не слыхала. Онн совсем не говорят о любви, — даже отдельными словами. Но Танюша так полна интереса ко всему, что говорит этот посторонний человек, вдруг ставший своим, а Протасов так загорелся в свонх рассказах, что минуты н часы бегут гораздо скорее, чем им обоим хочется.

Прощаясь, Протасов говорит Танюше:

— Завтра будете к трем у Васн?

— Да, непременно.

— И я зайду. Он, кажется, пошел на окончательную поправку. Только отчего он такой грустный? Надо бы его развеселить.

Оба, н он, н Танюша, догадываются, отчего выздоравливающий Вася грустен. Но ведь скоро Вася уже встанет, н навещать его не придется.

Вышло как-то однажды, что говорить стало не о чем. Сндели молча. Оба думали о том, что было бы, если бы сблизнть руки н, может быть, ласково прикоснуться друг к другу. Бывают минуты, через которые надо перейти. Такая н была. И вот тут Протасов, вдруг уверенно повернувшись, взял Танюшины руки, поднес к губам н поцеловал.

И Танюша рук не отняла, а с довернем н робкой нежностью наклонила к нему голову. И так сидели долго, друг к другу прнслонившись. Мннуты шли, кукушка куковала, а онн не говорили ни слова.

Назавтра ждали, не вернется ли опять такая минута. Она пришла, и теперь было еще проще, но уже было этого мало, хотя было хорошо.

Ах, Танюша, никто не знает, как рождается любовь, — хотя испокон веков н до наших дней она рождается одинаково.

Домой Протасов уходил бодрым шагом н с хорошей улыбкой. Танюша, оставшись одна н ложась спать, двнгалась медленно, чтобы не расплескать полной чаши нового чувства. И долго не засыпала, вспоминая и не все понимая еще никогда так не любившим сердцем. Но теперь жизнь казалась ей осмысленной, нужной н полной ожиданнй.

Тот, кто прнходит, — прншел просто, неожиданно н в нужный момент.

МОСКВА — ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТНАДЦАТОГО

Слиплись н смерзлись дома Москвы стенами н заборами. Догадливый художник-гравер Иван Павлов спешно зарнсовывал н резал на дереве исчезавшую красу деревянных домиков. Сегодня рнсовал, а в ночь назавтра приходили тени в валенках, труслнвые н дерзкие, н, зорко осмотревшнсь по сторонам

и прислушавшись, отрывали доски, иачав с забора. Увозили иа санках — только бы ие иаскочить иа милицию.

За тенью тень, в шапках с иаушниками или повязанные шарфом, в рукавицах с продраиными пальцами, работали что есть силы, кто посмелее — захватив и топор. Въедались глубже, разобрав лестницу, сняв с петель дверь. Как муравьи, уносили все, щепочка по щепочке, планка по планке, царапая примятый сиег и себя торчащими коваными гвоздями.

Шла по улице дверь, прижимаясь к заборам.

На двух плечах молча плыла балка.

Согнувшись, тащили: бабушка — щепиой мусор, здоровый человек — половицу.

И к утру иа месте, где был старый деревянный домик, торчала кирпичиая труба с лежаикой среди сиега, перемешаииого со штукатуркой. Исчез деревяиный домик. Зато в соседиих камеиных домах столбиком стоит иад крышами благодетельный дымок, — греются люди, варят что-нибудь.

Когда вставал день, изо всех домов выползали упрямые люди с мешками и корзинками, искали глазами белую с красиыми линялыми буквами колеикоровую вывеску, трепавшуюся по ветру, и становились в очередь, сами не зиая точно, подо что. Поздно открывалась дверь, и, дрожа, входили в иее замерзшие люди, в строгие очереди, с иомером, иаписанным мелом иа рукаве или химическим карандашом иа ладони. Получали, что удавалось получить, — ие то, что нужно больше, а то, что оказывалось в иаличности: кусок серого мыла, банку повидла, пузырек чайиой эссенции. Кто получил — уходил под завистливыми взглядами еще ие получивших. Но уже захлопывалась дверь — все вышло, приходите завтра или черт его зиает когда.

В Граиатовом переулке, красуясь колоииами и сиегом, дремал особиячок за садовой решеткой. Крыши иет, давио снята; и стены иаполовину разобраны; только и целы колонны. Умирающее, уютиое, дворяиское, отжившее. На воротах оставалось: «Звоиок к дворнику». Сиег в саду лежал глубокий, белый, чистый.

Сиегом покрыты и пестрые куполы Василия Блаженного. Внутри, под иизкими расписиыми сводами, пробежал попик в камилавке. В приделе, где служба, жуют губами старухи в черном, закутаны шалями; а у дьякона под парчовой рясой иадет полушубок и валеики иа старых зябких иогах. В холоде чадит дешевым ладаиом кадило:

— О благорастворениии воздухов, о изобилии плодов земных и времеием мириых...

Мимо первопечатника Федорова, на плече которого сидит голодный воробушек, от Лубянской площади вниз к Театральиой, летит по сугробам нечищеиой улицы ломовой на еще живой лошади. Пареиь крепкий, а ломовики сейчас все наперечет — работай! Эти ие боятся: и дров сами привезти могут, и для лошади добудут сеиа. Только с овсом плохо. Ломовик сейчас может заработать лучше всякого, все его уважают.

От Владимирских ворот до Ильинских, вдоль стены Кнтай-города только н есть, что зажигалки да камушки к ним. Зажигалкн делают на заводах рабочне, которым не платят, так как платить нечего и не за что. А откуда берутся камушки — неизвестно. Рассказывают, что один торговец сохранил случайно целый ящик камушков; теперь он — самый в Москве богатый человек. Однако, перемнгнувшись, можно получить из-под полы и кусок сала; но не здесь, а где-ннбудь в воротах без постороннего глаза. Зато листы папиросной бумаги — сколько угодно, открыто, и разложены они как красный товар: аккуратненько выдраны нз торговых копировальных книг. Товарнщи покупают по листам и курят письма: «Милостивый Государь... в ответ на любезное В... С совершенным почтением». Говорят, что на один том такой бумаги, продавая по листкам, можно сейчас прожить безбедно н сладко целую неделю.

По Тверской идут закутанные люди с портфелями н мешочными ранцами за плечами. Служба-паек, чернила замерзли, машинки без лент, но — слышно — привезлн с Украины мед, выдавать будут. Хочется губам сладкого, — челюсти свел проклятый сахарин.

Сбоку Иверской на стене написано непонятное про опиум — н еще много надписей на стенах и каменных заборах. Футуристы расписали стену Страстного монастыря, а на заборе Александровского училища — ряды имен великнх людей всего мира; среди велнких и пнгмен, н много великих отменено и забыто. Люди читают, удивляются — но думать некогда.

Что сегодня написано — назавтра линяет.

Стонт Кремль, окруженный зубчатыми стенами, а за стенами — непривычные к Кремлю люди. У ворот штыки, на штыках наколоты пропуска. Не во все ворота проедешь, даже и с бумажкой и с печатями: только в Никольские да в Троицкие. Холодно высится Иван Великий, мертвый, как все сейчас мертвое: и пушка, и колокол, н дворцы. Всегда было холодно в Московском Кремле; только под Пасху к заутрене теплело. Но нет ни Пасхн, ни заутрени.

А вот Арбат жив; идут по нему на Смоленский и со Смоленского. Несет бывшая барыня часы с маятннком (слышно — звякает пружина) и еще белые туфельки. Это значит — несет последнее: кому надобны зимой белые туфли. А обратно со Смоленского несет бывшая барыня ковровый мешок, а что в нем — неизвестно; может быть, и мерзлая картошка. Картошку кладут сначала в холодную воду, чтобы тихо оттаяла, а потом, обрезав черное, варят обычным порядком. Не каждый же день можно добыть палой конины. Но если варить картошку не умеючи,— получится чернильная каша. Селедку же хорошо, обернув в газету, коптить в самоварной трубе. Все нужно знать — ко всему нужно привыкнуть.

Упрямые люди хотят жить. Жуют овес, в пол-аппетнта набиваются горклым пшеном, прячут друг от друга лепешечки сахарина. В ходу н почести играный сахар,— на который сол-

даты играли в карты; он продается дешевле, а между тем, если умело выпарить и слить грязь, а потом, отсушив, нарезать на куски,— ничего себе, получается хорошо и все-таки сахар.

К вечеру люди утомятся, намаются, заснут. Спят не раздеваясь, на голове шапка, на ногах валенки. Спят больше по кухням, где осталось тепло от обеда. Тряпочкой затыкают дверные щели в другие комнаты, где стоит студеная зима. Если есть печурка — спят звездой, ногами к печурке. Где есть электричество, там его жгут без экономии, потому что теперь все бесплатно. Догадался один провести в каждый валенок по электрической лампочке; так и спит,— все-таки теплее, греет. Мудрыми стали люди. Но только не везде и не всегда действует свет,— много линий перегорело и закрыто. Тогда приходится делать из бутылки коптящий ночничок, при нем и работать; масло дорого, и горит в ночнике вонючий керосин. Всех фитилей лучше — старый башмачный шнурок. Все нужно знать!

А когда засыпали люди, тогда через множество новых ходов выползали из подполья крысы, смелые, дерзкие, хвостатые, с глазами черного бисера. Бегали по комнатам, по кухням, гремели банками и бутылками, роняли на пол сковородки, визжали, грызлись, забирались под самый потолок, где подвешено хозяйками на веревочках прогорклое масло и остаток мяса. Крысы теперь ходили не одиночками, а стайками и шайками, нагло, уверенно, и, не найдя поживы, кусали спящих людей за открытые места.

Лета тысяча девятьсот девятнадцатого город Москва был завоеван крысами. Сильного серого кота отдавали внаймы соседям иной раз за целый фунт муки в ночь. Иные, в расчете на будущее, лишали себя куска, воспитывая котеночка,— кормили его последним. Очень было важно иметь в доме кошку. Только бы вырастить,— а там сама пропитает себя, а то и своих хозяев.

Первый враг — люди, второй — крысы, третий — бледная, злая вошь. По притонам, по вокзалам, по базарам,— вот где от нее не избавишься. А умирать сейчас, пожалуй,— не дешевле, чем жить; и очень уж хлопотно для близких.

Не одно горе было — были и радости. Радостью был каждый нерассчитанно доставшийся кусок хлеба, каждая негаданная подачка судьбы. Радостью была помощь близкого, который и сам ничего не имел, а все же пришел, посочувствовал, пособил распилить сырую балку на мелкие дровишки. Радостью было утро,— что вот ночь прошла благополучно, без страхов и без убытка. Радостью было днем солнце — может быть, и потеплеет. Радостью была вода, пошедшая из крана на третьем этаже. Радостью было, когда не было горшего горя, или когда случалось оно не с нами, а с нашим соседом.

Была тяжела в тот год жизнь, и не любил человек человека. Женщины перестали рожать, дети-пятилетки считались и были взрослыми.

В тот год ушла красота и пришла мудрость. Нет с тех пор мудрее русского человека.

НА КОЙКАХ

Астафьев лежал на койке и смотрел на тень, дрожавшую на потолке. Тень была расплывчата и вздрагивала потому, что вздрагивал свет фонаря на дворе, за окном, стекла которого были замазаны белой краской.

В камере Особого Отдела, рассчитанной на одного, помещалось шестеро, и койка соприкасалась с койкой. Рядом с Астафьевым мирным сном спал бывший генерал Иван Иванович Кларк, арестованный за совпадение фамилии, а может быть, и в качестве заложника, хотя человек он был старый, тихий и ничем не замечательный. А по другую сторону, с открытыми, как и у Астафьева, глазами, лежал пожилой рабочий с Пресни, взятый только два дня тому назад либо по навету, либо за неосторожное слово. Его только что вернули в камеру с ночного допроса, где следователь, грубиян из латышей, угрожал ему расстрелом, а за что — Тимошин так и не понял.

Теперь Тимошин не мог спать и чувствовал на сердце сосущую тоску. Раньше эти чувства, как и бессонница, были ему совершенно не знакомы; и справиться со всем этим одному было невозможно. Поэтому он шепотом спросил:

— А что, Алексей Дмитрич, вы ведь не спите?

— Не сплю. Не спится.

— Я вот тоже.

— Замучились на допросе?

— Точно что замучался. Главное — понять не могу, зачем меня водят. И — говорят — в расход тебя пустим. А за что? Как, Алексей Дмитрич, могут?

Астафьев сел на койке спиной к стене, обняв руками согнутые ноги.

— Могут все. А вы очень боитесь?

— Как же не бояться. Решат жизни ни за что, а у меня семья. Думаете — могут?

— Откуда ж знать мне. Могут и расстрелять, а могут завтра выпустить.

— Опять же я — рабочий человек, хотя, конечно, есть у меня и домик в деревне.

— Вина за вами есть какая? В чем вас обвиняют?

— Никакой нет за мной вины, Алексей Дмитрич, вот, как перед Богом говорю. Он мне толковал, зачем, говорит, с хозяином в сношении, укрывал его будто бы. А хозяин-то, фабрикант наш, давно в бегах, куда убежал — и не знаю даже. И будто я ему помогал. И уж совсем это неправда, ничего я и не знаю. Так за что же стрелять, Алексей Дмитрич?

— Вас как звать, Тимошин?

— Меня? Алексеем тоже.

— А по батюшке?

— Платонычем. Отец был Платон, а я Алексей Платоныч.

— Так вы, Алексей Платоныч, не бойтесь. Это ваш следователь только грозится, добиться чего-то хочет от вас. Стрелять вас не будут.

— Не будут, Алексей Дмитрич? А как назначат? Управы никакой на него не найдешь. Вон и вы говорите — могут.

Астафьев закрыл глаза. Неужели так до утра и не заснуть?

— А хоть бы я и укрывал хозяина — ужли же за то решать человека жизни?

— Сколько вам лет, Тимошин?

— Лет сколько? Лет мне пятьдесят два, третий пошел.

— Долго жить хотите?

— Сколько проживется, не от нас зависит.

— Сколько вы ни проживете, Алексей Платоныч, ничего нового не увидите. Жалеть не о чем.

— Семья у меня в деревне. И сам я еще не стар, Алексей Дмитрич; могу работать отлично.

— А что за радость в вашей работе?

— Радости, конечно, никакой, а все же заработок. Сейчас-то, конечно, и прибыли нет, одно голоданье. Кое-как бьешься.

— Вот видите. Чего же бояться. Убьют — ну и черт с ними. Есть о чем жалеть.

— Как же можно, Алексей Дмитрич; вдруг так, ни за что, здорово-живешь,— и убьют. Какая же в этом справедливость.

Астафьев зевнул. Хорошо, если бы это ко сну, а не просто от скуки. Живет человек зря, безо всякой радости, да еще подай ему справедливость.

— А вы, Тимошин, успокойтесь и спите. Вас зря пугают и скоро выпустят на волю. И живите, сколько вам понадобится.

Пятый месяц сидел Астафьев в этой камере. Трижды был на допросе у чахоточного следователя Брикмана. Очевидно, все дело в человеке в желтых гетрах. Чудак! Зачем он надел эти гетры. Но и смельчак: три месяца ловили его в Москве и не поймали. А он еще доклады читал в разных «Союзах освобождения». И покушение, конечно, его дело.

«Если докажут, что он у меня ночевал, тогда мне, конечно, крышка. Кто выследил? Кто мог донести? Сосед Завалишин? Завалишин, несомненно, чекист. Но все-таки не он — он не мог. Да и не было его дома в ту ночь. Нет, не Завалишин. Скорее — Денисов, преддомком. А ну их всех...»

Астафьев поднялся с койки и тихо стал прокрадываться к окну. На белом стекле внутренней рамы появилась маленькая тень. Тень, ползя по раме, приближалась к открытой в камеру форточке. Астафьев, подойдя вплотную, поднял руку и приготовился. В тот момент, когда мышь высунула мордочку изнутри, готовясь пробраться в камеру, Астафьев легонько щелкнул ее пальцем между дрожащими усиками, и мышь с писком шлепнулась на подоконник.

Удача!

Астафьев, довольный и улыбающийся, снова улегся на койку. А то ведь эта шельма опять съела бы хлеб. В прошлую ночь, не найдя хлеба, мышь съела в коробочке несколько шахматных фигур, сделанных из мякиша генералом, большим искусником этого дела. Пришлось ферзя, туру и две пешки лепить заново.

Мышь жила в подоконнике, проделав между рамами ход. По ночам пробиралась в камеру, хозяйничала на столе и в кулечках с передачами, а не найдя съестного — забиралась на койки. Однажды укусила генерала Ивана Ивановича за палец ноги: у него одеяло слишком коротко, все сползает.

И вдруг Астафьеву страстно захотелось на волю. «Как глупо! Ведь вот тут, за окном, за стеной,— улица, люди, извозчики. Два стекла и несколько кирпичей. И еще несколько грубых человеческих воль, которые можно отшвырнуть словом, жестом, убеждением. Какая-то комедия! Не бояться смерти и все-таки не биться, не ломать дверей, не вступать в рукопашную, не подставляться под пулю».

Стиснув зубы, сжал кулаки, думал: «Разбросать их всех, как щепки».

И сладостно чувствовал в руках и спине игру сжавшихся мускулов, лишь немного ослабевших в тюрьме. Бил, мял, грыз, отбивался, разносил толпу обезьян осколком стола, бежал по лестнице, уклоняясь от выстрелов, на дворе, у входа, свалил с ног часового, выбежал на улицу, скрылся за угол, обманув погоню, и, переменив направление, спокойно шел домой, наблюдая издали смятенье чекистов, метанье автомобилей, напрасную суету обманутых палачей.

Нет, не домой, где сразу найдут, а обходом, улочками, лабиринтом,— на Сивцев Вражек, чтобы, не входя, постучать в окно, дождаться, пока откроется форточка, и негромко крикнуть:

— Таня, не пугайтесь, это я, Астафьев, актер Смехачев. Меня ловят — приютите меня, Таня.

И она скажет:

— Господи, вы? Ну, конечно, скорее.

И, войдя, он без слов и без лишних объяснений обнимет ее впервые, крепко и надолго.

С соседней койки раздался шепот:

— Вы не спите, Алексей Дмитрич? Тоже и вам несладко!

И после молчанья:

— Видел, как вы мышку-то ловко в нос щелкнули. Вот тоже, какой зверь чудной,— своей охотой в тюрьме живет!

ХЛОПОТЫ

Дядя Боря отказался наотрез.

— Нет, Танюша, я тут ничем не могу помочь. Встречаться я с ним встречаюсь, бывают у нас такие заседания, чисто технического характера, по части обороны, но личных отношений

у нас никаких. Только здравствуйте-прощайте. Ты знаешь, отдел наш совершенно автономен и исключнтельно научный, никакой политикн. И мне, Танюша, невозможно совершенно.

— Я поннмаю, дядя, что вам самому неудобно. Но мне только нужна рекомендация, чтобы меня к нему пропустили.

— Это все равно, Танюша, ведь дело-то политнческое, да еще такое серьезное.

— Дядя, но ведь Астафьев арестован случайно н напрасно, никакого отношения он иметь не мог.

— Ничего я не знаю, и ты знать не можешь.

— Я уверена в этом, дядя. Если похлопотать, его могут сейчас же н выпустить. Нужно только найти ход.

— В такое время, как сейчас, Танюша, лучше не хлопотать, а подождать. Только себя запачкаешь, а ему не поможешь. И фамилия у нас слишком заметная. Раз он не виноват, ты говоришь, так его н так освободят.

— Дядя Боря, но он же наш друг, н у него ннкого нет, кто мог бы о нем подумать.

— Я понимаю, Танюша, и... я в его ннтересах и говорю. Может быть, если начать о нем хлопотать, обратят вниманне н будет хуже; а так... Если бы еще его родственнннки...

— У него нет ннкого.

— Вот видишь!

— Что внжу, дядя?

— Вот я и говорю, что... я-то тут уж совсем нн при чем. И, главное, я боюсь, что моя рекомендация... что я не на хорошем у них счету. То есть ничего нет особенного, но все-таки они к нам, спецам, относятся подозрительно.

— Значит, вы не хотнте, дядя Боря?

— Хочу, Танюша, очень бы хотел, но ннчего не могу, совершенно нн-че-го. Мне очень обидно. Помочь хочется — а ничем не могу. Уж такое сейчас время проклятое. Эх, Танюша, дождемся ли мы лучшнх дней, уж н не знаю. Какой-то кошмар.

Танюша замолчала, подумала, потом быстро подняла голову н внимательно посмотрела на дядю Борю. Под ее взглядом он немножко сгорбился н опять пробормотал: «Да, чистый кошмар. Прямо ничего не придумаешь». Тогда Танюша встала, взяла свою сумочку и сказала:

— Дядя Боря...

— Что, Танюща, что, моя милая?

— Ничего. До свндання, дядя Боря.

Он проводил ее до самого выхода, ндя немножко позади. В швейцарской, где было несколько служащих, пожал ей руку н как-то смущенно, стараясь быть ласковым, шепнул:

— Поннмаю, Танюша, понимаю тебя. Ты у нас молодец, и добрая. И все же советую тебе: обожди.

Танюша молчала. Он, скользнув глазами по сторонам и еще понизив голос, прнбавил:

— И во всяком случае, знаешь... я бы тебе решительно

не советовал... если даже найдешь ход, упоминать обо мне. Мне лично, конечно, все равно, я не боюсь, но как бы этим не испортить. Все-таки спец, опасный элемент, в их глазах подозрительный. Все дело можно испортить...

Танюша, без улыбки, не повернув головы к дяде Боре, громко сказала:

— Не беспокойтесь, дядя. Я вам ничего не испорчу.

И вышла.

Вечером, когда, по обыкновенню, пришел новый друг домика на Сивцевом Вражке, Васин спутник Протасов, Танюша имела с ним длинный деловой разговор. Перебирали разные фамилии и решили, к кому и через кого можно скорее найти ход. Круг нужных знакомств у Протасова был невелик. Однако несколько деловых визитов назавтра он себе наметил.

— Выйдет не выйдет, а попробовать нужно. Возлагаю надежды на одного приятеля; он, кажется, к ним вхож. И сам человек не дрянь, довольно прочный. Справку-то, во всяком случае, можно через него получить. А вот рекомендацию вам — уж не знаю.

Наутро Протасов был у приятеля, с которым давно уже не видался. Встретились хорошо.

— А ты что же делаешь теперь?

— Я? Мешочничаю.

— Вот чудак. Разве выгодно?

— Ничего, живу.

— А почему не работаешь по специальности? Сейчас люди нужны.

Протасов изложил свою просьбу: навести, где полагается, справку, за что взят Астафьев и что ему грозит. Приятель, хоть и не очень охотно, согласился.

— Ладно, я позвоню одному типу; только с ним нужно осторожно, так что ты не удивляйся.

И позвонил:

— Алло! Это вы? Да, да. Узнали по голосу? Слушайте, милый, ну как вчера окончилось? А долго сидели? Так. Так-так. Вы думаете, выйдет что-нибудь? Ну что ж, хорошо. Да. Значит — не раньше послезавтра? Хорошо, я позвоню. Ну, пока... Постойте, что-то я хотел вас спросить... Да, вы не можете ли дать мне одну справочку, тут ко мне все пристают родные одного арестованного, сейчас разыщу фамилию. А? Да нет, кажется, ерундовское дело, просто — зря взяли, но уж очень надоедают мне. Фамилия его...

Ответа на справку пришлось ждать с полчаса. По характеру ответ был неутешителен.

— Определенно ничего, но очень сильные подозрения. Дело у товарища Бринкмана, а он любит подержать.

— А если похлопотать за него? — спросил Протасов.

— Помогает иногда. Ты его лично знаешь?

— Лично не знаю, но есть общие знакомые. Одна девушка о нем хлопочет.

— Кто такая?

Протасов подумал и назвал Танюшу. Приятелю своему он доверял.

— Она не родственница профессора?

— Внучка.

— Ну что ж, это хорошо. Профессор — человек известный, уважаемый. А сам он не мог бы?

— Сам он слишком стар.

— Так тебе что же; Протасов, рекомендацию для нее дать?

— Да, если можно.

— Ладно. Ты за нее ручаешься?

— Ну, конечно.

— Нет, я так только. Всяко бывает. Ты что, влюблен в нее? Хорошенькая? А к кому же рекомендацию? Я могу вот только к этому типу, которому звонил. С ним я хорош, с другими хуже.

— А он кто?

Приятель назвал фамилию достаточно крупного «типа», чтобы слыхал о нем и Протасов. Это было не то лицо, разговора с которым добивалась Танюша, но приятель Протасова, услыхав, к кому она добивается пропуска, только рассмеялся.

— Э, нет, батенька, к нему бесполезно совершенно. И бесполезно, и попасть мудрено, он к себе не подпускает. Да он и слушать не станет. Мой тип ближе к маленьким делам. Только вот что... между нами говоря... человек он не первосортный, попросту говоря — дрянь порядочная. Но он сейчас в силе. С ним все-таки нужно осторожнее, зря не болтать. Ты предупреди ее, девицу свою.

— Ты с ним дружен?

— С ним? Я его знаю давно, еще по ссылке. Дружбы нет, а так — ничего, часто видимся. Я ведь сам не коммунист и политикой не занимаюсь, а только заседаю в разных коллегиях. А ты, Протасов, право же, напрасно не служишь. Ведь люди сейчас действительно нужны, а то порядочных людей совсем не остается. А ты работник отличный.

— За то меня, вероятно, и выгнали с фабрики.

— Разве выгнали? Ну, это случайность, это ведь так, зря, всех без разбору инженеров выгоняли. Хочешь, я тебя устрою? Ты сейчас нигде не служишь?

Протасов назвал учреждение, не имевшее отношения ни к технике, ни к горному делу. Там он больше числился, чем действительно работал.

— Черт знает, какая ерунда. Там ведь делать нечего.

— Я там ничего и не делаю. Только иногда захожу получить пакетик дрожжей да баночку патоки.

— Ерунда, я тебя устрою по инженерной части.

Протасов подумал.

— Что ж, я бы работать хотел. Только мало верю в теперешнюю работу. А зря не хочется.

— Сейчас, конечно, работать плохо. Но понемножку наладится.

— Кто наладит-то?

— Кто? А ты и наладишь. Ты, я, другие, одним словом — настоящие люди. Пока верховодят дураки и мальчишки, потому дело и не идет. Но подожди, придет время, все поуспокоится и встанет на рельсы. Не сразу, Протасов.

— Я знаю. Но к тому времени ни одной машины целой не останется.

— Новые машины заведем.

— Средств на это не будет.

— И средства добудем. Экий ты пессимист, Протасов. Что ж, по-твоему, Россия погибнет, что ли?

— Может и погибнуть.

— Нет, милый, это — нет. Это только сейчас так кажется, от усталости. Я сам человек без иллюзий и отлично знаю нынешних правителей и одно скажу тебе: нет, Россия не погибнет, не такова страна. И ты, Протасов, в это не веришь, только так говоришь.

Они расстались дружески, и Протасов унес рекомендательное письмо для Танюши.

«В сущности он — хороший парень,— думал Протасов.— Россия, конечно, не погибнет, и работать для этого, конечно, нужно. Но шутливо врать по телефону и амикошонствовать со всякой дрянью,— это не всякому подходит. Но и судить его строго нельзя: веди он себя иначе — не мог бы пособить в трудном деле так просто и легко. А работать, конечно, нужно. Только бы немножко стало дышать полегче; и дураков стало бы поменьше».

ВОЛЧЬИ КРУГИ

Это удивительно, до чего волки перестали бояться!

Была зима многоснежная, и на пути от леса до деревни волк много раз глубоко завязил задние ноги. Луна освещала за ним черную дорожку следов, не прямую к деревне, а легкой дугой, с загибом к перелеску, точно волка невольно тянуло туда, к тени.

Через мост была дорога наезженная, хотя и моста сейчас, зимой, не было видно; снег засыпал речку с верхом, сровняв берега с полями. Только прутья ивняка отчерняли русло.

У края проезжей дороги волк присел и глухо повыл баском. Собаки ответили — далеко и нехотя. И волк побежал вперед боком, подтянув хвост.

Вторая от края изба колчагинская, отца Андрея и Дуняши. Изба большая. В левой половине, где палисадник, жила с мужем старшая Дуняшина сестра. У них ребенок.

Волки перестали бояться потому, что убыло в деревне мужчин — каких на войне убили, а какие позастряли в городах. И пороху не было стрелять по волкам; больше теперь по людям стреляли. И собак стало кормить труднее.

Мать Дуняши была еще молода, сорок пять лет. Ее звали Анной; и сестру тоже звали Анютой. Жили бедно. И когда приехала из города Дуняша — хоть и привезла разиого добра и иемного деиег,— все же прибавилась семье лишняя тягость. Об Андрее ни слуху ни духу.

Колчагиискую собаку звали Прыска; дал ей кто-то такое непонятиое название. Прыска была старовата, грязнотела, ростом иевелика. Волков чуяла плохо,— а впрочем, что ей стеречь? Овцы заперты, корова в стойле, сейчас за стеиой у стариков. Стеречь иечего — разве из солидарности с другими собаками. Прыска жалась к теплой стене и старалась спать. Хотя главиый сон, конечио, днем в избе.

Что все иа запоре — зиал отличио и волк. Но что же делать? Его тянуло иа деревню, потому что в деревне пахло хлевом и овчарией. Ои был тощ и голоден, ужасно голоден. Могли быть в помойках мерзлые кишки или кости. Или просто хоть подышать сытым воздухом. К избам ои подошел с огорода, а не по дороге. И ни одна собака ие тявкнула — все спят.

Выправил иоздри, потянул воздух. Морда у волка заиндевела. Поплелся туда, где помойка. Там было много собачьих следов,— тоже и собакам голодно.

Где собаки рыли поверху, там волк врывался зубом глубже, помогая и когтями. Но только иачал — залаяла Прыска, за ией залилась вся собачья деревня.

Прыска, как заправило, и визжала, и подвывала, бегая по двору и с иалета прыгая иа крыльцо. Металась, боялась, пугала, дрожа и иегодуя, что пришел волк. Но выбежать прямо на волка... ну куда же ей, Прыске, на волка! Шарахалась о дверь и выла до хрипоты.

Никто в деревне не пошевелился; на минуту проснулись, зиали: волки близко. Да ведь это каждую иочь. Чего иа иих смотреть? Все заперто.

Волк бежал от помойки к помойке, царапал, грыз. В одном месте донюхался до овчарни, прямо под собачьим лаем. Из овчарни так и тянуло теплой овцой, и бежала у волка слюиа, замерзая в сосульку.

Ухо болело от собачьего лая. А деревня спит.

Спит деревня.

Обежал вокруг иее, от помойки к помойке, от избы к избе, волчий голод. Два полных круга описал волк окрест деревни. Ядовитой голодной слюиой закапал свой след.

Когда выбежал за околицу, сел, облизался, завыл на деревню:

проклял ее за свой голод!

Ежилась и жалась от его проклятий Прыска у колчагиискоЙ избы. Люди ие поняли. Прыска поняла волчье проклятье.

Что-то будет!

Был среди деревни шест. На шесте под скворечиой крышей колокол. Вот бы в этот колокол ударить, чтобы все знали:

проклял деревню волк,

на голод ее проклял —

иа то, чтобы и людям рыться в своих помойках, загрызать своих собак.

Чтобы и их тянул овечий навоз теплом и сытостью.

Чтобы выли иа луну по-волчьи и желали друг другу напастей.

И пугались бы тени своей, поджимая хвосты, и сами стали бы тенями.

Чтобы иечего им было держать под замками, прятать от волчьего голода,—

и да будет пуще волчьего голод человечий!

Пусть бы вызванивал колокол иа грядущую тоску, а люди в страхе метались и щелкали зубами, источающими голодную слюну.

Улыбалась луиа, слушая волчье проклятье деревне. Не верила. Или и верила, да не страдала ии за волка, ни за людей.

И когда увидал волк зайчонка, скоро-скоро прыгавшего от огородов, где были кочерыжки,— сразу помолодел волк и пустился вдогонку. Заяц прыгал легко, прямо по иасту, волк грузно, проваливаясь, закусывая мокрый язык. Догадался, обежал дугой к лесу, чтобы зайцу перебить дорогу.

Жрал его заранее глазами, подвизгивал от страсти, пугал свою жертву огнем глаз.

Огибая дуги, доскакали до опушки. И был момеит, когда желтыми зубами едва ие тяпнул волк куцый заячий хвост. Но спрятался заяц в кусты: и видно, а ие достать. А когда волк, высоко задрав голову, чтобы смотреть поверх сучьев, засыпанных снегом, стал наступать на заячье прикрытие,— прыснул беляк совсем незаметно и, поддавая задом, юркнул в лес дальше. Теперь уж кончено, ие догнать.

И побрел волк вглубь, безо всякой больше иадежды, до логова,— заспать голод голодной дремой и сиами об овечьем тепле и человечьей жадности.

Было утро. В деревне вставали. Прыска повиляла хвостом и протискалась в избу — прикорнуть в тепле.

Коичеиа служба — собачья служба.

Прошла иочь. Пришел день.

ДРУЗЬЯ ЮНОСТИ

Сердце Васи сильно билось, когда, свернув иа Сивцев Вражек, ои подошел к очень зиакомой двери особнячка и постучал.

Вася был в полушубке, в валенках с красиым рисунком — вероятио казаиской работы,— в шарфе и теплой шапке с иаушниками. После тифа ои пролежал в постели еще почти месяц, так как доктор боялся осложиеиий. Таиюша, когда острый период его болезни коичился, стала навещать гораздо реже. Ей приходилось трудно: иесла иа себе хозяйство, стряпала, мыла, ииой раз продавала разиые мелочи иа Смолеиском, а по вечерам и в праздники днем выступала часто в коицертах. При

общем обеднении рабочие клубы стали платить артистам меньше, а достать урок в такое время было невозможно, особенно зимой, когда и учебных занятий почти нигде не было: школьные помещения не отапливались, а дети и юноши заняты были, как и взрослые, добыванием хлеба.

И было еще одно: как-то не о чем стало Васе говорить с Танюшей. Она, приходя, пробовала рассказывать ему слухи о событиях,— но и события и слухи были так печальны и так путаны, что никак не могли служить развлечением для больного. Иногда заходила она одна, иногда приходил с нею, а чаще случайно встречался у Васи Протасов. И ежедневно, как и прежде, приходила Аленушка, хотя Васе сиделка, собственно говоря, уже не требовалась. Но Аленушка могла поддержать только разговор о дороговизне. Какая-то неловкость была между Васей и Танюшей, что-то недосказанное,— и оба хорошо знали, что имеино было недоговорено. И визиты Танюши стали редкими.

С постели Вася встал, когда улицы московские давно уже покрыты были снегом, которого счищать было некому. Лежали изрытые копытами и приглаженные полозьями сугробы, под которыми скрылись и тротуары. В иных местах снег подгребали и складывали в вал, чтобы очистить тропочку у ворот и подъездов. У особнячка на Сивцевом Вражке чистить было некому, так как дворник Николай поздней осенью ушел в деревню.

— Что же я здесь, только в тягость! Ужо, может, полегчает жизнь к весне, а то к будущему году вернусь. Не вечно же так будет.

Сторожку его разобрали на дрова. Давно, еще при нем же, пришлось пустить на топливо и баню. Зато были дрова на зиму.

В первый раз пришел сегодня Вася на Сивцев Вражек,— хотя выходить начал еще за неделю. Все откладывал. Сначала думал зайти так, чтобы застать только старого орнитолога. Потом решил, что все равно,— когда-нибудь надо же решиться увидать и Таню у нее дома, в знакомой обстановке. Ведь, собственно, ничего не случилось! Все вышло так, как и должно было.

Он застал Танюшу одну. Профессор пошел прогуляться, захватив и портфель с книгами.

Танюша обрадовалась приходу Васи, но и смутилась. Видела, что Васе как будто не по себе, что держится он, словно бы вошел в чужой дом, а не в знакомый с юности. И знала Танюша, что причина в ней. Но разве она виновата! Разве что-нибудь обещала Васе?

Он думал, что заговорить с Танюшей, хоть немного с ней объясниться, будет трудно, и боялся разговора. А чувствовал, что нужно. Нужно ей сказать, что он, Вася, все понимает, и что он, Вася, желает ей всякого счастья. Тогда легче будет встречаться и попросту, по-прежнему; ну хоть и не по-прежнему, а все же по-дружески беседовать. Чтобы неловкость эту изжить. Оказалось все легче, и вышел разговор случайно.

— А кто у вас теперь наверху живет, в вашей комнате?

— Наверху пока никого. Дуняша уехала — а ведь ее брат, комиссар, еще раньше исчез,— н про комнаты как-то забыли н на учет их не взяли. Так н пустуют. Но, может быть, скоро туда переедут.

— Знакомые или так?

— Знакомые. Может быть — хотя не наверное — переедет Петр Павлович. У него, правда, есть квартира, и даже с ванной, но сейчас все равно вода везде замерзла, так что ванная ни к чему... Ему предложил дедушка...

Танюша долго объясняла, почему Протасову было удобнее переменить квартиру — н к службе гораздо ближе, н их комнаты спаслись бы от реквизиции, так как имеет право на дополнительную комнату для занятий,— но почувствовала Танюша, что объяснять этого не нужно, да Вася и не слушает.

И немного сидели молча.

Потом Вася вдруг спросил:

— Вы за него замуж выйдете?

Она как будто не удивилась вопросу, как будто ждала. И, не повернув головы, сказала:

— Я не знаю. Мне Петр Павлович нравится, мы очень подружились...

И прибавила тем же тоном:

— Вы не одобряете, Вася?

Потом взглянула на Васю. Он сидел неподвижно, смотрел на свет окна, а глаза его были полны слез.

— Вася, ну неужели же вы... неужели вы плачете, Вася?

Вася, не сводя глаз с окна, шарил руками н искал платок,— а платок-то, как нарочно, забыл взять.

— Ну можно ли так, Вася!

Он, отвернувшись, дрожащим, каким-то детским голосом сказал:

— Ничего, это я, знаете, Танюша, от болезни стал такой ужасно слабовый... то есть слабенький...

И, сказав нечаянно смешное слово, Вася сразу разрыдался.

Танюша утешала его, как мать ребенка. Вытерла своим платком его слезы, гладила по коротко остриженной круглой голове, придерживала лоб, когда он прижался к ее руке,— в первый раз в жизни так прижался! Может быть, сколько раньше мечтал об этом,— а вот когда стало оно доступным!

Теперь Вася просто не знал, как поднять голову. Было очень стыдно за слабость свою, н еще непременно нужно было вытереть нос, а нечем. Но дело в том, что действительно он очень ослабел после болезни, оттого так и вышло.

— Вам, Вася, нужно поправляться, окрепнуть хорошенько. Вы очень исхудали.

— Да, простите меня, Танюша, за эту глупость.

— Ну что вы, Вася.

— Я, Танюша, все равно и раньше все знал, догадался, конечно... А только... Но я вам всякого счастья желаю. Я потому и пришел, чтобы сказать.

— Спасибо, Вася, я знаю. Ведь вы мой милый друг, всегда, с самого детства. Только давайте теперь о чем-нибудь другом.

— Давайте, все равно. Я у вас этот платок возьму, можно? Потом выстираю и отдам,— поспешно прибавил он.— Профессор скоро вернется? Жаль, что я его не застал.

— Вы посидите у нас?

— Долго не могу, нужно домой.

— Кто-нибудь придет к вам?

Спросила «кто-нибудь», а сама знала, что прийти к Васе может только Аленушка, которая всегда приходит. И искала — не будет ли на Васином лице нового смущения. Но он совсем просто ответил:

— Придет Елена Ивановна, она ведь каждый день приходит.

— Какая она милая и заботливая. Это она вас выходила, Вася, без нее вам было бы плохо.

— Да, конечно. Она замечательная. И, главное, все это так бескорыстно, а ведь ей самой жить нелегко. Сколько она на меня времени потратила.

Танюша про себя улыбнулась.

— Вы, Вася, вероятно, очень привыкли к Аленушке за время болезни?

Вася ответил: «Да, еще бы!» — и подумал: «Вот это она, Танюша, напрасно говорит!» Понял, что Танюше очень удобно, чтобы он, Вася, привык к Аленушке и чтобы была ему Аленушка нужна и впредь. Ей, Танюше, будет тогда как-то свободнее,— хотя ведь он ничем ее стеснить не может и не хочет. Пусть она любит Протасова и пусть замуж за него выходит. Что разревелся Вася, как гимназист, это, конечно, глупо и смешно. А говорить сейчас же про Аленушку совсем было не нужно,— точно в утешенье.

И еще Вася почувствовал, что ему за Аленушку обидно. Ведь она действительно его выходила и до сих пор не перестает о нем заботиться. Конечно, она не такая, как Танюша, а гораздо проще,— и не очень образованная, и когда смеется, то забавно всхлипывает носом. Но зато она сердечная и очень добрая, с ней легко. Зачем же намекать, что вот, мол, есть у Васи утешенье в том, что Танюша его не любит и выйдет замуж за Протасова.

И Вася сказал:

— Елена Ивановна человек простой и отлично ко мне относится. Я ее глубоко уважаю. И она много в жизни испытала тяжелого. Я перед ней неоплатный должник.

Танюша поняла, что Вася должен так сказать. И в то же время Танюша по-своему, по-женски, подумала: «Ну, ничего, Вася как-нибудь расплатится с Аленушкой».

И ей стало весело.

Профессор вернулся усталым, но очень довольным.

Во-первых, день хоть и холодный, но солнечный и приятный. Во-вторых, в Лавке писателей, куда он отнес книги, по-

казали ему дошедший случайно номер англнйского орнитологического журнала за прошлый год. И там оказалась перепечатка из его книги о перелете птиц, и несколько строчек, почтительных н по-ннностранному любезных, было посвящено автору книги, «нзвестному русскому ученому н неустаниому нзучателю жизни пернатых».

В прежнее время такие строки о себе профессор читал часто, не без удовольствня, но спокойно. Сейчас, в такое тяжелое время, в полной заброшенности н оторванности от европейской ученой среды,— сейчас он по-настоящему растрогался. И пока шел домой по Тверскому бульвару, пржимая портфель с номером журнала, преподнесенным ему на память, чувствовал, как сначала глаза теплеют, а потом на реснице холодит льдинка. Было н совестно н очень хорошо на душе.

«Все же там старнка не забывают!»

Думал:

«Вот быть бы помоложе, дождаться легкнх дней,— н прокатиться с Танюшей за границу, в Парнж, в Лондон. Можно бы даже сделать доклад в орнитологическом обществе по-англнйски».

Вспомнил с беспокойством: «А вот сюртука-то и нет! Пришлось сюртук выменять на картофель. Фрак остался, фрак не меняют, потому что у него фалды: никак его не переделаешь на простую нужную одежду. Но в Англии как раз во фраке н нужно, если вечером». И еще подумал: «Вот бы нздать книгу; вчерне она совсем готова, только переписать. Работал над ней больше десятн лет. Но сейчас нздать н думать нельзя. Сейчас вот только мальчики нздают стихи, как-то умудряются. И названья книжкам придумывают удивительные: «Лошадь как лошадь»,— Бог знает, что это значит, разве что просто озорство».

Но все-таки было сегодня на душе профессора хорошо.

Васе он очень обрадовался:

— Да какой же ты бритый, голова, как шарик. Ну, молодец, что выздоровел. Теперь заходи к нам почаще.

Потоптался, поулыбался, но не выдержал, вынул из портфеля английский журнал, показал Васе смущенио:

— Вон, смотрн, какая редкость мне попалась,— новый номер, хоть н прошлогодний, а все-такн. Сейчас ведь н университет не получает ничего нз заграницы. Тут н меня, старнка, не забыли. Приятно все-таки.

Вася перелистал журнал, посмотрел картинки, сказал:

— Да, это приятно. А какое нздание замечательное.

— Ну еще бы, они умеют; н денег у них много.

Танюша приготовила завтрак, но Вася заспешил:

— Я все-таки пойду.

— А не позавтракаете с намн, Вася?

— Нет, нельзя мне, я к двум обещал быть.

— Заходите, Вася.

— Да, да. Будьте здоровы, профессор.

— Отчего спешишь?

— Нужно.

— Ну, как знаешь. А я тебе очень рад, очень рад.

Когда Вася ушел, дедушка подозвал Таиюшу и погладил по головке.

— Ну, как Васю иашла? Какой-то ои тихий стал.

— Я же, дедушка, часто его видала.

— Ну-ну. А как ои, скучает?

— Почему скучает, дедушка?

— Ну, там иасчет сердечных дел. Ты его все же жалей, Танюша. Ои такой предаиный, иелегко ему.

Таиюша приласкалась к дедушке:

— Я думаю, дедушка, что Вася скоро утешится. Ему даже лучше будет.

ДВОЕ

Хотя центром вселенной был, коиечио, особнячок на Сивцевом Вражке, ио и за пределами его была жизиь, вдаль уходившая по радиусам. Каждый человек цеплялся за жизиь, и каждый считал себя и был центром.

Центром своего мира был и Андрей Колчагин, дезертир великой войны — как говорили раньше,— или войны империалистической — как те же люди говорили теперь,— бывший комеидант Хамовиического Совдепа, а теперь командир сборного отряда иа войие гражданской. Опять полуголодная жизиь, опять холод, опять вши. Но и разница: в ту войну — раб бессловесный, пушечное мясо, в эту — боец за счастье человечества.

В чем должно выразиться счастье человечества, Колчагин, правда, не зиал, ио все же теперь и голод, и холод, и вши имели свое внятное оправдание: нужно было победить внутреннего врага во что бы то ни стало, иначе всех Колчагиных ждала жестокая расправа и месть. Теперь враг был реалеи. Уже не немецкий Ганс, с которым нечего было делить, а тот самый ротиый командир, который бил Колчагиных по левой скуле кулаком наотмашь. Впрочем, вперед вела ие столько злоба, давио притупившаяся, сколько боязнь за свое будущее. Но сознаться в этой боязни было иельзя — даже перед самим собою. Страх — не знамя. И как прежде для Колчагиных придумывали девизы «за веру, царя и отечество»,— так и сейчас писали белым по красному: «за социализм и советскую власть». Слова, как и прежде, иепонятные и иеиужные; ио смысл в иих, как и прежде, каждым вкладывался свой. Колчагиины понимали это так: спасайся сам и спасай своих. И бились Колчагиины за страх и за совесть.

Со времеии дезертирства своего Андрей Колчагии вкусил многого: вкусил свободы от обязательств, ему навязаиных силой, вкусил власти, вкусил жизни легкой, почти барской. И думать иаучился,— раньше этого от солдата не требовалось. Полюбил красоту звонкого слова, сам научился говорить его,

проникся духом воина-профессионала, понял смысл подвига, малоценность чужой жизни, высокую цену своей. И был теперь Андрей Колчагин на виду,— все пути ему открыты; не серый солдат, один из тысяч и миллионов, а избранная единица, с которой говорят человеческим языком, которую величают товарищем. Одно сознанье того, что не добытые в училище или по барскому положению погоны, а лишь личная доблесть, то есть сметка и смелость, выдвигают человека на большой пост,— одно это сознание решало для Андрея Колчагина и многих других Андреев, на чьей стороне их место, их любовь и надежда. Может быть — на поверку,— было это и не совсем так,— но там, в стане золотопогонников, не нужна была и проверка. Там был у Колчагиных опыт верный, необманный и тяжкий — здесь же все было ново и все возможно.

Стена против стены стояли две братские армии, и у каждой была своя правда и своя честь. Правда тех, кто считал и родину, и революцию поруганным новым деспотизмом и новым, лишь в иной цвет перекрашенным насилием,— и правда тех, кто иначе понимал родину и иначе ценил революцию и кто видел их поругание не в похабном мире с немцами, а в обмане народных надежд.

Бесчестен был бы народ, если бы он не выдвинул защитников идеи родины культурной, идеи нации, держащей данное слово, идеи длительного подвига и воспитанной человечности.

Бездарен был бы народ, который в момент решения векового спора не сделал бы опыта полного сокрушения старых и ненавистных идолов, полного пересоздания быта, идеологий, экономических отношений и всего социального уклада.

Были герои и там и тут; и чистые сердца тоже, и жертвы, и подвиги, и ожесточение, и высокая, внекнижная человечность, и животное зверство, и страх, и разочарование, и сила, и слабость, и тупое отчаяние.

Было бы слишком просто и для живых людей и для истории, если бы правда была лишь одна и билась лишь с кривдой: но были и бились между собой две правды и две чести,— и поле битвы усеяли трупами лучших и честнейших.

В эти дни пал молоденький юнкер, которого все звали Алешей,— мальчик сероглазый, недавний гимназист. Убивал с другими — и был убит сам. Лежал на спине, и взор его невидящий глядел в небо,— за что так рано? Пожить бы еще хоть малый ряд денечков! И уже была украшена грудь его георгиевской ленточкой,— за подвиг в братской войне. Погиб Алеша!

В эти дни был убит и солдат-командир, герой красного знамени Андрей Колчагин. Тяжело раненный в голову, он споткнулся о труп Алеши и упал рядом.

Не спросив их имен, не взвесив их святости и греховности,— одним пологом заботливо прикрыла их вечная ночь.

ВЛАДЕНИЯ ЗАВАЛИШИНА

Когда ие было операций, Завалишии ходил по коридорам и комиатам места службы, соииый, опустившийся, с опухшими глазами. Зиали его все, ио иастоящих приятелей у иего ие было.

Были и такие, которые стороиились от иего, иикогда ие здоровались за руку, а то и старались ие замечать: отпугивало их страшиое ремесло Завалишиия.

Заходил иногда в комендаитскую и в каицелярию, молча садился на лавку, спрашивал, когда будет выдача продуктов и когда получать по требовательным ведомостям. Ведомости ои составлял аккуратио, кривым, ио ясным почерком, после каждого случая отмечал число месяца, число штук и иомера ордеров, прилагая и докумеит. В этом отиошеиии был Завалишии строг и даже в пьяиом виде ие выполиял работы, ие получив оправдательиого докумеита с подписью и печатью.

У Завалишиия была одна, Аиия Климовиа, к которой раиьше хаживал ои по субботам; теперь ои ее поселил у себя иа квартире, ио видал ее больше дием, в обедеииый час. Женщиия еще молодая, ио хозяйствеииая, степеиная. О профессии Завалишиия зиала точно, ио особого иитереса к этому ие проявляла. Узиала, подивилась и сейчас же привыкла; хороший же заработок сожителя ее радовал. Хоть и ие любил он говорить о своей работе,— все же старалась расспросить, миого ли предвидится иа очереди, ие прибавят ли с головы иа дороговизиу и по случаю того, что деньги опять подешевели. С иитересом смотрела, когда сожитель возвращался с работы в иовом костюме или иовых сапогах; зиала, что, по обычаю, получал ои освободившуюся одежду. Прилаживала, выпускала рукава — если коротки, мыла прииесеииое иечистое белье. Все — спокойио, степеиио, хозяйствеиио. Когда Завалишии возвращался домой пьяиым,— укладывала спать, ие очень ругая: поиимала, что такая уж работа, ие простая, ие выпивши — трудио. С преддомкомом Деиисовым устаиовила Аиия Климовна добрые отиошения; может быть, даже прииимала его, когда выдавались у Завалишиия особо рабочие дии и ои почти ие заходил домой.

Особо рабочие дни выдались в августе и сеитябре, когда ликвидировали бандитов. В эти дни Завалишии трезвым работать отказывался. Водку для иего всегда припасали — даже ие приходилось самому заботиться. Случалось и днем работать. Однажды пошел Завалишии иа Сретенку в вещевой склад получать по ордеру фуражку и ие успел выбрать по голове, как за ним прислали. Нехотя пошел, коичил дело, иаписал и сдал ведомость,— а когда вернулся иа склад, все лучшие кожаиые фуражки уже разобрали. Долго ворчал, ие мог успокоиться.

Пропуск имея повсюду, как человек нужный и важиый, с особой охотой заходил Завалишии в иадворный флигель дома иомер четыриадцать, где помещалась общая подвальиая камера, прозваиная Кораблем смерти. Сюда его тянуло больше потому,

что в яме чаще всего сидели бандиты, народ понятный, аховый, о котором сомненья быть не может. В полнтиках Завалишин не разбнрался, не понимал ясно, почему одни сидят, другие на воле, третьих выводят в расход. Здесь же доступнее, вроде как бы свои; либо ты его, либо он тебя. Хорошо ругаются, друг друга знают н на смерть идут параднее, только обязательно просят выкурить папироску. Многих из них знавал на воле «комиссар смерти» Иванов и о многих рассказывал Завалишину историн. И очень удобно рассматривать их сверху, с балкона, окружающего их яму. Иных знал в лицо хорошо — давно сидели.

Знали в лицо и Завалишина. Когда он подходил, праздный, скучающий, тупой и равнодушный,— внизу, в трюме Корабля, воцарялось полное молчание, еще более мертвое, чем когда приходил комиссар Иванов, вызывавший по спискам, сам из бандитов и, может быть, потому для многих сидевших как бы человек близкий.

По всем этнм помещениям Завалишин гулял лишь в свободное время, когда не был очень пьян и когда было скучно от безделья. Местом же главной его работы был низкий и темный подвал в том же доме, но только с особым входом со двора; со стороны Малой Лубянки — от ворот налево первая дверь.

Приходилось, впрочем, работать и в гараже Варсонофьевского переулка, близ церкви Воскресенья. Помещение куда светлее и просторнее, но было оно Завалишину как-то не по душе, менее привычным, чужим. Первое же время, когда для операций увозили за город, приходилось Завалишину вместе со всеми приговореннымн иной раз в куче на одном грузовике кататься в Петровский парк. Это уж совсем было хлопотно и неудобно,— но, по новому делу, надо было привыкать; да и работал он тогда не один. Позже ввели обычай увозить за город не людей, а уже «жмуриков», н не прямо с места операции, а через Лефортовский морг.

У себя, в главном своем помещении, в подвале, работал Завалишин один, без всяких помощнпков: какая может быть помощь в таком деле, только суета и лишний разговор. Как полагается, провожали к нему до коридорчика, подталкивали к открытой двери, сами выходили обратно и наружную притворяли, пока не кончит; а остальное было его единоличной заботой,— и нпчего, никаких недоразумений не случалось особенных, шел каждый сам на свет из темного коридорчика. Ордера Завалишин получал раньше на руки: по ним и принимал клиентов, с фамилией не справляясь, но по точному счету, ни больше ни меньше.

В свободное время Завалишин редко заходил в подвальчик — не любил его. Только — случалось — забирался сюда совсем пьяным, замыкался на ключ, садился на лавку против пулями изрытой стены и выл невеселые песни, а то и стрелял, просто так, чтобы пахло порохом, а не одной подвальной кислятиной. Но не спал здесь — боялся привидений. Ключ от под-

вала всегда носил при себе, выдавая только для уборки бабам; мужчины уборки гнушались.

Почти никого нз высокого своего начальства Завалишии ие зиал, да и не стремился узнать. На собрания, выборы и мнтинги не ходил, ничем посторонним, помимо прямого своего дела, требовательных ведомостей и выдач, ие интересовался, даже в спнсках служащих зиачился простым надзирателем. Но как ни мал ои был,— он твердо зиал, что ои среди всех другнх — человек особеиный, самый нужный н самый независимый, которого потому и кормят, и задарнвают, н боятся. Безо всякого другого обойтись можно, и всякого другого можно заменить. Но иельзя обойтись без Завалишина, и заменить его некем, во всяком случае — не скоро найдешь. Поэтому Завалишнн, в прнпадках скуки и в дни бездействня, позволял себе капрнзы и не раз грозился бросить работу. Тогда ему увелнчивали расцеику или просто задабривали его бутылкой хорошего спирта.

Дни особой, нсключительиой работы выпали в октябре, после взрыва в Леоитьевском переулке. Это были настоящие страдиые днн.

У САНОВНИКА

Было очень холодно. Но, по счастью, у Танюши сохранились старые ботнки. Когда приходилось выезжать в рабочие райоиы на коицерты, Таиюша иадевала валеикн поверх башмаков и снимала нх только перед тем, как выходить иа эстраду. Исполнив свой иомер и иа бис, оиа с наслаждением сиова прятала ноги в теплые валеики и так ждала, пока подадут грузовик, чтобы развозить по домам участников вечера.

Но ндти в Кремль в валеиках Танюша ие решилась: всетаки — в Кремль. И старые ботики прнгодились.

У Троицких ворот солдат взял пропуск, отиес в каморку н вынес обратио с печатью. Затем Танюша по тропке, протоптаниой у стены Дворца, опасливо шла мимо вала чистого, скатанного с дороги сиега. Затем через площадь — все по тропке. У ворот прежнего здания судебных установлений пришлось опять предъявить пропуск. В дверях снова — ио уже в последний раз. Внутри здания ей указали дорогу — подняться наверх и ндти правым коридором.

Ждать пришлось не очень долго. Секретарь, бегло взглянув иа пропуск, взял рекомендательное письмо и сказал:

— Сейчас. Вот прнсядьте. Вероятно, вас сейчас примут.

Через приемную проходилн люди, тепло одетые, ио, очевидно, здешние. В комнатах было холодно, и оттого комиаты казались особеиио большими н страино пустымн. Себе же Таиюша казалась маленькой н затеряиной в огромиом кремлевском здании. Проходившне оглядывали ее с удивлением и любопытством.

Секретарь вышел н сказал:

— Пожалуйте, товарнщ. Вот сюда.

Сказал так вежливо и даже в дверях пропустил Танюшу вперед. Еще ннкогда Танюше не приходилось посещать важных и властных людей, а в тех советских канцелярнях, куда она иногда заходила по маленьким обывательским делам, было всегда грязно, суетно, бестолково, и служащие были озлоблены н невежливы. Здесь совсем по-нному. Раньше же Танюша думала, что все тут как в крепости и что всюду она встретит штыки и подозрнтельность.

Танюша вошла в большую комнату с высоким потолком и почтн без мебели: только диван и три кресла у круглого стильного стола без скатертн. На столе телефонная книга и две газеты. Телефонный аппарат на окне. На обоях следы от убранной мебелн. В дальнем углу шкап с разбитым стеклом. Здесь было тепло и чнсто. Танюше показалось неудобным, что вошла она в ботиках.

Прнземистый, скуластый, нерусского типа, начннающий лысеть человек, во френче и в брюках навыпуск, вошел быстро и прямо подошел к Танюше.

— Здравствуйте. Это вы с пнсьмом? Ну вот, сядьте тут. В чем же у вас дело?

— Я хотела проснть об одном заключенном.

— Ну, я знаю, тут написано. Вы ему кто, Астафьеву? Какие у вас отношения?

— Он наш друг.

— Кого — ваш?

— Он хороший знакомый мой и дедушки.

— Это — профессора? Ваш дедушка птицами, кажется, занимается?

— Да, он орнитолог.

— Ну, так что же вы насчет этого Астафьева?

— Он напрасно арестован.

— Как это напрасно? Мы напрасно никого не арестовываем. Он взят по очень серьезному делу.

— Астафьев политикой не нитересовался. Он философ, а работал в последнее время актером в районах. Я с ним вместе выступала в концертах.

— Вы что, поете?

— Нет, играю на рояле.

— Консерваторию окончилн?

— Да.

— Вот у нас бы поиграли на концертах. Мы хорошо платим, продукты даем артистам. Поиграйте у нас как-ннбудь.

— Это где? — спросила Танюша.

Человек в френче удивленно поднял белесоватые глаза:

— У нас — в Чрезвычайной Комиссии... У нас бывают концерты. Вы не эсерка?

— Я? Нет, я не партийная.

— А зачем же с эсерами дружбу водите, с этим вашим Астафьевым?

— Вовсе он ие эсер. Он вообще не политик, я же хорошо его зиаю.

— Ну, мы-то знаем его лучше. Так чего же вы хотите?

— Я думала, что, может быть, его можно освободить; он ведь ни в чем ие виноват.

— Если не виноват, его н так выпустят, без вашей просьбы.

— Но он сндит уже больше месяца.

— Не беда. И год посидит. Не устраивай заговоров. А вам нечего о нем заботиться. Лучше от таких друзей подальше держаться. Мы его считаем очень опасным врагом советской власти, этого вашего Астафьева. Лучше вам не вмешиваться. Он не жених ваш?

— Нет.

— Так чего же вы о нем волнуетесь?

Потерев лоб, человек во френче сказал:

— Ладно. Я запрошу о нем. Вы где живете?

Танюша сказала адрес.

— Ладно. Зря у нас люди не сндят. Не виноват — выпустят, а если виноват — получит по заслугам, будьте покойны Вы с Савинковым не зиакомы?

— С Савинковым? Нет, не знакома.

Ои встал:

— Вам там дадут обратный пропуск.

Человек во френче вынул из кармана руку. Танюша быстро отступила н сказала:

— Благодарю вас.

Ои снова сунул руку в карман:

— До свидания. А у нас как-нибудь поиграйте, мы хорошо платим.

В большой прнемной секретарь запнсал еще раз адрес Танюши н выдал ей пропуск.

— Пройдете через Троицкие ворота.

Кремль был под белым снегом. Иван Великий высился застывшей громадой. Ярки были золотые головки Успенского собора. Идя по тропинке меж сугробов снега, Таиюша опять казалась себе совсем маленькой и такой лишней здесь, в чужом мире. В проходе Троицкнх ворот солдат взял пропуск и наколол себе на штык.

Когда Танюша вышла, человек во френче подошел к телефону н назвал номер.

— Вот что, товарищ Брнкман, как у вас там с делом Астафьева? А что? А вы бы его прнпугнули хорошенько. Ну ладно, дело ваше. Я все же думаю — лучше выделить. Да. В общую кучу не валите, а там увидим. Да, слушаю. Ну, это коиечио, я же вообще ничего не говорю; посидеть — пусть посидит. Ладно. Да нет, тут о ием невеста, что ли, хлопочет; хорошенькая, между прочим, девочка. Ну, пока! Вечером, конечио, буду.

СВИНУШКА

Анна Климовна, сожительница Завалишина, жадной женщиной не была — этого про нее никто бы не сказал,— но была расчетливой и хозяйственной. Жилось ей отлично, даже не на нынешнюю мерку, а на довоенную. Завалишин приносил домой всякие припасы,— в кулях, кулечках, банках, пакетиках, и не дрянь какую, вроде брусничного листа или глиняного мыла, а предметы настоящие, полагавшиеся в паек только самым нужным людям: и белую муку, и липовый мед, и сахар кусками, и из спиртного. И материи приносил, и калошн, и обувь, даже по мерке. Давал Ание Климовне и денег, даже помногу,— но деньги в счет не шли, так как назавтра дешевели.

И, конечно, никто в доме на Долгоруковской не имел того, что имел Завалишин; даже преддомком Денисов не мог идти с ним в сравнение, хотя и брал подарки справа и слева, и за лишнюю прописанную душу (значит — лишнюю продовольственную карточку), и за поторговыванье в квартире разными припасенными товарами, и так, на всякий случай, уж за одно то, что он, Денисов,— преддомком, и значит, всякому понадобится.

В таких счастливых условиях Анна Климовна могла бы вести немалое хозяйство и, наверно, вела бы, если бы, например, был у Завалишина домик на краю Москвы или хоть бы настоящая квартира, хоть в две комнаты с кухней и чуланом. А то ютились они в одной, а две другие комнаты, где раньше жил Астафьев, так и оставались запечатаниыми. Из маленькой передней никакой комнаты не выкроишь, кухню же, тоже маленькую, Анна Климовна действительно заняла и заставила кулечкамн и банками.

Думала Анна Климовна завести на кухне кур — как другие делали, но побоялась, что куры будут мешать спать, да и грязь от них, пахнет тоже нехорошо. И зачем? Яиц и так можно раздобыть за свои деньги. Но однажды узнав, что одна старая ее приятельница, огородница, откормила большую свинью и нажила на этом целое богатство,— решила сделать то же. Не в богатстве дело, а в том, чтобы иметь настоящее хозяйство, а к праздникам заготовить и закоптить жирные окорока. Все это Анна Климовна, родом с юга, отлично умела делать. На откорм свинушки все соседи с удовольствием будут отдавать бросовую ботву, помои, все, чего даже голодный люд не ест; и в настоящем, для сала нужном корме тоже недостатка не встретится. Когда же малый поросеночек вырастет в большую и жирную свинушку,— он сам окупит свое воспитание. О помещении хлопотать не придется. Для начала — кухня, придется поросеночка купать и держать в тепле; но после же Денисов, одобривший хозяйственный план Анны Климовны, обещал отвести одну из малых светлых надворных кладовок в полное распоряжение; все равно пустуют.

Анна Климовна съездила в недальнюю деревню и в обмен на соль, сахар, а главное — на спирт приобрела доброго поросеночка.

Вначале было много страхов: не отощал бы, ие заболел бы, не погрызлн бы его крысы. Когда подрос, все заботы Аиины Климовиы обратились на то, чтобы свинушку ие украли и чтобы она меньше шевелнлась, ела бы без передышки и обкладывалась салом. Во всем этом Анна Климовна имела полный успех. Те из соседей, которым она показала свинушку, только ахали н поздравляли Анну Климовну; если бы преддомком Денисов ие был лично занитересован в процветанин н безопасностн свинушки (его обещана была доля) и в личном расположении Аины Климовны,— кто-нибудь нз завнстннков иашел бы способ испытать крепость завалишнскнх замков.

Сам Завалишнн, всегда дома мрачиый и полухмельной, свинушкой нитересовался мало. Перед Пасхой за месяц Анна Климовна сводила его в сарайчик посмотреть на крупиую, совсем заплывшую жиром свинушку, чистую, мытую, розовую, едва державшуюся на ногах. А за две иедели до Пасхи Анна Клнмовиа сказала ему:

— Пора свннушку резать. Пока сало засолим да закоптнм окорока — время нужно для этого.

— Надо, так и режь.

— Не сама же я; тебе сподручиее.

— А какое мне до нее дело?

— Как «какое дело»? Есть-то будешь.

— Сама съешь. Мне тяжелого есть нельзя, доктор ие велел.

— Али опять плохо, что к доктору ходил?

— Значит, нехорошо.

— Что же он сказал, доктор?

Завалишин мрачно пробурчал:

— Что сказал... Говорит — коли так пойдет, ие залечится, то операция нужна, брюхо вскрывать придется. Пущай бы самому ему вспороли.

— А ты ему верь больше. Мало чего доктора наговорят. Может, н так пройдет.

Завалишин замолчал. Слово «операция» пугало его н потому, что тем же словом на месте службы называлась и его работа. Хотя чаще говорилн «в расход» или «с вещами по городу». Как его ни мучили боли в животе, на операцию он все же никак не мог решиться. В последний раз доктор сказал ему:

— У вас с почкамн совсем плохо; с этим шутить нельзя. Лучше раньше решиться, а то потом поздно будет.

Анна Климовна выждала, когда у сожителя выдался свободный день, и опять заявила:

— Надо нынче обязательно свннушку заколоть. Уж ты пособи мне, тебе прнвычнее, н силы у тебя больше моего.

Завалишин встал н повязал кобуру с кольтом.

— Нашто берешь? Не стрелять же ее! Нужно ножиком. У меня и ножн отточены, чтобы потом пластать сало. И топор есть.

Когда пришлн в сарайчик, Завалншин увидал, что Анна Климовна успела прнготовнть стол, сооруженный из дверной полови-

ны иа ящиках, поставила чистое ведерко, запасла ножи, чистые тряпки — все, что требуется для такой «операции». Сама переоделась в дешевое трепаиое платье, чтобы зря не пачкать хорошего, и прииесла два кухонных передника.

— Надень, а то забрызгаешься.

Сарайчик был с окиом, и дверь притворили от взора любопытных; дело все-таки деликатиое.

Зажиревшая, едва подвижная свииушка хрюкала, пока Анна Климовиа любовио мыла ей бока и вязала иоги.

— Помоги иа стол поднять.

Подняли с трудом, и опять Анна Климовна мокрой тряпкой обтерла жирные розовые бока.

Омыв, вытерла насухо руки и голоском просительным и ласковым сказала:

— Ты уж сам, без меня, не бабье это дело. Вои они, ножики...

И попятилась, увидав, как затряслась у Завалишина борода и побелели глаза.

— Ты чего? Чего испугался-то?

Завалишии дрожал крупной дрожью. Пятясь к двери, правой рукой тянул из кобуры револьвер.

— Оставь, говорю, это, разве скотину этим можио, голову испортишь.

Завалишии отнял руку, вдруг ослабел и сел иа ящик.

— Сама делай. Не могу я свинью резать. Слышишь, как оиа визжит.

— Какой жалостливый. Животную испугался. А еще мужчииа.

— Молчи, Анна, говорю, ие могу.

— Чего мне молчать. И без тебя управлюсь.

Аииа Климовиа взяла большой иож, остро отточенный, левой рукой прихватила в тряпку розовое рыло свинушки, повернула шеей кверху и, сверху вииз, иеумело и иекрепко, полоснула. Хлынула кровь, свинушка сильио дернулась и завизжала. Анна Климовиа заторопилась, опять наставила иож,— но сильиая рука схватила ее за плечо и отшвырнула от ее жертвы.

Завалишин с иалитыми кровью глазами, с лицом исказившимся, размахивая кольтом, хрипло́ кричал:

— Уйди, ие трожь, убью!

Оиа взвизгнула, как взвизгнула перед тем свииушка, увернулась, толкнула дверь и выскочила из сарайчика. Услыхала, как дверь за ией захлопнулась иа скрипучем блоке, и, ие оглядываясь, побежала к подъезду, где квартировал преддомком.

Минутами тремя позже Денисов с Аиной Климовиой опасливо подходили к сарайчику. Там было тихо, только слабенько доиосился замиравший визг свинушки. У двери оба остаиовились.

Денисов окликнул:

— Эй, Завалишин, выйди-ка иа минутку.

Ответа ие было.

— Может, зайдете, Анна Климовна, да посмотрите, что он там делает.

— Самн зайдите. Еще застрелит. Совсем рехнулся. Людей может, а животную не может.

Денисов на цыпочках обошел сарайчик н заглянул в окно, заделанное решеткой. Прямо под окном лежала розовая туша, а подале, наполовнну спрятавшись за ящик, сидел на полу Завалишин, уставившись глазамн на окно. Большой кольт лежал перед ним на ящике.

Денисов живо отскочил н вернулся к Анне Климовне.

— Уж не знаю, как н быть. Может, он н впрямь рехнулся, сожитель ваш. Не лучше ли его на замок запереть да сбегать за милицией?

— Замок-то внутри остался.

— Другой понскать.

В эту минуту ахнул выстрел, н оба они, отскочив от дверн, бросились бежать.

За первым выстрелом второй, третий, еще, еще,— Завалишин расстреливал всю обойму. Денисов н Анна Климовна спрятались на крыльце, несколько жильцов пугливо хлопнули дверями.

Затем по асфальту двора застучали тяжелые шаги Завалишина. Он шел, сгорбившись, понурнв голову, держа руку на кобуре, не оглядываясь по сторонам,— шел прямо к своему подъезду. Вошел, прнтворил за собой дверь.

Тогда Анна Климовна решилась войти в сарайчик. Вошла н ахнула: сооруженный ею стол был залит кровью, а голова свинушки, чудесная голова, обещанная преддомкому за его заботы н за его охрану, была вся разворочена крупнокалиберными пулямн завалишинского кольта.

— Что же это он наделал! Разве возможно в скотину стрелять пулями. Безо всякой жалости — всю голову нспортил!

И даже прослезилась от нскреннего огорчения.

ИЗМЕНА ВАСИ

За стеной у хозяйки пробило семь часов. На часах Васи Болтановского было уже десять минут восьмого; правда, часы его всегда немного убегали вперед, н это было даже удобно: не опоздаешь. Но все же обычно Аленушка заходила в половнне седьмого. Могла, конечно, где-нибудь задержаться на пути нз больницы.

Вася заложил книжку вышитой закладкой с надписью «на память», вынес в кухню окурки, подобрал с полу бумажки, поправил чехол на кресле. Прошло еще минут пять. Можно было, конечно, зажечь прнмус н самому заварить чай. Раньше, до болезни, он все делал сам; теперь его немножко набаловала Аленушка, редкий день не забегавшая вечером, после службы, так как жила поблнзости, а дома у нее было неуютно. Так уж вошло в обычай, что вечерний чай пили они вместе,

и уходила Аленушка только в иачале одиннадцатого. После чаю разговаривали, или Вася что-нибудь читал вслух, а Аленушка вязала или шила. Она подрабатывала шитьем, делала простые шляпки, вышивала. Это она и закладку Васе вышила. Оиа же чинила и Васиио белье,— тоже вошло это в обычай, хотя сначала Вася протестовал:

— Я сам все умею.

Но Аленушка показала ему носок с заплатой его собствеиной работы.

— Разве ж так можно! Вы просто стянули все петлн в узел к одному месту, н у вас вместо штопкн получилась какая-то куколка.

— А как же нужио?

Алеиушка распорола Васниу работу, вынула из сумочки моток шерсти,— а через четверть часа на месте куколки получилась новая заплата — прямо иа удивленье.

— Шерсть иемножко по цвету ие подходит, ио это ведь ие так важио. У меня другой с собой нет.

Вася посмотрел и ахнул:

— Ну, это действительно замечательно!

Окоичательно же победила Аленушка Васю тем, что обшарпанную манжетку оиа отпорола, подшила, перевернула, и снова пришила к рукаву,— получилась маижетка совсем новая. Вася так был изумлеи, что даже молча разинул рот, а Аленушка раскатилась от смеха звоиким колокольчиком, хрюкнула и смущенио замолкла.

Но все-такн — зажечь примус или подождать?

Ждать ие пришлось, потому что звонок прозвоиил трижды; это озиачало, что пришли к Васе. У каждого жильца было определеиное чнсло звонков, чтобы ие приходилось отпирать двери чужим посетнтелям; даже снаружи дверн висела бумажка с обозиачением, кому сколько раз звоиить. К Васе — трн.

Аленушка пришла сегодня усталая н иемножко расстроеиная. Задержалась потому, что в больницу к ним привезли много тифозиых.

— И без того класть иекуда, а все к иам доставляют.

И еще дома у Аленушки иепрнятиости. Комната у иее большая, превышающая указанную жилплощать, и теперь домком хочет к ней кого-нибудь вселить, чтобы жили двое. А то предлагает перевести ее в каморку, почти чулаи. И она не зиает, что делать. Уж лучше и правда в чулан — все-такн хоть одной жить.

— А вот меня ие трогают,— сказал Вася.— А такая комната тоже считается иа двоих. Впрочем, я могу выправить себе разрешительную бумажку от университета.

— Вам-то хорошо!

Долго быть мрачиой Аленушка ие умела. Выпнв чаю — скоро повеселела.

— Зиаете, у вас иа носу чернильиое пятно, лиловое. Ну, когда я вас иаучу быть аккуратным!

— Где? — испуганно спросил Вася.

— Где? — я же говорю, на носу. Вы посмотритесь в зеркало.

Вася взглянул в маленькое стенное зеркало.

— Да ничего нет, это только немножко. Я писал сегодня.

Послюнил палец и размазал.

— Фу,— сказала Аленушка,— ну как вам не стыдно, а еще лаборант. Идите сюда.

Вынула из своей корзиночки (все-то у нее есть!) кусочек материи, смочила в теплой воде и начисто стерла пятнышко.

— Ну вот, больше нет, а теперь утритесь полотенцем.

Но Вася сказал решительно:

— Ничего, и так высохнет.

Дело в том, что глаза Аленушки показались Васе очень красивыми и особенно ласковыми,— раньше он как-то не замечал, а может быть, и не были они такими. И очень не хотелось от Аленушки отходить. Пока она терла ему тряпочкой нос, он придерживал ее за руку, боясь, что тряпочка слишком горячая. Когда же она вытерла,— Васе не захотелось отпускать ее руки.

Аленушка тряпочку взяла другой рукой, а этой не отняла. Рука у нее была теплая, мягкая и маленькая. Сегодня это было тоже по-особенному приятно Васе.

Так они стояли, пока Аленушка не сказала:

— Ну чего вы. Смотрите на меня, точно в первый раз увидали. Что руку рассматриваете? Рука как рука; а вот еще другая такая же.

Вася взял и другую.

Тогда Аленушка сказала:

— А если я вас за ухо? Вот так, за оба!

И вся к нему приблизилась. Кофточка на ней была с открытым воротом, а шея была чистенькая и белая.

И тут Вася решил защищаться,— нельзя же, правда, трепать за уши лаборанта университета.

С чтением вслух ничего сегодня не вышло, а больше сидели рядышком, заслонив настольную лампу большой раскрытой книгой в переплете.

Оказалось, что у обоих накопилось много интересных воспоминаний, которыми они раньше не делились. Аленушка считала удивительно странным, что когда Вася заболел тифом, то именно ей, Аленушке, пришлось за ним ухаживать. А ведь легко могло случиться, что доктор нашел бы для него совсем другую сестру милосердия, например какую-нибудь старуху.

Вася на это сказал:

— Ну уж, очень нужно! Это бы совсем неинтересно.

— Значит, вы довольны, что это я?

Вася очень осмелел и показал, что он доволен.

Со своей стороны Вася припомнил, как однажды, после кризиса его болезни, в первые дни ясного сознания, он, проснувшись ночью, смотрел на Аленушку, которая дремала в кресле,

и думал, какого цвета могут быть у нее глаза. И почему-то решил, что обязательно зеленые.

— Это у меня-то зеленые? Ну, уж вот какая чепуха вам приснилась.

— Да нет, я не спал тогда.

— Все равно. У меня же ведь глаза голубые, самые настоящие голубые.

— Да теперь-то я вижу.

— Ничего вы не видите. И вообще вы ужасно невнимательны, ужасно. Вы прямо ну ничего не понимаете. И потом — какое право вы имели смотреть на меня, когда я спала?

— Вы сидя спали, в кресле.

— Ну еще бы. Вообще вы невозможные вещи говорите.

Вася даже смутился. Но все же обмен воспоминаниями был настолько интересен, что Аленушка засиделась позже обыкновенного. Только когда за стеной пробило двенадцать, она вскочила испуганно:

— Господи, мне завтра вставать в седьмом.

Простились они не просто за руку, как раньше прощались. Очень это было странно Васе, но и очень приятно.

Ложась спать, Вася слишком потянул рубашку, и она порвалась у ворота. Он подумал: «Экая неприятность! Аленушка будет браниться».

Хотел перед сном подумать о чем-нибудь грустном, как думывал раньше: о том, как он несчастен и как счастливы другие. Но на этот раз у него ничего не вышло. Напротив, набегала на лицо улыбка, и мысли были немножко грешные.

Грешными же они были потому, что сегодня Вася изменил, и измена оказалась сладкой и приятной, а главное — ни для кого не обидной и никому не мучительной.

ВЗРЫВ

Двадцать пятого сентября орнитолог после долгого перерыва снова заглянул в писательскую лавочку в Леонтьевском. Портфель, туго набитый книгами, очень утомил старого профессора.

— Уж позвольте сначала отдышаться. Ничего, я вот на ящик присяду, не беспокойтесь.

— Давно не видно вас, профессор.

— Давненько, давненько не был. Всякие дела препятствовали.

Дела, препятствовавшие старику, заключались в том, что книжные полки и шкапы его опустели. Оставались только ценнейшие для его ученой работы справочники да по экземпляру его печатных трудов. Как ни тяжко было жить, Танюша взяла с дедушки слово, что этих книг он не продаст.

— Да нужно ли жалеть их, Танюша? Может быть, Алексей Дмитрич и правду говорил — не нужна больше никакая наука.

— Нет, дедушка, он и сам этому не верит, так только говорит.

— А уж от меня, старика, и ждать-то больше нечего.

— Перестаньте, дедушка, иельзя так говорить! Не огорчайте меня.

Очень был счастлив дедушка, что внучка верит и в науку, и в иего, хоть и старика, а настоящего учеиого, ие чета всем этим юнцам, чуть не гимназистам, облекшим себя учеиыми званиями и делающим карьеру в смутное время, на учеиом безрыбье.

— Ну, обойдемся как-нибудь.

И, однако, двадцать пятого сентября, в день роковой и страшный, орнитолог опять прииес в лавочку полиый портфель.

— А вы и нумизматикой иитересовались, профессор?

— Ничего в ней не понимаю.

— У вас тут много любопытиого. А по вашей специальиости ничего?

— По совести говоря — книги прииес не свои. Вроде как бы на комиссию взял. Привык я к вам ходить торговать,— вот и попробовал набрать у знакомых. А уж оценку сами сделайте, как всегда. Доверяю вам вполие.

— Из процента работаете, профессор?

— Из процента, скрывать не буду.

И опять никто ие удивился в лавочке, что вот старый ученый, с европейским имеием, торгует чужими книгами из процеита. И оттого, что никто не удивился, стало легче и проще. Значит, нет в этом ничего дурного, и можно. Вероятно, и другие сейчас так же делают.

Выйдя из лавочки с пустым портфелем под мышкой, орнитолог оглянулся с довольным видом,— все-таки кое-что для Танюшиного хозяйства очистится. Немиого, коиечно, так как книги не свои, ио зато ие свои — ие так уж и жалко. Заработан пустяк — а все же заработан, своим трудом, стариковской своей заботой.

У ворот соседнего дома, стоявшего в глубиие за решетчатой оградой, дежурил молодой красиоармеец с виитовкой. Люди сюда входили, предъявляя бумажку — пропуск.

И профессор, стараясь держаться прямее и ступать увереннее, зашагал к Большой Никитской.

Был и другой фасад у дома, охраияемого солдатом, и фасад этот выходил в садик, в Черныишевском переулке. В саду, отделенном от улицы решеткой, высились деревья с еще уцелевшими желтыми листьями. Ко второму этажу, к его балкону, вела из сада каменная лестница. Калитки с этой стороны ие было — иикто отсюда не входил.

Когда стемнело, переулок опустел, а в заднем фасаде дома засветились окиа. В восемь часов вечера здесь назначено было важиое собрание, и к главиому фасаду, что в Леонтьевском, подходило и подъезжало миого людей. Стояли у ворот и автомобили.

В Чернышевском же, к заднему фасаду, подошел лишь в десятом часу одии человек, поглядел по стороиам и, придерживая кармаи, ловко перелез через решетку, пригнулся к земле и замер.

С переулка за деревьями не было видно, как темная фигура поднялась по лесенке к балкону и осторожно заглянула в окно. На опущенной занавеске силуэтом очертилась широкая спина, а в щелку виден был край стола, за которым тесно сидели люди.

Тогда темная фигура, откинувшись от стены, взмахнула рукой.

Взрыв слышали даже на окраинах Москвы. В прилегавших улицах были выбиты оконные стекла, а подальше только звякнули.

И граждане, давно привыкшие к ночной стрельбе на улицах, все же сразу сообразили, что это и не ружье, и не пулемет, и, кажется, не пушка.

В доме с двумя фасадами не было теперь крыши и одной из стен.

В этот день Завалишин был с утра трезв и мрачен. С Лубянки домой ушел под вечер, так как день был не рабочий. Дома сидел на постели, сняв новый пиджак, недавно доставшийся ему после «операции». Анна Климовна в кухне ставила самовар и готовила закуснть перед сном.

Не то чтобы Анна Климовна жадничала, а как-то не могла она примириться с тем, что дверь в комнаты Астафьева все еще стояла опечатанной.

— Сколько временн нет его, может, и совсем не вернется, а комнаты зря пропадают. Может, похлопотал бы, их бы и отпечатали. А и так бы снял печатн, ничего тебе не будет за это.

— На что тебе его комнаты?

— А что же нам, в одной жить да в кухне? Набросано добра, а девать его некуда.

— Нельзя.

— А почему нельзя-то?

— Раз говорю, нельзя. Может человек вернуться, а комнаты его нет. Там его вещи.

— Подумаешь, буржуя жалко. Больно уж ты о нем заботлнвый.

— Отстань, Анна, не морочь голову. Ты его и в глаза не видала, а я его знаю.

— Приятель какой.

— А может, и впрямь приятель! Может, он мне жизнь покалечил, а я его уважаю, вроде как за лучшего приятеля.

Помолчав, прнбавил:

— Пивали вместе, ну и что же? Голова умнеющая, до всего дошел. А что забрали его — ничего не доказывает. И не тебе, дуре-бабе, о нем рассуждать. Ученый человек — не нам, мужикам, ровня.

— Ученый... Чему тебя научил ученый твой?

— Чему научил, про то мне знать. Говорю тебе, может, он мне есть самый злой враг, а я его уважаю и пальцем тронуть не позволю. Вот. У него в комнатах одних ученых книг столько, сколько у тебя тряпок не найдется. И все книги он прочел,

про все знает. И между прочим, со мной, с малограмотным, простым человеком, спирт пил за равного. Это понимать надо, Анна. Да только не твоимн бабьимн мозгами.

Только успел скипеть самовар, как постучал преддомком Денисов н, не войдя, сквозь дверь крикнул:

— Эй, товарищ Завалишин, там за тобой прнехали.

— Кто за мной?

— Машина прнехала, тебя спрашивают, н чтобы сейчас же выходил.

Завалишин забеспокоился, надел пиджак, снял с гвоздя кобуру с кольтом.

— Чего тебя в неурочный день?

— Бес нх знает. У нас всякий день может урочным быть.

— Чаю-то выпил бы.

— Коли требуют. Плеснн мне спнрту полстакана, там на полке стонт.

И вдруг, разозлнвшнсь на беспокойство, крнкнул с порога сожительннце:

— А дверь эту и печать ты не трожь! Слышишь? Не в свое дело носа не суй. Комнаты ей, видишь, мало стало, барыня какая.

И, уходя, хлопнул дверью.

ПУСТОТА

После нового допроса, уже четвертого по счету, Астафьева перевели в отдельную камеру.

Допрос был краток. Товарнщ Брнкман, которого всегда перед весной сильно лнхорадило, сидел укутанный в рыжеватый свнтер под обычным своим френчем с непомерно широким для его шен воротнпком.

Входя, Астафьев участлнво подумал: «А н подвело же его, беднягу! И все скрипит, н на что-то надеется».

— Гражданнн Астафьев, о вас, кажется, хлопочут родственники. Я решил вас вызвать опять, может быть, теперь мы сговоримся.

— В чем сговорнмся?

— Вы отрнцаете свое участие в заговоре н в том, что у вас скрывался велнчайший враг советской власти. Ну, а скажите, как сами вы к этой власти относитесь? Вы ее признаете?

— А разве она нуждается в моем признанин? Я ведь не нностранная держава.

— Вы напрасно отшучиваетесь. Советую вам ответнть прямо.

— В нежных чувствах к власти, которая в вашем лице держит меня зря в тюрьме больше полугода, вы меня, товарнщ Брнкман, вряд лн заподозрите.

— Значит, вы относнтесь к ней враждебно?

Астафьев заложил ногу за ногу н откинулся на стуле:

— Враждебно — нет; на это у меня не хватает темперамента. Скорее — презрительно.

— Презрительно к власти рабочих и крестьян?

— Ну, Брнкман, бросьте! Какие уж там рабочие и крестьяне, как вам не стыдно глупости говорить.

Следователь дернулся.

— Гражданин Астафьев, я скажу вам прямо: улик против вас мало, только анонимное сообщение о том, что у вас ночевал похожий человек. Но вы, гражданин Астафьев, человек умный, дерзкий н опасный для нас. Вы опаснее маленьких открытых врагов. За вас хлопочут, но я вас не выпущу.

Астафьев почувствовал, как в нем закипает злоба к этому человечку, в руках которого его судьба. Схватнть его за тонкое горло, стиснуть — н душа вон.

Он сказал, по привычке скандируя слова:

— Личное чувство в вас говорит, Брнкман. Просто — ненавнсть к здоровому и независимому человеку. Вы — приказчик власти, а я свободный человек, вы дышите на ладан, а я, слава Богу, здоров. Ясно, что вы должны меня уннчтожнть, хоть н знаете, что обвннить меня не в чем.

Следователь опять дернулся на стуле, покраснел н внзгливым шепотом, срываясь в голосе, сказал:

— Да, я дышу на ладан, как вы выразились. У меня грудь разбнта в тюрьме прикладами, у меня чахотка. Все это вы гадко сказали, гражданин Астафьев, н, по-моему, непорядочно. Но вас н вам подобных я ненавнжу не потому, а потому что... а потому что...

Товарищ Брнкман закашлялся, вынул нз кармана скляночку, плюнул, спрятал скляночку обратно в карман, вытерся платком и нсподлобья, больными глазками, взглянул на Астафьева.

— Вот то-то н есть,— сказал Астафьев,— какой уж вы воин! На юг бы вам ехать.

Тяжело дыша, следователь прохрипел:

— В ваших медицинских советах не нуждаюсь.

Пока товарищ Брикман вытирал выступивший пот, Астафьев с тоской оглядывал комнату. Стекла окон были давно не протерты. В углу лежала пыльная груда газет н бумаг, на стене — тусклое зеркало.

— Обстановочка у вас! Хоть бы окна протерлн, все свету было бы больше.

Отдышавшись, следователь сказал:

— Можете думать обо мие как хотнте. Одно вам скажу, гражданин Астафьев, нензвестно еще, кто нз нас ближе...

Он замялся.

— Вы хотите сказать: к тому свету?

Вместо ответа следователь резко, деловым тоном, подчеркнуто официально сказал:

— Впрочем, я могу вас выпустнть, если вы, гражданин Астафьев, согласнтесь с нами работать.

Астафьев улыбнулся:

— Пробуете оскорбнть? Экий вы неугомонный. Я на вас не оскорбляюсь, Брикман. Куда вам!

— Прекрасио. Можете идти.

Он позвоиил. Астафьев встал, одернул мятый костюм, поправил отросшие длиные волосы и, смотря сверху вниз, сказал с доброй улыбкой:

— Правда, Брикмаи, поезжайте на юг, бросьте эту обстановку и всю эту гадость. Я это не со зла говорю. У вас ужасный вид.

Вошел конвонр.

В одиночной камере Астафьев сидел на койке в обычной своей позе: прислонившись к стене и обняв руками согнутые иоги.

Книг ие было — читать заключенным ие разрешалось. Ни бумаги, ни карандаша, ни даже самодельных шахмат. В общей камере Астафьев ежедиевио занимался гимиастикой и приучил к этому других. Здесь не хотелось. Голода ие чувствовал, хотя питаиье было отвратительиым: суп из воблы, разваренное пшено без масла и четвертка хлеба; впрочем, на воле такому столу многие бы позавидовали. Чай морковный, и назывался он кофеем. Давали махорку — это хорошо; за это можно было многое простить Всероснйской Чеке.

В первые месяцы сидения Астафьев часто думал о том, что его могут «вывести в расход». Но в конце концов мысль эта притупилась н утратила остроту. Хуже всего была общая усталость, и тела и духа. Были в первое время живы образы внетюремиой жизни: комнаты с любимыми книгами, московские улицы, вечера на Сивцевом Вражке, странное объяснение с Танюшей, выступления на концертных эстрадах, в прошлом — университетская работа, в дальнем прошлом — заграничные поездкн. Но и эти образы ушли н стушевались. Не было прежней жажды свободы и даже прежней иенависти к тюремным стенам.

О сегодняшнем разговоре со следователем Астафьев думал: «Замучил я его. Лучше было ударить, чем так. Нехорошо вышло».

Вспоминал эту отвратительную карманную скляночку и морщился от невольного отвращеиия здорового человека.

«И зачем такой живет!»

А зачем живет он, Астафьев? Какой смысл в его жизнн? Не все ли, в сущности, равио, ликвидирует ли его иа днях товарищ Брикман илн выпустит жить дальше?

«Довольно ты мучался, довольно ворчал и довольно нзображал нз себя обезьяну. Что тебя волнует? Видеть все это три года или сто лет — совершенно все равно».

И еще говорит Марк Аврелий:

«Если бы было тебе суждеио прожить трн тысячи лет и еще столько-то десятков тысяч,— все-таки помни, что человек теряет только ту жизиь, какую ои живет, и жнвет только ту жизнь, которую теряет. И никак он ие может потерять ни прошлого, ни будущего: как потерять то, чего не имел?»

А царь Соломон:

«Что было, то н будет; и что делалось, то н будет делаться; н нет ннчего нового под солнцем».

«Как странно,— думал Астафьев.— Сколько есть веселых н бодрых книг, сколько блестящих и остроумных философских истин,— но нет ничего утешительнее Экклезиаста».

В корндоре гулко раздался стук; вслед за тем шаги и голос сторожа:

— А ну, стучи! А ну, стучи эщэ!

Латыш не мог сразу разобрать, в дверь какой камеры стучат.

— А ну, стучи!

Знакомый Астафьеву окрнк. Кто-ннбудь нз заключенных добнвался особой льготы: лншний раз вне отведенного времени выйти в уборную. Но, кажется, не пустилн. Вот, вероятно, страдает бедняга арестант.

«Если страданье невыноснмо — оно убнвает. Еслн оно длнтся — значит, переносимо. Соберн свон душевные силы — и будь спокоен».

Так должен утешать себя философ. Да, обывателю есть за что ненавндеть философа.

«В сущностн,— думал Астафьев,— мне глубоко чужды всякие контрреволюционные мечтания. Я презнрал бы народ, если бы он не сделал того, что сделал,— остановился бы на полпути и позволил ученым болтунам остричь Россию под английскую гребенку: парламент, вежливая полнция, причесанная ложь. И все-таки Брнкман прав: я враг его н нх. Ведь все равно, кто будет душить свободную мысль: невежественная или просвещенная рука, н будет, конечно, душить «во нмя свободы» н от имени народа. А впрочем,— все это скучно».

Еслн бы в этот момент прншли и сказалн: «по городу с вещами»,— пульс Астафьева не ускорился бы.

Думал дальше: «Все эти наши события,— революция, казни, борьба, надежды, и весь наш быт, н все наше бытне,— ведь это только ... чиркнула крылышком по воздуху ласточка, н на мннуту остался зрнтельный след. Но не более, не болёе, не более. Ну, а что же есть, что реально? Только — пустота. Отжатая мысль, сама себя поглотившая. Круглый нуль и пу-сто-та».

— Пу-сто-та.

Астафьев вытянул ноги, закрыл глаза и стал дремать.

ВСТРЕЧА

К ночи прнвезли многих нз Бутырок, лагерей н других мест заключения. Спешно перевели из Корабля смерти арестованных по пустячным делам н в качестве свидетелей. Их место занялн те, кто должны были, как заложники и как опасные, нести быструю расплату за взрыв в Леонтьевском переулке. Списки составлены былн наспех, по пометкам следователей н усмотрению коллегии. Требовалась репрессия быстрая, немедленная, устрашающая. Об ошибках н случайностях ду-

мать не приходилось. Личность и имя человека ие были важны, — важно было заполнить именами намеченное число.

Ради быстроты отправили несколько грузовиков в Петровский парк; большую партию, прямо из Бутырок, отвезли в Варсонофьевский гараж. И все же многих пришлось оставить для подвала, где работал Завалишин.

Привезенные знали, зачем их привезли: слух о взрыве донесся до тюрьмы. Впрочем, сегодня, в общей суматохе и спешке, конвоиры ие скрытничали. Сами бледные и взволнованные, они подгоняли арестованных и то и дело нервно хватались за кобуры.

В яме Корабля, тесно набитой, было тихо. Только один, болезненный, плюгавенький, переходил от нар к нарам и быстрым шепотом доказывал, что попал случайно и что его, конечно, никуда не пошлют. Его выслушивали молча, ие пытаясь утешать, думая только о себе, прислушиваясь к шагам наверху.

В третьем утра к перилам балкона подбежал комиссар с тремя конвойными. Он тоже захлопотался и деловым тоном крикнул:

— Эй, вас тут сколько?

Часовой ответил:

— Шестьдесят семь здесь.

— Как шестьдесят семь? А яму копать послали на девяносто!

Посмотрел недоверчиво, затем хлопнул себя по лбу:

— Верно. Еще двадцать три пришлют из Особого Отдела. Все девяносто и есть.

И, успокоившись, ушел деловым шагом.

На ближней полке сидел старый генерал, седой и обдерганный, и прилежно шлифовал обшлагом ногти. Одному не хватило места сидеть; прислонившись к стене, он часто вынимал гребешок и расчесывал пробор. Приземистый мужчина разложил на большом полированном столе, прямо под лампочкой, бумагу с ломтиками сала и молча ел, как бы боясь, что не успеет кончить остатков присланного ему в тюрьму женой запаса. Еще один, сидя, подперев голову и закрыв лицо руками, мерно качался. Черный человек, сжавшись, быстро оглядывал всех, щурил глаза и время от времени блестел зубами, словно бы пытаясь улыбнуться. Несколько человек лежало на нарах, руки заложив за голову. Никто ие раздевался.

В начале четвертого опять прибежал, громко стуча каблуками, «комиссар смерти», на этот раз без списка, и крикнул конвойным:

— Давай двоих!

На нарах вскочили. Черный человек блеснул зубами. Кто-то быстро замахал руками перед лицом. Старый генерал наклонил голову и опять стал медленно шлифовать ногти обшлагом. Взяли его и плюгавенького, который подбежал объяснить, что попал сюда случайно. Обоих увели быстро, подталкивая на винтовой лестнице.

Завалишии был пьяи и страшеи. В перерывах работы валился мешком на лавочку, стоявшую налево от входа, в углу, хватал бутылку и отпивал глоток. Когда снаружи окликали: «Принимай!»— тяжело поднимался, осматривал кольт и подходил к двери, внутри прислоняясь к косяку. По коридорчику подвала слышался топот ног: двое вели, один шел сзади, держа дуло у затылка. Шагов за пять останавливались, и задний кричал:

— Айда, иди прямо, да живей.

И тогда Завалишии поднимал руку...

Под утро стали приводить из Особого Отдела. Два раза в подвал, где работал Завалишин, заглядывал комиссар Иванов. Внутрь ие заходил, окликал перед дверью, косясь на асфальтовый желоб у самой стены.

— Ты здесь, Завалишин?

— Здеся. Все, что ли?

— Погоди малость. Скоро будут все. Бутылку принести тебе?

— Не надо. Посылай скорей, кончать надо.

И скоро опять раздавался оклик:

— Эй, принимай!

— Айда, — отвечал пьяный голос из подвала.

После каждых трех — приходили выносить.

— Эй, принимай!

Завалишин, стараясь твердо стоять на иогах, подошел к двери и поднял кольт.

Топот ног прекратился, и один, мягко и ровио ступая, подходил к двери в подвал. Когда в дверях показалась рубашка, Завалишии осипшим голосом скомандовал:

— Вертай иаправо!

Вошедший повернул голову на окрик, и рука Завалишина опустилась.

Шаги в коридорчике замерли, и хлопнула выходная дверь. Смертник и палач смотрели друг на друга. Завалишин затрясся всем телом и едва не выронил кольт.

Смертник, всмотревшись, улыбнулся страшной улыбкой.

— А, старый знакомый! Ну, как живем, Завалишин?

Белыми пьяными губами тот пробормотал:

— Алексей Дмитрич...

— Ои самый, сосед ваш.

Оба на минуту замерли в молчании.

Астафьев обвел глазами подвал, брезгливо взглянул себе под иоги — на скользкий пол — и сурово сказал:

— Ну что ж, все равио, кончай, что ли.

Закрыл глаза и ждал, сжав зубы. Слышал рядом глухое бормотанье.

Тогда Астафьев сжал кулаки, резко повернулся к пьяиому палачу и крикнул:

— Слышишь, иегодяй! Кончай скорей! Иначе вырву револьвер и пристрелю тебя, как собаку. Кончай, трус проклятый!

Завалишии поднял руку н опустил сиова. Пьяные глаза его были полны ужаса.

Обычным своим голосом, полным насмешки и презрения, Астафьев громко и раздельно пронзнес:

— Эх, Завалишин! Говорил я вам, что ни к чему вы не годны. А еще хвастал. Человека пристрелить ие может. Ну что же теперь, идти мне спать?

Пройдя мимо палача, ои сел иа лавку и опустил голову. В тот момент, когда Завалишии снова поднял кольт, Астафьев быстро взглянул ему прямо в лицо и рассмеялся:

— Ну, то-то! Накоиец-то. Ну — раз, два... Ну же, мерзавец, ну же... плн!

«OPUS 37»

В кухне неистово, наперебой, шумели два примуса. Две хозяйки только что поссорились из-за того, что у одной из них оказалась обломанной иголка для прочистки примуса; теперь они не смотрели одна на другую и ие повернули головы, когда в кухню вошел Эдуард Львович.

Тряпочка Эдуарда Львовича, рваная и грязная, внсела между дверью и плитой. Ои взял ее брезгливыми пальцами, хотел встряхнуть, но постеснялся и унес к себе.

Эдуард Львовнч пытался поддерживать в своей комнате порядок и чистоту. Но у него ие было половой щетки; ее кто-то либо сжег в печурке, либо просто похитил. У Эдуарда Львовича ие хватило эиергии произвести расследование среди жильцов уплотиениой квартиры. Ои примирился с пропажей и управлялся теперь одной тряпочкой, мыть которой ие умел.

Тряпочкой Эдуард Львович стер пыль сначала с крышки рояля, потом с иотиой этажерки и со стола. Затем, наклонившись с натугой, тряпочкой же помахал по полу в сторону печки. У самой печки собралась кучка пыли н каких-то ниток. Эдуард Львович собрал сор на листик твердой нотной бумаги н ссыпал в печурку.

Уборка была закончеиа.

К клавишам рояля Эдуард Львович пыльной тряпкой никогда ие прикасался: только носовым платком, который потом он встряхивал и клал обратно в карман. Клавиши были священны.

Открыв их, ои пристроил на пюпитре иотную рукопись с заголовком «Opus 37» и рядом положил карандашик.

«Opus 37» — последнее, что написал Эдуард Львович: «Opus 37» — был закончен, н вряд ли теперь карандашик мог понадобиться. «Opus 37» — странная, лишенная мелодии, написанная всего в трн дня вещь, совсем новая и неожиданиая даже для самого Эдуарда Львовича.

Раньше ои с иегодованием отверг бы такую больную и тревожащую нервы музыкальную пьесу, — теперь ои сам оказывался ее автором.

Вступление понятно и закоино; так начинается многое. Во

вступлении есть логика и внутреннее оправдание. Но вдруг тема, едва иамечеиная и лишь начавшая развиваться, прорезывается... как бы это объяснить... какой-то музыкальной царапиной, раскалывающей ее затем сверху донизу. Тема упрямо хочет иормальио и последовательио развиваться, ио царапииа углубляется, рвет иатянутые нити музыкальиой пряжи, треплет концы, путает все в клубок трагической неразберихи. Момеит отчаянной борьбы, исход которой иеведом.

Теперь — самое осиовиое и самое страшиое по последствиям. Нити выправляются, концы вытягиваются из клубка, уже слышеи авторитетный волевой приказ (басы!), и вдруг — полиый паралич логики: именио в волевых басах рождается измеиа! Это был только ловкий обман, обход с тыла.

Когда Эдуард Львович играет эту страшную страницу, он чувствует, как его старое и усталое сердце замирает, почти остаиавливается, как шевелятся на затылке остатки волос и подергиваются иадбровиые дуги. Страница преступная, иепозволительная, — но это же сама правда, сама жизнь! Тут иельзя измеиить ни одной шестиадцатой! Композитор — преступник, но композитор — творец. Слушатель и служитель истииы. Пусть мир рушится, пусть гибиет все,— уступить нельзя. Рвутся все иити, сразу, скачком; далеким отзвуком тушуются и быстро умолкают концы музыкальной пряжи, тема мертвеет и умирает,— и рождается то иовое, что ужасает автора больше всего: рождается с м ы с л хаоса. Смысл хаоса! Разве в хаосе может быть смысл?!

От Эдуарда Львовича зависит вырвать из тетради, смять, растоптать, изодрать в клочья эти последние страиицы, этот продукт дикой измены всему его прошлому, традициям старого классического музыканта, преемника и ученика великих. Но сил для этого иет: преступник любит свое преступление. Если бы сейчас, тут же, рояль Эдуарда Львовича окружили возмущеиные тени Баха, Гайдна, Бетховена, Моцарта и если бы они стали вырывать у Эдуарда Львовича его рукопись, осыпая его проклятьями и добивая презреиием, — ои стал бы отбиваться руками, карандашиком, пыльиой тряпкой, подмял бы под себя свою тетрадку, — ио, пока жив, ие отдал бы ее иикому, нн живым людям, ни теиям умерших, ии даже тени своей матери. Если бы она, плача, умоляла его, — ои сам бы истек слезами, умер, но уступить ие мог бы — даже ее мольбам. Вот оиа — трагедия творчества!

Доиграв до конца, Эдуард Львович вскочил с места, потер руку об руку, растерянио оглянулся и, в волиеиии, пробежал комнату из угла в угол. Повертываясь, зацепился пиджаком за угол иотной этажерки, испугался, поднял упавшую тетрадь и далее ие зиал, что делать. Нет сомнения, что «Opus 37» — изумительиое произведение.

Изумительиое, да. Но кем иашептаио? Дьяволом? Смертью? Не пуля ли, однажды влетевшая иочью в его комиату, пробившая окно и застрявшая в штукатурке под обоями,— ие она

ли просвистала ему, что в хаосе м о ж е т б ы т ь, что в хаосе е с т ь смысл! В смерти е с т ь с м ы с л! В безумии, в бессмыслице — смысл. Нелепость седлает контрапункт, бьет его арапником и заставляет служить себе, — разве это возможно!

Белая ниточка у печурки осталась неподобранной. Эдуард Львович наклонился, подскреб ее ногтем музыкального тонкого пальца и бросил в открытую дверцу. Разогнулся не без труда — болела поясница. И вдруг, бросив взгляд на ноты, раскрытые на пюпитре рояля, он понял:

— Гениальное постижение!

От неожиданности он раскрыл рот, хлопнул глазами и произнес вслух и внятно:

— Я — гений. «Opus 37» создан гением.

Эдуард Львович сел на стул у стены, положив руки на колени. Из кухни доносилось шипение примусов и ругливая воркотня жиличек. Но Эдуард Львович ничего не слыхал. Он сидел, подкошенный странным, внезапным сознанием того, что «Opus 37» — гениальное постижение музыканта. Этот момент совпал с приходом старости, — возможно ли? И еще беспокойная уверенность: они не поймут, никто не поймет его последнего постижения.

Был уже вечер, когда Эдуард Львович, забывши пообедать, двигаясь тихо, как бы боясь расплескать чашу полноты и откровения, натянул на худые плечи пальто на клетчатой подкладке, боком надел на голову широкополую свою шляпу и, оглядев комнату невидящим взглядом, отворил дверь и вышел.

Эдуарду Львовичу нужен был свежий воздух. «Opus 37» остался лежать на пюпитре рояля.

ЧАСЫ С КУКУШКОЙ

Вставало солнце, бесстрастно подымалось до зенита и опускалось к западу. Лето сменялось осенью, прекрасной в деревне, хмурой в городе. Зима сковывала воды, заносила дороги, погребала опавшие листья. Теплело — и опять возвращалась весна, обманывая людей надеждами, богато одаряя природу зеленой мишурой, —

— часы с кукушкой считали минуты, следили за спокойным движением двух стрелок, не оставлявших никакого следа на круге, размеченном двенадцатью знаками.

Уходили на вечный отдых те, кому пришло время, зарождались новые жизни; открывались новые раны, ныли, рубцевались; затихали вздохи и сменялись первой радостью; новые страхи вставали в сумеречный час; в потоке жизни барахтались люди, смытые с наскоро сколоченных плотов. Текла с привычным шумом река Времени, —

— часы с кукушкой, старые часы профессора, тикали секунды, равнодушно и степенно разматывали пружину, повинуясь тяжести подвешенной гири. Каждый час и каждые полчаса

из крохотного домика выскакивала деревяииая кукушка, кивала головой и куковала, сколько полагалось. И профессор говорил:

— Как думаешь, Танюша, ие пора ли дедушке твоему в постель? Я еще почитаю немного у себя перед сиом.

— Конечно, дедушка, идите.

— Петр-то Павлович поздно вериется?

— У иего, дедушка, сегодня заседание, и раньше полуночи не кончится.

— Ты ничего, не скучаешь?

— Нет. Я посижу иемного и тоже буду ложиться.

— Ну-ну.

Ослабел старый орнитолог. Да и годы его иемалые.

Из дому выходить стал реже. Однако сегодня выходил. И случилась ему маленькая радость.

На Арбате, иа углу, увидал профессор жеищину с лотком, прикрытым чистой тряпочкой. А из-под тряпки высунулась румяная булочка, — иастоящая, из белой муки, как раньше делали. Женщина оглядывалась по сторонам с боязнью: ие завидится ли поблизости милициоиер. Неизвестио, какой попадется, как неизвестно, можно ли торговать булочками на углу улицы.

И вот профессор, иащупав в кармане пачку бумажек с большими цифрами — сотни тысяч, миллионы, — подошел и робко приценился. Женщина тоже боязливо ответила. И профессор одну булочку купил, заплатив, сколько она выговорила.

Дальше и гулять не пошел, а скоренько старыми иогами засеменил домой. Это — для Таиюши, для милой и заботливой внучки, — первая белая булочка. Как подсиежиик! Не для вкуса, а для радости: ведь вот все-таки иастоящая белая булочка, какие прежде были!

— Уж ты, пожалуйста, скушай при мне.

— Пополам, дедушка.

— Никаких там пополам, все тебе. Ты скушай и запей молоком.

— Дедушка, это уж баловство, я одна не стаиу. Знаете, я сейчас подогрею немножко кофе, и мы вместе. Ну, дедушка, пожалуйста.

— Ну, разве уж маленький кусочек. Вот жаль, что Петра-то Павловича иет. И он бы с иами...

Съели булочку, как просвирку: крошки собрали иа ладонь — и в рот.

— Все-таки, Танюша, вот и булочки появились.

— Сейчас, дедушка, вообще легче стало; все можно достать, только нужны деньги.

— В прошлом-то году у иас была, кажется, белая мука, это которую тогда Вася привез.

— Да, была. Я даже пирожки испекла одии раз.

— Помню, помню, пирожки. Как ои теперь, Вася? Давно к иам не заглядывал.

— Я думаю, что ему хорошо. О нем Елена Ивановна заботится, она хозяйственная.

— Что ж, он того стоит, Вася. Он хороший человек. И Елена Ивановна тоже хороший человек; простой и хороший. Вдвоем нм легче.

Вот и Вася не одинок. И о Танюше есть кому позаботнться, еслн покличет с того света Аглая Дмитрневна:

— А что, старик мой милый, не пора лн н тебе на покой?

Хлопнула на часах маленькая дверца, н кукушка назвала, сколько еще ушло в вечность мннут.

Дедушка спнт, удобно положив седую бороду поверх простыни. Танюша не ложится, — ждет, когда вернется с заседания Петр Павловнч.

Вспомнить бы: к чему себя готовила, к какой жизни? Не к случайной же только встрече с тем, кто всегда приходит н жданно и нежданно. Ну что же, все это еще вернется, придет снова: наука, музыка. Это только пока приходится думать о том, как н чем будет завтра сыт дедушка, чем порадовать милого н близкого человека, когда он вернется усталый с работы на заводе или с вечернего заседания. А разве это не плод долгого ученья — ее концерты в рабочих клубах? И разве это не настоящее дело? Эдуард Львович, правда, хмурится н брюзжит:

— Вы погубите свой тарант! Нерьзя так относнться к музыке.

О, он большой авторнтет в музыке, старый Танюшин учнтель. Но что он понимает в жизни? Была ли ему когда-нибудь знакома гармония нежданных, нелогичных, случайно родившихся созвучий? Любил лн он когда-нибудь не «вообще», не свое музыкальное создание, а реального, живого, вот этого человека?

Кукушка вылетает нз дверцы н считает прожитые сегодня часы. Но только сегодня. О днях н годах, прожитых уже совсем лысым, уже начавшим горбиться Эдуардом Львовичем, кукушка ничего не знает. Может быть, тайны ннкогда не было, а может быть, когда-нибудь н была она у старого музыканта.

Так много было тайн н в детстве Танюши — н как просто стало теперь! Все понятно, н все обыкновенно. И сама она, Танюша, — совсем обыкновенная, как все; просто — женщина. Это не обидно, а хорошо. И любит она человека тоже обыкновенного, самого простого, каких, вероятно, очень много. Хорошего, честного, дельного, умного, — но таких же, как он, могло пройти мимо Танюши много. Почему именно он ей стал так близок н так люб? Простой случай? Нет, значит, так было нужно. И так — на всю жизнь?

Ничего про это не может сказать кукушка. Она знает только счет прошлого. Она уже отметила наступившую полночь н начавшийся новый день. Теперь стрелка часов подходит к первому получасу.

Но прежде, чем кукушка откинула дверцу домика, — в передней негромко щелкнул английский затвор.

— Прншел. Ну вот, н все хорошо...

ХИРУРГИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

В хирургическую лечебницу на Остоженке поступил новый больной. Прнвезла его на нзвозчике женщина, степенная и заботлнвая, вероятно, жена. Когда в конторе запнсывали, сказала:

— Уж, пожалуйста, чтобы поаккуратнее, а мы платить можем. Если угодно, — хоть даже какими продуктами, мучкой или чем другим. Хотя мы нз простых людей, но место он хорошее занимает, ответственное.

Больного, грузного, немного опухшего, но сильного телом бородача вымыли в ванне н уложили в отдельной комнате, в номере девятом. Он стонал н очень мучился, — был прнпадок почечных колик, нужна была немедленная операция. Едва отвечал на вопросы, на доктора глядел нз-под бровей, недоверчиво н боязлнво.

Когда его осмотрели, охая, спросил:

— Помру али как?

— Зачем вам помирать. Вот сделаем операцию, н поправнтесь. У вас в почке камнн н гной, запустили болезнь.

— Резать, значит?

— Ничего, не бойтесь. Под наркозом будет, ннчего н не почувствуете.

Операция была очень трудной н сложной. Когда грузное тело больного положилн на стол, он обвел глазами врачей и сестер, покосился на прготовленную маску, глухнм голосом сказал:

— А может, н так прошло бы? Помирать-то не больно хочется.

Когда наложили маску, замычал, затряс головой, но скоро успокоился. Засыпая, бормотал невнятное.

Спустя полтора часа больного перенеслн на носилках в его комнату.

Проснувшись, он лежал не шевелясь, поводя глазамн туманными, как бы пьяными.

Зашедшей под вечер жене сказали, что операция прошла благополучно, но что больной слаб, беспоконть его нельзя. Вот посмотрнм, как будет завтра.

— А как, опасно? Помереть не может? Вы уж позаботьтесь, а мы можем хорошо заплатить.

— Опасность, конечно, всегда есть. Операция тяжелая, н кровн много потерял. А он как, пил сильно?

— Пил, конечно. У них по службе обязательно пить прнходилось.

— Какая же такая служба?

— А уж такая служба, ответственная. По ночам больше работал.

— Что пил — это плохо.

— Понимаю. Я ему тоже говорила. Может, с этого и вышло.

Адрес женщины записали: указала дом на Долгоруковской, а спросить Анну Климовну, все знают, и преддомком знает, приятели.

В чистой комнате неподвижно лежал больной Завалишин и смотрел в потолок. Боли особенной не было, но была в голове тупость и отдавалась по всему телу. Тугим мозгом шевелил нехотя, и настоящих мыслей не было. Когда входила сестра, а особенно когда в белом халате появлялся доктор и откидывал одеяло, Завалишин смотрел по-прежнему недоверчиво и подергивал бородатой скулой.

На вторые сутки, в обеденное время, больной, лежавший в полузабытьи, вдруг громко застонал; лежал бледный, совсем белый: видно на лице каждый волосок. Сестра вызвала дежурного врача. При осмотре увидали, что бинты намокли от крови. Врач распорядился осторожно перенести больного в перевязочную. Оказалось, что лигатуры, наложенные на большие почечные сосуды, соскочили и не прекращается паренхоматозное кровотеченье.

С большим трудом удалось снова наложить лигатуры на более крупные сосуды, а на остальные и на кровоточащую клетчатку наложить временные клеммы.

Врач сказал сестре:

— Вы от него не отходите, следите внимательно. Положение опасное, он много крови потерял. Через сутки, когда образуются прочные тромбы, можно будет попытаться осторожно снять зажимы и оставить рану под тампоном.

Завалишин слышал голоса и непонятные ему слова, но был сам как в тумане. Боль была тупая, но шумело в ушах, и в висках стучала непрерывная колотушка. И была тоска, тягучая, сосущая, гнавшая сон и покой.

Опять заходила Анна Климовна справиться, — но ничего определенного и утешительного сказать ей не могли.

Надежды врачей не оправдались. Когда через сутки хотели снять клеммы, оказалось, что тромбы не образовались даже в перевязочных сосудах. Там же, где были наложены клеммы, перерожденные ткани и сосуды явно омертвевали. Снова перевязки были промокшими от дурной завалишинской крови.

— Невероятный случай, — сказал врач. — Конечно — алкоголик, но все-таки — какая упрямая кровь, совсем не желает свертываться. Придется ограничиться одной тампонадой.

От Анны Климовны не скрыли, что дело больного плохо. Даже допустили ее к нему в комнату, только просили не разговаривать с больным, а лишь посидеть минуту у постели. Анна Климовна присела на кончик стула, опасливо заглянула в лицо сожителя, увидала белые каемки глаз под полузакрытыми веками, вздохнула и, по знаку сестры, вышла.

— Ужли помрет?

Доктор сказал:

— Очень плохо его состояние. Кровь плохая, ничем ее не остановишь.

— Кровью изойти может, значит?

— Может случиться. Ну, будем надеяться.

Анна Климовна тяжело вздохнула:

— Такая, может, судьба ему. А какой был мужчина крепкий.

Дома, рассказывая преддомкому Денисову, Анна Климовна прибавила:

— Резали, да, видно, не так. Я ему говорила: не ходи. Может, и так прошло бы.

— Доктора лучше знают.

— Все же пожил бы еще. Надо было хоть этот месяц дотянуть, у них первого числа и жалованье и паек получают.

— Да ведь как было ждать, очень он от боли мучался. Все равно было.

— Это верно, конечно. Такая уж его судьба.

Была ночь. Завалишин лежал в полусознании под затененной лампочкой. Болей не чувствовал, да и вообще не чувствовал своего тела. Только иногда покалывало холодком в плече и в ногах, да еще мешал во рту огромный язык, как сухой и соленый ком. Когда открывал глаза,— по потолку комнаты разбегались тенн и прятались по углам.

Один раз, закрыв глаза, подумал, что лежит дома и что в дверь стучат ровно, упорно, словно мягким кулаком. Хотелось покликать Анну Климовну, замычал. Но подошла сестра, что-то тихо спросила, и Завалишин вспомнил, что он в больнице. А Анна, значит, дома, одна. Теперь ей там свободно, во всех трех комнатах. Квартира стала у них большая, никого не поселили; книги все в кладовку снесли.

И тут вдруг точно бы чужой голос крикнул:

— Эй, принимай!

И другой голос, очень памятный, насмешливо произнес:

— А, старый знакомый, ну как живем, Завалишин?

Завалишин дернулся, хотел крикнуть и почувствовал резкую, непереносную боль в животе.

Когда прибежал врач, вызванный сестрой, грузное тело Завалишина опять плавало в крови, которая пропитала все повязки и обильно просочилась на простыню. Ее было много, страшно много — крови палача, которая не хотела свертываться.

Врачебной науке месть крови не знакома. В скорбном листе больного значилось просто: «Dissolutio sanguinis» [1].

Анна Климовна зашла рано утром и узнала, что сожитель ее ночью умер.

Она не плакала, даже не вынула платочка. Только спросила, как же теперь быть ей, ей ли хоронить или от больницы позаботятся. Внизу же женщине, которая была за швейцара, сказала голосом жалобным, качая головой:

---

[1] Разжижение крови.

— Главное дело — должность занимал большую, особенную, хоть сам и простой был человек, нз рабочих. И жалованье, н паек, н еще особо платили за каждую работу, как бы поштучно. Иной раз — сразу большие деньги. И разную одежду получал. А в пайке всегда н мука белая, и мед, и часто материя, н калоши, н все. Конечно, не всякий на его работу пойдет, а уж платили действительно добросовестно, ценили его. Квартира у нас в трн комнаты с кухней, много разного добра, а к Пасхе я свинушку воспнтала.

И вот тут, свинушку вспомнив, Анна Климовна впервые всхлипнула, вынула чистый платок и вытерла сухие глаза.

ВЕЧЕР НА СИВЦЕВОМ ВРАЖКЕ

Ступени деревянной лестницы приветливо поскрнпывали под знакомымн шагами, дверь открывалась с ласковым гостеприимством, вешалка с вежливой выдержкой принимала пальто и шляпы, стены старого дома ловили звук знакомых голосов.

В день рождения профессора особнячок на Сивцевом Вражке собрал тех, кто всегда помнил о былом его широком гостеприимстве. Даже Леночка, прежняя девушка с удивленными бровями, а теперь уже мать двоих детей,— даже она, гостья редкая, пришла навестить старика н свою гимназическую подругу.

Первым пришел физик Поплавский, в совсем потрепанном черном сюртуке, но в новых калошах, полученных недавно ценой долгого стояния в очереди. По мнению Поплавского, очарованного калошами, жить стало много легче, н плохо только то, что получить из заграницы новую книжку почти невозможно, даже н прн знакомствах.

— Этак мы до того отстанем, что потом и в десять лет не догоним Европы. А ведь там, подумайте, об одном Эйнштейне целая литература создалась.

Протасов утешал:

— Не беда. Пока достаточно и того, что знаем. Хоть бы эти знания к делу хорошенько приложить.

Дядя Боря поддержал коллегу:

— Уж какие теперь новые книжки. Хоть бы копировальной бумаги достать да лент для машинок. У нас в Научно-техническом отделе...

Прншлн и Вася с Аленушкой. Вася стал сразу взрослым и солидным, хотя и брил бороду, так как Аленушке нравилась ямочка на его подбородке. Все пуговицы у Васи былн на своих местах, воротничок чистый, носовой платок подрублен н с его меткой. Прошло н прежнее смущение; с Танюшей Вася говорил почтительно-дружескн, с Протасовым вспоминал о совместной их поездке мешочниками. Аленушка держалась просто, но боялась смеяться. Все-таки в конце вечера орнитолог рассмешил ее, и Аленушка раскатилась колокольчиком, хрюкнула н смутилась, увидав, как удивленно поднялись бровн незнакомой ей Леночки.

Сидела Аленушка рядом с профессором, который все время с ней заговаривал, любовно смотря в сторону Васн Болтановского.

Не было только тех, кто уже не мог прийти, чьи имена пронзносились тихо и с серьезнымн лицами. Не было того, с кем не раз в этой самой комнате спорил Поплавский, не любнвший н не понимавший ленивых парадоксов, чей трагический уход из мира живых был еще слишком свеж н недавен, был еще не нзжитым домашним горем. И как нн старалась московская жизнь приучить людей к постоянным потерям и испытаниям,— в мнрных комнатах особнячка старались не произносить нменн Астафьева. Придет время — имя его сольется в сннодике ушедших с именами молодого Эрберга, несчастного Стольннкова н многих других друзей, близких и далеких.

Ровно в девять часов вечера вешалка в передней приняла н повесила на крайннй крюк пальто на калетчатой подкладке.

Эдуард Львович, щурясь от света и потирая руку об руку, вошел, поздоровался со всеми и занял за чайным столом обычное свое место близ самовара; направо — когда-то от Аглан Дмитрневны, а теперь от Танюшн.

Для торжественного дня пили чай настоящий, а на самой середине стола, на большом блюде, лежал парадный сладкий крендель нз белой мукн. В одной маленькой вазочке был сахар, в другой ландрнн. Было слнвочное масло н полная тарелка нарезанной тонкимн ломтнкамн копченой колбасы. Чайный стол исключнтельный, праздничный, в честь дедушки.

И было еще одно, поданное Танюшей специально для Эдуарда Львовича и вызвавшее всеобщее удивление: сладкие белые сухарики, любимое его лакомство. В былые времена ни Аглая Дмитрневна, ни Танюша никогда не забывали заготовить для композитора сладкие сухарики. Но вот уже два года, как Эдуард Львович забыл их вкус; могли для него сушить только ломтики черного хлеба. Сегодня Танюша, ради дедушкн н любимого учителя, добыла целую тарелочку сладких сухариков.

— Это только Эдуарду Львовнчу! И вы должны съесть все сухарнкн, чтобы нн одного не осталось.

Эдуард Львовнч был смущен, но Танюше не удалось даже таким исключительным вниманием рассеять грусть композитора. Уже давно Эдуард Львович перестал оживляться даже в разговоре о музыке, даже за клавншами знакомого рояля.

Орнитолог сидел в кресле, рядом с Аленушкой, которую он шутливо дразнил, уверяя, что Вася без ее помощи не умеет помешать чай ложечкой.

— А ведь раньше был такой самостоятельный, что занимался вместе с Петром Павловичем обменной торговлей с дикими племенами России. И мои болотные сапоги выменял на золотой песок и слоновую кость. Вот был какой!

Дядя Боря пробовал говорить о грандиозных планах н заданиях Научно-технического отдела, особенно по части электрифнкации. Протасов посмеивался:

— Планы планамн. Вот только настоящему делу нашему не

мешайте, простой заводской работе. А планы — хорошо, особого вреда от них нет. Даже могут пригодиться впоследствии ученые ваши проекты.

Таиюша хозяйничала, оглядывая маленький тесиый круг друзей особиячка и думая: «Дедушка доволеи. Приятио ему, что его ие забыли. Непременно нужио, чтобы Эдуард Львович согласился играть сегодня».

И когда тарелка с колбасой опустела, а от кренделя остались одни сладкие крошки, Танюша зажгла свечи у рояля.

— Вы иам сыграете, Эдуард Львович?

К ее удивлению, он согласился сразу:

— Да, я очень хотер бы сыграть. Я бы хотер одну вещь, которой еще никогда...

— Ваше иовое?

— Уже борьше года. Но я еще иигде не нспорняр. Это иазывается... то есть иазванья нет никакого, ио оио — это мой посредний опус. Это мой опус тридцать семь.

Он потушил свечи и выждал, пока все рассядутся.

Кресло дедушки подвинулн ближе к дивану, где сели Алеиушка, Леночка н Вася. Поплавский в затеиенном уголке иа стуле, дядя Боря н Петр Павлович остались у стола. Танюша — иа ковре, у иог дедушки, голову положив к иему на колени.

Только Танюша могла заметить и понять, какую жертву прииес Эдуард Львович, согласившись сыграть свою последнюю вещь. Оиа слушала, не проронив ни звука,— и страдала вместе со своим учителем, а может быть, страдала за иего.

Оиа увидела, что в творчестве старого композитора случился нзлом, произошла катастрофа, что ои, бессильный отказаться от музыкальной иден, которой всю жизнь служил,— вдруг потряс колоины н обрушил на себя им самим созданный храм и бьется теперь под его обломками. Родилось — рядом с его жнзнью — что-то иовое, что ои хочет поиять, осилить и, кажется, оправдать,— ио у него нет для этого слов и музыкальных сочетаний, а есть только крик боли, заглушенный чужими голосами, ему враждебнымн и незиакомыми.

Танюша видела, как вцеплялись в клавиши длиниые пальцы Эдуарда Львовича, как ои хочет убедить самого себя, как дергается его худое и бледное лицо, как Эдуард Львович страдает. «Зачем я просила его играть!»

Ои кончил оборванным аккордом, тотчас же вскочил со стула, дрожащими пальцамн потянул крышку, уронил ее, болезиенно вздрогнул и растеряиио застыл на месте, спиной ко всем.

Таиюша зиала, что нужио чем-то помочь. Оиа подошла и, не говоря ии слова, ласково погладила рукав его пиджака.

Эдуард Львович огляиулся н пробормотал:

— Да, да, вот это посредний опус тридцать семь...

Затем ои потер руками и, ие прощаясь, быстро вышел в переднюю.

Вышла за ним н Таиюша. Но она не знала слов, какне нужно было ему сказать. И есть ли такие слова?

Сорвав с вешалки пальто, Эдуард Львович быстро надел одии рукав и долго искал другой. Танюша помогла. Тогда он повернулся к ией лицом, вынул из кармана ноты, свернутые в трубочку и обмотанные в несколько раз тонкой ниткой, и сунул Танюше.

— Вот это дря вас. Я посвятир вам опус тридцать семь, мой посредний опус. Он торько дря вас. Да, это так иадо, до свиданья.

— Спасибо, Эдуард Львович. Но почему вы так уходите?

— Так надо. Я доржен уйти.

Он подошел к выходной двери, взялся за задвижку замка, вернулся и, опять смотря в лицо Танюше, сказал скороговоркой:

— «Опус тридцать семь» есть произведение геиия. До свиданья.

Танюша слышала, как Эдуард Львович оступился на лесенке, ио затем шаги его стали быстро удаляться.

КОГДА ПРИЛЕТЯТ ЛАСТОЧКИ

Гости разошлись рано.

— Дедушка, вы, вероятно, очень устали. Может быть, сегодня пораньше ляжете?

— Немножко, правда, утомился, а спать ие хочу. Вот посижу с вами, отдохнем, а потом пойду к себе.

Танюша убрала со стола, переставила на место мебель, накрыла чехлом рояль. Помогал ей Петр Павлович. Профессор сидел в своем глубоком кресле, полузакрыв глаза. Опять присела Танюша на коврик у его ног.

Погладив внучку по голове, сказал орнитолог:

— Вот когда у нас тихо и так сидим, все мне кажется, будто стены шепчутся. Дом-то старый, есть ему что вспомнить. Этот дом, Петр Павлович, еще моя мать строила, Танюшина, значит, прабабка. По тому времени считался дом барский, большой, для хорошей семьи. Красивый был. На дворе разиые службы, конюшни, птичник, баня, конечно. Баню-то эту мы совсем недавно разобрали на дрова. Тут я всю жизнь свою и прожил. И конца дождался. Теперь дом стал ничей, и люди за стеной живут чужие.

— Оии тихие, дедушка, иам ие мешают.

— Ничего, что ж, всем жить надо. Я ведь не жалуюсь, вспоминаю только. Времена теперь изменились.

И опять заговорил:

— Вот скажите мне, Петр Павлович, как будет вам, молодежи, жить дальше? Лучше, чем мы жили, или так же, или труднее?

— Думаю, профессор, что нам будет сложиее жить. Уж, конечно, в одиом доме целой жизни не прожить, теперь это невозможио.

— А вообще-то людям лучше станет? Сейчас, конечно, плохо

совсем. Ну, сейчас время нсключительное, переходное. Перемучаться надо. И долго.

— На наше поколение хватнт.

— То же н я думаю. Долгне годы нужны, чтобы опять жизнь направилась. Вон Поплавскнй жалуется, что оторвалнсь мы от Европы, что не догоним теперь. Ученому этого нельзя не чувствовать. Обидно ученому человеку.

— В чем другом, профессор, а в этом-то догоннм скорее, чем Поплавскнй думает. Вот в хозяйстве тяжело, все у нас разрушено н бедность страшная. И людей настоящих еще мало.

— Люди придут; людей в Россни много.

— Люди придут,— сказал Протасов.— Совсем новые люди придут н, пожалуй, посильнее прежних.

Старнк помолчал, потом погладил Танюшнну голову.

— Вот, Танюша, это очень хорошо, что Петр Павловнч надеется. Ты тоже постарайся так верить.

— Я н верю, дедушка.

— Люди прндут, новые людн, начнут все стараться по-новому делать, по-своему. Потом, поглядев, побившись, догадаются, что новое без старого фундамента не выживет, развалится, что прежней культуры не обойдешь, не отбросншь ее. И опять возьмутся за старую кннжку, нзучать, что до нних нзучено, старый опыт нскать. Это уже обязательно. И вот тогда, Танюша, вспомнят н нас, старнков, н твоего дедушку, может быть, вспомнят, книжкн его на полку опять поставят. И его наука кому-нибудь пригодится.

— Ну, конечно, дедушка.

— Птички пригодятся. Обязательно должны пригодиться мон птичкн! И нм место в жизни найдется. Верно ли, Танюша?

— Дедушка, вот скоро весна, н ласточки наши прилетят.

— Ласточкн непременно прилетят. Ласточке все равно, о чем люди спорят, кто с кем воюет, кто кого одолел. Сегодня он меня — завтра я его, а потом снова... А у ласточки свон законы, вечные. И законы этн много важнее нашнх. Мы еще мало нх знаем, много нзучать нужно.

Долго молчали. И правда, стены старого дома шептались. Наклонив голову к Танюше, так что седая борода защекотала ее лоб, орнитолог тихо и ласково сказал:

— Ты отметь, Танюша, запишн.

— Что запнсать, дедушка?

— А когда нынче весной ласточкн прилетят — отметь день. Я-то, может быть, уж н не успею. А ты отметь обязательно.

— Дедушка...

— Да, да, отметь либо в календаре, лнбо в моей книжечке, где я всегда отмечаю. Будет одной отметкой больше. Это, Танюша, очень, очень важно, может быть, всего важнее. Отметишь, девочка? Мне прнятно будет.

Ласковая дедушкнна рука гладит голову Танюшн.

— Дедушка, милый дедушка... Ну да, конечно... я отмечу, дедушка...

СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ

Возможно, что я делаю ошибку, укладывая вымысел в рамки исторических фактов. Во всяком случае, я должен сказать, что в этом романе только одно действующее лицо может считаться портретом; все остальные лица, как и события, писаны смешанными красками и лишь случайно, в отдельных чертах, могут напоминать действительных героев и действительные события, связанные с первой русской революцией.

Автор

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОЛЕНЬ

СМЕРТЬ МУШКИ

В утро, когда мир был еще маленьким, уютиым и прозрачным, весь состоял из родного дома с садом и соседней деревии Федоровки, а кончался лесной опушкой и рекой и когда добро и зло еще ие жили раздельио, а пытались уравиовеситься и сговориться,— кучер Пахом, сам огромный и в огромиых сапогах, всклокоченный и хмурый с похмелья, шагнул с кухонного крыльца и раздавил иасмерть щеика Мушку.

Мушка даже не успел взвизгнуть — и жизиь его кончилась. Наступив всей тяжестью грузиого тела иа мягкое, Пахом поскользнулся, хотел крепко выругаться, ио оборвался на полуслове и сокрушенио ахнул:

— И-эх ты, никак барышниа собачка!

Огромный Пахом смущенно обтирал огромный сапог о траву, росшую у крыльца, пока кухарка доказывала ему о пьяиых глазах и о душегубстве. Когда прибежала Наташа, Мушка уже ие дрыгал лапой. Девочка иаклонилась, попробовала поднять Мушку, но отдернула руки: это уже ие Мушка, а лепешка из шкурки с раздавленной головой и с иалитым кровью глазом, злым и укоряющим. Наташа встала, с ужасом посмотрела иа Пахома и иа кухарку и без слез побежала в сад. Пока оиа бежала, сдерживая дыханье, ей слышался позади мягкий и четкий топот Мушкиных лапок. В саду оиа с разбегу прыгнула на скамейку и подобралась,—

никого не было, нн Мушки, ни людей. И все-таки она не плакала, а только вся спряталась в первый жизненный ужас.

Прозрачность мира затуманилась, его простота лопнула под Пахомовым сапогом, как грецкий орех. Теперь за стволом березы, которая раньше была удивительно приветливой, пряталось страшное, с ясного неба мог упасть камень, а в цветах притаилась змея. Осторожно спустив ноги со скамейки, чтобы не ступить на что-нибудь полуживое и скользкое, Наташа кинулась бежать из сада к дому, но к другому входу, споткнулась на лесенке, зашибла коленку, испуганно закричала,— и только тогда хлынули слезы из голубых открытых глаз. Утешали ее напрасно,— можно утешить в любом горе, а тут страшное открытие и загадка не по силам. Открытие — смерть, а загадка — за что? Если можно убить Мушку — то, значит, можно все! Теперь ничему нельзя верить, ни участливым словам, ни добрым улыбкам! От теплого, шелковистого, счастливого Мушки остался злой глаз, проклявший и дом, и сад, и всех, и Наташу. Пахом вытер о траву огромный сапог — и радости больше не может быть.

Глупая нянька бубнит над ухом, что найдем нового Мушку, получше прежнего, а глупая мама выговаривает Пахому: «Как вам не стыдно, вот видите, что значит пить!» Пахом вяло оправдывается: «Где ее, маленькую, приметишь, легла на самой дороге», а нянька бурчит: «Ты этак-то и человека раздавишь!» Все это — напрасные речи, и Наташа не слушает. Все равно — мир расколот, теперь ничего не вернешь! Она больше не плачет, а быстро думает и ничего придумать не может — все спуталось. Мушки больше нет, и ничего прежнего больше нет.

Кучер Пахом, полный раскаяния, прибрал и подмел у черного крыльца, так что и следа не осталось; даже песочком присыпал. Руками поднять не решился, а снес на лопате Мушкин труп за садовую ограду и там зарыл, навалив курганчик земли. Теперь ступая подкованиым сапогом, все смотрит под ноги, а на садовой дорожке даже поднял игрушечное ведерко и осторожно, обеими руками, поставил его на скамейку. Души у щенка не может быть, у него заместо души пар — а все же загублена малая жизнь, это Пахом чувствовал. Не махни он с крыльца, как увалень, да и не совсем проспавшись,— не было бы такого случая, и вырос бы Мушка в большого пса, барышне Наталочке на радость. Очень было обидно Пахому за самого себя, и этим вечером он выпил больше обычного — и в утеху, и с горя. Выпивши — жаждал подраться, но никто с ним, таким огромным, во всей деревне драться не мог, да и день был не праздничный. Поздно вечером Пахом вернулся сумрачный и, шагая в темноте, высоко подымал ноги и осторожно опускал, чтобы не наступить на неладное.

«ДАЙТЕ ХОДУ ПАРОХОДУ!»

Деревня Федоровка неподалеку от Рязани — то есть это по-российски неподалеку, а на лошадях ехать больше полсуток. Ле-

том можно пароходом, так как деревня близка к реке, а имение Калымовых у самого берега Оки. Выедет лодка, пароход замедлит ход, потом даст ход задний, вода забурлит под колесами, с лодки поймают чалку и так на ходу и принимают пассажира, а легкий багаж летит швырком.

Рязанцы — народ прочный и основательный. Как про всех — и про них сложены сказки и прибаутки. Рязанцы «солнышко мешком ловили» и «острог конопатили блинами». Был бой рязанцев с москвичами. Москвичи отмахали солнышко шапками на рязанскую сторону, чтобы ослепить; а рязанцы попробовали поймать солнышко мешком: навели мешок, поймали, завязали,— а оно и выскочило. Тогда они решили: «Плохо нам, несдобровать! Попросим у москвичей мировую». Юмор у рязанцев тяжелый, сытный, былинный, а сами они крепки, коренасты, женщины дородны и румяны, дети смелы и озорны. Которые живут во глубине страны — мечтатели, а приречные — больше любят созерцать.

Наташино детство прошло между городом и деревней. В гимназические годы — она училась в Рязани — много читала, но умела и петь, и плясать, как настоящая деревенская: отбивала каблуками частую дробь, держа плечи на уровне, и пела частушки. В семнадцать лет носила две темные косы — толстые, до самого пола,— была ширококоста, хорошо скроена и крепко сшита. Училась так себе, ни плохо, ни хорошо, а среди приятельниц и приятелей была настоящим коноводом по части выдумок и веселого озорства. Любила весной кататься по Оке в молодой компании, с песнями, с брызгами, с ахами, с привалом на том берегу, при кострах. А когда уезжала с семьей на лето в деревню,— не скучала и одна и ловко управляла плоскодонной лодкой. Самое настоящее удовольствие — уплыть на веслах вверх по течению, как можно дальше вдоль берега, а потом, выехав на середину реки, весла сложить, лечь на дно лодки и плыть по воле обратно, любуясь качающимся небом,— и не столько думать, сколь просто смотреть.

Давно истлели Мушкины косточки за оградой сада, и на собачьей могиле выросла такая же трава, как и везде, только посинней и погуще. И давно поняла Наташа, что смерть — одно из явлений жизни, что смерти, собственно, и нет, а есть простое превращение Мушки — в траву, бывшего — в настоящее, настоящего в будущее. Страшного в этом ничего нет. Если вот сейчас перевернется лодка и до берега не доплыть,— Наташа исчезнет, а мир останется, а может быть, и мир исчезнет с нею, но это все равно. А возможно, что она превратится в рыбу, в водоросль, в морщинку речной рябн, потом подымется паром над рекой, впутается в стадо небесных барашков, прольется дождем над садом и огородами, станет соком березы или яблоком — и какая-то ее частица вернется в человеческую жизнь опять рязанской девушкой, которая будет петь:

Раз полосыньку я жала,
Золоты снопы вязала...

А вечером, в середке хоровода, будет отбивать каблучками дробь в рязанской пляске и лущить семечки.

Уже давно Наташа слышит, как в дно лодки часто и ровио стучит пароходное колесо. Думает: «Раньше свистка не поднимусь!» Пароход идет снизу, лоцмаи видит лодку, а в лодке как будто никого и нет. Уже совсем вблизи он тянет за рукоятку, и по реке пробегает густой гудок. Наташа приподымается, не спеша садится за весла, смотрит, в какую сторону удобиее отплыть,— и в два взмаха, нехотя уступает дорогу. Пароход, с боковыми колесами, и прямо иа лодку иадвигаются большие поперечные водяные валы. Наташа быстро повертывает лодку носом в разрез валов — и опять бросает весла. Дальиий берег, с лугами и деревьями, исчезает в воде, затем возносится к небу, опять ныряет, опять вырастает, и в лодку захлестывается гребень иевысокой волны. Как иа качелях — и жутко, и радостно. С парохода смотрят: «Ну и смелая девка! Вот перевериет волной — иаплаваешься». Откуда им зиать, что все это давно обдумаио и что смерти, в сущности, нет, а есть только превращение — как было с Мушкой!

Река и лес — два иеизменных друга. Река широкая, вольиая, и лес иастоящий, хвойиый, с опушками из березы, осины и орешника. В реке огромные рыбины, в лесах волки, зайцы и еще ягоды и грибы. После гимназии придется ехать в Москву, большущий город, где курсы, театры, иовые люди и, коиечно, совсем особая жизнь. Придется прочитать много книг, а после кем-нибудь сделаться; странно, что полагается кем-то быть, хотя разве иельзя просто остаться Наташей Калымовой? Правда, вечно жить в Рязани, когда есть ведь еще большой мир и есть еще заграница, Северный полюс, вулканы, Париж, Австралия,— это было бы иевозможно! Видеть нужно очень много, и нужно куда-то затратить силушку, которая уже чувствуется и которой должен быть исход.

Взмах веслами. Только скрипнули в уключинах, лодку взбросило и подало вперед; зажурчала вода и за кормой разделилась надвое. Еще взмах — эхма!

И запела частушку своей деревни:

Дайте ходу пароходу,
Натяните паруса;
Я за то его любила —
За кудрявы волоса!

А иикакого милого еще и в голове ие было. Но все придет — будет и милый.

Пока — крепло тело иа парием молоке, а душа питалась здоровой рязанской природой: столько-то лесной смолы, столько-то речиого простора, без счета солнца — и воздух полиыми легкими до дна!

ЧЕРЕДА ДНЕЙ

Как плывут по небу белые барашки — никто их не гонит — и уплывают в неизвестное — и никто их больше не видит,— так уходят пестрым стадом дни — и трудно угнаться за ними памятью. Каждый знает, когда зацвела или когда подломилась его личная жизнь, но в ее беге и сутолоке только вчерашний день очень памятен и только завтрашний очень важен, а самое главное — сегодня.

Был год четвертый, и был год пятый двадцатого века. Юноши тех дней теперь осторожно спускаются под гору, а взрослые тех дней стареют и убывают в числе. Прошлым называется великая война и последняя революция, а что было до этого — то уже история.

Юность Наташи Калымовой совпала с героическими днями России, с ее самым первым пробуждением. Но та весна была так коротка и так быстро вернулись морозы, что именно молодые посадки и пострадали всего больше. Год четвертый был годом «святого негодования», пятый — пылкого героизма и несбывшихся надежд. А когда на лобное место политической свободы прибежал, запыхавшись, человек тыла, ему ничего не осталось, как назвать толпу, расходившуюся с кладбища, смешным именем «Думы народного гнева». Но гнева уже не было, и народ притих. Под разбитым колоколом трепался наскоро, мочальной веревочкой подвязанный язык.

Лето девятьсот пятого года Наташа, как всегда, проводила в деревне. За прошлую осень и зиму она прослушала в Москве столько лекций, докладов и споров, что кружилась голова и не было возможности разобраться. Теперь, в деревенской тиши, отдыхала, взрослела и рассеивала туман. Героическое ее влекло, но в ее душе оно никак не укладывалось в программу и книжные истины. Те, кого называли вождями, меньше всего были похожи на былинных богатырей,— были они худосочны, вихрасты, говорливы и лишены мускулов. Очень красиво и громко звучало слово «народ»; но почему его, этого нового бога, нужно жалеть, как слабого и голодного ребенка,— этого Наташа никак понять не могла. В деревне Федоровке крестьяне жили хорошо, избы были крыты тесом, а не соломой, ничьи животы не пухли, коровы были у всех, а ранней весной и поздней осенью приречные мужики подрабатывали рыбачеством. Слушая московских ораторов, развивавших аграрную программу, Наташа видела перед собой золотые ржаные поля и заливные луга,— и уж тогда не могла следить за вязью пышных и напрасных слов. Однажды, слушая эсеровскую звезду, чернокудрого и черноглазого Непобедимого, невольно подумала: «А отличит ли он рожь от овса и овес от гречихи? Или ему знакомы только книжные поля?» Но когда говорили о революционных подвигах, о вооруженной борьбе с властью,— это понимала и принимала как красоту борьбы неравной.

На курсах она больше всего увлекалась философией, напрягая мысль и путаясь в терминах. Но ее головке, отягченной тол-

стыми косами, нужны были не стройность и логичность философских систем, а простые ответы на простые вопросы: о жизни и смерти, о разуме и вере, о загадке мироздания, о временном и вечном; прочтя две страницы ученическими глазами, на третьей она задумывалась о своем. Бога отвергла без особого труда, но поспешила сделать богом «белокурого зверя». И, раз его найдя, уже не расставалась с Заратустрой. Ее, как и всю тогдашнюю молодежь, увлекала, конечно, не столько сила мысли модного немецкого философа, сколько поэзия его высокого озорства.

К осени нужно было решить немало житейских вопросов. Если вернуть, то нужно, уверовав, действовать; если действовать — так идти до конца. И не по чувству долга, которое малоценно, а для того, чтобы куда-нибудь затратить силушку. Растворяться в словах и спорах, когда все курят и все говорят одновременно,— это для людей иной породы: с ними скучно и бесцельно! А если идти, то с теми, кто умеет действовать. Но таких людей Наташа еще не встречала,— хотя искала с жадностью. Где они, настоящие «белокурые звери», те, кто смело нападают, бросают страшный снаряд и, оттолкнув руку палача, сами накидывают на шею петлю? Для кого революция — не спор о программах и не жалобная песня, а свободная и радостная жизнь? О них пишут и говорят,— но как их найти?

И думала:

«Они — герои, а я — самая обыкновенная девушка. Они — служители высоких идей, а у меня никакие отвлеченные идеи в голове не укладываются. Но я и не хочу быть героиней, я просто хочу жить полнее. А жизнь дана не для того, чтобы ее экономить и расходовать по капелькам. Все — так уж все, иначе — постричься в монашенки и шептать молитвы. Но только это не по мне!»

Она, рослая, здоровая, голубоглазая, и вправду в монахини не годилась. И от черта, и от ладана была одинаково далека. Рязанские девушки полногруды и солидны: глаз не закатывают и на шею не бросаются. Но со скучными и расчетливыми людьми им тошнехонько, и долго стоять на месте они не могут и не хотят. Людей определяют на глаз и делят на настоящих и никчемных; с последними не по дороге.

Близких подруг и друзей у Наташи не было, хотя она никого не сторонилась. Но, выждав и высмотрев, могла избранного пожаловать и дружбой, и любовью. Это уж будет, значит, настоящий человек; пока его не было — да ведь и рано!

В те годы зачиналась новая русская история. Год был урожаен на молодых героев — но они народились не на японской войне, непонятной и бесславной; они народились в глубинах России, единицами и гнездами. И народились на скорую погибель,— чтобы оставить в истории красный героический след и подготовить будущее.

Все проходит — остаются книги. В книгах строчка за строкой записано то, что было, и то, чего быть не могло. За тысячу человек думает один, и с его пера стекает на бумагу недальняя муд-

рость и неиарочиая выдумка. Будто бы вот в эти годы, вот этой мыслью жили в России все люди или уж, в крайнем случае,— все лучшие. А это не так: одним живет пьяный кучер Пахом, другим — пастух деревни Федоровки, великий мыслитель и искусник по лапотной части, и еще совсем иным — городской человек. А старая липа в калымовском саду как росла тогда, так и по сей день дает цвет и ие хочет сохнуть, и никак ие убедишь ее, что важное случилось и описано в книгах парадными словами.

Поздией весиой, уезжая из Москвы в отцовское поместье, Наташа упаковала в чемодан целые стопы книг, чтобы читать их летом на досуге. В городе эти книги только путали голову. Когда ехала, расписала свой летний отдых по часам и по отделам: первый отдел — задача философии, второй отдел — философия греков, третий отдел — теория позиания. Утром купаться, до обеда читать. А когда увидала Оку и дохнула речным воздухом, сразу поняла, что вся программа полетит кувырком.

На реке две зари: утренняя и вечерняя; а часов никаких иет. Ох, трудно будет с собой справиться!

Вот уже и лодка отчалила иа свисток. А иа берегу знакомая таратайка, и иа козлах грузная копна человеческого тела — постаревший и осевший кучер Пахом.

Может быть,— кто зиает?— это лето будет последним.

ЗЕНОН

Как хорош мир, если смотреть на иего не из окна городского дома, ие иа мостовую с лошадиным пометом,— а стоя посреди лужайки или иа берегу реки! Хорош и полон чудес. От одуванчика до кучевых облаков, от низкого полета зяблика до всплеска большой иевидной рыбины,— прекрасеи живой мир, вечно шепчущий, в тени прохладный, на солнце шевелящий волосы горячим дыханьем. И будто бы простой — а сам ие простой, ие раскрывающий всякому свою мудрость.

По страницам книги бегают световые зайчики. Кукушка считает года и мешает беседовать современиой рязаиской девушке Наташе Калымовой с элейским философом Зеиоиом, жившим в пятом веке до Христа.

Зеиои придумал состязанье в беге черепахи с Ахиллесом. Как ни иадрывается Ахиллес — ие может догнать черепаху; догнал, а она опередила на свой шаг, опять догнал — оиа опять впереди. В эту минуту прямо иад Наташиной головой большая зеленая стрекоза, а по-местному — коромысло, одним броском и догнала, и защемила комара. Зеиои говорит: ие может этого быть, в мире нет движения, все это только кажется! А если поднять от книжки голову — бежит река, по реке бегут струйки, у самого берега серебристая уклейка губой ловит намокшую муху — и иа глади рождается и расплывается кружок. Имя реке Ока. Зеноиу иезнакомое, а для Наташи такое свое, что можио отдать за иего всю душу — и то мало. И, однако, оиа хмурит брови, опять смот-

рнт на страницу книги и старается понять, как же это так, что движение — только иллюзня? Все предметы природы, значит, и камень, н трава, и стрекоза, и солнечный свет, и сама она, Наташа,— все это реальио лишь как воплощение божества, как застывшее величие неизъяснимой и всевластной воли, вне иас стоящей. Умом этого не понять, а чувство радо слить в одно целое весь этот трепет мира, и даже безо всяких умствующих ссылок на математику. Просто я — в стрекозе, и стрекоза во мне, а голос кукушки — мой голос, и во мне прохлада окских вод.

И тут, встав н оглянувшись внимательно, с девичьей боязнью, Наташа быстреиько скидывает платье и рубашку, спускается по мягким травам ската, морщится, ступив иа острый камушек,— и вот она в воде, к ужасу уклеек, плотичек и живо юркнувшего в нору рака.

Может быть, и нет движения в реальности, но и вода несет тело, и руки ей помогают, подвигая его саженками, по-мальчишески; и ие будь Ока слишком широкой, можно бы уплыть на тот берег, иа этом оставив очень умного и очень иелепого Зенона, который и плавать не умеет, и Оки ие видал, да и вообще смешиой старикашка, запутавшийся бородой в переплете книги, если была у него борода. И, нисколько его ие стыдясь, этого слепого умника, Наташа пробует лечь на спину, что иа быстрой реке ие так просто. Ее относнт течением, и, выйдя поодаль на берег, она бежит к платью немиого согнувшись, потому что если слеп Зенон, то не слепы кузнечикн, и небесные барашки тоже не слепы, и вообще на всякий случай.

«Итак,— говорнт Зенон,— будем продолжать. Если предположить, что быстроногий Ахиллес пробежит десять локтей, отделяющих его от черепахи...»

Быстроногий Ахиллес, сбросив на бегу хитои, летит так, что сверкают на солнце голые пятки — и уязвнмая, и заколдоваиная. Он весь — порыв и движение, кудри развеваются, издали слышно его частое дыханье. На черепаху это не производит ни малейшего впечатления: ползет не торопясь, зная, что ее победа обеспечена. Разумеется, сочувствие Наташн на стороне Ахиллеса, но ей нравится и уверенность черепахи, какая-то обреченность этого состязания. Силой своей скептической мысли Зенон не дает Ахиллесу перепрыгнуть через черепаху и унестись по берегу реки до самого перелеска. Есть тут какой-то математический фокус, но Наташе он так же неизвестен, как и огорченному бегуну.

Лето пройдет быстро — уже начали косить сеио; и не огляиешься, как пора в Москву. А между прочим — основная цель жизни еще не выяснена, будущее еще не наметилось! Опять будут речи о страждущем иароде и деспотизме самодержавной власти. Потом о соотношении личности н общества, о путях эволюции н революции, о методах борьбы и, главиое, тактике. И еще об общественном долге и личном самопожертвовании. Долг — вздор, а отдать свою жизнь так, как хочется,— разве это жертва? Это и значит — выиграть свою жизнь! И все-таки интересно, любила ли Перовская Желябова? Какую роль в ее жизни сыграла эта любовь?

После купанья так хочется есть, что Наташа выпила бы целую крынку молока; ио днем париого иет, нужно ждать, пока пригоият коров. А пока бы хоть черного хлеба с крупиой солью! И свежий огурец. Зенон, уткнувшись лицом в траву, пробует задремать, ио его перевертывают, захлопывают, прижимают теплым локтем и почти бегом иесут домой — через поля высокой ржи, которая уже иалилась и иачииает золотиться. По переплету пощелкивают колосья, и Зеиону со всеми его едииомышлеиииками и всеми его врагами беспокойио, потому что руки Наташи в беспрерывиом движении: оиа рвет колосья, вычищает еще иезрелые зериа и ест их белыми зубами.

У иее светлые голубые глаза, очеиь ясные, потому что молодые. И оиа здорова, потому что выросла в деревие и еще ие замучеиа городом. Кожа золотится, босым иогам прохладно в тени высокой ржи. Мир пахиет травами, прекрасный мир, иеведомый тем, кто смотрит из городских окои иа мостовую и думает, что ничего другого иет, что так и нужио жить — в пыли, в дыму и людском гомоие. И кто, зиачит, ие ведает великого счастья — быть обнятым природой и плыть по воздуху, иад полем, иад лесом, в горячем солиечиом луче, мошкой, мотыльком, ястребом, в шепоте трав, во всей этой изумительиой музыке летиего дня и в ощущеиии молодости, которого никакими словами ие изобразишь и ие расскажешь.

И вот — изгородь старого сада, калитка, липовая аллея и крылечко дома. Зенои чувствует, как молодая иеразумная сила иесет его по скрипучей лестнице и плашмя хлопает иа плоскую доску стола. Нужеи весь его стоицизм, чтобы и тут отрицать миожествеииость вещей и иастаивать иа иллюзориости движеиия,— ио как ииаче поступить мудрецу, который две с половиной тысячи лет твердит одиу и ту же остроумную выдумку о черепахе и Ахиллесе? Саркастически улыбаясь, ои прислушивается к удаляющимся шагам.

СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ

В семь часов утра отец Яков пробуждается совершеиио свежим и вполие готовым в поход. Умывается и одевается бесшумио, чтобы ие обеспокоить гостеприимных хозяев, волосы расчесывает прилежио, рясу осматривает обстоятельио, сапоги иатягивает только в передией, перед выходом. Затем, с толстым портфелем под мышкой, отец Яков тихо выходит, осторожио притворяет за собою дверь и легкой поступью, при всей своей грузиости, спускается по лестиице. В восемь утра ои уже в гуще любопытиой человеческой жизни, которую любит и которую изучает вдоль и поперек.

Отец Яков — бесприходный поп, родом из приуральской губернии. Бесприходным стал после разных сложных событий и иеприятиостей, и семейных, и обществеииых, и фииаисовых. В чем дело — иикто точио ие помнит, и в родные места отец Яков

больше не жалует. Было что-то со сбором на голодающих и с приютом для девочек — история стародавняя. Есть у отца Якова какие-то средства, постоянные и ничтожные, хватающие на билет третьего класса и на закусочную лавку. Жительствует больше по знакомым, не напрашиваясь, а по дружбе, со скромностью. Толст и слегка краснощек — но не пьет спиртного и не склонен к чревоугодию; просто — всякая жизнь и всякое питание ему на пользу. Сегодня он в Москве, завтра в Пинтере, через неделю в Вологде, в Уфе, в Рязани, зимой — по городам, летом — на Волге и Каме, третьим классом парохода от Рыбинска до Астрахани, от Нижнего до Перми. И всюду друзья и знакомые, временный приют, ласковый привет.

Никто не знает точно, зачем странствует отец Яков, и никто не удивляется его дальним перелетам.

— Откуда вы, отец Яков?

— Да вот ныне из Тулы. Хороший город, и люди приветливые.

— Что вы там делали, отец Яков?

— А смотрел, знакомился. Город самоварный и прянишный, хороший городок. И общество прекрасное.

Отец Яков хвалит все и всех. Дурного он не хочет видеть и говорить о дурном не любит. В каждом месте заводит добрые знакомства, все больше с местными интеллигентами, с докторами, с адвокатами; с духовными лицами мало, хотя не чуждается. Не брезгует и исправниками и очень интересуется революционерами, но о подобных встречах и знакомствах никогда не болтает: понимает, что нельзя.

Портфель отца Якова полон рекомендаций, бумажек с печатями, брошюрок земского и епархиального издания, его собственных писаний и визитных карточек с адресами. Кое-где, по городам, у верных и скромных людей, хранятся его архивы: склады им же изданных книжек и тетради его дневников, обернутые в бумагу, перевязанные аккуратной веревочкой и припечатанные его печатью. А пишет отец Яков преимущественно краткие исследования о местных обычаях, провинциальных памятниках старины, о кустарях, о ярмарках — и для газет, и для издания книжечкой в знакомой типографии. Пишет путаным, узорным почерком, со средней грамотностью, поповским стилем, со множеством пышных прилагательных, но вещи не глупые и не пустые. Это как раз те самые листовки и двухлистовочки, реже — поболе, которые, выйдя из-под неведомого пера в незнаемых книгопечатнях, потом делаются библиографическими редкостями и собираются такими же, как отец Яков, странными и любознательными человеками. Отец Яков знает все типографии и всех маленьких издателей; и книжечек выпустил не меньше двадцати, а статеек написал без числа. Любит и гонорар — конечно, маленький, соответственный его стилю и его неизвестности.

Главная страсть отца Якова — сидеть за чаем в обществе просвещенных людей и слушать их разговоры, своих замечаний не вставляя. Когда видит, что его стесняются, отходит или совсем уходит; но к нему скоро привыкают, и никогда никто не мог уп-

рекнуть отца Якова в нескромности: сам слушает, но о слышанном по чужим домам не переносит.

— Ну, а вы, отец Яков, как об этом думаете?

— Я-то? Мне думать не нужно, это дело не мое, дело светское, ваше дело!

Иногда проговарнвается как бы невзначай:

— Был я в Пнтере н посетил знаменитого батюшку отца Гапона.

— Да что вы, отец Яков! Как же вы к нему добрались?

— Знакомые друзья помоглн, отрекомендовалн. Человек понстнне любопытный. Поглядел на него, послушал.

— А не бонтесь, отец Яков? Ведь за такое знакомство н нагореть может.

— А что же я делаю, я только полюбопытствовал. Все же — собрат по священной рясе, а его поступкамн я не нитересуюсь, не мое дело. Я в прошлом году н у самого мннистра Плеве побывал, ныне убненного.

— А к нему как попали н зачем?

— Путем протекцин. Имел к нему дело, хлопотал за малышей, за прнютских детей, о малой субсидии. Имел, конечно, записочку от снятельной княгини, от покровнтельницы.

— Ну н что же?

— А ничего. Интересно. Человек был важный н основательный. Надо нх смотреть, влиятельных личностей н правителей государства.

— Разговарнвали?

— Разговор был малый, всего минутку побыл. А посмотреть любопытно. Знаменнтая была личность, нсторнческая.

— Как же вы это так, на обе стороны: н у Плеве, н у Гапона?

— Какие же стороны? Для меня сторон нет, дело не мое. Для меня все люди одинаковы. Это вы судите да сопоставляете, а мне все одинаково любопытно.

Все любопытно отцу Якову! Кнпнт Россня — н отец Яков стоит у котла со своей ложкой, вынутой нз всевмещающего портфеля. Вперед других не суется, а если возможно, тихонько н неазартно зачерпнет похлебки. Лю-бо-пытно! Но в общем — его дело сторона, он только частный наблюдатель жизни, смнренный свидетель нсторнн. В мемуарах свонх, конечно, поместнт все, но это уже для потомства, а не ради пустого разговора.

В девятьсот пятом году, перед самыми свободамн, великнм любопытством горел отец Яков. Всегда осторожный н осмотрнтельный, тут он позволял себе заглянуть в такне места н такие квартиры, куда раньше не решился бы пойти. На даче, под Москвой, спал ночамн в одной комнате с человеком таннственным, наверняка — нелегальным, а может, н террорнстом — такое было время. Впрочем, на даче почтенной, у земляка н старого знакомого, большого либерала, помогавшего революционерам. Таннственного человека звали Николаем Ивановнчем, н спал он не раздеваясь, даже н башмаков не снимая, у открытого окна, которое выходило на огород, а дальше — пустырь до самого леса.

Укладываясь спать, подолгу беседовали; отец Яков рассказывал, коротко, немногословно и без ярких красок, об уральских лесах и о верховьях Камы, как он там нашел русское племя, которое и про Бога не знало, и даже браков не имело,— так, жили, кто с кем хотел, и никому не молились. А его собеседник, оказывается, знавал и эти места, и много других подобных, и сибирскую тайгу, но почему знал — не рассказывал, а отец Яков, конечно, не выспрашивал.

Иногда Николай Иванович подшучивал над отцом Яковом:

— Вот заберет вас ночью полиция, святой отец, и будем мы вместе сидеть в тюрьме. Там, бывает, неплохой борщ дают.

— Меня забирать не за что, я — лицо духовное, светским не занимаюсь. Да и вас за что же трогать — вы человек достойный и почтенный.

— А зачем вы по свету бродите, отец Яков? Что вас носит?

— Брожу, по разным малым делам хлопочу. Ну, и так смотрю. Жизнь-то, Николай Иванович, лю-бо-пытна! Все суетятся, и каждому хочется, чтобы вышло по его.

— А вы, значит, со стороны смотрите?

— Я смотрю — никому не мешаю. Мне все интересно.

— А может быть, вы — опасный человек, отец Яков? Чем вы подлинно занимаетесь — никому не ведомо.

Отец Яков отвечал немного обиженно, но степенно:

— Дурным делом не занимаюсь, и многие меня знают. Болтать не болтаю, а и скрывать нечего. Если же кто не доверяет — не нужно со мною, с попом, водиться. Кто верит — тот и верит, насильно же ничьей дружбы, ниже доверия, не ищу.

— Я верю, отец Яков, вы не обижайтесь, я пошутил. Я знаю людей, много среди них околачивался. Тоже ведь и я про свои дела язык не распускаю.

— Ну вот и прекрасно.

За три дня сожительства под одним гостеприимным кровом так подружились, что даже поменялись обувью. Отца Якова, по летнему времени, прельстили новые легкие штиблеты Николая Ивановича, а тому оказались как раз по ноге, и впору, и удобны поповские полусапожки.

По вечерам, за долгим чаем, Николай Иванович читал наизусть стихи — Пушкина, Некрасова, Алексея Толстого, а отец Яков слушал с восхищением. Также слушал, сам порою подпевая, церковные молитвы и песнопения, которые Николай Иванович исполнял удивительно. При цыганских же романсах скромный поп немного краснел, но неодобрения не высказывал. И все, кто за чаем присутствовал, любовались их дружбой и тихонько посменвались.

Когда Николай Иванович внезапно уехал, даже не попрощавшись, и куда — не говорили, а потом в газетах описывали наружность неопознанного террориста, убившего градоначальника,— отец Яков молча читал газету, смущенно бегал глазками и спрашивал хозяина:

— А что, видно, друг-то мой, Николай Иванович, надолго уехал?

Хозяин, который и сам догадывался, кому он давал приют, с деланным равнодушием отвечал:

— Не знаю, отец Яков, он не сказал. Да я и вообще его мало знаю, случайное знакомство. Попросился приютить,— ну, я его и приютил.

Отец Яков продолжал в раздумье:

— Видно, надолго! И в моих полсапожках уехал. Хороший был человек, веселый, а в душе как бы страждущий. Лю-бо-пытно!

Однако скоренько собрался, поблагодарил за гостеприимство и тоже уехал: то ли из опаски, то ли дальше смотреть мир, людей и события.

Впрочем, подолгу отец Яков не любил заживаться нигде.

«НАШИ»

Человеческая память дырява, как решето: на крутых поворотах истории она бесследно процеживает не только давнее, но и вчерашний день.

Он забыл, поседевший, изможденный, больно высеченный жизнью, сегодняшний историк, что прошлое, по которому он умиленно вздыхает, было не лучше нынешнего, что лишь перетасована колода тех же самых карт и короб человеческих страданий, иначе уложенных и умятых, по-прежнему полон, что несуществующий прогресс был только его собственной напрасной и неостроумной выдумкой.

Он забыл, пришибленный обвалом неоправданных надежд, как, благоговейно расточая признательность, он преклонялся перед жертвенностью неразумных и пылких юношей, им же соблазненных, которые оставляли детские игры, смех и учебу и шли убивать и умирать во славу миража — счастья будущих поколений.

Злостный банкрот, он с негодованием спрашивает: да как же могли они надеяться, что на крови вырастет благополучие и из преступлений родится справедливый закон? Он клянет их молодость и их поступки, видя в них источник нынешних зол. Но, строго их осуждая, он втайне мечтает о новых молодых мстителях, которые с такой же жертвенностью обрушатся на настоящее, если не во имя будущего, то хотя бы с мечтой о возврате прошлого; за дымной завесой нынешнего пожара это прошлое уже рисуется ему прекрасным потерянным раем.

В дни России, отодвинутые в историю великой войной и величайшей революцией, никто не спрашивал, почему простая и здоровая русская девушка, воспитанная не хуже других и не менее отзывчивая на доброе, бросала родной дом и ученье и уходила в ряды тех, кого одни называли преступниками, другие — святыми. Это было так же просто и естественно и так же мало, как подать копейку нищему или броситься в воду спасать утопающего. Даже не было подвигом: только проявлением душевной чуткости и сознания невозможности поступать иначе.

На снегу была кровь — как тогда была у крылечка, где Пахом раздавил щенка. Вечером к Наташе забежала подруга по курсам:

— Ты знаешь, что делается на Пресне?

— Стреляют?

— Пресня горит! Ее подожгли снарядами. Наши там едва держатся.

Н а ш и — приобщало Наташу к партиям восстания. Они обе чувствовали, что нужно куда-то идти, что-то делать, помогать с в о и м, может быть, стрелять или подставлять грудь под пули. Нельзя же читать книжку, пить чай или спать, когда рядом люди борются и гибнут. Но куда идти?

Затерянные в ночи пустынных улиц, тесно друг к дружке, как орешки-двойчатки, в обход, закоулками, по льду Москвы-реки, они пробрались на Пресню, где видно было зарево и слышалась редкая ружейная стрельба. Было жутко и необыкновенно. Не зная, куда идти, они держали путь на звуки выстрелов. Им рисовалось, что вот сейчас будут высокие баррикады с красными флагами, валы из трупов и силуэты немногих смельчаков, сражающихся против солдатских отрядов. Но и на Пресне, куда они наконец добрались, переулки были пусты, огни в домах потушены, и только на окнах верхних этажей отражалось зарево недального пожара.

В одном месте они натолкнулись на бежавшего юношу в студенческой фуражке, остановили его и спросили, где происходит бой. Он сначала не понял, потом указал в сторону и на ходу крикнул: «Да вы туда не ходите, там черт знает что творится, еще убьют вас!» Они с бьющимся сердцем пошли по указанию и совсем неожиданно, повернув за угол, оказались у какого-то заграждения, где несколько темных фигур наваливали снег на кучу пустых ящиков и поливали водой. Это и была баррикада, которую они так страстно хотели видеть и совсем иначе себе представляли.

Студент, которого они встретили, вернулся сюда. Сперва начальственно прикрикнул на них, зачем они понапрасну тут бродят и рискуют жизнью,— но, в сущности, риска было мало, и баррикада никем не обстреливалась; ее готовили на случай, что солдаты сюда пробьются.

— Пока еще наши держатся и на Большой, и на Средней Пресне; только оружия у нас мало.

Опять — и а ш и! Девушкам они рисовались молодыми великанами, грудью защищающими Пресню от натиска огромных солдатских масс. Если бы пробраться туда и хотя бы подавать им заряженные ружья!

— Но разве нет подмоги из города?

— Какая подмога! Дружинников мало, да сюда и не пройти; Пресня кругом обложена.

— Мы прошли.

— Там, пожалуй, всего и не знают.

— Мы можем вернуться и сказать. Только кому?

— А и правда, вам все равио иазад идти! Не здесь же оставаться.

Ои иаучил их, как пройти на Прохоровскую фабрику и как разыскать там либо Никодима Иваиовича, либо товарища Оленя.

— Только там опасно! Уж ие знаю, ходить ли вам...

— Мы не боимся.

— А уж они вам скажут, что нужно, и адрес дадут. Главное, что у иас и револьверов мало, а патроиов и совсем ничего!

Теперь они пробирались с жутким и радостным созианием важности поручения. Теперь они были участницами борьбы!

Дальше было то, что запомииается иа всю жизнь: тени людей иа фоие горящего здания, свист пролетевшего сиаряда, суматоха революционного штаба, где долго никто ие мог указать им, как иайти нужных им людей. То, что им рисовалось страшным и величественным, оказалось живым, суетным и словио бы веселым. И было странно слышать в ответ иа их расспросы:

— Лучше всего пройдите иа кухню, там комитет собирается.

Все мелькало сказочным видением: даже едва запомнилось лицо товарища Оленя, которого оии иаконец разыскали и который, только минутку подумав, кинул им:

— Это хорошо. Вы там скажите, что нам держаться трудно и что пусть, если могут, посылают сюда и людей, и оружие. Люди есть, а главное — оружие. И нужны бомбы. Так и скажите.

Дал адрес и ие велел записывать:

— Здесь ие задерживайтесь, уходите!

Опять темными закоулками, сами плохо соображая дорогу, они пробрались через «кольцо войск», которого ие было. По льду реки шли уже при первом рассвете. Между собой почти не говорили и друг дружке не созиавались в усталости. Страшным в пути оказалось одно: труп человека иа сиегу; может быть, замерз, может быть, был убит случайиой пулей. Покосились, как лошади, и обошли подале. Но запомнили иавсегда.

Раио утром явились по адресу, передали, что сказаио, и были неприятно поражены, когда человек, к которому их послали, развел руками и иедоверчиво ответил:

— Что за чепуха, откуда нам достать! Да и доставить иевозможно!

Они горячо настаивали и вызвались доставить сами; бомбы так бомбы! Он спросил:

— А есть у вас в городе безопасиая квартира?

Наташа предложила свою комиату. Ои переспросил адрес и сказал, чтобы ждали весь день до вечера. Они ушли с чувством исполненного долга.

Вернувшись домой, Наташа, не раздеваясь, легла отдохнуть. Заснув, проспала до полудня, затем в волиении прождала весь день,— но никто ие явился. Все равио, теперь оиа уже втянута в дело — участница вооруженного восстания! Не сегодня, так завтра ей могут доставить целый ящик дииамитных сиарядов, и иочью, скользя по льду, оиа будет иосить их иа осажденную Пресию или куда поиадобится.

Только на следующий день зашла такая же, как она, молоденькая девушка с конфетной коробкой, трнжды перевязанной крепкой лентой.

— Вы — Наташа?

— Да.

— Я от Павла Ильнча. Он просит вас похранить эту коробочку. Куда ее поставить?

— Куда хотите, все равно.

— Нет, так нельзя, нужно быть с нею осторожной.

Коробочку поставили на подоконнпк, прнкрыв газетой.

— А что с ней делать?

— За ней зайдут или вам скажут. Главное — не ударьте обо что-нибудь. Вы понимаете?

— Понимаю. А разве не нужно отнести на Пресню?

Девушка сказала, что больше ничего не знает, что ей поручено только доставнть коробочку. А Пресня, говорят, вчера взята войсками, много рабочих арестовано, есть расстрелянные, н теперь на Пресню проннкнуть невозможно.

— Я там была прошлой ночью.

— Да, а теперь там сняты все баррнкады н занята Прохоровская фабрнка.

Теперь Наташа стала стражем не нужной больше небольшой бонбоньеркн. Это н есть революция? Да, это н есть революция!

Как нянюшка, сидела н стерегла. Несколько дней не выходила нз комнаты, но н не дотрагивалась. Уже не было в Москве стрельбы; уже набиты были тюрьмы и выходилн газеты. Уже подошло Рождество.

Решилась опять пойтн справнться по тому же адресу. Уходя, дрожащимн руками взяла с подоконнпка коробку, прижала к груди н, осторожно н несмело ступая, донесла до комода н спрятала в ящик, где былн письма гимназнческнх подруг, запрещенная кннжка н пучок высохших колосьев ржи — память о минувшем лете в деревне.

ОТЦА ЯКОВА ЛЕТОПИСЬ

Пухлая, белая рука отца Якова — на каждом суставе по подушечке — пнсала слова с завнтушкамн; если когда-нибудь дотошному нсторику пригодятся эти писанння — намучается он над поповским почерком! А пригодиться могли бы, в особенностн «Летопись отца Иакова Кампинского», куча тонкнх школьных тетрадей, с напечатанными на обложке словами: «Тетрадь ученн... ...го класса», а на обороте обложки, на третьей н четвертой ее страницах,— таблица умножения, меры жидких н сыпучих тел н хронология царствований от прнзвания варягов до наших дней.

В этих тетрадочках, на обенх сторонах линованных страниц, отец Яков записывал ход лично им наблюденных достопамятных

событий, а также доверия заслуживающие слухи, с предпочтением — которых не было в газетах. Тетрадок с собой не возил, кроме последней, а, заполнив, оставлял, где в то время находился, на сохранении у верных людей, своих многочисленных знакомых: одна — в Москве, другая — в Рязани, а то — в Уфе, в Саратове, в Твери или в самом Санкт-Петербурге. Все подумывал собрать эти тетрадочки воедино и хотя бы сшить вместе в одну обложку и передать самому верному человеку,— и все никак не удавалось.

В декабре тысяча девятьсот пятого года, после дней Рождества, почти под самый Новый год, записал:

«Ныне стрельбы на улицах города Москвы более не слышно, и можно полагать, конец происшедшим чрезвычайным волнениям. Сказывают, убито побольше тысячи человек, ежели не все две, особливо на Пресне, где рабочий люд с помощью студенчества понастроил заграждений, впоследствии сожженных и разрушенных с пролитием крови.

Самые же декабрьские дни начались осаждением училища господина Ивана Ивановича Фидлера, где и заперлись ученики и посторонние лица из числа бастующих и революционных вожаков. И впервые в первопрестольной столице били по дому пушками! Но те не сдавались, а бросали из окон начиненные динамитом разрывные бомбы страшной силы, что видел своими глазами и слышал ушами, находясь в одном из ближележащих домов. Повечеру разрывались как бы синим огоньком с потрясающим грохотом. Зрелище страшное и трудно забываемое! А когда помянутую молодежь выпустили на честное слово, если выйдут без оружия, то окончилось для них избиением и многочисленными арестами, а некоторых зарубили на улице. Женщины, присутствовавшие в их числе в училище, советовали, чтобы не выходить и до конца сопротивляться; мужчины же, а поточнее, еще совсем мальчики и юноши возомнили обмануть бдительность и пробиться, что лишь немногим и удалось. Предварительно же Ивану Ивановичу, коего знавал лично, свои же ученики подстрелили из револьвера ногу за то, что, поднявши белый плат, хотел за всех сдаться, жалея собственный дом.

А вслед засим было взорвано на воздух, но не вполне, Московское охранное отделение, что в Гнездниковском переулке. А именно двое мальцов подошли пешком под самые окна и бросили жестянки с динамитом, зажегши фитили от раскуренных папиросок. После чего оба скрылись. Так что все рассказы о налете на лихачах чуть ли не целым отрядом дружинников не соответствуют действительности, о чем знаю достоверно.

Заграждения и баррикады видал лично и своими глазами повсеместно. Под прикрытием рясы нерея, но и без должной опаски наблюдал на Садовой улице, как десяток юных смельчаков с неописуемой дерзостью отбили у солдат пушку, а что делать с той пушкой, не знали, почему и послали одного посмотреть в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, как отвинчивать замок, но ответа не дождались, да так и бросили, вовремя убежавши. На другой день будто бы раздобыли нужные

чертежи, но уже нового случая отбить пушку не встретилось.

Слыхал также, но без ручательства, что по снегу вдоль Тверского бульвара катились двое в простынях, понеже на снегу менее приметио, в намерении подкатиться этим способом к самому дому господина градоиачальника и взорвать. Однако докатиться не удалось, ибо, начав с неудобного конца, приходилось катиться вверх.

Встретил иа Арбате, близ Серебряного переулка, где церковь Николы Явлениого, отряд кавалеристов, и все ехали с ружьями наперевес, направляя дуло в прохожую публику нз опасения бросаемых бомб. Я же миновал благополучно, поднявши кверху обе руки, как было приказано, а портфельчик придерживая бородой на весу. Полагаю, и тут был спасен саном священника. Офицер крикнул: «Эй, батюшка, сидели бы дома, а то не ровен час — подстрелят!» Я же поспешил пройтн мимо, избавясь от опасности.

На Пресню, однако, пройти в те дни не удалось, но и в самом городе видел неубранные трупы убиениых, а посреди прочих старуху, очевидно к беспорядкам иепричастную, но солдаты из опасения стреляли без различия пола и возраста.

Тюрьмы, сказывают, полным-полны, равно как и участковые помещения для задержанных. Из других городов известия, что ничего особенного не пронсходит, так что главным образом взволновалась только наша матушка-Москва. На праздник Рождества Христова утихло, хотя народу в храмах было помене обычного, не по неверню, а из опаски».

Перечтя записанное и подумав, отец Яков закончил так:

«Сей бурный и событиямн несчастливый год закончился обильным пролитием человеческой крови. Не мне, скромному созерцателю событий, изыскивать оных причины. Потрясенная военными неудачами, больна и страждет духом наша возлюбленная родина. И грядущее неясно! Возьмет ли верх благоразумие или продлятся неурядицы и смятение? Одно скажу — пожелаем народу русскому успокоения и возврата к мирному труду, основе благосостояния! И да извлекут из проистекших достопамятных событий поучительные выводы н правящие и управляемые!»

Тут опять задумался отец Яков, свидетель исторни. В своих скитаниях он видел правящих и жил среди управляемых; и опыт жизни говорил ему, что и те н другие не проявляли склоииости к поучительным из событий выводам. И еще он знал, что во глубинах уездной России столичные дела ие имели ясного отзвука н что разговоры о свободах, о народиом представительстве н ответственном министерстве были н чужды, н непонятны крестьянской России н толковались ею по-своему: «Правда ли, будто царь отымет землю у господ и отдаст мужикам?» Все же прочее скользило мимо уха и не западало в память.

Поэтому свою декабрьскую запись отец Яков окончательно заключил отвлеченным рассужденнем и поэтической картиной, а именио:

«Сидя ныне у окна, наблюдаю падение густого снега, между тем как до сей поры зима была повсеместно малоснежна. Не могу нарадоваться летящему белому пуху, способнику грядущих урожаев. Не важнее ли сие всяких собеседований и споров о высокой политике? Вспоминаю белые пласты снеговых покровов наших прикамских и приуральских местностей, где был рожден и откуда пустился в странствие по стогнам российским не в качестве священнослужителя, но как бы вечный путник, любопытствующий о жизни возлюбленной Родины! На этом и закончу, уступив временно лирическому подъему, объясняемому настоящим моим одиночеством и значительностью переживаемых дней!»

Последние строки летописца отца Иакова Кампинского переехали со страниц ученической тетради на розовую ее обложку и заняли промежуток печатных строк, утверждавших, что в версте пятьсот сажен, а в сажени три аршина.

Дописавши, отец Яков довольно и не без хитрецы улыбнулся, крупно проставил число, месяц и год, а на лицевой обложке тетради подправил чернилами ее номер.

Был отец Яков аккуратен и любил во всем систему и порядок.

ПОД НОВЫЙ ГОД

В ночь под Новый год в селе Черкизове, под Москвой, в домике учителя, собралось несколько молодых людей. Новогодний пир не отличался пышностью: студень с хреном, картошка со сметаной и вместо шампанского две бутылки красного удельного номер двадцать два.

Хозяин, пожилой учитель, говорил:

— Нынче, товарищи, опасаться нечего. Под Новый год обысков не делают, тоже ведь и охранники празднуют.

Гостей шестеро, в том числе две девушки. Все одеты так, чтобы не очень выделяться из обычной рабочей толпы поселка,— и по всем лицам видно, что это не рабочие. Больше всех похож на рабочего парня тот, которого называют то Алешей, то Оленем. Он — высокий, красивый блондин, с лицом мужественным и очень нервным; к нему, широкогрудому и стройному, кличка Олень очень пристала, и, по-видимому, он к ней привык. Меньше всех мог бы сойти за пролетария маленького роста еврей, с обезображенными и искривленными кистями обеих рук; у него большие, слегка навыкате удивленные глаза, редкая бородка, слабый голос и острый, ядовитый язычок; его называют Никодимом Ивановичем, он — старый партийный работник, и все знают, что его руки обожжены взрывом, когда он заведовал эсеровской лабораторией. Третий гость учителя — невеселый и задумчивый юноша Морис, студент, успевший еще до московских событий дважды посидеть в тюрьме и освобожденный в дни «свобод». Четвертый гость — товарищ Петрусь, студент-лесник, румяный, приятный, веселый, общий любимец; в дни

иоября он, в высокой папахе и с револьвером в руках, единолично разгонял толпы черносотенных демонстрантов: врывался в середину толпы и кричал: «Честные люди, расходитесь, а жуликов пристрелю!» Стрелять ему ие приходилось, так как толпы разбегались, оставляя на сиегу царские портреты и иконы Серафима Саровского. На эти свои подвиги Петрусь смотрел как иа легкий спорт и забавиое развлечение. Но в декабрьскне дни ои так же весело валил фоиарные столбы, заграждая путь семеновцам, н перестрелнвался с нимн из-за слабого прнкрытия.

Одну из женщин, постарше, зовут Евгения Константиновна. Оиа некрасива, но так родовнта н барственна лнцом, что никакой головной платок ие превратит ее в заводскую девушку. По говору — не москвнчка, так как отчетливо говорит «конечно» и «скучно», а ие «коиешно» н «скушио», как полагается говорить москвичам; скорее всего — петербурженка, к тому же привыкшая н к иностранным языкам. Другая, наоборот, похожа иа молоденькую крестьянку, крепко сшнтую, бойкую, ио с тем выражением ранней степенностн, которая свойственна рязаиским девушкам и бабам. Это — Наташа. К ией все отиосятся с особым вниманием н иесколько подчеркнутой участливостью, потому ли, что она младшая, или потому, что меиьше всех похожа иа заговорщика.

— Вы, Наташа, собствеино, напрасно рискуете,— говорит Олень.— Вам и иет смысла и ие нужно переходить на нелегальиое положение.

— На квартире я рискую больше; вы знаете, что у меня хранится в комнате?

— Это нужно завтра же лнквидировать. Кто-нибудь к вам явнтся и унесет.

Евгеиия Константиновна говорнт спокойно:

— Я завтра уиесу. Только куда? Чнстых квартир больше нет, а к себе я не могу.

— Придумаем. Я скажу вам куда. Вы только будьте осторожны, Евгения Коистантиновиа!

Она подымает брови: разве нужно давать ей советы?

В самые горячие дни московского восстаиия оиа, всегда прекрасио одетая, в дорогих мехах, не раз доставляла «коифеты»— нзящно упакованные коробочки с ударнымн бомбами. Это сделалось как бы ее осиовной специальиостью. Однажды у выходных дверей большого дома она встретилась с молодым жандармским офицером, который бросился к дверям, распахнул их н прндержал, пока элегантная дама выходила. Он был олнцетворением офнцерской любезности, и она подарила его благосклоииой улыбкой. На улице ои некоторое время, впрочем осторожио и почтительио, шел за ией. Оиа взяла извозчика и уехала, держа коробочку иа весу — чтобы ие взорваться, если споткнется лошадь или подбросит санки на снежиой уличной колее. Когда извозчнк пересекал Садовую улицу, иеподалеку у Красных ворот, выпалило подвезениое солдатами орудие — так, вдоль улн-

цы, на всякий случай, картечью. Лошадь дернула, испуганный извозчик еще подстегнул ее кнутом, и санки понеслись по ухабам запущенной в эти дни улицы. Она откинулась, но руки со страшной коробочкой остались на весу, над полостью саней, а пальцы крепко держали прочную веревочку. Когда отъехали подальше, извозчик повернулся к ней:

— Ну, барыня, и испужался я! Вот как палят в матушке-Москве.

Она равнодушно спросила:

— А почему это стреляют?

— Кто ж их знает? Про то известно начальству. А люди говорят: революция!

— Что это такое — революция?

— Господа бунтуют. А сказывают — и рабочие недовольны. Дело не наше, мы — извозчики.

Доставив коробочку в условленное место, она вернулась домой, где ее дядя, генерал, обрушился с упреками за ее прогулки по неспокойной Москве.

— Тебя могут случайно подстрелить!

— О, дядя, я осторожна. А почему вы дома? Вы не усмиряете мятежников?

— Бог миловал! Недоставало, на старости лет, воевать с народом. Мы, к счастью, избавлены; на это есть Семеновский полк.

— А вы не сочувствуете мятежникам, дядя?

Ей, недавней институтке, дядя прощал любые неразумные слова. И теперь он только потрепал ее по щеке:

— Я служу царю, моя милая! Надеюсь, что и ты им не сочувствуешь.

И он добродушно рассмеялся.

Олень говорил:

— Наташа, явочную квартиру придется пока оставить у вас. Но не держите дома ничего, никаких бумажек, никаких адресов и людей не собирайте. Как можно осторожнее! Ну а вам, товарищи, необходимо на время из Москвы исчезнуть. В случае чего — сноситесь через Наташу.

— А ты, Алеша?

— Я останусь.

— Тебя заберут, тебя хорошо знают по Пресне.

— Заберут, не заберут, а я сейчас уехать не могу, и говорить нечего. Живым меня не заберут.

Учитель сказал:

— Через три минуты — Новый год. Давайте хоть вина выпьем, а уж потом договоримся обо всем.

Налили вина в толстые стаканы. А когда чокнулись и выпили,— на добрый час исчезли заговорщики и загнанные революционеры и остались молодые люди, счастливые тем, что все они еще на свободе и что в их среде две милые девушки, одна строгая и немного чопорная, другая — совсем еще не опе-

рнвшийся птенчнк революции, совсем девочка, простая и ясиоглазая.

— Вы, Наташа, петь умеете?

— Я по-крестьянски, как у иас в Федоровке. Хотите частушки?

— Спойте, Наташа.

Она встала, подбочеиилась, выбила каблучками дробь:

Говорили про меня,
Што баловлива больно я.
Где ж мне быть баловливой,
Строгий папа у меня.

— Нет, у меня веселое не выходит. Давайте споем хором, я буду запевать.

Они спели сначала «Стеньку Разниа», потом «Ой, у лузи», но хор составился плохо. Только Петрусь хорошо тянул теиором, а жеискнй голос один — Наташн.

— А вы не поете, Евгения Коистаитииовиа?

— Я не зиаю русских песеи. Меня учили ромаисам, да и то французским.

Учитель посмотрел удивленно. Он знал Евгению Константиновну как члена эсеровской партии н слыхал о необыкиовенном ее хладнокровнн н выдержке,— об этом зналн все. Знал еще, что через нее партия получала сведения о настроенин военных кругов н о составе Московского гарнизона, который в дни революцин оказался малочнсленным н непрочным, почему н былн прислаиы в Москву семеновцы. Но бнографнн ее он не знал, как и большиистство; ие знал н ее настоящей фамилии. Хорошо ее знал только Олень.

В третьем часу ночн она встала:

— Ну, я пойду.

— Куда же? Нельзя так поздно: вы не доберетесь до города.

Она улыбнулась:

— Я доберусь. И ие очень боюсь. У меня есть защнта!

Выиула из простенькой сумочки револьвер — малеиький «велодок» с рукояткой, выложеииой перламутром.

Учитель настаивал:

— Останьтесь, товарищи, до света. Там разбредетесь. А сейчас очеиь опасно.

Решил Олень. Другие прнвыкли ему подчиияться:

— Идем все. До города — вместе, в городе поодиночке. Новый год, да н ночь чудесная, снег идет — прогуляемся.

Мужчины былн в сапогах, женщины в глубоких ботах. Вышли веселой гурьбой, н до края поселка провожал учитель.

Наташа потянула за рукав Оленя:

— Отстанем на минутку.

— Слушаю, Наташа, в чем дело?

— Товарищ Олень, я хочу вам сказать, что я решила ие возвращаться домой, к отцу, в Рязань. Он вызывает меня, ио я ие поеду. И еще что я решила, еслн вы меня возьмете, пойтн в боевую организацию.

— Рано вам, Наташа! А затем — убивать и умирать не так просто.

— Убивать — да, а умирать просто. Ну, я вам все сказала, догоним их.

Он задержал ее еще:

— Сколько вам лет, Наташа?

— Мне? Двадцать, скоро двадцать один. Разве революцию создают старики? Вот и вы тоже молодой, и Петрусь, и большинство. Ну, это все. Когда будет нужно — вы вспомните.

МОЛОДОЖЕНЫ

У самого подъезда он напомнил ей, понизив голос:

— Не забывайте, Наташа, что вы — Вера, и называйте меня на ты. А я, конечно, Анатолий.

— Да-да.

— Ну, теперь идем. Кажется, это — второй этаж? Ты помнишь?

— Второй, дверь направо.

Отворила горничная:

— Пожалуйте. Я все приготовила, как сказали.

Они прошли в гостиную, обставленную богато и безвкусно. В большом зеркале отразились высокие фигуры: женщина, темная шатенка с очень приятным лицом, в кружевной накидке и модной шляпке, и ее муж, одетый с иголочки, широкоплечий, белокурый, здоровый, молодой.

— Вас зовут Машей?

— Да, барыня.

— Вы давно служите, Маша?

— Три года. Когда наша барыня уезжают, всегда меня оставляют здесь при квартире.

— Мы переедем сегодня к вечеру, Маша. Ужинать сегодня будем в ресторане, а с завтрашнего дня дома.

— Слушаю.

Они смотрели столовую, где было чисто прибрано и вся показная посуда выложена на буфет. Потом заглянули в спальню с большой постелью, высоким крутобоким комодом, огромным зеркальным шкапом. И здесь зеркало отразило их лица: очень серьезное, деловое лицо мужчины и немного смущенное — женщины.

— Хорошо, Маша, спасибо. Нужно будет кое-что докупить, мы этим после займемся.

Собственно, докупать было нечего; скорее, было бы можно убрать множество ненужных предметов: скамеечки, пуфы, вазочки, безвкусные картины.

— Постель приготовить, барыня? Я простынь не постлала.

Надо было сказать, что «мой муж любит спать на диване»,— но горничная смотрела на них с таким любопытством и вниманием, что Наташа не решилась.

— Да, конечно, к вечеру все приготовьте.

На столе в кабинете стоял громоздкий и ненужный письменный прибор: высокая чернильница с песочницей, разрезной нож, стакан для перьев, тяжелый пресс-бювар, пепельница,— все серого камня с аляповатой бронзой. Наклонная лира с гвоздиками — класть ручки и карандаши — и слишком коммерческого вида стойка для бумаг. Для книг была небольшая этажерка, и на ней толстая телефонная книга и «Весь Петербург».

— Напомни мне, Анатолий, купить чернил! И бумаги, конвертов.

Олень с уважением посмотрел на Наташу: «Какой она молодец, как славно себя держит! Как у нее хорошо вышло: «Напомни, мне, Анатолий...»

Он на минуту присел в мягкое кресло, похлопал ладонью по коленке и не знал, что нужно говорить.

— Тебе будет удобно тут заниматься?

— Да, ничего. Пойдем?

— Пойдем. Значит, Маша, до свиданья, до вечера. Мы приедем часу в восьмом.

— Слушаю, барыня.

Они вышли. До угла улицы молчали, потом он сказал:

— Да, немножко смешно. Уж очень парадно. Вы управитесь, Наташа?

— Управлюсь как-нибудь. Только не забыть бы купить чаю, сахару, печенья, чего еще? Варенья? Вы варенье любите?

— Вероятно, люблю. И чернил.

— Да, и чернил. Мы будем покупать вместе? Хотите, зайдем сейчас?

— Ну что же. Только уж будем вообще на ты. Нужно привыкать. Вы — Вера, а я — Анатолий. А башмаки немного жмут. И почему я в пальто — тоже неизвестно, и без него жарко. А вы все-таки удивительный молодец! Вы знаете!

— Что я знаю? Что нужно сахару?

— Ну да, и вообще: настоящая барыня.

— Нет, я плохая хозяйка. Как я буду заказывать обед — прямо не понимаю. Дома мне никогда не приходилось. Хотя, знаете, я умею приготовлять воздушный пирог. Ну, как-нибудь обойдется.

В восемь часов они приехали с большими, новыми и слишком легкими чемоданами. Один, потяжелее, с книгами. Он не знал, что купить,— и купил Полное собрание сочинений Достоевского, несколько сборников «Знания» и еще, по ее просьбе, поваренную книгу. В другом чемодане были ее вещи, тоже новые — три платья, немного белья без меток, коробка почтовой бумаги, туалетные принадлежности,— много ненужного, чего у нее никогда не было, но что сейчас необходимо иметь, чтобы казаться настоящей барыней. Коробка душистого мыла, хороший одеколон, пудра, духи. Ночные туфли с красным помпоном. Легкий капотик. В двух картонках — новые шляпы, одна красивая, другая безвкусная. Ему купили шляпу «панама», котелок, несколько

галстуков и тоже ночные туфли. И самое смешное — халат с пышными кистями. В халате Олень никак не мог себя представить.

— Сколько мы денег истратили!

— Это необходимо, Вера.

— Я знаю. Но жаль денег.

Костюмы, белье, галстуки, башмаки — все было новенькое, только что из магазина. Совсем не было случайных и старых вещей, которые сопровождают каждого,— милых, привычных и подержанных. Все было неношено, неудобно и ненужно.

Когда он протянул руку, чтобы снять чемоданы с извозчичьей пролетки, Наташа остановила его:

— Подожди. Мы вышлем взять вещи Машу, а ей поможет дворник.— Она знала лучше, и он подчинился. Дворник, получив хорошо на чай, решил, что господа стоящие. По их паспортам узнал, что́ из купцов, тамбовские, муж с женой, по фамилии — Шляпкины.

Пили чай с вареньем и, пока входила Маша, разговаривали мало. Олень чувствовал себя не столько «барином», сколько гостем. В одиниадцатом часу Маша ушла спать, получив на завтра не вполне точные, но толковые распоряжения. Видимо, господа едят просто — суп, телятина, компот. Из закусок велели купить вареную колбасу и сардинки.В запас — масло, вермишель, уксус, картошку — как обычно. Маша напомнила, что еще нужно соли, горчицы, перцу и кореньев. Барыня сказала: «Ну, конечно!»— и выдала денег на расходы. Ни водки, ни вина. Барин не пьет, а гостей не ждут; может быть, потом сами купят.

Когда они остались одни, оказалось, что разговаривать стало еще труднее; однако нужно многое решить.

Они, Вера и Анатолий Шляпкины, молодожены. Впрочем, по паспорту, женаты уже второй год.

— Кажется — все ладно?

— Вы удивительны, Наташа. Такая образцовая хозяйка!

— Только не «Наташа» и не «вы».

— Да, правда. Ты, Вера, совсем молодец.

— Нет, я не молодец. Я все никак не могу по-настоящему войти в роль; я, например, забыла, что для супа нужны коренья.

— Как коренья?

— Ну, там морковь, сельдерей. Хозяйство — пустяки, хотя я не умею шиковать. Ведь мы в Рязани скромно жили.

— Это все же нужно, особенно перед прислугой. Вот вы заказали телятину, а пожалуй, правильнее индейку или там рябчиков, я не знаю.

— Пустяки. Я сказала Маше, что мы любим есть просто, а по пятницам всегда постное.

— Ну? Вот это ловко! Это правильно. Это прямо замечательно!

— А как теперь дальнейшее?

— Что дальнейшее? Спать — и все: утро вечера мудреней.

— Видите... видишь, Анатолий, а как, например, спать?

— А что?

— Да ведь спать прндется в спальне?

— Конечно. Ах да...

— Мне неловко прн вас раздеваться.

— Это же вздор, пустяки. Будьте выше этого, Наташа!

— И вздор, н не вздор. Как-то неудобно. Что-нибудь нужно прндумать. Вы не можете спать в кабннете?

— Мне-то все равно. Только... пожалуй, неудобно перед прислугой. Там и не постлано...

Они задумались — н думы их были сходны. Нужно нграть роль до конца — а как ее нграть до конца? То есть, конечно, только для виду!

— Вот что, Наташа...

— Не Наташа, а Вера, нужно прнвыкнуть.

— Да, конечно, Вера. Вот... ты иди и ложись спать. Ложись как следует. А я могу спать в кабинете, даже не раздеваясь. Мне это совершенно безразлично, я привык.

— Но нельзя же всегда так! И кроме того, эта девушка, эта Маша, встает очень рано. Она должна прнбрать комнаты. Да н ночью она может случайно встать н прийтн сюда.

— Это правда.

Они говорили тихо, почтн шепотом, и сидели близко друг к другу. Увидав его растерянное лицо, Наташа весело рассмеялась.

— Слушай, знаешь что, не довольно ли нам говорить о таких глупостях? Вот нашли трудность!

— Мне-то не трудно, но я о тебе...

— Вот что, я пойду н лягу в постель. Раз нужно, так н нужно. А вы приходите позже, потушите свет н тоже как-ннбудь ложитесь. Если нам стыдно друг друга, можно не раздеваться совсем. А утром я перетрясу постель, будто бы мы спали.

— Да, так хорошо.

— Ну н все, стоит об этом разговаривать.

Опять в спальне ее увидело зеркало. Ей было двадцать лет, н с детства она любила парное молоко. Она не была краснва, но была здоровой и заметной девушкой.

Прнсев на край постели, она сняла туфли н сунула ноги в новенькие спальные. Потом подумала, скинула платье н сняла чулки. На открытой простыне лежала прнготовленная Машей рубашка. Наташа надела ее и вспомнила, что купила ночные кофточки, каких никогда не употребляла. В кофточке было жарко, а тут еще одеяло. Но ничего не поделаешь. Затем она расчесала н заплела в две косы свои прекрасные волосы. Теперь она была красива н прнвлекательна — и это было глупо н совсем не нужно. Легла окончательно н расправила складки легкого одеяла, чтобы оно не облегало ее тела. После, ночью, можно будет немного откинуть одеяло, а утром, когда посветлеет, опять его натянуть. Как все это глупо!

День был трудный, Наташа устала. Свет тушился с ее сто-

роны,— ио она его оставила. Можно потушить потом, когда ои придет. Крикнула:

— Можио, Аиатолий!

Он вошел, белокурый, смущенный. Наташа подумала:

«Вот так входят к иовобрачной, а впрочем, вероятио, совсем ие так».

Олень взгляиул иа иее бегло, с доброй улыбкой:

— Вот и правильно. Можете свет потушнть, я и так лягу.

Свет потушили. Слышио было, как он снял башмаки, пиджак. Затем он лег поверх одеяла.

— Да, я забыл запереть дверь иа ключ.

Мягко ступая, подошел к двери, запер н вернулся, тяжело опустившись на большую н мягкую двуспальную кровать.

Оиа хотела сказать, что ведь есть туфли н что он мог бы раздеться и иадеть халат, это удобиее, но промолчала. Сегодия как-ннбудь, а после что-иибудь придумается.

С минуту оин лежали молча. Потом он спросил:

— Вам, Наташа, спать очеиь хочется?

— Нет.

— Тогда поговорим. Вы, дорогая, будьте проще и о пустяках не беспокойтесь. У нас миого серьезиого. Я вам расскажу, о чем мы говорили с Петрусем. Вы зиаете — он уже устроился газетчиком.

— Удачно?

— По-моему — удачио. Ои — ловкий пареиь, иастоящий артист. И знаете...

— Не говорнте так громко; кто ее зиает, эту Машу.

— Да, правда.

Повернувшись друг к другу, онн долго шептались. Утомление подкралось незаметно, н над ннми опустилась молчаливая и целомудреииая иочь.

Одна

Наташа одна дома. Впрочем, теперь оиа ие Наташа, а молодая купеческая жена Вера Шляпкиина, приехавшая с мужем пожить в Петербурге.

Дождливый петербургскнй вечер. Еще ие осеиь, ио уже чувствуется, что лету конец. Наташа сидит в гостиной своей иеуютной квартиры и читает «Тьму» Леонида Андреева.

В этом странном рассказе революциоиер, которому иегде переночевать, попадает в публичный дом; но он, как служитель и нсповедник высокой иден, не хочет «пасть». Его чистотелость и брезгливость оскорбляет н унижает девушку, одну нз тех несчастных, ради которых, как вообще ради всех несчастных н обездолеиных, жертвуют собой революционеры.

Иными словами — «нельзя быть хорошим», позорно выделять себя нз общей массы грязных, грешных, ничтожных людей! Подло оставаться в нх среде ангелом в светлых рнзах!

Значит, что же? Значит, нужно самому опуститься на дно и лишь потом, по праву равного, пытаться пересоздать жизнь и уничтожить это дно? Иначе случится то, что случилось с героем рассказа Андреева: дно, оскорбленное высокомерием незваного спасителя, выдало его врагам; оно отвергло протянутую руку в белой перчатке.

Что в этом есть какая-то правда — Наташа чувствует; в белых перчатках революции не сделаешь; минувший год доказал это лишний раз. Но есть и другая правда, за которую уже многие положили свою жизнь: правда чистых, высоких идеалистов, отрекшихся от благ личной жизни, ради блага общего, и тем окруживших самую идею революции ореолом святости и красоты.

Разобраться в этом трудно, а нужно разобраться. Пока одни пытаются найти ответ — другие действуют. Таков, например, Олень. Он не тратит часов и дней на теоретические споры и рассуждения; ежеминутно рискуя головой, он готовит страшный удар власти, с которой борется, зная, что при этом могут погибнуть люди, ни в чем не повинные. Он следует приказу своей совести, не позволяя себе лишних рассуждений. И он имеет на это право, потому что всегда готов быть первой жертвой и за все понести ответственность.

Сегодня у Оленя свидание с членами его боевой группы, которых было бы неосторожным позвать сюда. Может случиться, что Олень не вернется, что чья-нибудь оплошность, а то и предательство погубят и его, и все дело. Тогда сразу разрушится и этот временно созданный быт и вместо мягкого кресла будет тюремная койка, а затем каторга или казнь.

Второй месяц Наташа живет вдвоем с Оленем — а знает ли она его? Кажется, все-таки знает. Но кто он для нее? Товарищ? Муж? С тех пор как они окончательно вошли в роль, а это случилось как-то уж очень просто, без долгих раздумий и объяснений, словно бы ради простоты и удобства,— строй их жизни, в сущности, не изменился. Стало проще перед горничной Машей — и это все. Жить чувством им некогда — иным переполнен их странный быт. На Олене лежит вся тяжесть революционной работы, вся техника, весь риск, а она ему помогает. Он — настоящий вождь и начальник. Другого такого Оленя нет,— такого цельного, сильного, не сомневающегося, умеющего вдохновлять других и думать за них. Погибнет он — и все погибнет; и Наташа, и все товарищи это понимают.

Именно вождя и верного товарища она в нем и любит,— хотя он умеет быть ласковым и нежным. Она узнала его в Москве, на Пресне, в дни восстания. Потом, под Новый год, в селе Черкизове она сказала ему, что готова пойти за ним в террор. До весны они почти не встречались, так как Олень скрывался и готовил новое выступление. Затем произошел знаменитый «экс», вооруженное ограбление московского банка; только Олень мог решиться на такой шаг, вызвавший осуждение партийных моралистов, которые,впрочем, не отказались принять

от него часть добытых им денег. Эти деньги были отданы на помощь сидевшим в тюрьмах, на устройство побегов из ссылки и на подготовку дальнейшей борьбы. Затем, весной, когда полиция усиленно искала Оленя, он однажды пришел к Наташе, почти без грима, только слегка зачернив волосы и в темном пенсне. Она устроила ему ночлег у знакомых на подмосковной даче. А последняя их встреча была в первомайский день в сосновом лесу — в день весенний, очень памятный и очень страшный.

Это был сбор остатков разбитой армии, подсчет сил и вместе с тем — маевка для рабочих. В чудесный солнечный день собрались в лесу. Место сбора не было точно указано, но был дан пароль, по которому человек с букетом подснежников, сидевший на траве на опушке леса, показывал тропинку к отдаленной поляне. Собралось человек тридцать, и среди них оказался Олень. Когда начались речи, кто-то заметил, что двое рабочих никому не известны. Их опросили, и они сказали, что попали на собрание случайно, гуляя по лесу. «Видим, как бы митинг, ну и подсели послушать, что говорят ораторы». Их обыскали — и убедились, что это крупные агенты московской охранки. Что было с ними делать? Они слишком многое услыхали и видели всех! Отпустить их — значит, погубить всех, кто был на маевке. У революционеров нет тюрем для пленных.

И вот тут сказалось то, что Олень называл интеллигентщиной. Революционеры умеют бросать бомбы и умирать на баррикадах; но расстреливать взятых в плен они не умеют. Одно — нападение, другое — казнь. Быть палачом, убить связанного — на это сил не хватает.

Олень сказал:

— Вот что, товарищи, таких вопросов не обсуждают. Прошу вас всех скорее разойтись, и не толпой, а разными дорогами, лучше поодиночке. А я останусь здесь. Только... может быть, хоть двое останутся со мной на время, чтобы решить...

Наташа видела общую растерянность. Никто не отозвался, все спешно и молча двинулись, кто по дороге, кто в глубь леса. Тогда она подошла к Оленю:

— Я могу остаться с вами.

Он взглянул на нее и резко ответил:

— Уйдите! Уходите отсюда!

Наташа видела, как дергалась щека Оленя и какое презрение было в его глазах. Неужели никто не останется с ним?

Новый резкий окрик Оленя:

— Слышите? Уходите немедленно. Вам тут нечего делать!

Она не смела ослушаться и пошла за всеми. Отойдя шагов сто в глубь леса, обернулась. Было видно сквозь деревья, как в прежней позе стоит Олень, а подле него лежат связанные люди. Олень словно ждал, что она оглянется,— и несколько раз злобно махнул рукой в ее сторону: «Идите!»

Уже никого не было видно, все разбежались. Она шла, но все замедляла шаг и прислушивалась. Минут через десять до

иее донеслись револьверные выстрелы. Тогда, не выдержав больше, она пустилась бежать.

На другой же день прочла в газетах, что в лесу под самой Москвой иайдено двое связанных и застреленных людей; один оказался мертвым, другой тяжело раненным: надеются, что его можно спастн.

Как и большинство бывших на маевке, оиа бросила свою комнату н была вынуждена скрыться. С большим трудом ей удалось установить связь с Олеием. Оиа послала ему короткую запнску: «Готова быть, где укажете. Наташа».

Оиа получила его устиый ответ через одного из участников группы; Олеиь просил ее прнехать в Петербург и явиться по условленному адресу. Ей было поручеио отвезти в Петербург большую сумму деиег, добытых прн «эксе». Наташа выехала немедленно.

С того дня, со страшного первого мая, жизнь перестала быть реальной. День сменялся днем, темные московские ночи сменились белымн петербургскими,— но в сознании все это отражалось неясно.

Она нашла в Петербурге Оленя в подавленном состоянни; он не мог простнть себе ошибки: «Другой тяжело раиеи». Ои взял иа себя всю ответственность и всю тяжесть ужасиого дела,— и оказалось, что его рука недостаточно тверда. Теперь этот «другой» настолько оправился, что уже дает показания следователю. Тогда зачем было убивать первого н калечить этого «другого»? Но Олень не говорил об этом Наташе — он вообще ие вспоминал о московских делах. Только подергивания скулы стали чаще, н он с трудом их сдерживал.

В Петербург перебрались постепенно н другие члены московской боевой дружины Оленя; группа пополнилась и здешиими. Пока не было ни слежки, ни провалов, н нужно было торопиться действовать. Основиая задача — центральный террор. Если он невозможен, то пока хотя бы такой крупный акт, который потряс бы правнтельственные ряды н взволновал бы всю Россию. И главное — скорее, пока налицо н силы н средства.

Была в корне нзменена прежняя система конспирации, смешная н кустарная. Теперь члены группы встречались в отдельных кабннетах шикарных ресторанов, одевались у хороших портных, не жалели деиег на добывание верных паспортов. В Финляндии была поставлена дииамитиая мастерская, в Петербурге снято несколько больших н хорошо обставленных квартир. В одной нз них, по паспорту молодых супругов, поселились Олень н Наташа.

Теперь жизнь была непрерывным спектаклем, блестящим цирком, в котором акробаты ежеминутно рнскуют ошибиться в математическом расчете своего воздушного полета — и разбнться насмерть. Внизу нет спаснтельной сеткн, и ошибка на дюйм равносильна концу.

В этой страстной борьбе была забыта Москва н вообще ис-

чезло прошлое. Жизиь от сегодия — до завтра. Лишияя миуута — выигрыш. В полусие — любовь, если это любовь. Странио — каждый день есть суп, рыбу, салат, фрукты, может быть, за час до смерти,— ио сильным телам нужиа пища. И нужна любовь — если это любовь.

И Наташа думает:

«Вот если бы в деревие, иа берегу Оки, в сытном духе зреющей ржи или в теплую иочь,— а этот дождь и тревожное ожидание были бы только сиом. Встряхнуть головой — и все бы исчезло. И если бы там был со миой Олень, круторогий и сильный...»

Тогда — это была бы, вероятио, иастоящая любовь.

«Иллюзиои»

Некрасивая девушка с веснушчатым лицом и жидкими прямыми волосами вошла в вагои второго класса; оиа могла бы ехать и в третьем, если бы ие имела, по обыкновению, важиого поручения, вынуждавшего ее ехать с удобствами. Оиа ни иа минуту ие выпускала из рук иебольшого чемоданчика, хотя в ием было только мыло в жестяиой коробке, зубиая щетка, полотеице, чистый кружевиой воротиичок и подушка-думка в белой иаволочке. Еще, впрочем, коробочка с мятными коифетами и — даиь жеиствеииости — крошечиый флакои духов «Иллюзион».

Едва усевшись в вагоие, оиа вынула этот флакон, извлекла из иего притертую пробку со стекляииой палочкой, слегка смочила духами платок и положила флакои обратио. Сидевшая иапротив дама повела носом и иедовольно отвернулась. Духи были очеиь сильиые, а в вагоие и без того душио. Дама подумала: «Для кого оиа старается? Такая морда!»

Когда поезд тронулся, в купе оказались трое: прибавился еще мужчииа, по виду — торговый комиссиоиер. Плотио усевшись, ои тоже повел иосом: сильио пахло духами и еще чем-то пряным и иеприятным.

Ехать пришлось ночь. Дама вынула легкий плед и большую пуховую подушку и заняла весь диваи. Мужчииа приподнял верхиюю койку, грузио залез, обиаружив толстые нитяные иоски, и, покашливая, разлегся с удобством. Девушка, для которой освободилась нижняя скамейка, выиула из чемодаиа свою думку и, убедившись, что дама лежит к ией спииой, опять извлекла флакоичик и обтерла стекляииую пробку о наволочку подушки. Сиова едкий аромат духов «Иллюзиои» иаполнил купе. Лежавший иа верхией койке завозился и уткнулся в сложенный под головой пиджак. Затем девушка легла, пригнув коленки и закрыв юбкой иоги.

Все трое дремали, и все трое страдали от духоты и сладкого запаха. Несколько раз за иочь мужчииа закуривал — и как будто от табачиого дыма ему стаиовилось легче. Каждый раз,

когда чиркала спичка, девушка пугливо приподымалась и подбирала под себя маленькую подушку.

Ей дремалось всех тревожнее: у нее кружилась голова. Кроме того, ей было неудобно лежать, и она все время поправляла и одергивала неуклюже сидевшую на ней кофточку, которая сползала и топорщилась. Девушка задыхалась от жары и от неудобной одежды, часто кашляла в кулачок, выходила в коридор подышать воздухом и снова пыталась заснуть.

На финляндской границе, в Белоострове, по вагону прошел жандарм, затем, один за другим, несколько штатских. Когда к купе приближались шаги, девушка закрывала глаза и притворялась спящей.

В Петербург прибыли благополучно и в срок. При выходе даму пригласили в особую комнату для осмотра багажа, а на девушку не обратили внимания.

Вот и еще раз она выполнила свою обычную миссию. Взяв извозчика, она велела ехать на Васильевский остров, сошла на углу 10-й линии, прошла пешком две улицы, убедилась, что герань на окне повернута цветком в левую сторону, вошла в подъезд и позвонила.

— Никого не завезли, Фаия?

— Никого. На улице пусто. Здравствуйте.

— Много привезли?

Она передала подушечку, оказавшуюся тяжелой, затем, отвернувшись, стала расстегивать кофточку.

— Не смотрите сюда.

— Ладно, ладно, я не смотрю.

Стесняясь, она сняла с себя что-то вроде плотного жилета, тяжелого и неуклюжего. К телу он прилегал резиновой стороной, а снаружи был простеган прочными шнурами. Когда снимала, протаскивая его через расстегнутую кофту,— в лицо ей пахнуло удушливым теплым запахом, смесью эфира и карболки. Сняв — радостно потянулась.

— Надышались, Фаня?

— Ужасно! Особенно тяжело было ночью. Мне все казалось, что щиплет тело.

— Чему щипать? Ведь подкладка резиновая.

— И все-таки казалось. А главное — согнуться невозможно, как в латах. Ну, ничего.

— Голова не болит?

— Она всегда немножко болит, но я привыкла. Вот только тошнит.

— Вам бы теперь прогуляться и проветриться. Или в бане попариться — вот хорошо! Мелинит — вредоносная штука! Что-то вы все кашляете?

— Ничего. Я вообще кашляю. И в вагоне дуло.

— Нет, это не годится. Надо бы вас кем-нибудь заменить.

— Некем. Да и не нужно. Я привыкла, а другому будет трудно. И я — незаметная.

Она вправду была незаметной: низенькая, невзрачная, с

худым лицом. Теперь, сняв тяжелый жилет, стала совсем тоненькой, и ее помятая кофточка собралась в складки.

— Ночуете в Петербурге?

— Нет, я в двенадцать еду обратно. Хотелось бы поспать, да уж лучше я пройдусь, времени всего два часа.

— Ну, как хотите. Да будьте осторожны!

Уж она ли не осторожна! В пятый раз привозит из Финляндии мелинит и динамит, дышит им целую ночь, отравляет себя через легкие и через поры своего худенького тела,— и даже слежки ни разу за ней не было. Делает дело маленькое, но очень важное и ответственное. Никого не видит, кроме двоих товарищей,— того, который передает ей посылки в Гельсингфорсе, и вот этого, который их принимает здесь. Больше ни с кем она видеться не должна; она даже и не знает почти никого, и не хочет знать, хотя могла бы. Настоящих героев она не видит, только слыхала имена некоторых. И впредь будет так же, если только здоровье позволит ей и дальше быть маленькой участницей великого дела.

Робко спрашивает:

— Нужно еще привозить?

— Еще два раза по стольку же. Вы там скажите, Фаня. И поскорее, хотя нехорошо вам часто ездить.

— Хорошо, я скажу. До свиданья, товарищ Максим.

— До свиданья, Фаня. Кланяйтесь, скажите, что пока все идет ладно.

— Я скажу.

Вот он, должно быть, такой же, из незаметных, хотя, конечно, не ей чета. Он должен знать больше. Хотелось бы поговорить с ним, а нельзя. Даже если он и захотел бы сам — все-таки нельзя.

Выйдя, она тихонько оглядывается и повертывает в первый переулок. Потом еще делает несколько поворотов, на всякий случай, прежде чем выйти к мосту на Петербургскую сторону. С Тучкова моста она долго смотрит на воды Малой Невы, радуется прохладе и старательно — и потому, что это приятно, и потому, что это нужно,— дышит чистым речным воздухом. Вспоминает, что с утра ничего не пила и не ела. Нужно будет зайти в кондитерскую, и там можно себе позволить и кофе со сливками, и два, три, четыре сладких пирожных.

Ей велели хорошо есть и хорошо одеваться и вообще держать себя так, будто она никогда не знала нужды. Быть по виду буржуазной! Другие так и поступают, даже иногда кутят по-настоящему. Но им это необходимо в целях конспирации, а ей непривычно и не нужно. Так лучше.

Все-таки, выйдя из кондитерской, она заглядывается на витрины магазинов. Новую кофточку нужно бы купить или хотя бы новый твердый воротничок к блузке. И еще она давно решила купить новую шляпу с большими полями, чтобы и лицо закрыть, и вообще изменить внешность — давно пора! Старая шляпка могла приглядеться шпикам за частые ее поездки. Она

холодеет прн мысли, что вот — зайдет н купит дорогую сннюю шляпу с лентами, падающими на спину! Денег ей дали много — но хорошо ли тратить деньги на роскошь? И она уходит от соблазна: еще раз можно проехать в старой, а купить что-нибудь подешевле в Фннляндин, для новой поездки.

До часа отхода поезда, усталая н неспавшая, она бродит по улицам со свонм чемоданчиком. Встречаются молодые и веселые лица, женщины в дорогих светлых нарядах, мужчины с дерзкими глазами. И дети, которых она так любит,— а у нее не будет, конечно, ни мужа, ни детей. Как н других, ее ждет арест н, может быть, ранняя смерть. И тогда узнают ее· нмя, н ее маленькое участие в важном деле будет отмечено в нсторни революции. Вот н оправдание жизни!

У самого вокзала она покупает в дорогу пакетик смородины. Днем ехать еще жарче, н теперь можно третьим классом. Зато не придется душиться нз флакончика.

Когда она в толпе проходит через вокзал, человек в коричневом пиджаке н грязноватом воротничке толкает в бок другого:

— Эту вот, жидовочку, который раз внжу. Все взад-вперед ездит.

— Ту, с чемоданом?

— Ну да. Главное — жидовочка.

— Может быть, дачница?

— Нет, все с дальним поездом.

— Понаблюдай. Только одета плохо, а они теперь больше рядятся под господ.

— Как-нибудь вещи бы осмотреть, как опять прнедет.

— Ты скажи.

Мимо проходит высокого роста господин с перекинутым через руку пальто на шелковой подкладке. Рыжий пиджак опять толкает соседа:

— Видел?

— Вижу. Ступай, скажи Земскому, чтобы принял.

— Он на платформе?

— Там. Гони живо!

И рыжий, расталкивая толпу, спешит на платформу.

В ВЫСОКОМ УЧРЕЖДЕНИИ

— Портфельчик потрудитесь оставить здесь.

Отец Яков замялся:

— А у меня тут бумаги. В сохраннности ли будет?

— Помилуйте, батюшка, в полной сохранности! Это только правило такое, чтобы с собой не брали ни палок, ни зонтиков, никаких пакетов.

Принимая портфель отца Якова, молодой человек, очевидно — помощник швейцара, подмигнул глазом н тихо сказал:

— У вас-то, батюшка, у лица духовного, ничего нет, а ведь другой человек мало лн что пронесет в залу. Может непрнятность выйти!

— Разумно, разумно,— сказал отец Яков и подошел к зеркалу расправить бороду. Расчесывая ее гребешком, подумал: «Может быть, каких револьверов опасаются. Оно — предосторожность нелишняя».

И сразу стало и интересно и лю-бо-пытно! В Государственной думе этого нет, там проще. Там народ бывалый, да и толпа густа. А здесь — и пышность, и благолепие, ну и осторожность. Люди большие — Государственный совет! И министры, и бывшие министры, и будущие министры, коли их Бог доведет и сподобит.

Подошел опять к швейцару:

— А я в том портфельчике забыл свой билетик, свой пропуск.

— Да ведь уже предъявляли внизу, ваше священство, больше не потребуется. Извольте — достаньте сами.

Отец Яков распахнул пошире портфель, чтобы видно было, что там нет ничего неблагоразумного, достал «билетнк» н вернул портфель.

— Все-таки, на случай, буду иметь при себе.

— Как угодно.

По широкой лестнице поднялся в места для публики, которой сегодня было мало, больше дамы, очень хорошо одетые. Были еще какие-то старички, а неподалеку от места отца Якова — молодая парочка: он — высокий, белокурый, в глазу монокль; она — под стать, тоже высокая и здоровая, очень молодая, шатенка, в черном платье, лнцо простое и серьезное.

Отец Яков присмотрелся: «Где-то видал эту молодицу. А кто с ней — того не примечал. Хорошая чета, и молоды, и солидны».

Осмотрелся кругом — все люди приличные. Есть, впрочем, и из усачей: то ли военные в штатском, а то из наблюдателей. Понятно: охраняют. И опять перевел глаза на молодую даму.

«Похоже — не дочка ли рязанского доктора? Лицо ее, да уж очень парадно одета».

Подумавшн, пересел поближе, поправил складки лиловой рясы, пригладил ладонью бороду и обратил лицо к парочке. Легонько кашлянул — и дама повернулась к нему. Отец Яков опять кашлянул и сказал:

— Очень роскошное помещение. Тоже пришли послушать? Конечно, лю-бо-пытно!

Господин с моноклем покосился, а дама спокойно ответнла:

— Да, интересно.

— Родственников имеете среди членов Совета или так? Потому, нзвините, спрашиваю, что знавал одного члена по выборам, рязанского доктора, а вы мне его дочку напоминаете.

Лицо белокурого господина дрогнуло, и монокль повис на шнурке. Дама покраснела, затем решительно повернулась к священнику:

— Рязани? Нет, вы, батюшка, ошиблись. А какой это доктор?

— Калымов, Сергей Павлович. Прекрасный врач, всеми уважаемый, и человек почтеннейший. Значит, ошибся, прошу нзвинить. Часто бывает у людей сходство до поразительностн. А я у них бывал в доме. Не часто, а бывал проездом.

— Не знаю. А вы, значит, не здешний, батюшка?

— Я — российский, повсюду катаюсь. В этом же высоком учреждении в первый раз, билетик себе выхлопотал.

— Мы тоже в первый раз, тоже приезжие.

— Из какой губернии будете?

На минуту она замялась, потом ответила:

— Из Москвы.

— А, прекрасно, прекрасно. Первопрестольная столица, город городов. Хотя и Санкт-Петербург тоже прекрасный город.

Внизу, в зале, послышалось шуршанье ног и стук пюпитров. Господин с моноклем наклонился к уху дамы:

— Кто?

— Кажется, знаю его. Просто — священник, безвредный. Бывал у отца.

— Глупая случайность. Не лучше ли уйти?

— Нет, пустяки. Но непрнятно. Хорошо, что папа не в Петербурге.

— Ну, тогда бы и нас здесь не было.

Они стали слушать. Заседание было неинтересное. Коекого узнавали по портретам. На министерскнх местах сидело трое.

Во время монотонной и скучной речи одного из членов Совета Олень вымерял глазами пространство залы. «Из конца в конец не перебросишь,— думал он,— такая громадина! Если сесть с той стороны, все-таки попасть в министерскую ложу трудно!»

Несколько раз его взгляд останавлнвался на грузной фигуре нзвестного профессора-либерала. «Этот напрасно погибнет — но что же делать!»

Мысль его работала быстро и деловито. Было бы проще всего — взорвать сннзу. Но такого количества не пронесешь. Почему они стали отбирать при входе сумочки н портфели? И даже зонтики! Чувствуют? Любопытно, что, где замешаны эсеры, там сейчас же пахнет провалом; лучше было обойтись без помощи партнйных верхов н совсем не посвящать их в планы. Но теперь поздно. О снарядах, значит, нечего и думать. Остаются — мелинитовые жилеты. Но кто? Наташа?

Олень нахмурился. Правый глаз дернулся — монокль не помог. Олень боялся этого подергиванья, своей неприятной приметы. Осторожно оглянул публику — но все смотрели вннз, на говорившего.

Остаются жилеты. Наташа, конечно, потребует, чтобы ее пустили одну. Сила страшная, вероятно, обрушится потолок. В сущности, неважно, будет ли убнт тот, а важен самый взрыв в Государственном совете. Это будет настоящим громом

и настоящим большим делом. Наташа иастойчиво потребует, и оиа имеет право!

Ои представил себе Наташу не такой, какой она сидит тут, рядом с ним, дамой в черном,— а милой, веселой и очень ему близкой, ласковой Наташей, просто — женщиной, а может быть, и любимой женщиной. И опять сжался и опять силой воли приказал себе: «Не смей! Она умрет завтра, я днем позже!» И еще подумал: «Почему позже, когда мы можем одновременно и это легче?» И почувствовал, как тяжело давит иа мозг это твердое зиаиье, что дни считаны и что важно одно: продать свою жизнь как можно дороже. Все равио — долго тянуть ие хватит сил.

Зиачит, Наташа. А с иею вместе я, вот как пришли сегодня. Она не захочет, ио она должна будет согласиться.

Оратор внизу продолжал свою медлеиную и тягучую речь. Олеиь подумал: «Сумасшествие! И этот, и все, и я, и мы — сплошное безумие! Все это должно погибнуть — и погибиет. Но распускать иервы иельзя».

В министерскую ложу вошли еще двое; впереди человек в чериом сюртуке, большеголовый, лысый, с черной бородой и усами, закрученными кольчиком. При его входе сидевшие в ложе встали и почтительио поздоровались. За ним человек военной выправки; ои обменялся рукопожатием с соседом и кивнул остальным. Их появление вызвало движение в зале: председатель расправил бакенбарды, члеиы Совета пошептались, пристава шевельнулись и застыли. Оратор, покосившись на вошедших, на минуту сбился, потом продолжал речь несколько более приподнятым голосом.

Господин в моиокле опять наклонился к соседке:

— Это — он!

— Который? С бородой?

— Да.

Отец Яков заметил движение и тоже узнал вошедшего. Лицо отца Якова просияло — приятио лицезреть важнейшую персону государства! А ведь возможно, что доведется посмотреть и поближе и даже обменяться словом, если сиятельиая покровительница сдержит обещание!

Едва вошел министр, как рядом с местами для публики появилось еще иесколько личностей военной выправки, подвижных и внимательных. Интересовал их, по-видимому, не столько зал собраний, сколько места зрителей. Одии долго всматривался в сидящую парочку, потом в ее соседа — священника, наконец перевел испытующий взор на других.

Олень, ие повертывая головы, шепнул:

— Как хочешь.

Ои прибавил громким шепотом:

— Как-то иеинтересно сегодня в Совете. Идем?

Встав, она приветливо, но несколько жеманно кивнула сидевшему рядом священнику. Отец Яков учтивэ откланялся, проводил чету взглядом, вскользь подумал, что вот ведь какое бы-

вает сходство,— и снова с живым интересом стал вслушиваться н всматриваться. Ему, свидетелю истории, все было одинаково нитересно и лю-бо-пытно! И он уж, конечно, просидит до самого конца — и иичего не упустит!

СЕМЕЙНАЯ СЦЕНА

Как и в тот раз, билеты на заседание Государственного совета достала и принесла Евгения Константиновна. Теперь пропуски былн на новые нмена. Олень поинтересовался, не может ли случиться, что носители этих имен будут замешаны в дело? Евгения Константиновна спокойно отвечала:

— Во-первых, их нет в Петербурге, а во-вторых, такие персоны пострадать не могут. Но кое-кто другой — пожалуй.

— Кто же?

— Один из членов Государственного совета, очень любезный человек, хотя и не очень хорошей репутацин. Он устроил мне получение пропусков.

— Он вас выдаст?

— Вероятно. Но дело в том, что он ведь сам будет в заседании Совета, так что ему будет, пожалуй, не до того. Конечно... ça dépend [1]...

Наташа и Олень с удивлением посмотрели на Евгению Константиновну. Какое самообладание! И оба заметили, что, несмотря на спокойствие тона, на французские словечки и даже на внешний цинизм, Евгения Константиновна взволнованна н грустна, но она прекрасно собой владеет.

Провожая ее в переднюю, горничная Маша все глаза проглядела на ее изящный летний костюм, дорогой белый кружевной зонтик, маленькую модную шляпку н легкую сумочку. Своя барыня нравилась Маше простотой обращеиия и румянцем лица, но настоящей барыней была только эта гостья.

«Наши купеческого звания, а уж эта, наверное, из знатных. И лицо важное и белое».

Олень говорил Наташе:

— Я боюсь одного, это — участия эсеров! У них нехорошо, подозрительно. Все их планы в последнее время проваливаются. И заметь — стали отбирать при входе портфели именно с той поры, как мы приняли общий с ними план.

— Но ведь нельзя же подозревать Евгению Константиновну!

— Ее нет, но она действует с ведома эсеровского центра.

— Она иначе не может.

— Я знаю. Без них было бы невозможно. Но я не удивлюсь, если что-нибудь случится. У них есть провокация.

---

[1] Будет видно *(фр.)*.

— Так нельзя работать, Олень! С таким сомненнем.

— И все-такн прнходится. Отступать теперь поздно.

Весь этот день прошел как бы в тумане. Говорилн о мелочах, о возможных случайностях. Говоря — думали каждый о своем, очень трудном н сложном, чего высказать нельзя. Оба жили двойной жизнью, боясь неосторожного слова, которое может нарушить странный гипноз наружной деловнтостн н вызвать вопросы, с которыми уже не совладаешь.

Спасалнсь мелочамн: перебирали вещи н вещицы, которые останутся здесь; еще раз пересмотрели, не остались ли на белье н одежде пометки фнрм н магазннов, не запала ли в книгу случайная запнска. Суетились без особой надобностн. Украдкой Наташа взглядывала на Оленя, который был нервен н задумчнв н как бы смущен, но старался сдержнваться. И чем нервнее становился Олень, тем спокойнее чувствовала себя Наташа. В ней свершалось то, что бывает у верующих незадолго до кончнны: маленькнм пламенем уже разгоралось важное и серьезное спокойствне, внутреннее сняние обреченного.

Вечером, когда онн решилн лечь н заснуть, Олень сказал:

— Наташа, у нас два пропуска.

— Нужно другой уннчтожнть.

— Нет, нужны оба. Я иду с тобой.

Она была поражена.

— Как со мной? Что ты говоришь?

— Я пойду с тобой, так лучше.

— Ты не надеешься на меня одну?

— Просто — я не могу нначе. Вместе жили, вместе н умрем.

Она забыла, что нх может слышать Маша, покраснела, схватила себя рукамн за внскн н закрнчала:

— Что это значит?

Он, большой, решнтельный, железный, бестрепетный,— вдруг предстал перед ней маленькнм н жалкнм. Она почувствовала, как всю ее охватил жар негодовання. Где же подвиг? Маленькая мещанская любовь? Он, нх признанный вождь, не может победить в себе жалость к ней, не может возвыснться над общей постелью!

Ей хотелось рыдать. Сказочное рассеялось, н нз волшебного тумана, в котором онн жили, проглянуло слезлнвое лнцо мужчины, который не умеет жертвовать.

— Ты не смеешь! Ты обещал послать меня! И ты не смеешь меня жалеть!

Олень ответил тихо:

— Я себя жалею, Наташа.

Она резко рассмеялась ему в лицо, с жестокостью, какой в себе не знала.

— Ты в меня влюблен? Илн на правах мужа? Но ты мне не муж, н я тебя не люблю. Ты только мой конспнратнвный сожитель, купец Шляпкнн!

Он не оскорбился н просто сказал:

— Зачем этн слова, Наташа? Если даже люблю — зачем этн слова?

Она могла бы бросться ему на шею. Но тогда рушится весь уклад миросозерцания, которое она себе создала н без которого уже не может обойтнсь. Если принять это — тогда они оба должны нзменить делу, бежать, устронть свою маленькую частную жнзнь, ненужную и стыдную. Тогда, значнт, все это вообще было ложью, а оба они — молодые супругн, проживающие награбленные деньги!! Рядом в постелн — н рядом умнрать. Вынграть любовннка — н пронграть Оленя. И пронграть, конечно, себя.

Наташа ушла в спальню и бросилась на кровать. Слез, конечно, не будет. Она не погасила свет н в путанице мыслей смотрела на потолок, где дрожали тени стеклянных внсюлек. По углам комнаты тихо пересмеивалнсь Зенон, греческне стонкн н немецкнй Нницше. Внутрн был холод: через сердце Наташн катила свон волны Ока. В сущностн — это была уже смерть... но ведь смерти нет?

Она закрыла глаза. Волны Оки потеплелн и смешались с горячей кровью. Стало легче дышать, н она вспомнила, что в соседней комнате остался Олень, вчерашний силач и сегодняшний слабый человек. И тот и другой были ей равно близки: тот посылал ее, этот шел вместе с нею. Она окликнула Оленя, назвав его настоящим именем, как почти ннкогда не называла:

— Алеша, нди сюда!

Он вошел совсем не робко н без тени смущення; подошел к кроватн вплотную.

— Кажется, я устроила тебе семейную сцену?

Он улыбнулся и погладил ее по голове.

— Ты меня поразил. Я не думала, что ты бываешь слабым.

— Конечно, бываю. Но это — не слабость, это — обдуманное решение.

— Но ты не пойдешь? Ты не можешь менять план!

— Я, Наташа, пойду, потому что счнтаю это нужным. Двое — двойная сила. А ты должна прнмириться с этим н успоконться, нначе я пойду один.

И вот — она уже только девочка, а он — прежний Олень, которому нельзя не подчиняться; вождь, который все может н все освещает своим личным участием. Это и есть его высокая любовь, н в этом страшная его сила.

Снова у каждого промелькнула своя — и все-такн общая — дума о том, что это не подлнннная жнзнь, а очень страшная н ничем не оправдываемая сказка, навязчивый сон, который когда-ннбудь исчезнет. Ведь не может же быть, чтобы завтра нх не стало? Этого ннкак не может быть! И все-таки это будет, но только в какой-то нной, не настоящей жизнн. И сон, который они оба видят, не уйдет; н проснуться они не могут, потому что час пробуждения уже пропущен.

Они не говорили больше о завтрашнем деле; на них снизошел покой, и до света Наташа рассказывала Оленю о своем

детстве, о деревне Федоровке, кучере Пахоме, о ледоходе на Оке — н с радостью слушала его ответные рассказы. До сих пор она очень мало знала про его жизнь, и каждая новость н любая мелочь ее волновали н заннмали. Иногда, увлекшись рассказом, они перебивали друг друга, спеша высказать свое. Их последняя ночь была такой же целомудренной, какой была первая, и они не заметили, как оба задремали, забыв о том, что ждет их завтра.

Олень проснулся первым. Был поздний утреннн час, в столовой лежали газеты, и Маша уже несколько раз подогревала самовар. Когда он разбудил Наташу, она неохотно открыла глаза, поморщилась от света н, еще не придя в себя, потянулась и спросила:

— А который час?

— Скоро девять. Слушай, Наташа, случилось странное...

Она вспомннла все и вскочила:

— Что случилось, Олень?

Он протянул ей газету н указал место. Это был краткий указ о роспуске на летние каникулы Государственного совета — без мотнвов и объяснений. Совет был распущен накануне важного заседання н раньше предположенного срока.

ДНИ ИДУТ

Отец Яков лоснился радостью: одним из первых он узнал, что депутаты разогнанной Государственной думы поедут в Выборг. Отец Яков рискнул — и примостился со своим портфелем в вагоне третьего класса, так что к общему съезду был уже в Выборге, в самом дешевом номерке самой дешевой гостиницы. Пот катился по нему потоками, когда на нюльской жаре в широкополой поповской соломенной шляпе он стоял в толпе любопытных и смотрел на прнезжавшнх. Сам не из смельчаков, хотя и озорной по жгучему любопытству, свидетель истории отлично понимал настроение депутатов.

«Вот и улыбаются, а самим боязно. Народ немолодой, почтенный, в большинстве семейный, а прнходится как бы нграть в революцию. С другой же стороны — оскорбнтельно им, разогнали, как мальчиков, а ведь считались вроде заправских народных представителей».

Несмотря на добрые знакомства, отцу Якову не удалось попасть на заседания, и было это очень обндно. Но все же в самые замечательные дни он оказался близким зрнтелем исторических событнй и даже на одной фотографин был запечатлен вместе с кучкой «выборжцев», гулявших по главной улице фннляндского городка. Ряса отца Якова вышла очень хорошо и ясно, лнцо же он сознательно, на всякнй случай, затемнил, надвннув широкополую шляпу на самые глаза. Позже тихо радовался предосторожностн,— когда в знаме-

иитом «выборгском воззванни» прочитал весьма дерзостиые слова: «...не платить йалогов, ие давать солдат, ие подчинятьсн властям»,— н посмеивался в бороду, когда столь смелые буяны трепетио покупали обратные билеты у окошечка кассы, старались держаться кучкой, а вскоре по возвращеиии в Пнтер смириехоиько подчииились властям и отправилнсь прннять тюремное испытанне.

Событиямн был полои месяц нюль шестого года. В первых чнслах случился еврейский погром в Белостоке и тянулся целых четыре дня. Сам родом из Приуралья, где евреев мало н вражды к ним никогда ие было, отец Яков ие страдал антисемитской болезнью. «Все люди, все человеки». «Несть эллин, ии иудей, ио всяческая, н во всех Хрнстос». Конечно, распяли Христа еврен, но было это давно, а к тому же еще в духовиой семииарии его тревожила иесомиеиность, что н сам Хрнстос был из евреев. В Казани отец Яков имел близкого приятеля — еврея, присяжного повереиииого, человека редкой душн, а в Питере — думского журналиста Залкинда, который ие раз устраивал отца Якова в ложе прессы, откуда всех видио и все хорошо слышно. Есть, зиачит, среди инх люди почтеииейшне, а громить бедноту — великий грех и противио Хрнстовым заповедям. Так и отметил отец Яков в тетрадочках своей летопнсн. Но все же, рыхлым своим телом чнстый руссак, особого возмущения не испытывал. А вот думскне событня, и разгон, и «выборгское воззвание» возбуждали его до предельиой степени. Еще больше — слухи о крестьянских волнениях и о поджоге помещичьих усадеб, а тут еще восстания в Свеаборге и Кроиштадте — вся эта волна событнй и слухов захлестнула и поиесла отца Якова. Были бы деньги — побывал бы всюду и посмотрел самоличио, отчего и как волиуются люди: «Лю-бо-пытио!»

Но с деиьгамн было плохо, ие иабегал даже обычный малеиький газетный гоиорар, потому что в эти дии никто не иитересовался ни бытом зыряи, ни ассирийскими иаходками в Пермской губернии, ии детскими приютами, ии успехами кустарей в Пошехоиье, ии пословнцами и загадками, собраииымн отцом Яковом иынешней весиой в Малоярославецком уезде, Калужской губернии. О политике ои никогда не писал: н остерегался, и привычки не было. Одиако о выборгских делах кое-что дал зиакомой газетке за скромной подписью «Очевидец». Текст его писания сильно изменили,— ио иа это он никогда ие обижался.

А события зрели, кипели и бурлили. Каждый волновался н негодовал по-своему, а все вместе продолжали есть и пить по-прежнему, между чашкамн чая и блюдами обмеииваясь и иовостями, и анекдотами. Что было полюбопытиее, то отец Яков записывал. В дни министерства Горемыкииа записал на полях тетрадочки поговорку:

Горе мыкали мы прежде,
Горе мыкаем теперь.

Очеиь ему поиравилось! Когда же старого миииетра убрали и замеиили иовым, решил отец Яков иепремеиио добиться у иего приема, чтобы воочию поглядеть иа иового господииа России. «Сподобился лицезреть самого Плеве, иыие убиеиного,— повидаю и этого». Повод всегда иайдется: хлопоты о детском приюте. А пути к иедоступиому иайдутся через сиятельную покровительиицу Аиию Аркадьевну, которой отец Яков аккуратио посылал свои киижечки и фотографии скуластых девочек в белых передииках, а в самом цеитре сията и благообразиая его, отца Якова, фигура в белой чесучовой рясе. Надпись исполиеиа тушью «рондо» и гласит: «Ее Сиятельству Аиие Аркадьевие, заступнице и покровительиице Кампиискоro приюта сирот жеиского пола».

Хоть и ие увереи был отец Яков, что этот приют, им осиоваииый и из его ведеиия давио изъятый, продолжает существовать, а скуластые девочки остались маленькими за истекшие десять лет, с момеита иесколько скандальиого ухода отца Якова! Уход-то был скандалеи, ио блаики приюта и большую печать отец Яков ие оставил своим гоиителям. Теперь, иикаких явиых материальных выгод ие извлекая, ои в иужиых случаях пользовался и бланками, и печатью, адресуя благодариости и ходатайствуя о высоких рекомендациях.

Наступил месяц август, ясиый, еще жаркий, ио уже с уклоиом к осеии. События как будто затихли — чувствовалась сильиая рука иового правительства.

В двух газетах, одиой правой и одиой левой, отцу Якову все-таки удалось пристроить петитиые статейки об архаигельских сказителях; одии журиальчик поинтересовался и ассирийскими серебряиыми блюдами, а в другом охотио иапечатали «иовое о старце Кузьмиче». Может быть, иаступил покой перед иовой бурей, а может быть, иарод ие внял выборжцам и скромиеиько платил иалоги, давал солдат и подставлял свою шею предержащим властям. Сиятельиая покровительиица обещала отцу Якову устроить прием у иового высокого вершителя судеб России, доступ к которому был очеиь трудеи.

Счастливый этой иадеждой, отец Яков побрел с Литейиого пешочком иа взморье, подышать природой. Когда добрел — вода Невы была спокойиа и ветер с моря легок и приятен; а полчаса спустя потянуло морским сквозияком, вода посерела и вспеиилась.

И думал отец Яков, что Нева — словио бы ие русская река, ие сестра Волге, Каме, Белой, рекам ласковым и задумчивым. Миого в ией беспокойства и иет тихой мудрости и созерцательности. Может быть, это и иеправильио, что столица России в Петербурге, в городе, слов нет, красивом, ио холодиом и иеуютиом, самое имя которого редкий мужик выговаривает правильио. Тут и царь, и Дума, и министры — и все это с краю, иа отлете, все это для иастоящей России, для средииио́й, иепонятио и не очеиь нужио. Царство наше соииое, в меру работящее, молится леииво, равио Богу и лешему, и иет ему

дела до «выборгскнх воззваний», и никаких оно не знает нмен, н шум столиц в глубь его доносится досадным комарнным гудом. А велико оно до безграничностн, н города по нем — точно редкие мушьи точки на домотканой холстнне, так себе — малозаметная досадная нечистота. Был бы дождь по весне, н солнце к Петрову дню, и по осени были бы грнбы — груздн, белые, рыжики, а на крайний случай — кульбнкн и акулинина губа, в хорошем засоле н они годятся к посту. И был бы зимой обильный снег, велнкнх рек кормилец, а по нему — заячьи следы, хотя зайца не всякий мужик ест, нные считают поганью. Что еще? Было бы лыко на лаптн, н была бы ель на новый сруб. Не драл бы поп за крестины и похороны с бедняка, а драл бы с кулака, да реже наезжали бы начальство и просветнтели. А там — как-ннбудь промаемся. Темный народ, точно; а кому какое дело? Темному н жить проще, ближе к зверю н мало требуется! Поменьше бы вши, клопа, н нн с какой Европой играть в пятнашки не желаем.

А тут, на Неве, белые барашки, пахнет не нашнм морем, люди одеты смешно н говорят непонятно, а газеты врут самн для себя. Нет нн работы настоящей, ни настоящего сна. Кто кого сменит, кто кого убьет,— все это не для России. А кто знает ее? Никто ее не знает! И сама она себя не знает, н знать ей не к чему.

И подумал отец Яков:

«Одначе нужно по домам, похолодало н словно бы идет к большой непогоде».

Нащупал в подряснике монеты — можно пороскошествовать на трамвае. Зачем он, отец Яков, живет в Пнтере, и зачем он себя кипятнт в котле, н зачем поповскнмн завнтушками кудрявнт бумагу ученических тетрадей? И когда уляжется в нем эта страсть все видеть, и все слышать, н все примечать?

Сам себе подивился, поправил волосы, сбнтые ветром, отряхнул старенькую, многослужилую, хоть и добротную, рясу и окончательно решил:

«Быть буре! Поспешай, отец Яков, запрещенный поп, всея России любопытствующнй замлепроход».

И зашагал в ту сторону, откуда скорее доберешься до трамвая.

РЫБАК

Купеческая чета Шляпкнных вернулась нз пятндневной поездкн на Ладожское озеро. В действнтельности Наташа уезжала на Финляндские шхеры, а Олень оставался в Петербурге, укрываясь по рабочим районам. Нужно было выясннть, можно лн и дальше пользоваться прежней квартирой и в какой мере полнция была осведомлена о плане покушения на взрыв Государственного совета. Ннкто из посвященных в этот план не был арестован; Евгения Константиновна, также на время

скрывшаяся, решительно заявила, что адреса квартиры оиа ннкому не давала, хотя об участин Оленя комнтету эсеровской партии было, коиечио, известно. Возможно, что роспуск Совета на иеделю раиьше был случайиостью, в связн с общими полнтнческимн событнями; если же это было следствнем провокацин в цеитре партни, то не в иитересах полицин выдавать нсточник своей осведомлеииостн небрежнымн арестами. Все это иадо было выяснить — н Олень взял это на себя.

На пятый день в квартиру вериулась сиачала Наташа, а затем н Олеиь. Маша поздравила нх с прнездом и поставила самовар. Не было иичего подозрнтельного в поведенин дворннка, иа улице иезаметио иаблюденя, и ночь прошла спокойно.

В связи с новой бурей росснйскнх событий Олень был возбуждеи н деятелеи. Теперь уж не могло быть сомнеинй в том, что никакое мириое обновление страны невозможно: это доказано разгоиом Думы, арестами иескольких депутатов, повсеместиыми вспышками восстаиий, объявлением почти всей страиы иа положеиин чрезвычайиой охраны. Казии ие прекращались и за время заседаиий думы,— теперь онн удесятерились. Тюрьмы были переполиены, газеты и журиалы штрафовались и закрывались. Даже лнбералы, в лице бывших думцев, взывали к «иеповииовенню властям». Но путь воззваннй был смешои, как и всякая безвредная устиая н печатиая болтовия; едиистеиным иастоящим и решнтельным методом борьбы был и оставался террор. У боевой группы Оленя ие было ни достаточных средств, нн необходимых связей для «террора цеитральиого» — для убийства царя. Оставалось разработать и выполнить плаи убийства главы правительства, и в этом направлении работал теперь Олень.

Плаи не мог быть сложиым. Давно устарели приемы выслежнваиия на улице, угадывания часов проезда мниистра на доклады н иа заседаиня. У охраииой полицнн было несравиеино больше сил н средств для того, чтобы иметь своих извозчиков, свои автомобилн, свонх выслеживателей под видом разносчиков, иищих, прохожнх; все эти приемы она переняла у террорнстов и довела до совершенства. И была у нее еще одна страшная сила, революционерам недоступная: целая армия осведомнтелей и провокаторов, проиикавших в революциоиную среду и производивших в ней разрушительную работу. У иее не было только одиого: людей, готовых жертвовать жизнью бескорыстно и самозабвеиио, без всякой надежды на спасенне, с полной и наивной верой в то, что жертвой одного покупается счастье поколений.

Пренмущество этой силы нужно было использовать — н плаиы Оленя былн построены на ией. Он шел на смерть сам, и за ним шли другне. Для этого не иужиа была долгая подготовка — нужен был только диамит. Против его страшного изобретенння — мелиииитовых жилетов — была бессильна всякая полицейская охраиа.

Только три человека допускалнсь на квартиру, где жилн

Олень и Наташа: Евгения Константниовиа и «братья Гракхи», двое юиошей, однн — студент, другой — рабочий, тесио спаяиные с Олеием участнем в его прежиих делах. Студеит — тот самый Петрусь, москвич, который забавлялся, в одииочку разгоняя шествня чериосотеицев; по прнроде — весельчак, румяиый, здоровый, смотревший иа жизнь как иа ряд заиятных н рискованиых приключеннй. Второй — Сеня, сам рабочий н нз рабочей семьи, был, скорее, мнстиком, вечио в облаках мечты, красивых слов, с которыми ои ие мог справнться и которые в его устах звучалн смешно н иавно, детскимн стихамн. Полтора года иазад, девятого января, был убит его старшнй брат, пошедший за зиаменитым священником Гапоиом к царскому дворцу в толпе безоружных рабочнх. Этот брат был в глазах Сени героем,— пока не выяснилась двусмыслениая роль Гапона; теперь Сеня счнтал жертву брата иапрасиой, а себя — мстителем, который тоже погнбнет, но не зря, не робкой овечкой, а бойцом революции.

Этих юиошей Наташа прозвала братьями Гракхамн. Изо всей боевой группы Оленя только они двое были совсем блнзкнмн людьми, с которыми обо всем говорилось с полной откровенностью: ни в их преданностн делу, ни в нх осторожности не могло быть сомиения.

Был еще однн старый соратник Оленя по московским баррикадам, который позже был арестоваи, бежал и только что прнехал в Петербург. Олень должен был повидать его и выяснить, возможеи ли возврат его в боевую группу. Это был Морнс, про бегство которого нз тюрьмы ходнли неясные слухи; говорнли даже, что его побег был органнзован охранным отделеинем. Для Олеия, близко знавшего Морнса, слух этот казался чудовнщным; ио, рискуя не одним собой, а многимн и всем делом, Олень решил быть сугубо осторожиым. Их свндаиье было назиачено иа окраиие Петербурга, иа берегу Невы, в месте пустынном, куда должеи был явиться Морис и ждать Олеия.

На бережку, перед закатом солнца, сндел пожилой бородатый рабочнй, в высоких сапогах, совсем рваном пнджачишке, в кепке, ннзко иадвннутой на глаза от солица. Он методическн забрасывал удочку: провожал взглядом поплавок, сиова перебрасывал и не отчаивался нз-за плохого клева. Рядом стояла жестянка с червяками и ведерко, прнкрытое тряпицей.

Городской шум совсем сюда не доиосился. Жаркий день сменялся теплым вечером.

Морнс, явившийся на свндание с Олеием иесколько раньше иазначеииого часа, с удовольствнем убедился, что место выбрано хорошо: кроме одниокой фигуры рыбака, никого поблизости ие видио. Он прошелся по берегу у самой воды, сел иеподалеку от рыбака н стал следнть за его ловлей.

Он ие столько смотрел, сколько думал о своем. Свиданье с Оленем было очень важным для Мориса. Олеиь — близкий

друг, которому можно довериться вполие и до конца н слово которого для всех авторитетно. Оленя нельзя обмаиуть, но его н не нужно обманывать; он не нз тех, которые во имя отвлеченной прнндпнальности выносят осуждение человеку, а в душу его не умеют заглянуть. И не умеют, и ие хотят.

Морнс зиал, что про его побег ходят темиые — н, по существу, справедливые — слухи. Ои действительно бежал при содействнн охранной полнцин, которой ои обещал свою службу. Его побег был устроеи на рнск и обставлеи достаточно театрально: в него стрелялн н — прн неловкостн — ои мог быть убит; конвойного солдата, который провожал его из тюрьмы на допрос и упустил, присудилн к арестантским ротам. Вся эта комедия была разыграна для того, чтобы залучнть в тайные агенты видного боевика, какой угодно цеиой,— н Морнс сумел нспользовать страстное желанне охраики иметь осведомителя в рядах неуловнмых максималнстов. Таким образом, он спасся от каторгн, а может быть, н от смертной казии.

Но, такой ценой добыв себе свободу, ои мог вернуться в ряды прежиих товарнщей только одним путем: нскупив свою виину перед ннмн какой-нибудь услугой илн жертвой, которая докажет, что он поступил так не в личных интересах, а для пользы общего дела.. А между тем... разве ои не думал о самом себе, когда соглашался купить свободу ценой такого ужасного шага, давио н решнтельио осужденного революцноиной этикой? Снять с него тяжесть этого сознання мог только Олеиь.

Час, назначенный Оленем, уже мнновал, а его не было. А вдруг Олень совсем не придет?

Побродив по берегу, Морнс снова подошел блнже к рыболову н стал следить за его поплавком. Вода была спокойиа, н было видио, как поплавок дернулся н исчез под водой. Рыбак неумело н неловко потянул, н у его иог на песке забилась небольшая рыбка. Затем Морнс с удивлением увидел, как рыбак забеспокоился, наклонился над рыбой, осторожно сиял с крючка и бросил обратно в воду. Морнс крикнул ему:

— Выходнт, товарищ, что зря ловите?

Рыболов обернулся н спокойно ответил:

— Выходит, что зря. Спускайтесь сюда, Морнс. Я вас жду.

Узнав Оленя, Морнс подошел.

— Так это вы? А я два раза подходил н не узнал.

— Здравствуйте, Морнс. У меня руки грязные, не могу вам подать. Я давно вас видел, но пережидал.

— Вы мне не очень доверяете, Олень?

— Я ие имею права доверять, Морис.

— Я пришел вам все рассказать.

Олень снова закинул удочку.

— Ну, сядьте рядом н рассказывайте.

Хотя кругом было пустынно, ио они говорили тихо, зная, что даже слабый голос далеко слышен иа воде. Олеиь задавал вопросы, Морнс на ннх отвечал.

— Как они решилнсь вас освободнть? Кого вы выдалн, Морис?

— Им непремеиио нужно иметь провокатора в иаших рядах. И я действительио выдал.

— Кого?

— Я выдал вас, Олень. Я рассказал про дело в лесу и про баик и назвал вас.

— Мою настоящую фамилию?

— Да. Но оии ее знали.

— Оии зиают. А еще?

— Оии просили выдать адреса. Я указал одии в Москве.

— Наташи?

— Да. Я зиал, что ее там уже нет.

— Еще?

— Больше иичего и никого. Я только говорил, что предполагается серьезный террористический акт, может быть цеитральиый, и что я могу узнать все подробности, если мие устроят побег.

— Вы зиали что-иибудь о иаших делах?

— Ничего. Я просто врал, а они верили. Им очеиь хотелось верить.

— После побега за вами следили?

— Коиечно. Вплоть до Петербурга. Я сам явился здесь в департамент. Мне кажется, что теперь оии мие доверяют.

— Скажите, Морис, вы спасали себя?

— Вам я скажу: да, я спасал себя. Это слабость, ио я оправдывал себя тем, что смогу служить у иих и тем помогать иашим. Вы зиаете, что в центре эсеров есть провокатор. Я решил узнать его имя.

— Ну?

— Я только что приехал, Олень. Если вы мне доверяете, я буду продолжать игру. И тогда я, может быть, узнаю.

— Товарищи не поверят вам, Морис.

— Лишь бы вы верили.

— А если и я ие верю?

Помолчав, Морис сказал:

— Вы верите мие, Олеиь. Я сказал: это было слабостью. Но может быть, я клевещу иа себя! Меня увлекла ие иадежда иа спасение, а страшиая игра с иими. Первую ставку я выиграл. Если вы меня поддержите, я буду играть дальше.

Оии долго молчали. Накоиец Олень сказал:

— Зиаете, Морис, я вам верю, хотя и ие должеи бы. Мы слишком миого вместе пережили. Если вы предатель, то, зиачит, я дурак или сумасшедший. А я ие дурак и в своем уме. Если я в вас ошибаюсь — тогда пусть уж лучше все идет к черту.

— Спасибо, Олень.

— Дело ие в спасибо. Я мог вас сегодня убить. Но иа чем же мы порешим?

— Решайте вы.

— Я и решил. Морис, вы явитесь к иим и будете, пока можно, водить их за иос обещаниями. Если нужио выдавать —

я сам дам вам матернал для выдачн; конечно, это будет ерунда, которая нх не удовлетворнт. Попытайтесь разузнать все, что нам полезно. Вы будете видаться только со мной, где я укажу. Всем товарищам я скажу, что верю вам по-прежнему н что вы наш. Вам довольно этого?

— Спаснбо, Олень.

— А потом — вы нскупите свою ошнбку, потому что это было, конечно, страшной ошнбкой.

— Я знаю. Я искуплю.

— Еще одно, Морнс. Заведнте лошадь н кучерскнй костюм, я вам дам денег. Но так, чтобы онн не знали. Можете?

— Думаю, что могу. За мной следят, конечно, но я сумею. У вас новые планы?

— Планов много. Вы хотнте знать?

— Не хочу. Когда вы скажете — я пойду за вами.

— Через неделю в этот же час увиднмся здесь. Согласны?

— Спаснбо, Олень.

— Бросьте это спаснбо. Мы недолго продержимся, Морнс, нам не стоит счнтаться.

— За доверне. Я мог ждать худшего.

— Худшее могло быть только одно. А теперь я пойду, а вы пока останьтесь здесь.

Вытерев руку о подкладку пиджака, рыбак подал ее собеседнику, собрал свон снастн н поплелся в сторону рабочего поселка.

Морнс остался н смотрел на морщннкн воды н всплывавшне на воде пузырн. Уже темнело, облака потухлн,— н кто мог сказать, стоил лн выигрыш жнзни всего, что пережнл Морнс за последнне месяцы? И еще всего, что пережнть прндется, а конец все равно однн!

Когда он встал н пошел, рыбака давно не было видно.

МИШЕНЬ

В четверть седьмого утра пожилой камердинер согнутым пальцем с настойчивой робостью стучнт в дверь спальной. Там, свернувшнсь калачиком н неудобно уткнув нос в пуховую подушку, спит председатель совета мннистров.

— Да-да, сейчас!

Камерднннер отходит от дверн на два шага н мннут пять прислушнвается. За дверью ннкакого двнженння. Согнутый палец опять стучит с той же настойчнвостью. Снплый голос несколько раздраженно отвечает:

— Ну да, слышу, ступайте!

Лакей уходнт ждать звонка.

Председатель совета мннистров еще не стар, но его череп гол. В открытый ворот ночной рубашки свнсает довольно большая черная с проседью борода. Первым сознательным жестом министр берет с ночного столнка гребешок н расчесывает бо-

роду. Затем он откидывает одеяло, выпрастывает узловатую в коленке, худую и волосатую ногу; очертив привычный полукруг, нога попадает в туфлю.

Скинув рубашку, министр шаркает туфлями десять шагов до ванной комнаты; он не привык брать утром ванну, но заставляет себя обтираться холодной водой. Это тоже — не потребность, но своеобразная гордость министра: так полагается поступать решительным и энергичным людям.

В ванной большое зеркало, в зеркале виден голый профиль самой сильной и мощной фигуры государства, в котором сто семьдесят миллионов жителей, нуждающихся в непрестанной заботе, и которое занимает одну шестую часть земной поверхности. У голой фигуры нет мускулов и, при худощавом теле, выдающийся, смешной кругленький живот. На груди грядка волос, набегающих на обе стороны грудной клетки. Вытирая лысину мохнатым полотенцем, председатель совета министров косится на зеркало и подтягивает живот; выпрямившись, он кажется себе если не стройным, то, во всяком случае, приличным.

Так как министр курит, то он по утрам довольно долго откашливается. Умываясь — всхлипывает и делает губами бр-бр-р. После воды мочит бороду тройным цветочным одеколоном и сушит новым полотенцем, уже третьим по счету. Затем делает легкую гимнастику — по пять взмахов руками спереди назад и сзади наперед, два круговых движения в талии и три плавных приседания, при которых в ногах потрескивает. Подымая корпус в третий раз, министр рукой придерживается за край ванны.

С этой минуты лицо министра теряет все следы недавнего и недолгого сна и приобретает уверенную деловитость. Вернувшись в спальню, он надевает заготовленную камердинером с вечера чистую рубашку с крахмальной грудью, узкие, облегающие ногу егеревские кальсоны и шелковые носки. Наконец, но не ранее, он звонком вызывает слугу, предварительно отомкнув дверь. Министр всегда спит, запершись на ключ.

Его туалет готов к семи часам без четверти. До семи он пьет кофе в маленькой столовой, причем ест довольно много варенья. К лежащим на столе вчетверо сложенным номерам «Нового времени» и «Правительственного вестника» он притрагивается только один раз: проглядев на первой странице список умерших, он смотрит на обороте список производств и назначений. Остальное доложит секретарь.

Перед тем как пройти в кабинет, министр подходит к окну и сквозь тюлевые занавески смотрит на улицу. Против его особняка обширный сад с небольшим домиком в глубине. В этом домике кто-то жил, но теперь домик — министр это знает — арендован от имени частного лица департаментом полиции; теперь там поселили семью будто бы приличных людей — муж, жена и брат жены,— а в действительности агентов охранной полиции. Против самых окон министра, на той стороне улицы, газетный киоск, а в киоске человек с неприятным, слишком

уж подозрительиым лицом. Это, конечио, тоже полицейский агеит. Извозчик, который как бы ждет клиентов у правого угла садов, тоже, вероятио, агеит наружиого иаблюдеиия. В иижием этаже дома миииетра три комиаты заияты дежуриыми агеитами — целая малеиькая казарма. Приказаио, чтобы вся эта сволочь сидела в комиатах и по улице ие шлялась. В вестибюле дежурят двое, одии — швейцар, другой черт его зиает под видом кого. Выбираются физиоиомии поприличнее. Есть и в этаже миииетра, в передией и в приемиой. Нет, только в верхнем этаже, где живет семья миииетра.

Печальиая иеобходимость! Миииетр лучше всех зиает, что вся эта обязательиая охрана бессильиа и не иужиа, если нет хорошего осведомителя в среде революциоиеров. К счастью, эти аиархисты (миииетр иазывает их огулом анархистами, хотя хорошо разбирается во всех тоикостях их отличий и партийных программ) — к счастью, оии, при всей дерзости, до изумительности наивны и доверчивы. И иеумны, даже иедогадливы! Напугаииая полиция содержит тысячу мерзавцев, которым ииогда слепо доверяет. Безо всякого труда в эту тысячу могли бы проникиуть десятки революционеров — и тогда серьезиая охраиа стала бы немыслимой. А впрочем — почем зиать? Может быть, этот самый прохвост, сидящий в газетиом киоске, может быть, при первом же выезде миииетра имеиио ои и окажется...

Председатель совета миииетров иикогда не был трусом. Как умный человек, он почти не сомиевается, что будет убит. Может быть, это случится сегодия, может быть, через год, а может быть... Ои даже ие услышит разрыва сиаряда, и его тело, правда не очеиь красивое (вспомнил живот в зеркале), ио свое, родиое... это тело разлетится в клочья. Его имя войдет в историю? Черт с ней, с историей! Быть в длиииом списке жертв — Боголепов, Сипягин, Плеве... даже всесильиый Плеве! И еще сколько — ие пересчитаешь! И вот прибавится еще и его имя. Удар — и в стороны разлетятся голова с черной бородой, манжеты, ступии иог в башмаках, обрывки кальсои с кусками мяса...

В соседией комиате сквозняком захлопнуло дверь. Министр вздрогиул, по-детски выбросил вперед руку, как бы для защиты, затем выпрямился и, слегка иахмурившись, проследовал в свой деловой кабииет.

Это казалось ему не простым, очень ие простым, ио все-таки понятиым. Громадиая площадь земли с точиостью вычерчивалась иа бумаге. Люди-единицы исчезали; люди-массы делились иа горожаи и на крестьяи. Прежиие, близорукие политики думали только о горожаиах и об опасном сегодня; он учитывал будущее и реальную силу — крестьяиство. У него был просвещеииый ум и европейские зиаиия. Там, в Европе, безумиым мечтаииям противопоставлеиа мысль и массовая сила малеиького буржуа; здесь, у иас, будет то же, когда на при-

горке вырастет у крестьянина свой хуторок и прочное хозяйство. Там это сделано годами опыта — здесь делается мудростью власти, ничем, по существу, не ограниченной. Простачок бомбометатель воображает, что крестьянин поклоняется земле ничьей, земле Божьей; а этот мужичок когтями и зубами вцепится в свою маленькую собственность и никого к ней не подпустит. Здоровый инстинкт! Конечно, нужно немало времени. Но хуторок спасет Россию!

Русский, министр очень любил Россию — вот эту землю, отлично изображенную на карте, с ее делениями на губернии, уезды и волости. Он мыслил ее правильно разграфленной, условно окрашенной и мудро устроенной. Разграфить, устроить и спасти ее мог только он, и для этого ему нужна была власть. Человек с лысым черепом и черной бородой громадным напряжением воли мог выполнить высокую миссию при царе-дурачке, при банде чиновной сволочи (Боже! какие мошенники!), при постоянной угрозе взлететь на воздух вместе со своими проектами и мудрыми реформами. Игра стоила свеч!

Если бы оставалось время для пустяков, для второстепенного, он разглядел бы на карте и рябого Кузьму с килой, и путиловского пьяницу рабочего, и глупую либеральную даму, в салоне которой собираются доктора, присяжные поверенные и неопрятные литераторы, и свихнувшегося на книжках студента, и обиженных в своем надутом достоинстве думских болтунов — всю эту накипь на народе, то есть на будущих крепких хуторянах, в синих кафтанах, с окладистыми бородами, многочисленной здоровой семьей и необыкновенно упитанными коровами. Но стратегию государства некогда рассматривать в лупу маленьких паразитов. Ими может заняться — ну хотя бы этот молодой секретарь, подающий надежды, его утренний докладчик.

И министр спросил нетерпеливо:

— А что в московских газетах? Все то же? Ну да, знаю, это неважно. Скажите, а кто на приеме из частных лиц?

— Пока записано двое, если вы лично примете: дама с рекомендацией от командующего округом и священник.

— Почему священник? Через кого?

— От Анны Аркадьевны.

— Ага, помню, она что-то говорила. По какому делу?

— По делу детского приюта в Вятке.

— Почему же ко мне? И больше никого?

— Остальных может принять заведующий канцелярией.

— Хорошо. Пусть он примет и даму. Попросите этого... как там... от Анны Аркадьевны.

— Слушаю.

Загрузив вход, хотя и боком, без подобострастия, но с подобающей почтительностью, в парадной лиловой шелковой рясе, с портфелем под мышкой (этот портфель вызвал некоторое беспокойство в приемной) в кабинет вошел отец Яков Кампинский, свидетель истории.

БРАТЬЯ ГРАКХИ

Братья Гракхи пришли с обычной аккуратностью, один пятью минутами позже другого. Обедали все вместе, ели шпинат с яйцами, курицу под белым соусом и лимонное желе. Сеня серьезно сказал, что такого обеда не едал ни разу в жизни.

— Я вот еще люблю гороховый суп с ветчиной костью. На Пасхе ел, очень понравилось!

Наташа хотела сказать, что как-нибудь закажет гороховый суп, но вспомнила, что уже не придется.

Разговаривали о пустяках. Петрусь вспоминал о рыбной ловле у них в Тульской губернии — как он однажды поймал на блесну судака фунтов на шесть; раньше, рассказывая про этот счастливый рыбацкий случай, он говорил «на пять», но сегодня судак вырос. Наташа рассказала, что однажды мужики поймали в Оке севшую на мель белугу, да такую огромную, что везти ее пришлось на двух связанных телегах. Потом пили кофе — все, как в хорошем доме. После обеда Машу отпустили до вечера, и тогда Наташа отперла комод и осторожно достала оттуда два тяжелых и неуклюжих стеганых жилета.

Когда принесла, братья Гракхи побледнели и старались улыбаться. Студент Петрусь сказал: «Мне выберите покрасивее!»— но на его шутку никто не ответил.

Олень ушел, пообещав вернуться через час.

— Не забудьте, Наташа, про занавеску на окне.

— Да, откинутый угол.

По его уходе она объяснила, как нужно нажать в коробке кнопку, которая и разобьет стеклянную трубочку.

— Сунуть палец поглубже в это отверстие и очень сильно нажать. Но не трогайте без надобности: если не трогать и ни обо что не ударять — не опасно.

Петрусь, губы которого побелели, сказал:

— А довольно сильный запах, даже голова кружится!

— Да, это мелинит. Можно надушить духами.

— Все равно, принюхаемся.

Она заставила их осторожно примерить жилеты. Оба были не впору и очень толстили.

— Ну, под платьем не будет так заметно. У вас, Петрусь, готова форма?

— Да.

— А все в порядке?

— От военного портного. Я — ротмистр; ошибки не будет. Широконько, а вот с этим будет как раз. И фуражка новая, все по форме.

— Вы пока снимите, а уходя, возьмите с собой.

Они осторожно сняли жилеты и облегченно вздохнули. Но все еще были бледны. У Петруся вздрагивали губы, и он часто пил воду.

— И жарко же сегодня!

Наташа поняла их состояние. Спросила обоих сразу:

— Гракхи, вы можете? Потому что лучше раньше отказаться, чем отступить в последнюю минуту. И ничего стыдного нет — никто героем быть не обязан. Вы решились?

Первым ответил рабочий Сеня:

— Да уж раз сказано... Я пойду, решил. Двух смертей не бывает!

Наташа пожала его руку. И Петрусь тоже ответил:

— Я, Наташа, не изменю. Мы оба пойдем.

Оиа поцеловала обоих и сказала:

— Сядем на диван, посидим. С вами пойдет Олень, а я скоро вас догоню.

— Разве и вы, Наташа?

— Не завтра, а скоро и я. Очень скоро, Гракхи, вслед за вами.

— Может быть, вам не придется. Может, завтра, после нас, все переменится. А уж вы живите с Богом, будьте счастливы!

Сказав эти слова, Сеня покраснел. Слово «Бог» сорвалось нечаянно — и нет Бога, и он тут ни при чем. Сеня прибавил:

— Ладно, там узнаем. А двум смертям все равно не бывать.

Наташа видела, что им обоим страшно, но что они не отступятся, не таковы Гракхи. Страшно и ей — но нужно им помочь.

— Смерти, Сеня, вообще нет. Ни тело, ни душа не исчезают. Вот сегодня мы здесь, а завтра переселимся — в землю, в дерево, в облако, в другого человека — и опять будем жить.

Сене эта философия непонятна, а Петрусь улыбнулся. Наташа продолжала:

— А если бы и была смерть... От того, что человек протяиет свои дни до старости и болезней,— ничего он не выиграет. Вот вы работали иа фабрике, потом женились бы на такой же работнице, иародили бы детей, жили бы в вечном труде и бедности,— а там все равно умирать. Сейчас сами собой распоряжаетесь, а там вами распорядилась бы ваша старость и слабость. Или — арестуют, оплюют, изобьют и все равно быть убитым; и это может случиться всякий день. А тут — нажать кнопку, и, может быть, вся Россия пересоздастся!

Петрусь сказал задумчиво:

— Я в вечную жизнь не верю, а здешнюю жизнь я люблю. И вот что я люблю, то и хочу отдать.

— Я понимаю вас. А я и эту жизнь люблю, и в вечную жизнь верю. То есть я верю в то, что смерти никакой нет, а есть превращеиье. Ведь и дерево живет, и камень живет, все живет. Совсем исчезнуть ничто не может.

Им очень хорошо было вот так сидеть и разговаривать с Наташей. Олень — верный товарищ, с ним пойдешь куда угодно, но так поговорить с ним иельзя; а Наташа и сама поговорит, и выслушает,— ей можно во всем исповедаться, и она поймет сразу. Слушая ее, Петрусь думал, что, может быть, все это и не так и что ему, Петрусю, совсем не хочется превращаться в дерево или камень, а хотелось бы остаться Петрусем, юношей с пробивающейся бородкой, студентом, а потом — совсем взрослым человеком, хорошим работником; повернись жизнь иначе — так бы и было;

ио сейчас иа этом успокоиться иельзя, стыдно! Сколько погибло товарищей и сколько еще может иапрасио погибнуть! У других силы ие хватит, а он, Петрусь, пойдет, и смерть его ие испугает. Слушал Наташу и Сеня и верил ей. Потому верил, что такой, как оиа, ие верить иельзя. У нее голубые глаза, спокойная и ласковая речь, и уж если оиа, женщииа, способиа пойти иа смерть и ничего ие боится, то ему отступать иельзя. Если оиа что говорит,— зиачит, зиает, чего ие зиают другие. И слова ее были для Сени как чудесиая и иезиакомая музыка.

Все этн месяцы оба они жили ие в быте, а в воображенин, не оглядываясь, ие одумываясь, ежеминутно готовые к тому, что нх природе, может быть, чуждо, но совершенио нензбежно н иензмеримо высоко. Когда подошел деиь — в грудь повеял холодок, ио тумаиа ие рассеял. И теперь было сладко слушать слова утехи, которым хотелось верить, без рассужденья.

Наташа это поинмала и говорила для иих и для самой себя, чувствуя в глубокой радости, что это сейчас — самое нужное, что это обволакивает и рассудок, и волю мягкой паутиной сказочиости. Говорила долго, все, что сама для себя надумала, еще давно, еще иа берегу реки, когда рядом иа траве лежал элейский философ Зеион, а солнце грело и ие жгло. Может быть, даже еще раньше, когда Пахом раздавил Мушку н Мушка превратился в сннюю травку. Все слова, которых другим сказать бы не решилась, нм сказала, как мать детям, как братьям старая и зиающая жизиь сестра.

Такого полиого слияния с людскимн душамн оиа еще ннкогда ие испытывала и переживала то, что переживает поэт в самый возвышеиный час творчества, когда он лжет себе и другим со всей силой страсти н искренности.

Вернулся Олень. Ои тоже был сегодня взволиован и прнподият. Все было подробио обсуждено н переговореио раньше, всякий шаг рассчитаи. Гракхов подвезет Морис; они войдут и попросят иемедленно доложить министру; иамекнут, что готовится покушенье н что медлить иельзя ни минуты. Когда выйдет мннистр нли их проведут к иему... А еслн министр их не прнмет? Еслн их ие пустят даже в приемную? Ну, тогда придет очередь его, Оленя. Если долго ие будет взрыва,— он вбежит в подъезд, н уже никакая сила его ие остаиовит. Тогда они погибнут все трое,— а с ними все живое.

Его план был страшеи. Но уже иесколько смертей встретил Олень, а страшна только первая встреча. Только бы не опоздать иа прием и не погубить дела случайной оплошиостью.

Прощаясь с Гракхамн, он обнял их н сказал:

— Товарищи, помните, завтра — ие позже часу, а лучше — ровио в час. Я буду там ждать минута в минуту.

Они молча кивнули. Уходя, поцеловались с Наташей, и Сеия шепнул ей смущенио:

— Вот вам, спасибо за все! Совсем с вами, как с родной. Родиая и есть!

Когда за иими захлопиулась дверь, Олеиь отвернулся, и щека его резко дернулась.

Они остались вдвоем, и Наташа сказала:

— Олень, у тебя между бровями молния!

Он улыбнулся своей замечательной улыбкой: детской и доброй на строгом лице.

— Вот теперь молнии нет.

— Ты поговорила с Гракхами?

— Да, мы хорошо поговорили. Какие они оба славные, чистые, честные. Как хорошо, что есть такие люди,— вот как ты и как они!

— Да, Петрусь и Сеня — прекрасные люди, таких у нас немного. Смелых много, но ведь и авантюристы смелы. А эти не от мира сего. Они оставили тебе письма?

— Нет. Сеня сказал, что сегодня ночью напишет сестрам и матери. А Петрусь только просил кланяться всем друзьям: у него ни отца, ни матери нет и вообще нет близких. О чем ты задумался, Олень? Не думай сегодня о деле.

— Я думаю о Морисе. Не все товарищи ему доверяют.

— А ты?

— Я в нем не сомневаюсь. Но он очень несчастен! Он продолжает вести игру с охранкой, но, кажется, ничего не выйдет: там ему тоже не очень доверяют, требуют от него чего-нибудь существенного, попросту — выдач.

— Слушай, Олень, пусть он выдаст меня; это создаст ему положение.

— Какой вздор, Наташа!

— Нет, не вздор. Я покажу, что работала с вами.

— Чтобы тебя повесили?

— Ну что ж! Вместе жили, вместе и умрем. Помнишь, как ты это говорил? А я не боюсь.

— Нет, Наташа, так дешево гибнуть нельзя. И Морис на это не пойдет. Да и уцелеет ли он завтра...

— Вы оба должны себя беречь. Завтра — день Гракхов.

Они спокойно обсуждали завтрашний день — точно речь шла об обыденном, а не о возможной смерти и многих смертях. За месяц игры со смертью они с нею сжились и привыкли к словам ужаса и безумия. Они на войне, сегодня — подготовка, завтра — выступление, нельзя быть всегда в нервном возбуждении и прислушиваться к своему пульсу и к полету пули. Главное, вопрос о ценности жизни, своей и чужой, давно решен, и подробности могут быть предметом спокойного суждения. Покой обманчив, под ним клокочет непотухший вулкан мыслей и чувств,— но разве не живут люди добровольно в вечном соседстве с кратером вулкана, любуясь закатами, выращивая виноградную лозу и упрямо думая о будущем? Они были слишком молоды для такого фатализма,— но они жили в стране, судьбы которой не вычислены никакими астрологами, пути которой никому не ведомы, в стране великого ребячества взрослых и старческой мудрости юношей.

— Знаешь, сегодня я рассказывала Гракхам сказку — ведь

они словно детн, им это было нужно. Хочешь, н тебе расскажу, но только другую?

Она села в угол диваиа, а Олень лег н положил ей на коленн голову.

— Вот иесчастье, я совсем неталантлива. У меня бескоиечно много сказок в голове, а когда рассказываю — у меия выходит не поэзия, а какой-то деревенскнй расписной платок илн вышитое крестнком полотенце. Скажн, почему тебя прозвали Олеием?

— Случайио. Как-то говорилн, что у всякого человека есть сходство с дикнм или домашним животиым. Перебралн всех н меия назвали олеием. За то, что я высокий и быстро хожу.

— Не высокий, а большой, сильный, ловкий, смелый! Ты и правда олеиь круторогий. Ну, слушай сказку, но только закрой глаза. Это даже не сказка, а вроде балета, очень русского, совсем даже нашего рязанского. Будто бы лежит, раскннувшись, такая огромная страна, затерянная, забытая, заснувшая, с лешими, русалкамн, колдунами. Русалкн водят хороводы, н все они в иастоящих деревенских, а ие в театральных сарафанах. От хоровода к хороводу бегает леший, нескладный, волосатый, ио только у меия ои будет не противный, не такой — брекекекекс, а насмешливый, немного грустный, очеиь умный, очень талантливый, поэт. И потом что-нибудь вроде борьбы между сном н пробужденьем, какая-нибудь девушка, которая ищет цветок Ивановой иочи н находит — ей лешнй помогает. Оба онн потом гнбнут, то есть, конечно, только исчезают в этих образах, ио успевают найдеииым цветком пробудить землю, и тогда — новая жизнь, все изменяется, расцветает, и тут... одним словом, все ярко, блестит, сверкает, переливается... не знаю, как сказать, но я все это отлично н ясно внжу. Тут два мира, которые н прямо противоположны н оба одинаково, каждый по-своему, прекрасиы, и один переходит в другой. Главное, чтобы сказка была бодрой, а все страшное — иестрашным и естествеиным, что-ннбудь такое, понимаешь?

— Д-да, это бы хорошо.

— Что хорошо?

— А вот, что все это будет бодрым и... естественным.

— Ну коиечно, Олены! Я сегодня немножко размечталась. Очень вспомииается лето в деревие. Липовый дух! Ты зиаешь липовый дух?

— Еще бы!

— Когда липа цветет. И сиреиевый хорош, весной, а липовый лучше. Сладкий, и гудят пчелы.

У него ие дергалась больше шека, н ои, закрыв глаза, видел н лнпу, н летающих пчел, и Наташу — тамошиюю, деревеискую. И, видя, думал о том, что оиа умеет завораживать н что оиа, может быть, сильиее его н сильиее всех другнх. Вся ее философия — простеиькая, ианвиая и путаиая, как н вся ее сказка, а сама она духом крепка, как сталь: гнется, а не сломится. И нравилось ему, что Наташа ие хрупкая девушка, а настоящая большая женщииа.

Не шевелясь и ие открывая глаз, Олень спросил:

— У тебя не бывает сомиений, Наташа? Ты совсем увереиа, что так нужно?

— Как же не бывает? Я часто и во миогом сомневаюсь! Почтн во всем. Но это не мучительно, потому что ведь нстнны никто ие знает, а я ничего ие боюсь.

— Даже смерти?

— Совсем ие боюсь; и это нскренно, Олень. Как бояться того, чего ие можешь себе представить? Вот разве страдания? Но зиаешь, как я всегда думала, с самого детства? Так думала: жизнь, сама по себе,— это вечная творческая радость, а страданье — это временное, внешнее, что ли. Вот как река, с обвалами берегов, с камнями, со миожеством камней,— а ведь никто ие скажет «это камни с рекой!», а всегда — «река с камнямн». И вот, когда перед тобой смерть — обвалы и камии исчезают, а остается привольное н широкое течение реки, то есть русло нашей жизни и творческой радости. И зиачит, всякое страдание ничтожно и бояться его иечего — если только по-иастоящему, всем нутром любишь жизнь. Поэтому я и не боюсь.

— А за других?

— Все равно. И они в последний момент поймут, хотя бы в самый последний.

— Я не про то; я говорю о праве убивать другого.

— Какое же право? Тут ие право, а закои природы. Без иасилия иет живого. Ступишь шаг — и раздавишь букашку. И даже когда дышишь. Не по праву, а потому, что так мир устроеи. Насилие естественно и иеобходимо.

— А мы говорим, что боремся с иасилием во имя свободы.

— Мы и боремся, но с чужим иасилием и за свою свободу. Все борются. Так и нужно. Я н ие верю ни к какие социализмы и правовые государства. Все это — выдумано.

Олень вслушивался больше в приятный голос Наташи н ее хорошее русское пронзношение, чем в смысл ее слов. Вот оиа говорит, а пожалуй, и сама плохо понимает слова «право», «свобода», «социализм». Она училась, была иа курсах, ио ум у иее от природы ие интеллигентский, простецкий. А вера в ией искренияя и иастоящая. Сама ли додумалась или вычитала и уверовала — н сейчас же прилагает к жизии и уж не сверият в сторону. Нницшеанство в ней уживается с росснйским суеверием, как н модный европейский костюм — с белым иа голове платочком или с провинциальным бантом. И при такой виешней путанице — изумительная внутреиняя цельиость и иастоящее здоровье, хорошее, полнокровиое. Если ей суждеио жить — оиа чутьем иайдет себе верную дорогу.

Думал о ией, не думал ии о себе, ни о своем завтра. Слышал, как Наташа от «умных» слов опять перешла к своему любимому разговору о закатах, о том, как прячется и умирает солнце, а ему иа смену дрожащим светом загораются облака, и вместо ожидаемой темноты — иовая яркая красота; н о том, как вечером над Окой, иад самой водой, белым тумаиом летают

мотыльки, которых зовут поденками; живут они только несколько часов, рождаются только для любви и затем гибнут, вся вода ими покрыта, н их хватает рыбья мелюзга.

ЖАРКИЙ ДЕНЬ АВГУСТА

В дешевом номерке меблированных комнат у стола, накрытого твердой синей бумагой, молодой человек писал письмо. Он не был большим грамотеем, поминутно слюнил карандаш и лепил букву к букве с большим трудом н напряженнем. В заголовке лнстика бумаги стояло:

«Драгоценная мамонька н любезные сестры!!»

А дальше корявыми н милыми словами было сказано, что сын их и брат идет помирать за свободу н за весь русский народ, а когда они получат письмо, то на свете его больше не будет. И чтобы простили его за все огорченья. И чтобы верили, что иначе нельзя, а что он их всегда любил и жалел.

От вдавленных букв коробилось письмо, а оттиск карандаша остался на синей подстилке. Окончив пнсьмо и подпнсавшись любящим сыном и братом, Сеней, молодой человек не знал, что дальше с этим письмом делать, потому что по почте его послать нельзя,— и решил, что передаст товарищу, который их повезет, а уж дальше пнсьмо переправят матери, когда будет можно.

К половнне первого дня, как было условлено, Сеня был готов: надел новую пару на тяжелый н душный жилет, поглядел на себя в тусклое н засиженное мухами зеркало и усмехнулся: что вот он какой барин! Одновременно подумал: как жалко, что совсем новенький костюм, за который заплачены большие деньгн, пропадет; отдать бы его кому из прежних фабрнчных приятелей,— вот бы тот обрадовался! Смешнее всего был ему твердый котелок, краем резавший лоб: надвннешь его на брови — темная личность, а заломишь на затылок — чистый забулдыга! Затем сел у окна и стал ждать.

Ждать было утомительно, потому что думать не хотелось, все передумано — поскорее бы кончить с этим делом. Бояться не боялся, а во рту было сухо и в глазах как бы легкий туман. Это оттого, что плохо спал ночью; ночью думается.

Ждал на полчаса дольше условленного. Томился — не случилось ли чего? И тогда, сквозь туман, проглядывала стыдная надежда, что не по его, Сеии, внне план расстроится н что можно будет снять жаркий, мучнтельно прилипающий к телу жилет со страшной коробочкой.

Когда увидал подъехавшее к дому ландо, в котором сидел молодой жандармский ротмистр, сначала похолодел, потом догадался, что ведь это н есть Петрусь. Схватил котелок — н, забыв на столе прощальное письмо, торопливо сбежал по лестнице.

Стараясь незаметно вытнрать на лбу пот, заведующий агентурным отделом докладывал:

— Никаких случайностей ожидать нельзя, и все меры приняты. Одно неприятно — ощущаем недостаток во внутреннем освещении. Боевая организация эсеров обезврежена точным осведомлением, а с максималистами дело хуже.

— То есть?

— Есть осведомители в Финляндии, но ничтожные. Мы знаем адреса некоторых конспиративных квартир, адрес динамитной мастерской.

— Даже?

— Так точно. Но этого мало.

— Почему же не ликвидируете?

— Этим только распугаем на время, а главарей взять не удастся.

— Кто это — главари?

— Во главе стоит некий Олень, конечно, кличка, участник террористических выступлений в Москве, человек, несомненно, большой силы и огромного в их среде влияния.

— Вы его не можете найти?

— Чрезвычайно искусно скрывается, хотя находится в Петербурге. Однажды его опознали в Гельсингфорсе, но тамошние законы...

— Ну да, знаю. А еще?

— Еще ряд дерзких преступников, в том числе женщин. Одну мы знаем. Это — дочь члена Государственного совета Калымова.

— Пикантно! Член по выборам? Кажется — из левых?

— Так точно. То есть, собственно, октябрист.

— Ага. Ну-с?

— Очень тщательно вожаки законспирированы, даже от своих. Необходимо усилить внутреннее освещение.

— Ну-с?

— Надежда есть. Один из ближайших друзей этого Оленя, соучастник вооруженного ограбления в Москве, был в наших руках и обещал сотрудничество.

— Почему был? Где же он теперь?

— Временно освобожден, именно в целях помощи, но остается, конечно, под наблюдением. Связей, однако, еще не установил.

— Как фамилия?

Заведующий агентурой замялся: называть фамилии сотрудников было не обычаях департамента полиции, даже если осведомляется министр.

— Известен под кличкой Мориса.

— Так. Ну, а относительно... по поводу ближайшего плана... вы, помнится, говорили...

— О попытке покушения на ваше высокопревосходительство? Выяснено, что пустой слух. Имелись сведения о двух автомобилях, начиненных, так сказать, динамитом, но это совершенно невозможно.

— Вы думаете? А как вот сейчас взлетим?

— Невозможно-с! Такого количества динамита, даже н на один автомобиль, у них нет н не может быть, об этом мы знаем точно. Да н психологически, так сказать, невероятно, чтобы преступникн взорвались сами.

— Ну, это преступникн особенные!

— Меры, во всяком случае, прнняты, н даже подъезд огорожен рогатками. Но, повторяю, слух совершенно недостоверен.

— Так. Ну что ж, действуйте. А как сегодня жарко!

На лысине министра капельками выступал пот.

Ротмистр н штатский в котелке ехали молча. Сеня смотрел по сторонам н осторожно ощупывал сквозь одежду острые углы коробочкн. Петрусь, очень красивый в форме жандармского ротмистра, смутно вспомннал, как в детстве его везла на экзамен мать,— тоже было жарко, н тоже было мутно в голове, сухо во рту н немного страшно. А впрочем, ведь это было в сентябре, значит, такой жары быть не могло. По улицам шли люди со свертками по своим маленьким делам, копыта лошади стучалн о камни мостовой, все было обыкновенно н знакомо.

Бородатый кучер хорошо управлялся с парой лошадей, объезжал, где полагалось, городовых и ловко перебнрал в руках вожжн. Единственное, что его немного беспокоило, это то, что браунннг был не в кармане — кармана прн кучерском наряде не полагалось,— а под сиденьем. Чтобы достать его, нужно было слегка приподняться. Подстегнвая лошадь, кучер думал: «Олень волнуется, мы опаздали на полчаса!» Его беспокоило, не вызвала лн такая оплошность подозрений Оленя? Не подумал ли он, что напрасно доверился старому товарищу, запутавшемуся в своем революционном поведенин? Но сегодняшнее участие в деле будет окончательно реабилитацией в глазах всех товарищей,— когда узнается, кто был кучером. А страшную н протнвную игру можно будет окончательно оставить!

На набережной Невки Морис даже прнкрнкнул на лошадей: «Но-но-о!», хотя приличному кучеру это совсем не полагалось.

Трехлетний мальчик н девочка лет двенадцатн смотрели с балкона в сад. Мальчик спрашивал у сестры:

— А почему не гулять?

— Мама говорнт — жарко.

— А почему жарко?

— Потому что солнце.

Мальчик поднял голову, но солнца не увндал, так как оно было за домом. Просунув головку сквозь перила балкона, мальчнк увидал вннзу сндящего на скамейке человека, который гладил пуделя. Пуделя звали Дэк, а человек просиживал на скамейке почти весь день. Дальше, за решеткой сада, тоже целый день прогуливался какой-то человек, а иногда их было двое. Мальчнк спросил:

— А кто там ходит?

— Я не знаю. Это, верно, сторожа.

— Зачем они ходят?

Сестра не зиала и не ответила. Ей тоже хотелось гулять в саду, так как в комнатах было душио, а на балконе иечего делать. Потом оиа вспомнила, что очень интересио пускать с балкоиа маленькие, узкие полоски бумаги и смотреть, как они вертятся и летят, пока не запутываются в листьях дерева или ие упадут иа дорожку; а иногда их уносит совсем далеко, за сад. Оиа принесла лист бумаги и ножницы, и тогда оба занялись делом.

Первая бумажка полетела неудачно, прямо вниз, и упала перед скамейкой. Пудель подбежал к ней, понюхал, а сидевший человек поднял голову, увидал на балкоие детей министра и почтительно осклабился. Потом ои посмотрел иа часы и подумал:

«Второй час. Нынче прием затянулся, иароду много. Раиьше чем через час и не коичится; значит, и смены ие жди!»

И ои зевнул долгим и протяжным зевком, так что даже лязгиул зубами. Пудель оставил бумажку и с иитересом поглядел на сидевшего человека.

Ландо подъехало к особняку министра и по знаку городового остаиовилось на некотором расстоянии от подъезда, отгороженного рогатками. Ротмистр и штатский вышли и быстрыми шагами направились ко входу. Ландо иемедлеино отъехало, и кучер подхлестнул лошадей. Проехав квартал, ои свериул в боковую улицу. Медлеино шедший по этой улице жандармский унтер с разиосной книгой прибавил шагу по направлению к особняку. Кучер с унтером ие обменялись ни взглядом, ни жестом.

Минут десять спустя тот же черноусый унтер, ио без фуражки и без разносиой книги, забежал в угловую аптеку неподалеку от миинстерского особияка. Весь персоиал аптеки толпился у входа. Большое зеркальиое стекло было выбито, и осколки его хрустнули под каблуком унтера. Были выбиты стекла и в соседиих домах, и на всей улице царило смятенье: люди у подъездов, у ворот и у окои, перепуганные лица, окрики извозчиков, звонки велосипедистов и гудок редкого по тому времеии автомобиля.

Унтер попросил скорее перевязать ему руку, поранеииую выше кисти; его рукав был в крови. На расспросы отрывисто отвечал, что его пораиило при взрыве и что приказаио вызвать докторов для перевязок и для помощи раненым, а что народу пострадало много, хотя ничего подробио рассказать не может, сам не знает.

— Как оно дернуло, я был у подъезда, меня швырнуло и, иадо быть, доской ударило.

— Да что же там?

— Ничего ие знаю, только взорвали дом и, сказывают, самого министра убило.

Ему быстро обмыли и забинтовали руку — раиа была иезначительной. Аптекарь, накладывая повязку, спросил:

— Больио вам?

— Ничего, бывало больнее, да не плакал.

Но, веропгио, боль все же была сильной, так как у унтера дергалась щека.

Еще раз повторив, чтобы иемедлеиио и сами бежали и вызывали докторов, унтер поспешно вышел. На улице его остаиовил запыхавшийся околоточиый, которому унтер что-то объясиил, сильно жестикулируя и указывая в сторону особняка. Выслушав на ходу, полицейский чии, поддерживая шашку, побежал дальше, куда указывал унтер. Еще два-три человека остановили унтера, и всем им он взволиоваиио и махая рукой что-то спешио пояснял. Пробежав так две улицы, он скрылся в подъезде большого дома.

Спустя еще иемного из подъезда вышел безусый блондии в панаме и длиниом пальто, иаглухо застегнутом, несмотря иа жару. Подозвав извозчика, сказал адрес большого отеля. Извозчик, едва отъехав, повернулся к седоку:

— А что, барии, слыхали, сказывают — дом взорвали?

Седок хмуро ответил:

— Взрыв слышал. Думал, стреляют.

— Будто у самого миииетра!

— Не знаю.

Когда выехали иа большую и людную улицу, господии в паиаме велел остаиовиться:

— Ну и кляча у тебя! Мие к спеху, а этак никогда ие доедем.

— Как, барин, не доехать. А лошадка иичего, да вон жара какая!

— Нет, милый, лучше уж получай деньги, мне иекогда. Вон возьму того, иа резинках!

И ои пересел на лихача.

Несмотря иа очеиь жаркий день, гуляющих в саду почти не было. На скамейке главиой аллеи сидела дама и читала книжку. Когда в глубине аллеи показалась мужская фигура в длиниом пальто, дама быстро вскочила, но сейчас же, сдержав себя, ие спеша пошла навстречу. Не поздоровавшись и не разговаривая, они пошли рядом, пока ие миновали няию с детьми и ие свернули в боковую аллею.

— Ну?

— Я сам не знаю еще.

— Но что было?

— Я не ждал, что случится так быстро. Ои опоздали, но потом проехал Морис, и тогда я пошел туда. И только подходил к крыльцу — меня отбросило взрывом. И вот — жив.

— А Гракхи?

— Гракхи... там. Взрыв был страшиый, я оглушен. Половина дома разрушена, и, конечио, миого убитых. На улице убиты лошади!

— А ои?

— Может быть, ведь я еще ие знаю. Слишком скоро случилось. Боюсь, что их ие впустили. Но ведь это все равно, Наташа!

Он замолчал, так как им иавстречу шла другая молодая пара. Замолчали и те,— вероятно, и их разговор был секретиым и неудобным для постороинего уха.

Был последний теплый месяц, и людям молодым было естественно пользоваться солицем и тенью для милых встреч и тайиых разговоров.

РОЛИ СЫГРАНЫ

Молодая купеческая чета Шляпкиных исчезла. Горничной Маше ие пришлось заявлять об этом в полицию: полиция явилась сама. Дом был окружеи целым отрядом, и те, которым пришлось первым войти в подъезд, тряслись от страха и сжимали в руках револьверы. Позвонил дворник и в ответ на «кто тут?» сказал: «Это я, дворник Василий, отопри». Оиа отперла — и ие успела крикнуть: ее схватили и заткнули ей рот. Но квартира была пуста, и полицейский пристав, широкую спину которого уже щекотал холодок смерти, вздохнул облегченно: страшиые птицы улетели.

Когда Машу допрашивали в участке, оиа все еще думала, что тут должиа быть ошибка: ничего дурного она за жильцами ие примечала. Между собой жили хорошо, гости бывали редко, и все люди приличные, водки за столом ие бывало, от барииа она не слыхала дуриого слова, барии был вежливый, жалованье платили без всякой задержки и дарили подарки. А когда узнала, что молодые господа взорвали дом и убили двадцать ли, тридцать ли человек, да столько же поранили, ие хотела верить: «Разве злодеи такими бывают!»

Целыми днями ее возили по городу, часами держали иа вокзалах, надев иа иее шляпку и модную мантилью,— ио ни своих бывших господ, ни их гостей оиа не видела. Показывали фотографии — их призиала. Но только барыня иа карточках была помоложе, совсем девочкой, а ее муж вышел черным, а ие белокурым, и волосы длинные, каких этот ие иосил.

В квартире забрали белье, книги, коробку револьверных патроиов, ио ни писем, ни бумаг ие было; только брошеиные счета прачки, молочиой и зелеиной лавки. На белье ие было меток. Нет, Маша ие могла поверить, что почти три месяца прослужила у грабителей и убийц!

Дворник, читавший газеты и бывавший в участке, рассказывал:

— Самого одним чудом ие убили, ои к им ие вышел, а комиата его дальняя. А деток ихних, девочку с мальчиком, покалечили; под ими балкон подломился. Третий-то этаж провалился во второй, а вместе — в нижиий. И все стеиы упали, которые выходили в сад. Народу убито — иет числа. И сами убиты.

— Барии с барыией?

— Барии с барыией твои там ие были, а убиты их приятели, из ихней шайки.

— Неужто молодеиькие, что у них бывали?

— Уж этого ие знаю. Насчет возраста иеизвестио, потому — разорвало их иа мелкие кусочки.

О том же читала в газетах Наташа, сидя в саду, на даче, и смотря, как с деревьев иа дорожки падает желтый лист. Жалости

к убитым ие испытывала: ведь и братья Гракхи погибли; смерть остальиых — только плата за смерть юношей. Но когда прочитала, что двеиадцатилетнюю дочку миииетра также звали Наташей,— сжалась и похолодела. Пойти бы и взглянуть... Или поступить в сиделки в больиицу, где лежит раиеиая девочка. И иочи проводить у ее кровати, подавая ей пить, осторожио поправляя подушки, прислушиваясь ночами к ее жалобным стоиам. Потом узиают, арестуют — и вот искупленье.

В лесу, в условлеином месте, встречалась с Оленем. Ои был бледеи, очень исхудал, ие мог сдерживать нервиых подергиваний,— ио это был тот же Олень, сильный, весь захвачениый страшиой борьбой. От иего узнала, что иа другой день после взрыва эсеры убили командира Семеиовского полка, усмирителя московского восстаиия. Зиачит, и им удаются выступления! Но все-таки Евгения Коистантииовиа от них отошла и будет теперь с иами.

Ни об ужасах взрыва, ни о раиеных детях, ни об оставшемся в живых министре Олеиь ие говорил — только о иовых плаиах, теперь уже о цеитральиом терроре, для которого нужны большие средства, и эти средства нужно достать во что бы то ни стало. Еще рассказывал о массовых расстрелах матросов в Кроиштадте, о том, как девятиадцать человек были привязаны к одиому каиату, протянутому между двумя столбами, как их же товарищи должны были их расстреливать; как по первой команде стрелки дали иевериый залп, многих поранили, а потом, по приказу иачальства, добивали штыками и прикладами... Как не выдержал канат и куча иедобитых тел извивалась и корчилась иа земле, а палачи, охваченные ужасом, то бросали оружие, то снова хватали и старались поскорее прикончить и чужие, и свои страдаиия. И как затем погрузили на пароход и повезли топить в море мешки с изрублеиным человеческим мясом.

Олень, этот бесстрашиый мужчина, дрожал и дергался, передавая об этом Наташе со слов очевидцев. И оба они чувствовали, что теперь уже ие может быть мириой жизии, что оии опутаиы смертью и смертями, и что девочка с переломленными иогами и тяжко раненый трехлетний сын министра — только мелкие эпизоды беспощадной войны двух миров, и что все это кончится только в тот момеит, когда оии оба, с радостью и облегчеиием оттолкнув палача, иакинут на шею иамыленную веревку. Свидетелей ие будет — ио пусть это будет смело и красиво!

На свидании было решено, что всем уцелевшим участникам взрыва придется разъехаться и временно скрываться по дачам и по маленьким городам, чтобы отдохнуть и замести следы. Только лаборатория отдыхать ие может: ее успели переиести в новое помещеиие. За это время Олень выработает подробиый план экспроприации, а затем, при удаче, все силы и средства будут иаправлеиы иа центральный террор.

— Зиачит, ты останешься в Петербурге?

— Я останусь, мне иельзя уехать. Здесь мие легче затеряться. Я, вероятио, хорошо устроюсь иа заводе; есть верный и иастоящий паспорт.

Наташа внимательнио оглядела иедавиего бариина, с которым она пила чай в их буржуазиой столовой и делила ложе в безвкусной спальиой. Теперь перед ией был невзрачиый телеграфиый чиновиик, с маленькими черными усиками, в фуражке со зиачком, в несвежем костюме, в дымчатом пеисие иа черном шнурочке. Да, его иелегко узиать — только она может узиать Оленя под любой личиной.

Они разошлись, условившись о дие иовой встречи и о всех возможиых случайностях. Расставаясь, простились за руку. Прежние роли были сыграиы — и как будто от прежиих отношений ничего ие осталось.

«ЭКС»

Солдат-пехотиец, мирно стоявший на углу и козырявший офицерам, вдруг свистнул, бросился иа середину улицы и схватил под уздцы лошадей проезжавшей казенной повозки. Сидевший на повозке человек в форменной фуражке ударил кучера кулаком в спину и истошно крикнул:

— Гоии, черт!

Кучер хлестнул, лошади дернули, и повозка рванулась. Тогда солдат, отбежав в сторону, взмахнул рукой и сам бросился ничком иа мостовую. Страшным взрывом подбросило лошадей и опрокинуло с козел кучера и конвойного солдата. Двое других коивойных и человек в чиновничьей фуражке, оглушеиные взрывом и пораиеиные, клубками выкатились иа мостовую.

В ту же минуту к повозке подбежало несколько человек, один — в матросской форме, другой в отличиом городском костюме, еще иесколько в рабочих блузах, все с револьверами в руках. Двое срывали брезент и шарили, остальные обезоружили очумевших конвойных и оттеснили их от повозки. На мостовую вылетела большая кожаная сумка, за ней коваиый ящик, повисший иа длиниой цепи.

На улице было смятенье. По обе стороиы в домах вылетели стекла. Случайные прохожие разбегались, иесколько раиеных ползло по панели. Толпа убегавших иаталкивалась иа тех, кто бежал к месту происшествия, вдали свистели городовые.

Одии из возившихся около повозки крикнул:

— Олены! Ящик прикован!

Солдат, первым задержавший лошадей, скомандовал:

— Уиесите сумку! Теперь отойдите в сторону! У кого сиаряд? Разбить повозку!

Второй взрыв перевернул повозку, у которой оторвало и далеко отбросило колесо. Осколками дерева и железа убило одиого из конвойиых и ранило двоих нападавших. Чиновиик вырвался и с криком побежал по улице. Когда снова бросились к ящику, оказалось, что цепь по-прежиему держит его прикованным к железной обивке оторвавшихся козел.

Сумка по команде нсчезла. Один из участииков нападенння добежал с иею до угла, ворвался в иебольшую кондитерскую, швырнул ее сидевшей за столнком нарядно одетой даме н выбежал обратио.

Перед его входом дама пила молоко с пирожными и читала книжку. Услыхав первый взрыв, она вынула кошелек, положила на стол монету н ие проявила нн малейшей растеряиностн, пока хозяйка и прислуга в страхе метались по кондитерской. Когда молодой человек бросил сумку, дама подняла ее, с брезглнвой торопливостью завернула в широкий шарф н быстро вышла черным ходом во двор; отсюда прошла воротамн, толкнув стоявшего у калнткн мужчнну н сказав «пардон». У самых ворот лнхач едва сдерживал испуганную взрывами лошадь. Дама села в коляску, и кучер, нн о чем не спрашнвая, пустил лошадь.

На первом повороте лихачу прншлось задержаться, так как иавстречу летел отряд коиных жандармов. При нх прнближеинн дама выиула нз сумочки маленький револьвер с перламутровой рукояткой н прнкрыла его снятой перчаткой. Отряд промчался мимо, н лнхач тронулся дальше. Через минуту раздался новый взрыв, а спустя некоторое время донесся нздалн четвертый. Дама положила свою блестящую игрушку обратно в сумочку.

Топот лошадных копыт заставил нападавшнх бросить ящик. Был отдан приказ разбегаться, но теперь уже нелегко было это сделать. С одного конца улицы бежали небольшой толпой городовые и дворники, с другой приближался конный жандармский отряд. Из пятиадцатн участнников нападеиня только шестерым удалось прорваться н скрыться.

У остальных завязалась перестрелка с полнцией. На мостовой лежало иесколько убитых н раненых. В общей паинке было невозможно отличить участнников грабежа от случайно попавших в толпу прохожнх, которым теперь иекуда было скрыться, так как дворники ближайшнх домов захлопиули ворота и подъезды.

Когда нз переулка показался конный отряд, все в беспорядке бросилнсь в противоположную сторону. Олеиь, удержав за руку одного из товарнщей, потянул его в сторону коииых.

— Есть снаряды?

— Два.

— Один дай мне — н идем иапролом. Может быть, задержим.

Отбежав в разные стороны улицы, оии пошлн навстречу отряду. Первым бросил бомбу товарнщ, и Олень вндел, как передние лошади поднялись иа дыбы н три из них упали, давя раненых всадников. Ряды были разметаны, лошади не слушались, люди быстро спешивались и старались укрыться за крупами животных. Заднпй ряд жандармов повернул и помчался обратно в переулок.

«Трусы!» — подумал Олеиь.

Ои подходил медлеино, держа бомбу за спнной. Его солдатская форма отвлекла виимаиие. Он видел, как на товарища, бросившего бомбу, иапали два спешившнхся жандарма и зарубили его шашкамн. Слышал выстрелы н крики позади, где оста-

лись другие товарищи, помочь которым ои уже ие мог. Когда остатки отряда надвинулись на него, он схватился за грудь н упал на тротуаре, у самой стены дома, едва не выронив снаряд. Конные, стараясь сдерживать лошадей н со страхом озираясь, проехали мнмо. Тогда Олень вскочил и бросился бежать. Ои был уже далеко, когда услыхал за спиной лошадиный топот; его заметили. Только бы добежать до следующего угла, где есть проходной двор,— может быть, ворота ие заперты.

Но вот раздалось иесколько выстрелов: это в иего. Олеиь добежал до фоиарного столба и укрылся за ним. Два жаидарма, держа винтовки на прицеле, подскакали к иему. Тогда ои взметнул правой рукой и бросил снаряд под иоги лошадей.

Ои уже не оглядывался н ничего не слыхал позади: он был оглушен взрывами. Теперь он бежал с револьвером в руке, громко крича: «Держи, держи!» Несколько человек шарахнулось в сторону, люди впереди разбегалнсь. Наметив одного, спешно убегавшего, без шляпы, Олеиь устремился за ним, продолжая кричать. Он видел, как циклист [1], очевидно полицейский агент, повернул и тоже погнался за убегавшим прохожим, который споткнулся и упал. Циклист бросил велосипед и иавалился на лежащего. Олень подбежал и крикнул: «Держи его крепче!» Затем, схватив брошеиный велосипед, ои сел на него и умчался, неистово звоня. Агент и упавшнй прохожий были далеко.

Лнхач остановился у подъезда. Выиув кошелек, дама дала кучеру монету н тихо сказала:

— Слушайте, Морис, если Олень жив, скажнте ему, что я могу хранить сумку только до девяти вечера. Если за ией не явятся раньше, я отвезу ее сама на Васильевскнй остров.

Бородатый кучер приподнял шапку.

Дама отперла дверь своим ключом. Пройдя в комиату, оиа приподняла заслонку камина и сунула туда сумку, завернутую в шарф. В дверь постучалн.

— Войдите! Это вы, дядя?

— Я видел, как ты подъехала.

— Я очень устала. Если хотите — выпьем кофе или чаю. Я взяла билеты на завтрашиий концерт. Вы пойдете, дядя?

— Если возьмешь меня.

— Возьму, н охотио. Очеиь хочется послушать хорошую музыку. В Петербурге шумио, пыльно и удивнтельно скучно.

— Тебе, кажется, везде скучно.

— Мне? Напротив, я умею развлекаться. Но сегодня, действительно, я устала от уличного шума. Так как же, дядя, чаю илн кофе? Да вы еще ие брились? Вы опускаетесь, ваше превосходительство!

---

[1] От французского слова cycliste — велосипедист.

Девушка в синей шляпке робко позвонила.

— Можно видеть Евгению Константиновну?

— Как доложить?

Она не была подготовлена к такому вопросу: там, где она обычно бывала, никаких докладов не полагалось. Как сказать? Просто — Фаня? Или с фамилией? Или нужно сказать прислуге пароль?

— Скажите, что по делу... из магазина.

— Из какого магазина?

— Из шляпного.

Лучшего она не могла придумать: сама была похожа на модистку, а в руках ее была картонка. Ее попросили подождать в передней, потом проводили до комнаты Евгении Константиновны.

Обстановка не была ни парадной, ни богатой,— но Фане показалось, что она попала в необыкновенно блестящий дом: и зеркала, и ковры, и картины. Уж не ошиблась ли она? Но и адрес, и имя верны.

Они не были знакомы, и Евгения Константиновна не подала ей руки и не попросила садиться.

— Вас послали ко мне? Из какого магазина?

— Нет, я только так сказала, а я за сумкой.

Недоуменно поднятые брови:

— За какой сумкой?

Фаня смутилась: нужно было сказать не так, ведь учили же ее!

— С поклоном и за письмом.

Евгения Константиновна подала ей руку.

— А мы с вами не встречались. Вы, вероятно, Фаня?

— Да.

— Ну, так я вас знаю. Вы ведь настоящий герой!

Девушка удивилась.

— Может быть, вы меня с кем-нибудь спутали? Я ничего не делала.

— Вы жили в Финляндии?

— Да.

— Тогда не спутала; знаю, что вы много делали. А как ваше здоровье, Фаня? Вы были больны?

— Ничего, спасибо. Немножко хворала, теперь лучше. У меня слабые легкие.

Они были так несходны, и, казалось, между ними ничего не могло быть общего. А между тем — были тесно связаны их судьбы, и им могла грозить одна участь.

Евгения Константиновна достала из комнаты сумку и помогла Фане уложить ее в большой шляпный картон.

— Выдержит?

— Да, он крепкий. Я в нем уже носила тяжелое; он так сделан.

— Лучше бы иести без сумки, но я не зиаю, как ее открыть; вероятно, иадо взломать замок. И притом мие иекуда броснть эту сумку н невозможио уннчтожить. Вы, Фаня, зиаете, что тут?

— Нет. Мне только сказалн, чтобы взять у вас н доставнть. Верио, что-нибудь такое, как всегда?

Евгення Константиновна рассмеялась:

— Нет, не думаю. Тут, вероятио, бумажкн, которые могут быть опаснымн или очеиь прнятными, смотря по тому, что с ннми делать. Толчков оии не боятся, но поберегите их, потому что обошлись они очеиь дорого.

— О, я всегда осторожна! И больше ничего?

— Больше иичего.

Они простились, и Фаня унесла тяжелый картои. По привычке — несла бережно, как раньше носила диамит. Не зиала, что на полчаса она — богатый человек и что эту сумку можио обменять не на три сладких пирожка, а иа целую кучу брилнантов, роскошиых платьев, удивительных шляпок или даже на большой дом на Невском проспекте, на иесколько большнх доходных домов. Несла спокойно, ннногда трогая дно крепкого, обшитого холстом картона: хорошо ли оно держит?

По совету Евгении Коистантиновиы она взяла извозчика н отпустила его за две улицы до указаниого ей дома. Вовремя заметила, что картон все-такн, кажется, ие выдержнт: хорошо, что она такая вннмательная! Уже с трудом виесла его на четвертый этаж и сдала тому, кто ее послал. Ее не прнгласилн отдохнуть, только спросили, не заметила ли оиа за собой слежки. Нет, все было благополучно. «Вы — молодец, товарищ Фаня!» Оиа покраснела от удовольствия и ушла, спеша выполнить еще одио маленькое поручеине в другом конце города.

Что-то н еще было приятное... Да, это слова Евгеиии Константнновны: «Вы, Фаия, настоящий герой!» За что ее так любят н так хвалят? Конечно, она не герой, ио ведь все-такн участница великого ндейного дела. До снх пор оиа всегда справлялась со всеми поручениямн, которые ей доверяли. Зиачит — нужна, н, значит, есть в общем деле н ее доля, пусть самая маленькая!

Теперь ей пришлось ехать долго трамваем, с пересадкамн, потом нскать незиакомую квартиру в рабочем квартале, а иайдя — позвонить, спроснть Наташу н сказать ей, что «в девять вечера, где обычно». Передать непременно лично ей. И кажется, это та самая зиаменитая Наташа, о которой так много говорилн н которой Фаня еще не встречала. Совсем удивительная женщина, настоящий герой. Участница всех важиых актов и близкий друг того удивительного и неуловимого товарища, которого тщетно ищет вся полицня Петербурга. Передать непременио лнчио,— зиачит, оиа ее увидит!

Дом она нашла легко. Виизу, в подъезде, встретила какого-то мужчину неприятного вида, но все-таки поднялась н позвонила.

Дверь отперли, и она отпрянула, увидав человека в полицейской форме. Успела сказать:

— Ах, я, кажется, ошиблась! Здесь живет зубной врач?

— Входите, входите!

— Но, кажется, не здесь?

Она повернулась, чтобы уйти, но поднявшийся вслед за ней человек, которого она видела внизу, заступил ей дорогу:

— Тут не тут, а пожалуйте в квартиру. У нас зубных докторов сколько хочешь! Разом вылечат!

И ее втолкнули силой. Полицейский сказал штатскому:

— Кто ни попадет — все зубных врачей спрашивают! А тут на всей лестнице и доктора никакого нет.

— Это у них всегда — очень зубами болеют!

За маленьким невзрачным мышонком, легкомысленно сунувшим нос в ловушку, захлопнулась железная дверка.

И сердце маленького мышонка забилось сразу и страхом, и радостью. Страхом — потому, что кругом были грубые люди с шашками и кобурами револьверов и что счастье изменило мышонку и порученья она не выполнит,— и в то же время большая и настоящая радость: вот и ему, как всем большим и сильным, с которыми он работал в одном великом деле, довелось пострадать за идею и приобщиться к лику мучеников. Вот оно — начинается! Теперь нужно до конца быть стойким и твердым, действительно — настоящим героем! Себя не жалеть — но ни одним словом, ни жестом не выдавать других! Пусть бьют и мучают — ни словом, ни жестом!

Ее ввели в комнату, где сидел за столом, разбирая бумаги, толстый полуседой человек в форме, на вид сонный и равнодушный; тут же ее обыскали, грубо и цинично, чуть не вызвав на ее глаза слезы; но она, конечно, сдержалась, только отталкивала мужские руки своими худыми пальчиками.

Толстый сонно спросил:

— Ну, вы к кому пришли?

Она молчала.

— Спрашиваю — к кому вы пришли? Отвечать нужно! Фамилия ваша как?

И тогда она, сверкнув невыразительными и слишком добрыми глазами, как-то визгливо и слишком восторженно крикнула:

— Я не желаю отвечать!

На толстого это не произвело никакого впечатления:

— А не желаешь, так посиди там, со всей честной компанией.

И ее перевели в угловую комнату, где сидело несколько человек, видимо арестованных, мужчин и женщин. Двоих она узнала, но не показала вида, даже не кивнула. Села на стул с все еще пылающим лицом и вся сжалась.

При ее входе все замолчали; но когда введший ее городовой вышел и запер дверь, один из знакомых ей товарищей тихо спросил ее:

— Фаня, а вы-то как попали?
Она боязливо оглянулась.
— Тут все наши, не бойтесь. Вы зачем же пришли?
— Меня послали.
— К Наташе?
— Да. Она здесь?
Он покачал головой:
— Наташу увезли. И нас увезут. А вы что им сказали?
— Я отказалась отвечать.
Товарищ посмотрел на нее с легким удивленнем:
— Так. Ну, значит, и вас увезут. Крышка нам, Фаня.

ЛЮЛЬКА

Рядом в комнате заплакал ребенок, и Олень, проснувшись, привскочил с постели и схватил рукамн пустоту.

Кошмарный сон прервался и стал быстро уплывать из памятн. Болела голова, и занемела шея, вероятно, от тонкой и твердой подушки. Растерев шею рукой, Олень нашарил на табуретке папиросу, чиркнул спичкой н осветил нехитрое убранство маленькой комнаты: постель, столик и проволочную вешалку, на которой внсели шапка и полотенце.

Эту ночь он спал у знакомого рабочего на петербургской окраине; прошлую ночь — у состоятельного адвоката, гордого тем, что имеет смелость приютнть нелегального; впрочем, адвокат не знал, что этот нелегальный — опасный террорист, усиленно разыскиваемый полицией. Где придется провестн следующую ночь — еще нензвестно. Глупее всего было бы попасть случайно в облаву, как уже многие нз его группы попалн за последние недели.

Какой страшный разгром — н как раз в то время, когда нужно собрать все силы н когда опять в руках достаточно средств! Этн средства обошлись дорого: трое были убнты и семеро взятых казнено полевым судом. Пришлось броснть лабораторию, провалилась типографня, страшно затруднена связь с финляндской группой. Большой глупостью был съезд, на котором, несомненно, было несколько провокаторов. Затем ряд случайных арестов, затем нзвестие об аресте н казни Мориса, который уехал на юг н попался; н, наконец, последнее — арест Наташн. Самое тяжелое н самое непоправнмое. Со дня ареста о ней нет никаких нзвестий, это отчасти даже хорошо: значит, судить ее будут обычным военным, а не полевым судом; но конец один — ее жизнн не пощадят. Если бы можно было самым дерзким и самым отчаянным набегом освободить Наташу,— на это пошли бы многие товарищи. Или огромной суммой подкупить стражу... Но это, конечно, только мечты. Все-таки нужно разузнать о судьбе Наташи все, что узнать возможно.

Он очень любил Наташу: н как товарища, н как женщину. Верным товарнщем она была всегда, женщиной — только в ред-

кне дни сравнительного покоя, когда они жили вместе и были обязаны «играть роль». Эти дни ушли так далеко и отделены такой бездной волнений и событий, что Олень помнил в Наташе только ценного и близкого товарища в революционной работе. И вот теперь и ее, как уже многих, настигает смерть.

«Смерти, Олень, нет, есть только слово «смерть», а вопроса такого нет совсем. Есть слово «мысль», и я понимаю его, представляю себе, что это такое. Есть слово «смерть» — но я не понимаю его и не представляю себе. Я понимаю ощущение веревки на шее, сдавленного горла, красных и темных кругов в глазах — но это еще не смерть. Сердце перестанет работать, и я, вот такая, сегодняшняя, исчезну — но я буду жить в чем-то другом, телом и духом; может быть, мне удастся превратиться в зеленую травку весны девятьсот седьмого года... Или в свет электрической лампочки...»

Бедная Наташа! Ведь все это — слова, наивная философия! Бедная Наташа, так мало жившая!

Смерть есть, и сети ее кругом опутали Оленя. Вот уже год, как кровь и смерть цепляются за каждый его шаг. Московское восстание — и гибель сотни друзей, таких же, как он, молодых и верующих, и совсем иных, пожилых, семейных, серьезных рабочих, которые были вместе с ними. Потом — эти страшные минуты в подмосковном лесу, может быть, самые страшные в его жизни, когда он был вынужден застрелить связанных шпионов, стать палачом. Дальше — десятки убитых при взрыве особняка, и в их числе два славных парня, которых послал он и которым Наташа, накануне их смерти, внушала детскую теорию отрицания смерти. И опять — куча тел на улице и казни в застенке. И еще множество смертей, о которых он даже не знает подробностей, которых не может подсчитать. А Морис с его страшной судьбой? Морис, многими осужденный и еще не оправданный, даже смертью! Вероятно, его пытали те, у кого было достаточно причин его ненавидеть, надежды которых он не оправдал и служебную карьеру разрушил.

Кругом образовалась пустота: много смелых уже рассчиталнсь с жизнью, слабые разбежались в надежде скрыться и спастись. Главный план, ради которого принесено столько жертв и перейдена граница дозволенного чистому революционеру,— далек от осуществления; теперь есть средства, но не стало людей, и нужно все начинать сначала. И в то же время впервые Олень чувствовал, что в рядах его группы завелось предательство; кто-то в нее проник, выдал нескольких, вероятно, выдал Наташу и сумеет предать его. Круг сжимается, и откуда упадет удар — не угадаешь. Уже несколько раз Олень только чудом или своей необыкновенной ловкостью ускользал от ареста, как будто случайного. Меняя каждый день личину и ночлег, он чувствовал, что за ним идут по пятам и что малейшая оплошность и недоглядка приведут и его и все дело к гибели.

Опять заплакал ребенок. Скрипнула кровать, и было слышно, как мать качает люльку. Едва перестает качать — снова плачет

ребенок; и снова постукивают по половицам деревянные полозья качалки. В комнате очень холодно, до рассвета еще далеко.

Мужской голос спросил:

— Ты чего? Не спит все?

— Не спит. Блохи его, что ли, кусают.

— Покормила бы.

— Кормила. Не спит. Этак всю ночь просидишь и не поспишь. Ты бы хоть покачал.

Олень подумал: «Что же он и правда ей не поможет?» Потом вспомнил, что они оба, и отец и мать, работают на фабрике и должны вставать до света. Как же тогда с ребенком — оставляют? И как они могут иметь ребенка при таких условиях? Вот дать бы им денег...

Подумал — и понял, что это — стыдная мысль. Дать денег им, потом другим — ходить по домам, как благотворительная дама. Потом еще ограбить, убить — и опять раздавать деньги. Сделаться благородным разбойником из старых романов!

Всегда готовый бежать по первой тревоге, Олень спал не раздеваясь. Закурив новую папиросу, он встал и вышел в соседнюю комнату.

— Вы ложитесь, а я его покачаю.

Женщина не удивилась, только сказала:

— Зачем вам, я уж сама.

— Вам ведь спать нужно, потом на работу, а мне все равно не спится.

— Вот муж спит как колода. Покачал бы...

— Ему тоже рано работать. Вы не смущайтесь, ложитесь. Говорю — мне все равно не спать.

Она не спорила, отошла и легла. Олень сел на табурет у люльки и стал покачивать ребенка. Непривычно и как будто смешно. Попыхивал папиросой и думал: «Правду говорят, что все террористы немного сентиментальны. Вон Каляев не бросил в первый раз бомбу, так как Сергий ехал с женой. А дети в особняке? Кажется, девочке ампутировали ногу, а может быть, нарочно рассказывают. Нет, я не очень жалостлив!»

Папироса докуривалась, ребенок спал. В темноте и в холоде комнаты Оленю казалось, что это не люлька, а лодка на реке, осенью, в безвременье, а он — старый и усталый лодочник. У времени нет ни конца, ни начала, и ничего не было и не будет. В постели не спалось, а здесь его объяла дремота и незнакомый покой. Иногда его рука останавливалась, и ребенок сейчас же напоминал о себе плачем,— и тогда Олень опять ровно покачивал колыбель, ни о чем не думая, окружении смутными и неясными мирными образами: не то — детство, не то — покой могилы, манящее и бестревожное небытие. Только раз оправил затекшую ногу — и не заметил, как рука перестала двигаться и он задремал. Спал и ребенок. Рядом спали приютившие его люди, совсем ему чужие, хотя и знавшие, что укрывают у себя «товарища».

В пятом утра всех их пробудил фабричный гудок. Было еще темно. Очнувшись от своей глубокой дремоты, Олень задел люльку, вспомиил, где он, и тихонько ушел в соседнюю комиату.

АУТОДАФЕ

Каким образом случилось, что Александр Николаевнч Гладков, известный политический защитник, состоятельный барии и человек «крайннх левых убеждений», согласился похранить у себя огромную сумму денег,— он и сам не понимал. Согласился, потому что это было смелым и красивым жестом, а он любил смелые и красивые жесты.

В сущности — особениой опасиости не было. Прннес эти деньги молодой человек, безукоризиеиио одетый, личио Гладкову известный, через которого максималисты не раз передавали ему защиту свонх товарищей в общих и военных судах. Пришел клиент — вот и все; человек, по-видимому, достаточио осторожиый н осмотрительный, иначе ему не поручили бы такого дела. Прнтом Гладков решительным тоном ему заявил:

— Имейте в виду, мой дорогой, я ие знаю и не хочу зиать, что это за деньгн. Я зиаю вас и принимаю их на храиение от вас. И только на неделю, ие дольше. Так?

— Даже меиьше, дня иа три. Потом мы их переправим в другой город.

— Это уж ваше дело. Я ничего ие знаю! А сколько тут?

— Точио не подсчитали, но ие меиьше трехсот тысяч.

— Ого! Целое состояние! Расписки я вам, коиечио, дать ие могу.

— Я н не взял бы. Мы вам вернм.

— Надеюсь!

Когда молодой человек ушел, Гладков вспомнил, что ие договорился о том, как быть, если прииесший деньги не сможет за нимн вернуться или если случится виезапная опасность обыска. Хотя ои далеко не беден, но все-таки такой суммы, да еще наличными, у него не может быть.

А что, если иомера кредитных билетов где-нибудь помечены? Откуда эти деньги — ясно! Ои не спросил, ио догадаться нетрудно: ведь Петербург говорит о недавнем дерзком «эксе», стоившем жизни десятку людей!

Гладкову не раз случалось помогать революционерам — хранить нелегальную литературу и давать прнют нензвестным. Это всегда было сопряжено с иекоторым рнском, не очеиь большим, при его почтеином положенин в обществе н больших связях.

Во всяком случае, ои не трус! Сам вне всяких партий; его сочувствие н помощь революции выражается в выступлениях по политическим делам. Многих спас от смерти, многих спастн ие мог. Его знают, уважают, н сегодняшний визнт к нему —

лучшее доказательство безграничного к нему доверия. Никто бы не согласился — а он согласился.

Но как он все-таки согласился с такой легкостью! Ведь это, в сущности, соучастие в преступлении, которое карается смертью! А вдруг номера кредиток отмечены? Да и без этого — дело ясно!

Но позвольте! Ко мне приходит клиент и поручает мне сохранить его деньги. Я кладу их в несгораемый шкап, чтобы после внести на его имя в банк — вот и все!

А почему этот странный клиент сам не внес их в банк? И что это за случайный клиент с улицы, в портфеле которого триста тысяч рублей, как раз столько, сколько было на прошлой неделе ограблено при вооруженном нападении на Каменноостровской улице? Кому рассказывать такие басни!

Перед сном Гладков прошел в кабинет, запер на ключ дверь и вынул из несгораемого шкапа тяжелые, небрежно связанные пачки денег. Преобладали «петры», было немало «катенек», а в небольшой связке была даже мелочь: уголком торчал желтый рубль. Деньги были уложены плотно, и все-таки их была целая груда: пачки заняли весь письменный стол. При всем своем достатке Гладков никогда не видал сразу такой суммы. В большинстве бумажки подержанные, номера подряд не идут. Принесший их опустошил большой портфель и еще несколько пачек вынул из карманов.

Вдруг Гладков испуганно взглянул на окно: ведь окно завешано только тюлевой занавеской! По ту сторону улицы живут люди, и может случиться, что кто-нибудь смотрит в бинокль! Заслонив стол, он наскоро связал веревочками распавшиеся пачки и перенес их обратно в шкап. Игра опасная, и малейшая неосторожность...

Нервничать, конечно, глупо. Не следовало брать, а теперь уже поздно. Главное — время такое, что каждый человек независимо от его общественного положения, а особенно человек заведомо левых убеждений может ожидать случайного ночного обыска. Хотя почему бы могли ко мне прийти? Конечно — вздор! Не следует распускать нервы.

Он лег, вспомнил о непрочитанной статье в сегодняшней газете, прочитал ее, еще пробежал листочки и документы дела, по которому завтра выступает в суде, докурил папиросу и потушил свет. Сон поколебался, помедлил и опустился на сделавшего красивый и смелый жест либерального адвоката. Тикали часы, им отвечало ровное дыхание.

Он проснулся внезапно, среди полной ночи, не то от стука, не то от странного нервного потрясения — и дрожащей рукой зажег свет. Свет ударил в лицо и ослепил его. И с небывалой ясностью Гладков почувствовал, что нужно немедленно что-то сделать, принять какие-то спешные и решительные меры, иначе он — погиб.

Он едва попал ногами в туфли, набросил халат и вышел в свой деловой кабинет. Прежде всего он задернул тяжелые

гардины на окнах, чтобы не осталось ни щелочки. Затем вернулся в спальню за ключом от шкапа, принес его, отпер шкап — и увидал страшные пачки денег. Их вид его ие испугал, а скорее отрезвил: что, в сущности, случилось? В чем дело?

Не случилось ничего, ио всякий маломальский разумный человек поймет, что так оставить нельзя, что, во всяком случае, нужио приготовиться ко всякой иеожиданности. Дело идет о жизни и смерти, а идти на смерть без всякой попытки спастись, по меньше мере, глупо.

«Я, конечио, нервничаю, ио я, несомненно, прав: иужно быть ко всему готовым!»

Ои чувствовал, что его ноги дрожат и мысль работает слишком поспешио и как бы скачками. Значит ли это, что ои струсил?

«Допустим, что я струсил. И это ие позорио, а понятно: допущеиа безумная ошибка! Явится полиция, сделает обыск — и оправданий не может быть! Соучастие — и полевой суд! А чтобы не трусить, лучше всего принять все меры благоразумия. Все равио — заснуть не удастся».

На цыпочках, чтобы не разбудить прислуги, он вышел в коридор со спичкой, ие зажигая электричества, добрался до кухни, иашарил там охапку дров, приготовленных для русской печи, прииес в кабииет и по неопытиости долго возился, прежде чем растопить камии.

«В иаказание за легкомыслие, посижу здесь. По крайией мере, будет тепло, и живой огоиек!»

В комнате и без того было тепло, ио Гладков чувствовал себя зябко и тревожио. Ну — иервы так иервы! Это все от напряжеииой работы. Огонь мог успокоить. Кроме того, он знал, для чего затопил камии; это и означает, принять настоящие меры предосторожностн иа крайний случай.

Когда дрова ярко запылали, ои придвинул к камину кресло, протянул ноги к огню и попытался задремать. Но сои больше ие приходил, а нервиая дрожь не прекращалась. Чтобы уж совсем успокоиться, он вынул из шкапа пачки деиег и положил их на полу перед камином. В самом крайнем случае — деньги будут под рукой.

Ои постарался, с адвокатской обстоятельностью, обсудить все спокойио и разумио. Ошибка, коиечно, допущеиа: нельзя было впутываться в дело, само по себе безобразиое и кровавое. Это уже не революция, а просто — уличный разбой. Одно — защищать на суде, другое — помогать личным участием в преступлении. Семь человек повешеио! Завтра он заставит их взять обратно пачки деиег; кажется, адрес юиоши есть, во всяком случае, разыскать его можио. Отвезти деньги в баик и положить в сейф — невозможио; это было бы безумием!

Огонь камина бросал красный свет иа пачки. Деньги добыты кровью; убиты конвойные, убита часть нападавших, убиты полицейские чииы и случайные прохожие. Семь человек повешено! И еще казнят иескольких. В Петербурге обыски, аресты, об-

лавы, засады на частных квартнрах. Слава Богу — его квартнра вне подозрений, хотя... все возможно, потому что полнция потеряла голову н делает глупости.

Дрова в камнне допылалн, лежала груда горящих углей, н нужно было подбросить. Не то чтобы лень, а усталость мешала этому. Обогретый н немного успокоенный, он начал дремать.

И вот тут опять, с тою же внезапностью, среди сонных мыслей мелькнуло совершенно ясное н логическое соображенне:

«Да можно ли в том сомневаться, что этого юношу проследилн до самого дома! Прншел с полным портфелем н набнтымн карманамн, а вышел с пустым! Если его теперь арестовалн, а это почти наверное, н если он даже не сказал ни слова,— нет ни малейшего труда открыть, кому он передал деньги!»

И едва эта мысль оформилась н выплыла в своей бесспорности,— раздался стук. Почтн несомненно стучалн во входную дверь, хотя передняя была за несколько комнат. Почему не звонят? Потому что звонок проведен в комнату прислуги, его не слышно!

Все эти соображения мелькнули огненной линией, как летящие искры камина, н рассуждать теперь было уже поздно. Первую пачку он бросил неразвязанной, но спохватился вовремя, выхватил ее нз огия, распутал дрожащими рукамн н снова рассыпал по углям. Настойчнвый стук повторился — Бог его знает где.

Камнн снова ярко запылал. Выгибалнсь, чернелн н золотилнсь прочные «петры»; нные, прежде чем обуглиться, свивалнсь в трубочку, у других был внден насквозь весь рнсунок, даже буквы серни н номер. Он швырял деньги неловкимн рукамн н, не дав разгореться огию, бнл каминными щипцамн по страшным н улнчающим бумажкам.

Одна пачка не распалась, н огонь словно перелистывал бумажки, словно нарочно нх пересчитывал. Только бы успеть! Все еще стучат, значнт, прислуга не вышла отпереть. Нельзя терять ни минуты!

Лнхорадочно он продолжал работу. Жар камина обжигал лнцо н кудрявнл волоски на его руках. Стук давно прекратился, н он не заметил, что прошло уже не меньше четверти часа. Хуже всего было то, что пепел глушил огонь, а средн потухшнх углей могли завалиться несгоревшие куски бумажек. Русские кредитки печатаются в экспедицин заготовления государственных бумаг! Бумага прочная, она горнт нелегко, а краска только обугливается, но остается на пепле. Наши деньги счнтаются лучшимн! Тут любой сыщик догадается по кусочку пепла... Тяжело дыша, совсем обессилев, он тыкал щипцами н, наклоннвшись, старался раздуть пламя. Несколько бумажек еще в самом начале унесла в трубу каминная тяга — почтн целыми. Черт с ннми, только бы эти сгорели без остатка!

Он опомнился только тогда, когда все обратилось в серую кучу бумажного пепла, заглушившую угли, и в комнате запахло холодным дымом. Тогда он поднялся, схватился за голову: не

сошел лн ои с ума? Кругом было тихо, и возможно, что стук был случайностью, где-нибудь по соседству.

Но нужио было делать что-то дальше. Прнсев на корточки, он стал спешио выгребать пепел нз камииа в полу теплого халата. Натыкаясь на горячее, ои отдергивал руку — и опять совал ее в камин. Набрав дымящуюся кучу золы, он понес ее через спальню в уборную, неосторожио просыпая иа пол. Во всяком случае, если даже сейчас ие явятся, чтобы ие заметила прислуга! В два приема переиес в поле халата почтн весь пепел без остатка и с ним много мелких углей, от которых халат дымился. Спуская в уборной воду, прислонился к стеие, чувствуя, что силы исчерпаны. Все-таки догадался и смог еще раз пройтн в кухню, взять там половую щетку и иеуклюже подмести рассыпаиный пепел от камииа до уборной. Может быть, и плохо подмел, ио только бы не осталось явиой улики. Мог жечь старые дела — это его полное право. Успокоившись, можно будет еще раз подместн, уже начисто!

Когда все было окончеио, ои зажег в кабннете люстру и осмотрелся. Над камином было большое зеркало, а в зеркале совершеино иепохожий на иего, дикий, всклокоченный, перемазанный сажей н в прогоревшем халате — известный политический защитник Александр Николаевнч Гладков. И ие он — и все-такн он. Было бы приятнее, если бы все это было сиом.

Машннально пригладив грязнымн рукамн волосы, Гладков опустил голову и закрыл глаза. Когда открыл сиова — увидал на полу, рядом с брошеинымн каминиыми щипцами, затрепаиную желтую бумажку, тот самый рубль, который иезакоино затесался в славную и богатую компанню «петров» н «катенок». Те погибли, а он случайио выскользнул и уцелел.

Прижавшись к щипцам, желтый рубль не то чтобы с насмешкой, ио с иекоторой укоризиой посмотрел на крайиюю растеряниость лица и непозволительный беспорядок одежды защитника по политическим делам, ие раз оказывавшего существенную и важную помощь деятелям русской революции.

НИЩИЙ

Темнеть стало раио. Обычно Олень старался как можио меньше выходить до темноты нз своих временных пристанищ; ио иногда приходилось.

Прншлось н сегодня. В доме, где ои иочевал, утром предупредили его, что дворник обходил жильцов и спрашнвал, ие иочует ли кто постороиний, в доме ие прописаиный. Значит — нужно уходить, полиция кого-то разыскивает.

Поблагодарив хозяев за ночлег, Олень вышел, иахлобучив старую и заношенную меховую шапку, уткнулся подбородком в воротинк полушубка, осторожно осмотрелся и зашагал своим большим шагом.

Путь его лежал в центр столицы. Было два важных дела:

узнать новости по Наташиному делу и переодеться в хорошую шубу, чтобы часу в четвертом пойти на свидание с двумя из оставшихся товарищей и обсудить подробнее дальнейшую судьбу боевой группы; возможно все-таки, что удастся сплотить силы и подготовить плаи для будущего.

Было иеспокойно на душе Оленя. Все больше чувствовал, что силы подорваны и что иет в нем прежней остроты внимания, в его положении необходимой. Несколько раз, подойдя к витриие магазина, обертывался иазад — но ни разу не заметил, чтобы за ним следили; а уж его глаз был достаточно иаметаи. Часть пути проехал трамваем, слез в нелюдном месте, прошел пешком иесколько улиц и, прежде чем зайти в нужный дом, миновал его крыльцо и вернулся. Сам думал: кажется, я слишком осторожничаю, так можио и пересолнть! В окне был условиый знак: детская игрушка на подокоиинке, плюшевый медвежонок, видный и через двойные зимние рамы. Значит — все благополучно.

Зашел, позвонил, сжимая в кармане рукоятку револьвера. Ему отпер товарищ, давно его поджидавший.

Новостей о Наташе не оказалось — обещали только к вечеру. Все, что до сих пор было известно, не оставляло много утешенья; по-видимому, нет сомненья, что ее будут судить за участие в деле взрыва. Во всяком случае, оиа опознана, да вряд ли и сама скрывала свое имя. Следствие может затянуться, так как к тому же делу привлечены еще несколько товарищей, имевших к нему лишь самое отдаленное отношенне. Здесь, в этой квартире, Оленю лучше не бывать. Хотя явиого наблюдения нет, но какая-то опасность просто чувствуется в воздухе, как это бывает часто и так же часто оправдывается.

Опять с предосторожиостями вышел Олень, теперь уже одетый большим барнием, в хорошей шубе и глубокнх ботах. Отмахнувшись от зазываний извозчиков, пошел пешком с Петербургской стороны по направлению к Троицкому мосту. После ночи, проведениой почти без сна — и уже ие первой такой ночи,— ему было нужно движенье. День был морозный, и под ногами поскрипывал недавний, еще не убранный сиег. Близ моста его охватил резкий ветер, и Оленю, закутанному в меховую шубу, это было только приятно. Отросшие за месяц усы заиндевели, нией связывал ресницы и щекотал глаза. Олень решил не брать извозчика и дойти пешком до Моховой. В этой шубе трудно его узнать, да и маловероятна случайная встреча.

Миновав мост, он почувствовал внезапное беспокойство, словио бы его кто-то догоняет или поджидает впереди. Ои знал это ощущение человека, привыкшего отовсюду ждать опасности. Это — иервы. Стоит им поддаться — и погибнешь. Тогда в каждой стоящей на пути человеческой фигуре будет мерещиться полицейский филер, в каждом догоняющем извозчике — погоия. Так можио наделать глупостей и самому выдать себя неосторожным поступком.

На углу Моховой и Сергиевской, неподалеку от дома, куда лежал его путь, Олень опять почувствовал приступ беспокой-

ства. На перекрестке, спиной сюда, стоял городовой, разговаривая со штатским. Тут же, около поджидавшнх санок, прыгал с иоги на ногу и хлопал рукавнцамн замерзшнй лихач. Впередн, у стены дома, протягивал к прохожему руку дрожащий нищнй с подвязаиной щекой. Все было обычно н не могло внушать опасений. Ничего не было подозрительного и в том, что к стоявшему лихачу подкатил другой, н из саиок вышли два человека: один расплачнвался, другой его ждал. Когда Олень проходил мимо, нищий протянул к нему руку:

— Милостивый барин...

Олень миновал нищего, но остаиовился, нашарил в кармане моиету, вернулся н подошел к старику. Одновременно к нищему быстро прнблизились двое подъехавших. Мельком взглянув на них, Олень виезапио понял, что сейчас что-то пронзойдет н что эти люди здесь не случайно. Увидал, что человек, разговаривавшнй с городовым, также бежит сюда. Быстро переложнв монету в левую руку, Олень протянул ее ннщему, а правую руку сунул в карман, где был револьвер.

Одно мгиовение должно было решнть его судьбу. На лицах подбежавших какая-то нерешительность — только бы ие выдать себя волнением! Вот если этот подымет руки...

Вдруг Олень покачнулся: нищий, крепко схватив его за руку, дернул к себе. Еще чья-то рука впилась в правый рукав его шубы. Одиовременно двое подбежавшнх охватили его рукамн и старались отиять револьвер.

Пытаясь вырваться, Олень нажал курок. Он еще видел, как от стены, в которую ударила пуля, отвалился кусок штукатурки. Затем сильный удар по внску лишил его на мннуту сознаиия. Когда он очнулся, его двнженння былн связаны: револьвера ие было, н напрягшиеся мышцы напрасио рвали за спиной цепь железных наручников. Он слышал взволнованный говор людей, его арестовавших, видел их раскрасневшиеся лица н уже ие пытался сопротивляться. В его голове, нывшей от удара, внезапио родилась н во всей ясностн стояла мысль: «Вот это и есть конец!»

Когда Оленя усаживали в санки лихача, он болезиенно улыбался и нскал глазами шапку, без которой голове было холодно. До него будто нздали доносились слова одного из сыщиков, который возбужденно н восторженно тараторнл:

— Я, брат, тоже сомневался! Думаю: он ли, не он ли? А как он повернулся да дернул щекой — ну, братец мой! Тут я н навалился!

— Ты навалился! Оба сразу навалились!

— Я н говорю — оба! А Мышкнн по внску! А то бы и не сладить!

На узких саиках кое-как прнмостились двое по обе стороны Оленя н еще одии на козлах с кучером. Затем резкий морозный ветер от быстрого двнжения защипал нос н щеки Оленя. Шуба иа грудн была распахнута, хотелось потереть замерзшие щеки, но руки были связаны за спиной. Какое счастлнвое н радостиое

лнцо у агента, сидящего иа козлах лицом сюда! И какое все-таки противиое! Все это, однако, пустяки, а верно и несомиенио одио: вот нменио это и есть — конец!

И Олень, локтями оттолкиув державших его сыщиков, вдохнул полной грудью морозный воздух.

СОВЕЩАНЬЕ

В редакции толстого журиала происходило совещанье по поводу блнжайшей статьи «внутреииего обозревателя». Статья должна быть так написана, чтобы факты, в ней рассказанные, были заимствованы из ежедневиой прессы со ссылкамн на иомера газет, лучше всего на «Правительственный вестник», иа «Новое время» и на другие реакциоиные органы. А как эти факты осторожно осветить — об этом н совещались ближайшне сотрудники журиала.

Их было человек восемь. К ним ие принадлежал, по малости своего журнальиого участня, отец Яков, сидевший скромно в сторонке за маленьким столом, завалеиным бумажками и газетнымн вырезками.

Дела отца Якова шли плохо. Опять понизился интерес к этиографнн, к быту раскольников, к архитектуре поволжскнх сельских церковок н вятскому кустарному музею. Опять откладывались любовио составленные заметочки отца Якова, так как газеты завалены обязательным политическим материалом. В таких случаях отец Яков ие брезговал никакой выпавшей работой: сообщал о ремонте мостов, о перелете птиц, о пожаре в отдаленном монастыре. Случалась в редакциях больших нзданнй статистическая работишка — н ее не отвергал отец Яков.

Так и сейчас ему дали целый ворох вырезок н выписок для подсчета н сводкн. И вот на большом разграфленном листе бумагн он писал столбнки цифр, подытоживал н отмечал особо: «За год, с 17 октября 1905 года: убнто по политическим мотнвам 7331, раиено 9660, а всего... В том числе обывателей — 13 380, представителей власти — 3611...»

17 октября — дата начала российских свобод, день манифеста. С него как бы ведется нсчисление времени новой — не то коистнтуционной, не то все еще самодержавиой Росснн. Отцу Якову поручеио собрать и подсчитать сведения столичных и провннциальных газет о политических убийствах, о казнях, а также о закрытии цензурным ведомством и администрацией газет н журналов. А раз поручено — он добросовестно выполняет за небольшое вознаграждеине.

«Внутренний обозреватель», волнуясь н захлебываясь, доказывал:

— Вы понимаете, я ие могу пройти мимо фактов. А раз мы прнведем статистику, мы должны ясно выразнть н иаше отношение к репрессиям правнтельства!

— И к террору.

— Ну да, и к террору. Мы готовы осудить политические убийства, в особенности в той безумной форме...

— Не в той форме, а вообще!

— Да, и вообще.

— Тогда, значит, мы отрицаем право народа на сопротивление? Право революции?

— Да нет же! Я говорю: мы строго осудим выступления террористов, особенно вооруженный грабеж, хотя бы и казенных, денег, но мы обсудим и правительственные репрессии, военные и полевые суды...

Редактор перебил:

— Ну нет, знаете, об этом сейчас писать невозможно. Заикнетесь о полевых судах — и нас немедленно прихлопнут.

— Но должны же мы отозваться?

— Отозваться — да, конечно, осторожно, и очень осторожно, но прямое осуждение...

— Не осуждение, а несогласие!

— Вашего согласия, батенька, никто не спрашивает.

Прислушиваясь одним ухом, отец Яков продолжал свою работу. Теперь шла сводка казненных, «из них повешено 215, расстреляно судами военными обыкновенными — 340, судами военно-полевыми за полтора месяца их существования — 221, убито карательными отрядами...».

Совещание пришло, в общем, к выводу, что статья необходима и что обозреватель должен ясно высказать и подчеркнуть принципиальное осуждение террористических актов при наличии народного представительства в России...

— Прибавьте: хотя бы и несовершенного типа.

— Да, конечно. Должна быть все-таки оговорка о безответственности власти.

Редактор опять вмешался:

— Ни-ни! О безответственности ни слова! Нас на этот счет предупреждали.

— Главное — подойти к предмету издали. В начале статьи что-нибудь о росте кооперации и рабочих организациях, а уж потом...

— Да, да, это я знаю, уж будьте покойны! Затем, осуждая акты революционного насилия, то есть принципиально их осуждая, мы в то же время считаем ненормальным тот порядок...

— Лучше: мы считаем, что именно неправомерность действий власти и вызывает...

— Не было бы слишком резко!

— Уж будьте покойны! Это я сумею сказать так, что придраться будет невозможно.

Опять редактор:

— Ну, придраться они ко всему сумеют. А вы, главное, ссылайтесь на статьи московских газет, там цензура полегче. И непременно вставьте, что это, мол, не наше суждение, а вот точно, в кавычках... Цитат побольше, а мы как бы в стороне.

Читатель сам разберется... И закоичите чем-нибудь опять незначительным.

— Я думаю — вопросом о распадении крестьяиской общины и о сравнительной легкости перехода к хуторскому хозяйству.

— Но, конечно, в порядке естественного экономического развития, а не в принудительном, а то примут за одобрение.

— Это я скажу.

— Но только — ради Бога, осторожиее! Я, господа, понимаю, что статья необходима, ио на рожон лезть ие следует. Главное — резкое осуждение красного террора, чтобы в этом отношении придирки ие было. Да, господа, между прочим, есть слух, что убит и второй усмиритель, из этих, из карательных! Все-таки — молодцы эсеры!

— Кажется, не эсеры убили.

— Ну, все равно. Все-таки действуют, несмотря ни на какие полевые суды.

Совещание закончилось, и отец Яков передал обозревателю готовую страничку цифр.

— Вот спасибо, отец Яков! Это все?

— Еще подсчитаю репрессии печати.

— Ну, это не для меня, это отдельно печатается. А цифры ужасные, отец Яков!

— Печально, печально.

— Вы как на это дело смотрите, отец Яков?

— Я — что, мое дело подсчитывать. Религия же, все коиечно, осуждает всякое смертоубийство.

— А если злодея убивают?

— Суждение относительное, у Бога же и злодей — человек.

— Вы в Бога-то верите, отец Яков?

— Будучи Его служителем, не веровать неуместно.

— А все-таки, по чистой совести?

— Без веры не проживешь, знать же нам дано не миогое.

«Хитрый поп»,— подумал обозреватель и прибавил со вздохом:

— В тяжелое время мы живем, отец Яков, в кровавое время!

— Время, точно, не легкое. А и все времена нелегки. И кровь всегда лилась, и люди всегда были недовольны. Уж так с испокон веков и до дней наших. Время наше, конечно, сурьезное, однако и прелюбопытное. Прошли не малый путь, а к чему идем — того не знаем.

— Ну, пойду писать, уж очень статья ответствениая.

— Статеечка вам предстоит трудная. А читатель ждет, поджидает читатель искрениего слова.

Обозреватель покосился на собеседника и опять подумал: то ли хитер поп, а может быть, и глуповат.

Чериовик статистической сводки остался у отца Якова: можно будет приложить к летописи достопамятных событий текущего года. Время воистину тяжкое и тревожное! Ныне и на улицу

выйти ие всегда безопасно: попадешь на шальную стрельбу, как было с прохожими иа Камениоостровской улице! И в провинции малым лучше, а уж про деревню и говорить иечего. Вот оиа, цифирька: «Аграриых волиеиий одна тысяча шестьсот двадцать девять»! И в каждом таком месте либо драли, либо стреляли православиого гражданиа во имя справедливости и порядка!

И однако, тяиет отца Якова прокатиться подале от столицы, заглянуть в глушь — как там живут люди? Побывать в Пошехонье, в каком-нибудь Усть-Сысольске, а то заглянуть иа Соловки по зимиему времени,— там еще никогда ие бывал отец Яков. Как сейчас в сих медвежьих углах — вот что лю-бо-пытио! Тоже мечтатели или живут все по-прежиему, добро ие приемля и злу не противясь?

Укладывая бумажечки в свой пухлый портфель, отец Яков подумал и о совещании, иа котором в стороике присутствовал. Подумал и скромио улыбнулся в ус:

«Прииципиальио, говорит, отрицаем; однако, говорит, полагаем... Статьи писать — дело иелегкое, дело ответственное. И чтобы все сказать — и придраться бы не к чему. Все бы поияли, а мне бы по шее ие получилось. Это ие то что про ассирийского серебра блюда или про курганы Пермского края! Требуется и благорассудочиость, и великое искусство пера!»

Не то чтобы отец Яков завидовал такому искусству, а все же чувствовал разницу между людьми высокой политики и им, простым иаблюдателем жизни, бесхитростным свидетелем истории.

«Прииципиальио, говорит, весьма резко отрицаем, а иельзя, говорит, ие призиаться... Лю-бо-пытио!»

СМЕРТЬ ОЛЕНЯ

Молодой помощник воеииого прокурора получил приказание выступить по делу вчера арестованиого участника миогих террористических актов. Заседание военно-полевого суда состоится в четыре часа дня; иа изучение дела и подготовку обвииеиия остается пять часов.

Молодой офицер уже дважды выступал по подобным делам, оба раза успешио, ио личиость обвиияемых ие представляла иитереса: одии был рабочим, другой евреем. Помощник прокурора спешио подготовил обвинительные речи, ио перед самым заседанием председатель суда предупредил его, что дело совершеиио ясно и что никаких «прений сторон» ие может быть. И действительио, оба раза суд продолжался ие более полутора часов. В ту же иочь обоих осужденных повесили.

И иа этот раз дело ие меиее ясио, ио личиость преступника зиачительиее; ои — главный организатор весьма иашумевших злодеяний: взрыва министерского особняка и вооруженного ограбления. Если военный прокурор не выступает по этим делам

личио, а поручил обвииение ему, то это объясняется, очевидио, особым к иему расположением. Возможно, что его назиачеиие явилось результатом влиятельиого ходатайства о ием родствеиицы прокурора, которая, значит, не забыла своего обещаиия. Теперь его имя, как обвиинителя по весьма важиому делу, будет иазваио в воеиных кругах.

Содержаиие дела не очень интересовало молодого офицера: все подробиости дела чрезвычайно просты, а преступники из числа так иазываемых революционеров облегчают роль обвинителя дерзким, ио похвальным сознанием. Департамент полиции заготовляет весьма сжатый и вполне разработанный доклад, свидетелей бывает мало, и они прекрасно подготовлены предшествовавшими полицейскими допросами, защита чисто формальиа, и исход дела тем самым предрешен. Роль прокурора ие в том, чтобы подбирать доказательства виновиости, а лишь в том, чтобы дать образец простоты, лакоиичности и в то же время уничтожающей силы иастоящего, вполне делового военного красиоречия. Хотя иа этот раз председатель может оказаться щедрее и согласиться иа обстоятельную речь,— ио именно поэтому следует удержаться от всякого увлечеиия и проявить чеканную скупость слова.

Изучение дела действительио не заняло много времени, и помощник военного прокурора, сделав нужные выписки и пометки, имел возможность вернуться домой, чтобы закусить и обдумать речь.

Нужно ли повторять в ней данные полицейского дознания и судебного следствия? Коиечио — ие нужно! Должны ли быть в ией эффекты вроде ссылки на количество жертв преступления, на его исключительную дерзость и на социальную опасность преступника? Да, ио лишь в форме краткой и отчетливой характеристики злодея. Что еще? Больше решительио ничего! Спокойный и четкий перечень статей и параграфов закона и — без малейшего повышения голоса! — требование смертиой казии. Десять минут, максимум четверть часа! Полная застегнутость чувств, никакого волнения, решительный контраст возможной чувствительиости этих строевых полковников, случайно попавших в судьи. Но под простотой и суровостью филигранная чекаика слова!

Свои первые обвинительные речи помощник прокурора предварительно писал. Но этот раз ои решил ограничиться записью схемы предстоящего краткого слова:

1. Несомиеиность деяния и причастиости к иему обвиняемого.
2. Исключительиость даиных преступлений.
3. Настойчивые требования момеита защиты государствеииого порядка.
4. На основании изложеиных соображений, а также имея в виду статьи (тут цифры и пункты)...
5. Требование примеиения («долг военных судей» и пр.).

С бумажкой в руках помощник воеииого прокурора произиес свою предстоящую речь перед большим зеркалом, в кото-

ром поблескивали его здоровые белые зубы. Были запинки, но при повторном опыте исчезли. Даже статьи и параграфы он произнес наизусть. Последнюю фразу речи повторил несколько раз, причем так, чтобы ни один мускул лица не дрогнул, а брови, после точки, слегка насупились. Вышло эффектно: просто и хорошо. «К смертной казни через повешение». Точка. Брови (но без всякой театральности!). Обвинитель, не сгибаясь в талии, спокойно опускается на прокурорское кресло.

Сегодняшний день можно считать началом доброй карьеры!

Спиной к двери камеры, с прикладом винтовки у ноги, часовой смотрел через пустой пролет тюремного корпуса на противоположный балкон, где так же спиной к двери камеры стоял его приятель по взводу и земляк. Иногда они оба бессмысленно перемигивались и, удерживая смех, строили друг другу рожи, предварительно оглядевшись, не видит ли взводный или тюремный сторож. Тюрьма была на военном положении.

Олень лежал на койке, закрыв глаза, но не спал. С момента, когда он понял, что «вот это и есть — конец!», на него снизошел странный покой. Как будто он на койке больничной, освобожденный недугом от обязанностей думать, рассчитывать, работать, суетиться; и будет еще проще и спокойнее. Даже досады не чувствовал, что ведь вот — попался, и так просто и глупо: все равно это должно было случиться. Когда захлопнулась и защелкнулась дверь тюремной одиночки, Олень перестал дергать щекой и все время проводил в полудремоте. День спутался с ночью, и новый рассвет подошел незаметно. Через дверную форточку подали в камеру какую-то похлебку; он принял, попробовал есть, но не было ни вкуса, ни желанья. Поел только хлеба.

Ночью его дважды водили в контору тюрьмы. Допроса, собственно, не было, потому что он отказался отвечать. В первый раз ему пригрозили веревкой, но он только устало улыбнулся, и следователь понял, что смешно угрожать человеку, который знает, что ничто не может его спасти. Во второй раз его показали целому ряду людей, прошедших мимо него тенями; яснее мелькнуло только испуганное лицо горничной Маши, остальных он не знал или не помнил.

Лежа на койке, Олень не думал ни о близкой смерти, ни о том, что не завершено дело, которому он отдал жизнь. Да и может ли оно завершиться? Не есть ли жизнь — вечная борьба двух начал, борьба поколений и веков? И конца этой борьбе не может быть. Не думал он и о том, как держать себя на суде. Раньше, еще на свободе, он думал об этом часто. Боец революции должен держаться стойко, красиво и дерзко: бросить в лицо судьям свое презрение и свою ненависть к строю, которому они служат! А в момент расчета с жизнью — крикнуть свое проклятие миру и приветствие заре будущего! Так казалось. Теперь Олень отверг это без раздумий: кого поражать словом? Зачем этот театральный жест в последнюю минуту? Но и если

н было бы нужно — он слишком устал н слишком со всем н со всеми поквитался. Но н это все было не строем ясных мыслей, а лишь слабымн ощущениямн, проходившнмн мнмо, мелькнувшими смутно н серо.

Его вызвали в пятом часу дня, когда уже стемнело. Опять надели наручники, а велн его четверо солдат с молодыми н тупымн лицамн. Когда ввели в небольшую комнату, где заседал военно-полевой суд, Олень на минуту очнулся от апатнн н со вниманием оглядел людей, которые вот сейчас прговорят его к смерти. Но секретарь таким невнятным голосом, путая ударения н неверно пронзнося фамилин, читал обвннительный акт, что временное возбужденне Оленя упало. Сам того не сознавая, он прнстально уставился на одного нз судей, седоусого полковника, н не сводил с него глаз до конца заседания. На вопросы председателя он отвечал негромко н односложно н только прн упоминанин чужих фамилий прислушивался внимательнее, но сейчас же снова терял нить. В общем, все его дело было нзложено довольно правильно, хотя несколько усложнено наивными полицейскимн догадкамн; в действнтельностн было гораздо проще. Оленя только удивило, как мало, в сущностн, они знают н как много вынуждены прнсочинять. Затем он совсем перестал слушать н не оживился даже при допросе немиогих свидетелей.

Как нн старательно молодой помощнпк прокурора подготовил свою краткую речь, но все же не мог удержаться от соблазна вставить в нее несколько эффектных слов. Председатель посмотрел на него с удивлением, а седоусый полковник даже поморщился. Но закончил обвнннтель так, как решил заранее: поставил точку, опустил бровн н сел, не согнувшись в талин. Вышло, в общем, хорошо.

Затем вынесли прговор, вполне удовлетворнвший обвнненне. Звякнули шпоры, прговоренного увели, н помощник прокурора, с тем же нзученнем солидным спокойствнем, собрав бумаги, встал н подошел к секретарю:

— Куда вы отсюда? Если домой — я вас подвезу.

Но секретарь должен был немного задержаться, н молодой обвинитель уехал один. Было темно, н никто нз встречных не мог оценить спокойную позу н чуточку надмениую, но уверенную н прнятную улыбку офнцера, ехавшего домой после этого несложного, но все же заметного процесса, о котором в воениой среде будут говорить. В газетах отчета, конечно, не будет, так как оглашать состав суда не разрешается.

Приговоры военно-полевого суда нсполнялись немедленно; но все-таки прншлось выждать ночи, н Оленя увели обратно в камеру.

Когда опять за ним прншлн, он крепко спал. На этот раз наручников не наделн. На тюремном дворе все было готово. Всего одна лампочка, внсевшая у тюремной стены, освещала внселицу; в полумраке хлопотало несколько человеческнх фи-

гур, поодаль стояли солдаты с винтовками и маленький, щуплый, озябший дежурный офицер.

Было очень холодно. Оленя вывели во двор в штанах и рубашке без воротника. Ему указали место, где нужно стать; он стал прямо, по-военному развернув носки. Оказалось, что забыли мешок, и за ним послали. Все это делалось хлопотливо, но как-то по-семейному; двое придерживали его за локти, но слабо, будто опасаясь причинить ему боль, и в лицо ему не смотрели. Мешок долго не приносили, и Олень сказал:

— Нельзя ли поскорее, без этого, а то очень уж холодно?

Люди заспешили и зашептались, а голос за спиной Оленя пронзнес: «Ладно, чего ж там!» — и перед лицом Оленя качнулась петля. Увидав ее, он вздрогнул, дернул щекой, затем без порывистости, но очень уверенно освободил правую руку и отвел ею руку палача. Лишь на секунду в голове его мелькнули слова, которые он должен, кажется, крикнуть им всем перед смертью,— мелькнули и потухли в сознании как лишние. Повернувшись к стоявшему за его спиной, он сказал вежливо и строго:

— Не нужно! Дайте, я сам!

Твердая веревка холодом ожгла его шею; но он не знал, нужно ли и как подтянуть узел, и с улыбкой смущения спросил:

— Как это? Вот так?

И тогда внезапно взметнулось черное небо — и тусклая лампочка вспыхнула ослепительным солнцем.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПОБЕГ

«НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!»

С крыльца, немного сутулясь, но за перила не держась, спустился крупный, ширококостный старик с большой бородой и нависшими седыми бровями. По-мужицки — прежде всего оглядел небо, слишком хмурое для летнего дня, по-хозяйски — палкой отбросил с дорожки кость, занесенную собакой, по-барски — раскрыл книжечку на заложенной странице и, читая, побрел в глубь сада на любимую скамейку.

Был ранний час, когда людских голосов еще не слышно, а птицы и пичуги орут как на базаре. Дойдя до скамейки, старик грузно на нее опустился — и сейчас же понял, что побыть одному не придется и что есть человек, вставший раньше его. Сам этот человек, может быть, не подойдет, но уж раз он мотается поблизости, то как не позвать его и с ним не поговорить?

Очень давно жизнь сложилась так, что быть одному удается

редко: приходится запираться в комнате и либо писать, либо делать вид, что пишешь; а как только вышел — становишься общим достоянием: жена, дети, секретарь, гостн и разные прнходящие люди, с которымн иадобно разговаривать, то выслушивая, то поучая. Все, что они расскажут, до них рассказывали сотни; все, о чем спросят, известио зараиее. Не ответить нм нельзя, потому что они приходят за ответом издалека, иногда трепетно, иногда назойливо, то действительно из потребностн, то нз простого и очень обидного любопытства. Эти люди и беседы с ннми — повинность Великого Учителя, каким прославили старика на весь мир.

Молодой человек, который слонялся неподалеку, будто бы стараясь не помешать и остаться незамеченным, а в действительностн рассчитывая нечаянно попасться на глаза,— секретарь старика. Секретарь — это человек, который пишет н отсылает пнсьма н должен заменять старнку память. При нем всегда записная книжка, и в этой киижке ои отмечает всякий вздор, никому не нужный и смешной: отмечает каждый шаг н каждое слово старнка. Вот и сейчас, вероятио, пометил: «В среду такого-то числа великий писатель встал в шесть с половиной н проследовал в сад». Вечный ласковый, преданный н глупый надзор, сплошная прнжизненная бнография, неустанное иапомиинание о том, что вот ты, старнк, скоро умрешь, н тогда мы личными воспоминаниями украсим твою память. И поделать с этим ничего нельзя: как, ие обидев, объяснишь, что такая любовь (если это любовь!) — насилне?

Заложив пальцем страницу, старик подозвал секретаря. И из первых слов, из ответа молодого человека, почему он в саду в такой ранний час,— понял, что тому иадо в чем-то покаяться или что-то рассказать, а как приступить — не знает.

Сам навел на разговор — а у того уже готово в кармане.

— Это — человеческий докумеит, письмо, написанное одной девушкой в тюрьме перед казнью. Я знаю ее лично, с детства. Наша, рязанская.

— И убили ее?

— Ей казнь замеиеиа вечной каторгой.

— Вы дайте, я после прочитаю.

— И особенно удивительно, что она прннимала близкое участне в подготовке убнйства н даже нескольких убийств, а сама — ведь я ее зиаю хорошо, с детства! — сама хороший и очень чуткий, даже нежный человек. Мы ее очень любили, звали Натулей. Заботливая о других, к людям снисходительная, к себе очень строгая. Как это бывает — не знаю!

Старается побыстрее н побольше высказать. Старик слушает, смотрит ему в глаза и видит ясно, что вот человек — н скорбит о ее судьбе, н как-то особенно рад, что знал ее лично; н свою скорбь н радость свою должен непременно поведать, держать про себя не может. И ждет, чтобы старый писатель н учитель высказал свое слово,— как это случается, что человек и чуток, и нежен, н идет на убнйство? Если выска-

зать слово, ои, едва отойдя, запишет, чтобы именно через него дошло до потомства, потом, когда умрет старик, сейчас сидящий с ним на лавочке.

— А где же оиа сейчас?

— В Москве, в каторжиой тюрьме.

— Такая молодая. Тяжело ей там?

— И вообще тяжело, и плохо их содержат. Она писала на волю, что ииой раз так хочется есть, что даже тошно делается.

Старик сказал:

— Вот это — самое плохое. Но если в ией много внутренних сил — она выдержит испытаиие. Письмо я прочту. Вот я как раз сегодия, как встал, записал у себя в дневнике: «Когда ты встретишь жесткий камеиь и будешь его рубить, это будет неразумио; а если ты будешь об него точить, это будет разумио».

Потом прибавил:

— В доме-то встают. Вы бы шли пить чай, а я подойду.

Молодой секретарь ушел и, задержавшись у крыльца, записал в киижечку фразу, сказаиную о камне великим учителем. Особенно важно то, что этой фразы еще никто не слыхал, а когда будет опубликоваи дневиик — смысл этой фразы, как будто и ие особеиио зиачительиой, ио сказанной Великим Учителем и уже тем самым замечательиой, лучше всех растолкует он, слышавший ее из уст Учителя, с которым ои имел сегодня, в среду, длинный разговор наедине в саду ранним утром, когда все еще спали. И молодой человек был очень счастлив.

Оставшись один, старик развернул тщательно переписанное письмо. Сначала пробежал глазами, потом прочитал все внимательио, иные места по два раза. Читал ие как все, а видел тюремную камеру и в ией молоденькую девушку, не умную, ие глупую, очень иесчастную. Оиа пишет накануне ужасиой смерти, а живучесть в ией такова, что она все старается сказать покрасивее, выразить по-учеиому, чтобы ее друзья дивовались ее поистиие изумительиому состоянию. Пишет искреине, всему верит, и пишет она правду, ио правду здешнюю, житейскую, иебольшую. Если бы ие спасалась мыслью, что ее писанье прочитают другие, то должна бы кричать и биться головой об стол и о стены тюрьмы. А оиа ие бьется и ищет в себе радость — и иаходит радость, может быть, и иастоящую. Рада, что вот оиа может так чувствовать и так писать перед смертью и что об этом узнают и будут говорить.

Окончив читать, старик задумался. И подлинно — человеческий документ! Вот что делают люди и что делают с людьми! Правда спуталась с ложью, и сам человек, даже в тягчайший час жизни, ие может разобраться, где его ложь и где его правда, и в которой его спасенье, и есть ли спасенье. Потом подумал: принесут с почты газету — и опять то же! Дня ие проходит, чтобы ие было казией. То убивают молодых людей,

вот как эта девушка, то стреляют и вешают по деревням крестьян. Вчера писали, что на Стрельбицком поле в Херсоне повешены двадцать крестьян за разбойное нападение на усадьбу помещика. И нашлись руки, тоже крестьянские, чтобы накинуть эти двадцать веревок на человеческие шеи! А люди читают и молчат. И не только молчат, а притерпелись, привыкли. Прочитавши эти строчки — легко переходят к другим печатным известиям. А ведь нужно бы голосом кричать на весь мир, потому что нельзя жить с таким сознанием!

Подумал — и вдруг со всей ясностью ощутил знакомое состояние, когда мысли, уже облеченные в готовые слова, бунтуют и требуют быть сказанными сейчас же, не откладывая, пока в них кипит сила и пока их сталь остра и жар не остыл. Если он не скажет — кто же скажет? Сказать могли бы, и осмелились бы,— но никто их голоса не услышит, и самых их пламенных строк нигде не напечатают. Только он, старик, и может и обязан крикнуть, и невозможно, чтобы его слово пропало напрасно!

Что бы ни сказать — он знал, что его не тронут, и такая неприкосновенность была ему тяжела. Вот если бы его посадили в тюрьму, в хорошую, настоящую тюрьму, вонючую, холодную и голодную! Тогда и сказанное слово прозвучало бы громче и сильнее! Но за его писанья пострадают другие, кто будет печатать и кто будет читать,— а его оставят жить спокойно. Это тоже род пытки, утонченной и жестокой. И через это ему приходилось часто молчать, чтобы не стать виновником чужих несчастий.

И тогда к уже готовым мыслям и написанным в уме горячим, справедливым и убедительным словам большими и отчетливыми буквами прибавился заголовок:

«Не могу молчать!»

Больше не слыша в саду человеческих голосов, опять слетелись птицы и пичуги и опять открыли базар. Солнце пробуравило облака, распахнуло листву — и на садовую дорожку упали светлые пятна.

Старый писатель заложил книгу страницами письма, оперся на палку и встал с лавочки.

БАНОЧКА ВАРЕНЬЯ

Будучи в Рязани, отец Яков счел и должным и любопытным навестить почтенного и уважаемого местного доктора Сергея Павловича Калымова, о несчастии которого только тут и узнал.

А несчастье большое: дочка Сергея Павловича еще три года тому назад попалась в делах политических, так что даже была приговорена к смерти, долго прождала в тюрьме казни, а потом была помилована — если можно назвать милостью бессрочную каторгу.

Таких семейных несчастий было повсюду много, и о них

устали думать и говорить. Привыкли к тюрьмам и к казням как к явлению бытовому и естественному, нмеи ие помнили, геронзм окончательио вышел из моды.

За последние два года блуждания по России отец Яков всюду иаходил разительные против прежнего перемены: то ли огрубели человеческие сердца, то ли дуют иные ветры! Нет прежней доверчивости и простоты, люди стараются сами устроиться получше, о ближних ие помышляя. Впрочем, бывало так и раньше, и удивительиого в тем ничего иет. Однако раньше человек от человека розиился,— ныне же все как бы стрижены под одну гребенку! И не то чтобы по слабости или в духовном борении, а увереиио, открыто н как бы ликуя, что вот — от всяких благоглупостей н идей завиральиых освободился и живу в свое удовольствие, другим же предоставляю ломать дурака.

Сергей Павлович, зиакомый иеблизкий, ио давний, был уже довольио стар, а теперь совсем ослабел. Раньше считался ие то что опасным либералом, а все же человеком передовым, за что н был нзбраи от Рязани в Государствеииый совет. Сейчас был вие политики, мало занимался и своей врачебиой практикой, больше жил в имении. Отца Якова ои встретил очень приветливо, как человека, с которым можно обо всем поговорить, который умеет слушать и не любнт болтать.

— Года три ие бывали в иаших краях, батюшка!

— Для точности скажу — четыре года, как вашим городком ие любовался.

— Все катаетесь, отец Яков? Все смотрите?

— Езжу по малым делам и, подлинно, смотрю. Есть иыие что поглядеть в российских городах и весях. А и в столицы заглядывал, и даже живал неподолгу. Живут люди н там.

— Про мое горе слыхали, отец Яков?

— Раиее, по совести, ие зиал, только здесь и услыхал. Большое вам, Сергей Павлович, ннспослаио нспытание. Ну, Бог поможет, образуется.

— Как же это образуется? Ведь дочка в бессрочной каторге, и то из милости.

— Слыхал, слыхал и искреино соболезную.

— А за что это мне, батюшка? Сам я революцию не проповедовал, детей старался воспитывать по мере средств, в свободе их ие стеснял, да вот и дождался иа свою седую голову. За что осуждена — зиаете ли?

— Слыхал, что по политике.

— А по какой политике? По участию в убийствах! Питерский взрыв помните, покушение на министра?

— Да ведь как ие помнить! Перед самым событием деиька за два самолично был там иа приеме, удостоился.

— Вот оиа, зиачит, и вас могла взорвать. И меия могла убить, оин хотели весь Государствеиный совет на воздух.

Отец Яков припомнил, как видел в совете молодую чету и как дама была похожа иа докторову дочку. Но промолчал.

— За что же мне это, отец Яков? Как у вас там на этот счет в Священных писаниях?

— Испытание.

— Покорно благодарю. А за что? Я, как узнал, вернуть не хотел. Вы моей Натули не знали. Воспитана была в ласке и в цветущем здоровье. Девочка была нежная и добрая — мухи не обижала. Маленькой плакала трое суток, когда задавили ее щеночка. Гимназисткой была — перестала есть мясо: не убий! Был у них такой кружок, вроде толстовского. Как же это так могло случиться? А я вам скажу, отец Яков: это ее увлекли, а ей самой всякое насилие чуждо.

— Возможно, возможно.

— Не возможно, а наверное так. Нужно тех наказывать, кто ее вовлек в преступные дела!

— Без наказания не останутся.

— Я, батюшка, писал и все объяснял. И на высочайшее имя подал. А она мне знаете что сказала, когда меня пустили к ней в тюрьму на свидание? «Мне,— говорит,— очень тяжело, что я тебе доставила столько страданий; но,— говорит,— я ни в чем не раскаиваюсь и прошу тебя не позорить никакими прошениями мою революционную честь!» Поняли? Это я опозорил ее честь!

— По молодости лет, Сергей Павлович. Молодой задор говорит.

Сергей Павлович как-то сразу переменил тон:

— Знаю, отец Яков. Сам был молод, знаю. И сказать по чистой совести — горжусь! И скорблю, и горжусь, что моя дочь — другим не чета. Сама за себя ответила и ничьей милости не хочет.

Отец Яков не знал, нужно ли и тут поддакнуть или лучше промолчать. Ограничился словами:

— Ну, Бог даст — пройдет тяжелая полоса, и в политике полегчает. Может, будет амнистия или нечто подобное.

— Нет, батюшка, тут не амнистия, а нужно хорошенькую революцию!

Отец Яков кашлянул и не ответил. Трудненько беседовать с такими людьми, хотя и весьма почтенными. Разумеется — скорбь говорит в человеке! Чтобы продлить беседу, поинтересовался:

— А где же содержат теперь молодую особу?

— Какую особу?

— Разумею — дочку вашу.

— А, Натулю! Она сидит в Москве, в женской каторжной тюрьме. Сейчас там, а верно, потом увезут куда-нибудь в Сибирь, в настоящую каторгу, неизвестно.

В памяти порывшись, отец Яков сказал:

— Той тюрьмы начальницу знавал. Особа почтенная, из знатных. Ранее имела девичий приют, каковой и осматривал, так что довелось побеседовать. Было тому назад лет шесть, а ныне стала начальницей.

— Везде у вас знакомства, отец Яков. А нельзя ли вот по вашему знакомству передать Натуле посылку, баночку вишне-

вого варенья? Она очень любила вишиевое, без косточек. Писем мы с ней ие пишем, да и не о чем, а варенье послал бы. Вы отсюда в Москву?

— Обязательио. Ныне четверг, а ко вторнику в Москве. Могу и вареньице передать, если разрешают.

— Это разрешают свободно. Просто — сдайте в контору, тут и иачальница ие нужна. А почтой послать — еще пропадет.

— Могу, могу.

Нельзя в такой малости отказать огорченному отцу, хотя и ие любил отец Яков соприкасаться с опасными учреждениями. Но ведь что ж: отец посылает дочери сладкое через духовную особу; ничего подозрительного.

Калымов предложил отцу Якову заиочевать. Устроил его хорошо, в бывшей комнате Наташи.

— Вот здесь жила. Вои и книжки ее остались в шкапу, детские и разиые учебники. Храию. А вы, батюшка, на сон грядущий в постели читаете?

— Сей привычки не имел от рождения.

— Ну, а я все-таки дам вам прочитать письмо Натули. Писаио ее приятелям, а мне дали копию. Писала, когда ждала казнн. Вот вы людей изучаете, вам это должно быть интересным. Сам Лев Толстой читал, ему показывали. Прочитавши, будто бы прослезился. Вот и я, когда читал, ревел голосом, а понять ничего ие мог. Тут бы с ума сойти иадо — а оиа пишет философию. Такая у меня дочь, отец Яков! Вы иепременно прочитайте.

— Прочитаю, прочитаю. И за доверие покорио благодарю.

— Тут, в ее комнате, и прочтете. А и плохо же мие, отец Яков! Стар стаиовлюсь, а утешенья нет. Ну да что же грусть разводить. Сейчас принесу письмо, а завтра вериете.

Отец Яков с сомнением думал:

«Человек почтенный и истинно страждущий, однако — малопонятный. С одной стороны, скорбь о потере любимого дитяти, а с другой стороны, странные слова о гордости. Гордиться-то словио бы и нечем, а скорее сожалеть, что вышла иеудача в правильном воспитании. Несчастье же великое».

Прежде чем раздеться и лечь, отец Яков присел к столику, вынул очки, разгладил на столе исписанные листочки, подумал о том, что в этой самой комнате и жила девица, письмецо писавшая, а ныне в тюрьме, и, сокрушенно головой покачав, принялся за чтенне.

ПИСЬМО ПЕРЕД КАЗНЬЮ [1]

«Из далекого туманиого будущего смерть превратилась в вопрос нескольких дней и вырисовывается очень ясио, в виде обтянутой вокруг шеи веревки... Тот смутный страх, порой даже ужас,

[1] В этой главе — отрывки подлинного документа. (*Примеч. авт.*)

который я испытала перед смертью, когда она была за сто верст, теперь, когда она за пять шагов, совершенно исчез. Появилось любопытство к ней и подчас даже чувство удовлетворения от сознания, что вот скоро... скоро... я узнаю величайшую тайну».

Миновало только двадцать первое лето ее жизни, когда военный суд постановил прекратить эту жизнь «смертной казнью через повешение». Из залы суда конвойные доставили Наташу Калымову обратно в камеру Петропавловской крепости, где она несколько месяцев ждала и этого суда, и этого приговора.

Она чувствовала крайнее утомление, за которым не могло последовать ни отдыха, ни сна. Отдыху мешали внутренний холод и легкое головокружение. Невозможно было перестать думать, хотя теперь думать было больше не о чем. Было невозможно и резкое движение, потому что оно могло нарушить напряженность минуты и вызвать испуг, ужас, бурю слез, что-то несообразное с важностью переживаемого. Ухо, выслушавшее приговор, продолжало прислушиваться, точно вот сейчас раздастся спокойный голос, который скажет: «Ну, пора прекратить эту комедию! Иди домой и забудь о пустяках!» Шаги за дверью камеры означали: «Сейчас, подожди минуту — и все разъяснится». Сквозь оконную решетку проникал самый обыкновенный предвечерний свет, при котором еще можно читать, но гораздо лучше выйти и прогуляться по набережной Петербурга, полюбоваться на закат и силуэты зданий. На двадцать втором году жизни умереть — невозможно! Умирают старики и больные, и это естественно, хотя жаль и их.

Загрохотал дверной ключ, она сжалась и едва могла повернуть голову. К ней впустили защитника, единственного человека, который то сидел против нее на тюремном табурете, то оказывался на улице и у себя дома, среди свободных людей, как бы уничтожая легенду о непроницаемости тюремных стен и об отрезанном мире. Поэтому его приход всегда волновал. Теперь сам защитник был взволнован не меньше ее: у него был вид врача, который вынужден сознаться, что нужно решаться на смертельно опасную операцию. Защитник принес для подписи готовую бумагу — прошение на высочайшее имя.

Когда он ласково подсунул ей под руку лист и подал свое перо — торжественность минуты исчезла, и занавес снова поднялся: комедия продолжается! Опять нет настоящей Наташи, слишком молодой и здоровой, чтобы готовиться к смерти,— и опять выходит на сцену известная артистка Наталья Калымова, выступавшая и в предыдущем акте. Теперь, по тексту комедии, полагается отказ приговоренной к смерти подать прошение о помиловании. Роли обоих отлично известны: он должен ласково убеждать, она — гордо отталкивать бумагу и перо. Весь зрительный зал замер в ожидании ее слов. И она говорит:

— Никогда! Я этого не подпишу!

— Милая, да ведь это только формальность!

Не меняя тоиа, иастойчиво и твердо оиа повторяет:

— Никогда! Пусть вешают!

Ои был увереи, что оиа откажется, и, жалея ее со всей искрениостью, ои мыслеиио уже рассказывал своим зиакомым и ее друзьям, как резко и решительио оиа отвергла всякую мысль об обращении к высшей власти. Ои вообще гордился своей клиенткой.

Уходя, ои сказал, что придет еще раз завтра днем и приесет текст кассациоииой жалобы. Поводов серьезиых иет, ио нужно затянуть дело, а тем времеием... Надежда есть, прецеденты были... Ее отец хлопочет, и приговор может быть смягчеи.

Оиа сказала, что иапишет письмо друзьям и завтра ему передаст. Ои оставил ей иесколько листов превосходной белой и плотной бумаги, и оиа приготовилась писать. Оиа ие дала занавесу опуститься,— ииаче в полутемной камере заметалась бы в смертельиой тоске молодая рязаиская девушка, приговоренная к смерти. Сейчас иад листами бумаги склонилась голова героини, стойкой террористки, которая расстается с жизнью без страха и с улыбкой.

«Величайшая тайна», которая возбуждает в ней любопытство,— коиечио, только бодрая шутка. Сейчас оиа объяснит.

«Разумеется, ни в какие «будущие жизни» я не верю и зиаю, что, когда я задохнусь от иедостатка кислорода и сердце перестанет работать,— мое «я» исчезиет навсегда. Но эта увереииость в полном исчезновении почему-то совершенно меия ие пугает. Не потому ли, что я ие могу ясио себе этого представить? И все мои размышления о смерти иикак ие идут дальше ощущения веревки иа шее, сдавлеииого горла и темиых кругов в глазах».

Оиа пишет ие только спокойно, но и внимательио подыскивая выражения, зачеркивая иеудачные слова, замеияя их другими, подправляя иеясио иаписанные буквы и ставя многоточие там, где мысль иесколько задерживается или не договаривается. Оиа ие выдумывает ощущений, а списывает их с портрета сидящей за тюремиым столиком революциоииой героини, весь облик которой ей очень нравится и ее чарует. Оиа видит ее со стороны и боится невериым словом иарушить цельиость и красоту ее образа, его простоту и привлекательиость, а главное — его подлиииость. Оиа ие может отделаться от частого повторения слов «смерть», «сдавленное горло», «веревка»,— ио и эти слова, которые мурашками заползают под череп спрятавшейся девушки Наташи,— звучат совершенио ииаче в письме той, которая сидит иа аваисцеие перед публикой, замершей в ожидании финальиой сцены. Ужасиейшим словам оиа возвращает их простое житейское зиачение,— и достигает этого легким усилием своей освобождеиной от предрассудков воли. И вот это изумительиое ощущение свободы — нужио иепремеиио им рассказать и выразить ясио,— как ясио это слагается в ее душе.

«Новые, странные и удивительно хорошие ощущения я переживаю здесь, в этой большой полутемной камере. Господствующее ощущение — это всепоглощающее чувство какой-то особенной внутренней свободы. Эх, это очень трудно объяснить! Чувство так сильно, что, внимая ему, ликует каждый атом моего тела, и я испытываю огромное счастье жизни. Так странно сознавать, что именно в эти минуты ко мне вернулось давнее детское чувство жизнерадостности,— и вот она вновь во мне струится, как алая горячая кровь моего сердца, которая делает его живым, гибким, ликующим!»

Она вскакивает с табурета, эта бедная девушка, очарованная чувствами своей героини, и взволнованно шагает по камере. Да, именно — счастье и жизнерадостность! И ни малейшего страха! Они, эти палачи, думали, что она будет биться головой об стол и истерически рыдать,— а она улыбается светлой улыбкой и, любя жизнь, приветствует смерть! С улыбкой она подходит к страшному сооружению, светлым взглядом дарит и палачей, и весь мир, с которым она прощается,— и с той же улыбкой уходит в вечность, полная любопытства и полная любви к солнечному лучу, к каждой далекой звезде и каждой глупой мошке! Да, именно это испытывает она перед смертью,— как это чудесно и необыкновенно и как это легко и просто!

Она опять садится за письмо к друзьям и долго пишет, выбирая самые красивые слова и любуясь удачными оборотами, то ясными и решительными, то нарочито туманными, иногда шутливыми, почти кокетливыми. И она видит, как ее друзья, подавленные ее судьбой, читают это письмо с чувством благоговения перед ней, познавшей, пережившей, победившей и просветленной.

Она искренна до конца — и в то время, как подлинная Наташа Калымова, осужденная на казнь, объятая ужасом и жалостью к себе, забилась в темный угол камеры и лишилась сознания,— ее двойник, ее прекрасная героиня, ее идеал ровным почерком, строка за строкой исписывает листы адвокатской бумаги. Это уже не письмо, это — философская поэма, документ, который непременно должен войти в историю и который ненужной пышностью и красивостью слов и безумием несознанной лжи, чудовищной, святой и кощунственной, когда-нибудь исказит для историков образ простой, здоровой и искренней рязанской девушки, запутавшейся в сетях жизни...

ДЕНЬ ОТЦА ЯКОВА

Прямо с вокзала отец Яков пошел на Первую Мещанскую в надежде остановиться и провести два-три дня, а не будет неловкостью — и неделю у старого знакомого, букиниста и мелкого издателя Петра Хвастунова, владельца лавочки лубочных изданий у Ильинских ворот. Были в Москве и иные знаком-

ства — много знакомств, но отец Яков охотнее пользовался гостеприимством людей простых и прнятных, не больших господ н не барствующих; и поговорить с нимн проще, и обязаться им легче, и не приходится притворствовать, отмалчиваясь на их шуточкн и улыбаясь покровительственным замечаниям.

Петра Петровича Хвастунова отец Яков знал давно, еще когда тот был офеней н бродил с коробом лнстовок и цветных лубочных картин московского нзготовления. Позже офеня стал оседлым мелким книготорговцем, открыл в Моске ларек, затем маленькую лавочку н мог бы выйтн в люди, если бы в жизни был удачливее. Но ему не везло, н время от временн его начннавшееся благополучне рушилось: то нес немалый убыток нз-за нзлншней доверчивости, то терпел от собственного риска — нздавал кннжечку с неудачным титлом, н она не шла ни оптом, ни в розннцу. Не повезло ему н в семейной жнзнн: едва женившнсь — овдовел, и осталась на руках дочка. Больше не женился н двадцать лет провозился со своей крохотной лавочкой, покупая и продавая книжки, а нзредка пытаясь выйтн в издателн.

Его дружба с отцом Яковом укрепилась в дни японской войны, когда Петр Хвастунов сделал ладное дело, нздав по совету отца Якова н при деятельной его помощн несколько ходовых лнстовок — о Японин, о Корее, о русских военачальниках на Дальнем Востоке, а особенно ходко пошел яркий лубок, изображавшнй «Макарова под водой»: лежат на дне морском адмирал, офнцеры, матросы, пушки, а над поверхностью бушующего моря летают белые ангелы в простынях и с цветками лилнн. Картина очень понравилась, оптовикн бралн ее нарасхват н прозвали «хвастуновской». Разошлась во многих тысячах, и ннкто, конечно, не знал, что текст к картнне, в отчаянных стнхах, писал запрещенный поп Яков Кампннский.

К этому старому книжнику и другу н направился отец Яков после годичного отсутствня из Москвы. А придя к нему пешком с недавно отстроенного Рязанского вокзала, узнал новость: Петр Петрович Хвастунов ранней весной прнказал долго жнть, оставив дочку, пятьдесят рублей налнчнымн, немного дешевого книжного товара и добрую о себе память у соседей на Первой Мещанской. Что было — ушло на похороны, но зато не осталось и долгов.

Эту печальную новость сообщила отцу Якову соседка Катернна Тнмофеевна, прнютившая дочь Хвастунова Анюту, девушку простую, трудолюбнвую, но непристроенную. Конечно — лучшим нсходом было бы ей выйти замуж; но она не только была беспрнданннцей, а н не блистала красотой: так себе, девушка как девушка, немного восторженная, так как прочитала целую кучу кннжек нз отцовского товара, тоненькнх повестей н романов о благородных разбойннках н о маркизах, говорящих пышнымн словами о высоких чувствах. Катерина Тнмофеевна временно устроила Анюту у себя, не то прнемной дочкой, не то прнслугой, н хоть не очень тяготилась ею, а по душевной

простоте хотела для нее лучшей участи. Сама живя на маленькую пенсию, хорошо содержать девушку ие могла.

Обо всем этом, после первых ахов и вздохов, было подробно доложено старому другу покойного и почетному гостю. Отец Яков был вдвойне огорчен новостью: и жаль приятеля, и не оправдался расчет на отдых после долгого пути. Поэтому, посидев часок, обещал зайти завтра же, а пока побрел устраивать себе на день-два иной ласковый приют.

Назавтра действительно явился, и тогда, позвав еще двух соседок, устроили род семейного совета: как быть дальше с Аютой? Пока нет в виду хорошего жениха, найти ей постоянное место: либо к детям, либо вроде скромной службы. Отец Яков обещал постараться и поспрошать добрых знакомых. Хорошо, что Аюта и читает, и пишет, была в двухклассном и способна к рукоделью: что-нибудь да наладится. И первым делом отец Яков попробует замолвить словечко одной из своих московских покровительниц по приютским делам.

Его угостили чаем с ватрушками и проводили надеждами и благословениями. Он и сам растрогался:

— Покойника, Петра Петровича, я знавал смолоду. Прекрасный был человек и справедливый. Полагал его за лучшего друга и неоднократно пользовался его гостеприимством. Так что уж это как бы мой долг перед его памятью,— а свет не без добрых людей. Похлопочем, похлопочем.

С вечера вынул из чемодана и развесил расправиться лиловую рясу — выходной костюм по просительным делам. Рясе то ли семь, то ли все десять лет, а еще служит за новую и парадную. Великое дело — аккуратность!

Затем по списочку перебрал адреса знакомых почтенных домов, куда можно будет заглянуть без опасения плохого приема. В одном месте не удастся — в другом будет больше удачи. Адресков много, все дело во времени. А в двери стучаться — привычно и незазорно.

Так порешив, отец Яков сел за работу: написать заметку о бабушке-сказительнице, которую встретил в своих недавних блуждáниях по северным губерниям: на случай, что какая-нибудь газетка согласится предать тиснению. Было бы это очень полезно, потому что издержался отец Яков до крайности, а по долгу обязываться чужим людям он не любил и стеснялся.

«И времена сейчас не те! Раньше люди были и проще, и приветливее. Ныне же улыбаться улыбаются, а смотрят словно бы косо. Убыло в людях простосердечия. Каждый стал жить для самого себя, о ближнем помышляя мало. Главное — нет прежней простоты, что вот пришел человек навестить, пообедал и заночевал. Ныне это считается неудобным, и хороший обычай выводится, особенно в столице. И жить все хотят по-европейски, и даже одеваться стали чище и парадней».

Это замечание — об изменении натуры русского городского человека — отец Яков внес в свой дневник и объяснил так:

«Наблюдается разочарование человека в достижении высоких

идеалов, каковыми увлекались тому иазад три года, и, однако, коичилось поражением надежд и тайных мечтаний. В особеииости следует сказать о молодежи обоего пола, как о том свидетельствует даже изящная литература, подстрекающая к соблазиам плоти, чего раньше в подобной степени ие примечалось, а также случаи юных самоубийств. Иные объясияют политической реакцией, обвииияя в сем правящие классы. Сам судить ие берусь и лишь выражу иадежду, что даиное явлеиие скоропреходяще».

ДВЕНАДЦАТЬ

Камера иомер восемь московской жеиской каторжиой тюрьмы отведеиа осужденным по делам политическим; это — тюремиая аристократия: двеиадцать девушек и женщии, из них старшей иет тридцати лет. С иими вместе посажена только одна уголовиая арестаитка, так как при ией двое детей.

Двеиадцать молодых женщии безмерио опасиы для государства, в котором сто семьдесят миллиоиов жителей. Все оии ие только мечтали об измеиеиии в этом государстве политического строя, ио и пытались добиться этого личным участием в перевороте. Если иекоторых из них продержать в каторжиой тюрьме до старости, а других — всю жизнь, то государство может спастись и его политический строй остаться иеизмеииым.

Коиечно, было бы еще проще их убить, как и было поступлеио со миогими другими. Но правосудие великого и просвещеииого государства полио тонких оттенков. Сотии учеиых юристов и чиновных мудрецов разработали и применили к жизии лестницу преступлений и наказаний. Так, иапример, девушка Надя Протасьева, которая неудачно стреляла в полковника, удачно расстрелявшего сотню бунтовавших крестьян, может быть обезврежеиа и исправлеиа в десять лет. Ее подруга, Верочка Улаиова, худая и иекрасивая, осуждеииая за хранеиие взрывчатых веществ в квартире родителей (а эти вещества полагается храиить в особых казеиных складах), одумается в какие-иибудь восемь лет. На исправлеиие двадцатилетией Наташи Калымовой (теперь ей уже двадцать три), участницы взрыва министерского особняка, иет иикаких надежд; если оиа проживет еще полвека и семидесятилетией старухой появится на воле, государство может в тот же миг взлететь иа воздух; поэтому ее заключение бессрочио. Иное — девица Елена, молодая восторжеииость и жертвенность которой потухнут ровио через пятиадцать зим. И мудрое правосудие поделило между ними эти сроки.

Ни одиа из осуждеиных ие отрицала иа суде своей виины; иапротив, все они с дерзкой откровеииостью объясняли суду мотивы своих преступлений, не высказав ни малейшего раскаяиия. Но мудрое правосудие ие может руководиться одним

созианием обвиняемых. Поэтому иад обосиованием преступиости их воли поработало иемало иарода: тысячи чиновников полиции в обстоятельиых докладах, подтверждеиных миожеством документов и показаний, осветили деятельиость Нади, Наташи, Сони и их сообщников и сообщниц. Сотни секретарей заготовили бумажки для подписи десяткам начальников отделов; пришлось побеспокоить важных особ, высокие учреждеиия гражданского и воеиного ведомств; пришлось содержать иа окладах целую бригаду специалистов по шпиоиажу, жаидармов и тайиых агеитов виутреииего и иаружного наблюдения, людей предаиных, продажиых, образованиых, полуграмотиых, умиых, идиотов, воздержаниых, пьяниц, честных, получестных и явных иегодяев. Когда, иакоиец, были найдеиы, схвачены и посажены в тюрьму Надя, Верочка, Наташа, Оля и их однолетки, решение их дальнейшей участи было поручено седоусым полковиикам и армейским офицерам, долгое время обучавшимся обращению с оружием для охраиы и защиты границ страны. Руководясь статьями закоиов и томами к иим комментариев, а сверх того соображениями личной карьеры и прямым устным приказом высших иачальств, этот суровый военный люд выиес резолюцию об уничтожении или обезврежении иеприятеля: Соиь, Елеи, Наташ и Верочек. Отряды конвойных солдат, убеждеиные, что им препоручеиы отвратительные и развратные женщиины, отвели страшных преступниц обратио в тюрьму и сдали отрядам сторожей, смотрителей и исполиителей.

Камеиные стены тюрьмы были воздвигнуты не зря, а по планам, выработаиным лучшими зиатоками пеиитенциарной системы, при которой строгость к преступнику сочетается с высшим милосердием и гарантирует государству — покой, а самим осуждеиным иа вечное заключение — возможно длительиую жизнь. Захлопнуты двери, защелкнуты замки, правосудие торжествует, порок уличеи и наказаи, шестая часть света может спать спокойио, потому что все это проделаио ие как-иибудь, а со всеми гарантиями закоииости и судебиой справедливости.

Она бы и спала спокойио, если бы за время всей этой суматохи у полковника, подписавшего приговор, и у путиловского рабочего, прочитавшего о суде в газетах, ие народились и не подросли ребята — мальчики и девочки, Гриши, Алеши, Пети, Нади, Лели и Наташи, с которыми тоже предстоит возня и родителям, и охранителям государствениости и правосудия. Идут годы, смеияются люди иа высоких постах и иа ареиах преступиости, ускореииая тюремная смертиость с избытком покрывается рождаемостью в благополучиой страие — и место свято ие бывает пусто.

В мягких туфлях иачальница тюрьмы идет по коридору мимо камер; так же мягко ступая, за иею следует дежурная надзирательница. Время от времени едва слышио щелкает двериой глазок.

В дни свобод, теперь уже отдалившиеся, когда осмелевшая печать громила власть за тюремные непорядки, с полным убеждением, что образцовые тюрьмы делают честь культурному государству,— была сделана попытка вручить начальствование над видными столичными тюрьмами людям почтеннум н уважаемым, которым одинаково могут верить н власть, и общество. Таких точно людей, правда, не нашлось, но смена лиц все-таки произошла. Именно тогда н для каторжной женской тюрьмы удалось найтн подходящую солидную начальницу, женщину в годах, но еще не развалину, с очень сомнительным прошлым, но зато с отличной польской дворянской фамилией. Долгим опытом было установлено, что если сыны остзейского баронства проявляют отличные качества усмирителей н карателей, то представители польского панства незаменимы на постах полицейских и охранительных.

Новая начальница оказалась хозяйственной н распорядительной, даже с немалым навыком, так как раньше она держала пансион для девиц. С пансионом вышли крупные неприятности, заинтересовавшие полицию. Откупнвшись от излишнего внимания полицейских чинов, хозяйка панснона приобрела нх дружбу н протекцию; панснон прншлось закрыть, но добрые связн н дух временн открыли перед деловой женщиной новую и спокойную карьеру: она была поставлена во главе каторжной тюрьмы.

Она была отличной начальницей, в меру строгой, педантичной, выдержанной, самостоятельной. Сверх служебного оклада она довольствовалась небольшой хозяйственной экономией, сама жила хорошо н никогда не доводила своих новых панснонерок до открытого ропота. При ней не было в тюрьме ни массовых голодовок, ни вынужденных скандальных ревнзнй. Уголовные питали к ней должный страх н нензменное уважение; политических она содержала отдельно н не раздражала приказами вставать прн ее появлении и называть ее «ваше сиятельство». Небольшой штат тюремной прислуги она подбнрала тщательно, не давая заживаться подолгу, чтобы между ними н заключеннымн не возникало дружественных отношений. Во внутреннее помещение тюрьмы она являлась не часто, но почти всегда внезапно, охотнее всего по ночам.

Именно для такого ночного обхода она явилась н сегодня. Отворив дверь нз конторы в тюрьму ключом, который сдавался ей каждый раз после вечерней поверки, она сделала знак дежурной прн входе и в ее сопровождении прошла нижний коридор н поднялась по лестнице.

Шаги заглушались войлочными туфлями. Около некоторых камер она останавливалась, приоткрывала заслонку глазка н всматривалась в полумрак камеры; в тусклом круге света от лампы, висевшей в клетке под потолком, серыми пятнами лежали на койках женщины: одни — закрыв лнцо одеялом, другие — раскинувшись в беспокойном сне. Случалось, что кто-нибудь нз заключенных не спал и, сидя на койке, тупо смотрел на свет или нскал насекомых. В таких случаях начальница

слегка ударяла по стеклу глазка согнутым пальцем и вполголоса говорила: «Спать!»

Два верхних коридора сходились под углом. Обогнув угол, начальница чуть не споткнулась о лежавшее у первой двери тело. Отступив на шаг, она ногой толкнула тело в бок. Тело зашевелилось и быстро вскочило, протирая глаза.

— Спишь на посту?

Дежурная по коридору испуганно молчала.

— Мало спать днем, нужно и на службе?

— Виновата, ваше сиятельство!

— Утром, после смены, дождись меня в конторе.

Это означало — расчет. Начальница была неумолима, все это знали. Задремать на табурете — дежурство вне очереди и лишение свободного дня, уснуть на посту — потеря места. Оправдываться бесполезно.

Весь краткий разговор вполголоса; срок его — полминуты. Не обернувшись, начальница идет дальше, за ней, как тень, старшая дежурная. У камеры номер восемь — новая остановка. В глазок видно, что спят все, кроме одной каторжанки, которая, лежа на койке, пишет, подложив книгу под узкий и длинный листок бумаги.

Это, конечно, непорядок; но начальница не любит раздражать политических выговорами. Она знает их всех не только по фамилиям, но и по именам. Та, что пишет, бессрочная и уже третий год отбывает наказание. В камере она за старосту, хотя ей только двадцать три года; но они все безобразно молоды. У нее прекрасные волосы и ясные глаза, которые она никогда не опускает перед тюремным начальством. Вот она подняла их и смотрит на дверь: заметила, что глазок открыт; смотрит, не делая попытки спрятать записку или притвориться спящей. Если ее окликнуть, она точно так же не переменит позы и не опустит глаз. К таким, как эта, начальница чувствует невольное уважение и, пожалуй, некоторый страх. Они непонятны и непостижимы. Молодая и красивая девушка, избравшая своим уделом вечную каторгу и не поддавшаяся отчаянию и не утратившая силы и уверенности! Она что-то знает, что неведомо другим. Она не верит, что эти стены — ее могила. Может быть, она права!

Опустив заслонку, начальница идет обратно, не взглянув на провинившуюся дежурную по коридору. Вернувшись в контору, она сама запирает за собой дверь внутренней тюрьмы, вынимает и уносит с собой ключ. В конторе — другая дежурная, которая всю ночь должна сидеть у стола перед телефоном. В боковой комнате спит привратник; ему спать разрешается, и ночью ключ от выхода из конторы на улицу остается у дежурной по конторе или просто в дверях. Без ведома начальницы ночью нет сообщения между тюрьмой и конторой; если что-нибудь случилось — начальницу вызывают по телефону или посылают за ней привратника. Она живет рядом, в большом доме, примыкающем к тюрьме.

Кивнув дежурной, она выходит на слабо освещенную фонарями улицу.

ВЕЧНОСТЬ

Уже третий год в тюрьмах! Трн года, а впереди они обещали вечность. Они слишком щедры — повернть в вечность невозможно!

Дни так однообразны, что счет их путается. На стене камеры карандашом расчерчены квадраты с цифрами — дни, недели и месяцы. Каждый вечер перед сном Наташа зачеркнвает цифру в заготовленном на месяц вперед календаре. Это не имело бы смысла, если бы она и другие верили в вечность; но они не верят, на то они н молоды.

В семь утра, после поверки, приносят большне чайники с кипятком. Хлеб должен оставаться с вечера, свежий дадут только в обед. В большой медный чайник кладут две плитки кирпичного чая, и бурая жндкость разлнвается по такнм же медным кружкам. В трн часа дня в дверное оконце подается корзина нарезанного хлеба, а затем приносят обед: знаменитые тюремные щи, в которых серая капуста пахнет пареным бельем; в щах листы н нитн выварениого мяса, отдельно — гречневая или полбенная каша. По воскресеньям бывает третье — кусок арбуза, яблоко, зимой — печеная репа или брюква. Это вкусно! В большие праздникн н по царским дням — кусок белого весового хлеба. Вечером опять чай с куском черного хлеба, но от этой порции нужно экономить на утро.

Для молодых — голодно; но тюрьма — не санаторий, тюрьма — тюрьма! Не работая, заключенные питаются за счет государства, которое они хотели разрушить свонми бреднями н свонми преступными действнями. Онн должны быть довольны, что им пощадилн жизнь.

Иногда доставляют посылки с воли; обычно — сладкое, но в количестве умеренном, на одного. Сладким делятся со всеми н уж, конечно, не забывают детей женщины, убнвшей мужа, которая сидит вместе с политнческнми. Ее зовут Марья Петровна; она богомольна, тиха и испуганна; пожалуй, что вот эта в вечность верит. Трудно представить себе, что она могла убнть человека, да еще отца своих детей, н, однако, она убила. К ней относятся участливо, ей отвели в камере угол получше, с нею всегда говорят ласково и как бы почтительно. Но ее жизнь — особая, если можно говорнть о жизни в доме мертвых.

Наташа — за старосту, бессменно или, как она говорит, пожизненно. Это значит, что она обязалась следить за порядком в камере, председательствовать на совещаниях, прнннмать н раздавать хлеб, объясняться с начальницей, записывать больных н распределять работы по камере: кому подметать, кому мыть пол, кого освободить по слабости н болезни. В ее ведении календарь и выписка книг нз тюремной библиотеки.

Естественно, что на этот высокий пост выбрали ее: пройдет

восемь, десять, пятнадцать лет, и сроки большинства окончатся; только она и еще одна девушка должны пробыть в тюрьме вечность. Трудно найти более смешное слово! Но стенной календарь растет, и уже почти тысяча дней зачеркнута карандашом; в сравненин с вечностью все же пустяк!

За пределами тюрьмы люди думают, что в ее стенах жизнь только теплится. Они не знают, что именно здесь вырастают и распускаются лучшне цветы фантазин и закаляется воля к свободе и полноте бытия. Ведь только толща стены в три кирпича отделяет выдуманную вечность от прелести временного. Приналечь плечом, пробить эту стену — и расчистится путь к обоим полюсам и экватору. Только трн кирпича — какой пустяк! Разве можно связать живую душу!

В оконную форточку проннкает воздух улицы. С воли залетает муха н заползает крыса. Через стекло может скользнуть на стенку световой зайчик от кем-нибудь наведенного зеркала. Никто не в силах пресечь чудесное общенье живых и мертвых, тайную летучую почту, о которой знает начальнпца, знает каждая надзирательница, знают все. Пусть вспарывают швы тюремного белья, ломают хлеб в мелкие крошки, следят за каждой подчеркнутой буквой в книге, отбирают бумагу н карандаши. Пусть обыскивают тюремную прислугу и всех уголовных, выпускаемых на волю, н пусть дают свидания с родными только через две решетки н в присутствии надзирательниц,— это решительно ничего не нзменит. Внимание тюремщиков утомляется — гений арестантов неутомим. Строжайшая начальница может не подозревать, что в складках собственного платья она унесла записку или принесла ответ, или что в прическе заслуженной и грубой старшей надзирательницы, которая вечно на всех доносит, скрыт целый почтовый ящик, или что в высоком доме, удаленном от тюрьмы, от которого видна только крыша, в чердачном окне невидимая рука в ночной час водит пламенем свечки справа налево и вверх и вниз. Еще не выстроена н не изобретена та тюрьма,— а уж на что мудры люди в жестокости! — через стены которой не проннкала бы воля. Дух светлый н свободный находчивее духа тьмы; в этом его единственное утешенье.

В камере номер восемь меньше всего думают о вечности. В ней живут интересами ближней иедели или, во всяком случае, недалекого будущего. У Нади Протасьевой есть на воле жених, который кончает университет; они переписываются, причем письма читает прокурор и ставит на полях разрешительную пометку; они не стесняются прокурора, потому что глубоко его презирают н не считают за человека, хотя никогда его не видали н не знали,— но ведь порядочные люди не читают чужих писем! Кроме этих «казенных» писем, летают из тюрьмы на волю записочки, в которых больше слов любвн, чем вопросов о здоровье. Срок Нади — десять лет, затем, после каторги, поселенье.

Неужели женнх будет ждать ее? Ведь в любви десять лет — вечность!

Но в том-то и дело, что они не верят ни в вечность, нн в десять лет!

Они живут сегодня н думают о завтра!

Курсистка Вера Уланова выписала учебники и занимается высшей математикой, чтобы «не потерять времени». Ей сндеть восемь лет, а затем тоже — поселение в Снбирн; но так как она в это не вернт, то не хотела бы отстать от сверстниц по курсам. Две «вечных», Маруся Донецкая, сообщница убийства военного прокурора, н Наташа, нзучают итальянский язык, который, конечно, даже в вечности не станет языком нх тюрьмы; они изучают его не для того, чтобы читать Данте н Леопарди в подлиннике (хотя мечтают н об этом), а потому, что приятно говорить на таком красивом языке, если прндется быть в Италии.

Как могут они надеяться нз стен своей вечной тюрьмы попасть на Палатинский холм, или в Неаполь, или в каштановые леса Тосканы?

Но это так просто — ведь они не верят в вечность, для этого они слишком молоды! Что-то случнтся, как случилось в девятьсот пятом году,— двери камер распахнутся, н онн будут свободны. Если бы они могли думать иначе — жизнь перестала бы быть возможной.

Страшна не вечность — страшна напрасная потеря еще года, еще нескольких лет, пока там, на воле, с в е р ш а е т с я. И уже одной этой жалости к дням и неделям достаточно для страдания. И они страдают, спасая себя только надеждой, что вот еще немного, еще неделя н месяц, пусть даже год — и придет то, что прийти должно, если на небе действнтельно есть солнце и зима подлинно сменяется весной! Ради непременной н неизбежной радостн можно и потерпеть,— тем слаще будет свобода!

И только одна женщина в камере номер восемь знает, что вечность есть н что жизнь окончена; но у нее двое маленьких детей, которые скоро подрастут. Ее жизнь кончена, их жизнь только началась — н началась страшно. Она гладит их по головкам, укладывает спать и знает, что завтра онн станут на день старше, а она еще на день приблизнтся к вечностн. Уложив детей, она тупымн и непонимающими глазами смотрит на своих товарок по заключению, о чем-то спорящих, чего-то ожидающих н по-своему счастлнвых.

СИРОТА ПРИСТРОЕНА

Отцу Якову повезло, н всему причиной оказалась баночка вншневого варенья, которую он занес в контору тюрьмы.

Перешагивая порог конторы, он подобрал рясу, как бы во свндетельство того, что он тут, собственно, ни прн чем н даже прнкасаться к стенам тюрьмы не хотел бы, но по сану своему вынужден бывать везде. У привратника спросил:

— А что, нынешннй день посылочку заключенной передать можно?

Привратиик поклонился ему очень вежливо, ио твердо сказал:

— Нынче, батюшка, день не приемный, иадо бы вам прийти в четверг либо в воскресеиье.

— Так. Дело плохое, в воскресный день мие меиее доступно. Имею поручение от страждущего отца передать его дочери малую баночку вареиья. И в четверг ие зиаю, удосужусь ли, как лицо занятое.

— Как изволите. Может, попросите саму иачальницу, оиа здесь, в конторе.

Достойио погладив бороду, отец Яков сказал:

— Ее сиятельство имею честь зиать личио, ио можно ли обеспокоить?

— Конечно, они заняты, а все же пройти можио. И духовиое лицо, и ежели еще лично известны.

Отца Якова провели к начальнице. Оиа сидела за столом перед конторскими книгами, счетами и бумажками. Рядом стояла дежуриая по конторе иадзирательница, а другая, заплаканиая, столкнулась с отцом Яковом при выходе. Отвесив приличествующий поклон, отец Яков скромно и степенно приблизился:

— Осмелился побеспокоить малым делом по поручению страждущего родителя. Если изволите припомнить, имел честь встретиться у ее светлости достойиейшей тюремной патроиессы.

Начальиица приняла довольно приветливо и даже узнала.

— А какое же у вас дело, батюшка?

— Дело малое. Будучи в Рязани, навестил тамошнего почтенного и уважаемого старожила и врача Калымова, Сергея Павловича, сраженного горем по случаю дочери. А дочь его заключеиа в сем месте. Ну и принял поручение передать скляночку вареиья. Не зиал, что полагается в четверг либо в воскресеиье, и занес в деиь иеурочный.

К удовольствию отца Якова, посылочку прииияли. Начальиица пошутила:

— Тут, батюшка, в вареиье иикаких записок иет?

— Зиать того ие могу, брал без ручательства, однако мысли ие допускаю. Отец о дитяти истииио страдает, как то и естествеиио при возрасте и положении. А уж проверить извольте сами.

Начальиица пожаловалась иа неприятности. И за преступииками смотри, и хозяйство большое, и хлопоты с тюремным персоналом. Вот сейчас должна была рассчитать иадзирательницу за крайнюю иебрежность. Какой иарод пошел! Ни на кого нельзя положиться.

Отец Яков поддакнул:

— Хлопотно, хлопотио. Нынче нравы ие иа высоте.

— Эта иа дежурстве заснула, а иаймешь другую — опять что-иибудь. Пожилые устают, а на молодых нельзя надеяться. Работа трудная, и на небольшое жалованье идут неохотно. Где взять?

Отец Яков вспомнил, что обещал найти место для Анюты, дочери покойиого друга-книжника. Не выпал ли случай?

— Скромную особу, однако весьма молодую, мог бы прирекомендовать. Притом — круглая сирота и в большой нужде.

— Прнютская? Боюсь я этих прнютских.

— Нет, дочь честного торговца, а сам недавно скончался, и жизнн был беспорочной, хороший был человек.

— А что ж, батюшка, прншлите ее, может быть, подойдет. Вы хорошо ее знаете?

— Знал дитятей; ныне ей двадцать лет, грамотиа и работяща, а по полной бедности живет нз милости у соседки.

Вышло случайно н хорошо. Отец Яков покинул тюрьму в прекрасиом настроеини духа н в тот же день побывал на Первой Мещанской. Там поохали, хорошо лн молодой девушке поступать в тюремщицы, но отец Яков заверил, что всякий честиый труд почтеиеи н все зависит от усердия в работе. Сама Анюта даже обрадовалась: в тюрьмах сидят люди особенные, убийцы, разбойники, несчастные! У каждого в жизни столько удивительных историй! И жутко, и интересио. И уж, конечно, лучше, чем стирать белье или стряпать в чужом доме.

Было решено, что завтра же Катерина Тимофеевиа лично сведет Анюту в коитору тюрьмы к начальнице. Отец Яков дал записочку н на конверте особо крупио вывел слова: «Ее Снятельству». И хотя были у него сегодня малые дела, согласился остаться пообедать. Прнятно оказать помощь хорошим людям — н приятно, когда цеият услугу н оказавшего ее человека.

И вот Анюта в первый раз на дежурстве. Оиа в сером форменном платье н в белой головной косынке,— сразу стала старше н почтеииее. Все серьезны, н она серьезна. В старшей надзирательнице она чувствует власть, а в прнсутствнн высокой, сухой надмеииой начальницы сердце Анюты замирает. С первого дня попала в ночные; придется так поработать иеделю, потом неделя дневного дежурства, потом опять по ночам. Работа простая и не очень трудная, но нужно помнить н строго нсполнять тюремные правила: с заключенными никаких лишних разговоров, никаких записок не принимать н не передавать, ничего в тюрьму не прнносить, не позволять подходить к окнам н о всяком непорядке или непослушании докладывать старшей, а та — начальиице. Прн смеие дежурных иногда бывает легкий обыск: старшая проводит ладоиями по платью, не спрятаио лн что-инбудь запрещенное; это только для формы, а настоящий обыск делают прн начальиице, всегда неожиданио — н тогда дежуриых раздевают до рубашки. Все это ие столько обидно, сколько таиственно н необыкновенно.

В первую смену старшая пробыла с Анютой целый час на дежурстве, показала, как глядеть в глазок н как открывать дверную форточку. Дверь камеры без особой надобности не отпирать, ключ держать на поясе. Рассказала, что делать при случае тревоги, н объяснила, что вот это все — камеры уголовных, а в восьмом номере — политическне,— хоть н неясио было Анюте, в чем различие.

— Их особо держат?

— Особо, в своих платьях.

Затем старшая ушла вниз, а Анюта осталась. Прошла по коридору, тихонько и еще неумело отодвигая заслонки дверного стеклышка. Все спят. Странно подсматривать, как спит чужой человек! Есть одиночки, другие по нескольку в камере, на койках, прнделанных к стене, и на нарах. Худые соломенные тюфяки, тощие серые подушки, а закрыты кто одеялом, кто арестантским халатом. С особым любопытством заглянула в камеру номер восемь. Там было больше порядка, белье почище, а на столе книжки. Но те же, как и у всех спящих, серые и невыразительные лица.

Не страшно в тюрьме. А что делать целую ночь? Нужно будет спросить, можно ли брать на дежурство книжку и читать под коридорной лампочкой? Работа здесь, как всякая другая, вроде как больничной сиделкой, только, верно, очень скучная.

Среди ночи заслышала шорох в конце коридора и вскочила с табурета — не начальница ли? Но это пришла соседка по дежурству из другого отделения.

— Привыкаешь?

— Привыкаю.

— Спать-то хочется?

— Нет, спать не хочу. А скучно тут у вас?

— Еще бы не скучно. У нас — ровно в могиле! А ты совсем молоденькая! Ты как же к нам определилась?

Полночи шепотом проговорили, стоя на повороте из коридора в коридор, так, чтобы видеть каждой свое отделение, а главное — успеть разойтись, если покажется старшая или начальница. Анюта рассказала про себя — та про свои дела. Соседка по дежурству была постарше и поопытнее, служила уже второе полугодие. И от нее Анюта узнала не только все тонкости тюремных правил, но и о том, как эти строгости обходить, с кем дружить, кого опасаться. Узнала и разные истории про арестанток,— которая убила двоих, а которая сидит, может быть, и понапрасному; есть тут из богатых семейств, а по большей части из гулящих. А когда Анюта спросила про политических, новая приятельница ответила уклончиво:

— Кто их знает! Кто говорит, что шли против царя, а кто — что будто сидят за правду.

— Как же это — за правду?

— А так, что были за народ, за бедных. И все молодые, вот как мы с тобой. Только ты с ними много не разговаривай. Узнают — прогонят.

Тяжелее всего были последние часы дежурства. А когда после смены Анюта шла домой — Москва только что просыпалась. Дома и рассказать ничего не могла,— заснула как мертвая и спала до полудня.

Новая надзирательница — событие не малое!

Это только кажется, что быт тюрьмы однообразен и не зависит от того, кто дежурит за дверью камеры, кто следит, как прислуживающий уголовный арестант разносит обед и кипяток, и кто смотрит в дверной глазок. Здесь дорого каждое слово и оценивается каждый жест. Невидимыми нитями тюрьма связана с волей, и эта связь налаживается годами, а разрушается в один день. Чем устойчивее быт, тем лучше прорастает в нем зерна скрытых, с виду невинных отношений, тем меньше оглядки, тем проще обходы разных утомительных и связывающих правил, тем полнее и любопытнее внутренняя жизнь тюрьмы.

— Вам придется заняться новенькой, Наташа!

— Я займусь. Кажется, она — ничего. Совсем молоденькая, только еще очень пуглива. Вчера я ее спросила, зачем она пошла служить тюремщицей,— и она смутилась, что-то пробормотала и захлопнула форточку. Кажется — хорошая девушка.

После обеда разносят по камерам книги из маленькой тюремной библиотеки. Большинство уголовных неграмотны или непривычны к чтению. Главный потребитель книг — камера номер восемь. Впрочем, библиотека так скудна и ничтожна, что все давно перечитано и читается теперь по второму разу. Книги надзирательница подает через дверное оконце.

— Спасибо! А вы сами читаете?

Посторонние разговоры воспрещены, но Анюта отвечает:

— Читаю.

— Как вас зовут?

— Меня? Анной.

— А ваша мать как вас зовет?

Девушка наклоняет лицо к оконцу, встречает голубые глаза арестантки и отвечает:

— У меня матери нет.

— А отец?

— Отец помер недавно.

— Значит, вы сирота, Анюта? Верно, трудно вам жилось, что пошли сюда?

Посторонние вопросы воспрещены, но как не ответить на простой и ласковый вопрос?

Послеобеденный час тихий; арестантки спят, обходов не бывает. Разговаривать через оконце неудобно, приходится низко наклоняться. Голубоглазая арестантка садится на корточки; надзирательница, оглядевшись, устраивается за дверью так же. Она могла бы открыть дверь и войти, но это разрешается только в час уборки камеры и по редкой надобности. Ей самой хочется поговорить и расспросить, за что сидят в тюрьме такие молодые, учтивые и, вероятно, образованные барышни.

— А вы, барышня, давно сидите?

— Третий год.

— Вон как давно! И еще долго осталось?

— Меня, Анюта, присудили к вечной каторге.
— Да что вы! По политике?
— Да.
— Поди, по дому скучаете?
— Я по деревне скучаю, особенно вот сейчас, весной.

Наташа рассказывает о Федоровке, о катанье на лодке, о том, как там, в деревне, чудесно весной и раним летом, да и осенью, там всегда хорошо, не то что в городах. Воздух легкий, и все цветет! А тут, в тюрьме, даже нет и окна раскрытого — решетка! И вот так придется, может быть, просидеть до старости и смерти.

— Вам тоже, Анюта, не хорошо тут быть! Вам бы выйти замуж и бросить службу.

Долго шептаться нельзя — могут заметить. Заслышав шаги, Анюта тихо прикрывает дверцу и подымается. Хорошо, что поговорила,— очень уж сиротливо в полутемном коридоре между рядами молчаливых дверей. С уголовными не поговоришь, они грубы, да и не о чем. А эти такие ласковые.

Миновала неделя — и опять ночные дежурства. Служба не так страшна, как раньше казалось. Понемногу стали привычны все порядки и все шорохи тюрьмы. Ее законы слишком строги, чтобы быть исполнимыми. Они нарушаются сегодня в мелочах, завтра в более серьезном,— и нарушаются всеми служащими, даже самыми аккуратными и осторожными; да и не могут не нарушаться. Время от времени тюрьма подтягивается, затем снова возвращается быт, в котором и арестант, и надзиратель — под одним замком и в одной неволе.

На ночном дежурстве, долгом и томительном, хорошо отвести душу тихим разговором. Это только тем, которые дремлют, страшен внезапный обход начальницы; ухо бодрствующих ловит каждый приближающийся шорох. А как много занятного могут рассказать молодые арестантки из восьмого номера! Они все видели, все читали и все знают. И сидят они не за злодейства, как другие, а за то, что хотят, чтобы в мире была правда и всем одинаково хорошо жилось. За это они шли на смерть и за это осуждены загубить свою молодость в каменных стенах. Так они сами говорят, и не поверить им невозможно.

Теперь служба уже не была тягостью для Анюты. Были полны интереса часы бесед, она знала по именам всех сидевших в восьмом номере, а ближе всех сошлась с Наташей. Сначала звала ее барышней, потом узнала имя: Наталья Сергеевна; но та сама попросила: «Зовите меня просто Наташей». И Анюта поверяла ей свои думы и заботы, рассказала свою жизнь, советовалась с ней по своим девичьим делам, а больше всего старалась выспросить у нее все, что от других не услышишь: для чего люди живут на свете, почему одним хорошо, а другим плохо, как устроить, чтобы всем было хорошо. От нее узнала, что есть такие люди, которые бросают свою семью, отказываются от легкой и обеспеченной жизни и идут бороться за правду и за лучшее будущее рабочего народа. Их, конечно, хватают, садят в тюрьмы, казнят, но на смену им приходят другие,

продолжают их дело, учат народ защищать свои права, действовать сообща,— и так будет, пока эти люди не победят и не устроят жизнь по-новому, для всех счастливо и справедливо.

Все это не очень понятно, но очень таинственно и красиво. Другому кому Анюта, пожалуй, и не поверила бы, но тут перед ней сами страдалицы за правду, молодые, вежливые, приветливые, даже веселые, несмотря на все лишения. Их заперли под замок, а они по-прежнему верят, что долго такое положение не продержится и что скоро придет революция и народ их освободит, как было в Москве в девятьсот пятом году. Только на этот раз будет победа полная, и народ своей победы назад не отдаст.

Слова новые, незнакомые и раньше неслыханные. Было что-то такое же в читанных Анютой романах про благородных разбойников,— но там была явная выдумка, а тут сама жизнь. И таинственного и загадочного тут, пожалуй, не меньше. И если бы девушки из восьмого номера не сидели за решеткой, а были на воле, они показали бы Анюте, как живут и действуют борцы за свободу, и сама Анюта могла бы делить с ними жизнь как равная и как их подруга,— а не несчастная тюремщица, обязанная держать их под замком и доносить на них старшей и начальнице. Только уж она доносить, конечно, не станет!

Как-то, разговаривая с Наташей, Анюта сказала:

— Уж так мне вас всех жалко, так жалко, что я бы для вас все сделала! Хотите — буду передавать записки и принесу вам с воли все, что попросите?

— Спасибо, Анюта. Потом, может быть, а сейчас я вас об одном попрошу: будьте осторожны, ни с кем про нас не говорите, а себя ведите так, как будто вы к нам — строже всех. А вот когда совсем в тюрьме обживетесь, вы нам многое можете сделать. Нужно только, чтобы вы у начальства были на самом хорошем счету и чтобы вам доверяли.

— Мне и сейчас доверяют. Я со всеми служащими хороша, ни с какой не ссорилась. Они друг дружку подозревают, а мне все верят, потому что я ни на кого не наговариваю и не жалуюсь.

— Вот и хорошо.

— И начальница довольна. Я ей относила вечером ключ, и она мне сказала: «Будешь служить аккуратно, выйдешь в старшие, даром что молода».

— Вы ей носите ключ?

— После смены, когда моя очередь.

— Ну вот и отлично, Анюта. А придет время — я вас сама о чем-нибудь попрошу.

— Я все сделаю, я не боюсь.

Совсем шепотом прибавила:

— Я все думаю: вот возьму да и выпущу вас всех из тюрьмы, ей-Богу! И сама уйду с вами!

Так же шепотом Наташа ответила:

— Это просто не делается, Анюта. Выпустите — а нас всех опять переловят и вас тоже. И будет еще хуже прежнего. О таких вещах нужно много думать, а говорить сейчас не нужно.

Они разговаривали, по обыкновению сидя на корточках перед дверным оконцем, чтобы не устать и чтобы лица были ближе. Просунув голову в оконце, Наташа шепнула:

— Дайте я поцелую вас, Анюта. Спаснбо вам. Потом мы с вами еще о миогом поговорнм. Ведь мы подруги, правда?

Анюта просняла радостью:

— Правда. Вы мне все равно что родная сестра.

— Ну вот. Я тоже вас сразу полюбила, и все наши вас любят. Вот увидите, Анюта, мы что-ннбудь с вами придумаем. А пока — будьте очень осторожны! Чтобы ни-нн! Будто бы вы — наш враг! Понимаете, Анюта?

ТЮРЕМНЫЕ ЗАБАВЫ

По вечерам камера номер восемь забавляется новой игрой: на одну нз каторжанок, которая повыше и посильнее других, набрасываются по двое или по трое и стараются быстро и ловко повалить ее на пол и связать длиннымн полосами, сделаннымн нз простынн. Та, на которую набросились,— часто это бывает рослая и сильная Наташа,— должна отбиваться, но, конечно, не должна кричать; предполагается, что ее рот заткнут платком. Связав, ее укладывают к стене и смотрят, может ли она освободиться.

— Ну, конечно, могу! Вы, Маруся, опять не перекрутили узла! Вот я делаю руками так и так... подождите... вот еще так,— и теперь эта рука может легко выпутаться. Не сразу, а все-таки можно.

— Я не хотела делать вам больно.

— Вот глупостн! И совсем не больно. Нужно же научиться.

Игра повторяется, теперь уже на новой жертве. На нее накидываются с двух сторон, хватают за локтн, выкручнвают руки назад, быстро связывают мертвым узлом. Она отбивается босыми ногами (чтобы не ударнть больно), но ей связывают ноги у щиколоток и выше колен. Пока трое работают, остальные критически обсуждают быстроту и ловкость их действня.

— Все-таки долго, почти шесть минут! Нужно в трн минуты, не дольше!

— Надя очень сильная, ее трудно. И очень отбнвалась.

— Так и следует! А вы думаете, что кто-нибудь не станет отбнваться? И может быть, гораздо сильнее.

— Особенно — мужчнна!

Снаружи легкий стук в дверь. Связанной быстро помогают лечь на койку, прикрывают ее одеялом, и все разбегаются по своим местам. Камера спит.

Через несколько мнпут дверное оконце открывается, и голос Анюты спокойно говорнт:

— Ничего! Внизу дверью хлопнули, я думала — старшая идет. Уж очень вы шумели!

Дверца захлопывается, и игра продолжается.

— Знаете, Надя Протасьева, вы так больно меня ударили, что я чуть не закричала. Будет на руке синяк!

— А вы держитесь сбоку, чтобы нельзя было задеть вас ногой.

— Нужно повалить ничком, тогда не опасно!

— Если дать подножку...

Вопрос о подножке горячо обсуждается. Большинство высказывается положительно.

— Я думаю,— говорит Наташа,— что следует сначала набросить на голову наволочку. Тогда и отбиваться труднее, да и не видно, кто связывает.

Наволочка принята.

— Ну, теперь спать! Не забудьте о гимнастике.

Две девушки, неизменно выступающие в роли нападающих, так как они физически сильнее, от гимнастики освобождаются: и без того очень устали. Но завтра утром — непременно.

Гимнастика — общее увлеченье. И вообще полезна, и может всегда пригодиться в жизни. Староста камеры, Наташа Калымова, строго следит за точным выполнением всех номеров: перегибание корпуса, круговые движения, приседание — все по команде, хотя места в камере очень мало. И утром и вечером! Две недели опыта показали, что и мускулы укрепляются, и развивается ловкость. Даже самая слабая из заключенных, восемнадцатилетняя Елена, только в этом году осужденная на каторгу, больная легочным процессом, теперь проделывает все нужные движения шведской гимнастики и уверяет, что чувствует себя гораздо лучше и что по вечерам у нее не так повышается температура; она делает гимнастику только раз в день, утром. Одно плохо — у всех улучшился аппетит, а это в тюрьме очень невыгодно.

Все укладываются и, утомленные, скоро засыпают. Не спит только «комитет», состоящий из двух «вечных», Наташи и Маруси, и из чахоточной Елены, которой по ночам всегда плохо спится. Их койки рядом, и они шепчутся до полуночи. Если на дежурстве новая надзирательница,— они подползают к окошечку и шепчутся также и с ней: что-то обсуждают, о чем-то шепотом спорят, так, чтобы другие не слышали. Комитету поручены все дела, и он полномочен выносить решения по специальному делу без общих собраний.

Елена — секретарь. Она умеет писать мельчайшим почерком и хранить в памяти шифр. Ее записочки, свернутые в плотную трубку, можно легко спрятать во рту за щекой, а при опасности — проглотить. Ответные записки с воли читает только «комитет»; затем записки рвутся на мельчайшие кусочки и исчезают в параше.

На койке, ближайшей к окну, спит с двумя детьми уголовная Марья Петровна, безответная и ко всему равнодушная.

Ее история в подробностях неизвестна,— нельзя о таких делах расспрашивать. Ее не сослали в дальнюю каторгу, а оставили в Москве, и через год истекает ее срок; тогда ее, конечно, угонят на поселенье в Сибирь. Сидеть в камере с дюжиной молодых, опрятных и образованных женщин ей хорошо и покойно. За доброе отношение к себе и детям она платит им тем, что старается быть незаметной. Она, конечно, знает, что девушки уже месяц бредят побегом и что с ними в сговоре новая надзирательница; но ее, как уголовной, это не касается: ей бежать нет смысла да и некуда.

Часто ей кажется, что она попала в кружок школьниц, которые днем учатся, читают книжки, а по вечерам резвятся. Все они тоже приговорены к каторге и на долгие сроки, а две даже к бессрочной,— но как-то трудно этому поверить: словно бы и это только игра. Будто бы и они убивали людей, но и это похоже на выдумку. Верно только, что их жизнь совсем особая и непонятная, как малопонятны их речи и их споры между собой — о каком-то народе, о какой-то экономике, о каких-то партиях и комитетах. В последнее время не спорят, а все шепчутся. Нынче прятали что-то под тюфяк; должно быть, принесла надзирательница. Лица были радостны и оживленны. Неужто они и впрямь думают убежать из тюрьмы? И правда — такие могут!

С ней ни о чем не говорили,— и о чем с ней говорить? Если бы ее вызвала начальница и стала допрашивать, она бы по чистой совести сказала, что ничего не знает. Уж, конечно, не взяла бы на душу греха и не подвела бы девушек, всегда к ней добрых и ласковых. Дело это не ее. Ее дело — искупать свой тяжкий грех да выходить маленьких детей, ни в чем не повинных и ничего еще не знающих. Когда вырастут и узнают — может быть, осудят ее, а может быть, и простят.

ГОТОВЯТСЯ

Анюте не терпится: ну что может быть проще! Подделав ключ из тюрьмы в контору, подпоив привратника,— она выведет на волю всех своих новых подружек, и они разбегутся. А с бабами, с надзирательницами, десятерым справиться не трудно. Сама она тоже уйдет. Если ее поймают и будут судить — ну что же! Вот и она пострадает за правду, даром что она простая, не ученая, стольких книжек не прочитала и ни в каких партиях не записана. Только бы поскорее, пока не пронюхала начальница или кто-нибудь не донес про ее дружбу с восьмым номером.

Ее жертвенный порыв сдерживает Наташа.

— Так нельзя, Анюта! Нужно все хорошо подготовить, чтобы не было неудачи. Ну, выйдем мы — а дальше? Ни денег, ни ночлега, ни одежды. Всех переловят, и вас заберут, и уже второго случая никогда не дождаться.

О плане побега извещены на воле верные люди. Уже целый месяц идет подготовка дела. В те дни, когда Анюта дежурит в их

коридоре, сношения с волей быстры и правильны. Но иногда приходится выжидать по иеделям. Сделаио иемало: передаи на волю слепок ключа, получены адреса, по которым должны разбежаться каторжанки. Деиег достаточио, и еще добудут. Плохо с лошадьми: только для двух будут приготовлены лихачи иа соседней улице; решеио, что ими воспользуются Наташа и Маруся, как бессрочиые. Главное, чтобы весь плаи был выполиеи точно.

А план такой. Аиюта уже рассказала иадзирательницам, что скоро оиа выходит замуж. Перед свадьбой оиа угостит всех в свободные часы перед дежурством. Будет иаливка, водка, закуска и сладости. Как раз перед этим днем получка жалованья. И чтобы иепремеиио пришел и Федор Иванович, привратник: все-таки мужчина, веселее. А деиег ей ие жалко: все равио, когда выйдет замуж, в тюрьме не останется. Кто жених? А тот самый, черноусый, с которым ее одиажды видели на улице. Он на пирушке не будет, ему неудобио. Это будет девичиик, только с Федором Ивановичем — с ним смешиее. А в другой день оиа угостит и остальных, кто в этот день не может.

Ночью, после поверки, когда тюрьма заснет, Анюта откроет восьмую камеру. Сначала выйдут трое, тихо, в одних чулках, и свяжут дежурных в соседнем коридоре; считая со старшей, их всего три. Потом выведут всех, спустятся к двери конторы и эту дверь быстро поддельным ключом отворят Аиюта и Наташа. Только бы дежурная по конторе не успела поднять тревогу; главное — она пить не любит, и справиться с иею трудно. Как дверь откроют, первой выйдет Наташа в черном платье, будто бы иачальница, хотя и иеоткуда взяться иачальнице; все-таки та испугается, и тогда можио иа нее иакинуться. Сторож будет, как всегда, спать в своей комиате, и он, конечно, будет пьяи, об этом уже позаботится Анюта. Если ключ у него, тогда придется и его связать; ио ои, верно, и ие просиется.

Сделаио и самое трудное: Аиюта проиесла в тюрьму по частям иужные одежды: черное платье для Наташи и два мужских костюма для стриженых; больше пронести ие удалось, и это — с трудом, под платьем, рискуя иечаяииым обыском. Близ тюрьмы будут ждать товарищи, и дальше — вопрос удачи и счастья.

А сама Анюта? Ей все равно, на первую ночь ее приютят, а дальше ей укажут, куда скрыться из Москвы. Ей очень хотелось бы убежать с Наташей, но это нельзя, опасно. Во всяком случае, они встретятся после, в другом городе или за границей. Через Наташу она полюбила других, и ей оиа готова доверить всю свою жизнь.

— Только не спешите, Анюта! Нужно, чтобы иа воле все было готово. А пока старайтесь больше дружить с иадзирательницами, рассказывайте им про жениха, про его подарки.

— Я им миого насказала! Они меня любят, я веселая.

— Вас нельзя ие любить, Аиюта!

Для Анюты такие слова — лучшая награда!

Готовятся и иа воле, где плаи побега двеиадцати каторжа-

иок встречеи с радостью. Уже иет прежних прочиых и деятельиых революциоииых организаций: силы ослаблеиы арестами и подточеиы предательством. Одни в тюрьме, другие за граиицей, приток иовых сил ослабел. Нет прежией веры, и молодежь уже ие та. Среди студенчества нет прежней жертвеииости, и вместо иее — искаиье «красивой жизии», сладких грехопадеиий, поэтического иаркоза. Идеалисты ие в моде — оии устарели и исчерпались. Высшая ценность — личиая жизнь, а самопожертвоваиие — бред, и чистота идеалов — глупость и иаивиость. Половой вопрос важиее аграриой программы, эстетика выше морали. Разве революция ие доказала своей иесостоятельиости? Разве «светлые борцы» ие оказались игрушками в руках полиции, заполиившей ряды революциоиеров своими агеитами? Кому сейчас верить, когда и самому себе человек плохо верит!

Остатки староверов бессильиы продолжать дело; для них иаступило время воспомииаиий и легенд да надежды иа заграиицу, где будто бы строятся иовые миросозерцаиия и вырабатываются иовые программы. Невозможно увлечь кого-нибудь плаиом иового дерзкого иападеиия иа власть. Иное дело — устройство побега: здесь двух миеиий ие может быть! На этом, и только иа этом, легко сговориться разиым партиям и группам и легко иайти средства даже в самых умереиных кругах. Ненависть к тюрьме объединяет всех, и любой побег — радость.

Беглянкам нужио заготовить безопасные убежища, как можно больше, чтобы провал одних не повлек за собой ареста миогих. Нужно замести следы, одних укрыть в России, других сплавить за границу, всем достать паспорта и деиег. Малейшая иечеткость плана — и все может погибнуть. Нужио торопиться, потому что уже слишком миогие знают о готовящемся побеге; ио и излишияя торопливость может привести к катастрофе.

Шифроваиные записки летают из тюрьмы иа волю и обратио. Свиданья в разиых местах измучили неопытную в этих делах Аиюту. Сроки сменяются сроками, дольше откладывать иельзя.

Стоит июль, время, удобиое тем, что бдительиость притуплеиа жаркими диями, Москва иа дачах, скрыться легче. Два месяца ушли иа подготовку — пора.

Молодой человек фраитоватого вида, ио в стоптаиных башмаках скользнул в подъезд, поднялся иа второй этаж и позвонил. Ему отворил широкогрудый высокий господии с усами и бритым подбородком. Молча впустив, запер дверь.

— Вы что же опаздываете?

— Я задержался иа собраиии.

— На каком собраиии?

— Не то что собраиие, а кое-что обсуждали.

— Ну?

— Да опять ничего особеииого, сейчас никаких важных дел иет.

— Дела-то всегда есть, а только вас к важным делам, вероятно, ие очень подпускают. У кого были?

— У Николаева.

— Кто да кто?

Молодой человек иазвал иесколько фамилий, а его собеседиик записал, добавив и фамилию рассказчика.

— Ну, а кроме этой еруиды ии о чем любопытиом ие говорили?

— У иас сейчас коиспирируют, так что даже своим ие рассказывают.

— О побеге больше ие говорили?

— Прямо о побеге не говорили, а насчет заготовки паспортов вскользь разговор был. Будто бы иа всякий случай, что у нас их мало, а могут поиадобиться.

— Жеиские паспорта?

— И жеиские, и всякие.

— Ничего вы, Петровский, ие знаете! А вы был расспросили кого-иибудь из товарищей, кто осведомленнее.

— Это ие очень удобио. Да и ие зиает никто, кроме тройки. Стаиешь расспрашивать — еще заподозрят.

— Это, коиечио, верио. Да правду ли вы тогда слышали про тюрьму? Может быть, одиа болтовня, предположеиия?

— Нет, будто бы подготовляют.

— Кто же подготовляет? И как? С воли подготовляют или тамошиие? Кто должеи бежать? Там сидит иесколько политических.

— Я постараюсь узиать.

— Отвратительио вы работаете, Петровский! Все эти теоретические разговоры мие ие нужны, зиаю лучше вас. А вы бы дело делали, добывали факты. Услыхали что-нибудь — и проверьте, постарайтесь разузиать подробиости. Коиечио — с должиой осторожиостью, если уж вам ие очень доверяют.

— Я доиошу, что зиаю, ие выдумывать же мие...

— Эх, уж лучше бы выдумывали! Горе с вами! Прямо вам говорю — так у иас иичего ие выйдет. Я докладывал полковиику, ои вами иедоволеи. А вы еще о прибавке.

— Мие прибавка иужиа иа расходы.

— Бросьте это! Что вы меия морочите! Расходы, если действительио нужиые, мы всегда оплатим, хоть тысячи; а зря и копейки ие желаем вам давать. Платят за работу, а ие за прекрасные глаза. Я вам вот что скажу, Петровский. Хоть я и ие очень верю в этот побег, а все-таки иужно узиать точно. Мы тюрьму, коиечио, ие извещаем, чтобы там ие иапутали и иапрасио ие распугали. Да и вообще — это дело должио быть иашим, понимаете? Если мы с вами это раскроем, да так, чтобы поймать иа месте, когда ии полиция, ни тюремиое начальство ничего ие зиают,— вот это — иастоящее дело, Петровский! И вы мне извольте к следующему свиданью точио узнать, иасколько все это серьезио, а ие брехня. Значит — о ком из заключеиных идет речь, через кого с тюрьмой сиосятся и иа какой приблизи-

тельио деиь иамечают. Вот. Узнаете — ваше счастье, тогда выйдете в люди. А если проморгаете — плохо вам будет. Но только факты, а ие выдумки.

— Я иикогда ие выдумываю.

— Ладно. Ну, а теперь отиосительио рабочего кружка. Были там?

Оии говорили еще с полчаса. Провожая посетителя, господии с бритым подбородком подал ему руку:

— Ну, Петровский, будьте молодцом. Главиое — войдите в доверие. Предложите, иапример, достать паспорт,— а уж я вам помогу, будет иастоящий, хороший. И еще там что-нибудь, чтобы вас считали своим, деятельиым, а ие сбоку припекой. Ну, до вториика!

Оставшись одии, ои просмотрел записи и покачал головой:

— Всему три копейки цеиа! Коли ие врет — любопытио. А вериее — одиа брехня, как часто бывает. Раз дело идет о бабах — языка бы ие удержали. Ну, увидим.

У НАС ВСЕ В ПОРЯДКЕ!

Хлопнула последняя дверь — иачальница окоичила вечериий обход. Сегодня она в дурном иастроеиии: охраика дала ей зиать, что, по сведеииям агентуры, политические каторжанки усилеиио переписываются с волей; зиачит — слаб иадзор.

Нужио прииять меры. А какие меры? Прогнать половииу служащих и иаиять иовых? Оиа и без того часто меняет надзирательииц. В этом есть плюс и есть мииус. Плюс тот, что иовые ие делают поблажек заключеииым и боятся вступать с иими в приятельство; а минус тот, что еще неизвестно, иа кого попадешь, и иовые слишком иеопытиы.

Что политические каторжаики переписываются с волей — оиа и сама зиает. Это иеизбежио, и важиости в этом никакой иет; плохо только, что об этом помимо иее, иачальиицы, зиает охраика. Можио устроить обыск по камерам или разом обыскать всех иадзирательииц. Такая мера иичего, вероятио, ие даст, кроме общего раздражения, и в дальиейшем ничему, коиечио, ие помешает.

Уходя, оиа говорит старшей:

— Уголовиым иосят водку, я зиаю. Если еще услышу — всех выгоню. А в восьмой иомер таскают записки. Поймаю — и всех под суд! Скажите там.

Старшая молчит в страхе. В своем раздражении иачальиица ие видит, что и старшая, и коридорные бродят сегодня как тени, а привратник еле держится на иогах. Одио хорошо, что иачальиица личио делала вечерний обход; значит, хоть ночью ие явится, старая ведьма!

Она уиосит с собой ключ, и тюрьма отрезаиа от конторы. Привратник, стараясь держаться крепче на иогах, распахивает перед ией дверь иа улицу. Когда оиа выходит, он пьяио подмигивает дежуриой:

— Г-гроза нынче!

Дежурная по конторе, единственная, не бывшая на попойке, устроенной Анютой, говорнт с укором:

— Уж ступайте спать, Федор Иваныч! Едва на ногах стонте. Заметила бы — всем бы за вас досталось!

— А что я? Я — ннчего!

— Уж идите. Я сама запру!

Она саднтся у стола перед телефоном, с тоской думая, что смена будет только в шесть утра, а сейчас десять. За день выспалась, но в тншнне снова дремлется. В конторе нет лавки н негде прилечь. Дремать можно, только сидя на стуле н опершись локтямн о стол. С потолка раздражающе светит лампочка, нз незапертой комнаткн прнвратннка доноснтся пьяный храп.

Она — пожилая женщнна, простая н хотя грамотная, но не обученная коротать ночи за чтеньем книг. На службе она четвертый год, а перед тем была больннчной сиделкой. Прнвыкла к чуткой дреме — лежа, сндя, даже стоя. Во сне думается, а в думах спнтся. И тогда время ползет с прнвычной размеренностью, пока не забелеют окна н не потускнеет свет лампочкн.

В полусне она, не видя, знает часы. Вот мнновала полночь, а вот уже час. Обычные ночные шорохн. Скребется — словно бы крыса; крыс в тюрьме много, не могут вывести. Не то крыса, не то ключ: где-то дверь отворяют. Ключ долго цепляется в замке н совсем близко слышен нетерпеливый шепот. Нужно проснуться — н она действительно просыпается, но не сразу поннмает, где же это? И только когда за ее спиной скрипнт дверь, она вскакнвает со стула н вглядывается соннымн глазамн. Перед ней высокая дама в черном платье — как будто начальннца. Да как же она могла войтн? Рядом с начальннцей одна нз дежурных по коридору, Анна Хвастунова, а за нимн еще двое илн трое.

Совсем проснувшись, она смотрит с удивленнем, потом догадывается, что это не начальннца, а кто-то переодетый — н в это время резко звоннт телефон. Не зная, что делать, она повертывается к телефону, но ее хватают, затыкают ей рот платком, скручивают рукн н вяжут ноги. Поваленная на пол, она слышит, как ровный н спокойный голос говорит:

— Да, я слушаю. Это откуда? Говорнт дежурная по конторе. Это нз Новннской частн? Слушаю. Нет, у нас все спокойно, а что? Нет, этого у нас не может быть. Слушаю, я вызову начальннцу, а только у нас все в порядке, как всегда. Сейчас я пошлю за ней.

Наташа кладет трубку н шепчет:

— Скорее! Там что-то проведалн н могут явиться! Будто был прнказ нз охранкн усилнть надзор!

В конторе теперь собралнсь все: двенадцать беглянок н Анюта. Из помещенья тюрьмы — нн звука, план выполнен блестяще: надзирательницы связаны, н путь открыт. Анюта машет рукой:

— Не нужно его! Он спнт как убнтый, совсем пьян. Вон храпнт! Теперь скорее!

Им нзумительно везет: даже ключ от выходной двери лежит на столе около телефона. Только без напрасной суеты! Выходить по двое и по трое, как условлено. За командира Наташа — и она уйдет последней, как капитан корабля. С нею Анюта. Но только не бегите, выходите спокойно и идите по улице, как будто гуляете!

После каждой пары или тройки дверь притворяется, и ждут две-три минуты. Все молчат, и сердца бьются согласным оркестром, а ухо ловит каждый звук. Наклонившись к связанной надзирательнице, Анюта тихо говорит ей на ухо:

— Ты так и лежи, не развязывайся! Тебе же лучше, что связана, не будешь в ответе! Потерпи!

Та смотрит испуганными глазами и тяжело дышит.

Теперь следующие — ты и вы две, скорее! Выходите спокойно!

Опять минуты выжиданья. На улице никакого шума, в каморке бормочет со сна привратник. Анюта с торжеством шепчет:

— Вот напился-то! Я ему подливала, не пожалела.

Ее слушают, нервно улыбаясь, но вряд ли понимают. Три ждут в очереди у двери, точно перед выходом на сцену. Анюта подбегает к тюремной двери: нет, там все благополучно, ни шума, ни голосов!

Уходят последние, и дверь за ними тихо притворяется. По улице проехал извозчик — нужно выждать. Стук колес замирает.

— Теперь — мы!

Наташа крепко обнимает и целует Анюту:

— Анюта, спасибо тебе! Мы еще увидимся.

Анюта со слезами шепчет:

— Ну, дай Бог, благополучно!

Они вместе выходят в ночь, плотно притворив дверь. Наташа машет рукой, и они расходятся направо и налево.

На улице полная пустыня и слабый свет газового фонаря. Наташе нужно пройти эту улицу и еще переулок — до бульвара; там на углу должна ждать лошадь. Сотня шагов — как сотни верст. В черном платье и черной шляпе она слилась с темнотой, но ноги дрожат и спешат — нужно себя сдерживать.

На углу бульвара свет фонаря падает на кивающую голову лошади. Человек на козлах вглядывается в темь. Наташа несмело окликает:

— Товарищ Андрей?

— Я, полезайте скорее!

Лошадь разом рвется, и копыта стучат в июльской ночи.

МАЛОДУШИЕ СВИДЕТЕЛЯ ИСТОРИИ

Летним утром Москва просыпалась, зевнула и протянула руку к газетам: нет ли повода для гражданского возмущения или для тихой радости?

Поводов для легкого раздраженья всегда достаточно. Ста-

рательно, ядовитыми словами, языком Эзопа лнберальные газеты поддерживают коптящнй огоиек гражданского иедовольства; яркого пламенн давио нет и в помние — костры потухли; но нз-под житейского мусора все же пробивается дымок от нскры, тлеющей по старой привычке. И читатель, заспаииым глазом проглядывая политнческую н обществеиную хронику, по чувству долга вздыхает.

— Возмутительно!

И вдруг — оба глаза открыты: есть повод для тнхой радости! Побег двеиадцати каторжанок!

Их нмена иезиакомы или давио забыты; нх судьба заиимала только нх близкнх. Но не в том дело! Среди ленивых ощущеннй русского обывателя есть одно понстнне святое: искренняя радость всякой полицейской неудаче, полное сочувствне каждому, кто сумел перехнтрить закон, правосудие н нсполнительную власть. Европейский граждаиин помогает агентам полнцнн ловнть карманника,— русский радуется, если агент споткнулся и разбил себе иос. И если он узнал, что некто дерзкнй, кого держали в камеиием мешке с семью замками, сумел пробуравнть стены, сломать замкн н уйтн невредимо, то безразличио, преступннк он или несчастная жертва,— нет большей радости для русского человека! Радости тихой, чнстой н бескорыстиой! Прекрасиого созиаиья, что вот, если ие я сам, то кто-то другой — большой молодец!

И какой побег! В центре Москвы, в летнюю иочь, без выстрелов, без насилия — н без следа! Каиули как в воду! Просто и красиво до геииальиостн! Двенадцать женщнн опрокинули н оскандалили целую полицейскую снстему,— а уж она лн не славна в полнцейском государстве!

Тихая радость обывателей выросла в бурную, когда обнаружилось, что о предстоящем побеге полиция была предупреждеиа. Был доиос, и был указаи деиь побега, и только час оказался неточным: думали — убегут под утро, а убежалн раньше. Помогла делу конкуренция ведомств: охраиному отделению хотелось доказать свое всезнайство внезапным иабегом, без предупреждения тюрьмы, чтобы не распугать заговорщиков н напасть врасплох. Все было рассчнтано точио — н упущено только одно: что в день святого Владимира прнстав частн праздновал свон нменниы. Был иетрезв телефои, и былн медлительиы участковые служащие. Зачем-то посылать наряд к тюрьме, где никакой опасиостн нет, где всегда был порядок, да и сидят только бабы,— чего не выдумают эти беспокойные жандармы, любнтелн таниственности! Испорчеиы имеиины, обнжены гости. В чем дело? Не проще лн запросить тюрьму?

Оттуда ответилн: «У нас все в порядке!» Даже обиделись: «У иас этого не может случиться!» Но служба службой, и только полчаса промедлил именинник, тезка равноапостольного князя, крестнтеля Руси.

Возможно н даже иесомнению, что тнхую радость Москвы отметил бы в своих скрнжалях и наблюдательный свидетель нсторнн. Но иа этот раз отцу Якову было не до записн достопамятных событнй.

Прн чтении утренней газеты он, как н другие, расплылся улыбкой в широкую бороду: «Лю-бо-пытно, лю-бо-пытно!» Приятно было прочитать, что в числе бежавших была и дочка рязанского знакомца, та самая, которой он передал от отца баночку вишневого варенья. Немножко обидно, что от этого должна пострадать почтенная н титулованная начальница тюрьмы, особа весьма любезная,— но с этим прнходится мириться. Из ннчтожества людн подымаются по высоким ступеням к власти н значению, но судьба человеческая капризна, н рушатся не только графские, но н королевские троны!

Когда же, в газете вечерней, появились некоторые подробностн побега н было названо нмя Анны Хвастуновой, молодой надзирательницы, скрывшейся вместе с беглянкамн,— отец Яков не только смутился, но н похолодел.

Дело плохо! А еслн пожелают дознаться, кто рекомендовал преступную молодую особу? Кто поручился за ее ангельскую невинность н доброе поведение? И вот тут приобретает особый, хотя и ложный, смысл визит отца Якова в тюрьму и даже баночка вншневого варенья!

«А самн вы, батюшка, чем занимаетесь?»

Сказать: «Странствую по Великой Руси, любопытствуя, как живут люди»,— кто поверит? И не должен лн каждый человек быть прн месте: служить обществу и государству в установленном званнн н на законном определенном окладе? Не одинаково ли предосудительно пустое любопытство, равно как и бесцельное блуждание по стогнам российским? А ваше прошлое, батюшка? А что это за приютские бланки и что это за приют? И за что вам, святой отец, запрещено служенне, хотя н с оставлением сана? И не есть лн вы соучастник убийств, грабежей и побегов? И с кем вы менялись сапогами? И почему посетили мннистра за неделю до покушения на него злодеев, нз коих одна злодейка ныне бежала? И что это за тетрадочки с опнсанием событий не в духе указаний Святейшего Синода и правительствующего Сената? И не лучше лн тебе, зловредному попу и тайному смутьяну, внити в узилище, где и скоротаешь ты останные года,— за безмерное н неузаконенное любопытство к жизнн!

Отец Яков перетрусил не на шутку! А поделиться свонмн опасениями не с кем — не идти же судачить на Первую Мещанскую! Хранн Боже, там теперь полиция роется в девичьем сундучке! Лучше всего — от снх мест подальше. И, если возможно, подальше от Москвы.

С вечера отец Яков прибрал свой портфельчик, занес к знакомому человеку последние тетрадки летописи, уложил парадную лиловую рясу, выложил на стол, на видное место, требник н долго сожалел, что не теплнтся лампадка перед иконой, тем более что нет н иконы в номере гостнннцы, нм снятом. Так прнготовился к ночи, но спал ночь тревожно, не по-обычному, и наступившему утру обрадовался чрезвычайно. Расплатнвшись за постой, взял портфель под мышку и чемоданчик в руку — и отправился в обход по знакомым редакциям. Прямо и откровенно везде говорил:

— Покорно прошу — не задержите с гоиораручиком, а взял бы малость и вперед! Ибо нстннно стеснеи необходимостью спешного отъезда по малым монм делам.

Рассчитал так: сколько будет в кармане к вечеру, на столько н отдалюсь от столицы. И если возможиость будет — продлю путь даже до Сибири, сам себя сошлю! И побывать там, кстатн, иебезлюбопытно, ибо край богатый и гостеприимный, и также имеются газетки, противу здешних много посвободнее, не столь стеснены цензурным наблюдением, а потому жнвые н занимательные. Как-нибудь проживу н выжду забвения сей крайне неприятиой истории.

Так н сделал, а ночью уже трясся в вагоие третьего класса, заняв верхнюю полку. Когда, укладываясь на покой, вздымал свое грузное тело на полку, она поскрипывала в железных скрепах, а нижний пассажир, смотря на закинутую над иим иогу, думал: «Штаиов попы не иосят, а белье, как у иас, мужеское!»

Отец Яков Кампниский был и хотел быть неложным свндетелем нстории; но быть ее участником не входило в его жизненные планы. Со стороиы всегда виднее, и сужденне человека стороииего всегда спокойнее и справедливее.

ИТОГИ

Подошла к концу третья иеделя изумнтельного отдыха. Самое простое казалось Наташе сказочным: березовые рощи, где только что появились грибы — крепкне, малоголовые, толстоногие, которые и брать жалко, н не брать невозможио; красно-золотые листья на лесных опушках, летящая нить крепкой паутиины и деревенский покой, ничем ие рушнмый.

Раньше это было обычным и знакомым — но раньше, до отлета нз родного дома н до выхода иа подмостки жизнн; затем все, что в детстве было любимым, виезапно н будто бы иавсегда завалилось мусором обрушенных зданий и обрывками страшных, недоговорениых слов, затянулось топкой тиной недобрых чувств н покрылось пеплом жертвеииых костров. Потом — долгая тюрьма — как сои без надежды на пробужденье. Потом — иовое чудо, но все еще в плоскости той же суетливой и суматошиой пляски на краю кратера. И вот, иа исходе последнего напряжения сил,— вдруг сразу — тишнна, ничем не возмутимый покой н твердая уверенность, что край бездны остался позади и свершилось чудо возврата к простой, полноцеиной, иастоящей жизни — к природе, ласковости леса, легкому духу полей и ясности бытия.

Что дальше?

Дальше — новый путь в иензвестное, ио не по мостовым города и ие через толпу людей, а через мудрые пространства России — к сказкам чужих земель. Остановить на этом пути никто ие может: если чья-нибудь рука подымется на такое преступле-

ние,— тогда эта, здешняя, жизнь пресечется и путь отклонится в полное небытие. Ни минуты не медля! Ни о каком ином выходе не думая! Не надеясь ни на какую новую удачу! И потому не страшно: пережитое не вернется.

Заботиться и думать не о чем: теперь о ней должны заботиться друзья. Наташа знала, что часть беглянок уже сплавлена за границу, с ними Анюта. Трем не повезло: они были арестованы в первые же дни, в их числе младшая из всех — больная Елена. Этот арест так напугал, что для Наташи готовили самый дальнйй и сложный путь, на котором труднее ждать роковых случайностей. О том, где она скрывается теперь, знал только один верный человек; пока ее запрятали во владимирскую деревню, и она жила здесь в семье простых, далеких от политики людей, пила молоко, уходила в лес по грибы, а больше лежала на траве и вела беседы с небесными барашками.

Наташа с удивлением вспоминала, что за все три года тюрьмы ей не пришлось думать о себе, о своем прошлом, о возможности какого-нибудь будущего и вообще о том, что же за жизнь она себе создала и как это случилось? Только в дни ожидания казни в Петропавловской крепости ее мысль работала поспешно и отчетливо, но как-то уж слишком отвлеченно, почти литературно, не столько для себя, сколько для других. Годы тюрьмы прошли в незаметном однообразии, бездумно, на людях, без всякой пользы и без всякого смысла. Принималось за несомненное, что вот она, как и все они, как еще многие,— жертва безобразного и жестокого произвола властей и что когда-нибудь эта власть будет свергнута, и тогда для них и для всех начнется новое и светлое существование. Так что судить себя не приходилось и, уж конечно, не приходилось в чем-нибудь каяться и о чем-нибудь в прошлом сожалеть.

Теперь ей двадцать четвертый год, и она опять на свободе. Лишить ее этой свободы нельзя, потому что тогда она лишит себя и жизни. Ну хорошо. А зачем ей жизнь и что будет дальше?

Опять партия, подпольная работа, террор, тюрьма и ожиданье казни? Это совсем невозможно! Не потому, что не хватило бы сил, а просто потому, что все это уже было, и повторенье не принесет ничего, не даст даже тени прежних ощущений. Побег приподнял и расшевелил нервы; это было и ново, и очень красиво, почти гениально по своей кажущейся простоте. Чувство победы — почти наслаждение искусством! Но прошло и это. Дальше?

«Кто я такая и чего я хочу?»

Она не могла найти в себе ни одного определенного желания. Знала только, чего она не хочет и не может: опять лишиться свободы.

Тогда она стала думать о прошлом, и не о себе, а о людях, с которыми связывала свою судьбу. Первым вспомнила Оленя, с чувством глубокой приязни и настоящей благодарности. Может быть, и не сложный, слишком прямолинейный и уверенный,— но какой он был цельный, верный, какой настоящий человек! Вокруг него — все на голову его ниже; одни были преданы ему,

другие шли вслепую, н еще нные могли быть с ним или против иего. Были революционеры, обыватели н авантюристы. Иные аскеты н великомученики, другие — прожигатели жизнн н игроки. От святых в своей вере н вериости, как погибшие Сеня и Петрусь, «братья Гракхи»,— до стоящих на границе между подвигом и предательством, как тоже погибший Морис, и дальше — до тех, которые под предлогом конспирации кутили по ресторанам, сорили деньгами н прикрывали лозунгамн революции н максимализма личную распущенность. Между нравственио допустнмым и иедозволениым стерлась граннца; одни нз разбойников сораспяты со Христом, а другие, катясь дальше по наклонной плоскостн, дошли до предательства.

Из сподвнжников Оленя уцелели очень немногие; часть их пытается теперь раздуть последнюю нскру иекогда пылавшего пламени. Но их судьба предопределена: или гибель, теперь уже иапрасная, или уход в обывательщину. Нет за нимн ни массы, ни общественного сочувствня, ни даже прочиой группы: последние могикане!

И еще думала Наташа о том, что н сама она была увлечена не далекими мечтаниями о счастье человечества (какого такого человечества?) или о благе русского народа (она зиала только крестьян деревни Федоровки!), а тоже игрой в жизнь н смерть, краснвостью очень уж неравной борьбы. Ей были скучны отвлечеиные рассуждения — ее влекло действие. В девятьсот пятом году оиа видела в Москве баррнкады — это было нзумительио, совсем как в исторнческих романах! И на тех же улицах видела жестокую расправу с защитникамн баррнкад, пожилыми н молодыми рабочими, н со случайными обывателямн. На льду Москвы-реки видела много трупов н видела пожар Пресни. Нельзя смотреть на это равнодушно, можио быть либо с теми, лнбо с этими! Но н вопроса о выборе не могло быть для нее — он был заранее решеи молодостью и прямодушием: с сильными духом — протнв сильных оружием! С бунтом против того «порядка», который делает бунт нензбежным и ндейно его оправдывает!

И дальше — как со снежной горки, без возможности оглянуться н остановнться,— день за днем н словно бы в ясном созиании,— а в полусне, в ненастоящем,— пока санки не перевернутся и ие перекувырнется мир. Так и случилось. И вот она повнсла над пропастью, где уже лежали разбнтый Олень н еще многие.

Она спаслась и живет — но это уже совсем другая Наташа! От рязанской девушки — только темная коса и голубые глаза. Ощущение такое, словно между бровями врезалась глубокая морщииа, а за плечами мешок, иаполненный песком. Уже иельзя вполне слиться с мнром н в нем раствориться, как бывало раньше. Теперь мир — особо, и она — особо н смотрит иа него издали и с недоверием.

Может быть, теперь начнется жизнь новая. Но пока она придет, нужно долго пробыть только зрителем, не делаясь участником.

Как хорошо начинать с деревенского отдыха! Еще несколько дней — и он кончится. Тогда — в путь!

В ПУТИ

Даму в черной вуали, молодую вдову, никто ие провожает. Она едет в отдельном купе спального вагона и выходит в Нижнем Новгороде. Носильщик несет за ней иебольшой чемодан, обернутый в парусину. Извозчик везет ее на пристань пароходства Курбатовой, где оиа занимает каюту первого класса.

Прекрасный и сильный пароход, но буксирный: за ним бежит огромная желтая баржа — от Нижиего до Перми. Такими пароходами плывут только те, кто не торопится или очень экономен. Поэтому классных пассажиров почти нет. Зато превосходный буфет — гордость пароходства. Стерлядь подается на большом блюде, по желанию — развариая или кольчиком. На пристанях долгое ожиданье: сначала пароход с необыкновенным искусством и точностью подводит к пристани баржу, затем пристает к барже сам. У пассажиров достаточно времени, чтобы погулять по берегу, побывать в приречном городке или местечке, купить полную наберушку ягод, выбрать не спеша арбуз с красным вырезом.

Траур дамы — невинный маскарад, привычка к таинственности. Здесь никакой маскарад ие нужен, так как не от кого прятать лицо. Поэтому, пользуясь последними теплыми днями, дама оказывается в летнем платье, совсем не модном, из домоткаиой холстинки с вышивкой крестиком; платье ей очень идет и молодило бы ее, если бы и без того она не была очень молода. На шее простые бусы, на голове голубой шарфик, под цвет глаз — чтобы ветром ие трепало волосы.

С первого момента в нее влюбились два пассажира первого класса: судебный следователь и старший приказчик чайной фирмы. Следователь едет с женой, которая его ревнует; приказчик одинок, свободен, но застенчив; за обедом, за ужином и среди дня ему подают замороженный графинчик водки и иа закуску раков. Он пьет, но застенчивость его не проходит.

В Нижнем дама, еще не расставаясь с вуалью и не выходя на палубу, из окна пароходной рубки простилась с берегами своей родной Оки; теперь пароход режет желтоватую и радужную от нефти Волгу; затем будет Кама — стальная, многоводная и немного мрачная. Вместо обычных трех суток буксирный пароход тратит на перегон пять. Для того, кто не спешит, не любит тесиоты и ценит хороший буфет, такой неторопливый путь по реке — настоящее наслаждение. По вечерам уже холодно, но днем, при солнце, не хочется уходить с палубы. Пароход делает один из своих последних рейсов.

В Пьяном Бору трехчасовая остановка. С палубы влюбленный приказчик видит, как дама в голубом шарфике по-мальчишески карабкается вверх по обрыву крутого берега — к лесу. Робость

ие позволяет ему последовать за ней, да это и неудобно для представителя известиой чайиой фирмы. Следователь покупает на пристани наберушку белых грибов — повар приготовит. За следователем зорко следит жена.

Наташа наверху, над рекой, на опушке векового бора. Оттуда пароход кажется маленьким, а река — беспредельиой иаправо и налево. Целый лесной и водяной мир, удивительно красивый. Это уйдет и, может быть, никогда не вернется.

Она ложится на нагретую солнцем и все-таки прохладную осеннюю траву и не знает, плакать ей или смеяться. Она сразу и несчастна, и счастлива, и она ужасно одинока. Она рада, что путь ее долог — через Снбирь и Кнтай, океаном и морями в Европу — совсем необычный путь, на котором теряются всякие следы. Может быть, такая предосторожность излишня или даже опасна — путь дальше, и в нем больше случайностей,— но зато можно долго прощаться с Россией, которую она так плохо знает и впервые видит по-настоящему. Она, пожалуй, согласилась бы ехать так всегда и ехать никуда; но радостью созерцанья не с кем поделиться, а в минуту раздумья — некому поведать сомиенья.

Она входит в лес и слушает тишину. Много грибов и целые заросли брусники. Лес хвойный и стоит, как стоял всегда, никем не чищенный и не рубленный. Вероятно, тут миого зайцев, а может быть, водятся медведи. Лес не ласковый, как в средней России, а строгий и серьезный.

Она повертывается, чтобы идти обратно к обрыву,— но не уверена, правильно ли идет: в густой заросли нет просветов, а солнце стоит высоко над верхушками деревьев. А вдруг она заплуталась? Как все прикамскне леса — и этот тянется на сотни верст без едииого жилья. Но если даже она выберется — тем временем пароход уйдет, и она останется без деиег, без бумаг и в невозможности открыть, кто она такая и куда едет.

Она, всегда такая смелая и спокойная, пугается безмерно и хватается за грудь. В эту минуту слышит первый свисток парохода, совсем слабый и отдаленный. Это — спасение! Она бежит на звук — и деревья редеют просветами; она была только в сотне шагов от опушки и обрыва. Как страшны здешние леса!

Пароход снова гудит, созывая пассажиров, и Наташа, еще раз оглядев горизонт, почти скатывается вниз, презирая крутизну, и приходит на пристань одной из последних,— перепачканиая травой и глиной. Приказчик, набравшись храбрости, заговаривает:

— Изволили побывать на самом на верху-с?

Наташа весело отвечает:

— Изволила. Там так хорошо, что уходить не хотелось.

— До Перми едете?

— Еду до Перми.

— Катаетесь для-ради удовольствия?

— Катаюсь.

Приказчик хотел еще прибавить «погода отменная» или «прекрасный воздух», но передумал и сказал:

— Нынче можно кушать пьяноборских!

— Кого?

— Пьяноборских! Здесь раки первый сорт, на всю Россию.

Наташа, думая о своем, говорит:

— Да, это хорошо!

— Да уж чего же лучше-с! Сейчас икра внутре!

Чтобы не рассмеяться, Наташа спросила:

— А откуда такое название — Пьяный Бор?

— От горы-с. Такая тут гора, по-татарски Пень-джар. А по ту сторону реки другая гора, и называется Девичья гора. Будто жили две девицы, одна на этой горе, а другая на той, и будто по утрам они передавали друг дружке гребень. Такие богатырские девицы. Однако одни только россказни, а быть того не могло.

— А почему же все-таки — Пьяный Бор?

— Вернее всего, от ягоды. Тут растет такая ягода. Кто поел, тот и пьян. Вроде дурмана. Конечно — название несообразное.

Ночью на перекатах красные огни, а иногда из темноты рождается костер встречного запоздалого плота — гонят его откуда-нибудь из Чердыни, и он вьется по реке змеей. Или беляна, огромный плавучий замок, сложенный из свежего теса,— и вот, осветившись на минуту пароходными огнями, он ныряет в темноту белым кружевным призраком.

На пятые сутки — Пермь, и, без передышки, опять поезд. Жалко проститься с рекой, но впереди Урал, и в этом большое утешение.

Сдав свой чемодан носильщику, дама в трауре сама берет в кассе билет до Иркутска. Рядом с окошечком кассы стоит жандарм. Очередь невелика, и жандарму нечего делать; он рассматривает даму и лениво думает: «То ли по мужу, то ли маменьку схоронила; видно — нездешняя; сейчас публика с парохода».

Вагон ровно постукивает на каждой скрепе рельс. Рельсы проложены то по черной и жирной земле, то по горным породам. Все, что есть на земле дорогого и прекрасного,— все родилось и добыто из земли: деревья, цветы, алмазы, платина, мрамор — все, что живет и что считается неживым. Рельсы бегут над источниками жизни и неисчислимых богатств. Земля вздрагивает, и в ней вздрагивают руда и каменный уголь, откалывается многоцветная яшма, круглятся почки малахита, слоится слюда и, притворяясь серебром, крошится свинцовый блеск. Рядом с топазом поблескивает зелено-золотистым огнем красивейший из камней — мягкий хризолит и вдруг вспыхивает в своей порочной трещине красным заревом, более красным, чем блеск граната. Все это попряталось под корни кедров, елок, пихт и кустарников, купается в подпочвенных водах и мелким песком сбегает по руслу бесчисленных ручейков.

Это — Урал. Это — Россия, знакомое слово огромного и неясного смысла. Наташа смотрит в окно вагона, и перед ней быстрым парадом мелькают лиственницы и старые ели, а за ними,

иа дальних планах, ие спеша проходят и округло повертываются отряды других хвойных.

И в первый раз с полной ясностью Наташа понимает, что ее молодость была погоией за ничтожным, иезиачащим и ненужным. Потому что все равио, какой человек подписывает листок бумаги в комнате большого города и что в этом листке иаписаио казенным канцелярским языком. И совсем иеважно, о чем совещаются люди в обшириой зале и кто кого берет за горло и швыряет в яму. И иеважно это, и иенужио, и смешио. Можио закрыть глаза, лечь, спать день и иочь, дни и иочи,— а деревья будут так же мелькать, горизоиты медленно меняться, вершины холмов и гор поворачиваться иа оси и уходить за край окоиио-го просвета. Извиваясь, поезд сойдет в низкую долину, скользиет мимо жилых мест, задержится у станции — и побежит опять, звонко отсчитывая мосты и ныряя в туннели.

Это и есть Россия, придуманиое имя, ие народ, ие государство, а необъятиое пространство лесов, степей, гор, долин, озер и рек.

Кто-то простер руки в пространство и говорит: «Оио мое!» Но ои не может обхватить даже ствола одной сосны, его пальцы ие сойдутся! И если все миллионы людей, живущих в страие, возьмутся за руки и образуют цепь,— они охватят только одии из ее лесов!

И вот этот бескрайний край хотят осчастливить, обиеся его точными границами, назвав его государством, посадив иад ним правителей, дав ему парламент, оскорбив его сравнением с европейскими карликами! Разве можно им управлять, писать для него законы, строить тюрьмы и думать, что вот имеиио этот костюмчик ему впору и к лицу! Детская наивиость! Как страиио, что ни она, Наташа, ни Олень, никто из их друзей и их врагов об этом ие подумали! Может быть, тогда они не захотели бы умирать и убивать, удобряя телами слишком ничтожный кусочек земли?

От Челябинска, где пересадка, начинается Великий Сибирский путь. За Уралом чувствуется близкая зима. Поезд из России пришел, ио до его отхода еще много времени. Дама в пальто и трауриой шляпе рассматривает в станциоиием киоске вещицы кустариого изделия: литые из чугуна фигурки, тарелочки, пепельницы, статуэтки, подсвечники. Рядом с ними — коробочки из яшмы и малахита, печатки из гориого хрусталя и дымчатого топаза, горки уральских камушков, Евангелие из куска соли, мужичок из мха и еловых шишек, сибирские туеса из бересты с блестками фольги и еще много красивого и любопытиого. Нужно купить что-нибудь иа память и потом, за границей, смотреть с умилением. Наташа берет ажурную тарелочку и чертика с иеобычайно длинным хвостом, показывающего иос. За спиной слышит мужские голоса:

— Это — каслиискнх заводов?

— Тут и каслинских, и кусиискнх. Все иаши кустари, а отливают по хорошим моделям. Не бывали в тех краях?

— Проезжал, а бывать не случалось.

— Ежели доведется — обязательно загляните. Простые мужики — а вон как работают. И в Европу посылают! Любо-пытно!

Разговарнвают высокий пожилой человек в теплой дорожной куртке н сапогах н толстый священник в какой-то несообразной хламиде поверх рясы: не то — пальто, не то — дамский салоп. Лнц Наташа не видит.

— А вы, батюшка, видно, хорошо знаете Россию?

— Хорошо ее знать невозможно, велика. А конечно — много покатался по малым моим делам. Вот н в Снбирь еду, н там живут люди. Мир велик, а жизнь наша коротенькая, всего не пересмотришь. А вы в Иркутске не задержитесь?

— Только на неделю; меня ждут за Байкалом члены нашей экспедиции.

Расплатившись за вещицы, Наташа отошла от киоска. Господин в куртке вежливо посторонился, потом сказал собеседнику:

— Приятное лицо! И довольно краснвое.

И вдруг с удивлением заметил нспуганные глаза н открытый рот священника.

Слово замерло на устах отца Якова. То ли ошибка, то ли подлиный кошмар, а то ли — она и есть, Сергея Павловича беглая дочь!

Сильно покраснев, отец Яков пробормотал:

— Лнцо... действнтельно, поистнне примечательное! Особа заметная!

Распахнул хламиду, вынул клетчатый платок н вытер нос, повлажневший на холодном воздухе.

СПУТНИК

В купе второго класса спутником Наташи оказался господин в серой дорожной куртке н высоких сапогах. Сразу познакомились, и он назвался Беловым Иваном Денисовичем. Едет в Иркутск, потом в Монголию. Наташа сказала, что едет тоже в Иркутск к родственникам н что в Снбнри она в первый раз.

— А вы — снбиряк?

— Нет, я родом саратовец, а еду в командировку, с научной экспедицией.

— Вы — профессор?

— Да, я геолог.

Рассказал, что в Снбири бывал много раз, бывал н на Амуре, и на Крайнем Севере, н в ведомых н неведомых местах; а теперь предстоит очень интересное путешествие: в Среднюю н Южную Монголию, через Центральную Гобн на озеро Куку-Нор.

— Вам эти имена ничего не говорят?

Наташа призналась, что ничего.

— Места удивительные и почти совсем не обследованные.

— Гоби — это, кажется, пустыня?

— Это, скорее, целая область пустыиь в Нагориой Азии, от Памира до Китая.

И ои словоохотливо объяснил, что есть большие пространства песков, иазываемые Та-Гоби, и есть малые — просто Гоби, и еще есть Гоби с особыми иазваниями. Но ие вся Монголия — пустыия; есть в ией степи, горы, озера, места по природе прекрасиые. И есть в ией мертвые города, где когда-то жили люди, а теперь одни развалины. И культура там была довольио высокая.

Рассказывал интересно, и было видио, что для иего в таких путешествиях и изучениях — основной смысл жизии и главиая ее примаика. Ему было приятио, что нашел внимательную слушательииицу, хоть и совсем иесведущую, ио способиую понять.

С деликатиостью человека, вообще ие привыкшего болтать о личных делах, Белов ие расспрашивал Наташу, почему оиа едет в Сибирь и кто ее родственники в Иркутске. О себе упомяиул вскользь, что есть у иего жена и уже взрослые дети. Зато миого говорил о местах, через которые проходил поезд: о сибирских реках, о тайге, об охоте, о характере здешиих людей — совсем особеиием, более открытом, предприимчивом, широком. Мимо окои вагоиа пробегали горы, которые ои зиал, мелькали леса, о которых ои мог все рассказать, и ие как старый путешествеиииик, а как ученый, который со всем этим так же сродиился, как Наташа с деревией Федоровкой и берегом Оки. Старался говорить поиятиее и следил по лицу слушательиицы, занимает ли ее такой разговор,— и видел, что оиа слушает с живым интересом.

За путь от Челябииска до Омска успели подружиться и оцеиить друг в друге: ои — ее виимательиость, оиа — его зиаиия и милую простоту человека, который никогда ие бывает назойливым и рад быть полезным. По возрасту ои годился Наташе в отцы, ио ии разу ие позволил себе покровительствеииого тоиа.

На станциях Наташа выходила из вагоиа иеохотио. В Омске была долгая остаиовка, и они вышли вместе и пообедали в стаициоиием буфете. Заметио холодело, по ночам слегка морозило. Наташа была одета легко, рассчитывая обзавестись всем нужиым в Иркутске. Вероятио, оиа была единствеиным пассажиром, который ехал в такое дальнее путешествие с таким легким багажом: точио переезжала с дачи в город.

У самого вагоиа с ее спутником раскланялся толстый свящеиииик. Белов его окликнул:

— Ну как, батюшка, хорошо ли едете?

— А прекрасно, прекрасио! Вагои теплый, удобный вагончик. И местиости прелюбопытные! Страиа иаша обширная!

Отец Яков говорил издали, близко ие подошел. Наташа взгляиула иа иего — и в ее памяти мелькнуло то же лицо, ио в совсем иной обстаиовке. Что это за поп? Где оиа его видела? И ие только его лицо, а и голос его как будто зиаком. Меньше всего оиа хотела бы встретить здесь зиакомого человека; ио решительио ие вспомииала среди своих зиакомых священника.

Войдя в вагон, села у окиа. Под окном ее спутник разговарнвал с подошедшим священником, и до ее слуха донеслись слова:

— До новых мест я действительно жаден! И до мест иовых, и до новых человечков! Жизнь-то коротка, все нужно посмотреть!

И виезапно Наташа вспомнила огромный зал Государственного совета, места для публики, рядом — Оленя с моиоклем в глазу, а по другую сторону попа в лиловой рясе, с живыми любопытствующими глазками иа плотиом н мужиковатом бородатом лнце.

«Неужели — тот самый? Почему он тоже едет? Что за странная случайиость! Во всяком случае, неприятная!»

За долгий кружной путь Наташа привыкла к мысли, что теперь она уже вне опасности. Ее могут нскать где угодно, но, конечно, ие в Сибири! Еще может быть опасность на граннце, хотя н далекой, но случайность в пути как будто нсключена: слишком велика Россия!

Голос ее спутника говорил под окном:

— В Иркутске будем только в среду, батюшка.

— А мне что ж, я кататься люблю!

— На Байкал не собираетесь?

— А уж обязательно. Побываю, полюбуюсь красотой!

— Заходите в вагон поболтать.

— Забежать можно, хотя по положеиню моему — третьеклассный пассажир. А зайду, зайду ужо в пути.

Белов вернулся в купе, улыбаясь.

— Курьезный попик! Каких только у нас иет людей!

— Вы его зиаете?

— Я с ним еду от Самары, н на станциях беседуем. То ли — бесприходиый, то ли едет по делам. Говорнт — любит кататься и смотреть русскую землю. Дал мие несколько брошюрок своего пера; с собой возит. Занимается фольклором, разнымн местнымн примечательиостями. Напнсано плоховато, а занимательно; видимо, миого перевидал н все это любит. Вот придет сюда — поговорнте с ним, любопытный поп!

— Я не люблю духовенства.

— Да ведь что ж его любить... Но знаете, попадаются среди провинциальных, особенно среди сельскнх батюшек, н хорошне, и очень интересные люди. Есть даже замечательные учеиые. Вы вот проезжалн по Пермской губернии; там в одном селе жнвет простой священник, которого даже в Европе знают как талантливейшего математика. А вот вы, русская, вряд ли нмя его слыхали...

Поезд опять тронулся, и Наташа подумала, что с таким спутииком дорога не может быть утомительной.

ДОРОЖНЫЕ БЕСЕДЫ

Отец Яков мог бы чувствовать себя совсем счастливым: новые места, новые люди н красота природы несказанная — все,

что требовал его беспокойный, бродяжнический дух. В Самаре, куда он попал прямо нз Москвы, он отличио устроил свои малые дела н раздобыл денег гораздо больше, чем мог иадеяться. Там в земстве оказался пре-вос-ходный н про-све-щеннейший человек, сам по природе бродяга н страстный любитель разных бытовых примечательностей, которыми занимался отец Яков. Два вечера проговорили о Пошехонье, о тульских медниках, вяземских прянишниках, уральских кустарях, архангельских сказителях, владимирских офеиях, серебряных блюдах сасанидской династин, иайденных в прнкамских курганах, о теплоуховской коллекции, зырянах н вогулах, старце Кузьмиче н еще о миогом, что им было ведомо н дорого н о чем учеиые узиают только от местных простачков. В заключенне отец Яков не только прнстроил готовые статейкн, которым не нашлось места в столичных нзданнях, а даже получил аванс за две книжки, напнсать которые обещался незамедлительно: одна «По местным музеям Севера», а другая — «Дурачки, юродивые н кликушн по течеиью Волги от нстоков до устья». Удача исключнтельная! Впервые труды отца Якова былн оценены знающим н про-све-щеннейшим человеком! И еще было ему обещаио устраивать в трех газетках, в Самаре, Казани н Ннжнем, его будущие «Заметочкн землепрохода». Наконец, новый знакомый предложил свидетелю нстории хранить в своем архиве, в полнейшем секрете н в неприкосновенностн, все тетрадочки «Летописн отца Иакова Кампиского», каковые ои и должен отовсюду выписать, прнвести в порядок и передать в запечатанном виде, чтобы, в случае какого несчастья, все полностью осталось для потомства.

Это уж не просто удача, это — нстнинное счастье! И с деньгами в кармане широкой рясы отец Яков погрузился в поезд н направился по Великому Снбирскому пути. А в портфеле его прибыло много иовых н самонужнейших адресов н рекомендаций.

И в пути повезло: позиакомился с отменным ученым н приятнейшнм человеком, членом экспедицин в Монголию от Географического общества. Ехали, правда, в разных вагонах, но на миогих станциях встречались и вступали в беседу.

И лишь одно омрачило прекрасное настроение отца Якова: в тот же поезд села в Челябннске молодая особа, как будто та самая, которую он видел в Петербурге в высоком учреждеиии н которая очень уж была похожа на преступную дочь рязанского доктора, ныие находящуюся в бегах. Вот страиная судьба! От чего бежал — с тем и встретился! А если это оиа, и если ее в путн обнаружат н заберут, и если окажется тут же поблизости запрещеиный поп, передавший ей в тюрьму баночку варенья, н если сопоставят, что это он н пристроил в ту же тюрьму снроту Анюту,— хотя н не внноват он, а кто поверит, что все это является делом чистого случая? И так как безумная храбрость не была в числе добродетелей отца Якова, то на душе его было несколько тревожно: как бы не вышло непрнятиой историн!

И тревожио, и, однако, весьма пре-лю-бо-пытно! Можно бы

без труда задержаться в пути денек и поотстать,— но и загадку разгадать очень хочется! Может случиться, что раскроется она без всякого риска и жизненных осложнений. Впрочем, отец Яков и без того почти не сомневался, что с ним в поезде, печальным трауром прикрывшись, едет страждущего родителя отчаянное дитя. Кого видел раз, того отец Яков не забывал; а дочку Калымова, когда она была, правда, еще помоложе, отец Яков видел не раз, это только она могла его, попа, запамятовать, а он не из таких. И в Питере была она же парадной барыней, и тут она же в черной вуали! Ошибиться трудно!

После Омска, выждав контроль, отец Яков, всегда осторожный, спросил кондуктора:

— А что, милый человек, если пройду я в помещение второго класса повидать приятеля,— с билетиком недоразумения не выйдет?

— Отчего же не пройти, батюшка, пройдите, у нас не строго.

— То-то я думаю, чтобы штрафа не уплатить потом!

— Проходите свободно. Это которые едут зайцем, а вы лицо духовное.

Сообщения между вагонами не было, и на ближайшей станции, подобрав полы рясы, отец Яков занес ногу на лесенку вагона второго класса.

«Сам ты, поп, в огонь лезешь! А впрочем, может статься, что ничего особенного, а одно недоразумение».

В купе было двое — Белов и дама. Отец Яков поклонился, в глаза даме не глядя, и произнес с пермяцким оканьем:

— А роскошно, роскошно живете! Диваны мягкие и все удобства. Хороши наши дороги, говорят — лучше европейских.

— Присаживайтесь, батюшка. Вот и со спутницей познакомьтесь, тоже в Иркутск едет.

— Очень приятно! Яков Кампинский, священнослужитель и землепроход.

Наташа поздоровалась без особой приветливости.

— Удовольствия ради или родственников имеете в сибирской столице?

Спросил совсем как тогда: «Родственников имеете в Государственном совете?» И она ответила:

— Еду ненадолго к родным.

— А откудова изволите ехать?

Что она ответила ему тогда на такой же вопрос? Кажется, что она москвичка!

— Еду из Москвы.

Отец Яков прикинул в голове, что путь из Москвы словно бы попроще и нет надобности пересаживаться в Челябинске с северного поезда. Но дело не его, могли быть у молодой особы заезды в другие города.

— Вопрос нескромный — имели тяжкую потерю? Говорю в рассужденни печального наряда.

Назойливый, однако, поп! Наташа сказала, что у нее умер муж. Отец Яков выразил соболезнование, прибавив, что людям

посылается испытание, ио что годы приносят еслн не забвенне, то утеху в невознаградимой потере. Еще полюбопытствовал:

— По именн-отчеству как звать прикажете?

— Ольга Сергеевиа.

«Сергеевиа — это точио,— подумал отец Яков.— Но помнится, что скорбиый родитель называл Натулей, значит, Наталья. И однако, возможно и иедоразумение. Держится уверенно молодая особа!»

И вдруг оиа сама, прямо и без робости, сказала:

— А я вас, батюшка, кажется, раиьше встречала, только ие помню где. Словно бы в Петербурге на каком-то заседаиии. В Петербурге вы не бывали?

От неожиданиости отец Яков смутился и ответил уклончиво:

— Кто же ие бывал в сей столице! Град Петров н окно в Европу. По малым моим делам бывал повсюду, а где не бывал — норовлю побывать.

А про себя подумал: «А смела, смела!»

Прогромыхал мост, и заговорили о сибнрских реках, об Енисее н Обн, и о том, что река Лена в своем устье достигает ширины в несколько сотен верст, так что, собственно, и представить трудно: иа таком пространстве в Европе умещается целое государство. Белов рассказывал про озеро Байкал, как в большие морозы на нем замерзают при всплеске волны, да так и остаются замерзшимн громадамн до оттепели. Говорилн о рыбе кете, которая поднимается вверх по течению рек в таком несметиом колнчестве, что вываливается на берега и служит пищей разному зверью, о Приамурье, где знма суровая, а летом растет виноград н где в кедровых лесах, увитых лиаиами, водятся тигры,— н вообще о чудесах и богатствах Снбири. Все это Белов вндел, а Наташа н отец Яков постигали руссейшими своими сердцамн и, постигая,— гордились, что вот она какая, Россия, шестая часть света! В разговорах забыли про малые свон дела и личные беспокойства. И совсем нечаянно, увлекшись, Наташа сказала:

— А вот у нас, на Оке...

Спохватилась и добавила, что это ей рассказывали, как однажды на Оке, под Рязанью, поймалн мужики огромную белугу. Отец Яков и глазом не моргнул, только погладил бороду:

— Бывает на росснйских реках всякое, и однако, супротив сибирскнх они много помене.

Но в дальнейшем замолчал, а иа ближайшей стаицин, попрощавшнсь, пересел в свой вагон.

— Портфельчик там у меня остался, а народ садится всякий. И дело к вечеру — подремать в путн не грешно. Прощенья просим!

В стороне остался Томск, миновалн Красноярск, Каиск, Нижнеудинск и к концу многодневиого пути подъезжали к Иркутску. Совместное путешествне сближает, и Наташе казалось, что оиа давно н хорошо зиает Иваиа Денисовнча. Он ие только

интересный человек, а н удивнтельно тактичный. Много раз имел повод задать ей какой-ннбудь вопрос, на который ей было бы трудно ответнть, пришлось бы выдумывать ответ,— н нн разу он этого не сделал. Спросил только, где она училась; она ответила, что была на курсах в Москве н Петербурге, и больше он не расспрашивал. А между тем именно такому человеку можно, по-видимому, во многом довериться.

За час до приезда он спросил:

— Вы что же, останетесь в Иркутске надолго?

Она помедлила с ответом, потом сказала:

— Я и сама не знаю, Иван Деннсович, это не от меня зависнт.

Открыться ему? Наташа вдруг почувствовала, что здесь, в огромном крае, под чужим нменем, без верных друзей, с одним каким-то адресом в памяти (она не смела записать адреса), она одинока н беззащитна. А если адрес неверен, или этот человек уехал, или, еще хуже, арестован? И вдруг, от простой случайности, снбирскне просторы сузятся до четырех стен камеры, заграница опять станет смешным мечтанием, н опять появится на стене календарь с зачеркнутыми цифрами! И чудо нсчезнет н окажется сном!

Она повторила:

— Да, к сожаленню, это зависит не совсем от меня. Сама не знаю, что со мной будет.

Он промолчал, не расспрашивал, но посмотрел с любопытством. Наташа продолжала:

— Мне бы нужно ехать дальше, совсем дальше!

— Да куда же дальше? Во Владивосток? Или прямо в Китай? Вы н так далеко заехали от Москвы.

— В Москве мне делать нечего. Мне и нельзя возвратиться в Москву. Можно вам открыть одну личную тайну?

Он очень серьезно н очень участливо ответил:

— Пожалуйста, если вам нужно н если доверяете.

— Я вам вполне доверяю. Мы с вами знакомы мало, но вы такой человек, что невольно доверишься. Дело в том, что у меня в Иркутске никаких родственников нет и сама я не та. То есть я вовсе не вдова, и зовут меня нначе, и вообще... Одним словом... Вы не слыхали про побег двенадцати каторжанок из московской тюрьмы?

— Я в политических делах слаб. Но что-то, кажется, читал. Это было нынешним летом?

— Да, в нюле.

— Кажется, с помощью надзирательницы? Что-то довольно эффектное н очень удачное?

— Ну вот. Я, Иван Денисович, одна нз ннх.

Белов посмотрел с еще большим любопытством.

— Так. На каторжанку вы не похожи. Вот какая нстория...

— Теперь мне нужно уехать за границу. Там меня не решились переправить, а здесь хотят попытаться через Китай. Но у меня еще нет даже заграничного паспорта.

Помолчали. Потом он рассмеялся:

— А зачем вы об этом рассказываете? Пожалуй, не следовало бы!

— Я н сама не знаю зачем. Просто мне захотелось вам довериться. Вы такой человек...

— Болтать я, конечно, не стану. А вот чем же вам помочь? Средства у вас нмеются на поездку?

— Да, денег у меня достаточно, даже много. А мне нужно....

Что, собственно, ей нужно? Ей было нужно рассказать о себе этому пожилому, уверенному, внимательному и верному человеку — вот н все. А зачем нужно — она и сама не знала. Действительно, она поступила как девочка, взяла и покаялась! Все время одна со своими думамн н опасениямн, а тут еще этот поп... Что ждет в Иркутске — нензвестно, н рядом ничьей дружеской поддержки и помощи. Наташа смущенно молчала.

— В Китай, видите, проехать нетрудно, но каким путем? Вы как предполагали?

— Я ничего не предполагала. Я думала — просто с паспортом.

— Но ведь на границе есть же наблюдение. Может быть, вас узнают! Есть там своя полнция.

— Вот я этого н боюсь, хотя говорят, что здесь легче. У меня есть явка в Иркутске, может быть, мне устроят.

— Ну что ж, давай Бог. Вы, я внжу, смелая!

— Была смелая, а сейчас н сама не знаю.

— В случае чего, еслн не устроитесь, попытайтесь найтн меня. Я пробуду в Иркутске неделю, затем в Верхнеудинск, а оттуда наша экспедиция двинется в Монголню. Вы запншите мой адрес.

— Я запомню, я ничего не записываю.

— Ну, запомнните. И в случае чего... Надо вас как-нибудь вывозить.

— Вы правда мне поможете, Иван Денисович?

— Это уж не знаю, но ведь не пропадать же вам!

Подумавши, прибавил:

— Может быть, на Кяхту. Вы физически здоровы?

— То есть как? Я ничем не больна.

— Я насчет выносливостн. Верхом умеете ездить?

— Да, я ведь жила в деревне.

— Ну, деревня — это не то. Так вот, в случае чего — наведайтесь. А пока — не очень откровенничайте. Вы и отцу Якову думаете исповедоваться?

Наташа ответила серьезно н озабоченно:

— Ему — нет. Но я боюсь, что он знает больше вашего. Во всяком случае, я его знаю, он хорош с моим отцом н знал меня еще девочкой.

Как нн был удивлен почтенный геолог признаннем спутнницы, но прн этой новой неожиданностн удивился еще больше:

— Вон как! Ну, знаете...

ГОРОДОК БОЛТЛИВЫЙ

В Иркутске первый снег, хотя еще тепло. На другой день по приезде Наташа отыскала нужных людей и была встречена не просто приветливо, а почтительно, как героиня и революционная знаменитость. Ее неприятно поразило, что об ее приезде знали многие и, очевидно, большой тайны из этого не делали. Конечно, Иркутск не Москва, полицейский аппарат действует здесь медленнее, но и город меньше, так что новый человек больше на виду.

Прежде всего пришлось позаботиться о теплой одежде; в краю суровых морозов и пушного зверя это не оказалось трудным. Зато о главном, о хорошем заграничном паспорте, ей прямо ответили:

— Да откуда же взять? Здесь у нас невозможно, нужно было раньше позаботиться! Попытайтесь как-нибудь так проехать, но нужно хорошо знать дорогу, а зимой трудно. Да почему же вы избрали такой сложный кружной путь, через Азию?

— Ничего я не избирала, за меня избрали другие. Было несколько арестов при переходе границы, связи порвались, а ехать под чужим именем обычным путем мне нельзя, меня легко узнают. Вот и придумали, что я поеду через Дальний Восток, где уж, конечно, никто меня не выследит, и что вы достанете мне хороший паспорт.

— Невозможно! У нас теперь совсем другие условия! На восточной границе надзор строгий, многие бегут с каторги и с поселения. А главное — зима, время неподходящее.

Наташа не на шутку рассердилась: выходит, что товарищи ее подвели и только сбыли с рук. Не оставаться же в Сибири и ждать здесь ареста! При здешней простоте революционных нравов через неделю весь город узнает о посещении его такой «важной особой»! Или ехать дальше по таким же адресам, от этапа к этапу, пока не окажешься в ловушке.

В хлопотах прошло дней пять, и дело не двинулось. Мало того, ее предупредили, что нужно быть осторожной и меньше показываться на людях; и относительно ночлега затруднительно. Жить в гостинице, конечно, нельзя, а частные квартиры тоже небезопасны. Это прежде было просто, а сейчас все переменилось. Главное — нельзя вполне доверяться людям.

Однажды встретила на улице своего попутчика, отца Якова, который сразу ее узнал, хотя она и прятала лицо в мех новой шубы.

— Вот Господь-то и привел встретиться. Каков город-то, прекрасный городок! И, однако, морозно-морозно!

На отце Якове была огромная, не первой молодости доха и высокая меховая шапка. Нос его был краснее обычного.

Наташа, поздоровавшись, хотела пройти, но отец Яков преградил ей дорогу и быстро и путано заговорил, опасливо оглядываясь по сторонам:

— И не велик город Иркутск, а все же — сибирская столи-

ца! Народец хорош, основательный, но н поговорнть любнт. И лишнего тоже немало говорят! Сейчас посетил редакцию местной газетки н наслушался там всякого. И знают все, н болтают про все: кто прнехал, да зачем прнехал, да кто куда собнрается,— народец любопытствующий н болтливый. Осуждать не хочу, однако нехорошо!

— Про кого болтают, батюшка?

— Про разных людей, про всякого человека. Мне-то ничего, а нному, например, н неудобно. Иной, может, и не хотел бы. И не со зла болтают, а по крайнему легкомыслню, однн другому по секрету, а тот следующему. Такой городок — провннция! А глядишь — что-нибудь непрнятное н выйдет. Хотя дело, конечно, не мое. Ивана-то Денисыча, содорожника нашего, не видали?

— Нет. А он еще не уехал?

— Должен быть здесь, а точно знать не могу. И однако — прошу прощенья, что задержал. Прнятно было встретиться! Городок, говорю, хорошнй, а заживаться в нем не для всякого нитересно.

Низко поклонился, сняв н снова нахлобучив шапку, н заспешил, шаркая огромнымн кожаными ботами.

Наташа удивилась: «Зачем он рассказал про какую-то болтовню? О ком? Не обо мне же? Странный поп!»

Вечером пошла по адресу, который дал Белов. Застала его дома за укладкой чемоданов н каких-то вьюков. Он встретил очень приветлнво.

— Ну, как ваши дела?

— Плохи, Иван Деннсович. Потому н прншла к вам.

— Без этого не пришли бы?

— Мне по гостям ходить неудобно, вы знаете.

— Но все-таки — как же?

— Помогите мне.

— Я так н ожидал. Геройскне подвнги — это одно, а деловые хлопоты — другое. Значит, окончательно ннчего не получается?

— Окончательно. То есть ничего определенного. А ждать я не могу.

— Понимаю. Тут, между прочим, ко мне забегал этот поп, отец Яков, н что-то болтал не очень связное насчет городских сплетен, что нной н под чужим нменем не может скрыться н что таким людям лучше здесь н не жить. Я подумал — не про вас лн он говорит? Может быть, что-нибудь слышал, а прямо сказать не может.

— Он н мне то же говорил, я его встретила.

— Ну вот видите. Это он неспроста — поп хнтрый. Болтается по редакциям, а там всякие слухи ловит. Лучше вам уехать.

— Я затем н прншла.

Подумавши, Белов спросил:

— А вы языки-то знаете?

— Только французский.

— Ну, хоть это. Как же я вас должен теперь звать?

— Зовите меня просто Наташей, коиечно, не при других.

— Ну, Наташа, только условие: чтобы никто ничего ие знал, особеино нз ваших здешних друзей-заговорщиков! Обещаете?

— Конечно.

— Это — в ваших же нитересах. Я о вас тут думал и соображал. Окончательио выясним по пути; может быть, до Кяхты выдадим вас за ннностранную туристку, там увидим. Но вам иужио хорошо экипнроваться, путь трудный; это стоит недешево.

— У меня деиег хватит. Значит, вы меня берете с собой?

— Да ведь куда же я вас дену ииаче? Приходится. Выедем завтра, пробудем иеделю в Верхиеудииске н — в окоичательиый путь.

— Куда?

— Как куда? В застенный Китай, через Гобн,— а там, куда хотите.

— Как же я проеду?

— Проедете просто, с экспедицией. Вам об этом думать не придется и беспокоиться иечего. Только — полнейшая тайиа, чтобы н об отъезде вашем иикто ие знал! Решеио?

— Я вам так благодариа!

— За это вы мие потом все о себе расскажете.

— Хоть сейчас!

— Нет, потом. Ну — давайте руку. А теперь поговорим серьезио о делах хозяйственных.

Мниут за десять до отхода поезда по станцин металась грузная фигура в допотопиой дохе и боярской меховой шапке; пробежала всю платформу, стараясь заглянуть в окна вагонов. Но окна вннзу были покрыты морозным узором, и фигура иапрасио подпрыгивала, распахивая полы шубы. Накоиец ие без труда, едва ие потеряв глубокую кожаную калошу иа обледенелой ступенн, отец Яков проинк в вагон второго класса.

— А успел все-таки, успел! Думал — уж и ие найду, а успел. Почтениому учеиому пожать руку на дальний путь и пожелать удачи в достижениях.

— Спасибо, батюшка. А вы что же, остаетесь? Или иа Байкал?

— Побываю, побываю, если Господь доведет, ио сейчас иеспособио; а попросту сказать — малоденежно. Вот иа вас же заработаю, тогда и прокачусь.

— Как это, иа мне заработаете?

— Опишу счастливую встречу для газеток. Публика-то иитересуется экспедицией, а мы, газетчики, пользуемся. Дурного ие иапишу, а приятиым зиакомством похвастаюсь и кое-что из разговоров, если ие воспретите.

— Сделайте одолжение, батюшка, мы из поездки секрета ие делаем.

Второй звоиок. Отец Яков еще раз жмет руку геолога и растеряиио оглядывается.

— То ли показалось, то ли и вправду видел издали иашу прошедшую спутницу. Думал и ей откланяться.

— Разве? Не знаю, не заметил.

— Зиачит, ошибся!

Еще есть минут пять времени. Тяжелая доха бежит бочком через соседний вагон. У окна — фигура жеищнны, закутанной в серый мех.

— Боюсь обознаться, а кажется, и ие ошнбся?

Наташа недовольно повертывается.

— Ах, это вы, батюшка? Тоже едете?

— Ехать не еду, а вот провожал бывшего содорожника в дальний ученый путь да и вас увидел случайно. Пожелаю н вам желаемых достижений и приятиого путешествня.

Наташа протягивает руку:

— До свиданья, батюшка!

— Уж где же до свиданья, правильнее сказать — прощай, надоедлнвый поп Яков! И, однако, хотел прн последнем момеите знакомства нескромно вопросить, нзволили ли в свое время получить баночку вншневого варенья?

— Какую баночку?

— Малая баночка, вишня без косточки, ваша любнмая! А привез ее единожды нз города Рязани запрещенный поп Яков Кампинский от страждущего родителя.

— Я не понимаю, батюшка.

— А понимать сейчас и не нужно, потом поймете. От страждущего родителя Сергея Павловича — родной дочери в мрачную темницу. Тому назад месяца четыре. Однако лишь к слову иапомнил, чтобы знали, что встречный поп — не враг, а истинный друг. И затем — прошу принять прощенье!

Наташа растерянно опять подала руку.

Послышался третий звонок. Отец Яков совсем заторопился, подобрал полы н уже на ходу крикнул:

— Анюте-то, Анюте кланяйтесь; ежели встретите где! Покойиого друга дочь, знавал дитятею!

Неуклюже вывалился на площадку вагона н сошел почтн на ходу, шаркая калошамн по холодному камию.

Вагоны прошлн мнмо него, но в окна ничего видно не было. Отец Яков постоял, пропустил весь состав поезда, запахнулся потеплее н побрел к выходу.

«А успел, успел. Конечно — не сдержался поп, выдал себя с головой! И все-такн — будет прнятио узнать страждущему родителю, еслн еще доведется с ним свидеться. А по совести сказать — случайность прередкостная! Лю-бо-пытно!»

РУБИКОН

Красота мнра открывается человеку одии раз; только очеиь счастливому — повторно, н очень несчастиому — никогда. И когда она предстанет перед глазами,— человек уже не тот: из профана ои стал посвященным.

С этой поры мерилом всех ценностей будет для него виден-

ное: для высоты — гора, для дали — море, для игры света — прозрачиый воздух. И это на всю жизнь: вспомниать в счастье, в иесчастье, в праздник и в серые будни, с открытымн и с закрытыми глазами. Едииствеиное богатство, которое не растратнтся.

Холодная Ангара, нзумительный Байкал, потом сразу — кочевья, зиачит, бывает и такая жизнь, а номалы — тоже люди; дальше — живая картииа застывших в иедвижности веков и культур; человечкн, живущие крохамн быта и безграничиого созерцания, н их трупы, выброшеииые голодным собакам; серые куропатки вблизн монгольскнх жилищ, иалетающнй на инх в безмолвнн хищный сокол, и сиова сиеговые дали, окрашенные огненным золотом, и на песках, кажущихся в морозе горячимн, странное свящеиное сооружеиие нз камней и сухих древесиых ветвей с нанизаииыми иа них бараньнмн лопатками и лоскутами цветных матерй.

Гориые хребты, томнтельиые перевалы, одиообразный путь, иочлеги, каких иикогда ие представляло воображение, длиная цепь верблюдов, иепоиятная и иеодолимая сонливость при легком, здоровом дыханин, спуск, подъем и опять — спуск, подъем, и вдруг, с высоты Толой-готу, открывается строгая красота горы Богдо-ола, в восьмидесятн ущельях которой, в высокоствольных лесах и иа пестрых полянах — рай зверей и птиц, охраияемых строжайшим запретом их касаться и иарушать их покой и радость. Повернть ли? Человек, тот самый человек, который убивает и уничтожает все живое и иазывает это культурой,— вдруг этот человек, пав ниц перед красотой, понял, приказал и исполиил: да будет жнзнь лесов, птиц и зверей священной горы — свята и иепрнкосиовеина! Это случилось два века иазад — и осталось доиыне. В глубиие горы Богдо-ола моиастырь в честь Манчжурши́ — бога мудрости.

Все иеобыкиовенно — с минуты выезда до конца пути, так ярко, что не может быть сном, хотя разве это — действительность? Все совсем ниое, а той, прежней жизнн иет и словио бы не было: когда учились по кннжке, питали в себе любовь н иенависть по указаииому трафарету, гибли по программе и мечтали о том, что ие стоило мечтаиий; жили без мудрого углубления н без расчета по векам — только злом и благом сегодняшиего дня.

Выехали в морозный день, в кибнтке, на быстрых лошадях, и так — до пограничного китайского городка, откуда выплыли уже кораблями пустыии. Заннделые, укутаиные в меха фигуры иа спниах малеиьких выиосливых лошадей, тоже белых от инея. Позади караваи верблюдов с огромными, мерно качающимнся вьюками. Разговаривать и ие о чем, и невозможио: только иа прнвалах, если сои одолеет не сразу.

О чем они говорят? О горных породах, о барометре, о том, что нынче видели орлов н грифов, жестоко дравшихся из-за добычи, н что огромная стая птичек иа свободных от снега лощииах — иесомненио жаворонки. Как? Та самая иевидимая птичка,

которая в знойный день поет высоко в небе над полями ржи? Наташа на минуту вспомнила свою Федоровку — но только на минуту. Тот мнр ушел — н был он совсем маленьким н ненужным. А еще на стоянках разбирали и рассматривалн находкн, подаркн и покупкн: ходак — плат счастья, подаренный в напутствие экспедицин буддийским хамболамой, целый мешок палеозойских окаменелостей, найденных в урочище Шара-Хада, чучело белой полярной совы и с трудом прнобретенный буддийский молитвенный колокольчик. Как дети любовалнсь вещами и вещичкамн, а говорилн о ннх серьезно н знающе.

До граннцы застенного Китая была еще Россия — та самая, что на запад уходила за Варшаву. Но Наташа уже не нспытывала беспокойства: прежняя жизнь ушла. Даже н не расспрашивала, как это будет? Еще в поезде, когда ныряли в туннели, огибая Байкал, Белов сказал ей:

— Вам вообще не о чем думать и беспоконться. Вы — под нашим высоким покровительством!

— А не доставлю я вам неожиданных хлопот и непрнятностей?

— Говорю — не думайте. Проедете не только просто, а и с почетом. Смотрите по сторонам, а думать и говорить за вас буду я.

И действительно — никто ни о чем ее не спросил, н она даже не заметила, в каком месте форма русских чнновннков сменилась красным шариком на шляпе монгольского цзангнна, начальника почтовой станцин. Всю первую неделю, от Верхнеудинска до Кяхты, она ехала в нанятой для нее кибитке, как случайная попутчица экспедиции, в огромной шубе сверх полушубка и в сибирских пимах. Дальше, уже на монгольской земле, Белов познакомил ее с товарнщами по путешествию, и ннкто не удивился, что она — русская н едет через Ургу куда-то к своим родным, живущим под Пекином. Эти люди, занятые каждый своим делом, привыкшие ко всяким случайностям н встречам, были вежливы, приветливы и не досаждали расспросами. Каждый едет, куда хочет н куда ему надо; если он достаточно вынослив — почему ему не проделать путь, несколько необычный? Для ннх, направлявшихся в неисследованные местности на целые два года,— через Центральную Гоби, мимо много веков тому назад умершнх городов и поселков,— для них простой караванный путь через Ургу и дальше казался обычной проезжей дорогой, а их сравнительно недальняя спутнпца — обыкновенной путешественницей.

На первой монгольской станции Белов ее поздравил:

— Ну, Рубикон перейден! Вы довольны?

— Я должна быть довольна, но главное — я вам благодарна.

— Прав был я, что все это довольно просто?

— Да, я даже не заметила. Кто тот господин, который провожал нас в Кяхте и так почтительно со мной раскланялся?

— Это был русский консул, милейший человек.

Оба они рассмеялись.

— Когда же будете рассказывать о себе?

— Когда хотите.

— Много страшного натворили?

— Много: на мне кровь.

— Тогда не нужно рассказывать. Да и вы лучше не предавайтесь воспоминаниям, а больше созерцайте. Мы — в стране созерцания. То, что вы сейчас видите, вам вряд ли придется еще раз видеть. Здесь все — особенное, и природа, и люди; все нам непонятиое. Вы поедете с нами до Урги, а дальше ваш путь прямо, а наш в сторону, но оба — через настоящую пустыню, через Гоби.

— А что такое Урга?

— Священный город, духовная столица Монголии, где живет сам хухухта, безгрешный перерожденец, восьмой по счету.

— Это кто?

— А вы не знаете? А вообще о буддизме что-нибудь читали?

— Мало. Помню что-то... нирвана, небытие...

— Почему небытие? Напротив — абсолютное бытие, вечный покой. Религия удивительная: в ней нет ни Бога, ни бессмертия души, ни свободы воли,— но высокая религия, может быть, высочайшая и совершеннейшая. Ее конечный идеал — угасание жизненной суеты. Я думаю, что вам, после пережитого, это должно быть близким?

В раздумье Наташа сказала:

— Я сейчас и сама не знаю, что мне близко и что мне чуждо. Я слишком много и слишком рано пережила. Может быть, жизненная суета меня утомила, а может быть, завтра опять меня потянет. Ничего я не знаю.

— Вот буддисты и говорят, что незнание — скрытый корень мирового страдания. Именно — незнание четырех священных истин: истины о страдании, о его происхождении, о его уничтожении и путях к уничтожению страдания. А страдание — это и есть жизнь: рожденье, старость, смерть.

ТАК ГОВОРИЛ СОВЕРШЕННЫЙ

В Урге, священной столице Монголии, Наташа рассталась с караваном русской экспедиции, путь которой лежал на монгольский Алтай. Добрый спутник Белов говорил ей, прощаясь:

— Ну, милая беглянка, дальше вы будете путешествовать самостоятельно; но я за вас не боюсь, вы молодцом выдержали трудный путь.

Ее пристроили к торговому каравану, где только двое сносно объяснялись по-русски. Она была единственной женщиной в караване и была одета, как все, в тяжелые меха, кожаные штаны, валяные сапоги, ушастую шапку и башлык. Никто не спрашивал, кто она такая и зачем едет: пустое любопытство чуждо равнодушному и сосредоточенному монголу. Большую часть пути приходилось ехать верхом.

Теперь начиналась настоящая Гоби, бескрайняя пустыня,

песчаиая скатерть со складками мягких и скалистых холмов. От Кяхты до Урги в пути еще попадались населенные места, станциоииые домики, иебольшие моиастыри, и было иемало встречиых; за Ургой все это исчезло, и резко изменилась не только природа, ио как будто и самая раса редких кочевников.

Здесь был вековой покой, отрицаиье волнующей жнзни, тупая сосредоточенность и покорность величию немой пустынн. Не было счета дней — был только счет нстекших и предстоящнх столетий, которые ие знали событий и ие грозят имн в будущем. У порога Гоби остановилась в раздумье наступающая цивилнзация — и убоялась вступить в ее пески.

Последним впечатлением Наташи был иебольшой моиастырек, обнесенный стеиой, перед которой стаей бродили голодиые собаки-людоеды. Они ждали, когда лама, выполняя обычай, с равиодушнем и презреньем к падали, велит выбросить им тело умершего. Это будет их иедолгим праздннком: с окровавленными мордами оин будут рвать на части человеческое тело, драться из-за лучших кусков и, закинув головы, с наслаждеиием чавкать; потом разнесут костн н будут грызть их, держа в лапах и ревииво озираясь. Потом опять — долгий голод и тупое ожидаиье.

Как во сне, не спеша уходилн часы и дни, подъемы, спуски, иедолгие привалы. Ровиый шаг верблюдов, мягкнй топот верховой лошади, мерное покачивание, смеиа света сумерками, редкий говор иа иепоиятном языке, даль впереди и даль позади,— точио ие караваи движется, а уходит под ними песок и заменяется новым. Время рождается в вечиости и в ней теряется.

Иногда вокруг солица появлялось кольцеобразное сняиье; ннногда впереди виезапно вставала возвышеииость, покрытая лесом, и сначала казалась очеиь близкой, потом отдалялась и бледнела, накоиец, исчезала совсем,— ио н к миражам привыкли глаза, и этот злой дух пустыин ие иарушал страиного впечатлеиия остаиовившегося бытия: часы шли, а стрелки часов не двигались.

Было очень холодно, ио ощущение холода, вначале сильное, в пути замирало н нсчезало. Можио было замерзнуть и иезаметио умереть, не нспытав никакого страдаиья. И можио было так же иезаметио испепелнться на ослепительном солнце: между холодом и зиоем ие было определяющей границы. И совершеино ие думалось о том, что была такая-то жизнь за плечами н предстонт такая-то впереди н что этот путь — только переход. Напротив, вот этот песчаиый мост между жизиями н есть реальиость, а бывшее и будущее — только мнраж. И все это — вие поиимания и выше понимания, это существует, но иет вопроса: почему?

Никто ие толкнул потока жизни, никто его ие остановит. За пределами пустынн, где люди живут тесно и бьются за клочок земли, которая их кормит и будет их могилой,— существует вопрос: зачем? Здесь такого вопроса иет. Без причии н целн возникло и существует бытие. Нет бытия без страдаиия, н иет страдаиня без бытия. И бытне и страдание — безиачальиы.

И сказал Пробудившийся, Позиавший, Возвышеиный, Совершеииый великий Готама Будда:

«Такова святая истииа: рожденье есть страданье, старость есть страдаиье, болезнь есть страдаиье, смерть есть страданье, соединеиие с иемилым есть страданье, разлука с милым есть страдаиье, иедостижение желаемого есть страдаиье. Все, что привязывает к миру, есть страдаиье!»

Чем порождается страдаиье? — Жаждой бытия и земиого иаслажденья, жаждой творчества, жаждой власти.

Чем победить страданье? — Искореиеньем в себе этой жажды, полиым отказом от желаиий.

Человек, чувства которого свободны от желаиий, который живет без стремлений среди стремящихся, без вражды среди полных вражды людей, без имущества среди имущих, без жажды бытия и без привязаииостей к преходящему,— тот человек живет в покое и радости, и ему, Совершеииому, завидуют боги!

Иногда, совсем зачароваииая пустыией и своим иеобыкиовеиным путешествием, Наташа пыталась сбросить с себя сои и вслух себя спрашивала:

— Что это такое? Как это случилось? Где я? И иеужели это действительио я?

Когда оиа переступила порог тюрьмы, оиа была полна радости, ио радости земиой и животиой: спаслось тело! Теперь свершалось совсем ииое — гораздо более зиачительиое и важное: освобождался дух. Никаких прежних связывающих верований, обязательных идей и выдумаииых программ! Полная и совершеиная свобода! Тоже радость — ио особеиная, без прежиего ощущеиия себя, и только себя, как центра вселеиной, для которого все только и существует. Теперь оиа — песчиика в беспредельиости, лишеиная ясных желаиий и жизиеиных привязаиностей. Ни прошлого, ии будущего, а в иастоящем — мерный шаг лошади и остановившееся время. И вокруг — миллиарды песчиок, иесчитаиных и ие имеющих особого существования, но тоже живущих. Все это и идет — и иеподвижио, и живет — и ие существует. Понять это иевозможио, объяснить иельзя, как иельзя в этом и усомниться.

Совершеииый сказал:

«Существует, учеиики мои, прибежище, где нет ни земли, ии воды, ии воздуха; где иет ии бескоиечности простраиства, ии бескоиечности разума, ни представлений, ии их отсутствия, ии чего бы то ни было; где иет ни этого мира, ни другого мира, ии солица, ни луиы. Это, учеиики мои, ие появлеиие, ие уничтожеиие и ие постояииое существование. Это ие умирание и ие рождение. Это существует без осиовы, без иазваиия, без опоры: это есть коиец страдания.

Где иет иичего, где ие существует никакой привязаиности — там это едииственное прибежище,— Нирваиой иазываю я его. И кто достиг его — тот ие знает никаких страданий!»

Так говорил Совершеиный.

КНИГА О КОНЦАХ

Роман «Книга о концах», при самостоятельном сюжете, связан общностью эпохи и некоторыми именами с романом «Свидетель Истории», вышедшим в 1932 году, и может считаться его продолжением.

Автор

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ

Это началось в Застеиием Китае, когда Наташа Калымова пересекала с караваном пустыию: мериый шаг верховой лошади продолжался, ио ни лошадь, ии верблюды караваиа ие двигались, а иа иих наступали пески Гоби и однообразный кругозор. Продолжалось на океанском пароходе, который стоял на месте, не отзываясь на быстрый набег спокойной воды; а за кормой вода собиралась в огромные валы пены. То же было с берегами Суэцкого канала, и так же мимо окон дрожащего, но неподвижного вагоиа круговыми движениями проходили заплаты и скатерти полей, а ближе, по скользящей прямой, мчались голые деревья с пучками омелы,— Наташа принимала их за пустые вороиьи гнезда.

Европа надвинулась Ривьерой и марсельским портом, затем Францией, иакоиец, предместьями Парижа. Когда поезд остановился иа иеприветливом вокзале,— мертвая точка была перейдена, и теперь уже сама Наташа ехала в маленьком дребезжащем такси по неподвижным улицам Парижа. Мир потускнел, снизился, переполнился тревожиыми мелочами. Люди стали оседлыми, связаииыми со миожеством улиц, поворотов, вывесок и предметов быта. В этой тесноте и озабочеииости нужно было отыскать свой уго́л. И Наташа сказала шоферу:

— В какой-нибудь отель близ улицы Сен-Жак. В иедорогой!

У нее был едиистеиный адрес, полученный в России,— Тургеневская библиотека иа Сен-Жак; иазвание улицы вызывало в памяти романы Дюма и потому хорошо запомнилось. Стекла такси перестали дребезжать у дверей отеля, а служитель, в жилете и зелеиом фартуке, виес чемоданы иа четвертый этаж и по-

ставил большой у камииа, а поменьше — иа железиые козлы, скреплеииые плетеиыми тяжами.

Так оиа приехала для иовой жизни. В складе иеразобраиных воспомииаиий остались московская каторжиая тюрьма, побег двеиадцати, изумительиое путешествие через Урал, Сибирь, Моиголию и иад бездиами двух океанов.

Аббат Шарль-Мишель де Л'Эпэ, родом из Версаля, изобрел азбуку для глухоиемых. За год до его смерти родился учеиый Жозеф Луи Гей-Люсак, который открыл закои едииообразия расшириеиия газов. Их именами иазваиы улицы в Латиискоы квартале.

Улицы сходятся под углом. Из верхнего углового окна видеи прекрасиый купол, до которого глаз добирается по унылым крышам домов, запиираясь за перевернутые цветочные горшки. Над этим куполом — другой, иебесиый, серый, цвета дождя и скуки; ои взора не радует, и иа иего иикто в Париже ие смотрит.

Аббат облагодетельствовал самую обездолеиную часть людей: лишеииых Слова и Музыки. Его ученый сосед дважды поднялся иад землей иа воздушиом шаре, проверяя то, до чего додумался иа земле.

Судьба великих завидиа! Но, коиечио, их имеиа уже ничего ие говорят прохожим и проезжим: почтовому чиновиику, модистке, содержателю кабачка, даме с собакой и могильщику иа дрогах второго разряда, возвращающемуся с работы восвояси.

Имеиа учеиых иеизвестны и жеищине двадцати пяти лет, из которых последние пять — иепраздоподобны, без оглядки, всегда иакануие смерти и в круге смертей чужих. Вот так сходятся углом улицы, вот здесь окно, вот там купол, о котором оиа еще ие зиает, что это купол Паитеоиа. Усталая от долгой дороги, иеизвестио для чего родившаяся в страие сиегов и равиии, иеизвестио зачем попавшая в мировую столицу. Возможио, что оиа остаиется в кругу глухоиемых, ио возможио, что ее судьба — подияться к иебу на воздушиом шаре.

Серый купол иад Парижем грязиеет, купол Пантеоиа обращается в силуэт. По улице от фоиаря к фоиарю бежит чериый человек из сказки и таиистваиной палкой зажигает газ. В отеле газ горит только в узких изломаиных коридорах, а в комиате Наташи свеча и керосиновая лампа с узким стеклом, по которому леииво ползет книзу картоиный колпак, пока ие иатыкается иа пузырь. На колпаке, в овалах, Нотр-Дам и лицо иеизвестиого с иеестествеиной бородкой и выставкой ордеиов. Очевидио, жизнь иачиется только завтра, а пока лучше всего спать. Даже есть от усталости ие хочется и ие хочется считать ступеии узкой лестиицы и искать иа иезнакомых улицах иеизвестиый ресторан.

Оиа ие слышит, как до поздией иочи хлопают двери и шаркают иоги, как по трубам порывами течет вода, иа улице громыхают колеса и топают подковы битюгов. Оиа спит, как всегда, мирным и здоровым сиом. Но и в глубоком сие ие отделаться от привычиой качки —спиии верблюда и лошади, море-море, ва-

гонное титата-татата и смена образов: пески-пески, волны-волны, необычный говор на остановках и пересадках — от прошлого дальше, а в будущее глубже. В потоке песков, волн и людей — затерявшаяся щепочка. Сосед по купе, француз, очень вежливо и слишком ласково спрашивает:

— Мадемуазель путешествует одна?

Если ему ответить: «Да, на верблюдах через Гобн, на щепке по океанам, и сама я — щепочка, отколовшаяся от русской ели»,— он сделает круглые глаза: «Возможно ли? Но это — геронзм!» Затем, прноткрыв в мозгу клеточку за номером и справившись,— все объяснит загадочностью славянской души, хотя все души для него одинаково загадочны, за исключеннем латинской, одетой в двубортный пиджачок.

Рано утром опять бежит вода по трубам и шаркают ногн за дверью. За окном каменный грохот.

Она раскидывает пропыленные и липкие занавесн окна — и опять купол над неприветливыми крышамн. Но небо сегодня живое и ясное, только в комнате брр... как холодно! Больше всего хочется облиться водой. Как они здесь это делают? Вчера вечером спросила про ванну, и коридорный смотрел долго и удивленно. Ну, после все устронтся. Где-нибудь выпить кофею с булочкой, с двумя, с тремя булочкамн, и пойти по адресу: улица Сен-Жак, русская библиотека. Сегодня же увидать подруг и товарнщей, ее опередивших и уже здешних. И Анюта должна быть в Парнже,— простая девушка с Первой Мещанской, надзнрательннца тюрьмы, всех нх спасшая. Чудно́: Анюта — и вдруг в Париже!

С живостью Наташа спускается с четвертого этажа, слышит напевное «бонжур, мадам» еще не причесанной хозяйкн, отдает ей ключ и выходит нз подъезда.

Куда? Направо илн налево?

С мннуту стоит и улыбается, потому что все-такн хорошо. Вообще хорошо! Потом идет... ну все равно, хоть налево!

НОВЫЙ ДРУГ

Комната большая и светлая, но холодная; еле согревает ее камнн. Две кроватн; у Наташи большущая, в полкомнаты; стояла посреднне, но отставнлн к стене; а для Анюты нашли небольшую железную. И совсем маленький стол с шаткнмн ножкамн. Культ письменного стола, какой в Россни есть у доброго студента, французам незнаком,— только культ кроватн.

Анюту больше всего удивляет, что в здешних домах нет двойных рам и нет, стало быть, подоконников; впрочем нет и настоящей знмы, так, слякоть какая-то. И вообще живут неуютно.

Было много радости, когда Наташа их всех разыскала в Парнже. Помогла, конечно, бнблнотека, эмнгрантский справочннк. В тот же день вместе обедали в дешевом ресторане на Бульмнше,— четыре участнницы побега, эмнгрант Бодряснн и недавно

приехавшнй нз Россни Петровский. Этот приехал легально, с заграничным паспортом, своим собственным, будто бы кончать ученье; но он был из московской революционной группы, нмел некоторое отношение н к побегу, н через него тут рассчитывали держать связь с Россней.

За обедом Наташа шепнула Анюте:

— Зайди ко мне в отель вечером; только зайди одна. Ты найдешь?

Из всех московских подруг Наташа выбрала ее, простую девушку, которой была, правда, обязана свободой. Выбрала сразу, не раздумывая. В чужой стране нужен преданный друг — н лучшего не найтн.

А через день, с помощью опытного в этих делах Бодряснна, жнвшего в Париже третнй год, нашли комнату в том же Латинском квартале и поселилнсь вдвоем.

Закутавшись в теплую шаль, купленную в Сибирн, н смотря на синий огонек углей, Наташа сидит в любнмом н уютиейшем месте — в углу обширной кровати, поверх одеяла, подобрав ноги н локтем на подушках. Читать не хочется, а думать — о чем думать? О том, что следовало бы слушать лекцин в Сорбонне н вообще чем-нибудь заполнить жизнь? Илн работать, зарабатывать немного денег, чтобы жить без чужой помощн? Вот Анюта, не в пример прочим, уже добилась этого: она шьет белье н может этим кормиться. А сейчас читает, заняв уголок стола у лампы. Анюту «развнвают» книгамн, ей надо догонять других, раз ее жизнь так переменилась. А ведь в сущностн ей просто нужно бы мужа, хорошего, дельного н работящего. Мужа н детей.

— Анюта, тебе хотелось бы выйти замуж?

Анюта подымает голову н смотрнт удивленно. Уж очень труден переход от скучной н малопонятной книжки к такому житейскому вопросу.

— Замуж? А почему?

— Просто, чтобы муж н дети.

— А мне н так хорошо. Да н кто меня возьмет-то! Это вам бы замуж, Наташенька.

Анюта не может прнвыкнуть говорнть с Наташей на ты.

— Вы краснвая да ннтересная, вас всякнй полюбит.

— Я всякого не хочу, Анюта. Да я и была замужем, только недолго.

— Я знаю, мне рассказывали. А правда, что его звали Оленем?

— Да. А по-настоящему Алексей, Алеша. Но я тоже звала его больше Оленем. Он был... замечательный.

Анюта смотрнт на Наташу сострадательно. Знает, что этого Оленя в Петербурге арестовали и на другой день казнилн; а Наташа тогда была в тюрьме.

Уж как она любнт Наташу, как любнт, совсем как родную,— а понимать не умеет. О таком горе вспомнила — а ни слезннки, еще даже улыбается. То ли в ней такая сила, то лн раньше выплакала все слезы.

Стучнт н входит Бодряснн, частый гость. С Анютой здоро-

вается просто, приятельски, а с Наташей с развязиой застеичивостью:

— Здравствуйте, товариц героиня!

Анюте пора уходить; к шести часам она иосит в мастерскую готовую работу. Бодрясин подшучивает:

— Об-бычная история! Как я в дверь — так Анна Петровна исчезает!

Бодрясин сильио заикается. Ему под сорок лет. Ои не только некрасив и иеуклюж, ио и обезображеи глубоким шрамом со лба через переносицу до нижней челюсти. И плохо владеет левой рукой. Все это — следы сибирского этапа, когда его и других били прикладами и рубили шашками конвойные. Бодрясии иа этапе ударил офицера — и это кончилось страшным избиением его и товарищей. Один от ран умер, и дело было замято, иначе грозила Бодрясину смерть по суду.

— Зашел по обычаю на огонек. Посидеть можио?

— Какие иовости?

— Новости пот-трясающие! Раскол в п-парижской группе, и иа миого кусков.

— Идейный?

— Б-боже сохрани! Чисто тактический. В кассе взаимопомощи кого-то записали под полной фамилией, а не под партийной кличкой. Ои-то ничего против не имеет, и всем его фамилия известна, как и кличка, но п-получился скандал: н-нарушеиие к-коиспирации! Сначала п-прения сторон, затем т-товарищеский суд и заседания правления в порядке об-бычном и в порядке ч-чрезвычайиом. Весь Париж взолнован. Разбились на две группы, потом иа четыре, а завтра на столько, сколько есть членов. И поднят п-прин-нципиальный вопрос, несколько отдалеиный от темы, о соответствии личной жизни членов правления кассы их обязательиым партийиым убеждениям, а также о к-к-коптации.

— О чем?

— О к-кооптации. Можно ли к члеиам избранным приобщать члеиов к-кооптированиых. П-преинтересный вопрос!

— Охота этим заниматься!

— А! Вон вы какая! А у иас п-полагают, что от этого зависят судьбы неб-благодарного отечества! Я личио стою иа почве в-возможного иесоответствия личных убеждений личиому п-поведению, и меня, кажется, исключат из партии.

Бодрясин, конечно, шутит. В партии его уважают и побаиваются, как человека умного, прямого и предаииого революциоиному делу.

— Неужели и Надя Протасьева, и Вера, и Петровский этим заняты?

— А иепременно! Они, кажется, примкнули к антик-к-кооптаторам и соответственникам. Впрочем, Петровский, я думаю, воздержался; ои сегодня купил новый костюмчик, довольно х-хорошенький, только рукава коротки.

— Вы его не любите?

— Петровского? Я вообще любви по мелочам не расточаю, а на большую не имел еще случая.

— Как людям не скучно!

— А чем же, Наталья Сергеевна, заниматься?

— Да уж лучше, вот как я, валяться на постели.

— Вам хорошо, вы — отставная героиня на покое. А мы — люди п-подначальные и обязаны заниматься самоусов-вершенствованием. Отличное слово, только очень трудно произносится. Попробуйте-ка.

— Что? Самоусовершенствование?

— У вас хорошо выходит. А я больше раза в день не могу выговорить.

Бодрясии недавно вернулся из Россни, куда ездил нелегально, будто бы по делам перевозки литературы. Но Наташа знала, что дело шло о пополнении рядов эсеровской боевой организации, сильно обескровленной и нуждавшейся в притоке новых сил. О росснйских настроениях он рассказывал:

— Люди сведующие утверждают, что сейчас в России д-дураков осталось чрезвычайно мало, н все очень торопятся наверстать п-потерянное в смысле личных переживаний. Я, конечно, не осуждаю, но с удивлением смотрел, как быстро люди меняются, особенио молодежь. В Ярославле, напрнмер, была небольшая группочка, хорошо подобранная. Ну и оказалось, что все заделались п-поэтамн-снмволистамн, а также изучают п-половой вопрос. И убедили меня, что я чрезвычайно отстал от века. И я понял, что действительно отстал. Однако в-водку мы п-пили, и я, знаете, всех п-перепил, а они ослабели и стали тихо скандалить, так что я п-предпочел скрыться.

Бодрясин любит притворяться циником — но никого этим не обманывает. С Наташей он откровеннее, чем с другими.

Они молчат и смотрят на огонь камина. Бодряснн не спрашивает, но Наташа знает, что он ждет, когда она заговорит о деле.

— Я вам сегодня обещала ответить.

— Это не спешно.

— Все равно нужно. Я все-таки сначала хочу осмотреться и отдохнуть.

— Од-добряю.

— Вы вправду одобряете?

Бодрясину поручили поговорить с Наташей об ее вступлении в боевую группу Шварца. Он выполнил поручение с неохотой, но выполнил. Не убеждал, не советовал, не отговаривал,— просто передал о желании Шварца и других. Даже не сказал, что сам с этой группой тесно связан. Она обещала ответить сегодня.

По-видимому, такого ответа он н ждал.

— Одобряю искренне. И не потому, что не верю в дело или не верю в вас, а потому что так для вас лучше, торопиться не нужно.

— Я себя здесь еще как-то не определила.

— Вот имеино. А тут нужно либо слепо, либо по х-хладному разуму, как мы, грешные.

— Вы — по хладному разуму?

— А как же! По чувству, Наталья Сергеевна, я и мухе зла не желаю, хотя оиа кусается. Ей, мухе, тоже жить хочется. А по х-хладному разуму — готов ей обломать крылышки, пожалуйста! Одним словом — дело кончеиое. Хотите, я вам п-прочитаю апостола?

— Слушайте, Бодрясин, почему вы такой не простой?

— А нет, я, собствеиио, простой. Но скажу вам прямо — вы меня даже обрадовали. А почему — потом вам расскажу, сейчас не в ударе. Что же до апостола...

— Какого апостола?

— Ну, как в церкви читают. Вы давио в церкви не бывали? А я, вы зиаете, из семинаристов. Могу апостола или многолетие. Иногда упражняюсь — и выходит весьма в-велегласно. У меня к-консьержка в ужас приходит, они ведь не понимают всей к-красоты.

— Вы, зиачит, серьезно говорить не хотите?

Бодрясин повернул лицо к Наташе, и лампа осветила уродливый рубец на его скуле.

— Слова, Наталья Сергеевна, ие серьезны, а мысли мои серьезны. И от этих мыслей ииогда хочется уйти подальше. Совсем далеко! Так что ие сердитесь.

— Я ие сержусь, а мие иногда вас жаль.

— Чувство хорошее. И мне тоже. Я себя, в общем, люблю и жалею, но иельзя же в этом п-преувеличивать! Вы обедать пойдете?

— Нет, Аиюта купит и принесет чего-нибудь. Оставайтесь с нами.

— Тогда, знаете, я спущусь и куплю вина и чего-нибудь там вроде сыру. Мы устроим дружескую трапезу, и я п-подробно расскажу вам о к-кооптации и несоответствии. А вы расскажете о п-пустыне и верблюдах. Можно? И будет прек-прекрасиый вечер!

МАМЕНЬКИН СЫНОК

У Петровского, действительно, новый костюм, и неплохой, из английской материи. Но быть элегаитным Петровскому не удается, как не удавалось и в России, даже не помогает хорошо заглаженная складка брюк. Неудачен цвет галстука, иедостаточно блестят башмаки, форма мягкой шляпы выдает русского. Нужна еще уверенность в себе, и этой уверенности у Петровского нет.

А между тем ему положительно везет. Это уже ие тот неудачливый юноша Петровский, которому жандармский ротмистр говаривал в Москве на конспиративной квартире: «Отвратительно вы работаете, Петровский! Прямо вам говорю — так у нас ничего

не выйдет. А вы еще о прнбавке!» Теперь н опыта больше, и положение совсем нное: он действнтельно свой человек в партнйной среде, и Москва возлагает на него надежды. Нет н в деньгах прежней нужды — Петровского не стесняют, только бы работал честно и усердно.

Для вида он — студент Сорбонны; как легальный, нмеет возможность ездить в Россню. В партии ему не дают серьезных порученнй, но могут н дать. Он ждет, осторожно укрепляя связи, не проявляя особой воннственности, не нзмышляя никаких «событий», ограничиваясь осведомлением своих московских покровнтелей. Им довольны — доволен и он. Его карьера зависнт от выдержки — н он готов ждать.

Недавно он познакомнлся со Шварцем н, кажется, Шварцу понравился. Что такое Шварц — отлично известно Петровскому: глава боевой организацин, будто бы распущенной после провала в Петербурге,— но разве может Шварц оставаться бездеятельным? Где-то н что-то Шварц готовит! Спрашивать об этом, конечно, нельзя не только Шварца, но н других, к нему близких.

Петровский — добрый товарищ, скромный, всегда готовый помочь в нужде. Сам не нуждается: у него в Москве мать, небогатая, но с достатком. Матернпскне письма Петровский охотно читает вслух. Она пншет: «Ради Бога, учись хорошенько н береги здоровье!» В шутку Петровского называют маменькиным сынком, но в общем любят.

Может быть, у Петровского и нет в Москве никакой матерн, ни бедной, ни богатой; но ведь пнсьма от нее приходят н деньги получаются! И сам он пишет ей аккуратно, опуская письма по вечерам в почтовом отделенин на улице Клод Бернар.

В последнем письме Петровского к матерн были строкн:

«Дорогая мамочка. Деньги получены, спаснбо. Я пнсал тебе, что познакомился с милым Ш. На днях опять с ним виделся. Он очень участлив. Покаялся ему, что наука меня не удовлетворяет и что хочется живой и настоящей работы. Он сказал: «подождите, придет и ваше время». Потом спросил, мог ли бы я съездить в Россию по маленькому делу. Я ответил, что конечно».

Дальше писал о других встречах — все в том же откровенном тоне преданного сына, уверенного, что мать его одобрит.

И правда, в ответ он получнл:

«Старайся, милый, подружиться с таким дельным и нужным человеком. Прн надобности приезжай повидаться. На расходы вышлю, но будь умереннее, позже это окупится. Сообщи, как твой новый друг думает проводить лето».

Получив письмо, Петровскнй с довольным видом гулял по бульвару Сен-Мишель. На него приветлнво смотрелн окна магазинов,— превосходные воротнички н яркне галстуки. Сам он смотрел на лица проходившнх женщин — как это и понятно в молодые годы — н думал о том, что, при житейской удаче, все делается доступным человеку: н предметы, и рестораны, н женщины.

На повороте встретился с Бодрясиным, который спешил

н только кивнул. Петровский подумал: «Вот этот мне не очень нравится! Шварц гораздо лучше».

И решил — хотя это нелогично — чаще видаться с Бодрясинным н, если можно, посидеть с ним и выпить, прнтвориться опьяиевшим и покаяться н ему в том, в чем прнзнался Шварцу: что спокойная жизиь и ученье наскучили и что душа просит нного, если нужно — бурь, подвига, самопожертвования. Потому что ведь нельзя же сидеть за граиицей без дела, когда там, в России, гибнут последние герон, а деспотизм поднял голову! Но только нужно покаяться в этом осторожно н тонко, потому что Бодрясни — человек грубоватый н недоверчивый.

Втяиутый в большую игру — игру своей н чужимн жизнями,—Петровский пытался чувствовать себя героем или, по крайней мере, большим авантюристом. Но гораздо чаще он нспытывал страх: а вдруг узнают, что у его мамы седоватые полковничьи усы и жилистая шея, а ее ннтерес к заграничным товарнщам сына преувеличеи? Не так же ли провалилось миого большнх и малых деятелей, которых в разговоре сам Петровский называл предателями и провокаторами. Придет день — и на шее нежданно затяиется веревка! Затянут ее те же Бодрясии или Шварц, и тогда не спастись, а если и ускользнешь — все равио окончена житейская карьера. И тогда никакая мама не поможет; напротнв, эта мама первой отвернется н бросит его на пронзвол судьбы.

В минуты такого малодушия Петровский робкимн шагами входил в ресторанчик или в библиотеку, где встречались эмиграиты. Подходя, наблюдал, нет ли на лицах вопроса или подозреиия, и успокаивался, услыхав прнветливое: «Куда вы запропастились, Петровский?» или: «А вот н он в новом костюмчике!». На улыбки ои отвечал улыбкой н усаживался рядком, увереиный, что еще день выиграи.

Никаких особых «сомиений» или раскаяний Петровский не испытывал; случалось это в Москве в начале его знакомства с «мамой», но давно прошло. Маленький и неопытный шулер возмужал, втянулся в игру, имел от иее достаток, даже иногда любовался своей двойной жизнью. Товарищи считали его парнишкой средних способностей, малым — простаком; но простакамн были они сами,— н это доставляло Петровскому н удовольствие и оправдание: пусть так думают!

И он не обижался, когда его называли шутя маменькиным сынком; только прнимал смущенный вид н неловко отшучнвался.

ДВЕ ЧАШКИ КОФЕЮ

Сидя у Наташи перед камииом н пристально глядя иа горящие угли, Бодрясии говорил:

— За эту неделю, что я у вас не был, со мной вышел прек-курьезнейший случай. Хоть это н т-тайна, но вам могу рассказать. Был я только что в Бельгин н ездил туда уб-бивать ч-человека.

Сразу ие поймешь, когда Бодрясии говорит серьезио и когда шутит. Судя по тому, что ои больше обычного заикается, нужно думать, что за шуткой кроется серьезиое.

На своем обычном месте, в уголке кровати, опершись локтем на подушку и подобрав иоги, Наташа голубыми глазамн смотрела на его освещенное отблеском камина и обезображеииое шрамом лицо.

— Нужно вам сказать, Н-иаталья Сергеевиа, что я до сей поры человеков не убнвал, не приходилось. И как-то ие собирался, потому что я — личность с яркими приметами, иеудобная для выступлений.

Рубец иа щеке казался розовым. Наташа слушала, не шевелясь.

— Ну-с, а за последнее время у нас все возмущены, что упустили Азефа. Но убивать я ездил ие его, это было бы неблагоразумным, так как ои меия хорошо зиает. А получили мы известие, что в Бельгии проживает, и даже очень открыто и нагло, под собствеиной фамилней, бывший иачальник д-департамента полиции, с которым Азеф работал. Меня и послали его убить.

— Почему вас?

— Почему имеиио меня? Я думаю потому, что дело это н-иезиачительиое н отнюдь не героическое. Одннм словом, больше было иекому, и я согласился. Дали мне адрес и ииструкцию, как уб-бивать. Потому что я в этих делах иеопытеи и мие это, откровеино говоря, ие очень свойствеиио, даже д-довольио п-противно. Тут ведь и особой опасиости не было, вроде простого убийства. Но это неважно.

Внимательно слушая, Наташа думала: «Что за человек Бодрясии? И сильный, н хороший, и иепонятный. Повторяет слова «убивать», «убийство», как будто шутит и играет словами,— а в тоие его речи и в его кривой улыбке чувствуются печаль и горечь».

— П-поехал и п-прнехал. Разыскал адрес. Не отель, а частиая квартира в б-буржуазном старом доме. Здесь живет такой-то? Здесь! Звоню. А в кармаие у меня браунинг. Долго не отворяют, потом слышу — туфли шаркают, щелкает ключ, дверь отворяется,— и передо мнюй пожилой человек, всклокоченный, в халате. Правда — было раио, девятый час. «Вам кого?» Я иазываю. «А вам зачем?» — «У меия дело из Парижа».— «Пройдите,— говорит,— сюда, а я сейчас выйду».— Повернулся спиной и ушел куда-то, в спальию, что ли.

Бодрясии наклонился, взял каминные щипцы, поковырял ими в углях, и Наташа видела, что у иего прыгает мускул в лице. То ли он волнуется, то ли смеется.

— Вошел я в небольшой кабииет, весь застланный книжнымн полками, такой уютный и приятный,— и ничего не понимаю. Почему же я его, с-собствеино, ие убил? Правда, стрелять в спину как-то иеудобио, а раиьше, как только ои показался, я ие был увереи, что это ои сам и есть. В лицо я его ие мог зиать, даже и фотографии у иас ие было. Н-ну-с, жду его в кабииете, рассмат-

рнваю книги. На всех языках книги, н на русском много. И лежит русская газета. Должен вам сказать, что я был немного в-взволвзволнован, так что соображал как-то плохо. Жду с четверть часа — нет его. Сначала слышал, как за стеной плещется н фыркает, а потом наступила тишина. Еще минут пять — все тихо. И тут я нсп-пугался, не убежал ли он, догадавшись, что я пришел его уб-бнвать. Б-было бы очень глупо! И ясное дело — меня арестуют. Подумал об этом, вскочил, вынул браунинг н бросился к двери. И как раз в эту минуту дверь отворилась, н он входит с кофеем.

— С чем?

— С двумя чашками кофею, на п-подносе. И там сухарикн илн что-то. Это, знаете, было немножко н-неожиданно.

Из камина выпал уголек, н Бодряснн аккуратно подобрал его щипцами.

— Между прочим, Наталья Сергеевна, вам нужно бы попросить у хозяйки железный лист и положить тут, а то может п-произойти п-пожар. Так вот, входит он с подносиком, по-прежнему в халате, только причесавшись. Х-халат с кисточками. И я опять сплоховал, даже п-попятился. Револьвер за спину, потом незаметно в карман. Может быть, он и видел, не знаю. Говорит: «Простите, я не совсем здоров н только что проснулся. Может, выпьете со миой кофею? Вы, кажется, не француз?» А говорили мы по-французски. Я говорю: «Нет, я русский».— «А вы от какого же нздательства ко мне?» Глупое положенне! Как-то я усумнился, он ли это. Спрашивает, а я молчу н смотрю д-дураком. Потом, вижу, он улыбается, н довольно добродушно, вообще — снмпатичный такой... говорнт: «Вы чего же смущаетесь? Может быть, ошиблись? Вы уж не убнвать ли меня пришли?» Я говорю: «П-почему вы такое думаете?» — «Да потому,— говорит,— что у вас вид интеллигентный н вы как будто взволнованы, а у меня такая фамилия, что вы могли спутать. Да н нмя, кажется, совпадает. Я уж давно жду, не пришли бы меня уничтожать». И сам, п-представьте, смеется. Я тогда вскочил н кричу в упор: «Вы кто? Чего вы меня морочите?» А сам трясусь от ужаса — откровенно вам, Наталья Сергеевна, п-признаюсь! Он говорнт: «Я даже не родственник и живу в Бельгии двадцать третнй год на этой квартнре; я — старый эмигрант н бнблиофил. Потому н думал, что вы от нздательства или от какого букиниста».

Наташа невольно рассмеялась, а Бодряснн захватил лицо руками н затрясся, не то от смеха, не то от слез. Когда отнял руки — лицо было спокойным, но шрам на скуле особенно ярко выделялся.

— Ну?

— Да что же — ну! Упал я в кресло и так хохотал — н он тоже хохотал,— что весь дом т-трясся. Он меня даже водой отпаивал, так как у меня отчего-то стучалн зубы; едва отпоил. Должен сказать, что я обнаружил чрезмерно большую нервность и с-совершенную неспособность уб-бнвать ч-человеков.

— Слушайте, это не анекдот?

— К сожалению — печальная нстина. Когда я вернулся в Париж, я пришел к нашим и сказал: вы — д-дураки н ид-диоты. И даже не объяснил почему. Просто: д-дураки и идиоты! В-вероятно, на меня обиделись.

— А не могло случиться, что он вас просто обмаиул?

— Кто? Старичок? Он мне потом даже свои документы показал. Бельгийский подданный и старожил. Дал иа память оттиски своих статей по библиографни, довольио нитересно. Я у него н обедал. Вот какой любопытный случай.

И опять Бодрясни закрыл лнцо. Наташа больше ие смеялась.

— Кто же дал его адрес?

— Прислал одии наш умник из Бельгии. Сообщил под большим секретом и советовал поспешнть, пока птица не улетела. Мы и п-поспешили. Ид-диоты!

Потом Бодряснн говорил:

— Конечно, террор — это все, что нам остается. Я не из кровожадных и, пожалуй, согласился бы даже иа куцую коистнтуцию, да ведь что поделаешь, если ее нет. Думская говорильня — оскорбнтельное учрежденне, а расход на веревки не сокращается в г-государствеином бюджете. И значит — остается террор. Вы зиавали в Москве Володю Мазурнна?

— Знала.

— Вот. Он, Володя, больше всего мечтал быть народным учителем. В знаменательные «дни свободы» говарнвал: «Как чудесно! Брошу я университет и уйду в деревню учить ребятишек!» А полгода спустя его ловили, как самого отчаянного террориста, за которым иемало числилось чужих жизней. П-поймали, однако. Его братан, Сергей, был у него в тюрьме на свнданьн, перед самой казнью, н потом мне рассказывал. Володя, говорит, совсем стал кротким, просветлеииым, сидели мы у стола, а Володя, за разговором, рвал иа кусочки чнстую бумажку. Потом его увелн, а сторожа и конвойные солдаты подобрали бумажки н посовали по карманам. Я спросил: «Зачем это вам? Илн — примета?» — «Нет,— говорят,— а на память. Уж очеиь человек приятный, вроде как бы святой!» Это про убийцу! Зиачит, что-то в ием почувствовали!

Бодрясин отвернулся и смешио всхлипнул. Потом встал н прошелся по комнате.

Наташа будто бы не заметила и, чтобы ие молчать, сказала:

— Он был чудесный, Володя!

— Г-говорю — святой! Б-бумажки на память... Может, потом иа божницу положили. А может, рядом клали, когда в карты дулнсь, в иоски илн в свон козыри. Говорят — п-помогает. С ума сойти!

Наташа, как всегда, с ногами в углу огромиой кровати, иа плечах сибирская шаль, под локтем подушка. Темнеет, н на фоне камнна Бодрясии — как темный н неуклюжий силуэт.

Силуэт повертывается и с трудом выговаривает:

— П-п-путаиица!

— Что?

— П-путаница во всех головах! Вы, милая женщина, подождите со всякими решениями. А обождавши — как-нибудь все-таки распутаемся.

— Да я н жду.

— Вот. Нужно п-прежнюю веру догнать н поймать за хвост.

— Я веры не теряла. Я просто как-то не вижу, что дальше делать.

— Не теряли? Ну, вы счастливая. А впрочем, и я в этом счастливый, только не очень. Н-ну, увидим.

Долго молчали. Потом Бодрясин, улыбнувшись широкой улыбкой, еще рассказал:

— Между прочим, он такой любопытный, наивный немножко...

— Кто?

— А этот б-бельгийский подданный. Мы с ним обедали, курицу ели. Он ел с ап-петитом, а мне было не по себе. Разговорами все занимал. И вот говорит: «Вы старой книжкой интересуетесь?» — «Ничего себе, только времени нет».— «А то у меня есть одна как раз по вашей части».— «По какой,— спрашиваю,— по моей?» — «А насчет казни Людовика Шестнадцатого, русское издание того времени, очень редкое».— «Почему же,— спрашиваю,— по моей части?» — «Да,— говорит,— действительно, это я зря сказал, вы не обижайтесь!» — «Ничего». Потом ели сладкое, блинчики, что ли, уж не помню. Их я ел, люблю.

Бодрясин совсем повернулся к камину, руками уперся в колени, голову сжал ладонями и так сидел, пока в комнате совсем не потемнело.

ПЕРЕПУТЬЕ

Прошли первые месяцы парижской жизни. Люксембургский сад стал как бы своим: удивительный фонтан с завистливым великаном, детские кораблики на круглом водоеме. Знакомы и профили зданий на сенских набережных, и кружевная розетка Нотр-Дам. Все, что нужно, посмотрено в Лувре; Анюту смутила нагота статуй, а Наташа не нашла в себе восхищения перед Мониой Лизой, которая улыбнулась ей со стены выцветшей и лживой улыбкой.

С серьезностью студентки, которая по долгой болезни пропустила большую часть курса, Наташа пыталась слушать лекции в Сорбонне. Чужой язык не смутил, но испугало другое: «зачем ей это нужно? С обычной правдивостью спросила себя и себе ответила: Совсем не нужно, только надуманный интерес!» Стала ходить реже — и совсем перестала.

А что же нужно?

Если бы начать всю жизнь снова: детство в Рязани и деревне Федоровке, гимназия, курсы. Но тут неизбежно приходит девятьсот пятый год — революция, московское восстание. И как ни пыталась Наташа представить себе другую судьбу — все воз-

вращалось именно таким, как было: резко пресекался спокойный быт — и крутилась воронка революционного бытия. Пожалуй, многое хотелось бы забыть и даже вычеркнуть нз жизни и памяти, но нельзя расстаться с образом Оленя и чувством спешной большой любви, которая тогда почти не замечалась, была только подробностью огромных и необычных переживаний, а теперь в памяти выросла превыше всего и стала святым прошлым. А братья Гракхи, славные юноши, которых она своими руками обрядила в саваны самопожертвования и смерти н которые, прощаясь, говорили:

— Спасибо вам. Вот уж и впрямь — родная.

Нет, этого изъять из жизни и воспоминаний нельзя. Что же тогда останется?

Вот она прочитала прекрасный и взволновавший роман. Можно ли дальше перейти к чтению маленьких бытовых рассказов, забавных житейских анекдотов, стишков и сказок? Самое главное случилось; сложнейшее свершилось на пороге жизни. Такого больше не может быть — иное не придумано. Странно и немного страшно не иметь желаний.

Утро. Начинается день в ряду других таких же. Заботливая Анюта прнбрала их общую комнату. У Анюты всегда множество дел: куда-то сбегать, кого-то навестить, выкроить рубашки и лифчики, написать записку, переменить в библиотеке книжки. Анюта все умеет н всем нужна; со всеми ладит и каждому всегда готова помочь. Бодрясину она вывела на рукаве пятно. Почти не зная языка, она легко объясняется и с консьержкой и в магазинах, знает, где покупать дешевле и в какие дни в нашем квартале рынок. И успевает читать книжки и брошюры, которые ей дают приятельницы для скорейшего «развития». Не спрашивает, зачем это нужно, не сомневается: верит. Наташа смотрит на нее с завистью — но все равно Анютой ей не быть.

Вечер. Обычно является Бодрясин. С ним просто и легко,— он по-настоящему добр, ни о чем не допытывается, понимает. Но и Наташа понимает его женским чутьем: Бодрясин несчастлив. Он может быть верным, преданным, и он достаточно сильный. Его нельзя не уважать и можно ценить в нем прекрасного человека, друга. Но полюбить в нем мужчину нельзя — н Бодрясин это знает. Вероятно, оттого он и несчастен. Говоря с ним, забываешь об его физическом уродстве; но не может родиться желания приласкать Бодрясина,— а ему больше всего нужна ласка. И, подавая ему при прощании руку, Наташа чувствует себя словно бы виноватой за себя и за всех молодых и здоровых женщин, которые вот так же дружески и приязненно отвечают на его пожатие.

Ночь. Анюта засыпает в ту минуту, как ее голова касается подушки. Эта счастливая способность знакома н Наташе и даже в тюрьме ее отличала от других каторжанок. Но в последнее время она спит хуже н часто, проснувшись ночью, смотрит на светлое пятно на потолке от уличного фонаря и не думает, а просто не может прогнать начинающуюся н обрывающуюся мысль, несвязную и утомительную, главное — напрасную. Не тре-

вожно, а скучно — даже во сне скучно. Нужно бы что-то обсудить и решить, а чего начать и для чего продолжать? Так и откладывается с часу на час и со дня на день — безответно. По своей здоровой природе Наташа никогда не умела мечтать, как это делают женщины,— мечтать со вкусом, подробно и образно. Но рождалось беспокойство тела — и оно прогоняло сон. Чтобы унять его, она откидывала одеяло и простыни и старалась остыть до дрожи; тогда, снова закутавшись, засыпала.

И опять утро, новый лишний день.

В один из таких дней Бодряснн неожиданно пришел со Шварцем, которого Наташа почти не знала — встретила не больше двух раз. Бодряснн был хмур, неуклюже резок и неостроумен; таким остался весь вечер. Шварц, наоборот, приветлив, выдержан и умен. Разговорился — и оживил Наташу, хотя ей не понравился. Говорили больше о России, о печальных оттуда вестях. Не в пример другим эмигрантам, Шварц не говорил праздных фраз, не отрицал в России все живое, даже какие-то надежды возлагал на Думу, на деятельность земств; и о литературе говорил охотно и знающе; и молодежь не осуждал за уход от революционных мечтаний. Но у других фразы вырывались от любви и отчаяния, а Шварц как будто писал серьезную и обоснованную статью, нисколько ею не волнуясь. Вывод все равно был для него предрешен, и не событиями, а тем, что он, Шварц, назначил себе и другим поступать так, а не иначе. Этого он не говорил — но это чувствовалось.

Уходя, Шварц спросил Наташу:

— Ну что же, вы отдохнули и осмотрелись в Париже?

— Да я и не так устала.

— Вот Бодряснн вас оберегает, а я все хочу звать вас работать с нами. Конечно — подумавши. Как-нибудь поговорим?

На этом и простились. А когда они ушли, Наташа вспомнила, как было когда-то просто и естественно предложить Оленю, что бы он ни задумал, свою молодую силу и свою жизнь. Тогда она верила, и все верили, и было невозможно остаться в стороне. Тогда тянуло на жертву и на отказ от всяких радостей личной жизни; жертва и была радостью! А вот теперь Шварц пришел за ней, как за какой-то профессионалкой в терроре; он как бы оказывает ей честь. Может быть, он и прав — иного пути нет. Но ни радости нет, ни малейшего ощущения жертвенности. Самое большее — обреченность.

Вернувшейся Анюте она сказала:

— Я, может быть, поеду в Россию, Анюта.

Та как будто давно ждала и спокойно ответила:

— Ну что же, Наташенька, и я с тобой! Если возьмете...

СТАРЫЕ ПРИЯТЕЛИ

Про шестую часть света нельзя сказать, что «вот ее люди спят» или что «вот они бодрствуют»; нельзя сказать — «в ней

зима» или «в ней лето» или еще — «оиа сыта и счастлива», «оиа голодна и бедствует».

В одном из ее городов утро, в другом иочь; в одной области вечная мерзлота, оберегающая от тления ие только кости, ио и мясо мамоита,— а в другой темиолицый южанин голыми ногами выдавливает сок виноградных гроздей. У нее нет одной мысли или одиой любви, как ие может быть одной веры и одиого закоиа.

Время от времени кучка мудрых и многодумных выкладывает на счетах и выписывает на бумаге ее судьбу. Ветер несет слова, телеграф искру решений, почта пакет приказов. Ветер натыкается иа горы, искра тухиет в болотах, в пакете доходит труха и бумажный червь. Если бы ие так,— тайный советник или иародный комиссар и вправду могли бы приказать персикам расти на могиле мамонта.

Шестая часть света лязгает во сие челюстями, смалывает тупыми зубами историю, политику и прекрасный переплет ученого труда. Солнце спокойио обходит свои владения, в одном городе ночь, в другом утро, зябко на мысе Челюскиина, зиойио на Каспии, а счастье и иесчастье не вписаны в книгу человеческих закоиов. Кучка миогодумных давно сгнила, тело мамонта иетронутым покоится в мерзлоте. Одной судьбы и одной истории нет: есть тьма судеб и тысяча историй.

Если прилично так выразиться о грузной и почтенной фигуре землепрохода и свидетеля исторни,— отец Яков завертелся на сибирском приволье. Побывал иа славиом море Байкале, подивовался его красотам, прокатился и до Владивостока, побывал и иа Амуре, и в Северной Монголии, и иа всех великих сибирских реках — иа Леие, на Оби, иа Енисее. Людей перевидал множество, приятелей приобрел без коица и повсюду и написал статей и статеек столько, что и трети иаписанного ие могли вместить дружественные издания. В Тобольске случайио сведя зиакомство с проезжим английским ученым, коекак маракавшим и по-русски, отец Яков заготовил и поднес ему описание некоторых ссыльиых и каторжных поселений, частью по личным наблюдениям, больше по чужим рассказам.

На что другому нужны года — отцу Якову достаточио месяцев. Багаж его мал, потребиости скромны, охота путешествовать велика и непреоборима.

В одном из дальних путешествий произошла совсем неожиданная встреча отца Якова со старым приятелем Николаем Иваиовичем, тем самым, с которым иекогда ои обменялся обувью: ему отдал легкие сапожки, а от него получил штиблеты на резинке, приятные для поповской ноги в жаркое лето. С тем самым, который потом виезапио исчез, ие попрощавшись,— а иеделей позже иеизвестиый террорист стрелял в московского градоиачальника, убил его, был осужден на смерть, ио по случаю «эпохи доверия» помилован и сослаи в каторгу.

Еще тогда отец Яков в тайных думах сопоставил личность

неизвестного террорнста с личностью своего случайного друга н много позже в своей догадке убедился. Теперь он встретил его совсем случайно на прнстани парохода,— и только зоркий глаз свидетеля исторни мог отличить старого знакомца в грузчике, согнувшемся под тяжестью чайного цибнка.

На погрузке работала снбирская шпана, люди без имени н без звания, нз тех, что сегодня здесь, а где завтра — неизвестно. Один такой грузчик, как все — рваный н засаленный, был в очках, чем н обратил на себя внимание отца Яко́ва. Пароход задержался на часы, н в обеденное время отец Яков сошел на берег, где сидел на бревнах оборванный человек н заедал черным хлебом пучок зеленого луку.

Спокойненько и скромненько подсев рядом, отец Яков спросил грузчика:

— Часика два еще проработаете? Товару непочатый угол!

Грузчик покосился, что-то пробормотал, вынул из кармана обшарпанный футляр с очками, надел и оглядел собеседника. Отец Яков взора не отвел н с улыбкой, голос слегка понизив, хотя никого близко не было, продолжал любопытный разговор:

— Иной раз вот так едешь по новым местам да и встретишь знакомого человека. А ему, может быть, н узнавать не хочется. Дела!

Грузчик прожевал кусок, обтерся н сказал:

— Узнавать можно, да лучше держать про себя. Путешествуете, святой отец?

— Заехал по малым делам, все на мир смотрю. Мир-то велик, а людям тесновато. По очкам только н признал вас, Николай Иваныч. А в былое время вместе в комнате спали.

— Отец Яков?

— Смиренный пастырь без стада!

Грузчик задумчиво почесал в голове.

— По старой дружбе помалкивайте. Вы, помнится, не нз болтливых. Я тут не совсем законно, только проходом.

— Дело не мое, а встрече рад. Сожалею лишь, что нахожу вас за трудным занятием.

— Это не беда. Не всякому петь «Исаия ликуй». Капитал наколачиваю.

Мысленно прикинув, чем можно бы поделиться с давним знакомым, отец Яков намекнул, что хоть сам он не в достатке, но рубликов пять его не разорят. Нникола Иваныч хорошо посмотрел на попа, расплылся улыбкой, помешкал и протянул руку:

— Давайте, ваше священство. Скажу по совести — очень сейчас пригодится, пора ноги уносить. А главное — надеюсь вернуть, если буду знать адрес.

— Это ни к чему, дело житейское, как бы доплата за ботиночки. Хороши были ботиночки. Однако надеюсь, что н мои полусапожки ладно носились?

Николай Иванович, давно переменивший больше имен, чем

обуви, рассмеялся со знакомым отцу Якову добродушием. И опять, как бывало, подивился отец Яков, до чего же изумительно менялось лицо у этого странного человека,— от сугубой серьезиости до детской улыбки. Сейчас был заправским сибирским варнаком — и вот милый интеллигентный человек, только, видимо, дошедший до великой усталости тела и духа. Совсем как был на подмосковной даче у общего знакомого. Зачем он здесь, откуда и куда пробирается кружными путями — спросить иевозможно, а лю-бопытно до крайиости! Но, конечио, отец Яков сдержался. Об общих зиакомых ие вспомииали, да и попросил Николай Иваныч:

— Миого беседовать иам вредно, еще внимание обратят. Тут тоже всякий народ может случиться. Вы уж лучше уйдите.

За руку ие простились, кивнули головами. А на прощанье бывший Николай Иваныч опять с хорошей и даже веселой улыбкой сказал:

— Должок, если будет в делах удача, пришлю вам из Парижа. Городок хороший. Не бывали?

Отвыкнув удивляться, отец Яков, уже иа ходу, ответил:

— Не довелось побывать, а описания читал. Поистиие — любопытио! Зиачит — успеха в предприятиях!

Грузчик встал, поклонился и громко сказал:

— Благословить, батюшка, забыли.

Отец Яков замешкался, покрасиел, однако подошел, положил левую руку на сложенные ладони босяка, совершил правой крестиое зиамение и с иастойчивой серьезиостью произиес:

— Молитвами иедостойиого иерея, да благословит Бог твои дни и даст тебе покой и забвение всяких зол. Иди путями бедных и страждущих, а куда идешь — сам знаешь. Бог тебе судья, а я, смиренный его служитель, грехи твои разрешаю.

Целовать руки ие дал, оттянув ее книзу и пожав, и отошел походкой степениого пастыря. Грузчик низко поклонился ему в спину и опять громко сказал:

— Спасибо, батюшка! Вы наши отцы, мы ваши дети!

Улыбнулся, иадел просаленную, как блин, каскетку, ловко сморкнулся в сторону и пошел к цибикам, около которых толпилась сибирская шпана.

В тот день, сидя на палубе парохода и любуясь берегами, отец Яков много думал о людской судьбе и живучести людской. Было ему ясио, что вот этот самый Николай Иваныч бежал с каторги, либо с места поселения, и пробирается в российскую сторону. По пути работает, где доведется, и, коиечно, рискует ежечасно попасть снова в полицейские лапы. Памятуя же о прежних с ним беседах, трудно усомниться, что это уже не первый его побег: и в Москве рассказывал про тайгу, и про сибирские реки, и про Урал,— человек бывалый. И хоть седина в голове, а лет ему, надо полагать, лишь немногим за тридцать, еще очень молод. Жизнь пережил за пятерых, а то и боле. И бодр, смел, силеи и хитер.

И однако,— по-прежнему думал отец Яков,— иа сем смелом

челе, под личнной великого задора, даже продерзости, и эиергнн исключительной,— видна н нная печать, как бы страдаиия н подвижничества. Ои тебе и бродяга, он тебе н анархист н убнйца,— а если есть на небе Бог, которому миогажды, прнвычио кадилом махая, пел отец Яков молебны, то этот Бог должеи обязательио Николая Иваныча простить н помиловать за великую его муку н за жажду счастья человеческого,— ие себе, а всем людям.

И как это бывает, что в одном человеке столько зла, столько добра и разом — столько любви и иеиавистн? А что бывает — сомнения иет. И кто свят? И кто грешеи? Кто преступник н кто праведннк? Разобраться в том мудреио, по виду судить нельзя, по поступкам трудно, а в душу ие всякому заглянешь.

Потом думал: «Не может того быть, чтобы только для насмешки попросил благословеиья, ие таков человек! Вериее так: сам не верует, а священнику хотел доставить удовольствие. И не отведи я руку — поцеловал бы. Или же просто ласки возжелал, взгрустнул по теплоте благого жеста, детство вспомнил. А чтобы только ради лишнего фокуса, для театра, этого быть ие могло!»

И миого еще думал отец Яков, смотря, как за кормой парохода бегут две гряды волн с белой оторочкой. Думал мудро, ие спешио, без улыбки и без поповской хитрости.

Тоже и его — страстного любнтеля жизнн н всего живого — иачало утомлять путаиое, занятное, иеуемное н тревожное, ахово и в великих грехах святое российское житие.

МАТЕРОЙ ВОЛК

Широко размахивая правой рукой, а левой придерживая веревку заплечного мешка, Николай Иваныч шел с востока иа запад. Остальиое иеважио: какие иа путн леса, горы, болота, броды, поселки, города. Важио быть всегда спиной к месту выхода — акатуйской каторге, а лицом сначала к Москве н Петербургу, потом, если повезет, к Европе.

С каторги ои ушел после того, как осколком стекла зарезался его старый друг, оставнв запнску: «Товарищи, нельзя пережить оскорбленье». Накаиуие иачальство подвергло порке нескольких политических каторжаи. Николай Иваиович, иосивший там другое имя, иаскоро собрал давио заготовлеиный мешок с хлебом, луком, солью, смеиой белья, табаком и серннчкамн,— н нсчез, инкому ие сказавшись, способом и путем, ннкому не ведомым.

Бывали побеги и раньше, и подготовка была сложной и долгой. Беглецов вывозили в капустиой бочке с двойным дном, сиабднв всем нужным для долгого путн, иа этапах которого им заготовлялась помощь ссыльио-поселенцев,— и лошадь, и лодка, и паспорт, и деиьги. За них отвечали иа переклнчках, их побег скрывали, сколько моглн. Даже н при таких условиях рнск был огромным н исход побега очеиь сомиительным. Ни-

колай Иванович ушел просто, без чужой помощи и сговора, никому ие открывшись, в сторону иеизвестную, иадеясь только иа свой опыт и слепое счастье. Вернее — это был другой способ самоубийства: его друг зарезался стеклом,— ои решил поиграть с судьбой подольше.

Никто ие поддерживал его на лесных тропах, ие перевязывал ран иа его ободранных иогах, ие держал иа колеиях его воспалениой головы, когда он метался в жару на куче хвороста н сухих листьев. Шел иа глаз и по звезде — без карты и компаса, на память. Неизвестио, как случилось, что иа втором месяце пути ои помогал поселенцу коиопатить избу и за иеделю прибавился в теле на его хлебах, как на третий месяц весело похлопывал сорванной веткой по новым сапогам, как, вылечив крестьянину лошадь, заработал старые плисовые штаны и две смены портяиок, а рваный до последней степени пиджак, иа смену своего, нстлевшего и свалившегося с плеч, приобрел путем экспроприации — снял с огородного чучела. Полумесяцем позже ои продал лодку, на которой сплыл верст сто, и стал «сколачивать капитал», работая грузчиком на пристани. И только острый н любопытствующий глаз свидетеля истории мог призиать давиего знакомого в загорелом и оброслем коростой сибирском вариаке.

Дальше путь был легче и опасиее — участились поселки и города, иарод попадался меиее приветливый, полиция пошла гуще и дотошиее. На одиом перегоие удачно затесался в компанию бродяг последнего разбора, с ними устроился в пароходиом трюме, и когда случился в пути полицейский досмотр,— иет ли бежавших политиков,— Николай Иванович, вниманьем не даря, зверски дулся с товарищами в засаленные карты, ругался последними словами,— н полиции не пришло в голову пошарить средн шпаны и выудить иителлигента.

Так добрался до Томска, с опаской и риском иашел иужиого человека, а дальше, побрив бороду и хорошо протерев бережно сохраиенные очки, ехал в поезде сельским учителем, с малыми деньгами, ио ладным, иаизусть заученным паспортом,— чтобы, при надобиости, ответить без промаха и ошибки.

Слушая стук колес, вспоминал пройденный путь и дивился, что жив и здоров; считал это как бы вторым рождением и любовио рассматривал свои огрубевшие, в мозолях и рубцах, с поломанными иогтями руки. На ием была чистая голубоватая рубашка с мягким воротником и тоиким плетеным галстуком и пиджачиая пара, в которой можно даже и в большом городе ие привлечь праздного внимания. И ои читал газету, купленную иа станции. Значит, действительио — есть и такая жизнь.

В Москву Николай Иванович приехал с удобным для него раниим поездом,— весь деловой день впереди. Не мешкая, явился на утреиний прием к врачу иа Каретной-Садовой, пробыл иедолго, получил иовый адрес и до вечера успел побывать и там. Но, коиечио, сразу ничего ие делается, задержки иеизбежны: и деиег мало в партийиом комитете, н сугубая осторожиость,

и много новых и незнакомых людей, так что с заграничным паспортом придется обождать, если не хочет Николай Иванович перебраться за границу тайными путями, а это сейчас очень неверно н опасно.

Пройти такой путь и быть арестованным на самом пороге Европы — это не улыбалось Николаю Ивановичу. Лучше повременить, меньше показываясь на улице. Кое-как протянул и эту неделю, спутешествовал пешком в Троице-Сергиевскую лавру усердным богомольцем. К назначенному дню вернулся в Москву, уверенный, что никакого хвоста за ним быть не может, и в условленный час пошел на конспнративную квартиру.

На улице никого, даже не видио дворника. Час ранний, в доме, наверное, только-только встали. Так и удобнее.

Шел неделями тайгой — н не боялся; спал со шпаной вповалку на заплеванном полу — и было не хуже, чем в мягкой постели. В поездах вел степенные речи со спутниками, ни в ком не возбудив подозрения. А вот тут, где все просто, да прнтом и последний этап мытарств, за которым — настоящая воля и отдых, может быть Париж, а то и Италия,— тут какая-то нелепая опаска, даже слегка дрожат ноги. Правда, там везде оберегал себя сам, выбирая пути и тропннкн, а здесь, хочешь не хочешь, нужно довериться другим.

Поннже надвинув кепку, Николай Иванович зашел в подъезд. А когда поднялся на второй этаж, внизу дверь подъезда с силой захлопнулась. Постояв минутку, решил не быть младенцем, а сначала вернуться и посмотреть, почему хлопает дверь, когда никого у подъезда не было. Спустился, тронул ручку, осторожно прнотворил,— а обратно затворить уже не мог. За дверью ждало трое, а сверху послышался топот ног. В отчаяньи рннулся на улицу — н попал в недружеские объятья. Успел только пожалеть, что револьвера ему так и не добыли московские товарищи,— иначе его новый плен обошелся бы дорого похитителям свободы. Со всей силой грузчика и снбнрского бродяги бил по зубам, кусался, отбивался ногамн,— но с пятерыми совладать не мог. Когда навалились и подмяли, Николай Иванович ослабил мускулы и, как мог спокойнее, крикнул:

— Ладно, ребята, не натружайтесь! Ваша взяла!

Запыхавшись, они больно скручивали ему руки. Он не стонал и не напрягался. Смотрел своим тамошннм, хмурым и насмешливым взглядом, как один нз агентов, корчась от боли, потирал укушенную руку,— смотрел на ннх всех взглядом каторги и тайги. И тот, кто был среди них старшим, уверенно сказал:

— Этот тебе не жидовская слизь! Видать сразу — наш, православный, *матерой волк!*

ПРЫЖОК

Сильного мужчину втолкнули в извозчнчью пролетку, голову пригнули к ногам, двое навалились, третий погонял нс-

пуганного извозчика. Везли в арестный дом при полицейском участке. Кого взяли — сами не знали. При засаде, устроенной в доме по доносу, за два дня взяли добрый десяток.

Едва дыша под полицейскими сапожищами, Николай Иванович «принимал меры». В согнутом положении это оказалось даже удобнее. Оттянув жилет связанными руками, достал из карманчика бумажку с адресами и три рубля: бумажку съел а три рубля засунул за голенище сапога. На такую тайную кропотливую работу хватило всего пути.

В пречистенской части допрос краток: кто такой, к кому приходил? Николай Иванович отвечал степенно, толково и почтительно:

— Нешто можно, ваше благородие, сначала брать человека, а потом спрашивать имя? Имя надо раньше знать, тогда и спрашивать не придется.

Помощник пристава сердито:

— А ты не учи и не вертись. Спрашиваю — отвечай!

Николай Иванович с прежним дурашливым достоинством:

— Несправедливость какая! Так не по закону!

Сразу понял, что взяли его оптом, по засаде, вместе с другими, пришедшими на конспиративную квартиру, а имени не знают. Сейчас не знают, а могут скоро установить, и тогда плохо!

Его обыскали, отобрали кошелек с деньгами, но трехрублевки не нашли. Не было и паспорта: опытный человек, идя на свидание, оставил его в чемодане, сданном на хранение.

Главное — не терять присутствия духа. Жалел, что при аресте дрался — лучше было разыграть невинность. А теперь самое важное — сохранить здоровье. Когда его заперли в одиночную камеру, он прежде всего разделся донага, обтерся холодной водой, проделал гимнастику и стал изучать обстановку.

Арестный дом — шуточная тюрьма для человека, знакомого со всеми сибирскими этапами и с каторгой. В окнах решетки, но из окон видны соседние дома. За низенькой стеной участкового двора — улица; прямо против участка — ворота частного дома; дальше — церковный двор и опять улица. Забор стеклами не усыпан и гвоздями не утыкан, и это очень хорошо. Во двор выводят гулять арестованных весь день поодиночке. Рядом с арестантом ходит надзиратель с револьвером, у ворот городовик с винтовкой, но ворота не на запоре: постоянно проходят люди в участковую канцелярию и в камеру мирового судьи.

В первый день на прогулку не водили, но обед дали. Николай Иванович съел все до крошки — для сохранения здоровья и бодрости духа. Под вечер кто-то выстукивал в стенку по тюремной азбуке, вызывая на разговор,— но новый арестант не ответил: не время заниматься пустяками. И вообще — спасибо московским товарищам! Посадить сумели!

Весь день до темноты провел у окна, изучая быт двора, а по крышам домов — расположение улиц. Никакое знание нелишне, а эту часть Москвы он знал плохо. Все обстоятель-

ио обдумав, решил, что иужно торопиться бежать, пока по фотографиям ие устаиовили личиости. Ждал, когда поведут на прогулку.

Утром его вывели во двор. Пробовал заговорить с иадзирателем, ио тот только сердито буркнул: «Ходи ие разговаривай!» Миут десять гулял вдоль двора по самой середиие, заложив руки в кармаиы. Надзиратель ие отставал ии иа шаг, а часовой иаблюдал виимательио. Зиачит — сегодия ие судьба, а зря рисковать ие стоит.

Еще прошли сутки без перемеи. На допрос ие вызывали, очевидно, ие дошла очередь. Но дальше третьего дня оставаться под арестом иет иикакого расчета: могут перевести в иастоящую тюрьму.

На третьи сутки, ожидая вызова иа прогулку, привел себя в полиый порядок, крепче подпоясал штаны, проделал руками гимнастику, поиграл мускулами, подтянул сапоги, застегнул пиджак, даже пригладил волосы и прочио иадел кепку. Вышел иа прогулку бодро и весело, иапевая песеику, так что даже иадзиратель сам заговорил:

— Чему рад?

— А как ие радоваться! Ноие иа выпуск!

— Жди!

Тот же вчерашний иадзиратель сегодня иесколько рассеяи: иадоело ему целый день шагать по двору рядом с арестаитами. Отстал на три шага, а иа повороте оказался впереди арестанта, к иему спиной. И в то же время к часовому у ворот подошла девочка с корзиикой, иавериое, дочка. Николай Иваиович быстро провел рукой по борту пиджака, все ли пуговицы застегнуты, другой рукой иахлобучил кепку — и исчез.

Ои исчез виезапио, сам ие рассчитывая иа такой успех. В три легких прыжка оказался у забора, подскочил, подтянулся, едва коснулся забора коленкой — и ветром перебросил тело. Перепрыгнув, быстро пересек мостовую и вбежал в калитку ворот противоположиого дома. Двор был пуст, и было и там иетрудно прыгнуть через забор во двор соседний — ио иа той же самой улице. Дальше было хуже — и сразу плаи рушился: иа высоком заборе целый частокол гвоздей. Пока думал, как быть, подбежал дворник:

— Что за человек? Чего иадо?

Николай Иваиович жалостливо посмотрел и потер живот:

— Нужио, братец мой, пристроиться. Очеиь гороху поел, сил иет!

Но двориик иеглуп:

— Живот болит, а через заборы прыгаешь! Миого вас тут шатается.

Николай Иваиович выхватил из кармаиа футляр от очков и иаправил в голову двориика:

— А ты молчи, убью — и ие пикнешь!

Тот оробел и попятился в сторожку. Еще пригрозив футляром, Николай Иваиович отступил к воротам, вышел и огля-

нулся. Он был иаискосок от ворот участка. У ворот была суета, выбежал часовой, вылетел растерянный иадзиратель, выскакнвалн городовые, озираясь по сторонам. На углу улнцы топтался с револьвером околоточный иадзиратель.

Если бежать — увидят и поймают. Николай Иваиович, поигрывая футляром, тихо перешел улицу обратио к воротам участка. Все глядели по стороиам н на него ие обратили виимания. Тогда ои, так же тнхо н степенно, вытирая нос платком, пошел к углу улицы, где все еще стоял околоточный, не знавшнй, куда направнть погоню. Несколько городовых обогнало Николая Ивановича, один даже толкнул его на бегу локтем. Спокойно дойдя до угла, Николай Иванович приостаиовился около полицейского чина н вежливо спросил:

— В чем дело, ваше благородие?

Околоточный, не оборачиваясь, отмахнулся:

— Проходите, господин, проходите!

Николай Ивановнч послушно, не ускоряя шага, повернул направо. На его счастье, по улнце шел трамвай. Он выждал минуту, прыгнул на ходу. Трехрублевка оказалась засунутой за подкладку пиджака. Кондуктор дал сдачу, но пассажир ехал иедолго — сошел на второй остаиовке прямо у казеииой винной лавочкн.

Из винной лавочкн, держа в руках полбутылки водки, вышел веселый загулявший мастеровой, у забора отбил сургуч, хлопнул по донышку, отхлебнул. Душа нараспашку, пиджак на одиом плече, кепка на затылке, иа лице радость и радушие, ио иоги действуют нсправно.

У торговки купил фунтик земляинки, перемазал весь рот н быстро зашагал, мурлыча песенку, лица ие скрывая, по улицам гостеприимной Москвы. Хотя оиа и гостеприимна, а все же лучше, ради прнятной прогулки, забраться куда-нибудь подальше за Москву, в дачную местность.

Погода была хороша, а Николай Ивановнч, пешком пройдя Сибирь, ие стеснялся дальних расстоянний.

ГОВОРЯЩИЙ ПУДЕЛЬ

Человек иебольшого роста и дурной иаследственности, слишком иеразвнтой, чтобы поиять безумие роли, которую ему приходилось играть, приехал нз Петербурга в Гессеи-Дармштадт, в замок Хобург. Хотя в личных качествах этого человека ннкто ие заблуждался, но каждый его шаг вызывал вниманне всего мира и толковался тоикими политикамн. Объяснялось это тем, что н сам этот человек и иесколько его предков были русскими царями.

Совершеино особый ннтерес к приезду Николая за границу проявила группа молодых людей иа острове Олерон, во Франции. Небольшой остров покрыт сосиовым лесом, его севериая часть выдвинута в океаи и слабо заселена, а в южиой части, близкой к

материку, небольшие курорты. Группа русских обзавелась большой дачей в отдаленном конце, где на километры тянется пляж, море в отлив уходит недалеко, дачников почти нет, а населенне занято добыванием сосновой смолы и работой на устричных промыслах.

В том, что маленького человека нужно убнть, никто не сомневался. Для его убийства были собраны небольшие средства, н целый ряд молодых людей высшим счастьем для себя полагал погибнуть за это на виселице. Но странность этих людей была в том, что каждое свое действие они согласовали с прнпципами, выработанными для них революционной партией, нначе говоря — другой кучкой молодых н старых людей, менее решительного поведения, но признанных особо авторнтетнымн в нравственной оценке человеческих деяний и их целесообразности. Центральный Комитет принципиально был против, а практически колебался, можно ли убить царя за границей, которая дает безопасный приют революционерам и эмигрантам.

Пока вопрос обсуждался, группа на острове Олерон торопилась изучить положение и выяснить возможности. И, конечно, ни международная полиция, ни сам гость замка Хобурга никогда бы не догадались, что для изучения поставленного вопроса избранное лицо немедленно выехало в Лондон для занятий в Британском музее.

В Лондоне Бодрясин покупал ворохи газет, прочитывал все заметки о первых днях пребывания царя в Гессен-Дармштадте н по нескольку часов проводил в библиотеке за изучением планов н чертежей, имеющих отношение к Гессен-Дармштадту, и в частности к замку Хобург. В его распоряжении был пятидневный срок,— и этого срока оказалось вполне достаточно, чтобы решить судьбу Николая: выяснилось, что убить его можно и, конечно, несравненно легче, чем в Петербурге. Судя по газетам — царь даже ходит по улицам! На шестой день Бодряснн, всегда в делах аккуратный, вернулся во Францию, в старый гугенотский городок Ла-Рошель, откуда трижды в неделю уходил пароход на остров Олерон.

Он вернулся вечером, а пароход уходил рано утром. В большом коммерческом отеле, поблизости от порта, он занял комнату н лег спать.

Окна комнаты выходили на площадь, где немолчно гудела карусель, срывались и грохотали вагонетки американских гор, визжали н трещали лотерейные диски, в каждом праздничном балагане гремела своя музыка. Все эти звуки одновременно врывались в окно. Площадь была залита светом электрических рефлекторов, н ни ставни, ни занавеска не могли преградить доступ в комнату световым зайчикам. Бодряснн провалялся в постели до полуночи, а когда огнн потухли н шум стих, распахнул окно н стал смотреть на площадь, где рабочие не спеша убнрали праздннчные балаганы.

Сна не было.

Бодряснн был сыном сельского батюшки и родом нз Уфнм-

ской губернии. Ему повезло: из семинарии он попал в Казанский университет. Дальше — довольно обычный путь «мыслящего»: участие в студенческом движении, временная ссылка, возврат, опять беспорядки, тюрьма, бегство, опять тюрьма, Сибирь, где его искалечили на этапе, опять бегство, революция, жизнь в Финляндии и эмиграция. За четыре года эмиграции он трижды побывал нелегально в России по партийным делам, вошел в боевую группу Шварца, но «особые приметы» — шрам через все лицо — ограничивали его боевое участие малыми услугами, вроде последней лондонской командировки.

Глядя на уснувшую площадь, Бодрясин продолжал думать о том, о чем думал все эти дни. Шварц лично выступить не может, он — командир, а не исполнитель. И тут уместнее всего женщина. Которая из четырех? Конечно не Дора, преданная и недалекая уже не молодая девушка, пригодная на роли хозяйки конспиративной квартиры. Ксения Вишневская, партийная «богородица», неизвестно зачем остается в группе: она совсем больна. Значит — либо Наташа, либо Евгения Константиновна. Наташа не знает ни немецкого, ни английского языка и на роль дамы-туристки совсем не годится; и Наташа, привлеченная Шварцем, собственно, еще не может считаться членом боевой группы. Евгения Константиновна, если захочет, будет лучше всех у места. С нею должен ехать, конечно, Шварц и еще хоть один помощник, но, конечно, не Петровский, юноша не испытанный и пустоватый, неизвестно зачем обласканный Шварцем.

При свете фонаря старый сторож беседовал с пуделем. Старик что-то жевал, вынимая из свертка, а пудель ждал, когда и ему перепадет кусочек. От нетерпения он повизгивал, топтался ногами и быстро махал хвостом. Шамкая, старик говорил наставительно:

— Veux-tu taire? [1] Помолчи! Первым делом — сам хозяин; а потерпишь — получишь остаток.

В тишине площади голос старика доносился с гулкой отчетливостью.

Бодрясин, наблюдая мирную картину, думал:

— «Сам хозяин» и распорядится. Шварц умен и смел. Но последний петербургский провал группу обескровил! Разве это те люди! Пожалуй, только Ринальдо, свежий и здоровый человек, напоминает прежних. Ринальдо нужен для России, если здесь не будет удачи. Остальные — осколки разбитой армии. Нужны молодые и сильные,— а где их взять? Рииальдо и Наташа?

Закрыв глаза, Бодрясин представил себе красивого молодого ученого, которого называли то Ботаником, то Ринальдо и имени которого никто, кроме Шварца, не знал. В группу Ринальдо вошел недавно, бросив ученую командировку и превратившись в испанца. В планах Шварца Ринальдо была отведена особая роль, если, конечно, удастся вернуться к террористической работе в России. А рядом с Ринальдо — Наташа, загорелая, надышав-

[1] Замолчишь ты? *(Фр.)*

шаяся сосновым воздухом, не похожая на всех остальных жеи-щин группы.

Старнк иа площади отчетливо иаставлял пуделя:

— Вот ты теперь поел н улегся штопором. А какова твоя обязаниость? Ты — мой помощник, ты — сторож. И тебе спать не полагается. Хозяину подремать можно, а ты должен смотреть, все ли в порядке.

Прохладный морской воздух н тишииа звалн дремоту, мысли н образы ленивее шевелилнсь в голове Бодрясииа. Мирная болтовня старика-сторожа, гулкие, гравнроваиные на камне шаги. Бодрясин даже не сразу удивился, когда пудель, в ответ на иаставлеиья, ответил по-русски:

— Как видите — стараюсь.

Измеиенным голосом, тоже по-русскн, старнк сказал:

— В такие моменты, мой дорогой, карьера делается, ие упустите!

Бодрясин очнулся, перевесился за окио и взгляиул вниз. У подъезда отеля прощались двое мужчнн. Говорилн тихо, но каждое слово доиосилось печатиым.

— Ну, — желаю успеха. И будьте осторожны прежде всего.

Знакомый Бодрясину голос ответил:

— Не беспокойтесь.

— И помните — в случае чего...

— Ну конечно.

Стукнула дверь, и они поспешно простились. Один вошел в отель, другой помахал ему рукой н пошел обратио через плошадь, оттискивая шаг.

Его фнгура и походка были Бодряснну незнакомы. Боясь, что он обернется, Бодрясии отошел от окна в глубь комнаты. Затем подошел к дверн, тихо ее приотворил и прислушался. Шагов слышно ие было, но в одном нз этажей отпнрали дверь ключом.

Бодряснн завесил окно, лег в постель и шепотом сказал вслух:

— К-каждый имеет право на таннствеиные з-зиакомства. Ч-черт возьмн!

ДАЧА НА ОСТРОВЕ

Остров Олерон прнблизился к материку южным концом, а северным ушел в океан. На южиом курорты, на северном сосновый лес и невзрачные селенья рыбаков. Пляж тяиется на миого километров, ио пользуются им немиогие — только по праздникам. Дачников почти нет. Этнм летом поселились в самом лесу, в большом деревянном доме, вытянутом в барак, русскне. Живут барственно, купаются дважды в деиь, играют в крокет и теинис, по утрам самн ходят на почту за письмами. Не часто, то один то другой, ездят на пароходе в Ла-Рошель.

К ним пригляделнсь. Запомнили высокого брнтого господи-

на, другого со шрамом на щеке, даму в отличных летних костюмах, которая по утрам уходит рисовать с ящиком красок, а живет от других отдельно. Недавно подъехали еще двое: молодой человек в широкополой шляпе и полная голубоглазая барышня. Всех теперь живет человек десять, а то и больше.

Бритый господин — Шварц, глава боевой группы. Дама-художница — Евгенья Константиновна, участница «экса» в Петербурге на Каменноостровском. Последними приехали Наташа Калымова и тот, которого называли то Ботаником, то Ринальдо. Раньше других здесь поселились Ксения Вишневская и Дора.

Ксения — высокая, худая, с большими черными глазами и синевой под ними, с медленными движениями скрытой истерички, жеиственно-недоступная, умная, чистоплотная до щепетильности, всегда в гладком платье без лишней морщинки и всегда столь же гладко, без единого локона и без единого отставшего волоса причесанная. Неизвестно, любил ли ее кто-нибудь — осмелился ли любить. За исключением Бодрясина, все ее стараются уважать, а то и впрямь уважают. Только Бодрясин позволяет себе называть ее в глаза «товарищ богородица», а за глаза «догма иваиовна». Он же не раз говорил, что хорошо бы посмотреть в щелку, какой она бывает наедине:

— Может быть, откроются иовые мощи, а в-возможно, что и т-тайиый грех.

У Ксении большое революционное прошлое, а в нем близкая дружба с несколькими «святыми»,— и, кажется, ни одиого друга в числе живых.

Дора — некрасивая, бесцветная еврейская девушка, преданнейшая эсерка, партийная от смугловатой и нездоровой кожи до мозга костей. Никогда ие позволяла себе никаких уклоиов в мыслях и поступках, не понимала и не одобряла шуток. Одна из тех, неспособных на критику и на самостоятельность действий, без которых нельзя обойтись в заговорщических делах и которым доверяют, как таблице умножения, химической формуле или старой испытанной прислуге.

Малозаметным членом группы из новых был Петровский, привлеченный Шварцем с намерением использовать его, как еще легального, для связей с Россией.

Убедив Наташу приехать на остров, Шварц ие связал ее никакими обещаниями:

— Побудьте с нами, приглядитесь и тогда сама решите, что будет дальше.

Это было зна́ком особого и исключительного доверия, каким Шварц дарил немиогих.

Наташа не ожидала встретить здесь Евгенью Коистантиновну — и ей искренне обрадовалась. И понятно: ведь это из той, петербургской, волшебной и страшной жизни!

— Даже ие знала, что вы за границей.

— Я здесь недавно. Обитала в Финляндии, но все-таки заглядывала в Петербург, пока там жил дядя.

— И ни разу не...

— Не попадалась? Нет, все же раз меня арестовали, но дядя устроил грандиозный скандал — и меня выпустили. И затем я уехала.

Все та же: выдержаниая, внешне холодная, немного иасмешливая, неизменно аристократичная в повадках и костюме. С Наташей была откровеинее: «Скучио мие, да и все ие то!» Наташа ей говорила:

— Никогда я вас не могла поиять до конца! Словио бы вы не наша, а между тем...

— Я, Наташа, иичья. Ни того, ии этого берега. И такая я с детства. Если меня ие повесят, то уйду в монастырь и буду игуменьей.

— Но вы в группе Шварца?

— О да, Шварц–явление замечательное. Это, конечно, не Олень, ио все-таки исключительиый человек. У меия к нему художественная склоиность.

По-прежнему скрытна и уклончива, но в глазах новое — уже не огоиек, а усталость.

Живописью не то занималась серьезио, ие то шутила. Наташе показала только «фреску» на косяке окна:

— Вот думают, что это ие картииа, а только проба красок или что я вытираю кисть о штукатурку. А я утверждаю, что это — лучшее мое произведенье. Видите — красочиая буря, вроде спирали; а тут фиолетовый знгзаг. Изображеине моей непокориой и иепристроеииой души. А может быть — мировой хаос. Во всяком случае — иикакой гармонии.

Шутит, вероятно...

Всех этих разных людей связывала одна увереииость: если революция еще возможиа, то путь к ней едии — террор. Можно бросить все и уйти в личную жизнь, как сделали уже миогие. Но если остаться верными себе и своему отречению от личного,— иного пути иет.

У каждого были свои призраки и свои воспомииаиия о первых шагах молодой жизни. Была связь крови с близкими, которых казнили нли умучали в тюрьмах. Было сознание тяжко легшей иа плечи ответствеиности. И была отрава прошлым — теперь уже всякий спокойный быт стал пресным: кто заглянул раз в таиствеиное и в пропасть, тому возврата к спокойиой жизни нет.

СОБОРНАЯ ИСПОВЕДЬ

На остров вернулись Бодрясин и Петровский. Встретились случайио: Петровский ездил в Ла-Рошель купить себе рубашек с откидными воротниками и купальный костюм. Лето стоит исключительно жаркое.

— Обидно, что ие запасся в Париже. Здесь дрянь, а иа Олероне совсем нет. Купил какой-то полосатый.

Бодрясии съязвил:

— В полосатом вы будете совсем кр-красавчиком! А где вы иочевали?

— В «Коммерческом».

— Жаль — не знал. Я т-тоже там переночевал.

Петровский посмотрел с некоторым беспокойством.

— А вы когда приехали, товарищ Бодрясии?

Вечером. И сразу завалился спать. На площади музыка, а я спал, как барсук. И всю ночь видел во сне говорящего пуделя. Т-такая ч-чепуха.

В «малом совещании» группы участвовали, по обычаю, Шварц, Бодрясии, Евгения Константиновна и Данилов, уже старый человек из иародовольцев, приезжавший на остров по вызову Шварца; Данилов был представителем центрального комитета партии.

Комитет высказался против покушения в Гессен-Дармштадте. Шварц негодовал и грозил отколоться и действовать самостоятельно. Неожиданно Бодрясин, перед тем обстоятельно доложивший, что имеются все шансы на успех, высказался также против:

— П-принципиальное решение комитета п-поистине нелепо, вы уж простите меня, товарищ Данилов. Но хуже всего то, что иас, по-видимому, уже поджидают в Гессен-Дармштадте, а м-может быть, и ближе. Так что дело все равно прогорело.

О говорящем пуделе Бодрясин не рассказал; он был слишком осторожен и боялся возбудить иапрасные подозрения. «Каждый имеет право иа т-таиственные зиакомства». Но сказал, что заметил в Ла-Рошели что-то вроде слежки иа вокзале и в порту.

— А может быть, мне и п-померещилось, хотя глаз у меня на этот счет достаточно наметан.

Малое совещаиие затянулось. Данилов напомнил, что все последние начинания группы проваливались. Что это, недостаточная осторожность или провокация? Шварц ручался за свою группу, ио после разоблачения Азефа и еще десятка провокаторов,— кто и за кого может поручиться? В группе иесколько новых членов — и ие все они испытаиы в деле.

В тот же вечер собрали всех. Шварц сказал:

— Товарищи, нам придется выполнить не совсем приятную обязаииость взаимной проверки. У центральиого комитета есть подозрения, ие против отдельных лиц, а вообще против чистоты организаций, в том числе и нашей. Предлагают соборную исповедь, чтобы каждый ознакомился с каждым.

Дора подняла испуганные глаза. Ксения Вишневская оглядела всех святым испытующим взором. Наташа ие поняла:

— То есть в чем же исповедоваться? В убеждениях?

— Нет, главиое, коиечно, рассказать подробно всю свою биографию.

Не в тон собранию Бодрясин добавил:

— Кроме слишком уж ии-нтимных страниц жизни.

Соборная исповедь прошла ие столько оскорбительно, сколько томительно и скучно.

Данилов предложил начать с него. Длинно, обстоятельно, останавливаясь на мелочах, он изложил свою биографню, н без того большинству нзвестную, перечислил все свои аресты, тюрьмы, этапы, развил свою политическую программу, во всем согласную с общепартийной. На какие средства живет. С кем особенно близок. Где жил н какне нес обязанности по партии.

Его слушалн внимательно н почтительно. Жизнь подвижника, без пятнышка, без малейшего повода для сомнений.

За Даниловым говорил Шварц:

— В сущности, на мне, товарищи, лежит главная ответственность, и мне приходится быть строго конспиративным, н мой рассказ проверить шаг за шагом невозможно. Притом меня, очевидно, оберегал Азеф в каких-то своих соображениях; много раз могли меня арестовать, а не арестовывали. Так что уж судите сами.

Он тоже нзложил свою жнзнь. Он был талантливым рассказчиком, и жизнь его стоила фантастического романа. Все последние годы ходил по краю пропасти, н не всегда мог объяснить, как остался цел н невредим. В рассказе прибавлял: «Вот тут обдумайте и обсудите. Мне самому не все понятно, н, кроме того, не всех могу назвать».

Слушали и видели, что Шварц — необыкновенный человек, предельной смелости, страшной воли. Он далеко не так скучно-несомненен, как Данилов; в нем есть что-то от авантюрнста. Но если Шварц нзменник — тогда революция н террор вообще невозможны.

Очередь Бодрясина. Он долго трет лоб н пытается преодолеть первую согласную:

— К-к-как уж и рассказывать — не знаю. Н-ничего в моей жизни нет интересного и замечательного. Единственно должен сказать, что мне неоткуда было стать мерзавцем. Родом я из мужиков, отец был сельский попик, но оч-чень хороший. Воспитан попросту, к-карьеры не нскал, учился ничего себе, а потом прямо в тюрьму. Ув-влеченнй не имею н к деньгам д-довольно равнодушен. Главное, что жил среди порядочных людей, даже отличных, так что не было случая заразиться п-под-подлостью. А больше и рассказывать нечего. Я в-вообще в п-провокаторы как-то не гожусь.

Когда говорил Бодряснн, все чувствовали, что есть в этой всеобщей нсповеди ложь. Что должен доказать Бодряснн? Что он не украл собственных вещей? Что он не продает своего святого? Разве Бодрясин — не сама революция? И разве не кощунственно в нем усумниться? Все были смущены.

Евгения Константиновна доложила о себе кратко:

— Я, наоборот, и родилась н жила в обществе вполне сомнительном — н арнстократическом н нравственно безответственном. Из всех присутствующих я — самый подозрительный человек. Партнйные взгляды разделяю с большими оговорками. Работала с эсерами и с максималистами. Больше всего люблю независимость. Не уверена, останусь ли с вамн или уйду в мо-

настырь. По брезгливостн не могла бы предательствовать, но уверена, что водить за нос честных н доверчивых людей очень просто н легко.

Наташа сказала просто:

— Мне не нравнтся эта нсповедь, я не стану говорнть. И помоему, все это напрасно. И даже как-то гадко!

— Но ведь все...

— Пусть все, а я не хочу. Лучше я уеду.

Опять смущение. Но положение поправила Ксенння Вншневская. Ее нсповедь была скорее проповедью. С недосягаемой высоты маленьким людям вещала о красоте революционной душн. «Вы хотнте знать меня? Ну что же — слушайте н казнитесь!» Хотелось, чтобы скорее окончила; но ее речь, плавная н образная, была подготовлена. Слушалн мучнтельно н не любили партийную богородицу н подвнжннцу.

Прнятное впечатление пронзвел Петровский.

— Я, товарнщи, здесь новнчок, никакнх революционных заслуг не нмею, так что должен нсповедоваться подробно.

И действнтельно подробно рассказал о себе, что могло быть любопытным. Кто родители, как учился, под чьим влнянием пошел в революцию, чем ей помогал. Рассказал н о своем небольшом участии в органнзации побега двенадцатн — добыл несколько паспортов н переправлял в тюрьму деньгн. Об этом знала и Наташа. Живет на средства матерн.

— Я, товарнщи, на боевые выступления вряд ли гожусь; я говорил товарнщу Шварцу. Но еслн могу помочь хотя бы в пустяках — располагайте мною.

С интересом слушали Ботаника. С революционерами он сблизился еще студентом, участвовал в московском восстанин, но арестован не был. Избрал дорогу ученого, был два года в командировке, жил в Италии н Испании. Теперь решил все это броснть. Почему? Да потому, что нз этого ухода в науку ннчего не выходит. От себя не уйдешь! И не то сейчас время. А может быть, все дело в темпераменте. По убеждениям — анархист, но России достаточно пока и малой программы; ей пока нужен воздух, а чнстого воздуха в Росснн нет.

Предложил расспроснть, задать вопросы. Данилов спросил о средствах к жнзни — Рннальдо ответил обстоятельно и подробно. Больше ннкто вопросов не задал. На Рннальдо смотрели н любовалнсь; он был красив, умен, прост, улыбался доверчиво, не говорил фраз, не обнжался, что прнходится раскрывать душу перед людьмн, еще мало ему знакомыми. Шварц, единственный, знавшнй Рннальдо с детства, заявил несколько подчеркнуто:

— Товарнща Рннальдо прнвлек в группу я, н если он чего не договорил — я за него отвечу.

Последней говорила Дора, старая партнйная работннца, преданнейшая, несомненная, незначительная н столько же необходимая. Запннаясь, как бы протестуя протнв обвинений, на нее возведенных, доказывала свою непрнчастность к провокацин. Данилов даже остановил ее:

— Да вы не волнуйтесь! Никто ведь вас не подозревает, это только для формы, мы все исповедуемся.

Дора закончила с покрасневшими глазами:

— Я предпочитаю, чтобы меня убили, и даже готова сама...

Ее успокоили и обласкали. Бодрясин смотрел угрюмо и брезгливо — черт знает, какая противная история! Только Данилов мог придумать такую пытку и такую глупость! И так плохо — а тут еще ввозить к нам парижские настроения!

Трое — Данилов, Вишневская и Дора — были избраны в комиссию: обсудить исповеди и, если нужно, поставить дополнительные вопросы; было прибавлено: «не от недоверия, а ради полноты и равенства всех исповедей». Все устали, и было тяжело и противно.

Бодрясин позвал Петровского:

— Пойдем на пляж освежиться? Не бонтесь ночью?

Петровский охотно согласился: Бодрясин редко был с ним приветлив и разговорчив.

Шли к морю через лесок, при луне. Петровский заговорил о том, как странно он, человек все-таки новый, чувствует себя в таком спаянном кружке:

— Вы мне, скажем, доверяете, а другие свободно могут сомневаться. И ведь они правы: сразу человека не узнаешь.

Бодрясин добродушно сказал:

— Г-глубокая правда! Люди недоверчивы. А вам деньги маменька присылает?

— Какие деньги?

— На-к-которые живете? От маменьки?

— Да, мать посылает. Не очень много.

— Она богатая?

— Нет. Она получает пенсию. Да еще немного от нашего именья.

— Значит — из помещиков?

— Да, отцовское, небольшое.

— Губерния?

— Что?

— В какой губернии именье?

— Оно у нас в Пензенской.

— Уезд?

— Да, собственно, нельзя считать и имением. Так — остаток прежнего благополучия. Дом хороший, а земли совсем мало.

— Уезд какой?

Петровский искусственно громко рассмеялся.

— А вы прямо как следователь! Какой уезд? А черт его знает, я там только маленьким и бывал. Вот чепуха — какой в самом деле уезд? Знаю, что Пензенская губерния... Да вам зачем? Думаете, не вру ли?

Бодрясин сказал с серьезностью:

— В-видите ли, Петровский, нужно все это хорошо п-подготовить. А то люди злы и подозрительны. Вы припомните, какой уезд, могут спросить. И до чего же люди подозрительны,

даже глупо! Надо бы любить друг друга, доверять друг другу, а вместо того — ч-черт знает к-какое отношение! Письма-то от маменьки вы храните? Можете п-предъявить?

Петровский окончательно изумлен:

— Вы это серьезно? Конечно, могу. Всех не сохраняю, а могу поискать. Нет, скажите, вы это серьезно?

— Очень серьезно!

— Я поищу. Хотя и неприятно: все-таки материнские письма. Я не обижаюсь, но все-таки неприятно.

До пляжа дошли молча. Море было тихим и в отливе. Петровский мучительно старался вспомнить, какие уезды в Пензенской губернии — хоть бы один вспомнить,— и ветерок с моря его не освежал. Неужели Бодрясин его заподозрил? И зачем было говорить об имении — никакого имения нет.

Бодрясин его волнения не замечал. Бодрясин любил море и был страстным рыболовом.

— Только на удочку! Сеть — вздор, промышленность. Но лучше всего на небольшой реке. Каких щук я лавливал еще мальчиком в деревне. Я ведь и сам п-пензенский.

Петровский испуганно промолчал.

Бодрясин возвращался веселым, на него отлично действовал морской воздух. Даже расшалился, ухватил Петровского под ручку, раскачивал, натыкался в темноте на деревья, пел марсельезу и рассказал Петровскому анекдот, не смешной и не совсем пристойный. Простился с Петровским дружески:

— Ну, спите спокойно. Сегодня мы намучились, и, конечно, зря. Продолжения никакого не будет. В Ла-Рошель больше не собираетесь?

— Нет.

— Ну, прощайте, земляк! Хотя я, собственно, не Пензенской, а Уфимской губернии. А уезд — Б-белебеевский. Покойной вам ночи!

ОГОНЬ

В северной своей части, выдвинутой в океан, остров Олерон зарос соснами. Смолу здесь гонят просто и губительно: подвязывают банки под надрезами. Смола течет по желобку, переполняет банку, а излишек впитывается землей. Воздух от этого пьян и здоров. Редкий кустарник — почва затянута мохом и белым лишаем.

Побережье — наклонный паркет на много километров. Океан в отлив далеко не уходит, можно купаться в любой час.

Второй месяц не было ни капли дождя. Трава выгорела, мох хрустел. Через лесок ходили купаться трижды в день — единственное спасение от жары. Неизвестно, куда судьба забросит завтра: сегодняшний день — чистый выигрыш.

Записные купальщики — Наташа и Ботаник, он же Ринальдо; оба пловцы и поклонники горячего пляжа. Ступая

босымн ногамн по увлажненному песку у самой черты океана, уходилн далеко, а домой возвращались, блестя бронзой лба и носа, черные, пьяные от солнца н смоляного духу. Рннальдо говорил:

— Ну, в Пнтер я прнеду настоящим нспанцем!

Наташа улыбалась:

— А вот я, хоть в уголь почернею, все — рязанская баба.

Она смотрела на нспанца, он — на русскую бабу, н оба, не думая много, радовались своему здоровью. В последнне днн — всегда вдвоем, так уж вышло.

Щурясь н вглядываясь в островок с крепостным сооруженнем, может быть, тюрьмой, н с странным для русского уха нменем «Бояр», Ботаник леннво н убежденно тянул:

— Про свое время каждый думает, что оно исключнтельно, что такого в нсторин не было. А нсторня, она тем только н заннмается, что повторяет события. Это как фотографии н портреты предков: наряды разные, а носы и подбородки те же. Вот сейчас в Россни реакция, казнн, упадок общественного настроенння,— н все это уже было, и еще будет, н мы ничего нзменить н поправить, в сущности, не можем.

Наташа, опершись на руку, так что локоть ушел в песок, а песчинки щекотно впились в локоть, наблюдала за девочкой, ловнвшей сачком креветок в мелководьн у берега. Летели мимо уха, глубоко не заглядывая, слова:

— И было, н будет, н все-таки нельзя оставаться только созерцателями. Нельзя вечно смотреть в микроскоп,— я это лучше других знаю, долго глаза портил. И так жнть тоже нельзя — барином на французском бережку.

Девочка, ловнвшая креветок, пробежала близко, держа мокрый сачок с добычей. Наташа ее подманила н усадила около себя. Влажный костюм, от воды красно-темный, был узок, н детское тело под нним круглилось вкуснымн валикамн. Наташа погладила девочку по выгоревшим волосам, потом не удержалась н пощекотала, а когда та залилась н зазвенела смехом, Наташа сгребла красный комочек, пржала к себе н стала целовать в соленую складку у шен.

Захлебываясь смехом, девочка отбнвалась, упнраясь рукамн в Наташину грудь. Две женщины, большая н маленькая, свнлнсь на песке в клубок. Наконец маленькая вырвалась, подхватила свой сачок н убежала к воде, да не просто, а прыжками.

Оправнв костюм, Наташа повернулась к Рннальдо — н увндала, что он смотрнт особенно н хочет скрыть смущенье.

— Да, вот вы на обреченную не похожн! Вам бы матерью быть, вы, верно, очень любнте детей.

— Люблю. А почему — обреченная?

— Как все мы.

— А зачем говорнть об этом, да еще у моря. Нчего мы не знаем. Я, по крайней мере, нчегошеньки, да н не хочу знать.

— На блнжнее время все же знаем. Я вот знаю, что через две недели буду в Петербурге. И Шварц знает. И что будет дальше — тоже угадываю.

— Сейчас об этом не нужно.

Замолчали, и Наташа представила себе улицу в Петербурге, духоту, движенье, непрерывную тревогу. Но неясную картину залило солнце, а с воды потянуло прохладой. Наташа встала и пошла к воде.

Отплыли далеко, лежали на воде, показывали друг другу, как держаться, подняв над головой руки, и как плыть на спине, не помогая взмахами. Освежились, продышались, устали и, набросив халаты на мокрые костюмы, печатая на песке сандальями, в которые с ног стекала вода теплыми капельками, пошли через лес.

Умершая от жары трава колюче задевала ноги, мох похрустывал, воздух сытно смолил легкие. Говорить было не о чем — и не стоило. Ни тени, ни прохлады. На небольшой полянке, обставленной сосенками, сделали привал, разлегшись на еще влажных халатах. Здесь, без близости воды, солнце жгло еще жарче, воздух шевелился вяло и кожи не ласкал.

Лежали на спине, лицом смело в зенит, и под закрытыми веками перекатывался пушистый клуб сгущенного света. Наташа сушила волосы, Риальдо курил. Если и думали, то не о России и не о своей обреченности.

Надвинулись сосны своим горячим духом, и было тихо, далеко ото всех и уединенно. И оба одновременно почувствовали, что иногда, как вот сейчас, глупо и напрасно размышлять и держать на поводу желанья. И, кажется, уже невозможно. Когда случайно коснулись друг друга плечом, и плечо оказалось прохладным,— ощущение стало ясным и требовательным. Опять коснулись уже не случайно, и Риальдо отбросил папиросу.

Нестерпимо светлую, пылающую неслышным огнем лесную тишь нарушал только мирный стук; они были очень молоды и боялись себя, и стук слышался из груди, из-под влажного костюма. Прижавшись, еще осторожно и почтительно, с проверкой и выжиданьем,— как будто еще можно одуматься или не нужно ли что-то друг другу объяснить? — они замерли в чуткой неподвижности.

Затем и окружные сосенки, и высокие старые сосны, которых уж ничем не удивишь, и воздух, и небо, от палящего жара потерявшее синеву,— стали над ними склоняться. Но раньше, чем пройдена была мертвая точка и будни стали праздниками,— за их головами раздался сухой треск, будто от шагов. Они отбросили друг друга и испуганно вскочили.

В солнечной слепоте глаза сначала искали напрасно. И вдруг низкое сухое деревце взвилось и стало терять листья; на далекой тени отразился и лизнул дымком язык пламени. Наташа поняла первая — и крикнула:

— Горит!

Невидимый пожар был в двух шагах — там, где упала недокуренная папироса Риальдо. Без пламени тлел и чернел сухой мох, без дыма свертывалась и никла трава, потрескивали сосновые иглы.

Наташа схватила халат и широкими взмахами стала бить там, где трещало или дымилось. Ринальдо растерянно топтал ногами ползущий черный кружок моха и чувствовал, как накаляются подошвы сандалий; затем и он бросился к халату. Посылая в лицо друг другу вихрь жгучих иголочек, кусавших голую грудь и ноги, они молча, методично и ожесточенно били халатами по стволу деревца, в ярком солнечном свете горевшему без пламени. Главное — чтобы огонь не перекинулся на соседних великанов,— тогда борьба невозможна.

Теперь, далеко разлетаясь, искры западали в мох и лишай, готовя новые очаги огня. Затушив здесь, они бросались к другому месту, ударяя халатами и по траве и по телу. Была минута, когда Ринальдо, опалив лицо близ нового вспыхнувшего куста, закричал:

— Невозможно! Нужно бежать, Наташа!

Она ответила необычным ей грубым окриком:

— Вы сошли с ума! Сгорит весь лес, а там люди!

Он не знал того, что знала она, родившаяся и жившая на Оке, где лесные пожары часты и страшны: горит неделями, и воздух на сотню верст повисает желтым и смрадным дымом.

Им удалось победить огонь; но при первой передышке ухо ловило новое потрескивание. Нюхая воздух, находили новый очажок огня, хотя горелым пахли и халаты, и волосы, и тело. Пока Наташа затаптывала мох, Ботаник ползал по земле, обжигая колени, и скрюченными пальцами, как цапками, счесывал до земли мох и лишаи на всем пространстве полянки и под кустами. Он был прав: пожар бежал и растекался скрыто, понизу. Горстями взрытой земли и песку они забрасывали истлевшую траву, ногами затаптывали искры.

Они бились больше часу, изнемогая от усталости и возбужденья. Падали в бессилье — вот разорвется сердце! — и снова заставляли себя подняться, хотя подгибались ноги, а руки, повиснув, болтались в суставах. Вот — кажется, все кончено. Они сидят рядом на горячей и взрытой земле, опираясь друг на друга, соприкасаясь плечами без всякого стыда и желанья, нюхая воздух и прислушиваясь. И опять в полной тиши — легкий шорох огня или тянет свежим дымом. Расползались на четвереньках и придушивали искру руками и голым коленом.

Была тишина полная уже много минут. Воздух очистился, снова пахло смолой, а струйки горелого были холодны. Они разошлись и поодаль друг от друга распластались на земле, ища тени или хоть призрака тени, все продолжая слушать. Они были победителями. Дома́ останутся целы, ничто не грозит девочке, ловившей креветок. Прекрасный лес спасен.

И тогда оба разом почувствовали боль в руках и слабость обожженных тел. У Наташи опалились наскоро закрученные и забитые под купальный чепчик волосы. У Ринальдо закорявились от огня кончики ногтей, распухли пальцы, закудрявились золотые волосы на ногах. Халаты были грязны и полу-

сожжены, купальные костюмы в дырочках. Изумительно, как до сих пор они не чувствовали ожогов.

Наташа сказала:

— Надо бы идти, но страшно оставить. Вдруг где-нибудь тлеет.

Прождали еще с полчаса. Обошли кругом поляну, топча мох, заглядывая под каждое деревце. Нет — все покойно.

Тогда набросили свои дырявые хламиды — и в первый раз рассмеялись: лица черны и перемазаны, ноги в ссадинах и красных пятнах. Только что перед этим метались по лесу и боролись со стихией два полуголых божества,— и вот стоят в смущении и усталости два инвалида!

Был в этом какой-то тайный смысл: может быть, предупрежденье, что в судьбы обреченных не вписана страница личной жизни? И нелепо, и все-таки странно. Минутой позже было бы иное.

Очень хотелось сказать друг другу естественную фразу:

— Не нужно в лесу шалить с огнем!

Они не сказали. Если бы не крайняя усталость — может быть, жалели бы, что так случилось. Своим поражением и своей победой не гордились. Теперь шли равнодушно, довольные только тем, что кончилась трагедия.

— Знаете, Риньольдо, нужно будет, когда отдохнем, вернуться сюда и взглянуть; я еще не спокойна; а вдруг где-нибудь тлеет?

Он, усталым голосом и морщась от боли в пальцах, ответил:

— Можно. Но только ничего не осталось: мы затоптали все искры.

И дальше шли молча, думая свое.

ПРОФИЛИ

Шварц сидит за столом перед листом бумаги. Шварц чертит профили. Он до удивительности лишен малейшей способности к рисованию, но, к счастью, это ему не нужно.

Профили Шварца однообразны, с низкими лбами и выдающимися подбородками. Если бы ученый, разрыв курган, открыл череп, подобный нарисованному Шварцем,— ученому пришлось бы написать книгу о своей необычайной находке. Волнение пробежало бы по рядам антропологов: пало бы все, до сих пор признаваемое несомненным и доказанным. Но никогда ни один ученый такого черепа не найдет. Шварц прибавляет несколько завитушек к затылку профиля, рисует шею с кадыком и принимается за новый.

Уменье рисовать Шварцу ни к чему. Нужно совсем другое: нужно сдвинуться с мертвой точки и начать действовать. Два месяца его группа живет на острове Олерон. По планам Шварца, здесь, в уединенном месте, должна быть только штабквартира и место сбора. Отсюда, разными путями, кто на Фин-

ляндию, кто на Марсель и Одессу, часть товарищей поедет в Россию. Решающим месяцем будет август.

Это будет вторая попытка. Первая, ранней весной, окончилась полным провалом: едва основавшуюся в Петербурге боевую группу пришлось снять с работы, семь человек скрылось, четверо были арестованы и казнены. Из скрывшихся один оказался провокатором.

Шварц комкает лист бумаги и заменяет чистым. Новый профиль совершенно похож на прежние, за исключением подбородка, в котором нет ни энергии ни упрямства. Такой подбородок может быть у Петровского.

Бодрясин рассказал Шварцу о своих сомнениях. Именно после этого Шварц проявил крайнее легкомыслие, недостойное революционера: завязал летнюю интригу с некрасивой француженкой, барышней из почтового отделения. В часы, свободные от дежурства, барышня гуляла со Шварцем в лесу, поодаль от селенья, чтобы не попасть на глаза родных или соседок. Шварц также не хотел, чтобы его видели с нею товарищи. Через неделю в его руках было письмо Петровского к его «маменьке». Шварц снял копию и возвратил француженке письмо, сказав, что хотел только иметь доказательство ее доверия и привязанности. Может быть, она и не поверила, но каяться было поздно.

Все это глубоко противно и пошло. Думая об этом, Шварц заметил, что ни у одного профиля нет уха — и пририсовал разом у нескольких ухо, там, где полагается быть виску.

Сегодня вечером беседовали втроем, он, Бодрясин и Евгения Константиновна. Бодрясин настаивал на том, что группу нужно временно распустить, всем разъехаться, а о предательстве Петровского опубликовать в партийной газете, как уже было сделано со многими. Евгения Константиновна не сказала ни слова, только внимательно прочитала копию письма. Когда же ушел Бодрясин, она сказала Шварцу:

— Пошлите его со мной в Париж.

— Кого?

— Ну, Петровского.

— И потом?

— А потом я исчезну.

— А он?

— Он исчезнет несколько раньше.

В Париже у нее была квартира, гарсоньерка[1]; Евгения Константиновна любила если не комфорт, то удобства, она и на острове жила отдельно ото всех. Сама называла себя буржуйкой. Она не была богата, но ни в России, ни за границей в средствах не стеснялась. Шварц знал, что она помогает товарищам.

Решили, что никто, даже Бодрясин, не будет посвящен в план ближайших действий. Но группу, конечно, нужно немедленно распустить.

---

[1] Холостяцкая, для одиноких.

Это опять равносильно провалу, тем более что Петровский, хотя он, как новичок, был мало осведомлен, мог сделать некоторые выводы и о них сообщить «маменьке». Вероятно, он сообщил даже больше, чем мог знать. Все же совсем отказаться от плана Шварцу не хотелось,— достаточно изменить сроки и попытаться привлечь новых людей, на смену убывающим. Шварца пугали не жертвы, а бесплодность его попытки доказать партии, что он, Шварц, вернет боевой организации ее былую славу, помраченную обнаруженным в центре предательством.

Он комкает н второй лнст, весь нсчерченный профилямн. В отворенное окно влетела ночная бабочка н ударилась о стекло лампы; электрнчества нет в бедном поселке. Осторожно н брезгливо, неумелыми пальцами, Шварц взял бабочку за крыло и выбросил за окошко. На пальцах осталась скользкая серебрнстая пыльца.

Если бы он хотел н умел вспоминать — воспоминанья заполнили бы его ночь. Много разбнтых жизней и обжегшихся мотыльков, много напрасных жертв,— н так мало смертей оправданных н нужных. Его личная жнзнь окутана мрачной поэзней и кажется выдумкой.

Рядом с ним — десяток таких же, ходящих по краю пропасти. Сегодня все они живут в сосновом лесу, купаются в океане, шутят, спорят, придают значение мелочам; завтра, замешавшись в толпу людей самых обыкновенных, идут на дела, в глазах этой толпы — страшные н преступные, на убнйство н на участне в убийстве, и не знают, сколько дней еще отведено нм самим для жизни. А он — мастер боевых дел, капитан корабля мести.

Но для дум н воспоминаний Шварц еще слишком молод.

Он ннкогда не ложится спать, не обтершись мокрым полотенцем н не выложив на столик у постели револьвера,— два жеста, нужные для его спокойствия. Завтра — день подготовительных действий; он уже прндумал объяснение для отъезда в Париж двух членов группы: сначала уедет Евгения Константнновна, за ней Петровский. Получив телеграмму, он распустнт н других. Раз это необходимо — подчинятся все. Затем немедленно новый сбор, большинства — в Финляндии. Вместо океана — северные шхеры. И ближе к России.

Он ложится н тушит свет. Сон никогда не заставляет его ждать.

Поодаль от общей виллы, в комнате домика, похожего на барак, но в комнате удобной н умело обставленной, свет давно потух. Там лежит в постелн женщина, молодая н некраснвая, обещавшая исчезнуть вслед за Петровским, хотя такого условия никто ей не ставил. В лабиринте ее мыслей не разобраться никому — да никто и не ищет этого. Среди своих — она чужая, не скрывает этого. Но она с ними, потому что иначе оказалась бы совсем одинокой. Кажется, однако, без веры нельзя оставаться с верующими: безверье заразительно. И потому она отойдет к стороне. Она не так счастлива, как Шварц: скорого сна не ждет.

Спит Петровский сном спокойнейшим. Спит вся маленькая колония русских, в жизни которых этот остров — случайный этап, место минутного отдыха от бурь, иезнакомых даже океану. Если бы ниогда не было вокруг настоящей красоты, рассеивающей вечиое иапряжеиие мысли,— краткие сроки их жизни казались бы слишком долгимн и мучительными.

На полу, близ постели Шварца, за всю иочь ие смыкают единственного глаза скомканные профили с ухом не на месте и с однообразными, слишком иесерьезными для их низких лбов завитушками иа затылке.

CORDON s. v. p.!

Петровский в Парнже с первым важным поручением от Шварца. С очень таинственным: явиться по даниому адресу к мадам Ватсои (англичанка?), а дальнейшее скажет оиа. Петровский любит Париж — здесь свободнее. Он хорошо пообедал, но ограничил себя бутылкой анжу и одной рюмкой ликера.

Едва позвонил у двери мадам Ватсои — виезапио таиистве иность рассеялась: ему отворила Евгения Константиновна.

— Как?

— А я вас ждала раньше.

— Но... она дома, мадам Ватсои?

В ответ самый приязиенный смех:

— Дома, потому что это — я. Я в Париже живу под этим имеием.

— Шварц ие сказал мие.

— Шварц любит таинствеиность! Входите и будьте как дома.

Петровский иемного разочарован, тем более что только завтра Евгения Константиновна может передать ему нужное.

— А пока вы — мой гость, если ие имеете лучшего. Жаль, что пообедали.

— У вас квартира?

— Гарсоньерка. Видите — тут все: одна комиата и закоулок, где все мое хозяйство, газовая плита, ваииая. Живу по-буржуазному. Не осуждаете?

В Париже Евгения Констаитиновиа совсем особенная: прекрасно одета, даже светски-любезна. На острове она почти ие замечала Петровского

— И вино есть. Хотите кофе с коньяком? И я с вами выпью. По крайией мере ближе позиакомимся; и вы меия совсем ие зиаете, и я вас плохо.

Развалившись в кресле, Петровский чувствует себя гостем и барином. Он даже готов предположить, что его прнсутствне приятно этой самой удивительной и непонятной женщине нз всех его революционных товарищей. Она некрасива, но куда же больше женщина, чем все эти Ксении, Доры; и видно, что из особого круга, не как те.

— Разве революциоиер должен быть аскетом? Вы аскет, Петровский.

Туман в голове не мешает ему понимать, что это, собственно, и есть настоящая жизнь, ради которой стоит рисковать. Но туман колеблется и рассеивается, когда он слышит слова:

— Как хорошо, что мы ближе познакомились. Я ведь давно знаю, что вы не совсем то, за что себя выдаете.

Он хочет спросить: «То есть как не то?» — но она, налив ему и себе, продолжает:

— И вы не то, и я не то. И проще всего в этом откровенно признаться.

Он хочет встать, но туман мешает, а она живо смеется:

— Испугались чего-то? А вы не бойтесь, Петровский! Мы здесь одни.

Он сильно опьянел, но отлично помнит, что ничего не сказал неосторожного. Или она просто шутит? Действительно, она смеется; он слышит также и свой смех, преувеличенный, но солидный и веселый. Смеясь, он говорит:

— Ну и какая же вы! Вот вы какая! Это замечательно.

— Как поживает ваша пензенская маменька?

— Моя маменька?

Его маменька поживает ничего себе, хорошо. Какая маменька? А впрочем — кому какое дело! Все это очень забавно, а Евгения Константиновна — остроумнейший человек! И он продолжает радостно смеяться.

Никогда еще коньяк так его не туманил: это от парижской духоты. Голос Евгении Константиновны вдруг делается серьезным, и не сразу доходят до его сознания ее странные слова:

— Слушайте, Петровский, ведь не настолько же вы пьяны? Или хотите притворяться? Все равно — иного выхода для вас нет. Если в вас осталась капелька чести... да вы понимаете меня? Или вы окончательно пьяны.

Он слышит и понимает, хотя все и застлано туманом. Но то, что он понимает — этого не может быть! У него стучат зубы, а рука его пытается взять рюмку. Может быть, все это — шутка... Она отнимает у него рюмку и раздельно говорит:

— Я оставлю вам револьвер, вот этот, видите? Если вы не застрелитесь, Петровский, вы слышите? — вы все равно будете убиты.

Он качает головой, затем сползает с кресла к ее ногам и заплетающимся языком что-то бормочет о прощении и о своей молодости. Она гадливо отстраняется — и он целует землю.

Тогда она быстро выходит, приносит стакан, наливает его коньяком до краев и повелительно говорит:

— Ну, тогда пей еще, трус.

Косясь на револьвер, он пьет с ужасом, ожигая горло; в сразу сгустившемся тумане блестящая игрушка исчезает в ее сумочке: значит, это была шутка!

Последнее, что он чувствует, вызывает на его пьяном лице улыбку: под его голову подкладывают подушку. Самое важное — заснуть, чтобы потом все решить сразу. Его отяжелевшие ноги

сами подымаются и ложатся на шнрокий диван. Кружится голова, но все остальное прекрасно н благополучно.

С той же брезгливостью она вынимает нз его кармана паспорт н бумажник. В бумажнике только деньгн, н она кладет его на столик рядом со спящнм. Затем она моет рукн н освежает лицо. Чемоданчнк на стуле у двери. Она смотрнт на часы, надевает у зеркала шляпку, затворяет окио, задергивает тяжелые гардины и с минуту думает. В комнате душно и слышеи храп спящего. У самой двери оиа резко поворачивается, возвращается в боковую комнату, где газовая плита, н повертывает оба крана. Отсюда, не взглянув на лежащего, она медленно, слушая шнпенье газа, ндет к выходу н запнрает за собой дверь на два поворота ключа.

Зиакомый голос мадам Ватсои окликает консьержку, только что видящую первый сои:

— Cordon s. v. p.! Merci! [1]

ГЕОГРАФИЯ

Карта Европы исчерчена линиями поездов н водных путей. В Финском заливе сильно качает пароход, н Ксенння Вишневская жестоко страдает. Шварцу морская болезнь незиакома.

У стойки вокзальиого буфета в Вержболово молодой человек, явный ннностранец, колеблется, взять лн ему бутерброд с ветчнной илн два крутых яйца; стесняясь за свой акцент, он просит буфетчика дать ему «одна тарьелка» н долго рассматривает сдачу с десяти рублей. Две девнцы поспорили: кто ои может быть, француз или итальянец? Доедая бутерброд, Рнальдо смотрнт на девиц с уверенностью краснвого мужчины.

В третьеклассном вагоне нз Фраиции в Италию едут две русские девушки, кто хоть немного разбирается в национальностях, тот нн на минуту не задумается. Наташа не сводит глаз с бегущих мимо окна деревьев, Анюта дремлет. Не вытерпев, Наташа будит Анюту:

— Ты посмотри, какая прелесть! Начниаются горы. Ведь это Савойя!

В Базеле меняет дальний поезд на местный дама, по выдержанности — англичанка, по языку как будто немка. Носильщику она называет станцию Дорнах — антропософское гнездо. Носильщику это совершенно безразлично, но ему нравнтся, что дама не пытается нести сама свой легчайшнй чемоданчик. За неделю перед этим дама заперла на ключ свою парижскую квартиру, открыв газовый кран.

В Гельсингфорсе оставила вагон невзрачная женщина с еврейскнми чертамн и, без помощи носильщика, несет к выходу объемистый багаж. В одном поезде с Дорой, но в другом вагоне, как незнакомый, прнехал товарищ Снбиряк, член преж-

[1] Отворите, пожалуйста! Спасибо (*фр.*).

ией, распавшейся группы Шварца, вериувшийся в боевую организацию. Через две иедели ои должеи будет встретиться в Петербурге, в среду, в четыре часа, в столовой иа Литейиом, с тем молодым испаицем, который сейчас доедает бутерброд у стойки в Вержболово.

Водиым путем иа Гаиге и Гельсиигфорс, лишь тремя днями позже, по более спокойиому морю, едет человек со шрамом иа лице. Паспорт у иего русский, ио пассажиру первого класса паспорт ие нужеи. Со шведами ои объясияется плохо по-иемецки, с русскими ие заговаривает и с большой охотой болтает по-фраицузски со старой дамой-туристкой. Дама, улыбаясь акценту и добродушию спутника, слушает Бодрясииа с приветливой улыбкой, иемного страдая от его заикаиья. Бодрясии расписывает ей прелесть Иматры и советует провести лето иа шхерах. Дама уже зиает, что ее собеседник — русский коммерческий агент, жеиат, отец троих малюток, раиеи в лицо иа войие с Японией, любит Париж, где бывает ежегодно, а дела ведет преимущественио с Германией и севериыми страиами. За табльдотом дама сидит между ним и капитаиом парохода, грубоватым шведом, с которым говорить ие о чем и иет общего языка.

На пароходе Бодрясин курит сигары, ие столько из коиспирации, сколько по привычке ломать вкусы и привыкать ко всему. По той же причиие ои пьет миого пива, которого ие любит, и воздерживается от шведского пуиша, который ему по вкусу.

В курильиой, протянувшись в кресле, ои сиачала думает о том, что в рассуждении стиля его иоски критики ие выдерживают, а потом переходит к иезавершеииому вопросу о полной иенужиости его поездки в Финляндию. Шварц уверяет, что ои, Бодрясии, иеобходим в деле, что без иего в опасный момент группа иаделает ошибок, так как оставить ее ие иа кого. Партия также обязывает Бодрясииа «состоять» при Шварце, иепосредствеиио в выступлеииях ие участвуя,— да это и иевозможио при его физических приметах. Но в чем, собствеиио, эта иеобходимость, никто точио определить ие мог бы. Поездки же, вроде этой, обходятся дорого.

Дора, коиечио, иеобходима. Может пригодиться и Ксеиия, если дело в Петербурге затяиется и придется измеиить план. Рииальдо и Сибиряк — исполнители. Шварц — командир. Из прочих участиików, живущих в Петербурге, Бодрясии двоих совсем ие зиает; Шварц за иих ручается,— ио ие Шварц ли ввел в организацию и Петровского! Все они рискуют жизиью, и все нужны. Меиьше всех, иа этот раз, рискует Бодрясии, едущий бариом в первом классе с сигарой во рту. Коиечио, раио или поздно повесят и его. Если «дело» погибнет, Бодрясии решил поехать в Россию при первой возможиости и, может быть, там остаться, хотя трудио придумать что-иибудь иеразумиее.

— В дыму сигары, дешевой и противиой, Бодрясии видит иесколько зиакомых и милых лиц: лица тех, кто уже заплатили пол-

ностью за дерзость выступать судьямн н мстнтелямн. Их было много,— теперь остаются единицы. И думает Бодряснн: прн теперешннх росснйских иастроеииях — эти уже последние! Вои н Наташа отошла от нас н уехала в Италию. Сам я ее и уговорил. Раз мог уговорить — значит, так для нее н лучше. Нет, нз здешннх черпать уже нельзя, а есть ли люди в Росснн — кто скажет? Нужио побывать и убедиться.

Как часто бывало, мысли Бодряснна погружаются в ересь: как это так может быть, чтобы уничтожение одного дрянного и ничтожиого старикашки, хилого н хлипкого, хотя зловредиого, требовало участня десятка молодых и здоровых людей, которые должны рнсковать жизнью и проделывать нелепые зигзаги и петли по карте Европы? Да ведь его можно придавить ногтем! Крикнуть громче — и он рассыплется. Прнхлопнуть ладонью — н останется мокрое место. И сейчас же Бодряснну-еретику, Бодряснну-заике, плавающему в клубах дыма плохой снгары, отвечает трезвый, выдержаниый, плавно н ясно выговаривающий слова н фразы совсем другой Бодряснн:

— В этом весь трагизм, но в этом и красота подвнга. Страшной, несонзмернмой ценой оплачивается святая дерзость. Илн ты веришь — илн не верншь. Если не верншь — уйди, а ие борозди море н землю сомнениями.

Захлебываясь дымом, еретик Бодряснн ядовито тянет:

— К-красота подвнга, когда семеро атлетов на мышнного жеребчика...

Солидиый ответ:

— Если бы поеднноk — ты послал бы протнв мышнного жеребчика одного нз своих иесуществующих младенцев, о которых ты наболтал даме за табльдотом. А этот жеребчнк — за стенамн н штыкамн.

— Не человек, а, т-так сказать, ид-дея?

— Не смешно, Бодряснн!

Мнмо протянувшего ноги террорнста проходит дама-турнстка, с улыбкой саднтся в кресло напротнв и закурнвает тонкую папнросу. Она-то, конечно, сразу отмечает, что носкн этого русского чудака не подобраны нн к галстуку, ни к цветной ннтке пиджака, но она готова простить ему все за его словоохотливость, аппетнт и остроумие. И дама окончательно решает, что будущей осенью поедет в Пе́тербург, Моску́ н Коказ.

В Ганге Бодряснн оставляет пароход, хотя было бы проще доехать прямым морем до Гельснигфорса. Не все то, что проще, согласуется с его планами.

Но в полном согласнн с выработаииым планом испанский художник, приехавший в Петербург, любуется решеткой Зимиего дворца н Медным Всаднпком. Он любуется совершенно искренне, хотя нменно мимо этого неутомимого Всаднпка бегал в свое время с курсом ботаннки под мышкой. Сейчас, после долгой разлукн, он чувствует себя настоящим н подлинным иностранцем н с серьезнейшим вндом перелистывает «Бедекер».

Ои уже успел убедиться, что никакого «хвоста» за ннм нет.

Он прав: следить за иностранцем не приказано, чтобы не вызвать в нем подозрений. Следить за ним совершенно излишне, во всяком случае до трех часов будущей среды, когда он выйдет из столовой на Литейном, а тот, другой, минут на десять там задержится. Музыкальная пьеса разыгрывается по нотам; партитура в многоопытных руках. Они наивны, как дети! Ведь не один же жалкий юноша Петровский, кстати не подающий о себе вести, обслуживает за небольшое вознаграждение государственную безопасность! Еще никогда не было такого прекрасного «внутреннего освещения»! Даже старичок извещен, на какой приблизительно день назначена его гибель; более точные сведения будут даны дополнительно.

В швейцарском местечке Дорнах показывают приезжей даме строящийся Гетеанум. Русский поэт с нездешними глазами лежит на лесах под куполом и выбивает узор на твердом проклеенном потолке.

Итальянский поезд ныряет в туннели, радостно освобождается, бежит по краю скал, опять ныряет и опять вырывается на солнце. Внизу — морская бирюза, при подходе к станции сады,— и возможно ли, что это самые настоящие апельсиновые деревья!

— Наташенька, смотрите!

Если бы все это могла видеть Анютина тетушка с Первой Мещанской!

ТАЙНА УЛИЦЫ

По оживленной петербургской улице проходит, не спеша и всматриваясь вдаль, молодой человек, очень хорошо одетый, несколько иностранного вида.

Ему бы нужно сливаться с толпой и быть незаметным; но он всех заметнее, и не только потому, что молод и красив. Он должен быть прохожим, вышедшим прогуляться, подышать, рассеянно посмотреть книжки в окне магазина, купить пять ножичков для безопасной бритвы и цветочного одеколону. Ему естественно со спокойным любопытством и мужской уверенностью, немного сверху и едва повернув голову, смотреть в глаза проходящим женщинам,— и в синие глаза, и в карие, и даже — от щедрости и равнодушия — в бесцветные, и все это походя и между прочим. Иную он мог бы и проводить взглядом, спрашивающе, но не слишком настойчиво, не теряя достоинства мужчины, только чтобы вызвать в ней легкое и приятное смущение. Но всего этого он не делает.

Потому он и всех заметнее, что у обычного прохожего не бывает *такого* лица, он *так* не идет и *так* не смотрит. Обычный прохожий не затрачивает *стольких* усилий, чтобы сдерживать ожидание и беспокойство, он не так механически и расчетлив в движениях, для него не отсутствует толпа других людей.

В трехстах шагах за ним таким же размеренным и напряженным шагом идет другой юноша, совсем иной внешности, простоватый и провинциальной, но с *таким* же взглядом и столь же

усердно скрытым волненнем. Этот всем уступает дорогу, боясь задеть встречного плечом. Словно бы он несет стакан воды н боится пролнть каплю. Для него асфальт тротуара не достаточно гладок, расстояние от стен домов до тумбочек узко н стеснительно, н ему кажется, что никто не ндет в ту же сторону, но все, точно сговорясь, идут навстречу, н слишком быстро, н слншком порывнсто, даже неосторожно. Легкая слабость в его ногах н на сердце нелепой тяжестью давнт металлнческнй портснгар в грудном кармане пиджака. У идущего впереди такой же портсигар, но в правом боковом кармане легкого пальто.

Между ннмн условлениое расстояние, которое не нзменяется. И обоих связывает общность тайны.

Тайна в том, что, когда вдали покажется карета, цвет и размеры которой нзучены, а лнцо кучера знакомо, они прностановятся, выждут, затем первый быстро выбежит на мостовую, н его портснгар взметнется, блеснет н ударнтся о камнн под самыми колесамн. Еслн не будет удачн, то наступит очередь другого.

В этом величайшая тайна, кроме ннх нзвестная только четверым таким же заговорщнкам н мстнтелям,— но тех здесь нет: онн в дальних концах города ждут нсхода решительного дня. Было уже несколько неудач,— карета не появлялась,— но сегодня такая случайность, по-вндимому, нсключена; сегодня четверг, прнем ровно в одннадцать, миннстр не может не выехать, н объезд невозможен.

За каждым нз юношей следят со страхом и напряженным внннманием, много хуже скрытым, по нескольку пар глаз: лихач, разносчнк, господин с бачкамн, бравый молодец в пиджачке с непомерно короткимн рукавамн. Из нескольknх окон иа пути за нимн иаблюдают серьезные усатые лнца,— чтобы уже не было ошибки н чтобы взять их ловчее н не дать им возможности страшнымн снарядами взорвать н себя н других. Главное — овладеть их рукамн прежде, чем онн заметят и опомнятся,— нначе выскользнет н упадет металлнческая коробка, и тогда произойдет неопнсуемое.

О том, что они появилнсь на улнце с похвальной аккуратностью в час, условлеиный тайным соглашеннем н заботлнво, с таким же соблюденнем тайны, сообщенный кому не надо,— телефоннровалн и в участок н в угловой ресторан; на дворе участка сам помощник прнстава ждет с нарядом полнцин, а нз дверей ресторана, на ходу застегнвая жилетку, выбежалн сначала однн, потом дважды по двое, и еще двое осталнсь дежурнть у двери. Роль этнх невелика н не опасна — но кто знает! Мннистр, старнчок с бакенамн, похожнй на старого щегла, ждет у телефона. Он выбрит н одет к выезду, хотя выезд отменен еще с вечера. Но его карета подана — н все это также по тайному плану н строгому распоряженню. Хотя теперь опасностн нет, но у старнчка вздрагнвает нога н холоднт под коленкой: подагрический пустяк.

Улица полна тайны, н странно вндеть настоящую, вне всякой роли, даму с сумочкой, подлинного воеиного без пушинкн на тугом

мундире, ковыляющую невиннную старушку, двух школьников, болтающихся с книжками в непоказной час, которые настолько не спешат, что пятятся спиной, натыкаясь на прохожих и настойчиво изучая жизнь. Отрывки разговора прохожих, если прислушаться, такие бытовые и незначительные, что нельзя поверить в близость смерти, рассованной по карманам владеющих тайной,— и юношей, и тех, кто за ними пристально следит.

Солнце слепит глаза переднего — и он щурится, как щурился на пляже острова Олерон только месяц тому назад. Но не так слепит солнце, как было на лесной поляне, когда огонь угадывался только по дыму, а дым был едва заметен. Так быстро свершаются события! Так странно, дрожащей сеткой танцующих комариков, мелькают дни, страны, намерения, даже имена. Там его называли Рикальдо и Ботаником,— здесь он приезжий иностранец с испанским паспортом и акцентом. Там было будущее, здесь есть только ближайшая минута, и скоро не останется даже прошлого. Это произойдет вот сейчас — и он опять внимательно всматривается в дальние экипажи.

Опередив его, двое исчезают в дверях парикмахерской. В окне размалеванный бюст, и на восковые плечи падают локоны льняных, недействительных волос. Кукла жеманно улыбается, из-за ее плеча жадно и боязненно высматривают живые глаза. Красивый человек проходит мимо, сдерживая шаг и не замечая кокетливой куклы. Из дверей парикмахерской выбегают те же двое, на ходу толкают школьников, невежливо задевают даму с сумочкой и, подбежав сзади, слегка согнувшись, неотрывно следя за его руками и только за руками, сразу, с налету, хватают его за локти. Давят сильнее, чем нужно, всем телом чувствуя ужас минуты,— хотя это не их, а его час смерти. Третий, высокий силач, появившись ниоткуда, хватает его сбоку за горло, отстранившись, чтобы ненароком не задеть бортом пиджака. Только чтобы не упал, не освободил рук, не дернулся слишком резко. Бросив лоток, разносчик расталкивает зрителей: «Осади! не толпитесь тут!» В руке бывшего разносчика револьвер — и нельзя его не слушаться. Школьники, отбежав на мостовую, в немом восторге наблюдают невиданную картину. Суетясь, один из силачей замыкает за спиной оглушенного юноши стальные наручники, и все бережно, как драгоценнейшую и хрупкую вещь, как хрустальный сосуд, подвигают его к дверям парикмахерской.

Ровным счетом за триста шагов позади, как бы повторяя ту же кинематографическую ленту, опять двое, потом трое, потом еще несколько человек сковывают руками и ведут другого юношу, попроще, слабого блондина, крещеного Дмитрием, в подвижничестве товарища Снбиряка. Он бьется, но может шевелить только головой да в воздухе болтать ногами; его держат на весу высокие и здоровые люди. В его кармане болтается и может сейчас нечаянно выпасть портсигар. Здесь вся публика шарахается, так как слышит крепкий и согласный топот ног: весь план выполнен блестяще и быстро, и уже спешит со своим нарядом помощник пристава, важный блеском своей роли: опасность уже прошла.

Смотреть больше не на что, и оба мальчика, чувствуя себя ближайшими участникамн событий, теперь спешат в школу, потому что есть о чем рассказать и чем похвастаться. Дама с сумочкой взяла нзвозчика, военный без пушннки проследовал не останавлнваясь и не глазея, не в пример штатским.

Тайна оживленной улицы, так внезапно разгаданная, сначала бурно понеслась в пересудах прохожнх и в толках дворников и горничных; на ближнем углу она потопталась, не зная, куда ринуться, и вдруг, утратив прелесть и силу новизны, поплелась ленивее, нстощаясь и тая, в сторону того дома, где ждал судьбы старенький министр. Но гораздо раньше нсход событий добежал по телефонной проволоке, минуя подъезд, прямо в кабинет министра, и на шепелявый стариковский голос ответил голос свежий, радостный, чеканный н нзлишне громкий:

— Так точно, ваше-ство, взяты разом оба-два.

— Кто? Как вы сказали?

— Оба преступника, ваше высокопревосходительство. Никак нет, больше не могло быть, сведения точнейшие. Так точно, все как по писаному.

— Как вы говорите?

— Говорю — согласно полученной ииструкцин, ваше-ство. Дозвольте поздравить ваше-ство!

Положив трубку и размяв ногу, старик сказал секретарю:

— Э... н еслн поехать?

— Следует лн рнсковать, ваше выскпрдство!

— Э... это мой долг, голубчнк.

Новый телефонный звонок дал знать, что н *там* уже нзвестно: поздравляют и высочайше благодарят.

НАЧЕТЧИК

Довольно неопрятный двор дома на Первой Мещанской в Москве. Чтобы отыскать квартиру вдовы Катернны Тимофеевны, прнезжему пришлось толкнуться в дворницкую:

— Укажите, любезнейший, а то я тут совсем п-потерялся.

Двугривенному дворник всегда рад.

На стук отворила сама Катерина Тимофеевна, женщина в больших годах, однако к старости не склонная, одетая опрятно, с лица строгая, но приветливая. Не сразу поняла, от кого явился господнн с бородкой и заметным шрамом на щеке:

— Не знаю я что-то; это какая же Анна Петровна?

— Скажем проще — Анюта, может быть, легче вспомните.

Катернна Тимофеевна обрадовалась и удивилась:

— Неужто же вы от нее? Да ведь она за границей!

— Вот н я оттуда прямо к вам н з-записочку имею слова в три, в качестве как бы удостоверяющего д-документа.

Для Катерины Тимофеевны — большая радость. Пнсьма от Анюты нзредка получала, а человека, который бы видал там названую дочку,— впервые встретила. В письмах Анюта мало

рассказывала, какая она писательница! А может, и опасается писать подробно, кто ее знает. В записке сказано: «Шлю поклон с хорошим человеком». При записке и подарок: шелковый платок всех цветов, да такой яркий, что старой женщине и надеть нельзя. Приезжий человек шутит:

— Вам, Катерина Тимофеевна, очень будет к лицу. К-красота-то какая, и работа настоящая итальянская, из города Рима.

— Да уж куда мне такой! Сама бы носила, пока молоденькая.

В минуту гость стал своим человеком. На трудных словах заикаясь, рассказал обстоятельно и подробно все, что знал и что мог придумать: как Анюта с другой барышней жили в городе Париже, какая у них была комната, где обедали, да как Анюта старательно училась и к тому же работала, сама добывала себе хлеб, и о других заботилась, как ее все знакомые любят за обходительность и душевную простоту. Иной человек, даже и постарше, за границей теряется либо заскучает, и жалеть его некому,— а вот она ничего не испугалась. Конечно, по дому тоскует и сколько раз поминала про Катерину Тимофеевну, всегда с любовью и благодарностью, что заботилась о ней, круглой сироте.

Катерина Тимофеевна отодвинула к сторонке подарок, чтобы не закапать слезой.

— Уж вы меня простите, такой ваш рассказ неожиданный! Да как же Анюта с французами-то говорит? Она языку не обучена.

— Ничего, научилась. А вот теперь и с итальянцами объясняется, она теперь в Италии, живет на самом на морском берегу. Оттуда и шаль прислала.

Успокоившись, Катерина Тимофеевна не упустила рассказать Анютиному знакомому, сколько она из-за Анюточки натерпелась страху. И на допросы вызывали, и сюда таскались выспрашивать разные люди.

— А я что же знала? Ничего она мне не рассказывала, и как это случилось — мне посторонние люди доложили, что было написано в газетах. Я ее не сужу и не осуждаю, дело не мое. А люди говорят, что дурных она из тюрьмы бы не вывела, а вывела девушек честных, взятых понапрасному. Так и на вопросы отвечала, и никто Анюточки не осудил, даже некоторые восхищались. А я и понимаю-то плохо в этой политике.

Гостя легко не отпустила,— чтобы непременно выпил чаю с вареньем, с собственным. Из обширного буфета вынула рюмку на толстой ноге и бутылку вишневки, тоже своего изготовленья.

— Конечно, вам, заграничному человеку, наливка не в диковинку.

Очень ей понравился гость, степенностью, простотой и рассказом про Анюту. Вот такого бы мужа девушке — да только этот, наверное, женат.

— Имени-отчества ваших не знаю.

— Иван Дмитрич, а по фамилии Пастухов.

— Своим делом занимаетесь?

— Помаленьку разъезжаю, дела торговые.

— Замуж Анюточка, видно, не выходит, не слыхали?

— Об этом не слыхал. А за кого выйдет — тот будет счастливый человек прн ее характере. Вот б-будь я п-помоложе, прншел бы к вам, Катернна Тимофеевна, попросить б-благословения.

Видимо, человек шутит, а к Анюточке относнтся хорошо. Шутит н Катернна Тимофеевна:

— Если дело за мной, я ее за хорошего человека всегда благословлю!

Со стуком легким, Катернне Тимофеевне знакомым, вошла в дверь лиловая ряса, свежестн не первой, но опрятная и, при малом свете, скорее парадная. Есть с кем теперь н радостью поделиться! Прн входе священника приезжий встал и почтительно поклонился.

— Радость у меня, отец Яков! Вот онн Анюточку видали за границей н привезли мне поклон н подарок. И про житье ее рассказывают.

Отец Яков порадовался нскренне:

— Действительно радостно, радостно. Оттудова прнезжают не часто, да еще с доброй вестью. Лю-бо-пытно!

От наливки отец Яков отказался, чаю же выпил три чашки, н даже внакладку. Оказал почет и варенью.

— В Москву на побывку или как?

— Не задержусь, батюшка. Поеду в родной тамбовский уезд, там у меня жив старнк отец, тоже священнослужитель.

— Значит, из духовного звания? Очень приятно.

И ему понравился гость, назвавшийся Иваном Пастуховым. Видно — бывалый и добрый человек, о людях говорнт хорошо и Анюте как бы приятель.

Когда же, с хозяйкой попрощавшись, вышли вместе н направились к Сухаревой н дальше по Сретенке, прнезжий человек сказал отцу Якову:

— Уж к-как мне приятно, что с вами познакомился. Я про вас, отец Яков, им-мел немалое удовольствие слыхать не от одной Анюты, а н от ее приятельницы и сожительницы, также вам известной. Катернне Тимофеевне я имени ее не назвал, а уж вы, верно, припомнните — есть такая Наталья Калымова, Наталья Сергеевна.

Отец Яков ответил подумавши н с осторожностью:

— Калымова, Сергея Павловича, рязанского помещика, действительно знавал хорошо. Надо быть — уж не его ли дочка?

Зачем болтать лишнее незнакомому человеку, хоть н прнятному в разговоре. И однако, до невозможности любопытно отцу Якову: ведь не чудно ли, что на путях его жизненного странствня нет-нет да и появится дочь рязанского прнятеля!

— Где же ныне пребывает?

— Надо полагать, что в Италин, вместе с Анютой.

— В отеческий дом, значит, не собирается вернуться?

Собеседник на ходу крутит недавно отрощенную бороду и косится на отца Якова. Роста они одного, сверху вниз никому смотреть не приходится.

— Да ведь как сказать, ваше священство, ждет ли ее ласковый прием в отечестве? Вы как полагаете?

— Знать не могу, не осведомлен. Однако же родитель, наверное, по дочери тоскует.

— По многим тоскуют близкие, отец Яков, сами знаете: «по сущих в болезни н печалех, бедах же и скорбех, обстояниих и пленениих, т-темницах же н заточениих, изряднее же в гонениих». И хоть возноснтся моленье «ослабу, свободу и избаву им п-подажды»,— а что-то таковое не н-наблюдается.

В свою очередь покосившись на начетника и бороду погладив, не без строгости сказал отец Яков:

— И еще сказано: «погибельными ересьми ослепленные»...

— Дело взгляда, батюшка. По нашему же, «блаженны изгнани правды ради». Как раз это про нее, про нзвестную вам девицу, а вернее, про обеих.

— Не сужу, не сужу. А приятно встретить мирянина, в текстах сильного.

— С детства привык, да и сам из семинарнстов. Вот еще помню икос четвертый из акафиста Пресвятой Богородице: «Радуйся, страстотерпцев непобедимая дерзость. Радуйся, твердое веры утверждение. Радуйся, светлое благодати познание. Радуйся, ею же обнажися ад». Замечательно это сказано, отец Яков: ею ад об-бнажися! Люди ходят н пропасти не видят — а она указывает, н за это ей слава.

— Радуйся невесто неневестная!

— Вот именно, отец Яков! Другой не поймет, а мы с вами, по духовному вашему званию н моему происхождению, п-понимаем. Если доведется увидеть — п-прикажете ли кланяться?

— Да уж обязательно передайте пастырское благословение. Значит — обратно собираетесь в чужие страны?

— К-как сказать... Посреде хожду сетей многих... Т-трепещу, приемля огнь, да не опалюся, яко воск и яко трава...

— Господь хранит прншельцы...

— Аминь. Вот мы и дошли, должен здесь с вами попрощаться.

— Весьма польщен знакомством и беседою, Иван Дмитрич. Если еще доведется встретиться — буду премного рад.

— Лыщу себя надеждою, отец Яков!

Отец Яков заторопился на Никольскую улицу в синодальную типографию, где добрый знакомец обещал ему раздобыть на складе нужную брошюрочку. Вслед ему поглядев, человек духовного сословия и неплохой начетчик, не спеша, пошел вдоль стены Китай-города в сторону Замоскворечья.

Просмотрев тетрадку наружного наблюдения, тонкую, совсем ученическую,— ротмистр ахнул:

— Сук-кины дети! Романов н Бабченко тут?

— Бабченко внизу, а Романов на работе.

— Сук-кины дети! Пошли ко мне наверх Бабченко!

Двонм лучшим филерам приказано было не упускать нз виду ни на минуту того, кто по наружному наблюдению значился под кличкой Меченый,— н таки упустили!

— Ничего нельзя было сделать, ваше благородие. У самых у Владимирских ворот смотрнт на ларе книжки-картинкн. Романов малость поотстал, все думал передать Батю, нхнего сопутника, да передать было некому, он меня н догнал. И только догнал н хотел забежать Меченому вперед, а тот прямо от ларя на дорогу н на лихача. Он н у ларя-то стоял, ваше благородие, что, видно, ждал подходящую лошадку. Где же его было догнать, ваше благородие! Если бы простой нзвозчик — нное дело.

— Номер записали?

— Так точно. Я опрашивал, мне ихний двор знакомый. Извозчик говорит — сошел на углу Пятницкой и Малаго Спасоболванского н зашел в трактир.

— Нет там никакого трактира.

— Есть, ваше благородие, я знаю. Трактир без спиртных. А я, говорит, повернул назад,— какие седоки на Пятницкой.

— В трактире справлялся?

— Романов был. Хозяин говорит — нз господ был один, шрама не помню, заказал пару чаю, деньги отдал, пригубил н вышел.

— Бить вас за это.

— Найдем, ваше благородие. Романов с Губаревым пошли в оба места, уж не упустят. Губарев с лошадкой на Мещанской, а Романов теперь ждет по месту жительства, у номеров. Где-нибудь да обнаружится. А я только вам доложить, тоже туда пойду. Такого не упустим, Меченый, все равно во всякой одежде.

— А Батя кто ж?

— Заправский священник, ваше благородие, раньше запримеченный, еще когда убежали двенадцать нз женской каторжной. Он не из ихних, ваше благородие.

— Ты чего знаешь, не твое это дело.

— Так точно. А только он неподходящий, по случаю. У нас, ваше благородие, глаз наметанный. Конечно, если бы не строгий прнказ — н его бы путь просмотрели, да нельзя было Меченого упустить.

— Нельзя было — а упустили. Сук-кины вы дети!

Из Гнездниковского переулка ротмистр зашел домой переодеться, а к девяти был на конспиративной квартире. Вошел со своим ключом, отворил окно для воздуха, проветрил. Квартнру снимала Марья Афанасьевна, пожилая женщина, давняя

служащая охранки. В часы прнема она уходила, и на звонок ротмистр отпер сам. Вошедший молодой человек снял синее пенсне, поздоровался.

— Ну, виделись?

— Да нет, не вышло. Ждали его к трем часам — не пришел. Я уж боялся, не арестовали ли вы его.

— Я же вам сказал, что не будем. А верно ли, что он едет в Саратов?

— Вообще на Волгу, а будет и в Саратове. Там связь нзвестная, я вам дал адрес.

— Когда должен был ехать?

— Должен был завтра, да вот почему-то сегодня не заходил; а тут для него заготовлены явкн.

— Еще что узнали?

— Наши считают, что он приехал один, а Шварц опять в Финляндии.

— Шварц — не наша забота, ему в Москве и делать нечего. А вот если мы упустим Бодрясина — н мне и вам достанется. Мои филеры его потеряли, сейчас ищут.

— Это все-таки плохо!

— Без вас знаю, что плохо. А он наверное не мог уехать?

— Из Москвы?

— А откуда еще? Если он без всяких адресов взял да н укатил? А?

— Это невероятно!

— У вас все невероятно. Нужно сказать,— гусь опытный, настоящий стреляный волк. А как у вас считают, зачем он?

— Бодрясин всегда по набору, ищет боевиков. Сейчас это нелегко, никто не идет.

— Ну ладно, рассказывайте подробно.

Секретные сотрудники охранки редко писали сами; обычно сведения записывал их руководитель. Очередной доклад длился больше часу. Ротмистр знал, что Бодрясиным нитересуется департамент н что кто-нибудь нз центра, наверное, следит за ним параллельно. Тем более оснований работать н Москве; если Питер сплошает — Москва может выслужиться. Он не знал, что Питер уже сплоховал н потерял Бодрясина так же, как н Москва: Меченый перехитрил охрану и выехал, притом не на Нижний, а на Ярославль.

Под ровный стук поезда Бодрясин спокойно дремал во второклассном вагоне. Спать было как будто еще рано, а разговарнвать с соседями по купе в его планы не входило. А не поднять ли все-таки верхнее место н не улечься ли окончательно?

— В-вы мне разрешите поднять верхнюю койку?

Сосед не только разрешил, а и с полным удовольствием. В Ярославль приедем утром рано, надо выспаться. И оба растянулись со всем удобством.

Засыпая, Бодрясин мыслил изречениями:

«Береженого н Бог бережет! Никогда не полагайся на осторожность н верность балующихся революцией! Утро вечера мудреней».

К этому прибавлялись попутные мысли:

«А иеладно в Москве! Не поставь следить за мной дураков — где бы я сейчас был? А откуда могли узнать? Одним словом — иехорошо в Москве!»

И не лучше ли было бы тем же морем уплыть от финляндских берегов в Европу, укатить в Италию и валяться целыми днями на пляже, как другие делают? Ой, лучше! И для себя лучше, и делу ие убыток! Чего добился Шварц? Того, что иесколько чудесных парией погибло и еще погибнут многие? А потом погибиет и Шварц, а уж ои, Бодрясин, наверное, опередит. Вот и все.

«Вкущая вкусих мало меда, и се аз умираю».

И на этом заснул.

ВНЕ ПРОГРАММЫ

Бодрясии с любопытством рассматривает статуэтку Будды, затем слоиовый бивень с резными фигурками, шитых шелками драконов иа ширме, коробочку с какой-то замысловатой игрой — и еще можно любоваться множеством предметов.

— Д-должен вам сказать, что ничего в восточном искусстве не понимаю. А ие залюбоваться иевозможно.

Хозяин ие столько показывает, сколько изучает гостя.

Потом они пьют прекрасиое виио и едят фрукты, привезенные из Самарканда. Лучших грущ, кажется, ие бывает. В молчаиьи Бодрясии, одолев третью, постукивает иожичком по тарелке. Хозяии пододвигает к иему коробку с папиросами, коиечио — китайскую. Встретившись взглядами, оба улыбаются.

Бодрясии вполие искренне говорит:

— Вы, вероятно, отличный человек. Отдаю должиое и вашим вкусам, и уменью жить, и иекоторой все-таки решимости. Мое п-посещенье может причинить вам иеприятность.

— Мие? Во-первых, я вие подозрений, во-вторых — достаточно богат. Я зиаю, что вас ищет полиция и что вы — как мие сказали — опасный революциоиер. Это правда?

— Личио я ие ощущаю себя слишком опасным, ио, судя по ч-чрезвычайиой эиергии вашей самарской полиции, я ей очень нужен.

— Вы верите в возможиость революции?

— Во всяком случае, стоит п-постараться. И вы меия извините, если революция окажется для вас иевыгодной.

Оба смеются и пьют положительио чудесиое виио. Чокнувшись, хозяии говорит:

— Желаю вам удачи. Республика мне не повредит, а для социальной революции еще иет достаточных предпосылок. Вы хотели бы исчезнуть отсюда скорее?

— Очень хотел бы завтра.

— Могу ли чем-нибудь вам помочь?

— Довольио, что злоупотребляю гостеприимством иа одну иочь.

Хозяии смотрит иа статуэтку Будды.

— Этого маленького идола я вывез из экспедиции в Маньчжурию. Не зиаю, будет лн нескромным вам сказать, что в эту поездку я имел случай переправнть за пределы досягаемостн одну прнятиейшую особу, которую встретил в Сибнри. Хотел бы зиать о ее дальиейшей судьбе, ио ие зиаю ее фамилии.

Бодрясии с удивлеиием смотрит иа хозяиа:

— Мне очеиь иеловко, что я так мало о вас осведомлеи, хотя н съел три ваших г-груши. Вы ие профессор?

— Да.

— Я счел вас за б-бариа -без слишком серьезных заданий, коиечно, очень ннтеллигентиого. Тому виною эти фрукты и изумительиое вино.

— Почему же вы спросили, ие профессор ли я?

— Потому что ее, эту приятиейшую особу, звали, вероятно, Наташей. И тогда я мог бы передать ей поклои, если, разумеется, благополучно вернусь за пределы досягаемости.

Они говорят о том, что мир очень мал.

— Но ведь с вами ехал н почтеннейший б-бесприходный попик отец Яков?

— Вы зиаете и его?

— Слыхал от Наташи н удостоился видеть самоличио в Москве; однако я делаюсь нек-коиспиративным — и опять же виновато ваше вино.

— Тогда приступим к другой бутылке?

— Без м-малейшего оп-пасения!

Профессор смотрит стакаи иа свет.

— Я, как вы видите, иемного гурман, впрочем, только дома. Мие пятьдесят семь лет,— остается уже иемного. Я миого раз был в Европе и не меньше ездил и бродил по тайге, по пустыням, делал раскопки, писал, читал лекции. Вы верите в революцию — могу к вам присоединиться, ио без энтузиазма; и ие потому, что я барии — я, коиечио, барин,— а просто потому, что я слишком миого видел, и в частиости видел слишком много развалии былых культур. Не хочу говорнть красивых слов, но, кажется, не обманывает только очеиь чистое вино. Вам такие речи чужды?

— Видите ли, мне лет меньше, и остается, по всей вероятиости, еще меньше, чем вам,— соответствеио моей профессии оп-пасиого р-революциоиера. Хотя я тоже хорошо зиаю Европу, но я, коиечио, мужик, только подмочеиный иекоторым образованием. Развалии я ие видал, но одну очеиь хотел бы п-посмотреть, и в этом иаправлении работаю. Что касается вииа, то мой тятенька, ои был священником, умер от водки, которая очень иег-гиг-гнеичиа, и, однако, ои был отличным стариком. А у меня, кстати, иесколько закружилась голова от вашего угощенья; иадеюсь, что я ие наговорил вам грубостей?

— Конечно иет. Но что вы будете делать с властью, когда ее захватите?

— Лично я не собираюсь властвовать, орг-ганически неспособен. Но думаю, что мы эту власть немедленно упустим.

— И тогда?

— А тогда придется работать снова, но только, вероятно, уже не нам.

— С тем же результатом?

— В-вероятно.

— Такова программа вашей партии?

— Ни в коем случае! Это только моя программа. Программы партий разумны и ц-целесообразны, притом непогрешимы; на ночь глядя и за стаканом вина о них и говорить нельзя. Но кроме программы есть еще любовь и ненависть. Вы, кстати, рано встаете?

— Это не должно вас связывать — будьте как дома.

— Не найдется ли у вас что-нибудь вроде удочек и небольшого ведерка? Я люблю выходить в час предутренний, а для этого у человека должно быть оправдание, например — рыбная ловля; один из лучших паспортов.

— Все устроим. Но предрассветный час уже недалек.

— Если это повод для новой бутылки, то я не возражаю. Вы — один из тех буржуев, которых следовало бы, в сущности, сохранить в строе с-социалистическом на случай необходимости скрываться и ждать новой зари. Я разовью эту мысль на съезде партии. Ваше здоровье, профессор!

О РЫБАХ

Наперерез течению Волги, над Самарой, едут в лодке двое, и лица их веселы и довольны. Гребец смотрит на уходящие домики, кормовой улыбается воде, ее морщинкам и солнечным всплескам. Отдыхают души — тела не чувствуются. В лодке четыре удочки, лески смотаны, на двух длинные поплавки с окрашеннои верхушкой. Коробка с червями, спичечная коробочка с мухами, большой кус белого хлеба. Один рыболов в высоких сапогах, старом пиджаке, кепке, другой по-городскому. Такой воздух, что и курить не хочется.

До середины реки продолжают разговор, начатый на берегу. Тот, у которого вид более рыболовный, говорит:

— На блесну я много раз пробовал — плевое дело. Все-таки волжская рыба пуганая, пароходы; да и держится больше берегом. На живца ловить здесь места хорошие, где мельче. А мы устроимся близ того берега, я знаю одно место, где должна быть яма, и там на червя — благодать! Лавливал и миногу почти в аршин.

— Идет на удочку?

— Идет. И стерлядь идет, конечно, на донную. Тут, у Самары, самое знаменитое место стерляжьего нереста, конечно, весной, в половине мая. А сейчас мы поставим на карпа и на подлещика. Карпы в Волге, знаешь, встречаются до пуда весом;

я лавливал фунтов на двадцать — и то великан! Больше в заводях, где потеплее и вода потише, но попадают и на большом течении. Этакий — спина черная, брюхо белое, красный хвост, а бока изжелта-голубые. Знатная рыба.

— Я больше по щучьей части.

— Можно и это, со скользящим поплавком. Здесь нужно пускать поглубже, а живцов мы иаловим сколько хочешь. А лучше давай на червя.

— Мие все равио.

С середины реки разговор на минуту затих, а потом переменился.

— Ты мне скажи, Коля, что, собственно, п-произошло, отчего ты и сам не надеешься и про других говоришь кисло? Расскажи обстоятельно, а то мы, заграничные, ничего больше не понимаем.

— Расскажу. Вот удочки поставим и поговорим. Да что рассказывать — одна грусть. Я тебя и зиакомить ни с кем не хотел бы, добра от этого не выйдет, а вот засыпаться можешь свободно.

С лодки опущеи солидный якорек, а нос причален к всаженному в дно колу — место готовое и приспособленное. Размотаны и заброшены удочки, закурены папиросы. Речной ветерок влажен и прохладен, солнце низко, должен быть клев.

— Ты пойми, что сейчас люди не те; я про нашу молодежь говорю. Сейчас над вопросами «что делать» да «как быть» не задумываются, а в лучшем случае — созерцают, а то ухарски улыбаются, играют в беззаботность. Воспоминания, конечно, сохраиились, прошлое в уважении, ио, с одной стороны, силен испуг, а с другой — нет прежней веры. Разбиты мы все-таки вдребезги, это нужно признать откровенно. И вот тут, как вода перебурлила, начала всплывать со дна всякая дрянь. Ты Соломиных семью знал?

— Старших знал.

— Вот. Гриша и Надежда Петровна сейчас служат в земстве, Володя в ссылке, а младшие кончили гимназию, учатся в Казани, а на лето приезжают. И вот у них собираются приятели и сверстники — любопытно посмотреть, я бывал. Начнут с чтения стихов Сологуба, а кончат чуть не радением. Пьют, коиечно, нюхают порошки для экстаза и забвения, решают половые проблемы. И Гриша одобряет, даже участвует, хоть он их старше. Черт его знает что такое.

— Не все же такие.

— Не все такие, потому что и похуже встречаются. А кто лучше — те с головой ушли в науку. А то еще развелись не то чтобы марксисты, а марксята, из презрительных: в голове каша, а нос задирают выше и каши и головы. И эти, конечно, террор отрицают, как мелкобуржуазиое. Рассуждают о рабочем вопросе, а рабочих и не видят и не знают — им достаточно по книжке. Старшие, впрочем, работают, даже больше прежиего, но их работу ты знаешь: одни слова и напрасные про-

валы. У тебя, кстати, клевала, ты переброс; это какая-нибудь мелочь, вроде ерша.

Оба осмотрели наживку, забросили снова.

— Скажем так: это — временное настроение. Ко второму пришествию поправится. Но я тебе вот что скажу, а ты мне поверь, Бодрясин. Когда второе пришествие наступит, тогда станет еще хуже! Это будет уже не победное восстание, о котором мы мечтали, а бунт, смутное время, и такая жестокость, что мы сейчас и представить не можем. Будет дым, огонь и кровавый над землей туман. И не на год-два, а надолго. Мы с тобой идеалисты, а подрастает поколение иное, положительное и очень жестокое, и в наших рядах, в интеллигентских, и среди рабочих. Приятным словам не верят и себя самих ценят высоко,— мы-то ведь себя самих ценили в грош. Если сейчас только теорни разводят, дескать, «живи, как тебе хочется» да «к черту ваш пуританизм», то как время придет — эти теории приложатся на практике целиком. Мы все «для народа», а они — с полной откровенностью — для себя. Я от этого «второго пришествия» никакой радости не жду и в человека больше не верю. Вот в рыбу еще верю, держи-ка сачок. Это подлещик — вот он лепешкой на воду ложится. Подлещик, однако, добрый! Вот мы и с почином.

— Брось его обратно, жалко.

— Вот ты какой. Нет, брат, я его съем и тебя угощу. К чему же тогда ловить? Не снимай поводка, я выну крючок; они глубоко никогда не заглатывают, видишь — за губу зацепил. Устарели мы с тобой, Бодрясин, а ты против меня — вдвое.

— А то и вп-вп-впятеро.

— Ты вот не хочешь мне верить, а я говорю правду, я много над этим раздумывал.

— Я верю. Да и знаю! Не тут только, а и за границей то же. Хочется человеку жить.

— А тебе расхотелось?

— Вопрос с-слишком интимный и трудный. Не было досуга п-поразмыслить.

За подлещиком попался настоящий большой лещ. Бодрясину попал большой голавль — и рыбак в нем проснулся. Пришлось долго водить и держать на дугой согнувшейся удочке. Когда подвели сачок и вытащили — красно-синий хвост торчал наружу. Пожалуй — не меньше пяти фунтов! Бодрясин даже сострил:

— Вот так и меня вытянут!

Путь голавля, любителя быстрой и чистой воды, лежал с низовьев Волги выше и выше, куда хватит сил, хотя бы до Рыбинска. По этому пути пришлось бы плыть мимо больших городов и малых приречных местечек, где люди будто бы переменились, а в сущности, остались теми же: добрыми, злыми, озабоченными, беззаботными, чающими и утратившими надежду. Они жили, имея позади маленькую историю и впереди — значительно более сложную. Но не было никаких оснований думать, что домики, мимо которых голавли, ельцы, язи и жерехи

проплывают, направляясь к верховьям Волги и заходя в устья рек малых,— через несколько лет перевернутся вниз крышами, и из них посыплются человеческие семьи и одиночки, злые, добрые, чающие и утратившие надежду, и что на середину реки выедет в дырявой и заткнутой тряпкой лодке солдат и бросит динамитный патрон: новый и упрощенный способ ловли рыбы, без затраты времени и усилий; правда, при этом гибнет напрасно много рыбьей молоди, которая потом долго плывет по реке пятнами и крапинами. О, если бы все предвидеть, если бы можно было решительно все предвидеть! И было бы тогда жить — удобно и скучно.

КОМНАТА ОТЦА ЯКОВА

Насколько мог, исполнил свою заветную мечту смиренный иерей Иаков Кампинский, скромнейший летописец достопамятных российских событий: собрал тетрадочки своих поденных и помесячных записей, бывшие на хранении у многих верных друзей по многим городам и весям. Добрым чутьем отец Яков понимал, что заканчивается большой кусок истории, а куда и как она пойдет дальше — запишут люди иные, помоложе его.

Собрать тетрадки было нелегко и непросто. Доверить их почте отец Яков не решался и собирал их лично, пользуясь каждой поездкой, и с добытым уже не расставался. Теперь его чемодан был тяжел, пока не выгрузился в Москве на Первой Мещанской, где отец Яков окончательно осел, сняв комнату у Катерины Тимофеевны.

Комната малая, но светлая, для работы удобная, как утром, когда в нее забегает солнечный луч, так и вечером — при широком и приветливом огне керосиновой лампы. У стены узкая аскетическая кровать, ножки которой погружены в жестяночки с водой, во избежание сосущих кровь насекомых; над кроватью в узкой рамке, не в качестве иконы, а для настроения и для красоты, фотография Терноносца работы Гвидо Рени, под коей другая рамка поменьше с изображением в лесах затерянного скита: домик среди елей и пихт, ручеек и медведь с веселой улыбкой балованного дитяти. На свободной стене полка для книг, сделанная из отрезка доски и подвешенная на прочных веревочках треугольниками; книги же не из дорогих, но тем редкостные, что по большей части провинциальных изданий по археологии и местной истории, работы авторов столь же страстных, сколь и остающихся в неизвестности, в том числе и самого отца Якова, автора немалого количества брошюрок о приволжских курганах, о серебряных блюдах сасанидской династии, о почти полном туловище мамонта, найденном в сибирских мерзлотах.

И хотя очень редко кто заходил в сию келию отца Якова, но на стене над полкой был вывешен плакат работы знакомой типографии.

«Если ты зашел к занятому человеку, то кончай свое дело и поторопись предоставить его труду и умственным углублениям».

И правда, домашние часы отца Якова были теперь всецело заняты приведением в порядок долголетних записей, устраиением случайиого и лишиего и перепиской иаиважнейшего так, чтобы получилась иастоящая и значительиая киига. Издать ее вряд ли удастся, за иеимением расходных иа это средств,— да и раио было бы, даже ие все можно опубликовать. Но «человек яко трава, дни его яко цвет сельный» — и нужно быть всегда готовым к завершению земного странствия.

Перечитывать записи было для отца Якова постояиным и иемалым удовольствием. Созиавая свои писательские иедостатки, ои угадывал, что порою ему удавалось окупать их высотою чувства и душевиой увлечеииостью, ие говоря уже о том, что не может ие быть драгоцеииым для потомства рассказ очевидца, никогда ие погрешившего измышлением иевиданного и творчеством иебывшего. Но и в личных его мнениях будущий чтец почерпнет полезное, потому что надо зиать, как сами современники оценивали события, и потому что истории пишутся людьми, ие всегда беспристрастными, и оценкн с расстояния спориее и условиее оцеиок вблизи. Сколь часто история вычеркивает со своих страниц деяния, иепригодные для особых целей историка! Сколь обычно забывается имя человека, оставшегося непрославлеиным,— а этот человек был для его современников великим, и влияние его сказалось во многом, что после приписано будет заслуге других, более озаботившихся сохраиением для потомства своих портретов.

Из последних записей отца Якова, отиосящихся к лету тысяча девятьсот одиннадцатого года, приведем здесь нижеследующую:

«Куда идем? К каким новым испытаниям влачит иас россиiская колесница? Мир ли хижинам или война дворцам? Не мие, смиренному иерею, судить управителей иародных судеб, будь то назиаченные свыше или избранные народом. Не мне и указывать, сколь непонятен простому и серому человеку, однако же истинному гражданину и притом составляющему безгласные миллионы, тот путь, на который влекут его и толкают многоглаголивые избранники, ие пахавшие земли и ие державшие молота, а равио и те, кто в бумажном приказании видят спасеине от грядущих бед. Но бесстрастным оком летописца ясио вижу хмурое иародиое чело, утомлеиное долгим иепониманием.

Сих строк написатель родился крестьяниином и вышел иа дорогу просвещения. Как мие, с младости жителю деревни, ие зиать зверя, дремлющего в берлоге, но лишь до призыва голода или до вешних дией! Будет страшным тот час, когда вострубит труба, ибо сей зверь на ходу может ломать деревья и крушить живое, ие щадя и собствеиного существования, что объясняется естествеиным неразумием и миоговековой темио-

той и отчаянностью. И однако со всех сторон тревожат его сон как лаем псов, так и бряцаньем оружия.

О, сколь велики пространства наши, сколь трудно устроимы росписью законов и мечтательностью книжных людей! Просвещаем единиц, а массы бродят в тумане неведения. Окружены лесами, а для школ не хватает срубов, и в крайней бедности живет учитель, питаясь луком и не пользуясь полным уважением, как лицо зависимое. Поле невспаханное и уже сеемое плевелами. Прошедшим летом имел удовольствие состоять в кружке для распространения сельских библиотек, с участием дам и присяжных поверенных, что по мысли прекрасно, однако же капля в море. Но и эта мысль ныне малых привлекает, и как бы мода на то прошла. На кого же надеяться, на чью помощь уповать? Не на тех ли грядущих, кто поведет темного человека в пожары и разруху, «бурю внутрь имея помышлений сумнительных»? А между прочим, сие не исключено!»

И тут, внезапно возвращаясь к высокому пафосу, до которого отец Яков еще с семинарии был великим охотником, летописец восклицает:

«Чем отмахнусь страшного предвидения, чем заглушу в душе дерзновенный пророческий голос? Се грядет незваный и нежеланный, взявший власть судить и решать, и с ним полчища оскорбленных и замученных гладом, без жалости и рассуждений, без оглядки и мысли о будущем. И вздрогнет русская земля и расколется великим расколом — и кто тогда спасет, и чем спаяет безрассудные трещины, и чем залечит кровоточащие раны, взыскующие бальзама и находящие лишь растравление? Сладко бы ошибиться в страшном пророчестве — но старое сердце томит несносная жуть!»

Это уже не тот отец Яков, который с неподобающей служителю церкви жадностью ловил слухи, ждал событий и искал знакомств с примечательными личностями современности. Ах, и русская земля стала не тою, не ждет больше благости, свыше сходящей, не верит обещаниям, не греется в лучах несбыточной надежды! Мудрость к ней еще не пришла — сталь закаляется в огне,— но в мозгу неуклюже зашевелился умишко, и горечь показалась в уголках рта. Стал утомляться и отец Яков от речных путешествий и слишком много перевидал. Конечно, русский человек многожилен и твердоплеч, но и грядущим поколениям следует оставить тертого хрена на заправку житейской тюри, а нам на наш век, пожалуй, что и хватит! И хоть бы отдых впереди — а то ведь ничего, кроме хмурых туч. Нужно ли перегружать летопись тугою и печалею?

Как странно: из тьмы деревенской перекинулся и на городскую Россию великий медвежий сон! Кто спал — тот по-прежнему спит, кто предавался ликующим мечтаниям — тот сейчас потягивается и зевает, не одолеть ему дремоты. Не только не слышно набата, а и мирного благовеста колоколов. Или уж так навсегда? Или только притаилась какая-то тайная сила, ползет, подкрадывается и вдруг как двинет, как распояшется — и пой-

дет ломать лед на реках, а по берегу смывать постройки и слизывать все, что заготовило себе человеческое благополучие?

Уже полусед отец Яков,— началось словно бы н недавно, а быстро пошло. Но ясен взгляд нехрабрых, голубых славянских глаз. С живота же отца Яков как будто бы не спал, скорее напротив. Сейчас в России, в ее тишине, жизнь накопленная, сытая, внешних волнений нет. Гляди — какое большое, сильное и прочное государство! И как боится его внешний враг, и как лебезит перед ннм каждый друг заграннчный! Можем по выбору закидать — кого шапкамн, кого караваями хлеба.

Почему же беспокоится летописец достопамятных событий и от ровных строк переходит к взволнованным восклицаниям? Для красоты лн слога или по зловещим предчувствиям? И сам того не ведает отец Яков, погруженный в свою работу; почитает, попишет, походит по комнатке солидной поступью, а то остановится и с большим удовольствием посмотрнт на очень хорошо отпечатанный плакат, вывешенный на освещенной стенке:

«Если ты зашел к занятому человеку, то кончай свое дело и поторопись предоставить его труду и умственным углублениям».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВИЛЛА КАТОРЖАН

На взгорье двукрылая вилла: на восток и на запад по большой террасе. Нижний этаж скрыт виноградником.

Могла бы выглянуть нз среднего окна пленительная итальянка, а слева и справа, театрально перекинувшись через балюстраду, могли бы мнмо ее головки метать молнии ревнивых взглядов двое,— один с гитарой, другой с мандолиной. И, рот раздвинув во всю ширину щек, улыбалась бы луна.

Но все сидят по комнатам. Комнат на вилле двадцать — в трех этажах: нижние с оконными решетками, верхние с выходами на террасы. Большинство комнат пустует, и всех жильцов семь женщин н трое мужчин. Сборная мебель, нн картнн, нн украшений, гулкий и унылый коридор, внизу большая общая столовая с неубранной чайной посудой.

Заняты комнаты верхние и три в среднем этаже; в нижнем, где летом прохладней, никто селиться не хочет нз-за оконных решеток,— дурные воспоминания.

По длиному коридору гуляют сквозняки, и осторожными шажками бродит кошка с оборванным ухом. Кошку зовут Матильда,— но она ни на какие клички не отзывается. У кошки

две страстн: мыши и личные романы; обе страсти просыпаются в ней к ночи. Днем она могла бы увлечься птичкамн, если бы местные виноградари не истребили их дочиста.

Это — вилла каторжан. Богатый генуэзский купец, которому она и надоела и вообще не нужна, пустил сюда бесплатно жить русских беглецов. Портить нечего, а за огромным садом смотрят сторож с женой, тоже живущие нз милости. По их отзывам, русские мирны, непонятны и, пожалуй, симпатичны. Они очень много курят, и мужчины и женщины, потом едят, больше мяса, чем теста и зелени, иногда хором поют унылые песни и получают с почты письма целыми пачками, сколько добрый итальянец не получит за всю жизнь. В теплую пору они проводят две трети дня вннзу, на пляже; но и дома они не вылезают нз купальных костюмов. Их женщины повязывают головы платочком, одна носит длинные косы; мужчины, выходя из дому в местечко, надевают рубашки навыпуск, подпоясывая их кушаками. Почти все могут объяснnться по-итальянски, а хорошо ли — этого сторож не знает, так как сам он говорит только на своем родном «зенезе»,— генуэзском наречье.

С террас открывается даль Средиземного моря; по морю неторопливо плывут тени облаков, и меняются очертания матовых дорожек водяной ряби. Вечером виден маяк на мысе Портофино — то блеснет, то погаснет. Пляж отрезан от взгорья н проезжей дороги рельсами; но большинство поездов не останавливается в глухом и малолюдном местечке.

Если лето, то по всему склону поют цикады, громче к полудню, тише к прохладе, а ночью замолкают; зато в июньскнй вечер склон покрыт ровно вспыхивающими огонькамн летающих светляков. Светляки ищут самок, сидящих в траве и в щелях каменных заборов спокойными зелеными лампами.

Дело в том, что революция в России кончилась; суды лениво добивают последних бунтарей, почти никто не стреляет в губернаторов и бывших усмирнтелей, все читают длинные отчеты думских заседаний, но уже надоела и эта политическая словесность. Провинция занята кооперацией и сельскими библиотеками, в Петербурге говорят о философии, брачном полете пчел и однополой любви, которая и таинственнее и выше двуполой. В высоких сферах Петербурга вошли в силу не то филалеты, не то спириты, но поговаривают и о каком-то старце, который может всех их заткнуть за пояс.

Российское уныние передалось и сюда: рушились планы, и нужно чего-то выжидать. Будто бы это время очень удобно употребить для пересмотра программ и чистки рядов. О том, что уходят молодые годы, каждый должен думать про себя: это — не общая тема.

И молодые годы, в счете незаметных месяцев, летят стремительно. Раньше нервы были скручены в упругие пружины, по которым проходил ток высокого напряжения. Теперь батареи нссякли, части машин износились, повисли приводные ремни. Молодые стали спешно стариться, разбередились раны и ранки,

на которые раньше не обращали внимания,— ведь было все равно, жизнь рассчитывалась только на короткие дни и месяцы.

У Нади Протасьевой оказался глубокий легочный процесс, ввалились щеки, упала грудь, по вечерам горели глаза. Она куталась в шаль, курила самые дешевые папиросы «пополяри», облюбованные за их крепость. К Верочке Улановой вернулись ее тюремные припадки и кошмары, и она боится спать одна в комнате,— она, которая ничего не боялась. Товарищ Гусев, бежавший с Акатуя, никак не справится с ишиасом и лежит неделями, но не отказывается от гибельных для него морских купаний; и он и Надя постоянно повторяют «все равно», «не стоит думать»,— и это, по-видимому, их сближает. Когда у Нади жар,— она не выходит вечерами на террасу, и в ее комнате сидит Гриша-акатуец; когда Гришу донимает ишиас — за ним ухаживает Надя, это уж так установилось, и до этого никому не должно быть дела.

Да и вообще, вполне здоровых только двое: Наташа Калымова и ее неотлучный друг — Анюта.

Анюта рада своему здоровью: оно ей очень нужно. Жизнь ее удивительна! Ужели это она, простая девушка с Первой Мещанской, для которой и жизнь намечалась простая, бесцветная и, вероятно, нелегкая? И вот она попала в среду особенных людей, у которых, при всей их молодости, за плечами большое и славное прошлое, подвиги, страдания, в своем кругу — слава. С ними она докатилась до Парижа и теперь живет в Италии, в стране, о которой не мечтала, потому что почти ничего и не слыхала. Стали доступны ей серьезные книги, и она, как равная, хотя и несмело, разговаривает с образованными людьми, с ее мнением считаются и уже забыли, что она была только маленькой тюремщицей.

Что будет дальше — она об этом не думает; и раньше не думала — а вон что случилось! Пока приходится думать о том, чтобы хоть в малом помогать всем своим друзьям: починить рубашки, скроить и сшить кофточку, похлопотать по хозяйству; ведь им, посвятившим свою юность иному, никогда этим заниматься не приходилось, ей же это так привычно. В другом ее все превосходят,— а тут без нее никак не обойдутся, и ей приятно, что она нужна и полезна, и для этого хорошо быть здоровой и бодрой. А вот курить она не приучилась — не хочется, не вкусно.

Отчего-то Наташенька, Наталья Сергеевна, как будто не рада своему здоровью и своей красоте, цветущему загару и пышным волосам! И в простоте и правдивости, забывая о собственной молодости, Анюта думает: «Ей бы, Наташе, мужа бы да детей! И здоровье пригодилось бы и не было бы ей в тягость!»

Наташа считает дни, месяцы, даже года: с летом кончится третий год ее заграничной жизни. Последний год прошел быстро, скучно и незаметно: мелькнул серыми месяцами, хоть и у лазурного моря. Планы, расчеты, ожиданья — все оборвалось сразу. С последним роспуском боевой группы исчез Шварц, вероятно,

он в Финляндин. Весной приезжал из Парижа Бодрясии — просто повидаться, а может быть, проездом по делам, у него не узнаешь. Рассказал подробностн о гибели Ринальдо, о полной иеудаче всех последних начинаний Шварца, об унынии в рядах заграничников, о таком же унынии в России. Впрочем, о России рассказывал мало, уверял, что ездил туда ловить рыбу н что, действительио, удалось ему вытянуть преог-громиого г-голавля.

— Что же делать?

— К-купаться и изучать Лаврова и М-михайловского. Очеиь нитересио и полезио, от-т-тложнвшаяся мудрость!

— Нет, а серьезио?

— Ну, можио, иапример, п-перестроить жизнь на личный лад. Боюсь, что вы за меня замуж не собираетесь и потому з-задерживаю последнее объясиеиие.

— Я вас серьезно, совсем серьезно спрашиваю, Бодрясии!

— А я вам столь же серьезно отвечаю, что знаю ие больше вашего по существу дела; по вопросу же личному, откладывая разговор с вамн, п-полагаю обратиться к Аиие Петровне, потому что ее считаю более синсходительной к моим иедостаткам.

И ои действительно, пока жил на вилле каторжан, много времени проводил с Анютой, успел ее приручить и сам, как бы иечаянно, приручился. Звал ее гулять на ручеек,— горный ручеек, весиой полноводный. Говорил с ней ласково и серьезно, едииственный из всех подолгу ее расспрашивал, как думает оиа устроить свою дальнейшую жизнь, вспоминал о своем посещеинн Катерины Тнмофеевиы на Первой Мещаиской, даже ей одиой рассказал, как ему удалось нзбегнуть ареста в Москве, в Самаре, еще в двух городах н, наконец, сиова выбраться за границу. Со всемн скрытный н немного насмешливый, ои был с Анютой прост, серьезеи и особеино дружески-почтителен.

— Мы с вамн, Анна Петровиа, оба из простого звааия и друг друга п-понимаем с полслова. Это, знаете, может в будущем пригодиться.

Но дальше такой фразы ие шел.

В день прнезда Бодрясина в его честь устроили большую «макеронату» с двумя фьясками красного внна н застольным пеньем. У Бодряснна оказался огромнейший трескучнй бас; ои объяснил по-итальяиски:

— Carriera mancata! Упущеиная карьера. А быть бы мне теперь п-прот-тодьякоиом!

Когда всем налилн внна, Бодрясни встал н провозгласил неожидаииый тост:

— За здоровье новобрачных!

И никто ие удивился, когда ои разъяснил:

— За нашнх милейших! Надежду Протасьеву н Гришу-акатуйца. Потому что, дети мои, глупо притворяться, точио это — дуриое дело. Любовь ничем не хуже революцин. Взгляием на дело просто — н будет всем хорошо и удобио.

Только ои и мог так сказать, иикого не обидев и даже ие слишком смутив слюбившнхся друзей. Несколько стеснявшая всех

неловкость была сразу разрешена, и тайна, давно не бывшая тайной, благополучно вскрылась. Зачем и от кого прятаться, разве любовь не свободна?

Ночью пошли на невысокую гору Санта-Анна, где освещенная луной тропинка над пропастью вела к развалинам старой церковки и откуда был изумительный вид на ночное море и маленький полуостров.

Кажется, это был единственный по-настоящему веселый вечер заброшенных на итальянский берег молодых каторжан.

И с этого дня на вилле как бы перестроился быт: появилось нечто прочное, зародыш семейных отношений. Зимой у Анюты прибавилось работы: оказалось, что только она, изо всех младшая, знает, как нужно выхаживать ребенка и что для него шить. Ей подчинялись беспрекословно и ее называли «мать-командирша».

На чужого ребенка, некрасивого и болезненного, с завистью смотрела Наташа. Правда, она мечтала о ребенке здоровом, богатыре и сыне богатыря. Но может быть, и вправду перевелись на Руси богатыри? Во всяком случае сюда, в Италию, они не заезжают.

Состав живших на вилле не был неизменным. Приезжали из России или из Парижа новые, а старые время от времени пытались вырваться из итальянской глуши на европейский простор; но ядро оставалось тянуть жизнь праздную, будто бы временную, которая вот-вот закончится веселым отлетом к новому подвижничеству: что-то случится, пронесется бодрый и громкий клич, и залетные птицы тронутся в обратный путь к северу. Живя тут — прочных корней не пускали, но сами не замечали, как отдых и передышка становятся бытом.

Неподалеку от виллы, которая была на отлете, жили в местечке еще несколько русских эмигрантов, возрастом постарше, а один и совсем старик. Селились и случайные люди — знакомые знакомых, прослышавшие о хорошем пляже и о дешевизне жизни.

Но в первую русскую могилу на сельском кладбище опустили тело человека, не успевшего налюбоваться южным солнцем и еще не забывшего северных сияний,— давнего и дальнего путника.

ТИХАЯ ПРИСТАНЬ

С высот Савойи Николай Иванович свалился к побережью Средиземного моря. Никаких особенных красот не было — чем поразить человека, пешком пересекшего Сибирь и Урал?— но было так чудесно на душе, что все освещалось радостью и виделось лучшим и красивым. Обширен и совсем не мрачен был генуэзский вокзал, а сколько прелести в том, что итальянцы говорят по-итальянски! Их языку Николай Иванович учился в каторге, конечно, по Туссэну и Лангеншайту, знал наизусть первые две страницы романа «Обрученные» и читал с театральными жестами из Леопарди:

Or, poserai per sempre, stanco mio cor! [1]

Здесь, на месте, весь обратился в слух — и не понял ни единого слова из разговоров в вагоне и переклички носильщиков, не читавших ни Манцони, ни Леопарди, ни даже местной социалистической газеты «Лаворо». Надо бы прийти в уныние,— но даже это веселило и радовало Николая Ивановича: «Вот так выучился!» О том, что в Генуе говорят на диалекте, он не знал.

Дальше, почти два часа обождавши на вокзале, пересел в местный поезд и занырял по дымным туннелям Восточной Ривьеры. Совсем как на экране кинематографа, недавно появившегося в Петербурге: сверкнет картина — и провалится в темноту, сверкнет другая — и туда же. Только здесь картина всегда одна: море в разных рамках, разных освещениях, подальше, поближе, прямо под окном вагона, неспокойное, с белой оторочкой волны, с мутным валом у песчаного пляжа, а у скалистого берега — похожее на красивую выдумку. И было это столь удивительно, что чуть не пропустил нужной станции. Но кондуктор под окном с такой итальянской отчетливостью врезал в слух два слога ее названия, что Николай Иванович живо сорвался с места, выпрыгнул и за ремень вытащил свой единственный, но хорошо набитый чемодан.

На вокзале полустанка — ни живой души, если за душу не считать не то начальника, не то носильщика. Пока отходил поезд, Николай Иванович составлял в уме фразу из слов «dove» и «trovare», убеждая себя не забыть и вежливое «signore». Но грузный человек в форменной кепке и штатском засаленном пиджаке подошел сам, отобрал билет и, видя нерешительность движений приезжего, ткнул его в грудь пальцем и уверенно спросил:

— Russo?

А когда Николай Иванович радостно закивал, хорошо помня стихи Леопарди, но позабыв «si, signore», толстяк взял его за рукав, вывел с вокзала на шоссе, показал на выложенную камнем тропинку вверх, для верности ткнул в небо коротким пальцем и прибавил:

— Monti pure!

На этот раз Николай Иванович вспомнил слово grazie и не упустил signore. Но почему нужно тащить чемодан в гору, и что значат слова толстяка? Monti — горы, pure — словно бы от puro, чистый; множественного числа женский род. Взвалив на плечо чемодан приемом опытного сибирского варнака-грузчика, Николай Иванович стал подыматься по тропинке, скоро перешедшей в узкую лестницу, и на первой маленькой площадке радостно догадался, что нет никаких «чистых гор», а просто это значит — подымайтесь.

Поднялся выше — и на новой площадке увидал дверь с огромным, как бы цельным кольцом и что-то над дверью. Вынул свои знаменитые очки, футляром которых грозил застрелить дворника при побеге и по которым признал его в Сибири отец Яков,— и туман рассеялся: над дверью необычайно короткорогая каменная

---

[1] Здесь отдыхает навеки усталое сердце мое! *(Итал.)*

мадонна держала на руках исключительно упитанного младенца с выветрившимся носом на почерневшем лице. Решив, что тут вход в какую-нибудь церковную ограду, Николай Иванович, отдохнув немного, собрался подыматься еще выше, но с неба раздался женский оклик. Повыше площадки, на виноградной террасе, совершенно такая же коротконогая женщина с таким же ребенком на руках, но только живая, повелительно указывала ему пальцем на дверь и утвердительно кивала:

— Sior Paolo, eccolo là!

Так это было все необыкновенно и так благодатно прозвучало с неба непонятное и смешное «экколола», что нельзя было не подчиниться. Небритой щекой скользнув по ремню чемодана, Николай Иванович приветливо кивнул и повернул дверное кольцо. За дверью, в небольшом садике у крыльца дома, сидел и писал человек в русской рубашке навыпуск. Увидав Николая Ивановича, он просто сказал:

— Здравствуйте, я сейчас.

Аккуратно промокнул розовой бумажкой свежие строки, сверху положил большой камень-кругляш, чтобы не унесло ветром, и встал.

— Приехали?

Николай Иванович охотно ответил, что действительно приехал. Ему было безотчетно весело. Никто не мог его ждать, никто не знал о его приезде, и сам он никого здесь не знает,— и вот все оказывается так просто, точно подготовлено заранее.

Русский низкорослый блондин с редеющими волосами осмотрел его внимательно и наконец спросил:

— А вы кто же и к кому? Прямо из России?

Николай Иванович назвал себя настоящим именем, за два года произнеся его впервые. По ответной улыбке понял, что русский его имя знает. Еще прибавил, что указано разыскать здесь Наталью Калымову.

— А уж почему меня итальянцы направили к вам — не знаю. Я никого не спрашивал.

— Как же иначе, ко мне всех посылают. Я тут старожил.

— Так со станции и послали; говорят: «Подымайтесь!»

— Понятно, вы в сапогах. Вам нужно пройти на виллу каторжан, это выше и в сторону. Я провожу. Только сейчас там никого нет, все на пляже, и Наташа. Вы очень устали?

Что такое усталость, Николай Иванович знавал только после больших перегонов через тайгу и третьей бессонной ночи в городе, когда не у кого было заночевать. Разве возможна усталость в Италии?

— Тогда пойдем на пляж, чемодан оставьте здесь.

Ни о чем не расспрашивал,— виден старый партийный человек.

— Помыться захотите — вот мыло, морское. И вон там на веревочке костюм. Плавать сегодня невозможно, а хоть пополощетесь. Наши девицы целый день в пене болтаются, а вот я простудился, не могу, только провожу вас и познакомлю. Вы Наташу знаете?

— Никогда ие видал; в Париже мне дали к ней письмо.

— Она славная. Все — хороший народ. Вас устроят на вилле каторжаи. Да пиджак-то оставьте, ни к чему н жарко.

Нн на минуту не покидало Николая Ивановича ощущение несказанной радости. Не только свободен, не только «за пределамн», но еще в Италин, еще у моря. Взрослый человек, с седнной в волосах,— чувствовал себя мальчиком. Всему и всем улыбался блнзорукими глазамн, смеялся каждому своему и чужому слову. Успевал н наслаждаться солнцем и присматриваться к новым знакомым, будущнм друзьям: к Наташе, Анюте, еще двум каторжанкам н худому, как скелет, товарищу Грнше-акатуйцу. Этот был черен от загара, но покашлнвал. Нколай Ивановнч подумал:

«Не жилец! Ну, хоть погреется!»

И, как всегда, когда здоровый человек видит «не жильца», со смущением и тайной радостью чувствовал свое полное дыханне и свон мускулы, с азартом оттнрал песком и морским мылом дорожную грязь, омывался пеной н с трудом верил, что вот это — он сам, загнанный волк, прорвавший охотничью облаву.

Несмотря на свежее знакомство, настоящего разговора не было. Встретилнсь людн, знавшне друг друга иа расстояннн,— людн одной жнзненной задачи и одной идеологии. Вероятно, потом, вечером, онн вступят в горячий спор о пустяке, будут выражаться книжно и нетерпимо, заподозрят друг друга в уклонах; но здесь светит солнце, н голова чиста от дум, н не хочется считать минуты н часы.

— Неужели же так н нельзя поплавать?

Оказалось, что мастером плаванья считается «старожил», приведшнй Николая Ивановича н ушедший коичать свою работу. Он, пожалуй, мог бы, остальные не решаются: море слишком бурно.

Наташа сказала:

— Завтра, если ветер немного утихнет, волны будут более отлогими н длнннымн; сейчас они неровны,— не угадаешь, когда плыть к берегу.

Анюта совсем не умела плавать:

— Мие н блнзко подойти страшно; вот когда тихо — я люблю у берега.

Огромный вал, седой н бурый от поднятого гравня, набежал, рухнул н накатил к ногам сидевших полог пены, ставшей белоснежной. Николай Иванович вспомнил Байкал н свое невольное плаванье, сравнил «тогда» и «теперь», тряхнул головой н задумчиво протянул:

— Л ю-бо-пытно!

Что-то вспомнила Наташа, а за ней Анюта, и обе протянулн одним тоном:

— Л ю-бо-пыт-но!

Николай Иванович сказал:

— Знаю я одного забавного батю, страстного любителя жнзнн. Вот он всегда так говаривал: лю-бо-пыт-но!

Живо откликнулась Анюта:

— Уж не иашего лн, Наташенька, отца Якова?

Николай Иванович даже привскочил н потянулся к очкам. Все трое оживились: ведь вот какой случай! Действительно, все они встречали, в разное время, в разных условиях, свидетеля истории в лиловой рясе! Еще новая связь — и какая иеожиданная! А уж на что велика Россия! Николай Ивановнч коротко поведал о своей последней встрече с отцом Яковом в Сибирн, когда работал на погрузке чайных цибиков.

— Мне непременио нужно узнать его адрес! Я ему должен пять рублей!

Анюта не сомневалась, что можно послать деньгн ее тетке. Уж если отец Яков будет в Москве, то обязательно побывает на Первой Мещанской.

Николай Ивановнч пришел в полный восторг:

— Это же замечательно! Через вас н пошлю. Еднистненный мой долг, тяготящий душу. Я даже иарочно русскую пятерку сохранил, не менял. Уплачу — н свободен н чнст. И вообще — все замечательио!

Вскочил на ноги, подбежал, прыгая по пене, к самой черте прнбоя. Вал подкатился низкий, едва залил по колено. Байкал был тогда много страшнее; н было холодно; и ои, Николай Ивановнч, был в одежде и сапогах. И все-таки — вот он!

Николай Иванович взбросил руки над головой, потряс в воздухе кулаками н прокричал морю:

— Э-ге-гей! Лю-бо-пыт-но-о-о!

Затем, не раздумывая, в радостном порыве иеблагоразумия н полной уверенности в своих силах,— пригнулся, выждал новую волну н, как опытный пловец, бросился головой ниже гребня.

Туча камушков чиркнула по телу, скрылся свет, потом сильные руки ощутилн свободу взмаха,— и он, поборов волну, поплыл в котле, кипящем и сладостно-холодном.

С берегового пригорья, где светлые квадратики домов отпечатаны на серо-зеленой открытке, виден пустынный пляж за линней железной дорогн. Море отсюда кажется спокойным, о прибое угадывают только по белой линин на границе воды. На освещенном песке несколько букашек. Одна из них подползла к воде и нсчезла. Другне, прежде неподвижные, зашевелилнсь н также приблнзились. Потом еще одна исчезла в белой ленточке, а за ней третья. Лента сдвинулась, и две темные точки снова показались. Если это людн, то, очевидно, однн оттаскивает другого от воды. Потом все сгрудилнсь в кучку,— что-нибудь случилось. Тот, кто мог смотреть с горы, не счнтал букашек н не знал, столько ли нх теперь, сколько было раньше.

Анюта закричала:

— Наташенька, да он же утонет, вон какие валы ндут!

Нужно переждать н выбрать момент, когда валы помельчают, и вот тут-то сильными взмахамн победнть напор воды отходящей, а когда подымется иовая волна, отдаться ей н выбросить ноги вперед. Это — самый жуткий момент н самый красивый. Ловкого

пловца вода подхватывает, перекидывает, иа мгиовеиье ставит на ноги,— и сейчас же толкает в спину, вынося на пляж в кипящей пеие. И иужно, быстро справившись и ие дав увлечь себя под иовый вал, вскочить на ноги и по текучему песку отбежать и выбраться из потоков и воронок.

Подбежав к воде как можно ближе, они отмахивали руками и крнчали: «Обождите! еще нельзя! Очки Нникола Ивановича лежали в потрепанном футляре иа сухом песке; с собой он взял только улыбку близоруких глаз. Высокий дальнни берег подымался и опускался; то были видиы береговые друзья — хоть протяии им руку,— то оставалась только ослепительно белая церковка иа самом высоком предгорье. Шум воды заглушал голоса с пляжа — и звонкий Анюты, и грудной Наташи. Но не могло быть, чтобы сильный человек, победивший все опасиости, миновавший все ловушки, вынырнувшнй нз стольких водоворотов жизни,— чтобы такой человек погиб на глазах друзей, у самого берега, где лежат его очки!

Анюта кричала:

— Наташа, что же это такое! Он утонет!

Наташа вндела, что он, слепой от воды, улыбается и вернт — или просто не зиает. С бьющимся сердцем и оиа улыбается ответно. Он так смел, что можно верить в невозможное.

Первая волна упала прежде, чем он подплыл к ее краю. Второю, огромной и рокотавшей, его подняло на самый гребень: тело вышло нз воды, руки напрасно взметнулись и вытянулись, как будто ои хотел схватить воздух и на нем повиснуть. Затем волна швырнула его тело вперед над оголнвшимся песком, догнала, ударила сверху, плашмя обрушила и навалилась стопудовой своей тяжестью. Только на секунду черное пятно костюма мелькнуло в пеие — и нсчезло в прибое.

Тот, кто мог смотреть с горы, ждал, появится ли уползшая в море черная точка. Протекли долгие мгновенья, пока объятые ужасом опять увидали в пене черный предмет, который уже не мог быть человеком. Если не удержать — его завертит и утащит волнами. И Наташа, не рассчитывая сил и не справляясь с книгой судьбы, бросилась в кнпящую бучу.

Ее сразу сбило с ног и понесло, прежде чем черный предмет опять скрылся. Вынырнув, она не успела обрадоваться свету и не иашла опоры ногам; руки напрасно отталкивали воду. Вместе с водой она глотнула горсть гравия, закружилась в воде и потеряла сознаиие. Уже не чувствовала, как ее катит по песку мелкой водой и как мертвой хваткой в ее костюм вцепилась Анюта. Под обеими таял песок, и та, что спасала, должна была со страшной силой упираться, пока вода откроет дыханье. Вскочив на ноги, Анюта еще не знала, догонит ли их новая масса воды, и не выпускала тела Наташи, оттащить которое она была не в силах. Ей помогло несколько рук, и оиа упала только на сухом песке, не разжимая пальцев.

Все это можно было видеть с горы, но на таком расстоянии это казалось веселой забавой расшалившихся ребятишек.

По крутой тропе, накалывая камнями босые иоги, задыхаясь, кашляя и держась за грудь, взбегал «не жилец» — товарищ Гриша. Что бы ни случилось — помочь мог только «старожил». Женщина с ребенком видела, как черный русский, распахнув дверь к сьору Паоло, спотыкнулся о чемодан. Затем оба заговорили быстро по-своему, и сьор Паоло, забыв придавить кругляшом кучу исписаиных листочков и ие дожидаясь товарища, застучал каблуками по скату тропиики.

ПЯТЬ РУБЛЕЙ

Катерина Тимофеевна хоть и ие была грамотейкой, ио расписывалась аккуратненько, крепко надавливая перо, по почерку же и по заграиичным маркам знала, что письмо от Анюты; впрочем, иных писем, кроме этих редких, оиа и вообще не получала.

Когда приходило письмо, Катерина Тимофеевна иемедлеиио откладывала всякую работу, и если, иапример, в это время докипала вода, то и воду пока отставляла с огня, вода подождет. Надев очки, она присаживалась ближе к окну, но глаза ее иемедленно затуманивались слезой, и читать было иевозможно, хотя Анюта писала крупиым и разборчивым почерком. Удивительное дело! Прежиее доброе расположение к Анюте перешло теперь в Катериие Тимофеевие в большую и иастоящую любовь, и оиа думала об Анюте, как о собственной дочери, злым роком у иее отнятой и заброшенной в чужие страны.

Побившись напрасио над получеиным письмом, Катерина Тимофеевиа постучала в комнату отца Якова, позвала его на помощь, тем более что в первых прочитанных строчках как раз об отце Якове и говорилось. Писала Анюта, что бумажку в пять рублей, вложенную в страховое письмо, нужно передать отцу Якову и что это долг ему от сибирского человека.

Прежде чем стали читать дальше, отец Яков догадался и расплылся в широчайшую улыбку:

— А как же, как же, должничка имею! И насколько же чудно дело! Скажу прямо — ожидать иикак ие мог и не с тем давал. Не в сиием билетике радость, а значит, милый человек выбрался, куда желал. Лю-бо-пыт-ио! И что с Аинушкой повстречался — опять же какой случай! Мир-то велик, а людишки сталкиваются.

И сразу загрустил отец Яков, едва слезу удержавши, когда вычитали из письма Анюты, осторожиого и иеявствеииого, что должник отца Якова, иаказав послать ему деньги, расстался с жизнью по иесчастиому случаю в самый деиь приезда, утонувши в теплом море.

Вода закипела, ио от чаю отец Яков отказался, сославшись иа то, что есть у иего в городе малое дельце. Заспешил к себе в комиату, сложил тетрадочки, поглядел рассеяиио иа плакат, пригладил волосы, иадел шляпу и вышел.

А и дела-то, между прочим, у отца Якова ие было в городе никакого, так только сказал, потому что очень взволновался. В городе сейчас жарко, и людей ие так уж хочется видеть. Поэтому, докатив докудова можно на трамвае, отправился отец Яков прогулять грешиое тело на Воробьевы Горы, а оттуда посмотреть иа Москву — картииа прекрасная.

Цветиым клетчатым платком, какой обычеи нюхающим табак,— отец Яков отроду не июхивал,— здесь, в одииочестве и иа просторе, вытер слезу иепрошеную и неудобную в его положении спокойиого созерцателя истории. По всякому ли слезы проливать? Слез ие хватит! И кем был для него столь скоропостижно усопшнй? А иикем! Просто — встречиый человек, случайный собеседник неизвестиого звания, оказавшийся дерзостиым ослушником заповеди «ие убий», правда,— ие по злобе или корысти, а по гибельиой своей идее отмщения за народные обиды. А после — еще более случайиая встреча на сибирской реке, где лишь по очкам признал отец Яков в грузчике-вариаке зиакомого революционера в бегах. И вот тогда помог своей трудовой пятеркой. И все знакомство в том. Для чего же, неладиый поп, льешь слезы, как по родному брату?

И тут, еще туманными глазами отыскав купол Христа Спасителя и опасливо кругом оглянувшись, не смотрит ли кто невзначай, перекрестился широким крестом и шепотом, ио вслух сказал твердо:

— Упокой, Господи, душу мятежного, приявшего кончину в голубых морях. Сколь был смел и дерзок и сколь был скорбеи сей страиный человек, имя же его ты, Господи, веси.

Вспомнил, как в живом и шутливом разговоре обветреииое и загрубелое лицо человека, которого он знал под кличкой Николая Ивановича, освещалось иногда улыбкой поистиие детской и милой. А потом опять в глазах осторожиость,— заслонялся от людей заслонкой и запирался на замок. И видно — знал мир, как свою комиату, если была у него иа свете своя комиата, и босыми иогами ступал безбоязнеиио по раскалеиному поду пещи житейской. Препоны победил, властиую чужую волю поборол, своего добился,— да, видио, ие угадал, где ждет его суд последний и иастоящий.

И однако, если есть высший суд, в который отцу Якову предписывала веровать его старенькая ряса, но в котором его пытливый ум увереи ие был,— то иа сем суде долго поколеблются чаши весов, прежде чем властиым перстом их остаиовит иелицемерный Судия!

Может быть, иа этом суде потребуется защитник? Ну что же, отец Яков готов! Сказать есть что, и ои скажет: «Сей человек знал мало радостей, жил не для тела и ие для себя, шел туда, куда его толкало чистое сердце, тобою, Господи, вложеиное в его грудь. Если ои уклоиился по незиаиию или по ошибке, если выше заповедей Твоих поставил человеческую волю,— то зачем же ты, Судия Праведный, открыв ему очи иа все зло мира, ие иаучил его смирению и ие удержал занесеиную им

руку? Так иельзя пытать человека,— прости дерзкое слово смиреиному Твоему иерею, Господи,— так словно бы иесправедливо! Не за личиого приятеля прошу, а за придавлениого тяжестью людских страданий и иеразумиого мстителя чужих обид!»

Вот как бы, совсем смело, сказал отец Яков на суде иелицеприятиом,— ие побоялся бы, защитил бы грудью представшего пред судом. И если бы его все-таки обвиинл строгий Судия, тогда он, отец Яков, пожалуй, бы усумиился, и даже иавериое бы усумиился!

Пополз иад Москвой вечерний седоватый туман, когда, рукой придерживая полу рясы, отец Яков спустился от высоких мыслей в житейское.

Привыкнув отходить ко сну раио и без обильных иа ужии разиосолов,— разве что доведется в гостях, ио и то с воздержанием,— зашел по пути в лавочку купить чайиой колбасы. Пошарив в глубоком кармаие, иабрал мелочи недостаточио. И вот тогда, заспешив и покрасиевши, достал из кошелька едииствеиную синюю бумажку, подал ее и получил сдачу.

— Завтра, ужо, заплатят за статейки. Время тяжкое,— а все же вертится человек от сегодня до завтра. Вертится — значит, так нужно. И ои вертится, и все вертятся, и сама земля ие стоит на месте. Лю-бо-пытио!

ГОРА СВ. АННЫ

Наташе приснилась зелеиая молния, и будто бы эта молиия, ударив иад головой, разбилась на куски и упала к ее иогам зелеиыми палочками. Хотела нагнуться и подиять одну из них, ио строгий голос сказал: «Горячо!» — и оиа отдериула руку. Тогда подошел Бодрясин, спокойно иаклонился, подиял палочку, иадломил и стал есть бобы. Наташе стало стыдио за свою трусость, и, действительио, все кругом смеялись. Выручил ее Иваи Иваиыч, заявивший, что все это вздор и что любая молния от времени мягчает и превращается в зеленый боб.

Иваи Иваныч, не из каторжан, а из ссыльиых, тоже — беглец родиой страны, попал иа виллу случайно, по давиему зиакомству со старожилом местечка, тем самым сьор Паоло, к которому, как к патриарху русской колонии, всех иаправлял иачальник полустаика. Иван Иванович, человек здоровый и любознательный, задумал пройти пешком всю итальянскую Ривьеру, иачав с Саи-Ремо, коичив заходом в Пизу. Дешево, просто, иитересно, полезно для здоровья.

Так и шел, ие спеша, с иочными остаиовками в частых иа пути местечках, иаслаждаясь раиииими часами, отсиживая часы зиоя в кабачках. Научился поиимать плохую в этих местах итальяискую речь, загорел, пропылился, осиовательио забыл и Россию, и ссылку, и парижских друзей, иадоевших за минувшую зиму.

В Генуе белокамениой побродил в порту, осмотрел старые

дворцы иа улицах Бальби, Гарибальди и Кайроли, провел полдня иа кладбище, любуясь чувствительными мраморами — резиым кружевом иеутешных белых вдов, медальонами их корабельиых мужей, женщиной, возжигающей семисвечник, другой, засиувшей с головками мака в руках, здоровенной и упитаниой девицей с крыльями, другой, броизовой, в лапах смерти, плачущим каменным господином нормального роста, ио в неглажеиых брюках. Отыскав не без труда могилу Маццини, подумал, что иадо бы однажды почитать что-нибудь обстоятельное о жизни итальяиского революционера, сел поблизости и, любуясь призе-мистыми колоинами, с аппетитом закусил прииесениой с собой пиццей,— с перцем, помидорами и чем-то вроде вкусных ко-ваных гвоздиков.

В Нерви иа марине подивился обилию русской речи, но знакомых не встретил. На дальнейшем пути целый день про-вел на Порто-Фино, наслаждался видами и даже почувствовал в груди что-то вроде эстетической тревоги, почти склоииость пофилософствовать, ио вовремя вспомнил, что нужио до темноты спуститься по ослиным тропам к заливу, чтобы заиочевать в Санта-Маргерита. Шел и дальше — с той же бодростью и ие-зианием усталости миновал Кьявари и, руководясь картой, за-медлил шаг близ станции того местечка, где жил добрый прия-тель — товарищ Павел.

И затем, мирио устроившись на вилле каторжан, дальше ие двинулся, потому что, в сущности, шел ои без цели, удоволь-ствие от прогулки получил в полиой мере, люди здесь хорошие — можио и пожить подольше.

На вилле каторжан Иваи Иванович пришелся ко двору и даже всех оживил. С ним в монастырь ворвался вольный воз-дух гуляющего человека, совершеиио иезнакомого с истерикой и ничем ие больиого. Обитатели виллы закисли и заскучались,— новый человек очень нужен. Наташе, единственной из всех здо-ровой и телом и духом, сыскался товарищ для дальиих прогу-лок в горы и морских купаиий. Для принципиальных раз-говоров и для пророчеств о том, когда Россия станет свобод-ной, Иван Иваныч не годился; ои говорил, что ему и в Париже иадоело чесать язык. Об искусстве говорить любил: видел мало, а читал достаточио. Умел играть на гитаре и без особого го-лоса напевал. Из себя же Иван Иваныч был не дурен, не красив, приземист, белокур, светлоглаз, покоен, поднимал кресло за переднюю иожку и спокойио разгрызал грецкие орехи креп-кими желтоватыми зубами.

С его приездом Аиюта почувствовала некоторое одиночество,— уже ие все время проводила с Наташей; ио у Анюты было много хозяйственных дел: общая мамаша и няня. Остальные слегка ревновали Наташу к приезжему. Главное — человек не иитересный, ие герой, не террорист, не любитель высоких ма-терий, пожалуй, даже до иекоторой степени — вероотступник: зевает при упоминании имеи Лаврова и Михайловского и без всякого уважеиия говорит не только о Чернове, но и о Шварце.

Когда узнал, что тут же поблизости жнвет заслуженный н почтенный Илья Данилов, сделал кислое лицо н произнес неуважительное слово «старая балда». Правда, Данилов особым расположением молодежи не пользовался, но все-таки — одна нз эсеровскнх нкон.

В очередное полнолуние была очередная ночная прогулка на гору Санта-Анна, откуда чудесный вид на море н особенно на нн с чем не сравнимый полуостровок, прнютивший маленький город. Всю дорогу Наташа шла с Иваном Иванычем, отстав от всех. Взяли с собой внна, сыру, резннообразной колбасы н сушеных фиг. Устроили прнвал у стен разрушенной церковки, на крутом обрыве. Душой общества был на этот раз патрнарх сьор Паоло, которого свон называли Отцом или Князем,— последнее названне было ему дано за татарскне скулы. В обычные будние днн Князь был деловит и серьезен, с головой погружен в свон ученые работы по нстории революцин, пнсал статьн для народническнх журналов н ворчал на бездельников н бездельниц с виллы каторжан. Но на отдыхе н на прогулках молодел, даже мальчишествовал, веселил всех, пускал шуточкн н среднего качества остроты, не щадя н Ильн Даннлова. Залезал на развалины стен церковки, садился на край обрыва н болтал ногамн, посменваясь над темн, кто смотрел вннз с опаской, крепко держась за камнн н стволы склонившихся над пропастью деревьев:

— А я тут как дома!

В эту ночь огромная луна была до полного блеска начнщена белым порошком н не скрывала ни морщин нн улыбкн. С удивлением слушала она такое неподходящее к обстановке пенье «Из страны-страны далекой», «Варшавянки» н малорусских песен. Будто бы по этой самой тропинке некогда одолевал невысокую гору Цезарь,— во всяком случае, в точностн могла знать об этом только ннмало с тех пор не постаревшая н совсем не переменившаяся луна. Две фьяски красного вина скоро опорожнились, запас сушеных фнг близился к концу. Илья Даннлов, по преклонности лет, упросил Князя пойти вместе вннз, домой, спать. Ушла бы н Анюта, глаза которой слипалнсь н которая всегда ложилась н вставала очень рано,— но как оставнть Верочку Уланову, которая боится теней, боится высоты, а сама тянется к краю обрыва н задает несуразные вопросы: «Как ты думаешь, Анюта, если прыгнуть — долетишь до низу жнвой илн умрешь раньше?»—«Да зачем прыгать, Верочка, что за выдумкн!»—«А ннтересно!»

Большинством решили дождаться восхода солнца. «Да ведь солнце встает за горамн!»—«Все равно, дождемся».—«Тут закаты ннтереснее гораздо».—«Закаты каждый день вндим». Но Наташа заявила решительно: «Я останусь во всяком случае». Промолчал Иван Иваныч — конечно, тогда н он останется. Все немного захмелелн, было тепло, даже как-то знойно от лунного света, н было необыкновенно красиво. Выпилн остаткн внна, петь больше не хотелось — н к развалинам церковки вернулось молчанье.

Немного захмелела и Наташа. А что, если подняться выше над тропинкой? Подъем очень труден, приходится преодолевать глыбы известняка, который осыпается. Выше — остатки дозорной башенки, которую сейчас и отыскать трудно.

— Не стоит, Наташенька, тут и днем не подняться.

За Наташей, без уговора, пошел только ее спутник. Сначала было слышно, как под их ногами осыпается камень. Потом стало всем скучно — не проще ли, правда, пойти спать на виллу? А как же Наташа? Так что ж такое, разве они не найдут дороги?

Анюта пробовала звать:

— На-та-ша-а! Иван Ива-ныч! Мы уходим!

Ответа не было. Может быть, не слышат, забрались высоко, или просто не хотят отвечать.

Уходя, сбросили с обрыва бутылки — и прислушались; но обрыв был так высок, что звук падения до верху не донесся.

Ответа не было.

ЗИМА

Каким-то образом эти люди живут без календаря — ни отрывного, ни настольного нет ни в одной комнате; и притом — люди двух стилей, русского и заграничного. Правда, можно соображать по газете; в местечке заметны воскресенья, когда итальянки — рыбачки, торговки, прачки, хозяйки, молочницы — с утра надевают городское платье, взбивают прически, движутся несвободно, манерничают и перестают быть интересными. У русских нет отличия будней от праздника — ни в одежде, ни в пище, ни в быте, ни в походке. Поэтому не все в местечке уверены, что русские признают Христа и мадонну.

Дни идут и без календаря. Было лето. Потом была осень — сбор винограда. И потом была зима, довольно холодная.

Приходилось без отопления кутаться; Наташе пригодилась ее оренбургская шаль. В комнате, где жила благословленная Бодрящным супружеская пара и где по ночам долго и настойчиво плакал ребенок, ставили скальдино: глиняный сосуд с раскаленными угольками пальмовых зерен. Днем было тепло на солнце, только море зимой шумит неприветливо и редко бывает голубым.

Перед полуднем на пляже появлялась одинокая фигура, сбрасывала халат, окуналась в морскую пену и бежала обратно к халату и домой. Все итальянцы знали, что это — сьор Паоло, старшина русской колонии, который купается круглый год, какова бы ни была погода. Итальянцы ежились и объясняли случайным зрителям:

— Э! Понятно: русский! У них в России снег лежит и зимой и летом. Siberia!

Сьор Паоло и вправду был родом из сибирского города. Зимой там бывало сорок градусов холода, летом — столько же жары. Но там он зимой не купался.

Наташа куталась в шаль и думала о том, что будет дальше, когда и в ее комнате придется ставить зимой скальдино — когда и у нее будет ребенок. Думала без всякого смущения и беспокойства — скорее с настоящей чистой, материнской радостью. Только ребенок и может служить утверждением и оправданием того, что случилось.

Нет, тут дело не в какой-то вине, требующей искупления; тут дело в том, что настоящей любви, собственно, не было, и пришел не тот человек, который должен был прийти: не мечтаемый, а случайный. Но он пришел как раз тогда, когда другого, вымышленного, созданного воображением, ждать дольше стало невозможным. Италия — море — солнце — тело — бездействие — растительная жизнь. Ночью неподвижный зеленый огонек ждет, что вот прилетит огонек движущийся и вспыхивающий. Прилетит, побудет и улетит. Так в природе, у волшебных ночью и невзрачных при свете жучков. И она столько ночей ждала — это так понятно. Ну вот, дождалась. Нужно другому удивляться: что ждала все-таки так долго! А он человек здоровый и простой.

Анюта говорит: «Наташенька, он человек очень хороший, Иван Иванович!» Как бы хочет их обоих оправдать. Конечно — хороший. Не герой и не былинный богатырь, а так же, как и она, здоровый и простой человек. Романа не было — такого, о каких мечтают и пишут в книгах. Были дружеские, приветливые отношения, было море, была луна над невысокой Санта-Анна. Потом были дни эгоистического наслаждения, то есть почти любовь. А будет — ребенок.

Анюта говорит: «Если в Париж поедете, меня, Наташенька, прихватите. Где-нибудь от вас поблизости поселюсь, а прожить — проживу, ничего».

Анюта мечтает: «Вот и у Наташеньки будет своя жизнь, своя семья! Так хорошо!» Завидовать Анюта не умеет.

Планы будущего неясны. Конечно — лучше жить вместе, нужно жить вместе; и жить не здесь, в праздности и великой скуке, а среди живых людей, работающих; и самим непременно работать. Жизнь должна быть оправдана не только ребенком.

Иван Иванович уже уехал в Париж — устроиться, приспособиться, подготовить приезд Наташи. С таким человеком легко и просто. Была бы страсть — ссорились бы. Или, может быть, скрывали бы это всех свои отношения, боясь за будущее. А тут — просто и хорошо, безо всяких комедий и предисловий: никто не спросил — и никому не пришлось рассказывать. Просто — и по полному праву здоровых людей.

Анюта говорит: «Все-таки, Наташенька, лучше бы вам пожениться по-настоящему! Потому что ребенок».

Анюта верит в прочность их союза. И Наташа тоже думает: «Лучше это сделать»,— тоже верит, что это уж надолго, а то и на всю жизнь. Ребенок, потом еще ребенок. Когда-нибудь придется же вернуться в Россию. Будет семья. Хорошо бы хоть летом жить в деревне, в Федоровке; и для детей хорошо.

Строгий Данилов, комитетчнк на покое, говорнт Князю:

— У нашей молодежн матрнмониальные настроения.

— Пускай!

— А революция?

— Ей это не помешает.

— Все-такн как-то не серьезно...

Князь смотрит одиим глазом на заезженного коия революции: «Стар стал, голубчнк, не нравнтся!»

— Если молодежь растеряла прежиие идеалы,— что ж, придется иам, старикам, ехать в Россию.

Князь отмалчивается, н Данилов тянет неуверенио, боясь своих слов:

— Поехать так — зря арестуют. А вот приходит мие ииогда в голову дерзостиая мысль: подать прошение, написать, что хочу мирио доживать дни на родине в научной работе; н если пустят — сиачала посидеть спокойно, а потом исподволь, потихоньку-полегоньку, мудро развернуть широкую работу среди молодежи, особеиио среди рабочих и крестьян; иастоящую революционную!

Все-таки Князь молчит. Нужно человеку исповедоваться — иечего ему мешать. Говори, говорн, старый!

Данилов катится дальше:

— Если додумаюсь до конца, то есть до действий, да порешу,— заявлю об этом в Цека партнн — н махну. Молодежн такого шага не посоветую никогда, а старый, стреляный волк, по-моему, н может н должеи так поступить, раз иет у нас в Росснн достойной смены. Вы как думаете, Князь?

— Чего же тут думать, Даиилов, дело совестн каждого.

— При чем тут совесть? Тут — важная задача, даже некоторая жертва личной репутацией, то есть, конечио, в глазах партийной толпы. Потому что со стороиы старшнх, поннмающих, я ие представляю себе серьезной оппозицин такому плану. То есть если нменио я, обо мие дело. Во мне сомиеваться не могут — всей жизнью доказал. Раз это нужно, прямо необходимо для дела... Вы так не поступилн бы, Павел?

Сьор Паоло говорнт решительио:

— Нет. Я проснть не стану.

— Дело не столько в прошенин, сколько в решимостн. Я бы сказал — в самоотвержеиной решимостн. Прошеиие — отвод глаз, уловка.

— Нет, я не мог бы.

Разговор кончился. Мало ли о чем беседуют старые бойцы.

Данилов живет в домнке иа ннжней террасе прнгорья, в неуютной комнате, темной н холодной. С ним в щелях каменной кладки ночуют паукн, сверчки, ящерки. Обедает в трактирчике: миистроне, рыбка, бобы, фнги, апельснн.

Данилову минуло пятьдесят. Одинок. Когда-то готовился к ученой карьере — без блеска, ио прочной; ссылки помешали. Он совсем ие европеец: был н остался русским провннцналом-народником. В партин уважаем — но кто его любит? Считается, что Данилов непогрешим; за двадцать лет в его убеждениях

иичто не пошатнулось. И не пошатнется, если ои проживет еще двадцать лет. Молодежь говорит, что муха, сев иа бороду Даиилова, мгновенно умнрает от скуки. Сейчас Данилов не у дел, как бы на отдыхе; его сослали — и скоренько о нем забылн, даже иичего ему не пншут из Парижа, нз штаба революцин.

Он хоть н ие стар, а устал. Может быть, выдохся. А что дальше? Так н сидеть в нтальянском местечке, скудио пнтаясь иа партийиый паек, перебирая в памяти прошлое? Камеиный пол, тусклая керосиновая лампа с узким стеклом, очень плохой табак, кннжка «Русского богатства», старческая обида. И этот ветер, просвистывающий щелки окна, залеплеиные полоскамн «Русских ведомостей». Противный шум моря. Праздность. Одиночество. Ужасное одиночество!

Он в третнй раз перепнсывает бумагу. Черновикн рвет в мелкие клочья, а клочья запихивает палочкой в сорное ведро на дворе. Привычка старого коиспиратора. Все бы так делали — не было бы случайных и глупых провалов. Наша жизнь прииадлежит революцин. Если бы хоть кусочек нашей жизни прннадлежал иам лично!

Проклятый ветер! Шум моря сегодня невыносим. Главиое — выдержка, сила воли; тогда все можно. Только сам человек знает, на что он имеет право. Другие его не поймут. Десять часов вечера, местечко спит. Ужасное одиночество!

МЕЛКИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

И вдруг, с оскорбнтельиой простотой, все это — временный отдых, передышка воннов, необходимая конспирация — делается ложью, н людей молодых и решительных затягивает мещаискнй быт.

В России медвежий сон. Храп медведя доносится н сюда, под оливы и пинии, сон окутывает и полонит море, сад, виллу, людей — всех, кроме бодрствующей по иочам романтической кошкн Матильды. И уже иельзя, стыдно говорить, что это только на часы, иа месяцы, а там опять иачнется бой,— иикто не повернт. Начнется, пожалуй,— но не те начнут!

Вторая русская могила на нгрушечном кладбище. В первой похороиеи Ннколай Иваиовнч, сильиый человек, без усталн подгоиявший судьбу, победивший Байкал — не справившийся с прнбрежной волной теплого моря. Во вторую опустилн легкий гроб с телом Грнши-акатуйца.

Его свеча погасла неожиданно, то есть не ожидалн, что это случится так скоро н просто. Грнша-акатуец стонал н морщился, когда ему впрыскивалн ампулу почти черной жидкостн; капелька оставалась на коже н пахла иодом. Потом говорилн, что сейчас можно сжимать легкое воздухом — н легкое отдыхает и залечнвается. Но попробовать ие успели: Грнша простудился, стал по ночам громко перекликаться кацлем со своим плачущим ребенком и, непохожий на отца, стал сам большим ре-

бенком, вопросительно и удивленно смотревшим на взрослых и здоровых. Оказалось, что у Гришн огромные и очень красивые глаза. Однажды на заре он их закрыл в последний раз.

Ходилн на цыпочках, ничего в этот день не готовили и не ели, а думали о том, останется ли жить Надя Протасьева или решит тоже уйти — ее иесомненное право. За всех хлопотал сьор Паоло, и Гришу похоронили без обрядов и священника, к соблазну добрых католиков. Ото всех был одии веиок из красных роз и красной гвоздики, с красиой лентой,— круглое кровавое пятно на опрятном белом кладбище.

Надя пока осталась жить, сама больная и с больным ребенком. Верочка Уланова, боясь ночных кошмаров, просила Анюту ночевать в ее комнате. Шесть лет тому назад Верочка стреляла в высокого полуседого офицера, усмирнтеля крестьянского бунта,— и улыбалась на суде, когда читали смертный приговор.

Спускаясь по лестнице в столовую, Наташа держалась за перила: на смену ушедшему в вечность человеку ожидался новый.

Сьор Паоло ездил в город выправлять бумажку о смертн Гриши-акатуйца — никому не нужную. Сьор Паоло поедет и еще раз в мэрню: записать ребенка Наташи; он знает все порядки, он общий отец и покровитель.

В большой простоте и полном порядке чередовались: любовь, смерть, рожденне. Так это пронсходит во всех богатых и бедных семьях, под разнымн крышамн, в городах, в местечках, повсюду, незавнснмо от того, чем живут и во что верят люди. Так пронсходит в поле, в садах, в огородах, в море, в лужах.

Из Парижа запросили письмом: не осталось ли воспоминаиий Гриши, например его дневника? Если да — пришлите в архнв партии. Послали только две фотографии: Гриша в студенческой форме и он же на пляже в трусиках. Первую карточку поместилн в журнале эсеровской оппозиции, хотя послали ее в центр; вероятио, там какая-нибудь путаница.

Через месяц у Наташи родилась девочка, похожая на рязанскую бабу, весом больше трех кило. Девочку Наташа назвала своим именем; мальчика назвала бы именем отца.

Вообще — для нсторнн ничего: маленький, провннциальный, местечковый быт. На фоне олив и пний — сцены нз российского медвежьего сна. Если будет революция — ее герои придут не отсюда. Здесь только черта прибоя, гора Святой Анны, игрушечное кладбище, вилла каторжан, приналлежащая генуэзскому купцу, полустанок, лавочка табачная и лавочка мелочная, отпускающая русским товар в кредит; здесь зеленые склоны гор, кудрявая зелень с вкрапленными в нее домиками — как на открытках. А кипарисы — черными палочками. Красиво, сонно.

В нстории революционного движения, которую пишет сьор Паоло, эти мелкие события, конечно, не найдут отражения. Книга разрастается Начатая с декабрнстов, она уже доведена до 1905 года. Матернал ценнейший — показанья свидетелей, личные воспоминания. Работая в саду, сьор Паоло кладет на книги

и на листы рукописи круглые камни, обтесаиные морем,— чтобы ветер ие иаделал беды.

Илья Даиилов, старый, подержаиный боец, берет билет в Геную и обратио; ои ие хочет, чтобы его письмо ушло со штемпелем местечка. В Генуе ои отправляет его заказным и прячет расписку в бумажник. Возвращаясь, ои щупает боковой кармаи: бумажиик иа месте.

Иваи Иваиович и Наташа решили, что весиу и лето лучше провести здесь — полезно и для ребеика. Но к зиме иепремеиио в Париж.

Было письмо Бодрясииа, адресоваиное Аиюте. Очень тепло грустит по Грише, который был славиым и честиым парнем. Очень рад за Наташу и поздравляет. Спрашивает, приедет ли Анюта в Париж, где и ои, Бодрясии, думает жить ближайшей зимой; а сейчас ои в Нормандии, в деревушке, работает на французской ферме,— чудесиое заиятие, и люди хорошие.

Еще было письмо от Катерины Тимофеевиы с Первой Мещаиской. Отец Яков хворал, ио поправился. Кланяется.

Так и жили без календаря. В июие появились светящиеся летающие жучки. В июле гремел оркестр цикад. Розы цвели без всякого ухода — крупиые, палевые. Кое-кто приехал — и иовые обитатели виллы каторжан ие пропускали луниых иочей, чтобы побывать на Санта-Аииа, с привалом в развалииах церковки. Часто бывал там с ними сьор Паоло, садился иа обрыве, болтал иогами и говорил:

— А я тут как дома!

Из событий общего значеиия можио отметить открытие кафе, почти настоящего кафе, с аперитивами и мороженым, иеподалеку от станции. По вечерам (коиечио, ие поздио) в кафе слышалась музыка: граммофои исполнял веселый марш иа слова: «Триполи — прекрасиая земля любви!»

По счастью, ни одии урожеиец местечка ие погиб за обладаиие прекрасиой землей любви. Войиа [1] иачалась, войиа коичилась, и иикто еще ие думал о том, что близится войиа иовая, иастоящая, после которой мириое местечко восточной итальяиской Ривьеры, подобио всем остальиым городам и местечкам, украсится памятииком жертвам войны — иа склоие нижией терасы, пониже церкви и малеиькой обществеииой площади.

Илья Даиилов собрался и уехал, открыв свой плаи только сьору Паоло:

— Еду в Париж, а там увидится. Кто-иибудь да должеи продолжать дело революции.

У Ильи Даиилова был слегка искривлеи нос — от природы. Это ему мешало смотреть собеседнику в глаза совсем прямо.

И вот — мы тоже расстаемся с приютиым местечком и с виллой каторжаи, простившись с двумя могилами, иеизбежиыми в книге о коицах. Расстаемся с грустью,— здесь жизнь текла мирно, воздух был чист, превосходный морской воздух. С тер-

[1] Итало-турецкая война 1911—1912 гг.

рас открывался поистине волшебный вид. Какая вечная тревога нас гонит из спокойных мест в суету мира, часто против воли, еще чаще — по ошибочному мнению, что история любит шумные города и что мы почему-то должны быть участниками житейской склоки?

Расставаясь, мы видим из окна поезда белеющую на взгорье виллу. Затем поезд ныряет в туннель.

АНДРЭ И ЖАКО

В половине седьмого утра работник Андрэ, утративший фамилию Бодрясина, выходит за водой к колодцу. По пути он отвязывает пса волчьей породы и, в ответ на прыжки радости и благодарности, наставительно ему говорит:

— Ну будет, будет, Жако! Свобода — прев-восходная вещь, но бурные манифестации могут повлечь за собой наложение новых цепей. Ступай, Жако!

Молодой пес огибает бешеный круг, распугивает кур и возвращается к колодцу. Возможно, что друг Андрэ промыслит ему кость или корку хлеба. Но сначала придется присутствовать при его туалете. И почему люди сами себя мучат!

Сбросив куртку и рубашку, Андрэ моет руки и лицо, затем мокрым полотенцем хлещет себя по груди и голой спине. Отступив на несколько шагов и присев, Жако сдержанно улыбается. На пороге хозяин фермы.

— Bonjour, André!

— Bonjour, mon patron! [1]

— Ты не думаешь, что это тебе вредно?

— Наоборот, хозяин, я хочу выиграть в жизни несколько годков.

— Здоровенные шрамы у тебя, Андрэ!

— C'est la guerre, mon vieux! [2]

Потом они втроем, с женой хозяина, пьют кофей из больших «боль» и едят много хлеба с маслом. Корм птице уже задан, коровы ждут очереди.

— Сегодня, Андрэ, свези два метра навозу на мельницу старику Лебо; на прошлой неделе заказывал.

— После завтрака свезу, раньше не управлюсь.

— Как знаешь, только до отъезда свези непременно. Не раздумал ли ехать в Париж? Что тебе здесь не живется? Останься на полгода, я бы тебе прибавил, если недоволен.

— Я доволен, патрон. А остаться мне нельзя.

Жена фермера говорит:

— Об заклад побьюсь, что у Андрэ в Париже невеста.

— Может быть, вы и правы, хозяйка. А как женюсь — возьмете нас обоих?

---

[1] Добрый день, хозяин (*фр.*).

[2] Это война, старина (*фр.*).

— По рукам, Андрэ,— говорит хозяин,— даю тебе слово! Многого не обещаю, но оба будете сыты. А умеет ли она работать, твоя нареченная?

— Она простая и здоровая девушка, работает с детства. Оиа и шить умеет.

Фермер протягивает ему руку ладонью кверху.

— Вот тебе мое слово, Андрэ! Мы тебя полюбили и ее полюбим. Я знаю, что ты — человек образоваиный, ио ты прост и силеи. Если твоя иевеста такая же — будем друзьями иа всю жизнь. Вот!

Бодрясин жмет руку хозяииа.

У порога он меняет туфли на сабо и идет в коровник в сопровождении Жако, у которого он в не меиьшем фаворе, чем у хозяев.

Душа Бодрясина полна покоя и надежд. Почему бы ему в самом деле и не жениться? Если, например, Анюта согласилась бы, то можно по-честному повенчаться в мэрии, а потом и правда приехать сюда и работать. У них будут, коиечно, дети. Затем в России произойдет революция, они простятся с хозяевами и на скопленные деньги поедут в Россию. Там поселятся гденибудь на Волге или на Белой, может быть тоже в деревне, в свободной русской деревне. «Если, коиечно, крестьяие не сочтут за б-благо об-бойтись без интеллигентов и не в-выпрут иас к черту». Тогда придется жить в городе, давать уроки французского языка или работать во временных комитетах по с-социализации земли и иац-циоиализации фабрик и заводов, а потом писать мемуары.

— Как ты думаешь, Жако, выполиима ли программа партии социалистов-революционеров?

На этот счет Жако не имеет определенного мнения, но раз к нему обращаются — он машет хвостом. Ои не прочь выслушать объяснения.

— Программа партии — важная вещь, Жако! Она избавляет от необходимости каждому самостоятельно изучать действительность и ломать голову над сложными проблемами. Минимум — это полная полнтическая свобода; тебя, Жако, окоичательно и навсегда спускают с цепи, которая поступает в музеи человеческого д-деспотизма. Можешь бегать, мять капусту, лаять, давить кур, совсем уйти с фермы и жить самостоятельной жизиью. Максимум — это полиый социальный переворот, при котором земля не принадлежит никому и в то же время принадлежит всем, а продукт труда целиком поедается трудящимися; понимаешь — весь, до последней косточки. Но ты, Жако, к производительиому труду ие приспособлен. Мы тебя определим по ии-нтел-лигеитиой части.

Жако смотрит вопросительно и облизывается: непоиятио, но заманчиво.

— Нет ничего проще, Жако! Все это легко осуществимо при условии, что с момента переворота люди станут ангелами и будут ужасно любить друг друга. Если останутся иекоторые

недоразумения, то разрешать их будет избранное, вполне авторитетное лицо, например — Илья Данилов или комиссия из троих спущенных с цепи шлиссельбуржцев. И их решение ок-к-кончательно. Согласен?

Последнее вполне устраивает Жако, который не прочь бы сейчас же проглотить чашку немудреной бурды за здоровье шлиссельбуржцев.

Бодрясни, измерив взглядом нагруженную навозом двуколку, решает, что тут как раз два квадратных метра. Остается принести в хлев чистой соломы для новой подстилки. Предварительно можно выкурить трубку. Сельское хозяйство не требует спешки и нервных движений; все делается солидно и с раздумкой.

Что ждет в Париже? Во-первых, борьба центра и оппозиции. Во-вторых — пересмотр программы-минимум, особенно в части аграрной. В-третьих — выяснение возможного предательства товарищей А., Б. и В., в связи с разоблачениями Бурцева. Это уже не два квадратных метра, а целая гора свежего навоза. Наконец — новые планы и проекты неутомимого Шварца, мечтающего действовать независимо от центрального комитета, в сотрудничестве с которым провалы, по-видимому, обеспечены. Любопытно, кстати, каким образом Илья Данилов вернулся в Петербург и живет там легально? А впрочем — наплевать!

— Всего же важнее, Жако,— что у нас сегодня на завтрак? Бобы, конечно, неизбежны. Но как обстоит дело с мясом? Мы таки поработали вилами! Ты не против мяса?

Жако определенно за говяжью кость, и не слишком голую.

Работник Андрэ несет в хлев охапку соломы выше себя ростом, стараясь не рассыпать ее по дороге. Жако уходит на кухню осведомиться, в какой степени отменено на сегодня вегетарианство. Гусь-вождь ведет толпу гусей-последователей. Катаются по земле желтые цыплячьи шарики. Рыдает влюбленный и очень одинокий осел, к которому никогда не относятся серьезно.

Солнце уже высоко. Хозяйка зовет с порога:

— Эй, женщ! Покличь хозяина, да идите завтракать!

Хозяина веселым лаем оповещает Жако. Андрэ моет руки у колодца и соображает: «Бобы вкусны и питательны. Но прибавка хотя бы кроличьего мяса не лишена смысла. Сладковато, жидковато, однако укрепляет и восстанавливает силы. Но самое главное сейчас — холодный сидр!»

АНТРАКТ

Нервного человека не может не волновать неумолимость, с какою день сменяется ночью, лето — осенью, зимой, весной. Нельзя ни подтолкнуть, ни замедлить,— стрелки на часах природы движутся с невозмутимым спокойствием. Если ухватиться за секундную стрелку и повиснуть на ней, она, не дрогнув, не удивившись, подымет вверх, перекинет, мерно опустит к зем-

ле — н предложнт на выбор: оставить ее в покое или проделывать тот же опыт дальше.

По-видимому, скоро будет можно иа самолете догонять солнечный день; смелый летчик отменит часы, календарь, остаиовит солнце. И все-таки сумасшедшей планетой мотаясь вокруг земли, ои с каждым оборотом будет стаиовнться на сутки старше, и на бритых его щеках с обычиой увереииостью будет выползать дневная порция щетнны.

Здание иашего творческого безучастия увенчано высокой террасой. Наскучило наблюдать бег облаков,— н мы, перевеснвшнсь, смотрим вниз на большую улицу. Там муравьями толкутся и бегут люди: они спешат не отстать от бега часовой стрелки, потребить отведеиные нм мннуты.

Один хочет купнть все, что удастся, на сегодняшннй заработок; другой, теряя подошву, бежит в библиотеку, чтобы проглотнть столько строчек н кинг, сколько успеет усвонть глаз н мозг,— хотя бы с пропускамн; третнй илн третья торопятся вылюбить все, что доступно телу.

Или еще — нспользовать связи, деиьги, улыбки для карьеры, все-таки ие дающей бессмертия; кому-то нужно успеть отомстнть — или убежать ото мщення; и кто-то, предвкушая радость свидаиия, ие знает, что иа блнжайшем переходе через улицу его задавит автомобиль.

Путаный бег, столкновенья локтями, подножки, попытки обмана, гонка, огиб препятствнй, прыжки через ров,— а часы на башне ровиым ритмом отсчитывают время, ие ускоряя — не замедляя стрелок, не счнтаясь нн с ленью облака, ни с нервным усердием людей.

Есть сотни готовых образов, чтобы опнсать покой после бурн н затишье перед новой: круги от камия, брошенного в воду, тлеющий костер, на годы уснувший вулкан, интермеццо в музыкальной пьесе, послеобеденный сон. Мальчик закрутил бечевкой кубарь — н сейчас пустит. Накопившаяся ненависть готовит что попало: кастет, нож, револьвер. Балка подточеиа червяком. Береза налита соками. На горизонте скопилнсь тучн. Готовое вырваться слово, н в этом слове иабухло проклятье; но, может быть, в нем — чистый восторг.

Антракт — перерыв событий. По-прежнему люди рождаются и умирают. Для полутора миллиардов нет антракта; но устамн всех полутора миллиардов нстория никогда не говорит: это — статисты, кордебалет у воды. Обождите, потерпите, поскучайте,— скоро, в свете цветных прожекторов, выплывет на пуантах престарелая балерина-прелестница Европа.

Годы предвоенные. Накоплены богатства, погреба набнты порохом. Расцвет иауки н искусств. Оперяются еще желторотые аэропланы, чудаки делают чертежи Берты, химики пугают газами, зрители улыбаются. Поэты перестраивают лиры с пастушечьего иа военный лад. Умолкают отдельные ннструмеиты оркестра: дирнжер стучнт о пюпнтр н подымает палочку.

Поияли все и до коица только матери и жены: смерть идет! Им в утешеиье говорили, и себе в утешенье верили: военная прогулка иа иесколько дней, а обратно — веселым маршем, с чииами, ордеиами и забавными аиекдотами.

Императоры призвали Бога. Демократия объявила передышку идей (пересмотр, подштопка, согласоваиие). Получестиые ушли в контрразведку. С этой миуты иачииается обвал культуры и скольжение в пропасть — порядочиой женщиины, попробовавшей жить по желтому билету.

Собственно — решать было иечего; ио требовалась подпись самого тупого из грамотиых России. Ему почтительио поднесли бумагу, и иазавтра запылал бенгальский огоиь патриотизма, самого иастоящего, шедшего прямо из сердец, без участия мозга,— и такого пламеииого, что от его обжога остались рубцы иавсегда — иа лбу профессора, иа иосу интеллигента, иа груди прапорщика запаса, на тыловой части георгиевского кавалера.

Всякий раз, как случится впредь подобиое же — повторится прежиее явлеиие: люди святые и честные перейдут иа сторою крови, тупые и бесчувственные останутся исповедниками едииой иеложиой заповеди: ие убий! Божествеиным принципам ие везет: вполие последовательио их проповедуют только пустые умы и иедостойиые сердца. Но возможио, что философы и этому найдут исчерпывающее объясиение.

Одна оговорка иеизбежиа: орлы летят на войну сами, а бараиов гоият против воли; за иеграмотиых расписываются в патриотизме грамотиые, ие подозревая подлога (то есть иекоторые догадываются, ио смутио). Говоря без иносказаний,— иикогда и ни один так иазываемый иарод (миллиоиы) воевать ие хотел; за иего хотят самозваные представители. Но дело в том, что и в мирное время они за него действуют,— и он почему-то ие бьет или недостаточно часто бьет их по черепам. Следовательио — иет иикаких оснований преувеличивать в уважении и бессловесному и бездейстеииому стаду! Излишнее иародолюбие — жидкий чай с полкуском сахару.

Июль 1914 года. События, телеграммы, барабаиы, слезы, исторические слова, грандиозиые мошенничества, первые военные вдовы, герои и трусы, поэты и дезертиры, молебны и матерщина, рубли и кресты, перевод Евангелия иа язык мясников. Толкая в спину прикладами, гонят иа фроит Христа,— и он, малодушествуя, произносит речи, которых сам стыдится; за это его впоследствии ждет обидная расплата: изгнаиие из сельских церковок, где ему жилось гораздо уютнее, чем в богатых храмах: не ври!

Непочтеннейшее сословие — военное — всюду принято и в моде. Общественники измышляют подобие погоиов и шпор для гражданского личного потребления. Сапоги сочтены более удобными, чем ботиики со шнуркамн. Мерзавцы иаливаются жизиенными соками: теперь или никогда! Врачи, вздыхавшие иад заусеии-

цей, тяпают ноги по бедро зазубренным колуном. Из высших и чистых соображений бездарнейшие и глупейшие милостиво объявляют себя главнокомандующими. Цеизурная сволочь перебирает грязными лапами святые солдатские цидульки. На крыше барака малюют красный крест — и летчик, веселый малый, сладострастно прицеливается: а ну-ка, пошлем его к чертовой матери!

Антракт между действиями устаревшей комедии «Человечиость». Есть еще миого людей, защищающих смертную казиь, воспевающих государственное иасилие, мечтающих о «победе человека над природой», согревающих дыхаиием выпавшего из гиезда птенчика — и режущих иа куски иеверную жену. При слове «война» они делают скорбиое лицо: печальиая необходимость! Отогретого дыханием птенчика оии вечером зажарят в сухарях, на второе — съедят жену. Во имя любви к отечеству — предадут всю землю и весь человеческий род. Брехунцы — ио не звери: звери чище! Глупцы в профессорской тоге, скрывшей эполеты. Люди привычного позора.

В августе 1914 года русский политический эмигрант Бодрясин, заика, человек со шрамом иа лице и рубцами иа груди, получеиными иа сибирском этапе,— записался добровольцем во французскую армию. Ему дали солдатскую форму, раиец и виитовку. Голову покрыли стальиой каской.

Еще через месяц, пройдя курс иехитрой иауки — шагать, слушаться и убивать,— ои был отправлеи иа фронт.

Адреса иет; пишите просто: рядовому 1-го Особого пехотиого полка.

В ТРАНШЕЕ

От самого рождеиия и до сего дня, всю эту вечиость, Бодрясии был фраицузским пехотинцем, сидел в траншеях и слышал вой снарядов. Больше ничего никогда ие было — все остальиое вычитаио из книг или придумаио.

Смысл жизии в том, чтобы подольше остаться иеубитым и иеясио ощущать, что убиваешь других. Эти другие — никто, выдумка, плод воображения, условие игры. Никаких врагов иет — и откуда могут быть враги у пехотиица Бодрясиа, в котором иет вражды ии к кому?

В книгах, в свое врёмя прочитанных и, вероятно, сгоревших или закопаиных в землю, описывались чудеса бывшего мира: разиообразие стран, благоустройство городов, события семейиой жизни, борьба идей и еще многое, что память восстаиавливает леиивo и иеуверенно, в тумаииых образах. Из этой фаитастики теперь ничего ие осталось, и жизнь упростилась до земляиой каиавы с деревяииыми подпорками. Одежда спаялась с телом, лицо поросло щетиией. Все видимое одиоцветио: зелеио-коричиевой грязи. К голове приросла каска, и даже виитовку иельзя считать за предмет, живущий особо от человека.

Чрезвычайную важность в жизни приобрела погода. Оиа хо-

роша, когда нет ни дождя, ии палящего солица. В дождливую погоду копыта человека иабухают в воде, а платье, стаиовясь кожей, тяжелеет. Подсохнув — жить гораздо проще и легче. В жаркие дии душит запах гниющего мяса, повисающий иад траншеями тяжелым зоитиком. Иногда бывает гроза — слабое подражание каионаде.

Накоиец осуществилось равенство людей. Пехотиец Бодрясии совершеино равеи пехотинцу с другим имеием и другой расы — французу, негру, арабу; не существуя в качестве самостоятельиой едииицы, ои имеет зиачение только при подсчете живых, раиеиых и убитых. Его прошлое равио прошлому каждого из солдат иностраиного легиона, то есть одииаково равио иулю. Ни героев, ни преступиików, ни ученых, ни безграмотных. Командующий пятой армией, по чистой совести утвердив расстрел девяти русских добровольцев, оказавшихся социалистами, имел в виду ие какие-иибудь определенные личиости, а просто цифру девять. Их расстреляли более или меиее случайио, скажем даже ошибочио,— ио и разорвавшийся сиаряд убивает случайных, а ие избраииых. В счете десятков тысяч цифра девять иичтожиа до смешиого. Обычио в иностраниый легиои записывались люди с темным прошлым, по безвыходности или pour manger la gamelle [1]. В дни войны ввалилась в легиои серая толпа безнадежиых и беспочвенных идеалистов, иичем ие отличиых от преступиików; иедоставало заииматься биографией каждого из иих в отдельности! Да и вообще — разговор о пустяках,— прекратим этот разговор, в даиных условиях иеуместиый.

Вполие уместный разговор шел в траншее о том, что «супротив иашего сапога ихний башмак с обмотками сравиения ие выдерживает». Бодрясии, прислушиваясь, вспомииал о том, что в Париже русские всегда жаловались: «Что за иарод французы! В домах холодио, а до двойиых рам ие додумались!»

Ухом ловя беседу товарищей по траншее, Бодрясин с любовиым виимаиием, как узкий собственник, осматривал свои руки, иоги, обувь, своей работы заплату иа шииели. Особеиное удовольствие ему доставлял подживший палец, иа котором иоготь был полусодраи колючей проволокой; иесколько дией было больио держать виитовку,— теперь палец больше ие иоет и самодельный биит сият. Руки были привычио грязиы, с трауром ногтей и в царапииах. Рукава шииели засалеиы, сапоги в комьях подсыхавшей глины.

Движения пехотинца Бодрясииа ленивы; когда солдат ие иа часах, ие за работой, ие в бою,— ои всегда ленив и иеуклюж. Все сильиые рабочие животиые леиивы и иеуклюжи иа покое. Встать, отогнуть полу шииели, достать письмо из кармаиа штаиов,— целая работа. Письмо читается в третий раз; содержаиие его известио, ио забыто какое-то выражение. Попросту хочется взглянуть лишиий раз иа почерк Анюты и иа чернильиые палочки,

[1] Есть из общего котла (*фр.*).

проставленные детской рукой,— тоже подпись. Суровые люди чувствительны. Лицо пехотинца Бодрясина делается на минуту глупым и бабьим. Опять с натугой он отгибает полу шинели и сует в карман письмо. Подживающим пальцем уминает в трубке табак; огонек серной спички кипит, потом развертывается широким пламенем. День безветренный.

Убиты: доктор Попов, большевик, пошедший на фронт простым солдатом; Вариков, эсер, бывший член центрального комитета; Яковлев, тоже эсер, участник московского восстания; Зеленский, эсдек; анархист Тодосков, которому удалось спастись от смертной казни в России — большая удача, сам выбрал смерть; художник Крестовский; скульптор-террорист Вертепов; еще сотни политических эмигрантов. Все они пошли на фронт добровольцами, хотя все отрицали войну, как проявление варварства. И все — от застенчивости: неудобно стоять в стороне. Другой мотив — непреодолимый патриотизм сентиментальных людей! Послушаешь их — убежденные интернационалисты, и в тот самый момент, когда должна восторжествовать последовательность взглядов,— побеждает душевная дряблость, любовь к своим лесам и речкам, к гречневой каше, тюрьмам, страничкам истории Ключевского, к матери и сестрам, нежинским огурцам, «Слову о полку Игореве», к идейно-несущественному. Отсутствие крепкого пораженческого хребта! Те, у кого силен этот хребет,— те будут господами положения, счастливыми палачами идейной слюнявости, будут сладко есть, покойно спать, носить имя строителей, дружить с историей,— почетное будущее! Куда же почетнее, чем гнить в неизвестной могиле в чужой земле, даже без отметины: «Здесь покоится падаль просчитавшегося патриота».

На такое обстоятельное рассужденье менее всего был способен пехотинец Бодрясин, мысль которого была занята Анютой и чернильными палочками. У него не было прошлого, а будущим была только предстоящая ночь. Его трубка докурилась и погасла. Угас и спор о преимуществах голенища перед обмотками. Траншейный товарищ мурлыкает песню — и жаль, что нельзя спеть хором. Вообще — как-нибудь использовать часы затишья; потом стемнеет, и немец займется пиротехникой — будет пускать красивые ракеты.

— Бодрясин!

— Ну?

— О чем задумался?

— Чудак! О т-тайнах мироздания, а главным образом о п-похлебке. Удивительно, как действует хороший воздух. С таким ап-петитом мне бы сейчас жить на кумысе в Самарской губернии и есть баранину.

— Письмо получил сегодня?

На минуту лицо пехотинца Бодрясина опять стало бабьим.

ЦЕНЗОР

Отец Яков пристроился в военном цензурном комитете,— читать каракули, идущие из деревни на фронт. Работа чистая и очень иужиая — мало ли чего напишут солдату иа фронт, могут и смутить солдатскую душу. Или — по иеведению — расскажут про тыловую работу, а письмо попадет неприятелю. Возможеи и злой умысел. Коиечно, отец Яков — только пешка, малый чтец; чуть что сомнительиое — должеи передавать начальству иа разрешеиие.

Работа чистая. Однако отец Яков чувствует себя нехорошо, читая цидульки солдатскнх родственников. Та же исповедь, да ие по доброй воле: ие всяк пишущий знает, что его строчки пройдут через поповские гляделки и цеизурный нюх. Если бы не две прнчнны сразу — не взялся бы отец Яков за такую службу. Первая причииа — нужно питаться и быть полезным отечеству; вторая причина — уж очень лю-бо-пытно отцу Якову! И совестно — н невозможно бросить.

Как бы вся русская земля заговорила одиим языком. Больше всего — нежных слов и добрых пожеланий. Слова неуклюжие, корявые, непривычная бабья ласка в писарьском переводе. Домашние события маленькие, и не стоило бы и занимать ими обреченного человека, смерти предстоящего. А пожелания одни: скорее вертайся до деревни, иначе все одно пропадать!

Приходится отцу Якову читать и солдатские письма, но больше не с фронта, а из городских казарм и больниц. В письмах солдатских, в деревенских ответах,— тут она вся Россия и есть. Городская на бумаге получше, слогом пограмотней, а крестьянская — в простоте и бесхитрии, в пустяках, жизнь составляющих. Телятся коровенки, мрут деды и бабкн, Ваньки болеют пузом и чирьями, овсы ныне хороши, с сеном бабам никак не управиться, три рубли наскребли солдатику на расходы, да рубашки домоткаиого холста, послала бы лепешек, да не знаю, как послать. Отпиши, когда ждать домой, совсем лн, а то хоть на побывку. Сказывал писарь, что немца отогнали и скоро будет войне замиренье. И еще кланяется, да еще кланяется, да от матушки родительское благословение, навеки нерушимое.

От солдата ответ пограмотиее, с благодарностями и описаниями геройств, за дыру в боку получил кавалерский крест, а иазваиия городов и местечек мажет отец Яков черной кисточкой, так приказаио. Тоже и плохих вестей не пропускают, даром что всем давно известно из газет,— но ведь деревня-то читает ли, понимает ли? Зачем страну понапрасному тревожить!

Пробежит отец Яков, подневольный цензор, пачку открыток и распечатаиных закрыток, поставит штемпелек на сером коиверте — и задумается. Настоящей страны, единого государства, словно бы иет, а только живут повсюду — на юге, на севере, в горах, на равнинах, в срединных землях, за Уралом, в лесах и по берегу рек — Даши и Параши, дедушки и бабки, да малолетние Васьки с Анюткамн, все одинаковы, житейски просты,

иеприхотливы, трудящи, маломощиы, обучены терпеиию, в темиоте своей иаивиы, с Богом в дружбе и запанибрата,— пашут, сеют, выращивают злаки, доят коров, стригут бараиов, разводят курочек,— это будто бы и есть государство, и у этого государства будто бы своя определенная воля и свои желания, выражеиные киижно, как ни одии крестьянии ие скажет и ие поймет, языком мудреиым и выдумаииым: «Россия ие потерпит... русский иарод одушевлеи едиием желаиием...» Это верио, что одушевлен, что в одиом согласеи: чтобы войну скорее прикончить и всем бы вернуться по домам.

Что война — горе и иесчастье,— про то поиимают все до одиого, и смысла в иесчастьи никакого иет, и быть его ие может, и искать его иечего.

И думает отец Яков: «Доведись мие объясиять — иичего ие объясиил бы! И газеты читаю, и сам пописывал. И имею против них, иесмышленых и малограмотных, сравиительио почтеииое образование. Скажем так: отечество иаше обижеио вторгшимся в иего иеприятелем, злодейственным гермаицем. Нас бьют — мы бьем. Теперь скажем: уходите вы, пожалуйста, от иас, и мы драться совсем перестаием. Ведь обязательно уйдут, очеиь будут рады! Это, говорят, был бы сепаратиый мир, как бы измеиа, мир позорный. Как мир может быть позорным? Это война позорна, а всякий мир — благодать. Кто кому изменил? Ведь Антип-то Косых, которому его жеиа, Матреиа, пишет письмо,— ои, Антип, никому обещанья ие давал! Его, Антипа, и ие спрашивали. Никому такого дела он, Аитип Косых, ие поручал, чтобы за иего раздавать обещания! Попробуй-ка объясии теперь Матреие, по какой причиие ее Аитипа едят вши, а завтра будут есть черви! У союзиików, может быть, ииаче, а у иас так. И Аитип только что ие понимает и боится — силы своей ие знает,— а то бы обязательио ушел в деревию, к Матреие. Это уж — вие сомиения».

Отцу Якову самому боязио своих мыслей. За такие мысли ие только из цеизоров, а и подале улетишь. И думать тут иечего: бери другую пачку цидулек, читай, черкай, ставь лиловый штемпелек: дозволеио воеииой цеизурой. Аитип, ои тоже — зиать-то он, может быть, и зиает, а сидит в окопах и постреливает.

Собрав пачки в ровиые стопочки, отец Яков несет их старшему иачальиику:

— Тут сомнений ие возбуждающие. А эти — иа усмотреиие, в количестве малом.

Работа отца Якова черновая, предварительиая, хотя самая кропотливая. Его почтеииой рясе доверили бы и большее, да ои сам ие берется:

— Чем могу — помогаю, иасчет разбора мужицкой цидульки; а настоящая цеизура — дело военное, мие иедоступиое, ваше дело.

Волосы отца Якова редеют и седеют. В лице стало больше строгости. И разговор отца Якова прост и отрывист. С тех пор как история поскакала вперед галопом, отец Яков подобрался,

зорких глаз ие спускает,— ио прежией зоркости уже иет. Не все поиятио. А что поиятио — про то лучше смолчать. Утомился отец Яков. На остаток жизии наложеио иепосильиое бремя. Тут и мудрец ие всякий поймет — где же разобраться его поповской простоте!

НАКАНУНЕ

Из-под металлической каски робко глядят самые застеичивые в мире глаза, серые, иесколько телячьи.

— Хотел спросить вас, товарищ Бодрясин...

— В-валяйте!

— Моя грамота какая: уездиое училище. Не зиаю, что ладио, что иеладно.

— Ну?

— Да вот стихи пишу. Не прочитаете?

— А вы сами прочитайте.

Рядовой Изюмии читает ие нараспев, а толково и внушительио:

А дома мама и жена
Семьи кормильца ждут напрасно,
Перед иконой зажжена
Лампадка с деревянным маслом.

Им не дождаться: он лежит
В чужой Шампании пределах,
Письмо в руке своей держит,
Душа навеки отлетела.

Бодрясину ие нравится «держи́т»— иеверио ударение. Может быть, лучше сказать «в руке его дрожит»?

— Я думал. Да как оно будет дрожать, когда ои мертвый?

— От в-ветра. А то можио: «в его руке письмо лежит». А у вас, Изюмин, мать и жеиа дома?

— Да иету ж, я одииокий. Это только для стиха. А так ничего, товарищ Бодрясии?

— Ничего, хорошо.

— Мие писать очень нравится, бумагу портить.

— З-занятио, коиечио.

— А вы стихотвореиий ие пишете?

— Я ие умею.

— Ну, вы-то, чай, все умеете!

Бодрясии загадочио улыбается. Действительио, ои все умеет и все зиает. Так, иапример, ои сумел достигнуть возраста почтеииости, живя как птица, в перелетах и без оседлости. Накануие войиы он все же свил гнездо и вывел птенца, который, вероятио, скоро осиротеет. И зиает он, Бодрясии, также все или почти все. Ои зиает, что война — бессмыслица и безумие; это ие помешало ему пойти иа войну добровольцем. Ои зиает, что будет убит,

может быть, рядом с Изюмиием. Изюмнн пишет стихн, а ои, Бодрясни, все знающий, не хватает его за руку н ие бежит с иим отсюда куда глядят глаза, только бы уйти и не видать этого вздора и преступления. И Бодрясии говорит:

— Слушай, Изюмин, будем говорить друг другу «ты»; мы — солдаты.

— Чего ж, я рад. Так-то, действительно, ближе и лучше.

— Д-давай обнимемся!

Онн колют друг другу щеки отросшей щетиной. Изюмин благодарио смотрит телячьими глазами.

— Пиши, Изюмнн, стихи, это хорошо. Тем хорошо, что никому нет от этого нн пользы, ин вреда; вот как н от трубкн т-табаку. А после войиы ты стаиешь з-зиаменитым поэтом, этаким иовым Пушкниым.

— Ну, где уж!

— Нет, правда. Уж если писать — так писать лучше всех. Валяй — и все! Ты, зиачит, стаиешь поэтом, а я вернусь к жене и ребенку, заберу их н уеду с ними на Волгу к-крестьянствовать. Это и есть счастье, Изюмии. Почему бы нам с тобой ие быть счастливымн?

— Конечно, хорошо бы, раз что кому нравится. И чтобы вам самое лучшее, н мне бы чего-иибудь.

— А про войиу забудем, будто ее и не было. Будто мы не убивали и в нас не стреляли. Был сои — и прошел. Людн все п-помирились и друг друга п-полюбили прямо до невозможности. И уж, конечно, навсегда. Ты этому веришь?

— Да ведь про всех не решишь, а уж чего лучше.

— А ты верь, Изюмин! Еще, сколько придется, тут посндим, а потом — общая любовь, братство н больше ник-какнх! Потому что иначе — черт его зиает, что за жизнь! Нужно непремеино верить в самый хорошнй конец — чего лучше не бывает. Ты верь!

— Так что же, я-то рад верить.

— Вот. Теперь слушай, Изюмин, милый товарищ. Еслн иас все-таки убьют — наплевать, плакать ие б-будем!

— После смерти не заплачешь.

— Плакать не стаием, а б-благодарить тоже не будем. Попали под колесо — н все. Не мы одни попали, н не мы — самые лучшие.

— Есть среди нашнх ребята отличные, прямо жалко их.

— Вот. На этом и порешим, брат Изюмин. А ты мне родиой человек. И куда тебя заиесло, во Францию! А в-впрочем, кормил бы вшей в Россин, одио на одно. Душа у тебя детская, Изюмии, за то тебя н люблю.

Изюмнн говорит растрогаиио:

— Я вас давно полюбил, хорошего человека сразу видно.

— Не «вас», а «тебя».

— Вот именно. И поговорить приятио.

— Поговорнть нужно. Вот я тебе сейчас покажу...

Бодрясин деловито отгибает полу шинели, лезет в карман

штанов. Среди листов твердой записной книжки у него хранится маленькая любительская фотография.

— Видишь? Вот это — моя Анюта, жена, простая и хорошая женщина. А на руках — п-понимаешь — наше п-произведенье, сынишка. Чувствуешь?

— Как есть на тебя похож.

Бодрясин расплывается в улыбку и машет рукой:

— Ну, я м-мордой не вышел, лучше на Анюту.

Они смотрят, потом Бодрясин бережно кладет карточку обратно в книжку и сует в карман. И больше разговаривать не о чем.

— Это тебе — за хорошие стихи.

— Вам спасибо. Скоро и кухня прибудет.

— Пора бы. Есть хочется зверски.

Так они беседуют в день передышки; не в день, а в час; полных суток передышки давно не было: немец не дает покою. Отряд русских добровольцев — дешевое пушечное мясо — вплотную соседствует с германскими передовыми траншеями. Как засядешь в глубоком блиндаже — кажется, что враг тут же, за земляной стеной. Так оно и есть. Врагом называется немец: еще враги — турки, австрийцы, болгары. С какой-то минуты они стали врагами Бодрясина и Изюмина. Бодрясин и Изюмин стремятся их убивать, а те, с своей стороны, стараются убить Бодрясина и Изюмина, своих врагов. Бодрясин — муж молодой женщины и отец ребенка; Изюмин пишет плохие стихи. Бодрясин слушал в Гейдельберге лекции немецкого философа, Изюмин в жизни своей не встречал турка и не имел никаких дел с немцами. Но дело в том, что Россия воюет с Германией, та самая Россия, родная страна, в которой Бодрясина очень хотели поймать и повесить. Бодрясин эту страну, естественно, любит и защищает, но там, в ее пределах, на ее фронтах, он делать этого не мог бы; поэтому он воюет в рядах французской армии. Логика! Изюмин был рабочим в Харькове, попался с прокламацией, скрылся от ареста и был сплавлен товарищами по партии за границу. Поэтому он тоже в рядах французов, столь же ему чужих, сколь и немцы. Все понятно! При чем тут головные размышления, когда под аккомпанемент орудий говорят сердца?

Под вечер началась канонада, ужасная, оглушающая, никогда не привычный ад. Начали наши, и возможно, что это — подготовка. Но солдату не к чему это знать.

Выйдут и побегут, оступаясь, бессмысленно крича, уже не люди, держа штыки наперевес. И это неизбежно, как припадок падучей. Потом будет короткий день или вечная ночь.

ЭПИЗОДЫ

Легкими перышками летят к стороне, в общую сорную кучу, этюды, наброски, акварели,— и с грохотом художники выдвигают на первый план мольберты с огромными полотнами.

Больше не будет речи о малеиьких героях н любимых лицах: только двнжение масс, бури океанов, сдвиги гор и мировые катастрофы.

Кто вы такая? — Я террорнстка. Я нзвестная террористка героической эпохи, та самая, которая хотела взорвать государственный совет, та самая, которая своими руками надела на Петруся и Сеню мелинитовые жилеты. Они сказали мне: «Мы, Наташа, ие изменим — двух смертей ие бывать!» Это былн братья Гракхи; наутро они взорвали себя на мннистерской даче.

Но это — прошлое. Кто вы такая теперь? — Я мать двух девочек. Я ие хочу рожать сыновей н умножать число убийц и убитых. Мне кажется, что во мне материнство сильнее, чем ненависть н даже чем любовь.

Ах, все это — пустые н лишние рассуждения! Маленькие жизни в сторону — готовнтся место для прекрасных массовых сцен, для специальных заказов нсторнн.

В книге о концах мелькают страницы без действий н без характеров. В предстоящих драмах играют уже не эти актеры, и на сцену их посылает иной режиссер.

Декорация прежняя: Париж. Неизменная строгость серых линий набережной, спокойствне дворцов, розетка Нотр-Дам, равниина площади Согласия, гостеприимство садов, взращенных в свободе и уюте. Но и нной Париж: без гомона, без музыки, сугубо будничный и печально-серьезный. Пусты столики кафе, женщиины в черных платьях, редки таксн, метро без суеты, день кончается быстро, вечером н ночью Париж без уличных огней н освещенных окон. В настороженном молчании прожекторы щупают небо.

На старой улнце Сеи-Жак — старый дом, обреченный иа слом, а пока населенный беднотою. Все жильцы в долгу у зеленщика, который готов ждать до окончания войны. Наташа больше должна молочной; ио известно, что муж Наташи уехал в Россню иа войну. Все в этом доме знают друг друга.

Старшей дочери Наташи четыре года; младшей два. Люксембургскнй сад близок, и там, в хорошую погоду, Наташа проводит с детьми целый деиь. С собой берет книгу — но читать не хочется и ие удается. Для девочек Люксембургский сад — целый мнр; таким миром для самой Наташи была деревня Федоровка на берегу Оки.

Утром маленькое хозяйство, днем в саду, вечером стирка. День сменяется днем — и это жизиь. Будущего нет; но будущего сейчас нет ни у кого: нн у Наташи, ни у ее дочерей, ни у Парнжа, ни у Европы. Есть сегодня, возможно — завтра, н есть война, которой не видно конца, но до конца которой откладываются все начинания н все решения.

Кто вы? — Я простая девушка с Первой Мещанской; была тюремиой надзнрательиицей и, пожалев и полюбив, ушла нз тюрьмы вместе с каторжанками. И вот я оказалась в другом мире — в мире идей и высоких слов, в мире отважных действий.— Кто я теперь? — Я мать трехлетнего Андрюши и вдова

большого человека, который оценил мою простоту и мое душевное здоровье.

Норманская деревушка. Ферма. Мосье Дюбуа, добродушный патрон рабочего Андрэ и собаки Жако, убит прошлой зимой. Траур мадам Дюбуа шит опытной рукой Анюты. Месяц тому назад та же рука шила траур для себя. Теперь мадам Дюбуа уже не хозяйка, а подруга в печали: батрак Андрэ убит в Шампани. В мнре не стало друга, в жнзни не стало прежнего огромного смысла. Обе женщины заботятся об единственном мужчине в доме — о маленьком Андрэ, норманском мужичке, приятеле верного Жако.

Крошечный эпизод нз великой войны. Когда эта война кончится, мадам Дюбуа повезет Анет в те места, где убиты их мужья. Там нет отдельных холмиков с именамн, но есть много обширных братских могил. Все это так просто, что проще нельзя придумать. Мадам Дюбуа говорит:

— Вы, Анет, молоды, вы еще выйдете замуж. В том нет ничего плохого. А я уже близка к старости.

Анюта не возражает н не возмущается — ведь говорнтся это от чистого сердца. Когда война кончится, Анюта увезет Андрюшу в Россию, в Москву, на Первую Мещанскую, где, может быть, еще живет тетушка Катернна Тнмофеевна.

У мальчика отцовские глаза. С мадам Дюбуа н с Жако он говорит по-французски, для матери вспоминает русские слова и внимательно смотрит — верю ли сказал? Его словарь — путаница малого запаса двух языков.

Он знает, что его отец — солдат н что этот солдат убнт. Все детн его возраста знают слово «убит», самое обыкновенное.

Мадам Дюбуа говорнт:

— Анет, вы заметилн, он опять затрудняется? Он спроснл меня сегодня: «C-comment s'appelle?» [1] — н долго кривил ротнк.

Анюта тоже заметила. В первый раз это случилось, когда пришло нзвестие, н она, сквозь туман слез, нскала глаза отца в глазах ребенка. Прежде чем тоже заплакать, он спросил ее: «Мама, п-почему?». Потом это стало повторяться, но думать об этом было некогда.

— Надо показать его доктору.

— Я боюсь, мадам, что это нензлечимо. Ведь это от отца — он всю жизнь немного занкался.

Мадам Дюбуа твердо н убежденно говорнт:

— И все-такн был прекрасным человеком. Потому что он, действнтельно, был честным н великодушным человеком, ваш муж. И очень умным н образованным, я знаю. Мой покойный муж его нскренно любил, как родного брата. Они оба умерли героями, спасая Францию.

Мадам Дюбуа ясно представляет себе, как онн умерли, каждый впереди своего отряда. Они бросились в огонь первымн н увлекли за собой всех других. Сраженные пулей, онн воск-

[1] Как это называется? (*Фр.*)

ликнули «Vive la France!» и испустили дух, каждый шепча имя своей жены. Франция гордится такими солдатами.

Дважды в день мадам Дюбуа достает из комода чистый платочек. Она плачет днем, среди работы и на людях, но ночи спит хорошо. Анюта слезы сдерживает ради сына: ей довольно ночей.

В соседних домах, в ближних и дальних деревнях, во всей стране, во всех странах — одно и то же. Но лучше, если художники, пройдя мимо этих мелочей жизни, потрудятся над батальными картинами и огромными полотнами социальных катастроф.

СТРАНИЦА ЛЕТОПИСИ

В летописи отца Якова под знаменательной датой записано:

«В грозных и длительных событиях войны и внутрироссийских давно не брал пера летописца, ныне же нарушаю сию скромность. Не мне, нижайшему, рассказать о происходящем, однако отметить обязан. Должны бы тысячи опытных и острых перьев начертывать происходящую историю, не упуская ничего для потомства. Может статься, что иные и пишут по чистой правде, держа листочки дома, чего в газетах быть не может, ибо там выискивают подходящее, толкуя с пристрастием, а прочее замалчивают и искажают.

Сокрушилось российское самодержавие, и ныне толпы народные, украшены бантами, гуляют по улицам. По Тверской прошли отряды солдат, смешавшись и в обнимку со многими гражданами, и офицеры помоложе тоже с ними. Полковники и генералы, видимо, не уверены и опасаются выходить из домов, во избежание снятия с них оружия и эполетов буйными гимназистами. А то видел воочию одного почтенного чиновника по судебного ведомству с сим же красным бантом, идущего по течению толпы, и даже рот разевал соответственно звукам народного пения, однако же, в переулок свернув, тот бант скоренько снял и сунул в карман, очевидно не будучи окончательно убежден в полной прочности. Цепляли и мне бантик, говоря: «Будьте и вы с народом, батюшка», на что я отвечал: «Я и без бантиков с народом, будучи сам народ, ленточками же украшаться словно бы не по сану». Тут один солдатик сказал: «Тебя, старик, надо будет обстричь бобриком!» — другие же его упрекнули: «Для чего охальничаешь! Нынче всем свобода!»

Итак — свершилось ждannое. Удручен годами и слабоверием,— внесу ли в общую радость тень сомнения? Отчизне желаю счастья на всех путях, пуще всего — окончания губительных битв. На бульваре возле памятника знаменитому поэту Пушкину в кучке солдатской говорил речь приличного вида человек, призывал народ к войне до победного конца. И тут солдатик из толпы кричит ему: «А сам почему не на фронте?» — весьма последнего смутивши, но другие в толпе высказывали:

«Каждый служит по-своему», н вообще в сей первый вольный день явственно проявляют доброту н терпимость, что приятно отметить. Видимо, однако, что под свободой не разумеют нного, как конец всякой войне, что — пред Богом скажу — естественно и осудить невозможно.

В сей наступающей новой жизни, ежели н подлинно наступит, завещаю молодым следить с пером в руке течение событий н на смену нам, верным свидетелям в дурную память уходящего прошлого. Часто думаю: сколь преобидно, что не дожил до победных дней покойный мой московский знакомец н сибирский встречный Николай Иваныч, скиталец страждущнй н тайный боец! Был бы при истинном празднике, всю жизнь на мечту о нем затратив! И однако, жертва судьбы роковой н суровой, утонул в теплых морях.

Близится и мне исчезновение в небытии. Довольно, о старче, скитаться по российским весям и городам, ища ответов жадному любопытству! Со многимн другими скажу: ныне отпущаешн! Не объять будущего нн умом, ни догадкой,— к берегам какнх рек прибьет наш государственный корабль. Хочу блага, страшусь новых бед, скорблю о возможности жертв напрасных. Ибо темен наш народ, по душе добрый: златую чашу, ему подноснмую, не расплещет ли напрасно и выю свою, к рабству прнвычную, не подставит ли иным пущим деспотам? Да что гадаешь, поп, ничего не зная?! Книга будущего никому не раскрыта».

Не от слабоверня н тягости лет праздник всея Руси оттенен для отца Якова сомнениями. Старый землепроход — одинаково знает он н город, и деревню, н столицы, н провинцию. Потолкался достаточно в народе, поякшался со слоем образованным, сподобился соприкоснуться и с правящими верхами — поскольку то доступно было простому н бесприходному, но ловкому н любопытством ведомому попу. Прн последнем наезде в Питер однпм глазом видел знаменитого старца Григория Нового, совсем незадолго до его гибели. Ужаснулся — н пришел в восхищенне! Был сей старец якобы некий символ и мощи, н темноты, н великого ума н продерзости русского народа. Сколь сделал он — того никакая боевая партия сделать не могла бы: выставил на всеобщий показ н явный позор ничтожество н гннение самых вельможных и неприкосновенных, раздел их в бане и вытолкнул на улицу на смех толпе! Уж если ставить кому памятник — то именно сему мудрецу н распутному мужику, нстинному всея России минувшему самодержцу! Взяли его хитростью, отравой н пулями, насев на него, пьяного, справа и слева, великий князь, да знатный богач, да образованный умник, да думский шут,— и то едва совладали; добнвали, яко живучего кота, сами трясясь от ужаса, потом тело в прорубь, одежду в огонь. А спросн теперь: подлинно лн убили его? Не встанет ли нз воды, нз огня и из земли сей огромной мужичище, не скажет ли про землю — моя! — н про власть — моя! — н не раскидает ли всех, как шелуху лущеного подсолнуха? Голова срублена — вырастет на ее месте сто голов. Этот был

побольше Степаиа Разииа и Емельки Пугача, народных простаков. Этот — воистину символ грядущего, апокалиптический зверь!

Про свою встречу с Распутиным отец Яков в свое время скромио упомянул в дневнике; ио ие записал ии восхищеиия, ии миогодумных своих догадок, которые пришли после. Не иашел таких слов — и ие счел уместным в спокойной повести летописца.

«От сего числа летописи моей конец. Пусть смотрит дальше глаз зоркий, пусть пишет рука помоложе и поискусией. Ныие отпущаеши, Владыко, отца Iакова Кампинского на желанный и просимый покой!»

Так думал и так записал. Но разве руку живую удержишь от страсти ставить чернильные завитушки? Пока есть дыхание — будут и они. Пока, говорим, есть дыхание в старой груди любопытствующего попа, запутавшегося потертой рясой в виитиках и зубчиках истории. А впрочем — долго ли ждать полной отставки, отец Яков? Коиечно, ныие Владыка весьма завалеи работой — пишет отпуски миллионам усталых, да кстати, и тем, кто мог бы и подождать. Но как ни велика очередь — старому человеку местечко найдется!

ВАГОН

Шоссейиая дорога подымается на дыбы и старается заглянуть в окно вагоиа, бегущего по насыпи; вытягивают шею тополя и ветлы, всматриваются издали горы и пригорки,— всем хочется увидать человека в вагоне. Человек в вагоие, скромио закусив коисервами, ковыряет спичкой в зубах и едет быть великим в великой страие.

Мир еще ие зиает его примет: скуластое лицо, жидкая бородка, лысый череп; позже это лицо будут знать лучше, чем усы Вильгельма. Человек в вагоне или читает, или просто держит в руках книгу; ои полжизни читает и четверть жизни пишет и говорит иа темы прочитаиного и иаписаиного; часы, остающиеся иа сои, ои спокойио спит без сиовидеиий. От природы он иастолько лишеи фантазии, что ему даже в голову не приходит его будущее величие; едет он просто полемизировать и делать иеприятиости противникам его партии. А между тем ему предстоит сделать самый фантастический прыжок — из царства иеобходимости в царство свободы с грузом миогомиллионного народа иа плечах. Разбег для такого прыжка сделаи до иего другими; это существеиио в смысле экоиомии сил, ио для истории иеважио.

С иим в вагоие едут другие, в большиистве — люди смущеииые, так как вагои запломбироваи; швейцарская контрабанда из любезиости пропускается на германскую территорию, ио лишь траизитно: акт дипломатической мудрости и воеииого расчета. В сущности — излишняя поспешность! Те же люди могли совершить круговой объезд, и от этого ие измеиилось бы ничто; накоиец, они могли вообще остаться, вместе со скуластым пово-

дырем,— и все-таки не измеиилось бы ничто в предстоящем будущем, потому что, по верованиям этих людей, личиость роли в истории не играет.

Багаж возвращающихся эмигрантов легок и наивеи: смеиа белья, зубная щетка, подбор пустых агитациоиных брошюрок, с которыми жалко расстаться, и разделеииые по рубрикам девизы: свобода совести, слова, печати, собраиий и стачек, иеприкосиовеииость личиости и жилища, учредительное собраиие, народная милиция. Кроме того, звонкая игрушка — диктатура пролетариата, в которую, впрочем, никто серьезио не верит. Назло их иеверию — из всего багажа остаиется только эта игрушка, поскольку пролетариат может быть представлеи в лице симбирского дворяниина, лишеиного сословных и иных предрассудков.

Единственный, кто совершеиио не замечает и впредь ие заметит саркастической усмешки истории,— скуластый симбирский дворяиии. Великое счастье обладать умом абсолютиой иегибкости и полным отсутствием юмора! Скучнейшая фантастическая мысль, во всем иаходящая оправдание; живой мир — кабииет публициста, живые люди — материал статистика. Личиое бескорыстие человека без потребиостей; органическая иеспособность сомиеваться; простота отиошения к действительиости, как бы ни была оиа кошмариа: человек протирает пенсие и видит только буквы и цифры, ие всегда совпадающие с его первоиачальным расчетом. Ои выправляет буквы и меняет цифры, потому что действительиость может ошибаться, но теория не может. Жизни иет, есть только экоиомический материализм. Если нет жизии, то иет и крови. Смешиы те, кто иазовут его злодеем: ои цеиил и любил стихи Некрасова, которого считал поэтом. Ои ие был зверем: ои только ие был человеком, настолько ие был, что справедливо иазваи гением; ииой клички ие придумаешь, и эта остаиется иавек в истории за симбирским дворяниином.

С уходом этого поезда за границей застрял только сор эмиграции: солдаты, инвалиды и бывшие герои. На полях валяются колосья, на грядах — червивые корневища. Но место свято ие бывает пусто: скоро их ряды пополнятся иовыми беглецами, которые заключат с иими союз любви, иенависти, словоблудия и аперитивов. Правда колется иа куски: правы там, правы здесь, прав всякий, умеющий искренио забывать и добросовестио перекрашивать убежденья. Поборники свободы стаиовятся палачами, бывшие палачи тоскуют по человечности. Changez vos idées[1] — и историческая кадриль продолжается.

Начальник станции вполголоса спрашивает офицера:

— Куда следует этот вагои русских свиней?

— Прямо до линии Восточиого фронта. Вероятио, там их выпустят.

— Обмеи?

— Не зиаю. Кажется, это — революциоиеры.

— Жаль. Полезиее бы обменять их на свиией иастоящих.

---

[1] Меняйте свои убеждения (*фр.*).

— О, хотя бы только на полвагона сосисок!

Разговор сводится на вопрос продовольствия. Что такое сандвич? Две хлебных карточкн с прокладкой из карточки мясной!

Толчок, еще толчок,— н исторнческнй поезд отправляется дальше в историю. Люди в вагоне искренне ненавидят войну и презирают военных; если бы тогда нм сказали, что все силы они направят на организацию новой армии н подготовку новых войн,— они бы даже не улыбнулись на такое оскорбление.

На границе их ждет холодный прием. Тем лучше! В страну кисло-сладкого патриотизма они приехали не для участня в общем хоре. И все-таки под буржуазнымн европейскнми пиджачками замирают сердца эмигрантов — Россия! Уже бегут ручейкн н скоро зацветет черемуха. Скуластый человек — большой любитель рыбной ловли; когда гимназистом он жил в Симбирске, у него была своя лодочка. Днректором гимназии был Керенский, сын которого теперь выступает прислужником буржуазии.

Прежде всякого отдыха — газеты н газеты. Страна свободной печати. Завтра будут свои станки н своя бумага. Теперь — или ннкогда!

Первую ночь в Петербурге будущий вождь спит так же мирно, как и все ночи на Западе: свернувшись калачиком, руки по-детскн сжаты в кулачкн, нос примят подушкой. Рядом с кроватью на стуле много газет; воздух тяжеловат.

Старая нстория слегка посапывает примятым носом. Новая эра мировой истории начнется завтра в половнне девятого утра.

ИСПАНКА

Чего вы хотите? Уже сказано: больше нет людей-единиц н нх маленьких историй. События валят девятым валом — говорить ли об отдельных каплях воды в океане?

Под шум морского прибоя спешно дописывается книга о концах; прежде чем начнется новое — старое должно завершиться, уйти н очистить место для разбега. Героическое вянет н становится смешным; романтизм умер от нстощения.

Война косит жизни с простотой и отчетливостью. Подругу войны, страшную болезнь, чтобы не называть чумой — назвали испанкой.

Испанка прокатилась по Европе н заглянула в Париж. На старой улице Сен-Жак она облюбовала много домов, густо заселенных. Над лавкой зеленщика в первом этаже четырехлетняя девочка перестала играть в кубнки.

Как все русские эмигранты, Наташа мечтала о возврате в Россию. Там свершилось чудо — там нужны люди. Как всем эмигрантам, ей казалось, что люди в России беспомощны н ждут руководства заграничных; или просто ей хотелось увидать Москву н деревню Федоровку.

Уже многие уехали, полные надежд и планов. Ехать с детьми кружным путем — возможно ли? Революцин нужны не мате-

ри и младенцы, а старые бойцы. Достать немного денег на проезд,— и жизнь, прерванная странным сном покоя и материнства, полетит вперед в грозе и буре.

— Почему ты не играешь?

— У меня болит голова.

Ночь без сна. У девочки жар, и обычные средства не помогают. Утро осветило бледное лицо другого ребенка,— нет больше смысла отделять его от больного: комната стала больницей. Пришли дни страшной борьбы за жизнь детей — Россия подождет; она извинит матери.

Из Нормандии едет верный друг — Анюта. Хотели встретиться, чтобы обсудить поездку. Анюта во всяком случае возьмет сына, ей и думать нельзя с ним расстаться. Пока она оставила его на попеченье мадам Дюбуа,— и уже истосковалась в недолгой дороге. Она возьмет сына и письмо французского офицера, в котором написано: «Мадам, я считаю долгом сказать вам, что мы все любили вашего мужа, как человека великой душевной красоты и как верного товарища. Мы живем в кругу смертей и привыкли к ежедневным потерям; но эта смерть поразила нас особым горем и оставила в нас вечную память. Я пишу вам не как его начальник, но как его неутешный друг, по поручению тех, кто делил с ним тягости траншейной жизни. Я посылаю вам записную книжку с фотографией женщины и ребенка; он говорил товарищам, что это вы и ваш сын. Прошу вас, мадам, верить в наши лучшие чувства и в то, что мы в полной мере разделяем ваше огромное горе». Письмо, книжечку и сына Анюта возьмет с собой в Россию.

Верный друг не отходит от детских постелей.

— Наташенька, вы прилягте отдохнуть хоть на час, на вас лица нету. А я крепкая, деревенская, мне ничего не делается.

Дни, похожие на ночи: одна бесконечная тревожная ночь. Младшая девочка легче переносит болезнь, жизнь старшей на волоске.

День кризиса. Две матери борются за жизнь ребенка. Силе двух матерей болезнь готова уступить,— но не даром! Она присматривается, какой взять выкуп.

Дыханье ребенка ровное, первый покойный сон. Наташа давно без сил — теперь может отдохнуть и Анюта. Она спит на полу, на сложенных одеялах; она привыкла.

Среди ночи ее окликает голос Наташи — необычный, стонущий. Анюта гонит сон,— прекрасный сон, с которым жаль расстаться,— и вскакивает:

— Что, Наташенька?

— Я, кажется, больна.

Какие огромные глаза и как смяты чудесные косы!

— Нужно скорее писать!

— Что писать?

— Скорее успеть. Я не дописала, там у меня тетрадка.

— Наташенька, лежите спокойно, вот выпейте.

— Я умру.

В комнате удушливо пахиет эвкалиптом. Только что вышел доктор. Анюта задержала его на лестнице.

— Да ведь что же сказать? Сил в ней мало для сопротивления.

— Она здоровая, очень здоровая!

— Была здоровая, а теперь — тень человека.

— Доктор, вы не знаете, оиа — замечательная женщина, ее нужно спасти!

— Милая моя, болезнь не разбирает, кто замечателен. Я зайду часов через пять, раньше не могу, больных множество. Вы делайте уколы н давайте ей камфору. А только дело плохо.

— Она не может умереть!

Доктор смотрит поверх очков,— тут отвечать нечего.

— Вы-то не заболейте. Я зайду.

Руки Наташи в уколах. Но в комнате нет воздуха,— н она задыхается. В Париже нет воздуха, в мире нет воздуха!

Нет воздуха, н это мешает думать о том, что жизнь по-настоящему не дожита. Ведь это была не жизнь, а антракт, естественный перерыв для материнства. А затем — как же девочки? И вообще — смерть нереальна, ее не бывает. Об этом написано в тетрадке, но не дописано самое главное.

Страшнее всего захлебыванье н эта розовая пена. Анюта не думает, а действует,— думать и некогда н нельзя. Она двнжется, как самый точный автомат, сохраняя спокойствне н ровность голоса. Она не спала вечность н может не спать еще вечность. К счастью — все просто, и двнжения бесконечно повторяются: от постели к столу н маленьким постелькам. Она улыбается — девочки спасены. Кормит девочек, даже успевает прнбрать в комиате, выносит, приносит, кипятит воду для бесконечных уколов. Мелькают минуты н часы — в этой маленькой женщине силы ненсчерпаемы.

Ночью она сидит на стуле, чтобы не задремать. Мыслей нет, слух напряжен. Лучше что-нибудь делать в редкие минуты покоя больной.

Прн новом хрипе она вскакивает. Наташа ловнт воздух грудью н пальцами. Так уже было не раз, но всегда страшно, н сейчас особенно страшно. Скорее камфоры.

Необычно видеть, что Наташа коснт глазамн. Потом глаза гаснут.

— Плохо, Наташенька?

Ответа нет. И уже не может быть ответа.

Обе девочки спят. Нужно куда-то ндти, кого-то звать. Может быть, она еще очнется.

Через час почти светло. Неслышно ступая, Анюта прнбирает комнату, неспешно и аккуратно, как хорошая хозяйка. Она не плачет — строгая, серьезная, деловитая. Мыслн ясны: девочки не должны вндеть материнского лица; но девочки еще очень слабы н мирно спят. Теперь это — ее дочерн. На время их, коиечно, приютит мадам Дюбуа. Кто-нибудь поможет. Обо всем сейчас не передумаешь.

Перед тем как выйти; она причесывается. Даже не очень бледная после стольких бессонных ночей. Не все нужные французские фразы готовы в ее памяти — но как-нибудь объяснится. Теперь главное — дети. Успеть вернуться, пока девочки не проснулись.

И тнхо притворяет за собой дверь.

«С ИСКРЕННИМ ЧУВСТВОМ»

Стояли в ряд высокие н прочные карточные регистраторы, свезенные сюда нз разных учреждений, но однотипные. При некотором навыке было легко найтн фамилию и получить о человеке много сведений. На одних карточках была налеплена фотография, иногда две — фас н профиль, а сбоку и год рождення, н приметы, н знакомства, целая маленькая бнографня. На других карточках, красных и зеленых (для двух партий), была сумбурная по виду запись кратких сведений со ссылкамн на номер дела, и таких карточек на одно лицо набиралась нногда целая пачка.

Илья Данилов был нзображен молодым, снят еще прн первом аресте, а данных о жизни было немного, хотя верные. Справок не больше десятка — н это было обидно Илье Данилову, старому революционеру. В тетрадках «наружного наблюдения», также оказавшихся в архиве, Илья Данилов был записан под кличкой Кривоносый; клнчку ему дали филеры охранного отделения.

Илья Данилов работал в архиве с первых дней и всех усерднее. За год нзучил все шкапы и пыльные полки, плавал в море величайшей грязи, разгребал руками горы нечистот, узнал многое о многих, чего и предполагать было невозможно н чего достаточно, чтобы потерять навсегда веру в человеческую порядочность. Одного не нашел Илья Данилов: документа с его подписью после слов «С нскренним чувством». Ему удалось найти только одну бумагу, сильно его взволновавшую: копию приказа о разрешении ему вернуться в Россию «согласно прошения». Эту копию от отшил от дела дрожащими руками н унес к себе домой. Когда освобождал ее от связующей ниточки, складывал в четверку и клал в карман,— чувствовал себя трусливо н дурно. Дома он эту невнннную копню уничтожил. Но самого прошения найти не мог.

Товарищ министра внутренних дел сказал секретарю:

— Вот, возьмите, Иван Павлович, эти бумаги. Тут есть, между прочим, ходатайство этого, как его, кажется Денисова...

— Ильи Данилова?

— Ильи Данилова, да. Ему разрешается, вы бумагу отошлите, а самое его письмо я пока оставил.

— Письмо занятное!

— Правда? Но пожалуй, нскреннее. Человек кается все-такн.

— И подписано «С нскренним чувством». Забавно в деловой бумаге!

— Ну да. Я его хочу кой-кому показать, а потом вам передам.

Нет больше ни министра, ии секретаря, ни Департамента полиции. Есть только кладбище бумаг. Илья Данилов ие знает, что министр был рассеяиным и затеривал маловажиые бумаги.

Раскаяние? Но там была только фраза, рассчитаииая иа то, чтобы втереть очки полиции и притвориться смиреиником: «Я уже стар и устал, решительио оставил революциоиные увлечения и хотел бы остаток жизни провести на родиие, целиком отдавшись иаучной работе, прерваиной случайным уклоиом моей жизни и деятельиости». Вот и все! Другие писали жалкие слова, проклинали свое прошлое, откровенничали о делах и товарищах. Ои же, изверившись в программе партии и в тактике, ие позволил себе подлых слов и ничего ие обещал; даже был увереи, что ие получит ответа или получит отказ. В конце письма ои поставил: «С искренним чувством» — и в этом-то и была хитрость старого бойца, знающего слабость иеприятеля! Хотя лучше было все же закончить сухо, простой подписью.

Во всем мире никому ие было никакого дела до Ильи Данилова и его прошлого. Пришли времена иовые, в корие изменились понятия, был в особый почет возведеи открытый и тайный донос, завидовали тем, кому удавалось поправить свои дела и отвлечь от себя подозрения покаянным письмом, напечатанным в газетах. Отрекались от партий, от прежних друзей и единомышленников, от происхождения, от иаучных взглядов, от гнилой идеологии, от художествеиных прозрений,— и в эти отречения вкладывали всю силу страсти, все красиоречие, всю поэзию, весь талант людей, сознательио, иаперегонки валящихся в нравствеиную пропасть. Вырывали друг у друга ведерко с дегтем и сладострастно мазали себе все тело, губы, глаза, мозг, совесть, иа эстраде, на площади, в газете, в личном дневнике, по радио. И не только из страха и подлости, а по приятию иовой и страшной религии скопчества и самосожигания, как тянет собаку вынюхать все запахи и вываляться в остро-зловоиием, потому что есть в этом мучительиая сладость для обоияиия. Этим людям до Ильи Данилова, человека архивиого и иезаметного, им ие соперника, уже кандидата на тот свет, не было никакого дела; но если бы кто-нибудь из них случайио проведал, чтó мучит Илью Данилова в бессонные иочи, какой документ затерялся в иеобозримых архивах человеческой пакости,— тогда вкруг кончавшего карьеру «старика революции» собралась бы толпа улюлюкающих судей и ие нашла бы для иего оправдания! Им бы тоже было радостно, что вот каким оказался заслужеииый революциоиер, получающий паек первого разряда с полуфунтом говяжьего мяса и двенадцатью кусками сахара, не считая селедок. Его поволокли бы на площадь, вздыбили на подмостки, и первый, кто обиаружил его страшиое преступление, бил бы себя в перси и кричал: «Это я, виук крепостного и сын покрытки, уличил презренного, хотевшего уничтожить улику своего падения!» И так кричащему назавтра дали бы награду: паек, отнятый у преступника.

Усердно продолжая поиски, Илья Даиилов втяиулся в архивную работу. Его радовали цеиные находки. Удалось иайти новые сведения о декабристах, дававших в следствеиной комиссии покаяиные показания; ои написал статейку о некоторых подробиостях ренегатства Льва Тихомирова; собрал тетрадочку иезначительных по существу и значению, ио любопытных по стилю обращений к власти разиой революциоииой мелкоты и пока держал эти материалы у себя, не публикуя. Дием работая в архиве, ои иочью, во сие, продолжал карабкаться иа лесенку у высоких шкапов, извлекать папки, слюиить палец и быстро листать печатанные иа машинке и писаиные рукой странички, дышавшие пылью и историей. Среди десятков тысяч страниц — одной ои иайти ие мог.

Ему ие повезло: ие он, а другой выудил в старых бумагах копию покаяниого письма Бакунииа. Коиечио, это — область древией истории, да и вся дальиейшая деятельность зиаменитого аиархиста искупила то, что могло быть его времеииою слабостью,— ио все же Илья Данилов был рад, если не за себя, то за другого, что такой важный документ не истлел в архивиой пыли. Ои переписал для себя копию н много раз ее перечитывал, в тайиых мыслях сравнивая со своим письмом.

Зимним вечером ои иачал писать род дневиика,— с подробным объясиением, почему, вопреки традициям старых революциоиеров, ои решился послать свое просительиое письмо, какую при этом имел потаеиную задачу, как иарочио облек свое прошеиие в хитрую, уничтожавшую все подозреиия форму, выдержав стиль строжайше, вплоть до подписи «С искренним чувством». Выходило убедительно, но он никак не мог закоичить эту страницу и прибавлял новые доказательства и иовые ссылки иа тончайший тактический расчет. Ои особо подчеркивал, что такой прием вообще принципиальио ие допустим, ио что в данном случае вопрос шел о спасении дела революции, об образовании в России иовых кадров и что только стоящий вне подозрений мог взять на себя полную ответственность за шаг, который для другого был бы предосудительным и тяжким.

В другой зимний вечер, страдая от холода и голода и того же одиночества, которое водило его пером на итальяиской Ривьере, ои уничтожил свой начатый дневник, как раньше уничтожил копию ничтожиого документа.

Илья Данилов бывал в архиве ежедневио, являясь первым и уходя последним. А когда ои ие явился более недели, можно было сказать иавериое, что ои болеи — и серьезио. Действительио, старый и истощеиный, ои жестоко простудился в иетоплеиом помещеиии архива и теперь лежал в такой же иетоплеиой квартире. В тот год умирали просто. Когда больной перебирает руками край одеяла, это — плохой призиак. Но Илья Данилов перебирал пальцами по привычке, как бы торопясь долистать последнюю папку, где почти иавериое ои иашел бы бумагу, никому, кроме иего, ие нужную, докумеит слишком личный и притом случайиый, ничего ие доказывающий, рождеиный уста-

лостью н написанный слишком наспех, с напрасными словами.

Ои умер под утро. Его лицо странно уменьшилось, стало с кулачок, н заострившийся нос был заметно искривлен.

Если бы его похороны были двумя годами позже, старому революционному бойцу оказали бы, коиечно, почет, н была бы сказана речь, искреиняя и малословная, без упоминания о том, что Илья Данилов не прниадлежал к ныие господствующей партин; указав на его борьбу с самодержавным режимом, оратор дольше остаиовился бы иа его позднейшей деятельиостн, уже прн нынешнем режиме, по разработке политическнх архивов.

Этого не случилось, потому что год был очень тяжкий н утраты почтенных единиц никто ие замечал. Совершенно иензвестио, кем и где был похоронен Илья Данилов, скучнейший человек незапятнаиной революционной репутации.

СТИЛЬ БУДДЫ

Лицо профессора Белова купается в серебре седин. Статуэтка Будды также лоснится радостью: сегодня электричество в городе ие выключено. Люстра освещает китайские безделушкн н бутылку внна. Из многочнсленных родов самоубнйства профессор нзбрал простейший и бесхлопотный: остаться в Самаре н по уходе белых.

Белые, красные,— не все лн равно? Окраска случайная — сущность та же. Любопытно, что в нсторию н те и другие поступят в героическом ореоле, н вполие заслуженно: ими руководят высокие иден защиты священных прав человека. Лучший и едиистве́нный способ защиты прав человека — убийство человека. Отступая, белые оставляют за собой трупы н пустые бутылкн; наступая, красные наполняют эти бутылки кровью до самого горлышка. Внно красное н белое пьянят одииаково.

Улыбка Будды неизмеиия: улыбка свободного от желанн́й, которому завидуют боги. Город может обратиться в развалнны н зарастн травой; через тысячу лет застучит кирка учеиого — и древнн́й город будет открыт. Еще через тысячу лет его последние камнн выветрятся нли на его месте образуется город новый. Надвннется пустыня илн придут льды — свободному от желанн́й нет повода волноваться.

Профессор обходит комнаты и везде зажигает свет. В кабиисте кннжные стеиы: склады человеческой мудростн. Все это казалось и было нужным н значительным, во всяком случае давало радость познаиня и украшало жизнь. Все это легко исчезает, если повернуть выключатель. Можио самому повернуть выключатель жизии, можно предоставить это другим,— разннцы никакой. Единственный недостаток такого умозаключения — его дешевая красивость.

Неужелн нет хоть тени сожаления о жизни, которая была все-такн незаурядной, полиой смысла н просто приятной? Ощущенння старостн нет, здоровье не растрачено, ум ясеи, усталость

лечится сном. И иет того, что разит и здоровых: иет сомиений, порывов самобичевания, поздних раскаяиий. Ни малейшего побуждения осуждать себя за то, что жил в довольстве и даже богатстве — среди менее счастливых и совсем несчастных. Никаких кисло-сладких чувств и защитительных речей. Совершенно естествеиио, что вот сейчас придут серые и озлоблеиные люди, иизвергнут неравенство, иакажут порок и немедлеино же запутаются в иовых противоречиях. Они должиы строить новый мир — почти точную копию старого, но в другой времеииой раскраске. Рабы, потомки рабов, родоиачальники рабов грядущих. В каждой революции есть только один очаровательный момеит — крушение власти; затем наступает безвкусица утверждения власти иовой по образу и подобию сверженной.

Профессор усаживается в покойиом кресле и иаливает полный стакан. В последний вечер ие следовало бы мыслить афоризмами, продиктованными досадой и звучащими провиициально. Воздух полои заразы дешевой философии, и только Будда ей ие поддается,— только Будда, знающий, что без причин и без целей возникло и существует бытие.

Звонок раздается, как по заказу — в ту минуту, когда профессор, налив последний стакан, подносит его к губам. Звонок резкий, грубый, рассчитанно оскорбительный. Профессор смотрит стакан иа свет, позволяя себе напоследок это кокетство, затем медлеиио пьет вино до дна. Звонок повторяется. Силой воли можно заставить пульс биться ровио и в этом иайти удовлетворение. В дверь стучат — и профессор встает, чтобы отворить. Теперь ои серьезеи и ие играет роли иа героических подмостках. Ему действительио скучно; шум улицы, который сейчас ворвется, противеи и утомителеи. Жизнь несколько затянулась. На ходу профессор приглаживает волосы и оправляет складки домашнего костюма,— он ие позволил себе встретить революцию в халате. Революция вваливается в серых шинелях и громоздких сапогах, с виитовками и иагаиами. Революция ие интересуется ни философией, ии улыбкой Будды, ии складками профессорского иаряда. От ее шага звякают китайские изделия иа лакированных полочках. Она завистливо косится иа пустую бутылку, и удивительио, с какой иеизмеииой закоииостью все поражеиия и все победы декоративио обставлены сосудами с узким горлышком!

Профессор слышит, видит, и если не отвечает, то не по вежливости, иа которую иеспособен, и ие из презрения, до которого не унижается, а просто — за полной ненадобностью вопросов и ответов, так как для него все уже предрешено и лишеио элементов случайиости. Покоичеио и с изучением,— ои просто ждет. Ждать приходится дольше, чем ои рассчитывал, ио ему помогает давняя привычка путешествеиника по тайге и по пустыням: не считать минут и часов дороги и двигаться механически, вплоть до иеодолимого препятствия или до иамечеиной цели.

Революция уходит, ие погасив электричества и не забрав иаиболее ценного: книг и рукописей; их разборкой после займется

строительство. Статуэтка Будды осталась невредимой, чтобы иметь право поступить в музей. Остался дорогой ковер, на котором медленно подсыхает кровь. Последняя сцена остается не описанной, чтобы не потревожить наступившей тишины и не нарушить стиля, создаваемого долгими годами и опытной рукой человека с изящным вкусом и несомненного джентльмена.

ИЗ-ПОД КИЕВА НА ЧЕРДЫНЬ

В книге о концах, где смерти, разительнице и избавительнице, дан полный простор завершать бег событий и выключать ненужные жизни, записан и конец жития отца Якова, любопытствующего землепроходца и свидетеля истории.

Ко дню великого избавления отец Яков был уже стар, но старостью бодрой, никого не обременявшей. Ушли полнота и лоск сединой украшенных щек, с меньшей живостью щупали мир поповские гляделки, и прежде чем отправляться в путь ближайший или дальний, отец Яков, корпусом отклонившись вправо, пальцами левой руки потирал поясницу вдоль хребта, приводя себя в желанную подвижность. Но не охал, не жаловался, не искал оседлости и последнего приюта. Придерживаясь глубокого тыла, слушал речи необычные и недобрые и дивился пробуждающейся мудрости человека, вместе с ним опасливо заглядывая в пропасть, края которой уже начали осыпаться.

За голодную зиму отец Яков поистрепался и исхудал, первым огорчаясь, второму даже радуясь, так как передвигаться приходилось иные чаще всего по образу хождения пешего,— стали малодоступны обыкновенному человеку вагоны, лошади же, по бескормице, отказывались длить существование и поступали в пищу гражданам, опытным в отбивании духа гнилой кобылятины крепким уксусом.

Но что всего хуже — ряса отца Якова, хотя и не прежняя — сохранявшая долголетнюю нетронутость лиловых тонов,— а уже заплатанная и висевшая на костях мешком, теперь стала для бесприходного и запрещенного попа, следовательно, в культе неповинного, все же прямым препятствием и даже угрозой свободе, как и борода, как и длинные волосы. Иные давно сменили костюм культа на общегражданский, остригшись под гребенку, но отцу Якову это было недоступно, да и на ум не шло. Все равно как если бы ему предложили пройтись по улице в купальном наряде либо в юбочке балерины! Только волосы старательнее запрятывал под мездровый воротник полушубка, стянутого под мышками завязью полотняного мешка,— ныне без мешка никто на улицу не выходит.

В девятнадцатом году, пережив зиму несказанно тяжкую, голодную и для многих роковую, отец Яков, сохранивший двоих-троих вернейших из сотни друзей и, как бы случайно, людским потоком влекомый, попал из Москвы в хлебные губернии, а оттуда, в толпе спасавшихся, докатился почти до Киева,

где одно правительство смеияло другое. Быть бы ему и в Киеве, и в Одессе, и, может быть, за пределами отечества, потрясеииого междоусобиой борьбой,— если бы в душе отца Якова ие случился страиный перелом, решивший его дальиейшую участь.

На одиой из станций, где поезд привычно застрял иеизвестио почему и иа сколько, где люди в вагоиах тревожио считали свои чемодаиы, препирались за места и пугали друг друга слухами,— отец Яков, ие спавший две иочи, страдавший от насекомых, вышел из вагоиа с мешком и портфелем, сказав соседу:

— Местечко мое ие берегите, возвратиться не предполагаю.

— А куда же вы, батюшка? Или иашли местечко в другом вагоие?

Но отец Яков только улыбиулся и приподиял шляпу:

— Счастливого пути и спасения ото всяких иапастей!

Вышел из вагоиа, вышел из вокзала, осмотрелся и зашагал по иезиакомой улице в сторону, обратную ходу поезда, иаправившись за город, чтобы сегодия же и иачииать свой последиий и иастоящий путь.

Обратный поезду путь отец Яков избрал ие случайио. Наслушавшись в вагоие бежеиских разговоров, иаглядевшись иа груды всякого спасаемого барахла, чемодаиов, корзии и узлов, завалив-ших проходы и полки,— отец Яков вдруг почувствовал со всей силой то, о чем раиьше догадывался, ио ие с полным созиаиием: что путь свидетеля истории лежит ие в эту стороиу, ие к охраие старого тела, а к спасеиью духа великим страдаиием. Тело устало без меры последней усталостью, и времеииый отдых его ие привлекал; дух же отца Якова, иеутомимый и вечио любопытствующий, ие сдавался и иикак допустить ие мог, чтобы дальиейшая жизнь и грядущие события свершались без его присутствия и виимательиого участия, а вместилище этого духа обрекло бы себя иа уход в топкие болота, куда поезд увозил людей, чемодаиы, обывательскую тревогу и тифозную вошь.

Так мог бы рассуждать отец Яков, если бы решеиие его было плодом рассуждеиия и обстоятельиой обдуманности. Но ие было так: оио пришло сразу, без споров, иакатом, естественной простотой. Случайиая заминка в движении человеческого потока как бы сбросила повязку с глаз отца Якова и иаправила его стопы обратио стихии, едва его ие увлекшей.

Из маленького городка отец Яков вышел скоро и безо всякой помехи и часа два шел полями, куда ему казалось правильиым. Где пыльиой дорогой, где перелеском ступала увереиио толстая подошва старых, ио поистиие удивительных добротиостью сапог, которые были ие случайиой работой сапожиого подмастерья, а сооружением истиииого мастера, довоенного гения и великого пьяницы, обувавшего отца Якова в счастливые времеиа. Все рушилось, и одежда, и здоровье, и даже дух времеиами шатался, расслабляемый сомнеииями,— сапоги же служили и обещали до последней минуты попирать граиитиой подошвой миогострадальную и любимую землю.

Дойдя до берега иебольшой реки, отец Яков притомился, пристроился в тени дерева и, положив под седую голову портфель, заснул. Снилось ли ему что — ие зиаем. Из сиов божественных мог присниться Господь, отъезжавший за границу с господами и генералами, или же угодник Никола, в простоте оставшийся иа Руси с мужичьем и записавшийся в товарищи. А может быть, видел отец Яков длинную дорогу через всю землю до края.

Был отдых его благодетелеи и протянулся почти до солнечного склоиа, до вечерней свежести. Давно ие испытывал отец Яков такой телесиой бодрости — прекрасное начало пути! Промывши глаза, посмотрел на живые струи речки, иа камышовую заросль, улыбнулся и заиялся делом.

Прежде всего снял одежду и освежил ноги. Вынув из мешка, надел чистую рубашку, а прежнюю застирал песком и развесил иа кусте для просушки. Потом изъял из старого и знаменитого, в пару сапогам добротного портфеля груду бумаг и бумажек, проспектиков, записей, брошюрок, вырезок, визитиых карточек и рекомендаций, взвесил иа руке, пересыпал и ласково иазвал суетой сует. Всюду возил с собой, ие бросал, любя этот дорогой хлам. В дальиейшем же сохраиять иет надобиости. Но в речку не кинул, а, иашарив в глубоком кармане драгоценную по тем времеиам коробочку спичек, чиркнул одной за ветром, возжег малый костер из сухих веток и травы, иа иего возложил бумаги и в воду сбросил только пепел.

Последок солиечного света затратил на поиски иасекомых в складках бывшего парада и в мешке. Накоиец закусил остатками сухого чериого хлеба, в этих краях еще очень вкусиого, пустой портфель сунул в мешок, взял свою палку и, перекрестясь ие по вере, а по доброму обычаю, тронулся по холодку в путь иеведомый, весьма нужный и едииственно верный и правильный.

Идущему степью земля круглой ие кажется, а просто вырастают скороспелыми грибами далекие колокольни, дома и деревья. Когда подойдешь — они уже поспели, а минуешь — жди впереди новых.

Отцу Якову спешить было иекуда. Держа путь иа северо-восток, от жилья ие уклонялся, но и на глаза ие старался лезть. Проходя селами, в окна не стучал, а пристраивался у колодца и проходящим почтенно кланялся. И редко случалось, чтобы пришедшая по воду женщииа, напоив его из ведра, не спросила, издалека ли дедушка; и тогда он иеизменно отвечал: «Из-под Киева на Чердынь». Про Киев слыхали все, про Чердынь никто, и за короткий разговор отца Якова всегда чем-нибудь угощали, а то давали и иа дорогу. Иные расспрашивали, что видал на пути, и иа это у иего тоже был готовый ответ:

— Где степь, где поля, а где и лесок. Пешему дорога везде хороша.

— А кто там за хозяев? Господа или товарищи?

— В разных местах по-разиому, а иам всюду одииаково.

Говорил со старческой хитрецой и языком мужицким. Сам

нн о чем, кроме дороги, не расспрашнвал, а только смотрел н слушал; с молодымн был особенно осторожен, притворяясь простаком н глуховатым. И малым отличался от обычного странника, не то светского, не то духовного, идущего по делам спасения души. Когда приглашали, с охотой ночевал в нзбах, а без зова устраивался в поле, на стоге, под самыми настоящимн деревенскими, ярко начищеннымн н густо навешеннымн звездами. И здоровье было хорошо, даже нечасто разминал пальцамн поясницу.

В пути он был полон дум н воспоминанний, обо всем, чему в жизнн был свидетелем. Может, н путь на Чердынь наметил только потому, что когда-то вышел оттуда в жизнь молодым н многогрешным, будучи лишен прнхода н запрещен к служенню за случай в устроенном нм прнюте для девочек-сирот. Но об этом вспомнинал мало н неохотно, туманно за давностью лет, а чаще и пристальнее — о долгих своих российских блужданнях, любопытных знакомствах, о том, как работал в музеях н редакциях, как вел беседы с министрами н террорнстамн, дружнл с бедными н богатымн, ученымн н мещанами, н везде, где жили люди, не зная, какая им блнзнтся участь. Так н прожил всю свою жизнь, не имея верного угла и окончательного дела, двнжимый беспокойной страстишкой все видеть н наблюдать со стороны, себе места не определяя:

— Лю-бо-пытно!

Но н любопытству пришел конец. Теперь нное влекло отца Якова нз-под Киева на Чердынь. Конец мог быть Чердынью, но мог случиться н раньше. Цели не было, и было только направленье по звездной карте, пока не сносятся гранитные подошвы знаменитых сапогов.

КОНЕЦ ОТЦА ЯКОВА

В камеру, рассчитанную на одного, отца Якова поместилн десятым. Когда дверь за ним защелкнулась, он, сделав шаг от порога н не усмотрев места, где бы примоститься, пронзнес негромко:

— Всем гражданам общий поклон!

Ближний подвннулся, пригласив отца Якова сесть; он сел на краешек койки, в грязных сбитых лаптях, в до крайности затасканной н местами прорваниой рясе, а волосы, давно не мытые, слнплнсь косичками.

И как ни был усталым,— сразу узнал в соседе, человеке полуседом, но достаточно бодром, явном бывшем барнне, давнего рязанского знакомого доктора Калымова. Узнав — виду не подал. Самого отца Якова теперь не прнзнал бы никто — ничего не осталось в нищем страннике от некогда дородного н осанистого священника.

За что человек взят н посажен — про то в тюрьме сразу не спрашивают, можно только прнсмотревшись. Поговорили о том,

прииесут ли койку для иового сидельца, а то спать иа полу — очень уж миого крыс. Отец Яков отозвался, что крыс не боится и иа полу засиет, как иа пуховой кровати.

— В почтениой компании даже и весело!

Лица был иевеселы, однако заметио, что сидевшие уже приобвыкли и сжились. Спокойный голос отца Якова понравился: кажется — старик безобидный.

Стеика в два кирпича, за стенкой легкий мир, в стеиах душная несвобода. Из воздуха волосатой рукой выкачаи весь кислород, в жестяной лампе коптит человечья тоска. На бледных лицах людей начирканы гвоздем морщины их смертиой тревоги, за дверью стучит копытом солдатская тупость.

Отец Яков лежит, головой иа кулаке, кулаком иа пустом мешке, мешок иа следах крысииых лапок,— койки ему ие дали, от услуг потесниться и дать ему местечко — сам отказался решительио. Поясница ныие, действительио, разболелась.

Ночью, привстав за нуждой, заметил, что все спят, одии доктор в полутьме мигает папиросиым глазком. Свет со двора, от фонаря, лиц ие видно, только скорчеииые тела иа койках. Шепотком отец Яков окликиул:

— Спать то ие можется, Сергей Палыч?

Калымов привскочил с живостью молодого:

— Что же это, ей-Богу, иеужто и вправду вы, отец Яков?

— Смиреиый раб. А ие призиали?

— Мелькало сходство — об этом сейчас и думал, а где же узиать! Постарели, отче! За что вас взяли?

— Того ие ведаю. При всех ие решался открыть зиакомство, ие зиал, как примете, чтобы чем вам ие повредить.

— Мне повредить нечем, я — обречеиный.

— Зачем отчаиваться, седину уважат.

— На это, отец Яков, и вы ие рассчитывайте!

— Я не о себе.

Полночи шептались, вспомииая прошлые рязанские встречи. Доктор рассказал, что перед самым арестом узнал о смерти своей дочки Наташи: умерла в Париже тому назад еще два года и будто бы внучек оставила.

— Что делается-то, отец Яков! Вот вы всю Россию исколесили — ждали ли такого?

— Ждать было можио, однако о подробиостях ие догадывался. И что придет дальше — тоже ие скажешь. Потребиого успокоения ие видно, а иарод помалкивает. Очень много в мире злобы, Сергей Палыч, а мудрости иехватка.

— Вас-то выпустят.

— Выпустят — уйду; а ие то с вами пребуду. Может, вместе и выйдем.

Утешали друг друга словами, как тяжко больного гладят по руке: ради облегчающей ласки.

Утром всех погнали через двор в уборную. Отца Якова конвойный толкнул с усмешкой:

— Космы, товарищ лапотник, пора сиести, только вшей разводишь.

Другой прибавил:

— С головкой вместе!

Отец Яков терпел и улыбался.

На допросе отвечал:

— Портфельчик, действительно, мой. Хотя более ненадобен, а бросить пожалел за хорошую кожу.

— К кому из Киева послали? Лучше признаться, шутить не будем.

— Я не посыльный, а иду на Чердынь, повидать родину перед кончиной.

— Ну, этого не обещаю, а кончиться можно и здесь, скорым способом. Нам, старик, очков не вотрешь. Чем занимался? Брал рублики за крестины?

Его обвиняли в шпионаже: прислан от белых высмотреть, прикинулся странником. Такое обвинение отверг без многословия:

— В мои годы никому не служат, а как порешите — дело ваше.

— Решим просто — к стенке.

В камере прилег на койке — Сергей Павлович уступил свою полежать. Может, убьют, а то только грозятся. Отнимут малый остаточек жизни, которую любил отец Яков, до которой был так жаден,— а теперь, пожалуй, и жалеть нечего, ибо велика и неодолима усталость. Чердыни, надо полагать, повидать не придется. Много в России места, для покоя же с избытком довольно двух аршин в длину, одного в ширину. Это все пройдет, потом придет новое, человечки суетятся, а Ока бежит в прежних берегах.

Чего искал всю жизнь? Правды не искал — правда о двух концах, да оба потеряны. И Бога не искал — его потерял еще в семинарии, а больше не встречал. Мир же — зрелище прекрасное, если идти по нему и нигде не заживаться, а как на пароходе по большой реке,— бегут леса, белеют городочки, выходят люди на свисток, кто вошел, кто сошел, и у каждого человека свой нос и своя забота — наиважнейшая изо всех других. Любопытно! А потом разгорчатся — и сейчас друг друга по голове, совсем как на кустарной игрушке: мужик медведя — медведь мужика, и будто бы для счастия будущих поколений, в чем, однако, возможно и усомниться. Сергея же Павловича, конечно, жалко по человечеству, яко и в дочери не был счастлив. Всякого человека жаль: всем светит солнце и для всех ночью звездный полог. А уж звездный полог — красота несказанная...

И как под звездным пологом отец Яков задремал — давно не лежывал на мягком, на сенном тюфячке.

Следователь доцарапал листок детским почерком, подумал, почесался, посмотрел на часы, заторопился и, решив наскоро, что на всякого попа пули не напасешься, написал на полях наискось красными чернилами:

«Освободить».

На большой дороге отец Яков обождал прохожего человека помоложе, низко поклонился и попросил:

— Если, милый человек, обладаете ножичком, сделайте милость, вырежьте посошок дальнему путнику. Какой ни на есть, лишь бы не гнулся.

И опять поклонился, когда посошок, и неплохой, был вырезан.

Были бы деньги — нет проще, как плыть пароходом по трем рекам: по Оке, по Волге и по Каме до верховьев. Выйдя из тюрьмы, потолокся на пристанях — но успеха не было: сейчас люди не те. Не удалось раздобыться и новыми лапоткамн про запас; может, где в деревне и будет удача.

Хотя подошла осень, но ночи еще были теплы. Все равно раньше зимы до Чердыни не добраться, а селенья все реже и люди строже. Разумно обдумав, порешил на самом неразумном: идти вперед немедля. И когда отошел сто верст — сошла в душу настоящая благодать, будто все на свете прекрасно. В этот день в городе Рязани, по случаю тревоги, спешным порядком вывели в расход Сергея Павловича и с ним многих.

А когда начались большие леса, лапотки отказались служить странному человеку: очень донимали корни, а большая дорога кончилась. Случилось, что две ночи спал на голой земле — сено убрано, деревни редки. Кушал охотно брусничку, жевал и гриб-сыроежку, а то попадался орех. Тюрьма ослабила отца Якова — или просто истратились силы. В деревнях, хоть и без особой ласки, подавали. Раздобыл наконец и новые лапти, которыми и переобулся на рваные остатки портянок.

Так шел дней двадцать. В месяце августе, в средних числах, в первую холодную ночь, проведенную без крова, простудился сильнее, чем переносно для старого человека, так что утром едва поднялся, чтобы продолжать путь. Так и решил, что если до вечера не попадется деревни, то, значит, окончен путь землепрохода отца Иакова Кампинского, свидетеля земной истории. Но с полудня деревня не приблизилась ни на шаг, так как отец Яков сидел на земле головой в колени, а по обе стороны на небе горели костры, и тело его пылало, не обутливаясь. В Москве, на Арбате, у которого-то Николы, гудели колокола, а испить было нечего, до реки далече, ручей запрятался под холмнком, а лапти весили без малого сто пудов. Покачивало пароход, капитан из рубки кричал в упор встречному плоту: «По Фалватеру плывешь, сволочи!», с плота же отвечали: «Го-го-го!» — Все-таки донесся свежий ветерок, скинул горячую шапку, и отец Яков подумал: «Плохо, не в удачном месте присел, до деревни не доползешь».

И еще посвежело, так что костры загасли с шумом, и с усов потекла вода, которую отец Яков мог слизывать сухим языком. Теперь-то он понимал, что идет проливень и что надо укрыться. Перевалившись, пополз на коленках, цепляясь одеждой за траву и корни. Жара не было, но колокольный звон не прекращался и бил не только в ухо, а и под ребра. Проползя сажени две, отец Яков поднял голову лицом под дождь и заплакал старчески,

так что глазам было разом и холодно и тепло. Тогда иа него напали текучие тонкие змейки, забегали по всему телу, от шеи к ногам, не жаля, но холодя кольцами. Это было, пожалуй, похуже костров, и это была та самая мука, на которую он себя обрек, когда покинул поезд и пошел в сторону истинного пути. На час сознание его оставило.

В последний раз он очнулся, когда дождь прошел и его пригрело осенним солнцем. Головы поднять не мог, но видел перед собой травинки, подальше папоротник и еще дальше большую зеленую пихтовую лапу, которая пальцами ушла в землю. Солнце грело ие сверху, а сбоку, в просвет лесиой дороги. На этом месте, на пути из-под Киева в Чердынь, а где именно — неизвестно, ему и суждеио остаться телом, дух же его, вечио испытующий и жадный до странствий, пойдет дальше налегке, без бренной тяжести, без лапоток и без лохмотьев некогда парадной рясы.

Ночью была перекличка: громко гугукал филин, тихо отвечал стоиом умиравший старик. Если Бог есть, то это он запретил волкам переступать круг, в центре которого, сжавшись в комочек, лежал на влажной лесной земле человек, окончивший земной путь. Ни в какую Чердынь ие нужно было идти отцу Якову; его родиной была вся Россия, от Урала к западу и востоку. А смерть в пути была единственно достойиой любопытствующего землепрохода.

Так в книге о концах, на последних страиицах, записаи конец отца Иакова Кампиского, свидетеля истории.

ВРЕМЕНА

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ

ДЕТСТВО

Прн нных закатах солнце, опускаясь, краснт прощальным светом облака на западе, и этот свет бежит до крайннх границ востока, а там на одну минуту распускается роза. Это — наше воспоминание о детских годах, и нужно нм дорожить, оно мнмолетно. Оно дается в утешение уже не нмеющим будущего.

Далекое прошлое всегда — сказочная страна. Может быть, я родился в жалком городишке, о котором нечего рассказать, но я беру не палитру и кистн, а набор цветных детских карандашей н прнступаю к работе. Я рнсую прнземистый дом в шесть окон с чердаком н с двух сторон протягиваю в линию заборы, за которыми непременно должны быть деревья, может быть липы и тополя, но во всяком случае черемуха, дерево самого раннего цветения. Мне ее не изобразить черточкамн, потому что тут все дело в горьком аромате,— только недавно стаял снег, дворник сметал его с крыши, а ледяные сосульки откололись н упали сами, вкусные конфеты, от которых зябнут н румянятся пальцы в варежках, а на губах остается шерстяной вкус. Для начала — для весенних дней — ннкаких, ни ярких, нн мешаных, красок не нужио, и на севере мы начинаем с белого н черного: черное пробивается сквозь белое талыми островкамн, а золото солнца ненарнсуемо и неописуемо, его сам представь и предположи. Этим начав, мы потом сразу переходим на музыку, слушаем капели н ручейки, н как вздыхают н кряхтят снега и льдинки, н как везде н ннгде гомонят птнцы, обычные наши вороны, галки н воробьн, н прилетные голоклювые любимцы Герасима Грачевника, н красноперые голоснстые щеглята, и скворцы, для которых на каждом дворе ставилнсь домнки на высокнх шестах. Этот гомон слышно даже сквозь двойные оконные рамы, н вообще весна не дожидается, чтобы вышли на нее посмотреть, а врывается сама н в щелочку, где отпала замазка, н в печную трубу, н на чердак, н бегом по лестннце в намокшнх валенках. Ей ждать некогда, потому что уж очень много предстоящих дел. Мать говорнт: поди погуляй, да надень калоши, валенки промокнут, н по лужам не бегай,— н я, конеч-

ио, по лужам ие бегаю, а топчусь в ручейках, пока в иогах ие захлюпает холодная вода. На другое утро черное побеждает иестойкую белизну, а иа улице перед домом оттаивает и вскрывается весь иавоз, накопнвшийся за зиму, и тогда впервые появляются путаные цвета, из которых потом мы будем выделять красиое к красиому, зеленое к зеленому, все на свои места; конечно, и белое оставим — и вот расцветает черемуха.

Все это, иесомиенно, так и было, и мне было когда-то и трн, и два года, ио пишет ие память, а воображение, и пишет не по архивным залежам, а лишь подбирая цветные камушки отшлифоваиных прибоем ощущений и подрисовывая их иаблюдениями над другими детьми, тоже в валенках и варежках, тоже лакомками до ледяных сосулек. Вчера иад французским полем я видел грачей, голоиосых н черных с синим отливом, и нежность памяти переиес на них, а солнце было действительио то же самое и повернутое тем же боком. Крепко опершись иа крючковатую палку с острым иакоиечником, я через грачовую сеть взглянул на дальний лесок и тут, без всякой связи лиий и красок, вспомнил, что ие могло быть у дома, в котором я родился, двух прнмыкавших к передиему фасаду заборов, потому что этот дом был угловым, и я родился за стеклом крайнего левого окиа, так мие рассказали, и ясио вижу себя розовым комочком в пелеиках, открывающим плаксивый беззубый рот. Этот дом стал врастать в землю со всеми окошками, в том числе и с крайиим, а когда врос окончательио, то на его месте выстроили дом камеиный; и все, и мать, и отец, и братья с сестрами, и ледяные сосульки, так и остались под землей, и я это видел своими глазами, когда вернулся после десятилетнего скитания по Европе и пожелал взглянуть на самую родную для человека точку земли, самую его иастоящую родину в полметра земиой поверхиости. Все было чужое, и ие стоило ехать тысячу верст, чтобы иа это чужое смущенио и иедоумеиио смотреть.

Помню, однако, что улица была широка и по самой ее середиие шла огорожеиная иизким палисадом липовая аллея, которая у иас называлась бульваром. На пересеченин поперечных улиц оиа прерывалась, н каждый ее отрезок с обеих сторои замыкался калитками. Так она шла из конца в конец города, и это значит, что от опушки пригородного леса до собориой площади, откуда был вид на Закамье — с высокого левобережья иашей замечательной полиоводной стальной реки. Если я иачал с описания родного дома, в котором жил только маленьким, раньше всех возможных ясных воспоминаний, то только для того, чтобы ие упустить реки и леса, моих иастоящих родителей. Весь с головы до иог, с мозгом и сердцем, с бумагой и черниламн, с логикой и примитивным всебожьем, со страстной вечной жаждой воды и смолы и отрицанием машины,— я был и остался сыном матери-реки и отца-леса и отречься от них уже никогда не могу и ие хочу. Если отречься, то придет и заберет нянина пособиица бука и защекочет в темиому углу, или, по-нынешиему, зацепит железными челюстями подъемный кран, заверещит лебедкой, черкнет по иебу и го-

ризонту крутым поворотом и выбросит на людной площади, где темные каски бьют с размаха обманутых и голодных людей, помочь которым я уже ничем не могу, так как утратил веру в рай из железобетона. Это страшное и досадное виденье я заслоняю любимейшими картинами, к которым возвращаюсь мыслью, куда бы ни забросила меня действительность. Нижний край зеркала реки был украшен деревянной резьбой пристаней и барок, верхний отделялся зелено-синей полосой от воздушного ничего. Мы, тутошние, рождались в просторе, ковшами пили воздух и никогда не считали себя ни царями, ни рабами природы, с которой жили в веками договорениой дружбе. Я радуюсь и горжусь, что родился в глубокой провинции, в деревянном доме, окруженном несчитанными десятинами, никогда не знавшими крепостного права, и что голубая кровь отцов окислилась во мне независимыми просторами, очистилась речной и родниковой водой, окрасилась заново в дыхании хвойных лесов и позволила мне во всех скитаньях остаться простым, срединным, провинциальным русским человеком, не извращенным ни сословным, ни расовым сознанием; сыном земли и братом любого двуногого. По другую сторону города, от реки вглубь, сейчас же за заставой с орлами, начинался лес, почти не рубленный и, конечно, нечищеный, так как для стройки и роста домов хватало береговых природных богатств и еще много пригоняли сплавов с севера. Между столбами заставы зачиналась и дальше уходила прямой гладью в тысячеверстие, лишь поднявшись и сбежав через хребет Уральских гор, укатаниая почтовой гоньбой и утоптанная арестантами нескончаемая дорога, которую мы звали Сибирским трактом. Ближний отрезок этого тракта я знал с самых ранних лет: и особенио на его четвертой версте поворот налево, на плохую просельную дорогу, сначала в лес, потом ржаными полями, скатами, взбегами и перелесками — в деревню Загарье, где летом мы жили на даче, а попросту в пятидымной деревушке, в крестьянской избе, нависшей над склоном, заросшим душистой клубникой. Эту деревню я помню, как зарисованную в альбоме, хотя не видал ее больше полвека; и если бы попал в нее сейчас, то никогда не узнал бы, хотя бы она не переменилась: картина памяти моей нарисована детским воображением и взрослыми к нему поправками, моей литературной мечтой, не нуждающейся в реальном. Но не мог не быть скат к речке Егошихе, и лес за нею не мог не стоять глухой стеной, и была, конечно, поблизости от дома черная, прокоптелая хибарка — баня, из которой мужики выходили красными и шатаясь от угара,— этого всего никак не придумаешь. И было еще многое, о чем непременио иадо бы вспомнить и рассказать, чтобы каждый мог мне сочувствовать и втайне завидовать.

Кроме нас, никто в той местности из городских людей не живал,— да было и негде, все избы считаны; только верстах в пяти был частный хутор (у нас не говорили имение) моей крестной матери Марьи Павловны, жившей с кухаркой и кучером, которые окружали ее заботами и льстивым поклонением, потому

что считали себя ее прямыми наследниками: родных у нее на всем свете не было никого. К этому хутору от нас не было проезжей прямой дороги, а ходили — как сейчас помню — сначала через речку, потом на косогор и на большую поляну, дальше тропинкой елового леса до межевой ямы, той самой, в которой нашли корову, высосанную беглым арестантом, еще дальше с полверсты, по опушке над кручей, и тут выходили на дорогу колесную, и уже можно было увидеть вдали Марьи-Павловнин хутор, бревенчатую избу, чисто сложенную и забитую не клочковатой, а жгутом подвернутой паклей. У Марьи Павловны был настоящий шкап с зеркалом, были венские стулья и буфет, выше меня ростом. Сама моя крестная была крупной, громкоголосой, деспотической женщиной, в городе ее боялись, почти ни с кем, кроме нашей семьи, она не знялась, нигде не бывала, пила много кофею, кажется, была богата, откуда родом — не знаю, а по фамилии Керен, может быть по мужу немка, но говорила она очень хорошо, по-московски. Когда я был совсем маленьким, она сказала мне, что откажет мне в своем завещании тысячу рублей, и пока дала зеленую трехрублевку, на которую я не знал, что купить. Больше я от нее ничего не получал, и умерла она как-то нечаянно, ни когда, ни почему — не помню; я в то время уже читал Достоевского.

Про арестанта, который высосал корову, рассказывали мужики. Он держал эту корову в яме три дня, даже подкармливал ее травой, а чтобы она не мычала, обвязывал ей морду гибким прутом. И все-таки она мычала, и по мычанью ее нашли, а арестант успел убежать. Мужиков я не понимал. На то, что беглый (у нас говорили — варнак) высасывал корову, они не обижались и на ночь выставляли на крыльце чашки с кашей и вареную картошку, чтобы несчастненькие могли покормиться, не обижая ничем честных людей. И в то же время ходили в лес на облаву за варнаками и, поймав, заворачивали им лопатки и повязывали руки за спину. Может быть, так они поступали только с убийцами (полголовы брито) и с теми, кто воровал крестьянское добро. Мой отец, когда приезжал из города на дачу, всегда мрачнел, узнав о поимке мужиками арестанта, и ворчал, что вот не своим делом они занимаются. А между тем мой отец был членом окружного суда по уголовному отделению, значит — и судил, и приговаривал. Мужикам нашей деревни низкопоклонство было неведомо, они помещиков никогда не знали; но и ласковости их не помню. В хвойных лесах ласковость не к месту и жизнь была суровой. Зайцев ловили силками и отдавали нам почти задаром, потому что в тех краях зайцев не ели, скармливали их кошкам; заяц поганый, а зла от него много: огороды портит. Я не помню ни песен, ни хороводов, может быть, потому, что мы жили в деревне всегда в страдное время, когда крестьянину не до песни. Все были поголовно неграмотны, и, когда я, пятилетний чистенький мальчик, лежал на траве с книжкой, ребята, завязив в носу палец, часами стояли поодаль. Потом, накопав червей, мы бежали на речку ловить уклеек на согнутую

булавку, если только мать соглашалась пустить меня с ними. Но больше всего я проводил время в одиночестве, объедаясь клубникой на косогоре.

Был праздников праздник и торжество из торжеств, когда приезжал отец, на два-три дня, а раз в лето на две недели. Он всегда что-нибудь придумывал. С ним мы ходили в далекие прогулки, часто по лесу до самого кордона — до военного караульного поста в глубине леса, где, впрочем, никогда ни одного солдата я не видал. В этих походах с отцом я понял и полюбил лес, его тайну и его величие. Я узнал от отца, что темные орешки, которыми усыпан лес, это заячьи покидки и только по свежим может учуять зайца собака; но зайцев было в лесу столько, сколько в городе на неглавной улице прохожих людей. На елках было столько же и еще больше белок, которые прямо нам на голову сыпали шишечную шелуху. Волки летом держались далеко от людских жилых мест; медведей отец не велел мне бояться, они на человека не нападают, они очень добрые, питаются медом, ягодами, кореньями, да и не встретишь их иначе, как в очень глухом лесу без дорог и тропинок. Птиц отец называл по именам, но их было так много — самых разнообразных, и больших и маленьких,— что запомнить я не мог, только знал, что самая большая, вспугавшая меня на опушке, где от ее взлета закачалась осина, была глухарь, впрочем уже знакомый мне по оперенью, потому что в городе часто приносили глухарей с базара. Так как мой отец не был охотником и брал с собой в лес только револьвер-бульдожку и компас, то больше мы занимались растениями и цветами, собиранием которых он увлекался даже больше меня. Он привозил из городу кипу серой рыхлой бумаги, нарезанной большими листами, вдвое сложенными, и мы составляли гербарий. Мне было жалко, что белые весенние цветы в засушенном виде всегда желтеют: майники, ландыши, грушовки, линея, подснежник, розовая кислица, лесной анемон, прелестный сибирский княжик и тот ароматный столбик, который по-местному назывался римской свечой. Мы собирали папоротники и старались в них разобраться — кочедыжник, ужовник, стоножник, орляк, щитник, ломкий пузырник, дербянка. Было у нас великое разнообразие мхов — и точечный, и кукушкин лен, и волнистый двурог, и мох торфяной, и царевы очи, и гипнум, и прорастающий рокет. На полянах цветов было бессчетно, так что даже, отчаявшись собрать все, мы вдруг равнодушно отвертывались от их красоты и яркости и отдавали все внимание только злакам — пахучему колоску, лисохвосту, трясунке, перловнику, мятлику, костеру, гребнику и сборной еже. Возвращаясь домой через речонку, я набирал на болотце букет желтых купавок, которые очень любила мать, а если попадались крупные незабудки, тамошней нашей голубизны, то и их приносил матери, у которой были голубые глаза, ко мне не перешедшие: у меня глаза отцовские.

Но самым любимым нашим спортом был грибной, и тут все свои великие знания отец передал мне целиком. Я даже в раннем

детстве ие поиимал, как можио ошибиться и прииести домой погаику! Или как ложиую лисичку ие отличить от иастоящей, при всем их кажущемся сходстве! Одио — масляиик, и совсем другое — козляк. И рыжая волиушка все же ие рыжик! Рыжиков мы также различали по сортам, и домой прииосили только самых бутылочиых и булавочиых, потому что рыжиками были полиы иаши еловые и пихтовые леса. Головы боровиков наиизывались иа суровую иитку и сушились иа зиму, иа Великий пост; белый груздь солился в кадушках, и иаше дело было только иабирать корзиины, а остальиым ведала Савельевиа, иаша строгая кухарка, которой мы все боялись, а мать перед ией иемиожко даже заискивала. Но Савельевиа приезжала в деревию только ближе к осеии, как раз к грибам, а всегда была с иами моя ияиюшка, Евдокия Петровиа, мастерица по части ягодиого вареиья. Оиа иикогда ие упускала случая иаварить побольше клубиичиого, потому что в городе клубиики ие достаиешь иикогда, а если и достать бы — ие тот аромат, как иа иашем косогоре. А впрочем, скажу просто и решительио: иигде в мире такой клубиики, как иаша, я иикогда ие встречал, и вообще эту ягоду иемиогие зиают и путают с другими. И в Европе полевой клубиики иет, разве что в Скандииавских страиах. Если мие скажут: «Оиа есть!» — то я, прищурившись, ядовито спрошу: «Может быть, у вас растет и морошка?» — и человек увяиет от смущенья. А я ему вдогоику: «Вы даже и до брусиики ие додумались, хоть и изобрели парламент!»

Сколько ии читал я воспомииаиий о детстве, у всех кроткая мать и строгий, умиый отец: от отца мозг, от матери сердце. Так это, вероятно, полагается. У меня тоже мать была кроткая, то есть добрая и мягкая по характеру жеищииа, ио и в отце не было ни капли строгости, а умиыми были оба; и мать, хоть и иистиутка, была достаточио образоваиной и всю жизиь по-своему училась и была отцу хорошей подругой. Я ие помню ии одиой ссоры между родителями, ии одного ие только грубого слова, ио даже слова упрека или иедовольства, и я ие зиал в детстве, что бывает и ииаче. У меия были три сестры и брат — все старше меия. Не помию, иаказывали ли их за чтоиибудь; меия иаказали одии раз, ие зиаю за что, ио, вероятио, за что-иибудь исключительио серьезиое, потому что иаказаньe было жесточайшим: я был лишеи свободы. Слезы лились в три ручья: плакала мать, плакал я и плакала моя старшая любимая сестра, которую посадили вместе со миой в чулан, чтобы мне одиому ие было страшио. Слезы матери я объясняю тем, что ей ие могла быть свойствеииа жестокость, и этот опыт иаказаиия, почему-то придумаииый, может быть вычитаииый, был для иее иевыиосим и противеи. Сестра плакала из сочувствия к матери, ко мие и к себе,— ей было уже лет трииадцать. А я плакал или потому, что ие призиавал себя виновиым, или же — предчувствуя, что это первое лишеиие свободы будет повторяться всю мою жизиь. Вряд ли мое заключеиие продолжалось больше пяти минут, ио это все равио — впечатлеиие о пережитом оста-

лось навсегда: четыре стены, за которыми идет жизнь, и я из этой жизни изъят; полное бессилие и страстное желание перестать существовать; отрицание права кого бы то ни было так поступать, пусть даже матери. Кажется, я бил ногами в дверь, и сестра не смела меия сдерживать; затем ослабел и впал в отчаяние. Много лет спустя я точно так же бил ногами и кулаками в дубовую дверь Таганской тюрьмы в Москве, выбил дверную форточку и окониые стекла,— когда с тюремного двора часовой выстрелил в окно в одного из заключенных. Я и теперь нередко просыпаюсь от удара кулаком в стену, когда мне снится тюрьма; а иногда, наоборот, проснувшись, добродушно смеюсь, потому что мне кажется, что таких случаев не бывает, что человека нельзя запереть против его воли, это только глупые рассказы, и в действительности не существует ни замков, ни границ, мы только шалим и подшучиваем друг над другом; в полусне я потягиваюсь, удобнее перекладываю подушку и опять засыпаю: просто лежал как-нибудь неудобно. В университете я изучал право — государственное, уголовное, гражданское, изучал философию права (циник профессор Зверев увлекательно говорил о свободе воли), хорошо сдавал экзамены, стал адвокатом. Не будь в моем детстве чулана, я мог бы сложить для себя из всех этих книжиых кирпичей сносное жилище, пробив в нем окошечко с решеткой, и спокойно глядеть на мир, как смотрят многие отличные люди. Этого не случилось, и, когда муха бьется в стекло, я спешу отворить окно и помочь ей вылететь; и даже если это не муха, а комар, напившийся моей крови,— все равно! Не потому, что я такой милостивец,— я, может быть, прихлопну его ладонью прежде, чем он успеет меня укусить, жизни лишу, но свободы лишить ие способен: свобода в триллион раз ценнее жизни, это я раз навсегда решил и за себя, и за комара! Моя мать напрасно плакала — я благословляю ее воспитательную ошибку: ио хорошо, что она никогда ее больше не повторяла,— могло случиться обратное.

Я завидую — хотя и ие верю — тем, кто рассказывает о своей жизни в стройном порядке, год за годом, как будто справляясь по календарю и регистратору,— от мягких шелковых волосиков до щетины иа щеках, от детской курточки до теплого халата и от коротких штанишек до той поры, когда они постепенно доходят до пят заглаженными макаронами и человек, теряя приятные иллюзии, вырастает в стоеросовый кантовский императив. Моя жизнь не росла ни тополем, ни подсолнухом, а ветвилась кустом спиреи, начисто отмирая в старом побеге и заново вырастая от подземного кория. И потому ее картины ие собраны в аккуратный альбом, а перепутаны во множестве папок, старых, иовых, пыльных и обтертых тряпочкой. Не всегда разберусь, что пережито и что вычитано, что думал и видел мальчик — и что ему подбросил растратчик жизненного капитала. Ставлю в вазочку с водой букет нащипанных цветов и нарезанных зелеиых веток, ио, может быть, сирень я обломил студеитом, когда влюбился в армянку, жившую на Никитской улице;

а лютик сорван детской рукой, просто за то, что его лепестки блестящи и навощены солнцем, тогда как розу сам вывел из черенка в позапрошлом году. И в детских воспомииаииях такая же, коиечио, путаиица, которой мало помогает чисто зрительиая память (образы, образы и образы!). Сквозь голубое стеклышко этой памяти я вижу себя трех-четырехлетним иа дворе того же дома, под ручку с девочкой-однолеткой; мы идем важно, и наши лица серьезны: первый роман. Кто-нибудь иаучил нас так гулять, и я ощущал это как мой долг перед слабым существом, нуждающимся в моей защите. Не игра, ие забава, а предвидение трудности и сложности жизиенного пути. Пока идешь прямо — все просто, но при поворотах мы топтались, сталкивались и наступали на ноги, а нельзя было терять устойчивость и уже иельзя разделиться. Ее называли моей невестой, и я принимал это со спокойной серьезностью. Затем она вдруг исчезает из памяти, ие оставив даже имени, и двор делается ареиой страсти: с мальчиками мы играем в бабки. Язык, приспособленный только к домашнему, обогащается иовыми словами — гнездами, битками, свинчатками, гвоздырем,— гораздо больше слов, чем зиает даже мама. В начале игры мы конаемся, подкидывая бабки, и мой паиок (боевая бабка) ложится жохом, конкой, плоцкой, ничкой, и от этого зависит, кому начинать. Играли в поджошку, в пристеиок, в краснокудак, игры азартные, и мие случалось проигрываться начисто и стоять, гордо сдерживая слезы, и потом, вернувшись в дом без единого гнезда, чувствовать себя глубоко несчастным. Длинной грабелькой крупье забирает золото или костяшки, одним подбрасывая, других оставляя ни с чем. Бритая и будто бы равиодушная рожа ставит кучки иа иомера и иа дюжины; потерявшая облик крашеиая дама пытает красное и черное, брошеи шарик иа бесшумную вертушку, и вы следите за его потерявшим всякий смысл бегом, потому что последнее поставлеио и бесславио уплыло и теперь только приходится играть в бесстрастие, чтобы затем, зевнув правдоподобиее или взглянув на часы, уйти с приличным спокойствием. Никакое иебо ие улыбается, и ие прольется ни золотой, ни серебряный дождь, и еще много сложностей, может быть унижеиье, гадкое до отвратительиости, ио только потому, что судьба против вас, а сама страсть жива, свернулась комочком и рада в любую минуту сиова расцвести и увлечь. Мать ие догадывалась о моих переживаниях, ииаче ее объял бы ужас; а я подкапливал для предстоящей писательской жизни понятие о взлетах, паденияx, о страсти и катастрофе, о чете и нечете, о пресиости маленьких и ровных мещанских благополучий. Нужно было прожить сто тысяч чертовских русских лет, какие прожило одним духом мое поколение, чтобы усомниться даже в игре, даже к ией стать равиодушным, хотя все же меиее, чем ко всему другому. Но и теперь, если бы сумасшедший мир попросил меня устроить иаконец его судьбу, как мне кажется лучшим,— я бы предложил ему сыграть в орла и решку: по крайией мере разом!

Но может быть, игорная страсть была у меня в крови. В какие времена, в какие исторические периоды Русь, Россия и СССР не горели игорной страстью: в кости и в зернь при Грозном, в фараон при Катерине, в банк при Александрах, в железку по обе стороны гражданского фронта в 18—20 годах, в шахматы и ныне и присно? Дома у нас по воскресеньям играли в херсонский вист, в преферанс и классический винт: отец, мать, Марья Павловна и барон Зальц, председатель суда, огромный человек, куривший сигары. Мать играла осторожно, отец безнадежно, Зальц плохо, Марья Павловна всегда на выигрыш и потому вечно бранилась. По углам ломберного стола стояли подсвечники, пепельницы, лежали очиненные мелки, а после роббера зеленое сукно вытиралось тряпочкой, намоченной в водке. Брат играл с сестрами в короли, нянька учила меня играть в зеваки. Если мать ремизилась, что случалось очень редко, то весь стол пел: «Вот опять угобжена — Андрей Федрыча жена!»; а когда у Зальца на руках предвиделся шлем, его лицо так наливалось кровью, что не требовалось и заявки. Играли с двенадцати часов дня, в четыре обедали (гусь всегда с яблоками, а индюшка с брусничным вареньем), а кончали к десяти вечера, когда детям пора было спать. Играли на малые копейки, вкладывая в игру страсть на миллионы. Играли во всем городе, в каждом доме, и в редкой квартире сквозь опущенные гардины не сквозили две свечки. В кухне Савельевна играла с дворником в подкидные дурачки и в акульку. Не было в те времена ни радио, ни кино, ни публичных лекций о путях России; сейчас все это есть — и играют в бридж, презренное искажение старого, благородного винта. Разница одна: в те времена не возводили отличной карточной забавы в науку и не писали о ней умных книг, а пики ласково называли пикандряшками.

В лице этих ближайших друзей и партнеров моих родителей вторгался в наш домик внешний мир; сверх того, он появлялся под личиной портнихи, прачки, сапожника (готовой обуви не носили, да и была ли она?), почтальона и доктора Виноградова, который приглашался только в серьезных случаях, а обычные болезни мать лечила липовым цветом, клюквенным морсом, спермацетной мазью, паутиной, касторкой и каплями Иноземцева, справляясь в домашнем лечебнике. И были еще два явления, отражавшие для меня загадочность внешнего мира: водовоз и судебный курьер.

Водовоз был настоящим и изумительным зимой: летом мало замечался. В большие холода (а они доходили у нас до сорока градусов) в ворота въезжала обледенелая лошаденка, тащившая на обледенелых санях такую же бочку, а сбоку шла совершенно твердая, такая же ледяная, не вполне человеческая фигура в тулупе, которая от сильного удара должна бы разлететься со звоном на куски: но ноги и руки у человека почему-то продолжали двигаться. Его голова была обвязана тряпками поверх шапки, весь мех которой, как и борода человека и его усы, превратился в белого ежа, растопырившего колючие сосульки.

Навстречу ему, тоже обвязанная, но мягким, выходила с ведром Савельевиа, н тогда ледяной дед, не сгибаясь, влезал иа саин н стеклянным огромиым ковшом, не имевшим никакой формы, вычерпывал нз верхнего стекляниого отверстня бочки густую воду со льдинками н звоико лил ее в прииесенное Савельевной ведро, а она, одной рукой подобрав юбки, другую с ведром отставив крутой дугой, шершавила валенками по снегу к сеням, где стояла кадка для воды. Я, укутанный башлыком так, что только для глаз оставалась мохнатая белая щелочка, смотрел через эту щелочку на водовоза, н он, вместе с бочкой и с лошадью, казался мие единым целым, отлнтым изо льда, так что было иеобъяснимо, как он может шевелнться. И еще смотрел иа черные глаза лошади, тоже окруженные иголками, и иа ее седую бороду, окатываемую двумя струями пара, выходившего из ноздрей. Между лошадью н человеком разинца была только в том, что лошадь стояла иа четырех ногах н у иее был хвост, облитый выплескамн воды и похожий иа расколотое березовое полеио. Как ни был величествен водовоз, но никогда в обычных детских думах я не мечтал стать таким же; ииое дело — судебный курьер, ежедневно прииосивший отцу бумаги.

У курьера были светлые пуговицы н фуражка с цветным околышем. Он представился мне нсключительно изящным человеком н очень важным. На кухие ои ие стоял, а садился н громко разговаривал с Савельевной, которая тоже его уважала. Няня здоровалась с ним за руку и звала его по имени и отчеству. Я спрашивал мать, почему курьер не прнходит по воскресеньям играть в карты; оиа ответила как-то уклончиво н недостаточно поиятно. Я знал, что мой отец, барон Зальц и курьер — это н называется судом, где делают арестантов. Но окончательно меня завоевал курьер в день моего рожденья, когда он доказал свою способность летать по воздуху. Отец меня любил и баловал — самого маленького нз детей. К именинам, к рожденью, на Рождественскую елку я получал от него самые замечательные подарки, всегда те самые, о которых мечтал и проговарнвался. Однажды перед моим рожденьем отец уехал на «сессню» — куда-то в уезд кого-то судить; так бывало раза два в год, и его отсутствне продолжалось подолгу, так как поездки были дальними, иа лошадях по огромной нашей губернин. И хотя я не был корыстиым, все же день рожденья без отца терял большую долю приятности. И вот, помню, в самый день утром, часов в девять, меня вызвала Савельевна в кухию, где оказался отцовский курьер, вручивший мне большой пакет, будто бы только что привезенный им от моего отца. В пакете были подаркн: альбом для рнсования, краскн, цветные карандаши. Было прнятио, хотя я в этот раз больше мечтал о коньках н лобзике для выпиливания. Ровно через час опять пришел курьер с новым подарком от отца: это был лобзнк, к нему пилки, дрель н тонкая ольховая доска. И это опять послал отец нз своей «сессии». Еще через час у меня были молоток, стамеска, буравчик, подпилок и отвертка, все нашитое на картонном листе, и каждый

раз курьер говорил, что «папенька кланяются и спрашивают, понравился ли подарок». Подарки мне очень понравились, но я не понимал, как же это так курьер все время ездит к отцу и обратно, а говорили, что это очень далеко, двое суток езды на санях. Я его об этом спросил, и он мне подтвердил, что на санях действительно суток двое, не меньше, но что он летает на крыльях прямым путем без объезда, как ворона, туда-обратно без минуты за час. И действительно, еще через час он привез мне деревянные коньки с острой железной полоской, такие, что можно их подвязывать под валенки и кататься — хочешь, по льду, а то и по снегу. Мать слов курьера не подтвердила — она никогда меня не обманывала,— но посоветовала мне спросить папу, когда он приедет, как он присылал мне подарки. В этот день мои руки были изрезаны, истыканы, провинчены и распилены; из большого пальца, особенно сильно пострадавшего, была сделана белая куколка, и катанье на коньках было отложено до завтра.

Не помню, была ли у меня игрушечная лошадь; вероятно, была. К сожалению, были оловянные солдатики — гнусная игра, развращающая детское сознание: с тем же успехом можно дарить виселицы и гильотинки. Но ничто не увлекало меня так, как плотничество, столярничество, выпиливание — всегда под отцовским руководством; он же приучал меня к уходу за растениями, и, при тамошних морозах, у нас был дома устроен «зимний сад»: большая комната в два света, в ней пальмы, фикусы, лимоны, кактусы, много цветущих растений. Что привито в детстве, то остается на всю жизнь, и я не очень затруднился бы стать Робинзоном: ничего, по-моему, кроме удовольствия!

Я научился читать пяти лет и в семь сам прочитал изумительнейшую книжку «Робинзон в русском лесу»; автора не помню, но лучшей детской книжки не было никогда написано. Она меня завоевала и заполнила целиком мое детское сознание. Все это, конечно, хорошо, все эти благородные английские мальчики, лорды Фонтлероп, принцы и нищие, хижина дяди Тома, особенно твеновские Томы Сойеры и Геккельберри Финны, увлекательно, забавно, полезно, но все это появилось потом и было выдумкой, тогда как русский Робинзон со своим приятелем жил в лесу где-нибудь поблизости от нашего города или от деревни Загарья, а уж если по совести говорить, то это был я сам, хотя и до слез было жаль расстаться с матерью, отцом, няней, Савельевной, курьером и водовозом. Это я выстроил хижину и частокол от волков, и я сеял рожь, собирал и сушил грибы и делал зарубки в лесу на деревьях, отыскивая путь к жилым местам, хотя мне совсем не хотелось возвращаться домой. Какая красота в этом сожительстве с лесом, какое счастье делать все своими руками, быть полновластным хозяином неизвестного мира, смело противостоять опасностям, создавать все из ничего! И когда мальчики выбрались из леса, где прожили, кажется, несколько лет, я им не завидовал: я бы предпочел там остаться навсегда. Я и сейчас отдал бы в обмен на

нх хнбарку н нх затеряиность — пять частей света и в прндачу бнблнотеку старнннейших кнпг, но с условием, чтобы никогда иад моей головой не пролетал аэроплан н чтобы не проник в мою медвежью глушь даже обрывок газеты. И я, конечно, не возьму с собой мирового сыщика н сплетиика — радиоаппарата. Лншь одно непремеиное условие — моему Робнпзону необходим русскнй северный лес, со сиегом, медведем н рыжикамн.

Одиа из монх временных хнжин помещалась под отцовскнм письмеииым столом, но это было раньше, чем я прочитал замечательную кннжку. Стол был прнставлеи к стене, так что получалось убежище, крытое и очеиь удобное. Ноги отца мне ннсколько не мешалн, н мон, вероятио, мешалн ему гораздо больше. Ковер был мягкнм сиденьем, корзнна с сорной бумагой — предметом жилой обстановкн, а ннкакнх дел н развлечений ие требовалось: я просто мечтал. О чем? Дети мечтают ииаче, чем взрослые. В нх мечтах нет определеиных, ясно обрнсованных желаний, они не облекают их в единый образ будущих ощущений. Мечта ребенка — сложиое из отзвуков пережитого его предками н дальнпх предчувствнй будущего, она нереальна н по преимуществу музыкальна, слагаясь нз шорохов, голосов, дыхаиия, доиесшегося лая собаки, звякнувшего блюдечка в столовой,— все это ловится ухом н рождает гармонию н образы. Мы свон мысли думаем н придумываем — ребенок свон допускает н видит, сам нм ничем не помогая. Большой письменный стол отца превращается в пещеру, размытую в скале вытекавшей из иее подземной речкой, н волосатый человек вполэал в нее осторожно, не задев отцовской ноги н опасаясь натолкнуться на пещерного медведя; здесь он догладывал вчерашнюю кость убитого камнем утконоса и прн первом нзвне донесшемся шорохе заползал вглубь, впотьмах пробнраясь по руслу речки до каменного уступа, кончавшегося площадкой. Осколком сталактита он рисовал на стене нзображенье самого страшного зверя, н это было для него необходимостью, зовом нскусства, а ие поисками Бога, как объяснит потом его ублюдочный потомок. Журчанье речки было для него чудом музыки и сливалось с его сонным храпом. Исчезиув в прошлом, он переиосился в будущее, над его головой шуршали странпцы отцовских деловых писаний; от сорной корзнны пахло окуркамн высыпанной в нее пепельницы. Стараясь не глядеть на подсудимого, свидетели хмуро утверждали, что слышали угрозы и видели, как парень шатался вокруг деревин, а тетка слышала н крик убиваемого, и, когда присяжиые, иедолго посовещавшись, представили свое заключеине, арестанта увели обратно под свод тюремной камеры. Потом, миновав заставу с орламн, он шел в кандалах по широкому тракту, и по обе стороиы стеиамн стоял хвойный лес. Наклонившись, отец спросил: «Ты что там делаешь, Мышка?» — но Мышка ие отвечал. Сильно хлопнула дверь, шаги умолкли, лампочка, заключеииая в клетку, еще качалась под потолком над койкой, хлопанье дверей в камерах все отдалялось, и Марк Твен,

поля которого были исписаиы карандашом, рассказал любознательному газетчику, что у иего был брат-близнец, и их обоих купали в ваиие, и одии из них утоиул, так что до сих пор не известио, который именно, ои или его брат. Чиркнула спичка, осветив уголок пещеры, и ее своды раздвииулись, а наверху, в проломе базилики Константина, на римском Форуме, заголубело иебо. Я сидел на камне и слушал звуки города; в этот час на Форуме туристов не бывает, оии обедают по отелям, и это — лучший час для созерцаний и ухода в себя. Но сильно затекла согнутая иога, пришлось протяиуть ее по ковру, а рука отца иащупала мою голову и потрепала за хохолок иа затылке, который иикакой помадой не примазывался. В Августеуме, тогда еще ие перестроеиием, Сафоиов, без дирижерской палочки, пальцами и кулаками управлял оркестром, который играл симфонию Чайковского, и я страдал, что слушаю ее в чужой стране. Когда же закрыл глаза, о борт парохода, шедшего с потушеииыми огнями, стали ударяться волиы моиотоииой восточной музыкой, хотя мы шли к берегам Норвегии. Потом была крыша так же мерио стучавшего поезда, и это длится очеиь долго, мелькает миого границ, пока, свернув из улицы в улицу, я не оказываюсь перед низеиьким домом с мезониием и шестью окнами. Я прижимаю к стеклу иос, ои сплющивается, и я вижу в комиате стол, за столом сидит и пишет человек с иебольшой бородой. В комнате облака дыма от папиросы, тихо и уютно, и я опять вползаю на четвереньках и устраиваюсь под столом иа излюбленном местечке, под защитой больших иог в спальиых туфлях, чтобы обдумать впечатления поездки по миогим страиам, о которых никогда ие слыхал, так как я очень маленький и мне предстоит пережить и отца, и мать, разливающую чай, и этот дом, и этот город, и эту страиу, и даже эти строки. Тогда я поворачиваю валик пишущей машинки, вынимаю исписанную страницу, присоединяю ее к иакопившейся стопочке и, встав, с утомлеиным удивлением смотрю иа полки книг, иа громоздкие словари, иа свои большие руки и на дверь, в которую я выйду, и тогда все исчезиет. Что-то я позабыл, или что-то было упущено. Да, это — когда Марк Твеи показал журиалисту висевший иа стене портрет мальчика, может быть его собствениый, и сказал: «Бедный Вилли!»

Другой коиец улицы, как я сказал, уходил к соборной площади иа крутом берегу Камы. С этой рекой в моей памяти связано лучшее, что в жизни было, хотя та вода ушла в море и возвратиться ие может. В половодье оиа иа много верст заливала дали, и по торчавшим из воды верхушкам деревьев можио было дойти до горизонта. Люди, дома, плоты становились маленькими и бессильными, случайным мусором, ие попавшим в течение, а иа иебе ие хотел остаиовиться ледоход облаков. Показав свое величие и свои возможности, вода иачиила медлеиио сбывать, возвращаясь в берега, и на ией появлялись пароходы и лодки, иа иашем берегу закипала жизнь для всех, кроме тех, кого привозили иа тюремных баржах, выгружали

иа берег серыми стадами и выстраивали в поход — в сибирскую каторгу и ссылку. Их собирали по всей России, не согласиых быть такими, как все, и ие иарушать тысячи статей и параграфов, записаиных в толстых книгах отцовской библиотеки. Из этих книг я делал ииогда железную дорогу, раскладывая их в ряд по полу из комнаты в комнату длиииой полосой и шагая по переплетам так, чтобы ни одного ие пропустить. В молодости мой отец был деятельиым участником судебных реформ, и в жестяиой коробке, где лежали его прокуренные мундштуки и трубки, старые перочинные иожики, куски столяриого клея, цепочки, кремни, отбившаяся от стада костяная шахматиая королева, компас, лупа, шампаиская пробка, медные гвоздики и еще много прекрасных вещей, можно было отыскать и два иаградных креста с какими-то датамн шестидесятых годов, и их ои держал в футлярах и берег, тогда как его Анны и Станиславы валялись в общей куче забавных и ненужных предметов. Ои никогда ие носил никаких ордеиов и называл их коровьими колокольчиками. Ои был чиновником в провинции, потому что был отцом пятерых детей. У иего было имеиие, которое ои отдал старой матери и сестрам. По своим общественным взглядам ои оставался шестидесятником-либералом, и в дни Александра Третьего это пресекало карьеру. Он всю жизнь рвался к земле, но ие как к реальиому, а как мы, нынешние, рвемся к возврату иа родину, которая тем милее, чем недоступнее. То, что ои рассказывал мие, маленькому мальчику, о наших уфимских землях, о степях, о Бугуруслаие, о рыбиой ловле, о перелете птиц, я даже ие всегда и ие целиком понимал и понял только взрослым,— понял, что отец рассказывал это самому себе, будоража свои воспоминания и свою любовь к родной ему с детства природе. Когда я стал хорошо читать,— но еще до гимназии,— ои подарил мне сочинения Аксакова, и посейчас моего любимого писателя, пред русским языком которого я благоговею. Это были мои первые иастоящие большие книги — иа смену «Робиизону в русском лесу». С Аксаковым мы были в родстве, и это, коиечио, повышало мой интерес к «Багрову-внуку». И хотя я был сыиом великой Камы, ио с детства равнял с нею в святости имеиа Демы и Бугуруслана, коиечио — иесравнимых с ее величием. Дему я увидал в тот год, когда отец, выполнив свою мечту (а ведь все это было так трудио!), поехал иа родину первый раз после миоголетнего отсутствия и взял с собой меня. Мие хочется рассказать об этом дальше — сейчас мысль связаиа Камой.

Тут между нами может начаться взаимное иепоиимание, потому что я ие могу представить себе большую реку иначе, как живым существом ие иашего, чудесиого измереиия, пожалуй — как божеством. Тут и впечатления детства, и позднейшая тоска по сладким водам, и, коиечио, самовзвинчиваиие: вместо простой беседы — пенье. Но я готов идти даже на иасмешку — а любви ие изменю. И вот Кама для меня как бы мать моего мира, и уж от иее все пошло, и реки меиьшие, и почва, иа которой я стою. Я допускаю, коиечно, что существуют реки

еще более великие,— как существуют у других семей свои предки; таковы сибирские реки для сибиряков. И это мои ближайшие родствеиииики и мои едииомышленники. И мое семя вычерпано с илом со дна реки Камы, и потому я северянии, блондин, всебожник, поэт, аиархист и старовер. У иас, людей речиых, ииаче видят духовные очи; для других река — поверхиость и линии берегов, а мы свою реку видим и вдаль, и вширь, и иепременио вглубь, с илистым дном, с песком отмелей, с водорослями, раками, рыбами, тайной подводной жизии, с волной и гладью, прозрачностью и мутью, с облаками и их отражением, с плывущими плотами и судами и с накипью и щепочками, прибитыми к берегу. Воду, которую мы отпили и в которой до локтя мочили руку, перегнувшись за борт лодки,— мы эту воду потом пьем всю жизнь, куда бы нас судьба ни забросила, и подливаем ее для цвета, вкуса и сравнения и в море, и в горное озеро Неми близ Рима, и в священный Иордан, и в Миссисипи, и в светлый ручей, и в Тихий океан, и в Рейи, и в каждую европейскую лужу, если в ней отражается солнце. Это очень трудно объяснить и еще труднее понять, если иной человек сотворен иначе и водою ие крещен. Ведь вот все живое вышло из океаиа, мы это знаем, а многие ли это могут чувствовать? Моя мистика связана с моей рекой, и потому я ие могу просто рассказать, что вот таковой она, река, была для меня в детстве, а потом я купался в других водах, и вот остались воспомииания,— это все не то, тут ни при чем и возраст, и прожитая жизнь, и я посейчас покачиваюсь в душегубке на мертвой зыби, и в борта лодки хлюпают камские струи, а небо надо мной — шатер моей зыбки, и я, уже старый, все еще пребываю в материнском лоне, упрямый язычник, и плыву, и буду так плыть до самой моей, может быть и несуществующей, смерти. В этом чудесном слиянии со стихией я слышу все, что происходит в воде: веселый визг стрелками мелькающих уклеек, тяжелый храп столетней щуки, щелканье клешней темно-зеленого рака, хохот резвящихся пескарей, пересыпанье песчиик,— а надо мной, в высоте, степенный разговор кучевых облаков, караваном возвращающихся из ночной подзвездной прогулки. У моей лодочки было свое названье, я сам ее красил и смолил, она ничего не боялась: ни пароходных валов, ни пребываиия над бездной, ни окрика с надвинувшихся плотов, ни потери весел,— потому что я сам бросил их за борт, чтобы, испытывая судьбу, подгребаться к ним голыми руками, а в стальной воде мелькнул кольцом огромный угорь, похожий на змею. Верстами тремя выше по течению был дикий островок, на нем кустарник и миого птиц, и в девять лет я мечтал о том же, о чем мечтаю сейчас,— о жизии без тени несвободы, об оазисе без прав и обязательств, о такой точке земли, где солнце замеияет часы и достаточно одного своего голоса. Вытащив на отмель легкую лодочку, я насквозь пронизывался счастьем Робинзона и шел заново исследовать свой мир, хотя знал его достаточно. На острове всегда было прохладно, даже в самый жаркий день, и было жутко до сладо-

сти, без города, без людей, без моста в прежнее, по которому можно было бы вернуться бегом под отчий кров,— от жилого меня отделяли речные бездны. Я приплывал сюда ради этой жути, которую нужно было преодолеть, глядя на жизнь иезиакомых с нею птиц, купавшихся в нагретом песке. И когда я возвращался к оставлениой лодке, чтобы плыть обратио, это было все равно что в горах подойти к самому краю пропасти, заглянуть в иее, потом зажмуриться и склониться иад бездной. Столкнув лодку в воду, я ие успевал лечь иа дно, как прибрежные кусты уже прощальио убегали, а птицы стаиовились маленькими точками. Лежа навзничь, я плыл теперь по небу иа самолете,— еще не было тогда никаких самолетов, кроме рассказанных в сказках. И я снижался только тогда, когда доходил до ушей шум города или стук пароходиых колес. Вдруг став благоразумным мальчиком, я садился за весла и с середины иашей огромиой реки, как с холма, скатывался к иаселеииому и деловитому городскому берегу.

Продернув цепь в кольцо и защелкнув висячий замок, я чувствовал большую усталость — от солнца, от ослепления водой, от впечатлений. Дорога на крутой берег. Первые шаги просты — как детство; круча начиналась дальше, и, чтобы ие идти в обход, по дороге, я взбирался по тропинке, вытоптаииой иа подъеме иогами молодых. В глазах бельмами прыгали блестки воды, ладони щемило от весел. На самом верху ждала иавозиая пыль иабережной: вот мы после сказок вступаем в самую обыкиовенную, рассказанную и затасканную жизнь. Здесь оиа иесложиа, ио будет утомительнее в других городах и свяжется с иими в путаные узлы, будут зиакомые и иезиакомые улицы, люди разиых одежд и языков, новые реки и притоки рек, остатки истории, завалеииые иовыми наслоениями событий, огненным вихрем будет сметать людей, и все это совершенно ие нужно. В объезд крутизны тяиется обоз ломовиков, увозя с пристаней чайные цыбики, свертки рогож, ящики с иадписью: «Верх», «Осторожио»; мостовая булыжиая, балаганы с золотой воблой, мылом, лаптями, сухарным квасом и кислыми щами; и есть и будут еще портовые иабережные с вереиицей кабачков, шатающимися матросами, афишами на чужих языках, гудящей толпой, запахом моря и пота, чередуются города севера и юга, белая и чериая кожа, светлые и темные глаза, блеск магазииов, вывескн банков, театры, человеческая икра в колясочках, газетные киоски, гарь войны, груды и завалы ничем не оправдываемых человеческих страданий, камерная музыка, делаиная улыбка зиамеиитостей, сутолока быта, проповеди, международные выставки — все это впереди, ио без всякой передышки, сейчас же, за поворотом улицы провинциальиого русского города, спящего в передией культуры, пыльного, играющего в преферанс и винт с прикупкой и гвоздем. Ради всего этого иеразумный мальчик расстался с лоном полноводной родной реки, с островком своих настоящих владений, с обществом птиц и чистейшим золотом незапыленного солнца. Дорога домой идет мимо почты, через топо-

левый театральный сад, миную гимназию, которая уже в будущем году начнет свою дубильную работу: выколотит детское чувство, вобьет на смену латынь, таблицу умножения, растлит обрывками ученой лжи и пустит по миру нравственным нищим, рабом в колпаке царя природы. Ближайшей осенью я на приемном экзамене не сделаю в диктовке ни одной ошибки, и учитель русского языка, дохнув табаком и водкой, скажет: «Молодец, будешь писателем!» — кони взовьются, и колесница жизни помчится по ухабам, пока не окажется, что это были только розвальни, влекомые караковой клячей. Сразу, из трех великих стихий: земли, воды и воздуха — в неверие серого и наскучившего быта. И, вычеркнув написанное наудачу будущее, опаленный солнцем, с порванными коленками, я возвращаюсь домой, и мать облегченно вздыхает: «Боюсь я этих твоих катаний!» Я говорю: «Знаешь, мама, я видел в воде огромного угря, совсем как змея!» И она ласково старается пригладить мой непокорный вихор. Скоро из суда вернется отец. Как хорошо, что всего остального еще не было!

Самое главное в моем детстве — мой первый дальний выезд,— не пытаюсь объяснить, почему в нем нет нужной отчетливости. Мне кажется, что мы дважды были с отцом в Уфе, на протяжении двух-трех лет; но иногда память уверяет меня, что он умер в первую поездку, едва увидев свой родной город. Все равно: он не повез меня в наше именье, о котором много мне рассказывал. И тогда, и теперь в моем представлении все эти любимые отцовские места стали картинами из детских лет «Багрова-внука», знакомыми мне до мелочей. Каждый сам создает свой рай, и мой был создан в полном согласии со страницами Аксакова,— но с прибавкой и своего, ранее облюбованного и возведенного в святость. В Каму влилась Белая, в Белую Дема, а к елям, пихтам и прозрачной аскетической лиственнице прибавились необычайно могучие буки и вязы оренбургского и уфимского края. Я так вчитался в «Семейную хронику», что не всегда мог сказать, что случилось со мною и что с тем мальчиком, родившимся при Екатерине, который лишь на 65-м году жизни стал писателем и день за днем записал впечатления раннего детства. Мой отец казался мне милым добряком, женатым на блестящей уфимской красавице, молчаливо страдавшей в степной глуши и давшей мне жизнь. С ними я, еще ни разу не побывав дальше деревни Загарье, уже давно мысленно совершил все дальние поездки из симбирской вотчины в угодья и приволья башкирцев Уфимского наместничества, из Казани в новое Багрово, с переправой на «посуде» через Каму повыше Щурана, лошадями на Татарский Байтуган. Я помнил имена местечек, где такой же, как я, мальчик гуливал или уживал рыбу,— Антошкины мостки, Малую и Большую Урему, Потаенный колок и Кивацкий пруд; и когда я действительно увидал Уфу и закинул удочку в воды Демы, все это было мне давно знакомым и родным, и я не удивился, когда отец повез меня показать своим родствен-

никам и их фамилии оказались хорошо мне известиыми по аксаковской книге. Мие особеино было памятно и приятио, когда погладили меня по голове старики Нагаткины, потомки тех, которые с такой лаской отиеслись ко всеми затравлениой матери Багрова-внука,— ио мие они, коиечно, казались теми самыми, все еще живыми и по-прежнему добрыми, а когда я вел под ручку к столу крошечную, сгорбленную старостью мою родную бабушку, родом Осоргину, фамилия которой позже присоединилась к моей родовой,— я помнил, иа каких страницах любимой книги встречалась мне эта фамилия, как и фамилия моего отца.

По Каме мы плыли ранней весной, когда с двух берегов доиосились соловьииые хоры,— ио и в хоре каждый соловей пел свое и для себя. В Пьяиом Бору, где пересадка иа Белую, пробыли сутки иа пристани, ожидая бельский пароход. Здесь, опять как «тот мальчик», я с увлечением ловил рыбу, бросавшуюся целой толпой иа едва задевшую поверхность воды иаживку; передо миой иа миого верст расстилалась гладь изумительиой Камы, а на крутом берегу гудел бор. На реке Белой даже в эту пору были песчаиые перекаты, и, пока облегчали и перетаскивали пароход, мы с отцом проходили целые версты берегом, где я десятком детских объятий вымерял толщину древесиых стволов — у иас, в лесах хвойных, таких гигантов ие было. В Уфе нас ждала цветущая сирень, которою был иапоеи воздух по течеиию реки. Отец был счастлив и показывал мне, потерявшемуся от иовых впечатлений, все, что ои любил и знал, и теперь все это я также зиал и любил по-иастоящему, а не только по киижке. Но все-таки в детском моем созиании так спутались картиины этого первого путешествия, что я вижу себя только урывками, ие отдавая себе полного отчета, в какой приезд я видел это и этих и в какой — то и тех. Мелькнул и исчез старый дом моей бабушки, где мы, вероятио, жили, и иа смену ему вырос дом иовый, где жили семьи моих теток и где отец, простудившийся еще в дороге, скончался так виезапно, что вызваииая телеграммой моя мать прямо с парохода проехала на кладбище. Тут в страницы моей жизии впутываются черные иевнятные строки: сиачала шепот и хождеиье иа цыпочках, потом в большой комнате постель, около которой я сижу на стуле с книгой, ие зная о важиости подошедшей минуты, потом кто-то говорит мне иа ухо: «Оставь книгу, посмотри!» — и мои глаза встречаются с глазамн отца, с последним, что в ием осталось живого, и дальше память моя опять теряется в мути и кошмаре тех дией. Я просыпаюсь и вижу, как иа постели, уже пустой и иакрытой одеялом, вдруг приподымается и садится белая фигура, я кричу от страха, и из соседией комиаты вбегает моя кузина,— постель сиова пуста, а из отвореиной двери доносится моиотонное чтение. Я опять засыпаю, и иаутро комиаты иаполняются людьмн, мне незнакомымн, много людей иа обширном дворе, и каждый человек подходит ко мие, гладит по голове или что-то говорит, и я зиаю, что это потому, что умер мой отец, но мое горе и страх мой подавлеиы торжествеииостью, так что я уже не мальчик, а взрослый че-

ловек, центр общего виимания, и это заставляет меня держаться с иекоторой важностью. Подходит ко мие седой строгий человек, подает мне руку и говорит, что он зиал моего покойного отца еще маленьким, как вот я сейчас, и что если моя мать и сам я согласимся (он говорит со мной иа «вы»), то он готов быть мне отцом, дедом и опекуном. Я расшаркиваюсь, как меия учили, и мне кажется, что все это из книжки, во всяком случае, ие совсем иастоящее, как и все, что кругом происходит. Того же страииого старого человека я вижу позже в разговоре с моей матерью: оиа ие может удержать слез и только отрицательио качает головой, а ои тихо ее убеждает и смотрит очеиь добрыми глазамн. Потом мать обиимает меня и громко спрашивает: «Разве ты хотел бы расстаться со мной? Ты хотел бы быть богатым?» Я рыдаю, жмусь к матери и иеиавижу доброго человека и в то же время продолжаю думать, что это из книги, которую я читал,— ио не помню из какой, и тогда старик почтительио целует матери руку и уходит. Все это обрывки памяти, которая проясияется только с тех дией, когда я оказываюсь в кругу множества моих кузии и кузеиов, молодых и веселых, школьников и студеитов, гораздо старше меня и все-таки моих близких друзей. Мать уехала, оставив меня в Уфе до конца лета. Я кажусь себе гораздо более взрослым, и моя летняя жизнь проходит между чтением и веселыми прогулками пешком и иа лодках. И вот тут с иеобычайиой ясиостью я вижу огромный костер иа берегу реки Демы — иочь, огнеиные дуги бросаемых с берега в темную воду головешек, хоровое пенье, смех и прекрасиое лицо кузиины Маиечки, в которую я откровеино влюблеи и от которой не отхожу ни на шаг. У иее голубые глаза и прекрасные каштаиовые шелковые волосы. И вообще я счастлив.

Такой, то жуткой, то сладкой и радостиой, мути и яви полны мои уфимские воспомнианья, в которых я никогда ие разберусь, да и ие хочу разбираться. Полудействительные, они вразброд, цветными пятнами развешаны в картиниой галерее, куда я иногда убегаю от ясиых и разлиованных, аккуратненьких записей взрослой жизни. Они — как цветные шарики, подбрасываемые опытиой рукой и мелькающие в воздухе скрещением забавных дуг, как переводные картиики, иаляпаиные в детском альбоме по системе, понятной только собствеиику. Я ие люблю калейдоскопа: в ием стеклышки располагаются с обязательством строгой симметрии; много приятиее коробка с разиообразными по величине и окраске, по ободкам, по количеству дырок пуговицами, костяными и перламутровыми, железными и обтянутыми материей, пухлым шариком и сплющенной моиеткой; и каждая пуговица — часть портрета того, на чьей одежде она была или будет пришита. Река Белая — действительио белая, хотя и течет в зеленых берегах. А иа Деме, в самом устье, летом застревают в песке и тиие огромные коряги; в лунную иочь мы высаживались на них с лодки и располагались в живописных группах — по шесть-семь человек иа одной коряге. Отмахнув рукой эту иочную живопись, я в узкой и черной лодке с уютным

балдахином подъезжаю к разукрашениой цветиыми фонариками иебольшой барке, в цеитре которой стоит пианино, и между пьяцеттой и островом Св. Георгия слушаю затаскаиную, но в этой обстаиовке всегда свежую сереиатину, пока гондольер вертит свою сигаретку; потом мы отплываем от слишком сладких звуков в глубины и ответвления большого веиецииаиского каиала, потому что сегодня хочется чувствовать себя беззаботными туристами. Поезд пролетает иад блюдами и глубокими чашками норвежских сладких вод, и гориый поток сталкивает в них завернутые в кружевную пену стволы строевого леса — трубочки со сливками в воде червленой стали. По лесиому озеру в верховьях Камы мы стараемся не плескать громко веслами лодки, а за нами тянется крепкая бечева с оловянной ложкой, к которой припаян стальиой крючок, и схватившая его иепуганая рыба дергает с такой силой, что лодка вздрагивает от удара. Последними взмахами покрасиевших от холодной иатуги рук мы кидаем тело к скалистому берегу, к зиакомому уступу, который то выныривает, то скрывается под водой, и, если удалось схватиться, прибой уже не сбросит обратно в волны, а и сбросит — ие беда, только понадобятся еще усилия в игре голубыми водами Средиземного моря, ставшего приветливым после стольких лет знакомства. И вот, отфыркиваясь и стараясь откинуть налипшие на глаза волосы, я карабкаюсь на бережок узкой, но глубокой речонки в Звенигородском уезде, таща пойманную щуку за леску, которую пришлось отцепить от путаницы корней на самом дне,— а ради этого как не броситься в воду уже взрослому человеку во всем рыболовном иаряде, дорожа минутой и добычей. Это ие я швыряюсь — это жизиь швыряется картииами, навороченными ею, чтобы ие о чем было жалеть, когда часы иачнут бить полночь и склонится фитиль оплывшей свечи. Ои всегда со мной, альбом памяти, образов и выдумок. В окно его первого прочного листа вставлен дагерротип иа серебряиой пластинке, но я ие могу разобрать черт лица и ие помию, кто иа ием изображеи. Дальше прозрачиой бумагой заклееи карандашиый портрет деда по отцу, бритого, в татарской ермолке, халате и с длиным чубуком,— может быть, потому я и люблю татар, что считал татарином своего деда, хотя ои был стариннейшего русского рода, гораздо более старого, чем бабушкин. Еще дальше — ряд выцветших фотографий, миого раз показаиных мие в детстве с иепременным повторением: «Это папа, а это папа с мамой, а это мамииы папа и мама». На пластинке слоновой кости изображеиа красками девочка с перетянутой талией, и тот же самый портрет я вижу на обложке книги, издаиной о «вещах человека» и иаписаниой там же и тою же рукой, которая пишет сейчас эти строки. Постепеиио свежеет бумага фотографий и лица стаиовятся ясиее, кринолины сменяются туриюрами и плечевыми буфами, мужские галстуки бантом — вытягиваются и прячут концы за вырез жилета, появляются мундирчики школьников и фартучки гимиазисток, попадаются чаще люди в очках и пенсие, снятые ие в рост, как старались сниматься прежде, а лишь по пояс,

и далекое прошлое через вчерашнее делается близким и настоящим. И по мере того как я листаю альбом (или десять, или сто альбомов), мне делается дороже прошлое, в котором так путаются лица и так много глубоких провалов,— чем безупречные отметины настоящего, рассевшегося барнном иа примятых и иамучеиных плечах. Я перевожу стрелку часов иа вчерашний полдеиь, думая этим обмануть время. Я перестал любить жизнь,— это звучит трагически и актерски, ио я действительио перестал ее любить, и причии слишком много, чтобы их перечислять; главная нз них — иеобратимость детских моих воспомннаиий к имеющим ушн слышать: двери иа засове н обиты войлоком. Но я слишком горд, чтобы подавать жалобу в тюремиое окошко.

В моих детских воспомииаииях отец и мать заслоияют сестер и брата; вероятио, потому, что я был иа десять лет моложе брата и на четыре — младшей сестры; между миою и имн была пустота, образовавшаяся смертью двухлетнего Вани, и я был слишком маленьким для их компанин. Многое соедииило нас позже, уже в годы взрослости, но и это оборвалось на перекрестке дорог: моя увела меня иа запад. Я помню в детстве только крашеный пол нашей залы, посыпаниый тальком: два раза в зиму у иас собиралась гимназическая молодежь. Но я лишь болтался под иогами — меня укладывали рано спать. Ни тени завнсти к старшим — мой мир был особым н чуждым шума: книжки, столярные и слесарные ииструменты, пересадка растеиий под руководством отца, строительство замков ребяческой фантазии. Только одно было общим для нас всех: мелодия пеиья. Отец, если ие был занят своими бумагами, нзмышлял какое-нибудь рукоделье (иногда сложиое: мы с ним заново обивали мебель, делали рамки для картин, чинили замки, мастерили резные шкапчики) и иеизмеиио что-нибудь напевал. Мать, занимаясь хозяйством, приятным голосом пела ромаисы, иногда по-польски (оиа воспитывалась в Варшаве). Брат был по-настоящему музыкален, иемного играл на рояле и обладал прекрасным барнтоиом при абсолютиом слухе; любили петь и сестры — по преимуществу что-нибудь чувствительное или русские песии. Не отставал и я, легко схватывая мотивы из опер или стариниые песии, теперь уже всеми забытые, про Ваньку-ключника, злого разлучннка, или про то, как «прогремела труба, повалила толпа» и как палач, блеснув топором, показал толпе «ту головушку неповнннную»,— не знаю, почему у иас в таком ходу были песин арестантские и революционные восьмидесятых годов; может быть, потому, что в иашем городе жило немало ссыльных и от иего иачиналсн этапиый сибирский путь. Мой репертуар вольных — как говорили тогда — песеи пополиился краткой уфимской жизнью, где мои старшие кузины были стриженымн н на берегу Демы распевались студенческие песни; там я впервые был поражеи перекличкой «Слушай!» в зиамеиитой тюремиой песие «Как дело измены, как совесть тираиа, осеиняя иочка темна» — ее любил напевать и мой отец, чиновник н члеи уголовиого суда. Я думаю, что ие словами, а звукамн была вспахаиа

во мне почва для будущих благодатных всходов (благодатных — это совсем серьезно!), вызревших позже в тюрьмах, ссылках, при всех режимах и всех обстоятельствах,— и так до сего дня; как обидно, что сей день — уже закатный! Если бы можно было повторять путь пройденный, я повторил бы его без колебаний, не потому, что он хорош, а потому, что иного перед нами не было и неизбежностью своей он до конца оправдан. Голосом старческим певала и моя няня Евдокия Петровна — про стоявшую во поле березоньку и про не белы-то снеги; только на свой лад и своим мотивом. Отчасти эта ее музыкальность была причиной того, что я, еще четырехлетним, собирался на ней жениться, но получил отказ и ломтик арбуза с правом проглотить косточки. В третьем классе гимназии я завел гармонию и играл на ней как виртуоз, с таким дрожанием звуков, что младшая сестра даже плакала: она очень любила вальс «Невозвратное время». Но меня не учили музыке, так как несколько хромала моя латынь.

Время, конечно, невозвратное, но плакать не о чем. Внезапно, по смерти отца, наша семейная жизнь свернулась: исчез зимний сад, комнаты стали маленькими. Брат был казанским студентом, две сестры вышли замуж и уехали. Их жизни не входят в эту повесть о самом себе. Не связанный хроникой, я крутым поворотом возвращаюсь к первым дням гимназической учебы, к фуражке с огромной тульей и гербом, к ранцу с бело-желтыми разводами то ли оленьей, то ли коровьей стриженой шкуры, к длинному, на рост, пальто, в полах которого путались ноги, к грубой шерсти башлыку, который у маленьких напяливался на фуражку, у старших, в сложенном виде, защищал только уши, а у семиклассных и восьмиклассных стариков заменялся белым, кокетливым и красивым, треугольно опускавшимся на спину, а концы висели спереди свободно — немалая вольность. Ноги зимой в глубоких резиновых калошах, хотя и в них пальцы зябли, не то что в валенках, не полагавшихся по форме. И хотя нас рядили солдатиками — сальной пуговкой, как звали нас уличные мальчики,— и хотя обучали военной гимнастике и сдваиванью рядов, но зато не соблазняли сознания позднейшей бойскаутской дребеденью, нашивками, знаменами, дисциплиной и девизом «Будь готов»,— может быть, просто по глубоко штатской провинциальной лени. Все мы, школьники, наши родители, наши учителя,— вся страна знала, что гимназия есть необходимое зло, что в ней усердно преподается то, что не нужно и не будет нужно, и опускает все то, что может понадобиться в жизни. Мы обламывали зубы о латинские и греческие орехи, склоняли, спрягали, учили назубок исключения, старались запомнить, сколько легионов отправлено Цезарем туда-то и как протекали анабазис и катабазис; мы навсегда отпечатывали в мозгу пифагоровы штаны, генеалогию прародителей, призвание варягов, происшествия в семействе Романовых, мысы, носы, полуострова и проливы, стрекозу и муравья, с одинаковым усердием затверживали «андра мой эннепе», «не лѣпо ли ны бяшетъ» и слова с буквой ять,— но, окруженные почти девственными лесами, не обязы-

вались отличать злака от овощей и слизияков от млекопитающих: естествознание было изъято из гимназической программы, за исключением легенды о земных тварях, попарно втиснутых Ноем в его достопамятной ковчег. В нашем «физическом кабинете», где мне довелось побывать лишь раз, вращался стеклянный круг перед площадкой, сев на которую можно было ощущать, как дыбом подымаются на голове волосы: граница наших физических познаний. В изучении российской словесности мы были прочно прихлопнуты крышкой гоголевской Коробочки, зная по слухам, что Гончарова звали Иваном Александровичем, а Кольцов был прасолом. Затем нас отправляли по университетам. Но было во всем этом одно преимущество: полное сознание, что гимназия не способна ничему научить и что поэтому каждый, не желающий остаться неучем, должен учиться сам, не считаясь с программами и не обращаясь за советом к протухшим и спившимся с круга учителям. А когда к нам наконец попал в учителя греческого языка будущий профессор истории Николай Рожков, выражавшийся членораздельно, мы приняли карельскую березу марксистского лба за подлинные сократовы шишки,— и немалая часть его учеников уверовала в русского бородатого бога.

Мне было не трудно учиться; поступая в первый класс гимназии, я уже знал начала латинской грамматики, так как был подготовлен матерью. Но к одному не мог быть подготовленным в семье: к бессмыслице гимназического преподавания, и она была для меня источником великих страданий. Я легко решал арифметические задачи с многозначными числами, но столбенел и терялся, если в их условии говорилось, например, о крестьянине, купившем кусок шелковой материи в 427 аршин и 3 вершка по 4 рубля 81 копейке за аршин, из которых 1 аршин 17 вершков он истратил на кафтан, 221 аршин 1 вершок на юбку жены и остаток обменял на овес, приплатив 11 копеек,— сколько пудов овса он получил, если пуд стоит 53 рубля 20 копеек? Я приставал к матери с вопросами, зачем крестьянин шил кафтан из шелка и почему так много пошло на юбку? Она старалась убедить меня, что это только так, для трудности, и что крестьянин тут ни при чем, а нужно просто вычесть кафтан и юбку из куска, помножить на стоимость аршина и разделить на стоимость овса,— но я так не мог, мне мешало лицо крестьянина, хозяина нашей дачи в деревне Загарье, зимой носившего меховую шапку, и я не мог представить себе его жену в такой огромной шелковой юбке. Когда же мы заучивали наизусть — Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари,— никак я не мог проникнуться святостью Евангелия от Матфея, так как невольно представлял себе нашу кошку, котят которой дворник трижды в год уносил топить. Я был очень способным дома, когда мать готовила меня к поступлению в гимназию, тем более что присутствовал при ее уроках со старшими детьми, многое запоминал и после воспринимал легко; но гимна-

зия ие только убивала всякую жажду зиания, ио и развивала тупость восприятий. Помню, как однажды, ие одолев какой-то юбки в 200 аршии и зубрежки грамматических исключений, я почувствовал себя глубоко несчастным, заживо замученным и осужденным иа гибель человечком, лег на пол, разрыдался и так заснул. Я лежал в той яме, где арестант высосал корову, и боялся поднять голову, так как меня преследовали Иуда и братья его и хотели заставить писать мелом на черной доске, и это были древляне, которые привязали к верхушкам деревьев Святополка Окаянного за то, что он не решил задачи, и теперь хотели так же разорвать и меия. Лежать было очень холодно, лодку качало, под голову забралась скользкая рыба, пальцы мои были перемазаны в чернилах, и я стал тоненьким голосом звать мать, а громче крикнуть никак не мог, что-то застряло в горле. Вдруг стало хорошо, точно пригрело солнцем; мать подняла меня, довела до постели, и я опять заснул крепко, сладко и без страшных снов. После этого иесколько дней меня не пускали в гимназию и ие заставляли учить уроки,— и этих дней было достаточно, чтобы вдруг все стало гораздо проще, Фарес и Зара прочно утвердились в памяти, а Святая Ольга мне даже понравилась своей замечательной хитростью, и я перешел во второй класс с похвальным листом. Вглядываясь в даль жизни, я вижу себя в Неаполе очень жарким летом, в дрянном отеле. Я приехал по делу, но еще в поезде почувствовал страшную головную боль, свалившую меня в постель. Со мной не было никаких лекарств, и ие было сил поднять голову, встать и позвонить. Мигрень дошла до такой степени, что я, навалив иа голову подушку, выгнул тело, напрягся и старался воткнуть голову в твердый тюфяк. Думать ни о чем ие мог, ио весь был проникнут ощущением своего одиночества и грядущей гибели, глухо рычал в подушки и боялся перемеиить положение. Потом на какое-то время я потерял сознание, а когда очнулся, боль сразу ослабела и еще через иесколько минут совсем прошла. Я встал с осторожностью и боязнью, увидал, что за окном уже темнеет, почувствовал голод,— и этот вечер в Неаполе был самым приятным и очаровательным за мое долгое знакомство с иелепейшим из итальянских городов. Было поздно идти по делам, знакомых ие было; я поднялся фуникулером иа Вомеро, дошел до монастыря Камальдоли и смотрел оттуда иа Неаполитаиский залив и иа город. Я совсем ие был одиноок,— всюду горели огни, зажженные людьми, меня окружал живой мир иеобыкновеииой красоты, и уже в полной темноте я угадывал знакомые очертания берегов, городков и двугорбого Везувия. Радостно изумляясь своему блаженному состоянию, я уголком мозга вспомнил такой же страиный переход от ужаса и кошмара к покою и ясности — это было связано с муками гимназистика и как будто пригрезившейся материнской лаской. И когда в Москве я лежал иа заплеваином полу Всероссийской Чека, в так иазываемой конторе Аванесова, ожидая отвода для меия и других более уютного помещеиия, была минута, когда мне хотелось умереть от

отвращения к глупому обезьяньему миру; увидав доску, лежавшую под нарами, на которых мне не нашлось места, я подложил ее под голову, заснул, а через полчаса уже улыбался, когда дородный сытый латыш, разводивший нас по камерам, на ломаном языке назвал «несознательными буржуями» меня и моего товарища, поделившнх годы своей молодости между тюрьмами и эмнграцией. Нужно только немножко отдыха, немножко отдыха,— и опять можно жить и даже смеяться. Если бы, падая с отвесной скалы, мне удалось уцепнться за ветвь дерева, над ней навнсшего, и тем отсрочить гибель,— я бы, думается, нашел время полюбоваться прекрасным видом на окрестностн. Почему же жизнь не дает нам больше таких передышек? К концу учебного года, утомленные нелепостямн и зубрежкой слов, имен, правил и формул, пропитанные дрянным воздухом гимназнн, мы держали еще экзамены, проигрывая весну и лучшее молодое солнце; и все же наступал наконец день, когда Малнннны, Буренины и Евтушевские, негодуя и раскорячившись, летели под стол или рвалнсь в клочья и мы кубарямн скатывались с обрыва к реке и докрасна обжигались на беспощадном солнце. Только трн месяца каникул и были подлинной жизнью; остальное время — бездарным и злым нздевательством над маленькими будущими людьми. Поразнтельная страна! Ее тюрьмы были образцовыми школамн, рассадникамн не только сознательности, но и образования; ее среднне школы — во всяком случае в провинции — были подлиннымн тюрьмами, с восьмиклассной пеннтенциарной системой. Какое плодородие почвы и какая крепость духа потребовались, чтобы эта страна, вздрогнув и потряся весь мир, не надорвала себе сердца!

Я не прнсягал на верность последовательной строчке, не будучи ни отрывным календарем, ни зннгеровской машинкой. Наш мозг не фильм, а светочувствнтельный песок, и я, взяв горсть, пропускаю его струйки между пальцами. Вспомните, что вы на днях видели во сне: школьную парту, невыучеиный урок. Я видел речку Егошиху, хотя она, может быть, давно высохла, и только линия смородиновых кустов напоминает, что тут была влага. Мы были усталыми старичками на уроках географин, мы стали малыми детьми в политических спорах. Детство не возраст, а настроение. После десяти лет блужданий по пятнадцати странам Европы я подъезжал на пароходе к городу, в котором родился. У самого города через Каму был переброшеи оскорбительный мост. Там, где была рощица, а после — фабрика, нз казарменных зданий вырос университет, на открытне которого я прнехал. Молодые люди подбелили виски и важничали ревматизмом. Говорнвший приветственную речь столичный профессор повернулся на каблуках к всемилостивейшему портрету, волею которого вспыхнуло на крутом берегу высокое просвещение; впрочем, он воздал честь и местному богачу, давшему на благое дело свой дом и свои деньги, как раньше он охотно жертвовал на организацию революционного террора; я знавал его молодым — теперь он был сед, но очень бодр. Он не верил ни в сон, ни в чох, ни в птичий

край, но ему нравилась сибирская вольность: через хребет Урала ее избытки перекатывались сюда. Старый терапевт, лечивший и меня в раннем детстве, показал мне сокровища археологического музея, собранные его любовью и страданием: и сассанидские блюда, и клыки мамонта. С земским деятелем мы вспомнили, как чествовали в клубе заезжего Михайловского, которого никто из чествовавших никогда не читал, но это не препятствовало уважению: человека преследовали, значит, его нужно было почтить. Университет был открыт — тому доказательство кучка безусых студентов, еще не вкусивших храма науки. И тогда я отправился бродить по городу, улиц которого не узнавал, но отмечал в памяти низенькие, еще не перестроенные дома. Тут, против театра, на площади, раньше казавшейся мне огромной, устраивался зимой каток. Губы гарнизонных музыкантов прилипали на морозе к медным трубам, у мальчиков, бегавших «гигантским шагом», свистал пар из обеих ноздрей. Я тоже умел выделывать на льду фигуры и однажды шлепнулся прямо к ее ногам: возможно, что ее звали Женей или Катенькой, точность уже не важна, если ее внук не хуже меня скользит по льду на американских коньках. Но сейчас было лето, и пух тополей устилал дорожки сада снегом, мягким и теплым. Этот пух я собирал в кучки и горки, гуляя с мамой или с няней; потом я размахивал его ногами, спеша с удочками через сад, мимо почты, мимо балаганов с золотой воблой, по крутой тропинке на берег, где у пристани привязана моя лодочка. Потом, фланируя без цели, празднуя безделье, я внезапно остановился посреди пустынной аллеи и понял, что это и есть счастье: на мне была совершенно новая, не тронутая солнцем фуражка студента. Тополя разрослись и стали огромными, аллеи сузились, люди перестали быть знакомыми, а я был несколько слишком наряден, в черной паре, сшитой в Лондоне и пригодившейся к торжеству открытия храма просвещения. Европеец вернулся в захолустье. Вечером я был зван на пельмени в тот же самый домик на Екатерининской улице, к двум старым девам, моим сверстницам по гимназическим годам,— насквозь пронизанный поэзией родины. Я присел на скамейку, и мимо меня прошел очень серьезный и деловитый мальчик с замотанными удочками. Жизнь продолжается.

Отходя от пристани, пароход гудит совершенно так же, как и в те года. Он делает крутой поворот, так как стоял носом против течения. Берега и город, в котором я никого не оставляю, быстро пробегают большим обратным кругом, и отрывистым сердитым гудком мы предупреждаем недальнюю рыбачью лодочку; я всегда считал за честь такой сигнал, отгребался небрежно и кричал: «Ладно, проедешь, места много!» — а по проходе повертывался носом к крутым валам: лучшие качели в мире! Как бы мне найти тот прекрасный тон равнодушия и опыта, которым я, войдя в рубку, заказывал стерлядь кольчиком и в ожидании читал литографированные лекции по римскому праву? А в Пьяном Бору — две дюжины раков. Дальше — перекаты реки Белой,— но не будет ни духа сирени, ни сладости липового цвета,— не та пора. Мне

предстоят деловые визиты и доклад об европейских военных настроениях. Еще ждет могила отца, которой я не найду, как не нашел могилы матери. Ко мне подойдет незнакомый человек и скажет: «Вы помните свою кузнну Манечку? Я ее муж». Я помню очень молодую девушку, прн которой я состоял рыцарем! «Приходите к нам сегодня пообедать». Я прнехал нз Рнма через десять и более столиц, воюющих и нейтральных, и вот я наконец не на шутку взволнован.

И вдруг все кружится, взлетает и падает; вместе со всемн кружусь и падаю я. По крыше дома в Чернышевском переулке с противной монотонностью бьет пулемет. Когда наконец выходят газеты, в списке народных комиссаров — уфимское нмя. В детских воспоминаниях «кузнна Манечка» освежена недавней уфнмской встречей, но московской встречи я ие ищу; н, однако, Москва не Тнхий океан, в котором носятся щепочки, и мы встретились. Я ей сказал: «Нет, я к вам не приду, хотя всегда рад тебя вндеть». Она была уже пожилой, но такой же красивой женщиной, как была всегда. Я пояснил: «Помнишь, когда я был малышом гимназистом и приезжал в Уфу, вы, старшие, бралн меня с собой на Дему, где мы раскладывали костры и пели песни. Однажды позвали к костру старнка башкира, иакормили его, и он пел нам свою песню. У меня на давнее прошлое такая хорошая память, что я не только мог бы иапеть тебе мотив, но и слова помню, башкирские и совершенно мне непонятные. Он пел, зажмурив глаза, а в паузах широко и как-то удивленно открывал их. И был кто-то, кто записывал и слова, и мотив. Но это так, между прочим. И конечио, я лучше помню слова русских песен, которым вы меня научили,— о вольности веселой, о славиом труде; и еще тюремные песни, тоже замечательные. Между прочим, я недавно сидел в тюрьме, ты, вероятно, слышала об этом; но и это не важио. Я вообще очень благодареи вам за то, что вы меня, мальчика, научили любить свободу и ненавидеть тюрьмы и дворцы. Когда я был в Черногории, король этой карликовой страны пригласил меня к себе на прием, но я отказался. «Где вы живете?» Она ответила тихо: «В Кремле». Мы обнялись и простились; в моей памяти я остаюсь ее рыцарем. Спустя иесколько лет, в Берлине, я получил городскую открытку: «Мы здесь». Но в этот день я уезжал в Италию и не мог даже ответить. Я очень любил когда-то Италию, в то время свободнейшую из стран, и остаюсь ее преданным рыцарем; но больше в ней не бываю.

Не изменять никогда детской и юиошеской вере — и тогда не нужно справляться по карте, какими проселочными дорогами и тропинками пролегает путь. В книжке «Робинзон в русском лесу» мальчики испугались и заплутались, но пришли туда, куда и стремились первоначально: в безлюдную глушь, к прекрасной, полной значения жизни пиоиеров, детей прнроды, ее ученнков и друзей. Оиа развернула перед ними свою книгу, в которой было записаио все, что стонт на полках и в шкапах библиотек всего мира, и еще очень многое, что в этих книгах пропущено и ие-

догадливо запутано: все, что было, что есть, и что будет, и что неложно. Для тысяч и тысяч людей эта истина — только малопонятная фраза; они пожимают плечами, думая, что им предлагается всю жизнь есть зеленый лук, запивая железистой водой. Им, в общем, нравится чужое чудачество, но деловые бумаги не пишутся стихами; природа — это отложной ворот, гвоздика, насморк, лягушки и обратный билет; это, во всяком случае, несерьезно, даже если связано с куроводством. На неудобном столе они пишут целую стопку открыток: «Здесь чудесно! Ну, а как вы?» Ранней весной в лесу нет центрального отопления; солнце и дождь равно требуют зонтика. Радостно говоря «увы!» — они расцветают надеждами на старые встречи и за две станции полной грудью вдыхают городскую пыль; немножко обидно, что пропустили заметную панихиду,— и жадно жуют газетный лист. Когда мой отец приезжал в деревню, мы шли с ним открывать новые родники и пили воду из резинового стакана. «Ты знаешь, куда бежит эта вода?» — «В речку».— «А из речки?» — «В Каму».— «А из Камы?» — «В море».— «Ну, а из моря?» — «Из моря куда-нибудь в океан».— «Может быть, она и добежит до океана, а может быть, просто — смотри! — И он показывал мне на облако: — Вон она возвращается к нам!» И я знал и знаю, что все возвращается и снова уходит, что гибнет растение — но возрождается в зерне; что путь пролетевшей пчелы повторит другая, что вечен перелетный возврат птиц. Все, что мне позже открыли книги, что я принял из них и не отверг,— все это было раньше вышито зеленой гладью на клубничном косогоре, рылось и жило подо мхами, под древесной корой, в бесчисленных норках, прыгало по веткам, стояло звонкой песней над крестьянским полем, расцветало на воле и увядало без времени в детском кулаке. И когда на углу Никитской, в большой круглой аудитории, уверенный бархатный голос убежденно бубнил о праве, я слушал с вниманием и думал о том, что выше всего выдуманного нами: о счастье расти на поляне свободным злаком, стремясь вверх и стелясь по ветру с другими. В дни революции площадь Казанского собора в Петербурге заросла травой,— но и раньше я собирал цветы на московской мостовой. Я видел фотографии ангкорских храмов, стены которых просверлены вековыми деревьями и скрыты ползучими лианами. На римском Форуме я сидел под шестью дубами в развалине домика Цезаря; их неразумно спилили, но они прорастут в развалинах палаццо Киджи, и вырастет лес среди камней Московского Кремля, где рос он и прежде. Отец не мог сказать мне неправды: все возвращается. И детской вере я не хочу изменять.

Это было ровно полвека тому назад. Сидя у пюпитра неудобной и непривычной школьной парты, так что ноги едва касались пола, я выписывал на листе линованной бумаги слова, которые диктовал гулявший по залу учитель русского языка. Нас было много, вихрастых, серо- и кареглазых, одетых в домашние курточки и блузы, подпоясаниых кушаками и цветными поясами, пришедших на первый в жизни экзамен. Кроме экзаменатора

в зале сидел апатичный директор гимназии, доставал из носа малые шарики и сыпал на пол,— таким я после знал его все восемь лет. Наши отцы и матери трепетно ждали где-то в соседних классах, знакомились и говорили о том, как трудно, хлопотно и дорого дается воспитание детей. Мы писали (и не забудьте — по старому правописанию), что «бѢдный дровосѢкъ сѢялъ мелкій хмель в зеленомъ лѢсу мачехи, а ГлѢбъ и Андрей сидѢли на ели и Ѣли хлѢбъ, доколѢ имъ не объявили, что, прежде чѢмъ спуститься, имъ доведется помолиться». Нам сообщали «свѢдѢніе, что женитьба лѢкаря нравится великому дѢдушке СергѢю, занятому веденіем дѢлъ въ теченіе шестнадцати лѢтъ. Мальчикъ Петенька вонзилъ занозу в ноготь сестренки, но она не заплакала ни разу. Митенька стал клясться, что постлалъ постель одѢялом и ушелъ въ поле». Мы узнали вообще много интересного, выраженного нужнейшими словами и самыми трудными в русской грамоте. Наконец, написав что-то про «мельницу, мѢлъ и ветхого Ѣздока», про «кожаный чемоданъ и запеченную ветчину», мы поставили точку, и учитель отобрал наши листы с проставленными фамилиями. Я вернулся к матери, озадаченный зеленым лесом мачехи и шестнадцатилетней деятельностью великого Сергея, и мы более часа ждали решения своей судьбы; от этого решения зависело, купят ли мне на путь домой гимназическую фуражку.

И вот, когда я припомнил и пересказал матери все продиктованные фразы, учитель русского языка вызвал меня и мою мать в залу, погладил меня по голове чернильными пальцами и, дохнув мне в лицо водочным перегаром и табаком, сказал, что я не сделал в диктанте ни одной ошибки и что я буду писателем. Мать была горда и счастлива, хотя мечтала, что я буду прокурором, я же хотел стать лесничим, но пока думал только о фуражке с серебряным гербом, в которой я вернусь домой.

И все-таки он оказался пророком, пьяный и опустившийся человек, доведший нас от буквы «ять» до Стефана Яворского и передавший другому, с которым мы доползли до Собакевича. Я не сержусь на них, ничего нам не давших: мы сумели пойти своей дорогой и уже читали Белинского, когда крестик в учебнике словесности еще не запятнал страниц, посвященных Ломоносову. Мы лениво слушали то, что нам говорили, и легко угадывали все, что замалчивалось. Не сделавшись лесничим, я остался сыном северных лесов, полжизни прожившим в кислоте среднеевропейской и южной природы, но не изменившим очарованьям детства. Став писателем, я не написал ни одной книги, где бы символ моей веры не был высказан языком лучшего и единственного учителя моей юности — русской природы,— в тех пределах, в каких мне этот язык доступен.

И эти строки случайных и беглых воспоминаний — только поклон той же далекой стороне: небу, воде, лесам, красной гвоздике и душистому майнику; людям, там жившим и живущим; духу вольности, который вернется, как все приходит, уходит и снова возвращается на этой земле. Теням предков и неслышному зову друзей.

ЮНОСТЬ

Я пытаюсь вспомнить о годах своей юности, хотя ие очень ясно, что разуметь под этим словом, какой отрезок нашей жизиениой дороги. Как это никто не догадался делить жизнь иа трехлетия или пятилетия, каждое со своим ярлычком,— не было бы путаницы, и, главиое, качества и иастроения одного отрезка ие позволяли бы себе вторгаться в иеподобающую клетку. Как вы смеете, уже спускаясь по склону, уже почти спустившись, уже перед окошечком расчетной кассы, ощущать себя моложе и жизненнее, чем полагается вашей категории? Моя зима все еще бесснежиа, а головы тех, кто могли бы быть моими детьми, запорошены снегом. Они пытаются уверить меня, что на долю их поколения выпала тяжкая участь, что их несозревшими подхватил урагаи событий, унес и выбросил иа чужие берега и что это так раио сделало их стариками. Я верю им, сочувствую им, жалею их, хотя мое поколеиие пережило вдвое больше и в тысячу раз тяжелее. И я утешаю: молодость может вернуться, ведь это ие возраст, а мироощущеиие! В жизии, духовио богатой, переживается иесколько возвратов, и иевозвратимо только детство,— ио ведь ие хотите же вы прыгать козлятами? И обратно: бывают люди без юиости; их поезд минует эту таиистве иную станцию зарождения самостоятельиой мысли и страстиого иаката иеразрешимых вопросов. Пожалуй, в нынешней спешке прямые поезда удобиее и экоиомнее. Спешили и мы, ио тогда еще ие гнались за рекордами скорости и техника была иевысока.

Младенчество, ребячество, детство, отрочество, юность, молодость, возмужалость, взрослость, зрелость, возраст средний, почтеиный, преклонный, старость, дряхлость — что еще? Какое миожество верстовых столбов! Подъем сложнее склоиа и богаче оттенками, и труднее всего, кажется, определить, где начинается и где кончается юиость. Часов в десять утра я проходил аллеей городского сада — в день праздничный, свободный от гимназических уроков,— сад был пуст, только что подметеи сторожами, освещеи косыми лучами солнца, приятен, свеж, голосист птичьими иапевами. На повороте в боковую аллейку меня остаиовила волиа воздушиой мысли — иакат иеожидаииого, показавшегося великим открытием: цель жизии есть сама жизнь! Это могло явиться в долгом ходе скрытых и путаных размышлений, но ие могло свалиться с ветки липы случайным подарком. Я читал русских и иностраиных классиков — ни одии из них ие дал мне этой простой формулы, хотя мог иезаметио к ией подвести. С полнотой переживались драмы, помнились прекрасные ответы и умные слова, ио детство, еще вчерашнее, ие ставило ясиого вопроса о цели и смысле человеческой жизни. Его выдвинуло утро и очаровало самостоятельиостью, ниоткудностью моего открытия: цель жизни в самом ходе жизии, в движении, а ие в какой-то последней точке. И я ие знал, что из учебников философии, мие еще иезнакомых, ласково кивают старики разных веков и поколений, домыслившие то, что юиоше шепчет утренний вете-

рок. Я был поражен и взволнован: как это замечательно! Детство осталось за плечами — наступила юность. Дома не заметили, что вернулся уже не тот мальчик, который вышел в курточке сурового полотна, подвязанный ременным поясом: явился новый юноша, предчувственник будущего, обладатель тайны, которая ляжет в основу строительства жизни. На мелком и быстром теченье ручейка блеснули зернышки золота, потом опять набежал песок,— все равно: я уже видел малый свет, который дается новопосвященным.

Я не о себе пишу — какой смысл писать о себе! Я хотел бы даже писать не о мальчике из северных лесов, будущем землепроходце. Если бы я не боялся аудитории (или — не жалел ее), я писал бы даже не о маленьком человеке, а вообще о существе, вступающем в жизнь. В живой природе есть существа без юности — и с длительной, непонятной для нас юностью. Есть отряды крылатых, которые, едва освободившись из кокона, уже делаются совершенными взрослыми особями — и летят скорее полюбить и погибнуть. Есть мушки, самцы которых подстерегают самок у выхода из небытия в бытие и, помогая им разорвать кокон, не оставляют им ни мгновенья девичьей жизни,— а после кладки яиц уже стережет смерть. Есть мотыли, детство и юность которых длится семнадцать лет в земле в форме личинки, а жизнь взрослая, окрыленная, меньше недели. Есть человеческие дети со старой душой, и есть старцы, доносящие до гроба, не расплескав, кубок молодых чувств, испитый до дна и все-таки полный. Став в сторонке, будто бы бесстрастный, а на деле взволнованный и смущенный величием жизни наблюдатель, страстью познания пьяный всебожник, мальчик, впервые попавший в кинематограф,— я, в сочетании чешуйчатых пятнышек, в отливах жучьей брони, в изгибах членистых тел, в зеленом лаке хлорофилла, бутонах, шипах, подземном и надземном всепожирании и всесотрудничестве, в полетах, ползанье, стойком внедрении корнями, завидуя тысячеглазню мухи и антеннам последней букашки,— ищу понять и познать, как это случается, что просыпается семя и разматывается клубок жизни, у каждого свой, но единый в своем бесконечном разнообразии, роднящий меня с бактерией, мокрицей, плесенью, слоном и Шекспиром? О какой говорите вы цели, не зная не только причины, но и причины причин? О каком добре, не имея ни в пространстве, ни на земле, ни в себе самих точки опоры? О какой истине — кроме искомой и ненаходимой? Вглядываясь в эту жизнь со всею пристальностью, доступною хрусталику глаза, я вижу только вечный путь с цветным фейерверком символов, скользящих отметок на замкнутом круге, но я не вижу ни концов, ни начал, и в вихре нагромождающихся гибелей и кажущихся рождений я, к несказанной радости духа, в награду за его пытливость,— не вижу смерти: ее нет! Сейчас я могу изложить это каким-то хоть и сумбурными, но внятными словами; тогда, в первый день моей юности, конечно, не мог — даже самому себе. Но если бы я мог сейчас испытать хоть сотую долю того счастья, какое дала мне тогда

зарница непостижимой истины! Тогда она была свободной — сейчас оплетена беспомощной речью.

Мы говорим здесь о юности, о рождении сознания,— я не обещал биографических событий, они нужны мне только для иллюстраций. Но я легко могу их выдумать. Так, например, завязав в узелок мое открытие, первую настоящую драгоценность, уже не детскую игрушку, я отправился с нею по свету на поиски пробирной палатки. Где-иибудь, во дворце, в подвале, в музее или на бирже, должны быть абсолютные знания и абсолютные цениости; мне надо знать, сколько золота в моем куске руды. Я был хорошо воспитанным мальчиком, и, входя в кабинеты мудрецов, я шаркал ножкой и вежливо показывал принесенный образец. Обычно мудрецы осматривали меня с ног до головы, бросая беглый взгляд и на то, что они принимали за игрушку, и, будучи очень заняты, отсылали меня к странице такой-то, строка такая-то общедоступиого учебника, где подобное открытие было описано, доказаио и опровергнуто, затем вновь подтверждено и оставлено под вопросом до следующего издания. Я пытался лепетать, что важность, собственно, в том, что это я, мальчик, открыл для себя самого и что мне хочется, чтобы вместе со мной порадовались, и тогда они шутливо отсылали меня в столовую, где меня поили чаем со сладкими пирожными. Но как быть? У меня был только однн гимназический прнятель Володя Ширяев, о котором я дальше расскажу; но Володя, коиечно, не авторнтет, он тоже едва проснувшийся юиоша. Я мог сослаться на отца, никогда не подсказывавшего мне формул, но научившего меня смотреть на облако и думать о воде, которая, испарившись, вернется в родственные ей камские волны. У отца были чины и ордена — может быть, это подействует иа не оказывающих мне внимания мудрецов? Прошло много лет, как я ушел из дому со своим свертком. Полмира я, во всяком случае, обошел; с миллионом людей, во всяком случае, перекинулся словами; среди них оказались лишь едниицы поэтов, обладавших тайнослухом и тайиозрением, способных созерцать с юношеской простотой и доверчивостью, так, чтобы новооткрытые Амернки виноградными лозамн сыпались прямо в наивно разверстый рот, чтобы сердце трепетало в лад со всей мировой жизнью. Их очень мало, таких людей; остальные проверяют север по компасу, время по карманным часам, иравственность по кодексу обязательных полицейских распоряжений. Их штанишки на помочах, их галстуки завязаны бабочкой, и все, что есть в них отличительного и замечательиого, указано в их паспортах. Наученный долгим опытом, я привык не говорить о серьезном серьезио, чтобы не завязить иог в тягучем тексте их логических построеиий, н трехкопеечными парадоксамн снискал себе доброе имя не слишком вредного шутника. Сверток юиости моей остался иетронутым и нетленным,— его не нашли и не отияли даже при обысках. Поэтому мне нетрудно, развязав узелок, ясно увидеть перед собой картины моей юности, не богатой событнями и отнюдь не счастливой. Я не думаю, чтобы я был исключением, и считаю пустой фразой

первую строку фашистского гимна: «Giovinezza — primavera di belezza» [1]. Кто-то придумал и сказал, что юность — счастливейшая пора жизни: попугаи повторили, и понятие вошло аксиомой в наше представление. Юность — переход из богатейшего, цельного детского мира в угрожающую пустоту, которую очень немногим удается оправдать и заполнить не совсем скупыми и досадными образами. Юность — пора болезней роста — и тела, и сознания. Под грудой вопросов бьется и копошится маленький человек, руки которого непомерно длинны, ноги заплетаются, голова не имеет покоя; ломается его голос, и его уже беспокоит пол. Юношеское тело уродливо — возраст, по преимуществу обнаруживающий близость нашего родства с обезьяной. Не ребенок и не взрослый, обязанный быть и тем и другим и не быть ни одним из них. Несчастный объект непонимания родителей и покушения педагогов. Сказки оказались вздором, внешний мир перестал стесняться показывать свою грязь; идолы и идольчики, с рекомендательными письмами, настоятельно требуют остановить на них выбор; ни в одном возрасте так не сказывается власть запахов — черемухи, мускуса, гниения. Матери и сестры оказываются жертвами, отцы подозрительны по глупости и рабским привычкам. Внезапно выясняется, что у героев бывает насморк и геморрой, у писателей запоры, у богов наследственное тупоумие. И наряду с этими страшными разоблачениями — органическая жажда жизни и тяга к познанию, которое лишь сахарином посыпает бродящую мозговую мякоть и этим сладким обманом несколько притупляет горечь растущего в юноше сознания. Процесс, почти столь же болезненный и мучительный, как рождение,— этот переход из спокойствия небытия в суетливый и, скажем по совести, неубедительно устроенный мир.

Чтобы пережить и перетерпеть эту ломку, нужна взаимопомощь. Я оглядываюсь по сторонам — всякой формы носы, уши, волосы бобриком или с косым пробором, серые и голубые глаза, у некоторых намек на усы. С двумя братьями-близнецами, Андреем и Митей, меня соединяет в приятельстве легкомыслие: мы презираем девочек и ищем их внимания. Но я ухаживать не умею, я преувеличиваю в скепсисе, в иронии и резкостях, боясь быть неинтересным (худой, белесый, ни пушинки над губой). Мои приятели проще и пользуются успехом: здоровые, веселые, откровенно глупые, в форменных пальто серого офицерского сукна. Их можно различать только по родинкам на лице: у одного на сантиметр ниже, чем у другого; все черты, голос, походка, даже строй мыслей без малейших отличий. Они влюбляются в одну и ту же, а так как их нельзя не путать, то «ухаживают» они по очереди, и когда одному надоест, его замещает другой. Тогда это казалось мне забавным — сейчас большинство людей кажутся мне близнецами. В пятнадцать лет — мой первый роман. Неуклюже сталкиваются руки, пальцы жмут пальцы с боязливой осторожностью, и в долгих прогулках (зимой иоги

[1] Молодость — весна красоты (*итал.*).

превращаются в ледышки) мы говорим обо всем, кроме любвн. Но, расставаясь, мы обмениваемся записками, сложеннымн в комочек, где сказано все,— и как сказано! С какими литературнымн оборотами, с какой глубиной чувств, с каким красивым обнаженнем души, непременно страдающей, непонятной, неудовлетворенной! Затем новая встреча, рукопожатне, разговор о пустяках, нравнтся ли вам Достоевскнй. Так как необходима трагедия, то однажды (в лермонтовскнй пернод) я говорю ей (не пишу, а прямо говорю), что я только смеялся: мое сердце не создано для любви. Правда, мне сказали, что она — уморительная толстушка и не может идти в сравнение с восьмнклассницей Тосей, так что я действнтельно разлюбил. Она съедает несколько серных спичек н подробно опнсывает мне (почтальоном ее сестренка), как ее спасли. Спичкам я не верю, но — «как мало прожито, как много пережито»! Я подал сочиненне на заданную тему о русской женщине по Пушкину н Лермонтову,— сочнненне размером в «общую» клеенчатую тетрадь, потому что уж женщин-то я, конечно, достаточно знаю! Превосходная тема для шестого класса гимназни! Дрянь мальчншка — расшаркался перед героинямн, отшлепал отеческн н Онегина, и Печорнна. Что вы хотите: литература — особь статья, смешивать ее с жнзнью не прнходится. Получил пять с плюсом, н сочиненье было прочтено в классе вслух. Братья-близнецы получили по тройке с мннусом; а пятерку кроме меня только Володя Ширяев, создавший «неувядаемый образ» княжны Мэрн (прямо на зависть!); я разработал преимущественно Татьяну. Из гимназии мы возвращались вместе, разговарнвая просто и серьезно, как люди, друг друга способные понимать, и условились дважды в неделю читать вместе, начав с Шекспнра. Мучнтельно стараюсь припомнить — почему с Шекспнра, ну, почему именно с Шекспнра? Однм словом — с Шекспира. Шекспир здорово пишет!

Сначала мы чнтаем Шекспира вслух по очереди, потом пробуем пустнть «на голос», поделив между собою роли. Володя — представнтель крнтической мыслн, я — романтнк, но по этим прнзнакам не всегда легко делить роли, тем более что большннство пьес нам не знакомо. Женщин (как практическнй знаток женского характера) беру обычно я, хотя леди Макбет нсполняет Володя. Отелло тоже я. Гамлета мы проходим дважды; Володя в ролн датского прннца хорош, но слишком язвителен, н во второй раз он берет на себя Офелию н тень отца. Второстепенных мы разыгрываем по жребню. Я очень одобрен Володей в роли короля Лнра — и весь следующнй день брожу скорбно, седой, задавленный тягостью лет, так что мать предлагает мне лечь пораньше н выпнть липового цвету. У нас только одна книга, н мы чнтаем, сидя рядом, прнчем Володя близорук. Прн монологах один нз нас овладевает книгой н может актерствовать, бегая с нею по комнате. Тень отца Гамлета забнрается на стул — как-то правдоподобнее. Но случается, что мы оставляем книгу н отдаемся потоку мыслей, н вызывают их не сцены, а какая-ннбудь одна фраза, одно словечко этого нзумительного

Шекспира. В воскресенье мы идем на кладбище — сейчас же за городской заставой, среди хвойного леса. В дальнем его конце кладбищеиский сторож одиноко ковыряет землю для новой могилы. Его зовут Трофим, и он не циник, как те могильщики, а набожный и добрый старик. Мы молча наблюдаем за его работой, ожидая, что вот-вот его лопата выбросит череп: «Бедный Йорик!» Каждому из нас хочется первым сказать эти слова, но черепа все нет. Володя говорит: «Мне нравится в Шекспире, что у него все герои высокого роста, то есть не прямо, а вы понимаете, представляются такими великанами». Мы с Володей на «вы», а на «ты» я только с Андреем и Митей. Я говорю: «Шекспир чувствует страсть и замечательно изображает, а вот доброты в нем нет никакой». Могильщик Трофим говорит: «Вы, баричи, все тут бродите и смотрите, а видали вы змею на плите?» — «Какую змею?» — «Есть старая плита, ей годов сто ли, двести ли, на плите змея кольцом и много написано. Я, конечно, неграмотный, а люди говорят, что отец проклял дочь и про все ее дела написал. Вот какой был человек, непримиряющий!» Мы ищем и находим плиту. Она бронзовая и наполовину протравлена зеленью. Змея закусила свой хвост, и в круге написано церковнославянскими буквами. Поскольку мы способны разобрать, ни о каком проклятии дочери не говорится, и похоронен тут бригадир. Года разобрать не удается, длинная надпись тумана, слова необычны и много выгравированных знаков: лестница, треугольник, слитые в пожатии руки, череп и кости, пятиконечная звезда. Плита наклонна, так как один ее край приподнят выросшим рядом с нею кедром, корни которого внедрились и под плиту. В своей старой части кладбище, бывшее раньше лесом, сейчас стало миром хвои и кустарника, часть могил затянута мхом, деревянные кресты уже давно сгнили и упали, и уцелели только каменные и гранитные памятники и несколько часовенных склепов. Птицы, белки, заячьи покидки и холодок даже в солнечный день. Часто нога проваливается в старую могилу, давно осевшую, а рядом розовые колокольчики ползучей линнеи обвили двойной каменный скат — крышу вросшего в землю низкого шестиконечного креста. Володя наклоняется и смело подымает землистого цвета предмет, может быть, действительно осколок черепной коробки, и я, на всякий случай про себя, шепчу: «Бедный Йорик».— «Сделаю себе из этого пепельницу»,— равнодушно говорит Володя, начавший в этом году курить. Я чувствую зависть к спокойствию Володи и тем же тоном прошу: «Позвольте мне на минуту!» — и, когда он подает мне темный предмет, я, с видом археолога и натуралиста, привыкшего к подобным находкам, откусываю край и, спокойно выплюнув, говорю: «Несомненно — истлевшая кость, вероятно, бывший череп». Всю дорогу меня поташнивает, но все-таки я горд победой. Володя это чувствует и при расставанье великодушно говорит: «Если хотите, возьмите себе».

Дважды, а летом и трижды в неделю мы читаем вслух русских классиков — да здравствует великий Маркс, не тот, бородатый

прусский идол (о нем в девяностые годы мы еще не слыхали), а Маркс — издатель «Нивы», давший в приложениях к ней все лучшее в русской литературе. Недостающее мы добываем в городской публичной библиотеке, где нам покровительствует стриженая библиотекарша в очках и писатели-художники чередуются с Белинским, Писаревым, Добролюбовым,— никак ие можем найти Аполлона Григорьева. В гимиазии мы слывем начетчикамн, и учитель словесности сильио нас побаивается. Я, сверх того, иду за отменного чтеца и, выступая иа гимназическом акте, читаю посвященные Екатериие стихи. Императрице подали пасквиль, в котором ее оскорбляли «как женщину, как мать», и она «пасквиль тот взяла и напнсала с краю: «Что здесь, как женщины, касается меня, я, как царица, презираю!» Голосом, бровямн, всей фнгурой я выразил такое величавое презрение, что меня подозвал попечитель учебиого округа, почтивший своим присутствием иаш акт, и, подав мие пальцы для пожатия, сказал: «Прекрасно, молодой человек, отличиое стихотворение, пишнте и дальше — у вас талаит!» Я робко пробормотал, что это стихи ие мои, а Апухтина. «Ну, конечио, знаю, что Пушкина, но прочитали вы прекрасно!»

Володя решил, что если ои провалится на экзамене в ннстнтут путей сообщения, то стаиет лнтературным критиком. Мне предстоял юридический факультет (отчасти в уступку желаиию матерн), но настоящая, мечтаемая дорога наметилась еще в седьмом классе, когда редактор петербургского журнала написал мие: «Милостивый государь, ваш рассказ принят и пойдет в ближайшем номере. С совершенным почтением». В этом рассказе, о котором ничего ие знал даже Володя, молодая девушка упала в воду и утонула, а ее отец сошел с ума и бегал с дикими возгласами по полям и лесам. В следующем рассказе предстояло матерн зарубнть топором своего грудного ребеика, а самой повеснться. Пока в одной большой приволжской газете была напечатана моя статья об оперном сезоие, а в местной иашей газете — трогательный иекролог. Началось!

Как же могло быть иначе — страстная тяга сопрнчнслиться малым звенышком к великой цепи творящих. Писатель — существо иеобыкновенное, его читает и слушает вся страна и даже другие страны, и по смерти ему ставят памятник. Он, коиечио, страдает — ужасио страдает по всякому поводу, и без этого у него ничего бы не вышло. Его преследуют, гонят, потому что ои облнчает зло; ио лучшие и избранные стоят за иего горой и готовы погибнуть вместе с иим. Впрочем, мы читалн и критиков, так что понемногу стали разбираться в ценностях: все-таки Лермоитов, знаете, не Пушкии! И зачем это Достоевский иаписал «Чужая жеиа и муж под кроватью»? Недаром мы иачали с Шекспира! Мы не просто читали пронзведения, мы видели их авторов. Портреты, которые я в то время для себя создавал, остались иавсегда — разве что Пушкин раньше казался мне брюнетом. Высокое почтение не служило препятствнем некоторой фамильярности образов. Лермонтов, иапрнмер, был почти что

гимназистом, самолюбивым, задорным, но по натуре робким, больше всего похожим на Грушницкого, никак не на Печорина. И смерть его не казалась трагедией, как смерть Пушкина: просто — пропал ни за грош из-за простой рисовки. Но зато когда он в своем новеньком офицерском мундире приподымался на цыпочки и пел — пелось вместе с ним и даже хотелось тоже писать стихи. Пушкин, наоборот, никогда не казался мне шутником, может быть, и потому, что на портретах он всегда серьезен. «Дубровского» мог написать только очень строгий и очень страдающий человек. «Капитанскую дочку» я часто перечитывал — и она мне казалась (и сейчас кажется) выше всего, написанного Пушкиным. И еще я думал, что Пушкин очень мучился своим малым ростом и обезьяньим лицом и что ему, вот такому, приходилось бороться с красивыми и высокими людьми и побеждать их умом и талантом. И зачем он женился на женщине, рядом с которой он казался смешным и безобразным! Наталья Гончарова была моим личным врагом,— Володя относился к ней снисходительнее, хотя тоже не уважал. К Тургеневу мы оба питали искреннее расположение: с ним было просто — улыбающийся и радушный человек, охотник, любитель природы; жаль, что он не бывал в наших краях и описывал какие-то благоустроенные лесочки с игрушечной дичью — но зато как описывал! В его романах герои были людьми слабыми, бесхарактерными, хорошо одевались и катались по заграницам. В Асю я был влюблен по-настоящему, и ее именем была названа моя лодка. На месте господина Г. я бы обшарил весь мир и Асю отыскал! Но поступил он с Асей, по-моему, очень благородно. Княжна в «Первой любви» мне не нравилась — ломака и непритятная особа. Но Джемма в «Вешних водах» могла соперничать с Асей. Обо всем этом Тургенев рассказывал с усмешечкой старого, вспоминающего человека, и вот таким писателем (темные брови, волны мягких седых волос, благородный взгляд) мне очень хотелось быть. Но у Достоевского в глазу — на всех портретах — нездоровая капелька, неблагородное, как у невыспавшихся или запойных. Достоевский приходил к нам, сидел подолгу, целыми ночами, и говорил много и дурно обо всех, заплетаясь языком, теряя слюну; когда же он начинал кого-нибудь хвалить, то сейчас же у этого человека обнаруживалась болезнь, и оба они извивались на полу в падучей или кашляли прямо нам в лицо. Несколько месяцев подряд мы читали двадцать четыре тома Достоевского, от «Бедных людей» до «Дневника писателя»,— тяжелые месяцы моей юношеской жизни, полные первых нечистых мыслей, на какие ни один другой писатель не наводил; к счастью, мы читали его больше летом, в дни каникул, когда можно было купаться, а воздух закамского берега смывал с души липкий налет. Великого инквизитора читал Володя — резким взрослым голосом, и я проваливался в глубокий колодезь безнадежности и не мог выкарабкаться. Позже, уже студентом, я перечитывал Достоевского один, гораздо сознательнее, с увлечением, долгими ночами в московских студенческих Гиршах и Палашах, и тут, в нездоровом

воздухе большого города, уже ие боролся с иим, а плыл по течеиию мутных волн, пока опять тот же «Диевиик писателя» ие оттолкнул меня от него, зачеркнув в ием все, за что ои призиаи мировым писателем. Я потерял веру в его правду — и расстался с ним иавсегда.

Нашим любимцем — моим по крайией мере — был в то время Гончаров, спокойный и чистый, уверенный рассказчик. Даже «Фрегат Палладу» мы одолели без скуки и усилий и ие прочь были ехать с Гончаровым и дальше. Ои приходил к иам без спешки, садился в большое кресло, перелистывал страницы своих книг холеными руками, и рядом с иим, положив ему иа плечо головку, усаживалась Марфииька, а Вера всегда сидела поодаль, прислушиваясь и ие произиося ни слова. И мы отличио зиали, что бабушка — это Россия и что Волохов, озориой человек, только храбрится, а сам очень страдает,— хотя сейчас мне трудио объяснить, почему иам тогда так казалось. Было страиио, что Вера гораздо умиее Райского, со стороны которого было иекрасиво бросать ей в окио букет белых цветов. Обрыв был поблизости от деревни Загарье, где в дни моего раииего детства мы живали летом (после смерти отца уже ие приходилось), ио барской усадьбы я ие видал и ие зиал — только по книгам, по Тургеиеву, по Аксакову и вот теперь по Гоичарову. Мыслеиио я стоял иад обрывом и ждал возвращения Веры, чтобы сказать ей, что Волохов ее ие любит и ее ие стоит, что ои просто очень самолюбивый бездельник и всему его оригииальничанью грош цеиа. Но вряд ли Вера послушала бы гимиазиста! Вообще я Веры побаивался, а иа Марфиньку заглядывался, когда оиа ластилась к бабушке или прыгала козой.

Когда же приходил к иам иеистовый Виссариои Белиискиий, мы слушали его с жадностью, особеиио Володя, готовивший себя если ие в инжеиеры, то в критики. Оценки Белинского казались иам иепреложными и окоичательными; иа его щеках горел чахоточиый румяиец, и так же горели его слова. Ои писал, лежа иа диване, и в полуотвореиную дверь были видны пришедшие жандармы. Ои был человеком безо лжи, судьею строгим, умевшим восхищаться и готовым обрушиться за малейшую писательскую иеправдивость. Мы одолели его том за томом,— и это, вероятио, было самым полезным иашим чтением. Научеииые им, уже ие верили Писареву, человеку холодного ума и злой мысли. И в ием, и в Добролюбове, и особеиио в Черныпевском чувствовали какой-то отталкивающий душок; это были обнжеииые люди, ие искавшие добра и желавшие непременно уколоть, посмеяться иад лучшими. Некоторые их мысли вызывали иас иа раздумье, казались смелыми и осиовательными, ио только Белиискиий виушал иам полную веру, и только ои сам казался иастоящим поэтом. Вероятио, мы и ие читали бы Писарева и Добролюбова, если бы одио упомииание их имеи ие вызывало ужаса иа лице иашего гимиазического словесиика.

Мы читали ие только русских классиков и критиков. Вообще мы читали — вдвоем и поодииочке — катастрофически миого,

пользуясь тем, что гимназическне урокн — кроме древних языков — не представляли для нас обоих ни трудности, ни ннтереса. Я глотал Дниккенса, Володя Внктора Гюго, конечно — в переводах. Золя, в то время еще модный, нас не захватил, Бальзака мы просто не усвоили. Гете мы читали вместе. «Фауста» пустилн «на голоса», но, кажется, напрасно затратили время. В последний год мы читалн Толстого — н все, раньше нами прочитанное, отошло на задний план. Если Володя еще мог о нем «рассуждать», то я был раз навсегда побежден н поставлен на коленн. «Войну и мир» я перечнтывал сейчас же после прочтення намн вслух. То же было с «Анной Каренинной». С большнм трудом мы раздобылн «Крейцерову сонату», кажется даже в гектографнрованном списке, так как в городской бнблиотеке ее не было. Монмн любнмымн рассказамн Толстого былн «Альберт» н «Холстомер», н нх я знал чуть не нанзусть. Толстой не прнходил к нам, как другне; он царил где-то над нами, в величавых пространствах, громадный, босой, всеподавляющий. Даже с его героямн нельзя было обращаться запросто, как с Обломовым, Райским, Лаврецким, как с Онегиным, Печорнным н даже Гамлетом н тенью его отца. Герон Толстого былн уже не людьмн, а велнкимн образамн, н казалось невероятным, что вот через год я буду студентом в Москве н, может быть, пройду мимо дома, где знмой живет Лев Толстой; о том, что я могу увндать его самого, никогда не думалось: можно ли встретить Гомера или Шекспнра? Я действнтельно никогда не увидал Толстого — огромный мннус в моей жизни, незаполненная пустота, почти преступление, но не внна; я не видал также Байкала, ледяных торосов, устья реки Лены, не видал тигра на свободе, не подымался в стратосферу, вероятно, не увижу больше России. В юностн Толстой был для меня величайшим открытием; его творчество н посейчас для меня кажется непостижимым; внжу, как пншет Пушкин, как творнт литературный колосс Дниккенс, но не могу увидать, как нз-под пера Толстого появляется маленькое слово «пожалуйста» Пети Ростова, что нужно для этого сделать, как это почувствовать, на какой бумаге нзобразить, кем быть н какнм образом после этого обедать, смотреть на людей бровастымн глазами, ссорнться, отдыхать на лавочке в Ясной Поляне, а не вознестнсь попросту на небо н не посмотреть рассеянно на весь пнсательскнй мир с ближайшего облака? Впечатленння юностн остались в дорожном узелке, с которым я обходил мудрецов,— н расстаться с ними я не хочу н не могу. Все-такн совсем без богов жить невозможно, без чудес скучно, без чувств чрезмерных закнснешь в грамматической бесспорной фразе. Лев Толстой был н остался росснйскнм чудом, весь целнком: великнй, несчастный, несуразный, каменная глыба, мужик н барнн, поэт н корявый проповеднпк, брюзга н неустанный нскатель нстнны.

До нас не доходилн толстовские релнгиозные писання, н нашей веры он не колебал н не утверждал. Ее утверждала наша нзумнтельная северная прнрода; ее расшатывала н уннчтожала в

нас гимназия. Моя мать была верующей женщиной, но верила она по-своему и несколько смущенно — для себя, никому не навязывая своей религии, даже детям; в церкви бывала редко, дома молилась уединенно, скромно выпрашивая у Бога разные нетрудные вещи для детей. Все, что в религиозном культе картинно, красиво и приятно, у нас соблюдалось: рождественские елки, троичные березки, пасхальные куличи, лампадки перед образом в правом углу, вкусные рыбные и грибные блюда в великий пост. Мы, дети, были верующими, поскольку это традиционно и нетрудно и поскольку не приходило в голову рассуждать. Искореняла религию гимназия, с ее обязательными посещениями церкви, молитвой перед уроками, преподаванием того, что преподаваться не может, и священным ужасом перед вопросами. Церковь была привлекательна для нас тем, что в нее приводили гимназисток: налево ряды наши, направо — их. Мы красовались и переглядывались. Особым шиком было прислуживать в церкви, стоять в алтаре, выходить с кружкой и проходить по рядам гимназисток. Из алтаря было удобно подглядывать в щелочку, и мы пользовались разрешением посещать алтарь «для лучшего изучения церковной службы». Именно здесь юношеской вере наносился самый серьезный удар созерцанием закулисного неблаголепия. Шепча молитвы, священник время от времени, вытянув из-под ризы красный клетчатый очень грязный платок, набивал нос табаком. Дьякон пальцем смазывал себе в рот из чаши остатки причастия, а палец вытирал где-то в тайниках своей сложной одежды. Постоянно случалось, что священнослужители переругивались, переходя вслед затем на торжественный тон декламации. Приглядевшись к порядкам в алтаре, мы, со своей стороны, под руководством более опытных, покушались на бутыль с превосходным церковным вином, так как заготовленную «теплоту» обыкновенно также допивал сам дьякон. Но и вообще — трудно было проникнуться лепостью службы, которую отправлял наш законоучитель, человек уже старый, неисправимый пьяница, сизоносый, неотесанный и исключительно глупый; кстати, ему поручалось и наше политическое воспитание, и иногда, хитренько нам подмигнув, он говорил в классе: «И еще бывают социалисты; это значит, что все твое — мое, а что мое, так это мы еще посмотрим». Мы его терпели, так как меньше четверки он никому не ставил, а на уроках отвечали ему, без стеснения читая по книжке. Разумеется, из озорства задавали ему вопросы: «Как мог Иона не задохнуться во чреве китовом?» — и он неизменно отвечал: «Ежели Бог захочет, братец мой, так и ты кита проглотишь и не поперхнешься! Для Него это — пустяковое дело!» И если некоторые из нас дотаскивали до университета какие-то остатки религиозности — или, может быть, суеверия,— то причиной этого была потребность в поэзии, отзвуки веры детской, семейные традиции и прежде всего — целостность восприятия нашей прекрасной северной природы, полной нерассказуемых и непостижимых тайн. Порывая с ней — порывали и с последними загадками примитивного детского мира, отвергая

богатство сказки ради дешевки иаучной истнны. Процесс естествеииый, закоиный, правильиый, за которым по мере роста духовиой жизни человека следует илн не следует новое «хождение в алтарь» н отвержение иового жречества, ио уже без возврата к прежией н наивиой вере, в лучшем случае — строительство собствеииого храма неведомому богу или богам.

Мы поссорились с Володей из-за какого-то маленького житейского вздора. У него был злой язык, у меня опасная взвиичеиность иервов. Стычка произошла при свидетелях, и это осложннло положеиие. Будь иа его месте другой, я бы, вероятно, вызвал его на дуэль, как н случилось у меня с другим гимназическим прнятелем: мы дралнсь за городом на револьвере (был только один), заряжеиием порохом, но с резииовыми пулями; раненых не было. Но в нашнх отношениях с Володей полушутовство было неуместио: мы друг друга уважали и считали взрослымн. Было брошено несколько колких и вызывающих слов, сделавших разрыв иензбежиым. Время было учебиое, встречи ежедиевиы, ио о примирении ие могло быть речи. Только что перед этим мы иачали читать «Разбойников» Шиллера, и очень хотелось продолжать. Сидя в классе на уроке физики, я видел, что Володя написал и изорвал записку; перед уроком я также напнсал н нзорвал записку. Во время перемены я подошел к иему и, ие обращаясь прямо, произнес в пространство: «Не думаю, чтобы лнчные отношения могли препятствовать культурному общенню, впрочем — не зиаю». Володя искривил губы презрительной улыбкой и ответил: «В известных вопросах я также выше личных отношений, и, если мой ува-жа-е-мый враг готов, мы можем закончить «Разбойников». Располагаете ли вы временем сегодня вечером?» — «Оставьте прн себе уважение, которое я ие могу вам ком-пен-сн-ровать, н в половнне седьмого я буду нметь честь посетнть ваш дом».— «Гарантирую вам гостеприимный прием»,— ответил Володя, н мы повернулись друг к другу спннами. Оба мы испытали иемалое удовольствие, что нас слышали товарнщи: им не мешает зиать, как должны поступать культурные люди. В назначенное время я был у Володи, мы ограиичились вежлнвыми полупоклонами н в один прнсест, читая по очередн, отмахалн «Разбойннков» н поспешилн начать другую пьесу. Получилось нечто вроде сказок Шехерезады: «...и иа этом месте Шехерезада прервала свой рассказ, так как пришел рассвет... когда же наступила следующая ночь, Шехерезада продолжала: — Известио тебе, повелитель правоверных...» Так продолжалось недели две, пока нас окончательио ие прнмирил ожесточеииый «прннципнальный» спор, так нас разгорячивший, что на прощанье мы по ошибке обменялись самым дружеским рукопожатьем. А так как на этот раз мы забыли начать новую вещь, то на лестнице, провожая меня, Володя крнкнул вдогонку: «Что вы скажете, кстати, о Байроне?» — и я спешно ответил: «Счнтаю его заслуживающим нашего виимання!» — «Тогда я возьму в бнблиотеке».

Мы не были начетчнками н, прн всем увлечеиин литературой,

ие забывали о развлечениях,— времени хватало для всего. Нынешняя молодежь отдает много времени спорту, о каком в девяностые годы мы не знали. В летнее время нашим спортом были лодки и прогулки в лес, в зимнее — катанье на коньках; но, конечно, ни гонок, ни призов, ни иного рода соревнований. Еще процветал биллиард, игра, гимназистам воспрещенная; Володя им не увлекался, но с другими приятелями я часами и днями (даже с рекордом двадцати четырех часов непрерывной игры) сражался в маленьком кабачке у Левушки, жадного и очень набожного старичка, жившего доходами с гимназистов. Биллиард был похож на сильно подержанную таратайку, нужно было знать все его уклоны и личные качества, и я гордился тем, что дважды, играя в «пирамидку», взял партию «с кия», не дав удара противнику. Я очень благодарен биллиарду: он спас меня от иных, менее невинных юношеских развлечений, процветавших в затхлой гимназии провинциального города. Но больше всего благодарен лодке, с которой был связан тесной дружбой с детского возраста; река была для меня едва ли не большим, чем семья, чтение и даже мои литературные опыты, была моим счастьем и моей философией, всем тем, чем для страстного летчика должен быть воздух. Простившись с рекой, я простился не с одной юностью: также и с чистотой и ясностью созерцания, с безошибочностью ответов, с первым ощущением движения как самоцели, с радостным бытием в вечности. Взмах весел — как взмах крыльев, ветер не угоняется за дыханием, все движется, вырастая и умаляясь, между зеленой глубью и голубой высью летит свободная душа, рассекая воду и воздух, и это и есть правда, это и есть творчество, раскрытие тайн вверху и внизу, ясное, все утверждающее «да», отрицающее землю, в которую так больно врастают ноги. Я не знаю музыки чище и совершеннее журчанья воды у бортов маленькой лодки — на величавой Каме, моей крестной матери. Как жалко, что уже все слова сказаны и написаны все поэмы! И что не скажет нового даже тот поэт, влюбленный в свою стихию, который, бросив весла и встав во весь рост, просто ввергнется в ее объятья и там, на глубине, всеми легкими вдохнет холодную влагу — ради восторга и смерти.

Приятно иметь право и не иметь боязни впадать в некую восторженность, вспоминая о фетишах своей молодой жизни. Нам это разрешал Белинский и строго воспрещал Писарев; тайно сочувствуя первому, мы побаивались второго. В сущности, ничто с тех пор не переменилось: на страже чувств стоят надзиратели, подымающие белую палочку и дающие свисток, если машина слишком разогналась. Именно на рубеже веков — моя эпоха — появилось обязательство крахмальных воротничков для слишком вертлявой шеи: «Не говори слишком красиво!» Это было, вероятно, необходимо, так как тургеневские «Сенилия», стихотворения в прозе, слишком пополнились подражаниями. Поэты пушкинской эпохи могли бросаться с рыданиями в объятия друг друга, но тогда еще не носили быстро промокающих от

дружественных слез жилетов. Мы уже учились быть сдержанными во имя «художественной меры», то есть своеобразного ее понимания, позже ставшего требованием нерушимого закона: наступил ледниковый период холодной чеканки стиля, изображения чувств подбором гласных и согласных. Но — чтобы и дальше говорить метафорами — человек, приучивший себя днем к корсету, даже и ночью боится свернуться калачиком. Нужно было много пережить, чтобы опять обрести право восклицать, когда воскликнется, и не бояться классных дам от художественной литературы. Законы искусства остались — если есть у искусства законы,— но чувство освободилось от крахмала. Я говорю это не для оправдания (перед кем?) выпадов собственной несдержаиной лирики, а просто — вспоминая бурю и хаос мыслей, в которые ввергла нас читательская страсть; я испытывал это особеино остро, так как раио начал писать и теребить волосы в творческом недуге. С одной стороны — «сталь мысли», с другой — сердечная требуха, и примирить это ох как трудно! Между моим первым романом написаиным и первым напечатанным — расстояние в тридцать лет. Это объясняется, по-видимому, хорошим уроком, мною получеиным в юиости.

Редактор петербургского журнала, напечатавший мой первый рассказ, отравил мою душу «милостивым государем». Ромаи был неизбежен, и я писал его со всеми полагающимися надрывами, с вдохновением, разочарованием, отчаянием, всеми видами мук творчества. Совершенно не помню содержания, но любовь, коварство и неестественная смерть там, конечно, присутствовали. Не думаю, чтобы роман был велик размерами, и не утверждаю, что он был окончен, когда я почувствовал потребность прочитать его вслух бесстрастному критику. Впрочем, я нскал, очевидно, не столько беспристрастия, сколько сочувствия, «понимания», и потому избрал слушателем не Володю Ширяева, способиого на безжалостный анализ, а более нитимного друга, Андрея, одного из близнецов, партнера по биллиардной части н по женскому вопросу. Андрей был польщен выбором и обещал мне самый искренний отзыв, даже если пришлось бы со мной поссориться,— польщен потому, что я предпочел его «начетчику» Володе. Он обещал мне также хранить тайну, пока, как он был уверен, мой роман не прогремит на весь мир. Мы назначили день, и я обеспечил ему бутылку пива, икряную воблу н баранки — лучшие лакомства для торжественных случаев.

Вечер. Мое место за столом у керосиновой лампы; Андрей пристроился на моей постели, чтобы не мешать мие сосредоточиться, не быть в поле моего зрения; бутылка, стакан и тарелка с нарезанной воблой в его распоряжении — на стуле. Комната хорошо натоплена, за стенами мороз. Рабочий медленно опускает занавес. Просят лиц посторонних не вмешиваться и, если им хочется, слушать нздалека, ничем не выдавая своего присутствия. Керосиновые лампы, вырезывая во тьме конус света, уделяли потолку только слабое мерцание, чтобы там могли кружиться тени — милые существа, навсегда загубленные электри-

чеством. Если в комиате обитала муха, решившая пережить зиму, то оиа садилась иа потолке в центр бледного светового круга, коиечио — вверх иогами, ио ей это было совершеиио безразличио. Теии сгущались к краям круга, упражняясь в иеслышиом танце, ииогда разбегались по углам и попадали там в паутину. Но это только игра, пауки их ие трогают. Пушкин, в длинном сюртуке, с тетрадочкой в одиой руке, жестикулируя другою, читает стихи другу Дельвигу или Ариие Родиоиовие, которая вяжет чулок. В богатой гостииой ближе к столику, за которым сидит Гоголь, расставлеиы кресла, мягкие стулья и пуфы для дам, дальше — приглашеиные, все — избраиные людн, состоящие при литературе, и хозяии зиает, что его вечер иекоторым образом исторический,— Гоголь в ударе, читает прекрасио, и его пробор расчесаи аккуратио. «Ты понимаешь, тут многое еще ие отделаио, и я сам ие увереи...» У Андрея крепкие белые зубы, и ои так вкусио чавкает воблу, что слышио, как похрустывают перекусываемые ребрышки; зиачит, икру ои уже доел — плотиую, красную, с желтоватой оторочкой жира. Буль-буль-буль из бутылки. «Я ие позволю,— крикнул ои, ударив кулаком по столу,— я ие позволю, чтобы моя дочь, иежиое, иевииное существо, стала жеиой развращеииого человека!» Мать сидит через комиату от иас и, вероятио, раскладывает пасьяис; оиа привыкла к тому, что у меня поздио, ииогда за полиочь, слышится чтенье вслух, ей иравится, что мы такие умиые, развиваемся,— скоро и в уииверситет. «Петр схватил ее за руку и хотел привлечь к себе, ио холодиый взгляд молодой девушки сразу его отрезвил, и ои разжал пальцы, услыхав спокойио произиесеииое слово «никогда!». Андрей перестал чавкать и поставил на стул стакаи. Разве оии, люди быта и маленьких делишек,— разве могут они зиать, что испытывает художник, когда в уже совсем готовой картиие ему ие удается последний мазок кисти, заключительная точка, которая вдруг оживит и осветит все,— и тогда на полотие заиграет жизнь и оио оторвется от мольберта и улетит ввысь, в мир иедосягаемый, лишь ему одному доступный! Вот тут — я сам чувствую,— тут ие то чтобы фальшь, а какое-то иапрасное подчеркивание, слишком парадное слово, уже ие перечувствоваиная правда, а желание понравиться читателю, и если взглянуть ему в глаза, то увидишь его иедоверчивую усмешку. «Заломив руки, как птица, готовая улететь, Ольга вытянулась всем телом...» Господи, какие же у птицы руки! И оиа уже дважды вытягивалась иа протяжении одной страницы. Хотя бы Андрей крякнул или чем-нибудь возразил... Однако он перестал пить и есть как раз иа самом сильиом месте, стоившем мие больших волиеиий и переживаний. Я приближаюсь к сцеие, при перечитываиии которой ие всегда сам мог сдержать слезу, и я боюсь, что мой голос в этом месте сорвется,— автор должеи быть бесстрастеи. Огромиый зал замер, каждое слово чтеца звучит как чекаиное золото; его голос сух и отчетлив, как удары молотка, и, когда Ольга, застигнутая лесным пожаром, в пылающей одежде, споткнулась о ствол павшего дерева,— голос чтеца ие дрогнул,

ио по рядам слушателей прокатилась волна вздохов, н в дальиих рядах послышалось сдержаииое глухое рыдание. Захлопиув тетрадь, молодой автор встал н, небрежно поклонившись, стал спускаться с эстрады. И лишь когда ои взялся за ручку дверн, ведшей в комнату артнстов, в зале раздались бешеиые рукоплескания, постепеиио перешедшне в ровиое посапыванье. Возможио, что Дельвиг посапывал и раиьше, ио поэт услыхал это, лишь закончив чтеиие лучшего, что ои иаписал. Шатаясь от усталости и пережитого, он подошел почти вплотную к низвергавшемуся со скалы водопаду и подставил свою разгорячеиную голову. Это его отрезвило, н ои, не взгляиув на спавшего Дельвига, прошел в комнаты Ариины Родионовиы. «Ушел твой приятель? — спросила оиа н, взглянув на меня поверх очков, которые оиа теперь иадевала при работе, сразу поняла, что ее большой мальчик чем-то огорчеи.— Уж ие поссорились ли вы?» — «Нет, мама, Андрей еще здесь, он, кажется, заснул».— «Ну вот, зачем же вы так утомляетесь! — Маленьким пресс-папье, почкой уральского малахита, оиа разбила кедровый орех и положила в рот зернышко. Это всегда было ее любимым лакомством.— Постой, а как же ои спит? Нужио бы постлать ему иа диване в столовой, я сейчас дам простыиь».— «Ои ие остаиется иочевать, н ты вообще ие беспокойся». Автор «Мертвых душ» склоиился иад рукописью второй части. Развернув ее, он прочитал иесколько строчек, затем схватился за голову и стал раскачиваться с мучительиым стоном. В печке был еще огонь. Ои открыл вьюшку, и угли в печке сбросили пепел н приветливо засветились. Не оглядываясь иа стол, ои протянул руку, взял рукопись и бросил ее иа угли. От жара заворотились первые страницы, затем вся рукопись вспыхнула сразу веселым огоиьком. Свет ударнл в лицо спавшему, и Андрей, сладко потянувшись, сказал: «Ну как, кончил? А здорово, зиаешь, иаписаио! Ты ие думай, я все слышал. Не хуже Лажечникова, ей-Богу!»

Описать в романе клокочущую страсть — это ведь совсем не трудно! Есть столько превосходных литературных образцов, столько приемов, столько прилагательных! Картины падення в то время замеиялись двумя строками точек, а подробио опнсывалнсь только нравственные страдания. К своему стыду и счастью, должен признаться, что мон собственные понятия о падении были чрезвычайно туманны. Теоретически технику падеиия я, коиечно, зиал — среди иас былн «падшие»,— ио ннкак ие мог совместить ее с чувством любвн, которое должио быть трепетиым и высоким. Тут была неувязка. На любовь бросалась иекая теиь: очевндио, любовь ие очень прилнчное чувство и признаваться в ием ие следует. В восемиадцать лет я был уже много раз влюблеи, ио, черт возьми, поцелуи мие ие были ведомы. Мие кажется, что одии раз я поцеловал руку Катеньке, хотя боюсь, что я только задел ее иечаяиио, даже ие губамн, а щекой. Впрочем, я держался так, как будто все это мне ие только известио, но и порядочно прискучило. Из-за Катенькн я и дрался иа дуэлн — из-за гадкнх слов о ией н обо

мие. Когда мие было девять лет, моя старшая сестра — иа восемь лет меня старше — выходила замуж. Я был очароваи ее женихом, казавшимся мие идеалом мужчины. Однажды вечером, когда меня уже уложили спать, хотя у нас были гости, в мою комнату, освещеиную лампадкой, тихо вошли сестра и ее жених; вероятно, им хотелось остаться вдвоем. Они сели иа стулья против моей кровати и стали шептаться, боясь меня разбудить. Но я проснулся и смотрел иа них с интересом. Вдруг жеиих быстро обнял сестру и хотел ее поцеловать; оиа ловко увернулась и погрозила ему пальцем, а у него, как мне показалось, отвисла губа и лицо стало противиым; жеиху сестры было уже за тридцать, ей семиадцать. Потом оии ушли, хотя ои пытался еще задержать сестру в полумраке моей комиаты. С этого вечера я перестал его боготворить и уклоиялся от его шуток и ласк. В любви есть что-то стыдиое. И действительно, иад влюблеиными смеялись, и оии красиели. Объектом постояиных иасмешек гимназистов был иаш учитель иемецкого языка, Шмидт, или Фукс, или еще как-нибудь, который был безиадежио влюблеи в пухлую иемочку, дочь учителя жеиской гимиазии. Ои был так влюблен, этот рижский иемчик с таракаиьими усами, что плакал, читая иам вслух стихи Шиллера и Гейне, и вытирал глаза платком, иадушеиным иемецкой гадостью. И случилось, что я стал его соперииком — совершенно помимо своей воли; иа гимиазическом балу я танцевал с его любовью, и оиа ие заметила его почтительиого поклоиа. Ои ие только приревиовал меия, ио и искал случая меия оскорбить и унизить. Случай подвернулся легко, так как я терпеть ие мог и отвратительио зиал иемецкий язык. Ои стал ко мие придираться, вызывая всякий урок, передразнивая мое произношение, и одиажды, распылавшись, велел мие выйти к классиой доске и стоять около иее до конца урока. Это было иастоящим оскорблением, потому что меия иикогда никто ие иаказывал, даже в младших классах; одиа такая попытка кончилась моим иервным припадком. Но поставить к доске восьмиклассника — это вообще было дерзостью. Я побелел и холодным голосом Ольги из своего уиичтожеииого ромаиа сказал: «Я вызываю вас иа дуэль и убью, как таракаиа!» Затем я медлеиными шагами вышел из класса и ушел домой. Из этой истории победителем неожиданио вышел я. Немец заявил директору, что честь заставляет его прииять мой вызов иа дуэль. Директор схватился за голову, вызвал меия и, догадавшись о моем иастроеиии, торжествеиио мие обещал, что Фукс оставит меня в покое и будет спрашивать у меия урок только одии раз в четверть и в тот деиь, когда я подам ему зиак, «приветливо кивнув гловой». Такое пристрастное решение было выиесеио, очевидио, потому, что я, считая свои корабли все равно сгоревшими, подтвердил директору свое иамереиие убить в честиом бою иемецкого учителя. Условие было соблюдеио, и в первый выбраииый миою деиь я отбарабанил Фуксу вызубреииую наизусть «Перчатку» Шиллера,— мы, черт возьми, зиали, что такое рыцарство! А ои таки жеиился иа своей иемочке,—

в конце концов, симпатичный и невиннейший таракан! Уже студентом я был на его свадьбе, мы выпили брудершафт и пели гортанными голосами охотничью немецкую песню про старый лес.

Меня отвлекают эти сценки — но, может быть, они лучше рассуждений поведают о жизни чувств, о том, как слагаются в душе юноши представления о самом серьезном в нашей жизни — о любви к женщине, о любви вообще. Могу ли я удержаться от скромного образа любви материнской — постоянная забота издали, чтобы не стеснить юноши, которому хочется казаться взрослым; скрыванье бедности под белоснежно-чистой скатертью; неназойливая чуткость робких советов, как будто случайных, но всегда вовремя и кстати. Надломленная личным горем,— потому что она не может забыть того, что для нас, молодых, быстро тушуется интересами жизни,— для семьи держится прямо, блюдет достоинство, твердо надеясь, что вот и оставшиеся при ней дети выйдут в люди и тогда она замкнется в мир воспоминаний, тихо старея и готовясь отбыть для встречи с человеком, любовь которого определила ее жизнь. Когда умер мой отец, мать была — или казалась — еще совсем молодой, без единой морщинки, единого седого волоса, хотя уже была бабушкой. Такою же продержалась еще десять лет, несмотря на много горя, доставленного ей детьми, о чем не рассказывает. С утра в корсете, упрямая институтка, всегда одетая с изящной простотой, приветливая с гостем и прислугой, строгая и важная в отношениях с людьми, перед которыми другие заискивали, она ни перед кем не призналась бы, что ее сердце источено горем и что она безмерно устала жить. Такою она осталась и одна, когда я, последний из детей, уехал в Москву; приезжая на каникулы, я находил ее такой же выдержаниой, готовой интересоваться всем, что занимает ее детей, читавшей столичные газеты и журналы и по старой привычке ежедневно занимавшейся четырьмя иностранными языками — французским, немецким, английским и польским,— знание которых она не имела случая применять на практике в провинциальном городе. Она состарилась в один год, даже в одну зиму — и умерла в тревожном пятом году, узнав, что я в тюрьме и мне угрожает казнь. Она уже была больна, и для меня нет полной причинной связи двух событий; но сыну, понявшему материнскую любовь, не поставят в вину того, что он в своей памяти, рядом с этой любовью, записал и чувство непримиримости к тем, кто как собственностью швыряется человеческими жизнями. Непримиримость навсегда, до сего дня, до смерти.

Я много раз замечал, что о наиболее отдаленном, о детстве, вспоминается с полной ясностью, какой годы юности не дают. Тот простой мир зарисовался домиком, елочкой, игрушкой, зайцем, у которого одно ухо опущено, горем, сверкнувшим молнией,— и опять небо ясно и мир улыбается,— маленькой, любимой, единственной книгой, шуткой отца, первой выпилениой рамкой из крышки сигарного ящика,— вообще всем тем, что отчетливо своей первостью и дальше уже неповторимо в такой

же радости. Мы часто шутя говорим детским языком — н никогда не подражаем ломающемуся голосу юиошн. Помнятся сказки — н не помнится пора нх крушенья. Рисунок путается н теряет чистоту красок. Дым нз трубы уже не вьется штопором, у собаки хвост не загнут колечком, у первого портрета нет египетского глаза н турецкой брови, негнущаяся рука не растопыривает кисточкой длиные прямые пальцы. Образы юноши хотят быть возможно реальиее в своем шаблоне, и в них перспектива уже убивает прекрасиый иероглиф изображений. Детский кармаи наполнеи первичиыми ценностямн личиого зиачения: найденной пуговицей, закушеиным яблоком, бабкой, мелом, огрызком карандаша, свистулькой, самостоятельно вырезаиной из вишневой ветки; но юиоша уже несет чемодаи илн швейцарский мешок с набором усвоеиных истни, алфавнтом склонностей, коллекцией дешевых парадоксов. Ему подобает быть иемножко циником, забегать вперед в отрицаниях, прислушиваться к росту волосков на верхией губе, мечтать о пеисне н тросточке — символах взрослостн. Моя ранняя молодость протекала в сравиительно счастливое время, когда не было кииематографа н площадок для отбнвания головой кожаного шара, не было даже велоснпедов; иедотяпаиность н простота провинции была по крайией мере цельной н не опошлялась мировым экраиом, газеты не замаивали аваитюриым подвалом. Не избалованные выбором, мы читали лучшее, что было в русской литературе, потому что оио раньше н проще всего попадало в нашн руки. Но что давало иам увлечеиие литературой? Искусственные образы, прнкрашеииое словесными узорамн изображеиие идей н чувств. Мы любилн по Пушкину и страдали по Достоевскому, выпнсывая закругленную фразу там, где естествен только крнк радости илн горя, привыкая к прописям раиьше, чем в нас слагался собствеииый язык для выражеиья нами открытых чувств. Может быть, это вообще нензбежно в культурных общественных рядах, где кустарник н деревья непремеиио стрнгутся под гребенку — и сад предпочитается лесу. Но я все-таки жалею, что гнмназня, город, литература отвлекли меня от природы, которая в ранние детскне годы, особенио в летнее время, заполняла мой мнр целиком; жалею и о том, что мало знал окраниные улнцы, быт бедняков, желтый дымок спичечных фабрик, которых было несколько в иаших окрестностях, н только раз побывал на пушечиом заводе, где директором был отец моего одноклассннка. Не зиаю, ясно ли я выражаю свою мысль: мы несравненно лучше зиалн жизнь по ромаиам, чем по лнчным с нею встречам. Вероятио, потому образы моей юности так бледны и так охотно забылись, н нногда мне кажется, что прямо из ребячества я попал в университет. И потому я упрямо мнную гимназнческий быт, о котором другие рассказывают так красочно н так хорошо. В моей памяти отчетливо сохранилась только одна картина — ие столько в фактах, сколько в отголоске пережитых ощущений, и это — картина какого-то странного патологического массового взрыва, безрассудного бунтарства, вероятно вызванного при-

падком безнадежной скуки и жажды чего угодно, но только нового, хотя бы катастрофы.

Могла быть латынь, воображаемая прелесть «Георгик» Вергилия, или могло быть то, что у нас называлось физикой,— зубрежка формул без ясности смысла, без опытов, без общего понятия о месте этой науки в неуклюжей и закоптелой храмине наших познаний, тягучий и трудный вздор, безграмотно изложенный усталым пьянчужкой и поторенный нами. Могла быть всеобщая история, в которой что-нибудь восклицали проглотившие шпагу императоры и не было ни народов, ни страстей, ни революций, ни движения вперед, только листанье страниц с отметкой крестиком да мельканье годов и имен. Могла быть даже словесность, в которой прасол Кольцов был так же велик, как вчера был Крылов и завтра будет Гоголь, тоже родившийся в таком-то году и уже в раннем детстве почувствовавший свое призвание, а потом начавший творить писаные чудеса. Во всяком случае, был еще один нудный гимназический день в комнате со спертым воздухом и запахом крысы в испачканном мелом вицмундире. Могло быть все, кроме молодости и живых интересов, кроме правды, понимания и хоть сколько-нибудь живого слова. Потом был получасовой перерыв — принесенные из дому завтраки и продажа в коридоре мясных двухкопеечных пирожков. Так было с первого класса — и мы дотягивали восьмой.

В перерыве между уроками один из нас — это мог быть и я, мог быть не я, мог быть здоровый, больной, каторжник, герой, идиот, умница, безразлично,— один из нас, руки в карманах, не зная что делать: запеть, запить, плюнуть, утопиться — подошел к черной классной доске, орудию пытки и экрану бессмыслицы, и ударом каблука отшиб нижний колышек, на котором гильотина держалась в своей рамке. За минуту до этого ни у него, ни у всех остальных не было в мыслях разбивать плотину нашей мутной реки и взрывать тюремные стены. На треск повернулись головы, всколыхнулась дремота, и молча, как по уговору, все стали бить ногами черную доску. Она оказалась белой внутри, и она была разбита не на куски, а в малые щепы. Кто-то, на чью долю не выпало отвести душу сильным ударом, красный от натуги, выламывал железную дверцу изразцовой печки, другому силачу удалось отковырнуть кирпич,— и голыми руками, спеша и ломая ногти, мы в несколько минут разнесли печь, разбили и сорвали с петель стеклянную дверь, столик, кафедру и принялись ломать ученические парты. На грохот сбежалась вся гимназия, и мальчики восторженно и понимающе смотрели на разрушение, которое уже не могло остановиться,— Бастилия должна была пасть. Похмельные и ошалелые, в разорванных блузах и с исцарапанными в кровь руками, мы вышли в длинный коридор, очищенный классными наставниками, которые также все попрятались. Даже в швейцарской не было сторожа, и мы, одевшись, разбрелись по домам, не обсуждая и не оценивая, что и почему произошло. Но мы и сами ничего не понимали. Я помню только одно — что на другой день я пошел в гимназию и что там

были в сборе почтн все мон одноклассникн — прнтихшне, но спокойные. Мы моглн ждать любой кары, но почему-то у всех была уверенность, что в этом положении н у нас, н у нашего начальства выход один — притворнться, что ннчего не пронзошло. Разрушенная классная комната была заперта; для нас, восьмнклассников, был отведен физнческий кабннет. Уроков не было — ннкто нз учителей к нам не вошел. Малыши смотрелн на нас, как на героев, в шинельной сторож помогал сннмать пальто, чего никогда не делал; попавшнй мне навстречу в корндоре классный надзнратель первым вежливо поклонился. В конце первого часа, бывшего для нас свободным, вошел к нам ннспектор гимназнн, единственный человек, которого мы уважалн, умный, пожилой человек, хотя мрачный, запойный пьяница. Видимо, он не прготовил речи н не знал, с чего начать. Помявшись, он угрюмо пробормотал, что сегодня занятнй не будет, но хорошо бы с завтрашнего дня спокойно прнступить к урокам, потому что не за горамн н выпускные экзамены. Уже двннувшись к выходу, он прнбавил: «Что случилось — то случилось, н уж лучше, н для вас н для нас, об этом не болтать». Мне показалось, что у него дрогнула скула, н все мы былн смущены. Наш бунт, больной, бессмысленный, ни против кого лично не направленный, был замолчан н забыт. О нем, конечно, говорилн в городе, но в «округе» или не узнали, или не захотели знать — класс был на выпуске н скандал был бы чрезмерным.

Мне странно вспомнить, что только эта страничка гимназнческих воспомннаний осталась в моей памятн как событие значительное н — я бы сказал — светлое: гроза, очистившая воздух. Не будь ее — мы вышли бы нз стен «казенного заведения» угрюмымн н мстнтельнымн юношамн, не способнымн на прощение; сейчас я готов допустнть, что не все н не всегда в нем было отвратнтельно н что какую-то крупицу прнзнательностн я все же могу к нему чувствовать, хотя бы за то, что оно научило меня не делать ошибок в словах с более ненужной буквой «ять» н катать нанзусть «Слово о полку Игореве». В частностн, я сохранил уважение к угрюмому, давно-давно покойному ннспектору нашей гнмназнн.

На ннжней поверхности древесного лнста — белое пятнышко, ряд вскрывшихся восковых пузырьков, в каждом крохотный жучок. Иногда этот выводок расползается, но прн первой тревоге все сбегаются в кучу н прячутся по своим ячейкам. Таков же выводок паучков, рыбок, похожнх на прозрачные стрелкн, цыплят — на золотые шарнки. Приходит какой-то момент, кучка разбредается, н один не хочет больше знать другого. Однажды мы выпускали в лес ежат одного помета, жившнх у нас в комнате н спавшнх вместе в тулье старой шляпы, наполненной сеном. Уже подросшне ежикн немедленно разбрелнсь по зарослям вереска н можжевельннка в разные стороны, даже не попрощавшись; хотелось нм крикнуть: «Слушайте, ведь вы можете больше никогда не встретнться! А встретитесь — не узнаете друг друга, братья сестер н сестры братьев!» Прнходнт день, н юношн,

восемь лет просидевшие рядом в одиой душиой комиате, зубрившие одну и ту же иелепость, разбившие в щепы и мусор и эту комиату, и эту иелепость, быстро разбегаются по свету и теряют друг друга из виду. После, уже случайио, сталкиваются в потоке жизии отдельиые щепочки и делятся впечатлениями. Андрей и Митя оба стали врачами. Толстый, лысый, обрюзгший, протухший карболкой лаборант говорил мне: «Да так, иичего особеииого, живу; одио могу тебе посоветовать, если еще ие поздио: ие женись, брат, ие стоит!» Случайно иа учеиом диспуте, совсем ие по моей части, подходит близорукий и добродушиый человек, профессор геологии, и спрашивает: «А ие из одиого ли мы с вами города? Мие ваше лицо как будто тоже зиакомо!» — «Ну, седииа меияет человека, а вот классную доску мы, пожалуй, разбивали вместе».— «Очеиь, очеиь рад встретиться,— говорит крупиый человек с отличным брюшком,— да вот, как видите, учу сограждаи уважать закоиы страны. А как вы?» С трудом припомииаю, что это Петька, отчетливый лентяй и болваи, кое-как дотянувший курс. В журиалах стихи и проза за подписью зиакомой фамилии, ие часто встречающейся. Но иеужели это тот самый мой сверстник и одиоклассник? Если бы я хотел предсказать его судьбу, я отвел бы ему теплое место в акцизиом управлеиии или пустил бы его по учительской части в дальием геберискоы городе, жеиил бы его на доходиом доме, ио искусство... Я вчитываюсь в его творчество, захлопываю книжку журиала и отвечаю: да, это он!

Три — пять встретившихся еще раз в жизни имеи — из иескольких десятков. С одним мы ие расстались и в студенчестве, делили комиату иа Броииой, делились и обедеиными купоиами студеической столовой. Однажды мы пошли иа сходку в старое здаиие уииверситета. Я выдержал час — ио больше ие мог: у меия был приступ разочарования в защите чести студеического мундира. Я вышел во двор и увидал, что проход иа Моховую загорожеи полицейским нарядом. Тогда я прошел узким подземным коридором в переулок и услыхал, как за миой забивают дверь. На Никитской мие встретились казаки. Все это происходило ежедиевио и уже иаскучило. Очевидио, иас арестуют и вышлют, как в позапрошлом году. Я собрал вещи в чемодаичик и уехал к сестре, оставив сожителю записку. Но он ие получил ее: прямо из круглой залы университета он попал иа сибирский этап и умер, ие доехав до места ссылки. Он был слабого здоровья, сутуловат, близорук, иикому ие страшеи, ио вереи своим взглядам. Без событий — жизиь его вычеркнула.

Я, коиечио, очеиь забежал вперед в своих воспоминаииях о юиости. Пропущены самые обязательные страницы, и я попытаюсь восстаиовить их в обязательиом тоие. От пристани отходит пароход, и мать машет мокрым от слез платочком. Студеическая фуражка была куплеиа еще весиой, и голубой околыш успел слегка выцвести. Граница юности и молодости, ио еще искусствеииая: уезжает мальчик, которому очень хочется казаться взрослым. За обедом в пароходной рубке я велел подать

большую рюмку водки (рыбная солянка, стерлядь кольчиком!). Едет в столицу бывалый студент. На мне серый летний пиджачок — форму хочется заказать в столице. Несколько интересных девиц — с маменькамн и одиночек. Трн дня парохода — истинное блаженство. Появляется соперник: высокий красивый студент с кудрявой бородкой: впрочем, не выше меня ростом, но все-таки — с бородкой! Меня утешает то, что он держится не бойко н, видимо, хотел бы со мной познакомиться. Когда я выпнваю свою рюмку — она лишь вторая нли третья в моей жизни,— он краснеет н заказывает пароходному лакею такую же. Это меня бодрит,— а может быть, бодрит рюмка,— н я бросаю со столнка на столик: «Вы в Казань, коллега?»

«Коллега» — это такое слово, такое слово, что его красоты н силы н пояснить нельзя! Чтобы произнести его впервые, нужна смелость н некоторая прнвычка к актерству; я прнобрел ее, читая вслух Шекспира. Нет, он едет в Москву, а пока подсаживается к моему столику, н мы спрашиваем еще по рюмке. Хотя камская вода спокойна как зеркало, но пароход начинает покачивать. Да, он москвич, юрист, третьекурсник, то есть он перешел на третий курс. А вы казанский? Нет, я тоже еду в Москву н тоже юрист: по правде сказать, я только что поступил в университет. Я не понимаю, почему он смущен, но нам, во всяком случае, весело. Мы выходим на палубу. У него новенькая фуражка, н он завидует моей, выцветшей и уже слежавшейся на голове. На пароходе мы, конечно, интереснее всех, н при нашем проходе девицы делают равнодушные лица. Впереди трн вечера. Дело в том, что жизнь, в общем, занятная штука. Воздух возбуждает аппетит, н за ужином мы опять выпиваем по две рюмки, а после пьем пиво. Тут оказывается, что его имя Борис, что у него в Москве есть сестра в консерваторнн, прямо сказать — очень хорошенькая, она вам живо вскружит голову. И уж если говорить по чистой совести, то он не третьекурсник, а тоже только поступил в университет, но, знаете, коллега, только не смейтесь,— у вас старая фуражка, н я боялся оказаться молокососом, к тому же думал, что вы едете в Казань. Мы радостно смеемся н говорим так громко, что все улыбаются н тоже радуются за нас. Ох уж эти студенты — лихой народ! У Борнса отличный баритон, на пароходе пианино, н новая фуражка побеждает выцветшую. Но дело в том, что одна из девиц необыкновенно прилежно читает. У меня нет голоса, но отличный слух, н я напеваю: «Бесспорно, чтение дает нам бездну пищи для ума н сердца — но не всегда ж читать возможно!» Она силится не слышать, но кончается тем, что бегущие мимо берега внимают нашей беседе о литературе,— н уж тут побеждает фуражка отцветшей голубизны. В Пьяном Бору превосходные раки. В Казани мы теряем общество девиц, но прнобретаем новые знакомства. В Нижнем Новгороде пароходные удобства сменяются третьим классом поезда, н стук колес не мешает нам переклнкаться, сделав из верхних полок мягкие ложа, так как с нами едут для будущей жизни одеяла н подушки,— н московский вокзал выталкивает нас, благоговеющих, на Садовое кольцо.

Да здравствует молодость! Да здравствует преддверие и а с т о я щ е й жизни! Я всматриваюсь в темноту пройденного длинного коридора и в далекой его перспективе внжу мелькнувший свет, заслоиеиный фигурами юиошей, смело распахнувших дверь и бегущих сюда: но им ие удается сохранить на своем путн бодрую походку. Мие хочется подождать, пока они подойдут н пройдут мнмо старнками,— и иизко поклоииться своим воспомннаниям.

Юноша крутит иад своей головой веревку с прнвязаииым камием. Снаряд вырывается и летит по кажущейся прямой. Юиоша слншком размахнулся, и камеиь летит над деревьямн, вершиамн гор, мнпуя границы, отклоняемый ветрамн н внхрямн, сшибаясь с препятствиями, теряя силу. Мы вступаем в область географии, которая так плохо преподавалась, ио со времеием поддалась практическому изучеиию. Я нзучал прибои и приливы разиых морей и ломал язык для чужих гласиых и согласиых. В жизни взрослой и сознательиой вкусил больше от Запада, чем от родиины, и для приветствий и проклятий завел особую тетрадку — миого тетрадей,— ие для чужих глаз и ие для печати. Там люди, идеи и события иаколоты иа длиные булавки, крылышкн расправлены, все пересыпано нафталином. Бабочки, мушки, осы, стрекозы и его благородие жук-усач. Там великие люди нз энциклопедического словаря ходят в спальных туфлях и иеизящио сморкают иосы. Там идеи играют в свайку и топчутся иа одиом месте, и из пустого в порожиее переливаются и пересыпаются явлеиня со звонкими заголовками. Когда же камеиь, обернувшнсь бумерангом, ударился о петербургскую мостовую, у моей дверн остаиовилась страиного типа походиая коляска с солдатом за кучера н усатый офицер-фронтовик уверил меня, что он не кто иной, как Володя Ширяев, с которым мы прочитали все, что иапнсали для нас человеческие гении. Он был в отпуске с фроита и, узиав о моем возвращеиин в Россию, поспешил возобиовить гимиазическое знакомство. Мы отправилнсь на Острова, где в большом иочиом ресторане подавали только квас и лимонад, и, однако, посетители были пьяиы больше, чем в мирное время. Мы рассматривали друг друга, кожу, волосы, улыбки, нскали зиакомых звуков в голосе и говорили обо всем, кроме войны: о черепе бедиого Йорика, о Велнком никвнзиторе, о кияжие Мэри и Марфиньке, о разбросаиных по вселеиной чертовых куличках н иадеждах тридцатнпятилетиего возраста. «Помните иашу зиамеинтую ссору? — сказал Володя.— Согласитесь, что это было очаровательиоl» Я помнил ссору и помиил взрыв, уничтоживший классную комнату; этот взрыв повторился спустя год — мы этого еще не знали, ио уже моглн предполагать. «Через три дия коичается мой отпуск,— сказал Володя без всякой горечи.— Я очень рад, что нам удалось встретиться». Я ие знаю, был ли он убнт. Но ои был талантлив, и иевозможио, чтобы о ием, живом, я никогда более ие слышал.

Коитролер с удивлеиием вертит в руках мой билет: иа нем помечеиа начальная стаиция, ио не указаиа коиечная: «Куда

же вы, собствеино, едете?» Я должеи бы поясиить ему мое первое открытие: цель жизни есть сама жизнь, и я ие умею эту жизнь резать иа аккуратные кусочки. Грудные дети часто бывают похожи иа старцев, старики падки иа юиошеские шалости. Одиажды у меия встретились за обедом молодой поэт и старый обществеиный деятель; разница в годах — свыше сорока лет. Я ие сомиеваюсь, что в борьбе иа поясах или в успехе у жеищии победил бы молодой. Но в оптимизме и в приятии жизии оии менялись годами: мысли молодого отдавали шампииьоиом, старик просился в петличку летиего пиджака. Первый горделиво иес бремя общественной благотворительиости, второй терпеливо ее оргаиизовывал, живя своим трудом. Это было лет пять тому иазад; с душевиым холодом за одного, с радостью за другого прибавляю, что старик пережил поэта, погибшего бесславио. И я говорю огорошеииому коитролеру: «Если поезд ие сойдет с рельсов раиьше, я еду до стаиции Утомления, не предугадывая ее официальиого иазваиия». Мы же условились, что жизиь ие делится иа отчетливые возрастиые кусочки. Я только что сиял свою первую студенческую комиату в Москве — коиечно, на Броииой — и шел с бутылкой купить керосину для лампы. У дверей пивиушки меия остаиовил студеит без фуражки, со всклокочеииой бородой, свирепым видом и добрыми глазами: «Почему ты идешь мимо, рыжая бестолочь?» Собствеиио, рыжим был ои, а никак ие я, ио я почувствовал прилив восторга и гордости. Ои вырвал у меня бутылку, которую мне одолжила хозяйка, поиюхал и сказал: «О юиость, иди своей дорогой, ио помии, что все пути ведут в Рим»; затем повернулся и с бутылкой ушел в Рим. Мие очеиь хотелось последовать за иим в приглядиый кабачок, ио я ие решился. На цыпочках, высоко держа голову, я трижды прошел по Тверскому бульвару, от Пушкииа до столовой Троицкой,— и мир был светел и полон иадежд. Не эти ли минуты считать свящеииым отплытием от берега юиости в океан молодых переживаний? Еще в круглом зале профессор Чупров ие произнес своего бархатного «Милостивые государи!», еще иа блестел полировкой под низкой лампочкой стол в Румяицевской библиотеке, еще Маиеж иа Моховой ие говорил о пределах студенческой свободы. Новенькие фуражки, встречаясь иа улице, отводили глаза, ио сердца сияли приязнью — иачало собориости. Мои руки вытягиваются и обнимают ряд здаиий — и двор с нелепой куклой Ломоиосова, и холод колоии уииверситета в Риме, и Сорбоину, катящуюся по скату улицы Сеи-Жак! С влажиыми складками крыльев бабочка высвобождается из кокоиа,— и предстоящий ей мир ие меньше иашего; я хотел бы огромиым карандашом зачеркиуть миого строчек, страииц и киига и в прошлом, и в иастоящем, оставив вие скобок только минуту ее первого вылета. Чистый звук струиы, без развитого мотива, без дирижерской палочки, бесспорность иеуловимого разумом и ие отравлеииого стерегущим сомиеиьем. В булочной Филиппова иа Тверской пирожок стоил пять копеек, счастье бесплатио. В окиах книжиого магазииа ответы иа все улыбались сииими,

серыми н желтыми обложкамн, московский ваиька обожал свою лошадь н уважал седока, река деловито бежала под стенами Кремля, и у мостов ее вода, натыкаясь иа камни быков, иапомииала морщиками лапки у серых смеющихся глаз. И тут живут, н за рекой живут, как живет н вздымается в дыханин грудь всей земли, заселенной мудрецами н рыжей бестолочью. Потом — но только потом — эти камни, окна, книги, мосты, серые глаза, дышащие груди, бегущие через поля столбы, подводные лодки, лачуги н вавилоиские башни, крохи позианий и бездны невежества, биржн, самолюбня, подвиги и все слова, предметы и понятня взорвутся, сольются в клокочущую кашу нз металла и тел, испепелят веру, нзиасилуют любовь и волосатая рука покажет иаивиой вековой мудрости огромный кукиш с загнутым желтым ногтем,— ио это потом, в темном холоде будущего, которое юноша приветствовал голубым околышем фуражки,— н был прав, не угашая слишком раио надежды, без которой жить нельзя. Когда обратно по бульвару я шел домой, забыв, что керосни ие куплен, сидевшая иа лавочке женщниа с приветливой хриплостью голоса бросила мне: «Коллега, дай папироску!» Неся свой восторг, я прнбавил шагу н, поднявшись иа воздух, плавным поворотом влетел в устье Латинского квартала.

Раио утром я стучу в дверь комиаты и бужу юношу, доставленного миою иа станцию «Молодость». «Не позабудьте,— говорю я ему,— что сегодня ваша первая лекция и вы делаетесь «милостнвым государем». Его глаза сняют. Я пожимаю ему руку, желаю быть кузиецом своего счастья и, спускаясь с лестиицы, вижу котенка, играющего клубком. Клубок разматывается, и настоящее уходит в прошлое. Моя задача выполиеиа, мие некуда больше спешить, и я возвращаюсь в это прошлое, шагая по шпалам железиодорожного путн. На слиянии двух рек, Волги и Оки, меия задерживает раздумье и нзлишек досуга. Водяная поверхиость покрывается салом, прибрежье белеет,— и по льду, лениво вытянувшись, располагается санный путь. Тогда я меияю маршрут и иду иа Самару н Уфу. На станциях продают кустарные нзделия нз чугуиа, слюды и каменной солн: рядом чертик и Евангелие. Наполнив ими дорожный мешок, я палкой помогаю себе взобраться на отрог Урала — хотя н на ровном месте уж ие обхожусь без легкого посоха. Какие-то воспомииаиия связаны с Челябннском,— кажется, здесь мы немножко скандалили, отправляясь в первую ссылку. На горном перевале столб: «Европа — Азня». В Екатеринбурге с детской страстью я любуюсь переливчатымн камушками, горками горного хрусталя и почкамн малахнта. Черные прожилки на темной зеленн пробуждают иепонятное беспокойство, н мне хочется скорее добраться до еще более зиакомых мест. Обратный столб «Азия — Европа», потому что раньше был только этот кружной путь из Москвы иа родину, н он был прекрасен. Запушениые снегом бесконечные лесистые кряжи, нетронутая природа, чистый воздух орлииых гнезд. Путь к камскнм берегам ведет по понижающимся отрогам, тропникамн, протоптаннымн арестантской беглой шпаиой. Поздним ве-

чером я разыскиваю деревянный дом и вижу в окне свет знакомой лампы. Дверь не заперта, но я не сразу решаюсь войтн; за дверью слышен как бы удар молоточком: женская рука разбнвает кедровый орешек осколком малахита. Котенок играет клубком, уже размотанным почти до конца, н его лапы путаются в нитках. Я захожу лишь на минуту — передать привет от нового «милостивого государя», который очень прилежно слушает лекцин. Глаза женщины отрываются от пасьянса, но я уже снова на большой дороге, ведущей нз города, мимо кладбнща, в глубь леса. Привет черепу бедного Йорнка! Детьми мы делалн из деревянных рогаток н каучуковых трубок отличное орудие, которым разбнвали чашечкн телеграфных столбов на сибнрском тракте — не зная, что это называется преступленнем. Поворот к деревне мне знаком, как прежде: березовая опушка н глубокая колея в сторону на четвертой версте. Совсем внезапно пришла весна, над полями уже голосят жаворонки. Воз, нагруженный всякой домашней утварью, увенчан самоваром в руках моей нянюшки, мы с тою же медлительностью следуем на извозчике. Первый визит на косогор с клубникой — с него спуск к речке. Отец носил летом костюм нз чесучи н широкополую соломенную шляпу. У меня за плечами мешок с прнборамн: коробки для растеннй, совочек для нх выкапыванья с корнем, еще разная разность высокого назначения. Иногда брали заступ — когда шлн открывать родники. Временный желобок отец делал нз бересты; всегда с нами резиновый стакан — пробовать воду, сладка ли,— она всегда была сладка н освежающа!

Разматывая клубок ниток, чтобы перевязать пучок листьев папоротника, я замечаю, что клубок нстрачен н его ннти воспоминаний не хватит на дальнейший откат к детству; теперь это делается проще обратным ходом кннофильма. Мы выбнраем сырой склон, где особенно пышна растительность н богаты мхи. Отец налегает на заступ городским башмаком, н мы ждем, не появится лн в ямке вода. Мне хочется, чтобы эта картина была последней, потому что она мне очень дорога. Краскн туманятся, в глазах рябит дрожащая сетка, н последнее, что я слышу и помню,— очень серьезный и очень убедительный голос, который говорит мне, как совсем взрослому:

— Вот и еще один родник свежей и здоровой воды. Мы сделаем желобок, н кто-нибудь, напившись, помянет нас добрым словом. Куда потечет эта вода?

Я уже знаю и подсказываю скороговоркой:

— Отсюда в речку, нз речки в Каму, нз Камы в море, нз моря вернется сюда же легким облачком...

Отец смеется, достает резнновый стакан н первым пробует воду. Затем отпиваю я, н занавес бесшумно опускается.

МОЛОДОСТЬ

Страсть превращать чистый лист бумаги в суету скользящнх строк с зачеркнутыми словами н надстрочнымн добавками, вечно

вязать нескончаемое кружево мысли и слов,— эта неизжитая страсть, перешедшая в привычку, побуждает меня продолжить записки о жизни. Но если детство и юность, всегда овеянные поэзней, вспоминались с легкостью н для них находилнсь избранные слова, то в зрелые годы — это уже не картинки, не туманная акварель, вольная игра кистей и красок; и это не напнсанная н отложенная в сторону кннга. Их не отделншь с простотой н полным спокойствнем от дня сегодняшнего, который проснтся в последнюю графу человеческих сроков, в рубрнку подкравшейся старостн,— что нн говорн, как ни старайся преувеличеннем недугов вызвать возраженне зеркала: «Вы уднвнтельно сохранились, это только случайная слабость, которая пройдет». На жизнн поперечные трещнны, она давно распалась на части, н не все в ней кажется действительным н своим. Есть такое насекомое медведка, маленькнй жестокнй вредитель-корнеед; огородникн уверяют, что разрублеиная пополам острой мотыгой медведка, прожорливость которой знаменита, иногда съедает отделившуюся часть своего туловнща. Со мной постоянно происходит подобное: отрезок отдаленного прошлого перестает быть своим, он кажется выдумкой, литературным матерналом, н, еслн нсключить его нз жизни, я не почувствую ни болн, нн сожаленння. Мне кажется забавным этот белобрысый московский адвокатик, отрастнвший для солндностн бородку и носивший много длинных званий, почтенных и неудобопронзносимых: «помощник присяжного поверенного округа Московской судебной палаты», «присяжный стряпчнй коммерческого суда», «опекун суда сиротского», «юрисконсульт общества купеческих приказчиков», «член общества попечительства о бедных» и многое еще. В возрасте двадцати пятн лет мы были и считались взрослыми. Я говорю это нынешним тридцатилетним, сорокалетним мальчикам, все еще безответственным и неустроенным в жизни, говорю ие в укор и не в поученье. Жизнь осложнилась, непомерно удлиняется и пернод к ней подготовки. Сорок лет казались нам пределом молодости и живой силы. В этом возрасте люди уже успокаиваются и хотят, чтобы все кругом было устойчиво и неколебимо, а мы жаждали движення и буита. Свон профессии мы считали общественным служением и не хотели замыкаться в технической узости, были непременно романтиками и, конечно, революционерами. Позже, в эмигрантскне годы, живя в Италии после крушения революцин пятого года, я попросил однажды приятеля, итальянского адвоката: «Укажн мне хороший курс итальянской литературы». Он удивленно ответил: «Я ие филолог, я юрист».— «Мне не нужно книг специальных, укажи обычный хороший учебник». Он повторил: «Да ведь я же адвокат, откуда мне знать?» И я понял, как мы отличались от европейцев своим отрицанием специальности, своей жаждой знаний общнх. Я, наверное, мог бы указать ему лучшнй курс — хирургии, физнки, философни, даже руководства по столярничеству илн рыбной ловле. Но н в своей профессиональной областн мы не искали непременно карьеры и заработка. Я несколько побаивался больших выступлений и очень

любил кропотливые делишки в мировых судах, где была так очевидиа помощь юриста бедиому тяжебнику, ие разбиравшемуся в статьях закона, где было можно героически обрушиться иа подпольиого ходатая по делам, тянувшего с клиента деиьги, иевежественного и полиого самоувереииости, пока ои ие сталкивался с подлиииым, хоть и молодым, юристом. Я с горячиостью и волиеиием защищал прощелыгу, поклявшегося мие, что он ие крал пальто с вешалки и что ои — жертва иавета. Судья, доверившись моей искренной убеждеииости, оправдывал моего клиеита, который потом прииосил мие скромный гоиорар: серебряиую ложку, очевидио тоже им украденную, а впрочем, она оказывалась фальшивого серебра. Я смеялся, но продолжал и впредь верить. Случайио, по указанию какой-нибудь кухарки, видевшей иа двери мою адвокатскую дощечку, вваливались ко мие владимирские мужики, строительиые рабочие, бородатые, тяжелоиогие, и я вел дело их артели, обижеииой подрядчиком, и чувствовал себя защитиикам прав трудового иарода. Я ие брал с иих денег и даже тратил от своей скудости, считая честью быть их покровителем и ходатаем; и, выиграв дело, взыскав с иечестиого подрядчика недоплачеиные им гроши, я сиял радостью и провожал их до дверей, похлопывая по плечу со всей молодой солидиостью. Я ие хвастаю добродетелью — я был точно такой, как все иедурные люди моего времени, из средиих обществеиных классов,— прежде всего «служители правды и справедливости»; это придавало жизии особый вкус и нисколько ие мешало нам к сорока годам обрастать более жесткой кожей и переходить в стаи удовлетвореиных, умереиных, растивших брюшко, ио все еще считавших себя и жертвами и врагами «режима». Все же были и такие, которые до старости оставались поэтами, будем к иим справедливы. Еще и сейчас встречаю людей моего прошлого; они помнят слова студенческих песен, оии пьют водку, иастояиную иа перце, вздыхают и куда-то рвутся, хотя жизнь давио приколола их киопочками к семье, к делу, к бескоиечно катящейся по протореииой дороге жизиеииой тележке. Бесцеиные товарищи, просчитавшиеся мечтатели, кавалеры осмеяииого ордеиа русских интеллигеитиых чудаков! Полный к иим иежности, я горжусь своим с иими кровиым родством, хотя события личиой жизни раио выбили меия из их рядов и вообще из русской жизни и уиесли наблюдать жизнь чужую,— только иаблюдать, сердцем в ией ие участвуя.

Я вспомиил о своем кратком, трехлетием адвокатстве, так как с чего-то нужио иачать рассказ о зрелых годах. У меия была приемная, был кабииет, были телефон, пишущая машиика, копировальный пресс, портфель, фрак со зиачком, настольиая библиотека юридических справочников, деловые обложки с моей фамилией, медиая дощечка иа виешией двери, эмалироваииая иа улице. Я защищал, взыскивал по безиадежиым векселям, писал великолепно составлеиные письма «с совершеииым почтеиием». В швейцарской «здаиия судебных устаиовлений» был у меня свой крюк иа вешалке, с иаклеенной иад иим моей фамилией, которую швейцар иногда помнил, иа вешалку ие глядя.

Я работал самостоятельно, независимо от патрона, ведшего лишь большие дела и не имевшего для меня маленьких. Я выезжал иногда в фабричные городки, где рабочие протягивали мне культяпки рук, искалеченных текстильной машиной, давал купеческим приказчикам советы по коммерческим делам, которые они знали гораздо лучше меня, мирил наследников, полюбовно поделивших доходные дома, но поссорившихся из-за произвольно зарезанной свиньи и кучи старого железа, опекал сирот, бродил по камерам участковых судей и квартирам судебных приставов. У меня была недорогая, но солидная шуба и боты, шаркавшие по снежной московской мостовой, и об одном проведенном мною деле была газетная заметка. Но очень скоро на диване в моей приемной стали спать по ночам подозрительные люди, бежавшие с политической каторги, на машинке отстукиваться тексты пылких и буйных прокламаций, которыми затем набивался мой адвокатский портфель, квартира стала служить для явок и сборищ, мое звание — для прикрытия общения с самыми разнообразными молодыми людьми, мало похожими на клиентов.

Был 1904 год. Наступил и 1905 год — год Московского вооруженного восстания. Не будет последовательности в моей жизненной повести. Нет, я не буду рассказывать о революции. Вообще не буду рассказывать — мне хочется рождать образы прошлого, дав им полную свободу. Мы живем в последовательности дней, месяцев и годов; но, оглядываясь на прошлое, мы видим путаницу событий, толпу людей, нагромождение сроков и дат. В бывшем есть реальное и есть кажущееся, прежде важное стало ничтожным, маленький случай вырос в Гималаи, легкий мотивчик песни запомнился в укор стершейся в памяти симфонии. В воображении я ищу друга тех времен, молодого и полного надежд, и он, потирая старческую поясницу, досадливо кивает мне издали на друзей позднейших, давно его заменивших; я ищу женщин, но их карточки выцвели, съеденные солнцем и временем, и даже от прежних икон остались только потухшие лампадки с плавающими в деревянном масле мухами. Есть счастливцы, прожившие весь свой век в одном доме, в одной квартире, все в тех же комнатах, стены которых дышат их дыханием и привычно отражают звуки их слов; их письменные столы, регистраторы, ящики их комодов, кладовые наполнены прекрасной рухлядью вещественных доказательств их быта. Другим удается по всему свету таскать за собой огромный, по углам лоснящийся кожаный чемодан с наклейками гостиниц, таможен, с царапинами сотни вагонных полок и багажных складов,— чемодан, вмещающий самое ценное, ветхое и новое; трогательную собственность, внешний оттиск внутренних переживаний, воплощенье жестов и дум, суету и кутерьму остывших страстишек, сокровенную ненаписанную историю. У меня ничего этого нет, хотя я очень люблю вещи и вещицы. Все, что меня окружает, до неприличия молодо, ему не больше года. В груде писем только недавние даты, и эта единственная рукопись только сегодня начата. Так бывало не всегда, но время от времени так случалось: спасшись

при очередном кораблекрушении, я подплывал к незнакомому берегу и из веток незнакомого дерева строил очередной шалаш. Затем, осмотревшись, Робинзон вырубает хижину, находит и сеет семена хлебных злаков, приручает козу, знакомится с Пятницей. Но с Робинзоном Даниэля Дефо это случилось только раз,— как прочны были раньше общественные устои, как была несложна человеческая жизнь! Затем он вернулся на родину и пустил в мякоть кресла прочные корни. Он пил настоящее вино, или эль, или сидр и мозолил ближним уши рассказами о своем необычайном приключении, пока Пятница неистово врал о том же в кругу знакомой соседской прислуги. Вариант — Дон Кихот и Санчо Панса; романы должны кончаться хорошо. В действительности люди богатой жизни нередко умирают на промежуточной станции или под забором,— но не стоит говорить чувствительно. У меня много времени, и, если вы столь же свободны слушать, я расскажу случай, до которого в порядке последовательности вряд ли добрался бы, так как он заимствуется из истории самой свежей катастрофы, впечатления которой не изгладились. Но для начала рассказа я должен откатиться лет на восемьдесят назад, к шестидесятым годам прошлого века. Мой отец, молодой юрист, провинциал, увидал в театре, в ложе уфимского губернатора Аксакова, красивую девушку, только что приехавшую в город. В тот же вечер он перегнул пополам длинные листы писчей бумаги и начал писать дневник, обращенный к этой незнакомке,— дневник любовных страданий. Он владел пером лучше, чем чувствами, и повесть о его любви сохранилась среди его бумаг и перешла по наследству ко мне, тем более что предметом его любви, казавшейся столь же страстной, сколь и безнадежной, была его будущая жена — моя мать. Тетрадь пожелтела, сохранив все благоухание юности; она озаглавлена «Мои бредни», и нить романа обрывается в ней на первых встречах и первом ощущении полной безнадежности. Случай спас эту тетрадь при трех моих жизненных крушениях: всякий раз она неожиданно выплывала из небытия и снова оказывалась в заветном ящике моего стола. Убегая из Парижа, которому грозило унижение, я был вынужден оставить там все, что было мне дорого. Полчища Атиллы захватили город, и мои рукописи, мои книги привлекли их внимание; за полторы тысячи лет гунны не изменили своих привычек и своего вкуса к грабежам. Когда моим друзьям удалось проникнуть в ограбленную квартиру, они не нашли в ней ничего, кроме лежавшей на полу, среди мусора, старой тетради, которую подобрали, чтобы передать мне, когда мы увидимся,— если увидимся. Это был дневник моего отца, единственная, чудом сохранившаяся семейная реликвия. Вы видите, как судьба, порывая крепчайшие связи, не стесняясь никакими кощунствами, заботливо или насмешливо сохраняет нам щелочку для дыхания, предлагая в личной жизни продлить историческое бытие. Со мной нет этой тетрадки, но она меня ждет и не позволяет мне сказать, что прошлого не было и что жизнь зародилась вот в этом крестьянском домике, в окна которого настойчиво заглядывает

французское солнце. Я подчиияюсь и продолжаю писать повесть долгих лет.

Если где-иибудь уцелела хоть часть моего жизиеииого барахла — в каких-нибудь важиых учреждеииях политического сыска, да будут они все прокляты вместе с их изобретателями!— то среди вещей, вещиц и бумаг могла бы оказаться фотография молодого человека, худого, долговолосого, в платье с чужого плеча. Ои сидит в саду, в плетеиом кресле, и иаправлеииый иа иего объектив аппарата иипочем ие уловит его душевиого состояиия. Это я, вышедший только что из московской Тагаиской тюрьмы и скрывшийся на даче у зиакомых — лишь иа два дия. Меня выпустил под залог следователь, свидетели которого отказались меня призиать, ио узиать о моей свободе могут жандармы, уже приговорившие меия к ссылке в Сибирь. Русские учреждения по подавлеиию личиости были сложны и работали ие всегда дружно; вероятио, сейчас эта часть поставлеиа более образцово в иовом царстве свободы. Во всяком случае, завтра я пущусь в дорогу, острижеиный и выбритый, и мой путь, с кратким перерывом, продолжится сорок лет.

Только тот знает, что такое свобода, кто зиает также, что такое тюрьмы, что такое полметра кирпичиой стеиы, отделяющей от вольиого воздуха. Хлопанье тяжелой, обитой железом дубовой двери и поворот ключа. Равиодушие видавшего виды тюремиого сторожа. Ломкость иогтей, царапающих стену. Бессилие иенависти,— а ведь мы проповедовали любовь всех ко всем! Керосииовая лампа в клетке под потолком, сестра-узиица. Мука бездействия. Прислушиваясь — слышишь тишину, кажущуюся стоиом. А может, все это только кажется? Закрыв глаза — ждешь чудесиого прозрения, открыв — видишь те же стеиы с иебрежио забелеиными известью иадписями предшественников. Но одна ускользнула от виимания — иа обороте деревяиного табурета: «На воле я друзья очень был мало жизнь проклятая заела». Писал, должно быть, вор-рецидивист. В высокое окио заглядывает голубизиа отнятого неба; в проделанную в двери дырочку, откинув виешнюю заслонку, смотрит глаз иадзирателя — ие повесился ли заключеииый. В список проклятий молодой юрист виосит: закои — произвол — суд — право — иасилие — государство, все в одну рубрику, без разделов и оттеиков. Сумасшедшие люди, во что превратили вы жизиь — такую радость, такое благо! Сжать виски, чтобы самому ие сойти с ума. Вот так звери в зоологическом саду меряют шагами пол клетки, механически занося ногу при поворотах, всякий раз ступая на свой прежний след. Это мои братья — и вор-рецидивист, и пантера, и мартышка, и каиарейка. Отчего же сюда ие приводят детей — показать им их будущее? Как-то я увидал в парижской газете фотографию слоиа, убившего сторожа зверинца; я вырезал портрет слона и храиил с любовью, хотя в то время уже миого лет прожил без решетки. За яд, который вы влили в мою кровь,— и уже иельзя ее очистить, я всю жизиь старался это сделать! — за этот яд я высекаю иа камне, выжигаю иа дубовой доске

отливаю в свинцовые буквы свой список проклятий, с тех дней до пределов маленькой человеческой вечности. У меня нет слов, или, наоборот, я боюсь ими захлебнуться. И если бы моего палача посадили под замок, я сорвал бы замок н с его дверн.

Бессильны мон строки, мон выкрикн. Старый писатель, я отлично знаю, что лишь спокойными, взвешеннымн, может быть, расчетливо-злымн н ядовитымн словамн можно передать свои негодующие мысли; крик ранит только детей и женщнн. Но я пишу не произведенье — я пишу жизнь. И мие трудно обойтнсь без отступлеиий. Насколько легче писать о других, шить платья на марионеток, ниточками которых нграют пальцы!

Дальше — только пятна памяти. Я в сером пальто н серой, на лоб надвинутой кепке, в своем тщательном маскараде больше всего похожий на человека, который своим таинственным видом хочет привлечь внимаиие, то есть хочет того, чего меньше всего хотел бы. В Петербурге прямо с вокзала на фннляндский пароход. Со мной нет никаких вещей; впрочем, у меия вообще ннчего нет, потому что мое прошлое зачеркнуто, а за время моего пребывання в тюрьме все, что ие было украдено полицией, украдено дочиста, до последней нитки, другимн профессноналыиымн ворами. И на этих последних я не обижен: они — мои братья по тюрьме, н от них я отличался только гражданской одеждой и одиночной камерой. Я родился в середине великого пути, который проложен через всю Россию в Восточную Снбирь; служил раньше, служнт и посейчас. Через мой родной город гиали пешком арестантов, доставлеиных по реке на барках. Так и говорилось: «гнали»; говорят так про скот н про людей необычной, бунтующей воли. Арестантские песни были у нас в почете. Вообще мы, русские, странные люди. Когда на европейской улице ловят преступника, обыватели в этом помогают; у нас радовались н помогали любому побегу. Наши сибирские крестьяне иазывали арестантов «иесчастненькими», купцы н богомольные старушки посылали в тюрьму чай, сахар и калачи. В Париже я долго жил близ тюрьмы Сантэ и никогда, проходя мимо иее, не упускал подумать: как было бы хорошо взорвать эту высокую ограду и посмотреть, как во все стороны разбегутся заключенные! Среди них иемало негодяев, хотя, конечно, не больше, чем среди тех, кто нх лишил свободы. Я охотно спрятал бы у себя бежавшего нз тюрьмы бандита. После он, вероятно, обобрал бы меия, может быть, прнрезал; ио, конечно, не это может меня остановить. Вам такие слова покажутся назойливодерзкими, такие мысли парадоксальными; но от вас, защитников принципа свободы личности, я отличаюсь только последовательностью н откровенностью.

На пароходе я притворился иностранцем, вернее — немым. Перегон был иевелик, н в Гельсингфорсе я был по-настоящему свободен. Еще просыпался ночью прн малейшем шорохе: мне казалось, что сейчас загремит ключ в замке тяжелой дверн или дежурный уголовный арестант откинет в этой дверн форточку и весело крнкиет: «Кипяток!» Но утром гулял по Эспланаде

н любовался румянцем и сытым видом финнов и шведов. В порту пахло рыбой н йодом. Если бы не застенчивость, я вспрыгнул бы на уличную тумбу и, взметнув рукамн, закричал: «Сейчас улечу — я свободен!» Я был почти в Европе; н Европа казалась мие... я еще совсем не зиал Европы. Я только что родился. Финляидия — прекрасная девушка, у которой двуглавый орел хочет вырвать киигу ее закоиов; эта картниа висела в моем адвокатском кабииете. И вот я в Финляндии.

У меня иет при себе не только любимых старых вещей, книг, матернисного портрета и дешевого, стоимостью в одио су, куплеиного на базаре колечка, которым мы, шутя н серьезио, обручились с моей будущей женой,— у меня не осталось даже образов жнзни, не нспользоваиных вразброс по моим киигам и очеркам. Все, что я сейчас пишу, мне кажется уж рассказаиным когда-то, по какому-то случайному поводу,— мы так иерасчетливы, бедные трудовые писатели. Какой-нибудь придуманный человек на страницах моей книги, иаверное, смотрелся в спокойную воду у берегов Финского залива, жил иа островке финляндских шхер, дышал воздухом, напоенным хвоей, н, торопливо раздевшись, бросился винз головой с вылизанного временем н волной камня в полусоленую воду, чтобы побыть некоторое время в славном обществе щук, карасей, корюшек н салакушек. Не без удивления ои спрашивал почтенную хозяйку, для чего она прнвешивает светлую шерстинку к внсячей люстре н почему так часто ее меняет,— н проинкался уважеиием к чистоплотиостн отмеиного народа, узнав, что это — скромная уборная для мух, любящих садиться снизу на висящие предметы. Может быть, я даже рассказал где-ннбудь, как по улицам фннской столицы бродили русские сыщики, прнюхиваясь, не пахиет лн в каком-нибудь подъезде дома днна-мнтом, который в спальных подушечках илн под корсетом провозили в Петербург революционные девушки, одетые светскнми дамамн, заставляя дрожать мннистров н обнтателя Знмнего дворца. Мы жили в Финляндии недолго, меньше года, н я не успел обрасти вещами — помешала бедность н мечта о скором возврате в коренную Россню. Но вышло нначе, н однажды пришлось торопливо собраться н погрузиться на пароход, отплывавший к берегам средииной Европы; Финляндия лишь в слабой степени пользовалась автономией управления, н положенне русских политических беглецов не было в нем прочным.

Европа именуется великой страной, но для нас, прнвыкших к пространствам, она лишь маленький мирок, правда, тесно заселенный и насыщенный нсторическими словечкамн. Она суетлива, буржуазна, домовнта и считает минуты за время — мы швыряемся часамн н днями, не придавая нм ценности. Она утонула в предметах собственности, которыми каждый в ней дорожит почти так же, как жизнью,— нам, голым героям, это казалось смешным. Но она, тогдашняя (уже давно нет т о й Европы), очаровывала иас свободой, какой мы инкогда не зна-

вали, ненужностью паспортов, возможностью громко высказывать свои мысли и, не перекрестясь, перешагивать границы. Мелькнула Дания, затормозился поезд на франкфуртском вокзале — и вот белым кораблнком заколебался лебедь на Женевском озере. В калейдоскопе прыгалн и пересыпались разноцветные стеклышкн. Это и есть Монблан? Какое нагромождение прекрасных безделушек на нашем пути! Еще так недавно я проводил по пять суток в вагоне, чтобы навестить свою мать в днн университетских каникул; здесь в сутки мы пересекали несколько государств. Мы обращали на себя внимание и внешним видом, и громким говором; это так естественно: возвышать голос в Кневе, чтобы слышно было в Москве и чтобы откликнулись в Иркутске и Владивостоке. Мы не привыкли к мнниатюрам. Я живу в Европе трндцать лет, ее масштабы давно мне знакомы,— но до сих пор иногда ощущаю себя слоном в игрушечной лавке. Франция, например, очень почтенная страна, но все же она меньше губернии, в которой я родился; губерний в России было восемьдесят. Я пишу это, конечно, не без гордости. Я не дружу с правнтельством нынешней России, как не дружил с правителямн царской, как не свел бы дружбы и с «временным», если бы оно обратилось в постоянное, чего, к счастью или несчастью, не случилось. Но на карту Евразии я очень люблю смотреть, вымеряя пальцами какую-нибудь горделивую страну и пытаясь впихнуть ее в уезд Пермской губернии, который на лошадях, дважды в год, объезжал мой отец по своим судейским делам, прнхватив служащего и мешок с мороженымн пельменями. Что скрывать — российское «мы-ста» во мне жнвет прочно. Вот добраться бы хоть сейчас до границы да кувырком через голову прокатиться «от фннских хладных скал до пламенной Колхиды», легонько зашибив свой хребет об Уральскнй. Громадиа наша страна, и я поннмаю европейцев, которые называют Снбнрь русской колонией: нм завидно, а Сибирь самая подлииная Россня, ее не оторвешь. И мы — люди большого роста, крепкие и здоровые, равно привыкшне к жаре и морозу. Если бы Россия не была нз века в век деревяиной и горючей, она задавила бы мир архнтектурой и историей, как давит и смущает литературой и музыкой. Но ее настоящая история вся впереди, и старым я хвастаю только так, для сведения счетов с мурашикамн, называющимн нас «иежелательнымн иностраицами»; я не сержусь на этих мурашей, зная, что они все равно мне поклонятся, а я, по прнродному нашему великодушию, протяну им не два пальца, а всю пятерню — мы народ отходчнвый.

Я люблю в Европе северян. Мы родня. Возможно, что есть во мне и татарнн, но, во всяком случае, есть варяг. Мы пропахли смолой, мы одннаково молимся и лешему, и водяному. Князья и викннги, мы равно землепашцы, охотникн, рыболовы, люди простые, без дурацких феодальных замашек, без кичення голубыми кровями, без поклоиения гербам,— природные демократы. Только мы знаем, что такое весиа; и журчаньем ручьев,

стрекотом мушьнх н жучьих крылышек озвучена и наша, н скандинавская лнтература. Из сердец наших — ударь кннжалом — брызнет кровь, а не немецкое пиво, не французскнй сидр н не патока с прнмесью курортных вод. Думаю, что на этом можно н закончить восторженное бахвальство.

Оно несколько отвлекло меня от картин бегущей ленты кннематографа. Снега Савойн. Сен-Готардский туннель. Поезд вылетает на вольный воздух и катнтся под гору, прямо от знмы на лето. Теплая ночь в отеле — от мельканья чужих пейзажей н усталостн голова плохо соображает. Но наутро в распахнутое окно врывается столько солнца, сколько может его уместиться в сознании, н я впервые в жизни вижу апельснн не в магазннном ящике, а на ветке. Это — Нерви, нтальянский прнбрежный городок, позже мне отошневшнй. В полдень местный поезд увозит нас в другое местечко на той же Ривьере, где уже снята вилла для небольшой компании русских беглецов.

Я не Бедекер, чтобы отмечать звездочками места, где жил н был, да н звездочек, пожалуй, не хватит на моем закатном небе. Италии, роману моей молодости, я посвятил и книги, н осколки книг, все это укатилось в прошлое, и Италия теперь не та, даже имя ее звучит по-нному. Черноглазая девушка захотела стать синьорой, а я любил именно черноглазую девушку, любовью северянина, пригретого чужим солнцем. Спаснбо, дорогая, за десять лет ласковой дружбы! Я поннмаю, что нельзя вечно оставаться цветочницей на Испанской лестнице или плясать тарантеллу. Та девушка с затнбрской стороны Рнма, работница табачной фабрики, получившая прнз за красоту — за действнтельную, непобедимую, всепокоряющую красоту,— тоже впоследствии вышла замуж за европейского комиссионера, представнтеля фнрмы моторов. Все это меня мало касается, н моя любовь была платоннческой, может быть, даже простой благодарностью. В ватиканском музее есть жертвеннык рождающейся Венеры — я его называю по-своему,— н руки прислужннц помогают богине покннуть морскую пену. Выйдя, она наденет современный костюм н будет прннимать в своем салоне дипломатов н нзобретателей патентованных государственных снстем. Мне-то что за дело! Я видал этих людей сотнямн; они продаются в лавочках всемирной нсторнн. Но Венеру, с живого мрамора которой нежной тканью сбегает вода, я не обещал забыть,— o gioventu, primavera della vita! [1] Среди двухрядных перлов блеснул золотой зуб... Раскланнваюсь нздали н отхожу, потому что у нас есть свой собственный истукан н, по совестн говоря, азнаты умеют чище оттяпывать головы тем, кто нм не по вкусу.

Немало горечн в монх словах. Amor che a nullo amato amar perdona...[2] Но времена поэзии прошлн. Трн этажа дантовской поэмы уже соединены подъемной машнной, н мальчнк, одетый

---

[1] Юность — весна жизни! (*Итал.*)

[2] Любовь, любить велящая любимым... (*Итал.*)

в черную рубашку с галстуком, выкрикивает: il purgatorio, avanti chi scende![1]. Я выхожу, не дожидаясь обещанного рая, куда уже поднялось достаточно европейских народов.

Уклоняюсь от соблазна писать историю виллы «Мария» на средиземном побережье, чтобы не обратить моей повести в усердную хронику. Но в памяти жив скат к морю обширного сада, запущенного, разросшегося, в котором пестрели цветы и наливались плоды без ухода, по воле; часть сада нависла над выходом из железнодорожного туннеля, откуда с внезапным грохотом и лязгом вырывались поезда и сразу проваливались в тишину. Сад кончался голыми скалами, по которым шла вниз тропинка к небольшому заливу, нашему собственному, отовсюду закрытому. Пляжа не было — в голубую воду глядели глыбы серого острого плитняка, они же синели под водой и жались к берегу. В бурю заливчик обращался в кипящую кастрюлю, вода выбрасывалась на большую высоту и солеиая пыль через весь сад залетала в наши окна. Летом мы купались трижды в день, были среди нас охотники и до зимнего купанья. Все мы были работниками, писали статьи и книги для российских издательств, жили скромной коммуной, дивили итальянцев количеством выкуриваемых папирос и получаемых и отправляемых писем. В десяти комнатах сменялись проезжие гости, преимущественно беглецы, иногда из сибирской каторги. У меня было особое пристанище — заброшенная домашняя капелла с камеиной Мадонной на престоле, служившем мне складом книг и рукописей. В раковине при входе, в воде не благословенной, зеленели «волосы Венеры», кудрявая травка, обильно росшая в нише подземного ручейка, вытекавшего из сада. Здесь я проводил летом ночи за работой до утреннего общего купанья, здесь же в полутьме и прохладе отсыпался днем. У каждого были свои привычки и свой образ жизни, но полуночниками мы были все и нередко под утро собирались в нашей обширной кухне и устраивали «макаронаты» с фьяской красного вина. Общей болезнью была ностальгия, но мы старались быть бодрыми и щедрыми на шутки. Коммуну возглавлял старший из нас по возрасту, известный экономист; заботливо находивший нам работу, человек одинокий и большой труженик, подобно нам — выброшенный за борт русской жизни. Из России получали невеселые письма, убивавшие в нас надежду на скорый возврат. Это было время «огарков», когда молодежь в Росси́и, отойдя от революции, бросилась прожигать жизнь в пьяном наркотическом угаре, в половых опытах, в кружках самоубийц; эта жизнь отражалась и в литературе. Когда вести были слишком безнадежными, можно было выйти ночью в сад, лечь навзничь на ступенях или на доске садового стола и смотреть на чужое звездное небо. В день жаркий я выбирал в саду разросшееся фиговое дерево, устраивался удобно и покойно среди его ветвей,

[1] Вперед тот, кто спускается! *(Итал.)*

ел иакаленные солнцем, сочившиеся сахаром фиги и дремал. На высоком обрыве через мою голову пролетел вниз человек; я вскрикнул и увидел, как он уцепился руками за выступ площадки и, смеясь, повернул ко мне скуластое лицо; он хотел испугать меня, но не рассчитал прыжка; он был отцом двоих детей и видным литературным и партийным работником. Другой спустился к заливу в сильный прибой и решил выкупаться в пене; волна прокатила его по острым камням, окрасилась его кровью и выбросила его на уступ, где в спокойные дни выпаривалась соль из стоялой морской воды; недели через три он снова мог купаться. Мне захотелось подняться в сад от самого моря по крутому отвесу метров в тридцать высоты. Было жутко, но занятно попытать судьбу. На середине подъема посыпались камни, и мои ноги повисли в воздухе; одна рука еще цеплялась крепко за камень, другая искала опоры выше. Если испугаться, то погибнешь. Затем камень, за который я держался, стал уступать и медленно отделяться от земли; в то же время нога нащупала новую опору. Я не велел ногам дрожать, потому что тогда хотел жить. Я спасся и наверху долго лежал на траве. Мы шутили с морем, со скалами, с жизнью. У одного из наших гостей пришлось отобрать револьвер, но ему вернули, когда он обещал не порочить нашей мирной виллы. Было ясно, что дальше так жить нельзя, что нас не спасет работа, и мы решили разъехаться: часть в недальнее местечко, часть в Париж, часть тайно в Россию. Молодой астроном, долго живший с нами, талантливый человек, нежный поэт, полиглот и красавец, простился первым. Через Париж он уехал в Петербург с паспортом итальянца. Он выдержал стиль, и я получил от него письмо, написанное на странные казни, лишь в одну строчку: «Saluti dall'altrove» [1].

В какой-то день я взбирался по крутой лестнице на пятый этаж дома, населенного мелкими чиновниками и рабочими в Риме, против ватиканской стены. Синьора Эрнеста и синьор Карло, у которых я снял комнату, оказались приветливыми хозяевами, их слуга и друг Серафино стал моим другом и слугой. Из окон комнаты еще были видны пустыри Prati di Castello [2], теперь давно уже застроенные. Я был к тому времени одинок в Риме и в мире. На мне был легкомысленный серый летний костюмчик, купленный в Генуе на базаре за шесть франков,— была зима. Багаж состоял из чемодана с бельем и пишущей машинки, сохранившейся с адвокатских времен. Для моих хозяев я был «sor avvocato» [3], для самого себя — писателем, не написавшим ничего путного, но готовым начать карьеру. Пока я жил газетными статьями, которые посылал в Москву. На моем литературном счету несколько изданных книжонок, не стоящих памяти, и влеченье к перу, сказавшееся еще на гимназической скамье. Мне было ровно тридцать лет: еще вполне мыслимое начало новой жизни.

---

[1] «Привет с того света» (*итал.*).
[2] Луга Кастелло (*итал.*).
[3] Сеньор адвокат (*итал.*).

И новая жизнь началась.

В своей зрелой жизни я умышленно пропускаю целую большую область — чувств, обманчивых или значительных, не раз эту жизнь осложнявших. Она изжита и зачеркнута одним поздним чувством, с которым я закрою глаза. В кольцах цепи осталось и останется только одно грошовое колечко с каплей красного сургуча вместо драгоценного камня; всему остальному — почтительный поклон; его я не потревожу напрасными строками.

Я прожил восемь лет в Вечном городе, теперь ставшем городом современным; его вечность подчищена и подбрита, окружена решеткой, занесена в регистр, украшена дощечкой с красиво вырисованной надписью. Раньше в нем слитно жили века, кузнец ковал железо в театре Марцелла и забивал гвоздь в вековой камень, не догадываясь о своем кощунстве; кошки плодились на Форуме Траяна, прохожий шагал по земле, заросшей на остатках храма. Это было красиво и непрактично, как все красивое. Бойкие молодые люди, над которыми пытались смеяться, открыли поход против Рима, против веков, против академии и лунного света — за солнце и мотор. Крикливые гуси спасли Рим древний и погубили его в современности. Однажды русские невинные экскурсанты, приехав в Рим, вошли ночью в Колизей и запели хором «Вниз по матушке, по Волге»; так поступить могли только милые дикари. Сейчас на Капитолии уместна фашистская «Джовинецца», гимн работы опереточного мастера,— и только Ватикан остается крепостью старой, слишком старой веры.

Я очень любил Италию и прилежно ее изучал, не музейную, а современную мне, живую, Италию в труде, в песне, в нуждах и надеждах. Я написал о ее жизни две книги и рассказывал о ней в сотнях статей, печатавшихся в России. Города Италии были моими комнатами: Рим — рабочим кабинетом, Флоренция — библиотекой, Венеция — гостиной, Неаполь — террасой, с которой открывался такой прекрасный вид. Мне были одинаково знакомы север и юг, Ривьера и каштановые леса Тосканы, лики Джотто в Ассизах и фреска «Sposalizia» [1] в Витербо. Я уходил писать в домик Цезаря на Форуме — еще были целы в домике шесть дубков, слушал орган во Фьезоле, тонул в бурный день при выходе из каприйского голубого грота, брал приступом с генуэзскими рабочими портовые угольные насыпи, негодовал с толпой в дни казни в Испании Франческо Ферреро, томился на процессе каморры, бродил по доверху наводненному вулканическим пеплом местечку Торре-дель-Греко, вешал на шею змей на празднике Сан-Доменико в Абруццах, забывал все современное в стенах Лукки, отличал вино Фраскати от его орвьетских и каприйских соперников, дружил с одноглазым Пиппо, певцом кабачков, просидел диван в кафе Аранью. При мне родились в римском музее «Девочка из Анцио» и «Киренаикская

[1] «Венчание» (*итал.*).

Венера», которая, конечно, никогда Венерой не была. Когда мне делалось тоскливо в Риме, я садился в вагон прямого поезда и ехал в один из знакомых или еще незнакомых городов, никогда выходя, чтобы переночевать в живописном местечке. Я только в первые годы нуждался и покупал на завтрак pizzi [1], на обед тыквенное семя; дальше работа в крупных русских издательствах сделала мою жизнь легкой.

Я скоро оброс книгами и вещами, выселил из квартиры своих милых хозяев, оставив при себе Серафино. В Риме приезжало много русских, которые навещали старожила, и связь с Россией была прочна — хотя заочна. Вернуться я не мог — для этого потребовалась война, всколыхнувшая прежнее чувство и придавшая решимости. Я так привык к Риму и своей новой оседлости, что даже в недолгих отлучках скучал по Палатину, по обрубкам Пасквино и Марфорио, по звучной речи и знакомому кабачку, где много лет кормил меня макаронами и горячим zabaione [2] толстый падроне сор Анджело, и так свежа была вода лучшего акведука. Только летом я ненадолго изменял Риму для пляжа Средиземного моря, да иногда московская газета посылала меня прокатиться на Балканы или по Европе, готовившей войну. Тогда я обнимался с черногорцами, сочувствовал восставшим албанцам, слушал в Загребе жалобы хорватов на сербов и мадьярский архитектурный стиль, осаждал с болгарами Адрианополь или просто удивлялся Парижу, катался на лодке по швейцарским озерам, сидел перед кружкой в мюнхенской пивной.

Вероятно, я был счастлив, хотя и считал себя изгнанником и страдальцем. Были и сложности в жизни человека, еще слишком молодого, чтобы дорожить одиночеством. Но когда, взяв палку, хлеба и козьего сыра, я уходил с морского побережья в горы, где так свободно дышать и в редких домиках живут необычные, совсем не знающие других миров люди, когда я, пройдя день, засыпал ночью в случайно найденном шалаше,— мог ли я не быть счастливым, проснувшись под утро от горного холода и увидав туманы в ущельях! Я бормотал малосвязные слова или напевал песню, уже не русскую, русские забыты, и опять шагал все равно куда, чтобы скорее согреться. Для здоровых ног был одинаково легок и подъем, и спуск, а проводник мне не был нужен: можно ли заплутаться в карликовой стране уроженцу тысячеверстных лесов? И вся Западная Европа — не резная ли табакерка, умещающаяся в кармане?

Затем опять — дом, моя уже немалая библиотека, знакомый труд и музыка отчетливой римской речи, отличиям которой я учился подражать, чтобы быть настоящим Romano di Roma [3]. Любезнее Данте мне были сонеты Белли и Чезаре Паскарьелла да римские stornelli [4], порой будившие по ночам.

---

[1] Пицца (*итал.*).
[2] Заварной крем (*итал.*).
[3] Римлянином из Рима (*итал.*).
[4] Народные песни (*итал.*).

Кабачок сора Анджело назывался Roma sparita — «Исчезнувший Рим». Обширная полутемная комната, в которой сидели только в ненастную погоду, и дворик, образованный высокими зданиями и превращенный в виноградник. В стены влеплено несколько античных барельефов, может быть, найденных хозяином в Римском поле, а может быть, купленных на одной из фабрик античных осколков, которые продавались англичанам за подлинные. В углу фонтан чистейшей воды, в клетке редкая птица — сорока, подобранная со сломанной ногой. В дни бедности, как и в дни благополучия, я был самым верным клиентом «Исчезнувшего Рима», своим человеком: здесь столовался, сюда приводил заезжих гостей — редкий русский писатель, побывавший в те годы в Риме, не знал кабачка сора Анджело. Зимой было тепло и уютно, летом прохладно и уединенно. В последние годы моей итальянской жизни в кабачке обедали в летние месяцы русские народные учителя, приезжавшие группами по пятьдесят человек; обычно сталкивались здесь сразу две группы, было весело, суетливо, нелепо — кусок России под виноградным навесом. Это были мои дети, их проехало через Рнм и другие города Италии трн тысячи; мои помощники читали нм лекции н показывали музеи, на мне лежала работа организаторская, трудная н отрадная.

Был июнь четырнадцатого года. В кабачке сора Анджело я говорил встревоженным, ничего не понимавшим людям о том, что будет дальше. Люди будут перегрызать друг другу горло, будет потоками литься кровь, валяться куски разорванных тел, перемешанные с осколками металла. Трупы будут сваливаться в братские могилы, море будет выбрасывать мертвых на пляжи, как побитых бурей медуз. Будут разрушаться города и сметаться с лица земли села н деревни; беженцам, нищим, сиротам некуда будет скрыться от ужасов войны. Они слушали, как испуганные дети. Я увез нх в Венецию, где ждали еще другие, о которых нужно было позаботиться. Еще нужно было вывезти сюда застрявших в Швейцарии. Нужно было снять целиком два парохода на Одессу н уплатить вперед золотом, которое откуда-то достать. Две недели кошмара и нечеловеческой работы. Когда отошел второй пароход, с которого мне махали платками, я почувствовал себя одиноким, как никогда,— Россия была в войне, скоро могла выступить и Италия, а я оставался за бортом событий, в чужой стране, еще более отрезанный от родины.

Нейтральная Италия — центр европейской информации, посредник всех связей; я завален работой. Промелькнул год. Неотвязная мысль — пуститься в путь кругом Европы и явиться к прнзыву в России моего класса. Во мне нет ннкакой воинственности, но десяти лет достаточно, чтобы соскучиться по родным местам и решиться на авантюру. Бросить налаженную оседлость, добрые связи, независимое положенне, привычную обстановку, уже немалую собранную библиотеку — и с цветущего юга поехать на север, через еще незнакомые страны, затем

на восток, в свою страну, на полную неизвестность, на арест, на ссылку куда-нибудь за Байкал, из Вечного города прямо в вечные мерзлоты,— разве это не блестящая авантюра! Я был привычным путешественником, и путь казался мне заслуживающим внимания и интереса.

Мой поезд провожало несколько римских друзей. Один из них, русский эмигрант, но итальянский адвокат, поднес мне букет красных роз (мы признавали только красный цвет!); от имени всех он сказал мне напутственное слово и обнял на прощанье. Полутора годами позже, в дни революции, я узнал из захваченных бумаг полицейского сыска, что этот человек успел послать донесение о моем предстоящем приезде в Россию: он был агентом тайной русской полиции. Иудино лобзание! Но я не собирался скрываться, я ехал напролом: на родину, не выражая раскаянья, ехал блудный сын; он мог там на что-нибудь пригодиться — или ему могла пригодиться на что-нибудь его родина.

Могла же жизнь начаться снова! Мне не было еще сорока лет.

Я еду с легкой душой и легким багажом: все, что можно, оставлено в Риме. У меня нет почти никаких документов,— но Европа, даже воюющая, еще не приучилась считать человека приложением к его бумагам. Вообще же и я ищу приключений, обогащающих жизнь. Будет о чем рассказывать, будет о чем писать.

Снова оглядываюсь и снова вспоминаю, что было мало моментов в жизни, память о которых я не освободил бы от лишнего груза, занеся их на белые листы бумаги. Не раз писал о столицах воевавшей и нейтральной Европы в те злополучные дни, о Риме, оставленном без большого сожаленья, о печальном в те дни Париже, полном траура, молчаливом, подавленном и истощенном войной, о бодром и почти веселом Лондоне, хотя и затемнявшем уже свои улицы ночью. Не страшен был переезд через Ла-Манш, не тронуты войной порты Southempton и другой, названия которого я знать не мог, так как из Лондона мы ехали по неизвестному назначенью, в темном поезде с завешенными окнами, и из вагона вышли прямо на мостки парохода, отплывавшего в норвежский Берген. Опять водяной дом, вышедший в море ночью, спасательные пояса, разговоры полушепотом, как будто мог нас услышать непринятель. Исполнилось мое давнее желание хоть поездом повидать Норвегию, страну лесов и горных озер,— она предстала пред нами в утренний ранний час, в полутумане берегов и шхер, и путь через нее был щедрой оплатой за тревожную ночь; впрочем, эту ночь я спал превосходно, отложив в сторону свой спасательный снаряд. Я не собирался тонуть, так как впереди было слишком много интересного, и поездка по Европе казалась пустяком. Осло звался тогда Христианией, серый скромный город, в котором я провел только сутки, но в Стокгольме я задержался на целый месяц: я не настаивал на том, чтобы прямо с русской границы по-

пасть в тюрьму, и решил нспользовать думские знакомства н влнятельиость моей газеты, чтобы на крайний случай подготовить себе еслн не свободный въезд в столицы, то продолжение путешествня на свой счет, без провожатых н без этапов, до Туруханского края в Сибнри, куда, как я узнал, предполагалось сослать меня на пять лет. В самый длинный деиь в году я был накоиец в Хапаранде н Торнео, где солнце скрылось только на час и сиова выплыло соиное н неотдохнувшее. При его свете пожилой жандармскнй офицер писал протокол, пока я старался подружиться с его охотничьей собакой; он объявил мне, что получил телеграмму о моем пропуске до Петербурга. Это была большая и неожиданная удача, н, когда поезд, нз-за меня задержанный на границе дольше обычного, тронулся в путь, я чувствовал себя нменинником. Еще задержка в Белоострове, личиый обыск в жаидармской комиате н рукоплескание монх соседей по вагону, когда я, руки в карманах, вернулся в вагон, а за мной нижний чин доставил н мон обысканные чемоданы. Несмотря на этн задержкн, чувствовалось, что Россия уже не та, какой я ее оставил, н что в ее полицейской машине нет прежией уверенностн.

Дым отечества пахнул мне в лицо на необычайно грязиых улицах Петербурга — я отвык от Росснн н сразу прнмечал ее недостатки. Мне был сладок н приятен этот дым отечества. Неторопливо, едва подстегивая лошадь, вез меня по улнцам самый настоящий русский извозчик. Он вез меня в дом знакомых, где меня ждали ие без волнения; но я не волиовался, так как еще не понимал ясно, что случилось н куда я попал после долгой дороги, тянувшейся не то два месяца, ие то все десять лет. В данную минуту я был свободен н мог назвать извозчику любой адрес: остальное меия не занимало. В Петербурге сейчас белые ночи. Я не обязан больше думать н говорить пентальянски н к первому встречному могу обратиться с вопросом на родном языке. Все это похоже иа сказку, но дворник, который метет улицу, в его рваной н штопаной полуформе, похож на русского мужика. Я еду на Васильевский остров. Если все это действительио так, то жизнь делается очень занимательиой. Петербург — холодный н непрнятный чиновничий город, а вот Москву увндать хочется. Подхватнв пншущую машинку, с которой я не расставался, н небольшой чемодан, предоставнв остальное заботам нзвозчика, я поднялся на второй этаж н позвонил.

Поставнв в тексте черточку на середине путн — nel mezzo del cammin [1] — это как бы камениая тумба с отметкой расстояния,— я пью слабое н кисленькое французское внио, vin gris [2], которое предпочитаю тяжелым н пьяным. Городок спит, натрудившись за весеиний день. Глубокая ночь. Кто-то упомянул о Пе-

---

[1] Земную жизнь пройдя до половины... (Данте Алигьери. «Ад». Песнь первая.) (*Итал.*)

[2] Сухое вино (*фр.*).

тербурге, если это мне не послышалось. Но Петербурга в то время ие было, был Петроград, как теперь Ленинград. Работа великого мастера, подписанная реставратором. Все это до удивнтельности ие важно и не имеет значения. Спит французское тнхое местечко, в котором мннувшей весиой был артиллерийскнй бой, разбивший снарядом памятник убитым в прошлую войну; можно поставить иовый — разом за обе войиы, н это экоиомиее. Возможно, что нменно здесь н закончатся мои странствия, хотя мое желание не таково. «В середиие пути иашей жизни я очутился в дремучем лесу, так как прямая дорога была потеряна». Когда в 1916 году я возвращался в Россию, со миой в ручном чемоданчике были две миниатюрные книги: «Божественная комедия» Данте н «Размышления» Марка Аврелия. Таможеиный чиновник, нзображавший одиовременно н цензора, повертел в руках одии томик, не понял, осведомился н вернул мие; понадеялся, что книжки не страшиые, не запрещенные; обе были в пергаменте и похожи на молитвеннки. Я кое-как цитирую нанзусть Данте, язык которого мне ближе знаком, но Марк Аврелий писал, к сожалеиию, по-гречески; и, однако, римский нмператор помогал мне в земных нспытаниях, этот мудрый и уравиовешеиный стонк, впрочем, не столь уж дальний родствеиник скептического автора Экклезиаста. «Если страданье непереноснмо, оно убивает; если ты его выдержал, значит, оио переносимо». На стене, грубо оштукатуренной н сильно закоптелой н запыленной, внсит отрывной календарь, доску которого я распнсал знаками зодиака. Опять весна, но четвертью века позже. Здесь со мной нет ни книги Данте, ни Аврелиевых сентенций; оба томика пропали прн одной из жизненных катастроф. Я называю катастрофами потерю того, что было близко н дорого; обычно для меня это книги и непутевые, ничего другим не говорящие вещи н вещицы. Катастрофой же иазывается н другое, что трудно объяснить н сложно излагать. В городке, растянутом по течению реки Шэр, до трех тысяч жителей; возраст его — много столетий, ио он как вырос из деревни, так и остался слитым с нею. Не знаю, дойду ли я в своей повести о жизни до рассказа о том, какими ветрами занесло меня сюда. Городок спрятался в самом сердце Франции. И если мне в ием не очень уютно, это ие его внна.

Как тогда, в Балтийском море, на пути нз Финляндии в Европу, боковая качка, головокруженне, и кажется в тумаие, что пароход стонт иа месте. Или как много позже, в заливе Фиском, в компании самых мирных людей, нзгнанных нз СССР писателей, философов, университетских профессоров с семьями,— н тоже туман н нензвестность впереди. Зачем-то и за что-то разрушенные жизни, разметаниый быт, которому пора бы уже стать покойным, н ужасная оскомина на душе от всех этнх «нсторических событий», о которых будут пнсать телескопическими словами, ни разу не заглянув в микроскоп на беды н горестн пострадавших от ннх букашек. Весна стонт холодная. Мие все — все равно. Я не уверен, нужно ли еще

думать, вспомнинать, писать. Я безмерно устал от этнх жизненных перегонов, подъемов, спусков, путешествий, накоплений и потерь, встреч н разлук, от туманов, от воя пароходных н военных снрен, от пнсем, от чужих несчастий, от бега часов, срыванья календарных листочков, от вечных записей жизненной приходо-расходной кннги. Когда-нибудь уляжется ли боковая качка? Я не прошу о мннуточке, господнн палач, я охотно ее вам уступаю.

Тогдашний Петроград показался мне забавным, но милым своей нелепостью. Я не нмел права в нем жить, но уже на второй день прнезда сндел в журналистнческой ложе Государственной думы н слушал искусно построенные речи депутатов, боязливо делавших революцию, в которую не верили ни они, ни не уважавшее их правнтельство. Но все-таки война спутала российскую полицейскую стройность, я чувствовал это по себе: надо мной висел заочный прнговор к ссылке в Восточную Сибирь — это подтвердил мне товарищ мннистра внутреннних дел, которого я уднвил чисто европейским телефонным звонком н сообщением о моем приезде; в России это считалось непозволнтельной дерзостью. Я просил его прннять меня и, приехав, продиктовал его дактило разрешительную бумажку на проезд в Москву; он удивленно подписал. «Но вы не имеете права жить в Москве, вас вышлет оттуда командующий военным округом».— «Я и здесь не имею права жить, однако вы меня почему-то не выслали».— «Да, это верно, но случай добровольного возвращения эмигранта как-то не предусмотрен; тогда уж поезжайте в Москву скорее».— «Я уеду сегодня же, а там увидится». Он согласился, н я понял почему: я был все-таки европейцем н корреспондентом крупной газеты, а Россия была союзницей великих демократнй н делала им глазки.

И вот наконец Москва, мой настоящий родной город; для многих родиной делается город их университетского посвящения; для меня, сверх того, Москва была городом посвящения революционного н первым этапом взрослой жнзни. Здесь был разрушен мой первый оседлый быт, здесь я создам себе третнй, разрушив второй в городе Вечном.

В редакции моей газеты («Русские ведомости») сидели мудрые старцы. Онн сказалн мне:

— Вы давно не жили в России. Поезжайте ее посмотреть н не торопитесь о ней пнсать. Вернувшнсь, побываете и на фронте.

И я поехал. Вслед за мной ехал приказ о моем задержании н высылке, но он никак не мог меня догнать. Испортилась полицейская машина! Когда, объехав весь север Европейской России н побывав на Западном фронте, я вернулся в Москву, прнказ еще кочевал, потеряв мон следы. Я успел снять квартиру, прочно обосноваться, пнсал, читал доклады о европейских настроениях, опять посильно помогал крысам подтачивать священные устои, и только наканyне революции догнал меня прнказ, так и оставшийся невыполненным.

Но мие хочется вспомнить, что вспомнится о месяцах, проведениых в дороге, о той Россни, которую «умом... не понять» н «аршнном... ие измерить».

Как всякнй поэт, Тютчев, конечио, преувеличивает: пространства России измереиы н умом ее понять можно. Но «стать» у нее действительио особенная, потому н не понимал ее до конца полупетербуржец-полуннностранец, полупоэт, получиновник, пнсавший ннногда превосходные стихи иа слабом русском языке. Давно нзжив квасной патрнотизм, я не боюсь порою хвастать и восхищаться Россией-землей. К сожалению, ее всегда выдумывали, выдумывают н сейчас выдумаю, вероятно, н я. Ее хотят представнть себе целиком,— а цельиой России нет н никогда не было, она состоит нз нагромождения земель, климатов, гор, равнии, иародов, языков и культур. Ее нзображают медведем; с тем же успехом можно нзобразнть н белугой, снопом, жаворонком, внноградной лозой, почкой малахита. Из нее, многобожной н языческой, старательно выкраивали «матушку-Русь православную», как сейчас хотят представить ее безбожннцей н комсомолкой. Великолепный базар ее племен малевали «иародом-богоиосцем»; ее строевой н мачтовый лес расщепливали на палки хоругвей; ее шнрям подражали кучерской поддевкой н резиым круговым ковшом; ее Ваньку-дурака, хнтрую кряжистую бестню, наряжали в театральный костюм Ивана Сусаннна или жаловали то царским престолом, то марксистской ортодоксальиостью. Над искаженнем лика России немало поработали два замечательных русских классика — Гоголь н Достоевский, и ие роди русская земля Льва Толстого, так бы н не вндать ее подлнниого лика. Едва ли ие самое большое несчастне Россни в том, что ею всегда управляют, хотя лучше всего она управлялась бы сама, как сама течет большая река, растет трава на заливном лугу, само светит солнце, без помощи электрических станций. Не знаю, как это было бы, но знаю, как пронсходило н пронсходит противоположное н как на головы мудрых (не умных, не просвещениых, а от природы мудрых) иапяливают дурацкне колпаки. Я очень люблю Россию — ту, которую знаю, н это естествеино для ее законнейшего сына,— ио ие уважаю за ее ленивую волю: оиа позволяет кататься на своей вые каждому любнтелю верховой езды. Иногда, встав на дыбы, она опрокидывает всадника — и сейчас же позволяет взнуздать себя другому. Пожалуй, действительно медведь лучший ее образ — сила необычайная и легкая приручаемость: кольцо в ноздрн — н танцуй под любую музыку.

Но просторы! Целый месяц я пробирался по северным губерниям через заросли деревьев и людей; и люди, н деревья былн смолисты, корявы и ветвисты на один бок. С нимн хорошо было и говорить, н молчать, и думать не спеша — н с людьмн, и с деревьямн. После европейских балаганчнков н аккуратно заглажеииых иа штанах складок — деревянные просторы, армякн н татарские халаты, прнродная кривнзиа лнний, по воле расту-

щие бороды, великое разнообразие типов, н уж если тупость — так тупость, а если ум — так свой собственный, не нз книжки с картннками. Зеленый ковер, расшитый серебрянымн змеямн рек. Нищая рвань на мешках с золотом. Главное — нет этого душка плесени н мертвечины скопившейся тухлой исторнн, которая повсюду шибает в нос в Европе. Родится человек, живет, дохнет н перегнивает на сельском кладбище по всем правилам естественной науки, без надгробий и некрологов, н кладбнще всегда лесное, а не штукатуренное, гнить на нем приятно. И города не на шахматной доске, а выросли из деревенской грибницы, сами назвали себя и свон улицы, найтн в них никого невозможно, а спросн бабу — укажет. Кому это — беспорядок, но у меня от линованного порядка Европы были на глазах мозоли н на душе оскомина, я радовался нашей первобытности н нелепостн нашей, в которой есть свой высший порядок, утвержденный природой, а не чиновничьей астролябией. Тут дело не в буколической поэзин и не в живопнсности, а в том, что цена цивилизацин мне была уже знакома, н радовалась анархнческая душа нашей нензмернмой «технической отсталостн». Я тоже выдумывал свою Россню, и мне казалось,— вероятно, ошибался,— что эта Россня пойдет нными путями н к нным целям, естественно н просто, безо всяких мисснонерскнх заданнй, без кичлнвостн, спокойным шагом. Нпкакого «нового слова» не скажет, а жить будем все-таки по-своему, во всяком случае — пока это можно, пока и нас не захлестнет европейская цивилизация н не сделает образцовым муравейником. И я дышал, как раньше ннкогда не дышал, до растяженння грудной клетки н сладкой боли. Но я видел не только это. Ведался больше с земскимн местными людьми — н поражался их работе. Они делали огромное дело, стесняясь его малостн, воображая, что там, в Европах, где н рукн не связаны, н средств больше, что только вот там работают по-настоящему; они не подозревали, что подобное бескорыстие, преданность такую и такую веру ни в каких Европах не встретишь, разве как нсключение, что ни один народный учитель не будет там работать в подобных условиях, ни один врач не станет объезжать на худой крестьянской лошаденке стоверстные округи, что они — истинные подвнжники и подлинные герои. Перед ними не было ни карьеры, ни чинов, ни матернального благополучия, напротив — полная уверенность, что так н пройдет вся жизнь в медвежьем углу, и хорошо, если раз в десять лет доведется побывать если не в столицах, то хоть в губернском городе на каком-ннбудь агрономическом, учительском, врачебном съезде. И они все-таки успевали читать «толстый» журнал, осведомляться, что делается в этих самых просвещенных Европах, толкать свою науку и огорчаться, что так мало знают н так ограничена область прнменения их сил: каких-ннбудь десять — двадцать тысяч гектаров крестьянской земли, три сотнн детских дифтернтов, пять-шесть школьных поколений, да помощь делу кустарному, да участие в кооперативном движении и, уж конечно, устройство

в своем районе, общими средствами, нескольких хорошо подобранных народных библиотек.

Я побывал и в своем родном городе, в единственном, где показался себе совсем чужим. Там большой революционный мужик, миллионщик и инженер, построил на свой счет университет с лабораториями и клиниками; на открытие этого университета н я прнехал. Этого миллионщика, дававшего и на просвещение, н на революцию большне деньги, что не мешало ему прижнмать рабочих на свонх принсках н копях,— его, кажется, после прикончили. Забавные люди жилн в России! Помню одного сибирского промышленника, составившего себе огромный капитал на устройстве паровых мельниц. Туго набив мошну, он приехал в Москву, сошелся с революционерамн, оттенкн которых его не нитересовали, и все деньги ухлопал на издательство легальных и нелегальных популярных книжек. Таких людей было немало — попробуй их понять! В Саратове я сдружился с культурнейшим европейцем, почему-то служившнм секретарем в губернском земстве. Большой знаток и ценнтель искусства Востока н искусства жизни. Он угостил меня тончайшимн винами н такимн же фруктами, привезенными то ли нз Ташкента, то ли из Самарканда; никогда после я таких не видал н не едал. Он был образованнейшим человеком, барином и в то же время демократом до мозга костей. Его дом был музеем искусства. Мы провелн с ним ночь в одной из тех бесед, на которые способны только русские: говорили о Париже, о Будде, о реках, о границах свободы личности, о Платоне, об Ивэт Гильбер, вятском земстве и курганных раскопках. В революцин он принял самое близкое участие, но после Октября был нечаянно расстрелян: он был слишком ярок опереньем среди серых провннциальных птнц.

Кама и Волга дали мне часы н дни наслаждений,— я видел их тогда в последний раз в своей жнзни,— тогда бы нужно было вспомннать и писать о детстве н юности; нашлись бы настоящие слова н живые краски. Но мон чемоданы были набиты земскими отчетами н статистическнмн сводками; газета требовала работы серьезной, на каждом этапе меня снабжали целыми библиотеками и подносили мне изделня местных кустарей: великолепные вещички литого чугуна, крашеных ванекстанек, берестовые бурачки, яркие деревянные ложки, горкн уральских камней, Евангелия из цельного куска соли, сладкие пряники художественной работы, детские лапотки из лыка, яйца-писанки и прочие вещички, которые после бывали на международных выставках и прельщали европейскую публику. Но в то время Россня была еще только Россией — простое нмя, годное на все случаи, не отяжеленное нудной связью слов иностранных и надуманных, не сокращенное в буквенный вывих языка. Она росла быстро и подземно, как толстый и прямой побег спаржи, одним стволом; потом она сломилась и от корней дала букет корявых, но сильных кривуль; может быть, это лучше, я не знаю. И того, что случилось, уже никакая сила не пе-

ременит — как ие повернуть теченья Камы, носившего когда-то и мою лодочку.

В Москве меня спросили:

— Ну, понравилась ли вам Россия?

Я ответил:

— Лет бы двадцать свободных, чтобы изучить ее уголок. Понравилась, понравилась! Приехал ииостраицем, а теперь чувствую, что тутошний. Тутошним хотел бы и остаться.

Я со смущением приступаю к дальнейшим запискам о жизни. О прошлом хорошо писать в спокойствии настоящего, в легком от него уходе. Русский летописец живет в келье под елью, иностраиец в башне слоновой кости. Моя деревенская хибара стоит иа берегу реки, разделившей две Франции, занятую неприятелем и свободную; и из-за реки доиосится немецкая речь. Это можно преодолеть, но нельзя вообще отвернуться от свершающейся истории, и мои записки легко могут превратиться в дневник.

Я вернулся в Россию в деиь летнего солнцестояния, 22 июня 1916 года. Сегодня тот же деиь солнцестояния двадцатью пятью годами позже. В прошлом году, в те же дни, это местечко было занято с бою немцами; мы были здесь и прятались в лесочке на самой линии артиллерийского боя. Нынешним утром я вспомнил об этом, перечитывая раньше написанные страиицы,— но утром мы еще не знали, что в день летнего солнцестояния Россия вступила в новую войну.

В день, когда распахивается дверь в будущее, в этот страшиый и волнующий день, я пытаюсь думать только о прошлом. Может быть, это не так уж и трудно. Вглядываясь в собственную душу, вижу, как она утратила способность в полной мере отзываться не только на то, что называем «историческими событиями», но и на изгибы судеб моей родины, для которой сегодняшний день стаиет роковой датой. Это не эгоизм и, конечно, не равнодушие; это — крайняя усталость и как бы уход в потустороиее. Да я и не знаю, чего желать России; она превратилась для меня в символ, и уж не ощущаю ее живой. Я любил землю, но не в ее ясных границах. Земля останется, останется и русский язык, на котором я говорю и пишу. Исчезнет много людей — но с ними давно нет общения,— и на смену им придут иовые. Победительница или побежденная, раздвинув свои пределы или распавшись на клочья, Россия останется для меня прошлым даже и в том невероятном случае, если я еще успею ее увидать. Не все ли равно, что происходит сегодня и предстоит завтра, если дальше еще бесконечный ряд будущих дней недоступен нашему сознанию; где-нибудь нужно поставить межевой столб духовного своего имения.

Так рассуждает ум, и сердце, закутавшись в защитный покров, старается ему не возражать. Оио будет подсматривать в щелку, но будет сдерживать свои биения, попытается быть примером благоразумия и выдержки. Если ие всегда это ему

удастся — его не осудят те, с кем оно билось когда-то согласным трепетом. Я деловито хмурю брови и продолжаю.

У меня не было и нет никакой собственности, кроме крошечного участка земли во Франции под Парижем, где разбит нашими руками сад, кажущийся нам очаровательным. На участке я выстроил из тонких стволов спиленных деревьев избушку для хранения садовых орудий, а при избушке навес, чтобы укрыться от дождя. После милых людей это — самое любимое из оставшегося в жизни. У меня были еще книги, которые я собирал годами и терял при очередных катастрофах; из них последняя пережита совсем недавно, когда я и моя жена пришли пешком с железнодорожной станции маленького города в другой городок через неприятельскую линию, проиеся с собой чемоданчик с переменой белья, коробкой консервов и бутылкой чистой воды,— и это было всей нашей сохранившейся собственностью; все остальное погибло в Париже — библиотека, архив, картины, вся обстановка нашего трудового уюта. Если бы мне пригрозили сейчас лишением всех жизненных благ, я бы от души рассмеялся. Правда, я не могу читать и писать без очков и не люблю курить без дешевого вишневого мундштука, но, в конце концов, и это лишение было бы не страшнее пережитых неодиократно. Что касается благ иных, не материальных, любви, дружбы, духовной связи с такими же бедняками и тружениками, каким всю жизнь был я, что касается моих дум, уверенностей, житейской философии, что касается поэзии, единственного полного распорядителя и единственной подлинной цели жизни,— то ведь этого отнять никто не может; с этим рождаются или этому приобщаются и с этим уходят в бесстрастие великого Востока. Тому назад четверть века, в дни после октябрьского переворота в Москве, я зашел вечером навестить старую женщину, пианистку, жившую в переулке близ Трубной площади в невзрачном домике, где она обставила себе уютно квартиру из двух комнат; одну из них почти целиком занял рояль. Все, что она имела, было приобретено ее заработками — уроками музыки. Однажды к ней пришли новые люди, строившие новую, счастливую жизнь в России, и забрали все имущество, не успев увезти, за громоздкостью, только рояль, но обещав за ним вернуться; впрочем, ей оставили еще диван, на котором она спала, и два стула да кое-что из посуды. Она позвала меня провести с нею и ее близким другом виолончелистом и композитором, в Москве очень известным, последний музыкальный вечер. Вечер — значило и ночь, так как нельзя было поздно выходить на улицу без опасения быть случайно подстреленным не то бандитами, не то пугливым постовым милиционером. Смеясь, она рассказывала, как все это произошло. В сущности, они были славными парнями, эти усердные реквизиторы: они были вежливы и старались объяснить ей, как несознательному буржуазному элементу, почему ее лишают части материальных благ, необходимых пролетариату. Она не возражала — это было бесполезно, но не могла отказать себе в удо-

вольствии ответить им, что самого цеииого она им все-таки ие отдаст — и отдать ие может, как и они ие могут ее этого лишить. «Самое цениое вот здесь,— оиа показала иа лоб и на сердце,— мой ум, мои зиания, мой музыкальный талант, и это останется при мне — всегда и всюду при мне остаиется, что бы со миой ни сделали. Если бы я сама захотела, если бы согласилась, снизошла — понимаете? — снизошла, пожаловала, я бы могла вам сделать подарок, сыграть что-нибудь, возвысить и вас, сколько возможио, до себя; ио я этого ие сделаю, потому что вы пользуетесь против меия силой, а я грубую силу презираю и ей никогда ие уступлю. И вот вы заберете все и уйдете такими же бедняками, какими сюда пришли; а я, всего лишившись, останусь такой же богатой,— вы понимаете меня?» Они выслушали, ио ие все поняли и сказали: «Инструмент пюка у вас побудет иа вашей ответствеииости, сейчас грузовика у нас иет; а только все равио заберем для рабочего клуба». Электрического света в этот день ие было. Я сидел иа диване в пальто, подобрав ноги, так как квартира была ие топлеиа. В соседней комиате моя приятельиица аккомпанировала виолоичели. В сущиости, это был могильный склеп, в котором друзья-покойники чествовали музыкой новоприбывшего в их среду. Не знаю, ие помню, что они играли, в перерывах согревая себя чаем, приготовленным на примусе. Был декабрь, расстрелянная Москва спала, нервно вздрагивая при стуках в дверь. История шествовала в полном спокойствии,— ей опасаться было нечего, оиа всегда права. Мы ни о чем ие думали, и звуки у каждого превращались в нужные и зиакомые ему образы. Неправда, что тонущий человек за минуту успевает прожить целые прошедшие годы и вспомнить в них самое ценное и дорогое. Я тонул в самой волшебиой обстаиовке, в голубизие Средиземиого моря у высоких отвесных скал, у выхода из каприйского голубого грота, и я помню только одну иесказанную фразу: «Так, зиачит, это и есть...» — и, чудом спасенный, я эту фразу повторял про себя. Музыка выключила иас из жизни и погрузила в мистическую бездну, ио ясиых мыслей не дала. Человек повертывается спиной к будущему, лицом к прошлому, ио ие видит ни того, ни другого: образы проходят перед спящими глазами, и эти образы закутаны однообразными покрывалами, их толпа бескоиечна и беспрерывна. Мало-помалу все превращается в аккорд, в стройность, рожденную из хаоса, ио никакая оценка невозможиа. Под утро мы вышли с композитором, который, дрожа от холода, обнимал свою виолончель и прятал лицо в воротник шубенки. Я проводил его до дому и больше никогда ие видал. Я тоже иес домой сокровище, полную чашу, которую ие хотел расплескать,— идею романа, в котором какая-то роль будет отведеиа и моему спутнику. Но только спустя три года, в казаиской ссылке, были иаписаны его первые строки. В чужом городе я окрестил свой первый большой роман имеием одиой из замечательных улиц города родного: «Сивцев Вражек».

Но ие слишком ли горделиво утверждать, что никто ие может

отнять наши духовные ценности? Так хочется думать и хочется воображать себя несокрушимой скалой, кряжистым стволом, который ни согнуть, ни сломать невозможно. Вспоминая свои тюрьмы, ссылки, высылки, допросы, суды, всю историю насилий и издевательств, каким можно подвергнуть человека мысли независимой, в сущности довольно ленивого и не заслужившего такого внимания,— я не думаю, чтобы погрешил слабостью или сдачей, или проявил себя малодушием, или попытался скрыть свои взгляды и смягчить участь сделкой с совестью. Этого не было. Но душа все же опустошалась на каждом этапе, воля все-таки надкалывалась, и искривлялся жизненный путь, который я старался себе наметить,— искривлялся не только внешне, но и внутренне. Мы начинаем чистой и прочной верой, но до конца проносим только обрывки знамен, которыми дорожим по любовной памяти и потому, что менять их было бы поздно да, пожалуй; и не на что. Так, например, я определяю свое отношение к русской революции, которой был участником. Я знаю, что нелепо дробить ее на части, одну признавая, другую отрицая или подвергая сомнению; революция последовательна и едина, и Февраль немыслим без Октября. Был неизбежен и был нужен полный социальный переворот, и совершиться он мог только в жестоких и кровавых формах. Я это знаю, и я принимаю это фатально, как принимают судьбу. Но чувство не могло никогда оправдать возврата к организованному насилию, к полному отказу от того, что смягчало в наших глазах жестокость минут переворота,— отказу от установления гражданской свободы, осуществления основ наших мечтаний. Менять рабство на новое рабство — этому не стоило отдавать свою жизнь. И неизбежность не может служить нравственным оправданием. Можно убить в пылу страсти, в самозащите, в отчаянном нападении, но холодное, расчетливое палачество внушает отвращение,— а нам предлагали им восхищаться и его воспевать. Для меня революция — вечный протест, вечная борьба с насилием над личностью, во всякий момент, во всяком строе, и я не зову этим именем защиту позиций, занятых новыми властителями. Революция — крушение, а не остановка и не строительство. Величайшая ересь — мыслить ее «перманентной» в смысле охраны и созидания нового государственного строя. Взявший власть — уже враг революции, ее убийца, основоположник контрреволюции. Наша история это подтвердила. Все это я знаю, но знание не окрасит заново поблекшего знамени и не спасет от натиска противоречий; крах прежних духовных ценностей неизбежен.

Большие полотна не пишутся кисточкой для миниатюр и случайными, под рукой, детскими красками. В моей памяти нет никакой последовательности событий, их хроника ей чужда. Помню момент перелома — на обширном дворе Спасских казарм в Москве, куда пришла толпа; у солдат дрожали в руках винтовки, офицер не решался отдать команду. Нам ударил в грудь холостой залп, как могли ударить и пули. В тот же день человеческая река по Тверской улице — день общего сиянья, крас-

ных бантов, начала новой жизни. В сущности, славен и чист был только этот день. Нужно было писать — но перо еще не привыкло к простому, несвязанному слову, оно кляксило газетную бумагу, оно истошно крячало. И дальше — отрывочные картины, переплет революций Февральской и Октябрьской, суматоха дней и месяцев крушения векового здания. Внжу себя в черном кожаном шоферском костюме, которым меня одарили на Западном фронте, в сапогах и с наганом в руке; ночью обхожу комнаты здания Московской охранки, полусожженной чинами политической полиции. Еще недавно меня вызывали сюда, требуя, чтобы я выехал из Москвы. Оступившись при слабом свете карманного фонарика, я срываюсь из второго этажа в разрушенную комнату первого, пролетев между торчащими балками и железными скобами и упав на кучу угля, битого стекла и полуобгорелых деловых папок; кожаная одежда спасает. Необходимо сохранить документы сыска для истории — страницы позора старого режима. Менее всего думалось о мести в эти дни, казавшиеся и бывшие светлыми; на прошлом крест, но музеи будут говорить о нем красноречиво. Архивы свезены в Исторический музей, где уже разбирают их люди с жадным и нездоровым интересом. Потом внезапное отвращение к этой грязи и гнили — не было ли во мне предчувствия, что нарождающийся строй, воздвигнув свои новые тюремные камеры и здания сыска, использует и кладбища прошлого, найдя в них много для себя ценного и поучительного? Потом увлечение новой большой газетой, встречи с нахлынувшими из-за границы эмигрантами, быстро занявшими ответственные посты. Свободные общественные союзы, союзы союзов, избранный клуб писателей, полеты идей, свитки планов,— и уже рождающееся сознание, что все это должно разлететься прахом, что толпе нужны ловкие поводыри и реальные блага, а не наша интеллигентская культурная суета. Волна солдатчины, бегущей с фронтов домой, потому что революция и свобода значит в переводе конец войне, иначе это было бы напрасным обманом народа. Горят усадьбы, вырубаются леса; революция торопится обеспечить свои победы,— и гордые победители красуются на боевых колесницах, кони которых вырвались и умчались далеко вперед. Сколько слов, сколько прекрасных слов; какое безбрежное море лучших слов русской речи, какая бездонная пропасть делового бессилия! Хмельной, волшебный праздник, опустели все тюрьмы, бывшие воры выносят на митингах резолюции о своем перевоспитании, приветствуя новую Россию; деревенские делегаты подписывают заявления, писанные для них недеревенскими людьми; рабочие, готовясь к диктатуре, пока делают на заводских станках на продажу зажигалки; ученые пытаются рассуждать, пишут программы, заботливо насаждают в незнакомой им России прекрасно знакомую Европу. Талантливые в нашей прежней борьбе, остроумные в нападках на свергнутый строй, блестяще злые, увертливые, когда нужно — самоотверженные и готовые на подвиг,— мы внезапно делаемся солдатами в отпуске, счастли-

выми, праздношатающимися, со всеми в дружбе, на все согласными, пьяненькими от свободы. Очаровательное время распада государственной машины, безвластия, самопорядка, срывающегося в сумбур. Совершенно ясно, что это — конец революции, что кто-то придет и скрутит пуще прежнего,— но не в том дело, эти дни все-таки следовало пережить, эти лучшие дни огромной нашей страны. Лучших и даже таких же она не знала и никогда не узнает.

Потом внезапно наступившая тишина,— что-то должно случиться. Называют имена, появляются опасные люди, для которых еще могли бы пригодиться тюрьмы. Беспокоят анархисты, раздающие у подъездов домов барское барахло всем желающим. Бывшие воры, не успев перевоспитаться, становятся ночными бандитами в рессорной обуви, которая помогает им заскакивать в окна вторых и третьих этажей. Подобно им скачут цены на исчезающие товары, и деньги становятся бумагой. Еще где-то возятся с царем, таская его по России, не то во имя человечности, не то потому, что его некуда девать. Существует какой-то внешний фронт, на котором упрямо гибнут избранные кадры молодежи, какая-то честь в отношении союзников,— но война уже отошла в отдаленные кладовые сознания, потеряла смысл и скоро сменится войной гражданской. Сначала кучками, потом и отрядами появляется Красная гвардия, саморожденная, как будто бесцельная, не знающая, что ей делать. Улиткой приближается Учредительное собрание, не потому, что оно нужно, а потому, что оно значится во всех политических программах. Избирательные бланки, многоцветные воззвания, имена, которые были известны эмигрантам в парижском Латинском квартале, на женевской Каружке и которые теперь корявым почерком выписывают на бумажку бывший чиновник, кухарка, рабочий, дворник; богомольные старушки кладут свои бюллетени на божницу, предоставляя выбор небесным силам. Это не я валю все в кучу, это вихрь свободы нагромождает бурелом. Устав от ожидания, Россия называет себя республикой, но, привыкнув к царям, ищет новое имя — и шепотком называется имя Ленина, обитателя местечка Лонжюмо под Парижем, приехавшего в пломбированном вагоне через Германию. Еще что-то, кажется немцы на Украине и недовольство союзников. Профессора мыслят: не преждевременно ли революции оказываться социальной? — но этого не находят любители сильной власти, пока еще не отказавшиеся ни от революции, ни от свободы. Приходит пора стране поговорить серьезно о своих делах. Она делает длинное, красноречивое вступление, но появляется солдат и разгоняет Учредительное собрание, оставив непронзнесенными заготовленные прекрасные речи. Долгожданная власть наконец наметилась, и поэтам остается «подчиниться насилию», выразив горячий протест.

Потом Октябрь, слухи о Петербурге, первые пули вдоль московского Тверского бульвара, снаряды над крышами, раненый купол Бориса и Глеба на Арбате. Населению не ясно, кто в кого

стреляет, но жизнь уже возможна только в простенках между окнами, заложенными кипами газет. Пять дней осады, пока кто-то оказывается победителем н кто-то побежденным, так что можно попытаться перебежать улицу до мелочной лавки, торгующей со двора. Революция проиграна — да здравствует революция! В нсторнн появляется новая великая дата.

Чувствую, как непосильна мне даже путаная хроника. Ее перебивают сотни картин. Я все еще голоден Россней, так мало видел ее после своих европейских скитаний. И вот я в сосновом бору, в охотничьем домике, отлично выстроенном и отделанном внутрн с плотничьим искусством. Хозяин поместья был вынужден бежать, не от крестьян, с которыми жил в мире, а в своем качестве бывшего члена Государственной думы; семья, оставив большой усадебный дом, переселилась сюда, в четыре комнатки; я прнглашен на отдых. Пышная весна, мхи раскинулись перинами, нван-да-марья на лугах выше роста, ознмые уже колосятся, поблизости змейкой вьется речка в ивняковых берегах. На заре стонет строевой лес, который крестьяне рубят, валят, распиливают н колют на дрова. Самим нм столько дров ни к чему, вывоза отсюда не может быть, но торопятся, чтобы не было возврата, чтобы доказать свон права; валят кругом, оставляя нам лесной островок. Могучие деревья падают с протяжным уханьем, щемит сердце слушать этот плач гигантов, их жалобу на человека. Но мы знаем, что это нужно н неизбежно, что это — революция. Молодые рубщики и пильщики нногда приходят к нам, не спорить, не выхваляться, а побыть с помещицей на равной ноге, покрасоваться правами. Их удивляет, что никто нм не препятствует, им хочется понять, поговорить хочется, показать свою «сознательность». Они неграмотны, но научилнсь выговаривать мудреные слова, называют себя «левымн эсерами», клянутся Марией Спиридоновой, имя которой как-то до них донеслось. Узнав, что я лично знаком с их кумиром, смотрят почтительно н несколько боязливо: не новое ли начальство? Обещают не беспокоить, а уж лес все равно придется повалить. «Не жалко вам его?» — «Что его жалеть, он помещичий».— «Теперь он ваш».— «Кто его знает, так лучше, вернее». По лесу гуляет революция, н тут же, за опушкой у старого кладбища, проживает мирно сельский батюшка, сам крестьянствуя, и рубщики идут к нему звать на крестины н похороны. В нашем домике пианино, по вечерам уцелевшие сосны слушают музыку. Хозяйка — художник, ее картина есть в Третьяковской галерее. Над потерей всего достояния посменвается, знает, что отннмут н этот домнк. «Мы сами добивались революцин — вот она н пришла; жаль только соснового бора, он лучшнй во всем уезде». Кончает картину: солнечные блнки на могучих стволах. Тем же летом, в подмосковной деревне, на берегу Москвы-реки, валяюсь на солнечном косогоре, завнтом хмелем, смотрю на золотые ржи, брожу по заповедному лесу, которого никто здесь не трогает,— да н пробраться едва воз-

можно в его темную чащу. В деревне все по-старому, только у девушек завелись чулки со стрелкамн да у местного кулака оказались в риге, полузавалеиные сеном, поцарапанный и разбитый рояль и пухлый комод красного дерева,— неизвестно, как и откуда попали. В реке щуки гоняют мелочь, в далях того берега белеет село Архангельское. Нет более мирной картины. Меня тянет к воде, как пьяницу к алкоголю: море, река, речка, речушка, ручей. Но приходится возвращаться в город, где еще выходят газеты. Случается, однако, что ночью врывается в типографию отряд Красной гвардии, разбивает цилиндры свинцового набора. Мы предусмотрительны и посылаем копии матриц в несколько типографий. Номер газеты, будто бы уничтожеиный, рано утром продается на улицах. Власть еще неумела, происходит постоянное состязание. Все это скоро кончится. В осеиний день в подвальном помещении маленькой типографии, при потушенных во всем здании огнях, с кучкой рабочих-добровольцев я выпускаю последнюю однодневку «За свободу печати»; вся московская литературная знать дала статьи за полной подписью — последнее, что мы можем сделать. В свободнейшей из стран приходится работать подпольно, однако забрала еще открыты. Но новые тюрьмы уже строятся, старых не хватает. За какое-то «ложное известие», давно подтвержденное официально, отвечаю, как редактор, перед новым трибуналом; обвиняет Крыленко, комиссар юстиции, забавный фанфарон; защищает приятель-адвокат, старающийся убедить суд, что перед ним не буржуй, а интеллигентный бедняк, может быть, в единственных штанах... я делаю защитнику отчаянные жесты, потому что его слова повергают меня в смущение: на мне не только единственные, но рваные панталоны, так что стараюсь не повертываться спиной, спасая свою редакторскую честь; мы уже донашиваем одежду, обувь, скоро будем сами шить себе фантастические костюмы из портьер и мешков, носить зимой сандалии, добывать к лету валенки, подшитые кожей, содраниой со старинных переплетов.

Те, кто бежал тогда из России сначала на юг, под защиту добровольческих армий, потом за границу, никогда не могли понять всей силы и полноты пережитого нами, оставшимися делить судьбу родины. Перенеся и испытав все тяготы и ужасы жизни — нищету, голод, террор, мы видели и иное, придававшее жизни глубокий смысл: спайку душ, самоотвержение, взаимопомощь, поравнение в жизненной борьбе, пробуждение ранее спавших сознаний. Страдая от новой власти, мы и в мыслях не имели проклинать революцию и возврат к прежнему, если бы он был возможен, сочли бы величайшим несчастьем для России. Далеко ушла от нас война, и заключенный новыми господами страны отдельный мир не вызывал в нас ни протеста, ни большого интереса: иного быть не могло, и народ не двинул бы пальцем ради прекрасных глаз Европы. Начавшаяся гражданская война также вызывала мало интереса — лишь постольку, поскольку она тяжко отражалась на нашем быте, усиливая

нищету, мешая жизни хоть немного восстановиться и стать на рельсы; вызывая усиление террора. Добровольчество, при всем потоке громких слов, шло под знаменем возврата монархии и земельной собственности, с целью полного сокрушения революции; десятки народившихся окраинных и сибирских правительств были никому не нужны и не менее опасны, чем наше; не вызывали ни доверия, ни надежд. Мы отдавали должное героизму единиц и масс по обе стороны гражданского фронта, мечтая лишь об одном — чтобы все это скорее кончилось тем, чем должно было неизбежно кончиться. Оскорбляло вмешательство иностранцев, бывших военных союзников, пытавшихся распоряжаться нашими судьбами. Мы хотели бороться сами, отстаивая свои личные и вновь нами созданные общественные крепости, и в какой-то мере этого добивались. Было прочно сознание, что при всех испытаниях, во всех условиях, вопреки разрушительной деятельности власти, нужно спасать Россию и то, что осталось от революции. Позже, высланный за границу, я понял, какая психологическая пропасть оказалась между нами и эмигрантами, до какой степени им было чуждо и непонятно то, что нам пришлось внутри пережить. Они отреклись от России,— мы оставались тесно с нею связанными; они видели в России только кучку властителей, одинаково и им и нам ненавистных,— мы видели и знали новых людей, силящихся поставить на ноги раненого колосса, видели народ, пробудившийся к сознательной жизни, огромные возможности расцвета этой жизни, только бы не убил до конца этих возможностей возврат политического деспотизма. Нам казалось, что вопреки всему революция явилась для России благом, что в длительном процессе жизни это скажется. И во имя борьбы за это мы хотели жить в России. Я говорю «мы» о тех интеллигентах, которые и прежде вели борьбу с властью и для которых настоящее положение было только этапом все той же борьбы. И я не сомневаюсь, что таких людей осталось в России много и много ими сделано. Мне особенно приятно писать это сейчас, в дни «крестового похода» темных сил Европы на русскую землю под предлогом борьбы против большевизма, в действительности столь родственного свастике. Не власть защищает русский солдат и русский народ, а свою землю, свое право быть ее хозяином, и никакой исход событий не умалит силы и значения тяжкого русского подвижничества. Тороплюсь сказать это прежде, чем станет модным преклоняться пред свершившимся и к нему приспособляться.

С любовным чувством вспоминаю нашу личную крепость. Горсточка писателей и ученых основала книжную торговлю в дни, когда все издательства прекратились, были национализированы и закрыты все магазины. Мы сами создали себе привилегию и пять лет ее отстаивали. Нужно было чем-то жить, помогать жить другим, и было приятно окружить себя книгами, частью нашей сущности. Об этой московской Книжной лавке писателей, вызвавшей позже подражания, писал не раз я, писали

и другие. Оиа заполияла нашу жизиь. Оиа стала цеитром московской иителлектуальиой жизии. Мы ие просто скупали и перепродавали старую книгу, мы священнодействовали, спасали книгу от гибели и разрушения, подбирали в целое разбитые томики, создавали библиотеки для университетов и учреждеиий, помогали любителям составлять коллекции. В те дни было загублеио бессчетное количество больших и малых киигохранилищ. Мерами власти книги отнимались, валились в кучу, сгнаивались в затопленных водой подвалах. Скупая оставшееся, подбирая томик к томику, сбывая мусор, мы разрушеиию противопоставляли созидание, пусть в размерах скромных, ио все же существеиных. Находились смельчаки и страстиые любители книги, которые, прикрывшись добытыми «охраииыми грамотами», ие всегда охраиявшими, решались составлять себе библиотеки, о каких раньше ие могли и мечтать; у иас они находили бесцеиные сокровища, расползшиеся по России из разрушеииых поместий и частных хранилищ. На скромиейшие доходы мы жили сами и помогали жить Союзу писателей и его отдельным члеиам. Мы ие забывали, конечио, и себя, каждый забирая в свой лавочиый «паек» то, что отвечало иашей частиой книжной страсти. Вижу книжные полки в своей уплотненной жильцами квартире, мыслеиио поглаживаю старые переплеты, перелистываю страницы редкостных издаиий, мечтаю о иедостающем и чаемом, любуясь ростом моих богатств. Голод, бедность, постояииое ожидаиие иалета бдительной власти, иедовольиой независимостью иаших позиций и иескрываемых взглядов,— все это забывалось среди книг. Какая радость спасти увесистый том Четьи-Миией от покушения иа прочную кожу его переплета для обшивки валеиок или заплаты иа башмак. Уберечь, подобрать к нему другой и третий, пока ие восстаиовятся все тома полиостью. Томиками французских изданий осьмиадцатого века, которые сейчас продаются в Париже в отеле Друо за тысячи, у иас играли в деревнях ребятишки, как удобными битками для бабок; они валялись в мусоре разрушеиных усадеб, вместе с архивами безграничиой цеииости. К иам робкий человек прииосил иа продажу сплетеиные в альбом или просто оставшиеся без призора письма Екатерины Второй и ее сподвижников, доставшиеся ему по иаследству или им откуда-то добытые,— теперь уже иикому ие нужные, последний источник его пропитания; мы отдавали ему всю иаличиость кассы, чтобы после продать музею за символический рубль. Дома я разбирал пожелтевшие листки, забывая тухлую конину, морковиый чай, вкус мерзлой картошки, готовя слова, которыми порадую друзей, рассказав им о своих открытиях. Личио я собрал исключительную по цеииости библиотеку русских книг об Италии, преимуществеиио путешествий, от времеи Шереметева до дией иаших. По моем отъезде оиа осталась иа храиеиии в одиом из ииостраииых посольств в Москве; кто скажет, что стало теперь с моими сундуками? Все равио: да будет благословеииа книга, давшая в жизни так миого утешеиий и радости! Но и горя иемало дает утрата

любовно собраиных сокровищ. Все, что было собрано в Россни, погибло, как позже погибло, украдеио культуриыми бандитами иакопленное мною в Париже.

Книга спасала по ночам, когда ие спалось. Поблизости шум мотора: прошумит ли он мимо или замрет у иашего подъезда? Шаги на лестнице, отдаленный стук в дверь, иовый ближе. Может быть — облава, повальный иочиой обход квартир; может быть, отдельиые, иамереиные визиты. Уже прогремело имя улицы Лубянки, уже работает неустаино варсоиофьевский гараж, облюбованиый для расстрелов. Нужды иет, что вы ие чувствуете за собой никакой вины, кроме несогласия мыслить по чужой указке,— иовая власть косит иаправо и иалево, ие слишком разбираясь. Днем случайный звонок, комиссар с солдатами, и часом позже, в полуподвальиой камере Московской Чека, я знакомлюсь с другими заключенными. Пожилой человек говорит: «Можно просить вас заиять место иа иарах рядом со миой? Вы — свежий человек, без вшей, в моем углу еще чисто; будете желанным соседом».— «Где я иахожусь?» — «В Корабле смерти».— «Кто вы?» — «Я Поливаиов, бывший воеиный министр».— «А другие?» — «Часть — бандиты, часть — люди разных партий, а почему взяты, ие зиаю, да и оии сами ие зиают».

Проходят дни в ожидании. Есть иесколько книжек, в их числе «Виктория» Кнута Гамсуна. Я облюбовал в подвале отдельную, пристроенную из досок комнату, куда иикто ие заходит. Лежу иа лавке и читаю Гамсуна. Какая нежная книга! Это — комната смертников, но сейчас пустует, так как пока все, кто нужны, расстреляны. На стеиах прощальиые иадписи. Мой арест случаен. Бывают также случайиые расстрелы; бывают и такие же освобождеиия. Союз писателей еще пользуется иекоторым вниманием: я члеи его правлеиия. Меня освобождает лично Камеиев, иародный комиссар, члеи Совета рабочих депутатов. «Маленькое иедоразумение,— поясняет Камеиев,— но для вас, как писателя, это материал. Хотите, подвезу вас домой, у меня машина». Я отказываюсь, вскидываю иа плечи свой узелок и шагаю пешком. За пять дней в Корабле смерти я действительно мог собрать кое-какой материал, если бы сам ие чувствовал себя бездушиым материалом. На расстрел был уведеи только одии бледный мальчик с порочным лицом: его опозиал «комиссар смерти», иногда приходившнй взглянуть с балкоиа внутрь иашей ямы; сам бывший бандит, теперь — гроза тюрьмы и герой террора, ои узиал мальчика, моего второго соседа, весело его окликнул, и затем заключеиный был вызваи «по городу с вещами». Мы знали, что ои ие вернется. Зиаменитый гараж поблизости, но обходятся и без иего, так как иа иашем дворе есть также удобный подвал для быстрой расправы. В Лавке меия встретили радостио друзья и книги; дома зиакомые томы и томики стояли в оставлеиием порядке. Инцидент исчерпаи.

Первое пятилетие революции, свидетелем которого я был, полагается делить на периоды — иа эпоху Временного прави-

тельства, октябрьский переворот, военный коммунизм, новую экономическую политику и что-то еще. Историки объяснят, как все это происходило, чьим радением, чьей мудростью; но не верьте на слово историкам, не верьте слишком и их документам, потому что они приведут в стройность то, что не было и не могло быть стройным, они в хаосе откроют гармонию причин и следствий, они преподнесут облизанную конфетку — и проглядят человека. Мы, родившиеся на больших реках, знаем, что в ледоход и разлив никто не направит течения палочкой, как мальчик струю воды в уличной канаве. Свершается то, что свершается, и кто-то приписывает это себе и придумывает событиям названия. Нас влекла стихия, а люди на стороне делили должности, кричали слова команды, стреляли в упор или мимо, тормозили спинами раскатившийся вагон. Дореволюционная Россия была домовита, запаслива, богата, и война ее не истощила. Мы долго доживали и доедали ее запасы, пока пришло время, когда остались только кремешки для зажигалок и пустые коробки от папирос «Ира». Стали страиствовать на колесах и пешком на юг с мешками, привозить оттуда муку, крупу, иной раз и сало, толстые слои сала с мясными прожилками и коричневой корой. Приползала зимой замерзшая картошка, дома оттаивала чернилами, но все же шла в дело. Чаще люди перочинными ножами вспарывали шкуру павшей на улице от бескормицы ломовой извозчичьей лошади, приносили домой черное жилистое мясо на котлетки. Привыкнув к очередям, молчаливо выстраивались на улице в ряд, подбирали из навозной колеи посыпанную с воза клюкву и ели домой в горстке, как четверговую свечку: все съестное стало священным. Нельзя было в нижнем этаже вывешивать между оконными рамами недоеденный кусок, вывешивать не из боязни порчи (в домах было холодно), а чтобы спасти от крыс: нельзя, потому что прохожий человек бил кулаком стекло, хватал, что висит, и бежал за угол, уплетая на ходу. В каком-то переулке с меня сняли шубу и пиджак — не возразишь против револьвера, приставленного к затылку, и вот незаменимая потеря. С магазинов содраны вывески, из них поналеланы печурки, гордость всякого хозяйства; растопка — номер «Известий рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», одного названия достаточно для розжига, а на дрова идет лишняя мебель и выковырянные дубовые плитки паркета. И все-таки мы ходили друг к другу в гости, прихватив свой сахарин к чужому чаю из листьев брусники. Хватало пшена, которое заправляли любым маслом: бобовым, кокосовым, минеральным, лишь бы не драло глотку. Мы были очень изобретательны, и мы не скучали. Многие умирали от голода, но иные, слишком полные, от него поправлялись, делались стройными и деятельными. Хоронить погибших от тифа или от расстрела посылали по наряду буржуев, а трупы назывались жмуриками. К весне торопились скалывать на дворах лед, вывозить снег и кухонные отбросы, чтобы не затопило грязью, вонью и болезнями; дружная работа всех жильцов, пре-

красиое житейское поравиение — иет больше барства, как иет и слуг. И всюду находились люди побойчее: бывший ли двориик или бывший адвокат, которые выдвигались и иами командовали. Как любят люди властвовать! И как любят люди подчиняться! У властного оказывались и одежда получше, и за столом сливочное масло, а то и долетевший из Киева копчеиый гусь, отиятый у мешочника заградительным отрядом. Потом у властиых появились иа рукаве иашивки, дальше — форма, после появятся ордеиа и звиия. У пояса кобура, под мышкой портфель, эмблема власти,— государствеиный строй крепчает, идеи стеклеиеют и стаиовятся декретами и закоиами. Широко, во все скуластое лицо улыбается черт, придумавший государство. Труден только первый выстрел по приставлеиному к стеие товарищу, дальше пуля сама знает, куда лететь. Рядом с иашей Книжной писательской лавкой, в Леонтьевском переулке, был барский особняк с залой, удобиой для больших собраиий; туда приезжали правители совещаться, как им мудрить над нами дальше; все люди верующие, крепколобые, без лишней чувствительности. Вечером к окиам дома пробрался через сад иеведомый отчаянный человек, тоже без жалости, и швырнул бомбу. В иочь расстреляли в подвалах Чека сидевших в Корабле смерти и других узилищах, для отместки и в острастку. Кажется, это и называется военным коммунизмом. Когда же скуластый лысый человек, читавший в Париже томительные доклады и по их тезисам строивший теперь иаше бытие, честиейший теоретик, чистейший бессребреник, за цифрами не видевший людей,— пусть мир погибиет, лишь бы теория торжествовала!— когда он додумался, что время дать иекоторый простор частным побуждениям, поощрить иииициативу, тот же поток стихии стал иазываться нэпом — иовой экоиомической политикой; и вдруг появился белый хлеб и пирожки с капустой. Был еще другой человек, с лицом шестиугольным, подправленным усами и бородкой, с огромным самолюбием, злыми глазами и прочиой в душе иеиавистью и прежде всего — страстный иеиавистник военщины, скрипевший зубами при виде воеииой формы. Судьба над ним подсмеялась, сделав его народным комиссаром войны и командующим войсками. Тот, первый, скуластый татарин, хотя и русский дворянии, остался штатским в прежнем своем пиджачке; этот надел длиииое воеииое пальто и славянский шишак с пеитаграммой, округливший его шестигранное еврейское лицо. Она, судьба, и дальше его ие оставит. Он высылал из России неугодных людей, и ему я благодареи за дальнейшие скитания по Европе; ои будет сам выслан и кончит жизнь запутавшимся в мемуарах эмиграитом; но и в далекой страие его иастигнет и убьет третий властитель России, толстый грузии в суконной полуформе, усердный убийца, услужливо прозваииый отцом иародов и мировым гением, сейчас — сопериик в бессмертии и славе германского маляра. Мимо этих броизовых фигур течет река жизии, то затопляя половодьем, то мелея, в ее воде мелкие рыбешки, шарахающиеся от щук и окуней,

им тоже нужно жить, жрать и метать икру; и бежит река своим вековым руслом, а многодумные люди скажут: это мы приказали ей течь в берегах, левом — крутом и правом — пологом, из гор в долины; мы, властители и направители ее светлых струй. И в истории опишется все иначе, прилежнее, аккуратнее, с догадками, выводами, именами и датами,— в руководство будущим поколеньям. А солдата, продававшего из-за пазухи «нгранный» сахар, бывшую даму, поменявшую будильник на щепотку мукн, нас, читавших ночью старинные итальянские новеллы, ожидая стука в дверь, вас, разметавших по чужим странам душевные богатства, история не припомнит за малостью и ненужностью на страницах ее соломенной бумаги.

Из великих революционных принципов, посеянных по русской земле, заглушены были скоро всходы свободы, но хорошо уродилось равенство — в благосостоянии и в рабстве. Единицы процвели особо, обеспечив будущему новое дворянство, но в общем жизнь создала желанное поравнение. Если класс неимущих выиграл мало, то стремительно к его уровню скатились те, кто раньше жил на его счет. Кто не успел бежать, прихватив свое добро в легконосных ценностях, тот попал под великий закон поравнения. Из богатых квартир, не очищенных прямыми мерами, потекло на базары и в хитрую деревню накопленное и сбереженное, стала торговкой бывшая барыня, теперь гражданка, деньги утратили ценность, отпали титулы, попряталась голубая кровь, и кто мог, называл себя детищем прохожего солдата и покрытки, потомком крепостных дедов. Всех равно одолели голод, холод, вошь, заползшая за воротник, крыса, хотевшая быть сотрапезницей. Равны стали и в одежде, с одинаковым за плечами мешком, слабосильные с санками или детской колясочкой — на случай пайковой выдачи или неожиданной продовольственной поживы. Мешки срослись с телом, люди стали сумчатыми. Если кто мог одеться лучше других — воздерживался, боясь косых взглядов; если мог лучше поесть — скрывал, ревниво пряча съестное, жуя его в одиночестве и в темноте, чтобы не подсмотрел сосед в щелку. Уравнялись и в возможности попасть под карающую руку за дело, без причины, в общей облаве, по дружескому доносу или просто зря, по шутке неудачливой своей судьбы, по силе принципа: «Лучше казнить десять невинных, чем оправдать одного виновного» — так перекроили знаменитую фразу Екатерины Второй, специалистки по показной гуманности. Кто похитрее, поспешил опроститься и стать незаметным, кто половчее — пристраивался в новых учреждениях, росших как грибы в дождливое лето. В новом строе, уничтожившем былое чиновничество, всякий, кто мог, становился чиновником, советским служащим, ответственным, рядовым, преданным или притворщиком, только бы числиться трудовым элементом и получать свою долю селедок, моркови, повидла, листовой резины на подметки, махорки, в которую подкладывался душистый колосок — и получалась едва ли не гаванская сигара. Старые ученые с мировым именем, философы,

врачи, нестроптивые писатели стояли в очередях у лабазов за получением академического пайка, усилениого лошадиной ногой или ребром: пшено, клюква, что-то вроде чая с запахом кофея, мука, горстка сахару — и непременно селедка, превосходная русская соленая селедка, великое спасение от голодухн н гнбели,— ей бы, благородной рыбе, поставнть бы памятник! В обмен на селедку можно было получить все, что еще не совсем нсчезло, ею можно уплатить долг н обеспечить себе новый заем. Селедки поедались в виде натуральном, в вареном, в жареном, нх коптили в самоварных трубах, чтобы иметь запас, не подверженный порче. И еще вобла, золотая вобла, порою с червоточиной; воблой кормили в тюрьмах, на первое блюдо в супе, на второе вынутой нз супа разваренной трухой. Под селедку н воблу страстно хотелось водкн, но монопольные заводы не работалн, запасы былн выпиты и вылнты революцией, и ловкачам оставалось гнать сивушный самогон. Пили денатурированный спирт, но от него слепли, если не догадывались процеживать его через уголь протнвогазовых масок. Прнвычные пьяницы пробовалн пить бензнн и керосин; фармацевты делалн богатые дела, отпуская знакомым малыми флакончиками зубной эликснр, эфирно-валернановые капли н все, что приготовляется на спирту для наружного употребления,— теперь для внутреннего. Смельчаки пили одеколон,— н в людских скоплениях, в очередях н на базарах пахло тонкими духами и разило эфиром.

Два явления развивались параллельно: иебывалый раньше эгоизм — в дружных прежде семьях один прятал от другого кусок, садились за стол со своими съестными сбережениямн, косились на материнскую н сестрнинскую тарелку, укрывали в кармане луковнцу, ссорилнсь нз-за неравной порцин. И в то же время стороннйй человек, видя нужду другого, подкармливал его, лишая себя последнего. Рискуя жизнью, укрывалн гонимых, хлопотали за арестованных, простаивалн в длинных хвостах у тюремных канцелярнй с кулечками для свонх н чужих узников. Одни спасали свою шкуру любымн мерами, от вилянья хвостом до прямой подлостн, другие — шли на проклятие для ближнего и дальнего. Всякая жизнь была подвижничеством, н кличка «товарищ», одним ставшая иенавистной, для других звучала священно.

И еще было одно, что трудно объясиить человеку, не пережившему в Россни тех дней. И торжествующих, н от их торжества пострадавших объединяла вера в то, что все этн страдания, лишения, вся нищая суета жизни, все это лишь временно, лишь страшный переход от прошлого к будущему. От революцин пострадав, революцин не проклинали н о ней не жалели; мало было людей, которые мечтали бы о возврате прежнего. Вызывали ненавнсть новые властители, но не дело, которому они взялись служить н которое оказалось им не по плечу,— дело обновления Россни. В них виделн перерядившихся старых деспотов, врагов свободы, способных только нскажать н тормо-

зить огромную работу, которая могла бы быть — так нам казалось — дружной, плодотворной и радостной. Смотря вперед, верили или хотели верить, что все это выправится, и потому так мечтали о прекращении гражданской бойни, мешавшей успокоению и питавшей террор. Может быть, ошибались, но думали так. И по мере сил, каждый в своей области, старались наладить и личную и общественную жизнь на совсем новых началах, раньше недоступных. Наладили ли — не знаю. Отсюда, из Европы, Россию не поймешь. Я не видал ее почти двадцать лет. Сыновнее сознание не мирится с тем, что тамошние люди жили и живут в политической духоте, в ставшем привычным подданстве и робком послушании. Старшие приспособились (или лгут? или притворяются? или переменились?), младшие ничего другого не знали, никакими идеями свободы не заражены; от иного мира отделены непроницаемой и непролазной стеной запретов. То, что нам казалось и было важнее и дороже жизни и посейчас кажется — вот хотя бы возможность эти слова сказать, написать, где-то напечатать,— им то чуждо, незнаемо, незнакомо, непотребно. У курицы какие-то предки, вероятно, летали, но она не мечтает ни о полетах, ни о плаванье. Животные в подземных пещерах, никогда света не видавшие, лишены зрения. Рабочий муравей, раб коллектива, безличная машина, не вспоминает об атрофированных органах, не знает силы пола, и он, по-своему, может быть счастлив. Жаль людей суженного кругозора и ограниченных духовных запросов, кастратов мысли, но если цель жизни — счастье, то возможно, что новые поколения счастливее нашего; мы целью жизни считали не счастье, а широту и благородство духовных стремлений, возможность их развивать и им следовать. Мы могли ошибаться, но тогда — какая прекрасная ошибка! Стоит ее всегда повторять, стоит и умереть, ей не изменяя.

В двадцать первом году мы, жители столицы, видели в неспокойных снах, будто горстями едим сахар и ломтями малороссийское сало; проснувшись, заедали горячий настой брусничного листа черным хлебом с привкусом пыли и плесени. Великой хозяйственной изворотливостью появлялась за обедом гречневая каша, хоть и без масла, но все же сносное питание. Иной делал чудеса: выкармливал в чулане поросенка, вскакивая по ночам взглянуть, не взломана ли дверь кем-нибудь из добрых соседей; у других на кухне, под столом, сидела на яйцах курица. На улице солдат-дезертир, побывавший на юге, показывал знаками проходящей хозяйке, что у него есть за пазухой нечто редкостное,— и хозяйка шмыгала с ним в чужие ворота или темный подъезд, где солдат распоясывался, извлекал из обмоток размякший шоколад, из шаровар мешочки с крупой; деньгам солдат предпочитал обмен на белье, на штатскую пару, на золотое колечко — торговля была сложна, опасна, все передавалось с оглядкой, из полы в полу. На базарах, которые то поощрялись, то оказывались незаконными и подвергались облавам, шел тот

же сложный обмен буржуазного барахла на масло, картошку, пшено; высшей ценностью были сапоги, на них можно было запастись мукой на всю зиму; но неплохо котировался и будильник, треск которого нравился иаезжавшим из деревень крестьянам. Толстая баба прикидывала на свой стан кружевную кофточку разорившейся барыни; бывший чиновник не соглашался дешево отдать граммофон. Вдруг появлялся отряд милиции, и все бежали, стараясь унести свое добро, давя друг друга, проклиная свою горемычную судьбу.

Мы голодали, но это был шуточный голод: от него худели, хворали, но умирали не так часто. Настоящий голод был в приволжских губерниях, пораженных неурожаем, и описать его нельзя, хотя и пытались многие. Там начисто вымирали деревни и села, и дороги между ними зарастали травой. Там были съедены пощаженные засухой листья деревьев, содрана и сжевана мягкая кора, истреблены крысы, белки, хорьки, лягушки, сверчки, земляные черви. Лучшим хлебом считался зеленый, целиком из лебеды; хуже — с примесью навоза, еще хуже — навозный целиком. Еще ели глину, и именно тогда было сделано великое открытие «питательной глины», серой и жирной, которая водилась только в счастливых местностях и была указана в пищу каким-то святым угодником. Эта глина насыщала ненадолго, но зато могла проходить через кишки, и так человек мог прожить целую неделю, лишь постепенно слабея. Обычная глина, даже если выбрать из нее камешки и песок, насыщала навсегда, от нее человек уже не освобождался и уносил ее, вместе с горькой жалобой, на тот свет для предъявления великому Судие. Но великий Судия только досадливо отмахивался: он был завален серьезными делами о людоедстве, слух о чем докатился до Европы, кушавшей тартинки и отвергавшей Россию и русских за военную измену и за революцию. С ужасом и презрением писали о «случаях каннибальства», не зная, что это были уже не случаи, а обыденное явление и что выработалось даже правило сначала есть голову, потом потроха и лишь к концу хорошее мясо, медленнее подвергавшееся порче. Ели преимущественно родных, в порядке умирания, кормя детей постарше, но не жалея грудных младенцев, жизни еще не знавших, хотя в них проку было мало. Ели по отдельности, не за общим столом, и разговоров об этом не было.

Я не видал голода, хотя к зиме страшного года был сослан в Казанскую губернию, где вымирали татарские селения. Вернее, видел я только забредших в город Казань, чудом выживших деревенских людей. Появлялась на улице человеческая тень в отрепьях, становилась у стены с протянутой рукой. Давали мало, хоть деньги ничего не стоили, да и не были настоящей помощью тысячные, стотысячные, миллионные бумажки. Постояв на морозе сколько-то времени, тень опускалась на снежную панель и замерзала, и тогда в упавшую шапку прохожие бросали, не жалея, мелкие бумажки. Это я видел. И еще видел детей, черемисов и татарчат, подобранных по дорогам и достав-

ленных на розвальнях в город распорядительностью Амернкан-
ского комитета (АРА). Привезенных сортировали на «мягких»
н «твердых». Мягких уводили или уносили в барак, твердых
укладывалн ряд на ряд, как дрова в поленинце, чтобы после
предать земле. И еще раньше, до казанской ссылкн, я видел
в Москве коллекцию сортов «голодного хлеба», собранную на
местах одним нз членов общественного «Комитета помощи
голодающим»,— замечательную коллекцию суррогатов, которыми
пытались питаться миллионы умиравших от голода крестьян;
ни в одном музее мира не найтн такой коллекции разноцветных
камней н неведомых пород, н то московское собрание погибло
при аресте членов комитета.

Я мало видел, но много слышал в Казани от очевидцев. Из
всех рассказчиков самым остроумным был следователь, кото-
рому вначале были поручены дела о людоедстве; после, когда
этн дела умножились, нх предали забвению, тем более что боль-
шинство «преступников» явиться на человеческий суд уже не
могло. Следователь, человек новой формации, без всякого обра-
зования, но уже успевший усвоить казенный «юридический»
язык, возмущенно повествовал, как в большой крестьянской
семье ели умершего собственной смертью деда, которого пере-
стали кормить. В протокол по этому делу следователь записал:
«Означенные граждане варили нз головы суп, который н хле-
бали, даже не заправив его крупой или кореньямн». Я запомнил
эту фразу — она гениальна!

О, я мог бы привести здесь много рассказов о голодном
годе,— не для русского читателя, которого ничем не удивншь,
а для ннострaнца, для того самого, который строго судил Рос-
сию за уход с фронта, а сейчас одобряет за отчаяниое сопро-
тнвление. Мог бы, например, нарнсовать жанровую картину, как
кучка полуживых плетется по следам умирающего, который нз
последних сил пытается углубиться в лес, найти покой своим
костям; так точно стая волков преследует раненого собрата,
подлизывая его кровь на снегу. Да, мы люди дикие, лесные.
Леса наши огромны, селенья редки; по Казанской губернии
можно ехать на лошади две недели, не встретив по дороге ни
дома, ни человека. Как же вы полагаете, понятно ли было жите-
лям тех мест, какими дипломатическими обязательствами была
связана Россня, во нмя чьих ннтересов должен был оставаться
на фронте русский солдат: черемис, мордвнн, татарнн, вотяк,
остяк, самоед? Уж и правда — не покрнвил ли он душой, бро-
сив фронт и ненавистное ружье, истолковав по-своему «свободу»?
И если сегодня он на тех же фронтах борется зверем — не
случилось ли что-то особениое в Россни за нстекшие годы?

В Москве, на Собачьей площадке, был скромный особняк,
в котором прнютился общественный «Комитет помощи голодаю-
щим». Неурожай н голод — явления в России обычные, но ни
одно правнтельство не могло справиться с ними. Настоящую
помощь оказывала только сплоченность общественных сил;
прн Екатернне Второй с голодом боролись московские масоны,

прн Нпколае последнем — люди, созванные Львом Толстым. Правнтельство, вышедшее нз Октябрьской революции, сильное в терроре, было бессильно спастн от смертн миллионы приволжских крестьян; н оно пошло на рнск, допустив в Москве образование общественного комитета с участием н представителей правительства. Если кто-нибудь успел записать краткую нсторню этого комитета, то он рассказал, как нескольких дней оказалось достаточно, чтобы в голодные губернин отправились поезда картофеля, тонны ржи, возы овощей — нз Центра и Снбири, как в кассу общественного комитета потекли отовсюду деньги, которых не хотели давать комитету официальному. Огромная работа была пронзведена разбитыми, но еще не вполне уничтоженными кооперативами, н общественный комитет, никакой властью не облеченный, опиравшийся лишь на нравственный авторитет образовавших его лиц, посылал всюду распоряжения, которые нсполнялись с готовностью н радостно всеми силами страны. Он мог спасти — и спас — миллион обреченных на ужасную смерть, но этим он мог погубить десяток правителей России, подорвав нх престнж; о нем уже заговорили, как о новой власти, которая спасет Россню. Ему уже прнносили собранные пожертвования представнтели войсковых частей Красной Армнн и милиционеры. Екатернна Вторая разбила московское масонство, Нпколай последний преследовал работавших на голоде «толстовцев»; октябрьская власть должна была убить комитет прежде, чем он разовьет работу. В Прнволжье погибло пять миллионов человек, но политическое положение было спасено.

В доме на Собачьей площадке очередное заседание комнтета, но не прнехал председатель, народный комиссар Каменев, раньше аккуратный. Я сижу рядом с В. Фигнер, знаменитой революционной старушкой, выдержавшей двадцатилетнее одиночное заключенне в Шлиссельбургской крепости, строгой, серьезной, не утратившей веры в революцию. Говорю ей: «Вот сейчас явятся чекисты, н мне придется провожать вас под ручку в тюрьму». Было легко пророчествовать в те дни, н я втайне жалел, что не уехал по зову приятеля в деревню ловить рыбу; но я был редактором газеты комитета, единственной независнмой газеты, которая была разрешена; ее третий номер был набран, и гранки лежали в моем портфеле,— газета без тени политики, целиком посвященная ннформации о голоде н прнннмаемых нами мерах. Гудят у подъезда моторы, н впереди черных фигур влетает в залу женщина в кожаной куртке, с револьвером у пояса. Старушку Фигнер пощадили, нас повезлн на прекрасных машинах. Один из спутников спросил на ухо: «Как вы думаете, это — расстрел?» Я кивнул головой уверенно. Иначе — какой же смысл в аресте? Чем его оправдать? Нас нужно объявить врагами революции н уничтожить! Тюрьма на Лубянке не приготовлена к прнему столь многих гостей, и мы заперты временно в большой комнате, служившей раньше торговой конторой, вместе, мужчины н женщины, все — люди на возрасте или уже старые, общественные работнпки, коопера-

торы, профессора, писатели, врачи, инженеры, бывшие члены Государственной думы, бывшие министры при Временном правительстве, вообще — бывшие люди. Большинство впервые в тюрьме и не знают, что делать. Я знаю хорошо по прежнему опыту: нахожу уголок почище, ложусь на пол и засыпаю под возбужденные разговоры. Утро вечера мудренее, если, конечно, утро придет.

Утро пришло. И было еще много утр в камере лубянской тюрьмы, где, до ссылки, я просидел два с половиной месяца за посильное участие в борьбе с посетившим Россию голодом. Камера была одиночная, но сидело в ней то шесть, то семь человек разных званий и по разным делам: два члена комитета; бывший морской офицер в продранных сапогах, которому ночью крыса искусала палец; старый крестьянин, продавший на базаре пуд муки; коммунист-комендант, не угодивший начальству; еще неопределенные лица, может быть подсаженные слушать наши беседы. Сидели неделю по две-три, потом исчезали, заменяясь новыми. Я пересидел других. Надзирателями были латыши, низколобые, грубые; дважды в сутки они выгоняли нас гурьбой в уборную, на что полагалось десять минут, вместе с обязательной уборкой мокрыми швабрами, которую мы выполняли по очереди. Тюрьма была страшная, без всякой возможности общения между камерами и с внешним миром; в царских тюрьмах эта возможность всегда была. Не было книг, никогда не водили на прогулку. Нас кормили супом из воблы и воблой из супа: вобла гнилая и червивая; но допускалась передача пищи с воли, и родные и друзья выстаивали часами в очереди у конторы тюрьмы; иногда передача не принималась, и это обычно означало, что арестованный расстрелян, но прямо об этом не сообщалось. Не расстрелянный в первую неделю, я считал, что опасность прошла, и сидел спокойно. Иногда водили на допрос, но допрашивать было, в сущности, не о чем, отвечать на допрос нечего; никакой вины за нами не было, сочинить ее было трудно, так как комитет старательно избегал всякой политики и вся деятельность его была открыта; но причислены мы были к разряду под буквами КР — контрреволюционеры, у половины арестованных членов комитета было немалое революционное прошлое, но это дела не меняло. До ссылки я не знал, что был, в числе шестерых, намечен к «ликвидации», от которой нас спасло заступничество Фритьофа Нансена. Я никогда не видел этого замечательного человека, память которого чту независимо от того, что обязан ему жизнью. Вместо расстрела эти шестеро были сосланы в глухие провинциальные местечки; мне на долю выпал Царевококшайск, гиблое лесное поселение Казанской губернии, жители которого гнали смолу и по весне, когда вскрывались реки, сплавляли до Волги лес; доехать туда мне не привелось по болезни, задержавшей меня в городе Казани. Всякая ссылка лучше тюрьмы. В тюремной камере было холодно и сыро, отопление не действовало. Чтобы поправить его, прислали в камеру рабочих, которые, по неопытности, вместо починки затопили нашу ка-

меру горячей водой. Пришлось просидеть сутки, подобрав иоги; затем вода просочилась под пол, и этим дело коичилось. Отоплеиия так и ие поправили, и у иас зацвели зелеиой плесенью деревяиные доски, служившие постелью, соломенные тюфяки, стены, одежда, обувь, легкие. Ноябрь был морозный, и я рассчитал, что в такой обстаиовке, если даже ие приключится острой болезни, до весиы ие дожить; весть о ссылке была иастоящим освобождением и радостью. Поздним вечером вывели во двор, посадили иа грузовик и доставили иа вокзал. В вагоие отвели отдельиое купе троим ссыльным (со миой ехали два известиых кооператора, члены комитета) и пятерым молодым коивойным солдатам, которые ухитрились тут же, при отправке, потерять мешок с иашими и своими докумеитами и всем продовольствием. Это тоже было удачей, так как теперь было иеизвестио, кто кого везет. Были морозные дни, в вагоие отопления ие было, стекла были разбиты, и меня, больиого, товарищи уложили иа лавку, прикрыв всем теплым, бывшим в нашем распоряжеиии; путь до Казаии — трое суток, и путь страшный: вагоиы кишели вшами, по России гулял тиф. У моих запасливых спутников оказался иафталии, которым усыпали пол и самих себя. Несмотря ии иа что, мы ехали весело, подсмеиваясь иад коивойными, которых нам пришлось кормить своими припасами. Приехав в Казаиь, мы отказались идти с вокзала в местную Чека и иаправились в Дом кооперативов, где были встречеиы ласково и предупредительно. И нас и конвойных иакормили так, как мы давио не ели,— горячими щами, в которых плавали куски жириого мяса; спать уложили иа иастоящих кроватях, иа мягких тюфяках, под простынями и теплыми одеялами. Наутро все же пришлось отправиться в казаискую Чека, где ие зиали, что с иами делать — никаких предпроводительных бумаг ие было. Подумав, нас времеиио освободили, а конвойных арестовали для высылки обратио в Москву. Теперь уже мы проводили их иа вокзал, усадили в поезд, щедро одарив деньгами и продуктами иа дорогу. Недаром, по иовой российской моде, мы все иазывали друг друга товарищами; слово «граждании» еще ие вошло в обычай. Я был слаб, ио чистый воздух и иекоторое подобие свободы сразу подбодрили и придали сил, и, преодолевая припадки ишиаса, я ие без удовольствия бродил по улицам Казани, зиакомой по прежним иаездам. Недели через две мои спутники, сами раздобыв лошадь и саии, в сопровождении иовых конвойных, поехали дальше в Царевококшайск; мне было разрешеио остаться в городе для поправки. С провииициальиыми властями вообще можио было ладить, тем более что они иас иесколько побаивались: сегодня — ссыльные, завтра мы могли бы оказаться господами положения; о работе иашего комитета здесь, в голодиой губернии, говорили с почтением. Слабо понимали, что произошло в Москве и почему мы выслаиы. Я был иесколько поражеи иеожидаиными визитами ко мне казанцев, в том числе молодого человека, преподнесшего мне свой «учеиый труд» — тоикую брошюрку по экоиомическому вопросу —

с очеиь трогательиой иадписью; ои оказался коммунистом, профессором Казанского университета. Навестили меия и местиые поэты и художники — в Москве иа это иикто ие решился бы. Немиого поправившись, я снял комиату в полуразрушеииом большом доме, где оказалась превосходиая печь, купил иа базаре воз березовых дров, соорудил из досок отличиый письмеииый стол, устлал пол и завесил окна иовой рогожей — и зажил бариием. Кооператив, снабжавший меия всем иеобходимым, иашел мие и службу по книжиой части, синекуру, за которую я после отблагодарил его устройством в Казаии книжиого магазииа,— все прежние были разграблены и уничтожены.

Россия того времеии была полиа противоречий; провииииальный ссыльиый город — тем более. Читатель будет удивлеи, если я ему скажу, что мие удалось в Казани, вместе с местиыми молодыми силами, издавать литературную газету — лишь с видимостью цеизуры, при этом частную, хотя бумагу оиа получала из каких-то реквизироваиных складов. Все хозяйство газеты иаладил, пользуясь зиакомством, двадцатилетний юиоша, симпатичиый и иелепый местный поэт с забавиым прошлым. В первые дни коммуиистического переворота ои оказался пламеииым деятелем — следователем Чека, облеченным огромной властью. Но ои по-своему понимал революцию, и, когда ему послали список арестоваиных, подлежащих допросу и, иезависимо от его исхода, расстрелу, ои возмутился и приказал этих арестованных, девятнадцать человек, освободить; оии успели скрыться, а его лишили должности. Ои рассказывал об этом с возмущеиием: «Разве коммунизм ие есть царство свободы и иезависимости?» Нам удалось издать десяток иомеров, в которых уже появились статьи московских писателей, миою приглашеииых. Редактируя газету, я ие подписывался и свое участие скрывал; но какой-то иомер попал иа глаза московских властей, и газету, коиечно, прихлопнули — без личных для нас последствий. Ссыльиый, я председательствовал иа литературных беседахмитингах в Казаиском университете, объявлеиием «свободиой ареиой»; получил бесплатио постояиное кресло первого ряда в местиом театре, где режиссером был мой московский приятель; и медицинский «иистиутут имени Леиииа», маленькое аховое учреждение, по моей просьбе выдал мие удостовереиие о «болезни, требующей для поправки перемены климата, желательио иа климат московский, как иаиболее умереиный». Все это ие мешало мие оставаться в звааии «врага иарода» и даже подвергнуться однажды иочному обыску. «Да что вы у меия ищете?»— «Предписаио обыскать, а что, мы и сами не зиаем».— «Кем предписаио?»— «Из Москвы телеграмма. Вы иам дайте, что есть».— «У меия ничего иет вам нужиого».— «Ну, делать иечего, мы так и ответим». Получили по папиросе и ушли. Вы скажете: страиное добродушие. Не добродушие, а иелепость: со миой случилось так; та же казанская Чека прославилась кровавыми расправами. В начале революции то же случалось и в самой Москве. Мие пришлось одиажды, как председателю

Союза писателей, хлопотать за товарища, сидевшего в тюрьме одесской Чека, которому грозил расстрел (хотя он был решительно нн в чем не повниен). Нужно было иепременно добиться перевода его в Москву, где было легче его спасти. Для этого требовались какне-то подписи троих ответственных коммунистов. Две были найдены, для третьей мне указали на «комиссара» (всех тогда называли комнссарамн) довольно свирепой репутации, нз простых рабочих, который будто бы уважал литераторов. Я нашел к нему ход, н он пригласил меия прийти иа квартиру в очень поздний час, почтн ночью. Было очень противно, но я пошел. Квартнра скромная, скорее бедная; «комнссар» в русской рубашке навыпуск, в кухне возится жена. Стол накрыт (хотя н без скатерти) для закуски, в центре бутылка водки. Комиссар явио доволен, что прннимает писателя. Прежде всего — выпить. Если бы он жил с тем шиком, как его высокопоставленные соратннкн, я бы попытался уклониться; но дело шло о жнзни моего друга, ргнорнзм можно отбросить; прнтом скромиость обстановки подкупала. Мы пили трн часа отвратнтельный самогон; комнссар не нитересовался, о ком идет речь; он рассказывал о себе, о том, как он уважает науку и литературу, как ему не удалось получить образования н как теперь, после революцин, все пойдет по-иному, всякий будет учиться н добиваться своего. Поздней ночью, красный от водки, но созиания не утратившнй, резко сказал: «Ну, давай, какая там бумага!» Я проглотил «ты» н сунул ему лист, который он подмахнул с тщательным росчерком. Перейдя снова иа «вы», он прнбавил: «Это за то, что вы ие гордый человек; а кого надо, мы ие пощаднм». С отуманенной выпитым головой я нес домой драгоцеиный документ. Была спасена жизиь писателя Андрея Соболя, впоследствнн застрелившегося. Но по крайней мере, ои сам решил свою судьбу.

Я довольно усердно выдержал рассказ о своей ссылке в стиле хроники. Но в сущности, для меня в то время всякая «хроника» прервалась. Я мечтал жить и работать в Россин, рвался в нее из эмиграции, верил в революцию, оправдывал в ней слншком многое. И вот я — «враг народа», контрреволюционер; опять тюрьмы, опять ссылки — все, уже нспытанное прн царском режиме, в той же последовательностн, с темн же зиакомыми подробностямн. Снова бежать за границу? Но она менее всего меня привлекала, н это уже не прежняя Европа, война неизбежио нзменила ее лицо. В чем-то мы ошиблись. А может быть, это было нензбежным; не будь большевиков, было бы Временное правительство, которое, превратившись в постоянное, действовало бы точно так же, были бы аресты, были бы тюрьмы н ссылки, былн бы те же гонения на свободное слово, только вместо пули карала бы за него традиционная веревка. Хроника жизни делается невыносимой. Если бы можно было уйти в мир образов, совсем ие видеть того, что делается вокруг, совсем не участвовать в суете жизни! Невыноснмо, когда нсторня начииает повторяться.

Стояла в Казани суровая зима. На изразцы раскаленной печи я брызгал пихтовым экстрактом — воздух становился смолистым, н я видел себя летом в лесу, в деревне Загарье, куда меня возили в детстве. Буду писать роман. Буду как-нибудь тянуть жизнь. Но дорожить нечем н верить, кажется, не во что.

Какое прекрасное сентябрьское утро! Сняет светом наша улочка, огороды залнты золотом, за нимн идет ннзина, по которой монмн рыбацкнмн ногамн протоптана тропинка к реке. Одинокая пара среди чужих людей, в чужой стране, снротливые, нищие, мы в нные днн все же хотим улыбаться. Иностранцы, да еще русские, мы стали узннкамн приветливого французского местечка, куда спаслнсь беженцами в дни военной угрозы Парнжу. Теперь лншены права и возможности передвиженння. Но в любую мнну́ту я могу взять свон удочки н пойтн на речку Шер. Она малорыбна, но очень краснва; за рекой занятая немцами Франция,— темн самыми немцами, которые сейчас стараются раздавнть Россню. В мон запискн о прошлом невольно вплетаются нитн настоящего, но для читателя оно будет тоже прошлым,— для читателя, уже знающего то, чего я еще не знаю. Впрочем, мне некуда торопиться в этой книге, начатой до войны н все еще не догнавшей.

Жизнь — картинная галерея. По улнце, на которую выходнт окно нашей хнбарки, скоро потянутся повозки с виноградом н те незамысловатые давильные машины, залитые кровавым соком, которые странствуют по дворам местечка в днн виноградного сбора. Однако по ходу моего рассказа естественнее смотреть из другого окна на засыпанную снегом, нечищеную Проломную улицу Казани. Там речки Казанка н Булат обе впадают в широкую Волгу, отделенную от города семью верстамн унылых песков, зимой — снежной поляной, нзрезанной немногимн дорогамн. В теплом кожаном полушубке н валенках я брожу по казанскому базару, где прямо на снегу раскннулась мелочная торговля старьевщиков. Среди бытовой дряни — несчетные богатства, н я охотно накупил бы на свон гроши кучу музейных ценностей, если бы был человеком с будущим н с прочным прнстаннщем: томнки бесценных уникумов, рукописных старообрядческих книг с цветными рнсунками, чашки н чайннкн знаменнтого поповского фарфора, бнсерные вязанья, чудесные коврики, н все — почти что даром, по цене щепотки ржаной муки. Мой знакомый, не богаче меня, но здешний человек, завалил книгами две комнаты от пола до потолка, утонул в них в счастливом недоуменнн; он не нскусен в отборе н бросается на все с одинаковой библиофильской жадностью. Полки кооперативного музея ломятся от новых случайных поступлений — образцов местного нскусства н осколков любительских коллекций. Где бывшие хозяева этих разбнтых сокровищ? Не они лн ушли в Сибнрь н дальше с прошедшими через Казань добровольцамн н чехословацкими отрядамн?

На базаре пахнет эфиром н одеколоном, заменнвшнмн водку;

до чего богата Россня! Бывшнй дворник дома, где я живу, теперь оказавшийся не у дел, так как дворники отменены н дома стали ничьимн, ввалился ко мие божественно пьяный и иасквозь проэфиренный, грохнулся на колени, поклонился до земли и промычал: «Прости меня, барин!» Я вижу его в первый раз, прощать его мне ие за что. Пьяная отрыжка рабского духа. Толкаю его в бок иоском валеика: «Встань, пьяная рожа, постыдись, ведь ты — граждаинн!» Он обнделся: «Чего же ты дерешься? Я по-хорошему пришел. Драться иынче ие приказано». Глаза красные, в войлок сваляна борода; хоть бы догадался ударить меня, все же было бы мие легче. Вытолкал его за дверь: «Ступай, проспись, проснувшийся народ!» Хожу весь день мрачиый, не могу забыть оскорбительного «барнна». Под вечер я зашел в открывшуюся дешевую столовую, целое событие для Казани, где нет, конечно, ресторанов, как н вообще частной торговли; как возникла эта — неизвестно, н почему ее терпят; вообще в провннцин новый строй путается со старым, ннкто иичего поиять ие может. В столовой дали неплохую котлету, то ли мясную, то ли из чего-то напомннающего рублеиое мясо; и дали ломоть хлеба, слишком черного, но словио бы настоящего. Чудеса! Под стол забралась собака, путается у моих ног. Хотел дать бедняге хлебную корочку, сунул под стол: «Эй, где ты там?»— н собака выхватила корку сннимн детскнмн пальцами. В ужасе отнял руку: это голодный татарчонок. Женщина, служащая столовой, говорнт: «Ничего ие могу с нимн поделать, вползают в дверь, как клопы, забираются под стол, крошки собирают. Главиое, очеиь вшивые они. Иди, мальчик, иди на улицу, здесь иельзя!» Маленький скелет выползает н ухмыляется. Я вышел из столовой отравленным.

С Казанью меня роднят семейные воспоминания. В Казаиском университете учились мой отец, дядя н старший брат. Гимиазистом я посылал свои первые статьн в казанскую газету и даже полемнзировал с сотрудником другой здешней газеты, тоже прятавшимся под буквамн; я был очень доволен и горд, узнав стороной, что это — прокурор окружного суда. Студентом я ездил нз Москвы в Пермь и обратно на летние каннкулы, пароходом по Волге н Каме, н Казань была середнной путн. Старался попасть на один из мощных пароходов Ольги Курбатовой, тянувших за собой баржу; пароходы были прекрасно оборудованы, проезд иа них дешев, буфет превосходен, и шлн они не трое, а пятеро суток — два лишних дня речного наслаждения. Я не люблю моря, оно скучно н однообразио; но плыть по большой реке с нзменчивымн берегамн — высокое наслаждение. В Казани было иесколько часов остановки, н я ездил в город посмотреть иа кремль н Сююмбекову башню; есть какая-то легенда о ней, не помню. С почтением смотрел на Казанскнй университет, питомцем которого был н Лев Толстой. Теперь я был частым гостем в стеиах этого уннверситета, хотя большинство его лучших профессоров ушло вслед за чехословакамн в Снбнрь; дальше их путь — на Дальний Восток,

в Китай, в Японию, оттуда океанами в места российского рассеяния — в Амернку, в Австралню, черт знает куда н зачем, а кто мог — в Европу. Великий нсход, переселенне народов; гигантская чепуха. Оставшиеся робки, запуганы, бесцветны н уже уступают место людям большой воли н малой грамотностн, «красной профессуре», путающей науку с политнкой, труды велнких с пропагандным брошюркамн. Новая страничка в нсторнн многострадального города. Когда-то его разорялн междоусобня, он долго боролся с Москвой, был завоеван, спустя два века разграблен Пугачевым, много раз выгорал дотла. Его нсторня любопытна, но это не значит, что жить в нем занятно, в особенности суровой знмой. И я мечтал вернуться в Москву; об этом хлопотали мон друзья. Гражданская война кончилась, может быть, наладится какая-нибудь терпимая жизнь. Мон бывшне спутннкн, члены нашего комнтета, тоже хотят нзбавнться от ссылки, а пока, вероятно, гонят смолу н готовятся сплавлять лес на Волгу по весне; они мечтали уплыть на плотах нз своей ссыльной дыры,— люди бодрые, здоровые, способные строить новую Россню. Нчего о них не знаю, мне не удалось больше с ннмн встретнться: но онн, конечно, в России, а не в глухом французском местечке.

Весной мне разрешили вернуться в Москву «для лечения»; это было тем прнятнее, что я был здоров. Немногие казанскне друзья устроилн мне проводы н какимн-то путямн выхлопоталн проезд в удобном «служебном» вагоне; прнмущество огромное, так как несколько страхует от сыпного тнфа — грозы путешественнннков. Вагон довольно опрятен, у меня отдельное купе, другие купе на затворе, и только еще в одном едут чины военной охраны. Выйдя на остановке на перрон, слышу за спнной шепот: «Ихний комиссар!» Возможно, что н стража счнтает меня тайно подсаженным для контроля важным чином — сейчас ведь не разберешься, почему едет человек в вагоне фннансового ведомства; смотрят почтительно, уступают дорогу. И только в Москве я узнал, что ехал в вагоне, нагруженном отобранными в церквах ценностямн.

Московский вокзал. Какие-то заградительные отряды, заставы, проверка багажа. У меня ничего нет, кроме худого чемоданчика. На площади ни одного нзвозчика. Прнятно прогуляться пешком через всю Москву по знакомым улицам. Был я преступннком, мне угрожала смерть. Теперь как будто свободен. Немало прелести в революционной нелепости. Любопытно, что у меня нет никаких бумаг н кто я — нензвестно: но квартира осталась, н в ней мон книги, собранные так любовно. На углах улнц бывшие люди н мальчишки продают что-то вроде белых булочек. В воздухе — «новая экономическая политика». По пути встречаются магазнны с тщательно протерыми тряпкой стеклами н с подобием внтрнны; частные магазины! Но люди еще остаются «сумчатымн»: с мешками за спиной, нные толкают впереди себя детскую коляску, очевидно для перевозки продуктов питання. Улица, на которой я жнву, переименована. Звонок не действует — стучу. Я дома.

Я пробыл в казанской ссылке всего полгода и не считаю это время в жизни потерянным; везде есть люди, и хорошие люди, всюду — общения, о которых остается благодариая память. Комната с самодельной мебелью, полеиница березовых дров в передней, сносное пнтание (я получал обильный «кооперативный» паек на своей службе), своя кулинария, великолепные казанские морозы, литературные беседы в малой университетской аудиторнн, новогодние пельмени в кругу актеров местного театра, мирные вечера в семье соседа по квартире, ласка монх молодых литературных друзей, сотрудников по газете и по устройству в Казани книжной лавки,— мне решительно не на что жаловаться. Но оказаться в роли и в положенин «врага революции» и политического ссыльиого — мне, со студенческих лет включавшему эту революцию в программу своей жизни, со всеми последствиямн, это, конечно, не могло пройтн бесследно. Я еще не ясно понимал то, что твердо знаю сейчас, когда тем же словом «революция», которое для нас было не только священным, но и нсполненным определенного содержания, снионимом политнческой свободы, стали прнкрывать наихудший деспотнзм и величайшее насилие иад лнчностью человека. Какой диктатор не нспользовал этого крадеиого слова? Какие гражданские цепи не выкованы нз понятия «свободы»? Мы были последним поколением чистых и цельных иллюзий, могиканами наивных верований. И это наша внна: нужно было внимательиее вглядываться в глубь нстории.

Эта краткая нсповедь не ради политических высказываний. Ею я хотел бы только пояснить, почему те дни стали для меня, как для многих, как бы пограничными в духовном состоянин: днямн не полной утраты — далеко нет!— а крнзнса прежних верованнй, неумолимых к ннм реальных поправок. Но это не зиачит — духовной пространн! Мы оставались живыми людьми.

Несмотря ни иа что, наша духовная жизнь была чрезвычайио богата,— или мие это кажется сейчас, по контрасту с копотью прозябанья в заграничном русском рассеянин, по еще пущему контрасту с сегодняшним днем сидения в глухом французском местечке, в трагическом духовном одиночестве, в однообразии мелькающих дней. Нет, в те дни мы все-таки пили из полных чаш настоящее вино жизни. В нищете, в растерянности быта, в неуверенности дня и ночи, в буче важного, ничтожного, грозного, смешного, в грохоте разрушений и фантастических планах созиданий мы боролись за будущее, в которое, может быть, по инерции продолжали верить. Во всяком случае, мы жили необычайной, неповторяющейся жизнью — дух никогда не угасал. Не думаю, чтобы кто-нибудь нз нас тогда мечтал променять эту жизнь на затхлость буржуазного покоя, на кофей с булочками, воскресный отдых, умеренные ндеалы и их постепениое достижение. Вечно предстоя пропасти, мы все-таки жили в стране и в эпоху необычайных возможностей. Пляска смерти на богатейшей, плодоносящей почве, великолепные грозы, раз-

ливы великих рек, неожидаиности пробуждений,— этого ие выразншь ни словами, ни образами, это нужно было пережить в редком сознанин каждым себя — страиой н народом. Мне, европейцу, Европа вспоминалась безвкусным блюдом зеленого горошка под кисло-сладким соусом, старушкой в чепчике, чиновником на покое. Расширеиными зрачками мы смотрели на нашу Россию, настороженным ухом ловили музыку будущего в дикой какофонин рычания, плача и восторженности. Именно тогда пронзошло первое отравление русских Россией, приведшее позже к нзумительной слепоте, к убеждению в мисснонерстве, к принятию учения о непогрешимости всех росснйских начинаний, от социального строительства до московской подземной дороги. Здоровое н радостное чувство, позже вытянутое хлыстом и ставшее офнциальным, претворилось в нзуверство н самодовольство. Но если свобода стала политической карнкатурой, с «отцом народов», заменившим «царя-батюшку», то виноват ли в этом сам народ, впервые иаучившийся читать по складам брошениую ему кннжнцу с картинками и сразу почувствовавший себя студентом? Раньше делившаяся неравно на кучку высококультурных и миллионы безграмотных, Россня стала вся пого-ловио полуграмотной в изумительном поравненнн сверху донизу — от властей до рабов, от пнсателя до пнсаря, от «рабочего у станка» до «служителя искусства».

Я пншу о переживаниях кругов избраииых, об умственных верхах, но то же н большее испытывалн слон, с ними сопрнкасавшиеся нли раиьше нм чуждые: среда рабочая, обласканная обещаниями, среда крестьяиская, впервые окрещенная в гражданство. О необычайном, широчайшем пробужденин сознания в этих слоях свидетельствует быстро развнвшийся в России спрос на книгу, прн первой возможностн показавшую миллионные тиражи, тяга к знанию, заполнившая школы и университеты, появление новой нителлигенции, еще малосозиательной, но почвенной, с мозгом, взвихренным внезапностью пробуждения, с упрощенными методами мышления, с особым, ломаным, полународным, полукнижным, языком, которым н до сих пор говорнт Россня в быту н в покалеченной литературе. При огромных пространствах России это пробуждение н сейчас не завершено н не вошло в прочное русло. Издали оно иам кажется нскусственным н как бы простецким, повторяющим иа лету схваченные н заученные фразы,— в чем много правды,— но не может быть сомнения в огромности его значения. Им пытались н пытаются руководить сверху, завивая недоразвитые мозги марксистским штопором, сводя сознание к готовым формулам, ннногда не без успеха,— но это не страшно при наших масштабах, это смоется в огромных потоках. Безграничиа разница между европейским рабочим, удовлетворенным пропагандистской брошюркой н по ней строящим свое политическое сознание, н русским трудящимся человеком, жадным до знаний положительных, которые для него ие приправа к быту, а откровение н горнзонты которого иастолько же обширнее, насколько

сама Россия шире, моложе, свежее, сочнее и богаче своей престарелой соседки.

Охотио отдаю страницы воспоминаниям о м о е й России, какой я ее зиал, какой ценил и как воспринимал. Но это уже последние о ней страницы; сейчас они оборвутся для меня, и жизнь ие в первый раз швырнет меня за борт. Хочу, чтобы в памятн осталось как можно больше лучшего, что в России есть: зелеиого шума и речных струй, земных испарений, мириого произрастания, иеоглядных далей. Я пользуюсь ранним летом и бегу в деревню на берег Москвы-реки, речки-невелички, но нзвилистой и светлой, к соснам и лиственным рощам, к коврам ознмых хлебов, к концерту нюньских жуков, лягушек, мошкары и дрожащих листьев.

Уехать нз Москвы в деревню Барвнху не так просто. На вокзал идти пешком, потому что нзвозчики разъехались по деревням на сельские работы; денег им не нужио, а ие голодать можно только близ земли. Поезда существуют, ио нет для них точного расписания. Добравшись до маленькой станцин, шагай опять пешком два-трн часа через поля, краткой дорогой через овраги, болотцем по кочкам, лесом по корням деревьев случайной тропой. То солнце, то лесная полутьма, то дух медвяный, то хвойный. Изба в деревне снята раньше, мы делим ее пополам с семьей моего друга философа, культуриейшего н превосходного человека, глубокого, терпимого, с судьбой которого н дальше совпадет моя судьба, лишь с той разницей, что он проживет двадцать лет в Кламаре, я — в Париже. В деревне я немедленно дичаю — в одежде, в повадках, в распределении времени: ранней зарей на речке, сплю, когда сморнт усталость, пишу урывками, поймав мысль на лету, увлекшись образом. Он — как бы на подлинной даче, жизнь — правильным здоровым темпом, сам в светлом костюме, даже в галстуке легкого батиста, днем за работой, под вечер в приятных н полезных прогулках за ягодой, за еловыми шишками для растопки самовара; для шишек берет с собой легкий чемоданчик. Наслаждаясь природой, он разумио мыслит,— я попросту пьян лесом, рекой, полями. Будто бы я пишу свой роман, но роман сам пишется в голове, а я больше валяюсь на траве, слушая стрекот кузнечиков, объедаясь земляникой, брусникой, костяникой, сладко тупея от лодки и рыбной ловли, и вижу во сне речную рябь и ныряющий поплавок. Гуляет ветерок по волнам ржей, в лесу шорохи зверушек, в зелень ныряет беличий хвост, заяц удирает, пржав уши, с шумом вспархивают птицы. Здесь заповедный лес, не рубленный трн века, стоявший еще в дни царя Алексея Михайловича. Кто помнит, как заповедовали рубку в русских лесах? Входили в ннх торжественно, с крестами и хоругвями, со священником во главе прнчта, служили заповедный молебен и пели «Слава в вышних Богу и на земле мир». В заповедном лесу по воле живут и умирают деревья, нет ни дорог, ни просек, валежник не убирается, невозможно пробраться человеку и тем привольнее зверью. А попробуешь

продраться вглубь — путь пересечет ствол павшей сосны, толщиной много выше человеческого роста, настоящая стена, хотя от ствола осталась одна кора. Все в зарослях и лианах, не колючих, как в южных лесах, но с мягкой настойчивостью запрещающих дорогу.

Мое последнее русское лето... Оно связано в воспоминаниях со многим личным, что дорого и важно только для меня,— при мне и останется. И вся Россия останется для меня в образе деревни со светлой рекой и заповедным лесом — в самом лучшем ее образе.

В Москву не тянуло — был за все лето два раза. Однажды туда собрался мой сожитель — и в срок не вернулся. Один из дачников, приехавший из города, рассказал, что там аресты средн писателей и ученых, почему — никто не знает, и понять трудно. Значит — нужно готовиться. Ночью сюда не приедут, можно спать покойно, с утра ухожу с удочкамн на речку. Условлено, что в случае тревоги мальчик махнет мне платком с холма. Хорошо клевала на хлеб плотичка, на червячка попадался окунек. С холма махнули платком, и в то же время к перевозу подъехал по бездорожью автомобиль — явление в этих краях почти невиданное. За речкой местный «совет депутатов», куда, очевидно, за справкой отправились на пароме приехавшие, оставив машину на нашем берегу. Все просто и понятно, и чекистская форма горожанам знакома. Один из приехавших остался с шофером в машине, но у меня нет выбора — по берегу одна тропа к лесу — мимо машины. Иду тихо и спокойно, загорелый, заплатанный рыбак, смотрю на военных людей с любопытством. Дальше — в прибрежные кусты, где прощаюсь с удочками; рыбу выпустил на волю раньше — такое ее счастье. Взобравшись на береговую кручу, сразу углубляюсь в лесную опушку, мимо которой лежит единственная на Москву проездная дорога. В пяти километрах есть деревушка избы в три-четыре, где один домик снят моими знакомыми. Правда, там же, рядом, в бывшем большом барском имении, летом живут общежительно семьи народных комиссаров — Троцкого, Каменева, Дзержинского, главного палача, и имение окружено высокой кирпичной оградой — дачное гнездо предержащих властей. Но это хорошо, в таком месте искать не будут. Добравшись до деревушки, сажусь под домашний арест, чтобы выждать, какие вести придут из Москвы. Все-таки трудно сидеть в избе безвыходно в чудесную осеннюю погоду, а в лесу, как нарочно, появились белые грибы — целые заросли, собирай хоть бельевыми корзинами. Выползаю с оглядкой на занятный спорт. На третий день узнаю, что часть арестованных еще в тюрьме, а часть выпущена на волю с предписанием готовиться к высылке за границу. Ни причин, ни обвинений; взяты люди, от политики далекие, «религиозные философы», ректор университета, профессор-финансист, профессор-астроном, инженер, агроном, несколько писателей, литературный критик — никакой между ними видимой связи, случайный любительский отбор. Взят, конечно, и мой

сожитель, но уже выпущен на свободу; он — московский профессор, нз русских философов виднейший. Есть ли смысл скрываться дольше н до каких пор? В деревне, у нашей дачи, поставили стражу нз местных парней, внушив нм, что я — опасный преступник. Но парням ждать скучно, да н руки нх нужны в хозяйстве. Зайдут, спросят, не вернулся ли, н уходят в поле.

Москва велика — прнют найдется. Простившись с добрыми друзьями, покидаю свое убежище н иду на соседнюю с нашей станцию ждать поезда в Москву. Монм прнютом будет в Москве частная хирургическая лечебница, где для меня уже готова койка в отдельной комнате и милый прнем у владельца лечебницы, старого знакомого. Денек отдыха, на другой день беру телефонную трубку; я уже знаю фамилию следователя, которому поручено наше дело; не знаю только, что это за «дело».

— Алло, я такой-то, вы меня ищете?

— Да. Откуда вы говорнте?

— Это безразлично, я могу к вам явнться. Но скажите, вы меня задержите?

— Я не обязан отвечать на такие вопросы.

— Но я хочу знать, брать ли мне подушку и перемену белья?

Молчание. Затем голос отвечает:

— Можете не брать.

— Тогда я явлюсь через час.

Идтн н самому сдаться непрнятелю — как будто малодушно. Но долго скрываться невозможно н слишком хлопотно, не столько для меня, сколько для тех, кто дает приют. И бессмысленно: мне нечего делать в подпольях, моя жизнь всегда была на виду. Быть высланным за границу, так недолго пожив на родине, хотя н успев вкуснть ее пьяно н обильно,— совсем не улыбалось. Почему и за что? Но таких вопросов в то время не ставили. По ходячему анекдоту, в многочисленных анкетах, на которые приходилось отвечать гражданам нового свободнейшего строя, была графа: «Подвергалнсь ли вы аресту, н если нет, то почему». Все же Европа — лучшая тюрьма, чем подвалы Лубянки, Корабль смертн н прочее.

Поверив следователю, я не взял с собой ни подушки, ни белья, только добрый запас папирос, н отправился в страшный дом, мне уже достаточно знакомый, где прошлой осенью едва не кончил свон дни в зацветшей плесенью камере. Идти в тюрьму невесело — даже добровольно. Развеселить мог только новый анекдот. И вот оказалось, что даже на пути в тюрьму ждут гражданина препятствия. Помещение Чека, недавно перенменованного в Гепеу (прнзнак государственной устойчивости), тщательно охранялось, н смертному проникнуть туда было непросто. Первого часового я убедил соображением, что вызван по телефону, почему и не имею впускной бумаги,— ведь не доброй же волей приходят в тюрьму. Часовой смилостивился. В конторе, где у каждого оконца стояла толпа, я громко н настойчиво потребовал выслушать меня вне очереди ввиду сроч-

ностн заявления; я мог возвышать голос — опасаться было нечего; н прн общей робости громкий голос действует. «По какому делу?»— «По делу о моем аресте».— «Но вы не арестованы».— «Я для этого прншел».— «Нельзя, гражданнн, без прнказа».— «Что же мне делать?»— «Это нас не касается, уходите домой». Чнстая идиллия! Прншлось опять убеждать другого часового у дверн, ведшей внутрь тюрьмы, где были н комнаты следователей. Долго объяснял ему, что нельзя нз тюрьмы выпускать, а туда отчего же не пустнть, ведь назад свободно не выйдешь; пригрозил, что буду жаловаться. Пропустил н этот. Путался по бесконечным коридорам, пока на одной нз дверей не нашел плакат с нужной фамилией. Следователь любезен: «Прежде всего подпишите бумажку». В бумажке сказано, что мне объявлено о моем аресте. «О каком аресте? Я не взял с собой подушки». Успоконтельно говорнт: «Вы только подпншите, я уж прготовил н другую». На другой значилось, что объявлено мне об освобожденин, с обязательством покинуть в недельный срок пределы РСФСР. Любят новые чнновники бумажное пронзводство. «И еще вот третью бумагу». На третьей значнтся, что в случае невыезда или бегства с пути подлежу высшей мере наказания, то есть расстрелу. Только улыбаюсь: «Предоставьте мне аэроплан, улечу хоть сегодня. Можно идтн?»— «Еще заполните анкету». И действнтельно, как же можно без анкеты в канцелярском деле. Первый вопрос: «Как вы относнтесь к Советской властн?» Вопрос ехидный — как могу я относнться к власти, находясь в тюрьме н готовясь быть высланным? И я пишу: «С удивлением». Следователь морщится, но говорит: «Пншите что хотите, все равно уедете».— «Теперь все?»— «Вот только подпншу вам бумажку на выпуск отсюда». Возвращаюсь темн же коридорами, солдат отбнрает бумажку н натыкает на штык. Дух канцелярский сменяется пылью летней московской улицы.

Значит — вот чем стала революция. Бурн выродились в прнвычный полицейский быт. Ну что же, тем легче будет уехать нз России. Вчера это казалось мне огромным несчастьем, сегодня не нахожу в душе нн протеста, ни особого сожаленння.

Мы обязались немедленно оставнть пределы РСФСР (тогда еще не было букв СССР). Путь указан: Москва — Петербург (еще не ставший Ленинградом), оттуда пароходом в Германню. Легко сказать — мудрено выполнить. Германня — тогдашняя Германия!— обиделась: она не страна для ссылок. Она готова нас прннять, если мы сами об этом попроснм, но по прнказу политической полиции внзы не даст. Жест благородный — мы его ценим, но пускай н нас попросят. И нас убедительно н трогательно просят: «Хлопочите в посольстве о внзах, иначе будете бессрочно посажены в тюрьму». Мы сговорчивы, мы хлопочем. Буду справедлив к сегодняшним врагам — они были к нам очень любезны: и внзы, н даже обеспечение прнема в Берлнне, где о нас позаботится такой-то комитет, встретит на вокзале, подыщет временное для всех помещение. Переговоры задерживают

нас в Москве на месяц с лишком. Мы стали «организацией ссыльных», мы собираемся, мы совещаемся, имеем своих представителей, обсуждаем свои дела. Хлопочем об иностранной валюте, об отдельных вагонах до Петербурга, о каютах на пароходе; с семьями нас семьдесят человек. Пока — мы самые свободные граждане республики: терять нам нечего, бояться тоже, и уста наши не замкнуты. Нами интересуется иностранная печать, и Лев Троцкий, идеолог нашей высылки, дает журналистам интервью: «Высылаем из милости, чтобы не расстреливать». Не чувствует ли Троцкий, что и сам будет выслан из милости? Нам многие завидуют: как хотели бы они поменяться с нами участью. Некоторым образом мы — герои дня. Почему именно на нас, таких-то, пало избрание, мы никогда не могли узнать: включены в списки отдельные лица, почти никакой связи между собой не имевшие. Ссылка некоторых поражала: никто не слыхал раньше об их общественной роли, она ни в чем не проявлялась, и имена их известны не были. Троцкому принадлежала идея, но выполнял ее менее умный человек. Или менее злой. Мы знали, что готовятся и еще списки петербуржцев; но там взялись за дело вяло.

Лично я удивлен не был. Мы с моим дачным сожителем, профессором Н. Бердяевым, возглавляли в то время Президиум Всероссийского союза писателей, слишком дорожившего своей независимостью от партийных влияний. Нужно было напугать союз — и он напугался. Накануне нашего отъезда из Москвы я в последний раз председательствовал на заседании правления союза — хотелось проститься с товарищами, мы так хорошо и так дружно работали. Я был одним из организаторов союза, писал его устав, перед отъездом передал союзу последний дар нашей лавки писателей — ценнейшую коллекцию библиографических, очень редких изданий и набор изданий рукописных — уникумы переходных революционных лет. С нашим отъездом лавка ликвидировалась, но нас заботила судьба союза. Идя на это последнее заседание, я заранее заготовил самую краткую и самую сдержанную речь в ответ на прощальное приветствие, которого, естественно, ожидал. Ни приветствия, ни речи я не внесу в протокол, чтобы не повредить союзу. Были на очереди небольшие, обычные вопросы организации, и мы их исчерпали в какой-нибудь час времени. Не было никаких споров, члены правления — пятнадцать человек — были сдержанны и несловоохотливы. Сейчас я объявлю повестку заседания исчерпанной, и тогда кто-нибудь попросит слова, на которое мне придется отвечать. Только бы его выступление не было резким и мне не пришлось бы просить воздержаться от всякой политики. Повестка исчерпана. Двое-трое быстро встают и выходят — самые осторожные. Минута замешательства — никто не просит слова. И внезапно я догадываюсь, что никто его и не попросит, что союз уже достаточно напуган, что он уже не тот и будущее его предопределено. Я встаю — и все встают с облегчением. В передней молчаливо обмениваемся рукопожатиями, и я за-

держиваюсь, чтобы никого не вынудить идти по улице вместе с высылаемым преступником. Как я был наивен со своей заготовленной ответной речью.

Дома — прощальный прием, скромный прощальный ужин, и часть тех же людей, не нашедших слова в заседании, здесь не стесняются ни в чувствах, ни в их выражении. Я это ценю — но еще никогда мне не было так грустно и так смутно на душе. Нужно очень долго жить, чтобы не удивляться и не ошибаться в оценках. В сущности, ничего не случилось, люди милы, отзывчивы, нельзя сомневаться в их искренности и их дружбе. Я не сомневаюсь даже в их памяти — ну, хоть на несколько лет; мы жили в таком тесном общении, в такой охотной взаимопомощи. Но я сомневаюсь в том, что все они сохранят свои лица, не отрекутся от того, что казалось нам священным,— от независимости мыслей и суждений, от смелости их высказыванья. Нелегко уезжать, увозя с собой яд сомнений. А может быть, я слишком требователен? Мы уезжаем завтра — кто придет проводить наш поезд? Вокзал — не частная квартира.

Здесь я опускаю железный занавес.

Железным занавесом отрезана Россия, земля родная, страна отцов. Отрезана на двадцать лет — я кончаю эти воспоминания в юбилейный год разлуки. Я уехал молодым, с чувством уверенности, что не вернусь; эта уверенность с годами укрепилась.

Россия — шестая часть света; остается еще пять шестых. К сожалению, не всякое растение легко выдерживает пересадку и прививается в чуждом климате и на чужой земле. Я почувствовал себя дома на берегах Камы и Волги, в Москве, в поездках по нашей огромной стране, на местах работы, в ссылках, даже в тюрьмах; вне России никогда не ощущал себя «дома», как бы ни свыкался со страной, с народом, с языком. Это не патриотическая чувствительность, а природная неспособность к акклиматизации. И кстати сказать, неохота; может быть, впрочем, и гордость. Почти все мои книги написаны в эмиграции и в заграничной ссылке; в России писать было «некогда»; но жизненный материал для этих книг давала только русская жизнь — и он казался мне неистощимым. Полжизни прожив за границей, я в своих воспоминаниях не вижу надобности говорить об этой напрасной половине; она слишком лична; и потому я обрываю свои записки на невеселой минуте расставанья с Москвой, моим последним «домом». Дальше будут иные оседлости, иные катастрофы и блужданья,— и вот я на берегу французской реки, имени которой прежде не слыхал. Но теперь уже совершенно безразлично, где жить и к чему еще готовиться: книга закончена, не стоит затягивать послесловие.

Во всех местах недолгой оседлости: в Москве, в Гельсингфорсе, в Риме, снова в Москве, в Берлине, в Париже — любовь к вороху бумаг накапливала архивы: житейские документы,

записи встреч, дневники, тысячи писем. Часть исчезала при «катастрофах», часть сохранялась и сиова разрасталась. Из Москвы иам ие было разрешеио вывезти ни одной писаиой бумажки и ни одной книги: все, мною собранное, пропало. Но опять иакопились «сокровища» в жизни заграничной — для иовой очередной гибели.

В обществе этих постепенно желтевших бумаг и в обществе книг, которыми я всегда себя окружал, я жил, как в маленькой крепости, защищавшей от слишком сегодняшиего и, во всяком случае, чужого. Крепость пала, как пали многие другие крепости, казавшиеся достаточной защитой. Случалось так и прежде, ио хватало жизиеиных сил, чтобы упрямо отстраивать заиово свое убежище. Может быть, иашлись бы они и теперь, эти силы; но случилось худшее — исчезло всякое желание.

И вот, подобрав обрывки прошлого, оставшиеся не иа бумагах, ие в документах эпохи, ие в письмах, а в памяти, я их сплетаю в киигу, чтобы уж иечего было больше хранить и беречь.

Киига о детстве, юиости, молодых годах. Старость ие нуждается в книге — ей довольио эпитафии.

ПРИМЕЧАНИЯ

Тексты произведений М. А. Осоргина печатаются с сохранением особенностей авторского синтаксиса. Частичные изменения орфографии сделаны в соответствии с сегодняшними нормами.

Сивцев вражек

Впервые роман вышел в Париже, изд. кн. маг. «Москва», 1928. Печатается по 2-му изд.— 1929.

С. 6. *Шел домой в Гирши* — место традиционного проживания московского студенчества. М. А. Осоргин в университетские годы и сам жил в этом районе (Большая и Малая Бронные улицы и примыкающие переулки).

С. 7. *Гекатомбы* — здесь: всякое большое жертвоприношение.

С. 8. *Маленький сербский гимназист* — Гаврила Принсип, член сербско-хорватской националистической организации «Молодая Босния», 28 июня 1914 г. совершил покушение в Сараево на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника престола. Этим убийством было спровоцировано начало первой мировой войны в июле 1914 г.

С. 27. *Георгия за храбрость* — солдатский Георгиевский крест, вручаемый за личное мужество и считавшийся наиболее почетной наградой.

С. 36. *Устроил... в Земгор* — организованный летом 1915 года объединенный комитет Земского и Городского союзов был исключительно тыловой организацией, созданной для помощи правительству в снабжении русской армии. Поэтому слово «земгусарский» имеет иронический смысл.

С. 47. *...Земли́и у́бо от земли́ созда́хо́мся...*— фрагмент надгробной молитвы «Сам Еди́н еси́ Бессме́ртный сотвори́вый и созда́вый челове́ка...» (Псалтирь. Последование по исходе души от тела. Песнь 6. Икос.).

С. 65. *Был Арсенал* — здание Арсенала, расположенное в Кремле, как и находящийся рядом Манеж, стали опорными пунктами юнкеров *Александровского училища* (среднее военное учебное заведение для подготовки офицерского состава пехоты), в октябре 1917-го противостоявших красногвардейцам. Кровавые события этой осени в Москве потрясли многих. «Один из самых страшных дней всей моей жизни,— писал о 3 ноября 17-го И. А. Бунин, видя в дне разоружения юнкеров «венец всего».—...Разгромили людоеды Москау!» Отражены названные события также и известном песенном тексте А. Вертинского «То, что я должен сказать» («Я не знаю, зачем и кому это нужно...»).

С. 66. *Хомяковский дом* — принадлежавший известному писателю-славянофилу особняк в стиле ампир. Частыми гостями дома были литературные единомышленники А. С. Хомякова — Аксаковы, Киреевские и др.

С. 70. *Легато* — музыкальный термин, означающий связное исполнение нескольких звуков.

С. 79. *Памятник Скобелеву* — конная статуя популярного героя туркестанских походов и русско-турецкой войны 1877—1888 гг. генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева (1843—1882). Установлен по проекту П. А. Самонова в 1912 году. Снесен накануне 1 мая 1918-го. Сейчас на этом месте памятник основателю Москвы Юрию Долгорукому.

С. 86. *Форшлаг* — в буквальном переводе с немецкого предудар — музыкальный термин, означающий мелодичное украшение одного или нескольких звуков, предшествующих основному звуку и как бы сливающихся с ним.

С. 109. *В писательскую лавочку в Леонтьевском* — М. А. Осоргин многое сделал для создания в Москве Книжной лавки писателей (открылась в сентябре 1918 г.). Лавка помогала творческой и научной интеллигенции выжить в условиях хозяйственного паралича и экономической разрухи, став при этом своеобразным культурическим центром. «В Леонтьевском переулке торговали Осоргин, Борис Зайцев, поэт Владислав Ходасевич, профессор Бердяев и еще кто-то... Фирма была солидная, хозяева... с собственным именем на полочке истории российской изящной словесности...» — так вспоминает о Книжной лавке поэт-имажинист Анатолий Мариенгоф (1897—1962) в «Романе без вранья».

С. 115. *Красные ворота* — архитектурный памятник на пересечении Новой Басманной и Садово-Черногрязской улиц. Построены в 1753—1757 гг. по проекту выдающегося представителя русского архитектурного барокко Д. В. Ухтомского. Снесены в 1928 г.

С. 137. *...Энштейна, о книге которого только что дошли...* слухи — М. А. Осоргин очень пережил, что в условиях цензурной изоляции от остального мира советский человек обречен «лепетать склады». В одном из «Писем к старому другу в Москве» писатель посетует на научную отсталость соотечественников: «...за немногими... исключениями, русские ученые — типичные гимназисты».

С. 141. *Человек в желтых гетрах* (см. также с. 150. *Субъект армянского типа...)* — намек на Б. Савинкова. В документальном очерке Романа Гуля «Два заговора в Москве» (Иллюстрированная Россия. Париж, 1935, № 39) читаем: «Тогда по Москве ходил еще «человек в красных гетрах», опытный конспиратор-террорист Борис Савинков...»

Борис Викторович Савинков (1879—1925) — один из лидеров партии эсеров, организатор и участник многих террористических актов, под псевдонимом В. Ропшин известен как автор прозаических произведений.

После разгона Учредительного собрания объявил о своей решительной борьбе с большевизмом. В описываемый в романе период Савинков ходил по Москве в гриме и даже без — его нередко узнавали, и город был полон слухами о намечаемых им политических убийствах.

С. 157. *И новые завелись в Москве места* — здесь и далее называются адреса следственных изоляторов Чрезвычайной Комиссии. *Общество «Якорь»* — бывшая контора страхового общества на углу Б. Лубянки и Варсонофьевского пер. *Корабль смерти* — общая подвальная камера а одном из флигелей. *Контора Аванесова* (см. с. 159) названа по имени Варлаама Александровича Аванесова (1884—1930), с марта 1919-го члена Коллегии ВЧК.

С. 158. *Казры* — контрреволюционеры. От аббревиатуры КР (см. с. 584).

С. 167. *Одиннадцатое ноября восемнадцатого года* — день заключения перемирия между побеждennой Германией и государствами антигерманской коалиции: Великобританией, Францией, США и др. Подписание перемирия в Компьенском лесу знаменовало собой завершение первой мировой войны.

С. 170. *Догадливый художник-гравер* — Иван Николаевич Павлов (1872—1951), автор станковых тоновых и цветных ксилографий и линогравюр об архитектурно-пейзажных достопримечательностях «уходящей» Москвы, книжных знаков, в т. ч. экслибриса М. А. Осоргина.

С. 186. *«Лошадь как лошадь»* — название сборника стихотворений поэта-имажиниста Вадима Габриэлевича Шершеневича (1893—1942), вышедшего в издательстве «Плеяды» (М., 1920).

С. 201. *Взрыв слышали даже на окраинах Москвы* — террористический акт, совершенный 25 сентября 1919 г. в здании городского комитета РКП(б) во время многолюдного заседания. Несколько десятков раненых, двенадцать убитых — таковы были последствия взрыва, в подготовке которого ЧК обвинила подпольную организацию левых эсеров и анархистов. В качестве «возмездия» были расстреляны сотни заложников из представителей враждебных большевикам партий, офицерства, интеллигенции, «буржуазного элемента».

Свидетель истории

Роман впервые вышел в Париже, изд. кн. маг. «Москва», 1932. Печатается по этому изданию.

С. 226. *Наташа Калымова* — прототипом героини было реальное историческое лицо — Наталья Сергеевна Климова (1884—1917) — эсерка-максималистка, участница петербургского покушения на П. А. Столыпина в 1906 г. Описание ее побега из тюрьмы, а также другие обстоятельства жизни имеют достоверную фактическую основу.

С. 227. *Модный немецкий философ* — речь идет о Фридрихе Ницше (1844—1900), одном из основателей «философии жизни», оказавшем большое влияние на социально-политические идеи XX столетия. *«Так говорил Заратустра»* — книга Ницше, как сказано в авторском подзаголовке, «для всех и ни для кого». Написанная в 1883—1885 гг., она произвела на читателей огромное впечатление, в частности, и миф о сверхчеловеке — *«белокуром звере»*. В данном случае речь может идти об одном из переводов на русский язык: Нани (1899) или Ю. М. Антоновского (1900, 1903).

С. 228. *Элейский философ Зенон* — живший в V веке до н. э. в греческом городе Элея философ Зенон считался одним из основателей диалектики. Известен знаменитыми парадоксами. Так, в частности, он утверждал: чтобы пройти известное пространство, движущееся тело должно пройти половину этого про-

странства, а для этого — сначала еще половину этой половины и т. д. до бесконечности, т. е. оно никогда не тронется с мест. Отсюда Зенон приходил к выводу, что быстроногий Ахиллес никогда не угонится за медлительной черепахой.

С. 229. *...Сверкают на солнце голые пятки — и уязвимая, и заколдованная* — по древнегреческому мифу, морская богиня Фетида, мать одного из величайших героев Эллады Ахиллеса, стремясь сделать сына неуязвимым для оружия, окунала его в воды подземной реки Стикс, но при этом пятка, за которую держали ребенка, не попала под действие чар.

Любила ли Перовская Желябова? — организаторы и участники покушения на Александра II революционеры-народники Андрей Иванович Желябов (1851—1881) и Софья Львовна Перовская (1853—1881).

С. 230. *Отец Яков* — прообразом бесприходного попа отца Якова Кампинского послужил давний знакомый писателя публицист-краевед и книжник-библиограф Яков (Иаков) Васильевич Шестаков (1870—1919). Убит во время гражданской войны в Перми.

С. 232. *Перед самыми свободами...* — здесь: 17 октября 1905 г., дня выхода высочайшего Манифеста.

С. 241. *Иконы Серафима Саровского* — преподобный Серафим Саровский — один из самых почитаемых в России святых, канонизированный после кончины, последовавшей в 1833 году, активно пропагандировался православной церковью в качестве «заступника Руси».

С. 243. *Спели «Стеньку Разина»* — имеется в виду одна из широко распространенных в народе песенных баллад о Степане Разине. Популярнейшим среди сюжетов была казнь легендарного бунтовщика (см. хотя бы «Казнь Стеньки Разина» Ивана Сурикова).

...Как члена эсеровской партии — партия социалистов-революционеров (ПСР), избрав террор средством борьбы с самодержавием, совершила ряд нашумевших политических убийств и «экспроприаций».

С. 245. *«Весь Петербург»* — популярные в России начала столетия издания справочно-рекламного характера, выходили не только в столицах (см.: «Вся Москва»), но и в провинции (например, «Весь Екатеринбург»).

Полное собрание сочинений Достоевского, несколько сборников «Знания» — сам подбор книг, неслучайный для такого библиофила, как М. А. Осоргин, говорит о случайности выбора неумелых конспираторов: вместе с адресованным изыскательному читателю «полным» Достоевским были куплены издававшиеся А. М. Горьким и К. П. Пятницким с 1903 г. т. н. демократические литературные сборники для широких масс.

С. 248. *«Тьму» Леонида Андреева* — написанный в 1907 г. рассказ одного из самых популярных в те годы писателей Л. Н. Андреева (1871—1919). В произведении отразились умонастроения, владевшие писателем после поражения революции 1905 г.

С. 253. *Мелинит* — взрывчатое вещество, тринитрофенил.

С. 263. *Знаменитое выборгское воззвание* — 10 июля 1906 г. группа депутатов 1 Государственной думы (в основном кадеты), собравшись в выборгской гостинице «Бельведер», обратилась к народу с призывом в знак протеста против роспуска Думы отказаться от уплаты налогов и службы в армии.

«Несть ни эллин, ни иудей...» — усеченная цитата из «Послания к Колоссянам» апостола Павла (гл. 3. Стих 11).

В дни министерства Горемыкина — Иван Логинович Горемыкин (1839—1917) — председатель совета министров России в апреле — июне 1906 г., т. е. между Витте и Столыпиным.

Самого Плеве — Вячеслав Константинович Плеве (1846—1904) — директор департамента полиции с 1881 г., а 1902—1904 гг.— министр внутренних дел, шеф корпуса жандармов. Убит эсером Егором Созоновым.

С. 264. *Новое о старце Кузьмиче* — в народе широко ходила легенда о том, что император Александр I вовсе не скончался в 1825 г. в Таганроге, а, удалившись от государственных дел, принял монашество и скрывался где-то в Сибири под именем старца Федора Кузьмича.

С. 267. *Братья Гракхи* — легендарные тираноборцы Древнего Рима.

С. 278. *Брекекекекс* — имитация жабьего голоса в знаменитой сказке Х. К. Андерсена (1805—1875) «Дюймовочка».

С. 281. *Октябрист* — октябристы — члены «Союза 17 октября», партии крупных помещиков и верхушки торгово-промышленной буржуазии. Название от Манифеста 17 октября 1905 г. Выступали за укрепление монархической власти.

С. 295. *Каляев* — Иван Платонович Каляев (1877—1905) — член боевой организации эсеров. В 1904 г. принял участие в покушении на В. К. Плеве. 4 февраля 1905 г. убил московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.

С. 296. *Аутодафе* — в буквальном переводе с португальского акт веры — оглашение и приведение в исполнение приговоров инквизиции, а частности сжигание на костре.

С. 297. *Преобладали «петры», было немного «катенек»* — на банковских билетах царской России печатались портреты государей. Так, на ассигнации достоинством в 500 руб. был помещен портрет Петра I, банкноту в 100 руб. украшала Екатерина II.

С. 310. *«Не могу молчать!»* — название известного публицистического выступления Льва Николаевича Толстого (1828—1910). Опубликовано за границей в 1908 г., до 1917-го распространялось в России нелегально.

С. 320. *...«Макарова под водой»* — адмирал Степан Осипович Макаров (1848—1904), выдающийся русский флотоводец, погибший во время русско-японской войны. Броненосец «Петропавловск», флагман находившейся под его командованием 1 Тихоокеанской эскадры, подорвался на мине и затонул.

С. 345. *Внити́ в узи́лище* (старосл.) — войти в темницу, попасть в заточение.

С. 369. *Великий Готама Будда* — написание имени «Готама» дано на языке пали, более распространенная форма — Гаутама (санскрит).

Книга о концах

Впервые опубликовано: Берлин, «Петрополис», 1935. Печатается по этому изданию.

С. 370. *Тургеневская библиотека* — Русская общественная библиотека им. И. С. Тургенева, организованная в Париже эмигрантами из России. Живя во Франции, М. А. Осоргин был читателем этой библиотеки и даже входил в правление.

С. 379. *Упустили Азефа* — Евно Фишелевич Азеф (1869—1918), один из организаторов партии эсеров, руководитель ряда ее боевых организаций, с 1892 г. сотрудничавший с департаментом полиции. В результате провокаторства Азефа были арестованы и осуждены на казнь и каторгу многие члены партии эсеров. Разоблаченный в 1908 г., Азеф был приговорен ЦК ПСР к смерти, но сумел скрыться от возмездия. Умер в Берлине от болезни почек.

С. 412. *Дорнах — антропософское гнездо* — город в Швейцарии, где в 1913 г. немецким мыслителем Рудольфом Штайнером было основано Антропософское общество — философская школа, осмыслявшая божественную природу человека. В том же году по проекту Штайнера было заложено здание *Гетеанума* (с. 415) — храма теософов, называемого ими Домом Слова. На строительстве здания работали представители едва ли не двух десятков народов воюющей тогда Европы.

Русский поэт — имеется в виду Андрей Белый — псевдоним Бориса Николаевича Бугаева (1880—1934), литератора, философа.

С. 413. *На Ганге* — Гангё (Хайко) — портовый город в Финляндии.

С. 414. *Табльдот (фр.)* — общий стол с общим меню в ресторанах, пансионатах и т. п.

С. 427. *Стихи Сологуба* — Федор Сологуб — псевдоним Федора Кузьмича Тетерникова (1863—1927), поэта-символиста, прозаика. Среди наиболее известных произведений Сологуба книга стихотворений «Пламенный круг» (1908) и роман «Мелкий бес» (1905).

С. 429. *Для красоты... фотография Терноносца* — речь идет о репродукции работы живописца Гвидо Рени (1575—1642), представителя т. н. декоративного барокко. Черты холодной идеализации и слащавой сентиментальности в творчестве художника сделали его имя синонимом оторванного от земных корней академического искусства.

С. 433. *Филалеты* — в буквальном переводе с латыни «любители истины» — название одного из направлений масонства. Свое происхождение от оккультного общества XVIII в. Поголовно увлекались *спиритизмом*. Русская ложа основана в 1890 г. К 1916 г. в ложе, куда принимали без каких-либо анкет или рекомендаций — т. е. практически всех желающих, состояло около тысячи человек.

С. 436. *Туссен и Лангеншайт* (правильнее: Лангеншейд) — авторы мето-

дики самостоятельного обучения иностранным языкам. Самоучитель французского, составленный соавторами в 1856 г., имел огромный успех. С большим эффектом их методика применялась и к другим языкам.

«Обрученные» — исторический роман итальянского писателя Алессандро Мандзони (1785—1873) о борьбе крестьян против феодального гнета.

Леопарди — Джакомо Леопарди (1798—1837), крупнейший итальянский поэт XIX в.

С. 445. *Лавров* — Петр Лаврович Лавров (1823—1900) — один из идеологов революционного народничества, социолог, публицист.

Михайловский — Николай Константинович Михайловский (1842—1904) — литературный критик и публицист, сыгравший заметную роль в идейном формировании народнического движения 70-х — начала 80-х гг. XIX в.

С. 455. *Бурцев* — Владимир Львович Бурцев (1862—1942) — активный участник революционного движения, публицист. Имя Бурцева было на слуху у тогдашней демократической общественности в связи с его сенсационными разоблачениями ряда провокаторов царской охранки, в т. ч. и таких видных фигур, как эсер Азеф, большевик Малиновский.

С. 469. *Знаменитого старца Григория Нового* — точнее, Новых — наст. фамилия Григория Ефимовича Распутина (1872—1916) — крестьянина Тобольской губ., в качестве «провидца» имевшего огромное влияние на царскую семью и двор. Убит в декабре 1916 г. в результате дворцового заговора.

С. 477. *Ренегатства Льва Тихомирова* — Лев Александрович Тихомиров (1852—1923), революционер-народник, публицист. В 1888 г., находясь в эмиграции, подал прошение о помиловании.

Копию покаянного письма Бакунина — в 1857 г. известный революционер Михаил Александрович Бакунин (1814—1876) написал из Шлиссельбургской крепости, где он находился в заточении за свою антиправительственную деятельность, прошение на имя Александра II, в котором отрекался от своего прошлого, говоря, что его предыдущая жизнь, «растраченная в химерических и бесплодных стремлениях, ... кончилась преступлением». Долгое время ходивший в списках, этот документ многими воспринимался как фальсификация.

Времена

Впервые мемуарная книга «Времена» вышла в Париже, Impr. ALON. 1955. Печатается по этому изданию.

С. 488. *Любимцы Герасима Грачевника* — день Герасима Грачевника (4 марта) считался сроком прилета грачей: в народе говорили, что «Герасим Грачевник грачей пригнал».

С. 494. *Стоеросовый кантовский императив* — авторское выражение. М. А. Осоргин соединяет идиоматический эпитет к слову «дурак, болван» и т. п. с центральным принципом основанной на понятии долга этики Иммануила Канта (1724—1804), родоначальника немецкой классической философии, выразив тем самым свое во многом ироническое отношение к существованию некоей всеобщей морали, будто бы определяющей практическое поведение людей.

...Кустом спиреи — спирея — латинское название повсеместно распространенной на Урале таволги, растения с белыми или розовыми (красными) цветками, собранными в своеобразные зонтики-метелки.

С. 495. *Играем в бабки* — автор вспоминает терминологию дворовых игр своего детства: *бабка* — кость надкопытного сустава ноги у животных; *гнездо* — общее количество бабок на *кону* (партия игры) или у игрока; *панок* — бабка, которой бьют (отсюда *гвоздырь* — от «гвоздить», т. е. сильно бить), боевая *битка*, для тяжести залилась свинцом (*свинчатка*); *конаться* — определять очередность участия в игре; *поджошка* (правильнее: *поджёжка*), *пристенок* (от «пристенять»), *краснокудак* (иначе, по Далю, катушки) — разновидности игры в бабки.

С. 496. *В ... зернь при Грозном* — по книге знатока исторического быта русского народа М. И. Пыляева «Старое житье» (СПб., 1897), «зернь — небольшие косточки с белой и черной сторонами. Выигрыш определялся тем, какою стороною упадут они, будучи брошены».

В фараон... — здесь и далее: банк, винт, преферанс, «железка», винт, подкидные дурачки, акулька, королн, зевики и т. п.— азартные карточные игры.

Угобжёна — от старорусского «угобжати» — в значении одарить, наделить.

С. 498. *Изумительнейшую книжку «Робинзон в русском лесу»* — речь идет о популярном в конце прошлого века пронзведении для детей О. Качулковой, выдержавшем несколько переизданий. В сюжетное время книга не выходила — очевидно, в силу «классового подхода»: заблудившиеся в лесу герои — сверстники, но помещичий сын Сергей Александрович именуется Робинзоном, сын же дворовых Вася как бы и вовсе не берется в расчет, довольствуясь ролью своего рода дядьки при барчуке. Впрочем, сословные отношения не помешали зимовавшим в лесной хижине мальчишкам собирать ягоды и грибы, сеять рожь, отбиваться от волков, шить себе теплую одежду и т. д. (см. соответствующий пересказ в тексте Осоргина).

Лорд Фонтлерой — герой одной из самых популярных детских книг рубежа веков «Маленький лорд Фонтлерой» (в иных изданиях — Фаунтлерой), принадлежащей перу американской писательницы Фрэнсис Элизы Бёрнетт (1849—1924).

С. 500. *Базилика Константина* — здесь: базилика Максенция, называемая так по имени затеявшего ее строительство римского императора Максенция М. Аврелия (окончена в 315 году Константином) — один из выдающихся памятников мировой архитектуры, среди прочих подобных сооружений (базиликой римляне называли торговый или судебный зал) выделялась своими исполинскими размерами.

Сафонов — Василий Ильич Сафонов (1852—1918) — пианист, дирижер. Много гастролировал за рубежом, где выступал в лучших концертных залах. Обладая отточенной мануальной техникой, ввел в музыкальную практику дирижирование без дирижерской палочки.

С. 501. *Его Анны и Станиславы* — ордена Российской империи, уже низшие степени которых (4-я для ордена св. Анны и 3-я для ордена св. Станислава) давали право личного дворянства.

Сочинения Аксакова — имеется в виду полное собрание сочинений Сергея Тимофеевича Аксакова (1791—1859), вышедшее в шести томах незадолго до описываемых событий (СПб., 1886), *«Багров-внук»* — «Детские годы Багрова-внука», автобиографическая повесть писателя, продолжение его *«Семейной хроники»* (с. 504). М. А. Осоргин, приходящийся родственником С. Т. Аксакову, высоко ценил писателя-классика, до конца своих дней считая его «единственным в своем роде и непревзойденным мастером русской речи». Многие сюжетные мотивы осоргинского «Детства» прямо восходят к воспетой Аксаковым сердечной атмосфере родового гнезда, где человек и природа, дети и родители жили в гармонии и согласии.

С. 507. *Книги, изданной о «вещах человека»...* — по названию сборника прозы М. А. Осоргина, вышедшего в парижском издательстве «Родник» (1929).

С. 508. *Про Ваньку-ключника* — популярная в народе песенная баллада, известная во множестве вариантов. Долгое время была запрещенной, так как «затрагивала» влиятельную аристократическую фамилию: Ванька-ключник в песне назван любовником княгини Волконской, повешенным по приказу князя. *«Злым разлучником»* герой песни стал в тексте Всеволода Владимировича Крестовского (1840—1895).

«Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночка темна» — строки из песни «Слу-шай!» на стихи Ивана Ивановича Гольц-Миллера (1842—1871).

С. 509. *Анабазис и катабазис* — отглагольные существительные (с древнегреч.), обозначающие, соответственно, восхождение, подъем и схождение, спуск.

«Андра мой эннепе» — начальные слова поэмы Гомера «Одиссея», данные в русской транскрипции. *«Не лѣпо ли ны бяшетъ»* — начало «Слова о полку Игореве».

С. 512. *Малинины, Буренины и Евтушевские* — А. Ф. Малинин, К. Б. Буренин, В. А. Евтушевский — авторы тогдашних гимназических учебников и сборников задач по арифметике, алгебре и физике.

Профессор повернулся... к всемилостивейшему портрету — выступление с приветственной речью при открытии в Перми университета товарища министра просвещения В. Т. Шевлякова (доктора зоологии) отличалось, насколько можно судить по отчету в прессе (см.: Пермская земская неделя. 1916. № 39. 1 окт.), официозным характером и сопровождалось троекратным исполнением гимна «Боже, Царя храни!»

Воздал честь и местному богачу — речь идет о Николае Васильевиче Мешкове, купце-миллионере, общественном деятеле и меценате.

С. 514. *В списке народных комиссаров — уфимское имя* — речь идет о первом наркомпроде Алексаидре Дмитриевиче Цюрупе (1870—1928), с которым М. А. Осоргии встречался осеиью 1916-го.

С. 516. *Ять* — одиа из четырех букв русского алфавита, изъятая из употреблеиия согласио Декрету от 10 октября 1918 г. «для упрощеиия орфографии». Миогие выдающиеся литераторы того времеии выступили против подобиой реформы. К. Д. Бальмоит даже иаписал соиет «Гоиимым», где каждой из утрачеииых букв посвятил прочувствоваииые слоаа. В частиости, про «ять» там было сказаио:

Измеичиаого Е расцвет и скрепа,
Лицо в лицо, глядит иа честиых Ь,
Того лишь варвар не сумел поиять.

Осоргии с заметиой теплотой вспоминает о былой традиции праописаиия (см. также с. 537).

Степан Яворский — русский церкоаиый деятель, публицист (1658—1722). Сочиеиия Яворского изобилуют метафорами и аллегориями, схоластичиы — все это делало их трудиодоступиыми для аосприятия последующими поколеииями читателей.

С. 519—520. *Считаю пустой фразой первую строку фашистского гимна* — хорошо зиавший Италию и сохраиивший любовь к ией иа всю жизиь, М. А. Осоргии с отвращеиием отиосился к режиму Муссолиии, а также всему, с иим саязаииому. В частиости, и к песие *«Джовинецца»* (см. с. 555 иастоящего издаиия).

С. 522. *Бригадир* — бригадиый иачальиик, воеииый чии 5 клаеса табели о раигах, промежуточиый между армейским полковииком и геиерал-майором. Упраздиеи а коице XVIII в.

Лестница, треугольник...— перечисляются зиаки, симаолизирующие приадлежиость усопшего к одиой из масоиских лож. Таким образом, можио судить, что захороиеиие сделаио до 1792 г.— года запрещеиия масоиства в России специальиым указом Екатерииы II.

Да здравствует великий Маркс — речь идет о русском издателе и книготорговце Адольфе Федороаиче Марксе (1838—1904). Особую известиость имела издаваемая им «Нива» — иллюстрироааииый ежеиедельиый журиал для семейиого чтеиия, который выходил в Петербурге с 1870-го по 1919 г.

С. 552. *Я не Бедекер* — то есть ие автор путеаодителей, по имеии Карла Бедекера (1801—1859), известиого издателя справочиой литературы для путешествующих.

С. 556. *Белли* — Джузеппе Джоакиио Белли (1791—1863), итальяиский поэт, автор цикла «Римские соиеты», иаписаииого от лица людей из иарода и иаправлеииого против представителей зиати, духовеиства, чиновиików.

Паскарелла — Чезаре Паскарелла (1858—1940), итальяиский поэт, отличавшийся иитересом к иародиой жизни.

С. 557. *Германский маляр* — саой перечеиь иносказательио иазааииых исторических фигур (Леиии, Троцкий, Сталии) М. А. Осоргии завершает Адольфом Гитлером, ироиически иамекая на увлечение последнего живописью: а 1911 г. будущий фюрер «третьего рейха» специальио приезжал а Веиу, чтобы попытаться поступить а Академию художеста.

С. 560. *Марк Авреми* — римский иыператор из дииастии Аитоииов (121—180), философ, автор размышлеиий «Наедиие с собой», иаписаиных в традициях поздиего стоицизма.

Экклезиаст — Екклизиаст — одиа из иаиболее поздиих кииг Библии (4 или 3 в. до и. э.), памятиик дреаиееврейской афористики. Осиовиые мотивы этого памятиика литературы — тщетиость попыток охватить полиоту жизии знаиием, а также мысль, сформулироааииая а стихе 18 первой главы: «...В миогой мудрости — миого печали».

С. 571. *Мария Спиридонова* — Мария Александровиа Спиридоиова — (1884—1941) — одии из лидеров леаых эсероа, а прошлом исполиительиица иашумевшего террористического акта.

С. 572. *Крыленко* — Николай Васильевич Крылеико (1885—1938), актиаиый участник Октябрьской революции, большевик, с иачала 1918 г. перешел а ведомство юстиции.

С. 574. *Четьи-Минеи* — церкоаио-религиозиые сбориики, состоящие из житий святых, сказаиий, легеид и поучеиий. Предиазиачались для ежедиевиого чтеиия.

С. 575. *Поливанов* — Алексей Андреевич Поливаиоа. (1855—1920), генерал от нифаитерии, воеиный миинстр в 1915—1916 гг.

С. 578. *Детище... покрытки* — покрытка, по Далю, «девка, вынуждеииая паденнем своим покрыть голоау».

С. 583. *Каменев* — Леа Борисоаич Камеиеа (1883—1936), однн нз руководнтелей большевнстской партин, в опнсываемый пернод председатель Моссовета.

Фигнер — Верв Нколаевна Фнгнер (1852—1942) — революцнонерка, член «Народной аоли», двадцать лет пробыла в заключеннн.

С. 584. *Нансен* — Фритьоф Нансеи (1861—1930) — иорвежский учеиый-путешествеиик. Извести своими исследоааииями Арктики. Одни нз оргаинзаторов помощн голодающим Поволжья (а 1922 г.).

Царевококшайск — ныие Йошкар-Ола.

С. 587. *Писателя Андрея Соболя* — Аидрей Мнхайлович Соболь (1888—1926) — прозаик, зиакомый М. А. Осоргнна. Будучи социалистом-революционером (эсером), за свою деятельность ссылался иа прииуднтельиые работы в Снбнрь. После побегв жил а эмнгрвцнн. В 1915 г. вериулся а Россию. Исторня с арестом Соболя одесской ЧК вошла также в ромаи Валеитиа Катаева «Уже иаписаи Вертер».

С. 589. *Полемизировал с сотрудником... тоже прятавшимся за буквами* — начннающнй журналист Михаил Ильнн пользовался помнмо псевдоиима «Пермяк» еще и такимн, как «М. И-нъ», «Студ. М. И.» н т. п.

С. 593. *Друг философ* — Николай Александровнч Бердяев (1874—1948), выдающнйся русскнй философ, публнцист.

Осоргин М. А.

О-72 Времена: Романы и автобиографическое повествование/Сост. и примеч. Е. С. Зашихина.— Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1992.— 608 с.

ISBN 5—7529—0502—8

С 18 150 000 экз.

В одиотомник известного русского писателя вошли три романа — «Сивцев Вражек», «Свидетель истории», «Книга о концах» — и автобиографическое повествование «Времена».

О $\frac{4702010201\text{-}018}{M158(03)\text{-}92}$ 28-92 ББК 84Р1

Содержание

Сивцев Вражек /3
Свидетель истории /222
Книга о концах /370
Времена / 488

МИХАИЛ
АНДРЕЕВИЧ
ОСОРГИН

ВРЕМЕНА

Редактор М. П. Немчеико
Художествеииый редактор
В. С. Солдатов
Техиический редактор
Н. Н. Заузолкова
Корректоры М. Ф. Худякова,
Т. В. Сергеенко, Н. И. Туигусова

Сдаио в иабор 25.11.91. Подписаио в печать 10.02.92. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага ки.-журиальиая. Гариитура Тип Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,9. Усл. кр.-отт. 32,3. Уч.-изд. л. 43,5. Тираж 150 000. Заказ 470. С 18

Средие-Уральское книжиое издательство, 620219, Екатериибург, ГСП-351, Малышева, 24. Типография издательства «Уральский рабочий», 620151, Екатериибург, пр. Леиииа, 49.